МИСТИКА ШЕДЕВРЫ МИСТИКА ШЕДЕВРЫ

ЭНН

РАЙС

ДВА ВАМПИРА

МИСТИКА ШЕДЕВРЫ МИСТИКА ШЕДЕВРЫ

ЭНН
РАЙС
Дом
ведьмы

Мемнох-дьявол

•

Вампир Арман

МОСКВА
ЭКСМО
Санкт-Петербург
«ДОМИНО»
2005

ШЕДЕВРЫ МИСТИКИ ШЕДЕВРЫ МИСТИКИ ШЕДЕВРЫ

ЭНН

РАЙС

Два вампира

МОСКВА
ЭКСМО
Санкт-Петербург
«ДОМИНО»
2005

УДК 82(1-87)
ББК 84(7 США)
Р 18

Anne Rice
MEMNOCH THE DEVIL
Copyright © 1995 by Anne O'Brien Rice
THE VAMPIRE ARMAND
Copyright © 1998 by Anne O'Brien Rice

Составитель серии *А. Жикаренцев*

Оформление серии художника *А. Саукова*

Серия основана в 2003 году

Художник *И. Жмайлова*

Райс Э.

Р 18 Два вампира: Романы/ Пер. с англ. — М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Изд-во Домино, 2005. — 896 с. — (Шедевры мистики).

ISBN 5-699-09852-6

Роковая встреча с дьяволом повергает в страх даже великого и непобедимого вампира Лестата. Еще бы! Ведь ему предлагают восстать против самого Господа Бога! Чем может завершиться эта борьба? Лестату предстоит принять нелегкое решение, но прежде он должен встретиться с Богом в раю и пройти все круги ада.

В полной растерянности Лестат обращается за помощью к другим бессмертным. И один из них — древний и могущественный вампир Арман — приоткрывает завесу тайны над своей без малого пятивековой жизнью.

УДК 82(1-87)
ББК 84(7 США)

© И. Шефановская, «Мемнох-дьявол»: главы 1—12, перевод, 2005
© И. Иванченко, «Мемнох-дьявол»: главы 13—26, перевод, 2005
© Е. Ильина, «Вампир Арман», перевод, 2005
© ООО «Издательство «Эксмо». Издание на русском языке, оформление, 2005

ISBN 5-699-09852-6

Стэну Райсу, Кристоферу Райсу и Мишель Райс, Джону Престону, Говарду и Кэтрин Аллен О'Брайен, брату Кэтрин Джону Аллену, дяде Микки, его сыну Джеку Аллену и всем его потомкам, а также дяде Мариану Лесли, который той ночью был в баре «Корона», и всем моим родным и близким посвящаю эту книгу.

ЧЕГО БОГ НЕ ЖЕЛАЛ

Спи всласть,
Плачь, если плачется,
Но, главное,
Ходи почаще на колодец
И больше пей
Сверкающей,
Трепещущей воды.
Задумывая нас,
Бог не желал,
Чтобы мы слишком
Мудрствовали.
Ну, что же.
Скажи Ему,
Что ведра наши полны,
И пусть Он
Катится
Ко всем чертям.

Стэн Райс
24 июня 1993

ЖЕРТВА

Тому, что не дает пустоте
Сломить человека,
Растерзать его,
Как дикий вепрь
Ломает кости и терзает
Человеческую плоть;
Да, только этой силе
Готов я в жертву принести
Даже страданья моего отца.

Стэн Райс
16 октября 1993

ДУЭТ НА ИБЕРВИЛЬ-СТРИТ

Человек в черной кожаной куртке
Покупает крысу, чтобы скормить
Ее своему питону. Для него
Детали не важны.
Сойдет любая крыса.
Удаляясь от зоомагазина,
Я вижу человека в гараже отеля.
Цепной пилой он вырезает
Лебедя из глыбы льда.

Стэн Райс
30 января 1994

Пролог

Алестат приветствует вас. Если вы меня знаете, можете пропустить следующие несколько фраз. А тем, с кем мне еще не доводилось встречаться, предлагаю любовь с первого взгляда.

Смотрите и восхищайтесь! Вот он, ваш герой, перед вами: великолепная имитация мужчины шести футов ростом, светловолосого, голубоглазого, истинного англосакса. Я вампир, причем один из самых могущественных в мире. Клыки мои слишком малы, чтобы бросаться в глаза — если, конечно, я сам того не пожелаю,— однако очень остры, и не проходит нескольких часов, чтобы во мне не взыграла жажда крови.

Это вовсе не значит, что я действительно в ней так часто нуждаюсь. Откровенно говоря, я и сам не знаю, как долго могу обходиться без свежих вливаний, ибо ни разу не проверял.

А вот сила и способности мои поистине безграничны. Я могу летать, могу слышать разговоры людей, находящихся в противоположном конце города и даже по другую сторону планеты, могу очаровать и полностью подчинить своей воле любого.

Я бессмертен и практически не меняюсь с 1789 года.

Вы спросите, один ли я такой на земле. Нет конечно. Мне известно о существовании по меньшей мере еще двух десятков вампиров. С половиной из них я знаком достаточно близко и половину из этих близких знакомых искренне люблю.

Прибавьте к этим двадцати еще две сотни бродяг и скитальцев, о которых я ровным счетом ничего не знаю, но слухи о которых время от времени достигают моих ушей, да еще добрую тысячу бессмертных, предпочитающих вести замкнутый образ жизни и скрывающихся под личиной обычных людей.

Практически любой человек, будь то мужчина, женщина или ребенок, может быть обращен в нам подобного. Вампиру достаточно лишь этого пожелать и выпить из смертного почти всю кровь, чтобы затем вернуть ее обратно, но уже смешанной со своею. Процесс в целом, безусловно, не так прост, но тот, кто благополучно выживает, становится бессмертным. Молодые вампиры испытывают неутолимую жажду крови и вынуждены убивать практически каждую ночь. С течением времени они становятся спокойнее и обретают мудрость, даже если в момент превращения были совсем еще детьми, необходимость в убийствах у них отпадает, и тысячелетние бессмертные пьют кровь не по той причине, что остро в ней нуждаются, а лишь потому, что не в силах устоять перед соблазном.

Что ожидает тех, кому судьбой уготовано прожить еще дольше — а есть среди нас и такие,— сказать трудно. Возможно, они превратятся в истинных чудовищ: тела их затвердеют, а кожа станет еще белее. Им доведется познать столько мучений, что периоды доброты и жестокости, удивительной проницательности и маниакального безрассудства будут часто сменять друг друга. Вполне вероятно, что кто-то из них лишится разума, но вскоре обретет его вновь. А кому-то, быть может, суждено даже забыть собственное имя.

Я воплощаю собой наилучшее сочетание молодости и зрелости. Обстоятельства сложились так, что мне, вампиру всего лишь двухсотлетнего возраста, было даровано могущество древних. Я обладаю безупречным вкусом истинного аристократа и в то же время умею тонко чувствовать и воспринимать все новое и современное. Я отлично сознаю, кто я и что я. Я богат. Я красив. Я способен видеть собственное отражение в зеркалах и витринах магазинов. Я люблю петь и танцевать.

Чем я занимаюсь? Всем, что доставляет мне удовольствие.

Ну как? Всего вышеизложенного достаточно, чтобы вам захотелось прочесть мою историю? А может быть, вы читали и то, что было написано мною о вампирах прежде?

Но в том-то и подвох, что в данном случае моя вампирская сущность не играет никакой роли. Суть вовсе не в ней. Вампирская ипостась такая же данность, как моя невинная улыбка, приятный вкрадчивый голос, французский акцент и грациозная, немного с ленцой походка. Как говорится, все в одной упаковке. Суть в другом: то, что *произошло*, могло произойти с любым человеком. Более того, я уверен, что кому-то из смертных уже пришлось пережить нечто подобное, а кому-то предстоит пережить это в будущем.

У всех у нас есть душа. Мы стремимся постичь сущность вещей, мы живем на одной земле, исполненной богатства, природного очарования и опасностей. Никто из нас — подчеркиваю: никто! — на самом деле не знает, что значит умереть, как бы мы ни пытались доказать обратное. В противном случае я бы сейчас не писал эти строки, а вы не имели бы возможности прочесть мою книгу.

И еще один очень важный момент: я поставил перед собой задачу быть и всегда оставаться поистине выдающейся личностью, духовно богатой, нравственно твердой и эстетически значимой,— существом, обладающим поразительной мудростью, проницательностью, которому есть что сказать людям.

Итак, если вы все же решите прочесть мою книгу, примите во внимание и такой аргумент. Лестат вновь заговорил, он испуган, он отчаянно нуждается в наставлениях и похвалах, он ищет смысл жизни, он жаждет постичь и сделать доступной вашему пониманию суть собственного повествования. И та история, которую он намерен вам изложить,— лучшая из всех, когда-либо им рассказанных.

Если вам недостаточно и этого, прочтите что-нибудь другое.

А если я сумел вас заинтересовать, продолжим. Закованный в цепи, я диктовал эти строки своему другу и секретарю. Выслушайте меня. Последуйте за мной и не оставляйте меня одного.

1

Я увидел его, едва он вошел в дверь. Высокий, плотного телосложения, по-прежнему сохранивший смугловатый оттенок кожи, который она имела, когда я сделал его вампиром. В целом он ничем не отличался от обыкновенного смертного, разве

что только двигался слишком быстро. Мой возлюбленный Дэвид.

В тот момент я находился на лестнице — шикарной, надо признаться, ибо встреча наша произошла в одном из тех роскошных старых отелей, в чрезмерно богатой отделке которых преобладает темно-красный с золотом цвет и жить в которых весьма приятно. Отель выбрал не я, а моя жертва. Она, точнее, он обедал со своей дочерью. Проникнув в его мысли, я узнал, что, приезжая в Нью-Йорк, он всегда видится с ней именно здесь по одной простой причине: отель расположен как раз напротив собора Святого Патрика.

Дэвид сразу обратил внимание на молодого блондина с длинными, раз и навсегда красиво подстриженными и расчесанными волосами, с отливающими бронзой руками и лицом, одетого в темно-синий двубортный костюм от «Братьев Брукс» и скрывающего глаза за неизменными темно-фиолетовыми стеклами очков.

Дэвид не смог скрыть улыбку. Ему было хорошо известно мое тщеславие, равно как и то, что в начале девяностых годов двадцатого века итальянские модельеры заполонили рынок таким количеством бесформенной, мешковатой, нескладной одежды, что любому, кто хотел выглядеть действительно привлекательно и эротично, не оставалось ничего иного, кроме как нарядиться в великолепно сшитый темно-синий костюм от «Бруксов».

Кроме того, кому, как не мне, знать, что густые, ниспадающие волнами волосы в сочетании с тщательно подобранной одеждой всегда представляют собой весьма эффективное и сильнодействующее средство.

Однако я не намерен зацикливаться на тряпках. Они того не стоят. Просто я был очень горд собственной внешностью и умением совмещать в себе, казалось бы, совершенно несовместимое: длинные локоны, безупречный покрой костюма и царственную манеру стоять, облокотившись на перила.

Дэвид сразу же бросился ко мне. От него пахло зимой. На улице действительно было холодно, прохожие скользили по покрытым льдом тротуарам, а в сточных канавах снег превращался в мерзкую грязь. Лицо Дэвида чуть светилось, однако этот

необыкновенный блеск мог заметить и достойно оценить только я. Меня он приводил в восхищение.

Мы поцеловались и вместе поднялись в устланный коврами бельэтаж.

Ужасно, что Дэвид на целых два дюйма выше меня, однако я его очень любил и искренне радовался возможности побыть с ним рядом. К тому же в этом просторном, теплом, погруженном в полумрак помещении мы были совершенно избавлены от чужих любопытных взглядов.

— Ты пришел! — воскликнул я.— Откровенно говоря, я не слишком на это надеялся.

— Еще бы,— проворчал Дэвид.

Его мягкий британский акцент в сочетании с юным лицом по-прежнему производил на меня неизгладимое впечатление. Этого пожилого человека, получившего молодое тело, я недавно сделал вампиром, причем одним из наиболее могущественных.

— А чего ты ожидал? — спросил он.— Арман сказал, что ты зовешь меня. И Маарет.

— Понятно. Ты ответил на мой первый вопрос.

Мне хотелось расцеловать его, и я неожиданно даже для самого себя протянул к нему руки, но так, чтобы в случае необходимости он имел возможность уклониться от моих объятий. Когда же он этого не сделал, а, напротив, тепло обнял меня в ответ, я почувствовал такую радость, какой не испытывал вот уже много месяцев.

Точнее говоря, целый год — с того момента, когда мы втроем — Дэвид, я и Луи — оказались где-то в непроходимых джунглях и приняли решение расстаться.

— Твой первый вопрос? — Дэвид смотрел на меня пристально, изучающе, пытаясь понять, что у меня на душе. А это было нелегко, ибо вампир и его создатель лишены возможности читать мысли друг друга.

Мы долго стояли так — два существа, богато одаренные сверхъестественными способностями. Нас переполняли чувства, однако выразить их и общаться между собой мы могли лишь одним, но, быть может, самым наилучшим на свете способом: словами.

— Да, потому что первое, что я хотел у тебя спросить, виделся ли ты с остальными и не пытались ли они причинить тебе

вред. Ты же знаешь... Все эти разговоры по поводу того, что, обратив тебя, я нарушил установленные правила. Ну и прочий вздор.

— Прочий вздор,— насмешливо передразнил он мой французский акцент, теперь еще смешавшийся и с американским.— О каком вздоре...

— Ладно,— прервал я его.— Давай пойдем в бар и поговорим там. Главное я выяснил: никто не сделал тебе ничего плохого. Откровенно говоря, я был уверен, что они не смогут и не осмелятся и что опасность тебе на самом деле не грозит. В противном случае я никогда не позволил бы тебе в одиночку странствовать по миру.

— А разве ты не твердил мне об этом каждые пять минут, перед тем как расстаться?

Мы отыскали свободный столик возле стены. Народа в баре было не много — как раз то, что нам и требовалось. Интересно, как мы выглядели со стороны? Наверное, как двое молодых людей в поисках партнеров или партнерш для любовных приключений.

— Никто не причинил мне вреда,— сказал Дэвид.— По-моему, ни у кого и в мыслях не было ничего подобного.

Кто-то играл на пианино — мелодия звучала, на мой взгляд, слишком тихо и нежно для такого заведения. Это было одно из произведений Эрика Сати. Как мило.

— Какой галстук! — воскликнул Дэвид и, сверкнув ослепительной белозубой улыбкой, наклонился ко мне через стол. Клыков его, конечно, видно не было.— Эта масса шелка на твоей шее явно не от «Братьев Брукс».— Он тихо рассмеялся, словно поддразнивая меня.— А твои ботинки! Что творится у тебя в голове? И вообще, что происходит?

Над нашим столиком нависла огромная тень. Подошедший бармен произнес несколько дежурных фраз, которые из-за волнения и царящего вокруг шума я даже не расслышал.

— Что-нибудь горячее,— ответил ему Дэвид, ничуть не удивив меня таким заказом.— Пунш или что-то в этом роде — на ваш выбор.

Я кивнул и жестом показал равнодушно взиравшему на нас парню, чтобы тот и мне принес то же самое.

Вампиры всегда заказывают горячие напитки, поскольку не пьют, но с удовольствием ощущают их тепло и вдыхают исходящий от них аромат.

Дэвид вновь перевел взгляд на меня. Точнее, не Дэвид, а некий человек, чей облик был мне хорошо знаком и в чьем теле с некоторых пор заключен Дэвид. Ибо сам Дэвид навсегда останется для меня пожилым джентльменом, которого я знал и высоко ценил, равно как теперь начинаю ценить и похищенное нами великолепное плотское вместилище его души, ибо оно постепенно меняется и я все чаще вижу мимику, жесты и манеру поведения, свойственные именно Дэвиду.

Не пугайся, дорогой мой читатель. Обмен телами произошел еще до того, как я сделал Дэвида вампиром, и к моему рассказу этот факт не имеет никакого отношения.

— Тебя опять что-то преследует? — спросил Дэвид.— Так мне сказал Арман. И Джесс.

— Где ты их видел?

— Армана? Встретил случайно. В Париже. Он шел по улице. Он был первым, кого я встретил.

— И он даже не попытался сделать тебе какую-нибудь гадость?

— С чего бы вдруг? Зачем ты звал меня? За тобой кто-то следит? Что, собственно, случилось?

— Ты был с Маарет?

Дэвид покачал головой и откинулся на спинку стула.

— Знаешь, Лестат, я изучал рукописи, которые вот уже много веков в глаза не видел ни один человек. Мне посчастливилось прикоснуться к глиняным табличкам, которые...

— Дэвид, мой ученый Дэвид! — перебил его я.— Воспитанник Таламаски, получивший образование, позволяющее стать совершенным вампиром, хотя никто в ордене и помыслить не мог, что тебе уготована такая судьба.

— Да пойми же! Маарет отвезла меня туда, где хранятся ее сокровища. Ты должен понимать, каково это — держать в руках табличку, испещренную знаками и символами, которыми пользовались еще до изобретения клинописи. А сама Маарет! Ведь я мог прожить невесть сколько столетий и не встретить ее!

На самом деле Маарет была единственной, кого ему стоило опасаться. Полагаю, мы оба это знали. В моих воспоминаниях о

ней, однако, не осталось и тени ощущения исходящей от нее угрозы — только тайна, загадочность существа, сумевшего пережить тысячелетия, столь древнего, что каждый жест этого существа кажется движением ожившего мрамора, а его голосом с нами словно говорит все человечество.

— Если Маарет даровала тебе свое благословение, ничто другое уже не имеет значения,— со вздохом ответил я, думая о том, удастся ли мне самому еще хоть однажды увидеться с ней. Откровенно говоря, надежда на это была очень слабой, да я и не жаждал встречи.

— Я виделся и со своей любимицей, с Джесс,— сообщил Дэвид.

— А-а-а... Впрочем, этого и следовало ожидать.

— Я искал ее повсюду, путешествовал по миру и безмолвно призывал свою любимую Джесс — точно так же, как звал меня ты.

Ах, Джесс! Белокожая, рыжеволосая, хрупкая, словно птичка. Дитя двадцатого столетия. Прекрасно образованная и богато одаренная экстрасенсорными способностями в своей смертной ипостаси, она еще тогда познакомилась с Дэвидом и стала его ученицей в Таламаске. Теперь она тоже принадлежит к сонму бессмертных, и они с Дэвидом сравнялись в красоте и вампирском могуществе. Или почти сравнялись — мне трудно пока об этом судить.

Джесс была обращена в вампира именно Маарет, которая принадлежала к Первому Поколению, а родилась еще до того, как человечество начало писать собственную историю, в те времена, когда люди вообще едва ли понимали, что означает само это слово. Маарет и ее немая сестра Мекаре, о которой давно уже практически никто не вспоминает, теперь Старейшие, если существует в нашем сообществе такой титул,— иными словами, Царицы Проклятых.

Никогда прежде мне не доводилось встречать вампира, непосредственно созданного столь древним существом, как Маарет. Когда мы в последний раз виделись с Джесс, она буквально излучала неимоверную силу. Думаю, сейчас она уже могла бы писать свою собственную историю и рассказать много интересного о своей жизни и приключениях.

Дэвид получил от меня достаточно старую кровь, смешанную с еще более древней, чем кровь Маарет. Да, я имею в виду кровь Акаши и, конечно же, Мариуса. Именно благодаря им я обрел свое нынешнее могущество, а оно, как всем известно, поистине неизмеримо.

Вот почему он и Джесс могли бы составить великолепную пару. Интересно, как она воспринимает своего бывшего пожилого наставника в его новом облике молодого и привлекательного мужчины?

Внезапно я почувствовал укол зависти, а следом за ним меня охватило отчаяние. Ведь я заставил Дэвида покинуть святилище, в котором эти стройные белокожие существа спрятали свои сокровища, дабы уберечь их от превратностей кризисов и войн и сохранить для будущих поколений. Свое тайное убежище они устроили где-то очень далеко, за океаном, в дебрях неведомых мне земель. В голове моей крутились какие-то экзотические имена и названия, но я не имел никакого представления о том, куда на самом деле отправились рыжеволосые красавицы. Однако Дэвида они допустили к своему очагу.

Тихий звук заставил меня вздрогнуть и оглянуться. Смущенный и обескураженный собственной нервозностью, я постарался как можно быстрее успокоиться и ненадолго сосредоточил внимание на своей жертве.

Этот человек по-прежнему находился неподалеку от нас — он сидел в ресторане вместе со своей симпатичной дочерью. Сомнений в том, что этим вечером я его наконец достану, у меня почти не было.

Все, хватит с ним нянчиться. Я гоняюсь за этим типом вот уже несколько месяцев. Личность достаточно интересная, однако он не имеет ни малейшего отношения к тому, что происходит со мной. Или все же имеет? Я мог бы убить его этим же вечером, но сомневался, стоит ли так поступать. Он был с дочерью, в которой, судя по моим наблюдениям, души не чаял, а потому я решил подождать до ее отъезда. Нехорошо причинять лишние муки столь юному созданию. А он действительно любил ее и как раз в этот момент умолял принять от него какой-то подарок, объясняя, что отыскал вещицу совсем недавно и находит ее просто чудесной. О чем именно идет речь, я понять не мог, ибо ни в ее, ни в его мыслях прочесть ничего не удавалось.

Толстый, прожорливый, временами способный проявить доброту и всегда забавный, этот человек представлял собой идеальную жертву и стоил того, чтобы за ним погоняться.

Но вернусь к Дэвиду. Итак, сидевший напротив меня рослый, привлекательный бессмертный любил Джесс и стал учеником Маарет. Но почему сам я с некоторых пор не испытываю ровным счетом никакого почтения к старейшим из нас? Ради всего святого, чего я хочу, чего добиваюсь? Нет, вопрос поставлен неверно. Вопрос в том... чего хотят сейчас от меня... Неужели я пытаюсь убежать от чего-то?

Дэвид тактично ждал, пока я вновь обращу на него внимание. Я повернулся в его сторону, но продолжал молчать. Я не проронил ни слова. Тогда Дэвид поступил так, как обычно и поступают воспитанные люди: словно не замечая, что я смотрю на него сквозь фиолетовые стекла очков с таким видом, будто скрываю какую-то страшную тайну, он неторопливо продолжил прежний разговор.

— Ни у кого и в мыслях не было причинять мне хотя бы малейший вред,— еще раз подчеркнул он.— Все были очень добры, относились ко мне с уважением и ни разу не поинтересовались, почему ты нарушил запрет и сделал меня вампиром. Однако им хотелось услышать из первых уст рассказ о том, как тебе удалось справиться с Похитителем Тел и выжить. Мне кажется, ты даже не представляешь, до какой степени они были встревожены и как сильно любят тебя.

Дэвид мягко намекал на обстоятельства, при которых мы встретились с ним в последний раз, и на события, заставившие меня превратить его в одного из нам подобных. В то время, однако, я не дождался от него ни благодарности, ни похвалы.

— Любят? Да неужели? — отозвался я.— Я хорошо помню только одно: никто из них, оставшихся в живых представителей нашего великого племени выходцев с того света, не удосужился протянуть мне тогда руку помощи.

Мне вспомнился поверженный Похититель Тел.

Если бы не Дэвид, я вполне мог бы проиграть ту страшную битву. Ужасно было даже подумать о возможности такого финала. И потому мне не хотелось даже вспоминать о славной армии своих великолепных и могущественных соплеменников,

которые издалека наблюдали за ходом событий, но палец о палец не ударили, чтобы меня поддержать.

В конце концов Похититель Тел отправился в преисподнюю, а тело, за обладание которым мы бились, теперь сидело передо мной, и внутри его был Дэвид.

— Что ж, прекрасно,— сказал я.— Рад слышать, что заставил их хоть немного поволноваться. Но дело в том, что меня вновь преследуют. И на этот раз речь идет не о происках смертного, раскрывшего секрет астрального перемещения и умеющего проникать в чужие тела. За мной *наблюдают*.

Он пристально посмотрел на меня. В его взгляде не было недоверия — скорее в нем читалось искреннее желание постичь смысл сказанного.

— Наблюдают? — задумчиво переспросил он.

— Вот именно,— кивнул я.— Дэвид, я напуган. Я действительно боюсь. Если я поделюсь с тобой своими предположениями и скажу, кем, по моему мнению, является этот наблюдатель, ты поднимешь меня на смех.

— Неужели?

Официант поставил перед нами горячую выпивку, от которой исходил восхитительный аромат. Звуки пианино были едва слышны — опять что-то из Сати. Действительность все же достаточно прекрасна, чтобы даже такому сукину сыну и чудовищу, как я, хотелось продлить свое существование.

Мне вдруг припомнилась одна деталь. Два дня назад я слышал, как этот человек сказал дочери: «Я готов душу продать за такие уголки, как этот». В тот момент я находился далеко от них и, будучи простым смертным, не смог бы услышать ни слова. Однако до меня отчетливо доносился каждый звук, слетавший с губ моей жертвы. А его дочерью я был просто очарован. Дора — так ее звали. Дора... Она была, пожалуй, единственным существом на свете, кого действительно любил этот расплывающийся толстяк.

— Я думал о своей жертве — о человеке, из-за которого, собственно, здесь и оказался,— объяснил я, поймав на себе пристальный взгляд Дэвида.— И о его дочери. Они не намерены сегодня куда-либо выходить. Много снега, и ветер слишком холодный. Сейчас он отведет ее наверх, в номер. Она встанет у

окна и оттуда будет любоваться башнями собора Святого Патрика. А я не хочу терять свою жертву из виду.

— Святые небеса! Неужели ты влюбился в эту парочку смертных?

— Нет-нет. Ничего подобного. Всего лишь новый вид охоты. Знаешь, он просто уникален — совершенно самобытная личность. Я в восторге от него. С самого первого дня, как я его встретил, меня не покидает желание поскорее напиться его крови, но с тех пор он не перестает меня удивлять. И вот уже полгода я повсюду следую за ним.

Я бросил быстрый взгляд в их сторону. Да, все как я и предполагал: они только что встали из-за столика и собирались подняться в номер. Погода была слишком отвратительной даже для Доры, которая намеревалась отправиться в собор, чтобы помолиться за своего отца, и даже надеялась уговорить его присоединиться к ее молитвам. Из обрывков их мыслей и отдельных слов я сделал вывод, что отца с дочерью связывает какое-то общее воспоминание. Дора была совсем маленькой, когда он впервые привел ее в этот собор.

Сам отец ни во что не верил. Она же была своего рода религиозным лидером — читала проповеди в телевизионных аудиториях, убеждая собравшихся в величии духовных ценностей. Что же касается ее отца... Впрочем, я убью его прежде, чем узнаю о нем слишком много, или... Или все кончится тем, что ради Доры я откажусь от этого соблазнительного трофея.

Я оглянулся на Дэвида. Прислонившись плечом к обитой темным атласом стене, он смотрел на меня внимательно и напряженно. При таком освещении никому и в голову не могло прийти, что перед ними не живой человек. Даже наши соплеменники запросто могли ошибиться. Что до меня, то я, вероятно, походил на безумную рок-звезду, жаждущую привлечь к себе внимание всего мира, даже если ценой успеха будет медленная смерть.

— Моя жертва не имеет ко всему этому никакого отношения,— сказал я.— Позже я тебе объясню. Мы оказались здесь только потому, что я последовал за ним в этот отель. Ты же знаешь, охота для меня лишь развлечение. На самом деле я нуждаюсь в свежей крови не в большей степени, чем Маарет, но мне невыносимо даже думать о том, что я ее не получу.

— И в чем же заключается суть твоей новой игры? — Британский акцент придавал голосу Дэвида особенную любезность.

— С некоторых пор я не гоняюсь за примитивными и злобными убийцами, а предпочитаю иметь дело с более искушенными и изощренными преступниками, по складу ума похожими, скажем, на Яго. Вот этот, например, наркоделец. Весьма эксцентричная личность. Выдающаяся, можно сказать. Он коллекционирует предметы искусства. Ему нравится сажать людей на иглу и зарабатывать миллиарды в неделю на кокаине и героине. И в то же время он обожает свою дочь. А она... Она читает евангелистские проповеди на телевидении.

— Ты и вправду очарован этими смертными.

— Взгляни. Видишь тех двоих за моей спиной в холле? Они сейчас направляются к лифтам.

— Отлично вижу.— Дэвид пристально вглядывался в тех, на кого я указал.

Видимо, они остановились как раз в том месте, где он мог хорошенько их рассмотреть. Я слышал их, ощущал их запах, но, пока не обернулся, не мог с точностью сказать, где именно они находились. Знал только, что они неподалеку — темнокожий улыбающийся мужчина и его бледнолицая девочка, женщина-дитя, наивная и нетерпеливая. Если я не ошибся в расчетах, ей лет двадцать пять.

— Мне знакомо его лицо,— сказал Дэвид.— Большой человек. Знаменитость. Причем на международном уровне. Его не раз пытались привлечь к суду по разным обвинениям. Он причастен к какому-то нашумевшему политическому убийству... Постой... Где же это было?..

— На Багамах.

— Бог мой! Каким же образом тебя угораздило выбрать в качестве жертвы именно его? Неужели ты действительно встретил этого человека случайно, подобно тому как натыкаешься на раковину, валяющуюся на морском берегу? Или ты увидел его портреты в газетах и журналах?

— Ты знаешь девушку? Никто не подозревает, что они каким-то образом связаны между собой.

— Нет, я ее не знаю. А что, должен? Очень миленькая, симпатичная. Надеюсь, ты не намерен сделать и ее своей жертвой.

Его благородный гнев, вызванный столь чудовищным предположением, заставил меня рассмеяться. Интересно, думал я, уж не спрашивает ли сам Дэвид у будущих жертв согласия отдать ему свою кровь? Или он ограничивается взаимным представлением обеих сторон? Его привычки и манера убивать не были мне известны, равно как и то, как часто ему необходимо питаться. Я сделал его достаточно сильным, а это означало, что он мог пить кровь по крайней мере не каждую ночь. В этом смысле ему повезло.

— Девушка поет религиозные гимны в телестудии,— пояснил я.— Ее церковь в будущем должна обосноваться в старом здании женского монастыря в Новом Орлеане. Сейчас она живет там одна и записывает свои программы в студии — где-то во Французском квартале. Насколько мне известно, ее шоу транслирует из Алабамы какой-то всемирный кабельный канал.

— По-моему, ты в нее влюбился.

— Ничего подобного. Просто мне очень хочется покончить с ее отцом. Ее выступления по телевизору весьма своеобразны. Она очень здраво и захватывающе интересно рассуждает на богословские темы. Такие проповедники способны убеждать аудиторию. И при этом танцует, как нимфа или весталка, и поет, как серафим, приглашая всех присоединиться к ее молитвам. Удивительное сочетание теологии и вдохновенного экстаза, сопровождаемое соответствующими полезными советами и рекомендациями.

— Понятно,— сказал Дэвид.— И все это возбуждает тебя и делает идею напиться крови ее отца еще более привлекательной. Кстати, он не производит впечатление человека скромного и, похоже, отнюдь не стремится прятаться от посторонних глаз. Ты уверен, что никто не догадывается о их родстве?

Двери лифта открылись, отец с дочерью вошли внутрь, и машина понесла их к небесам.

— Он приходит и уходит, когда захочет. У него целая армия телохранителей. Она девушка вполне самостоятельная и встречается с ним исключительно по собственной инициативе. Судя по всему, они договариваются по сотовому телефону. Он кокаиновый гигант, а она — самое ценное, что есть у него в жизни. Его люди расставлены по всему холлу. Случись что-то непредвиденное, она немедленно покинула бы ресторан одна. О, он поистине корифей в такого рода делах. Даже если в пяти штатах будут выданы ордера на его арест, он спокойно появится перед телекамерами сидящим в первом ряду на матче тяжеловесов где-нибудь в Атлантик-Сити. Представители власти его никогда не поймают. Но его поймаю я, вампир, мечтающий его убить и выжидающий лишь подходящего случая. Ну разве это не прекрасно?

— Постой, дай мне во всем разобраться. За тобой кто-то — или что-то — наблюдает, но ни твоя жертва — наркоделец или кто он там еще,— ни девушка-телепроповедник не имеют к этому никакого отношения. Тем не менее тебя что-то преследует, что-то пугает, однако не настолько, чтобы ты прекратил гоняться за темнокожим человеком, который только что вошел в лифт.

Я кивнул, но тут же усомнился в собственной правоте... Нет, никакой связи здесь быть не может.

К тому же события, перепугавшие меня до мозга костей, начали происходить раньше, чем я увидел свою жертву. Впервые наблюдатель появился в Рио вскоре после того, как я расстался с Луи и Дэвидом и вернулся туда, чтобы поохотиться.

А свою жертву я заметил уже в Новом Орлеане. По прихоти судьбы он примчался в мой город на встречу с Дорой и провел с ней всего двадцать минут в одном из маленьких баров во Французском квартале. Но именно тогда мне случилось проходить мимо и увидеть разгоряченного, возбужденного мужчину, а рядом с ним белокожую девушку с огромными, полными сочувствия глазами. При взгляде на эту картину меня охватил неутолимый голод.

— Нет, он никак с этим не связан,— еще раз подтвердил я.— За мной стали наблюдать несколькими месяцами раньше. К тому же он не знает, что я повсюду следую за ним. Точно так же и мне даже в голову не приходило, что... что за мной следит это...

— Что — это?

— Знаешь, слежка за ним и его дочерью для меня своего рода захватывающий мини-сериал. Он так изощренно порочен...

— Об этом ты уже говорил. Но кто или что наблюдает за тобой? Это существо, или человек, или...

— Скажу чуть позже. Он — я имею в виду свою жертву — убил столько людей... Наркотики... Таких, как он, интересуют только цифры, они погрязли в них. Килограммы и килограммы... Закодированные счета в банках... А девушка... Девушка оказалась вовсе не из числа тупых чудотворцев, утверждающих, что они способны исцелять болезни путем наложения рук.

— Лестат! Твоя речь совершенно бессвязна! Ты несешь какой-то бред! Что с тобой? Почему ты так напуган? И почему ты не хочешь убить наконец свою жертву и покончить с этим делом раз и навсегда?

— Ты хочешь уехать обратно к Джесс и Маарет, не так ли? — спросил я, охваченный внезапным отчаянием.— Мечтаешь еще сто лет провести среди всех этих табличек и свитков, слушать рассказы Маарет и смотреть ей в глаза? Скажи, она по-прежнему предпочитает голубые?

Когда Маарет стала царицей вампиров, она была слепой, потому что глаза ей вырвали. Она отбирала глаза у своих жертв и пользовалась ими до тех пор, пока они не утрачивали способность видеть. А это рано или поздно неизбежно происходило, и даже ее древняя вампирская кровь не могла остановить процесс. Ужасно было видеть эту словно изваянную из мрамора царственную женщину с кровоточащими глазницами. А почему бы ей не свернуть шею какому-нибудь новообращенному вампиру и не позаимствовать его — или ее — глаза? Странно, что никогда прежде эта мысль не приходила мне в голову. Что ей мешает? Нежелание причинять вред себе подобным? Или сознание, что и это не поможет? Так или иначе, у нее были свои принципы, не менее твердые, чем она сама. Эта женщина помнила те времена, когда на свете не было еще ни Моисея, ни законов Хаммурапи, и только фараоны проходили Долиной мертвых.

— Лестат! — Голос Дэвида вернул меня к действительности.— Возьми себя в руки. Ты должен объяснить мне, в чем все-таки дело. Я еще никогда не видел тебя таким испуганным. И уж тем более ты сам в этом не признавался. А теперь ты заявляешь, что боишься. Забудь на время обо мне. Забудь о своей жертве и его дочери. В чем дело, дружище? Скажи, кто тебя преследует?

— Сначала я хочу задать тебе еще несколько вопросов.

— Нет. Расскажи, что случилось. Тебе действительно грозит опасность? Или это не более чем предположение? Ты позвал меня, попросил приехать. Это была мольба о помощи.

— Это Арман так сказал? «Мольба о помощи» — его слова? Ненавижу Армана!

Дэвид в ответ лишь улыбнулся и сделал нетерпеливый жест обеими руками.

— Нет у тебя никакой ненависти к Арману. И ты это прекрасно знаешь.

— Спорим?

Он бросил на меня суровый, осуждающий взгляд. Наверное, так смотрит учитель в английской школе на провинившегося мальчишку.

— Хорошо,— согласился я.— Сейчас расскажу. Но сначала хочу напомнить тебе кое о чем. Речь пойдет о нашем разговоре. Ты тогда был еще смертным джентльменом, и мы беседовали в последний раз в твоем поместье в Котсуолде.

— Да, я помню,— перебил меня Дэвид.— Это было перед тем, как ты ушел в пустыню.

— Нет, после. Когда мы убедились в том, что мне не удастся умереть так легко, как я надеялся. Когда я вернулся обгоревший. Ты ухаживал за мной. А потом стал рассказывать о себе, о своей жизни. Помнишь, ты упомянул об одном эпизоде, о том, что произошло с тобой еще до войны в одном из парижских кафе? Вспомнил? Теперь понимаешь, о чем я говорю?

— Да. Я рассказал тебе, что в молодости мне явилось видение. Во всяком случае, так я думал.

— Вот-вот. Мы тогда предположили, что, возможно, в реальной материи образовалась некая временная дыра и это позволило тебе увидеть то, чего ты не должен был видеть.

Дэвид улыбнулся.

— Это было твое предположение. Я помню его дословно: «...в реальной материи — в той, из которой состоит весь окружающий мир,— образовалась небольшая прореха...» Но ты считал это чистой воды случайностью. Я же думал тогда и уверен сейчас в том, что это видение было послано мне преднамеренно. Однако с тех пор прошло уже полвека, и моя память неотчетливо сохранила подробности событий.

— Ничего удивительного. Теперь, став вампиром, ты будешь с полной ясностью помнить все, что с тобой произойдет, но детали смертного существования забудутся очень быстро. Особенно это касается ощущений. В скором времени тебе придется ловить в памяти лишь их отголоски — каков, например, вкус вина...

Дэвид жестом попросил меня замолчать. Ему было неприятно это слышать. Но я совсем не хотел его расстраивать.

Взяв в руки стакан, я вдохнул аромат налитого в него напитка. Что-то с добавлением пряностей. Кажется, это называется рождественским пуншем. Я поставил стакан на место. Мои руки и лицо по-прежнему оставались темными — последствия пребывания в пустыне и попытки предстать перед ликом солнца. Забавно, но сейчас это помогало мне сойти за смертного. Однако обожженные руки стали более чувствительными к теплу.

Тепло... Меня охватило блаженство. Иногда мне кажется, что я способен буквально из всего извлекать выгоду и что такого сенсуалиста, как я, способного умереть со смеху при виде рисунка на ковре в холле, просто невозможно обвести вокруг пальца.

Я вновь поймал на себе взгляд Дэвида.

Похоже, он сумел взять себя в руки. А быть может, действительно простил — в тысячный, наверное, раз! — меня за то, что я перенес в тело вампира его бессмертную душу, не спросив на это Дэвидова согласия, а фактически даже вопреки его воле.

Как бы то ни было, сейчас он смотрел на меня едва ли не с любовью, словно понимал, что я нуждаюсь в такой поддержке.

Я действительно в ней нуждался и принял ее с благодарностью.

— В парижском кафе ты стал свидетелем беседы между двумя существами,— вернулся я к воспоминаниям о давнем видении Дэвида.— Ты был молод. И постепенно ты осознал, что этих существ рядом с тобой — в материальном воплощении — на самом деле не было и что язык, на котором они говорили, тебе совершенно незнаком и тем не менее ты понимаешь каждое сказанное ими слово.

— Все правильно,— кивнул он.— И выглядело все это как спор между Богом и дьяволом.

Теперь настала моя очередь согласно кивнуть.

— Да. И когда я в прошлом году оставлял тебя в джунглях, ты сказал, что у меня нет оснований для беспокойства, обещал, что не станешь углубляться в дебри религиозных учений, дабы вновь встретить Бога и дьявола в парижском кафе. Ты заявил, что потратил на такого рода поиски всю свою смертную жизнь, проведенную в Таламаске, и что теперь тебя интересуют иные вопросы.

— Все правильно. Видение вспоминается мне сейчас гораздо менее отчетливо, чем в момент того нашего разговора. Однако я его не забыл. И по-прежнему уверен, что действительно видел и слышал тогда нечто такое, что мне никогда не дано будет постичь.

— Значит, ты, как и обещал, оставляешь Бога и дьявола Таламаске?

— Таламаске я оставляю дьявола,— ответил Дэвид.— Не думаю, что орден медиумов и экстрасенсов когда-либо интересовался Богом.

Мне оставалось с ним только согласиться. Мы оба не выпускали из виду деятельность этого уважаемого ордена, однако из всех его членов лишь одному была известна истинная судьба Дэвида Тальбота — бывшему Верховному главе Таламаски по имени Эрон Лайтнер. К сожалению, его уже нет в живых. Смерть единственного человека, который знал о нем правду, потрясла Дэвида и повергла в печаль. Мало того, Лайтнер был его единственным смертным другом, таким же понимающим, каким сам Дэвид был для меня.

— У тебя тоже было видение? — спросил он, стремясь удержать нить разговора.— Оно стало причиной твоего испуга?

— Все не так просто,— покачал головой я.— Но тот, кто за мной наблюдает, время от времени посылает мне мимолетные сигналы. Иногда я их вижу краешком глаза, однако по большей части слышу. Это могут быть какие-то его разговоры с неизвестными, причем голос звучит совершенно естественно; а иногда до меня вдруг доносятся его шаги за спиной, заставляющие в страхе оборачиваться и оглядываться по сторонам. Поверь, я тебя не обманываю. И когда это происходит, я чувствую себя совершенно сбитым с толку и утрачиваю всякое ощущение реальности — как будто напился в стельку. Потом в течение при-

мерно недели — ничего. А затем я вновь ловлю обрывки разговора.

— Ты можешь вспомнить хоть какие-то слова?

— Едва ли я сумею пересказать тебе фрагменты по порядку. Ведь многие я услышал прежде, чем до меня дошло, что они собой представляют. На каком-то подсознательном уровне я понимал, что голос доносится откуда-то из другого места,— иными словами, его обладатель находится не в соседней комнате. Однако, насколько мне известно, и этому можно было найти вполне естественное объяснение — электронные средства.

— Да, я понимаю.

— Но эти фрагменты все же представляют собой часть разговора — и собеседников двое. Один, *один из них*, говорит: «О нет, он само совершенство. И речь идет вовсе не о возмездии. С чего ты взял, что я жажду возмездия?..» — Я пожал плечами.— Это явно середина чьей-то беседы...

— Согласен,— отозвался Дэвид.— И ты полагаешь, что этот некто позволяет тебе услышать лишь ее малую толику. Точно так же, как когда-то мне было явлено то видение в кафе.

— Вот именно. И меня это мучает. Последний случай произошел всего лишь два дня назад. В Новом Орлеане, когда я следил за дочерью своей жертвы — Дорой. Я уже говорил, что она живет там в старом здании женского монастыря, построенном еще в восьмидесятых годах девятнадцатого столетия. Оно давно разграблено и уже много лет пустует. Сейчас монастырские постройки напоминают скорее остов кирпичного замка. И эта маленькая ласточка, совсем еще девочка, бесстрашно живет там в полном одиночестве, как будто считает себя неуязвимой.

Так или иначе, я оказался в этом монастыре и вошел во двор. Ты знаешь, каковы особенности архитектуры таких старых построек: главное здание, два длинных боковых крыла, внутренний двор.

— Довольно стандартное кирпичное сооружение конца девятнадцатого века.

— Совершенно верно. Так вот, я заглянул в окно и увидел, как она с фонариком в руке идет по темному, хоть глаз коли, коридору и тихо напевает себе под нос один из своих гимнов. Удивительно, эти гимны, казалось бы, звучат вполне современно, но в них присутствует и нечто средневековое.

— Примерно то, что мы называем искусством Нового времени?

— Да, наверное. Но, как я уже говорил, девочка работает на всемирном религиозном канале. И ее программы весьма традиционны, я бы даже сказал — консервативны: верьте в Иисуса, молитесь о спасении души и так далее. По-моему, она надеется своими песнями и танцами проложить людям дорогу в небеса, особенно женщинам — им, во всяком случае, в первую очередь.

— Продолжай, пожалуйста. Итак, ты следил за ней.

— Да, и думал о том, какая она смелая. В конце концов она дошла до своих комнат, расположенных в одной из четырех башен монастыря, и до меня донеслись звуки запираемых замков и засовов. Тогда мне вдруг пришла в голову мысль, что далеко не многие отважатся бродить по этим темным зданиям, тем более если учесть, что место там не совсем чистое.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, всяких там духов природы, элементалей — так, кажется, называют их в Таламаске.

— Да.

— Так вот. Они обитают там, в этих зданиях. Но для девушки они не представляют опасности. Она для них слишком смелая и сильная. Иное дело — следящий за ней вампир, который стоит во дворе и заглядывает в окно. И вот, представь себе, он слышит возле самого своего уха разговор. За его спиной беседуют двое, и тот, другой, который *не наблюдает* за мной, говорит: «Нет, я не вижу его в том же свете...» Я обернулся и принялся крутить головой во все стороны, пытаясь отыскать говорившего, вызвать его на бой и сразиться с ним на любом, пусть даже не материальном уровне. И вдруг я понял, что эти мелкие, надоедливые духи-элементали... эти отвратительные существа, поселившиеся в монастыре... скорее всего, даже не подозревают о том, что кто-то — или что-то — находится совсем рядом и разговаривает прямо возле моего уха.

— Лестат, твои речи безумны. Неужели ты утратил свой бессмертный разум? Нет-нет, пожалуйста, не сердись. Я верю тебе. Но давай вернемся чуть-чуть назад. Скажи, почему ты следил за девушкой?

— Мне необходимо было просто ее увидеть. Дело в том, что моя жертва отлично понимает, кто он и чем занимается, и его очень беспокоит, что именно известно о нем властям. Он переживает за дочь, боится, что, если ему будет предъявлено обвинение и начнется шумиха в газетах, это запятнает ее репутацию. Он не знает, что никакого обвинения не будет, потому что я убью его раньше.

— Да, конечно, и тем самым спасешь девушку и ее церковь.

— Ничто на свете не заставит меня причинить ей хотя бы малейший вред.

— Ты уверен, что не влюбился? Такое впечатление, что она тебя околдовала.

Я молчал, вспоминая о своей единственной любви.

Это была смертная девушка по имени Гретхен, монахиня. По моей вине она сошла с ума. Дэвид хорошо знал всю историю, равно как и то, что я подробно рассказал о ней и о нем самом в своей книге, сделав их таким образом известными всему миру.

— Я никогда не откроюсь Доре, как в свое время Гретхен,— сказал я.— Нет, я не сделаю ей больно, ибо хорошо усвоил урок. Моя задача — убить ее отца таким образом, чтобы причинить ей как можно меньше страданий и дать возможность извлечь из его смерти максимум пользы. Она знает, кто он, однако, боюсь, плохо себе представляет все неблагоприятные последствия его бизнеса и совершенно не готова к тем неприятностям, которые могут возникнуть по его вине.

— Подумать только! Ты хочешь поступить с ней порядочно, но при этом ведешь рискованную игру.

— Видишь ли, я должен как-то отвлечься от мыслей о своем преследователе. В противном случае я сойду с ума.

— Ну ладно, ладно. Что с тобой происходит? Господи! Да ты вне себя от страха!

— Конечно,— прошептал я.

— Расскажи мне подробнее об этих таинственных голосах. Постарайся вспомнить еще какие-нибудь фрагменты.

— Они не стоят того, чтобы их повторять,— ответил я.— Это спор. И поверь, Дэвид, он напрямую касается меня. Как будто Бог и дьявол спорят обо *мне*.

Я старался отдышаться и прийти в себя. Сердце болело и билось слишком быстро — чересчур быстро для сердца вампира. Прислонившись спиной к стене, я обвел взглядом посетителей бара: публика в основном была здесь среднего возраста — дамы в старомодных меховых нарядах и лысеющие мужчины, уже успевшие выпить вполне достаточно, чтобы вести себя шумно и беззаботно и делать потуги выглядеть моложе, чем есть.

Пианист наигрывал какую-то популярную мелодию — кажется, из бродвейского мюзикла,— печальную и очень милую. Одна из пожилых дам раскачивалась ей в такт и подпевала, беззвучно шевеля накрашенными губами и время от времени затягиваясь сигаретой. Она принадлежала к поколению, которое всегда курило так много, что уже не могло отказаться от этой вредной привычки. Кожа у нее была как у ящерицы, однако в целом она производила впечатление вполне безобидного и симпатичного существа. Да и все посетители казались мне такими — безобидными и симпатичными.

А чем занята сейчас моя жертва? Он все еще наверху, с дочерью. Я слышал, как он упрашивает Дору принять от него очередной подарок. Кажется, речь шла о картине.

Этот человек готов был горы свернуть ради своей девочки, но она решительно отвергала его помощь и подарки и не желала облегчить его душу.

Интересно, как долго остаются открытыми двери собора Святого Патрика? Сам не знаю, почему мне вдруг пришел в голову этот вопрос. Быть может, потому, что ей очень хотелось пойти наконец туда. Как обычно, она категорически отказывалась от его денег, поскольку считала их «грязными». «Роже,— как раз в тот момент говорила она ему,— мне нужна твоя душа. А деньги для церкви я взять не могу, потому что они нажиты преступным путем. Это грязные деньги».

На улице шел снег. Звуки пианино стали громче, настойчивее, ритм их ускорился. «Фантом-опера» Эндрю Ллойда Уэббера — музыка, созданная талантливым композитором в период наивысшего творческого расцвета.

Из холла вновь донесся какой-то шум. Я резко повернулся в ту сторону и прислушался. Потом вновь перевел взгляд на Дэвида. Мне показалось, я вновь слышу чьи-то отдающиеся эхом

шаги, те самые, которые повергали меня в неописуемый ужас. Я был уверен, что это они. Меня охватила дрожь.

Неожиданно все стихло. Я не услышал никаких голосов. И посмотрел на Дэвида.

— Лестат, да ты окаменел от страха! — В голосе Дэвида слышалось искреннее сочувствие.

— Дэвид, послушай, мне кажется, дьявол пришел за мной. Мне кажется, я вот-вот отправлюсь в ад.

Он буквально лишился дара речи. Да и что мог он сказать? Что в такой ситуации говорят друг другу вампиры? Что, например, мог бы сказать я Арману, который старше меня на триста лет и во сто крат порочнее, приди он ко мне и заяви, что за ним пришел дьявол? Наверное, только посмеялся бы над ним и отпустил какую-нибудь злую шуточку типа того, что он вполне заслуживает такой участи и встретит в аду много знакомых из нашего племени, обреченных на особые муки, гораздо более страшные, чем когда-либо доводилось испытывать любому проклятому смертному.

— Боже всемогущий! — едва слышно прошептал я и содрогнулся.

— Ты сказал, что видел его?..

— Не знаю, не уверен... Я был... где-то в другом месте... Впрочем, это не важно. Кажется, снова в Нью-Йорке... Да, здесь, с ним...

— С жертвой?

— Да, я следил за ним.

— Он проворачивал очередную сделку в какой-то художественной галерее. Он опытный контрабандист. Особенность его натуры состоит еще и в том, что он большой ценитель красоты и предметов искусства древности. В этом смысле вы с ним очень похожи. Знаешь Дэвид, когда я его наконец убью, непременно принесу тебе что-нибудь из его сокровищ.

Дэвид промолчал, однако я видел, что ему неприятна сама мысль о краже ценностей у человека, который пока еще жив, но уже приговорен мною к смерти.

— Средневековые книги, кресты, ювелирные изделия, реликты древности и церковные реликвии — вот лишь неполный перечень предметов искусства, интересовавших этого человека,— продолжал я.— Он скупал бесценные статуи и изображения ангелов и святых, украденные во время Второй мировой войны из храмов Европы. Наиболее ценные из них хранятся в его квартире в Верхнем Ист-сайде. Существование этой квартиры — самая большая его тайна. Именно страсть к коллекционированию, как мне кажется, заставила его стать наркодельцом, и деньги, полученные от торговли наркотиками, служили лишь средством к достижению цели. У кого-то имелось то, что очень хотелось иметь ему самому. Не знаю, так, наверное, все происходило. Я пытался читать его мысли, но это занятие быстро меня утомило. Он порочен. В его реликвиях нет никакой магии. А я отправляюсь в ад.

— Не торопись,— откликнулся Дэвид.— Наблюдатель... Расскажи о нем поподробнее. Что именно ты видел?

Я молчал, ибо заранее боялся этой минуты. То, что мне являлось, я не пытался определить даже для себя самого. Однако нужно было продолжать. Ведь я сам позвал Дэвида и попросил его помощи. И теперь он ждал объяснений.

— Это произошло на Пятой авеню. Он, моя жертва, ехал в машине, направляясь в центр города — в свою тайную квартиру, где хранились сокровища.

Я знал, куда он собрался, и просто шел по улице, ничем не отличаясь от прогуливавшихся тут же обычных смертных. Возле одного из отелей я остановился и решил зайти, чтобы полюбоваться цветами. Ты же знаешь, в любом приличном отеле всегда есть цветы. И когда зимой на душе становится совсем тошно, можно заглянуть в какой-нибудь из них и насладиться ароматом шикарных лилий.

— Да, это я знаю,— с тихим вздохом равнодушно отозвался Дэвид.— Знаю.

— Я стоял в холле и смотрел на огромный букет. Мне вдруг захотелось... как бы это объяснить... захотелось оставить какой-нибудь подарок, что ли... как в церкви... для тех, кто составил такой прекрасный букет... в общем, что-то в этом роде. Затем я подумал, что лучше будет, пожалуй, сначала убить мою жертву, и вдруг... Клянусь, Дэвид, все так и было.

Вдруг все исчезло, точнее, словно почва ушла у меня из-под ног. Отель тоже исчез. Я оказался в пустоте — я парил в пространстве, но вокруг меня было множество людей. Они кричали и выли, разговаривали и визжали, плакали и смеялись. Да-да,

Дэвид, именно смеялись! Причем все это происходило одновременно. И свет, Дэвид... Ослепительный свет. Не тьма и не банальные языки адского пламени. И я потянулся к чему-то. И тут обнаружил, что тянусь не руками... по правде говоря, у меня не было рук... они куда-то пропали. Я потянулся всем своим существом, каждым мускулом, каждой клеточкой тела, всеми фибрами своей души — потянулся к чему-то, стремясь ухватиться за него и восстановить равновесие. Вдруг я осознал, что стою на твердой земле, и прямо перед собой увидел это существо... тень от него падала на меня. Знаешь, нет слов, чтобы его описать... Скажу только, что оно было ужасно. Ничего страшнее я в своей жизни не видел. За его спиной сиял свет, и оно стояло как раз между мной и светом, а лицо его... лицо его оставалось в темноте и само было темным, совершенно темным. Едва взглянув на него, я потерял самообладание. Кажется, даже зарычал. Однако не могу с уверенностью утверждать, что на самом деле издал хоть малейший звук.

Когда я пришел в себя, то увидел, что по-прежнему стою в том же холле. Все вокруг выглядело как обычно, но у меня было такое ощущение, что в том, другом, месте я провел много-много лет. Однако я не в силах был вспомнить подробности — память сохранила лишь жалкие обрывки воспоминаний, но и они улетучивались так стремительно, что я не успевал сосредоточиться ни на одном из них, дабы осознать или хотя бы предположить, что же все-таки произошло.

Все, что осталось в памяти, я только что изложил. Я стоял в холле. И смотрел на цветы. Никто не обращал на меня внимания. Я делал вид, что ничего особенного не случилось. Но при этом настойчиво пытался вспомнить, выхватить что-то конкретное из множества отрывочных фрагментов разговора, угроз, внешних деталей. И все это время я совершенно отчетливо видел перед собой отвратительное темное существо — именно таким мы обычно представляем демона и описываем его тем, кого хотим лишить разума. Я видел его лицо и...

— И что?

— Я видел его еще дважды...

Принесенной официантом салфеткой я промокнул влажный от пота лоб. Дэвид сделал заказ и, когда официант отошел, наклонился совсем близко ко мне и тихо спросил:

Ты думаешь, что видел дьявола?

Мы оба знаем, Дэвид, что меня трудно испугать, тем более до такой степени,— ответил я.— Нет такого вампира, которому удалось бы вызвать в моей душе страх. Я не боюсь ни старейших из нас, ни мудрейших, ни самых жестоких. Я не боюсь даже Маарет. А какие еще сверхъестественные силы мне известны? Элементали, полтергейсты, безмозглые духи, которых мы сплошь и рядом видим и знаем. Или те существа, духи природы, которых можно вызвать с помощью ритуалов кандомбле.

— Я понимаю,— откликнулся он.

— Это было божество во плоти, Дэвид.

Он улыбнулся, но без тени недоброжелательства или злорадства.

— Ну, если дело касается тебя, Лестат,— поддразнил он мягко,— следует, скорее, говорить о дьяволе во плоти.

Мы оба рассмеялись, однако, как любят выражаться многие писатели, смех наш был безрадостным.

— В следующий раз это произошло в Новом Орлеане, неподалеку от нашего дома — квартиры на Рю-Рояль. Я прогуливался и вдруг услышал за спиной шаги, как будто кто-то преследовал меня и хотел, чтобы я знал об этом. Черт побери, сколько раз я сам проделывал подобные трюки со смертными! Жестокая шутка, должен признаться. Господи! И зачем только меня таким создали! А в третий раз это существо вновь оказалось совсем рядом. Ситуация повторилась. Огромное создание буквально нависло надо мной. И крылья! Дэвид, у него были крылья! Не знаю, обладал ли он ими на самом деле или, объятый ужасом, я наделил его крыльями лишь в своем воображении, но я видел перед собой крылатое существо. Оно было ужасным, и это последнее видение длилось достаточно, чтобы я в страхе бежал от него, как последний трус. Когда я очнулся, то, как и всегда в таких случаях, обнаружил, что по-прежнему нахожусь в хорошо знакомом месте и вокруг ровным счетом ничего не изменилось.

— А оно не заговаривает с тобой, когда вот так появляется?

— Нет. Оно стремится свести меня с ума. Оно пытается... не знаю... возможно, хочет заставить меня сделать что-то. Помнишь, Дэвид, ты говорил, что тоже не знаешь, почему Бог и дьявол позволили тебе их увидеть?

— А тебе не приходило в голову, что произошедшее все-таки связано с жертвой, которую ты преследуешь? Быть может, кто-то или что-то не хочет, чтобы ты убил этого человека.

— Но это же полный абсурд, Дэвид. Ты только подумай, сколько бед и страданий сегодня в нашем мире. Вспомни о тех, кто гибнет в Восточной Европе, о войнах на Святой земле, о том, что творится в этом городе, в конце концов. Так неужели ты полагаешь, что Бог или дьявол станут беспокоиться о судьбе одного человека? А мы? Мы и нам подобные, пищей для которых веками служат те, кто слаб, беззащитен или, к своему несчастью, просто привлек к себе наше внимание? Известен ли тебе хоть один случай, когда дьявол вмешался в дела Луи, Армана, Мариуса или любого другого из нас? О, если бы только можно было вызвать его, добиться его августейшего появления и выяснить все раз и навсегда!

— А ты хочешь знать истину? — В голосе Дэвида слышался неподдельный интерес.

После минутного раздумья я отрицательно покачал головой.

— Не думаю, что это вообще можно объяснить. Я ненавижу собственный страх. Тебе не кажется, что это безумие? Возможно, это и есть ад. Ты лишаешься разума, и тобой мгновенно овладевают все демоны, которых ты когда-либо призывал.

— Грех так говорить, Лестат. Твои речи исполнены зла.

Я хотел было ответить, но вдруг запнулся. Зло...

— Ты говорил, что это было ужасно,— продолжал Дэвид,— что вокруг царил страшный шум, ты говорил о свете. Но зло? Ощущал ли ты при этом присутствие зла?

— Ну-у... Откровенно говоря, нет. Я его не ощущал. Скорее, я испытывал те же чувства, что и в тот момент, когда слышал отрывки той беседы... ощущение прямоты и искренности... да, пожалуй, это самое подходящее определение. И некой целенаправленной преднамеренности. И еще, Дэвид, должен тебе сказать, что существо, которое наблюдает за мной, обладает недремлющим разумом и ненасытным характером.

— Что?

— Недремлющим разумом,— настаивал я,— и ненасытным характером.

Возможно, мое высказывание прозвучало резко. Однако я знал, что это цитата. Хотя откуда она, я не имел представления. Быть может, из какого-то стихотворения?

— Что ты имеешь в виду? — спросил Дэвид.

— Не знаю. Я даже не могу сказать, почему произнес именно эти слова. И почему они вдруг пришли мне на ум. Но это правда. У него действительно недремлющий разум и ненасытный характер. Он не смертный. Он не человек.

— Недремлющий разум,— повторил вслед за мной Дэвид,— ненасытный характер.

— Да. Это божество, некое существо, нечто мужского рода. Хотя нет, подожди. Я не уверен, что оно принадлежит именно к мужскому роду. То есть я вообще не знаю, к какому роду его отнести. Скажем так: оно не является ярко выраженным существом женского рода, а потому естественно отнести его к роду мужскому.

— Понимаю.

— Ты считаешь меня сумасшедшим, не так ли? Во всяком случае, тебе бы хотелось так думать. Я прав?

— Конечно же нет.

— Но ты должен так думать,— настаивал я.— Потому что если это существо не плод моего воображения, значит, оно обитает где-то вне меня. А следовательно, может сделать объектом своего наблюдения и тебя.

Мои слова заставили Дэвида глубоко задуматься. Ответ его прозвучал для меня полной неожиданностью:

— Но ведь я ему не нужен, не так ли? И другие тоже. Ему нужен ты.

Я совершенно упал духом. Да, я исполнен гордыни, я самовлюбленное создание, я обожаю внимание, я жажду славы, я хочу быть желанным для Бога и дьявола... Я хочу... Я хочу... Я хочу...

— Я ни в коей мере не порицаю тебя,— сказал Дэвид.— Я просто размышляю и строю предположения. Почему это существо не пыталось угрожать другим? Быть может, потому, что в течение многих столетий никто из них... по крайней мере, никто из тех, кого мы знаем, не осмеливался коснуться этой темы. А ты в своих книгах совершенно недвусмысленно заявил, что ни один вампир никогда не встречался с дьяволом. Или я не прав?

Я пожал плечами в знак согласия. Луи, мой возлюбленный ученик и мое любимое создание, однажды пересек океан в надежде отыскать старейших вампиров и встретился с Арманом,

который принял его с распростертыми объятиями и заявил, что ни Бога, ни дьявола не существует. А за полвека до него я сам отправился на поиски родоначальников нашего племени и нашел Мариуса, ставшего вампиром еще во времена Древнего Рима. Он тоже утверждал, что нет ни Бога, ни дьявола.

Я сидел неподвижно, ощущая непонятный дискомфорт, чувствуя, что в помещении душно, что запахи, наполнявшие его, вовсе не настоящие, что на самом деле никаких лилий там нет, и что на улице становится все холоднее и холоднее. А еще я думал о том, что не могу даже надеяться на отдых, пока не наступит рассвет, что впереди еще долгая ночь, что я не нужен Дэвиду и рискую его потерять... и что это существо может прийти, что оно может появиться снова.

— Ты останешься со мной? — спросил я, сам себя ненавидя за свой вопрос.

— Я буду рядом и постараюсь удержать тебя, если оно захочет тебя забрать.

— Ты действительно это сделаешь?

— Да,— кивнул он.

— Но почему?

— Не будь глупцом,— ответил он.— Послушай, я не знаю, что именно видел тогда в кафе. И никогда больше мне не довелось ни видеть, ни слышать что-либо подобное. Тебе это известно, ведь я уже рассказывал об этом. Я отправился в Бразилию и постиг тайны кандомбле. В ту ночь... в ту ночь, когда ты приехал за мной, я как раз пытался вызвать духов природы.

— И они пришли. Они откликнулись на твой зов, но оказались слишком слабыми, чтобы помочь...

— Все так. Но... я сейчас о другом. Я говорю о том, что люблю тебя, что мы связаны между собой и эта связь носит совершенно особый характер. Луи поклоняется тебе, словно своего рода темному божеству, хотя он и делает вид, что ненавидит тебя за то, что ты сделал его себе подобным. Арман тебе завидует — причем гораздо сильнее, чем ты предполагаешь,— и шпионит за тобой.

— Я вижу и слышу Армана, но не обращаю на него внимания.

— Что до Мариуса, то он не простил тебе нежелание стать его учеником, его помощником и правой рукой; он не простил

твой отказ поверить в то, что история представляет собой некий процесс, последовательность связанных между собой событий, направленных во искупление...

— Отлично сказано. Именно в этом состоит его вера. Однако он сердит на меня за гораздо более тяжелые проступки. Ты не был одним из нас, когда я пробудил Отца и Мать, и не присутствовал при этом... Впрочем, это сейчас к делу не относится.

— Мне все известно. Ты забыл о своих книгах. Как только они становились доступными смертным, я немедленно принимался за чтение.

— Быть может, дьявол тоже удосужился их прочесть,— с горьким смешком заметил я. О, как я ненавидел себя за этот страх! Он приводил меня в ярость.

— Суть в том, что я останусь с тобой.— Он опустил взгляд и погрузился в размышления, как часто делал, еще будучи смертным. Даже тогда, когда я мог читать его мысли, он умел усилием воли скрывать их от меня. А теперь между нами вырос барьер, и ни сейчас, ни впредь мне не удастся проникнуть в его разум.

— Я голоден,— прошептал я.

— Отправляйся на охоту.

Я отрицательно качнул головой.

— Нет, я возьму свою жертву, как только почувствую себя к этому готовым. Еще немного — и Дора уедет из Нью-Йорка, вернется в свой старый монастырь. Она знает, что мерзавец обречен. И когда я наконец доберусь до него, она решит, что это дело рук его врагов — а их у него великое множество — и что пришел час возмездия за все причиненное им зло. Ну просто как в Библии. А между тем все гораздо проще, и истина состоит в том, что ее папочка попался на глаза некоему существу, убийце, вампиру, скитающемуся по Саду Зла, каковым, собственно, и является весь наш мир, в поисках подходящей жертвы. Вот какой конец ожидает этого человека.

— Ты собираешься его мучить?

— Какой нескромный вопрос, Дэвид! Вот уж не ожидал — ты меня просто поражаешь!

— И все-таки? — Голос Дэвида звучал неуверенно, в нем появились почти умоляющие нотки.

— Не думаю. Я просто хочу...— Я улыбнулся. Ему и без моих объяснений все понятно. Нет нужды рассказывать о том, как

пьют кровь, а вместе с нею поглощают душу и постигают то, что хранила в своей душе и в сердце жертва. И мне не удастся до конца понять, что собой представляет этот отвратительный смертный, пока я не схвачу его и, крепко прижав к себе, не вскрою его артерию, единственный источник правды, если мне будет позволено так выразиться. Ах, слишком много мыслей, слишком много воспоминаний и гнева...

— Я намерен жить вместе с тобой,— сказал Дэвид.— У тебя здесь снят номер?

— Его нельзя назвать уж очень удобным. Поищи для нас что-нибудь. Желательно поблизости от... поблизости от собора.

— Почему?

— Неужели тебе нужны объяснения? Если дьявол вновь станет меня преследовать, я укроюсь от него в соборе, брошусь на колени перед алтарем, как перед Святым причастием, и буду молить Господа о прощении, дабы он уберег меня от геенны огненной.

— Ты действительно на грани безумия.

— Ничего подобного. Взгляни на меня. Я в состоянии самостоятельно завязать шнурки на ботинках. И галстук. А ведь это требует определенного навыка: нужно правильно повязать его на шею, заправить под воротничок рубашки... чтобы не выглядеть как обмотанный шарфом лунатик. Я вполне в своем уме, как любят выражаться смертные. Так ты поищешь для нас подходящие апартаменты?

Он кивнул.

— Неподалеку от собора есть какая-то стеклянная башня. Чудовищное сооружение.

— Да, знаю, Олимпийская башня.

— Вот-вот. Может быть, ты снимешь номер там? Откровенно говоря, у меня для этого есть специальные агенты из числа смертных. Сам не знаю, почему занимаюсь всеми этими глупостями и ною здесь, как последний дурак, да еще и тебя заставляю заниматься такими мелочами.

— Я обо всем позабочусь. Сегодня уже, наверное, слишком поздно, но завтра вечером я сниму номер на имя Дэвида Тальбота.

— И еще. Моя одежда. Так, небольшой запас — пара чемоданов и несколько пальто. Номер снят на имя Исаака Руммеля. Ведь на дворе как-никак зима.

Я дал Дэвиду ключ от номера, стыдясь унизительности своего поручения. Я превращал его едва ли не в своего слугу. Кто знает, быть может, он изменит решение и снимет номер на имя Ренфилда.

— Не беспокойся. Об этом я тоже позабочусь,— сказал он.— Завтра вечером у нас будет роскошное убежище. Ключи для тебя будут оставлены у портье. Но что ты сам намерен делать?

Я помолчал и прислушался, чем занята моя жертва. Он все еще разговаривал с Дорой. Утром она собиралась уехать.

— Убить этого мерзавца.— Я указал наверх.— Думаю, что сделаю это завтра же вечером, сразу после заката. Если только мне удастся быстро установить его местонахождение. Дора к тому времени уедет. Ты даже не представляешь, как я проголодался. Ну почему бы ей было не улететь сегодня, полуночным рейсом? Ах, Дора, Дора...

— Тебе действительно нравится эта девушка, да?

— Да. Посмотри как-нибудь ее выступление по телевизору, и сам все поймешь. Ее проповеднический дар довольно-таки впечатляющ, а эмоциональная манера выступления просто захватывает. Иногда это даже пугает.

— Она и вправду так талантлива?

— Она девушка богато одаренная во всех отношениях. Очень белая кожа, короткие черные вьющиеся волосы, длинные стройные ноги, замечательной красоты фигура. А танцует она с таким самозабвением, что кажется, будто перед тобой кружится в экстазе какой-нибудь дервиш, и речь ее отнюдь не похожа на бессмысленное бормотание — она исполнена искреннего восторга и доброжелательности.

— Не сомневаюсь, что все так и есть.

— Видишь ли, дело здесь не только в религии. То есть я имею в виду, что ее проповеди — это не бесконечные напоминания о грядущем Апокалипсисе или угрозы, что за вами придет дьявол, если вы немедленно не вышлете ей чек...

Дэвид какое-то время размышлял над моими словами, потом многозначительно произнес:

— Представляю, как обстоит дело...

— Нет, не представляешь. Я люблю ее, но вскоре совершенно о ней забуду. Просто... ну-у... есть в ее проповедях нечто очень убедительное, и при этом их отличает какая-то изысканность,

утонченность, что ли... Она искренне верит в то, что Христос и правда существовал, что он странствовал по земле. Она думает, что все это происходило в действительности.

— А это существо, которое наблюдает за тобой... Ты уверен, что оно никак не связано с твоим выбором жертвы, с тем, что это ее отец?

— А вот это можно выяснить.

— Каким образом?

— Убить сукина сына сегодня же ночью. Возможно, я так и сделаю. Как только он выйдет от нее. В отеле он не останется. Он слишком боится навлечь на нее неприятности и подвергнуть ее хоть малейшей опасности. И потому никогда не останавливается в том же отеле, что и она. В этом городе у него есть три квартиры. Меня, откровенно говоря, удивляет, что он провел сегодня с ней так много времени.

— Я останусь с тобой.

— Нет-нет, занимайся своими делами. А это дело позволь мне завершить самостоятельно. Ты мне нужен, Дэвид. Очень нужен, поверь. Мне необходимо было все тебе рассказать и побыть в твоем обществе — чисто человеческая потребность, издревле присущая смертным. Однако это вовсе не означает, что ты должен все время быть рядом. Ты голоден. Я знаю. И мне нет необходимости читать твои мысли, чтобы понять это, почувствовать твою жажду. Боясь меня разочаровать, ты голодаешь с самого приезда сюда.— Я улыбнулся.— Порыскай по городу, Дэвид, и отыщи что-нибудь подходящее для себя. Ведь ты еще не охотился в Нью-Йорке, правда?

Он отрицательно покачал головой. Однако взгляд его изменился. В глазах появился голодный блеск. Такое выражение появляется во взгляде кобеля, учуявшего поблизости неудовлетворенную суку. Это звериное выражение свойственно всем нам, без исключения, ибо на самом деле мы ничем не лучше диких зверей.

— Не забудь о номере в Олимпийской башне,— напомнил я, вставая из-за стола.— И пожалуйста, если это будет возможно, с окнами, выходящими на собор Святого Патрика. И не слишком высоко. Желательно поближе к его шпилям и колокольне.

— Нет, ты определенно утратил свой великолепный сверхъестественный разум.

— Ни в малейшей степени. Однако мне пора, хотя за окнами идет снег. Он собирается уходить и уже нежно целует ее на прощание. Возле отеля его ждет машина. Он, скорее всего, поедет в ту квартиру, где хранятся наиболее ценные из его сокровищ. Он думает, что о ней не знают ни его соперники в преступном бизнесе, ни власти — или что, по крайней мере, они полагают, будто это антикварный магазин, принадлежащий кому-то из его друзей. Однако мне известно все. И я знаю, как много значат для него спрятанные там произведения искусства. Если он сейчас направится прямо туда, я последую за ним. Времени больше нет, Дэвид, мне надо идти.

— Не знаю, как и поступить,— признался Дэвид.— Я в полном замешательстве и едва не сказал тебе на прощание «Бог в помощь».

Я рассмеялся и, наклонившись, поцеловал его в лоб. Это был мимолетный поцелуй, не способный вызвать ненужных подозрений, даже если кто-то его и заметил. После этого, подавив внезапно охвативший меня приступ безотчетного страха, я вышел из отеля.

Высоко надо мной плакала в своем номере Дора. Она сидела у окна, смотрела, как падают на землю снежинки, и сожалела о том, что отказалась принять его очередной подарок. Ах, если бы только... Прижавшись лбом к холодному стеклу, она молилась о своем отце.

Я пересек улицу. Снег не вызывал у меня неприятных ощущений. В конце концов, я все же монстр, а не человек.

Укрывшись позади собора Святого Патрика, я наблюдал, как моя симпатичная жертва покинула отель, прячась от снега, втянула голову в плечи и поспешно направилась к ожидавшему его дорогому черному автомобилю. Он плюхнулся на заднее сиденье и назвал шоферу адрес — совсем рядом с набитой антикварными вещами квартирой. Прекрасно! По крайней мере какое-то время он будет там один.

«Почему бы тебе наконец не исполнить задуманное, Лестат? — сказал я себе.— Почему бы не позволить дьяволу завладеть тобой? Вперед! Ты не должен испытывать страх, переступая порог ада. Так иди же!»

2

До квартиры в Верхнем Ист-сайде я добрался раньше, чем он. Мне уже много раз доводилось тайно провожать его до самых дверей, и потому дорогу я знал хорошо. Как и обстановку вокруг. Жильцы верхнего и нижнего этажей едва ли имели представление о том, кто занимает эту квартиру. Обычно так же устраивались в своих обиталищах и вампиры. Длинный ряд окон на втором этаже был защищен решетками и скорее походил на тюрьму; попадал туда отец Доры исключительно через заднюю дверь.

Он никогда не позволял водителю подъезжать к самому дому, а останавливал машину на Мэдисон или на Пятой авеню и дальше добирался пешком. Несколько зданий в этих кварталах также принадлежали ему. Однако никто из его преследователей не знал о существовании тайной квартиры.

Я не уверен, что точное ее местонахождение было известно даже его дочери. Во всяком случае, за те несколько месяцев, что я следил за этим человеком, с вожделением ожидая подходящего момента, чтобы отнять наконец у него жизнь, он ни разу не привозил туда Дору. Более того, проникая в ее мысли, я не мог уловить ни единого образа, связанного с этой квартирой.

Но о существовании коллекции раритетов Дора знала. В прежние времена она принимала его подарки. Некоторые из них мне довелось видеть в ту ночь, когда я сопровождал ее до Нового Орлеана и затем неслышно прошел вместе с ней по пустым помещениям монастыря. Но сейчас все изменилось, и моя жертва горько сожалела о том, что дочь решительно отказалась от очередного подношения. По его мнению, вещь была действительно священной.

Проникнуть в квартиру мне не составило труда.

На самом деле квартирой эти апартаменты можно было назвать лишь с большой натяжкой. Правда, там имелся небольшой туалет, довольно-таки грязный, но лишь в том смысле, в котором бывает грязным любое помещение, которым никто не пользуется и которое стоит запертым в течение очень долгого времени. Все остальное пространство до отказа было забито сундуками, чемоданами, статуями, бронзовыми фигурками и огромным количеством бесформенных тюков и пакетов, которые на

первый взгляд выглядели обычным хламом, но в действительности скрывали внутри поистине бесценные сокровища и археологические находки.

До сих пор я заглядывал в эту квартиру только через окно и теперь, оказавшись в ней и спрятавшись в одной из дальних комнат, испытывал весьма странное ощущение. В помещении было холодно. Впрочем, как только он придет, повсюду вспыхнет свет и воздух быстро наполнится теплом.

Я чувствовал, что он еще довольно далеко, застрял в пробке где-то на середине Мэдисон, и потому стал спокойно обследовать квартиру.

Первое, что меня поразило,— это огромная мраморная скульптура ангела, на которую я едва не натолкнулся, войдя в одну из комнат. Такие статуи обычно стоят внутри церкви с чашей в руках. В чаше, сделанной в виде створки раковины, держат святую воду. Я видел их и в Европе, и в Новом Орлеане.

Скульптура была гигантской. Я видел лишь профиль грубо высеченного лица ангела, слепо уставившегося в темноту. Дальний конец помещения тускло озарял свет, проникавший туда с небольшой оживленной улочки, упиравшейся в Пятую авеню. Обычный для Нью-Йорка шум уличного движения доносился сюда даже сквозь стены.

Поза ангела была такой, словно он только что спустился с небес, чтобы одарить всех желающих содержимым своей святой чаши. Я слегка похлопал его по согнутому колену и обошел вокруг статуи. Ангел мне не понравился. В воздухе отчетливо ощущался запах пергамента, папируса и разнообразных металлов. Комнату напротив заполняли русские иконы. Они висели по стенам, и отблески света играли на нимбах над головами печальнооких Мадонн и на суровых ликах Христа.

Я прошел в следующую комнату, где увидел великое множество распятий. Я узнал испанский стиль, несколько экземпляров относились, кажется, к итальянскому барокко, а одно распятие было, вероятно, самым древним из всех и представляло собой действительно вещь бесценную. Фигура Христа, страждущего на изъеденном червями кресте, была выполнена с нарушением всех пропорций, однако с поистине ужасающей выразительностью.

Только теперь до меня дошло, что *все* собранные здесь шедевры были на религиозную тему. Все до единого! Однако, если задуматься, такое определение можно дать едва ли не любому произведению искусства, созданному до конца девятнадцатого столетия. Иными словами, искусство по большей части неотделимо от религии.

Квартира была совершенно лишена жизни.

Отвратительно пахло инсектицидами. Конечно, он вынужден пользоваться ими, причем в больших количествах, дабы предохранить старинную деревянную скульптуру. Я не мог уловить ни единого намека на то, что здесь водятся крысы или иные живые существа. Я не слышал и не ощущал чьего-либо присутствия вообще. В квартире этажом ниже было пусто, только из помещения ванной доносились тихие звуки работающего внизу радио.

Жильцы верхних квартир были дома — все пожилые люди. Мне удалось поймать образ прикованного к креслу старика с наушниками на голове, который чуть покачивался в такт эзотерической музыке какого-то немецкого композитора. Возможно, это был Вагнер — знаете, несчастные, обреченные влюбленные, оплакивающие наступление «ненавистного рассвета», или подобная ерунда в том же духе, мрачная и занудная. Впрочем, в данном случае тема вообще не имеет значения. Мой внутренний взор уловил еще один образ — женщина не то шила, не то вязала. Слабое, хилое существо, на которое не стоило даже обращать внимание.

Откровенно говоря, мне не было дела ни до кого из них. В этой квартире я чувствовал себя в полной безопасности, а вскоре здесь появится он, и воздух наполнится восхитительным ароматом его крови. Лишь бы только мне удалось сдержаться и не сломать ему шею раньше, чем я выпью последнюю каплю содержимого его сосудов. Итак, долгожданный момент настал.

Дора ничего не узнает, во всяком случае до своего возвращения домой завтра утром. Да и кому придет в голову, что я оставил здесь труп?

Я прошел в гостиную. Там было относительно чисто. Эта комната служила ему местом отдыха, где он читал, любовался своими сокровищами и тщательно изучал наиболее интересные из них. Обстановку ее отличали удобные, мягкие диваны с множеством подушек и расставленные повсюду — на столах, на полу и даже на картонных коробках — галогенные лампы из черного металла. Вполне современные, яркие и очень легкие при переноске, они напоминали причудливых насекомых. Хрустальные пепельницы были полны окурков — явное свидетельство того, что он больше заботился о безопасности, чем о порядке и чистоте; такое предположение подтверждали и оставленные недопитыми стаканы, ликер на дне которых давно высох и теперь блестел, как застывший лак.

Свет, проникавший сквозь тонкие и довольно грязные шторы на окнах, казался пятнистым и создавал в помещении атмосферу мрачной таинственности.

Но даже и эта комната была заполнена статуями святых: суровый святой Антоний держал на сгибе руки пухленького младенца Христа, а рядом — большая статуя Богоматери с холодным выражением лица, созданная, несомненно, где-то в Латинской Америке. Была там и скульптура из черного гранита, изображающая какое-то ангелоподобное существо. Как ни напрягал я свое вампирское зрение в царящем вокруг полумраке, даже мне не удалось рассмотреть эту скульптуру как следует. Однако мне показалось, что существо больше похоже на демона, каким его представляли в Месопотамии, чем на ангела.

В какой-то момент гранитный монстр заставил меня содрогнуться от ужаса, ибо он напомнил... Нет, не может быть. Наверное, виной всему его крылья. Они заставили меня вспомнить о том существе, которое я видел мельком; о том, которое, как я полагал, преследовало меня повсюду.

Однако никаких шагов я здесь не слышал. Не было и ощущения разрыва окружающей меня материи. Передо мной была обыкновенная гранитная скульптура, хотя и достаточно устрашающего вида,— статуя, вывезенная из какого-нибудь ужасного храма, заполненного изображениями обитателей ада и небес.

На столах лежало множество книг. Да, похоже, он действительно любил книги. Я видел великолепные экземпляры, напечатанные на веленевой бумаге; попадались и очень древние, с пергаментными страницами. Но были среди них и современные издания: книги по философии, религии, мемуары известных людей и военных корреспондентов, книги, рассказываю-

щие о событиях недавнего прошлого, и даже несколько поэтических сборников.

Труды по истории религии Мирчи Элиаде — это, скорее всего, подарок Доры. Рядом с ними лежала совсем новенькая «История Бога», написанная женщиной по имени Карен Армстронг, еще какие-то книги о поиске смысла жизни. Увесистые тома. И забавные — во всяком случае, для таких, как я. Все эти книги он явно читал, ибо от них исходил его запах, его, а не Доры.

Похоже, он проводил здесь гораздо больше времени, чем я предполагал.

Я еще раз внимательно осмотрел все вокруг и принюхался. Да, он приходил сюда очень часто и... с кем-то еще. И этот кто-то здесь умер! Надо же, я не знал. Итак, этот убийца, наркоделец, был влюблен в молодого человека, и отношения между ними были весьма серьезные. Все происходило здесь, в этой берлоге. В голове у меня замелькали обрывки событий, но это не были зрительные образы — скорее нечто более впечатляющее, действовавшее на уровне эмоций, противостоять которым гораздо сложнее. Молодой человек скончался совсем недавно.

Столкнись я со своей жертвой в то время, когда умирал его друг, я бы, наверное, прошел мимо и нашел другой объект для преследования. И все же... Он был таким аппетитным...

Тем временем он уже поднимался по ступенькам внутренней потайной лестницы — шел осторожно, сжав пальцами рукоятку спрятанного под пальто пистолета. Выглядело это весьма банально, прямо как в голливудских фильмах, хотя во многих других отношениях его никак нельзя было назвать человеком предсказуемым. Впрочем, те, кто так или иначе связан с наркобизнесом, в большинстве своем весьма эксцентричны.

Наконец он подошел к двери в квартиру и увидел, что она открыта. Какой всплеск ярости! Я скользнул в тень, спрятавшись в углу как раз напротив величественной гранитной статуи, между двумя покрытыми пылью святыми. Увидеть меня в темной комнате он не мог — для этого ему нужно было включить хотя бы одну из галогенных ламп, да и они освещали лишь небольшое пространство вокруг.

Он стоял, прислушиваясь, пытаясь уловить чужое присутствие, просчитывая в уме возможные варианты. Ему была ненавистна даже мысль о том, что кто-то посмел вторгнуться в его владения. Несмотря на то что он был один, об отступлении не могло быть и речи — он намеревался тщательно обследовать квартиру и готов был на все, вплоть до убийства. Нет, никто не мог знать об этом убежище; скорее всего, сюда пролез какой-нибудь проклятый мелкий воришка, наконец рассудил он и в ярости мысленно обрушил на наглеца целый шквал злобных проклятий.

Вытащив пистолет и держа его наготове, он принялся методично обходить комнату за комнатой — те самые, в которых я только что побывал. Я слышал, как щелкали выключатели, видел, как вспыхнул в прихожей свет.

Откуда у него такая уверенность, что в квартире, кроме него, никого нет? Ведь спрятаться здесь мог, по сути, кто угодно и где угодно. Я-то точно знал, что мы с ним одни. Но он? На чем было основано его убеждение? Возможно, все дело в той особенности его характера, которая позволяла ему оставаться живым и безнаказанным до сих пор,— в причудливой смеси изобретательности и беспечности?

И вот наконец настал восхитительный момент: он полностью убедился, что действительно один в своем логове.

Только тогда он вошел в гостиную — я отчетливо видел его силуэт на фоне освещенного из прихожей проема двери, в то время как меня, стоящего в густой тени, он заметить никак не мог,— убрал свою девятимиллиметровую пушку в наплечную кобуру и медленно стянул с рук перчатки.

Даже в неярком свете я отчетливо видел каждую деталь его облика, все то, что привлекало и восхищало меня в этом человеке.

У него были мягкие черные волосы, азиатского типа лицо — определить национальность более точно я бы не решился: такие лица можно встретить и у индийцев, и у японцев, и у цыган; он мог оказаться даже итальянцем или греком,— хитрые, очень темные, почти черные глаза и удивительно гармоничная фигура. Эта гармония, симметрия и соразмерность всех частей тела была, пожалуй, едва ли не единственной особенностью, которую унаследовала от него Дора. Однако в отличие от светлокожей дочери — должно быть, у матери Доры кожа отливала

просто молочной белизной — он обладал кожей цвета жженого сахара.

Внезапно я почувствовал, что он забеспокоился. Повернувшись ко мне спиной, он пристально уставился на какой-то предмет, вызвавший его тревогу. Я тут был явно ни при чем, поскольку ни к чему даже не прикоснулся. Настороженное, взвинченное состояние не позволяло ему логически мыслить и на какое-то время разрушило завесу между моим и его разумом.

Высокий, в длинном пальто и великолепных, ручной работы ботинках с Савил-роу, которые пользуются неизменным спросом во всех магазинах мира, он шагнул вперед, в сторону, противоположную той, где прятался я. И только тут из множества образов, роившихся в моей голове, ярко высветился один, и я понял, что предметом, столь встревожившим и смутившим его, была гранитная статуя.

Мне стало ясно, что он понятия не имел ни о том, кого изображает эта скульптура, ни о том, как она попала в его коллекцию. Опасливо озираясь по сторонам, словно боясь, что кто-то все же скрывается рядом, он приблизился к статуе, потом обернулся, еще раз обвел комнату внимательным взглядом и вновь вытащил из кобуры оружие.

Он тщательно перебирал в уме все возможные версии. Был один торговец, которому хватило бы ума притащить сюда это и оставить потом дверь открытой. Однако, прежде чем ехать, он бы непременно позвонил.

Интересно, откуда она? Из Месопотамии? Или из Ассирии? Неожиданно, вопреки всем доводам здравого смысла, он протянул руку и погладил гранитную поверхность. Господи, какая великолепная вещь! Он был просто в восторге и потому вел себя глупо.

Ведь рядом мог оказаться кто-то из его врагов. Но, с другой стороны, с чего бы это гангстеру или федеральному агенту заявляться сюда с такими подарками?

Как бы то ни было, при виде столь совершенного произведения искусства он не испытывал ничего, кроме восхищения. Мне же по-прежнему не удавалось как следует рассмотреть статую. Чтобы лучше видеть, надо было снять очки с фиолетовыми стеклами, однако я не осмеливался даже пошевелиться, ибо мне

нравилось видеть его восторг, едва ли не преклонение перед новым шедевром, ощущать его безграничное желание заполучить статую в свою коллекцию. Именно эта неуемная жажда обладания и привлекала меня в нем в первую очередь.

Он уже не мог думать ни о чем другом — только о прекрасно исполненной резьбе, о том, что, судя по определенным признакам, выполнена она не в древние времена, а относительно недавно, скорее всего в семнадцатом веке, что падший ангел изображен с удивительным мастерством и выглядит совсем как живой.

Падший ангел... Мой любитель искусства рассматривал его со всех сторон, ощупывал, гладил по лицу, волосам... разве что не вставал на цыпочки и не целовал камень. Черт побери, но я-то ничего толком не видел! И как он только мирится с такой темнотой! Впрочем, он стоял почти вплотную к статуе, в то время как я маялся футах в двадцати, зажатый между двумя святыми.

Наконец он включил одну из галогенных ламп, внешне напоминавшую охотящегося жука-богомола, и повернул ее тонкую металлическую лапку так, чтобы луч света упал на лицо ангела. Теперь мне отчетливо были видны оба профиля: и статуи, и моей жертвы.

Потрясающе! Этот человек был охвачен истинной страстью и даже иногда тихо вскрикивал от вожделения. Его уже совершенно не интересовало, кто принес сюда это чудо, он простил неизвестному посетителю даже незапертую дверь и совершенно не вспоминал о возможной угрозе. Он вновь спрятал пистолет в кобуру, причем сделал это машинально, казалось даже не сознавая, что тот вообще был у него в руках, потом все же поднялся на цыпочки, пытаясь оказаться лицом к лицу с ужасным и устрашающе-грозным ангелом. Оперенные крылья! Не голые, как у рептилии, а оперенные! А лицо... Изображенное в классическом стиле, с четкими линиями и чуть удлиненным носом. И все же в обращенном ко мне в профиль лице присутствовала некая жестокость, я бы даже сказал — свирепость. И почему статуя черная? Быть может, это святой Михаил, в праведном гневе низвергающий демонов в ад? Нет, волосы слишком густые и растрепанные. И потом... доспехи, нагрудник... И только в этот момент я разглядел самую важную деталь: козлиные ноги и копыта! Дьявол!

Я вновь содрогнулся. *Совсем как у того существа, которое я видел!* Нет, глупо даже думать об этом. Кроме того, я не ощущал близкого присутствия моего преследователя. Не было ни головокружения, ни дезориентации. Откровенно говоря, я даже не испытывал страха. Только дрожь в предвкушении ожидавшего меня впереди наслаждения — больше ничего.

Я застыл на месте. «Не спеши,— уговаривал я себя.— Обдумай все как следует. Ты наконец настиг свою жертву, а эта статуя не более чем совпадение, непредвиденная деталь, призванная усилить эмоциональную напряженность ситуации». Он направил свет еще одной лампы на статую. То, как он изучал ее, со стороны выглядело едва ли не эротично. Я не удержался от улыбки. Эротично выглядело и то, как я сам изучал свою будущую жертву — этого сорокасемилетнего мужчину, обладающего поистине юношеским здоровьем и хладнокровием опытного преступника. Напрочь позабыв о подстерегающей повсюду опасности, он сделал пару шагов назад и опять принялся рассматривать свое новое приобретение. Как оно здесь появилось? Кто мог принести сюда эту статую? Он понятия не имел даже о том, сколько она может стоить. Разве что Дора?.. Нет, Доре она бы не понравилась. Дора... Сегодня вечером она разбила ему сердце, отказавшись принять подарок.

Настроение его резко упало. Ему не хотелось вспоминать о Доре и ее отповеди — дочь говорила, что он должен отказаться от своего бизнеса, что она больше не возьмет от него ни цента для своей церкви, что, несмотря ни на что, она любит его и будет страдать, если ему придется предстать перед судом, что она не желает брать этот Плат.

О каком Плате шла речь? Он тогда сказал, что это, конечно, подделка, однако лучшая из всех, какие ему доводилось видеть до сих пор. Плат... И вдруг все встало на свои места. Обрывки подслушанного разговора соединились в моем сознании с недавно промелькнувшей перед глазами деталью: висящим в рамке на дальней стене небольшим фрагментом ткани с изображенным на нем ликом Христа. Плат... Плат Вероники.

Всего лишь час назад он говорил Доре:

— Тринадцатый век! И он действительно прекрасен, поверь! Ради всего святого, Дора, прими его. Ведь если я не могу оставить все эти вещи тебе...

Так вот какой подарок хотел он преподнести дочери! Лик Христа!

— Я больше ничего не возьму у тебя, папа, я же говорила. Я не хочу...

Но он настаивал, мотивируя свою просьбу тем, что в будущем она сможет выставлять его новый подарок на обозрение публики — равно как и все прочие сокровища — и таким образом зарабатывать неплохие деньги для церкви.

Дора в ответ лишь расплакалась. Да, именно так все происходило в отеле, в то время как мы с Дэвидом сидели в двух шагах от них, в баре.

— А если, предположим, эти ублюдки действительно заловят меня на чем-нибудь и предъявят обвинение, которое я не смогу опровергнуть... Ты хочешь сказать, что и тогда не возьмешь эти вещи? Ты допустишь, чтобы они достались совершенно чужим людям?

— Они ворованные, папа! — сквозь слезы твердила Дора.— Они ворованные! Все эти сокровища грязные!

Он действительно не понимал свою дочь. Сам он был вором едва ли не с младенческого возраста. Ему вспомнился Новый Орлеан. Пансион... Причудливое смешение нищеты и элегантности. Вечно пьяная мать... Старый Капитан, управляющий в антикварном магазине... Перед его мысленным взором проносились видения прошлого. Он, моя нынешняя жертва, а тогда еще мальчишка, каждый день перед школой приносил Старому Капитану, занимавшему передние комнаты в доме, поднос с завтраком. Пансион... служба... элегантные старики... Сент-Чарльз-авеню... Времена, когда мужчины по вечерам проводили время на террасах, а рядом с ними сидели пожилые леди в шляпах... И дневной свет, который мне никогда больше не суждено увидеть...

Прекрасные воспоминания... Нет, Доре эта статуя определенно не понравилась бы. Более того, он и сам уже не был уверен, что хотел бы иметь ее у себя в коллекции. У него давно сформировались некоторые стандарты и представления, которые зачастую трудно было объяснить посторонним. Мысленно, словно беседуя с торговцем, он уже выдвигал аргументы, оправдывающие его нежелание приобрести этот шедевр: «Статуя восхитительна, не спорю... Однако она чересчур барочна, я бы ска-

зал, и лишена того элемента... как бы это выразиться... искажения, что ли, который я очень ценю».

Я улыбнулся. Мне нравился образ мыслей этого человека. А еще больше мне нравился запах его крови. Я глубоко вдохнул, и ее аромат пронзил меня насквозь, мгновенно превратив в хищника. «Не спеши, Лестат,— приказал я себе.— Ты ждал этого момента несколько месяцев. Не торопи события». Он тоже чудовище. Он стрелял в головы людей, он безжалостно убивал их ножом. Однажды он хладнокровно застрелил не только своего врага — владельца маленькой бакалейной лавки, но и его жену. Женщина просто оказалась на его пути. А потом спокойно вышел на улицу. Это случилось в Нью-Йорке, давно, еще до того, как он стал вести дела в Майами и Южной Америке. Тем не менее он помнил об этом случае, и потому я тоже знаю о нем.

Он вообще часто вспоминал о совершенных в прошлом убийствах — а их было немало,— и, естественно, о них известно и мне.

Он внимательно рассматривал ноги ангела — или демона, или дьявола, как вам будет угодно,— и копыта, которыми они заканчивались. А мне вдруг показалось, что крылья этого существа едва ли не упираются в потолок, и меня вновь чуть не пробрала дрожь. Однако я сдержался и успокоил себя тем, что стою на твердой земле и что ничего сверхъестественного не происходит.

Тем временем он успел снять пальто, под которым не было пиджака — только рубашка. Нет, это уже слишком! В распахнутом вороте рубашки я отчетливо видел его великолепную шею и то восхитительное место на ней, чуть ниже мочки уха, которое служит для многих одним из мерил мужской красоты.

Черт побери, не я это придумал! Всем известно, какое значение придается пропорциям шеи у мужчин. Мне нравился он весь, целиком, но больше всего, конечно, я ценил его ум и интеллект. Черт с ней, с азиатской красотой, и тому подобными глупостями, и даже с его тщеславием, которое явно бросалось в глаза. Разум, вот что важно, разум, который был сейчас сосредоточен только на одном: на статуе, заставившей мою жертву на время забыть даже о Доре.

Он протянул руку к еще одной галогенной лампе и, не обращая внимания на то, что металл почти раскален, повернул ее так, чтобы луч был направлен прямо на то крыло демона, что располагалось ближе ко мне. Это позволило мне увидеть то, о чем он в тот момент размышлял, и полностью согласиться с ним, ибо крыло было действительно совершенно и выполнено со свойственной стилю барокко любовью к каждой детали. Нет. Он не коллекционирует такие вещи. Он отдает предпочтение гротеску, а эта статуя лишь случайно выглядит таковой. Господи, она действительно ужасна! Нечто в стиле Уильяма Блейка: огромная грива волос, злобное выражение лица, большие круглые глаза. И эти глаза, казалось, с ненавистью устремлены прямо на мою жертву.

— Блейк. Да, Блейк! — неожиданно воскликнул он и обернулся.— Блейк! Эта проклятая статуя как будто сошла с одного из рисунков Блейка!

Я вдруг понял, что он смотрит прямо на меня. Я, должно быть, неосторожно направил ему свое мысленное послание — и связь осуществилась! К моему великому удивлению, между нами установился контакт. Он видел меня! Возможно, он уловил отблеск света в стеклах моих очков или сияние волос.

Держа руки опущенными, я медленно выступил из тени. Меньше всего мне хотелось, чтобы он выхватил свой пистолет. Но он и не думал это делать. Он просто смотрел на меня. Быть может, его слепил яркий свет стоявших совсем близко галогенных ламп, в лучах которых на потолке четко вырисовывалась тень крыла. Я подошел ближе.

Он не произнес ни слова. Он был испуган. Точнее, я бы сказал — встревожен. Нет, все же более чем встревожен. Вероятно, он чувствовал, что эта встреча может стать последней в его жизни. Кому-то все-таки удалось до него добраться. И уже слишком поздно хвататься за оружие или пытаться сделать что-то еще. Тем не менее страха передо мной я в нем не ощущал.

Будь я проклят, если он в первый же миг не понял, что перед ним не человеческое существо.

Быстро преодолев разделявшее нас расстояние, я взял в ладони его лицо. Он сразу же задрожал и покрылся потом, однако мгновенным движением руки сдернул с меня очки, которые тут же упали на пол.

— О, как восхитительно оказаться наконец рядом с тобой! — прошептал я.

Он был не в силах выдавить из себя хоть слово. Ни один смертный, попав в мои объятия, не мог — да и не должен был — произнести ничего, кроме молитв. А этот человек не умел молиться. Чувствуя, как крепко держат его лицо ледяные руки, и не смея пошевелиться, он взглянул мне прямо в глаза и долго всматривался в них, пока наконец не понял, кто перед ним стоит... Не человек!

Меня поразила его реакция. Конечно, мне и раньше приходилось попадать в аналогичные ситуации — меня, точнее то, чем я, по сути, являюсь, узнавали во многих местах по всему миру. Однако такое узнавание всегда сопровождалось молитвами, утратой способности разумно мыслить или иным издревле присущим человеку поведением в подобных обстоятельствах. Даже в старой доброй Европе, где верили в существование носферату, люди успевали выкрикнуть хотя бы несколько слов молитвы, прежде чем я вонзал в них зубы.

Но как, скажите, следует расценить вот это? Что означает его пристальный взгляд и напускная смелость закоренелого преступника?

— Хочешь умереть так же, как и жил? — шепотом спросил я.

Мысль о Доре словно вдохнула в него новые силы и заставила действовать Он яростно вцепился в мои руки, мертвой хваткой державшие его за лицо, однако, почувствовав их поистине каменную крепость, попытался действовать по-другому: принялся извиваться и конвульсивно дергаться, стараясь выскользнуть из моих ладоней. Бесполезно. Он зашипел от бессилия.

Меня вдруг охватила необъяснимая жалость к этому человеку. Я решил, что должен проявить милосердие и перестать мучить его столь жестоко. В конце концов, он так много знает и понимает. «Ты наблюдал за ним в течение стольких месяцев,— уговаривал я себя,— и теперь не должен затягивать развязку. Но, с другой стороны, где и когда тебе представится возможность отыскать еще одну такую жертву?»

Итак, голод одержал победу над тягой к справедливости. Я обхватил ладонью его затылок, прижался лбом к шее, позволив ему почувствовать прикосновение и ощутить запах моих волос. Услышав, как он судорожно втянул в себя воздух, я начал пить...

Он мой! Вместе со струей крови в меня потоком полились видения. Вот он вместе со Старым Капитаном в одной из передних комнат дома... За окном с шумом проносятся машины... Я слышу его слова, обращенные к Старому Капитану: «Если вы еще раз покажете его мне или заставите его трогать, я никогда больше и близко к вам не подойду...» И Старый Капитан клянется, что ничего подобного не повторится. Старый Капитан водит его в кино, а потом обедать в ресторан «Монтелеоне»; они вместе летят в Атланту... И Старый Капитан снова и снова обещает, что не станет так больше делать: «Ты только позволь мне быть рядом с тобой, сынок, только быть рядом... Я клянусь... Я никогда...» Мать, как всегда пьяная, появляется в дверях, на ходу расчесывая волосы... «Мне известно, чем вы там с ним занимаетесь... Я все знаю о ваших играх со стариком... все знаю... Ведь это он купил тебе эту одежду? Думаешь, я не понимаю?..» А вот Терри с дыркой от пули прямо посередине лица... Молодая женщина со светлыми волосами как-то неловко, боком, падает на пол. Это уже пятое убийство, и жертвой его должна стать ты, Терри, именно ты... Они с Дорой в автофургоне... И Дора знает. Ей было всего шесть лет, но она знала. Она знала, что он застрелил ее мать, Терри. *Но они никогда и словом не обмолвились между собой об этом!* Тело Терри лежит в пластиковом мешке. Господи, как ужасен этот пластиковый мешок! И его голос: «Мамочка умерла...» Дора не задала ни единого вопроса. В свои шесть лет она уже все понимала. Терри кричит: «Ты что, сукин сын, хочешь отнять у меня дочь? Думаешь, у тебя получится? Надеешься лишить меня ребенка? Я сегодня же уезжаю с Джейком, и дочь едет вместе со мной!» Выстрел. Женщина мертва. «Все кончено, радость моя. Я больше не в силах тебя терпеть...» Бесформенная куча на полу... Безвкусно одетая, вульгарная, но при этом очень симпатичная молодая женщина с овальной формы ногтями, покрытыми бледно-розовым лаком, с накрашенными, всегда такими свежими губками и соломенного цвета волосами... Ярко-розовые шорты, стройные бедра...

Они с Дорой едут всю ночь... ни словом не упоминая о происшедшем...

«Что ты со мной делаешь? Ты же убиваешь меня! Ты отбираешь у меня кровь, но не душу! Ты вор, ты... Ради Бога, ч чем...»

— Ты разговариваешь со мной? — Я отпрянул от него, кровь еще текла по губам. Господи, да он и вправду *говорил* со мной! Я вновь вонзил в него зубы и на этот раз все же сломал ему шею.

Однако он не замолчал.

«Да, я к тебе обращаюсь! Кто ты такой? Почему? Почему ты пьешь мою кровь? Скажи! Будь ты проклят! Проклят!»

Я переломал все кости в его руках, вывернул плечевые суставы. Мне нужна была вся его кровь, вся, до капли. Я буквально вылизал языком его раны. «Дай мне... дай мне... дай мне...» — мысленно твердил я.

«Но как? Как тебя зовут? Бога ради! Кто ты?»

Он умер. Я уронил его на пол и отступил назад. Он со мной говорил! Говорил в самый момент убийства! И он осмелился спрашивать *меня*, кто *я*? Испортить мне все удовольствие?

— О, ты не перестаешь преподносить мне сюрпризы,— прошептал я, стараясь прийти в себя и собраться с мыслями.

Кровь заполнила сосуды и согрела меня. Я не спешил проглотить последние оставшиеся во рту капли. Мне хотелось поднять его с пола, вскрыть вены на запястьях и высосать то, что еще, возможно, осталось, но это было бы так отвратительно, да и, по правде говоря, у меня не было никакого желания прикасаться к нему еще раз. Сглотнув, я провел языком по зубам, стараясь ощутить послевкусие... Он и Дора в фургоне... Ей всего шесть лет, а мамочка умерла от выстрела в голову... Они с папочкой теперь всегда будут вместе...

«Это было пятое убийство,— услышал я вдруг его голос.— *Кто ты такой?»*

— Ты опять говоришь со мной, ублюдок?

Я опустил на него взгляд. О-о-о, как чудесно! Кровь наконец достигла самых кончиков пальцев на руках и теперь растекалась по сосудам ног. Я закрыл глаза. Ради этого я и живу — ради этого вкуса, ради этого ощущения... И вдруг мне на память пришли слова, сказанные им Доре тогда, в баре: «Я готов душу продать за такие уголки, как этот».

— Черт возьми, да сдохни же ты наконец! — воскликнул я. Мне хотелось, чтобы его горячая кровь как можно дольше пульсировала в моих венах, но сам он был мне больше не нужен. К дьяволу! Для романа между вампиром и смертным шести месяцев более чем достаточно. Я взглянул наверх...

Черное существо вовсе не было статуей! Оно было живым! И оно пристально смотрело на меня. Скульптура ожила, она дышала и с выражением мрачной ярости на черном сияющем лице сверлила меня взглядом.

— Нет, этого не может быть! — вырвалось у меня.— *Не может быть!*

Я изо всех сил старался взять себя в руки и обрести то состояние спокойного хладнокровия, которое всегда охватывает меня в минуты серьезной опасности.

Я пихнул мертвое тело на полу, только чтобы удостовериться в том, что по-прежнему нахожусь в той же комнате и не сошел с ума, одновременно с ужасом ожидая уже знакомого ощущения полной дезориентации в пространстве. Однако ничего подобного не произошло.

Тогда я закричал, нет, скорее завизжал, совсем по-детски.

И выбежал из комнаты.

Я промчался через прихожую, распахнул дверь и выскочил на улицу, в спасительную ночь.

Взлетев вверх, я пронесся над крышами и в полном изнеможении буквально рухнул на брусчатку в каком-то узком переулке. Нет, это просто не может быть правдой! Скорее всего, видение было последним посланием моей жертвы, своего рода сладким актом возмездия, весточкой с того света. Это он сделал так, что статуя — это ужасное черное существо с крыльями и козлиными ногами — выглядела как живая...

— Да, именно так,— вслух произнес я, вытирая губы и оглядываясь. Я лежал на грязном снегу. По переулку шли смертные. Они не желали, чтобы их кто-то беспокоил. А я и не собирался это делать.— Его месть.— Я еще раз вытер губы и шепотом продолжил: — За все, что он любил, за его страсть к сокровищам, собранным в той квартире. И он обратил ее против меня. Он понял. Он догадался, кто я. Он знал, как...

К тому же существо, которое следило за мной, никогда не выглядело таким спокойным, невозмутимым, я бы даже сказал — задумчивым. Напротив, оно постоянно колебалось, клу-

билось, словно густой туман. И потом, эти голоса... Конечно же, там, в квартире, стояла самая обыкновенная статуя.

Я вскочил на ноги, злясь на самого себя за позорное бегство, за то, что упустил возможность насладиться последними деталями ритуала убийства. Я был достаточно разъярен, чтобы немедленно вернуться обратно в квартиру и вновь пнуть лежащее на полу тело, а заодно и статую, которая, конечно же, опять превратилась в кусок гранита, едва лишь сознание окончательно покинуло мертвый разум моей жертвы.

Переломанные руки, плечи... Словно окровавленное месиво, в которое я превратил его тело, вдохнуло жизнь в это существо и призвало его на помощь.

А Дора... Дора непременно узнает обо всем этом — о переломанных костях, о свернутой шее...

Я вышел на Пятую авеню. И подставил лицо ветру.

Поглубже засунув руки в карманы своего шерстяного блейзера, который в такой снегопад, конечно же, выглядел слишком легким и весьма неподходящим нарядом, я побрел дальше. «Ладно, черт бы тебя побрал,— мысленно обратился я к нему,— ты догадался, понял, кто я, и на несколько мгновений сумел заставить статую выглядеть словно живая».

Я замер на месте и устремил взгляд на другую сторону улицы, туда, где темнели на фоне снега деревья Центрального парка.

«А если эти события все же *связаны* между собой,— теперь я разговаривал уже не со своей жертвой и не со статуей, а со своим преследователем,— приди и забери меня». Я больше не желал трястись от страха — наверное, я совсем потерял голову.

А где сейчас Дэвид? Скорее всего, охотится. Охотится... Как он любил это делать в джунглях Индии в те времена, когда был еще смертным. А я навсегда превратил его в охотника на братьев по разуму.

И тогда я принял решение.

Я намеревался немедленно вернуться в квартиру и собственными глазами убедиться в том, что статуя — это статуя, и не более. А затем мне предстояло сделать то, что я обязан был сделать ради Доры: избавиться от трупа ее отца.

Мне достаточно было нескольких минут, чтобы оказаться возле нужного дома, подняться по темной лестнице и вновь войти в уже знакомую прихожую. Я не желал больше мириться с

собственным страхом — он раздражал меня, заставлял чувствовать себя униженным и приводил в ярость. Но в то же время, в очередной раз столкнувшись с чем-то неведомым, я испытывал небывалое возбуждение и любопытство.

В квартире явственно ощущался запах крови и мертвечины.

Больше я ничего не чувствовал и не слышал ни единого звука. Я прошел в небольшое помещение, когда-то служившее кухней. Здесь до сих пор остались кое-какие предметы хозяйственного обихода, которыми, похоже, не пользовались со времени смерти возлюбленного моей жертвы. Ага, вот они! За сточной трубой я нашел то, что искал: коробку с зелеными пластиковыми мешками для мусора, как раз подходящими для того, чтобы упаковать останки.

Мне почему-то вдруг вспомнилось, что именно в такой мешок он затолкал и тело своей убитой жены — Терри. Я отчетливо видел это, когда пил его кровь. Ладно, к черту, сейчас не до этого. Он просто подсказал мне выход из положения.

Порывшись в кухонных принадлежностях и столовых приборах, я не нашел ничего подходящего для предстоящей хирургической операции, поэтому просто выбрал самый большой нож с лезвием из углеродистой стали и вернулся в комнату. Все мои действия были нарочито решительными, я не позволял себе ни на секунду замешкаться или проявить хоть малейшие колебания. Смело войдя в гостиную, я обернулся и в упор посмотрел на гигантскую скульптуру.

Лучи галогенных ламп все так же были направлены в ее сторону. А вокруг царила тьма.

Обыкновенная статуя. Ангел с козлиными ногами.

«Лестат, ты полный идиот!»

Я подошел ближе и в который уже раз принялся рассматривать детали. Возможно, это не семнадцатый век. Да, работа явно ручная, но если обратить внимание на некоторые особенности, то можно предположить, что скульптура создана гораздо позднее. А надменное и мрачное выражение лица действительно заставляет вспомнить работы Уильяма Блейка — это злобное и порочное существо с козлиными ногами во многом сродни как святым, так и грешникам Блейка с их невинными и в то же время исполненными ярости глазами.

Неожиданно мне отчаянно захотелось взять эту скульптуру на память, увезти ее в Новый Орлеан и поставить в своей комнате. Я готов был буквально распластаться в страхе у ног этого холодно-безразличного, мрачного создания. И только теперь до меня дошло, что, если я действительно не поспешу принять определенные меры, все эти сокровища будут безвозвратно утеряны. Как только станет известно о смерти их владельца, они будут немедленно конфискованы и произойдет то, чего он больше всего опасался и о чем предупреждал Дору во время их последней встречи: самое ценное его имущество, его главное достояние перейдет в чужие, равнодушные руки.

Тогда она в ответ лишь повернулась к нему спиной и, согнув худенькие плечи, заплакала — несчастная, охваченная горем и ужасом девочка, лишенная возможности дать утешение человеку, которого любила больше всех на свете.

Я взглянул на распростертое на полу искалеченное тело. Его еще не успел коснуться тлен, и выглядело оно так, будто человек попал в жуткую аварию или стал жертвой жестокого и безжалостного убийцы. Спутанные черные волосы, полуоткрытые глаза... На белой рубашке алели пятна крови — несколько оставшихся капель вытекли из открытых ран. Торс был неестественно вывернут по отношению к ногам, поскольку я сломал ему не только шею, но и позвоночник.

Что ж, я вытащу труп отсюда и избавлюсь от него. Я позабочусь о том, чтобы о его смерти еще очень долго никто не узнал. И тогда следователи не станут докучать Доре. Я избавлю ее от горя и отчаяния, а тем временем подумаю, как сохранить для нее все эти сокровища. Быть может, спрячу их пока в надежном месте.

Я достал из его кармана документы. Сплошь фальшивки. Кто бы сомневался.

Его настоящее имя было Роджер. Я знал это с самого начала. Но так его называла только Дора. Все свои сделки он проводил под вымышленными именами, зачастую весьма экзотическими, иногда даже с неким средневековым звучанием. Этот паспорт был выписан на имя Фредерика Винкена. Забавное имечко. Фредерик Винкен...

Собрав все документы, я сунул их в карман, чтобы впоследствии уничтожить без следа.

Пришло время поработать ножом. Я отрезал его руки до локтей, поразившись при этом их изяществу и обратив внимание на тщательно ухоженные ногти. Да, этот человек себя очень любил и, надо сказать, имел на то основания. Так, теперь голова... Мне понадобилась недюжинная сила, чтобы отсечь ее, причем я старался резать только сухожилия и мелкие кости, не касаясь самого черепа. Глаза закрывать я не стал. Во взгляде мертвеца нет ничего завораживающего, он совершенно лишен какой-либо выразительности. Безжизненные губы казались мягкими, а кожа на щеках разгладилась. Отрезанные части — голову и руки — я положил в два разных мешка, затем, как мог, затолкал в третий мешок то, что осталось.

Ковер на полу был тоже забрызган кровью. Плохо, очень плохо, тем более что ковры лежали здесь в несколько слоев — обычное дело для хранилища раритетов. Ладно, главное — убрать тело. Не будет тела — не будет и трупного запаха, который может привлечь внимание соседей. А если тело исчезнет, то никто никогда не узнает, что произошло с этим человеком на самом деле. Так будет лучше в первую очередь для Доры: пребывать в неведении, пусть даже мучиться неизвестностью все же предпочтительнее, чем увидеть сделанные крупным планом фотографии того кошмара, который я здесь сотворил.

Напоследок я еще раз обвел взглядом невозмутимо-мрачного ангела — или дьявола, или кем он мог быть еще,— пышную гриву его волос, красиво очерченные губы и огромные глаза. Потом, взвалив на плечо все три мешка, словно рождественский Санта Клаус, я вышел из квартиры, чтобы избавиться от тела Роджера.

Это оказалось делом несложным и заняло у меня всего около часа, предоставив тем самым время для размышлений.

Я медленно брел по темным, пустым, заснеженным улицам городских окраин в поисках куч строительных отходов, мусорных свалок и тому подобных малопривлекательных уголков, куда редко кто рискует заглядывать и расчищать которые в ближайшее время явно никто не станет.

Мешок с руками я зарыл в огромную кучу всякого хлама, наваленного под путепроводом одной из скоростных автострад. Неподалеку от того места я заметил нескольких смертных. Завернувшись в одеяла, они сидели возле огня, разожженного в

небольшом жестяном ящике, и не обращали на меня ни малейшего внимания. Я постарался запихать мешок как можно глубже, чтобы он никому не попался на глаза и не вызвал соблазна в него заглянуть. Закончив работу, я подошел к собравшейся вокруг огня компании — никто из них на меня даже не посмотрел — и бросил на землю несколько купюр. Ветер едва не подхватил легкие бумажки, однако в свете костра мгновенно мелькнула чья-то рука, и купюры растворились во тьме.

— Спасибо, брат.

— Аминь,— откликнулся я.

Голову постигла примерно та же участь, но уже в другом месте, довольно далеко от того, где остались руки,— на задворках одного из ресторанов. Я утопил ее в грязной вонючей жиже кухонных отбросов и даже не взглянул напоследок. Мне не терпелось избавиться от этого трофея. Нет, человеческую голову нельзя назвать трофеем, и я бы ни за что не стал хранить ее в таком качестве. Даже мысль об этом казалась мне неприемлемой. Если какой-нибудь умирающий от голода несчастный и наткнется на нее, он никому не скажет о находке. Кстати, ресторан закрылся несколько часов назад, и кучка голодающих уже топталась возле задних дверей в ожидании своей порции помидоров, салата, спагетти и хлебных корок. А отбросы постепенно замерзали, и ледяные сгустки хрустели под моими руками, пока я заталкивал голову в самую сердцевину отвратительного месива.

С последним мешком на плече я направился назад к центру города. Осталось найти укромное местечко для изломанного торса с ногами и предплечьями. Я шел по Пятой авеню, мимо отеля, где спала Дора, мимо собора Святого Патрика, мимо шикарных магазинов. Смертные спешили по своим делам, скрывались то за одной, то за другой дверью; таксисты бешено сигналили, злясь на водителей медлительных, неповоротливых лимузинов.

Я шел все дальше и дальше, шлепая по грязи и проклиная самого себя. Меня раздражал исходивший из мешка запах. Однако пиршество было поистине восхитительным и стоило того, чтобы я потрудился, уничтожая его следы.

Мои бессмертные соплеменники — Мариус, Арман и все остальные друзья, любовники и враги — всегда ругали меня за

нежелание «избавляться от останков». Что ж, на этот раз Лестат будет примерным вампиром и как следует приберет за собой.

Неподалеку от Виллидж я наконец отыскал подходящее место: огромный склад, судя по разбитым окнам и громадной куче хлама внутри, давно заброшенный. В воздухе витал запах гниющей плоти. Похоже, человек умер здесь довольно давно, однако холод замедлял процесс разложения и не позволял вони распространиться за пределы помещения склада. Хотя, возможно, все дело было в равнодушии проходивших мимо людей.

Я прошел в глубь похожего на пещеру помещения. В нос ударили другие запахи — бензина, металла, кирпича... Прямо посередине возвышалось нечто напоминающее погребальный холм или пирамиду, а рядом стоял грузовик. Мотор был еще теплым, хотя поблизости я не увидел ни души.

Трупная вонь исходила именно от этой кучи, причем вскоре я понял, что мертвецов в ней зарыто как минимум трое, а может, и больше. Мне не терпелось поскорее убраться подальше от отвратительного могильника, а потому я не собирался вдаваться в подробности.

«Прекрасно, друг мой, покойся с миром на этом кладбище»,— мысленно попрощался я со своей жертвой, зарывая мешок в самую глубину скопища битых бутылок, раздавленных жестяных банок, гниющих фруктов, обрывков картона и тряпок, обломков дерева и тому подобного хлама. Я едва не развалил эту гору, но, пару раз дрогнув, она все же устояла и вскоре приняла прежние очертания. Только одна пивная бутылка скатилась вниз и теперь поблескивала стеклянным боком чуть в стороне от величественного погребального сооружения. Вокруг стояла тишина, нарушаемая только писком и шорохом копошащихся где-то по сторонам крыс.

Я внимательно осмотрел грузовик. Сильно потрепанный, без регистрационных номеров, он все еще сохранял внутри запах недавно сидевших там смертных. Ну какое мне дело, зачем они сюда приезжали и чем занимались? А въехали они сюда через огромные железные ворота и тем же путем, но только пешком покинули склад, не обратив внимания на возвышавшийся посередине кладбищенский холм. Хотя, возможно, холм они все же заметили и даже внесли туда свою лепту.

Я вышел наружу. Снегопад прекратился. Вокруг было пусто и уныло. На большом плоском камне лежал голый матрац, припорошенный снегом. Уличное освещение не работало. Я даже не мог сказать толком, где нахожусь.

Я направился в сторону реки, к оконечности острова, и вдруг наткнулся на церковь — одну из тех старинных церквушек, что уцелели на Манхэттене с незапамятных времен и рядом с которыми всегда можно найти маленькое кладбище за невысокой оградой и прочесть на его могильных плитах цифры, вызывающие в душе поистине благоговейный трепет: год 1704-й, а иногда даже — 1692-й.

Это был настоящий шедевр готической архитектуры, маленький аналог собора Святого Патрика, возможно даже более изысканный и замысловатый в деталях, жемчужина, сияющая на фоне серого и неприглядного пейзажа большого города.

Я присел на ступени церкви и прислонился спиной к стене. Великолепная резьба, сохранившаяся на полуразрушенных арках, не могла не вызвать моего восхищения, а кроме того, под защитой освященных камней я чувствовал себя гораздо увереннее.

Я был убежден, что моего преследователя поблизости нет, я не слышал его шагов и не ощущал никаких сигналов из иной реальности — похоже, мой сегодняшний поступок не спровоцировал ничего подобного. Еще я был уверен в том, что статуя вовсе не оживала, и раз в моем кармане лежат документы Роджера, то пройдут недели, если не месяцы, прежде чем Дора обратит внимание на долгое отсутствие отца, однако истинная причина исчезновения навсегда останется для нее тайной.

Все, хватит об этом. Приключение осталось в прошлом. Я чувствовал себя лучше, гораздо лучше, чем во время беседы с Дэвидом. И правильно сделал, что все-таки вернулся обратно в квартиру и еще раз взглянул на ужасную статую из черного гранита.

Оставалась только одна проблема: мне казалось, что я буквально пропитан запахом Роджера. Роджер... До определенного момента он оставался для меня безымянным — «жертвой», не более. Однако теперь я называл его Роджером. Это что, свидетельство пробудившейся любви к нему? Роджер... Так его называла Дора, а еще — папочкой, Роже, просто отцом... «Дорогая,

это Роже,— говорил он, звоня ей из Стамбула.— Ты можешь приехать во Флориду? Всего на несколько дней. Мне нужно поговорить с тобой...»

Я вытащил фальшивый паспорт. Ветер был обжигающе холодным, снег больше не падал, а тот, что лежал на земле, постепенно превращался в твердую корку. Ни один смертный не стал бы сейчас сидеть вот так, в узком пустом проеме церковной двери, но мне здесь нравилось.

Я принялся изучать его документы. Бумаг было несколько, и все поддельные, смысл и содержание некоторых я даже не понял. Египетская виза. Конечно, оттуда он тоже возил контрабанду. Винкен... Фамилия вызвала у меня улыбку — еще бы: слыша ее, смеются даже маленькие дети. Винкен, Блинкен и Нод... Это же из детских стишков, если не ошибаюсь.

Я разорвал документы на мелкие кусочки, порыв ветра тут же подхватил их с моей ладони, и они закружились над могильными камнями маленького церковного кладбища, а потом медленно осели на землю. Словно пепел. Я как будто выполнил последний долг: кремировал его личность и развеял прах по ветру...

Меня одолевала усталость. Кровь переполняла сосуды. Вполне удовлетворенный содеянным, я сожалел о своем прежнем глупом поведении и стыдился страха, который испытывал при разговоре с Дэвидом. Он наверняка решил, что я свихнулся. Но что удалось мне выяснить? Только то, что существо, которое следило за мной, не имело намерения защитить Роджера, помешать мне сделать его своей жертвой, точнее, оно вообще не имело отношения к Роджеру. Но разве я не знал этого прежде? И разве я мог быть уверен, что оно исчезло навсегда?

Пока можно было сделать лишь один вывод: это существо само выбирало момент появления — вне всякой зависимости от моих поступков.

Какая все же очаровательная церквушка. Нарядная, изысканно украшенная, она представляла собой бесценное произведение архитектуры и совершенно не сочеталась с окружающей застройкой Нижнего Манхэттена. Впрочем, говорить о какой-либо сочетаемости в городе, где перемешались все стили, где готика тесно соседствует с модерном, а древность — с ультрасовременностью, давно уже не приходится. Я прочел надпись на ближайшем указателе: Уолл-стрит.

Неужели я оказался в самом начале Уолл-стрит? Я вновь прислонился спиной к холодному камню и закрыл глаза. Завтра вечером мы встретимся с Дэвидом и все обсудим. А Дора? Неужели она спит сейчас ангельским сном в номере отеля напротив собора? Позволю ли я себе тайно взглянуть на нее в последний раз? Имею ли я право на этот прощальный и совершенно безобидный взгляд, прежде чем окончательно оставлю в прошлом сегодняшнее приключение? Нет, это уже лишнее.

Мне следует навсегда выбросить из головы мысли и воспоминания об этой девушке, забыть о тоненькой фигурке с фонариком в руках, идущей по огромным темным коридорам пустого монастыря в Новом Орлеане. Храбрая маленькая Дора... Она совсем не похожа на последнюю смертную женщину, которую я любил... «Нет, хватит, Лестат! — приказал я себе.— Забудь об этом! Слышишь, Лестат, забудь!»

Если задуматься и начать размышлять всерьез — о смысле жизни, о среде обитания и, так сказать, о личности как таковой, то понимаешь, что мир полон потенциальных жертв. Возможно, я вернусь в Майами — если, конечно, удастся уговорить Дэвида поехать вместе со мной. Завтра вечером мы с Дэвидом непременно об этом поговорим.

Конечно, он мог обидеться на меня за то, что я послал его искать убежище в Олимпийской башне, и теперь готов был уехать к себе, в Новый Орлеан. Но, может быть, он туда все же не поедет?

Если я сейчас услышу шаги своего преследователя или почувствую его присутствие поблизости, то завтра непременно вновь буду дрожать в объятиях Дэвида. Этому существу все равно, где я нахожусь и куда направляюсь. И я его не выдумал — мой преследователь действительно существует!

Черные крылья... ощущение сгущающейся тьмы... клубящийся туман... и — свет... Нет, хватит, я не стану сосредоточиваться на этом. Слишком много мрачных размышлений для одной ночи.

Когда еще на моем пути встретится смертный, подобный Роджеру? Когда еще мне доведется встретить такую же яркую личность? И как только этот сукин сын ухитрился разговаривать со мной во время убийства? Как он осмелился обращаться *ко мне* в момент наивысшего восторга? А как ему, черт возьми,

удалось заставить меня поверить в то, что статуя ожила? Что это было? Какие-то слабые телепатические импульсы? Я покачал головой. Неужели я сам спровоцировал это? Быть может, сделал что-то не так?

Что, если я за месяцы преследования успел полюбить его и, отнимая жизнь, первым заговорил с ним? Не было ли это своего рода моим объяснением в любви? Нет. Я просто с наслаждением пил кровь, по каплям вбирал его в себя. И теперь Роджер во мне.

Из темноты медленно вынырнула какая-то машина и остановилась возле меня. Сидевшие в ней люди поинтересовались, не нужна ли мне помощь. Я мотнул головой, повернулся и побежал прочь. Перепрыгивая с могилы на могилу, огибая каменные надгробия, я так быстро промчался через кладбище в сторону Виллидж, что смертные, по-моему, даже не успели уловить мои движения.

Представить только! Они видят сидящего на холодных ступенях старинной маленькой церкви молодого блондина в двубортном темно-синем блейзере и ярком галстуке, и вдруг... И вдруг он исчезает, словно растворяется в воздухе! Я громко рассмеялся и с удовольствием прислушался к звукам собственного смеха, которые взлетали вверх, отражаясь от кирпичных стен. Теперь мимо меня шли люди, неподалеку играла музыка, воздух наполняли запахи кухни. Я видел повсюду юных, пышущих здоровьем смертных, которые даже в холодный зимний вечер находили повод к веселью.

А вот меня холод начинал уже раздражать. Надо же — быть таким чувствительным к нему, как будто я по-прежнему живой человек! Мне захотелось куда-нибудь зайти.

3

Пройдя всего несколько шагов, я увидел вращающуюся дверь, а за ней — холл какого-то заведения. Наверное, ресторан, подумал я и уже через мгновение обнаружил себя сидящим в баре. Как раз то, что надо: почти пустой зал, темный и теплый, полукруглая стойка, за которой поблескивают бутылки... Из-за двери в основной зал, распахнутой настежь, доносился приглушенный гул голосов.

Я зацепился каблуками за подножку табурета и оперся локтями на стойку, прислушиваясь к разговорам смертных, пустой болтовне ни о чем. Те, кто был в баре, несли какую-то не стоящую внимания чепуху. Меня все еще трясло от холода. Черт! Я потерял свои очки с фиолетовыми стеклами! Хорошо, что в помещении так темно. Тем не менее я на всякий случай опустил голову. Интересно, куда я все же попал? В какой-то клуб? А какая разница? Главное, что здесь так уютно и спокойно.

— Хотите что-нибудь выпить, сэр? — раздался возле меня лениво-высокомерный голос бармена.

Я заказал минеральную воду. Как только бармен поставил передо мной стакан, я сполоснул в нем пальцы. Он уже отошел и потому ничего не заметил, хотя ему вообще было на все наплевать, и даже если бы я сейчас стал крестить этой водой младенцев, он и тогда, наверное, никак бы не отреагировал. Остальные посетители сидели за столиками, растворившись во мраке. В одном из дальних углов плакала женщина. Довольно резкий мужской голос уговаривал ее замолчать и не привлекать к себе внимание. Впрочем, она и не привлекала, ибо никому не было никакого дела до того, что происходит вокруг.

Намочив в стакане салфетку, я как следует вытер губы.

— Еще воды,— бросил я, отодвигая от себя грязный стакан.

Бармен, молодой человек, явно лишенный каких-либо амбиций, все так же апатично, но вежливо принял заказ и отошел в сторону.

Совсем рядом со мной раздался тихий смех... Через два табурета справа от меня сидел не старый еще мужчина — по-моему, он уже был в баре, когда я вошел... Никакого запаха от него я не почувствовал. Совершенно никакого. И это показалось мне странным.

Я обернулся в ту сторону и посмотрел на него в упор.

— Собираешься снова сбежать? — спросил он.

Моя жертва! На табурете возле стойки бара сидел Роджер!

Он был, что называется, в целости и сохранности: ничего не сломано, никаких следов насилия, руки и голова тоже на месте. Но ведь на самом деле его там не было. Это только казалось, что он как ни в чем не бывало сидит возле стойки бара и улыбается, явно наслаждаясь моим ужасом.

— В чем дело, Лестат? — спросил он. Этот голос я слышал в течение шести месяцев, пока следил за его обладателем, и уже успел полюбить.— Неужели за все прошедшие столетия к тебе не возвращались призраки твоих жертв?

Я промолчал. Его нет. Его просто нет. Он материален, но эта материя в корне отличается от реальной. «Иная материя», как назвал ее Дэвид. Я оцепенел. Нет, пожалуй, это слишком мягкое и неточное определение. Я буквально окаменел от ярости и неверия в вероятность происходящего.

Он пересел на ближайший ко мне табурет. С каждой секундой его облик становился все более отчетливым и обретал все новые детали. Теперь я мог уловить даже нечто похожее на исходящий от него живой звук, однако передо мной было отнюдь не человеческое существо, и дыхания его я не слышал.

— Еще несколько минут — и я буду в достаточной силе, чтобы попросить сигарету или даже бокал вина,— сказал он.

Он сунул руку в карман пальто — не того, в котором он пришел в квартиру в ночь убийства, своего любимого, сшитого на заказ в Париже,— и вытащил сверкающую маленькую золотую зажигалку. Вспыхнувший огонек был ярко-голубым.

Он смотрел прямо на меня. Красавец Роджер! Темные вьющиеся волосы тщательно расчесаны, глаза блестят. А голос... Такой же чудесный, как и при жизни. В его манере говорить — быстрой и четкой — не было ни британской утонченности, ни медлительной растянутости, свойственной выходцам с американского Юга, хотя родился он в Новом Орлеане; ее можно было назвать интернациональной, чему в немалой степени способствовали его бесконечные странствия по всему миру.

— Я спрашиваю вполне серьезно,— опять заговорил он.— Неужели за все прошедшие годы ни одна твоя жертва не вернулась к тебе в облике призрака?

— Нет,— ответил я.

— Ты меня удивляешь. Значит, тебе нестерпима даже мысль о том, что кто-то хоть на короткое время может нагнать на тебя страха?

— Нет.

Теперь он выглядел как вполне обычный человек из плоти и крови. Интересно, подумалось мне, видит ли его еще кто-то кро-

ме меня? Вполне возможно, что да. Ибо внешне он ничем не отличался от окружающих. Я отчетливо различал пуговицы на белых манжетах рубашки и проблески полускрытого мягкими завитками волос белоснежного воротничка на затылке. Я видел его невероятно длинные ресницы.

Бармен поставил передо мной стакан с чистой водой, но при этом даже не покосился в сторону Роджера. Что ж, это еще ни о чем не говорило. Парень был слишком высокомерен и неучтив, чтобы его поведение могло доказывать что-то, кроме того, что это Нью-Йорк.

— Как тебе удается проделывать все это? — спросил я.

— Точно так же, как и любому другому призраку,— ответил Роджер.— Я покойник. Я мертв уже более полутора часов. Но мне необходимо поговорить с тобой. Не знаю, сколько времени я смогу пробыть здесь, прежде чем начну... Черт его знает, что именно я начну... Но не в этом дело. Ты должен меня выслушать.

— С чего это вдруг?

— Имей совесть,— прошептал он, и я почувствовал, что мои слова действительно больно его задели.— Ведь ты убил меня!

— А у тебя она есть? — в свою очередь спросил я.— Как быть с теми людьми, которых убил ты? С матерью Доры, например? Она приходила когда-нибудь после своей смерти, чтобы потребовать от тебя ответа?

— О-о-о! Я знал! Я был уверен! — воскликнул он, явно потрясенный.— Тебе известно о Доре! Боже всемогущий! Отправь мою душу навеки в ад, но не позволяй ему причинить хоть малейший вред Доре!

— Прекрати нести чушь,— прервал я его.— Я не сделаю Доре ничего плохого. Меня всегда интересовал только ты. Это за тобой я гонялся по всему миру. И если бы не мое необъяснимое уважение к Доре, я убил бы тебя давным-давно.

Перед нами вновь возник бармен. При его появлении мой собеседник восторженно улыбнулся и взглянул на парня в упор.

— Что ж, мой мальчик, дай-ка подумать. Ведь, если не ошибаюсь, это моя последняя выпивка. Пусть будет... бурбон — ведь я как-никак вырос на Юге. Что у вас есть? Нет-нет, не годится. Знаешь, сынок, сделай-ка мне «Сазерн Камфорт».

Он тихо, заговорщицки рассмеялся.

Бармен отошел в сторону, а Роджер вновь повернулся ко мне, но теперь в его глазах сверкал гнев.

— Кем бы ты ни был — вампиром, демоном, дьяволом или черт знает кем там еще, ты обязан меня выслушать! И ты не посмеешь обидеть мою дочь!

— Да у меня и в мыслях не было ничего подобного! Я не причиню ей вреда. Так что спокойно продолжай свой путь в ад — там тебе будет лучше. Спокойной ночи.

— Ах ты, самодовольный сукин сын! Как ты думаешь, сколько мне было лет?

Сквозняк, гулявший по бару, чуть шевелил волосы Роджера, а на его лице выступили капельки пота.

— Это меня меньше всего интересовало,— ответил я.— Для меня ты был лишь пищей, достойной того, чтобы немного потерпеть в предвкушении удовольствия.

— Ты самоуверенный бахвал, не спорю.— В голосе Роджера звучали ядовитые нотки.— Но ты совсем не так глуп и примитивен, как пытаешься казаться.

— Ты действительно так думаешь? Что ж, давай проверь! И тогда ты, возможно, станешь называть меня не иначе как бесстыдным наглецом и пустозвоном!

Он не сразу нашелся что ответить.

Я тоже замолчал. Сам не знаю, почему именно эти слова сорвались у меня с языка, ибо они не входили в обычный мой лексикон.

Он старался осознать смысл сказанного, понять мою озабоченность и неуверенность в себе. А я тем временем гадал, на основании чего он делал свои выводы. Возможно, я, как любой смертный, иногда проявляю слабость или просто выгляжу смущенным?

Бармен принес ему заказ. Роджер неуверенно протянул руку и постарался как можно крепче ухватиться пальцами за бокал и поднять его. Наконец его усилия увенчались успехом: он поднес бокал к губам и отпил глоток. Однако его изумление, радость и одновременно страх при этом были настолько сильными, что он едва не испарился. Образ его стал вдруг расплывчатым и начал расползаться по частям.

Тем не менее я по-прежнему видел его достаточно отчетливо. Да, это был именно тот человек, которого я убил, чье тело

расчленил и разбросал по всему Манхэттену. Видение было настолько явственным, что меня почти физически затошнило. Только одна мысль спасала меня, не позволяя окончательно впасть в панику: он разговаривал со мной. Однажды, еще в смертной жизни, Дэвид сказал, что не станет убивать вампира, потому что вампир может побеседовать с ним. Кажется, именно так он выразился? А этот чертов призрак говорил со мной!

— Мне нужно поговорить с тобой о Доре,— сказал он.

— Я уже сказал, что не причиню вреда ни ей, ни кому-либо еще, ей подобному,— ответил я.— Послушай, зачем ты пришел сюда. Ведь поначалу ты даже не подозревал, что я знаю о Доре. Ты собирался рассказать мне о ней?

— Совершенно верно. Приятно сознавать, что мой убийца сообразителен и способен разумно мыслить. Кроме того, моя смерть так или иначе ему глубоко небезразлична. Я прав? — Он отпил еще глоток «Сазерн Камфорт», аромат которого мне нравился.— Любимый напиток Дженис Джоплин. Не знал? — пояснил он, имея в виду покойную уже певицу. Я ее тоже любил.— Выслушай меня, пусть даже из любопытства, мне без разницы. Но только выслушай внимательно. Позволь мне рассказать тебе о Доре и обо мне. Я хочу, чтобы ты знал. Я хочу, чтобы ты узнал, кто я и какой я на самом деле, а не в твоем представлении. Я хочу, чтобы ты присмотрел за Дорой. И еще. Там, в квартире, осталось кое-что, и я хотел бы...

— Плат Вероники, висящий в рамке на стене?

— Нет. Это ерунда. То есть это, конечно, ценная вещь, ей уже четыреста лет. Но при наличии денег раздобыть нечто подобное совсем не трудно. Ты ведь внимательно осмотрел мою квартиру, да?

— Почему тебе так хотелось подарить этот Плат Доре? — спросил я.

Мой вопрос несколько охладил его пыл.

— Ты подслушивал наши беседы? — Он был поражен.

— Множество раз.

Роджер задумался, осмысливая новость, взвешивая и оценивая ситуацию. Он производил впечатление человека разумного, осторожного, но в данный момент совершенно искреннего.

— Ты сказал, что я должен «присмотреть за Дорой»,— продолжал я.— Я правильно тебя понял? Присмотреть за ней? Что

ж, это меняет дело. Но какого черта ты собираешься рассказывать мне о своей жизни? Ты обращаешься не по адресу. Я тебе не судья, тем более после смерти. Мне нет совершенно никакого дела до того, как и почему ты стал тем, кем стал. А что касается оставшихся в квартире ценностей... Чего ради призраку заботиться о такого рода вещах?

Задавать подобный вопрос было, конечно, не совсем честно с моей стороны. И мы оба это понимали. Вполне естественно, что его не могла не беспокоить судьба накопленных сокровищ. И тем не менее он восстал из мертвых именно ради Доры, и только из-за нее.

Его волосы еще больше почернели, текстура ткани, из которой было сшито пальто, проявилась отчетливее. Теперь я мог различить даже переплетение шелковых и шерстяных нитей. Я видел его тщательно ухоженные, отполированные ногти с профессионально сделанным маникюром. Точно такие же, какие я совсем недавно зарыл в куче мусора вместе с руками. Насколько мне помнилось, несколько минут назад я не мог видеть такие детали.

— Господи Иисусе! — прошептал я.

— Ты испуган больше, чем я,— со смехом заметил Роджер.

— Где ты сейчас, скажи!

— Ты о чем? — удивился он.— Вот он я, сижу рядом с тобой. Мы в Виллидж, в каком-то баре. Что ты имеешь в виду, спрашивая, где я? Если мое тело, то тебе не хуже, чем мне, известно, где именно ты зарыл его части.

— Поэтому ты и преследуешь меня после смерти?

— Ничего подобного. Мне абсолютно наплевать на тело. Как только я потерял свою телесную оболочку, я вообще перестал думать о ней. Да что объяснять, тебе и без того все известно.

— Нет-нет. Я совсем не это имел в виду. Я спрашивал, в каком измерении ты находишься... как все это... что ты увидел, когда перешел... когда умер...

Он покачал головой и печально улыбнулся.

— И на этот вопрос ответ тебе известен. Я не знаю. Тем не менее мне кажется, что меня ждет... нечто... То есть я в этом уверен. Кто-то или что-то ждет меня. Возможно, это будет всего лишь окончательная смерть, разрушение... Полная тьма. И все же оно производит впечатление чего-то... обладающего лично-

стью, если можно так выразиться... и оно не намерено ждать вечно. Хотя я и сам не понимаю, на чем основано мое убеждение.

Равно как не понимаю, почему мне было позволено вернуться к тебе. Быть может, все дело в острейшем желании, то есть в моем невероятном желании, в той силе воли, которой, кстати, я всегда обладал в избытке. Или кто-то просто подарил мне эти несколько мгновений. Не знаю. Но я последовал за тобой. Я наблюдал за тобой от самой квартиры, видел, как ты туда вернулся, как вновь покинул ее с моим телом, потом я пришел сюда. Мне крайне необходимо поговорить с тобой, и я не сдамся без борьбы. Я не уйду, пока не скажу тебе все, что должен сказать.

— Кто-то или что-то ждет тебя,— шепотом повторил я, чувствуя благоговейный страх. Как все просто и ясно.— А после? Если ты не растворишься в воздухе, как только мы закончим разговор, куда ты направишься?

Роджер покачал головой и пристальным взглядом обвел заставленные бутылками полки бара.

— Вот зануда,— сварливо проворчал он.— Заткнись.

Я вздрогнул как ужаленный. Заткнись! Он осмелился приказать мне заткнуться!

— Я не могу присматривать за твоей дочерью,— заявил я.

— Что ты хочешь этим сказать? — Он яростно сверкнул глазами в мою сторону и вновь приложился к бокалу. Потом жестом приказал бармену подать еще один.

— Ты что, решил напиться? — спросил я.

— Полагаю, мне это не грозит. Ты *обязан* позаботиться о ней! Неужели ты не понимаешь, что вся эта история неизбежно станет достоянием гласности? У меня масса врагов. Они убьют ее — убьют только потому, что она моя дочь. Ты даже не представляешь, как я всегда был осторожен и как безоглядно и необдуманно иногда действует она — только потому, что верит в это свое Святое провидение. Кроме того, есть еще и власти, правительственные ищейки... Что станет с моими сокровищами, с моими книгами?

Потрясенный, я смотрел на него, совершенно забыв, что передо мной призрак. Да, в тот момент он и не похож был на выходца с того света. Ничуть. Разве что только я не чувствовал его

запаха, и те звуки, которые он издавал, не имели ничего общего с жизнедеятельностью человеческих легких или сердца.

— Ладно,— продолжал он,— буду говорить прямо. Я боюсь за нее. Ей предстоит пройти нелегкое испытание. Поднимется шумиха, ее будут расспрашивать, оскорблять... Пройдет немало времени, прежде чем все уляжется и мои враги и недоброжелатели забудут о ней. До сегодняшнего дня большинство из них понятия не имели о ее существовании. Хотя... теперь я не столь в этом уверен. Вполне возможно, что кто-то знал. Ведь ты же знал...

— Совсем не обязательно И я не в счет. Я не человек.

— Ты обязан защитить ее.

— Я не могу и не стану это делать.

— Лестат, ты выслушаешь меня наконец?

— Я не желаю тебя слушать. Я хочу, чтобы ты ушел.

— Знаю.

— Послушай, я не должен был тебя убивать. Мне действительно жаль. Это было ошибкой. Мне следовало найти кого-то...— У меня тряслись руки. Наверное, когда-нибудь вся эта история покажется мне весьма забавной, но сейчас... Сейчас я мог только молить Бога, чтобы все поскорее закончилось.

— Ты знаешь, где я родился, не так ли? — спросил он.— Квартал на Сент-Чарльз-авеню, неподалеку от Джексон-сквер.

Я кивнул:

— Пансион. Нет смысла рассказывать мне историю своей жизни. Зачем? К тому же она уже завершилась. Как и у любого другого человека, у тебя была возможность написать обо всем. А теперь... Что, по-твоему, я должен буду делать с твоим рассказом?

— Я расскажу только о самом важном, о том, что действительно имеет значение. Посмотри на меня! Пожалуйста, посмотри мне в глаза и постарайся понять меня и полюбить! Постарайся полюбить Дору! Ради меня! Умоляю!

Мне не было нужды смотреть на него и видеть выражение его лица, чтобы в полной мере постичь его отчаяние. Это был крик о помощи. Разве есть в мире мука страшнее, чем видеть, как страдает твое дитя? Или кто-то другой, кто тебе неизмеримо близок и дорог. Дора... Малышка Дора, бродящая по пустому

монастырю... Дора, вдохновенно поющая и простирающая к нам руки с экрана телевизора...

У меня перехватило дыхание. Наверное, я даже вскрикнул. Не знаю. Быть может, просто вздрогнул или сделал что-то еще... На несколько мгновений я словно утратил способность мыслить. Но в этом не было ничего сверхъестественного — только душевная боль и сознание, что он рядом, видимый и осязаемый, что он добился своего и заставил меня понять. Ему удалось достаточно долго продержаться в столь эфемерной форме, чтобы добиться-таки от меня обещания.

— И все же ты меня любишь,— прошептал он. Он был явно сбит с толку и заинтригован, но в то же время неожиданно обрел некое внутреннее спокойствие.

— Страстность,— так же шепотом ответил я.— Все дело в твоей страстности и безграничной любви.

— Да, понимаю. Я действительно польщен. Ведь я умер не под колесами грузовика посреди улицы и не был хладнокровно застрелен гангстером. Меня убил ты! Ты! А ты один из лучших!

— Один из лучших? Кого ты имеешь в виду?

— Я не знаю, как именно ты себя называешь. Но ты не живое существо. И в то же время ты человечен. Ты выпил мою кровь, и теперь она течет по твоим жилам. Ты пользуешься и наслаждаешься ею. И ты не один такой.— Он отвернулся и теперь смотрел куда-то в сторону.— Вампиры...— тихо произнес он.— Когда я еще жил в Новом Орлеане, мне приходилось видеть призраков.

— В Новом Орлеане все видят призраков.

Он невольно рассмеялся — коротким тихим смешком.

— Знаю. Но я их действительно видел, и не раз. Я сталкивался с ними и в других местах. Однако я никогда не верил ни в Бога, ни в дьявола, ни в ангелов. Я не верил в существование вампиров, оборотней и любых других подобных созданий, способных, как говорили, в корне изменить судьбу человека или хоть как-то повлиять на ход событий, на тот, казалось бы, хаотический ритм, который управляет жизнью вселенной.

— А теперь ты веришь в Бога?

— Нет. Насколько я понимаю, еще какое-то время мне удастся сохранять ту форму, в которой я пребываю сейчас, а потом я начну, что называется, таять — так, во всяком случае, происходило со всеми призраками, которых мне доводилось видеть. И в конце концов исчезну, умру окончательно и бесповоротно. Погасну, как свет. Вот что меня ждет. Забвение. Не кто-то и не что-то. Присутствие чего-то личностного не более чем иллюзия моего разума,— точнее, того, что от него осталось,— который упорно продолжает цепляться за этот мир. Что ты обо всем этом думаешь?

— Прав ты или нет, но оба твои предположения приводят меня в ужас.

Я не собирался ни рассказывать ему о своем преследователе, ни спрашивать его о статуе. Теперь я точно знал, что Роджер не имеет никакого отношения к тому, что скульптура вдруг показалась мне живой. Он в тот момент был уже мертв и переходил в иную реальность.

— Приводят тебя в ужас? — с нотками почтения в голосе переспросил он.— Но ведь это происходит не с тобой. Напротив, ты подвергаешь такому испытанию других. А теперь позволь мне объяснить кое-что относительно Доры.

— Она красива, и я... Я постараюсь о ней позаботиться.

— Нет, ей нужно от тебя нечто большее. Она нуждается в чуде.

— В чуде?

— Послушай, кем бы ты ни был, но ты продолжаешь жить, хотя ты и не человек. И ты способен совершить чудо — разве я не прав? Для существа с твоими способностями это совсем не трудно, так соверши же его ради Доры.

— Ты имеешь в виду какое-нибудь фальшивое религиозное чудо?

— А что же еще? Она не представляет, как можно спасти мир без чуда. И в твоих силах сделать это для нее.

— И ты остался в этом мире, преследовал меня и пришел сюда только ради того, чтобы обратиться со столь ничтожной просьбой? — Я был поражен.— Тебе самому не будет прощения, и душу твою уже не спасти. Ты покойник. Но даже в этих обстоятельствах ты остаешься вымогателем и преступником. Ты только послушай, о чем ты просишь! Чтобы я совершил фальшивое чудо для Доры! Неужели ты думаешь, что ей бы это понравилось?

Он застыл от изумления и был настолько поражен, что даже не почувствовал себя оскорбленным.

Поставив бокал на стойку, он молча обвел взглядом бар и задумался. Он казался исполненным достоинства и выглядел лет на десять моложе, чем в тот момент, когда я его убил. Любой, кто призраком возвращается в этот мир, стремится принять для этого привлекательный облик. Вполне естественное желание. Глядя на него, я чувствовал, как внутри меня крепнет и разрастается неизбежное в таких случаях и роковое для меня восхищение доставшейся мне жертвой: «Мсье, в моих жилах течет ваша кровь!»

Роджер повернулся ко мне.

— Ты прав,— свистящим шепотом заговорил он.— Совершенно прав. Я не должен вступать с тобой в сговор ради совершения для нее фальшивого чуда. Она ни за что бы не одобрила столь чудовищную сделку.

— Ну вот, теперь ты говоришь как благодарный мертвец*.

Он издал короткий презрительный смешок, но тут же вновь помрачнел и тихо произнес:

— Лестат, ты должен позаботиться о ней... хотя бы какое-то время...

Я не ответил, и он продолжал настаивать:

— Недолго, пока все не уляжется и репортеры не оставят ее в покое, пока не кончится весь этот кошмар и она не придет в себя и не вернется к своей вере, пока она не станет прежней Дорой. У нее своя жизнь. Лестат, она не должна страдать из-за меня, тем более из-за меня! Это несправедливо!

— Несправедливо?

— Назови меня по имени,— попросил он.— Взгляни на меня.

Я поднял на него взгляд. Это было поистине тяжелое зрелище. Он был раздавлен горем. Никогда еще мне не доводилось видеть, чтобы человеческое существо страдало так сильно. Никогда...

---

* Аллюзия на распространенную в мировом фольклоре легенду о благодарном мертвеце — непогребенном покойнике, посещающем человека, который его похоронил, и в знак благодарности совершающем для своего благодетеля какое-нибудь чудо.

— Меня зовут Роджер,— сказал он и в этот момент показался мне еще моложе, как будто в мыслях своих он совершал некое путешествие назад во времени, едва ли не в пору невинности,— если, конечно, мертвецам, не желающим порывать связь с этим миром, вообще позволительно вспоминать о своей невинности.

— Твое имя мне известно,— ответил я.— Мне все о тебе известно, Роджер. Призрак Роджер. И ты ни разу не позволил Старому Капитану прикоснуться к тебе. Ты позволял ему только обожать тебя, учить, возить повсюду и покупать тебе красивые вещи, но при этом ты ни разу не лег с ним в постель — хотя бы ради приличия.

Все это я сказал ему без злобы и без какого-либо тайного умысла — просто вспомнил те образы, которые мелькали перед моими глазами, пока я пил его кровь. В моем голосе слышалось скорее удивление тем, что все мы так порочны и лживы.

Он молчал.

Я чувствовал себя подавленным. Горечь, печаль, ужас содеянного с ним и мерзость злодеяний, совершенных мною по отношению ко многим другим живым существам, буквально оглушили меня. Я вздрогнул от отвращения.

А в чем состояла миссия Доры? Каким образом можно нас спасти? Неужели с помощью все тех же песнопений и гимнов, свидетельствующих об обожании и поклонении?

Он наблюдал за мной. Молодой, исполненный энергии — великолепная имитация жизни. Роджер...

— Хорошо, согласен,— наконец заговорил он.— Ты прав, я не спал со Старым Капитаном. Но он никогда и не требовал этого от меня — он был слишком стар, и речь шла совсем о другом. Ты понятия не имеешь о том, как все обстояло на самом деле. Возможно, тебе известно, что я чувствовал себя виноватым. Но ты не знаешь, как часто впоследствии я сожалел о том, что этого не случилось. Что я не познал этого со Старым Капитаном. И совсем не это сбило меня с правильного пути. Нет, совсем не это. И не мошенничество или грабеж, как ты полагаешь. Мне нравились вещи, которые он мне показывал. А он любил меня. Вполне вероятно, что именно благодаря мне он прожил на этом свете лишние два-три года. Винкен де Вайльд... Винкен де Вайльд нравился нам обоим. И все должно было обер-

нуться совсем иначе. Ты же знаешь, что, когда Старый Капитан умирал, я был рядом с ним. Я не покидал его комнаты. Я умею быть преданным, когда люди, которых я люблю, нуждаются в моей помощи.

— Да уж. Ты был рядом и со своей женой — Терри.

Упомянуть об этом было жестоко с моей стороны, но сцена убийства так ясно предстала вдруг перед глазами, что слова вырвались как-то сами собой, я даже не успел подумать.

— Ладно, забудем об этом,— сказал я.— Извини. И объясни, Бога ради, кто такой Винкен де Вайльд.— На душе у меня было скверно.— Бог мой! Ты явился в облике призрака и теперь преследуешь меня. А я трус! Трус! И почему ты упомянул это странное имя? Нет, не хочу знать. Не рассказывай мне больше ничего. С меня достаточно. Я ухожу. А ты, если угодно, можешь торчать в этом баре хоть до Судного дня. Найди себе нового собеседника — какого-нибудь добродетельного смертного...

— Послушай,— прервал он мои стенания.— Ты любишь меня. Ты выбрал меня. И все, чего хочу теперь я, это посвятить тебя в некоторые подробности.

— Я позабочусь о Доре. Так или иначе, но позабочусь. Я подумаю, как ей лучше помочь. Я сделаю что-нибудь. И я позабочусь о твоих сокровищах — вывезу их из квартиры в безопасное место и сохраню их для Доры, до того момента, когда она почувствует, что может их принять.

— Прекрасно!

— Договорились! А теперь отпусти меня.

— А я тебя и не держу,— ответил он.

О да, я любил его! Мне нравилось на него смотреть. И я хотел, чтобы он поведал мне все, до последней детали. Я коснулся его руки. В ней не было жизни. Это была уже не человеческая плоть. Однако какая-то энергия в ней все же присутствовала — нечто обжигающее и возбуждающее.

Он лишь улыбнулся.

Потом протянул руку, обхватил пальцами мое запястье и придвинулся ближе. Я почувствовал, как прядь его волос скользнула по моему лбу, слегка пощекотав кожу. Огромные черные глаза смотрели мне прямо в лицо.

— Выслушай меня,— в который уже раз повторил он, обдав меня лишенным запаха дыханием.

— Хорошо...

И тогда он заговорил — негромко и торопливо начал рассказывать мне свою историю.

4

— Дело в том, что Старый Капитан был контрабандистом и коллекционером. Я провел рядом с ним много лет. Мать отправила меня в Андовер, однако вскоре привезла обратно домой — она не могла жить без меня. Я учился у иезуитов. У меня практически не было друзей, я почти никуда не ходил, и потому, наверное, общество Старого Капитана было для меня наилучшей компанией. Что же касается Винкена де Вайльда, то все началось тоже со Старого Капитана и его торговли антиквариатом, в основном мелкими вещами.

Но я хочу сказать тебе сразу, что Винкен де Вайльд не имеет никакого значения, он связан лишь с одним моим сном, хотя и очень порочным, извращенным. То есть я хочу сказать, что Винкен де Вайльд был страстной любовью всей моей жизни — за исключением Доры, разумеется,— но если после нашего разговора тебе он будет неинтересен, то, значит, и никому больше. Доре, во всяком случае, нет до него дела.

— И все же кто он такой, этот Винкен де Вайльд? И что с ним связано?

— Искусство, конечно. Красота. Лет в семнадцать у меня в голове была полная каша. Я вдруг решил, что должен основать новую религию, своего рода культ,— знаешь, свободная любовь, помощь бедным, протест против любого насилия, ну и все такое,— нечто вроде прелюбодействующих аманитов. Шел 1964 год... Это была эпоха «детей цветов», марихуаны. Боб Дилан без конца пел о морали, нравственности и милосердии. И мне захотелось воссоздать Братство общей жизни, но только в духе современных сексуальных представлений. Ты знаешь, что это было за Братство.

— Да, они проповедовали очень популярную в средние века мистическую идею о том, что каждый может познать Бога.

— Именно. Надо же, ты и об этом знаешь!

— И что для этого не обязательно быть монахом или священником.

— Все правильно. Монахи чересчур нетерпимы и завистливы, а мои юношеские мечты вдохновлял Винкен. Я знал, что он последователь немецкого мистицизма, Мейстера Экхарта и его единомышленников, хотя и работал в монастырской мастерской, где переписывал от руки на пергаменте старинные молитвенники и другие священные книги. Однако книги Винкена резко отличались от всех других. И мне казалось, что если я соберу их все, то непременно добьюсь успеха.

— Но почему именно Винкен? Чем он отличался от остальных?

— Попробую объяснить. Видишь ли, наш пансион представлял собой смесь нищеты и элегантности. Моя мать, что называется, не опускалась до грязной работы — для этого существовали три служанки и старик негр, мастер на все руки. Что касается жильцов, все они были людьми состоятельными, с приличными доходами и собственными лимузинами, стоявшими в гаражах по всему Садовому кварталу, а потому могли себе позволить и трехразовое питание, и красные ковровые дорожки, и все остальное. Дом этот, я уверен, тебе известен — он был построен по проекту Генри Хауарда в поздневикторианском стиле. Мать унаследовала его от своей матери.

— Да, я знаю его. Видел, как ты останавливался перед этим домом. А кто владеет им сейчас?

— Понятия не имею. Я потерял его. Я вообще многое потерял. Но речь не об этом. Так вот, представь себе: дремотный полдень; мне всего пятнадцать, и я чувствую себя ужасно одиноким; Старый Капитан приглашает меня к себе, и в дальней комнате — а он занимал две гостиные в передней части дома и жил в особом, волшебном мире удивительных и редких вещей — я вижу на столе...

— Могу себе представить...

— ...Я вижу на столе эти книги! Маленькие средневековые молитвенники! Конечно, мне и раньше приходилось видеть молитвословы, я хорошо знал, как они выглядят. Но только не средневековые рукописи... В детстве я прислуживал при алтаре в церкви, ежедневно вместе с матерью ходил к мессе, умел читать церковную латынь — в той мере, в какой это было необходимо. Иными словами, я, конечно, понял, что книги эти религиозные, что они очень редкие, ценные и что Старый Капитан, несомненно, собирается их продать.

«Ты можешь посмотреть их, Роджер,— сказал он мне,— и даже взять в руки, но только если будешь обращаться с ними бережно и аккуратно». До этого уже в течение двух лет он приглашал меня к себе, мы вместе слушали пластинки с записями классической музыки, часто он брал меня с собой на прогулки. Но как раз в тот период, о котором я сейчас рассказываю, он начал проявлять ко мне сексуальный интерес, хотя я об этом даже не подозревал и пока это к делу не относится.

Когда я вошел, он разговаривал с кем-то по телефону. Речь шла о судне, стоявшем в порту.

Через несколько минут мы были уже на пути в гавань. Вообще, мы часто поднимались на борт разных кораблей. Я ничего не знал о цели этих посещений. Видимо, все та же контрабанда. Помню только, как Старый Капитан сидел за большим круглым столом и беседовал с командой — как правило, это были голландцы,— а в это время кто-нибудь из офицеров показывал мне машинное отделение, штурманскую каюту, радиорубку... Все они говорили с сильным акцентом. Я никогда не уставал от таких экскурсий, потому что очень любил корабли. В те годы причалы Нового Орлеана не пустовали и там всегда было полно пеньки, конопли, крыс.

— Да, я помню.

— А помнишь длинные канаты, протянутые между бортами судов и берегом? На таких канатах всегда закрепляли специальные металлические пластины, служившие своего рода щитами, потому что крысы не могли через них перелезть.

— Конечно.

— Так вот. В тот вечер мы вернулись домой очень поздно, но, вместо того чтобы по обыкновению отправиться спать, я стал упрашивать Старого Капитана, чтобы он позволил мне снова пойти к нему и еще раз взглянуть на книги, прежде чем он их продаст. Матери в холле не было, и я надеялся, что она уже легла в постель.

Позволь, однако, немного подробнее рассказать о моей матери и нашем пансионе. Как я уже упоминал, он выглядел достаточно элегантно. Интерьер и обстановка были выдержаны в

стиле Ренессанса, хотя, конечно, говорить в данном случае приходится лишь о подражании, ибо такими вещами фабричного производства были буквально забиты многие особняки начиная с восьмидесятых годов девятнадцатого века.

— Я помню.

— В доме была великолепная лестница, винтовая. Она начиналась возле витражного окна — истинный шедевр, которым Генри Хауард мог справедливо гордиться. А у самого ее основания, внутри лестничного колодца,— ты только представь себе! — стоял огромный туалетный столик, принадлежавший моей матери. И она сидела в холле и расчесывала волосы. Стоит мне только вспомнить об этом, и у меня тут же начинает болеть голова! Точнее, начинала болеть, пока я был жив. Поистине трагическая картина! Несмотря на то что я видел ее с детства практически каждый день, я так и не смог избавиться от ощущения ужасного несоответствия: пожилая женщина с темными волосами, сидящая за мраморным, украшенным филигранью туалетным столиком с зеркалами и канделябрами, никак не увязывалась в моем воображении с парадным, торжественным холлом.

— А жильцы с этим мирились?

— Конечно, потому что дом был забит под завязку. Старый мистер Бридли жил в помещении, некогда служившем террасой для слуг; слепая мисс Стентон обитала в бывшей «обморочной» комнатушке наверху; еще четыре комнаты переоборудовали для жильцов в задней части дома, там, где раньше жили слуги. Я по натуре очень чувствителен к любому беспорядку. По мне, все должно быть устроено либо идеально, либо вообще никак — вроде полнейшего хаоса в той квартире, где ты меня убил.

— Понимаю.

— Но если бы мне довелось вновь поселиться в том доме... Впрочем, это не важно. Я лишь хотел объяснить, что люблю порядок и в молодости всегда о нем мечтал. Мне хотелось быть своего рода святым — точнее говоря, мирским святым. Однако вернемся к книгам.

— Продолжай.

— Я бросился к лежавшим на столе книгам. Одна из них имела даже собственный футляр. Я был покорен и очарован

миниатюрными иллюстрациями. В ту ночь я изучал страницу за страницей, мечтая о том, чтобы впоследствии получить возможность возвращаться к ним снова и снова. Естественно, что латынь, на которой эти книги были написаны, я прочесть не мог.

— Слишком плотный текст и изощренное написание букв.

— Надо же, тебе и это известно!

— Полагаю, мы делаем немало удивительных открытий относительно друг друга. Однако продолжай.

— Всю неделю я самым тщательным образом рассматривал книги. Ради них даже пропускал школу. Там было ужасно скучно. Тем более что я сильно опережал в учебе своих одноклассников и жаждал совершить нечто совершенно необыкновенное — какое-нибудь дерзкое преступление, например.

— Ну да. Либо святой, либо преступник.

— Согласен. На первый взгляд мои желания в корне противоречат одно другому. И тем не менее все обстояло именно так.

— Не сомневаюсь.

— Старый Капитан поведал мне многое об этих книгах. Ту, что лежала в отдельном футляре, обычно носили на поясе — она представляла собой нечто вроде дорожного молитвенника. А самая большая и толстая из них, и тоже богато украшенная, называлась Часослов. Была там, конечно же, и Библия на латинском языке. Надо заметить, он рассказывал обо всем этом крайне небрежным тоном, и было очевидно, что его самого книги мало интересовали.

А вот меня, сам не знаю почему, они буквально притягивали к себе. Они казались мне уникальным средоточием того, что я любил и ценил в любой вещи: красоты и незаурядности. Ничего подобного мне еще не приходилось видеть.

— О да, твоя страсть мне хорошо понятна,— с улыбкой произнес я.

— Красные чернила, обилие золота, миниатюрные фигурки... Это было прекрасно! Я взял лупу и принялся досконально изучать каждую иллюстрацию. Потом отправился в старую библиотеку на Ли-серкл — помнишь ее? — и внимательно прочел все, что смог там найти по интересующей меня теме: о средневековой книжной культуре, о том, как трудились над созданием книг монахи-бенедиктинцы. Тебе известно, что Дора владе-

ет монастырем? Это, конечно, не Сент-Галльское аббатство, но нечто очень на него похожее — монастырь строился в девятнадцатом столетии.

— Я видел его и видел там Дору. Она очень смелая девушка и совсем не боится темноты и одиночества.

— Она до идиотизма верит в Святое провидение, но способна добиться многого, если кто-то не разрушит ее мечты и планы. Мне нужно выпить еще. Я знаю, что рассказываю слишком торопливо и сумбурно, но по-другому сейчас не могу.

Я жестом приказал бармену принести еще порцию.

— Продолжай. Что было дальше? И кто же он все-таки, этот Винкен де Вайльд?

— Он был автором двух из тех ценнейших книг, которые оказались в распоряжении Старого Капитана. Но я узнал об этом не сразу, а лишь через несколько месяцев. Все это время я продолжал упорно изучать иллюстрации и постепенно пришел к выводу, что миниатюры в двух рукописях созданы рукой одного художника. А вскоре в обеих книгах мне удалось обнаружить и его имя, причем в нескольких местах, хотя Старый Капитан уверял, что никаких подписей там нет. Однако, как я уже говорил, все ценности были для него не более чем предметами торговли. Обычно он заключал такого рода сделки в магазине на Роял-стрит.

Я кивнул, подтверждая, что помню.

— Итак, я жил в страхе, ожидая того момента, когда он понесет туда и столь дорогие моему сердцу сокровища. Ведь эти две книги не были похожи ни на какие другие. Прежде всего, рисунки отличались обилием тщательно выписанных деталей. Например, на одной странице можно было увидеть цветущую ветвь винограда, а в каждом цветке, словно в персональном убежище, скрывалась маленькая человеческая фигурка. Кроме того, это были сборники псалмов. Причем на первый взгляд они представляли собой каноническую Псалтирь, соответствовавшую тексту общепринятой латинской Библии.

— А на самом деле?

— А на самом деле — нет. Таких псалмов ты не найдешь ни в какой Библии. Мне не составило труда выяснить это, просто сопоставив их с текстами других латинских изданий того же периода, которые я принес из библиотеки. Это были авторские

сочинения. Мало того, миниатюрные иллюстрации изображали не только животных, деревья или плоды, но и людей, причем обнаженных. Но и это еще не все. Обнаженные люди занимались всякими вещами...

— Босх!

— Именно! Совсем как «Сад земных наслаждений» Босха! Те же райские сладострастие и чувственность. Конечно, тогда я еще не побывал в «Прадо» и не видел самого творения мастера. Но, можно сказать, передо мной был именно Босх в миниатюре. Крошечные люди резвились и шалили под изобильно увешанными плодами деревьями. Старый Капитан уверял меня, что не видит в иллюстрациях ничего необыкновенного, что все это широко распространенные образы, характерные для изображения райского сада. Я не мог с ним согласиться. Две книги, буквально заполненные такими миниатюрами? Нет, я не считал это чем-то обычным. Я просто обязан был расшифровать обе книги, найти ключ к их пониманию, перевести и прояснить смысл каждого содержащегося в них слова.

И тогда Старый Капитан сделал мне поистине королевский подарок — он совершил нечто такое, что могло превратить меня в религиозного лидера и способно сделать таковым Дору, хотя у нее в жизни совсем иная цель.

— Он отдал тебе книги.

— Да! Он отдал их мне. Скажу больше. Тем летом мы объездили с ним всю страну, чтобы я имел возможность увидеть другие средневековые рукописи. Мы побывали в Хантингтонской библиотеке в Пасадене, в библиотеке Ньюбери в Чикаго, мы посетили Нью-Йорк. Он хотел даже отвезти меня в Англию, но мать не разрешила.

Я получил представление практически о всех типах средневековых книг. И пришел к выводу, что произведения Винкена не похожи ни на какие другие. Винкен был язычником и богохульником. Имя его слышали сотрудники многих библиотек, однако ни одна из них не могла похвастать его книгами.

Капитан позволил мне и дальше держать у себя книги. Тогда я вплотную занялся их переводом. Я перешел в выпускной класс. Однако в первую же неделю учебного года Старый Капитан умер в своей комнате. Я оставался с ним до самого дня похорон, отказывался оставить его одного и стал посещать уроки

только после церемонии погребения. Несколько дней он находился в коме и к исходу третьих суток внешне изменился настолько, что узнать его было практически невозможно. Глаза Старого Капитана перестали закрываться, хотя сам он этого, конечно, не сознавал, из полуоткрытого рта, принявшего форму овала, со свистом вырывалось неровное дыхание. Поверь, я не покидал его ни на минуту и видел все это собственными глазами.

— Я верю.

— Да, все было именно так. Теперь представь. Мне исполнилось семнадцать, мать все время болела, денег на продолжение учебы в колледже — а все ученики выпускного класса только об этом и твердили — не было. Я мечтал о Калифорнии, о Хейт-Эшбери, о «детях цветов» и песнях Джоан Баэз. Я мог думать только о том, что отправлюсь наконец в Сан-Франциско и, вооруженный идеями Винкена де Вайльда, стану там основателем совершенно нового культа.

К тому времени у меня уже был практически готов перевод обеих книг. В этом мне очень помог старый священник-иезуит, один из тех блестяще одаренных ученых монахов, которые в силу обстоятельств вынуждены были половину дня отдавать воспитанию мальчишек. Он смог посвятить мне не слишком много времени, но делал это с удовольствием, и не только потому, что перевод доставлял ему истинное наслаждение. Ведь нам приходилось подолгу оставаться с ним наедине за запертыми дверями, а это, в свою очередь, дарило ему надежду на определенную интимную близость.

— Стало быть, еще до смерти Старого Капитана ты уже снова торговал собой?

— Нет. Все было иначе. Не совсем так, как ты думаешь. Но все же... Видишь ли, этот священник был ирландцем и принадлежал к числу истинных целибатов, твердо выполнявших обет безбрачия. Таких теперь, наверное, уже нет, и современному человеку понять их очень трудно. Он, что называется, никогда и ни с кем... Сомневаюсь даже, что он хоть раз мастурбировал. Ему было вполне достаточно хоть недолго находиться рядом с каким-нибудь мальчиком, а все его эмоции выражались лишь в кратковременном учащении дыхания или еще в чем-либо в том же духе. В наши дни религия не привлекает к себе таких здоро-

вых и в то же время воздержанных мужчин, чьи желания вытеснены в область подсознания. Люди такого сорта не способны причинить зло ребенку, сексуальное домогательство для них столь же немыслимо, как непристойные вопли с алтаря во время мессы.

— Значит, он не сознавал, что испытывает к тебе влечение, что ты ему как-то по-особенному нравишься?

— Совершенно верно. Он просто часами сидел рядом со мной и переводил сочинения Винкена. Я не свихнулся во многом благодаря ему. Оказавшись поблизости от нашего дома, отец Кевин — таково было его имя — всегда заглядывал, чтобы проведать Старого Капитана. Будь Старый Капитан католиком, отец Кевин непременно соборовал бы его. Постарайся понять. Ты не можешь судить людей, подобных Старому Капитану и отцу Кевину.

— О да! Как и мальчиков вроде тебя.

— А тут еще в последний год моей учебы мать завела себе отвратительного нового дружка — этакую сладенькую пародию на джентльмена, одного из тех людей с черной душой и сомнительным прошлым, кто при этом умеет хорошо и много говорить и смотрит на тебя сверху вниз. Его моложавое лицо было испещрено морщинками, отчего выглядело словно потрескавшимся. Он курил «Дю Морье». Мне кажется, что он даже собирался жениться на моей матери — ради дома, разумеется. Ты слушаешь меня?

— Да, конечно. Значит, после смерти Старого Капитана у тебя не осталось никого, кроме священника?

— Никого. Теперь ты понимаешь, в каком положении я оказался. Мы с отцом Кевином продолжали усердно трудиться. Ему нравилось приезжать ко мне в пансион. Обычно он оставлял машину на Филип-стрит, и мы поднимались в мою комнату — на втором этаже в передней части дома. Окнами она выходила на улицу, и оттуда были великолепно видны шутовские парады во время празднования Марди-Гра. Я вырос в полной уверенности, что нет ничего удивительного и необычного в том, что ежегодно весь город на целых две недели буквально сходит с ума. В общем, так или иначе, однажды ночью во время очередного парада мы по обыкновению не спали, однако совершенно не обращали внимания на происходящее за окном — абсолютно

нормальная реакция местных жителей, которые за свою жизнь успели достаточно насмотреться на кавалькады из папье-маше, дешевые безделушки, факелы...

— Да, эти кошмарные багровые факелы...— перебил я его.

— Согласен...

Он вдруг умолк и задумчиво уставился в бокал с новой порцией выпивки, только что принесенный барменом.

— В чем дело? — встревожился я, потому что почувствовал, что и он чем-то взволнован.— Роджер, посмотри на меня. Не исчезай, продолжай свой рассказ. Что вам удалось выяснить из перевода? Эти книги действительно были кощунственными и богохульными? Роджер! Пожалуйста, не молчи!

Он вздрогнул и вышел из оцепенения. Потом поднял бокал и одним глотком выпил почти половину.

— Гадость, но мне нравится. «Сазерн Камфорт» стал первым спиртным напитком, который я попробовал, еще когда был совсем мальчишкой.— Он поднял на меня взгляд.— Я не исчезаю. Просто мне вдруг вспомнился дом, я словно вновь увидел его, ощутил его запах... Ты знаешь, как пахнет в комнатах стариков, в комнатах, где они живут много лет и где умирают? Но мне этот запах казался чудесным. Так о чем я говорил? Ах, да. Итак, ночью, во время парада в честь Протея, отец Кевин сделал великое открытие: обе книги Винкен де Вайльд посвятил своей покровительнице Бланш де Вайльд, которая, как явствовало из текста и рисунков, содержавшихся на первых пяти страницах, была женой его брата Дэмиена. Это открытие заставляло совершенно по-новому интерпретировать и сами псалмы. Они были полны сладострастных обещаний, предложений и приглашений и даже, возможно, содержали в себе некий секретный шифр, с помощью которого назначались тайные свидания. В книгах неоднократно появлялось изображение одного и того же маленького садика — как ты понимаешь, я говорю о миниатюрах.

— Я знаю множество подобных примеров.

— И каждый раз в этом садике присутствовали фигурки обнаженного мужчины и пяти женщин, танцующих вокруг фонтана в каком-то средневековом замке,— во всяком случае, при пятикратном увеличении это выглядело именно так. И тут

отца Кевина вдруг охватил неудержимый смех — он долго хохотал, не в силах остановиться.

«Стоит ли удивляться, что мы не видим здесь ни одного святого или сцены из Библии,— наконец смог заговорить он.— Этот твой Винкен де Вайльд был отъявленным еретиком. Не иначе как колдуном или одержимым. И он, конечно же, был влюблен в эту женщину, в Бланш». Надо сказать, что сделанное открытие скорее развеселило, чем ужаснуло отца Кевина.

«Знаешь, Роджер,— сказал он,— если ты сумеешь связаться с устроителями аукционов, то, вполне возможно, эти книги позволят тебе получить образование в университете Лойолы или Тулейна. Только не вздумай продавать их здесь. Поезжай в Нью-Йорк, обратись в "Баттерфилд и Баттерфилд" или "Сотби"».

За последние два года он переписал для меня что-то около тридцати пяти стихов в переводе на английский — надо признать, что его прозаические переводы с латыни были сделаны абсолютно точно,— и теперь мы перечитывали их и тщательно изучали. Постепенно нам становилось понятным содержание книг в целом.

Еще нам удалось выяснить, что на самом деле книг было много, а в нашем распоряжении оказались первая и третья из них. Уже в третьей книге псалмы выражали безграничное восхищение Бланш; автор воспевал чистоту и доброту своей возлюбленной и постоянно сравнивал ее с Девой Марией. Кроме того, там содержались ответы на какие-то письма — судя по всему, женщина описывала в них свои страдания и те муки, которые ей приходилось терпеть во власти мужа.

Стихи великолепны, и вообще, книги сделаны столь искусно и талантливо, что тебе непременно следует их увидеть и прочесть. Ты должен отправиться в ту квартиру, где убил меня, и взять их.

— Значит, ты не продал книги, чтобы раздобыть средства на обучение в университете?

— Конечно нет. Ты только представь! Винкен устраивал оргии вместе с Бланш и ее четырьмя подругами! Я был заворожен и восхищен. Винкен стал для меня своего рода святым — я преклонялся перед силой его таланта; а сексуальность превратилась для меня в религию, потому что таковой она была для Винкена: каждым своим словом, в каждой строке он воспевал

плотскую любовь. Пойми, я никогда искренне не придерживался какого-либо ортодоксального вероисповедания. И считал, что католическая церковь стоит на грани умирания, а протестантизм и вовсе смешон. Только много лет спустя я понял, что протестантская вера основана на мистике и проповедует то самое единение с Богом, которое столь яростно отстаивал Мейстер Экхарт и о котором писал Винкен.

— О, какое великодушие по отношению к протестантам! А что, Винкен действительно писал о единении с Богом?

— Да, через союз и единение с женщинами. Он высказывался весьма завуалированно и в то же время совершенно недвусмысленно. «Их объятия позволяли мне познать суть Троицы с гораздо большей ясностью, чем любые учения и объяснения...» — примерно в таком духе. Справедливости ради должен сказать, что в то время протестантская религия ассоциировалась у меня лишь с материализмом, бесплодием и туристами-баптистами, которые напивались в стельку на Бурбон-стрит только потому, что не осмеливались делать это в своих маленьких городишках.

— И когда же ты изменил свое отношение к протестантам? — спросил я.

— Я сейчас говорю не о частностях, а о своем отношении к религии в целом. В то время я не видел перспектив ни для одного из существовавших на Западе вероисповеданий. Дора сейчас придерживается практически того же мнения. Но о Доре мы поговорим позже.

— Вам удалось полностью закончить перевод?

— Да, как раз перед тем, как отца Кевина перевели на службу в другое место. Больше я его не видел. Позже он писал мне, но к тому времени я уже сбежал из дома.

Ни слова не сказав матери, я сел в автобус «Трейлвейз», потому что у них билет стоил на несколько центов дешевле, чем у «Грейхаунд», и перебрался в Сан-Франциско. Денег практически не было — в карманах у меня не нашлось бы на тот момент и семидесяти пяти долларов. Все, что когда-то давал мне Старый Капитан, я промотал, а после его смерти прикатили какие-то родственники из Джексона, штат Миссисипи, и вывезли вещи из его комнат.

Они забрали абсолютно все. Хотя, я думаю, Старый Капитан оставил кое-что и мне. Но мне было наплевать. Самым большим его подарком были книги. И еще — наши с ним ленчи в «Монтелеоне». Мы заказывали суп из стручков бамии, и Старый Капитан позволял мне крошить в него соленые крекеры и размешивать, пока суп не превращался в кашу. Это было мое любимое блюдо.

Да-а... Так о чем я говорил? Я купил билет до Калифорнии, а оставшиеся деньги распределил таким образом, чтобы на каждой остановке съедать хотя бы по куску пирога с кофе. И в какой-то момент я вдруг осознал, что точка возврата осталась позади. По-моему, это произошло в одном из городков Техаса. То есть я хочу сказать, что, даже если бы мне в тот момент захотелось вернуться, денег на обратную дорогу уже не хватило бы. Если мне не изменяет память, столь забавные мысли пришли мне в голову ночью, а городок, кажется, назывался Эль-Пасо. Так или иначе, путь назад был отрезан.

Меня ждал Сан-Франциско! Я рвался в Хейт-Эшбери, чтобы исполнить свою мечту: создать там новый культ, основанный на идеях Винкена и прославляющий любовь и согласие, культ, главным лозунгом которого должно было стать провозглашение божественности сексуального единения. И в доказательство я жаждал показать своим последователям книги Винкена. Да, я мечтал именно об этом, хотя, должен тебе признаться, сам в Бога совершенно не верил.

Не прошло, однако, и трех месяцев, когда я понял, что отнюдь не одинок и не оригинален в своих убеждениях. Город был буквально заполонен хиппи, которые исповедовали свободную любовь и нищенство. И хотя я регулярно рассказывал о Винкене огромному числу своих разгульных, полуопустившихся, вольно живущих друзей, хотя я показывал им книги и читал псалмы — самые безобидные, конечно...

— Могу себе представить...

— ...Моим главным и основным занятием стала работа в качестве менеджера тройки рок-музыкантов, которые мечтали о славе и считали ниже своего достоинства держать в голове сроки и условия контрактов или собирать выручку от концертов. Один из них — мы звали его Блю — на самом деле пел хорошо.

У него был красивый тенор с широким диапазоном. Группа имела успех. Во всяком случае, нам так казалось.

Письмо отца Кевина я все же получил. Мы обитали тогда в мансарде «Спрекелз Мэншн» в районе Буэна-Виста-парка. Ты знаешь этот дом?

— Да, знаю. Сейчас там отель.

— Правильно. Но отелем он стал много позже, после ремонта и реставрации. А в те времена это был частный дом с танцевальным залом на верхнем этаже; там же имелись маленькая кухонька и ванная. Их-то я и арендовал. Такого понятия, как «ночлег и завтрак», тогда еще не существовало. Музыканты просто жили там, пользовались кухней и одной на всех грязной ванной, репетировали. А днем, когда они спали вповалку на полу, я предавался собственным мечтам — о Винкене, о том, где и как найти как можно больше сведений об этом человеке и о его стихах о любви. Меня посещали самые разнообразные фантазии, и все они были связаны с Винкеном.

Я часто вспоминаю ту мансарду. Окна с широкими подоконниками и висевшими клочьями драными бархатными шторами выходили сразу на три стороны, за исключением востока, насколько я помню. Но я не силен в определении сторон света. Сан-Франциско оттуда был виден как на ладони. Мы обожали часами напролет сидеть в глубоких оконных нишах и разговаривать. Моим друзьям нравились рассказы о Винкене. Мы даже собирались написать несколько песен на его стихи. К сожалению, так ничего и не написали.

— Он превратился для тебя в навязчивую идею.

— Да, я был словно одержимый. Лестат, прошу, не важно, веришь ты мне или нет, но, после того как мы закончим нашу беседу, ты должен вернуться в квартиру и забрать книги. Они все там. Все, созданные Винкеном, до единой. Я поставил себе целью жизни собрать их. Ради них я связался с наркотиками. И даже вернулся в Хейт.

Я говорил об отце Кевине. Он прислал мне письмо, в котором сообщил, что просмотрел несколько старых рукописей и нашел в них упоминания о Винкене де Вайльде — о том, что тот был еретиком, главой какой-то секты, и что его казнили. Его учение пользовалось популярностью только у женщин и подверглось официальному осуждению со стороны церкви. Отец

Кевин писал, что вся эта история «давно ушла в прошлое» и мне следует продать книги. Он обещал сообщить мне подробности, однако больше я от него ничего не получил. А два месяца спустя под влиянием момента я совершил несколько убийств, и обстоятельства резко изменились.

— Это было связано с торговлей наркотиками?

— В определенной мере. Только прокололся не я. Виноват был Блю. Он занимался этим бизнесом гораздо активнее меня. Таскал травку чемоданами, в то время как я обходился маленькими пакетиками. Доход был невелик, но мне хватало. А Блю торговал по-крупному и однажды потерял два килограмма. Никто не знал, что произошло и куда они подевались. Мы предполагали, что Блю просто забыл их в такси, но точно так ничего и не выяснили.

В те годы в наркобизнесе крутилось великое множество глупых, наивных юнцов. Они «входили в дело», даже не подозревая о грозящей им опасности, о том, что те, кто снабжает их «товаром», люди серьезные и жестокие, которым ничего не стоит пристрелить на месте любого. Блю надеялся выкрутиться и придумал какое-то дурацкое объяснение — вроде того, что его якобы ограбили приятели. Или еще что-то в том же духе — не знаю. По его словам, партнеры поверили ему и даже снабдили оружием.

Они предупредили Блю, что, возможно, настанет момент, когда ему придется воспользоваться пистолетом. Однако он, конечно, и не подумает это делать, заявил нам Блю и спрятал пистолет в кухонный шкаф. Мне кажется, когда человек глуп да еще и под завязку накачан наркотиками, он искренне уверен, что все вокруг думают и чувствуют точно так же, как он. Блю, во всяком случае, уверял, что те ребята, мол, ничем не отличаются от нас, что волноваться не о чем, все будет в порядке и все это одни только разговоры, а мы все скоро станем не менее знаменитыми, чем Дженис Джоплин и ее группа «Биг Бразер».

Но однажды днем они все же пришли по его душу. Кроме нас, в доме никого не было.

Блю встретил посетителей — их было двое — у дверей танцевального зала и принялся заговаривать им зубы. Меня гости не видели — я сидел в кухне и поначалу даже не прислушивался к тому, что происходило в зале. Не помню точно, но, кажется, я

изучал книги Винкена. Однако постепенно до меня стал доходить смысл их беседы.

Эти двое пришли, чтобы убить Блю. Ровными, монотонными голосами они упорно твердили, что все в порядке, что он должен поехать с ними, причем следует поторопиться, потому что они спешат. Нет, он не может приехать позже, объясняли они, им велено привезти его. Ну и так далее, в том же духе. А потом один из них очень тихо, но зловеще сказал: «Все, хватит, парень, поехали». И Блю вдруг замолчал — я больше не слышал всей этой хипповой болтовни типа: «Все образуется, брат... Я не сделал ничего плохого, брат...» В зале стояла гробовая тишина. Я вдруг понял, что вот сейчас они увезут Блю, пристрелят его где-нибудь, а тело утопят, и почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Такое уже не раз случалось с парнями вроде него — я читал об этом в газетах. Шансов у него не было.

Времени на размышления не оставалось, да я и не в состоянии был здраво рассуждать, даже забыл о пистолете, лежавшем в кухонном шкафу. Охваченный порывом, я выскочил в зал и увидел там двух мужчин: оба были значительно старше нас и внешне не имели ничего общего с хиппи. Они не походили даже на «ангелов ада» — обыкновенные киллеры. При виде меня у них буквально челюсти отвисли, ибо они явно не ожидали встретить какое-либо препятствие на своем пути и даже не предполагали, что кто-то осмелится помешать им увести моего приятеля.

Думаю, ты уже узнал обо мне достаточно, чтобы понять, что я был столь же тщеславен, как и ты, а кроме того, меня никогда не покидала убежденность в собственной необыкновенности и вера в судьбу. Танцующей походкой я стремительно, едва ли не рассыпая на ходу искры, бросился к непрошеным гостям, а в голове билась только одна мысль: «Если Блю может умереть, значит, та же участь, вполне возможно, ждет и меня, а мне совсем не светит получить тому доказательство».

— Представляю...

— Я начал что-то говорить, очень быстро, напористо, претенциозно, словно накачавшийся галлюциногенами философствующий наркоман, понес какую-то заумную чушь, при этом подходя к ним все ближе и ближе; я говорил что-то о насилии,

о хулиганстве, о том, что они помешали заниматься мне и «остальным», которые сейчас там, в кухне.

И тут один из них сунул руку под пальто и вытащил пистолет. Наверное, он решил, что оружие послужит достаточно убедительным и решающим аргументом. Эта сцена и сейчас ясно стоит перед моими глазами. Он просто достал пистолет и направил его прямо на меня. Но, прежде чем он успел прицелиться, я обеими руками выхватил у него пушку, изо всех сил пнул его ногой, а потом пристрелил обоих бандитов.

Роджер на минуту умолк.

Я тоже молчал, едва сдерживая улыбку. Только кивнул головой. Мне понравился его рассказ. Конечно,— как я раньше не понял? — именно так все и должно было начаться. Он отнюдь не был прирожденным убийцей. В противном случае он ни за что бы не вызвал во мне интерес.

— Вот так, в одночасье, я превратился в убийцу,— наконец произнес он со вздохом.— В одночасье... И, представь, с первого же раза добился потрясающего успеха в этом деле.

Он отпил глоток из бокала и устремил взгляд в пространство, вспоминая события далекого прошлого. Чувствовалось, что он возбужден и в эти минуты напряжение прочно удерживает его в призрачном теле.

— И что ты сделал потом? — спросил я.

— Я уже говорил, что убийство круто изменило всю мою жизнь. Поначалу я хотел немедленно позвонить в полицию, позвать священника, готов был отправиться в ад, сообщить матери, что жизнь моя кончена, разыскать отца Кевина, спустить в туалет всю травку, позвать соседей... Все! Конец!

Но вместо этого я запер дверь, сел рядом с Блю и, наверное, целый час все говорил и говорил ему что-то, не умолкая ни на минуту. Блю за все это время не проронил ни слова. А я все продолжал болтать и одновременно молился в душе, чтобы никто не ждал киллеров на улице в машине. Хотя... Раздайся в тот момент стук в дверь, я был готов... Руки мои по-прежнему крепко сжимали пистолет, в котором еще оставалось достаточно пуль, и я сидел прямо против входа в зал...

Трупы киллеров валялись на полу. Блю смотрел перед собой невидящим взглядом, как будто принял хорошую дозу ЛСД и полностью отключился. В конце концов запас моего красноре-

чия иссяк, и в заключение я сказал, что пора выбираться к чертовой матери из этого проклятого места. Почему, спрашивается, из-за каких-то двух подонков я должен провести остаток жизни в тюрьме? В общем, мне понадобилось примерно около часа логических рассуждений, чтобы прийти к такому выводу.

— Совершенно правильному.

— Мы быстренько свалили из обжитой «берлоги». Собрали вещи, позвонили двум другим музыкантам, чтобы они забрали свои шмотки на автобусной станции. Стремительное бегство мы объяснили полицейской облавой, связанной с наркотиками. Правду они так никогда и не узнали. Да и остальные тоже. На наших ночных вечеринках и джем-сейшнз перебывало столько народа, что «пальчиков» осталось великое множество, а наши даже не были зарегистрированы в полиции. Так что вычислить нас оказалось бы практически невозможно. К тому же пистолет я унес с собой.

Но я сделал и кое-что еще. Несмотря на решительный протест Блю, я обшарил карманы мертвецов и забрал у них все деньги. Без баксов мы бы далеко не уехали.

Мы расстались. С тех пор я больше никогда не встречался ни с Блю, ни с другими двумя музыкантами — Олли и Тедом. По-моему, они уехали искать счастья в Лос-Анджелес. Блю, вполне возможно, в конце концов погиб от злоупотребления наркотиками. Но достоверных сведений о них я не получал. Я же пошел своим путем. Повторяю, с момента убийства я стал совсем другим человеком. Прежний Роджер исчез навсегда.

— Но что именно заставило тебя так измениться? — спросил я.— Я имею в виду, что конкретно послужило причиной столь разительной перемены? Убийство доставило тебе удовольствие?

— Нет. Ни в коем случае. Никакой радости, а уж тем более удовольствия я не испытывал. Успех, удача — да. Но только не удовольствие. Убийство людей — это работа, причем очень грязная и отвратительная. Это для *тебя* убийство человека — развлечение. Но ведь сам ты не человек. Для меня важно было другое. Сам факт того, что такое возможно: просто подойти к проклятому сукину сыну и сделать то, чего он никак не ожидает: отнять у него пистолет, а потом хладнокровно, без колебаний пристрелить обоих. Мне кажется, последним чувством, ко-

торое они испытали в своей жизни, было безграничное удивление.

— Просто они думали, что имеют дело с неопытными юнцами.

— Они считали нас мечтателями и фантазерами, далекими от реальной жизни. А я и был таковым на самом деле. Всю дорогу до Нью-Йорка я размышлял о своей судьбе, о том, что меня ждет великое будущее, а неожиданно открывшаяся способность — способность хладнокровно убить двоих людей — стала своего рода крещением: явлением и воплощением таящейся во мне силы.

— Ты хочешь сказать, что она была явлена тебе Богом?

— Нет. Судьбой и роком. Я уже говорил, что не испытывал никаких чувств к Богу. А тебе известно, что католическое учение гласит, что, если ты не ощущаешь в себе любви и беззаветной преданности Деве Марии, следует опасаться за твою душу. Так вот, ни любви, ни преданности Богоматери во мне не было, равно как и к любому другому божеству или святому. Именно поэтому меня до такой степени удивляет религиозность Доры, причем совершенно искренняя. Но о Доре позже. К моменту приезда в Нью-Йорк я уже твердо знал, чего хочу добиться: свободы, богатства, власти и поклонения своих многочисленных приверженцев. Я не желал признавать никаких правил, не желал мириться с ограничениями. Роскошь и воля — вот что должно стать моим девизом в этом мире.

— Да, я тебя отлично понимаю.

— Таковым было отношение к жизни Винкена. Он убеждал последователей своего учения — а это в подавляющем большинстве были женщины,— что не стоит ждать перехода в иной мир, что жить и грешить надо здесь и сейчас. Насколько мне известно, таких взглядов придерживались все еретики и безбожники. Или я ошибаюсь?

— Да, многие. Во всяком случае, так утверждали их враги.

— Следующее убийство я совершил исключительно ради денег. Мне его заказали. Я был едва ли не самым амбициозным молодым человеком во всем городе и работал с новой группой, однако заключить контракт нам никак не удавалось, в то время как другие рок-звезды часто получали его после первого же выступления. Я вновь стал торговать наркотиками и в этом бизне-

се добился гораздо большего успеха, хотя сам не испытывал к ним ничего, кроме отвращения, и никогда не употреблял. Наркобизнес еще только набирал обороты, травку переправляли через границу на маленьких самолетах, и все это походило на забавные ковбойские приключения.

Однажды до меня дошли слухи, что некий человек попал в черный список могущественного дельца, который готов заплатить за убийство провинившегося парня тридцать тысяч долларов. Надо заметить, что малый этот славился своей злобой и жестокостью и наводил ужас на окружающих. К тому же он знал, что его хотят убрать. Тем не менее он свободно разгуливал средь бела дня, и все боялись даже пальцем пошевелить.

В общем, каждый надеялся, что кто-то другой в конце концов отважится и выполнит эту работу. Я понятия не имел, кто, с кем и каким образом связан в этом деле. Знал только, что игра стоит свеч,— ну, ты понимаешь, о чем я. Кое-какие справки я все же навел.

Я тщательно разработал план. Было мне тогда всего девятнадцать. Я оделся как примерный учащийся колледжа: свитер с вырезом лодочкой, блейзер, фланелевые брюки... Прическа у меня была а ля мальчик из Принстона, под мышкой несколько книг. Уточнив адрес, я направился вечером прямо к его дому на Лонг-Айленде, подождал на подъездной дорожке к гаражу и, как только «клиент» вышел из машины, спокойно пристрелил его в нескольких метрах от дома, где в тот момент ужинали его жена и дети.

Роджер на минуту умолк, а потом очень серьезным тоном добавил:

— Чтобы совершить столь жестокий поступок и при этом не чувствовать ни малейшего раскаяния, нужно, наверное, нести в своей душе что-то от зверя...

— Однако ты не подвергал его таким мукам, какие пришлось испытать тебе самому,— мягко возразил я.— Ты отчетливо сознавал, что делаешь и зачем. За то время, что я следил за тобой, у меня все же не сложилось правильного представления о твоем характере. Ты показался мне более порочным и развращенным, чем на самом деле, и гораздо глубже погруженным в собственные мечты и фантазии. Ловким и хитрым, но при этом подверженным самообману.

— Разве то, что ты сделал со мной, можно назвать муками? — спросил он.— Я не чувствовал боли — только ярость при мысли о том, что должен умереть. Как бы то ни было, того человека на Лонг-Айленде я убил ради денег. Его жизнь или смерть для меня ровным счетом ничего не значили. Я даже не испытал облегчения. Было лишь ощущение собственной силы и сознание исполненного обязательства. А главное, мне хотелось вновь пережить нечто подобное. И вскоре мне представилась такая возможность.

— В общем, ты нашел свой путь в жизни.

— Именно так. И собственный стиль тоже. Слухами земля полнится, и вскоре обо мне заговорили: «Если задача выглядит невыполнимой, обратитесь к Роджеру». Я мог переодеться врачом, повесить на грудь табличку с именем, взять в руки папку с зажимом и в таком виде проникнуть в больницу, чтобы там прямо в постели убить очередного «клиента», не оставив ни следов, ни свидетелей. В моей практике действительно были такие случаи.

И все-таки состояние свое я нажил не на убийствах, а на торговле в первую очередь героином, а после и кокаином. Причем в кокаиновом бизнесе я словно вновь возвращался в те далекие времена романтических приключений, поскольку встречался с теми же ковбоями, которые на тех же самолетах, теми же проверенными путями переправляли кокаин через границу. Тебе, конечно, хорошо известна история, то, как все начиналось. Об этом сегодня знают все. Первые наркоторговцы пользовались грубыми и примитивными методами. Это была своего рода игра с властями в «полицейских и разбойников» — со всеми соответствующими атрибутами: убийствами, погонями, стрельбой и тому подобной ерундой. Самолетики с кокаином умудрялись удирать от преследования, хотя были перегружены настолько, что, когда приземлялись, пилот не мог выбраться из кабины. Мы быстренько перетаскивали кокаин в машины и смывались кто куда.

— Да, я слышал что-то такое.

— Теперь в этом бизнесе работают настоящие гении, которые пользуются сотовой связью и компьютерами и хорошо знают, как «отмывать» деньги. Но тогда... В то время гением наркобизнеса был я. Зачастую приходилось решать нелегкие зада-

чи, уверяю тебя. Но мне всегда удавалось уладить любое дело, вовремя связаться с доверенными людьми, найти надежных курьеров, обеспечить безопасный канал переправки через границу. Еще до того, как наркотики получили широкое распространение и стали, так сказать, достоянием улицы, у меня была налажена широкая сеть связей с богатыми людьми в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Мои постоянные заказчики были весьма обеспеченными, и им достаточно было позвонить по телефону, чтобы товар доставили прямо на дом. Качество при этом гарантировалось. Все оставались довольны. Тем не менее я решил, что пора покончить со всем этим и уехать. Мне хватило ума и ловкости провести несколько очень выгодных сделок с недвижимостью, которые принесли кучу денег. А как ты знаешь, это были времена кошмарной инфляции. Но я сумел заработать целое состояние.

— А каким образом Терри и Дора оказались втянутыми во все это?

— Просто нелепая случайность. А быть может, судьба. Трудно сказать. Я вернулся домой, в Новый Орлеан, чтобы повидаться с матерью, встретил там Терри, она забеременела... В общем, полный идиотизм...

Мне было двадцать два. Мать умирала и попросила меня приехать. Ее дружок с морщинистым лицом к тому времени был уже на том свете, и она осталась совершенно одна. В последнее время я постоянно посылал ей деньги, и немало.

Пансиона уже не существовало, дом был предоставлен матери в полное распоряжение. У нее были две служанки и личный шофер, готовый в любой момент отвезти ее в «кадиллаке», куда она только пожелает. Матери безумно нравилась такая жизнь, и она никогда не интересовалась происхождением моих капиталов. И конечно, я не забывал о Винкене и его книгах. Мне удалось отыскать и приобрести еще две. Мой антикварный склад в Нью-Йорке постепенно пополнялся все новыми сокровищами, но, если не возражаешь, о нем мы поговорим чуть позже. И о Винкене тоже.

Мать никогда и ни о чем меня не просила. Почти все время она проводила в своей огромной спальне и уверяла меня, что беседует там с теми, кто покинул этот мир раньше ее: со своим дорогим братом Микки, любимой сестрой Алисой, со своей

матерью — нашей, так сказать, родоначальницей. Ирландка по происхождению, она служила горничной в этом доме и после смерти его безумной хозяйки получила особняк в наследство. А еще мать говорила, что к ней часто приходит Крошка Ричард — брат, который умер, когда ему было всего четыре года. От столбняка. Крошка Ричард... Она утверждала, что Крошка Ричард зовет ее к себе...

Но ей хотелось, чтобы я вернулся домой. Она ждала меня в своей спальне. Я знал об этом и понимал ее желание. Прежде ей приходилось ухаживать за умирающими квартирантами, да и я заботился не только о Старом Капитане. Вот почему я поехал в Новый Орлеан.

Никто не знал, куда я направился, равно как никому не было известно ни мое настоящее имя, ни происхождение. Поэтому мне не составило труда исчезнуть из Нью-Йорка. Я вновь поселился на Сент-Чарльз-авеню и почти все время оставался возле матери — когда ее тошнило, держал возле ее подбородка чашку, вытирал слюну, подавал судно, когда агентство не имело возможности прислать сиделку. Конечно, мы могли позволить себе нанять постоянных сиделок, медсестер и любых помощниц, но матери не нравилось пользоваться услугами «этих ужасных цветных женщин», как она их называла. И я вдруг сделал совершенно неожиданное для себя открытие: уход за матерью не вызывал во мне практически никаких отрицательных эмоций. А сколько простыней мне пришлось сменить и постирать. Естественно, в доме была стиральная машина. Я вновь и вновь менял белье на постели — наверное, слишком часто, но такой уж я человек: ни в чем не знаю меры. Я просто делал то, что считал нужным. Я бессчетное число раз мыл и насухо вытирал судно, посыпал его специальной пудрой и ставил возле кровати. Воздух в комнате всегда оставался свежим. В конце концов, нет такого запаха, который остается навечно и от которого невозможно избавиться.

— Во всяком случае, не на этой земле,— пробормотал я. Но он, слава Богу, не расслышал моих слов.

— Так продолжалось примерно две недели. Мать не хотела, чтобы я отправил ее в больницу. Я нанимал круглосуточных сиделок — просто для страховки, чтобы в случае необходимости они могли проверить ее пульс, давление и остальные жизнен-

ные показатели. Я играл для нее, вслух читал вместе с ней молитвы — словом, делал все, что обычно делают для людей, находящихся на смертном одре. С двух до четырех дня она принимала посетителей — в основном каких-то престарелых родственников. «А где же Роджер?» — спрашивали они, но я на это время уходил и старался с ними не встречаться.

— И у тебя не разрывалось сердце при виде ее страданий?

— Во всяком случае, они не доводили меня до безумия. Практически весь ее организм был поражен раком, и никакие деньги уже не могли ее спасти. Мне было очень тяжело наблюдать, как мучительно она умирает, я мечтал, чтобы все поскорее закончилось, однако в глубине моей души всегда жило некое безжалостное и жестокое чувство, которое в любой ситуации говорило мне: «Просто делай то, что необходимо». И я сутками сидел рядом с матерью, практически без сна и отдыха. До самой ее смерти.

Мать без конца разговаривала с призраками. Сам я их не видел и не слышал, но часто мысленно обращался к ним и умолял забрать ее к себе. «Крошка Ричард,— просил я,— возьми ее. Дядя Микки, если ей не суждено поправиться, приди за ней...»

Незадолго до смерти матери появилась Терри — опытная сиделка, не имевшая, однако, специального медицинского образования. Она приходила тогда, когда все дипломированные медсестры были заняты, ибо работы у них всегда хватало с избытком. Ах, Терри... Блондинка, ростом пять футов семь дюймов, дешевка и в то же время самая соблазнительная и обольстительная девчонка, какую мне когда-либо доводилось встречать. Ты понимаешь, о чем я. У нее, что называется, все было на месте и как надо. В общем, потрясающая, ослепительная дрянь.

Я улыбнулся, вспомнив покрытые розовым лаком ногти и влажные розовые губки — видения, выхваченные когда-то из его разума и промелькнувшие пред моим мысленным взором.

— У этой малышки была продумана каждая деталь, все было направлено на достижение цели: и то, как она жевала резинку, и золотой браслет на лодыжке, и особая манера сбрасывать тапочки, чтобы я мог полюбоваться накрашенными ногтями на ее ногах, и просвечивающая сквозь тонкий нейлон белого халатика ложбинка на груди... В ее глазах под тяжеловатыми веками не отражалось ни грамма интеллекта, но при этом они были

безукоризненно подведены карандашом, а на ресницах лежал слой туши фирмы «Мейбеллин». А как кокетливо у меня на глазах подпиливала она ноготки! Уверяю тебя, никогда прежде не доводилось мне видеть столь совершенное воплощение порока и соблазна. Истинный шедевр!

Я рассмеялся, Роджер, не удержавшись, тоже, однако он продолжал свой рассказ:

— Поверь, она была действительно неотразима. Этакое сексуальное животное, но только без шерсти. И мы стали заниматься с ней «этим» при каждом удобном случае. Стоя в ванной комнате, например, пока мать спала. Пару раз мы уходили в одну из пустующих спален. Нам никогда не требовалось на это более двадцати минут — я засекал время. Как правило, она даже не снимала свои розовые трусики — только спускала их, и они болтались где-то возле ее лодыжек. Она пахла, как духи «Голубой вальс».

Я тихо рассмеялся, а потом задумчиво произнес:

— Ах, если бы мне дано было познать то, о чем ты говоришь. А вот ты познал... Влюбился в нее и... поддался искушению.

— Ну-у, ведь я был в двух тысячах миль от Нью-Йорка, от моих женщин и моих мальчиков — от всего. От всего, что неизбежно сопутствует богатству, влиянию и власти: от тупых телохранителей, суетливо распахивающих перед тобой двери, от глупеньких девочек, которые клянутся тебе в вечной любви на заднем сиденье лимузина только потому, что знают, что накануне вечером ты кого-то пристрелил. Иногда я чувствовал такое пресыщение сексом, что в самый разгар очередного приключения вдруг ловил себя на том, что мысли мои заняты совсем другим и я не в силах сосредоточиться и получить наслаждение, даже если рядом оказывалась самая профессиональная и искуснейшая в мире проститутка.

— Мы похожи с тобой гораздо больше, чем я мог предположить.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Роджер.

— Сейчас не время говорить об этом. Тебе нет нужды знать подробности моей жизни. Вернемся к Терри. И к истории появления на свет Доры.

— Терри забеременела от меня. Хотя я был уверен, что она принимает противозачаточные таблетки. Она же думала толь-

ко о том, что я богат. И для нее не имело значения, люблю я ее или нет, равно как и любит ли меня она. Поверь, это было самое тупое и примитивное человеческое существо из всех, кого я знал. Сомневаюсь, что столь невежественные и скучные люди, как Терри, способны привлечь тебя даже в качестве источника для утоления голода.

— И в конце концов родилась Дора?

— Да. Терри заявила, что избавится от ребенка, если я не женюсь на ней. Тогда я заключил с ней сделку: сто тысяч долларов, как только мы поженимся (естественно, я вступил с ней в брак под вымышленным именем и поступил совершенно правильно, поскольку теперь мы с Дорой официально никак не связаны), и еще тысячу «косых» в день рождения малыша. После этого я обещал дать Терри развод, поскольку все, что мне нужно было от нее,— это моя дочь.

«Наша дочь»,— поправила меня тогда Терри. «Да, наша»,— согласился я. Господи! Каким же надо было быть идиотом, чтобы не понять то, что буквально лежало на поверхности! Мне и в голову не пришло, что эта вульгарно накрашенная женщина в тапочках на каучуковой подошве, не вынимающая изо рта жевательную резинку, без конца полировавшая при мне свои ногти, на пальце которой тем не менее сверкало великолепное обручальное кольцо с бриллиантом, вдруг искренне воспылает любовью к новорожденной дочери. Она была глупым, тупым животным, но животным млекопитающим и не желала расставаться со своим детенышем. Мне пришлось пройти поистине сквозь все круги ада, но все, чего я добился, это разрешения на регулярные посещения и встречи с девочкой.

В течение шести лет я при первой же возможности мчался в Новый Орлеан, чтобы повидаться с Дорой, обнять ее, подержать на руках, погулять и поговорить с ней. Сомнений в том, что это мой ребенок, у меня не было, она была действительно кровь от крови и плоть от плоти моей. Только завидев меня в конце улицы, малышка со всех ног бросалась в мои объятия.

Мы садились в такси и отправлялись во Французский квартал, чтобы в который уже раз прогуляться по Кабильдо и увидеть собор, который мы оба обожали. Потом мы шли в центральный бакалейный магазин и покупали там маффалетас. Ты знаешь, что это? Огромные сэндвичи с оливками.

— Да, знаю.

— Дора рассказывала мне обо всем, что произошло с ней за то время, что мы не виделись,— как правило, не более недели. Мы танцевали прямо на улице, я пел ей песенки. А какой чудесный голосок был у нее! Сам я никогда не обладал красивым голосом, но моя мать и Терри — да. Видимо, от них унаследовала вокальные способности и Дора. К тому же она была очень умной девочкой. Нам нравилось переправляться на пароме через реку — туда и обратно — и петь, стоя у перил. В магазине Холмса я покупал ей красивую одежду. Терри не имела ничего против — я имею в виду одежду. Конечно, я не забывал и о каком-нибудь подарке для самой Терри — кружевном бюстгальтере, наборе французской косметики или духах по сто долларов за унцию. Я готов был купить что угодно, но только не «Голубой вальс»! В общем, мы с Дорой очень весело проводили время. Иногда мне казалось, что одна только мысль о том, что я вскоре увижу Дору, поможет мне выдержать любые испытания.

— Похоже, она была столь же общительной и одаренной богатым воображением, как и ты.

— Именно так. Мечтательница и фантазерка. Однако учти: ее отнюдь нельзя назвать наивной. Меня никогда не переставал удивлять тот факт, что она увлеклась богословием. Любовь к зрелищности, артистизм она, конечно, унаследовала от меня. Но откуда в ней столь безоговорочная вера в Бога, страсть к теологии?.. Не понимаю!

Теология... Это слово заставило меня задуматься.

А Роджер тем временем продолжал:

— По прошествии времени мы с Терри буквально возненавидели друг друга. А когда пришла пора определять Дору в школу, между нами начались самые настоящие битвы, едва ли не кровопролитные сражения. Я хотел отдать дочь в академию Святого Сердца, нанять для нее учителей музыки и танцев, а кроме того, требовал, чтобы как минимум две недели каникул она проводила со мной в Европе. Терри решительно возражала, заявляя, что не позволит вырастить из малышки высокомерную гордячку. Она уехала из дома на Сент-Чарльз-авеню, потому что, по ее словам, старый особняк приводил ее в ужас, и перебралась в какую-то хибару, построенную в сельском стиле на унылой улочке сырой, болотистой окраины. Таким образом, моя

дочь лишилась возможности жить в прекрасном и живописном Садовом квартале и вынуждена была видеть вокруг себя лишь скучный пейзаж, лишенный каких-либо достопримечательностей.

Я был в отчаянии, а Дора между тем росла и стала уже достаточно большой, чтобы предпринимать какие-либо меры в попытке отнять ее у матери, которую она, кстати, очень любила и всегда защищала. Между матерью и дочерью существовала некая молчаливая связь, не нуждавшаяся в словесном выражении. Терри очень гордилась девочкой.

— А потом возник тот самый дружок.

— Совершенно верно. И появись я в городе днем позже, я уже не застал бы там ни жену, ни дочь. Терри налетела на меня словно фурия. К черту мои чеки, кричала она. Они с Дорой уезжают во Флориду вместе с этим нищим электриком.

Дора ничего не знала и в тот момент играла на улице, в конце квартала. А эти двое уже собрали вещички. Там я обоих и застрелил, в этом домишке в Метэри, где Терри предпочла жить и воспитывать мою дочь, вместо того чтобы спокойно оставаться в удобном особняке на Сент-Чарльз-авеню. Весь искусственный ковер на полу был залит кровью, брызги разлетелись повсюду.

— Могу себе представить.

Потом я утопил трупы в болоте. Мне давненько не приходилось заниматься такой грязной работой, однако я с легкостью справился с задачей. Машина электрика стояла в гараже, и мне не составило труда упаковать и перетащить тела в багажник, а потом вывезти их подальше от жилых домов — по-моему, я поехал по шоссе Джефферсона. Точно не помню. Откровенно говоря, я понятия не имею, где именно утопил их. Нет, кажется, это все-таки было в районе Чеф-Ментье, неподалеку от старых фортов на реке Ригул. Так или иначе, их поглотила болотная жижа.

— Знакомая картина. Меня самого когда-то утопили в болоте,— пробормотал я.

Однако Роджер не расслышал — он был слишком возбужден и взволнован воспоминаниями.

— Когда я вернулся, Дора сидела на ступеньках, подперев кулачками подбородок, и плакала. Она не могла понять, почему

дома никого нет, а дверь заперта. Увидев меня, она с криком бросилась навстречу. «Папочка, я знала, что ты приедешь, знала, знала»,— сквозь слезы повторяла малышка. Я не рискнул войти с ней в дом за вещами — не хотел, чтобы ребенок видел кровь. Поэтому я усадил ее в пикап электрика, и мы сразу же покинули Новый Орлеан. Машину я оставил потом в Сиэтле. Это было наше с Дорой большое путешествие через всю страну.

Мы преодолевали милю за милей, и я едва ли не с ума сходил от счастья, от сознания того, что мы вместе, что мы можем вот так ехать и разговаривать, разговаривать, разговаривать... Мне кажется, что я тогда пытался рассказать Доре обо всем, что знаю. Конечно, из опасения хоть чем-нибудь омрачить невинную душу ребенка я не касался темных сторон действительности и говорил только о хорошем: о добродетели и честности, о том, что может испортить человека, и о том, что следует уважать и ценить в этой жизни...

«Тебе нет необходимости делать что-либо, Дора,— убеждал я.— Ты можешь принять мир таким, какой он есть». Я рассказал ей даже о том, что в молодости мечтал основать и возглавить собственное религиозное учение, а теперь собираю всякие красивые вещи, в том числе и предметы церковного искусства, и в поисках того, что меня интересует, объездил всю Европу и страны Востока. Причем я дал ей понять, что именно торговля ценностями сделала меня богатым, что, как это ни покажется тебе странным, в тот момент было почти правдой.

— Но она знала, что ты убил Терри!

— Ничего подобного. Здесь ты ошибся, неверно истолковав те образы, которые мелькали в моей голове, пока ты пил из меня кровь. Она знала лишь, что я избавился от Терри, а точнее, освободил от власти Терри ее и теперь она может навсегда остаться с любимым папочкой и даже улететь с ним вместе куда угодно. А это совсем не равносильно тому, чтобы знать, что папочка убил Терри. Дора до сих пор об этом не знает. Однажды, когда ей было примерно двенадцать лет, она позвонила мне в слезах и спросила, знаю ли я, где сейчас мамочка и ее дружок, куда именно они поехали, когда отправились во Флориду. Мне пришлось прикинуться этаким дурачком и обмануть ее, сказав, что раньше я просто боялся говорить ей о смерти матери. Слава Богу, это был телефонный разговор, а врать по телефону я

умею очень хорошо. За что его и люблю. Этот все равно что выступать по радио.

Но вернемся к шестилетней Доре. Папочка привез ее в Нью-Йорк и снял шикарный номер в отеле «Плаза». С тех пор Дора имела все, что папочка был в состоянии ей купить.

— И все-таки даже тогда она плакала, вспоминая Терри?

— Да. И должен сказать, что она, наверное, была единственным живым существом, которое когда-либо оплакивало Терри. Еще перед свадьбой мамаша Терри заявила мне, что ее дочь потаскуха. Они люто ненавидели друг друга. Отец Терри был полицейским. Кстати, вполне приличный малый. Однако дочь он тоже не жаловал. Ее нельзя было назвать приятной в общении. С такими людьми лучше вообще не сталкиваться даже на улице, а уж тем более завязывать с ними более близкое знакомство.

Короче, родственники пребывали в полной уверенности, что Терри просто сбежала с тем парнем во Флориду, оставив Дору на моем попечении. Старики — я имею в виду родителей — думали так до самой своей смерти. А остальные, кто жив и сейчас, не сомневаются в этом до сих пор. Мне трудно объяснить причину, но ни один из них толком не знает, кто я и чем занимаюсь. Конечно, в последнее время им, вероятно, попадались на глаза кое-какие публикации в газетах и журналах. Точно не знаю. А впрочем, какое это теперь имеет значение? Да, Дора плакала и скучала по матери, но после тех лживых объяснений, которые она получила от меня в двенадцать лет, девочка не задала больше ни одного вопроса.

Пойми, любовь Терри к дочери была своего рода животной, чисто инстинктивной, сродни той, что испытывает к своему детенышу любое млекопитающее. Она ограничивалась заботой о соблюдении гигиены, о том, чтобы ребенок был правильно накормлен и хорошо одет. Да, она водила Дору на уроки танцев, сплетничала там с другими мамашами, хвасталась успехами дочери и гордилась ею. Но при этом они практически не разговаривали и, по-моему, могли неделями не общаться друг с другом. Ты понимаешь, о чем я? Все было построено только на инстинкте. Возможно, в жизни Терри он вообще играл главенствующую роль.

— Мне кажется странным и даже забавным, что тебе суждено было связать свою жизнь с таким существом.

— Ничего забавного в этом нет Такова ирония судьбы. Мы дали жизнь Доре. Терри подарила ей красоту и голос. Кроме того, в Доре есть еще кое-что от матери — жесткость, что ли? Нет, пожалуй, это чересчур резкое определение. На самом деле Дора сумела взять все лучшее от нас обоих.

— Должен сказать, что она унаследовала и твою красоту.

— Возможно. Однако слияние генов породило наиболее оптимальный и интересный вариант — поистине замечательную личность. Ты видел мою дочь. Она очень фотогенична. Однако за внешней вспыльчивостью, энергией и напористостью характера, полученными ею от меня, скрываются твердость, холодное спокойствие духа и умение прочно стоять на ногах, свойственные Терри. Выступая по телевизору, она с легкостью убеждает и обращает в свою веру миллионы людей. «Так в чем же состоит истинная суть учения Христа? — спрашивает она.— В том, что Христос присутствует в каждом страннике, в каждом бедном, голодном, обделенном судьбой человеке, который встречается на вашем пути, в каждом, кто рядом с вами!» И аудитория не сомневается в правоте ее слов!

— Я видел ее выступления. Она обладает способностью разбудить все лучшее, что таится в людях, вознести их к вершинам нравственности.

Роджер вздохнул.

— Я послал Дору в школу. В то время я зарабатывал очень большие деньги и был вынужден отправить свою дочь за сотни миль от себя. Кроме того, ей пришлось сменить в общей сложности три школы, что, согласись, нелегко. Однако она ни разу не спросила меня о причинах столь непонятных маневров, равно как и о том, почему наши с ней встречи всегда происходили в обстановке строжайшей секретности. Она верила моим выдумкам относительно необходимости быть готовым в любой момент сорваться с места и помчаться во Флоренцию ради спасения уникальной фрески, которая может погибнуть в результате варварских действий невежественных людей, или в Рим, где нужно срочно обследовать только что обнаруженный новый проход в катакомбах.

Когда Дора начала проявлять серьезное внимание к религии, я подумал, что с точки зрения интеллекта и духовности это прекрасно. И даже тешил себя мыслями о том, что моя растущая коллекция сыграла в решении дочери не последнюю роль и в какой-то степени определила сферу ее интересов. Сообщение Доры о поступлении в Гарвард и намерении заниматься там вопросами сравнительно-исторических методов изучения религиозных течений вызвало у меня улыбку. Как истинный женофоб, я высказался в том духе, что она может заниматься чем угодно, но только пусть не забывает при этом о необходимости найти себе богатого мужа и не отказывается приехать и взглянуть на недавно приобретенную мною икону или статую.

Однако страстное увлечение Доры теологией постепенно вышло далеко за пределы моего понимания. В девятнадцать лет она впервые отправилась на Святую землю и до окончания учебы посетила ее еще дважды. Потом она в течение двух лет путешествовала по всему миру и изучила теологию. И в конце концов объявила, что хочет создать собственную программу на телевидении и беседовать с людьми. Кабельные каналы предоставляли возможность проводить такие религиозные беседы, они позволяли связаться с любым министром или католическим священником.

Я спросил, насколько серьезны ее намерения. Честно говоря, я никогда не думал, что она искренне верит во все это. Но, как выяснилось, она действительно привержена тем идеалам, которые мне никогда не были понятны до конца, но которые тем не менее я каким-то образом мухитрился ей внушить.

«Послушай, папа,— сказала мне она,— помоги мне получить право часового вещания три раза в неделю на одном из каналов и выдели определенную сумму денег, которые я могу тратить по собственному усмотрению, и ты увидишь, что из этого получится». Потом она заговорила об этике, о том, как человек, живущий в современном мире, может спасти свою душу. Она мечтала о чтении с экрана небольших лекций и проповедей, перемежающихся соответствующими песнопениями и танцами. Ей хотелось обсудить проблему абортов, и она уже подготовила несколько эмоциональных выступлений по этому вопросу, в которых доказывала, что как сторонники, так и противники столь радикальной меры регулирования рождаемости по-своему правы. С одной стороны, любая жизнь священна, но с другой — каждая женщина должна обладать правом самостоятельно принимать решения, касающиеся ее собственного тела.

— Я видел эту программу.

— Ты только представь! Семьдесят пять кабельных каналов купили право на передачу ее в эфир! А теперь вообрази, каким образом известие о моей смерти может отразиться на том, что делает Дора.

Он замолчал ненадолго, словно обдумывая что-то, а потом все с той же страстностью продолжил:

— Знаешь, у меня никогда не было отвлеченных религиозных устремлений, так сказать, чисто духовных целей, не подкрепленных материально. Ты понимаешь, о чем я?

— Конечно.

— Но с Дорой все по-другому. Она действительно совершенно чужда какой-либо материальной заинтересованности. Сокровища древности, иконы и прочие ценности для нее ровным счетом ничего не значат. Вопреки всем доводам психологии, интеллекта и разума она искренне верит, что Бог на самом деле существует.— Он опять умолк и горестно покачал головой.— Ты был совершенно прав, назвав меня аферистом и мошенником. Даже в отношении своего любимого Винкена я преследовал собственные цели. Но Дору ни в коем случае нельзя обвинить в мошенничестве.

Мне вновь вспомнились его слова, сказанные в баре,— о том, что ради возможности бывать в таких местах, как тот отель, он готов был продать душу. Как тогда, так и сейчас я отлично понимал, что именно он имел в виду.

— А теперь позволь мне вернуться к рассказу,— прервал мои размышления Роджер.— Как я уже говорил, от идеи создания некой мирской религии я отказался давным-давно, за много лет до того, как Дора всерьез заинтересовалась подобными проблемами. У меня была она. У меня был Винкен. И мне их вполне хватало. Я усердно разыскивал книги Винкена и в ходе этих поисков обнаружил и благодаря своим широким связям сумел приобрести целых пять писем, относящихся к интересующему меня периоду и недвусмысленно упоминавших о Винкене де Вайльде, о Бланш де Вайльд и о ее муже Дэмиене. Не только в Америке, но и в Европе на меня работали ученые, со-

бирavшие и глубоко изучавшие материалы о рейнском мистицизме.

Мои исследователи обнаружили в нескольких немецких текстах краткие упоминания о Винкене. Там рассказывалось о женщинах, которые занимались колдовством и использовали некоторые ритуалы культа Дианы, и о том, что Винкен был изгнан из монастыря и ему было предъявлено публичное обвинение. Страницы, посвященные суду и его исходу, к сожалению, оказались утерянными.

Великое множество документальных свидетельств было утрачено в годы Второй мировой войны. Однако немалое число писем и бумаг уцелело, и теперь они хранились в разных местах. Стоило набрать в архивах ключевое слово «Винкен» — и поиски давали нужный результат. Нужно только знать, что именно вы хотите найти.

Как только выдавалось свободное время, я открывал книги Винкена, внимательно рассматривал изображения обнаженных людей и учил наизусть его стихи о любви. Бо́льшую их часть я помнил так хорошо, что мог даже пропеть. Встречаясь с Дорой — а виделись мы с ней при каждом удобном случае и по возможности вместе проводили уик-энды,— я старался прочесть ей очередное стихотворение, а иногда показывал свои новые находки.

Она снисходительно терпела мои восторги по поводу «давно исчерпавших себя идей свободной любви и мистицизма», когда-то проповедуемых хиппи. «Я очень люблю тебя, Роже,— говорила она.— Но ты излишне романтичен и совершенно далек от реальности, если полагаешь, что этот нечестивый монах был в некотором роде святым. Ведь все, что он делал, это спал с женщинами, не так ли? А его книги служили своеобразным средством общения с остальными... обеспечивали им возможность связаться друг с другом...»

Однако в книгах Винкена де Вайльда нет ничего порочного или уродливого,— возражал я.— Взгляни сама, Дора, и ты убедишься в моей правоте». К тому времени у меня в коллекции насчитывалось уже шесть его сборников. И все они были посвящены любви. Профессор Колумбийского университета, который переводил для меня тексты, искренне восторгался мистицизмом стихов Винкена. Его поражало искусство, с каким их

автор умел сплести воедино почитание Бога и плотскую любовь. Дора отказывалась покупать такие издания. Ее гораздо больше интересовали совсем иные проблемы религии. Она читала труды Пауля Тиллиха, Уильяма Джеймса, Эразма и массу книг, посвященных положению вещей в современном мире. Да, именно «положение вещей в современном мире» стало для нее главной темой, в некотором роде даже навязчивой идеей.

— И если я все-таки сумею раздобыть книги Винкена и принесу их Доре, они оставят ее равнодушной? — спросил я.

— Совершенно,— подтвердил Роджер.— Она пальцем не притронется ни к одному из предметов, хранящихся в моей коллекции. Во всяком случае, сейчас.

— Вот почему ты просишь *меня* позаботиться о твоих сокровищах и сохранить их?

— Года два назад,— со вздохом пояснил он,— в прессе появилась пара статей. Они не имели никакого отношения к Доре, однако разрушили завесу тайны и открыли дочери глаза на суть и характер моего бизнеса. По ее словам, кое-какие подозрения зародились у нее давно. И рано или поздно она все равно докопалась бы до истины и выяснила, что мои деньги — «грязные» деньги.

Грязные...— задумчиво повторил он и покачал головой.— Последнее, что она позволила мне приобрести для нее, это монастырь. Миллион стоило само здание, и еще миллион пришлось заплатить за то, чтобы его полностью очистили от современной скверны, привели в порядок и придали ему тот вид, который оно имело в 1880-х годах, когда там жили монахини. Нужно было восстановить часовню, трапезную, спальные комнаты, широкие, просторные коридоры.

Но даже этот дар она приняла весьма неохотно. А что касается произведений искусства... О них не может быть и речи. Она никогда не возьмет ни цента из моих денег, хотя они очень нужны ей для обучения приверженцев ее ордена — или как там телеевангелисты это называют? А ведь этот ее кабельный канал ничто в сравнении с тем, что я мог бы создать для нее на базе старого монастыря. А статуи? А иконы? Ты только представь! «Я могу сделать тебя не менее знаменитой, чем Билли Грэхем или Джерри Фалвелл,— уговаривал я Дору.— Ради всего святого, дорогая, ты не можешь отказаться от моей помощи!»

Роджер печально покачал головой.

— В последнее время она встречалась со мной только из жалости. А этого чувства в ней хоть отбавляй — такое впечатление, что она черпает его из неиссякаемого источника. Иногда она соглашалась принять от меня маленький подарок. А вот нынешним вечером отказалась наотрез. Однажды, когда ее программу едва не закрыли, она воспользовалась предложенной помощью, но ровно в той мере, которая была необходима, чтобы пережить кризис. А вот к моим святым и ангелам ни разу даже не прикоснулась, не бросила ни единого взгляда на собранные мною сокровища и ценные книги.

Естественно, мы оба понимали, какая опасность грозит ее репутации. И ты оказал большую услугу, не только убив меня, но и уничтожив все следы. Однако вскоре известие о моем исчезновении все же просочится в газеты и выпуски новостей: «Телеевангелистов финансировал кокаиновый король!» Неплохой заголовок, правда? Как долго ее тайна будет оставаться нераскрытой? Лестат! Она должна пережить мою смерть! Ты слышишь меня? Должна! И она, и ее программа!

— Я слушаю тебя очень внимательно, Роджер. Каждое твое слово. Пока еще никто ничего не знает о Доре. Поверь, я тебя не обманываю.

— Мои враги жестоки и безжалостны. А власти... правительство... Черт его знает, что такое наше правительство и чего от него можно ожидать.

— Она боится скандала?

— Нет. Вся эта шумиха разобьет ей сердце, но она ее не боится. Она смирится с тем, что произойдет. Все, чего она требовала и ожидала от меня, это отказа от торговли наркотиками. Она хотела, чтобы я бросил этот бизнес к чертовой матери. И не потому, что рано или поздно весь мир мог узнать о наших родственных связях, о том, что она моя дочь, а только из страха за меня самого. Она умоляла меня отойти от дел, потому что боялась за меня, как боятся за своих отцов и мужей дочери и жены гангстеров.

«Пожалуйста, позволь мне помочь, возьми деньги»,— умолял я. Телевизионное шоу доказало, что Дора обладает незаурядной смелостью и мужеством. Но что толку? Вокруг нее все рушилось. Часовая программа, шедшая три раза в неделю, стала для нее своего рода лестницей в небеса, по которой приходилось взбираться в одиночку. И все же меня она и близко не подпускала — надеялась только на свою аудиторию. Но разве зрители в состоянии были принести ей миллионы, в которых она нуждалась?

А эти женщины-мистики, которых она цитирует! Хильдегарда Бингенская, Юлиана из Нориджа, Тереза Авильская... Тебе приходилось читать произведения хотя бы одной из них?

— Всех троих,— ответил я.

— Умные женщины, желающие внимать умным женщинам,— вот кто составляет ее аудиторию. Но в последнее время слушателей становилось все больше и больше — ее программы стали вызывать интерес у самых разных людей. Иначе и быть не могло. В таком деле нельзя добиться успеха, если обращаешься к представителям только одного пола. Поверь, я знаю и говорю сейчас не как ее отец, а как специалист по маркетингу и гений Уолл-стрит. А в этом ты тоже можешь не сомневаться. Она привлекает к себе внимание всех без исключения. Ах, если бы только у меня были эти последние два года, если бы я успел все организовать и профинансировать, прежде чем она узнала!..

— Ты неправильно воспринимаешь случившееся. Не стоит ни о чем жалеть. Если бы ты успел поставить ее дело на широкую ногу, то тем самым только скорее раскрыл бы себя и сделал скандал еще более громким.

— Нет. Чем прочнее стояла бы на ногах ее церковь, тем меньшую опасность представила бы для нее любая шумиха. В том-то вся и хитрость. Дора слишком уязвима именно потому, что масштабы ее деятельности невелики. И в этой ситуации любой скандал может обернуться катастрофой.— Роджер покачал головой. Чувствовалось, что он рассердился, но гнев и возбуждение сделали его образ значительно явственнее.— Я не имею права разрушать жизнь Доры!

Он содрогнулся и умолк. Потом вопросительно взглянул на меня.

— Что будет дальше, Лестат? Чем все это может закончиться?

— Доре придется самой бороться за существование,— ответил я.— После того как станет известно о твоей смерти, ей понадобится вся ее вера, чтобы вынести тяжкие испытания и выжить.

— Да, ты прав. Получается, что и при жизни, и после смерти я — самый страшный ее враг. А ее церковь... Знаешь, Дора ходит буквально по лезвию ножа. Ведь она далеко не пуританка. Она называет еретиком Винкена, но при этом даже не подозревает, насколько ее собственная тяга к плотским удовольствиям, свойственная всем современным молодым людям, близка к тому, о чем он писал.

— Понимаю. Но коль скоро речь зашла о Винкене, скажи, чего ты от меня ждешь? Его я тоже должен спасти? Что я должен сделать для Винкена?

— Она ведь по-своему гениальна,— продолжал Роджер, словно не услышав мой вопрос.— Именно это я имел в виду, называя ее ученым богословом. Она в совершенстве владеет греческим, латинским и древнееврейским. Ты только представь, скольких трудов ей это стоило, особенно если учесть, что в детстве она не проявляла выдающихся способностей к языкам.

— Да, ты прав. Хотя у нас все происходит несколько по-другому и...

Я вдруг осекся на полуслове, потому что в голову мне пришла страшная мысль, весь ужас которой я смог осознать только сейчас.

И эта мысль буквально лишила меня дара речи.

Слишком поздно! Слишком поздно сделать Роджера бессмертным! Он уже мертв!

В течение всего нашего разговора во мне жила подспудная уверенность, что, стоит мне только захотеть, и я смогу слушать его повествование еще очень и очень долго, смогу удержать его рядом с собой, не позволить ему уйти... И вдруг... Мне словно во всей полноте открылась жестокая, беспощадная истина: я беседую с призраком! С мертвецом!

Когда до меня дошла вся нелепость ситуации, когда я понял, что не в силах уже что-либо изменить, боль, разочарование, потрясение были столь сильны, что я едва не застонал, но сумел сдержаться, дабы дать возможность Роджеру продолжить рассказ.

— Что с тобой? — тем не менее спросил он.

— Ничего, я в порядке. Поговорим о Доре. Расскажи о ней подробнее, о том, что она говорит, что делает.

— Она говорит о том, что современная жизнь суетна, скучна и бесцветна, о том, что люди нуждаются в каких-то священных символах веры. Она говорит, что преступность принимает угрожающие размеры, а молодежь лишена идеалов и цели в жизни. Она мечтает создать религиозное общество, в котором никто никому и никогда не причинит вреда. Это как «американская мечта». Она знает Библию вдоль и поперек, перечитала все апокрифы и псевдоапокрифы, труды Августина, Маркиона, Моисея Маймонида... Она убеждена, что запрет на сексуальные отношения погубил христианство,— точка зрения, впрочем, весьма распространенная и находящая поддержку прежде всего у женщин. А ее аудиторию все же преимущественно составляют именно они.

— Ясно. Но в таком случае она не может хоть в малой степени не симпатизировать Винкену.

— И тем не менее... Видишь ли, в отличие от меня она никогда не воспринимала книги Винкена как некую последовательность образов.

— Понимаю.

— Кстати, книги Винкена совершенны не только по содержанию, но и во многих других отношениях. Ты только представь! Ведь он начал создавать их за четверть века до появления печатного станка Гуттенберга. И тем не менее ухитрился создать истинные шедевры: он был и писцом, и графиком — автором великолепных шрифтов, и художником-миниатюристом. Его чудесные иллюстрации, изображающие обнаженных людей, веселящихся в раю, просто великолепны, а растительные орнаменты на каждой странице выполнены с непревзойденным мастерством. Он был един во всех лицах, в то время как в любом скриптории существовало совершенно четкое распределение обязанностей.

Раз уж мы заговорили о Винкене, позволь сказать тебе еще кое-что. Твои мысли сейчас заняты Дорой, но я все же хочу завершить разговор о его книгах. Ты должен забрать их.

— Потрясающе! — мрачно произнес я.

— Поверь, они тебе непременно понравятся. А вот Дора, вполне вероятно, так никогда и не захочет взять их в руки и уж тем более не полюбит их. На сегодняшний день в моем распоряжении двенадцать книг Винкена. Католик с берегов Рейна,

не по своей воле в юности вступивший в бенедиктинский орден, он был влюблен в Бланш де Вайльд, жену своего брата. Тайный роман между Бланш и молодым монахом начался с той поры, когда она заказала в скриптории несколько книг. У меня есть некоторое количество ее писем к даме по имени Элинор. Отдельные эпизоды в стихах тоже рассказывают об этой любви.

Самое печальное, что письма к Элинор, которые мне удалось раздобыть, написаны Бланш уже после смерти Винкена. Дело в том, что все послания, полученные от Бланш, Элинор впоследствии передала некой Диане, а та, в свою очередь,— еще какой-то женщине. В результате уцелела лишь небольшая их часть.

Из сохранившихся фрагментов можно сделать следующий вывод. Любовники встречались в саду замка де Вайльдов — а не в монастырском, как я поначалу думал. Каким образом Винкену удавалось туда проникнуть, я точно не знаю, однако в некоторых письмах упоминается, что он украдкой уходил из монастыря и потайным путем пробирался в дом брата.

Все это действительно похоже на правду. Они дожидались, пока Дэмиен уедет из замка, чтобы исполнить какие-то свои обязанности. Ну, не знаю, чем там должны были заниматься в те годы графы или герцоги. Так вот, как только брат покидал замок, Винкен приходил туда и развлекался вместе с женщинами — они танцевали вокруг фонтана и занимались любовью, причем Винкен по очереди укладывал в постель всех своих дам. Иногда они отмечали таким образом даже храмовые праздники. Обо всем этом свидетельствуют стихи и рисунки в книгах. Но... Однажды их поймали.

Дэмиен кастрировал и заколол брата на глазах у женщин, а самих женщин посадил под замок. После многодневных допросов, запугивания и издевательств несчастные признались в недозволенной любовной связи с Винкеном и рассказали, как с помощью книг поддерживали с ним связь. Тогда брат собрал все книги, созданные этим великим художником. Ты только представь себе — все двенадцать книг Винкена де Вайльда!

— Его бессмертие...— прошептал я едва слышно.

— Вот именно! Его наследие! Единственное «потомство», которое он оставил! Так вот, Дэмиен похоронил эти книги вместе с телом Винкена — зарыл их в том самом саду, возле того самого фонтана, которые изображены на миниатюрах. И Бланш из своего окна могла каждый день видеть то место, где покоились под землей останки ее любовника. Не было никакого суда, не было никакого обвинения в ереси, приговора и казни — Дэмиен просто-напросто убил своего брата. Вероятно, он пожертвовал монастырю огромную сумму. Хотя... Возможно, в этом не было нужды. Кто знает, как относились в монастыре к Винкену. Сейчас его стены лежат в руинах, и туристы фотографируются на фоне старинных развалин. А замок был практически полностью уничтожен во время бомбежки еще в годы Первой мировой войны.

— Но... Но что же произошло потом? Каким образом книги оказались вне гроба? Или у тебя хранятся их копии? Ты говоришь о...

— Нет-нет, в моем распоряжении подлинники, все двенадцать оригиналов. Я совершенно случайно обнаружил и копии — довольно грубые, сделанные по просьбе Элинор, родственницы и наперсницы Бланш. Однако, насколько мне известно, копирование было прекращено. Осталось только двенадцать книг. Каким образом они оказались не под землей, я понятия не имею — могу только догадываться.

— И каково же твое предположение?

— Думаю, что ночью Бланш вместе с другими женщинами выкопала тело и достала книги из гроба — или в чем там были погребены останки бедняги Винкена, не знаю. Потом они вновь похоронили тело и уничтожили все следы своего деяния.

— Ты считаешь, они могли отважиться на такое?

— Почти уверен. Я словно воочию вижу, как при свете свечей пятеро женщин копают землю. А тебе разве трудно представить такое?

— Да.

— Я не сомневаюсь, что они могли сделать это, потому что чувствовали то же, что и я. Они ценили красоту и совершенство этих книг. Лестат, они отлично понимали, что книги Винкена — истинные сокровища. Такова сила увлечения, такова сила любви. Трудно сказать, быть может, им хотелось оставить себе на память и кости Винкена. Допустим, одна из них взяла бедренную кость, другая — палец или... Ах, впрочем, этого я не знаю.

Я вдруг отчетливо представил себе всю картину, и она вызвала во мне непреодолимое отвращение, а главное — заставила вспомнить о том, как я сам отрезал кухонным ножом руки Роджера, а потом упаковал их в пластиковый пакет и затолкал в кучу хлама. А теперь передо мной опять были те же руки, точнее, их призрачное воплощение. Они постоянно находились в движении — то поглаживали край стеклянного бокала, то нервно постукивали по стойке бара.

— Как далеко в прошлое удалось тебе проследить судьбу этих книг? — спросил я.

— Очень недалеко. Но в моем бизнесе — я имею в виду торговлю антиквариатом — такое случается нередко. Книги обнаруживались по одной, изредка по две. Некоторые перешли ко мне из частных коллекций, две — из музеев, разрушенных бомбежками во время войн. Пара из них досталась мне практически даром. В отличие от других, я хорошо знал, что они собой представляют, и, как эксперту в данной области, мне достаточно было одного взгляда, чтобы немедленно обнаружить их среди множества других вещей. Как ты можешь догадаться, я давал задание своим агентам повсюду искать средневековые рукописи. Лестат, ты просто обязан спасти и сохранить мои сокровища! Ты не имеешь права допустить, чтобы Винкен вновь ушел в небытие. Я оставляю тебе свое наследие.

— Похоже, это действительно так. Но что я, скажи на милость, смогу с ним сделать без участия Доры?

— Дора еще слишком молода. Со временем она изменит свое мнение. Знаешь, меня по-прежнему не оставляет надежда, что в моей коллекции... Забудем сейчас о Винкене, ибо я говорю не о нем. Я надеюсь, что в моей коллекции среди множества статуй и других реликвий найдется какой-то один артефакт, который поможет Доре в создании ее новой церкви. Скажи, можешь ли ты определить ценность того, что видел в той квартире? Способен ли ты вынести верное суждение? Твоя задача — убедить Дору в необходимости еще раз внимательно рассмотреть эти вещи, прикоснуться к ним, почувствовать их запах. Ты должен заставить ее в полной мере осознать, что все они отражают стремление человечества к познанию истины, то есть их создателей мучили те же вопросы, что и ее. Пока еще она этого не понимает.

— Но ты говорил, что Дору никогда не интересовала ни живопись, ни скульптура.

— Сделай так, чтобы они стали ей интересны.

— Я? Каким образом? Послушай, я, конечно, могу сохранить все это. Но как мне заставить Дору полюбить то или иное произведение искусства? Удивляюсь, что тебе вообще пришла в голову подобная мысль. Я имею в виду мою встречу с Дорой и какие-либо отношения между мной и твоей драгоценной доченькой.

— Ты полюбишь мою дочь,— тихо прошептал он.

— Прости, я не расслышал. Что ты сказал?

— Найди для нее в моей коллекции что-нибудь поистине чудесное.

— Туринскую плащаницу?

— Молодец! Это именно то, что нужно! Да, найди что-нибудь, равное ей по ценности, нечто такое, что заставит Дору изменить свое мнение, нечто такое, что отыскал и сохранил для нее я, ее отец, и что действительно может оказаться для нее полезным.

— Знаешь, ты и мертвый такой же ненормальный, каким был при жизни. Неужели ты и теперь не перестанешь мошенничать и все еще надеешься с помощью куска мрамора или обрывка пергамента купить себе спасение души и вечное блаженство? Или ты и вправду веришь, что собрал коллекцию настоящих святынь?

— Естественно, я верю, что моя коллекция — это собрание святынь. Фактически *только в это* я и продолжаю верить.

— Ты меня поражаешь до глубины души.

— Именно поэтому ты и убил меня там, среди моих сокровищ. Ладно, нам надо поторопиться. Неизвестно, сколько нам отпущено времени. Вернемся к главной теме: к Доре. Твой главный козырь в этой ситуации — это ее амбиции.

Ей хотелось получить здание монастыря в полное распоряжение, чтобы разместить там своих женщин-миссионерок, сторонниц ее ордена, которые, конечно же, должны проповедовать любовь с не меньшей страстью и внутренним огнем, чем это делали все миссионеры — их предшественники. Она намеревается посылать их в самые бедные районы, в гетто и рабочие кварталы, чтобы они разглагольствовали там о необходимости

создания своего рода движения за всеобщую любовь. Причем это движение должно, по ее мнению, возникнуть в недрах народа, а затем постепенно подниматься все выше и выше, к самым вершинам власти. И тогда с несправедливостью в мире будет покончено навсегда.

— А чем эти женщины будут отличаться от других миссионеров, от сторонников иных орденов — от францисканцев, скажем, или иных проповедников?

— Прежде всего тем, что они женщины, женщины-проповедницы. Монахини всегда были сестрами милосердия, учили детей или вели затворническую жизнь в монастырях и неустанно возносили молитвы Богу — истошно блеяли хором, как и положено овцам Господним. А ее женщины должны становиться учеными богословами, церковными ораторами. Их задача — передать слушателям собственную страсть, жар души, они будут обращаться к несчастным, нищим, обездоленным женщинам и помогать им изменить окружающий мир.

— Феминистские взгляды вперемешку с религиозным рвением.

— Из этого могло что-то получиться. Во всяком случае, шансов на это было не меньше, чем у любого другого подобного начинания. Кто знает, почему в четырнадцатом столетии, например, один монах сошел с ума, а другой стал святым? А у Доры есть подход к людям, она знает, как научить их думать. Впрочем, не мне судить. Ты должен разобраться во всем и найти выход из положения.

— Ну да. А тем временем заодно и спасти церковные украшения,— хмыкнул я.

— Да. До тех пор, пока она не согласится их принять или каким-то иным образом обратит на доброе дело. Вот тебе еще один способ уговорить ее. Почаще упоминай о добре.

— Ты и сам пользовался этим способом,— печально заметил я.— И в отношении меня тоже.

— Так ты выполнишь мою просьбу, правда? Дора считает, что меня ввели в заблуждение и сбили с пути истинного. «Не думай, что после всего содеянного ты сумеешь спасти свою душу, подарив мне сокровища церкви»,— сказала она как-то.

— Она любит тебя,— заверил я Роджера.— Я убеждался в этом всякий раз, когда видел вас вместе.

— Знаю. Меня не нужно убеждать в этом. У нас нет времени на споры и доказательства. Учти только, что Дора очень прозорлива и планы ее поистине огромны. Пока еще у нее слишком мало единомышленников и помощников, но она мечтает перевернуть мир. Я хочу сказать, что ей недостаточно того, о чем грезил когда-то я: создать собственный культ и стать своего рода гуру — поселиться в тихом убежище в окружении преданных последователей. Она действительно хочет изменить мир, потому что уверена в том, что кто-то непременно должен это сделать.

— По-моему, так считает любой религиозный человек.

— Ничего подобного. Далеко не каждый жаждет стать новым Мохаммедом или Заратустрой.

— А Дора жаждет.

— Дора знает, что именно это сейчас необходимо.

Он покачал головой, отпил глоток из бокала и обвел взглядом полупустой зал. Потом вдруг слегка нахмурился, словно все еще размышляя над своими последними словами, и продолжил:

— «Отец,— сказала она мне однажды,— религия не возникает на основе древних текстов и произведений искусства. Они могут служить лишь ее отражением». Она еще долго потом говорила — о том, что внимательное прочтение Библии помогло ей постичь великое значение чуда, происходящего в душе человека. В общем, она буквально усыпила меня своими рассуждениями. И не вздумай отпустить по этому поводу какую-нибудь шуточку.

— Боже избави! Ни за что на свете!

— Что ожидает мою дочь? Что с ней будет? — с отчаянием в голосе прошептал он, не глядя на меня.— С таким-то наследством! Достаточно посмотреть на ее отца — вспыльчивого, грубого и жестокого человека, сумасшедшего, способного на любые крайности. Невозможно сосчитать, сколько соборов и церквей я посетил вместе с Дорой, сколько бесценных распятий я ей показал, прежде чем превратить их в очередное средство получения прибыли. В одной только Германии мы провели с ней немало часов, рассматривая великолепные росписи на потолках соборов эпохи барокко. Я дарил Доре невероятной ценности реликвии, подлинные распятия, украшенные серебром и рубинами. Я купил множество Платов Вероники такой

потрясающей красоты, что перехватывало дыхание... Боже мой! Боже мой!

— Скажи, а не было ли во всем этом стремления каким-то образом искупить, загладить свою вину? Я имею в виду Дору.

— То есть вину за оставшееся без объяснения исчезновение Терри, за то, что она спросила тебя о ней лишь через много лет? Я думал об этом. Если Дора поначалу и чувствовала что-то подобное, то это чувство давно прошло. Она считает, что мир нуждается в новом откровении. В новом пророке. Однако пророками не становятся в одночасье. Дора утверждает, что ее превращение должно произойти благодаря умению видеть и чувствовать, но она не имеет ничего общего с палаточным возрождением*.

— Мистики никогда не связывали прорыв к Богу с палаточным возрождением.

— Конечно нет.

— А Дора мистик? Как ты думаешь?

— А ты сам разве не понял? Ведь ты следил за ней. Нет, Дора никогда не лицезрела Бога и не слышала его голоса, если ты это имеешь в виду. А лгать в таких вопросах она ни за что не станет. Но Дора жаждет этого. Она мечтает о таком моменте, о чуде, об откровении.

— Она ждет появления ангела?

— Вот именно.

Мы оба вдруг умолкли. Роджер, наверное, размышлял о своих давних мечтах и планах, а я... Я тоже погрузился в воспоминания — о том, как совершил фальшивое чудо, о том, как я, ангел зла, довел до безумия католическую монахиню, о ее кровоточащих руках и стигматах на ее ногах...

Неожиданно он как будто принял решение и, к моему великому облегчению, заговорил вновь:

— Я разбогател, когда отказался от намерения переделать мир, если вообще всерьез думал об этом. И построил собственную жизнь, которая и стала моим миром. А Дора действительно всей душой жаждет... чего-то... А вот моя душа мертва...

---

* Revival Tent — проповедническое движение в США, когда религиозная проповедь сопровождается музыкой, танцевальными номерами и прочими не имеющими непосредственного отношения к религии действиями.

— Судя по всему, нет,— откликнулся я. Мысль о неизбежности его скорого исчезновения становилась все более невыносимой и пугала меня гораздо больше, чем еще не так давно испугало его появление.

— Вернемся, однако, к главному,— сказал он.— Меня начинает тревожить...

— Что?

— Не валяй дурака и слушай. На имя Доры положены деньги, которые никак не связаны с моим именем. Власти никоим образом не смогут наложить на них лапу, тем более что по твоей милости мне уже никто не сможет предъявить обвинение в чем-либо, не говоря уже о том, чтобы осудить. Всю информацию о них ты найдешь в квартире. В черных кожаных папках. Они в металлическом картотечном ящике. Вместе с корешками чеков и различными документами, касающимися купли-продажи картин и статуй. Все это ты должен сохранить для Доры. Это дело всей моей жизни, мое наследие. И отныне оно в твоих руках. Ты можешь выполнить мою просьбу? Ради Доры! Торопиться не стоит, да и нужды нет, ведь ты очень ловко покончил со мной.

— Знаю. А теперь ты просишь меня выступить в роли ангела-хранителя и позаботиться о том, чтобы Дора получила наследство в целости и сохранности, притом незапятнанным.

— Да, друг мой, именно это я умоляю тебя сделать. И тебе по силам выполнить мою просьбу. Кроме того, не забудь о Винкене. Если она откажется взять книги, хранителем их должен стать ты.

Он коснулся рукой моей груди, и я ощутил легкий толчок — как раз против сердца.

— Как только мое имя исчезнет с газетных страниц — если оно вообще просочится в прессу из досье ФБР,— ты передашь деньги Доре,— продолжил давать наставления Роджер.— Деньги всегда в цене, и они помогут ей создать собственную церковь. Дора умеет привлекать к себе людей. При наличии средств она самостоятельно справится со своей задачей. Ты понимаешь меня? Она сумеет добиться не меньшего успеха, чем Франциск, Павел или Иисус. Если бы не ее увлечение теологией, она давно уже стала бы харизматической знаменитостью. Она обладает

всем необходимым для этого. Только вот слишком много думает. Теология отделяет и отдаляет ее от остальных.

Роджер вздохнул. Он говорил очень быстро, и меня вдруг начала охватывать дрожь. Я отчетливо ощущал исходящие от него волны страха. *Но чего он боится?*

— Вот, послушай,— сказал он.— Я хочу процитировать тебе кое-что. Дора упомянула об этом прошлой ночью. Мы с ней читали книгу известного английского газетного обозревателя Брайена Эппльярда. Ты о нем слышал? Он написал книгу под названием «Постижение современности». Дора дала мне экземпляр. Там есть рассуждения, с которыми полностью согласна Дора... относительно того, что все мы «духовно обеднели»...

— Я тоже с этим согласен.

— Но речь шла и о чем-то еще — там было что-то относительно необходимости выбора. О том, что можно создавать теологические теории, но, для того чтобы быть действенными, они должны исходить откуда-то изнутри, из самых глубин человеческой души. Я помню, как она это называла. Словами Эппльярда: «Совокупность человеческого опыта».— Роджер умолк. Чувствовалось, что он растерян, что его мучают сомнения.

— Да, она ищет и жаждет именно этого.— Мне отчаянно хотелось успокоить его, заверить в том, что я все понимаю.— Она всей душой к этому стремится.

Я вдруг поймал себя на том, что вцепился в него с не меньшей силой, чем он в меня, и точно так же стараюсь удержать его рядом.

Роджер смотрел в сторону.

Меня охватила невыразимая печаль. Зачем, почему я это сделал? Да, этот человек был мне интересен, я знал, что он порочен. Но как я мог? С другой стороны, что было бы, останься он рядом со мной таким, каков есть? Что, если бы он стал моим другом?

Ладно, это все детские рассуждения, эгоистичные и корыстные. Мы говорили о Доре, о теологии. Конечно, точка зрения Эппльярда была мне понятна. «Постижение современности»... Я вспомнил эту книгу. Отыскал ее в глубинах своей бессмертной памяти и словно перечел заново.

Роджер молчал и не шевелился.

— Послушай, чего ты так боишься? — спросил я.— Пожалуйста не темни, не скрывай от меня ничего!

Я вцепился в него — грубо, бессовестно, но при этом едва не плача при мысли о том, что убил этого человека, отнял у него жизнь, а теперь отчаянно жажду только одного: как можно дольше удержать возле себя его дух.

Он не ответил. Но выглядел очень испуганным.

Оказывается, я вовсе не безжалостное чудовище, каковым всегда себя считал. Я не могу равнодушно видеть людские мучения. Я всего лишь проклятый упрямец, так и не разучившийся сопереживать страданиям других.

— Роджер! — взывал к нему я.— Посмотри на меня! Продолжай, не молчи!

Однако он пробормотал только несколько слов — что-то о Доре и о том, что ей, возможно, удастся найти то, что так и не смог отыскать он сам.

— Что именно? О чем ты? — потребовал я пояснений.

— Богоявление...— прошептал он.

О, это чудесное слово! Оно из лексикона Дэвида. Совсем недавно я слышал это слово из его уст, а вот теперь оно слетело с губ Роджера.

— Послушай, по-моему, они идут за мной,— неожиданно произнес он, и глаза его расширились. В этот момент он казался скорее удивленным, озадаченным, чем испуганным. Он прислушивался к чему-то. До меня тоже доносились какие-то звуки.— Помни о моей смерти,— ни с того ни с сего произнес он, как если бы в этот момент мысль о ней наиболее отчетливо возникла у него в голове.— Расскажи Доре о том, как я умер. Убеди ее в том, что смерть очистила оставшиеся после меня деньги. Ты понимаешь, о чем я? Я заплатил за это своей смертью. Деньги теперь чистые. И книги Винкена, и все остальное больше ничем не запятнаны. Представь ей все в самом выгодном свете. Скажи, что я искупил все свои грехи собственной кровью. Ты понял меня, Лестат? Используй все свое красноречие! Расскажи ей!

О, эти шаги!..

Отчетливый ритм чьих-то шагов... К нам медленно приближалось *нечто*... Приглушенный шум голосов, тихое пение, разговоры... Слов не различить... У меня вдруг так сильно закружи-

лась голова, что я едва не потерял сознание и, чтобы не упасть, схватился за Роджера и одновременно за стойку бара.

— Роджер! — громко вскрикнул я. Посетители бара, конечно же, слышали мой возглас. Однако устремленный на меня взгляд Роджера был совершенно спокойным, а на лице его застыло удивленное выражение. Он был явно потрясен и озадачен происходящим.

Я вдруг увидел, как надо мной и над ним нависли огромные крылья и нас окутала словно поднявшаяся из самых недр земли непроницаемая тьма. А затем возник свет! Яркий, слепящий свет!

— Роджер! — еще громче закричал я.

Шум голосов и пение становились оглушительными, а крылатая фигура все росла и росла.

— Не смей забирать его, во всем виноват только я!

Ярость заставила меня вскочить с места. Я был готов разорвать крылатое видение в клочья, если в том возникнет необходимость,— лишь бы оно отпустило Роджера. Однако я по-прежнему не мог отчетливо разглядеть таинственное существо. Равно как не понимал, где нахожусь в данный момент я сам. А видение наваливалось на меня, окутывало дымом, медленно сгущалось, обретало непреодолимую мощь и постепенно поглощало, растворяло в себе призрак Роджера. И в центре видения вдруг возникло лицо — точнее, только глаза — гранитной статуи.

— Отпусти его!

Все вокруг смешалось. Не было больше ни бара, ни Виллидж, ни города, ни всего мира в целом.

Быть может, даже то, что поначалу я принял за пение, было не чем иным, как звоном разбитого стекла.

А потом — чернота. И покой.

И тишина.

Впрочем, вполне возможно, что все это мне только почудилось, ибо на какое-то время я лишился чувств.

Я очнулся на улице.

Надо мной склонился перепуганный, дрожащий бармен.

— С тобой все в порядке, парень? — раздраженным тоном спросил он. Голос у него был гнусавый, крайне неприятный; черные плечи жилетки и рукава белоснежной рубашки припорошил снег.

Я молча кивнул и поднялся на ноги, чтобы дать ему возможность с чистой совестью оставить меня одного. И только тогда обратил внимание, что галстук мой на месте, пальто застегнуто и тоже покрыто снегом, а руки совершенно чистые.

Снегопад, хоть и не сильный, по-прежнему продолжался. Самый красивый снегопад, какой я только видел.

Я прошел сквозь вращающуюся дверь в отделанный плиткой холл и остановился у входа в бар. Оттуда мне было хорошо видно место, где мы только что беседовали и где на стойке все еще стоял бокал Роджера. За исключением того, что нас там уже не было, ничто в зале не изменилось. Бармен со скучающим видом разговаривал с кем-то и, похоже, не обратил внимания на то, что происходило вокруг; хотя он, наверное, все же заметил, как я поспешно, спотыкаясь, бросился прочь и выскочил на улицу.

«Беги! — кричала во мне каждая частица души.— Но куда бежать? Подняться в воздух? Не поможет! Оно мгновенно догонит тебя. Лучше оставайся на холодной земле».

«Ты забрал Роджера! Неужели ты преследовал меня только ради этого?»

Вероятно, я произнес эти слова вслух или сделал какое-то движение, потому что бармен вдруг поднял голову и посмотрел в мою сторону. Нет, вряд ли, я просто стоял и плакал. А рыдающий мужчина не может не вызвать интерес, тем более если этот мужчина такой, с позволения сказать, как я,— ведь наши слезы окрашены кровью. Надо бежать! И чем скорее, тем лучше!

Я повернулся и вновь вышел на заснеженную улицу. Скоро наступит утро. Так стоит ли мне бродить по холоду и тем самым продлевать свои страдания? Не разумнее ли отыскать подходящую для отдыха могилу и уснуть?

— Роджер! — не переставал я звать со слезами в голосе, время от времени вытирая рукавом мокрое лицо.— Кто ты, проклятое существо? — взывал я что есть мочи, и эхо отдавалось от стен окрестных домов.

«...Проклятое существо...» — донеслось до меня, и вдруг... Я вновь услышал несвязный гул голосов. Я пытался противостоять этому существу. Лицо! Его лицо... *Недремлющий разум и ненасытный характер!* Нет, я не должен позволять сбить себя с толку, я не должен предаваться воспоминаниям!

В одном из домов распахнулось окно, и чей-то голос сердито велел мне заткнуться и убираться прочь.

«Все, хватит,— приказал я себе.— Не пытайся восстановить в памяти прошедшее. Иначе ты окончательно лишишься и разума, и сознания».

Перед моим мысленным взором неожиданно возник образ Доры, и мне показалось, что я вот-вот рухну прямо здесь, посреди улицы, дрожа от ужаса и бормоча какую-нибудь бессмыслицу в ответ на расспросы любого, кто подойдет и попытается мне помочь.

А это было самое плохое, самое отвратительное, самое ужасное, что могло бы со мной случиться.

Но что выражало лицо Роджера в тот последний момент? Я даже не уверен, что это вообще можно назвать выражением. Что я прочел в его глазах? Умиротворение? Невозмутимый покой? Понимание? Или это были всего лишь глаза призрака, теряющего остатки жизненной энергии? Глаза призрака, отдающегося во власть другого призрака?

Оказывается, я громко плакал и вопил на всю улицу. Но осознал это, лишь когда со всех сторон до меня стали доноситься окрики смертных, требовавших, чтобы я немедленно заткнулся.

Я шел и шел вперед.

И вот наконец остался в одиночестве. Я продолжал плакать, хотя теперь уже тихо. Впрочем, улица была пуста, и никто не мог меня услышать.

Еле переставляя ноги, согнувшись почти пополам, я продолжал путь. Рыдания душили меня, я не мог их сдержать, но вокруг не было ни души, и потому никто меня не видел и не слышал. Я жаждал восстановить в памяти все последние события, но не смел, ибо боялся, что не выдержу нервного напряжения и рухну посреди дороги. О Роджер! Роджер!.. Боже мой, я едва сдерживался, чтобы в порыве своего чудовищного эгоизма немедленно не помчаться к Доре, не броситься перед ней на колени и не признаться в том, что натворил... «Это моих рук дело! Я убил его!..» — хотелось крикнуть мне.

Где я? Кажется, в центре города. В одной из витрин промелькнули норковые шубы. Снег мягко падал, нежно касался моих ресниц... Я размотал кашне и тщательно вытер лицо, чтобы уничтожить следы кровавых слез.

Увидев ярко освещенный отель, я нерешительно вошел внутрь.

Заплатив за номер наличными, я добавил щедрые чаевые и попросил не беспокоить меня в течение суток, после чего отправился наверх, тщательно запер на засов дверь, задвинул шторы, отключил отвратительно вонявший обогреватель, заполз под кровать и провалился в сон.

Однако, прежде чем я погрузился в долгое оцепенение — а до рассвета оставалось еще несколько часов, и времени на сон было хоть отбавляй,— в голову мне пришла вдруг странная мысль: Дэвид на меня, конечно же, рассердится, а вот Дора... Дора, скорее всего, поверит мне и поймет.

Я успел проспать, наверное, несколько часов. С улицы по-прежнему доносились звуки ночной жизни.

Когда я проснулся, небо еще только начало светлеть. Ночь подходила к концу. Наконец-то я смогу по-настоящему впасть в забытье. Чудесно! Слишком поздно, чтобы размышлять о чем-то. Пора отдаться во власть глубочайшего вампирского сна, присоединиться ко всем остальным бессмертным, которые — где бы они в эти минуты ни находились — ищут убежище, чтобы спастись от дневного света.

Отчетливо раздавшийся в тишине голос заставил меня вздрогнуть:

— Все не настолько просто...

Я вскочил на ноги так резко, что опрокинул кровать, и взглянул в том направлении, откуда донесся голос. Маленький гостиничный номер показался мне безвкусно украшенной золоченой западней.

В углу стоял человек, самый обыкновенный, ничем не примечательный мужчина. Среднего роста, отнюдь не красавец, как, например, Роджер, скромно — в отличие, скажем, от меня — одетый, не молодой и не старый...— в общем, просто человек. Хотя вполне приятной наружности. Он стоял, скрестив ноги, а руки были сложены на груди.

В это мгновение солнце поднялось над домами, и яркий огонь ударил в окна. Свет его ослепил и обжег меня, лишив возможности разглядеть еще какие-либо детали.

Я бросился на пол... Кровать вновь опустилась надо мной, спасая от разгорающегося сияния дня.

Все. Кто бы или что бы ни появилось в моей комнате, с восходом солнца я был бессилен что-либо сделать, и никакая снежная завеса зимнего утра не в состоянии мне помочь...

5

— Прекрасно,— сказал Дэвид.— А теперь прекрати ходить взад-вперед, сядь и постарайся вспомнить все, до мельчайших деталей. Если тебе для этого необходимо подкрепиться, мы можем выйти и...

— Я уже не раз говорил тебе, что не нуждаюсь в этом. Мне нет необходимости питаться. Я не жажду крови. Я люблю ее, тоскую по ней, но сейчас мне не до нее. Я пировал прошлой ночью и вел себя с Роджером как ненасытное чудовище. Прекрати напоминать мне о крови.

— Тогда будь любезен, сядь вон там, возле стола.

Он указал мне на место напротив себя.

Я стоял возле стеклянной стены и смотрел на крышу собора Святого Патрика.

Дэвид снял для нас великолепные комнаты в Олимпийской башне, как раз над шпилями собора. Огромные апартаменты далеко превосходили наши потребности, однако обосноваться в таком жилище было действительно приятно. Непосредственная близость к собору казалась мне особенно важной. У меня была возможность любоваться его крестообразной крышей и высокими острыми шпилями. Такое впечатление, что они способны были пронзить любого и устремлялись прямо в небеса. А с небес, как и прошлой ночью, тихо падали хлопья снега.

Я тяжело вздохнул.

— Послушай, у меня нет ни малейшего желания еще раз во всех подробностях вспоминать о случившемся. Я просто не в состоянии это сделать. Так что либо ты удовлетворишься тем, что я рассказал, либо... либо... либо я просто сойду с ума.

Он продолжал спокойно и невозмутимо сидеть возле стола. Жилье здесь сдавалось, что называется, «под ключ», то есть полностью меблированным. Шикарная, солидная обстановка в полной мере соответствовала стилю, принятому в деловых кругах общества: обилие красного дерева, кожи, бежево-коричневые тона и позолота не раздражали глаз. И повсюду стояли цветы.

Дэвид позаботился даже об этом. Мы буквально купались в их аромате.

Стол и стулья были изготовлены в восточном стиле, в интерьере присутствовали также очень модные в настоящее время китайские мотивы. Была там и пара сделанных в виде урн и расписанных ваз.

Внизу тянулась Пятьдесят первая улица, и наше жилище располагалось на той же ее стороне, что и собор Святого Патрика; по Пятой авеню прогуливались люди, время от времени кто-то из них поднимался по заснеженным ступеням и входил в здание. Белая пелена снега придавала всему пейзажу ощущение покоя и умиротворения.

— У нас мало времени,— добавил я.— Нужно срочно поехать на квартиру Роджера и либо обеспечить там надежную охрану, либо вывезти все ценности. Я не могу позволить, чтобы по какой-то глупой случайности Дора лишилась законно принадлежащего ей наследства.

— Это нетрудно сделать, но, прежде чем мы туда отправимся, постарайся... ради меня... еще раз подробно описать того человека... Не Роджера, нет, и не ожившую статую, и не крылатое существо... Меня интересует тот мужчина, который стоял в углу твоей комнаты, когда взошло солнце.

— Мужчина как мужчина. Я уже говорил тебе — совершенно обыкновенный. Возможно, англосакс... но только не ирландец и не скандинав... во всяком случае, не ярко выраженный. Просто человек. На француза тоже, по-моему, не похож. Заурядного вида американец. Достаточно высокий, примерно моего роста, намного ниже тебя. Пойми, я видел его не более пяти секунд. Солнце всходило. Он подкараулил меня там, как в ловушке. Бежать я не мог. Я уже практически ничего не соображал, да еще и лежал под кроватью. А когда проснулся, никакого мужчины не было и в помине. Можно было подумать, что он мне привиделся, что все это только плод моего воображения. Но нет, поверь, я его не выдумал!

— Спасибо и на том. А какие у него волосы?

— Светлые, почти серые. Как если бы пепельные волосы потускнели настолько, что превратились в... как бы это описать... они были похожи на поседевшие темно-русые, практически бесцветные... но с серым оттенком...

Дэвид жестом показал, что понял.

Я осторожно прислонился к стеклу. С моей силой мне ничего не стоило случайно выдавить его и разрушить стену, а устраивать такой шум в тот момент хотелось меньше всего.

Дэвид явно ожидал от меня большего, и я честно старался вспомнить что-либо еще, тем более что образ незнакомца довольно отчетливо стоял перед моими глазами.

— У него было приятное лицо, даже, можно сказать, очень приятное. Он не из тех, кто способен произвести впечатление своими габаритами или другими физическими достоинствами, но кто скорее обратит на себя внимание осанкой, манерой держаться, сдержанностью и выдержкой, живостью ума...— в общем, тем, что ты бы, наверное, назвал интеллигентностью. Похоже, как личность он интересен.

— А одежда?

— Ничего примечательного. Насколько мне помнится, черная, возможно чуть запыленная. Но я не уверен. Хотя у меня осталось смутное впечатление чего-то черного и блестящего, изысканного, красивого...

— А глаза? Они тебе запомнились?

— Только тем, что в них светился ум. Они не были большими или какого-то необычного цвета. Он выглядел умным, симпатичным, но вполне обыкновенным человеком. Темные, однако не слишком густые брови, нормального размера лоб, в меру пышные волосы, красиво, но в отличие от меня или тебя без щеголеватости причесанные...

— Ты уверен, что он произнес какие-то слова?

— Совершенно уверен. Я слышал его голос. Он разбудил меня. Я проснулся и вскочил на ноги. И видел солнце. Поверь, это правда! Взгляни на мою руку.

Моя кожа была уже не такой бледной, как до ухода в пустыню Гоби, куда я отправился в недавнем прошлом, дабы испытать судьбу и выяснить, способно ли меня убить солнце. Тем не менее в том месте, где лучи солнца коснулись руки, отчетливо виднелся ожог. Боль от ожога я чувствовал и на лице, хотя там следа не осталось, ибо я успел отвернуться достаточно быстро.

— Значит, ты проснулся под кроватью, потом отбросил ее так, что она встала набок, а после опять упала и накрыла тебя?

— Именно так все и было. Лампа была опрокинута. И мне ничего не приснилось, как не приснился Роджер и то, что с ним произошло. Послушай, я хочу, чтобы ты поехал вместе со мной и собственными глазами увидел квартиру Роджера и те вещи, которые там находятся.

— Я и сам об этом мечтаю.— Дэвид встал.— Ни за какие блага мира я не упущу такую возможность. Но я тянул время только затем, чтобы позволить тебе подольше отдохнуть и попытаться...

— Попытаться — что? Успокоиться? И это после того, как я разговаривал с призраком одной из своих жертв? После того, как я видел мужчину, стоявшего в моей комнате? После того, как на моих глазах Роджера уволокло с собой неведомое существо — то самое существо, которое гонялось за мной по всему свету, этот глашатай безумия, этот...

— Но ты же не видел, что именно оно увело с собой Роджера, не так ли?

Я на минуту задумался.

— Да, я не уверен... Не уверен в том, что призрак Роджера еще сохранял способность двигаться. Он был чересчур спокоен. И постепенно таял. А потом возникло лицо этого существа — или кем там оно было? — возникло всего на мгновение. К тому времени я совсем потерял голову, растерялся, перестал понимать, где нахожусь,— я вообще ничего не чувствовал. И не могу с уверенностью сказать, то ли образ Роджера просто растаял, то ли это существо поглотило его и унесло с собой.

— Лестат, послушай! Ты не знаешь наверняка, что именно произошло. Знаешь только, что призрак Роджера исчез, а это существо появилось. И все.

— Да, пожалуй, ты прав.

— Тогда обдумай все вот с какой точки зрения. Твой преследователь решил показаться тебе. И он разрушил, изгнал с глаз твоих призрак Роджера.

— Нет. Они как-то связаны между собой. Роджер чувствовал его приближение, причем узнал о том, что существо уже идет к нам, намного раньше, чем я смог услышать шаги. Я благодарен Богу за одно...

— За что?

— За то, что я не в состоянии передать тебе ощущение страха... Я не могу заставить тебя прочувствовать весь ужас ситуации. Ты веришь мне, и этого сейчас более чем достаточно, но, знай ты, насколько жутким было это ощущение, от твоей хваленой уравновешенности истинного британского джентльмена не осталось бы и следа.

— Как сказать. А теперь пора идти. Мне не терпится увидеть сокровищницу. Надеюсь, ты не преувеличиваешь, когда заявляешь о том, что не можешь лишить девочку столь ценных вещей.

— Женщину. Молодую женщину.

— Кроме того, мы должны немедленно выяснить, где она сейчас находится.

— Я уже сделал это по дороге сюда.

— В таком состоянии?!

— Я сумел справиться с собой в достаточной мере, чтобы заглянуть в отель и удостовериться в том, что она уехала. Я обязан был это сделать. Лимузин отвез ее в «Ла Гуардиа» сегодня в девять утра. Днем она была уже в Новом Орлеане. Что же касается монастыря, то я понятия не имею, каким образом с ней там связаться. Мне даже не удалось выяснить, проведен ли туда телефонный кабель. В любом случае в данный момент она не в меньшей безопасности, чем при жизни Роджера.

— Хорошо. Тогда в путь.

Иногда чувство страха служит нам предупреждением. Как если бы кто-то вдруг положил нам руку на плечо и сказал: «Ни шагу дальше!»

Едва мы вошли в квартиру, я на какие-то доли секунды испытал это чувство. Сначала меня охватила паника, а после словно вдруг прозвучало: «Ни шагу дальше!»

Но чрезмерная гордыня не позволила мне признаться в собственной слабости, а Дэвид был чересчур заинтригован и шел впереди меня по прихожей, ничего не замечая вокруг, кроме разве что того факта, что квартира выглядит совершенно лишенной признаков жизни. То же самое заметил и я. Быть может, виной всему произошедшее здесь недавно убийство? Он ощущал его запах не хуже меня. Интересно, испытывал ли он

меньшее отвращение от сознания того, что не он совершил это убийство?

Роджер! Воспоминание об искалеченном трупе и возникший перед моим мысленным взором призрак Роджера слились в единую картину и болью пронзили мне грудь.

Дэвид прошел прямо в гостиную, а я задержался возле большой статуи из белого мрамора, изображавшей ангела с похожим на створку раковины сосудом для святой воды. Как он похож на своего гранитного собрата, подумалось мне. Блейк... Да, Уильям Блейк это понимал. Он видел и ангелов, и демонов, а потому точно сумел передать все пропорции. Мы с Роджером могли бы поговорить о Блейке.

Однако все кончено, теперь поздно думать об этом. А я здесь, в квартире.

Мысль о том, что мне предстоит пройти всю прихожую, переступить порог гостиной и вновь увидеть гранитную статую, показалась мне невыносимой.

— Ее здесь нет,— послышался голос Дэвида.

Он не мог прочесть мои мысли — он всего-навсего констатировал очевидный факт. Я увидел, что Дэвид стоит в гостиной, всего лишь в пятидесяти футах от меня, и смотрит в мою сторону. Лучи галогенных ламп, направленные на шедевры искусства, лишь слегка освещали его фигуру.

— Здесь нет никакой статуи из черного гранита,— повторил он.

— Все, мне конец! — со вздохом прошептал я.

Ни один смертный не смог бы сейчас разглядеть Дэвида — слишком густой была окружавшая его тень. Но я видел его совершенно отчетливо. Высокий, сильный, он стоял спиной к окнам, сквозь грязные стекла которых почти не проникал уличный свет, отблески галогенных лучей играли на медных пуговицах его одежды.

— А кровь?

— Кровь есть. И твои фиолетовые очки валяются тут же. Великолепное свидетельство.

— Свидетельство чего?

Глупо было стоять вот так, почти у задней двери, и беседовать с Дэвидом. Я прошел через холл, словно смертник, беспечно шагающий к гильотине, и оказался в гостиной.

Место, где еще недавно стояла статуя, было пустым, и я даже не мог с уверенностью сказать, что его там было достаточно много. Вокруг царил хаос. Гипсовые святые... Иконы... Некоторые из них, самые древние, под стеклом. Прошлой ночью я не обратил внимания, как их здесь много. Развешанные по всем стенам, они поблескивали бликами отраженного света.

— Невероятно! Глазам своим не верю! — прошептал Дэвид.

— Не сомневался, что ты придешь в восторг,— мрачно отозвался я.— Наверное, я и сам испытал бы нечто подобное, не будь до мозга костей потрясен случившимся.

Дэвид внимательно изучал находившиеся в комнате шедевры, скользя взглядом по иконам и святым и вновь возвращаясь к тем или иным из них.

— Великолепные вещи... Это... Это... Это колоссальная коллекция, поистине выдающееся собрание! Ты понятия не имеешь, что представляют собой все эти предметы искусства и какова их истинная ценность! Я прав?

— Ну-у-у... Более или менее,— ответил я.— Не такой уж я полный невежда в искусстве.

— Хорошо. Что, например, висит вон на той стене? — Дэвид жестом указал мне на длинный ряд наиболее старых и явно очень ветхих икон.

— Там? Точно сказать не могу.

— Это Плат Вероники,— пояснил Дэвид.— Точные копии того знаменитого Плата, который бесследно исчез много веков назад. Предположительно во время Четвертого крестового похода. Вот эта — русская, безукоризненно выполненная. А эта — итальянская. Взгляни туда. Видишь возвышения на полу? Это остановки Христа на Его крестном пути.

— Он был буквально одержим поисками разных реликвий для Доры. Да и сам очень любил такие вещи. Русский Плат Вероники он как раз и привез для нее в Нью-Йорк в этот свой последний визит. Прошлым вечером они долго спорили из-за него, но Дора все-таки отказалась принять подарок.

Плат действительно был великолепен. А как подробно старался Роджер описать его Доре! Боже! Мне казалось, что я знаю этого человека с детства, что мы с ним не раз беседовали о собранных в этой квартире сокровищах и что сейчас каждая вещь

несет на себе отпечаток его любви и заставляет меня вспомнить те его мысли, которые были с ней связаны.

Кальварии... Остановки Христа на крестном пути... Конечно же, я, как и любой добрый католик, хорошо знал, что они означают. С раннего детства я участвовал в ежегодных процессиях. Мы медленно двигались по полутемному приделу храма к распятию, словно повторяя путь Христа на Голгофу, и преклоняли колена на каждой из четырнадцати остановок, дабы прочесть соответствующие молитвы. Иногда этот путь страстей Господних совершал сам священник в сопровождении мальчиков, прислуживавших при алтаре, в то время как прихожане лишь молились вместе с ними, восславляя Господа нашего Иисуса Христа за Его великие страдания. Если мне не изменяет память, Вероника подошла к Христу во время шестой кальварии, чтобы своим Платом отереть его лицо.

Дэвид переходил от предмета к предмету.

— А это распятие... Оно такое древнее, что поистине могло бы произвести сенсацию и вызвать переполох среди искусствоведов.

— Но разве то же самое нельзя сказать и о всех других вещах, которые здесь собраны?

— Безусловно можно. Однако я говорю сейчас не о Доре и не о ее религии — я вообще не рассматриваю коллекцию с этой точки зрения. Я говорю о том, что каждый из находящихся здесь предметов представляет собой действительно выдающееся произведение искусства. Твое мнение абсолютно верно: мы не имеем права бросить их на произвол судьбы — это совершенно недопустимо. Вот, взгляни, эта маленькая фигурка датируется, вероятно, девятым веком. Она кельтского происхождения и поистине бесценна. А вот эта вещь, вполне возможно, вывезена из Кремля...

Он вдруг умолк и буквально застыл перед иконой, изображавшей Богоматерь с младенцем. Искусно стилизованная, как, впрочем, и все остальные предметы в коллекции, она показалась мне все же очень знакомой: младенец Иисус прижимается к матери, а с его ножки вот-вот упадет сандалия... Их окружают ангелы — они держат в руках миниатюрные символы будущих страданий Иисуса, словно тем самым предрекая его судьбу. А младенец пытается спрятаться от них в объятиях матери. Бо-

городица с нежностью склонилась к сыну, нимбы над их головами соприкасаются, перекрывая друг друга...

— Полагаю, тебе известно главное отличие иконы от других видов живописи?

— Божественное вдохновение.

— Нерукотворность,— поправил меня Дэвид.— Считается, что икона — это творение самого Господа, отпечаток, сделанный им на том или ином материале.

— Подобно тому как его лик отпечатался на Плате Вероники?

— Совершенно верно. Все иконы сотворены Господом Богом — они своего рода откровения, выраженные в материальной форме. Есть мнение, что новую икону можно создать, просто приложив чистую основу к старой,— изображение магическим образом копируется на нее, и вот пожалуйста, появляется новая икона.

— Понятно. Ее как бы никто и не рисовал.

— Вот именно. Смотри, это оправленный в драгоценные камни фрагмент Креста Господня, а здесь, эта книга... Боже! Быть того не может! Да ведь это знаменитый Часослов, пропавший в годы Второй мировой войны!

— Дэвид, давай оставим на потом полную инвентаризацию и восторги. Хорошо? А сейчас надо решить, что со всем этим делать.

Я уже не испытывал прежнего страха, хотя время от времени невольно поглядывал на то место, где еще недавно стояла гранитная статуя.

Теперь я ни на йоту не сомневался, что это был дьявол, и опасался, что снова начну дрожать от ужаса, если мы немедленно не займемся чем-нибудь.

— Но как и где мы можем спрятать все это и сохранить для Доры? — спросил Дэвид.— Давай начнем с записных книжек и шкафов, попытаемся навести хоть какой-то порядок и разыщем книги Винкена. По ходу дела что-нибудь решим и выработаем план.

— Только не вздумай впутывать в это своих прежних смертных соратников,— неожиданно проворчал я.

Должен признаться, тон мой был не слишком вежливым и доброжелательным.

— Ты имеешь в виду Таламаску? — спросил, оборачиваясь ко мне, Дэвид. В руках он по-прежнему держал бесценный Часослов, обложка которого, казалось, готова была вот-вот рассыпаться в прах.

— Вся коллекция принадлежит Доре,— сказал я.— За исключением книг Винкена. Винкена я возьму себе, если Доре он по-прежнему не будет нужен.

— Да, конечно, я понимаю,— откликнулся Дэвид.— Но, Бог мой, Лестат, неужели ты думаешь, что я все еще поддерживаю контакт с Таламаской? Им, безусловно, можно было бы довериться в этом деле, но я не хочу встречаться со своими, как ты их называешь, прежними смертными соратниками. Я не хочу возобновлять связи с ними, не хочу, чтобы в архивах Таламаски появилось мое досье,— в отличие от тебя, кстати, если ты помнишь... «Вампир Лестат»... Я хочу, чтобы они помнили меня только как своего прежнего начальника, Верховного главу ордена, скончавшегося в весьма преклонном возрасте. А теперь займемся делом.

В его голосе, как мне показалось, слышались нотки недовольства и горечи. Я вспомнил, что последней ниточкой, связывавшей Дэвида с Таламаской, был его старый друг Эрон Лайтнер, с уходом которого оборвались все контакты Дэвида с орденом. Смерть Лайтнера была окутана некой тайной, с ней были связаны какие-то споры и конфликты, но в чем конкретно заключалось дело, я не знал.

Шкаф стоял в комнате, соседствовавшей с гостиной, там же мы обнаружили еще и несколько ящиков с деловыми бумагами и какими-то записями. Я быстро отыскал финансовые документы и принялся их просматривать, в то время как Дэвид занимался изучением остального.

Обладая немалой собственностью, я хорошо разбирался в юридической терминологии и знал все уловки и хитрости, которыми часто пользуются международные банки. Вскоре я убедился в том, что наследство, оставленное Доре, действительно ничем не запятнано, его источники абсолютно чисты и те, кому вздумается потребовать возмещения ущерба, причиненного преступной деятельностью Роджера, не смогут отобрать что-либо у его дочери. Все документы были оформлены на имя Теодоры Флинн — судя по всему, таково было легальное имя Доры,

доставшееся ей благодаря тому, что Роджер зарегистрировал брак под вымышленной фамилией.

Документов было слишком много, и я не мог точно определить размеры наследства. Ясно было только одно: в течение многих лет состояние постоянно увеличивалось, и теперь, появись у нее желание, Дора могла бы с легкостью организовать новый крестовый поход и отобрать у турок Стамбул. Среди бумаг я обнаружил несколько писем. Одно из них было написано два года назад, когда Дора отказалась пользоваться деньгами из двух фондов, о которых знала. Что же касается остальных капиталовложений, то, вполне возможно, она даже не подозревала о том, чем владеет в действительности.

Когда речь идет о деньгах, капиталовложения имеют огромное значение. Умение выгодно вкладывать деньги и наличие воображения — вот, на мой взгляд, два важнейших фактора, без наличия которых невозможно принимать какие-либо моральные решения. Я, во всяком случае, всегда придерживался именно такого мнения. Быть может, кому-то такие мысли покажутся презренными и ничтожными. Но если поразмыслить, то они отнюдь не являются таковыми. Деньги позволяют накормить голодных и обеспечить одеждой нуждающихся. Впрочем, я повторяю сейчас общеизвестные истины. В распоряжении Доры было множество фондов плюс еще какие-то дополнительные, позволяющие ей покрывать все налоги по основным...

Охваченный печалью, я вспомнил, как жаждал помочь Гретхен, сестре Маргарите, и как один только мой вид развеял все мечты. Стоило мне появиться, все рухнуло, и мне пришлось навсегда уйти из ее жизни вместе с набитыми золотом чемоданами. А разве бывает в жизни иначе? Мне кажется, все благие начинания завершаются именно таким образом. Я отнюдь не святой. И мне не удалось накормить голодных и страждущих.

Но Дора... Мне вдруг пришла в голову мысль, что отныне она — моя дочь. Она стала для меня такой же святой, какой была для Роджера. Дора обрела нового богатого отца — меня.

— Что с тобой? — с тревогой спросил Дэвид, просматривая очередную папку с бумагами.— Ты опять видел призрака?

Меня едва вновь не охватила сильнейшая дрожь, однако я сумел вовремя взять себя в руки и хотя промолчал в ответ, но

неожиданно совершено явственно представил себе создавшуюся ситуацию.

Я должен присмотреть за Дорой! Конечно! Я присмотрю за ней и позабочусь о том, чтобы она приняла наследство. Я сделаю все возможное, чтобы убедить ее в необходимости такого шага. Возможно, Роджер просто не сумел найти к ней подход, не знал, какие именно аргументы следует использовать. А теперь, несмотря на все свои сокровища, Роджер превратился в мученика. И это его последнее перевоплощение, вполне вероятно, можно считать наиболее правильным. Он сполна заплатил за свое богатство, искупил грехи. И кто знает, быть может, Дора... если ей правильно объяснить...

Неожиданная находка прервала мои размышления. Вот они! Все двенадцать книг! Каждая в отдельном футляре из тончайшего пластика. Они стояли в ряд на верхней полке небольшого бюро, рядом со шкафом, где хранились документы. Я сразу догадался, что это они. К тому же на каждом футляре имелись ярлычки с затейливо выведенными рукой Роджера инициалами: «В де В».

— Послушай! — Дэвид поднялся с коленей, стряхивая пыль с брюк.— Здесь только документы, касающиеся приобретения того или иного раритета. Все сделки совершены на вполне законных основаниях, они совершенно чистые — во всяком случае, он позаботился об их отмывании. Десятки, сотни квитанций, чеков, договоров, сертификатов, заключений экспертов о подлинности... Полагаю, мы должны увезти все это отсюда прямо сейчас, и чем скорее, тем лучше.

— Согласен. Вопрос только куда и каким образом.

— Подумай. Где коллекция будет в наибольшей безопасности? Твоя квартира в Новом Орлеане, безусловно, не годится. Доверить подобные ценности какому-нибудь хранилищу в Нью-Йорке тоже нельзя.

— Ни в коем случае. У меня есть жилье здесь, в городе, в одном из небольших отелей, но...

— Да, я помню. Те самые комнаты, куда заявился однажды Похититель Тел. Неужели ты так с тех пор и не сменил адрес?

— Сейчас это не имеет значения. Все равно там слишком мало места.

— А тебе не кажется, что наше новое просторное жилище в Олимпийской башне вполне подходит?

— Ты серьезно? — удивленно спросил я.

— Конечно. Вполне. А где ты найдешь место безопаснее? А теперь за работу. В это дело ни в коем случае нельзя впутывать смертных. Нам предстоит справиться с непростой задачей самостоятельно.

— О-о! — Я с отвращением вздохнул.— Ты хочешь сказать, упаковать и перевезти все это?

Дэвид рассмеялся.

— Да. Геркулесу доводилось выполнять подобную работу. И ангелам тоже. Как по-твоему, что чувствовал Михаил, вынужденный переходить в Египте от дома к дому и убивать первенца в каждой семье? Давай не мешкай. Ты даже не можешь себе представить, как облегчают жизнь современные упаковочные материалы. Уверен, мы справимся без посторонней помощи. Это будет захватывающее приключение. Почему бы нам, скажем, не попутешествовать по крышам?

— О, нет ничего более ужасного, чем энергия и энтузиазм юного вампира,— устало вздохнул я.

Тем не менее я сознавал, что Дэвид прав. Наша сила и наши возможности не идут ни в какое сравнение с силой и возможностями любого смертного помощника. Мы могли полностью очистить квартиру в течение одной ночи.

Задним числом должен признать, что, если вас снедает тревога или страх, если вас мучает совесть или вы панически боитесь появления дьявола, готового схватить вас за горло и ввергнуть в огненную бездну, нет и не может быть противоядия лучше, чем напряженный, тяжелый труд.

Мы запаслись невероятным количеством упаковочного материала, представлявшего собой двухслойный полиэтилен с заключенными между слоями пузырьками воздуха. Такой материал способен защитить от любых неожиданностей в пути даже самые хрупкие предметы. Первым делом я сложил все финансовые документы и книги Винкена, причем предварительно заглянул в каждый футляр, дабы удостовериться, что беру именно то, что нужно. Как только я покончил с этим, мы с Дэвидом приступили к основной работе.

Мелкие предметы мы складывали в мешки, которые перетаскивали затем в свое новое жилище. Как и предлагал Дэвид, мы летали высоко над крышами домов — две темные фигуры, невидимые для смертных, бесшумно плывущие по воздуху, словно ведьмы, направляющиеся на свой шабаш.

Более крупные вещи приходилось переправлять по одной, нежно заключив в объятия. Я сознательно обошел стороной мраморного ангела, а Дэвиду, напротив, скульптура очень понравилась, и он всю дорогу разговаривал с ней. Внутри Олимпийской башни мы пользовались хозяйственными лестницами и, естественно, действовали как вполне обыкновенные смертные.

Едва достигнув здания и соприкоснувшись с миром смертных, мы сбрасывали скорость и превращались в нормальных джентльменов, с любовью обустраивающих свое новое жилище и радостно несущих туда тщательно упакованные предметы роскоши.

Вскоре наши чистенькие, устланные коврами апартаменты над крышами собора Святого Патрика превратились в склад беспорядочно сложенных мешков и пакетов; некоторые из них походили на аккуратно забинтованных мумий, другие — на небрежно завернутых набальзамированных покойников. Беломраморный ангел с сосудом для святой воды был, кажется, последним. Книги Винкена, тщательно завернутые, лежали на столике в восточном стиле. У меня не нашлось времени просмотреть их внимательно, да и момент для этого был явно неподходящим.

Задыхаясь от раздражения и ярости, вызванных тем, что пришлось выполнять столь унизительную для меня лакейскую работу, я буквально рухнул в кресло. Зато Дэвид сиял от гордости и удовольствия.

— Здесь сокровищам ничто не угрожает,— жизнерадостно заключил он.

Глядя на разгоряченное тело молодого мужчины, которое, казалось, воспламенял заключенный в нем неутомимый внутренний дух, я думал о том, как причудливо переплелись и соединились в нем два совершенно разных человека: пожилой мудрый Дэвид и рослый мускулистый юноша, в чьих жилах текла кровь англичан и индийцев. Безусловно, он самое совершенное, способное и сильное из всех моих творений.

И причиной тому, конечно же, были не только мощь моей крови и те испытания и страдания, которые выпали на мою долю, прежде чем я совершил над ним Обряд Тьмы. Я отдал ему гораздо больше крови, чем кому-либо другому. Я рисковал ради него собственным существованием. Но не это важно...

И вот теперь, насквозь пропыленный, я сидел и с любовью смотрел на Дэвида, восхищаясь собственным творением.

Кажется, мы предусмотрели и сделали все, не упустили из виду ни одной детали. Мы притащили оттуда даже свернутые в рулоны ковры, включая и тот, который был пропитан кровью Роджера. Он тоже станет реликвией, символом страданий, перенесенных мучеником Роджером. Что ж, когда придет время, я сообщу об этом Доре.

— Я должен отправиться на охоту.— Шепот Дэвида прервал мои размышления.

Я не ответил.

— Ты идешь со мной? — все так же шепотом вновь обратился он ко мне.

— А ты этого хочешь? — поинтересовался я.

Он взглянул на меня с каким-то странным выражением, при этом в лице его не было и тени осуждения или неприязни.

— А почему бы тебе не пойти? Даже если сам ты не нуждаешься в пище, разве тебе не доставит удовольствие просто присутствовать при этом?

Я кивнул в знак согласия. Мне и в голову не приходило, что Дэвид когда-нибудь позволит мне наблюдать, как он охотится. Луи терпеть не мог, когда я подглядывал за ним. А во время нашей последней встречи втроем в прошлом году Дэвид был очень скрытен и недоверчив, так что ожидать от него подобного предложения не приходилось.

Заснеженные аллеи Центрального парка были темны. До нас доносились звуки ночной жизни: смех, крики, обрывки неясных разговоров; иногда мы улавливали запах табачного дыма. В такое время обитателями парка были только сильные и смелые люди, те, кто знал, как жить и выжить в смертельно опасных диких джунглях большого города.

Дэвид быстро нашел подходящий экземпляр: молодого мужчину в ермолке и драных ботинках, из которых торчали босые

пальцы, одинокого ночного бродягу, накачанного наркотиками до такой степени, что он не чувствовал леденящего холода и беседовал вслух с теми, кого уже давно не было на этом свете.

Я скрылся в густой тени давно не стриженных, мокрых от снега деревьев. Дэвид протянул руку и тронул парня за плечо, потом мягко развернул его лицом к себе и заключил в объятия. Классический вариант! Дэвид склонился к шее молодого человека и начал пить, а тот вдруг засмеялся и одновременно начал что-то быстро говорить. Вскоре, однако, он затих и застыл, будто скованный, а еще чуть позже бездыханное тело уже лежало у основания дерева.

К югу от нас сияли нью-йоркские небоскребы, а приглушенные, уютные огни Ист-сайда и Вест-сайда как будто манили к себе. Дэвид стоял не шевелясь — интересно, о чем он в тот момент думал?

Казалось, он вообще утратил способность двигаться. Я подошел ближе. Нет, неподвижность моего прилежного и усердного архивариуса не была вызвана состоянием внутреннего спокойствия и умиротворения. На его лице было написано страдание.

— В чем дело? — спросил я.

— Ты знаешь в чем,— шепотом произнес он.— Я так долго не проживу.

— Ты серьезно? И это несмотря на способности, которыми я тебя одарил?..

— Тс-с-с, успокойся... Мы слишком часто говорим о том, что, как мы заранее знаем, для одного из нас неприемлемо. Пора избавиться от этой дурной привычки.

— И говорить друг другу только правду? Ладно. Вот тебе правда. Сейчас тебе кажется, что ты не сможешь выжить. Но это только сейчас. Пока внутри тебя кипит и пенится еще горячая кровь. Все естественно. Но ты не будешь испытывать подобное ощущение вечно. И это главное. Так что давай больше не будем говорить о выживании. Я уже пытался покончить со своей жизнью и получил хороший урок — ничего не вышло. К тому же мне есть о чем подумать: о странном существе, которое меня преследует, и о том, как помочь Доре, прежде чем оно до меня доберется.

Мои слова заставили Дэвида умолкнуть.

Мы пошли по парку прогулочным шагом, ничем не отличаясь от смертных. Ноги проваливались в рыхлый глубокий снег. Зимние деревья вокруг склоняли к нам свои черные голые ветви. В отдалении виднелись огни городских кварталов.

Я не мог не думать о загадочных шагах, нервничал, ожидая их услышать опять. И неожиданно мне пришло в голову, что появившееся неизвестно откуда чудовищное существо, этот дьявол — или кем он был на самом деле? — приходил только за Роджером...

Но как тогда быть с тем человеком — с неизвестным мужчиной? Теперь в моей памяти он виделся именно таким — обыкновенным мужчиной, мелькнувшим перед моими глазами за миг до восхода солнца.

Мы подошли к южной границе Центрального парка. Высокие здания, рядом с которыми потерялась бы даже Вавилонская башня, сияли яркими огнями, словно бросая вызов самим небесам. До нас доносилось привычное шуршание шин проносящихся по улице сверкающих, шикарных автомобилей, в их равномерный гул то и дело вторгался скрип тормозов и шумный рокот такси.

Дэвид был печален и задумчив.

Наконец я не выдержал:

— Если бы ты увидел это существо собственными глазами, у тебя едва ли возникло бы стремление продолжить это знакомство.

Я тяжело вздохнул, не испытывая желания вновь во всех подробностях вспоминать, как выглядел крылатый дьявол.

— Откровенно говоря, ты даже не можешь представить, какой захватывающей кажется мне сама идея,— признался Дэвид.

— Отправиться в ад? В компании дьявольского существа?

— А разве ты уверен, что в нем было нечто дьявольское? Разве ты почувствовал в нем зло? Я уже спрашивал тебя об этом. Ощутил ли ты, что от крылатого создания исходит зло, когда оно уносило с собой Роджера? И разве Роджер хоть как-то намекнул, что испытывает при этом боль?

Его вопросы показались мне несколько казуистскими.

— Не советую тебе столь небрежно и легкомысленно относиться к смерти,— заметил я.— Знаешь, мои взгляды с годами

меняются. Атеизм и нигилизм юности кажутся мне теперь проявлениями ограниченности и самоуверенного нахальства.

Он улыбнулся — беззлобно, снисходительно, как улыбался, будучи еще смертным, с высоты своего почтенного, увенчанного лаврами возраста.

— Тебе когда-нибудь приходилось читать Готорна? — мягко спросил он.

Мы пересекли мостовую и теперь медленным шагом огибали фонтан перед отелем «Плаза».

— Да,— ответил я,— когда-то.

— Ты помнишь Итена Брэнда и его поиски непростительного греха?

— Да, что-то такое помню. Он отправился на поиски и бросил своего приятеля.

— Вспомни этот абзац,— тихо попросил Дэвид.

Мы шли уже по Пятой авеню, всегда ярко освещенной и оживленной в любое время суток, и он процитировал наизусть несколько строк:

— «Его сердце уже не билось заодно с сердцем всего человечества. Итен Брэнд оторвался от магнетической цепи, связующей людское общество. Он уже не был братом среди братьев, отпирающим двери камер или подвалов нашего естества ключом благого сострадания — а только оно дает право проникать в их тайны,— он обратился в холодного наблюдателя, который весь людской род считает лишь предметом для своих опытов, и под конец мужчины и женщины стали для него марионетками, и он дергал их за нити, приводящие к преступлениям, нужным для его поисков».

Я промолчал. Мне хотелось возразить, но это было бы не совсем честно с моей стороны. Я хотел сказать, что никогда не относился к людям как к марионеткам. Я всего лишь наблюдал за Роджером, а до того следил в джунглях за Гретхен. И не дергал ни за какие веревочки. Честность погубила нас обоих — и ее, и меня. Однако, цитируя строки Готорна, Дэвид имел в виду вовсе не меня — он говорил о себе, о том, какая пропасть отделяет его от людей. Он еще только начинал превращаться в Итена Брэнда.

— Позволь мне продолжить чуть далее,— все так же тихо произнес Дэвид и, не дожидаясь ответа, начал: — «Так Итен

Брэнд сделался исчадием ада. Случилось это с ним, когда развитие нравственных его начал перестало поспевать за развитием умственным...»

Он оборвал себя на полуслове.

Я в ответ не произнес ни слова.

— В этом и состоит наше проклятие,— снова заговорил он.— Наше моральное совершенствование прекратилось, а наш интеллект прогрессирует семимильными шагами.

Я по-прежнему молчал. Да и что я мог ответить? Я не хуже его знал, что такое отчаяние. Меня мог избавить от этого чувства красивый манекен в витрине магазина или нарядная подсветка какого-нибудь архитектурного сооружения. Я мог забыть о нем при виде гигантского собора Святого Патрика. Но вскоре отчаяние охватывало меня вновь.

Бессмысленность, бесцельность...

Эти слова готовы были сорваться с моих губ, однако вместо них я произнес совсем другое:

— Я должен думать о Доре.

Дора...

— Да, ты прав,— откликнулся Дэвид.— И благодаря тебе у меня теперь тоже есть о ком заботиться. У меня есть Дора — не так ли?

6

Что, как и когда сказать Доре? Вот в чем состоял главный вопрос. Мы отправились в Новый Орлеан следующим же вечером.

В доме на Рю-Рояль Луи не было, что, впрочем, меня отнюдь не удивило. Луи все сильнее и сильнее охватывала тяга к путешествиям, и однажды Дэвид видел его даже в компании Армана в Париже. В доме царили чистота и уют. Красивые яркие обои, лучшие в мире ковры, великолепная мебель в так любимом мною стиле эпохи Людовика Пятнадцатого — словом, не дом, а мечта, ставшая реальностью.

Дэвид, естественно, тоже хорошо знал этот дом, хотя и не видел его уже более года. В одной из шикарных, словно сошедших с картины спален, утопающей в шелках цвета шафрана и украшенной турецкими столиками и ширмами, по-прежнему

стоял гроб, в котором он спал во время своего самого первого и очень краткого визита в новом для него качестве бессмертного.

Конечно же, гроб был тщательно замаскирован. Дэвид, как и большинство новообращенных вампиров, если они не вечные странники по натуре, настоял на том, чтобы гроб был настоящим, однако позже его искусно спрятали в тяжелый бронзовый сундук — Луи где-то отыскал этот огромный, как рояль, массивный прямоугольный ящик с секретом. А секрет заключался в том, что вы ни за что не отыскали бы на нем отверстие для ключа, но достаточно было легчайшего прикосновения в нужном месте, чтобы крышка мгновенно откинулась.

Когда-то мы жили в этом особняке втроем: Луи, Клодия и я. В ходе его ремонта и реставрации я выполнил данное себе когда-то обещание: устроил здесь собственное место для отдыха. Но не в той комнате, что прежде служила мне спальней,— теперь там стояли только кровать с пологом на четырех столбиках и туалетный столик,— а в мансарде под самой крышей. Надежное убежище из металла и мрамора.

В общем, в Новом Орлеане у нас было вполне комфортабельное жилище, и я был даже рад, что Луи там не оказалось. Мне не хотелось рассказывать ему о том, что я видел, и услышать в ответ, что он не верит ни единому моему слову. В его чисто убранных комнатах ничего не изменилось. Разве что прибавилось несколько новых книг и появилась очень интересная, сразу привлекшая к себе мое внимание картина Матисса.

Как только мы устроились с дороги и проверили все системы безопасности — должен сказать, что бессмертные терпеть не могут, когда обстоятельства заставляют их делать то, что вынуждены делать смертные, поэтому мы просто быстро, но внимательно осмотрели все вокруг,— было решено, что я один отправлюсь в окраинные районы и постараюсь увидеть Дору.

В последнее время я не ощущал присутствия ни своего преследователя, ни таинственного мужчины. Однако мы с Дэвидом считали, что любой из них может вскоре появиться вновь.

Тем не менее я рискнул расстаться с Дэвидом и дать ему возможность побродить по городу в свое удовольствие.

Прежде чем покинуть Французский квартал, я счел необходимым навестить Моджо, мою собаку. Тем, кто не читал «Историю Похитителя Тел», я должен дать хотя бы самые краткие

и необходимые пояснения. Моджо — это гигантская немецкая овчарка, чьи любовь и преданность не могут не вызывать в моей душе ответное чувство. Я очень скучаю в разлуке с ним. Моджо живет в принадлежащем мне доме, и о нем заботится очень милая, добрая смертная женщина. В принципе он ничем не отличается от обыкновенного пса, кроме разве что своих невероятных размеров и необыкновенно красивой, густой шерсти.

Я провел с Моджо около часа или двух. Мы играли на заднем дворе, бегали, катались по земле, и я рассказал ему обо всем, что произошло, одновременно размышляя, стоит или не стоит брать его с собой на прогулку по городу. Его крупная, длинная, как у волка, морда с черной маской, как всегда, выражала неистребимую доброжелательность и снисходительное терпение. Господи! Ну почему ты не создал собаками всех нас?!

Откровенно говоря, общение с Моджо вселило в меня чувство уверенности и безопасности. Если дьяволу вдруг вздумается прийти вновь, а рядом со мной будет Моджо... Нет, это полный абсурд! Неужели я всерьез полагаю, что обыкновенная живая собака способна спасти меня от ада? Хотя... Смертные иногда верят и в более странные, поистине невероятные вещи.

Уже перед самым расставанием с Дэвидом я спросил:

— Как ты думаешь, что же все-таки происходит? Я имею в виду своего преследователя и того мужчину.

— Они существуют лишь в твоем воображении,— не задумываясь ответил Дэвид.— Таким образом ты безжалостно наказываешь сам себя, и это единственный приемлемый для тебя способ развлечения.

Наверное, мне следовало почувствовать себя оскорбленным и обидеться. Но я этого не сделал.

Дора... Дора была вполне реальной.

Наконец я решил, что пора расстаться с Моджо. Я должен следить за Дорой. Следовало поторопиться. Поцеловав Моджо на прощание, я ушел. Позже мы еще побудем с ним вместе — погуляем по нашему любимому пустырю под Ривер-бридж, среди высокой травы и гор мусора. Мы будем бегать и играть с ним ровно столько, сколько позволит время. А пока прогулка может подождать.

Мысли мои вновь вернулись к Доре.

Она, конечно, не знала о смерти Роджера. Ей просто неоткуда было узнать, разве что Роджер мог сам навестить дочь. Однако он и намеком не дал мне понять, что это возможно. Беседа со мной явно поглотила весь запас его энергии. Кроме того, он слишком любил и оберегал Дору, чтобы намеренно появиться перед ней в образе призрака.

И все же... Что мне известно о привидениях? Фактически Роджер стал первым призраком, с которым мне довелось разговаривать. Несколько слабых, безжизненных видений в прошлом не в счет.

Любовь Роджера к Доре оставила в моей душе неизгладимое впечатление, и я навсегда сохраню его в памяти, равно как и свойственную этому человеку причудливую смесь совестливости, уверенности в себе и невероятного апломба. В том, что он вернулся в этот мир в образе призрака, нет ничего странного — подобных примеров можно привести великое множество, причем свидетельства очевидцев весьма убедительны и полны захватывающих деталей. Но нужно обладать недюжинным самолюбием, чувством собственного достоинства и поистине умопомрачительной гордыней, чтобы в такой ситуации именно меня избрать своим собеседником и — более того — доверенным лицом.

Ничем не отличаясь от обычного смертного, я шел по городу, с наслаждением вдыхая речной воздух и радуясь, что вновь могу видеть любимые дубы с почерневшей корой, в беспорядке стоящие среди лужаек и цветников, тускло освещенные дома, увитые лозами... Я вернулся в Новый Орлеан! Домой!

Вскоре передо мной выросли кирпичные стены старого монастыря на Наполеон-авеню, где жила Дора. Наполеон-авеню удивительно красива — даже для такого города, как Новый Орлеан. По самой ее середине тянется широкая аллея. Когда-то по этой полосе бегали трамваи, а потом ее засадили деревьями, такими же красивыми и тенистыми, какие растут и вокруг монастыря, главным фасадом обращенного на Наполеон-авеню.

Жилые кварталы викторианской эпохи в целом поражают обилием зелени.

Я медленно подходил к зданию монастыря, стараясь запомнить как можно большее количество внешних деталей. С тех

пор как я в последний раз подглядывал здесь за Дорой, многое во мне переменилось.

Здание было построено в стиле Второй империи, с двумя длинными боковыми крыльями и высокой покатой крышей над довольно необычной, полукруглой формы мансардой, расположенной в центральной части. Кирпичная кладка стен, закругленные арочные окна второго и третьего этажей, четыре башенки по углам, двухъярусное крыльцо фасада, украшенное белыми колоннами и огражденное перилами из черного металла...— все это органично сплеталось в единое целое и вполне соответствовало характерной для Нового Орлеана застройке того времени. Старинные медные желоба для стока воды тянулись по нижнему краю крыши. Многочисленные высокие окна были когда-то выкрашены белой краской и закрыты ставнями. Сейчас ставни отсутствовали, а краска почти совсем облупилась.

Фасад дома скрывался за большим садом, а позади здания, насколько мне было известно, располагался просторный внутренний двор. Комплекс зданий монастыря занимал почти весь квартал. В прежние времена здесь жили монахини, опекавшие и обучавшие девочек-сирот всех возрастов. По обе стороны от главного фасада росли огромные дубы, ветви которых нависали над боковыми дорожками. С южной стороны вдоль улицы стояли в ряд старые мирты.

Обходя вокруг монастыря, я обратил внимание на витражные окна двухэтажной часовни и заметил, что внутри мерцает свет, как будто там по-прежнему находились священные реликвии. В этом, однако, я сильно сомневался. Наконец я дошел до задней стены монастыря и перепрыгнул через нее.

Всего лишь несколько дверей оказались запертыми. Вокруг царила тишина. Зима в Новом Орлеане достаточно мягкая, но это все же зима, а внутри здания было заметно холоднее, чем на улице.

Я вошел на первый этаж и осмотрелся. Величественные пропорции широких, с высокими потолками коридоров с первого взгляда произвели на меня благоприятное впечатление; мне понравился запах недавно очищенного от наслоений кирпича и сосновых полов. Все вокруг выглядело неотделанным, первозданным, но такая неотшлифованность, отсутствие внешнего лоска были в моде среди людей творческих, которые обустраивали свои жилища в больших городах в старых складских помещениях и любили называть их не иначе как сараями или голубятнями.

Однако монастырь все же ничуть не походил на склад. Сомнений в том, что некогда здесь жили люди, более того, что это была освященная обитель, не возникало. Во всяком случае, у меня. Я медленно шел по коридору в сторону северо-восточной лестницы. Именно там, в так называемой северо-восточной башне, на третьем этаже и выше располагались комнаты Доры.

Присутствия Доры или кого-либо другого я не ощущал. Слышались шорохи крыс, насекомых, какого-то животного чуть крупнее крысы — возможно, енота, нашедшего себе пропитание на чердаке. Чуть позже я почувствовал, что здесь обитают духи природы, как называл их Дэвид, хотя я предпочитал называть их полтергейстами.

Я остановился, закрыл глаза и прислушался. Казалось, сама тишина посылает мне неясные импульсы, некие смутные образы, но настолько слабые, что они не способны были затронуть ни мое сердце, ни мой разум. Да, я понимал, что где-то здесь бродят призраки... но я не ощущал никакого бесплотного возбуждения, никаких отголосков трагических событий или проявлений несправедливости... Напротив, окружающая атмосфера была словно насыщена душевным покоем и твердостью веры.

Здание оставалось неподвластным времени.

Мне казалось, что оно радовалось возвращению того облика, какой имело в девятнадцатом столетии; даже обнаженные тяжелые балки потолков, которые на самом деле изначально не предназначались для всеобщего обозрения, выглядели великолепно: очищенное от штукатурки потемневшее дерево было ровным и гладким, ибо плотники той эпохи обращались с ним бережно и работали на совесть. Лестница тоже сохранилась в первозданном виде. Здесь, в Новом Орлеане, мне довелось пользоваться не менее чем тысячью ей подобных. В этом здании их было как минимум пять. Мне был знаком каждый поворот, каждая ступенька, исхоженная неисчислимым множеством детских ножек, знакомо шелковистое ощущение гладких, отполированных за столетие перил. Я видел тысячи таких площадок: расположенные точно против середины наружного окна —

независимо от его формы и размера,— они словно рассекали надвое потоки струящегося в это окно уличного света.

Дойдя до второго этажа, я оказался перед входом в часовню. Снаружи она не показалась мне такой просторной, какой была в действительности.

Фактически часовня по своим размерам не уступала многим церквам, в которых мне пришлось побывать за свою жизнь. В центральном нефе по обе стороны от прохода ровными шеренгами стояли скамьи — не менее чем по двадцать в каждом ряду. Сводчатый потолок украшала великолепная лепнина. Старинные медальоны по-прежнему прочно удерживались на своих местах. Когда-то оттуда, несомненно, свисали керосиновые лампы. Витражи в окнах прекрасно сохранились и сейчас, на фоне света уличных фонарей было отчетливо видно, с каким мастерством и любовью выполнены их рисунки, правда без человеческих фигур. В нижней части каждого окна красивыми буквами были выведены имена небесных покровителей. Алтарь освещался только свечами, укрепленными на подставке перед гипсовой статуей Царицы Небесной — Святой Девы Марии с изысканно украшенной короной на голове.

Судя по всему, часовня сохранилась в том виде, в каком ее оставили сестры-монахини, когда здание продали. Уцелел даже сосуд со святой водой. Однако его не держал в своих руках гигантский ангел — сосуд представлял собой простой формы мраморную чашу на небольшом постаменте.

При входе в часовню я обратил внимание на хоры над головой, и меня поразила скромность и в то же время гармоничная величавость их архитектурного решения. Интересно, каково это — жить в доме с собственной часовней? Две сотни лет назад и я преклонял колени в личной часовне моего отца. Но в нашем замке это была всего лишь крохотная комната с каменными стенами. А здесь передо мной простиралось огромное помещение, оснащенное даже старинными электрическими вентиляторами в виде колеблющихся вееров, которые предназначались для охлаждения воздуха в периоды летнего зноя. И тем не менее оно не в меньшей степени казалось проникнутым искренностью веры, чем скромная отцовская часовня.

Эта часовня поистине достойна быть королевской, подумалось мне, и вдруг сам монастырь перестал восприниматься как

обыкновенное культовое сооружение и превратился в моем воображении в величественный дворец. Мне представилось, что я сам поселился в нем, но следую не тому образу жизни, какой одобрила бы Дора, а тому, какой всегда привлекал меня самого, то есть купаюсь в роскоши и каждый день прохожу по отполированным до сияющего блеска полам в великолепно убранное святилище, чтобы прочесть свои молитвы.

О, я просто влюбился в этот монастырь! Он воспламенил мой разум. Подумать только! Купить такое здание в тихом квартале большого современного города и обустроить в нем свое жилище, величественное, роскошное и безопасное! Я вдруг позавидовал Доре... Нет, вернее будет сказать, что мое уважение к ней многократно возросло.

В Европе очень многие живут в таких многоэтажных особняках с ухоженными внутренними двориками, огражденными боковыми крыльями строений. В Париже, например, немало подобных домов. Но в Америке возможность поселиться в столь великолепном месте приобретает особую привлекательность.

Однако Дора мечтала совсем о другом. Она хотела обучать здесь женщин, делать из них искусных проповедниц, способных нести людям Слово Божие с не меньшим пылом и такой же самоотверженностью, как делали это святой Франциск или Бонавентура.

Что ж, если смерть Роджера внезапно и навсегда разрушит ее веру, Дора сможет жить здесь с поистине королевской пышностью.

Каким образом я могу повлиять на Дору — хватит ли у меня сил? Соответствует ли это ее желаниям, если я все же каким-то образом смогу убедить ее в необходимости принять огромное наследство и превратиться в принцессу, живущую в этом дворце? Станет ли она счастливым созданием, спасенным от нищеты и горя, в которые столь часто и с легкостью ввергает людей религия?

Сама по себе идея в целом неплоха. Игра стоит свеч. Ах, как это свойственно мне: мечтать о рае на земле, рисуя в своем воображении картины роскоши, оснащенной к тому же всеми благами цивилизации!

Ужасно, Лестат! Стыдно!

Кто я такой, чтобы лелеять в душе подобные мысли? А что? Мы могли бы жить здесь, например, как Красавица и Чудовище. Дора и я. Я громко рассмеялся. По спине вдруг пошел холодок, однако шагов я не слышал.

Я вновь оказался в полном одиночестве и настороженно прислушался.

— Попробуй только осмелиться приблизиться ко мне сейчас,— прошептал я, обращаясь к своему преследователю, хотя знал, что его нет рядом.— Я здесь, в часовне! И я в абсолютной безопасности. Не в меньшей, чем если бы стоял сейчас посреди собора».

Интересно... А что, если преследователь сейчас смеется надо мной: *«Лестат, все это не более чем плод твоего воображения!»*

Не важно. Сейчас я пройду по мраморному полу придела к ограждению, возле которого прихожане когда-то приобщались святых тайн,— надо же, оно сохранилось практически в первозданном виде! — обращусь взглядом к алтарю и не стану больше ни о чем думать.

Настойчивый голос Роджера по-прежнему звучал в моих ушах. Я не забыл его просьбу. Но ведь я уже успел полюбить Дору, не так ли? Я пришел сюда. И я непременно сделаю что-нибудь. Но не следует спешить, мне необходимо время.

Мои шаги гулким эхом отдавались в часовне. Меня это не смущало. Маленькие рельефные вехи остановок крестного хода по-прежнему оставались на своих местах — в простенках между витражными окнами по периметру стен, но алтарь исчез. Вместо алтаря в предназначенной для него нише стояло гигантское распятие.

Распятия всегда привлекали и восхищали меня. Существует неисчислимое множество способов передачи разнообразных деталей, и искусные произведения мастеров, изображавших распятого Христа, буквально заполняют художественные сокровищницы всего мира и те храмы и базилики, которые тоже превращены в музеи. Но это распятие даже на меня произвело колоссальное впечатление. Выполненное в реалистической манере, характерной для конца девятнадцатого столетия, оно было поистине огромным и, несомненно, старинным. Короткая набедренная повязка Христа как будто трепетала на ветру, а

его лицо с глубоко запавшими щеками было исполнено неизбывной печали.

Этот шедевр, безусловно, принадлежал к числу находок Роджера. Во-первых, распятие было несоразмерно велико для ниши алтаря, а во-вторых, по мастерству исполнения резко выделялось на фоне всего остального убранства часовни. Уцелевшие гипсовые статуи миловидной, но ничем не примечательной Терезы из Лизье в ее неизменном наряде монахини-кармелитки с распятием и букетом роз в руке, святого Иосифа с лилией и даже статую самой Царицы Небесной с короной на голове, стоявшую в предназначенном ей святилище сбоку от алтаря, никак нельзя было назвать великими произведениями искусства. Да, они были выполнены в человеческий рост, аккуратно раскрашены, но не более.

В противоположность им распятый Христос вызывал в душе бурю эмоций, заставлял человека задуматься, принять в душе какое-то решение. Глядя на него, кто-то, быть может, говорил себе: «Я ненавижу христианство за допущенное кровопролитие»... А кто-то, возможно, с болью вспоминал и словно заново переживал те муки, которые испытывал во времена далекой юности, воображая, как эти же острые гвозди вновь и вновь пронзают его руки. Великий пост... Размышления и созерцание... Церковь... Голос священника, заученным тоном произносящий одни и те же слова: «Господь наш Христос»...

Сам я одновременно испытывал оба чувства: и ненависть, и боль. Стоя перед распятием в состоянии полной растерянности и неопределенного ожидания, я краем глаза бессознательно следил за мельканием уличных огней в цветных стеклах витражей и мысленно уносился в прошлое, в эпоху собственного детства... Потом я вспомнил о Роджере, о его любви к дочери, и мои собственные переживания померкли перед этой любовью. Поднявшись по ступеням, которые некогда вели к алтарю и дарохранительнице, я коснулся ступни распятого Господа. Старое дерево... В ушах моих зазвучали древние песнопения, непонятные и таинственные. Я всмотрелся в лицо Христа и увидел, что оно вовсе не искажено мукой, а, напротив, исполнено мудрости и спокойствия — вероятно, в последние секунды перед смертью.

Донесшийся откуда-то громкий звук заставил меня резко отпрянуть назад, я оступился, едва не потеряв равновесие, и повернулся спиной к алтарю. В здании кто-то был, кто-то тихими шагами шел по первому этажу, приближаясь к той самой лестнице, по которой я недавно поднялся.

Я бросился к выходу из часовни. Я не слышал голосов и не ощущал никакого запаха. Никакого запаха! Сердце у меня упало.

— Я больше не вынесу,— прошептал я, дрожа с ног до головы. Но ведь иногда человеческий запах удается уловить не сразу — следует принимать во внимание и ветер, а точнее, довольно сильные сквозняки, гуляющие по зданию.

Кто-то уже поднимался по ступеням.

Я прислонился спиной к стене за дверью часовни — так, чтобы увидеть неизвестного посетителя, как только он достигнет площадки лестницы. Если же это Дора, я намеревался немедленно спрятаться.

Это была не Дора. Человек легко и быстро взбежал вверх по лестнице — так быстро, что я сумел рассмотреть его, только когда он оказался прямо передо мной.

Это был тот самый мужчина!

Я буквально застыл на месте, не в силах отвести от него взгляд. Ростом и фигурой он мало походил на меня, но сложен был очень пропорционально. В том, что он не издавал запаха, я ошибся. Однако запах показался мне необычным — смесь крови, пота и соли. До моего слуха доносилось тихое сердцебиение...

— Перестань мучить себя,— произнес он вполне обычным голосом.— Я весь в раздумьях и еще не решил, стоит ли делать тебе предложение сейчас или подождать, пока ты встретишься с Дорой. Просто не знаю, что лучше.

Он стоял всего в каких-нибудь четырех футах от меня.

С надменным видом я оперся плечом о косяк двери и сложил на груди руки. В часовне за моей спиной мерцали огоньки. Интересно, было ли заметно, до какой степени я испуган? А ведь я буквально умирал от страха.

— Кто ты? И что тебе от меня нужно? — спросил я.— Расскажешь сам, или мне придется задавать вопросы и вытаскивать из тебя информацию?

— Тебе прекрасно известно, кто я,— все так же сдержанно и спокойно ответил он.

Неожиданно в глаза мне бросилась одна весьма важная деталь: безукоризненные пропорции его лица и фигуры, почти абсолютная правильность черт. Он был совершенно лишен каких-либо особых примет.

— Ты прав,— произнес он с улыбкой.— Во все времена и где бы я ни оказался, предпочитаю принимать именно такой вид — он привлекает меньше всего внимания.— Тон его по-прежнему оставался доброжелательным.— Знаешь, не слишком удобно разгуливать с черными крыльями за спиной и козлиными копытами. Да и смертных они почему-то мгновенно приводят в ужас.

— Советую тебе убраться отсюда к чертовой матери, да поживее, пока Дора не вернулась,— неожиданно вспылил я, брызгая слюной от ярости.

В ответ он хлопнул себя руками по бедрам и расхохотался.

— Нет, ты действительно паршивец, Лестат.— В голосе его не ощущалось ни злобы, ни высокомерия.— Правильно прозвали тебя собратья. Ты не имеешь права мне приказывать.

— С чего это вдруг? А что, если я просто возьму и вышвырну тебя отсюда?

— Желаешь рискнуть? Быть может, мне стоит принять иной облик? И позволить моим крыльям...

Перед глазами у меня все поплыло, зрение затуманилось, в ушах зазвучал неумолчный гул голосов...

— Не-е-ет! — только и смог выкрикнуть я.

— Ладно.

Все мгновенно прекратилось, пыль осела, и лишь мое сердце продолжало бешено колотиться в груди, словно вот-вот готовое выскочить наружу.

— Что ж, я скажу тебе, что собираюсь сделать,— вновь заговорил он.— Я позволю тебе уладить все дела с Дорой, коль скоро они тебя так волнуют. Едва ли мне удастся отвлечь твои мысли от забот о судьбе этой девушки. А потом, когда со всем этим будет покончено — с ее мечтами и тому подобным... Когда ты все устроишь... Мы сможем побеседовать с глазу на глаз — ты и я.

— О чем?

— О твоей душе. О чем же еще?

— Я готов отправиться в ад,— сквозь зубы соврал я.— Однако я не верю, что ты и в самом деле тот, за кого себя выдаешь. Ты скорее... скорее нечто подобное мне... хотя я не знаю, есть ли тому какое-либо научное объяснение. Но за всем этим непременно стоят некие, быть может, на первый взгляд малозначительные и немногочисленные, но на самом деле весьма существенные факты, которые в конце концов помогут прояснить все, вплоть до того, из чего сделано каждое черное перо на твоих крыльях.

Он слегка нахмурился, но не рассердился.

— Мы не станем продолжать разговор в таком тоне,— сказал он.— Уверяю тебя. Однако сейчас я позволю тебе позаботиться о Доре. Она вот-вот вернется домой. Ее машина только что въехала во двор. Я ухожу. Ухожу так же спокойно и тем же путем, что и пришел. А на прощание дам тебе один маленький совет, важный для нас обоих.

— И какой же?

Он повернулся ко мне спиной и начал торопливо спускаться по лестнице. Только достигнув следующей площадки, он обернулся.

— Какой совет? — требовательно переспросил я, уже ощущая запах Доры.

— Оставь Дору в покое. Передай ее дела под контроль адвокатов. Уезжай отсюда. Нам с тобой необходимо обсудить гораздо более важные вещи. А все эти проблемы лишь отвлекают от главного.

Стуча каблуками, он сбежал вниз и вышел через боковую дверь. Я слышал, как она открылась и захлопнулась за ним.

И в тот же момент от середины здания послышались шаги Доры. Она воспользовалась тем же входом, что и я, и теперь шла по коридору.

Дора что-то тихо напевала — точнее, я бы сказал, мурлыкала себе под нос. Я вдруг отчетливо ощутил запах менструальной крови — у нее были месячные. Этот сводящий с ума аромат мгновенно нарисовал в моем воображении соблазнительную картину: я представил, что ко мне приближается ребенок.

Я скользнул в тень коридора, чтобы Дора не увидела меня, когда будет проходить мимо, поднимаясь к себе на третий этаж. Она не должна знать о моем присутствии.

Она взбегала наверх, перепрыгивая через ступеньки. На ней было симпатичное свободное платье из цветастого хлопка, старомодного покроя, с длинными, отделанными белым кружевом рукавами; за плечами висел рюкзак.

Уже повернув с площадки на следующий марш ступеней, Дора вдруг резко остановилась и повернулась в мою сторону. Я застыл. Она не могла видеть меня в такой темноте.

Тем не менее она направилась прямо ко мне и протянула руку, нащупывая что-то на стене. Выключатель! Обыкновенный пластмассовый выключатель! И вдруг над моей головой вспыхнула лампочка.

Представьте себе картину: перед ней внезапно возник непрошеный гость — светловолосый молодой человек в черном шерстяном пальто и таких же брюках, глаза которого прятались за фиолетовыми стеклами очков! Хорошо еще, что стекла к тому времени были уже совершенно чистыми и на них не осталось следов крови ее отца.

Я исчез.

То есть я проскочил мимо нее с такой скоростью, что она даже не успела заметить мое движение. Я скользнул, задев ее словно дуновение легкого ветерка. И все. Преодолев два лестничных марша, я сквозь открытую дверь проник в окутанное тьмой помещение над часовней — не то мансарду, не то чердак. Одно из двух имевшихся там окон было разбито — прекрасный путь для отступления. Однако я остановился. Потом направился в самый угол, сел и скорчился там, подтянув колени к подбородку и устремив взгляд в сторону расположенной как раз напротив двери, которой только что воспользовался.

Ни криков, ни истерики — ничего. Она не помчалась с воплями прочь, не позвала на помощь, не включила сигнал тревоги. Какое спокойное бесстрашие перед лицом вторгнувшегося в ее жилище незнакомца! А что может быть страшнее для одинокой женщины, чем встреча с вампиром? Она для нее столь же опасна, как и для любого крепкого молодого мужчины.

Я вдруг услышал стук собственных зубов. Сжав правую руку в кулак, я крепко обхватил его ладонью левой. Ты, преследующий меня повсюду! Будь ты дьявол или человек, или черт знает кто еще, какое право ты имеешь требовать, чтобы я не разговаривал с Дорой? Что это еще за номера? Я и не собирался даже

заговаривать с ней. Роджер, что же мне теперь делать? Ведь я и помыслить не мог, что она когда-нибудь увидит меня, тем более вот так!

Я не должен, не должен, не должен был приходить сюда без Дэвида. Мне нужна была опора, свидетель! И разве осмелился бы появиться и приблизиться ко мне этот преследователь, будь рядом Дэвид? О, как я его ненавидел! Я тонул в пучине. И не надеялся на спасение.

Но тогда... Что все это значит? Что именно меня убьет?

Вдруг я осознал, что Дора поднимается по лестнице. Она шла очень медленно и почти неслышно. Ни один смертный не уловил бы ее шагов. У нее в руке был электрический фонарик, которого я прежде не заметил. Луч его скользнул в открытую дверь и пробежался по балкам с внутренней стороны крыши.

Дора вошла в мансарду и выключила фонарик. Потом внимательно осмотрелась. Отблески уличного света, проникавшего сквозь круглые окна, играли в ее глазах. Фонари были совсем рядом с домом и позволяли ей достаточно отчетливо видеть помещение.

Наконец она заметила в углу меня.

— Почему вы так испуганы? — спросила она успокаивающим тоном.

Я еще теснее забился в угол, обхватив руками согнутые в коленях и плотно прижатые к телу ноги, и несвязно забормотал:

— Я... Я... Простите меня... Боюсь... Боюсь, что испугал вас. Мне очень неловко, что я доставил вам беспокойство... Это непростительно с моей стороны...

Она бесстрашно шагнула в мою сторону. Ее аромат, подобно медленно испаряющимся благовониям, постепенно наполнял воздух.

В своем цветастом платье с кружевными манжетами она казалась удивительно высокой, стройной и гибкой. Короткие черные волосы шапочкой покрывали голову и завивались у самых щек. Высокие скулы особенно четко выделялись в полумраке. Красивой формы рот оставался спокойным, не искаженным никакими эмоциями.

Большие темные глаза заставили меня вспомнить Роджера. Их пристальный взгляд был поистине завораживающим. Таким

взглядом можно остановить и пригвоздить к месту даже хищного зверя.

— Я могу сейчас же уйти,— дрожащим голосом продолжал я.— Могу встать — очень медленно, чтобы не вызвать в вас беспокойства,— и уйти, не причинив вам никакого вреда. Клянусь! Вы не должны меня опасаться.

— Но почему вы? — спросила Дора.

— Простите, я не понял ваш вопрос.— Неужели я плакал? Или она заметила, как сильно я дрожу? — Что вы имели в виду, спросив, почему я?

Она подошла ближе и посмотрела на меня сверху вниз. Теперь я совершенно отчетливо видел ее загнутые кверху ресницы, твердый, упрямый подбородок, необыкновенно покатые плечи, так резко уходящие вниз, что казалось, будто они вовсе отсутствуют. Совсем еще девочка, и в то же время взрослая женщина, чистая, как лилия, женщина-мечта. Ее маленькая грудь терялась под свободным, бесформенным платьем.

Возможно, она тоже сумела рассмотреть меня лучше — обратила внимание на мои густые светлые волосы, на блики света в стеклах очков, на то, что я очень молодо выгляжу.

В ее присутствии рядом было нечто такое, что леденило душу. При этом она не казалась ни холодной, ни злой. И тем не менее... А может, это и есть признак святости? Насколько я помнил, мне еще не доводилось встречаться с настоящими святыми. У меня имелось собственное мнение относительно истинного значения этого слова.

— Почему именно *вы* пришли, чтобы сообщить мне? — мягко пояснила она.

— Сообщить о чем, дорогая? — спросил я.

— О Роджере. О том, что он умер.— Она слегка приподняла брови.— Ведь вы пришли ради этого, разве не так? Я поняла, как только вас увидела. Я сразу догадалась, что Роджер мертв. И все-таки почему пришли *вы*?

Дора опустилась на колени прямо передо мной.

Я застонал. Значит, она прочла мои мысли! Узнала мою величайшую тайну! И мое важное решение! Вот, значит, как? Поговорить с ней? Поспорить? Шпионить за ней? Попытаться ее обмануть? Давать ей советы? А вместо этого мой разум сходу огорошил ее чудесной новостью: Роджер мертв!

Она придвинулась ко мне еще ближе. Слишком близко. Не стоило это делать. Еще секунда — и она закричит от ужаса. А Дора уже поднимала свой фонарик.

— Не включайте его,— попросил я.

— Но что в этом плохого? Я не буду светить вам в лицо. Я просто хочу лучше вас видеть.

— Нет!

— Послушайте, если вы думаете, что я вас боюсь, то ничего подобного, уверяю вас,— искренне и просто сказала она. Но мысли ее бешено метались, разум пытался постичь происходящее, отметить каждую деталь.

— Почему?

— Потому что Бог не позволит существу вроде вас причинить мне хоть малейший вред. В этом я уверена. Дьявол вы или злой дух, мне неизвестно. А быть может, вы добрый дух, не знаю. Мне не дано знать. Если я сейчас осеню себя крестным знамением, вы можете исчезнуть. Хотя... Не думаю, что это случится. Все, что я хочу знать,— это почему вы так боитесь меня. Ведь дело, конечно, не в моей добродетели.

— Погодите-погодите! Секундочку! Значит, вам известно, что я не человек?

— Да, я вижу это. И чувствую. Мне и раньше приходилось встречаться с существами вроде вас. Я умею отличать их даже в толпе большого города. Всего лишь мгновенные видения, не больше. Мне доводилось видеть многое. Я не стану уверять вас в своем сочувствии, это было бы глупо с моей стороны, но я вас не боюсь. Ведь вы вполне земное существо, не так ли?

— Абсолютно,— ответил я.— И надеюсь еще неопределенно долго оставаться таковым. Послушайте, я совсем не хотел шокировать вас такой новостью. Я любил вашего отца.

— Вы серьезно?

— Вполне. А он безгранично обожал вас. И хотел, чтобы я рассказал вам кое о чем. Но главное — чтобы я присмотрел за вами.

— Едва ли вы на это способны. Взгляните на себя! Вы похожи на испуганного эльфа.

— Я боюсь не вас, Дора.— Меня внезапно охватило волнение, мне не терпелось поведать ей о своих страхах.— Я и сам не понимаю, что происходит! Да, я существо совершенно земное.

Это правда. И я... Я убил вашего отца. Я лишил его жизни. Это моих рук дело. А потом... Потом он пришел ко мне, чтобы поговорить. И сказал: «Я хочу, чтобы ты позаботился о Доре». Он велел присмотреть за вами. Так все и было. Я страшусь не вас. Быть может, дело в самой ситуации — в ее необычности. Поверьте, я никогда не попадал в подобные обстоятельства, никогда не сталкивался с такими трудными вопросами...

— Понимаю...

Дора была потрясена. Побледневшее личико блестело словно от пота, а сердце в ее груди бешено стучало. Она низко наклонила голову. Я не мог прочесть ни единой скрываемой там мысли, разум Доры был накрепко заперт и абсолютно недосягаем для меня. Одно я мог сказать с уверенностью: душу ее переполняла печаль. По щекам Доры медленно катились слезы, видеть которые было для меня невыносимо.

— Господи! Я чувствую себя хуже, чем в аду! — пробормотал я.— Я не должен был убивать его. Я... Я совершил это по одной простой причине... Он всего лишь... Всего лишь попался на моем пути. Чудовищная ошибка! Но потом он пришел ко мне, Дора. И мы провели вместе много часов. Его призрак и я... Мы беседовали... Он рассказал мне все... И о вас, и о своих сокровищах, и о Винкене.

— О Винкене? — переспросила она.

— Да, о Винкене де Вайльде. И о его двенадцати книгах — вы знаете о них. Послушайте, Дора, мне очень хочется коснуться вашей руки... Быть может, мое прикосновение поможет вам успокоиться. Но я боюсь, что вы закричите...

— Почему вы убили моего отца?

За этим простым вопросом скрывался другой. «Как мог кто-то, говорящий так, как вы, совершить такой ужасный поступок?» — вот что имела она в виду.

— Я жаждал его крови,— пояснил я.— Потому что питаюсь чужой кровью и таким образом сохраняю молодость и способность жить. Вы верите в существование ангелов? Тогда вам придется поверить и в то, что существуют вампиры. Поверить в меня. На земле существуют вещи и пострашнее.

Дора казалась совершенно ошеломленной, потрясенной. Ничего удивительного.

— Носферату,— тихо произнес я.— Вурдалаки. Вампиры. Ламии. Вполне реальные существа, как бы вы их ни называли.— Я пожал плечами, чувствуя себя совершенно растерянным, беспомощным.— Есть и другие. Но Роджер... Роджер пришел ко мне в облике призрака, чтобы открыть свою душу. Чтобы поговорить о вас.

Она вдруг задрожала и расплакалась. Но это отнюдь не походило на истерику. Ее полные слез глаза сделались совсем маленькими, лицо сморщилось, искаженное болью и горем.

— Дора, клянусь, я не причиню вам вреда! Ни за что на свете! Я вас не обижу...

— Мой отец действительно мертв? Это правда? — Нервы Доры в конце концов не выдержали. Ее сотрясали рыдания.— Боже! Помоги мне! — всхлипывая, шептала она, а потом вдруг закричала во весь голос: — Роджер! Роджер!..

Забыв о прежних опасениях, она осенила себя крестным знамением и долго сидела, не произнося больше ни слова и только судорожно всхлипывая. Однако страха в ней по-прежнему не было.

Я ждал. Но она плакала все горше и горше, а потом упала ничком и зарыдала с еще большим отчаянием. На меня она вообще не обращала внимания.

Я медленно выбрался из угла и выпрямился. Высота мансарды в центре позволяла стоять во весь рост. Обойдя лежащую на полу Дору, я наклонился и нежно обнял ее за плечи.

Она не сопротивлялась. Словно опьянев от неизбывного горя, она лишь мотала головой из стороны в сторону, судорожно всхлипывала и нервно скребла руками по полу, как будто в поисках опоры, чтобы подняться.

— Боже мой..... Боже мой... Роджер! Роджер! Боже мой...— только эти слова без конца срывались с ее губ.

Я взял ее на руки — легкую, почти невесомую, как пушинка, хотя для того, кто обладает такой силой, какой обладал я, вес не имеет значения — и понес к выходу из мансарды.

— Я знала... знала... я все поняла еще тогда, когда он поцеловал меня,— сквозь слезы шептала Дора, прижимаясь к моей груди.— Я была уверена, что вижу его в последний раз. Я знала...

Речь ее была бессвязной и неразборчивой, а вся она казалась такой маленькой и хрупкой, что я старался не прижимать ее к

себе слишком сильно. Голова Доры откинулась назад, и беспомощное выражение на этом побледневшем заплаканном личике могло в тот момент заставить разрыдаться самого дьявола.

Я понес Дору вниз. Она лежала на моих руках как тряпичная кукла, безвольная, лишенная способности сопротивляться. Остановившись перед входом в ее комнату, я почувствовал исходящее изнутри тепло и толкнул дверь.

Когда-то здесь, наверное, располагалась классная комната или общая спальня. В просторном угловом помещении с высокими окнами, выходившими на две стороны, было довольно светло благодаря уличным фонарям и фарам проносящихся мимо здания машин.

У дальней стены стояла узкая старая металлическая кровать с высокой прямоугольной рамой над ней, предназначенной для крепления противомоскитной сетки, хотя никакой сетки не было. Скорее всего, эта кровать досталась Доре в наследство от монастыря. Белая краска, которой некогда были выкрашены тонкие металлические прутья, кое-где облупилась. Я увидел множество книг — они стояли на полках, стопки их располагались повсюду, многие с закладками лежали раскрытыми на самодельных пюпитрах — и сотни реликвий и всевозможных ценных предметов, принадлежащих Доре. Возможно, часть из них она получила в подарок от Роджера — до того момента, когда узнала о нем правду. На деревянных рамах окон и дверных косяках я заметил какие-то записи, сделанные черными чернилами.

Я положил Дору на кровать, и она уткнулась лицом в подушку. Все постельные принадлежности были такими чистыми, тщательно выстиранными и выглаженными, что казались новыми.

Когда я протянул Доре свой шелковый носовой платок, она чуть повернула голову, взяла его, но тут же захотела отдать обратно.

— Он слишком красив,— объяснила она.

— Нет-нет, возьмите,— настоятельно попросил я.— Это пустяк. У меня таких сотни.

В нос мне снова ударил аромат менструальной крови. Ну да, конечно, у нее же месячные, и кровь скопилась внутри мягкой хлопковой прокладки между ног. Запах казался мне восхитительным — мысль о том, с каким наслаждением я стал бы сей-

час слизывать эту кровь, была неимоверно мучительной. Конечно, это не кровь в чистом виде, но она составляет основу менструальных выделений, и я с трудом сдерживал себя от искушения сделать то, что мы, вампиры, делаем довольно часто. Вы понимаете, о чем речь? Мы слизываем кровь с губ, что расположены у женщины между ног. Таким образом я мог бы напиться крови Доры, не причинив ей при этом никакого вреда.

Однако сейчас, в таких обстоятельствах, подобный поступок был бы непростительным — мне казалось кощунственным даже думать об этом.

В комнате повисла долгая тишина.

Я устроился на деревянном стуле с прямой спинкой. Дора наконец поднялась и села на кровати, скрестив ноги. Она успела достать откуда-то коробку с носовыми платками и теперь без конца сморкалась и вытирала глаза. Мой шелковый платок она по-прежнему сжимала в руке.

Ее крайне взволновало мое присутствие, однако страха она не испытывала и была слишком погружена в собственное горе, чтобы по достоинству оценить тот факт, что рядом с ней сидит живое доказательство справедливости верований в существование сверхъестественных созданий — мертвец, в груди которого бьется сердце и который способен действовать как обыкновенный человек. У нее не было сил, чтобы осмыслить это сейчас, однако и забыть об этом она не могла. Ее бесстрашие было проявлением истинной смелости и отваги. Дору отнюдь нельзя было обвинить в глупости. Все дело в том, что в некоторых вопросах она оказывалась настолько выше страха, что никакой трус просто не способен был это осознать.

Люди недалекие, возможно, назвали бы ее фаталисткой. Но это неверно. Она обладала способностью видеть далеко вперед — способностью, которая позволяла ей никогда не впадать в панику. Кое-кому только перед самой кончиной — когда игра окончена и родственники уже успели сказать последнее «прости» — удается постичь идею неизбежности собственной смерти. А Дора всегда и все воспринимала именно с такой трагической, роковой и в то же время совершенно правильной точки зрения.

Я старательно смотрел в пол. Нет, я не должен позволить себе влюбиться в Дору.

Желтоватые — цвета янтаря — сосновые доски были тщательно отшлифованы, покрыты лаком и натерты. Очень красиво. Со временем весь дом, должно быть, будет выглядеть именно так. Красавица и Чудовище... А уж что касается чудовищ — я имею в виду настоящих,— то я действительно потрясающий экземпляр.

Мне было очень стыдно за то, что в минуты горя и страданий я способен думать о том, как хорошо было бы танцевать с Дорой здесь, в просторных залах и коридорах. Мысли о Роджере и пришедшие следом за ними воспоминания о преследователе, о твари, которая меня ждет, быстро вернули меня к действительности.

Я бросил взгляд на рабочий стол Доры. Два телефона, компьютер, стопки книг, на самом уголке — маленький телевизор с экраном не более четырех-пяти дюймов, предназначенный исключительно для работы, то есть для связи с остальным миром с помощью присоединенного к задней панели толстого черного кабеля.

В комнате, совершенно не похожей на монашескую келью, было и множество других современных электронных приборов и приспособлений. А надписи на белых рамах и косяках сообщали нечто вроде: «Мистика противостоит теологии»...

Да, мистика противостоит теологии — об этом говорил Роджер, пытаясь объяснить, что Доре никак не удавалось гармонично совместить в себе эти два начала, а она обладала и тем и другим, хотя неустанно называла себя исключительно теологом. Свою же коллекцию церковных сокровищ Роджер считал исключительно мистической, связанной с церковными таинствами. Впрочем, таковой она и была в действительности.

Мне вдруг вспомнился еще один эпизод из далекого детства в Оверни. Увидев в церкви распятие, я был потрясен видом нарисованной краской крови, струившейся из-под ногтей. Наверное, тогда я был еще совсем маленьким. Позже, лет примерно в пятнадцать, в темных углах той самой церкви я совокуплялся с деревенскими девушками — непростительный грех, и в те времена это было своего рода геройством; к тому же сын землевладельца и хозяина замка в нашей деревне рассматривался как нечто вроде желанного быка-производителя. А мои братья в на-

рушение всех традиций вели себя на удивление целомудренно. Странно, что от их жалкой добродетели не страдал урожай на полях. Впрочем, я с легкостью отдувался за всех. Мысль об этом вызвала у меня улыбку. Но все это, повторяю, было позже, а распятие я увидел лет в шесть-семь. «Какая ужасная смерть!» — необдуманно воскликнул я. Услышав столь кощунственное, хотя и совершенно искреннее высказывание, мать рассмеялась и долго не могла успокоиться, а отец был вне себя от гнева и стыда за своего отпрыска.

Негромкий шум машин, проносившихся по Наполеон-авеню, действовал успокаивающе.

Во всяком случае, на меня.

Дора тяжело вздохнула. И вдруг я почувствовал ее ладонь на своей руке — прикосновение было мягким и мгновенным, но я отчетливо ощутил, как ее пальцы прижались к рукаву, словно пытаясь определить, что за плоть скрывается под толстой шерстяной тканью.

А потом те же пальцы скользнули по моему лицу.

Не знаю почему, но этот жест очень характерен для смертных. Как будто стараясь понять, что мы собой представляем, они сгибают пальцы и костяшками проводят по нашим лицам. Возможно, такой жест кажется им более безопасным — создает иллюзию, что они касаются кого-то, если можно так выразиться, опосредованно, в то время как прикосновение подушечками пальцев слишком интимно.

Я не шелохнулся, позволяя ей сделать это, как будто она слепая, желающая оказать мне знаки внимания. Рука ее медленно двинулась к моим волосам. В комнате достаточно света, чтобы она могла увидеть, как они густы и красивы. А в том, что они именно таковы, я не сомневался, по-прежнему оставаясь все тем же бесстыдным, тщеславным, самодовольным существом, лишь временно и случайно утратившим уверенность в себе.

Дора опять перекрестилась. Но сделала она это не оттого, что боялась меня, а, как я полагал, просто желая еще раз убедиться в чем-то, подтвердить правильность своих выводов. Она безмолвно прочла молитву.

— Я тоже могу это сделать,— сказал я. И начал: — Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа...

Когда я закончил, прочитав всю молитву от первого до последнего слова по-латыни, Дора изумленно посмотрела на меня, и вдруг с губ ее сорвался короткий тихий смешок.

Я улыбнулся в ответ. Кровать и стул, на которых мы сидели, стояли в самом углу комнаты. За спиной у Доры было окно, за моей спиной — тоже. Окна, окна, окна... Не дом, а дворец, словно состоявший из одних окон. Я взглянул вверх. Потемневшее от времени дерево потолка в пятнадцати футах над нашими головами не утратило своей прелести. Как здорово, что строители монастыря следовали европейским стандартам и не поддались соблазну уменьшить его высоту в угоду моде своего времени.

— Знаете,— заговорил я,— когда я в первый раз вошел в Нотр-Дам, после того как меня сделали тем, кто я есть,— вампиром... Должен вам сказать, что я стал таким отнюдь не по своей воле и до момента перерождения был обыкновенным смертным, таким же, как вы, только моложе. Обряд был совершен надо мной насильно, и я сейчас не помню всех подробностей, не помню даже, молился ли, когда все это происходило. Но одно знаю точно и даже описал это в своем романе: я боролся, изо всех сил, до последнего... Так вот, когда я вошел под своды Нотр-Дам, первое, о чем я подумал, это почему Господь не покарал меня смертью...

— Должно быть, таково было ваше предназначение. В общем порядке вещей каждому отведено свое место.

— Вы так думаете? И действительно в это верите?

— Да. Я не думала, что когда-нибудь мне доведется лицом к лицу столкнуться с таким существом, как вы, однако я никогда не считала подобную встречу невозможной или невероятной. Все эти годы я жила в ожидании знака, какого-то доказательства. Я могла умереть, так и не дождавшись его, но почему-то всегда чувствовала, что этого не случится... что он... знак... непременно будет мне явлен.

Типично женский по тембру голосок Доры звучал негромко, но в нем было столько уверенности и чувства собственного достоинства, что каждое слово приобретало особую значимость и убедительность, которым мог бы позавидовать и мужчина.

— И вот появляетесь вы,— продолжала она,— и сообщаете, что убили моего отца, а потом утверждаете, что он приходил

и беседовал с вами. Нет, я не из числа людей, способных просто отмахнуться от таких заявлений. Ваши речи не лишены определенного шарма и витиеватой изысканности. Кстати, знаете, что в первую очередь привлекло меня в Библии? Еще в раннем детстве меня заворожила ее витиеватая изысканность. Она помогла мне узнать и постичь совершенно иной образ жизни. Открою вам один секрет. Однажды я пожелала смерти собственной матери, и в тот же день, не прошло и часа, она навсегда исчезла. Я могла бы рассказать вам еще очень и очень много. И хочу, чтобы вы поняли: единственное мое желание состоит в получении от вас знаний. Ведь вы осмелились войти в Нотр-Дам, и Господь не покарал вас...

— Хотите узнать еще один забавный факт? — перебил я.— Это произошло более двухсот лет назад. В дореволюционном Париже. В те времена там уже существовали вампиры. Они жили на кладбище Невинных мучеников, глубоко под землей, в катакомбах под старинными склепами. И они боялись войти в Нотр-Дам, а когда увидели, что я направился в собор, тоже были уверены, что Господь покарает меня смертью.

Обращенный на меня взгляд Доры оставался спокойным.

— Я разрушил их религию. Их веру в Бога и дьявола. А они были вампирами. Такими же земными существами, как и я, полудемонами, полулюдьми, упрямыми, недалекими, пребывающими в вечном смятении. И они не сомневались, что Господь непременно покарает их смертью.

— А до вашего появления у них и в самом деле была своя религия?

— Да, целое религиозное учение. Они возомнили себя слугами дьявола. И своим предназначением считали поклонение ему. Они жили как и положено вампирам, но их существование было намеренно жалким и направленным на покаяние, на искупление греха. А я... Я мнил себя своего рода принцем. Разгуливал по Парижу в красном плаще, подбитом волчьим мехом. Хотя этот плащ был подарен мне, еще когда я был смертным человеком. Вас не удивляет, что вампиры могут тоже быть верующими? Я в корне изменил их существование и не думаю, что они сумели в конце концов простить меня. Во всяком случае, те, кому посчастливилось выжить. Кстати, нас на земле не так уж много.

— Погодите,— прервала мой рассказ Дора.— Я очень хочу выслушать до конца вашу историю, но прежде, чем вы продолжите, должна задать вам один вопрос, выяснить кое-что.

— Что именно?

— Мой отец... Как все произошло — была ли его смерть быстрой, или?..

— Уверяю вас, она была совершенно безболезненной.— Я повернулся и взглянул на Дору.— Он сам сказал мне об этом. Абсолютно никакой боли.

Бледное лицо и огромные темные глаза делали Дору похожей на сову... И в то же время в ней чувствовалась удивительная внутренняя сила. Мне вдруг подумалось, что своим видом она может сейчас напугать любого случайно зашедшего сюда смертного.

— Ваш отец умер в состоянии, если можно так выразиться, экстаза,— продолжал я.— Сначала перед ним возникали образы и видения, потом он потерял сознание, а вскоре сердце перестало биться. Той боли, что я мог ему причинить, он не почувствовал, поскольку я сосал кровь... поскольку я... Нет, он не страдал и не мучился...— Я бросил на нее еще один взгляд, на этот раз более пристальный. Она сидела, поджав под себя ноги, белые колени выглядывали из-под юбки.— Я разговаривал с Роджером через два часа после его смерти. Всего через два часа! Он вернулся в этот мир только ради вас, затем, чтобы уверить-ся, что я позабочусь о его дочери. И что никто не сможет причинить вам вред: ни его враги, ни правительственные чиновники, ни те, с кем он был связан, занимаясь своим бизнесом. И еще... Он не хотел, чтобы его смерть принесла вам больше страданий и боли, чем она того заслуживает.

— Но почему Господь допустил такое? — прошептала Дора.

— А какое отношение к этому имеет Господь? Послушайте, Дора, дорогая, Он тут совершенно ни при чем. Я ведь вам рассказывал. Я был в Нотр-Дам, и ничего не произошло... И вообще ничего не случалось...

Я лгал и знал это. Разве мог я забыть о своем преследователе? О том, кто только что посетил меня в облике обыкновенного человека и вышел отсюда, хлопнув дверью. Отвратительное чудовище. Да как он смел?..

— Как могла быть таковой воля Господня? — по-прежнему недоумевала Дора.

— Вы что, серьезно? Послушайте, я мог бы поведать вам еще множество историй. То, что я рассказал о парижских вампирах и их вере в дьявола,— это только начало. Знаете... Знаете...

Я оборвал себя на полуслове.

— Что это?

Этот звук... Эти размеренные, медленные шаги... Не успел я подумать о нем со злобой, не успел позволить себе оскорбительные мысли в его адрес, как вновь раздались шаги.

— Я... Я хотел сказать...

Все мои попытки выбросить его из головы были тщетными. Шаги приближались.

Они слышались пока неотчетливо, но я безошибочно узнал походку крылатого создания — похоже, он намеренно сообщал таким образом о своем присутствии,— его тяжелая поступь будто эхом отдавалась в огромном зале, где в тот момент мысленно присутствовал я, оставаясь одновременно в комнате рядом с Дорой.

— Дора, я вынужден вас покинуть.

— В чем дело?

Шаги тем временем раздавались все ближе и ближе.

— И ты осмеливаешься явиться сюда, когда она рядом? — закричал я, вскакивая на ноги.

— Что происходит? — воскликнула Дора. Она уже стояла на коленях в кровати.

Я попятился от нее и был почти у самой двери, когда звук шагов вновь начал слабеть.

— Будь ты проклят! — шепотом произнес я.

— Объясните же, наконец, что происходит,— остановила меня Дора.— Вы вернетесь? Или уходите от меня навсегда?

— Нет, я не уйду. Ни в коем случае. Я здесь, чтобы помочь вам. Послушайте, Дора, если возникнет нужда, вам достаточно просто позвать меня.— Я приложил палец к виску.— Зовите, повторяйте свой призыв снова и снова. Как молитву. Это не будет выглядеть идолопоклонством, потому что я не бог зла. Непременно позовите. А сейчас я должен идти.

— Скажите хотя бы свое имя.

Шаги не стихали. Далекие, но достаточно громкие — сказать, в каком из помещений огромного здания они раздавались, было невозможно,— они мучили и преследовали меня.

— Лестат,— произнес я как можно отчетливее.— Ле-стат, с ударением на втором слоге и четким конечным «т».— И еще одно. О смерти вашего отца пока не знает никто. И она останется тайной для всех еще какое-то время. Я исполнил все, о чем он меня просил. Его сокровища у меня.

— Книги Винкена?

— Все вещи... Все, что он бережно хранил... Ваше состояние и еще многое, чем он владел и что хотел передать вам. Мне пора идти.

Шаги становились тише? Или мне это только казалось? Я не мог позволить себе рискнуть остаться.

— Я вернусь, как только смогу. Вы верите в Бога, Дора? Не отказывайтесь от этой веры, пусть она станет вам опорой. Ибо, скорее всего, вы правы в своих суждениях о Господе, совершенно правы.

Я поспешно выскочил из комнаты, едва ли не со скоростью света поднялся по лестнице в мансарду, оттуда через разбитое окно выбрался на крышу, взлетел высоко вверх и стремительно помчался прочь, чтобы только не слышать больше этой ужасной тяжелой поступи. Город подо мной превратился в ослепительный круговорот огней.

7

Через несколько минут я был уже во Французском квартале — стоял в собственном саду позади своего дома на Рю-Рояль и смотрел на собственные освещенные окна — на те окна, которые принадлежали мне с давних времен. Я молил Бога, чтобы Дэвид был там, надеялся, что так оно и есть, и боялся даже допустить, что его может не оказаться в доме.

Я ненавидел себя за бегство от страшного существа и вынужден был даже ненадолго задержаться в саду, пытаясь подавить бушевавшую внутри ярость. Почему я убежал? Потому что не желал быть униженным в присутствии Доры, которая могла стать свидетелем моего ужаса перед дьяволом и того, как он швырнет меня на пол к своим ногам?

Кто знает, быть может, и Дора увидела бы его.

Все во мне говорило, что, покинув монастырь и не позволив этому существу приблизиться к Доре, я поступил совершенно правильно. Дьявол преследовал только меня. И я должен был защитить Дору. Так что отныне у меня был прекрасный повод для схватки с ним не ради себя самого, а ради кого-то другого.

Только теперь мне в полной мере открылись добродетель и внутренняя красота Доры, и это ощущение не было связано ни с ароматом крови, исходящим от ее лона, ни с устремленным на меня пристальным взглядом. Ошибаясь и оступаясь, смертные проходят свой путь от колыбели до могилы. И лишь однажды за столетие, а то и за два удается встретить среди них такое создание, как Дора,— умное, благородное, исполненное истинной добродетели и в то же время обладающее еще не свободным от пут веры и религии магнетизмом, который тщетно старался описать мне Роджер.

Теплая ночь была исполнена очарования.

Этой зимой мороз не коснулся банановых деревьев в моем саду, они мощно разрослись и по-прежнему мирно дремали возле кирпичных стен. Цветки дикого бальзамина ярко выделялись на заросших сорняками клумбах. Струи воды из рога в руках ангелочка падали в чашу фонтана — их хрустальный звон звучал в моих ушах прекрасной музыкой.

О Новый Орлеан, звуки и запахи Французского квартала!..

Я поднялся по ступеням, ведущим со стороны двора к задней двери моего жилища.

В полном замешательстве и смятении я быстро прошел по холлу и вдруг заметил какую-то тень, мелькнувшую в гостиной.

— Дэвид!

— Его здесь нет.

Я как вкопанный замер на пороге.

Это был он, тот самый человек!

Спокойно сложив на груди руки — истинное воплощение терпения и нерушимого самообладания,— он стоял спиной к столу Луи в простенке между окнами.

— Не вздумай сбежать снова,— беззлобно произнес он.— Я последую за тобой куда угодно. Ведь я же просил тебя не впутывать девочку. И все, чего я от тебя хотел, это чтобы ты поскорее покончил с этим делом.

— Я и не думал убегать! — Я вовсе не был уверен в правдивости своего утверждения, но исполнился решимости отныне вести себя в соответствии с ним.— И в мыслях не было. Я всего лишь не хотел, чтобы ты приближался к Доре. Что тебе нужно?

— А ты как думаешь?

— Я уже говорил тебе,— собрав в кулак всю свою волю, ответил я,— что если ты пришел за мной, то я готов отправиться в ад.

— Посмотри на себя, ты же весь в кровавом поту от страха,— заметил он.— Знаешь, в этом и состоит мой интерес к преследованию тебе подобных.— Голос его был обыкновенным и звучал совершенно отчетливо.— И ты хочешь, чтобы после этого я обратил внимание на кого-то из смертных? Да мне достаточно было бы только раз подойти к любому из них и произнести необходимые слова. Но ты... Ты совсем другое дело. Ты успел преодолеть так много различных стадий и столько раз выходил за рамки допустимого... Тебе есть что терять и за что поторговаться. Вот почему сейчас ты представляешь для меня гораздо большую ценность, чем кто-либо.

— Поторговаться? Ты хочешь сказать, что у меня есть шанс выбраться из этой переделки? И мы не отправляемся прямиком в ад? Что прежде, возможно, состоится нечто вроде суда и мне будет позволено найти современного Дэниела Вебстера, готового выступить в мою защиту? Мои слова прозвучали резко и насмешливо, и все же в них был вполне логично и обоснованно поставленный вопрос, на который я хотел получить не менее логичный и обоснованный ответ, причем немедленно.

— Лестат, послушай! — столь свойственным ему выдержанным, снисходительным тоном заговорил он, опуская руки и неторопливо шагнув ко мне.— Вспомни историю, которую поведал тебе Дэвид: о его видении в кафе. Я и есть тот дьявол. И ты мне нужен. Я пришел вовсе не затем, чтобы силой утащить тебя в ад. Кстати, ты понятия не имеешь о том, что он собой представляет в действительности. Ад совершенно не такой, каким ты его себе воображаешь. Я здесь, чтобы просить тебя о помощи. Я устал и нуждаюсь в твоей поддержке. Я выигрываю битву, и крайне важно, чтобы я не потерпел в ней поражения.

Я был настолько потрясен, что буквально лишился дара речи.

Он долго смотрел на меня изучающим взглядом, а потом явно неспроста начал менять свою форму — его фигура увели-

чилась в размерах, потемнела, за спиной появились крылья, которые, словно клубы дыма, потянулись к потолку... Вновь я услышал гул голосов, он быстро нарастал и вскоре стал оглушительным, а позади дьявола вдруг вспыхнул свет. Покрытые шерстью козлиные ноги двинулись в мою сторону. Я закричал, теряя опору под ногами и видя, что мне даже не за что ухватиться, кроме как за это ужасное существо. Я отчетливо видел и изгиб все выше и выше вздымавшихся крыльев и сияние перьев на них. А в грохочущем шуме причудливо сливались звуки прекрасной музыки и чьих-то голосов.

— Нет! Только не сейчас! Нет!

Я набросился на черную фигуру и схватил ее за грудки. Прямо перед моими глазами оказалось лицо чудовища — лицо гранитной статуи, однако на этот раз живое и чрезвычайно выразительное. Мой отчаянный крик утонул в невыносимом шуме песнопений, стонов и воя. Рот дьявола раскрылся, брови сердито сошлись у переносицы, а огромные миндалевидные глаза наполнились светом.

Тогда я изо всех сил вцепился в его мощную руку, и мне показалось, что он безуспешно пытается высвободиться из моей хватки. «Ага! Не можешь!» — злорадно подумал я и ударил его кулаком в лицо. Ощущение было таким, будто кулак ткнулся в нечто сверхъестественно жесткое, как если бы удар был нанесен кому-то из мне подобных. Однако передо мной было не цельное и твердое тело вампира.

Несмотря на всю свою плотность и кажущуюся неуязвимость, фигура как-то странно дернулась, но быстро приняла прежнюю форму. Собрав всю свою мощь, я толкнул чудовище ладонями в грудь. Перед глазами совсем близко промелькнула блестящая защитная пластина — я успел заметить даже рисунок на ней и какие-то буквы,— а мгновением позже над моей головой раздался хлопок огромных крыльев. Такое впечатление, что дьявол хотел напугать меня. И все же мне удалось отшвырнуть проклятое существо на значительное расстояние! Прекрасный удар! Сам не знаю, на что я рассчитывал и откуда набрался смелости и силы, но с воинственным кличем я вновь бросился в атаку.

Взмах лоснящихся, сияющих глянцем крыльев — и я почувствовал, что падаю... Нет, я не стану кричать... не дождется... будь он проклят... не стану... Я падал...

Я падал... Я словно погружался в такие глубины, какие могут привидеться лишь в кошмарном сне. Пустота была невообразимо абсолютной. А падение — стремительным.

Существовал только Свет. Он заполнял все видимое пространство и показался мне вдруг столь прекрасным, что я утратил ощущение реальности и перестал чувствовать даже собственное тело, лишившееся веса и формы. Оставалась лишь пугающая инерция падения, словно напоминающая о существовании земного притяжения, которое неизбежно приведет меня к гибели. Волна голосов захлестнула меня с головой.

— Но они же *поют*! — воскликнул я.

Я застыл без движения.

Постепенно я осознал, что лежу на полу, почувствовал под собой шероховатую поверхность ковра, ощутил запах мастики и пыли — запах своего дома. И понял, что мы по-прежнему находимся в той же комнате.

Он сидел в кресле Луи возле письменного стола, а я лежал рядом с ним на спине, уставясь в потолок, и грудь мою разрывала нестерпимая боль.

Я сел, демонстративно скрестив ноги, и посмотрел на него вызывающим взглядом.

— Да, в этом действительно есть смысл.— Он был явно поражен и озадачен.

— В чем именно? О чем ты?

— Ты столь же силен, как и мы.

— Да нет, едва ли,— в ярости ответил я.— У меня не вырастают крылья. И я не могу заставить звучать музыку.

— Можешь. Ведь ты вызывал видения у смертных. Ты способен заворожить, околдовать их своими чарами. В тебе не меньше силы, чем в нас. И сейчас ты достиг очень интересной стадии своего развития. Я был уверен, что не ошибся в тебе. Ты вызываешь во мне благоговейный страх и глубочайшее почтение.

— Чем? Своей независимостью? Позволь мне кое-что сказать тебе, Сатана,— или как там тебя еще величают...

— Не смей называть меня так — я ненавижу это имя!

— Прекрасный повод, чтобы в беседах с тобой повторять его снова и снова.

— Меня зовут Мемнох,— невозмутимо произнес он.— Мемнох-дьявол. И я прошу тебя запомнить это имя.— Он сделал едва заметный умоляющий жест.

— Мемнох-дьявол.

— Да, именно так я подписываюсь в случае необходимости.

— Так вот, ваше королевское величество, Повелитель Тьмы. Я не стану помогать вам ни в чем. Я не ваш слуга.

— Мне кажется, я могу заставить тебя изменить свое решение,— ровным тоном ответил он.— Полагаю, ты все поймешь и будешь на многое смотреть с моей точки зрения.

Я вдруг почувствовал слабость, почти полное бессилие, и меня охватило отчаяние.

Ничего удивительного.

Я перевернулся, уткнулся лицом в согнутую руку и заплакал как ребенок. Я умирал от изнеможения, чувствовал себя беспомощным и несчастным и единственное, в чем находил удовольствие, это в плаче. Ни на что иное я был просто не способен и потому полностью отдался во власть безудержных рыданий. Вскоре, как и любой совершенно измученный горем человек, я ощутил глубочайшее облегчение. Мне было все равно, кто видел или слышал меня в тот момент. Я плакал не переставая.

Знаете, у меня есть собственное мнение относительно плача. Мне кажется, некоторым людям стоит научиться этому трюку. Но уж если вы умеете плакать по-настоящему, то с этим умением не может сравниться ничто. Мне жаль тех, кто до сих пор не освоил эту нехитрую премудрость. Она сродни свисту или пению.

Как бы то ни было, тогда я был слишком несчастен, чтобы обрести утешение в том кратком миге облегчения, которое подарили мне неудержимые и беспорядочные всхлипывания и соленые кровавые слезы, катившиеся по моим щекам.

Я вспомнил, как много лет назад вошел под своды Нотр-Дам, а мерзкие маленькие вампиришки, Дети Сатаны, укрылись во тьме вокруг собора и поджидали меня. Я вспомнил о своей смертной жизни, о Доре... Я думал об Армане — бессмертном мальчике, стоявшем во главе общества Детей Сатаны, обитавшего глубоко под склепами парижского кладбища, о мальчике, который возомнил себя темным святым и заставлял своих одетых

в лохмотья подданных-кровопийц мучить людей, нести им смерть, сеять среди них страх и, подобно эпидемии, одну за другой уносить их жизни. Я буквально задыхался от рыданий.

— Это неправда,— кажется, твердил я.— Нет ни Бога, ни дьявола. Это неправда!

Он не отвечал. Я вновь перевернулся и сел, вытирая лицо рукавом. Носового платка не было, ведь я отдал его Доре. Я почувствовал слабый запах, исходящий от моей одежды, от груди, к которой девушка прижималась, сладостный аромат ее крови. Мне не следовало оставлять Дору в таком отчаянии. Господи, я обязан был позаботиться о ее покое, о ее душевном равновесии! Черт побери!

Я взглянул на Мемноха.

Он сидел все на том же месте, положив руку на спинку кресла Луи, и молча наблюдал за мной.

— Ты не собираешься оставить меня в покое, правда? — со вздохом спросил я.

Мой вопрос, казалось, захватил его врасплох. Он рассмеялся, и лицо его при этом выражало скорее дружелюбие, чем полное равнодушие.

— Конечно нет,— негромко произнес он, словно не желая вновь довести меня до срыва.— Послушай, Лестат, я много столетий искал кого-нибудь вроде тебя. Я много веков ждал *именно тебя*! Нет, боюсь, я не намерен оставлять тебя в покое. Но я не хочу, чтобы ты страдал и мучился. Как мне успокоить тебя? Быть может, я должен совершить какое-либо маленькое чудо? Или подарить тебе что-нибудь? Что сделать, дабы мы могли продвинуться дальше?

— А куда и каким образом мы, черт возьми, можем продвинуться?

— Я тебе все объясню.— Он широко развел руки и слегка пожал плечами.— И тогда ты поймешь, почему я должен выиграть.

— Суть в том... в том, что я могу отказаться от сотрудничества с тобой, не так ли?

— Вот именно! Никто не в состоянии помочь мне, если будет действовать не по собственной воле. А я устал. Я утомлен этой работой. И нуждаюсь в помощи. Когда твоему другу Дэви-

ду случайно довелось стать свидетелем нашего явления, эту часть разговора он понял совершенно правильно.

— А ваше явление Дэвиду действительно было случайным? Дэвид не должен был видеть тебя и Бога вместе?

— Мне трудно сейчас что-либо тебе объяснить. Практически это невозможно.

— Сделав Дэвида одним из нас, я что, расстроил какие-то твои планы?

— И да, и нет. Суть в том, что Дэвид верно уловил смысл нашей беседы. Моя задача трудна, и я очень устал! Что же касается некоторых других предположений Дэвида, связанных с тем видением...— Он покачал головой.— В общем, ты именно тот, кто мне сейчас нужен, и крайне важно, чтобы ты, прежде чем принять окончательное решение, увидел все собственными глазами.

— Значит, хуже меня на свете не существует? — дрожащими губами прошептал я, чувствуя, что вот-вот разрыдаюсь снова.— Несмотря на все проступки смертных, на те ужасные злодеяния, которые люди обрушивают друг на друга, несмотря на немыслимые страдания женщин и детей всего мира по вине представителей рода человеческого, самым плохим созданием на земле ты считаешь меня? Я тебе нужен! А Дэвид оказался слишком хорошим — так? Вопреки твоим ожиданиям, он не превратился в законченного негодяя? Ты это хочешь сказать?

— Нет, конечно же ты не самый плохой,— утешил он меня и тут же добавил со вздохом: — В этом-то все и дело.

Постепенно я начал яснее видеть все больше и больше деталей его внешнего облика. И не потому, что они стали более отчетливыми, как это было во время моего разговора с призраком Роджера, а просто потому, что сам я постепенно успокаивался. Волосы его были темно-пепельного цвета, мягкие и вьющиеся. А брови — вовсе не черные, как мне показалось вначале, а того же оттенка, что и волосы,— имели красивый изгиб, придавая лицу выражение, напрочь лишенное тщеславия или высокомерия. И, естественно, он не производил впечатления существа недалекого и тем более глупого. Одет он был очень непритязательно. Сомневаюсь, что это вообще можно было назвать настоящей одеждой. Да, вещи казались вполне материальными,

однако на пальто отсутствовали пуговицы, а покрой рубашки поражал своей простотой.

— Понимаешь,— продолжал он,— ты всегда умел мыслить здраво. А это именно то, что необходимо в первую очередь, то, что я искал прежде всего: здравомыслие, интеллект, целеустремленность и увлеченность. Бог свидетель, я не мог упустить такого, как ты! К тому же ты как будто сам манил меня к себе.

— Никогда!

— Да ладно тебе. Вспомни, сколько раз ты открыто бросал вызов дьяволу.

— Это были всего лишь стихи... точнее, слабые вирши.

— Неправда. А вспомни, что ты вытворял. Ты пробудил древнейшее существо, Акашу, и едва не отдал в ее власть судьбы человечества.— Он коротко рассмеялся.— Как будто на земле мало чудовищ, созданных эволюцией. А твоя авантюра с Похитителем Тел! Подумать только! Перевоплотиться, обрести такой шанс — и отказаться от него ради того, чтобы вновь стать тем, кем был прежде! Тебе известно, что твоя Гретхен стала в джунглях святой?

— Да. Читал об этом в газетах.

Гретхен! Моя монахиня, моя любовь в тот короткий период, когда я вновь стал смертным... С той самой ночи, когда она убежала от меня в часовню миссии и рухнула на колени перед распятием, Гретхен не произнесла ни слова. Она молилась денно и нощно, почти полностью отказалась от пищи, а по пятницам в маленькое, затерянное в джунглях поселение стекались толпы людей. Дабы собственными глазами увидеть стигматы на ее ладонях и стопах, паломники преодолевали многие мили, продирались сквозь непроходимые заросли; некоторые прилетали даже из Каракаса и Буэнос-Айреса. Таков был конец Гретхен.

«А что, если она действительно пребывает возле Христа?» — неожиданно пришла мне в голову мысль.

— Неправда все это,— холодно произнес я.— Гретхен лишилась рассудка и практически не выходит из истерического состояния, и виноват в этом я. А мир получил еще одного мистика, создание, приобщенное к религиозным таинствам, которое, подобно Христу, истекает кровью. Таких, наверное, уже тысячи.

— Не мне об этом судить,— сказал Мемнох.— А если вернуться к теме нашего с тобой разговора, то я хотел сказать, что

ты совершил все, что только можно было вообразить,— за исключением прямого призыва. Ты бросил вызов всем властям и прошел все испытания. Ты дважды хоронил себя заживо и даже попытался взлететь к самому солнцу в надежде, что оно испепелит тебя. Единственное, что осталось, это призвать меня напрямую. Разве не так? Всем своим поведением ты словно вопрошал: «Мемнох, скажи, что еще я могу сделать?»

— И ты рассказал об этом Богу? — Тон мой оставался холодным, ибо я не желал быть вовлеченным в его игры и старался подавить собственное любопытство и возбуждение.

— Конечно.

От удивления я не нашелся что сказать.

В голову не приходило ни единой удачной мысли — мелькали только обрывки каких-то заумных теологических идей, провокационные вопросы типа: «А почему Бог сам этого не знал?» — и тому подобная ерунда.

Мне нужно было подумать, сконцентрироваться и понять, что говорит моя собственная интуиция.

— Ты вроде Декарта...— сказал он.— Или Канта...

— Не смей смешивать меня в одну кучу с кем-либо! — перебил я.— Я — Вампир Лестат, единственный и неповторимый в своем роде.

— Нашел кому говорить об этом!

— Много ли нас сейчас на земле — вампиров? Я не беру в расчет других бессмертных, всяких чудовищ, злых духов и тому подобных существ вроде тебя. Речь исключительно о вампирах. Их, пожалуй, и сотни не наберется. И ни один из них не сравнится со мной, Лестатом!

— Согласен целиком и полностью. Ты мне нужен. Я нуждаюсь в таком помощнике.

— И тебя не смущает, что я не испытываю к тебе никакого уважения, что совершенно не верю в тебя и, несмотря на все произошедшее, не боюсь? Тебя не волнует, что вот сейчас, здесь, в моем доме, я попросту смеюсь над тобой? Не думаю, что Сатана стал бы терпеть подобное. Я бы не потерпел. А ведь тебе известно, что я сравнивал себя с тобой. Люцифер! Сын утра! Своим хулителям и судьям я заявлял, что перед ними сам дьявол или что, доведись мне встретиться с самим Сатаной, я разобью его наголову и обращу в бегство.

— Мемнох, меня зовут Мемнох,— поправил он.— Пожалуйста, не упоминай больше это имя — Сатана. Равно как не употребляй и другие: Люцифер, Вельзевул, Азазел, Мардук, Мефистофель... Ты вскоре и сам поймешь, что все они лишь словесные вариации одного и того же понятия. А Мемнох — это имя на все времена. Оно звучит вполне подобающе и приятно. Мемнох-дьявол. Однако не пытайся отыскать его в книгах — это бесполезно.

Я промолчал, пытаясь осмыслить сказанное. Да, он способен менять обличье, однако должна присутствовать некая иная, невидимая глазу субстанция, составляющая его внутреннюю сущность. Быть может, именно мощь этой внутренней сущности и противостояла мне, когда я нанес ему удар в лицо? Ведь я не ощутил под рукой реального препятствия — только сопротивление какой-то силы. Интересно, а если бы мне вздумалось сейчас схватиться с ним, будет ли эта человеческая оболочка в достаточной мере наполнена внутренней субстанцией, чтобы одержать надо мной победу? Сравнится ли его сила с силой темного ангела?

— Да,— сказал он.— И ты даже не можешь себе представить, как трудно бывает довести такого рода вещи до сознания смертных. Но тебя я выбрал не только по этой причине. Ты стал моим избранником не столько потому, что лучше других способен понять и постичь все, что необходимо, сколько потому, что идеально подходишь для такой работы.

— Для работы подручным дьявола?

— Именно. Для того чтобы стать, если можно так выразиться, моей правой рукой и заменять меня, когда я слишком устану. Чтобы стать моим принцем, наследником.

— Но как ты мог так ошибиться? Неужели ты находишь забавными мои душевные муки, мое самобичевание? Неужели ты полагаешь, что мне нравится причинять зло? И что, видя нечто прекрасное, например лицо Доры, я способен думать о зле?

— Нет, я вовсе не считаю, что тебе нравится причинять зло,— ответил он.— Во всяком случае, не больше, чем мне.

— Не больше, чем тебе? — прищурившись, переспросил я.

— Я ненавижу зло. И если ты не поможешь мне... Если ты позволишь Богу и впредь действовать по своему усмотрению, то, будь уверен, зло разрушит этот мир до основания.

— Ты хочешь сказать,— медленно произнес я,— что такова воля Божия? Что Бог хочет разрушить мир?

— Кому дано это знать?..— холодно ответил он.— Однако я уверен, что Он и пальцем не пошевелит, чтобы этого не случилось. Равно как уверен в том, что сам этого не хочу. Но мои действия праведны, в то время как деяния Господа зиждутся на крови и опустошении, а это чрезвычайно опасно. И ты знаешь, что они именно таковы. Ты просто обязан мне помочь. Я уже говорил, что близок к победе. Однако нынешний век невыносимо тяжел и просто ужасен для всех нас.

— Ты хочешь уверить меня в том, что не служишь злу?

— Вот именно. Вспомни, о чем спрашивал тебя Дэвид. Он спросил, ощущал ли ты присутствие зла, когда я был рядом. И ты ответил, что не ощущал.

— Всем известно, что дьявол искусный лжец и умеет вводить в заблуждение.

— А мои враги искусные клеветники. По сути, ни Бога, ни меня нельзя назвать лжецами. Однако... Я и в мыслях не допускал, что ты поверишь мне на слово, и пришел сюда вовсе не для того, чтобы убедить тебя пустыми разговорами. Я возьму тебя с собой, покажу тебе и ад, и рай, а если у тебя возникнет желание, дам возможность побеседовать с Богом — так долго, как Он позволит и сам ты того захочешь. Не с Богом Отцом, нет, а... Впрочем, ты сам вскоре увидишь и поймешь. Но я должен быть уверен в том, что ты будешь действовать по собственной воле и искренне пожелаешь постичь истину. Что ты сам захочешь отказаться от бессмысленного и бесцельного существования, чтобы вступить в смертельную битву за судьбы мира.

Я молчал. Я просто не знал, что ответить. Наш разговор ушел далеко в сторону от первоначальной темы.

— Увидеть рай? — прошептал я наконец, постепенно постигая смысл его предложения.— И ад?

— Да, конечно,— спокойно и терпеливо подтвердил он.

— Мне нужна ночь на размышления.

— Что?!!

— Я сказал, что мне нужна ночь, чтобы все обдумать.

— Ты мне не веришь? Тебе нужно какое-то свидетельство, знамение?

— Нет, напротив, я начинаю тебе верить. Именно поэтому я должен подумать, взвесить все «за» и «против».

— Но я здесь, чтобы ответить на любой твой вопрос, чтобы немедленно продемонстрировать тебе все, что ты захочешь.

— Все, что я хочу, это чтобы ты оставил меня в покое на две ночи, сегодняшнюю и следующую. Согласись, просьба весьма скромная и обоснованная. Оставь меня в покое.

Он был явно разочарован и даже, возможно, заподозрил какой-то подвох с моей стороны. Однако я говорил совершенно искренне. И другого ответа дать не мог.

— Неужели тебя можно обмануть? — спросил я.

— Конечно. Я могу положиться только на те способности, которыми обладаю, точно так же, как ты полагаешься на свои. И эти способности имеют свои пределы. Равно как и ты ограничен в своих. Тебя можно обмануть. И меня тоже.

— А как насчет Бога?

— О-о-о! — недовольно воскликнул он.— Если бы ты только знал, до какой степени неуместен сейчас твой вопрос! Ты даже не представляешь, как я в тебе нуждаюсь и как я устал. А Бог... Бог, мягко говоря, выше любого обмана... Ладно. Я дам тебе эти ночи. Не стану тебя беспокоить... преследовать, как ты выражаешься. Но позволь спросить: что ты намерен делать?

— Ну знаешь!.. Либо ты мне даешь эти ночи, либо не даешь.

— Всем известно, что ты непредсказуем.

Он широко улыбнулся, и эта улыбка показалась мне на удивление приятной. И еще одна особенность вдруг бросилась мне в глаза: он был не только на редкость пропорционально сложен, но и вообще не имел ни единого видимого изъяна — иными словами, образец человека, его совершенное воплощение.

Прочел он мои мысли или нет, но никакой реакции на них не последовало. Он терпеливо ждал.

— Дора,— напомнил я.— Я должен навестить Дору.

— Зачем?

— Больше я не стану ничего тебе объяснять.

И вновь мой ответ почему-то крайне удивил его.

— Но почему? Если ты намереваешься помочь ей разрешить некоторые сомнения, связанные со смертью ее отца, то почему не хочешь сказать мне об этом? Мне важно знать, какие имен-

но секреты ты готов открыть этой женщине, в какой степени довериться ей. Я просто размышляю о порядке вещей, как любит выражаться твой друг Дэвид. О том, что станется с нею, после того как ты уйдешь со мной.

Я промолчал.

— Ну хорошо,— вздохнул он.— Я ждал такого, как ты, много столетий. Так стоит ли говорить о какой-то паре ночей? Разве они могут иметь хоть какое-то значение в такой ситуации? Насколько я понимаю, речь идет фактически уже только о ближайшей ночи. А на закате следующего дня я могу вернуться за тобой.

— Все правильно.

— Позволь сделать тебе небольшой подарок. Возможно, он поможет укрепить твое доверие ко мне. Откровенно говоря, мне сложно определить уровень твоего восприятия и понимания — слишком уж парадоксален и противоречив твой характер. Позволь подарить тебе нечто необычное.

— Пожалуйста.

— Мой подарок — можешь назвать его знаком или предзнаменованием — заключается вот в чем. Спроси Дору о глазе дядюшки Микки. Попроси ее рассказать правду, то, о чем Роджер так никогда и не узнал.

— Звучит как загадка для спиритического сеанса в светской гостиной.

— Ты так думаешь? Спроси у нее.

— Ладно. Значит, правду о глазе дядюшки Микки? А теперь позволь мне напоследок задать еще один вопрос. Ты дьявол. Да, это так. Но ты не несешь в себе зло. Почему?

— Совершенно неуместный и не относящийся к делу вопрос. Если не возражаешь, я сформулирую проблему несколько иначе. Мне нет совершенно никакой необходимости нести зло. И вскоре ты сам в этом убедишься. Тебе предстоит увидеть так много, что это даже пугает меня, разрушает уверенность в собственных силах.

— И все же ты противостоишь Богу?!

— Во всем. Я его непримиримый соперник и оппонент. А после того как ты увидишь все собственными глазами и выслушаешь все, что я должен тебе рассказать, после того как ты

сам побеседуешь с Богом и лучше поймешь Его и мою точки зрения, ты непременно тоже превратишься в Его убежденного противника и встанешь на мою сторону. Поверь мне, Лестат. Я абсолютно уверен в этом.— Он встал с кресла.— Что ж. Я ухожу. Тебе помочь подняться с пола?

— Обойдусь и без твоей помощи,— резко ответил я и тут же, к собственному удивлению, добавил: — Я буду скучать без тебя.

— Не сомневаюсь.

— Помни: в моем распоряжении целая ночь. Целиком и полностью.

— Как ты не понимаешь, что пойди ты сейчас со мной, и для тебя перестала бы существовать разница между днем и ночью.

— О, это действительно весьма заманчивое предложение. Соблазн велик. Но именно этим и занимаются дьяволы вроде тебя — соблазном. Мне необходимо все хорошенько обдумать и посоветоваться с другими.

— Посоветоваться с другими? — В голосе его прозвучало неподдельное изумление.

— Я не собираюсь отправляться в путешествие с дьяволом, никого не поставив об этом в известность. Ты же все-таки дьявол. Черт побери, с какой радости я должен доверять дьяволу? Полный абсурд! Ты, несомненно, играешь по правилам — все играют по чьим-то правилам. А мне эти правила неизвестны. Ладно. Ты поставил меня перед выбором, и я его сделал. О своем решении я сообщу тебе на третью ночь. И не раньше. А до того оставь меня в покое. Поклянись, что сделаешь это.

— Зачем? — Он произнес свой вопрос тем спокойным и терпеливым тоном, каким разговаривают с упрямым ребенком.— Чтобы ты перестал опасаться звука моих шагов за спиной?

— Возможно.

— Но какой смысл давать такую клятву, если ты не поверил в истинность всего остального, о чем я тебе рассказал?

Он покачал головой, словно удивляясь моей глупости, сравнимой лишь с глупостью смертного.

— Так ты готов дать мне такую клятву или нет?

— Клянусь,— торжественно произнес он, приложив руку к сердцу, точнее, к тому месту, где оно должно было бы находиться.— Конечно же, искренне и чистосердечно.

— Спасибо. Ты меня успокоил.

— Дэвид тебе не поверит,— мягко заметил он.

— Знаю.

— Итак, через две ночи.— Он подчеркнуто многозначительно и выразительно кивнул.— Я вернусь за тобой сюда. Или в любое другое место, где ты окажешься в тот момент.

И он исчез, одарив меня на прощание ослепительной улыбкой, еще более широкой, чем прежде.

Причем сделал он это совсем не так, как то было присуще мне, то есть не промелькнул мимо с неуловимой для человеческого глаза скоростью.

Он просто испарился на месте...

8

Дрожа с головы до ног и покачиваясь, я поднялся на ноги, отряхнулся и огляделся вокруг. В комнате царил тот же безупречный порядок, что и в тот момент, когда мы туда вошли. Должен признаться, меня это ничуть не удивило. Наше сражение происходило в иных сферах. Но в каких именно?

Ах, если бы только мне удалось разыскать Дэвида! До зимнего рассвета оставалось менее трех часов, и потому я, не мешкая, бросился на поиски.

Поскольку я был лишен возможности проникнуть в разум Дэвида или мысленно позвать его, в моем распоряжении оставалось только одно телепатическое средство: внимательно просматривать сознание попадающихся на моем пути смертных в надежде наткнуться на отражение образа Дэвида. Возможно, кто-то из них встречал его в знакомом мне месте.

Не прошел я и трех кварталов, как понял, что явственно улавливаю его образ. Более того, он возникает в сознании не человека, а другого вампира.

Я закрыл глаза и постарался приложить все силы, чтобы установить с ним более тесную связь. Через несколько секунд двое вампиров приветствовали меня — Дэвид через того, кто

стоял с ним рядом. Лесистое место, где они находились, было мне хорошо знакомо.

Давным-давно, когда Луи и Клодия попытались меня убить, именно здесь, в болоте неподалеку от Байю-роуд, которая вела за пределы Нового Орлеана, они утопили мои останки.

Теперь на месте диких зарослей и топей был разбит парк и построен музей, в экспозиции которого можно было встретить весьма интересные работы художников. Днем ухоженные аллеи заполняли гуляющие, в большинстве своем мамаши с детьми, однако ночью парк вновь превращался в густой и темный лес.

Кое-где сохранились даже старые дубы, а через всю территорию тянулся длинный извилистый пруд, берега которого в самой глубине парка соединял живописный мостик.

Возле него я и обнаружил этих двоих. Они тихо беседовали в непроглядном мраке, в стороне от дорожек и аллей. Дэвид был по обыкновению одет весьма изысканно и элегантно.

А вот при виде второго вампира я едва не вскрикнул от удивления.

Это был Арман!

По-прежнему юный, почти мальчик, он сидел на каменной скамье, небрежно согнув в колене одну ногу, и невинными глазами смотрел на меня снизу вверх. Весь в пыли, длинные, отливающие золотом локоны спутались в копну — настоящий бродяга.

На нем были джинсы в обтяжку и плотная джинсовая куртка на молнии, и в этом наряде, даже несмотря на бледную, похожую на пергамент и абсолютно гладкую кожу, он с легкостью мог сойти за обыкновенного смертного.

При взгляде на него мне, однако, пришло почему-то в голову другое сравнение: с найденной на старом чердаке куклой со стеклянными красновато-коричневыми глазами. И первое, что мне захотелось сделать,— это броситься к нему, расцеловать, а потом вымыть и отполировать до сияющего блеска.

— Тебе всегда хотелось именно этого,— мягко произнес Арман. Звучание его голоса поразило меня до глубины души: в нем не осталось и намека на французский или итальянский акцент, а тон был спокойным, даже меланхолическим, и совершенно

беззлобным.— Когда мы встретились в подземельях кладбища Невинных, ты тоже мечтал искупать меня в духах и одеть в бархатный костюм с широкими, отделанными вышивкой рукавами.

— Да,— сердито подтвердил я,— и к тому же расчесать твои прекрасные волосы. Я люблю тебя, маленький чертенок, и мне нравится ласкать тебя и обнимать.

С минуту мы молча смотрели друг на друга, а потом, к моему несказанному удивлению, он вдруг поднялся со скамьи и шагнул навстречу моим объятиям. Его движения были уверенными, но не резкими. Два холодных, затвердевших тела тесно сплелись между собой.

— Ангельское дитя,— прошептал я, непроизвольно потрепав его по волосам. Жест, надо признать, весьма дерзкий, если не сказать наглый с моей стороны. Однако Арман, похоже, ничуть не обиделся.

Напротив, он с улыбкой, от которой черты его лица сделались заметно мягче, покачал головой и несколькими небрежными прикосновениями ладони поправил прическу. Затем резким движением, словно поддразнивая, ткнул меня кулаком в грудь.

Удар оказался на редкость сильным. Сногсшибательным. Теперь настала моя очередь улыбнуться.

— Я не помню, чтобы между нами было что-либо плохое,— сказал я.

— Помнишь и будешь помнить,— возразил он.— Как и я. Но это не имеет никакого значения.

— Ты прав. Это не важно, потому что мы по-прежнему вместе.

Арман тихо, но искренне рассмеялся и покачал головой, многозначительно глядя на Дэвида. Его взгляд свидетельствовал о том, что они хорошо знают друг друга — быть может, даже слишком хорошо. И это мне совсем не понравилось. Я вообще не испытывал радости от того, что они знакомы. Дэвид был моим Дэвидом. А Арман был моим Арманом.

— Итак, Дэвид рассказал тебе обо всем,— сказал я, усаживаясь на скамью, и посмотрел сначала на Армана, а потом на стоявшего за его спиной Дэвида.

Тот отрицательно покачал головой.

— Разве я мог сделать это без твоего разрешения, принц-паршивец? — Тон Дэвида показался мне несколько пренебрежительным.— Я никогда бы не осмелился. Единственное, что привело сюда Армана,— это беспокойство о тебе.

— Неужели? — Я слегка приподнял брови.— С чего бы это?

— Ты прекрасно знаешь, что это правда, и даже, черт возьми, знаешь почему,— ответил Арман.

Его манера держаться была небрежной — судя по всему, он усвоил ее за время своих странствий по миру. Руки засунуты глубоко в карманы. Теперь он уже не походил на сошедшего с церковной фрески святого. Скорее — на крутого парня.

— Ты опять ищешь приключений на свою голову,— продолжал он все так же медленно, слегка растягивая слова, и по-прежнему без гнева в голосе.— Тебе уже и всей земли мало. На этот раз я решил попытаться поговорить с тобой, пока ты не натворил новых бед.

— Ах, какой ты внимательный! Самый заботливый из всех ангелов-хранителей! — саркастически откликнулся я.

— Да, именно такой,— не моргнув глазом подтвердил он.— Итак, ты не хочешь мне поведать о том, что задумал и чем занимаешься?

— Пошли,— сказал я.— Будет лучше, если мы найдем местечко побезопаснее где-нибудь в глубине парка.

Они последовали за мной. Мы шли как обычные люди и вскоре оказались в самой гуще старых дубов. Высокая трава там росла без помех и нигде не была примята, ибо в такую глушь не рискнет забраться на отдых даже самый отчаянный из смертных.

Среди искривленных корней мы расчистили для себя участок на заледеневшей земле. Свежий и чистый ветерок дул со стороны близлежащего водоема и иногда доносил до нас слабые запахи Нового Орлеана — впрочем, такие запахи характерны для любого большого города. Но главное, что мы опять были вместе, все трое.

— Ну давай же, расскажи нам, чем ты сейчас занимаешься,— вновь попросил Арман и вдруг придвинулся ко мне вплотную и как-то по-детски и в то же время с европейской элегантностью поцеловал меня.— У тебя крупные неприятности. Только не пытайся отрицать — все знают, что это правда.

Металлические пуговицы его джинсового костюма обжигали холодом, как будто он только что прибыл из тех мест, где стояли жестокие морозы.

Мы никогда в полной мере не знали возможностей и мощи друг друга. Это была своего рода игра. Спросить его, откуда он узнал о моих проблемах и каким образом оказался рядом, было все равно что поинтересоваться у смертного незнакомца, как именно он занимается любовью с собственной женой.

Я долго молча смотрел на Армана, а Дэвид полулежал рядом, откинувшись назад и опираясь на локти, и наблюдал за нами обоими.

Наконец я решился заговорить:

— Меня посетил дьявол. Он предложил последовать за ним и собственными глазами увидеть рай и ад.

Арман не проронил ни слова и лишь слегка нахмурился. А я тем временем продолжал:

— Это тот самый дьявол, в которого я не верил и веру в которого много веков назад пытался разрушить в тебе. Но ты был прав. Прав по крайней мере в одном: он действительно существует. И я с ним встретился.— Я покосился на Дэвида.— Он хочет, чтобы я стал его помощником. И дал мне две ночи, чтобы я посоветовался с другими. А потом обещал показать мне сначала рай, затем ад. Он заявил, что не несет в себе зла.

Дэвид молчал, устремив взгляд в темноту. Арман, тоже молча, с восхищением смотрел на меня.

Я стал рассказывать дальше и постепенно поведал им обо всем. Ради Армана я повторил рассказ о Роджере и о беседе с его призраком, затем во всех подробностях вспомнил, как неудачно сложился мой визит к Доре, как в монастыре появился преследовавший меня повсюду дьявол и как мы спорили и сражались с ним.

Я старался не упустить ни единой детали. Я полностью раскрыл перед Арманом свой разум, позволяя ему проникнуть туда и, быть может, отыскать там еще что-то важное.

Наконец я закончил.

— Только, пожалуйста, обойдемся без оскорбительных замечаний,— гордо заявил я, откидываясь на спину на траве.— Не спрашивайте меня, почему я сбежал от Доры или зачем выложил ей все про ее папочку. Я не могу избавиться от ощуще-

ния, что Роджер по-прежнему рядом, не в силах забыть его дружеское ко мне отношение и его безграничную любовь к дочери. А этот Мемнох-дьявол показался мне вполне разумным и беззлобным существом, к тому же речи его весьма убедительны. Что же касается нашей битвы, то я и сам до конца не понимаю, что произошло; знаю только, что дал ему пищу для размышлений. Спустя две ночи он вернется, причем, если мне не изменяет память — а она не изменяет мне никогда,— он сказал, что найдет меня, где бы я в тот момент ни находился.

— Да, в этом можно не сомневаться,— вполголоса откликнулся Арман.

— Мои мучения, кажется, не доставляют тебе удовольствия,— с горьким вздохом заметил я.

— Конечно нет,— ответил Арман.— Надо признать, однако, что ты и не выглядишь измученным. Ты стоишь на пороге очередной авантюры, и на этот раз просто действуешь чуть более осмотрительно, чем прежде, когда ты так бездумно позволил смертному сбежать в украденном у тебя теле, а сам остался внутри его бренной плоти.

— Нет, я не осмотрителен — я просто в ужасе. Уверен, что это существо — Мемнох — действительно самый настоящий дьявол. Доведись тебе стать очевидцем его видений, ты бы тоже не усомнился в его дьявольской сущности. Я говорю сейчас не о чарах, не об умении завораживать Ты и сам можешь зачаровать кого угодно, Арман,— и весьма успешно проделывал это со мной. Но я дрался с ним. Он обладает некой субстанцией, способной проникать в реальные тела, в то время как сам по сути своей, несомненно, материален, но бестелесен. Что до всего остального, то я вполне допускаю, что здесь не обошлось без чар. Во всяком случае, он недвусмысленно намекал, что обладает чарующей силой — так же как и я.

— Судя по твоему описанию, это был, скорее, ангел,— безапелляционно заявил вдруг Дэвид.— Только этот ангел возомнил себя падшим.

— Дьявол... Дьявол собственной персоной...— задумчиво пробормотал Арман.— Чего ты хочешь от нас, Лестат? Ты просишь нашего совета? На твоем месте я ни за что не последовал бы за этим духом по собственной воле.

— Почему? — спросил Дэвид, прежде чем я успел вставить хоть слово.

— Понимаете,— пояснил Арман,— существует множество разного рода вполне земных созданий, чью сущность не в состоянии определить даже мы, равно как мы не можем установить места их обитания, не говоря уже о том, чтобы контролировать их поведение. Нам известно, что некоторые бессмертные существа выглядят как обычные люди, хотя на самом деле таковыми не являются. И тот, кого встретил ты, может оказаться кем угодно... К тому же его обхождение с тобой кажется мне весьма подозрительным... все эти видения, льстивые речи...

— Возможно, ты прав,— перебил его Дэвид.— Но почему бы не допустить и другое: что он действительно дьявол, преследующий свои определенные цели, что он вполне разумен и рассудителен — как ты всегда и предполагал, Лестат,— и что он вовсе не моральный урод, а самый настоящий ангел, который нуждается в твоей помощи. Но при этом он не желает принуждать тебя к чему-либо. Сам факт его появления и без того можно считать своего рода насилием.

— И все же я не доверился бы ему,— настаивал на своем Арман.— Что значит — он нуждается в твоей помощи? Означает ли это, что ты будешь существовать одновременно на земле и в аду? Нет, уже за одни только речи я стал бы избегать его всеми силами, обходить стороной — за те образные выражения и слова, которыми он пользуется. И даже имя его — Мемнох — звучит странно. Мне слышатся в нем отголоски зла и порока.

— Признаю, почти то же самое говорил тебе когда-то я сам,— вздохнул я.

— Мне не довелось собственными глазами лицезреть Властителя Тьмы,— продолжал Арман.— На протяжении многих веков я сталкивался лишь с суевериями и предрассудками и видел чудеса, сотворенные такими же демонами, как мы сами. Ты видел чуть больше. Но ты прав. Сейчас я повторяю тебе то, что прежде от тебя же и слышал: откажись от веры в дьявола, не считай себя его детищем... Между прочим, я говорил это и Луи, когда он пришел ко мне в поисках объяснений относительно Бога и вселенной. Ни в какого дьявола я не верю! И тебе не советую. Не доверяй этому существу! Отвернись от него и не слушай его сладкие речи!

— Что касается Доры,— негромко заметил Дэвид,— то ты поступил неразумно, нарушив неписаные правила и законы сверхъестественных созданий. Однако мне кажется, что положение еще можно исправить.

— Сомневаюсь,— возразил я.

— Почему?

— Хочу спросить вас... обоих... Скажите, вы верите моему рассказу?

— Я знаю, что все действительно было именно так,— сказал Арман,— но я не верю, что тот, с кем ты встретился, действительно дьявол и что он возьмет тебя с собой в рай и в ад. А если говорить совсем откровенно, то, будь это правдой... Будь это правдой, тебе тем более не следует идти за ним...

Я долго смотрел на него, стараясь, несмотря на окружавшую нас темноту, как можно лучше разглядеть его лицо и проникнуть в его мысли, чтобы в полной мере понять его отношение к происходящему. В конце концов я убедился, что Арман говорил совершенно искренне. В нем не было и тени зависти или прежней враждебности ко мне, не было желания обмануть или обидеть... Если он и испытывал когда-то такого рода эмоции по отношению ко мне, то они остались в прошлом. Возможно, они вообще были всего лишь плодом моего воображения.

— Быть может, и так,— откликнулся Арман в ответ на мои мысленные размышления.— Но ты прав в том, что сейчас я говорю с тобой прямо и откровенно. И хочу повторить еще раз, что на твоем месте не поверил бы этому существу и его заявлению о том, что ты должен с ним так или иначе сотрудничать.

— В средние века это называлось договором с дьяволом,— уточнил Дэвид.

— И что все это значит? — спросил я довольно резко, хотя вовсе не хотел показаться грубым.

— Заключить договор с дьяволом,— пояснил Дэвид,— означает согласиться на какие-то предложенные им условия. Именно от этого и предостерегает тебя Арман. Нельзя вступать ни в какие соглашения с дьяволом.

— Совершенно верно,— подтвердил Арман, и глаза его на миг сверкнули во тьме. На юношеском его лице застыло выра-

жение печали и крайней озабоченности.— У меня есть веские основания подозревать, что он стремится связать это соглашение с какими-то моральными проблемами. Почему ты непременно должен принять его предложение?

— Я не знаю, имеет ли это какое-то значение,— начал я, чувствуя себя в полном замешательстве,— но ты прав. Я и сам сказал ему что-то в этом роде... что-то о его игре по определенным правилам...

— Мне необходимо поговорить с тобой о Доре,— тихо шепнул Дэвид.— Ты должен как можно скорее исправить свою ошибку. Во всяком случае, хотя бы пообещать нам, что не будешь...

— Я не стану давать вам какие-либо обещания относительно Доры. Я просто не могу.

— Лестат, прошу, не разрушай жизнь этой молодой смертной,— с нажимом в голосе произнес Дэвид.— Если мы способны оказаться в ином измерении, если призраки имеют возможность просить нас о чем-то, то кто знает, быть может, они могут и наказать нас, причинить нам вред. Неужели тебе никогда не приходила в голову подобная мысль?

Дэвид сел прямо. В голосе его явно слышалось волнение и одновременно гнев, он звучал напряженно, и было заметно, что Дэвид сдерживает себя из последних сил.— Ты не имеешь права обижать эту девочку. Вспомни, ведь ее отец пришел к тебе с просьбой о защите, а не о том, чтобы ты свел ее с ума...

— Можешь не продолжать,— перебил я его.— Все, что ты можешь сказать, я и сам знаю. Но и ты должен меня понять. Ведь я один. Совсем один. Вы всегда были моими друзьями, моей семьей. Но теперь, когда я столкнулся с этим существом, с этим Мемнохом-дьяволом, помочь мне не в силах никто. Никто, кроме Доры, не может дать мне совет, подсказать, как следует поступить.

— Кроме Доры? — Дэвид смотрел на меня с ужасом.

— Ты что, намерен рассказать ей обо всем? — испуганно спросил Арман.

— Да. Именно это я и собираюсь сделать. Дора единственная верит в существование дьявола. А я — Бог свидетель! — сейчас как никогда нуждаюсь в ком-то, искренне верующем, в святом, если хотите, а быть может, в том, кто сведущ в теологии. И я немедленно отправляюсь к Доре.

— Ты испорченный, порочный, упрямый тип, разрушитель и губитель по природе своей! — забыв о свойственной ему британской вежливости, воскликнул Дэвид, и слова его прозвучали как проклятие.— Ты все равно поступишь по-своему!

Голос его звенел от ярости. Я видел, что он просто взбешен, что внутри у него все кипит, но больше ничего не мог сказать в свое оправдание.

— Погоди,— попытался успокоить его Арман, а потом повернулся ко мне: — Лестат, это безумие! Это все равно что спросить совета у Сивиллы. Ты хочешь, чтобы смертная девушка выступила в роли оракула и предсказала тебе будущее, посоветовала, как следует поступить?

— Дора не обыкновенная смертная — не такая, как все. Она совершенно не испытывает страха передо мной. Ни малейшего. Она вообще ничего не боится. Такое впечатление, что она сделана из другого материала. Но она человек. И в то же время как будто святая. Наверное, такой была Жанна д'Арк, когда вела за собой войско. А о Боге и дьяволе Доре известно нечто такое, чего сам я не знаю.

— Ты говоришь о вере, и речи твои действительно способны обольстить,— заметил Дэвид.— То же самое было и с твоей подругой-монахиней, Гретхен, которая в результате совершенно лишилась разума и превратилась в неистовую сумасшедшую.

— Скорее, в немую,— поправил я,— потому что она не произносит ни слова, за исключением молитв,— так, во всяком случае, пишут в газетах. Однако следует учесть, что на самом деле до встречи со мной Гретхен не верила в Бога. Вера и безумие для нее фактически одно и то же.

— Неужели ты так и не поймешь?! — воскликнул Дэвид.

— Не пойму чего? Послушай, Дэвид, я иду к Доре. Она единственная, к кому я могу обратиться. Кроме того, я не имею права вот так все бросить. Я обязан к ней вернуться, и я вернусь. И еще. Обращаюсь к тебе, Арман. Ты должен пообещать мне кое-что, хотя это и так вполне очевидно. Дора находится под моим покровительством. И никто из нас не имеет права тронуть ее.

— Об этом не стоило и говорить. Я не причиню зла твоей маленькой подружке. Твое предостережение обидно для меня.

Арман действительно выглядел расстроенным.

— Извини. Я понимаю, однако кому, как не мне, знать, что такое кровь и невинность и до какой степени может быть восхитительным и то и другое. Ибо меня самого невероятно влечет к этой девушке.

— Ну так ты, должно быть, и поддаешься этому влечению,— сердито проворчал Арман.— Тебе хорошо известно, что я давно уже не утруждаю себя поиском жертв. Мне по-прежнему достаточно остановиться перед любым домом, и его обитатели с радостью кинутся в мои объятия. Естественно, я не стану трогать твою девочку. А ты, оказывается, все еще помнишь старые обиды. И думаешь, что я живу прошлым и остался таким же, каким был. Ничего подобного. Я меняюсь вместе со временем, во всяком случае прилагаю к этому все усилия. Но что может сказать тебе Дора? Чем она может тебе помочь?

— Не знаю. Но я пойду к ней завтра вечером. Будь у меня достаточно времени сейчас, я бы бросился к ней немедленно. Дэвид, если со мной что-нибудь случится... если я вдруг исчезну... если я... В общем, помни, что все наследство Доры в твоих руках.

— Помню,— кивнул Дэвид.— И сдержу данное тебе честное слово — сделаю все, что возможно, и буду действовать только в ее интересах. Но ты не должен к ней ходить!

— Лестат,— вновь обратился ко мне Арман,— если я тебе понадоблюсь... Если это существо попытается увести тебя силой...

— Но почему ты так обо мне заботишься? — спросил я.— После всех пакостей, которые я тебе причинил. Почему?

— Ох, только, пожалуйста, не говори глупостей,— умоляющим тоном попросил Арман.— Разве ты забыл, как когда-то, давным-давно, сам убеждал меня в том, что мир есть не что иное, как Сад Зла? Что только эстетические законы можно признать истинными и только с ними ты готов считаться.

— Нет, я не забыл. И боюсь, что оказался прав. Я предполагал это и страшился справедливости своих предположений, еще когда был совсем юным смертным. Однажды утром я проснулся и понял, что утратил веру во все.

— Что ж, друг мой, в таком случае надо признать, что в этом Саду Зла ты смотришься великолепно. И прогуливаешься по нему с таким видом, как будто он принадлежит тебе безраздельно и ты можешь делать в нем все, что тебе заблагорассудится. А я... Я странствую по свету, но каждый раз возвращаюсь к тебе — возвращаюсь, чтобы полюбоваться красками Сада в твоей тени или увидеть их отражение в твоих глазах... чтобы послушать рассказы о твоих новых безрассудствах или безумных идеях. И к тому же мы ведь с тобой братья. Разве не так?

— Но почему в таком случае ты не помог мне в прошлый раз, когда я оказался в беде, обменявшись телами со смертным?

— Ты ни за что не простишь меня, если я скажу правду.

— И все-таки скажи.

— Потому что я молился за тебя и надеялся, что мои мольбы будут услышаны, что ты останешься в смертном теле и спасешь свою душу. Мне казалось, что тебе было даровано величайшее благо: возможность вновь стать человеком. Я радовался этому до боли в сердце. И не хотел вмешиваться. Я просто не мог.

— Ты совсем как ребенок, причем очень глупый.

— Возможно.— Арман чуть пожал плечами.— Но мне кажется, что сейчас тебе вновь предоставлен шанс повлиять на судьбу собственной души. И тебе предстоит собрать все свои силы и проявить чудеса изобретательности. Ибо я не доверяю этому Мемноху, Лестат,— он страшнее любого из твоих прежних врагов, даже из тех, с кем пришлось сражаться, когда ты пребывал в смертном теле. На мой взгляд, Мемнох не может иметь ничего общего с раем. Не понимаю, почему тебя позволили втянуть во все это.

— Великолепный вопрос!

— Лестат, не ходи к Доре! — в который уже раз пытался уговорить меня Дэвид.— Вспомни! Если бы ты в тот раз послушался моего совета, он спас бы тебя от страданий и мук.

Ну, с этим его утверждением я готов был поспорить и много что возразить в ответ. Суть в том, что, последуй я тогда совету Дэвида, он, скорее всего, никогда бы не стал таким, как сейчас. А я не мог сожалеть о том, что по-прежнему вижу его рядом и в столь прекрасной форме, что он выиграл битву с Похитите-

лем Тел и в качестве трофея обрел великолепную плоть. Разве можно об этом сожалеть? Я не мог.

— Вполне возможно, что ты нужен этому дьяволу,— сказал Арман.

— Умоляю, не ходи к Доре! — очень серьезно повторил Дэвид.

— Я должен. А сейчас уже почти утро. Я люблю вас.

Они оба смотрели на меня — недоуменно, растерянно, недоверчиво, не зная, на что решиться.

Мне не оставалось ничего другого, кроме как покинуть их.

9

Едва наступил вечер, я проснулся и покинул свое убежище, отправившись на поиски Доры. Мне не хотелось встречаться ни с Арманом, ни с Дэвидом, ибо никто не мог помешать мне сделать то, что я должен был сделать.

Вопрос состоял только в том, каким образом я собирался выполнить задуманное. Мои друзья невольно сумели окончательно убедить меня кое в чем: в том, что я еще не сошел с ума и все, что происходило со мной в последнее время, не было плодом больного воображения. Частично, возможно, и да, но только частично.

Как бы то ни было, я твердо знал, как действовать в отношении Доры, и Арман с Дэвидом едва ли одобрили бы мой выбор.

Я уже достаточно хорошо изучил привычки и образ жизни Доры и потому вскоре встретил ее у выхода из телевизионной студии на Шартрез-стрит во Французском квартале. Она провела там почти весь день, записывая свое часовое шоу и встречаясь со слушателями. Я стоял возле дверей расположенного неподалеку от студии магазина в ожидании, пока она попрощается с последней из своих «сестер», а точнее, обожательниц. Все они были молоды, хотя уже далеко не юны, и твердо верили в возможность вместе с Дорой изменить этот мир. От них веяло бунтарским духом.

Наконец Дора осталась одна и направилась к своей оставленной на площади машине. На ней было изящное черное шерстяное пальто, шерстяные чулки и туфли на очень высоких каблуках, в которых она особенно любила танцевать во время

своих программ. В таком наряде, с маленькой шапочкой черных волос на голове она выглядела особенно эффектно и в то же время казалась слишком хрупкой и уязвимой для выживания в жестоком мире смертных мужчин.

Я догнал ее, подхватил под мышки, и, прежде чем она успела что-либо сообразить, мы уже стремительно взмывали верх. Естественно, она не видела меня и не понимала, что происходит, поэтому я склонился к самому ее уху и тихо шепнул:

— Вы со мной и в полной безопасности.

После этого я обнял ее и прижал к себе, защищая от ветра и любых неожиданностей, какие могли поджидать нас при полете с такой невероятной скоростью. Я старался подняться как можно выше, но постоянно прислушивался к тому, как дышит Дора и как бьется ее сердечко, ибо опасался причинить этой испуганной, взволнованной, полностью находившейся в моей власти женщине хоть малейший вред.

Я почувствовал, как она расслабилась в моих объятиях, а если быть точным, то просто не сопротивлялась, ибо по-прежнему мне доверяла. Такое отношение казалось мне удивительным — впрочем, не в большей мере, чем все остальное, что касалось Доры. Словно боясь смотреть по сторонам, она спрятала лицо у меня на груди. На самом деле это был единственный способ укрыть его от обжигающего ветра. Одним движением я распахнул пальто и полностью накрыл ее полой. Мы помчались дальше.

Наше путешествие длилось чуть дольше, чем я предполагал, но только потому, что я не рискнул лететь с таким хрупким грузом слишком быстро и высоко. Хотя в действительности такой полет был не более утомительным и опасным, чем на борту ревущего, отвратительно пахнувшего и готового в любой момент взорваться реактивного авиалайнера.

Менее чем через час мы уже стояли возле стеклянных дверей в холле Олимпийской башни. Дора, вздрогнув, очнулась в моих руках, как будто после глубокого сна. Да, конечно, она на какое-то время потеряла сознание, и в силу целого ряда физических и эмоциональных причин это было неизбежно. Но едва ее каблуки коснулись твердой поверхности пола, она моментально пришла в себя и удивленно огляделась. Ее огромные глаза, в которых застыло удивление, на миг задержались на моем

лице, а потом она медленно перевела взгляд на высившуюся через дорогу стену собора Святого Патрика.

— Пойдемте,— сказал я.— Я провожу вас туда, где находятся вещи вашего отца.

Мы направились к лифтам.

Она торопливо шла чуть позади меня, не спрашивая ни о чем и явно не испытывая ни малейшего страха, как будто все происходящее было лишь чудесным приключением. О такой готовности смертного безропотно подчиниться любой вампир может только мечтать. В действительности ничего подобного еще не случалось.

— У меня очень мало времени,— объяснил я уже в лифте.— Меня преследует какое-то существо, и я понятия не имею, что именно ему нужно. Но я должен был привести вас сюда. И прослежу, чтобы вы вернулись домой в целости и сохранности.

Потом я добавил, что, к сожалению, не слишком хорошо знаком с устройством здания, а потому не знаю, можно ли проникнуть в него со стороны крыши. Иначе мы непременно воспользовались бы другим входом. Это же надо! Мы менее чем за час пересекли из конца в конец целый континент и теперь взмывали вверх в этом громыхающем, вибрирующем, мерцающем лифте, который казался едва ли меньшим чудом, чем полет вампира...

Лифт остановился на нашем этаже. Я вложил ключ в руку Доры и проводил ее до двери квартиры.

— Откройте сами. Все, что находится внутри, принадлежит вам.

Чуть нахмурясь, она с мгновение смотрела на меня, потом небрежным жестом провела рукой по растрепавшимся на ветру волосам, вложила ключ в замочную скважину и открыла дверь.

— Сокровища Роджера...— со вздохом прошептала она, переступив порог квартиры.

Подобно опытному антиквару, она мгновенно узнала этот запах — неповторимый запах старинных икон и церковной утвари. Но когда взгляд ее упал на стоявшего в коридоре мраморного ангела, позади которого располагалась стеклянная стена, мне показалась, что она вот-вот потеряет сознание.

Дора отпрянула, словно ища у меня защиты, и буквально рухнула в мои объятия. Я вовремя успел ее подхватить и держал очень осторожно, кончиками пальцев, боясь причинить ей малейшую боль.

— Боже мой! — задыхаясь от волнения, прошептала она. Сердце ее бешено стучало, но это было молодое, здоровое сердце, которому под силу вынести еще более тяжелые нагрузки.— Мы здесь! И вы говорили мне правду!

Прежде чем я успел ответить, она торопливо высвободилась из моих рук и быстро прошла мимо ангела в первую, самую большую комнату. Чуть ниже уровня окна виднелись кончики шпилей собора Святого Патрика, а по всей комнате были разложены пластиковые пакеты, внутри которых легко угадывались формы упакованных в них распятий и статуй святых. На столе лежали книги Винкена, однако я не стал привлекать к ним внимание Доры. Не сейчас.

Она обернулась и устремила на меня внимательный, изучающий, оценивающий взгляд. Я остро ощущаю и точно определяю такие взгляды — они тешат мое тщеславие, а уж его-то у меня хоть отбавляй.

Наконец Дора пробормотала несколько слов по-латыни, однако я не сумел их разобрать и перевести.

— Что вы сказали? — переспросил я.

— Люцифер, Сын Утра,— прошептала она, не отводя от меня восторженного взгляда, и упала в стоявшее рядом большое кожаное кресло. Оно досталось нам вместе с остальной меблировкой квартиры и больше подходило для делового кабинета, чем для жилого помещения, но тем не менее было весьма удобным.

— Нет, я не тот, чье имя вы сейчас назвали. Я уже сказал вам, кем являюсь на самом деле, и не более того. А он, обладатель титула,— это мой преследователь.

— Дьявол?

— Да. А теперь выслушайте меня, я хочу рассказать вам все, от начала до конца, и попросить вашего совета. А тем временем...— Я огляделся. Да, вот он — шкаф с деловыми бумагами.— Ваше наследство... Все здесь. Состояние, о котором вы даже не подозревали. В целости и сохранности, чистое, зарегистрированное по всей форме в налоговых органах. Необходимая ин-

формация и разъяснения содержатся в черных папках. Ваш отец, умирая, завещал это вам, для организации церкви. И если вы отвергнете его дар, что ж... Однако не думайте, что своим отказом вы исполните волю Господа. Не забывайте, ваш отец мертв. Его кровь очистила деньги.

Верил ли я сам тому, что говорил? Не знаю. Во всяком случае, Роджер, несомненно, ожидал, что именно такими речами я попытаюсь убедить его дочь.

— Роджер просил меня сказать вам об этом,— добавил я, стараясь вести себя как можно увереннее.

— Я понимаю,— ответила Дора.— Но вы беспокоитесь совсем не о том, что действительно важно сейчас. Подойдите ближе, прошу вас, позвольте мне обнять вас. Ведь вы весь дрожите.

— Да, я и правда дрожу.

— Здесь очень тепло, но вы, похоже, этого совсем не чувствуете. Ну подойдите же.

Я опустился перед ней на колени и вдруг в каком-то порыве обнял ее, совсем как недавно Армана, и прижался головой к ее виску. Она была холодной, но никогда, даже в день своего погребения, она не будет такой ледяной, как я,— моя холодность не имела ничего общего и не шла ни в какое сравнение с человеческой. Я словно вобрал в себя жесточайшую зимнюю стужу и походил скорее на изваяние из пористого мрамора. Впрочем, наверное, я таковым и был.

— Дора... Дора... Дора...— беспрестанно повторял я.— Как он любил вас и как страстно мечтал, чтобы все в вашей жизни сложилось удачно... Дора...

Ее интуиция ничуть не уступала моей.

— Лестат, расскажите мне о дьяволе,— внезапно попросила она.

Я устроился у ее ног на ковре так, чтобы видеть ее лицо. Она сидела на самом краешке кресла — полы черного пальто распахнулись, открыв колени, концы золотистого цвета шарфика свободно свисали вниз; на бледном взволнованном лице ярким пятном выделялся румянец. Дора словно излучала магический свет и в то же время производила впечатление неземного создания — казалось, она не в большей степени человеческое существо, чем я сам.

— Даже вашему отцу не удалось в полной мере описать, как вы красивы,— сказал я.— Весталка... лесная нимфа...

— Так назвал меня отец?

— Но дьявол... Ах да, дьявол велел мне задать вам один вопрос. Он велел попросить вас рассказать правду о глазе дядюшки Микки.

Я только сейчас вспомнил о странном совете и, конечно же, даже словом не упомянул о нем в разговоре с Дэвидом и Арманом. Впрочем, не думаю, что это важно.

Мои слова явно произвели впечатление на Дору.

— Дьявол именно так и сказал? — Она чуть откинулась в кресле и выглядела очень удивленной.

— Он заявил, что это его дар. Он хочет, чтобы я помогал ему. Утверждает, что он не носитель зла и что его соперник и враг — Бог. Я все вам расскажу. А этот совет он дал мне в качестве своего рода дополнительного подарка, бонуса. Чтобы убедить меня в искренности своих слов и намерений.

Дора растерянно и смущенно покачала головой и прижала пальцы к вискам.

— Подождите-подождите. Правду о глазе дядюшки Микки? Вы уверены, что он произнес именно эти слова? А отец ничего не рассказывал вам о дядюшке Микки?

— Нет. Более того, ни в мыслях, ни в сердце вашего отца я не обнаружил и намека на что-либо подобное. Дьявол еще добавил, что Роджер не знал всей правды. Что бы это могло значить?

— Отец действительно не знал правды,— сказала Дора.— И так никогда и не узнал. Потому что его мать держала все в тайне. Микки был дядюшкой отца, а мне рассказали о нем родственники моей матери — Терри. Насколько я помню, суть вот в чем. Моя бабушка со стороны отца была богатой женщиной и владела большим красивым особняком на Сент-Чарльз-авеню.

— Да, я знаю этот дом. Роджер встретил там Терри.

— Все правильно. Но в молодости бабушка жила в бедности. Ее мать, как и многие ирландки, служила горничной в Садовом квартале. А дядюшка Микки был одним из тех веселых, беззаботных и легкомысленных людей, которых никто не принимает всерьез и которым совершенно наплевать на то, что о них думают окружающие.

Отец понятия не имел о том, какую жизнь вел его дядюшка. Мама рассказала мне обо всем, чтобы показать, каким глупцом был отец, и объяснить, что его напускная важность ровным счетом ничего не стоила, поскольку на самом деле он происходил из самых низов общества.

— Понимаю.

— Отец очень любил дядюшку Микки — тот умер, когда отец был еще мальчишкой. У дядюшки Микки были волчья пасть и стеклянный глаз. Я помню, как отец показывал мне его фотографию и рассказывал историю о потерянном глазе. Дядюшка Микки обожал фейерверки. И вот однажды, когда он в очередной раз забавлялся ими, одна из жестянок неожиданно взорвалась и попала ему прямо в глаз. Такова была версия отца, и я долго в нее верила. Дядюшку Микки я видела только на фотографии, поскольку и он, и бабушка умерли еще до моего рождения.

— Все правильно. А позже родственники матери рассказали вам совсем другую историю. Так?

— Мой дед со стороны матери был полицейским и отлично знал семью Роджера. Знал, что его отец был горьким пьяницей и дядюшка Микки тоже, хотя и в меньшей степени. В молодости Микки крутился среди букмекеров, работал так называемым «жучком», то есть добывал сведения о лошадях перед скачками. И вот однажды он утаил ставку, иными словами — присвоил деньги, которые должен был поставить на лошадь. К несчастью, лошадь выиграла...

— Я слушаю вас, Дора.

— Повторяю, дядюшка Микки был тогда еще очень молод. Можете себе представить, как он испугался. В общем, он сбежал и укрылся в баре «Корона» в районе Ирландского канала.

— На Мэгазин-стрит,— уточнил я.— Этот бар существует там уже много лет — не меньше ста, наверное.

— Люди букмекера, его верные прихвостни, заявились в бар и уволокли дядюшку Микки в подсобные помещения. Дед видел все собственными глазами. Он тоже был в баре, но сделать ничего не мог. Никто не мог. Да никто и не стал бы вмешиваться — не осмелился бы рискнуть. Но дед все видел. Они избивали Микки, пинали его ногами, сильно повредили ему верхнюю челюсть — вот почему впоследствии он так невнятно говорил.

В конце концов они выбили ему глаз. Мало того, они отшвырнули выбитый глаз в другой конец помещения и раздавили его ногами. Сколько бы раз дед ни рассказывал эту историю, он не уставал повторять: «Дора, глаз можно было бы спасти, если бы эти парни его не раздавили. Они растоптали его своими остроносыми ботинками».

Дора замолчала.

— И Роджер никогда не слышал эту историю? — спросил я.

— О ней сейчас не знает ни одна живая душа,— ответила Дора.— Кроме меня, конечно. Дедушка умер. Насколько мне известно, из всех, кто был свидетелем того случая, в живых не осталось никого. Дядюшка Микки умер в начале пятидесятых. Роджер очень любил дядюшку и часто брал меня с собой, когда навещал его могилу. Папа говорил, что, несмотря на стеклянный глаз и голос, звучавший как из бочки, дядюшку Микки любили все. То же самое говорили мне и родственники матери. У него было доброе сердце, что делало его всеобщим любимцем. В конце жизни он служил ночным сторожем и снимал комнаты на Мэгазин-стрит, как раз над булочной Баера. А умер в больнице от пневмонии, причем так скоропостижно, что никто практически даже не успел узнать о его болезни. Я уверена, что Роджер не знал правду о потерянном глазе дядюшки Микки. Будь ему известна эта история, он непременно мне ее рассказал бы.

Я сидел, обдумывая услышанное, а точнее, пытаясь нарисовать в своем воображении картину только что описанного происшествия. Разум Доры был накрепко закрыт, и мне не удавалось выудить из него хоть какие-то образы, но голос ее, когда она рассказывала о случае в баре, звучал совершенно искренне. Мне, как и любому, кто когда-либо гулял по знаменитой Мэгазин-стрит — этому памятнику временам расцвета ирландских поселений,— был хорошо известен бар «Корона». Приходилось встречаться и с бандитами в остроносых ботинках — такими же, как те парни, которые выбили и раздавили глаз Микки.

— Они наступили на него и буквально размазали по полу,— сказала вдруг Дора, словно прочитав мои мысли.— Дедушка не раз повторял: «Глаз можно было спасти, если бы они не растоптали его своими остроносыми ботинками».

Какое-то время мы оба сидели, не произнося ни слова.

— Но это ни о чем не говорит и ничего не доказывает,— первым нарушил молчание я.

— Это говорит о том, что вашему другу — или врагу — известны определенные тайны.

— Но не доказывает, что он дьявол,— возразил я.— И вообще, почему он выбрал именно эту историю?

— А что, если он сам при этом присутствовал? — По лицу Доры скользнула горькая улыбка.

Мы оба коротко рассмеялись.

— Вы сказали, что он дьявол, но не несет в себе зла,— напомнила Дора.

Вид у нее при этом был доверчивый и в то же время решительный.

Я чувствовал, что не ошибся, решив просить у нее совета.

Она тем временем продолжала пристально смотреть на меня изучающим взглядом и наконец попросила:

— Расскажите, что делал этот дьявол.

Я поведал ей все, от начала до конца. Пришлось признаться и в том, что я преследовал ее отца,— ибо я не помнил, говорил ли ей об этом раньше. Потом я подробно — так же как Дэвиду с Арманом — описал все, что со мной происходило, и как дьявол следовал за мной по пятам. А в завершение произнес те же слова, что и им: «Недремлющий разум и ненасытный характер». И это истинная правда. Я не знаю, откуда мне в голову пришла такая характеристика, но она совершенно справедлива».

— Повторите, пожалуйста,— попросила Дора.

Я повторил.

— Лестат... Возможно, моя просьба покажется вам неожиданной, даже абсурдной, но... Не могли бы вы заказать какую-нибудь еду? Или, быть может, вы сами раздобудете что-то. Мне необходимо как следует осмыслить ваши слова.

— Все, что пожелаете,— откликнулся я, вскакивая на ноги.

— Мне абсолютно все равно. Просто я должна подкрепиться, потому что со вчерашнего дня ничего не ела и не хочу, чтобы несвоевременный пост спутал мне все мысли. Кроме того, мне лучше побыть сейчас одной — помолиться, подумать, побродить по квартире среди отцовских сокровищ. Прошу вас, пойдите и принесите хоть что-нибудь. Уверена, демон не явится за вами раньше обещанного времени.

— Я рассказал вам все, поверьте. Больше я ничего не знаю. А еду я раздобуду — самую лучшую.

С этими словами я поспешил прочь из квартиры, чтобы выполнить ее поручение. Я вышел из здания как обыкновенный смертный и направился на поиски приличного ресторана, где можно было заказать на вынос полный обед и попросить упаковать его так, чтобы принести Доре еще горячим. В дополнение ко всему я купил несколько бутылок питьевой воды известной фирмы — в последние годы смертные словно помешались на чистой воде — и вернулся обратно с большим свертком в руках.

Когда лифт остановился на нашем этаже, до меня вдруг дошла вся необычность ситуации: я, двухсотлетний, исполненный гордыни, жестокий вампир, только что беспрекословно выполнил поручение смертной девушки единственно потому, что она просто попросила меня об этом.

Нет, не так. Были и иные причины! Ведь я похитил ее и, не спрашивая на то ее согласия, перенес за сотни миль от дома. Я очень нуждался в ней. Черт побери, я влюбился в нее!

Однако этот факт продемонстрировал мне и нечто другое. Он лишний раз подтвердил, что Дора действительно обладала силой и властью, зачастую свойственными святым, и могла подчинить других своей воле. Вот еще одна причина, заставившая меня отправиться за едой для нее, причем не только без возражений, но с радостной готовностью, как будто подобное поручение не могло доставить мне ничего, кроме удовольствия.

Вернувшись в квартиру, я разложил покупки на столе.

Воздух был насыщен ее ароматом, неповторимой смесью запахов, среди которых особенно выделялся сладкий запах менструальной крови.

Я изо всех сил старался подавить в себе желание как можно скорее насладиться вкусом этой крови.

Дора, чуть сгорбившись и крепко сцепив перед собой руки, сидела в кресле и невидящим взглядом смотрела прямо перед собой. Раскрытые папки из черной кожи лежали вокруг нее на полу. Похоже, теперь она знала истинные размеры своего на-

следства — во всяком случае, получила общее представление о нем.

Тем не менее она, казалось, потеряла к папкам всякий интерес и даже не удивилась моему возвращению.

Словно в полусне, она медленно подошла к столу. А я тем временем лихорадочно искал на кухонных полках посуду и приборы, пока мне не удалось наконец найти китайскую тарелку и более-менее пристойные ножи и вилки из нержавеющей стали. Потом я открыл крышки судков с еще дымящейся едой: мясом, овощами, чем-то еще — кажется, с какой-то сладкой смесью вроде салата. Все это было мне совершенно незнакомо и чуждо, как будто я сам ни разу не наслаждался подобной пищей, пребывая в смертном теле,— но мне не хотелось и вспоминать о том злосчастном эксперименте.

— Спасибо,— с отсутствующим видом поблагодарила Дора, даже не взглянув в мою сторону.— Очень мило с вашей стороны.

Откупорив бутылку с водой, она залпом жадно осушила ее.

Пока Дора пила, я не мог глаз отвести от ее горла. Все последнее время я не позволял себе думать о ней иначе как с любовью, но ее запах буквально сводил меня с ума.

«Да, это так,— признавался я себе,— но ты дал клятву. И если не можешь контролировать и держать в узде свои желания, то лучше уйди».

Дора ела без аппетита, почти механически. Наконец она подняла на меня взгляд.

— О, простите меня. Садитесь, пожалуйста. Вы ведь, кажется, не употребляете такие продукты? Если не ошибаюсь, ваш организм требует пищи иного рода?

— Совершенно верно,— ответил я.— Однако я с удовольствием посижу с вами.

Я сел рядом, стараясь не смотреть на нее и по возможности не обращать внимания на источаемый ею аромат. Устремив взгляд в расположенное напротив окно, я видел за ним лишь сплошную белизну — создавалось впечатление, что Нью-Йорк исчез, бесследно растворился в воздухе, но, скорее всего, на улице по-прежнему густо валил снег.

Дора расправилась с обедом всего лишь за шесть с половиной минут. Никогда не встречал человека, способного так быстро есть. Собрав со стола посуду, она отнесла ее в кухню. Мне с трудом удалось уговорить упрямицу не заниматься грязной работой и пришлось едва ли не силой привести ее обратно в комнату. Таким образом я вновь получил возможность прикоснуться к ней, ощутить тепло и хрупкую нежность ее рук.

— Так что вы мне посоветуете делать?

Она села и не то задумалась вновь, не то просто старалась собраться с мыслями.

— Мне кажется, став союзником этого существа, вы практически ничего не потеряете. Ведь совершенно очевидно, что при желании оно в любой момент может уничтожить вас. И возможностей для этого у него предостаточно. Даже после встречи с ним в собственном доме вы спокойно легли спать, зная о том, что ему, то есть тому человеку, в чьем образе он явился, прекрасно известно, где находится ваше тайное убежище. Очевидно также, что вы не испытываете перед ним ни малейшего страха. И даже в его мире у вас достанет сил, чтобы оттолкнуть его от себя. Так чем вы рискуете, согласившись сотрудничать с ним? Предположим, он действительно может взять вас с собой в рай или в ад. Но суть в том, что у вас по-прежнему остается возможность отказать ему в помощи. Так? В любой момент вы можете сказать ему, что, выражаясь его же языком, не разделяете его точку зрения на природу вещей.

— Да, вы правы.

— Я хочу сказать, что, даже если вы согласитесь увидеть то, что он жаждет вам показать, это отнюдь не означает, что вы признаете и принимаете его самого. Согласны? Напротив, он берет на себя своего рода обязательство: заставить вас взглянуть на все его глазами. Так, во всяком случае, мне кажется. Кроме того, вы нарушаете все правила и законы, какими бы они ни были.

— Значит, дело не в том, что он стремится обманом заманить меня в ад? Вы это имеете в виду?

— Вы серьезно? Неужели вы думаете, что Господь позволил бы обманом заманивать людей в преисподнюю?

— Но я не человек, Дора. Я тот, кто я есть, и не более. Поверьте, я не осмеливаюсь проводить какие-либо параллели между собой и Богом. Речь лишь о том, что я носитель зла и порока. Я — воплощение зла. Не спорьте, я знаю, что это так. С тех са-

мых пор, как я стал питаться человеческой кровью. Я — Каин, убийца собственных братьев.

— В таком случае Господь мог в любой момент отправить вас в ад. Почему же Он этого не сделал?

— Меня самого всегда интересовал тот же вопрос. Я и сам хотел бы знать, почему до сих пор Господь не отправил меня в преисподнюю.— Я покачал головой.— Как бы мне хотелось знать... Однако... Насколько я понял, вы утверждаете, что в данном случае мы оба обладаем определенными возможностями и достаточной силой?

— Несомненно.

— И что вера в возможность какого бы то ни было обмана не более чем суеверное заблуждение с моей стороны?

— Именно так. Если вы попадете в рай, если побеседуете с Господом...

Дора вдруг замолчала.

— А вы сами? — спросил я.— Вы сами последовали бы за ним, скажи он вам, что не несет в себе зла, что он соперник самого Господа Бога и способен изменить ваш взгляд на порядок вещей?

— Не знаю,— ответила Дора.— Возможно. Я приняла бы решение, исходя из собственного опыта. Но это было бы мое решение. И вполне возможно, что я бы согласилась.

— В том-то и дело! Это было бы *ваше* решение! Неужели я сам теряю собственную волю? И разум?

— Мне кажется, вы в полной мере обладаете и тем и другим. А кроме того — невероятной сверхъестественной силой.

— Скажите, вы ощущаете присутствие во мне злого начала?

— Нет. Вы знаете, что слишком прекрасны для этого.

— Но вы же должны видеть и чувствовать внутри меня нечто отвратительное: нравственную испорченность, зло, жестокость, в конце концов.

— Вы просите утешения, сочувствия. Однако я не могу дать вам ни того ни другого,— покачала головой Дора.— Потому что не чувствую в вас ничего подобного. Я верю всему, что вы мне рассказали.

— Почему?

Она надолго задумалась, потом встала и подошла к стеклянной стене.

— Я обратилась к сверхъестественным силам,— наконец заговорила она.— И попросила послать мне знамение.

— И вы полагаете, что мое появление могло быть их ответом?

— Возможно.— Она обернулась и посмотрела на меня в упор.— Речь не о том, что все это происходит только из-за Доры, только потому, что Дора так захотела. К тому же это происходит с вами. Но я просила о знамении, и мне было даровано несколько чудесных событий... О да, я верю вам, верю столь же безоговорочно, как верую в существование Господа нашего и в Его великую доброту.

Аккуратно ступая среди разложенных на полу папок, она направилась в мою сторону.

— Вы же понимаете, что никому не дано знать, почему Господь позволяет существовать злу.

— Да.

— Равно как не дано знать истоки этого зла. Но миллионы людей во всем мире — людей верующих, будь то мусульмане, евреи, католики или протестанты,— миллионы потомков Авраама оказываются втянутыми в истории и махинации, становятся жертвами тайных замыслов, в которых присутствует зло и действует тот самый дьявол или какой-то иной, выражаясь языком вашего друга, соперник и противник Господа.

— Да, он употребил именно эти слова: соперник и противник.

— Я верю в Бога,— сказала Дора.

— И полагаете, что я должен поступать так же?

— А что вы теряете, обретая веру? — вопросом ответила она на мой вопрос.

Я промолчал.

Дора в задумчивости ходила по комнате. Черные волосы локонами падали на щеки, стройные ноги в черных колготках казались чересчур тонкими и хрупкими. Она давно уже сбросила с себя черное пальто, но только сейчас я обратил внимание, что на ней лишь черное платье из тонкого шелка. Я вновь остро ощутил запах ее крови — таинственный аромат женщины.

Я отвел глаза.

— В отличие от вас мне есть что терять в подобных обстоятельствах,— заговорила она.— Если я верую в Бога, а Бога нет,

это может стоить мне жизни. И на смертном одре я вдруг пойму, что упустила предоставленную мне возможность познать нечто единственно стоящее и реальное во всей вселенной и что другого шанса у меня уже никогда не будет.

— Да, вы правы, примерно такие мысли посещали и меня в те времена, когда я еще был человеком. Я не желал впустую тратить свою жизнь, веруя в то, что не подлежит доказательству и должно приниматься как само собой разумеющееся,— хотелось увидеть, ощутить и попробовать на вкус все, что мне дозволено будет самому познать в этом мире.

— Именно так. Однако, видите ли, сейчас ваше положение отличается от моего. Вы вампир. С точки зрения теологии — демон. Вы не можете умереть естественной смертью и обладаете собственной силой и возможностями. Следовательно, у вас есть преимущество.

Ее слова заставили меня задуматься — мне и самому приходили в голову подобные мысли.

— Вам известно, что произошло в мире сегодня, в течение одних только суток? — спросила Дора.— Мы всегда начинаем свою программу с краткой сводки новостей. Знаете ли вы, сколько людей умерло сегодня в Боснии? А в России? А в Африке? Сколько произошло перестрелок и совершено убийств?

— Я понимаю, что вы имеете в виду.

— Я имею в виду, что это существо едва ли обладает достаточной силой, чтобы обманом увлечь вас куда-либо. А потому идите с ним. Позвольте ему показать вам то, что было обещано. И если я не права... если вас действительно обманным путем заманят в ад... Что ж, значит, я допускаю страшную ошибку...

— Нет, это не ошибка, это будет вашей местью за смерть отца, и не более. Однако я согласен с вами. Уловки в таком деле неуместны. Я живу и действую согласно собственной интуиции и, если хотите, инстинктам. К тому же... Хочу сказать еще кое-что о Мемнохе-дьяволе — возможно, мои слова вас удивят...

— Что он вам нравится? Знаю. Я поняла это с самого начала.

Но как такое могло случиться? Ведь я не люблю даже себя самого. Естественно, я принимаю себя таким, каков я есть, и останусь преданным себе до последнего своего часа. Но я себя не люблю.

— Прошлой ночью вы говорили, что, если возникнет нужда, мне достаточно только позвать вас, хотя бы мысленно, достаточно обратиться к вам в душе...

— Да, правильно.

— Вы можете сделать то же самое. Если вы последуете за этим существом и я вам понадоблюсь — только позовите. Позвольте я выражусь иначе: если вам недостанет силы воли или не будет возможности самостоятельно выйти из трудного положения, если потребуется мое вмешательство — пошлите мне свой призыв. И я его непременно услышу. Я буду молить небеса — не о справедливости, нет, о милосердии к вам. Вы мне обещаете?

— Конечно.

— Что вы намерены делать сейчас?

— Провести с вами оставшееся время и позаботиться о решении ваших проблем. Я намерен обратиться к своим многочисленным смертным союзникам и помощникам, чтобы быть совершенно уверенным в том, что у вас не возникнет ни малейших затруднений с наследством, прежде всего со всеми этими сокровищами.

— Но отец уже позаботился обо всем, поверьте. Он очень искусно скрыл все следы.

— Вы убеждены?

— Отец, как обычно, проделал это великолепно. Он сделал так, что его враги получат гораздо больше, чем я, и им не будет никакой необходимости искать еще кого-либо. Как только станет известно о смерти Роджера, они со всех сторон налетят на оставшийся после него капитал и примутся рвать на части все движимое и недвижимое имущество.

— Вы не сомневаетесь, что все произойдет именно так?

— Ничуть. Будет лучше, если нынешней ночью вы уладите собственные дела. Не стоит беспокоиться обо мне. Позаботьтесь о себе и как следует подготовьтесь, если вы решились пуститься в это путешествие.

По-прежнему сидя возле стола, я долго не отрываясь смотрел на Дору, которая стояла спиной к стеклянной стене, и мне вдруг показалась, что передо мной картина, нарисованная черной тушью. Единственным белым пятном оставалось ее лицо.

— Действительно ли Бог существует, Дора? — прошептал я. Как часто задавал я тот же вопрос! Сколько раз я спрашивал об этом Гретхен, когда во плоти и крови лежал в ее объятиях!

— Да, Лестат, Бог существует,— твердо ответила Дора.— Не сомневайся. Возможно, ты молился Ему так долго и так громко, что Он наконец обратил на тебя внимание. Иногда я думаю, не промысел ли это Господень, не по своей ли воле затыкает Он уши, дабы не слышать наши жалобы.

— Вы останетесь здесь или хотите, чтобы я отнес вас обратно домой?

— Оставьте меня здесь. У меня нет никакого желания совершить еще одно такое же путешествие. До конца дней своих я буду пытаться вспомнить его во всех деталях и полагаю, что мне едва ли удастся когда-нибудь полностью восстановить его в своей памяти. Я хочу остаться здесь, в Нью-Йорке, рядом с вещами отца. Что же касается денег... Вы выполнили свою миссию.

— Так вы согласны принять эти сокровища? И деньги?

— Да, конечно. Я принимаю наследство. И сохраню столь дорогие сердцу Роджера книги — сохраню, чтобы когда-нибудь, когда наступит подходящий момент, продемонстрировать их всем. Книги горячо любимого им еретика Винкена де Вайльда.

— Быть может, вам еще что-нибудь от меня нужно?

— Как вы... Как вам кажется, любите ли вы Господа?

— Ни капельки.

— Как вы можете так говорить?

— А за что? — спросил я.— Как может вообще кто-то Его любить? Вспомните, что вы сами только что рассказывали мне о событиях в мире! Разве вы не понимаете, что в наши дни Его ненавидят все? Суть не в том, что Господь мертв. Суть в том, что в двадцатом столетии Его ненавидит все человечество. Я, во всяком случае, думаю так. Вполне вероятно, что Мемнох старался сказать мне именно это.

Мои слова потрясли Дору и привели ее в замешательство. Она нахмурилась, и я почувствовал, до какой степени она разочарована и как в то же время переполнено сочувствием ее сердце. Она хотела было сказать что-то, но вместо этого взмахнула руками, словно пытаясь поймать из воздуха невидимые глазу

цветы и продемонстрировать мне их красоту. Не знаю, правильно ли я понял этот жест.

— Да, ненавижу Его,— повторил я.

Дора перекрестилась и молитвенно сомкнула ладони.

— Вы молитесь обо мне? — спросил я.

— Да. Если я никогда больше не увижу вас, если впредь не получу ни малейшего свидетельства вашего существования и того факта, что вы были здесь, рядом со мной, если ничто не подтвердит сказанного вами сегодня, я все равно не буду прежней. И это благодаря вам. Вы стали для меня своего рода чудом — лучшим доказательством из всех, какие когда-либо получали смертные. Доказательством не только наличия в нашей жизни сверхъестественного, таинственного и чудесного, но и, что самое главное, доказательством справедливости того, *во что я верю*.

— Понимаю,— с улыбкой откликнулся я. В ее словах было столько логики и... правды, что мне действительно оставалось только искренне улыбнуться и покачать головой.— Мне так не хочется покидать вас, Дора.

— Идите же! — воскликнула она. Пальцы ее вдруг сжались в кулаки, и в голосе прозвучала неожиданная ярость: — Спросите у Бога, чего Он хочет от нас! Вы правы — мы действительно Его ненавидим!

Глаза ее гневно сверкнули, но лишь на мгновение, и когда они обратились на меня, в них не было ничего, кроме соленых слез, от которых эти прекрасные глаза казались еще больше и ярче, чем прежде.

— Прощайте, моя дорогая,— прошептал я, чувствуя, как все внутри буквально разрывается от невероятной боли.

На улице по-прежнему валил снег.

Двери собора Святого Патрика были наглухо заперты. Я остановился перед ведущими в него каменными ступенями и, задрав голову, смотрел на Олимпийскую башню, гадая, видит ли сейчас Дора, как я мерзну здесь, под окнами, и как медленно и красиво ложится на мое лицо снег, не способный причинить мне даже малейший вред.

— Ну ладно, Мемнох,— произнес я вслух,— нет смысла тянуть время. Если ты не изменил своего решения, приходи — сейчас, немедленно.

И в то же мгновение я услышал шаги.

Они эхом отзывались на пустынной Пятой авеню, отдавались от стен ужасных Вавилонских башен.

Я вытянул свой жребий...

Вокруг не было ни единой живой души.

— Мемнох-дьявол! Я готов! — во весь голос крикнул я.

Я буквально умирал от ужаса.

— Докажи мне истинность своих целей и намерений! — вновь прокричал я.— Ты обязан это сделать!

Шаги слышались все громче и громче. О, этот дьявол проделывал лучший из своих фокусов!

— Помни,— в который уже раз обратился я к нему,— ты должен заставить меня взглянуть на все твоими глазами! Таково было твое обещание!

Ветер усиливался, однако я не мог определить, с какой стороны он дул. Огромный город казался пустым и замерзшим — ледяным, как могила. Моя могила... Снег вихрем кружился возле стен собора, становился все гуще и гуще... Башни исчезли...

— Прекрасно, возлюбленный мой.— Голос раздался возле самого моего уха. Он возник словно из ниоткуда, но звучал ласково и душевно.— Мы приступаем немедленно...

10

Мы оказались в центре воздушного вихря и летели словно по туннелю, но нас окружала такая тишина, что я слышал собственное дыхание. Мемнох обхватил меня и тесно прижимал к себе — я отчетливо видел его профиль и ощущал прикосновение волос к своей щеке.

Теперь он выглядел уже не как человек — рядом со мной был гранитный ангел, и его огромные крылья, концы которых терялись где-то во мгле, обнимали нас, защищая от ветра.

Пока мы взмывали все выше и выше, презрев все законы земного притяжения, я неожиданно сделал два немаловажных открытия. Первое заключалось в том, что я отчетливо осознал присутствие тысяч и тысяч душ. Они окружали меня со всех сторон. Я называю их душами, но на самом деле видел одни только неясные формы и очертания — некоторые едва просматривались, некоторые лишь отдаленно походили на людей, а иногда это были всего-навсего отдельные лица. И тем не менее все они, несомненно, обладали собственной индивидуальностью. Порой до меня слабо доносились их голоса — шепоты, крики, вой и стенания... Эти звуки не резали мне слух, как то бывало прежде, но я безошибочно различал их и явственно ощущал в них боль и страдание.

Мы продолжали стремительно взмывать по спирали, словно вокруг какой-то невидимой оси. Время от времени туннель сужался настолько, что мне казалось, будто скопление призрачных образов вот-вот приблизится к нам вплотную, однако окружающее пространство вновь становилось шире, и расстояние между нами и призраками увеличивалось.

Вторым открытием было изменение в облике самого Мемноха: он постепенно утрачивал темные краски, как будто кто-то вытягивал из него прежнюю черноту. Его лицо и одежды посветлели и даже казались полупрозрачными, козлиные копыта исчезли, уступив место обыкновенным, но очень крупным человеческим ступням. Иными словами, мрачное, словно сотканное из мутного густого тумана гранитное существо превратилось в гибкое, теплое, живое создание, обладавшее способностью пропускать сквозь себя и одновременно излучать свет.

В голове моей роились какие-то слова, отрывки из древних надписей и пророчеств, строки стихов, перед глазами проносились видения, но анализировать все это, пытаться осознать смысл и запомнить времени не было.

Мемнох заговорил со мной. Его голос нельзя было назвать голосом как таковым в физическом смысле этого слова, однако я слышал каждую произнесенную им фразу совершенно явственно, и это была все та же, лишенная интонаций и какого бы то ни было акцента, речь человека, недавно появившегося в моей комнате:

— С некоторых пор стало довольно сложно возноситься на небеса без хотя бы небольшой предварительной подготовки, поэтому тебя, возможно, шокирует и смутит многое из того, что предстоит увидеть. Но если ты не увидишь все это в первую очередь, то рискуешь испытать некоторые затруднения в ходе наших дальнейших бесед — вот почему я несу тебя к самым вратам. Будь готов к тому, что смех, который ты услышишь, на самом деле вовсе не смех. Это веселье и радость. Смех в данном

случае единственно возможная форма их звукового выражения — только через него ты можешь физически ощутить и осмыслить всю силу такого восторженного состояния.

Едва он закончил объяснение, как мы оказались в саду, на мостике через какой-то водный поток. Яркий свет ударил мне в глаза, и я вынужден был на несколько мгновений крепко зажмуриться. Меня охватил страх, ибо я решил, что солнце — то самое солнце, которое должно было спалить меня, вампира, превратить в огненный факел и уничтожить навеки,— наконец нашло свою жертву.

Однако этот возникший словно из ниоткуда всепроникающий свет оказался милосердным, ласковым и абсолютно безвредным. Слегка приподняв веки, я увидел, что мы стоим возле все того же водного потока, по обоим берегам которого неисчислимое множество других созданий приветствуют друг друга, обнимаются, разговаривают, плачут и что-то кричат. Как и чуть ранее, все они выглядели совершенно по-разному. Одни казались сотканными из плоти и ничем не отличались от тех людей, которых я еще совсем недавно встречал на улицах городов, другие представляли собой не более чем колеблющееся в воздухе скопление мельчайших фрагментов и частиц, третьи — одни гигантские лица... Были среди них и существа абсолютно прозрачные и даже невидимые, но я остро ощущал их присутствие.

Пространство сада не имело границ. Лучи света играли в сверкающих струях воды. Трава казалась ослепительно зеленой и такой свежей, как будто вырастала прямо на наших глазах, оживала в мультфильме или возникала на холсте после каждого мазка кисти художника.

Я обернулся к Мемноху и буквально вцепился в него, одновременно стараясь получше рассмотреть его в новом, просветленном обличье. Передо мной была полная противоположность прежнему темному ангелу, однако черты лица отличались все той же гранитной твердостью, а взгляд оставался грозным. Взгляните на ангелов Уильяма Блейка и вы поймете, что я имею в виду. В этом ангеле не было и намека на простодушие, чистоту и невинность.

— Ну а теперь нам пора войти,— произнес он.

Я невольно впился в него еще крепче, на этот раз обеими руками.

— Ты хочешь сказать, что это и есть рай?!! — воскликнул я. Слова мои прозвучали словно где-то внутри, на некоем подсознательном уровне, и предназначались лишь Мемноху.

— Нет,— с улыбкой ответил он и повел меня дальше по мостику.— Как только мы пройдем внутрь, тебе придется собрать все свои силы. Пойми, необычен уже сам факт, что ты находишься в своем собственном земном теле. Ты будешь ошеломлен и буквально переполнен чувствами. Тому, кто не умер, не превратился в ангела или не стал моим заместителем — а именно своим заместителем я тебя и желаю сделать,— практически не по силам вынести то, что тебе предстоит увидеть.

Времени на споры не оставалось. Мы уже подходили к концу моста, и перед нами распахивались огромные ворота в стене, которая была настолько высокой, что верхний край ее невозможно было разглядеть.

Звуки обрушились со всех сторон и буквально поглотили нас. Это и вправду был смех — однако смех необычный: он накатывал прозрачными, переливающимися волнами и был на удивление певучим, мелодичным, как если бы те, кто смеялся, одновременно во весь голос исполняли прекрасные гимны.

То, что предстало моим глазам, поражало не меньше.

Волшебную красоту, очарование и атмосферу места, в котором мы оказались, невозможно описать никакими словами. Мало того, здесь не было ни клочка свободного пространства, повсюду царила суета, кипела какая-то бурная деятельность. Ничего подобного мне еще не приходилось видеть, и мне не хватит эпитетов, чтобы в полной мере передать свои впечатления.

Люди, люди, люди... Их было так много, что невозможно сосчитать. Наполненные светом и одновременно сохранившие человеческий облик — то есть я хочу сказать, что у всех у них были руки, ноги, сияющие счастьем лица,— они передвигались с места на место, группами и в одиночку прогуливались по тропинкам, встречались, обнимались, расходились в разные стороны и вновь собирались вместе, держали друг друга за руки... На всех были самые разнообразные одежды, хотя, казалось, они не имели в их глазах ровно никакого значения.

Я оглядывался по сторонам и вокруг и везде видел невероятное множество созданий — беседующих между собой, произносящих ни к кому явно не обращенные монологи, обменивающихся чем-то, целующихся, бросающихся в объятия друг к другу, танцующих... То здесь, то там возникали новые группы, они увеличивались, пополняясь все новыми и новыми людьми, потом вдруг словно рассыпались, чтобы собраться в другом месте...

Это сочетание кажущейся беспорядочности и одновременно вполне определенного порядка производило поистине мистическое впечатление. Происходящее ни в коем случае нельзя было назвать хаосом. Равно как не возникало и ощущения неразберихи или замешательства. Царившая вокруг атмосфера не имела ничего общего с шумом и грохотом большого города. Скорее я бы сказал, что создавалось ощущение веселого ожидания окончательного результата некоего заключительного и очень важного собрания. Под словом «заключительное» я подразумеваю собрание, призванное принять чрезвычайно ответственное решение, собрание, все участники которого становятся свидетелями непрерывно происходящего чуда и с пониманием относятся к явленным им откровениям, в ожидании которых они прогуливаются по холмам и долинам, праздно сидят на траве, бродят по тропинкам в глубине густого леса или укрываются в странного вида зданиях, словно вырастающих одно из другого,— подобной архитектуры на земле мне видеть не доводилось.

Должен сказать, что эти здания ничуть не походили на жилые дома или дворцы — чрезвычайно просторные, с обилием лестниц и разветвленной сетью коридоров, плавно переходящих один в другой, все постройки были наполнены тем же ярким светом, что и сад. И в то же время все они отличались богатством разнообразных орнаментов и украшений, причем столь замысловатых, что я готов был хоть всю жизнь рассматривать и изучать буквально каждое из них.

Вынужден повторить, что у меня нет слов, чтобы в общих чертах описать все, мной увиденное. А потому попытаюсь выразить свои чувства по порядку, хоть в какой-то последовательности. Мне придется выбирать отдельные части поистине безграничного пространства, дабы поделиться собственными — быть

может, ошибочными — впечатлениями и таким образом постепенно пролить свет на всю картину в целом.

Там были арки, башни, просторные залы, галереи, сады, огромные поля, леса и водные потоки... Я постепенно продвигался вперед, минуя одно строение за другим, пересекая сменяющие друг друга ландшафты. И все это время рядом со мной оставался Мемнох — он крепко держал меня, ни на секунду не ослабляя хватку. И каждый раз, когда взгляд мой задерживался на какой-нибудь потрясающе красивой скульптуре, на клумбе с великолепными цветами или на гигантском дереве, устремившемся вершиной в безоблачную синь над нашими головами и я останавливался или смотрел назад, Мемнох твердой рукой разворачивал меня в нужном направлении и заставлял идти дальше. Такое впечатление, что я был привязан к некоему тросу, предназначенному для обеспечения моей безопасности, и потеря его могла оказаться для меня роковой.

Сила моих ощущений и эмоций была столь велика, что я рыдал, хохотал, смеялся и плакал одновременно, а тело то и дело сотрясали конвульсии. Я прижимался к Мемноху, старался увидеть что-то за его плечом, крутился туда-сюда, словно непоседливое дитя, то и дело натыкался глазами на обращенные ко мне взгляды или сам пристально всматривался в те или иные людские скопища.

В какой-то момент мы вдруг очутились в просторном зале, где словно в нетерпеливом ожидании своих читателей лежало бесчисленное множество раскрытых книг, свитков и древних манускриптов.

— Боже! Если бы только Дэвид мог это увидеть! — невольно вырвалось у меня.

— Можешь не смотреть, ибо ты все равно ничего не запомнишь.— С этими словами Мемнох еще крепче — как будто едва начавшего ходить малютку — ухватил меня за руку и потащил дальше.

Я попытался запечатлеть в памяти строки из какой-то рукописи, содержавшей совершенно удивительные объяснения относительно каких-то явлений, связанных с атомами, фотонами, нейтронами и еще чем-то в том же духе... Но Мемнох оказался прав. Как только мы прошли мимо и вновь оказались посреди бескрайнего сада, все сведения мгновенно улетучились

из моей головы. Я едва не потерял равновесие и вынужден был опять прильнуть к Мемноху.

Опустив взгляд, я увидел возле самых своих ног необыкновенно прекрасные цветы. Не знаю, как описать, но, наверное, все цветы на земле должны стремиться к достижению столь совершенной красоты лепестков и сердцевин, не говоря уже о богатейшей гамме оттенков — таких ясных и чистых, что я засомневался в их принадлежности к привычному для нас спектру.

Точнее говоря, я полагаю, что известный нам цветовой спектр нельзя считать пределом. Видимо, существуют какие-то иные законы. А быть может, все дело в том, что во мне вдруг открылся новый дар: возможность восприятия таких комбинаций оттенков, каких не существует в земных условиях.

Смех, пение, обрывки разговоров неожиданно зазвучали столь громко, что практически заглушили во мне все остальные чувства. Несмотря на то что ослепительный свет по-прежнему озарял все вокруг и делал максимально явственной каждую мелочь, я словно лишился зрения и перестал различать детали.

— Сапфировый цвет! — выкрикнул я, стремясь дать определение зеленовато-синему оттенку огромных листьев, которые колыхались возле самых наших лиц.

Мемнох улыбнулся и одобрительно кивнул, словно подбадривая меня, и тут же протянул руку, чтобы пресечь мои попытки потрогать на ощупь красоты рая.

— Но разве своим прикосновением я нанесу им хоть малейший ущерб?!! — недоуменно воскликнул я.

Сама мысль о том, что кто-то может повредить великолепные стены из кварца и горного хрусталя, или взмывающие в бесконечность башни и шпили, или усыпанные диковинными цветами и фруктами, увитые виноградными лозами ветви деревьев, показалась мне совершенно невероятной.

— Нет-нет,— поспешил я заверить своего провожатого,— ни за что на свете я не причиню им вреда.

Голоса, звучавшие вокруг, заглушали мой собственный голос, и тем не менее он слышался очень отчетливо.

— Смотри! — Мемнох силой повернул мою голову так, чтобы я не прятал лицо у него на груди, а обратил взгляд на неисчислимое множество окружавших нас людей.— Смотри на них! Смотри!

И вдруг мне открылось то, что оставалось до сих пор незамеченным. Все эти создания были самым тесным образом связаны между собой либо кровными, либо дружескими узами. Они собирались семьями, родственными кланами, группами единомышленников и, несомненно, хорошо знали друг друга. Мало того, бросалось в глаза их физическое сходство и его, так сказать, материальное воплощение. А в следующий момент я вдруг на миг увидел, что на всем обозримом пространстве они составляют единую цепь, то есть соприкасаются или кончиками пальцев, или локтями, или краешками ступней. Иными словами, кланы сливались в племена, представители племен внедрялись в неисчислимое множество других семей, а семьи, в свою очередь, объединялись, дабы образовать нации... И в результате великое братство племен и народов обретало очертания, вырабатывало определенные внутренние взаимоотношения и превращалось в видимое и ощутимое единство. Каждая личность внутри этого единства несла на себе отпечаток другой личности и, соответственно, оказывала влияние на остальных.

Чувствуя, что вот-вот потеряю сознание, я опустил веки. Голова закружилась. Мемнох поддержал меня и не позволил упасть.

— Смотри! Смотри еще! — приказал он, заставляя меня выпрямиться.

Однако я закрыл глаза рукам, ибо знал, что если брошу хоть еще один взгляд на окружавшее нас великое единство, то непременно упаду в обморок, ибо меня погубит острое ощущение собственной обособленности. Ведь каждый, кого я встречал до сих пор, тоже существовал словно сам по себе.

— Они все существуют сами по себе,— вскричал я, теснее прижимая ладони к глазам.

Вновь послышалось громкое пение, звуки его неистово взмывали ввысь, рассыпались и каскадом обрушивались на меня. Однако я почувствовал в них столь созвучные моим собственным чувствам ритмы и мелодии, что невольно запел сам.

Я пел вместе со всеми. Высвободившись из объятий Мемноха, я на несколько мгновений неподвижно застыл на месте, открыл глаза и отчетливо услышал, как мой голос в числе других улетает в просторы вселенной.

И все же моя песня была исполнена не только радости и торжества, но и страсти, жадного стремления к познанию. Она возникла во мне, ворвалась в душу, и я вдруг почувствовал, что вокруг нет никого, кто ощущал бы себя в опасности или испытывал неудовлетворенность, что в сердцах людей нет ни равнодушия, ни скуки. Все находились в постоянном движении, выражения лиц, равно как и очертания тел, то и дело менялись, однако ни о каком «неистовстве» или «безумии» не могло быть и речи.

Моя песня была, пожалуй, единственной печальной нотой в общем хоре, однако и она быстро обрела иную гармонию и стала походить скорее на псалом или церковное песнопение, а после сменилась гимном, исполненным восторга и благодарности.

Я вскрикнул. Точнее, выкрикнул одно только слово. И этим словом было слово «Бог!». Оно прозвучало не как признание существования Господа, мольба к Нему или призыв, а всего лишь как обыкновенное восклицание.

Мы стояли в дверном проеме. Перед глазами возникали все новые горизонты, и вдруг, в какой-то момент, я осознал, что внизу, за ближайшей к нам балюстрадой, простирается весь огромный мир.

Таким мне видеть его еще не приходилось — вся многовековая история мира, все тайны и секреты раскрылись как на ладони. Достаточно было перегнуться через балюстраду — и взору представали Эдем, древняя Месопотамия или римские легионы, продирающиеся сквозь непроходимые чащи лесов моей земной родины. Я мог воочию видеть, как величественный Везувий стремительно извергает смертоносные потоки лавы и засыпает пеплом Помпеи.

Я был уверен, что стоит мне своими глазами увидеть это — и наступит прозрение, все станет понятным, все вопросы отпадут сами собой; я почувствую запахи иных времен, их вкус...

Я бросился к балюстраде, но она словно отодвигалась все дальше и дальше... Сколько ни ускорял я свой бег, расстояние до нее не уменьшалось, а, напротив, скорее увеличивалось, и казалось, что преодолеть его невозможно. Неожиданно до меня дошло, что картина мира непременно окажется скрытой за дымовой завесой и окрасится пламенем пожаров и что людские

страдания навсегда уничтожат охватившее меня ощущение невыразимой радости. Да, конечно, так и будет. И все же... И все же я должен увидеть. Ибо я еще не умер окончательно. И не намерен пребывать здесь вечно.

Мемнох протянул ко мне руки, но я бегал быстрее него.

Величественное сияние вспыхнуло совершенно неожиданно, и источник его был, несомненно, значительно более горячим и мощным, чем источник того великолепного света, который до сих пор озарял все вокруг. Огромное, интенсивное магическое сияние росло, пока наконец мир, раскинувшийся внизу,— бескрайняя туманная картина вселенского ужаса и страданий — не побледнел и не предстал моим глазам застывшим подобием себя самого на грани воспламенения.

Мемнох оттащил меня назад и вскинул руки, чтобы прикрыть мне глаза, но я уже сам это сделал. Тогда он опустил голову и уткнулся лицом в мою спину.

До меня долетел его вздох — или стон, не знаю. Звук этот разнесся по всей вселенной и на миг заглушил и вопли, и смех, и пение, и даже скорбные стенания, доносившиеся из недр земных.

И вдруг я почувствовал, как мощные руки ослабли и отпустили меня.

Я взглянул вверх и в самом центре светового потока вновь увидел балюстраду и стоявшую возле нее одинокую фигуру.

Некто высокого роста стоял, опершись руками о перила и глядя вниз. Похоже, это был мужчина. Он повернулся, посмотрел на меня и раскрыл мне свои объятия.

Я сумел разглядеть темные волосы и глаза, отливавшие коричневым цветом, абсолютно правильные черты чистого, без изъянов лица. В устремленном на меня внимательном взгляде сквозило напряжение, а в пальцах рук чувствовалась немалая сила.

Их прикосновение заставило меня явственно ощутить твердость и одновременно хрупкость собственного тела, и я глубоко вздохнул. Я был на грани смерти. В тот момент я был готов перестать дышать и двигаться — и умереть.

Незнакомец подтянул меня почти вплотную к себе. Излучаемое им сияние соприкасалось с окружающим светом и рассеивалось в нем, отчего лицо мужчины словно озарялось изнутри,

а каждая черточка проявлялась все четче и четче. Я видел поры и тени на его смуглой, золотистой коже, морщинки и трещинки на губах.

А потом он заговорил... Тон был умоляющим, а голос, исполненный силы, мужественности и в то же время горя и страдания, звучал громко и молодо.

— Ты никогда не станешь моим врагом, Лестат, правда? Не станешь? Только не ты, Лестат, только не ты!

Господь! Боже мой!

Охваченный ужасом, я был силой вырван из Его рук, отторгнут от Него и от всего, что Его окружало...

Мы вновь оказались в центре воздушного вихря. Я бился в объятиях Мемноха, рыдал и всхлипывал на его груди. Рай исчез...

— Мемнох! Отпусти меня, Мемнох! Господь! Это был сам Господь Бог!

Однако Мемнох обхватил меня еще крепче и напряг все силы, намереваясь утащить вниз, подчинить себе и заставить наконец начать спуск.

Мы стремительно падали, и это было ужасно. Я был до такой степени парализован страхом, что не мог ни держаться за Мемноха, ни сопротивляться, ни делать что-либо вообще. Единственное, на что я был способен, это молча следить, как мимо проносятся потоки человеческих душ — одни воспаряли вверх, другие летели вниз. Все они провожали нас взглядами, а тем временем вокруг вновь постепенно сгущалась мгла, становилось все темнее и темнее. В конце концов я почувствовал, что воздух сделался влажным, наполнился знакомыми запахами, а вскоре мы мягко и бесшумно опустились на что-то.

Мы вновь очутились в саду, застывшем в безмолвии и очень красивом. Но это был земной сад. Несомненно земной. И я не испытал разочарования, увидев его запущенность, лабиринты тропинок и вдохнув его аромат. Напротив, я упал на траву и зарылся пальцами в землю. Она была мягкой и скрипела под ногтями. Я всхлипнул. Я готов был попробовать эту сырую землю на вкус.

Над нами сияло солнце — над нами обоими. Мемнох сидел рядом и наблюдал за мной. Его гигантские крылья постепенно бледнели. Теперь со стороны мы выглядели почти как обыкновенные люди — как двое мужчин, один из которых рыдал, распростершись на траве, а другой, огромный ангел с копной словно сотканных из света волос, застыл возле него в задумчивом ожидании.

— Ты же слышал, что Он мне сказал! — выкрикнул я, садясь. Мне страстно хотелось, чтобы голос прозвучал оглушительно, однако он оказался всего лишь в меру громким, не более.— Он сказал: « Ты никогда не станешь моим врагом»! Ты же слышал! Он назвал меня по имени!

Мемнох оставался совершенно спокойным и в образе светлого ангела казался, конечно же, несравненно более соблазнительным и пленительным, нежели в человеческом обличье.

— В том, что Он назвал тебя по имени, нет ничего удивительного. Он не хочет, чтобы ты помогал мне. Ведь я уже говорил, что выигрываю.

— Но тогда что же мы там делали? Как могли мы, Его соперники и враги, попасть в рай?

— Следуй за мной, Лестат, стань моим заместителем — и ты сможешь пребывать там, когда захочешь.

— Ты это серьезно? Именно *пребывать* там?

— Да, в любое время. Ты же знаком со Священным писанием. Я не претендую на авторство его сохранившихся отрывков, равно как и оригинального текста, но ты, конечно же, можешь бывать в раю и покидать его по собственному желанию. Ты не можешь принадлежать к числу его постоянных обитателей до тех пор, пока не искупишь все грехи и не будешь туда допущен. Но если ты встанешь на мою сторону, то ворота в рай будут открыты для тебя в любой момент.

Я силился понять смысл его слов, пытался вновь представить себе галереи, библиотеки с бесконечно длинными рядами книг и вдруг осознал, что картина получается весьма расплывчатой, что детали и подробности постепенно испаряются из памяти. Я не смог восстановить и десятую часть увиденного. Все, что я вспомнил тогда и помню сейчас, описано в этой книге. На самом деле видел я во сто крат больше.

— Но как возможно, что Он позволил нам войти в рай? — недоумевал я, пытаясь одновременно воскресить в памяти текст Священного писания. А ведь Дэвид в свое время говорил мне что-то о Книге Иова, о Сатане и о том, как Бог спрашивал у

него, где тот пропадал. И что-то еще об Элохиме и о Суде Божием...

— Все мы Его дети,— ответил Мемнох.— Хочешь узнать, с чего все началось, услышать рассказ о создании мира и о грехопадении? Или предпочитаешь просто вернуться и броситься в Его объятия?

— А что еще я могу там найти? — спросил я, хотя в глубине души уже знал ответ: ключ к пониманию того, о чем говорил Мемнох.

Кроме того, для проникновения туда требовалось еще что-то. Я не мог попасть на небеса просто так, и Мемноху это было прекрасно известно. Да, выбор у меня действительно был, но несколько иной: либо последовать за Мемнохом, либо вернуться на землю. Пропуск в рай не выдается кому попало — о том, чтобы ни с того ни с сего вернуться туда и броситься в объятия Господа, не могло быть и речи. Предложение Мемноха было чистой воды сарказмом.

— Ты прав,— подтвердил он.— И в то же время сильно ошибаешься.

— Я не хочу видеть ад,— неожиданно для себя самого заявил я, вставая и распрямляясь во весь рост.

Оглядевшись вокруг, я содрогнулся. Это был мой Сад Зла, заросший колючими виноградными лозами, уродливо искривленными деревьями, травой и дикими орхидеями, цепляющимися за изгибы покрытых мхом веток. Высоко над нашими головами в густой паутине листвы сновали птицы.

— Я не хочу видеть ад! — вновь прокричал я.— Не желаю!..

Мемнох молчал и словно что-то обдумывал.

— Ты хочешь знать причины, истоки происходящего? — спросил он наконец.— Хочешь или нет? Я был уверен, что именно ты — скорее, чем кто-либо другой на этом свете,— пожелаешь их выяснить. Я думал, что тебе как никому захочется знать все, до мельчайших деталей.

— Да, я хочу! — воскликнул я.— Конечно же хочу! Но... Но я сомневаюсь, что смогу...

— Я могу рассказать тебе все, что известно мне самому,— мягко сказал Мемнох, слегка пожимая могучими плечами.

Его волосы были гораздо глаже, пышнее и гуще, чем у людей, и отличались неземным блеском. Я увидел их корни, потому что

в тот самый момент они буквально у меня на глазах распрямились и сами собой упали назад, преобразуя растрепанную шевелюру в красивую прическу и открывая лоб. Его лицо с правильной формы носом, пухлыми губами, четко очерченными скулами и твердым, волевым подбородком казалось поистине ангельским.

Крылья его практически стали невидимыми. Только прищурив глаза и напрягая зрение, можно было различить их очертания и форму перьев, да и то лишь на каком-либо темном фоне вроде ствола дерева.

— Я не в состоянии размышлять здраво,— попытался объяснить я.— Понимаю, как ты разочарован, ибо считаешь, что допустил ужасную ошибку, сделав своим избранником труса. Но, повторяю, я не могу сейчас здраво мыслить. Я... Я видел Его. Он сказал мне: «Ты никогда не станешь моим врагом, Лестат». А именно это ты мне и предлагаешь! Ты привел меня к Нему, а потом утащил от Него прочь.

— С Его же позволения,— заметил Мемнох, слегка приподняв брови.

— Это правда?

— Конечно.

— Тогда почему Он обратился ко мне с такой просьбой? Почему Он так поступил?

— Потому что Он — Бог Воплощенный. А Бог Воплощенный в своем человеческом облике чувствует и страдает как человек. Он продемонстрировал тебе только эту сторону своей ипостаси, вот и все. Страдание! О да, страдание!

Мемнох бросил взгляд на небо и покачал головой, а потом нахмурился и глубоко о чем-то задумался. В этом облике лицо его не могло принять гневное выражение или исказиться иными отрицательными эмоциями.

— Но все же это был сам Господь Бог,— сказал я.

— О да,— кивнул он устало и чуть склонил голову набок.— Живой Господь Бог.

Мемнох отвернулся и устремил взгляд в гущу деревьев. Он не казался ни сердитым, ни раздраженным, ни даже усталым. И вновь мне подумалось, что в такой ипостаси он едва ли способен испытывать нечто подобное. Я догадался, что он прислушивается к звукам сада. Слышал их и я.

Я ощущал запахи животных, насекомых, пьянящие ароматы цветов джунглей — перегретых жарой соцветий-мутантов, которые часто появляются в густой листве тропических лесов. И вдруг до меня донесся человеческий запах.

Да, в лесу были люди! Мы оказались во вполне реальном и обитаемом месте.

— Здесь кто-то есть,— сказал я.

— Знаю.— Мемнох улыбнулся, и в его улыбке на этот раз промелькнула нежность.— Ты вовсе не трус. Так что прикажешь делать — поведать тебе обо всем или отпустить? Ты и так уже знаешь гораздо больше, чем миллионам других удается познать за всю их жизнь. И ты понятия не имеешь, что делать со своими знаниями, как существовать дальше и продолжать быть тем, кто ты есть... Однако тебе довелось собственными глазами — пусть ненадолго — заглянуть в рай. Так следует ли мне отпустить тебя? Разве ты не хочешь понять, почему я так отчаянно нуждаюсь в тебе?

— Да, я хочу это понять,— ответил я.— Но прежде и больше всего на свете я хочу понять, как мы, Его враги, могли стоять там бок о бок, как тебе, дьяволу, удается выглядеть так, как сейчас, и каким образом...— Я рассмеялся.— И каким образом мне удается обладать такой внешностью и при этом быть дьяволом — а ведь я был им всегда! Вот что я хочу узнать и постичь. За долгие годы существования мне не доводилось быть свидетелем нарушения эстетических законов. Красота, гармония, симметрия — вот те немногие законы, которые я всегда считал естественными.

Но мир, в котором они правят, я всегда называл Садом Зла, ибо они безжалостны и равнодушны к страданиям — к мучениям прекрасной бабочки, запутавшейся и бессильно бьющейся в паутине, или антилопы, лежащей посреди степи и все еще живой, в то время как львы уже окружают ее со всех сторон и лакают кровь, текущую из разорванного горла!..

— Согласен. Ты даже не представляешь, с каким пониманием и уважением я отношусь к твоей философии! — воскликнул он.— Ты говоришь моими словами.

— Однако там, наверху, взору моему предстало нечто иное,— продолжал я.— Передо мной раскинулся рай. Прекрасный до

совершенства сад — и он больше не был Садом Зла! Я видел его собственными глазами.

Я вновь разрыдался.

— Знаю, знаю...— произнес Мемнох, стараясь успокоить, утешить меня.

— Ладно...

Стыдясь собственной слабости, я снова распрямил спину. Потом порылся в карманах, нашел носовой платок и вытер им лицо. Клочок льняной ткани еще сохранил запах моего дома в Новом Орлеане. Естественно, ведь он лежал там в кармане пиджака вплоть до сегодняшнего вечера, до того момента, когда я вытащил его из шкафа и отправился на поиски Доры, чтобы похитить ее...

Неужели все это происходило в течение одной ночи?

На этот вопрос у меня не было ответа.

Прижав платок ко рту, я ощутил тепло и запахи Нового Орлеана — его земли и пыли.

Я промокнул губы.

— Ладно,— безжизненным тоном повторил я.— Если ты еще окончательно не проникся ко мне отвращением...

— Ни в коем случае! — откликнулся Мемнох тем вежливым тоном, какой был обычно свойствен Дэвиду.

— Что ж. Тогда поведай мне историю сотворения мира. Расскажи мне все. Продолжи свое повествование. Говори! Я...

— Что ты хотел сказать?

— Я *должен* знать!

Он поднялся на ноги и стряхнул травинки со своего свободного одеяния.

— Именно этих слов я от тебя и ожидал. Теперь мы действительно можем приступить...

11

— Если ты не против, давай прогуляемся по лесу и там поговорим,— предложил Мемнох.

— С удовольствием.

Он смахнул травинки с одежды — великолепно сотканного штапельного одеяния простого покроя. Такие широкие, похожие на мантию одежды люди носили как в недавние времена,

так и несколько тысячелетий назад. Телосложением он был крупнее меня — впрочем, как, наверное, и большинства людей,— внешне же соответствовал всем мифическим описаниям ангелов, за исключением разве что того факта, что крылья его по-прежнему оставались прозрачными, словно скрытыми за некой завесой, позволявшей им оставаться почти невидимыми,— скорее ради удобства, чем с какой-либо иной целью.

— Мы сейчас вне времени,— сказал он.— Пусть тебя не беспокоит присутствие в лесу всех этих мужчин и женщин. Они не способны нас видеть. Никто вообще не может нас сейчас видеть, вот почему я позволяю себе пребывать в таком обличье. Мне нет необходимости возвращаться в темное тело дьявола, которое Он считает наиболее подходящим для моих земных путешествий, или принимать избранный мною скромный облик обыкновенного человека.

— Ты хочешь сказать, что в ангельском обличье не мог появиться передо мной на земле?

— Нет. Мне пришлось бы долго спорить, доказывать, умолять, чтобы Он разрешил, и, откровенно говоря, я не желал этого,— пояснил Мемнох.— Такое обличье чересчур впечатляет, оно обеспечило бы слишком много очков в мою пользу. Принимая его, я выгляжу уж слишком хорошим. Однако только в таком виде я имею право появляться в раю — иным Он лицезреть меня не желает. Но я Его не виню. Если быть честным, путешествовать по земле легче и проще всего, если внешне ты ничем не отличаешься от обыкновенного человека.

Меня чуть покачивало, и потому я с готовностью ухватился за его руку, оказавшуюся неожиданно крепкой и теплой. Его тело казалось не менее плотным, чем тело Роджера перед окончанием нашей с ним встречи. А мое тело оставалось моим — в целости и сохранности.

Волосы мои растрепались — впрочем, в этом не было ничего удивительного. Я наспех провел по ним расческой, потом стряхнул с одежды пыль и травинки и убедился, что темный костюм, который я надел в Новом Орлеане, к счастью, в полном порядке. А вот рубашка оказалась порванной у воротника — возможно, я слишком поспешно пытался ее расстегнуть, когда не хватало воздуха. Так или иначе, но даже здесь, посреди

густо заросшего сада, больше похожего на лес, я не утратил присущего мне облика денди.

Мне еще не приходилось бывать в таких местах. С первого же взгляда бросалось в глаза, что это не обычный тропический лес,— он был менее густым, чем джунгли, хотя и казался столь же девственным.

— Вне времени...— повторил я слова Мемноха.

— Да, и мы можем гулять здесь, как нам вздумается,— подтвердил он.— Если тебе интересно знать, твоя эпоха наступит лишь через несколько столетий. Тем не менее, повторяю, люди, которых мы здесь встретим, не могут нас увидеть. Так что волноваться не о чем. Не тронут нас и звери. Мы всего лишь наблюдатели, не более, и не имеем возможности влиять на ход событий. Идем же. Я знаю эти дикие места как свои пять пальцев, и если ты последуешь за мной, то вскоре убедишься, что прогулка пройдет без затруднений. Мне необходимо рассказать тебе очень много. И окружающая обстановка вскоре начнет меняться.

— А твое тело... Это иллюзия? Или оно действительно вполне осязаемо и столь совершенно?

— Видишь ли, ангелы по природе своей существа невидимые,— пояснил Мемнох.— То есть мы нематериальны в том смысле, в каком материальны все физические тела на Земле или во вселенной. И в любом другом смысле, какой ты сам придаешь слову «материя». Однако в своих прежних догадках ты абсолютно прав. Все мы обладаем неким телом, основой, и способны из множества самых разнообразных источников притягивать к себе любую подходящую в тот или иной момент материю, дабы облечь ею основу и сформировать вполне функциональное тело, которое впоследствии можем разрушить или растворить по своему усмотрению.

Мы медленно, но легко шагали по траве. Мои довольно-таки массивные ботинки, предназначенные для нью-йоркской зимы, отлично подходили и для ходьбы по неровной почве.

— Иными словами,— продолжал объяснять Мемнох, огромными миндалевидными глазами глядя на меня сверху вниз (он был дюйма на три выше меня ростом),— наши тела ни в коем случае нельзя назвать ни заимствованными, ни фальшивыми. Суть в том, что какой бы материей ни была облечена и проник-

нута основа, она принадлежит мне, и мое тело представляет собой совокупность этой основы и необходимых ей в данный момент видов материи.

— То есть сейчас ты выглядишь так, потому что так выглядишь?

— Совершенно верно. Дьявольское обличье — это наказание во имя искупления, человеческий облик — хитрая уловка. Но мой нынешний вид — истинный. В раю множество подобных мне ангелов. Твое внимание было приковано главным образом к душам людей. Однако ангелов нам встречалось тоже немало.

Я силился вспомнить, попадались ли мне на глаза существа необычно высокого роста или с крыльями. Кажется, попадались, но я не мог утверждать это с уверенностью. В ушах моих вновь зазвучали дарующие блаженство райские громы. Я вновь ощутил исходящие от обитателей рая волны радости, наслаждения и довольства судьбой. Но ангелы?.. Нет, ангелов я не заметил.

— Я принимаю свой истинный вид,— вновь заговорил Мемнох,— когда пребываю в раю или покидаю его, однако нахожусь вне времени. Иначе говоря, когда принадлежу сам себе и не занимаюсь земными делами. Другие ангелы — Михаил, Гавриил и им подобные — при желании могут появляться на земле в своем прославленном и всем известном облике. И это выглядит вполне естественно. Материя, которую они притягивают силой собственного магнетизма, позволяет им выглядеть необыкновенно красивыми, такими, какими создал их Господь Бог. Однако в большинстве случаев они не разрешают себе такую роскошь и путешествуют среди людей под видом обыкновенных мужчин или женщин, ибо так проще и удобнее. Слишком часто ошеломляя человечество, сбивая его с толку, мы лишь препятствуем достижению своих целей. Причем это равным образом относится и к Богу, и ко мне.

— Вот в этом-то и состоит главный вопрос. Какова же все-таки твоя цель? Если ты не несешь в себе зло, то что тогда? Какие дела ты вершишь?

— Позволь мне начать с сотворения мира. И прежде всего позволь сказать, что мне неизвестно, откуда, зачем и каким образом появился Бог. Этого не знает никто. Писатели-мистики и все пророки земли, будь то приверженцы индуизма, иудаизма,

египтяне или последователи Заратустры, в один голос признают невозможность постижения божественных истоков. Откровенно говоря, меня этот вопрос никогда особо не занимал, я не считаю его главным и тем не менее почему-то уверен, что рано или поздно, пусть даже накануне конца света, мы непременно все узнаем.

— Ты хочешь сказать, что Господь не обещал открыть нам тайну Своего появления?

— А что он может открыть? — Мемнох улыбнулся.— Не думаю, что эта тайна известна Ему Самому. Я полагаю, что разгадка ее является целью всего физического мира, всей вселенной. Он сам жаждет найти разгадку и размышляет, основываясь на наблюдениях за развитием мира. То, что Он создал и привел в движение, на самом деле и есть тот самый Сад Зла. Он затеял гигантский эксперимент, конечная цель которого — выяснить, появятся ли в итоге подобные Ему существа. Все мы созданы по Его образу и подобию, а Он... Он, несомненно, Бог, воплощенный в образе человеческом. И все же Он нематериален.

— И когда в раю появился свет и ты вынужден был прикрыть глаза, этим светом был Бог?

Мемнох кивнул.

— Да. Бог. Отец наш, Дух Святой, Брахма, Атон, Господь, Яхве...

— Но в таком случае как может Он пребывать в образе человеческом?

— Его сущность обладает формой, точно так же, как и моя. Мы, Его первые создания, были сделаны по Его образу и подобию. Он сам так нам сказал. У Него есть две ноги, две руки, голова — и Он сделал нас невидимыми копиями Себя Самого. А потом создал вселенную, дабы посмотреть, как будет развиваться эта форма в материальной среде. Ты понимаешь, о чем я?

— Не очень.

— Думается, Бог отталкивался от своего рода синьки, от собственной светокопии. Он создал физический мир, законы которого направлены на эволюцию Ему подобных. В конечном итоге они должны состоять из материи. Тем не менее предполагалось сохранить одно, и очень важное, отличие. Но... Впоследствии действительность преподнесла великое множество сюрпризов. Мое мнение на этот счет тебе уже известно. Твой друг Дэвид

узнал его, еще когда был смертным. Так вот, по-моему, Божий замысел исполнился совсем не так, как он того ожидал.

— Да, Дэвид говорил, что, как он понял, идею сотворения мира ангелы считали ошибочной.

— Вот именно. Мне кажется, Господь изначально планировал выяснить, как все могло бы пойти, будь Он материален. И еще, я думаю, Бог искал причину того, что Он оказался там, где оказался. И почему Он выглядит именно так, то есть как ты или я. Наблюдая за развитием человечества, Он рассчитывал постичь процесс собственной эволюции, если такой процесс вообще имел место. А добился ли Он того, к чему стремился, удовлетворен ли результатом, судить тебе, только ты сам можешь ответить на этот вопрос...

— Подожди минутку,— перебил я Мемноха.— Но если Он дух, сотканный из света — или из ничего,— каким образом у Него могла возникнуть идея материальности?

— О, вот это, можно сказать, тайна космического масштаба. На мой взгляд, материя стала порождением Его воображения, либо дара предвидения, либо жажды обладать ею. Мне кажется, именно жажда обладания ею больше всего занимала Его мысли. Видишь ли, Лестат, если бы Господь сам изначально был материален, то все, что Он делал, можно было бы счесть экспериментом, цель которого — выяснить, в какой момент материя способна вновь превратиться в Бога.

Если бы Он не породил материю, если бы, несмотря на все Его усилия, она так и осталась бы плодом Его фантазии, тем, о чем Он мечтал и чего страстно желал, результат для Него был бы в основном тем же самым. Материя была нужна Ему. Без нее Он не мог испытать удовлетворение. В противном случае Он бы ее не создал. Смею тебя заверить, ни о какой случайности здесь не может быть и речи.

Хочу, однако, предупредить тебя. Не все ангелы согласны с такой интерпретацией. Некоторые вообще не считают необходимым объяснять и истолковывать что-либо, а некоторые имеют на этот счет собственные теории. Я изложил тебе свою точку зрения. А поскольку я — дьявол, пребывающий в этой ипостаси уже много столетий, поскольку я враг Божий, Властитель Тьмы, Правитель мира человеческого и ада, моя точка зрения достойна того, чтобы быть высказанной. И, как мне думается,

она достойна также и доверия. Итак, теперь тебе известно мое кредо, мой символ веры.

Замысел вселенной колоссален — и это, поверь, еще мягко сказано. Однако весь процесс эволюции — это Его тщательно продуманный и просчитанный эксперимент, и мы, ангелы, были созданы задолго до его начала.

— А как выглядел мир до возникновения материи?

— Вот этого я сказать тебе не могу. Я знаю это, но, строго говоря, не могу вспомнить. Причина проста. Одновременно с созданием материи возникло и время. С тех пор все ангелы не только обитали в раю, рядом с Богом, но и посещали пространство, подвластное времени, дабы становиться свидетелями того, что там происходило.

Ныне мы способны покидать это пространство, и я могу частично воссоздать в памяти ту эпоху, когда мы не испытывали на себе притягательной силы материи и времени. Но рассказать тебе, как в действительности выглядел мир на ранних стадиях своего развития, я не в состоянии. Материя и время полностью изменили мир. Они не только предали забвению предшествовавшую их появлению непорочную эпоху, но и затмили ее, погрузили в тень, они... как бы точнее выразиться...

— Опустили завесу?

— Да, наверное. Материя и время опустили завесу над тем, что было до начала времен.

— Можешь ли ты вспомнить хотя бы, был ли ты счастлив?

— Интересный вопрос. Осмелюсь ли я на него ответить? — словно размышляя вслух, пробормотал Мемнох.— Осмелюсь ли я сказать, что помню скорее жажду чего-то и ощущение несовершенства, чем состояние полного счастья? Осмелюсь ли сказать, что тогда мне гораздо реже приходилось сталкиваться с непостижимым?

Ты не должен недооценивать воздействие и влияние, оказанные на всех нас созданием материальной вселенной. Ты только представь себе, если можешь, что означает время и сколь ничтожен и несчастен ты был бы в его отсутствие! Нет, пожалуй, я выразился не совсем точно. В отсутствие времени ты оказался бы напрочь лишен сознания и подсознания, не имел бы возможности оценить собственные достижения и провалы, не смог бы вернуться в прошлое или заглянуть в будущее...

— Да, я понял. Это было бы похоже на то, как люди в старости выживают из ума, впадают в маразм и периодически теряют память. Они ведут растительное существование, смотрят на мир бессмысленным взглядом широко распахнутых глаз и практически перестают быть полноценными представителями рода человеческого, поскольку утрачивают все ощущения и прежде всего — осознание собственной личности, как, впрочем, и личности других.

— Абсолютно верное сравнение. Однако смею тебя заверить, что даже столь старые и убогие разумом создания сохраняют внутри души, и в какой-то момент эти души отказываются подчиняться больному мозгу.

— Души...— задумчиво повторил я.

Мы медленно продвигались вперед. Я старался не отвлекаться, не обращать внимания ни на зелень вокруг, ни на прекрасные цветы. Однако цветы всегда были моей слабостью, а в этом саду попадались такие удивительные экземпляры, такие огромные соцветия, каких на земле просто не могло быть, ибо ни один стебель не смог бы их удержать. Встречались, правда, и знакомые мне деревья. Моим глазам представал существовавший *когда-то* мир.

— Да, ты прав,— услышал я голос Мемноха.— Чувствуешь, как здесь тепло? Мы пребываем в одной из самых благоприятных эпох в истории планеты. Когда люди говорят о рае, они вспоминают именно об этой эпохе.

— Ледниковый период еще впереди?

— Разумеется. Приближается второй ледниковый период. Но после мир возродится и вновь наступят райские времена. А в ходе ледникового периода будет происходить эволюция человека. Однако прими к сведению и постарайся осознать, что даже к данному моменту жизнь как таковая существует на Земле уже миллионы лет.

Я остановился и закрыл руками лицо, пытаясь еще раз обдумать все, что он мне сказал.

— И все же Он знал, что такое материя! — воскликнул я наконец.

— Нет, не думаю,— возразил Мемнох.— Допустим, Он взял какое-то семя, какое-то яйцо, какую-то субстанцию и придал всему этому некую форму, которая стала материей. Но я не

могу сказать, насколько достоверно Он мог предвидеть, что из этого получится и что будет означать результат. Видишь ли, в том и состоит один из важнейших предметов нашего с Ним вечного спора. Я не уверен, что Он способен предвидеть последствия собственных действий. Равно как не уверен, что Он вообще о них задумывается. Вот из-за чего между нами разразилась великая битва.

— Итак, Он создал материю, но только достигнув результата, осознал, *что именно* у Него получилось?

— Да. Материю и энергию, которые, как тебе известно, вечно остаются неизменными. Он создал их, и я полагаю, что ключевым словом к пониманию Его служит именно слово «энергия». Если когда-нибудь человеческая анатомия достигнет той стадии развития, на уровне которой можно будет дать в достаточной мере удовлетворительное объяснение сущности Бога и ангелов на языке и с точки зрения человечества, то ключевым словом будет «энергия».

— Значит, Бог — это энергия. И в процессе сотворения мира Он сделал так, что энергия превратилась в материю? — уточнил я.

— Верно. И к тому же создал независимую от Него самого систему их постоянного взаимообмена и последовательного чередования. Естественно, поначалу никто нам об этом не сказал. В том числе и Он. Подозреваю, Он и сам оставался в неведении. А мы тем более. Мы сознавали лишь одно: Его творения ослепили и оглушили нас всех. Мы были поражены способностью чувствовать, ощущать вкус, тепло, плотность и притягательную силу материи в ее битве с энергией. Мы знали только то, что видели, чему явились свидетелями.

— Значит, вы стали свидетелями возникновения и развития вселенной, свидетелями «большого взрыва»?

— Я бы на твоем месте не слишком доверял такой терминологии. Да, действительно, мы видели, как возникла вселенная, видели, как пришел в движение весь механизм. Мы не испытывали при этом ничего, кроме благоговейного страха. Вот почему практически все ранние религии земли превозносят могущество и величие гениального Создателя, грандиозность Его замысла. Вот почему древнейшие, облеченные в слова гимны воспевают и прославляют Бога. Мы были восхищены и потря-

сены не в меньшей степени, чем впоследствии было восхищено и потрясено все человечество. Задолго до появления первых людей мы своим ангельским разумом воспринимали Господа нашего как высшее существо — Бога Всемогущего, творящего чудеса и не поддающегося ни пониманию, ни объяснению.

И вот еще что: здесь, в таком волшебном саду, вспомнить об этом будет особенно уместно. Молекулы неорганических веществ существовали на земле задолго до возникновения на ней так называемой «жизни». Эти вещества участвовали во многих процессах, свидетелями которых нам довелось быть,— а на наших глазах происходили миллионы взрывов, химических трансформаций, извержений...

— А горные хребты уже стояли?

— Да.

— И дожди шли?

— Ливень за ливнем.

— И вулканы извергались?

— Без конца. Ты даже представить себе не можешь, до какой степени нас все это завораживало. Мы наблюдали, как сгущается и расширяется атмосфера, как изменяется ее состав.

А потом... А потом произошло то, что я бы определил для тебя как «тринадцать откровений физической эволюции». Под словом «откровение» я в данном случае подразумеваю то, что открывалось нашим глазам в ходе происходивших вокруг процессов, то, что видели ангелы, по крайней мере те, кто умел наблюдать, то есть *мы.*

Я мог бы посвятить тебя в малейшие детали, продемонстрировать внутреннее строение любого организма, когда-либо жившего на земле. Но ты не в состоянии все запомнить. Поэтому я расскажу тебе столько, сколько ты сможешь удержать в памяти, и этого будет достаточно, чтобы принять решение, пока ты еще жив.

— А я еще жив?

— Конечно. Твоя душа никогда физически не умирала, она никогда не покидала землю, за исключением путешествия вместе со мной по специальному разрешению. Ты и сам знаешь, что остаешься живым. Ты по-прежнему Лестат де Лионкур, несмотря на то что тело твое видоизменилось по вине чуждого

духа алхимика, скорбную повесть о котором ты сам поведал миру.

— Но если я пойду... если решусь последовать за тобой... Скажи, мне придется умереть?

— Конечно.

Я остановился и, прижав ладони к вискам, долго вглядывался в траву под ногами. Я слышал гул насекомых, роившихся в лучах солнца. Подняв взгляд на Мемноха, я увидел в его глазах отражение яркой зелени леса.

Он медленно поднял руку, словно давая возможность уйти, покинуть его навсегда, а потом так же неспешно опустил ее на мое плечо. В этом жесте чувствовалось уважение, и это мне понравилось. Я и сам не раз пытался делать подобные жесты.

— Помни, у тебя есть выбор,— сказал Мемнох.— Ты можешь вернуться в свое нынешнее состояние.

Я не в силах был что-либо ответить. В голове вертелись одни и те же слова: «*Бессмертный, материальный, земной, вампир*»,— но вслух я их не произнес. Возможно ли, чтобы кто-то смог отказаться от этого? Перед моими глазами вновь возникло Его лицо, и в ушах прозвучал Его голос: «*Ты никогда не станешь моим врагом, Лестат, правда?*»

— Ты прекрасно реагируешь на мои слова, Лестат,— очень мягко произнес Мемнох.— Я был уверен, что так и будет, и на то у меня имелось несколько причин.

— Какие? — спросил я.— Скажи, почему ты был так уверен? Я нуждаюсь в ободрении и утешении, потому что слезы и потрясения совершенно выбили меня из колеи. Хотя, признаюсь честно, разговоры о собственной персоне интересуют меня меньше всего.

Дорогу нам преградила гигантская паутина, сотканная из довольно-таки толстых сверкающих нитей. Вместо того чтобы разорвать ее, смахнуть с нашего пути, Мемнох опустил и плотно обернул вокруг себя крылья а потом согнулся и прошел под ней. Я последовал его примеру.

— Прежде всего потому, что ты — часть того, что мы делаем,— вновь заговорил он.— Ты любопытен, и это тоже большой плюс. В тебе не угасла жажда знаний. То же самое говорил тебе когда-то древний Мариус. Помнишь? Это тысячелетнее... ну, почти что тысячелетнее существо с готовностью отвечало на во-

просы юного вампира, поскольку эти вопросы были искренними. Ты действительно хотел многое знать. Эта же черта привлекла в тебе и меня.

При всем своем высокомерии, нахальстве и дерзости ты стремился к знаниям. Ты вел себя недопустимо, оскорблял и меня, и Бога — но в те времена это было свойственно практически всем. Поэтому в твоих поступках не было ничего удивительного, за исключением того факта, что за ними скрывались заложенные в тебе от природы невероятная любознательность, интерес к окружающему миру и привычка все подвергать сомнению. Ты предпочитал обследовать Сад Зла, дабы постичь его сущность, а не просто отыскать в нем свое место. Все это в совокупности и повлияло на мой выбор.

— Понятно,— со вздохом произнес я.

Конечно же, я помнил свои беседы с Мариусом и его откровенные признания — именно о них только что упомянул Мемнох. Знал я и то, что моя безграничная любовь к Дэвиду и Доре была отчасти вызвана примерно теми же чертами их характеров: пытливостью ума и бесстрашным стремлением найти ответы на неисчислимое множество вопросов.

— О Господи! Дора! Как она? Все ли у нее в порядке?

— Вот-вот. Это одно из свойств твоей натуры, которое не перестает меня удивлять,— легкость, с какой ты переключаешься с одного на другое и отвлекаешься от главного. В тот самый момент, когда я, казалось бы, сумел поразить и завоевать твое внимание, ты вдруг ускользаешь и требуешь, чтобы игра шла по твоим правилам.

— Ты хочешь сказать, что мне следует сейчас забыть о Доре?

— Я сделаю тебе доброе дело и скажу нечто более приятное. Тебе нет нужды беспокоиться. Твои друзья, Арман и Дэвид, разыскали Дору и присматривают за ней. Однако на глаза ей не показываются.

Мемнох ободряюще улыбнулся и слегка покачал головой — не то с сомнением, не то с укором.

— К тому же,— добавил он,— твоя драгоценная Дора и сама обладает невероятно мощными запасами как физической, так и умственной энергии. Думаю, ты в полной мере выполнил то, о чем просил Роджер. Вера в Бога давно уже поставила Дору особняком от всех остальных, и то, что ты ей показал и рассказал, только укрепило ее приверженность прежним убеждениям. Все. Я не желаю больше говорить о Доре. Предпочитаю продолжить свое повествование о сотворении мира.

— Да, продолжай, пожалуйста.

— Итак, на чем мы остановились? На том, что существовал Бог и мы находились рядом с Ним. Мы обладали человекоподобной внешностью, однако не употребляли ни это слово, ни слово «антропоморфный», ибо никогда не видели своего материального воплощения. Мы знали, что у каждого из нас есть конечности, голова, лицо, туловище определенной формы, что мы умеем совершать целый ряд движений, свойственных лишь небожителям и способствующих объединению всех частей нашего существа в единое целое. Но ни о Материи, ни о материальной форме мы не знали ничего. А потом Бог создал вселенную и время.

Мы были потрясены и очарованы. Мы чувствовали себя словно завороженные.

«Узрите и храните это! — рек нам Господь.— Ибо откроется вам красота, которая превзойдет все ваши ожидания и окажется выше вашего понимания, как то случилось со Мной».

— Так сказал Господь?

— Да, мне и остальным ангелам. «Храните!..» Если ты откроешь Священное писание, то увидишь, что одним из ранних наименований для нас, ангелов, было «ангелы-хранители».

— Да, знаю, это есть в Книге Еноха и других еврейских текстах.

— Правильно. А если ты заглянешь в учения других мировых религий, символика и тексты которых тебе не столь хорошо известны, то и там найдешь описания древнейших и богоподобных существ, предшественников, блюстителей и хранителей рода человеческого. Там много вранья и фальсификации, однако в основном рассказано то же самое. Мы были свидетелями сотворения мира. Мы появились раньше его и, естественно, не могли видеть, как создали нас самих. Но мы присутствовали при сотворении звезд.

— Ты хочешь сказать, что эти религии в целом столь же обоснованны и достойны доверия, как и та, приверженцами которой являемся мы? Мы сейчас говорим о Боге, о Господе точно так же, как европейские католики...

— Все, что содержится в неисчислимом множестве текстов, хранящихся по всему миру, в той или иной степени сфальсифицировано. Были тексты, ныне безвозвратно утраченные, в которых содержалась очень точная и достоверная информация о создании вселенной. Есть такие, о которых известно многим. И есть тексты, которые забыты, но которые в свое время могут быть обнаружены вновь.

— Ну да, в свое время...

— Все они в основном рассказывают одну и ту же историю. Но я предлагаю тебе выслушать мою точку зрения, и тогда ты без труда сможешь соотнести ее с какими-то собственными источниками — теми, которые по своей символике более доступны и понятны тебе самому.

— Но я хочу уточнить кое-что относительно достоверности и надежности других религиозных учений. Ты утверждал, что тот, кого я видел в раю, не Христос...

— Я этого не утверждал! Я лишь сказал, что Он — Бог Воплощенный. Потерпи, мы до этого еще дойдем.

Мы вышли из леса и теперь стояли на краю пространства, похожего на степь,— возможно, это было пастбище. И тут я впервые увидел людей — тех, чей запах давно привлекал мое внимание. Вдалеке по заросшей травой земле двигалась группа полуголых кочевников — человек тридцать, быть может чуть меньше.

— А ледниковый период еще впереди,— повторил я, оглядываясь вокруг и стараясь рассмотреть и запомнить каждую деталь, каждую особенность необыкновенных огромных деревьев. И вдруг до меня дошло, что лес уже не такой, каким был,— он изменился.

— Посмотри внимательно на этих людей,— сказал Мемнох.— Вглядись в них! Что ты видишь?

Я прищурился и пустил в ход все свои способности вампира, чтобы как можно лучше разглядеть представшую моим глазам картину.

— Там есть мужчины и женщины, они очень похожи на современных людей. Да, именно, это homo sapiens sapiens*. Я бы сказал, эти люди такие же, как мы.

---

* Homo sapiens sapiens *(лат.)* — человек нового (современного) вида.

— Совершенно верно. А что ты скажешь об их лицах? Что ты заметил?

— Их выражение кажется вполне современным, во всяком случае, вполне понятным. Некоторые хмурятся, некоторые разговаривают, кое-кто, похоже, глубоко задумался. А вот тот косматый, который отстал от других и плетется в самом хвосте, выглядит очень несчастным. А женщина... Женщина с большой грудью... Ты уверен, что она нас не видит?

— Она не может нас видеть. Она просто смотрит в нашем направлении. Что, по-твоему, отличает ее от мужчин?

— Ну-у-у... Прежде всего ее грудь. И еще... Еще то, что у нее отсутствует борода. Все мужчины там бородатые. Волосы у нее, конечно, длиннее, чем у них, и... И она очень милая. К тому же очень хрупкая, женственная... Она идет без ребенка, в то время как все остальные несут детей. Вероятно, она самая молодая среди них или еще не рожала...

Мемнох кивнул.

Мне действительно казалось, что она нас видит,— женщина все время щурилась, совсем как я. У нее было чуть удлиненное, овальное лицо — такие лица археологи определяют как принадлежавшие кроманьонцам. Внешне эта женщина — равно как и ее спутники — не имела никакого сходства с человекообразной обезьяной. Тем не менее кожа ее была не белой, а темно-золотой — такой оттенок свойствен семитским или арабским народам — и очень напоминала по цвету кожу того, кого я видел там, в раю. Когда она повернулась и пошла вперед, ветер взметнул вверх великолепные темные волосы...

— Все эти люди почти что голые! — воскликнул я.

Мемнох коротко хохотнул.

Мы вновь углубились в лес. Степь исчезла. Насыщенный влагой и разнообразными запахами воздух казался густым.

Огромные хвойные деревья и папоротники нависали над самыми нашими головами. Таких папоротников — с ветвями, которые были гораздо крупнее, чем ветви банановых деревьев,— мне еще никогда видеть не приходилось. А хвойные деревья можно было сравнить разве что с секвойями, растущими в лесах на западе Калифорнии,— гигантскими исполинами, рядом с которыми я всегда чувствовал себя одиноким и меня охватывал страх.

Мемнох шел впереди, указывая дорогу сквозь непроходимые заросли тропических джунглей, и, казалось, совершенно не обращал внимания на обступавшие нас со всех сторон необыкновенные растения. Мимо нас сновали какие-то твари, издалека доносились приглушенные рыки зверей. Земли под ногами не было видно — ее устилал сплошной зеленый покров, казавшийся бархатистым и нежным. Время от времени мне казалось, что тот или иной камешек под этим покровом словно оживал и передвигался с места на место.

Внезапно налетевший откуда-то легкий прохладный ветерок заставил меня обернуться. Степной простор и люди остались далеко позади. Тенистые папоротники росли так густо, что я даже не сразу понял, что полил дождь,— до нас едва доносился его тихий, успокаивающий шум, ибо вода смачивала лишь верхушки и кроны деревьев и ни одна капля не долетала до нас.

У меня не оставалось сомнений в том, что в эти джунгли поистине не ступала нога человека. Однако в них вполне могли обитать какие-либо звери и чудовища, готовые в любой момент броситься на нас из тени.

— А сейчас,— заговорил Мемнох, не замедливая шаг и без малейшего усилия отодвигая в сторону тяжелую ветвь,— позволь мне перейти к конкретному вопросу, точнее, к тому, что я определил для тебя как «тринадцать откровений физической эволюции». После того как ангелы приняли и постигли эти «откровения», они обсудили их с Богом. Учти, однако, что мы будем говорить только об этом мире — звезды, иные планеты и галактики не имеют никакого отношения к предмету нашей с тобой беседы.

— Ты хочешь сказать, что во всей вселенной Земля единственная планета, где есть жизнь?

— Я хочу сказать, что знаю только свой мир, свой рай и своего Бога.

— Понятно.

— Как уже тебе говорил, мы были свидетелями целого комплекса геологических процессов — видели, как вздымаются горы, образуются моря и возникают континенты. Нашим хвалебным, исполненным восхищения гимнам не было конца. Ты даже представить себе не можешь истинно райское пение. В раю, населенном людскими душами, тебе довелось услышать лишь его

слабое подобие. А тогда наш хор составляли исключительно небесные создания, и каждое необыкновенное явление порождало новые псалмы и песнопения. Они звучали совершенно иначе — быть может, не лучше, нет, но по-другому.

Между тем у нас появилось множество занятий, и прежде всего мы принялись изучать земную атмосферу — нас мало интересовал ее состав, но каждая деталь привлекала к себе внимание, заставляла подолгу созерцать ее и наводила на размышления. Жизнь на земле, представавшая перед нами, включала в себя великое множество деталей и разного рода мелочей, которых не существовало в раю.

— Значит ли это, что все казалось вам ясным, понятным и не вызывало ничего, кроме восторга?

— Да, все было словно озарено Божественным светом, и ни одна, пусть даже совсем крошечная, мелочь, ни одна деталь не умалили и не поставили под сомнение нашу любовь к Господу.

Мы подошли к неширокому, но мощному водопаду, низвергавшемуся в бурлящий водоем. Подставив лицо и руки освежающему туману из микроскопических брызг, я на минуту замер перед этим прекрасным зрелищем. Мемнох последовал моему примеру и, казалось, наслаждался не в меньшей степени, чем я.

Только теперь я заметил, что он босой Он вошел в воду и с удовольствием наблюдал, как чистые струи омывают пальцы ног с аккуратно подстриженными ногтями цвета слоновой кости.

В тот момент, когда он склонился к воде, чтобы лучше рассмотреть пенящиеся, пузырящиеся потоки, крылья резко взметнулись вверх и я отчетливо увидел их сверкающие каплями влаги перья и острые концы над его головой. Потом послышался шелест, и крылья с тихим хлопком сомкнулись, подобно птичьим сложились за его спиной и... исчезли.

— А теперь попробуй себе представить,— заговорил он снова,— как несметное число, легионы ангелов самых разных рангов спускаются на землю и буквально влюбляются в то, что предстает их глазам, пусть даже это всего лишь бурлящие воды или лучи солнца, пронзающие газообразную атмосферу Земли и переливающиеся в ней разными цветами.

— Неужели вам все это казалось интереснее, чем то, что вы видели в раю?

— Да. Вынужден признать, что так и было. Конечно, мы с радостью возвращались в рай, особенно если Господь бывал нами доволен. Но проходило время, и нас тянуло обратно, нас вновь охватывала жажда познания, просыпалось любопытство, и земные красоты все чаще и чаще начинали занимать наш разум. Мы постепенно осознавали, что наш образ мыслей переменился. Однако позволь мне все же перейти к рассказу о «тринадцати откровениях».

Первым «откровением» стало преобразование неорганических молекул в органические... так сказать, от камешка — к мельчайшему живому организму. Забудь об этом лесе. Его тогда не было и в помине. Взгляни лучше на водоем. Вот в таких водоемах, со всех сторон окруженных горами, теплых и неспокойных, наполненных газами, восходящими из раскаленных недр земли, впервые зародились живые молекулы.

Шум поднялся до самых небес: «Узри, Господь, плоды деяний материи!» А Всемогущий лишь одобрительно улыбнулся своей лучезарной улыбкой. «Ждите и наблюдайте»,— сказал он. Мы повиновались, и тогда явлено нам было второе «откровение». Молекулы стали преобразовываться в три формы материи: клетки, ферменты и гены. Как только возникли одноклеточные организмы, сразу же появились и многоклеточные, а то, что мы, впервые увидев органические молекулы, могли лишь интуитивно предугадывать, вдруг проявилось со всей очевидностью. Некая искра жизни оживила эти существа. Они обрели форму, пока еще не окончательную, но вполне определенную, и нам казалось, что мы улавливаем неисчислимое множество таких живительных искр — крошечных свидетельств и неопровержимых доказательств наличия жизни.

Иными словами, весь мир пришел в движение. Он испытывал все новые и новые потрясения, и мы стали их свидетелями. На наших глазах несметные полчища многоклеточных существ сновали в воде, соединялись и создавали доселе неведомые, пока еще примитивные формы жизни: водоросли, низшие грибы... А вскоре эти зеленые живые формы стали выбираться и на сушу. Илистые, слизистые наносы постепенно захватывали ее пространство, дабы закрепиться там на миллионы лет и впоследствии породить папоротники и деревья, которые со временем достигли огромных размеров,— эти папоротники и деревья ты видишь сейчас вокруг.

Ангелы тоже обрели форму и размеры. Мы получили возможность прогуливаться под сенью лесов, а земля под нашими ногами была покрыта зеленью. А теперь, если у тебя есть такое желание, попробуй представить себе, какие хвалебные гимны возносились к небесам, вообрази себе радость Господа, видевшего все происходящее и слушавшего восторженные рассказы своих ангелов.

Они путешествовали по всему миру, и постепенно у каждого из них появились свои любимые места: одни предпочитали горы, другие — широкие долины, третьи — водные просторы, кому-то больше нравилось бродить по тенистым зеленым лесам...

— Значит, они стали духами — духами вод, лесов и так далее? — перебил я Мемноха.— Теми, кому много позже начали поклоняться люди?

— Совершенно верно! Однако ты забегаешь далеко вперед. Моя реакция на эти два «откровения» ничем не отличалась от реакции легионов моих собратьев. Едва мы ощутили свет жизни, излучаемый многоклеточными растительными организмами, мы начали чувствовать и момент их гибели. Один организм пожирал другой, питался его соками и разрастался, поглощая те, что были рядом... Иными словами, мы видели размножение и разрушение.

То, что прежде представлялось как простой обмен материей и энергией, теперь приобрело иные формы и масштабы. Это было началом третьего «откровения», но нам и в голову не приходило, что именно происходит. Понимание пришло много позже — когда на основе растительных организмов начали возникать организмы животные.

По мере того как мы наблюдали неуклонное, целенаправленное и энергичное движение этих организмов вперед, становились очевидцами резкого увеличения числа и разнообразия их форм, все явственнее становился тот факт, что зароненная в них искра жизни очень схожа с той, которая теплилась внутри нас самих. Но что же происходило с этими крошечными живыми созданиями?

Они умирали — вот что с ними происходило! Они рождались, жили и умирали. А после начинали разлагаться. Итак, вот тебе третье «откровение» эволюции: смерть и разложение!

Лицо Мемноха потемнело — таким я его еще не видел. Оно вновь выражало невинность и восторг, однако поверх всего легла мрачная тень разочарования, смешанного, как мне показалось, со страхом. Хотя, возможно, это выражение следовало бы охарактеризовать как наивное удивление в предвидении ужасного исхода.

— Итак, третьим «откровением» стали смерть и разложение,— уточнил я.— И оно вызвало в тебе отвращение?

— Нет, не отвращение! Я просто решил, что это, должно быть, какая-то ошибка. Я поспешно устремился в рай. «Смотри,— обратился я к Богу,— эти крошечные существа погибают! Искра жизни уходит из них, в то время как она никогда не покидает Тебя или нас. И их материальные останки разлагаются!» И знаешь, я оказался далеко не единственным ангелом, представшим пред Господом с плачем и жалобами.

Однако, думается, мои восторженные гимны были в большей степени, чем у других, проникнуты недоверием и страхом. Этот страх родился в моем сердце. Я тогда еще не понимал, что он возник одновременно с осознанием самой возможности существования смерти и разложения. И это осознание нестерпимой болью отозвалось в моем разуме.

Мемнох внимательно посмотрел на меня.

— Не забывай, что все мы были ангелами. И до той поры ничто не причиняло нам боль. Ни одна мысль не заставляла страдать наш разум. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я страдал! И страх составлял лишь малую толику моих мучений.

— И что же ответил тебе Господь?

— А как ты думаешь?

— Что все это является частью Его замысла?

— Вот именно! Он велел мне наблюдать. «Смотри,— сказал Он.— Смотри и запоминай. И ты увидишь, что ничего существенно нового на самом деле не происходит. Это все тот же взаимообмен между энергией и материей».

— Но как же тогда быть с искрой?! — воскликнул я.

— «Вы все живые существа,— сказал мне Бог.— И тот факт, что вы способны осознавать и постигать такие истины, свидетельствует лишь о доверии к вам, к вашему разуму. А теперь иди и продолжай наблюдать. Впереди тебя ждет еще очень многое».

— А страдания? А боль?

— Все это обсуждалось и решалось в ходе Великого Спора. Спор с Богом — это не только словесное общение, он проникнут великой, неизмеримой любовью к Господу, тем светом, который ты видел и который окружает и наполняет всех нас. Господь дал нам прежде всего утешение, то утешение и спокойствие, в котором я, страдая и мучаясь, возможно, больше всего нуждался. Он заверил, что нам *нечего бояться*!

— Понятно.

— Теперь наступила очередь четвертого «откровения». Учти, что мое изложение этого «откровения» весьма произвольно и условно, ибо, как я уже говорил, я не могу посвятить тебя во все детали. Четвертым «откровением» я называю «откровение» цвета, а начало ему положило появление цветущих растений. Создание цветов способствовало возникновению экстравагантных и красивых способов спаривания организмов. Следует иметь в виду, что спаривание имело место и прежде, даже между одноклеточными существами.

Но цветы... Цветы в изобилии представили множество оттенков, которых прежде не существовало вообще, разве только в радуге. Краски и оттенки радуги мы видели в раю и всегда считали, что они принадлежат исключительно небесам. И вдруг мы поняли, что это далеко не так, что их с успехом способна производить великая природная лаборатория, называемая землей.

Позволь заметить, что яркие, сочные цвета возникали и в окраске морских организмов, особенно рыб, обитавших в теплых водах. Тем не менее именно цветы больше всего поразили меня своим великолепием. А когда стало очевидным, что их числу и разнообразию форм лепестков не будет конца, наши хвалебные песнопения вновь вознеслись к небесам и сила их многократно превосходила все прежние гимны.

Однако в пении нашем слышались и мрачные ноты... Осмелюсь сказать, что в них присутствовало некое сомнение — колебание, если хочешь,— вызванное «откровением» смерти и разложения. Теперь, с появлением цветов, мрачные ноты в по-

хвалах и благодарственных гимнах зазвучали еще громче, ибо при виде гибнущих соцветий, роняющих на землю потемневшие лепестки, мы испытывали чувство ужасной, невосполнимой утраты.

Свет жизни, излучаемый цветущими растениями и деревьями, в изобилии росшими повсюду, был, пожалуй, наиболее мощным, и потому восторженные песнопения все больше и больше окрашивались печалью.

Земля все сильнее привлекала и очаровывала нас. Должен сказать, что в раю к тому времени очень многое изменилось, причем весьма заметно. Внимание всех его обитателей — как Бога, так и ангелов — было направлено прежде всего на землю. Постоянно пребывать в раю и посвящать себя только восхвалению Бога, как то было прежде, казалось уже совершенно невозможным. Любой псалом или гимн непременно должен был содержать в себе упоминания о материи, красоте и о тех процессах, которые происходили. Конечно, наиболее опытные из ангелов в своих песнопениях гораздо искуснее, чем я, сплетали воедино все необходимые элементы: смерть, разложение, красоту...

Я был встревожен и обеспокоен. Мне кажется, уже тогда разум мой был недремлющим и внутри меня таилась некая ненасытность.

— Именно эти слова я произнес во время своего разговора с Дэвидом, после того как впервые заметил, что ты меня преследуешь,— удивленно сказал я.

— Они из посвященного мне старинного стихотворения, написанного на древнееврейском языке. Его перевод отыскать сейчас трудно, если вообще возможно. Это слова из пророцания Сивиллы, в котором она описывает хранителей... ангелов, посланных Богом на землю, дабы они наблюдали за тем, что там происходит. Она оказалась права. Мне понравилось это стихотворение, и я его запомнил. Я согласен с ним в той части, где дается моя характеристика. Чем оно так восхитило других ангелов, одному Богу известно.

Мемнох нахмурился. А я тем временем пытался вспомнить, слышал ли в райском пении те самые нотки печали и уныния, о которых он говорил, или с некоторых пор оно вновь вернуло себе чистую радость.

— Нет,— сказал он.— Теперь в раю слышится не только ангельское пение, но и музыка человеческих душ. Звуки стали совсем другими. Но позволь мне вкратце рассказать тебе об остальных «откровениях», поскольку постичь их суть нелегко и лучше говорить обо всех сразу.

Пятым «откровением» было эволюционное развитие мозга животных. Еще до того животные организмы, обитавшие в воде, отделились от растительных, и теперь внутри студенистых существ начала формироваться нервная система, они обретали скелет, и одновременно у них возникали и развивались клетки мозга. У животных организмов стали появляться головы.

От нашего внимания не ускользнуло, что мы, ангелы, тоже обладаем головами! Процесс мышления у новых существ происходил именно в головах. Точно так же, как и у нас, ангелов. Мы отчетливо видели и понимали это и не нуждались в объяснениях. Благодаря своему ангельскому разуму мы знали, как устроены. Раскрыть все тайны нам помогали глаза. Именно зрение в большей мере, чем все другие чувства, позволяло нам понять, как мы двигаемся, как реагируем на что-то, оно давало возможность удовлетворить нашу страсть к познанию.

Обитатели рая пришли в неописуемое волнение. «Господь наш,— обратился я к Богу,— что же происходит? Эти существа развиваются, они обретают форму... конечности... головы...» И вновь повсюду зазвучали хвалебные гимны, но на этот раз восторг в них был смешан с тревогой и смятением. Сам факт, что материя способна порождать организмы, обладающие головами и мозгом, вызывал в нас страх перед Господом, который позволил произойти столь невероятным событиям.

Еще прежде, чем рептилии стали покидать водные глубины и выползать на сушу, нам явлено было шестое «откровение». И оно повергло меня в ужас! Новые существа — какими бы причудливыми по форме и разнообразными по строению они ни были — имели не только головы и конечности, но и... лица! Такие же лица, как и у нас, как у меня! Точнее говоря, у каждого примитивного антропоида были два глаза, нос и рот! Сначала голова... потом лицо... отражение интеллекта...

Я был вне себя от возмущения и вступил в жесточайший спор с Богом. «Ты этого добивался? — вопрошал я.— Чем все это закончится? Что это за существа? Искра жизни в них разгорается

все ярче, становится все более мощной и стойкой! Ты видишь, что происходит?» Некоторые из моих собратьев-ангелов пришли в ужас.

«Мемнох,— увещевали они,— ты заходишь слишком далеко. Да, конечно, между нами, великолепными обитателями рая Господня, сынами Божиими, и этими существами есть определенное сходство. Головы... лица...— все очевидно. Но как осмеливаешься ты ставить под сомнение замысел Божий?»

Однако я ни за что не желал смириться. Меня переполняли сомнения — равно как и тех немногих, кто был согласен с моим мнением. Озадаченные, смятенные, мы вновь отправились на землю, дабы побродить по ней и еще раз внимательно все осмотреть. Я уже говорил, что теперь получил возможность определять собственные размеры в сравнении с тем, что меня окружало, я мог подолгу лежать под нежной зеленой сенью, слушать, как растут деревья и травы, наслаждаться прекрасными красками и размышлять...

И все же меня не оставляло предчувствие грядущих бедствий. А потом... Потом случилось нечто необычное: меня посетил Сам Господь.

Я сказал «посетил», однако это не означает, что Бог когда-либо покидает райские пределы,— нет, Он, если можно так выразиться, простирается, выходит за границы рая. Его свет спустился с небес, окутал меня и притянул в божественные объятия. И тогда Господь заговорил со мной.

Естественно, я немедленно успокоился. Теперь, когда на меня снизошло то самое райское блаженство, которое я так подолгу отвергал, когда оно окутало меня любовью и покоем, я испытал чувство глубочайшего умиротворения. Вмиг улетучились все сомнения и колебания. Меня покинула боль. Ослабло мучительное для моего разума давление, вызванное сознанием присутствия в мире смерти и разложения.

Господь говорил со мной! Я чувствовал, как он наполняет меня, и в эти минуты напрочь утратил ощущение собственной формы. Подобная близость между нами неоднократно возникала и прежде, не говоря уже о самом моменте моего появления,— ведь я вышел из Бога. И тем не менее то, что это случилось сейчас, можно было воспринимать лишь как бесценный и милосердный дар.

«Ты способен видеть гораздо больше, чем другие ангелы,— сказал Господь.— Ты мыслишь и рассуждаешь, предвидя будущее, а они только еще учатся видеть его. Их можно сравнить с зеркалом, отражающим каждое деяние во всем его величии, в то время как ты все подвергаешь сомнению. Ты не веришь в Меня!»

Его слова преисполнили меня печалью. «Ты не веришь в Меня!» — укорил Господь, но я никогда не считал свои страхи проявлением неверия. И не успел я подумать об этом, как понял, что Господь услышал мои мысли и был в полной мере ими удовлетворен. Он призвал меня вернуться на небеса и велел впредь не углубляться в лесные дебри, а чаще наблюдать за происходящим на земле сверху, ибо такая позиция гораздо удобнее.

В продолжение всего повествования Мемноха я мог только молча смотреть на него, не в силах произнести ни слова. Мы по-прежнему стояли на берегу водного потока. Он говорил об умиротворении, однако отнюдь не выглядел при этом спокойным. Я ощущал в нем лишь страстное желание рассказывать дальше.

— Я повиновался и возвратился в рай, однако, как я уже упоминал, на небесах все изменилось. Внимание их обитателей было направлено на землю. Никогда еще я не ощущал с такой очевидностью, что она служит предметом самого пристального изучения и темой практически всех небесных бесед. Я отправился к Господу и в порыве восторженного преклонения упал перед Ним на колени, дабы открыть Ему свое сердце и выразить бесконечную благодарность за то, что Он пришел и поговорил со мной. А потом спросил Его, свободен ли я вновь и позволено ли мне будет спуститься на землю.

Тон Его был по обыкновению надменным, а ответ — уклончивым. Господь сказал, что мне никто не запрещает посещать землю, что я ангел-хранитель, а потому моей обязанностью является наблюдать и хранить. Итак, я отправился вниз...

— Погоди,— прервал я Мемноха.— Я хочу задать тебе один вопрос.

— Слушаю,— терпеливо откликнулся он.— Однако нам пора идти. Давай продолжим наше путешествие. Когда мы будем пересекать поток, можешь ступать по камням.

Я последовал за ним, и вскоре шум воды остался далеко позади и мы снова углубились в лес, еще более густой, чем прежде.

Он казался обитаемым, хотя полной уверенности в этом у меня не было.

— Так вот о чем я хотел тебя спросить,— вернулся я к своей просьбе.— Скажи, было ли в раю скучнее, чем на земле?

— О нет, ни в коем случае! Просто земля в то время была центром внимания. Находясь в раю, невозможно было забыть о земле, потому что все вокруг только и делали, что говорили о ней, воспевали ее в своих гимнах. Нет, рай по-прежнему завораживал и дарил блаженство. Более того, печаль и мрачные настроения, вызванные наличием на земле смерти и разложения только увеличили и без того несметное число достойных обсуждения и восхваления преимуществ райской жизни.

— Понятно. Значит, рай только выигрывал от этих «откровений»?

— Безусловно. Всегда. Не забывай к тому же и о музыке. Ни в коем случае не думай, что она хоть в какой-то мере напоминала религиозные каноны. В те времена восторга и радости райская музыка достигла небывалых, поистине небесных высот. Прошли тысячелетия, прежде чем появились первые музыкальные инструменты, способные исторгать хотя бы жалкое подобие звуков, свойственных ангельской музыке. Ведь в ней удивительным образом смешивались их голоса, биение и шелест крыльев и нежное дуновение долетавшего с земли ветерка.

Я молча кивнул.

— Что? Что ты хотел сказать? — спросил Мемнох.

— Я не знаю, как выразить это словами. В общем... Я в очередной раз понял, насколько ошибочным всегда было наше понимание сущности небес. Ибо никто и никогда не говорил нам о том, что внимание обитателей рая было приковано к земле. Напротив, нам всегда внушали обратное, искажали факты и клеветали на рай, называя его тюрьмой для человеческих душ.

— Что ж,— сказал Мемнох,— теперь ты видел рай собственными глазами. Однако позволь мне продолжить.

Седьмым «откровением» стал выход животных из воды на сушу. Они населили леса, в изобилии покрывавшие землю, и нашли способы и средства жить там. Появились рептилии. Вскоре ящерицы превратились в гигантских чудовищ, достигли таких размеров и обрели такую мощь, что с ними не под силу было справиться даже ангелам. Эти существа обладали голова-

ми и лицами и могли не только плавать с помощью своих ног — мало чем отличающихся от наших,— но и ходить на них по земле. Некоторые научились даже ходить на двух ногах, а другие две — меньшего размера, похожие на наши руки,— держали перед собой.

Я наблюдал за этим, как наблюдают за разгорающимся пожаром, и видел, как маленькая искорка, дарившая тепло, постепенно превращалась в бушующее пламя.

Появились насекомые, множество видов и форм. Некоторые из них стали летать, но совсем не так, как это делаем мы. Они выглядели чудовищно. Мир буквально кишел новыми живыми существами, голодными, стремительно передвигающимися. Одни питались другими — так было всегда, однако теперь речь уже не шла об отдельных и достаточно редких случаях. По мере роста числа разнообразных животных убийств становилось все больше и больше. Мало того, между ящерами происходили настоящие сражения, они буквально разрывали друг друга на части, а огромные крылатые рептилии набрасывались на мелких, бегающих по земле существ и уносили их в свои гнезда.

Изменились и формы размножения. Потомство вылуплялось из яиц, а позднее возникли и живородящие виды.

Все это я наблюдал в течение миллионов лет и иногда спокойно и словно бы отвлеченно обсуждал увиденное с Богом. Но бывали ситуации, когда я, в очередной раз ослепленный и потрясенный красотой, воспевал увиденное и взмывал на небеса. Однако там, как и прежде, мои вопросы не вызывали ничего, кроме всеобщего раздражения. Иногда между нами возникали горячие споры. «Неужели мы не должны ни о чем спрашивать?» — вопрошали одни. «Нет, вы только посмотрите! — восклицали другие.— В момент смерти ящера из него вылетает мощная и горячая искра жизни!» И в те минуты, когда мне казалось, что я никогда не смогу обрести покой, Господь вновь и вновь принимал меня в свои объятия...

«Взгляни на все внимательнее и осмысли замысел в целом,— говорил Он.— Ты намеренно видишь лишь отдельные его части».

Он обращал мое внимание на полное отсутствие пустых потерь во вселенной, на то, что разложившаяся материя служит пищей другим и что взаимообмен происходит ныне совершен-

но не так, как прежде, а основывается на иных принципах: «убивай и пожирай, переваривай и извергай».

«Здесь, рядом с Тобой,— отвечал я,— мне открывается лишь красота мира. Но стоит слететь вниз, зарыться в мягкую траву — и все видится в ином свете».

«Ты мой ангел, наблюдатель и хранитель, а потому обязан преодолеть в себе эти противоречия»,— увещевал меня Господь.

Когда я в очередной раз спустился на землю, настало время постичь восьмое «откровение» — появление теплокровных птиц, крылья которых были *покрыты перьями.*

Ударение, сделанное им на последних словах, и взволнованный тон, каким они были произнесены, совершенно не соответствовали общему тону его повествования, и это несоответствие вызвало у меня невольную улыбку.

— Крылья, покрытые перьями! — повторил он.— Сначала мы увидели головы и подобие собственных лиц у насекомых, ящериц и всякого рода чудовищ! А теперь нате-ка — появляется теплокровное существо, в котором едва бьется хрупкая жизнь, и при этом оно обладает оперением! Оно летает совсем как мы! Оно взмывает ввысь, расправляет крылья и парит!

Надо отдать должное, в кои-то веки мой возмущенный крик оказался далеко не единственным на небесах. Тысячи ангелов были несказанно удивлены, увидев эти материальные создания с такими же, как у нас, крыльями. Благодаря нежным, как и наши, перьям птицы казались очень легкими и мягкими и могли летать даже в ветреную погоду... Последствия этого события не заставили себя долго ждать.

Небеса буквально взорвались песнопениями, восклицаниями, криками... Ангелы гонялись за крылатыми созданиями, окружали их, провожали до самых гнезд и потом наблюдали, как из яиц вылупляются птенцы, как они растут и превращаются во взрослых птиц.

Понимаешь, мы и раньше становились свидетелями рождений, роста и взросления тех или иных материальных существ. Но впервые эти существа были так похожи на нас самих.

— А Господь хранил молчание?

— Нет. Он собрал нас всех вместе и спросил, как получилось, что до сих пор мы сумели узнать и постичь так мало, что этого оказалось недостаточно для избавления нас от приступов

страха и гордыни. Гордыня — вот что, по Его словам, заставляло нас страдать. Нас приводила в ярость сама мысль о том, что столь маленькие, слабые создания с крошечными головками и странного вида личиками обладают такими же, как наши, крыльями. Он преподал нам суровый урок и предупредил: «Напоминаю вам еще раз, что процесс не завершен. Он будет продолжаться, и вам неоднократно предстоит стать свидетелями удивительных, поистине поразительных событий. Но вы Мои ангелы, вы принадлежите Мне и должны верить в Меня!»

Девятое «откровение» стало болезненным потрясением для всех без исключения ангелов. Одних оно привело в ужас, других преисполнило отвращением, ибо в девятом «откровении», как в зеркале, отразились те сокровенные чувства, которые оно породило в наших сердцах. Речь идет о появлении на земле млекопитающих, чьи ужасные крики боли и муки взмывали к самым небесам и заглушали любые звуки, исторгаемые страдающими и умирающими животными. О-о-о-о! Все наши опасения, вызванные появлением смерти и разложения, оправдались с лихвой, причем в самых отталкивающих формах!

Звуки, доносившиеся с земли, стали совсем другими, и все, что нам оставалось делать, это терпеливо сносить все страхи и мучения и воссылать к небесам свои окрашенные тревогой и изумлением песнопения. Тон наших гимнов стал безрадостным, а сами они — маловразумительными. И только Господь сохранял спокойствие, и свет его оставался ничем не омраченным.

Теперь, наконец, перейдем к десятому «откровению». Человекообразные обезьяны стали ходить на двух ногах. Не насмешка ли это над самим Господом Богом?!! Но вот она перед нами — обезьяна, распрямившая спину, волосатое грубое животное с двумя руками и двумя ногами, примат, по чьему образу и подобию созданы все мы! Хвала небесам, у него не было крыльев. Надо признать, что ни одно крылатое существо даже не приблизилось к нему в своем развитии. Это животное с дубиной в руках неуклюже передвигается по земле, зубами рвет на части плоть своих врагов, кусает, бьет и закалывает насмерть всех, кто оказывает ему сопротивление. Это подобие самого Господа Бога и гордых сыновей Его — ангелов — умело владеет примитивными орудиями.

Как громом пораженные, мы внимательно рассматривали его руки. Есть ли у него большие пальцы? Можно сказать, что есть! Как громом пораженные, мы бродили вокруг мест их скопления. Неужели те звуки, которые они издают,— это своего рода осмысленная речь? Можно сказать — да! Но в чем же состоит умысел Божий? Почему Он так поступил? Неужели и это не возбудит в нем гнев?

Однако вечный свет Господень по-прежнему изливался на мир, и ничто, казалось, не в силах его омрачить. Разве не слышал Он вопля умирающего примата? Разве не достигал Его ушей визг макаки, раздираемой на части ее более крупным собратом, и разве не видел Он, как покидает ее яркая искра жизни?

«Нет, это просто неслыханно, это невозможно себе даже представить!» — вскричал я, взмывая к небесам. Ответ Господа был отнюдь не утешительным. «Мемнох,— сказал Он,— если даже Я не считаю это существо насмешкой над Собой, если Я Сам его создал, то как можешь ты чувствовать себя оскорбленным? Удовлетворись таким объяснением, Мемнох, удивляйся, изумляйся, но не беспокой Меня больше. Со всех сторон до Меня доносятся песнопения, повествующие о любой мелочи, о каждой детали Моего совершенного творения. И только ты приходишь с вопросами, которые по сути своей есть не что иное, как брошенные Мне в лицо обвинения. Все, Мемнох! Хватит! Довольно!»

Я чувствовал себя посрамленным и униженным. Само слово «обвинение» испугало меня и привело в замешательство. Известно ли тебе, что «сатана» в переводе с древнееврейского означает «противник, обвинитель»?

— Известно,— ответил я.

— Тогда, если позволишь, я продолжу. Такое отношение было мне в новинку. И тем не менее я сознавал, что на протяжении долгого времени без конца обвинял Господа то в одном, то в другом и неустанно твердил, что эволюционный процесс в том виде, в каком он происходит на земле, не может соответствовать божественной воле и желанию.

И вот теперь Он совершенно недвусмысленно приказал мне прекратить жаловаться и продолжать наблюдение. Он вновь подтвердил широту и грандиозность своих замыслов, указал на

колоссальные перспективы тех изменений, свидетелем которых мне довелось быть. Иными словами, Он позволил мне словно при мгновенной яркой вспышке увидеть Его глазами то, что никогда не открылось бы мне самому.

Я уже сказал, что чувствовал себя посрамленным и смиренно обратился к Богу с просьбой позволить мне и в дальнейшем оставаться рядом с Ним. «Конечно, оставайся»,— милосердно произнес Господь. Мы примирились, однако с тех пор, продолжая купаться в лучах Его Божественного света, я постоянно был начеку — так настороженно ведет себя животное, в любой момент ожидающее нападения невидимого в лесных зарослях врага. Настороженно и с опаской.

А тем временем внизу, на земле, происходило нечто из ряда вон выходящее!

Подумать только! Впрочем, не знаю, эти ли слова я должен употребить или лучше с библейским пафосом громко воскликнуть: «Зрите!». Суть в том, что волосатые прямоходящие существа положили начало весьма странному ритуалу. Вообще-то они положили начало очень многим обрядам и создали весьма сложные поведенческие модели. Но я, если ты не против, сразу перейду к описанию наиболее важной из них. Волосатые прямоходящие существа стали хоронить своих мертвых сородичей.

Прищурившись, я озадаченно наблюдал за Мемнохом. Он так глубоко погрузился в воспоминания и был до такой степени поглощен своим повествованием, что, пожалуй, впервые за все время нашей беседы выглядел действительно несчастным и подавленным, однако по-прежнему красивым. Никакие грустные мысли не в силах были исказить прекрасные черты его лица.

— И что? Одиннадцатым «откровением» стала обязанность хоронить мертвых? — спросил я.

Он посмотрел на меня долгим взглядом, в котором явно читалось разочарование. Мысль о том, что он не в состоянии ясно и доступно мне все изложить, приводила его в смятение.

— Так что же ты имеешь в виду? — нетерпеливо переспросил я, горя желанием узнать как можно больше.— Что подразумевается под словами о том, что они хоронили своих мертвых?

— Очень и очень многое,— прошептал Мемнох, многозначительно покачав передо мной пальцем.— Ибо обряд погребения был сопряжен с проявлениями родства и близости, какие до той поры мы едва ли встречали у какого-либо вида живых существ. Сильные заботились о слабых, здоровые помогали больным, кормили и оберегали калек, и, наконец, все вместе они с цветами хоронили мертвых. Ты только подумай, Лестат,— *с цветами*! Вот в этом-то и заключалась главная суть одиннадцатого «откровения» — в появлении современного человека! Косматого, сутулого, покрытого волосами и еще очень похожего на обезьяну, но тем не менее — человека! И лицо этого человека уже мало чем отличалось от наших. Современный человек был способен испытывать любовь и привязанность, свойственные прежде лишь нам, ангелам, и Создателю. Он проявлял свои чувства по отношению к сородичам, он так же, как и мы, любил цветы и с их помощью выражал свое горе во время погребального обряда.

Я долго молчал, обдумывая сказанное, но в первую очередь упоминание Мемноха о том, что он, Бог и остальные ангелы служили своего рода идеальным образцом, эталоном, к которому на их глазах стремились в своем развитии человеческие существа. Я никогда не размышлял над этим вопросом с такой точки зрения. И вновь перед моим мысленным взором возник Его образ в тот момент, когда Он повернулся спиной к балюстраде и обратился ко мне: «Ты никогда не станешь Моим врагом, Лестат, правда?»

Мемнох не сводил с меня глаз. Я отвел взгляд. Внутри меня все более крепло чувство привязанности к нему, вызванное прежде всего его рассказом и той эмоциональностью, с какой он излагал свое повествование. Кроме того, пришедшие на память слова Бога Воплощенного вновь повергли меня в смятение.

— Но так и должно быть,— сказал Мемнох.— И вопрос, которым тебе следует задаться, заключается вот в чем: почему Он, вне всякого сомнения зная тебя таким, каков ты есть,— а Он не может этого не знать,— почему Он *уже* не считает тебя Своим врагом? Ты догадываешься?

Я был ошеломлен...

Я лишился дара речи...

Мемнох ждал, пока я приду в себя и буду в состоянии слушать продолжение его рассказа, однако были минуты, когда мне казалось, что этот момент, возможно, не наступит вообще. Завороженный и потрясенный, я тем не менее, словно самый обыкновенный смертный, испытывал сильнейшее желание убежать, скрыться от чего-то губительного, непреодолимого, угрожающего, способного лишить меня здравого рассудка.

— Пока я оставался рядом с Господом,— заговорил наконец Мемнох,— я смотрел на происходящее Его глазами. Я наблюдал за людьми и их семьями, видел, как они собираются вместе, чтобы присутствовать при родах, видел, как они устанавливают на могилах надгробные камни... Я видел это словно вездесущими очами Господними... И меня поражала невероятная сложность каждого деяния Его, каждого момента сотворения мира, будь то возникновение молекулы воды или звук, исторгаемый живыми существами, птицами ли, людьми ли — не важно... Все казалось не более чем проявлением божественного величия. Из самых глубин сердца моего возносились к Нему такие хвалебные гимны, равных которым мне еще не доводилось петь.

И вновь Господь обратился ко мне: «Мемнох, оставайся здесь, на небесах, рядом со мной. Отныне ты будешь наблюдать издалека».

«Неужели таково Твое повеление, Господи? — спросил я.— А мне бы так хотелось видеть их возле себя, оберегать и охранять их. Я страстно желаю прикоснуться своими невидимыми руками к их коже, которая становится все мягче и мягче».

«Что ж, ты мой ангел, Мемнох,— рек Господь.— Тогда иди и стереги их. Но помни: все, что ты видишь, делается Мною и по Моему изволению».

Прежде чем покинуть рай, я окинул взглядом мироздание — надеюсь, ты понимаешь, что в данном случае я выражаюсь метафорически,— и увидел, что вселенная буквально кишит ангелами-хранителями. Они были повсюду — в лесах, в долинах, в морях,— и ни один не оставался без дела.

Однако атмосфера Земли изменилась, и причиной тому послужило присутствие в ней чего-то невидимого, какого-то, на-

зовем его так, нового элемента. Что это было? Быть может, в воздухе кружился вихрь мельчайших частичек? Нет, нечто иное... Но присутствие это ощущалось совершенно явственно.

Я отправился на землю, где немедленно обступившие меня со всех сторон ангелы в один голос подтвердили, что тоже ощущают в атмосфере нечто новое, доселе им неведомое, и что в отличие от всех других живых существ этот новый элемент совершенно не нуждается в воздухе.

— Разве это возможно? — спросил я.

— Прислушайся,— сказал ангел Михаил.— Вслушайся повнимательнее. И ты услышишь.

— Это нечто невидимое, но живое,— добавил ангел Рафаил.— Но кто из живущих в этом мире, кроме нас, может оставаться невидимым?

Сотни ангелов собрались вместе, чтобы рассказать о том, какие ощущения вызвал у них новый элемент, и поделиться своим мнением о странной невидимой силе, которая, не осознавая нашего присутствия, словно вибрировала вокруг и производила недоступный обычному слуху шум.

«Это ты во всем виноват! — воскликнул, обращаясь ко мне, один из ангелов, чье имя я называть не стану.— Своими бесконечными упреками и обвинениями ты прогневил Господа, и Он создал это нечто, невидимое, как мы, и наделенное нашей силой. Мемнох! Ты должен пойти к Богу и узнать, не замыслил ли Он избавиться от всех нас и передать бразды правления новому невидимому существу!»

«Но можно ли представить, что такое возможно?» — спросил Михаил, самый выдержанный, спокойный и разумный из ангелов, о чем свидетельствуют и фольклор, и теологические трактаты, и...— словом, вся честная компания, оставившая хоть какие-нибудь свидетельства об ангелах. И это истинная правда. Он действительно всегда отличался здравомыслием.

Так вот, Михаил стал успокаивать взволнованных собратьев. Он сказал, что эти мелкие невидимые создания, вибрации которых все мы ощущаем, никак не могут сравниться с нами в силе. Им с трудом удается проявить свое присутствие и сообщить о своем существовании даже нам, ангелам,— а ведь от нас не может скрыться ничто на земле.

«Мы обязаны выяснить, что это,— сказал я.— Совершенно очевидно, что новые создания отнюдь не небожители, а вполне земные существа. Они обитают здесь, среди лесов и холмов».

Все со мной согласились. Ведь мы отлично знали и понимали устройство мира и каждой, даже самой малой, его частицы. Иногда требуются тысячелетия, чтобы понять сущность того или иного химического вещества или бактерии, а к нам это понимание приходило мгновенно. Однако суть того, с чем мы столкнулись на этот раз, оставалась загадкой. Точнее говоря, мы не в силах были определить, с чем именно столкнулись.

— Да, я понимаю, о чем ты.

— Мы вслушивались, мы простирали руки... Мы поняли, что *оно* бестелесно и невидимо, однако при этом обладает целостностью и индивидуальностью... Если быть еще более конкретным, мы обнаружили великое множество таких индивидуальностей. И все они плакали. Постепенно их плач проник в наше собственное невидимое пространство и стал доступен нашему внутреннему слуху.

Мемнох помолчал.

— Ты понимаешь, что я имею в виду? — наконец спросил он.

— Они были призрачными.

— В то время как мы невидимые бродили по земле, ломали головы над странной загадкой, раскрывали свои объятия этим призрачным созданиям и пытались успокоить их песнопениями, случилось нечто, заставившее нас на время отвлечься от этих занятий. Мгновенная вспышка — и нашим глазам предстало двенадцатое «откровение» эволюции! Оно ударило и ослепило нас подобно огню небесному! Оно заглушило плач и крики невидимых обитателей дебрей земных! Оно пошатнуло наш разум! Наши песнопения сменились хохотом и воем!

Двенадцатое «откровение» заключалось в возникновении резких различий между мужчинами и женщинами, причем таких явных, каких еще никогда не было даже у антропоидов. Женщины становились все привлекательнее и соблазнительнее, на их лицах перестали расти волосы, конечности обрели стройность, манера поведения изменилась и обусловливалась уже не только борьбой за выживание... Словом, женщины превратились в истинных красавиц, прелесть которых была сравнима

разве что с прелестью цветов или птиц! Вместо заросших волосами человекообразных обезьян нашим глазам предстали очаровательные создания с нежной кожей и прекрасными сияющими лицами — очень похожие *на нас*, только без крыльев!!!

Мы оба застыли и молча смотрели друг на друга.

Мне не понадобилось и секунды, чтобы в полной мере постичь смысл его слов.

Мне не потребовалось ни мгновения на размышления. Я все понял. Достаточно было увидеть его нежное, красивое лицо, взглянуть на струящиеся волнами волосы, на гладкие, изящные конечности, дабы убедиться в полной правоте его слов. Не нужно быть специалистом в области эволюции, чтобы ясно отдавать себе отчет в том, что в процессе совершенствования видов такой момент непременно должен был наступить. А Мемнох был истинным воплощением женственности. Его можно было сравнить с мраморными ангелами, со скульптурами Микеланджело, ибо в нем, как ни в каком другом существе, ясно виделись отточенность и гармония женской красоты.

Мемнох был сильно возбужден и, казалось, вот-вот начнет заламывать руки от волнения. Он устремил на меня пристальный, насквозь пронзающий взгляд.

— Тринадцатое «откровение» эволюции не заставило себя долго ждать,— вновь заговорил он.— Мужчины начали совокупляться с самыми обворожительными из женщин, отдавая предпочтение обладательницам гибкой фигуры, гладкой кожи и нежного голоса. И результатом таких совокуплений стало появление на свет детей, которые, вырастая, превращались в прекрасных юношей, не уступавших женщинам в красоте и привлекательности. Более того, людей рождалось все больше и больше — самой разнообразной комплекции, рыжеволосых и брюнетов, шатенов и блондинов; их волосы завивались локонами или свисали прямыми прядями, а глаза приобретали множество оттенков серого, коричневого, зеленого, голубого цветов. Ушли в прошлое тяжелые, нависшие над глазами брови и густые волосы на лицах мужчин, не осталось и следа от тяжелой, неуклюжей обезьяньей походки — мужчины тоже засияли ангельской красотой...

Я молчал, не зная, что сказать.

Мемнох отвернулся, однако в этом жесте не было ничего, относящегося лично ко мне. Скорее всего, ему просто нужно было передохнуть и собраться с мыслями. Я вновь увидел его высокие, изогнутые, сложенные за спиной крылья, нижние концы которых почти касались земли, а каждое перышко слегка отливало радугой. Через несколько мгновений он вновь повернулся ко мне, и выражение, застывшее на его еще недавно ангельском лице, удивило и потрясло меня.

— Да-а-а... Мы их видели совершенно отчетливо... Мужчина и женщина... Он создал их... Мало того, Лестат... Мало того, что они были разными... мужчина и женщина... Он создал их по образу и подобию своему... По образу и подобию самого Господа Бога и... и Его ангелов! Вот до чего дошло! Вот до чего! Бог, разделенный надвое! Ангелы, разделенные надвое!

Не могу сказать точно, как долго остальным ангелам удавалось меня удерживать, но настал момент, когда они были уже не в силах справиться, и я взмыл в небеса — исполненный сомнений, колебаний, домыслов... Я познал гнев. Мучительные крики млекопитающих научили меня испытывать гнев. Визг и рычание дерущихся между собой человекообразных существ научили меня испытывать гнев. Смерть и разложение научили меня испытывать страх.

В общем, процесс сотворения мира, затеянного Богом, позволил мне научиться всему, что требовалось сейчас, дабы предстать перед Ним и вопросить: «Ты этого добивался? Ты замыслил разделить свой собственный образ между мужчиной и женщиной? Ты пожелал, чтобы в момент смерти — не важно, будет это мужчина или женщина,— искра жизни вспыхивала как можно ярче? Значит, Твой замысел состоял в том, чтобы совершить немыслимое разделение и создать этих чудовищ, эту насмешку над всеми нами?»

Я был вне себя от ярости, ибо считал случившееся настоящим бедствием. Я простирал к Нему руки и умолял прислушаться к моим словам, подумать, простить меня, даровать мне утешение и частичку мудрости, но... Но так и не дождался ответа. Никакого. Господь не проронил ни слова. Он не уронил на меня ни луча света. Он не наказал меня. И не вынес мне приговор.

Я вдруг обнаружил, что стою посреди рая в окружении ангелов. Они молча наблюдали за мной и тоже ожидали божественного решения.

Однако Господь Всемогущий так и не удостоил меня ответом — лишь спокойный и безмятежный свет Его в конце концов озарил все вокруг. Я разрыдался.

«Взгляните,— обратился я к своим собратьям,— даже слезы мои совсем такие же, как у них».

Справедливости ради следует все же сказать, что мои слезы, конечно, не были материальными.

Не знаю, как долго это продолжалось,— я плакал, а они стояли вокруг и молча смотрели на меня. И вдруг я понял, что плачу не один. Но кто еще? Я обвел взглядом весь сонм ангелов — хранителей, херувимов, серафимов... На их лицах застыло выражение таинственности и восхищения. И тем не менее я отчетливо слышал чьи-то стенания и плач.

«Откуда доносится этот плач?» — спросил я.

И тут до меня дошло. Они тоже догадались. Сложив крылья, мы сошлись вместе, склонили головы и прислушались... Звуки доносились с земли — это были голоса невидимых призрачных существ. Плакали они, нематериальные создания! Их стенания достигли небес. А вечный Божественный свет по-прежнему невозмутимо озарял всех нас.

«Пора взглянуть, что там происходит,— сказал Рафаил.— Нам следует исполнять повеление Господа».

«Да! Я должен увидеть и узнать, в чем дело!» — с этими словами я устремился к земле.

Остальные последовали за мной. Мы мчались, словно ураган, а вокруг плакали и завывали крошечные существа, которых мы не могли даже видеть.

Наше внимание привлекли звуки человеческих рыданий, присоединившиеся к стенаниям невидимых существ.

Наконец мы достигли земли и, никем не замеченные, окружили небольшое поселение очень красивых людей с гладкой и мягкой кожей.

В центре его на постели из трав и цветов корчился в предсмертных болезненных судорогах юноша. Он погибал от лихорадки, вызванной укусом какого-то ядовитого насекомого.

И если верить Богу, все происходящее тоже было частью Его замысла.

Воздух над умирающим был наполнен рыдающими призрачными существами, а жалобные крики людей раздирали душу.

Я снова заплакал.

«Успокойся и слушай»,— донесся до моих ушей голос Михаила, самого терпеливого и выдержанного из нас.

Он отвел нас в сторону от маленького поселения, подальше от бьющегося в конвульсиях юноши, и указал на целый сонм летающих в воздухе призрачных созданий.

Впервые мы увидели их собственными глазами! Я наблюдал, как они собираются вместе и вновь разлетаются в стороны, мечутся, сталкиваются между собой. Однако все они при этом сохраняли некое слабое подобие человеческой формы. Хилые, слабые, совершенно сбитые с толку, потерянные и не уверенные в себе, они плавали в воздухе и раскрывали свои объятия лежавшему на смертном одре юноше, которому предстояло вот-вот расстаться с жизнью. И это в конце концов произошло...

Между нами повисло молчание. Мы оба словно застыли.

Мемнох смотрел на меня так, словно ожидал, что я сам завершу его печальное повествование.

— И после смерти душа покинула этого юношу,— сказал я.— Искра жизни ярко вспыхнула, но не погасла, а присоединилась к великому множеству невидимых существ, которые летали в воздухе. Душа юноши сохранила его форму и затерялась среди тех, кто пришел, чтобы унести ее куда-то.

— Вот именно!

Он глубоко вздохнул и раскинул в стороны руки. Потом втянул в себя воздух, словно собирался взреветь, и сквозь кроны огромных деревьев над нашими головами устремил взгляд к небесам.

Я застыл как парализованный.

Лес вокруг нас тихо шумел и вздыхал, как живой. Я явственно ощущал дрожь, охватившую Мемноха, и затаившийся внутри его страшный крик, готовый вот-вот вырваться наружу. Однако Мемнох сумел подавить его и опустил голову.

Оглядевшись, я заметил, что лес вновь изменился и принял вполне современный вид. Со всех сторон нас обступали гигантские дубы и еще какие-то деревья, под ногами росли знакомые

цветы и мох, повсюду сновали птицы, в траве шуршали мелкие грызуны.

Я ждал.

— Воздух буквально кишел этими существами,— заговорил наконец Мемнох.— Теперь, увидев однажды, научившись различать их очертания и голоса, мы уже не могли не замечать их. Они словно венком окружили всю землю. Это были духи умерших, Лестат! Духи мертвых людей!

— А точнее, их души, Мемнох!

— Да, души.

— Души возникли из материи?

— Да. И сохранили Его образ. Души... субстанции... невидимые существа... души...

Я молча ждал продолжения.

Он быстро взял себя в руки.

— Идем со мной.

Мемнох провел тыльной стороной ладони по лицу и взял меня за руку. В этот момент я впервые почувствовал прикосновение крыла, легко скользнувшего по моему телу, и это ощущение заставило меня вздрогнуть, будто от страха, хотя на самом деле никакого страха не было и в помине.

— Эти души когда-то принадлежали людям,— сказал он.— Они оставались живыми и невредимыми и продолжали обитать поблизости от материальных тел — от родного племени своих прежних хозяев.

Они не могли видеть нас, не могли видеть небеса. Что же им еще оставалось, кроме как смотреть на своих потомков — на тех, кто их похоронил, кто любил их при жизни, а после смерти заботливо обрызгал их тела рыжей охрой, а потом аккуратно уложил головой к востоку в нарядно украшенные могилы?!

— А люди? — спросил я.— Люди, которые верили в них и поклонялись своим предкам? Они ощущали их присутствие? Чувствовали, что души предков по-прежнему где-то рядом?

— Да, конечно.

Я был слишком поглощен собственными мыслями, чтобы спросить еще о чем-либо.

Запахи и мрачные краски леса, бесконечное число оттенков и комбинаций коричневого, золотого и багрового цветов, казалось, заполнили все мое сознание. Взглянув вверх, в просветах

листвы над головой я увидел небо — серое, угрюмое и тем не менее величественное.

Однако я не мог думать ни о чем, кроме великого множества человеческих душ, которые плавали в потоках воздушного пространства, окружавшего нас и простиравшегося до самых небес. Души, обреченные на вечные скитания... Куда же направиться в такой тьме? Что следует искать? Что можно узнать и познать?

Что это? Неужели Мемнох смеется? Звуки были тихими, печальными, в них слышалась боль. Нет, скорее он напевает что-то. Быть может, это его сокровенные мысли изливаются в ангельском пении, подобно тому как исходит аромат от прекрасных цветов?

— Скажи, Мемнох, а Господь знал об этом? — Я видел, что он страдает, но не мог удержаться от этого вопроса.— Господь знал, что эти духовные субстанции покидают тела мужчин и женщин? Знал о том, что в воздухе витают человеческие души?

Мемнох не ответил.

Вместо этого он запел вновь, и на этот раз песня зазвучала громче и отчетливее. Устремив глаза к небесам, он исполнял какой-то грустный, мрачный, исполненный смирения и боли, но очень красивый псалом, мелодия которого не имела ничего общего с привычными нам музыкальными произведениями, построенными по раз и навсегда заведенным канонам.

Он провожал взглядом тяжелые белые облака, проплывавшие над нашими головами.

Соперничало ли очарование окружавшего нас леса с тем, что мне довелось увидеть в раю? На этот вопрос я не могу ответить. Но я твердо уверен в одном: если бы и возникла необходимость в сравнении, столь совершенную красоту не смогли бы затмить даже небеса. И это было, пожалуй, самое удивительное. Представший нашим глазам девственный лес — Сад Зла, а быть может, Эдем — был истинным чудом, он существовал словно сам по себе и обладал ни с чем не сравнимыми величием и роскошью. И вдруг я почувствовал, что не в силах смотреть на него, не в силах видеть, как медленно опадают дрожащие листья... Я не мог позволить себе полюбить этот великолепный лес, до тех пор пока не получу ответа на вопрос, казавшийся в тот момент самым главным и неизмеримо важным.

— Так знал ли Господь правду о человеческих душах, Мемнох? — вновь спросил я.— Знал или нет?

Мемнох повернулся ко мне.

— А разве мог Он не знать, Лестат? Разве Он мог не знать об этом? Как ты думаешь, кто возносился к самым высотам небес, дабы поведать Ему обо всем? И с какой бы новостью я ни представал перед Его всевидящими очами, был ли Он хоть однажды удивлен или застигнут врасплох, удалось ли хоть однажды сообщить Ему нечто такое, чего Он не знал и о чем не догадывался,— Он, вечный и всеведающий Господь?!!

Мемнох вновь тяжко вздохнул. Казалось, еще немного — и он буквально взорвется от гнева... Однако через мгновение он был вновь спокоен и задумчив.

Мы продолжили путь. Гигантские вековые деревья уступили место более молодым и изящным, с тонкими, гибкими ветвями, а под нашими ногами высоко стелились нежные, сочные травы.

В воздухе явственно ощущался запах воды. Ветер, дувший нам прямо в лица, откинул назад густые и тяжелые пряди волос Мемноха, обжег холодом мои руки и голову, но не смог остудить жар моего сердца.

Глазам нашим открылась широкая невозделанная равнина, окаймленная горами, склоны которых были покрыты зеленью лесов, глубоко впившихся корнями в камень. Кое-где среди деревьев виднелись прогалины с цветущими на них дикими злаками. По мере того как мы приближались к равнине, сквозь поредевший лес я увидел сверкающие проблески воды — не то реки, не то моря.

Наконец мы окончательно вышли из леса и оказались на свободном пространстве. Земля здесь, несомненно, была плодородной — об этом свидетельствовал сплошной ковер разнообразных трав, а яркие краски полевых цветов делали картину поистине восхитительной. Встречались на равнине и участки, где росли оливы и другие плодовые деревья с низко расположенными ветвями. Так уж сложилось генетически, что ветви деревьев, служащих источником пропитания для многих поколений, растут почти от самой земли. Все вокруг было залито солнечным светом.

Мы неторопливо продвигались сквозь высокие заросли колосящейся травы, похожей на дикорастущую пшеницу — хотя

я не уверен, что это была именно она,— и наконец оказались возле края водоема, воды которого нежно плескались о берег, время от времени откатываясь назад и обнажая влажную, сверкавшую чистыми прозрачными каплями гальку. Насколько я мог судить, приливов и отливов здесь не случалось.

Бросив взгляд по сторонам, я не увидел пределов водного простора, но противоположный берег вырисовывался вдали достаточно четко. Невысокие скалистые горы, казавшиеся такими же живыми, как и росшие на них редкие деревья, спускались почти к самому его краю.

Я оглянулся. Теперь уже за нашими спинами на многие мили протянулись скалистые холмы, постепенно, уступами переходившие в высокие горы, на склонах которых виднелись рощицы фруктовых деревьев, а кое-где — черные провалы пещер.

Мемнох не проронил ни слова.

Потрясенный, подавленный и печальный, он вглядывался то в воду, то в далекие горы, настолько близко подступившие к противоположному берегу, что, казалось, чья-то невидимая рука силой остановила их продвижение, дабы они не препятствовали течению водных потоков.

— Где мы? — спросил я тихо.

Прежде чем ответить, он еще какое-то время молчал.

— Что ж,— наконец заговорил он,— на этом я, пожалуй, завершу свой рассказ об «откровениях» эволюции. Я вкратце поведал обо всем, свидетелем чего мне довелось стать и что ты сам увидишь и узнаешь, как только умрешь.

Теперь предстоит рассказать тебе о самом главном, и я хочу сделать это здесь. Здесь, в этом прекрасном месте, хотя сами реки давно исчезли с лица земли, равно как и люди, когда-то обитавшие на их берегах. Что же касается твоего вопроса, то я должен ответить на него так: «Мы там, куда я упал после того, как Он окончательно низверг меня с небес...»

12

«Ждите!» — рек Господь. И мы остановились пред вратами рая. Рядом со мной стояли те ангелы, которые всегда были моими единомышленниками, говорили и поступали так же, как го-

ворил и поступал я. Михаил, Гавриил и Уриэль, хотя и не принадлежали к их числу, тоже были с нами.

«Мемнох, мой вечный обвинитель,— по обыкновению мягко обратился Он ко мне и озарил всех нас своим лучезарным сиянием,— прежде чем ты войдешь в рай и вновь станешь произносить свои обличительные речи, вернись на землю и тщательно, со всем вниманием и уважением еще раз изучи то, что уже видел,— прежде всего Я имею в виду человечество,— дабы, когда вернешься, ты мог с уверенностью сказать, что использовал все дарованные тебе возможности для понимания сути Моих деяний. Я сообщаю тебе, что человечество — часть природы и должно подчиняться тем ее законам, формирование которых ты наблюдал все последнее время. Только ты — и никто иной, за исключением Меня,— способен понять и постичь это в полной мере.

Но ты обязан вернуться туда и вновь увидеть все собственными глазами. Тогда, и только тогда, Я созову на небесах большой совет и приглашу на него ангелов всех уровней и рангов. И на этом всеобщем совете Я выслушаю то, что ты захочешь Мне сказать. Возьми с собой тех, кто мыслит так же, как ты, и ищет ответы на те же, что и ты, вопросы. Те же ангелы, кто никогда не подвергал сомнению деяния Мои и не мечтал ни о чем ином, кроме как вечно жить в лучах Моего света, пусть останутся здесь, рядом со Мной».

Мемнох умолк.

Мы медленно шли по берегу узкого моря, пока не достигли небольшой площадки с несколькими камнями, вполне пригодными для того, чтобы присесть на них и немного отдохнуть. Я не чувствовал усталости в физическом смысле этого слова, однако сознавал, что возможность остановиться и, так сказать, сменить позу обострит все мои чувства, усилит внимание и желание до конца выслушать рассказ Мемноха. Он сел вполоборота, справа от меня, и его крылья вновь словно растаяли в воздухе. Но прежде чем это случилось, они взвились вверх и во всю ширь распахнулись высоко над моей головой, заставив меня вздрогнуть от неожиданности, и только тогда почти мгновенно исчезли, поскольку, когда Мемнох садился, места для них практически не оставалось.

— Едва Господь закончил,— продолжил свою повесть Мемнох,— на небесах поднялся невероятный шум. Ангелы пришли в волнение, решая, кто отправится следом за мной изучать мироздание, а кто останется в раю, рядом с Богом. Дело в том, что, как я уже тебе говорил, великое множество ангелов разбрелось по всему миру, некоторые из них провели там многие годы и успели полюбить моря и реки, долины и даже пустыни, которые к тому времени тоже появились на земле. Однако миссия, порученная мне Господом, была совершенно особой: узнать все, что только возможно, о человечестве. Вот почему главным вопросом, требовавшим ответа, был вопрос о том, кого из ангелов в той же мере, что и меня, интересует человечество как таковое, кто из них горит желанием познать связанные с ним тайны...

— Постой-постой,— перебил его я.— Извини, что прерываю, но сколько же всего ангелов существует на свете? Если я не ошибаюсь, Господь говорил о «всех уровнях и рангах»?

— Полагаю, кое-что тебе об этом известно,— ответил Мемнох.— Первыми Господь создал нас, архангелов,— Мемноха, Михаила, Гавриила, Уриэля и многих других, чьи имена навсегда остались нераскрытыми, частично по причине невнимательности и небрежности, частично намеренно. Я тоже не стану их называть. Всего же архангелов было пятьдесят. Повторяю, мы были первыми, хотя вопрос о том, кто из нас появился раньше, а кто позже, всегда вызывал жаркие споры на небесах. Впрочем, я давным-давно утратил к ним интерес. Сам же я абсолютно уверен, что первым был именно я. Но это не имеет значения.

Мы принадлежим к числу тех, кто имеет непосредственный доступ к Богу и в то же время самым тесным образом связан с землей. Вот почему нас именуют не только архангелами, но и ангелами-хранителями и в религиозной литературе зачастую относят к низкому рангу. Однако ранг наш отнюдь не низок. Все мы сильны как личности, обладаем умением приспосабливаться и служим посредниками между Богом и людьми.

— Понятно. А Разиэль? А Метатрон? А Ремиэль?

Мемнох улыбнулся.

— Я не сомневался, что эти имена тебе тоже знакомы. Каждый из них, конечно, занимает свое место среди архангелов. Однако сейчас у меня нет возможности вдаваться в подробные объяснения. Ты все узнаешь, когда умрешь. К тому же челове-

ческий разум, пусть даже это разум вампира, каким являешься ты, не в состоянии постичь столь многое сразу.

— Очень хорошо,— сказал я.— Только хочу уточнить вот что. Те имена, которые ты сейчас называл, принадлежат умопостигаемым сущностям? Сариэль тоже к ним относится?

— Да.

— А Загзагель?

— И он тоже. А теперь позволь мне продолжить. Позволь подробнее рассказать о замыслах. Мы, как ты знаешь, посланники Божии и самые главные ангелы, но я быстро превращался в обвинителя и противника Господа.

— А ведь слово «сатана» в переводе и означает «противник, обвинитель»,— напомнил я.— И все другие имена, которые тебе очень не нравятся, так или иначе связаны именно с этим понятием — «обвинитель».

— Совершенно верно,— подтвердил Мемнох.— Однако религиозные писатели раннего периода, не ведая всей правды, а зная только ее фрагменты и отголоски, считали, что я обвинял не Бога, а людей. Вскоре, однако, ты поймешь, что у них были на то веские причины. Можно сказать, что я стал великим обвинителем всего и вся...— В голосе его на миг прорвались нотки гнева и раздражения, но он быстро взял себя в руки и уже абсолютно спокойным, ровным тоном продолжил: — Тем не менее мое имя — Мемнох. Не было и нет во вселенной ангела прозорливее и могущественнее, чем я.

— Не спорю,— согласно кивнул я скорее из вежливости, чем по какой-либо иной причине. Хотя, если признаться, у меня не было причин подвергать сомнению его заявление.— Ты говоришь о девяти ангельских рангах — или чинах, как их еще называют?

— Да, о них,— кивнул он.— О девяти чинах, составляющих небесную иерархию. О них подробно говорится в трудах еврейских и христианских ученых-богословов, хотя точно определить суть каждого чина довольно трудно. В первую триаду входят серафимы, херувимы и престолы, или офанимы, как предпочитаю именовать их я. Эта первая триада занимается главным образом прославлением Бога. Они находятся в непосредственном Его распоряжении, практически никогда не покидают небесных пределов и купаются в лучах Божественного сияния, способного ослепить других.

В своих гневных обличительных речах, обращенных ко всем обитателям рая, я часто обвинял этих ангелов в...— да простятся мне эти слова! — в излишней приверженности Господу и в отсутствии собственной воли и индивидуальности, то есть того, чем в полной мере обладаем мы. На самом деле у них, конечно, есть и то и другое, поверь мне, действительно есть, даже у офанимов, самых молчаливых из этой триады, от которых зачастую вовек не дождешься слова. Любого ангела из первой триады Господь может послать с тем или иным поручением. Они спускаются и на землю, причем серафимы умеют со всей торжественностью обставлять свое явление людям. К чести их следует сказать, что все они искренне любят Господа, восхищаются Им и в Его присутствии испытывают неподдельный восторг. Он владеет всеми их помыслами, и потому никому из них не приходит в голову усомниться в Его деяниях или задать Ему какие-либо вопросы. Словом, это наиболее покорные ангелы, хотя некоторые предпочитают говорить не о покорности, а о преданности Господу.

Вторую триаду составляют три чина, названия которым были даны людьми: господства, добродетели и силы. Откровенно говоря, ангелы, принадлежащие ко второй триаде, мало чем отличаются от ангелов первой. Они обитают чуть дальше от Божественного света, что, наверное, с учетом их предназначения вполне естественно, а если говорить о логике и сомнениях, заставляющих задавать Богу вопросы, то ни в том ни в другом, на мой взгляд, они не сильны. Впрочем, кто знает, возможно, я не прав. В целом ангелам второй триады тоже свойственна покорность. Однако они гораздо чаще, чем безгранично преданные Господу, завороженные Его величием и иногда надменные и заносчивые серафимы, спускаются на землю. Надеюсь, ты понимаешь, что по этой причине они более склонны к спорам.

— Да, понимаю.

— Находясь в раю, ангелы обеих триад беспрестанно поют свои гимны. Тем же самым они заняты и большую часть времени, проводимого на земле. В отличие от хвалебных гимнов, которые исполнялись мною и мне подобными и которые, как правило, были связаны с тем или иным конкретным событием, их

искренние песнопения льются как бы самопроизвольно и непрерывным потоком взмывают к небесам, в то время как архангелы склонны подолгу молчать.

После смерти тебе представится возможность послушать пение ангелов всех триад. Однако сейчас это невозможно, ибо ангельское пение способно уничтожить тебя. Я позволил тебе услышать лишь малую толику — смех, отголоски пения, беспорядочные на первый взгляд шумы,— и большее пока для тебя недоступно.

Я кивнул, вспомнив, какие болезненные ощущения вызвали во мне прекрасные и величественные звуки.

— Самая низшая триада включает в себя чины начальства архангелов и ангелов, однако, как я уже говорил, это в корне неверно, ибо мы, архангелы, самые важные и могущественные; мы обладаем индивидуальностью, мы способны мыслить, сомневаться, нас многое интересует, беспокоит и заставляет задавать вопросы.

Другие ангелы, правда, считают такие качества порочными. Обычному серафиму и в голову не придет просить Бога о милосердии к человечеству.

Такова в нескольких словах небесная иерархия. Число ангелов несметно. Время от времени одни из них приближаются к Богу, другие, наоборот, по тем или иным причинам отдаляются от него. Такое движение происходит практически непрерывно.

Важно отметить, что ангелы-хранители, наблюдатели и посланники Божии, пристально следившие за процессом сотворения мира, происходили практически из всех чинов. Даже среди серафимов были такие, кто в качестве ангелов-хранителей провел на земле миллионы лет и лишь потом вернулся на небеса. В посещении земли любыми ангелами нет ничего необычного. Я представил тебе наиболее общую схему, но это не означает, что все установлено раз и навсегда.

Ангелы несовершенны. В этом ты уже имел возможность убедиться. Они созданы Богом и, совершенно очевидно, не могут сравниться в знании со всеведущим Господом. Однако знания их обширны, они способны постичь все, что известно в тот или иной момент времени,— если, конечно, сами того захотят. Вот в этом и состоит их главное различие. Одни жаждут знать

все, а других интересует лишь Господь и Его отражение в душах наиболее преданных Ему почитателей.

— Насколько я понимаю,— уточнил я,— ты хочешь сказать, что все правы и в то же время все по-своему ошибаются...

— Больше правы, чем ошибаются. Суть в том, что каждый ангел обладает собственной индивидуальностью. Мы, падшие ангелы, не составляем какого-то отдельного от всех, особого вида, разве что наши блестящие способности и ум выделяют нас среди остальных и позволяют считать себя не такими, как все. Однако я не думаю, что это на самом деле так...

— Продолжай, я слушаю.

Мемнох рассмеялся.

— Уж не думаешь ли ты, что я собирался на этом закончить?

— Откуда мне знать? — сказал я.— Пока я не вижу во всем этом своего места. Каким образом вписываюсь в твою схему я — не как Лестат де Лионкур, а как... А как тот, кем я, собственно, сейчас являюсь... то есть как вампир...

— Ты существо вполне земное и в то же время совершенно необычное — своего рода феномен, такой же, как, например, призрак. К этому мы еще придем — всему свое время. Когда Господь послал нас на землю, дабы мы наблюдали за человечеством, мертвые интересовали нас ничуть не меньше, чем живые. Скопление душ, венцом окутавшее землю, тех самых душ, которых мы видели собственными глазами и чьи стенания и плач явственно слышали, мы назвали преисподней, ибо нам казалось, что пространство, где они обитают, погружено в непроглядный мрак. А преисподняя и есть царство мрака.

— А дух, создавший вампиров...

— Не спеши,— перебил меня Мемнох.— На самом деле это очень просто. Однако позволь я объясню тебе все *со своей точки зрения*. В противном случае ты не сможешь меня правильно понять. Просьба, с которой я к тебе обратился,— просьба стать моим заместителем — настолько необычна, что ты не сумеешь уловить ее суть, если не выслушаешь меня очень внимательно.

— Пожалуйста, продолжай.

— Хорошо. Многие ангелы решили последовать за мной на землю, дабы оказаться как можно ближе к материи и, объединив все наши знания, исполнить повеление Господа: увидеть,

познать и постичь происходящее. Михаил тоже отправился со мной, равно как и целый сонм других архангелов. Было среди нас несколько серафимов и несколько офанимов, а также ангелы других чинов, быть может не отличавшиеся большими умственными способностями, но живо интересовавшиеся процессом сотворения мира и искренне стремившиеся понять, почему же я так сердит на Господа Бога.

Точного числа спустившихся на землю ангелов я назвать не могу. Мы разошлись в разные стороны, но время от времени собирались вместе, дабы поделиться впечатлениями и обсудить увиденное.

Главное, что интересовало нас всех, это высказывание Господа о том, что человечество — часть природы. Нам трудно было в это поверить, а потому мы упорно продолжали свои исследования.

Вскоре я обнаружил, что люди жили теперь большими группами, совсем не так, как остальные приматы, что они строили для себя убежища, раскрашивали свои тела в различные цвета, что мужчины зачастую селились отдельно от женщин и что все они верили во что-то невидимое. Но во что именно? Служили ли предметом веры и поклонения души ушедших от них любимых предков, лишенные телесной оболочки, исполненные смятения и по-прежнему обреченные на скитания в воздушном пространстве земли?

Да, как выяснилось, люди поклонялись душам предков, но не им одним. Они придумали некое божество, создавшее диких зверей, и приносили ему кровавые жертвы на алтарях, полагая, что это воплощение Бога Всемогущего обладает весьма ограниченными возможностями и что его с легкостью можно не только рассердить, но и ублажить.

Должен признаться, новые открытия очень удивили меня. Ведь я стал свидетелем зарождения этих верований. Пойми, в своих «откровениях» я обобщил события, происходившие на протяжении миллионов лет. Когда я приблизился к алтарям и услышал слова молитв, обращенных к божеству диких зверей, когда увидел, как тщательно готовятся люди к совершению обряда жертвоприношения — обычно в роли жертвенного животного выступал баран или олень,— меня в первую очередь

поразил тот факт, что человеческие существа не только стали внешне походить на ангелов, но и сумели познать истину.

Конечно, они пришли к этому инстинктивно. Они знали о существовании Бога. Однако понятия не имели, как именно Он выглядит. Их инстинктивные знания происходили, казалось, из того же источника, что и их бессмертные души. Попробую выразиться яснее.

Самосознание и ощущение собственной смертности способствовали развитию человеческой индивидуальности, личности, и эта личность испытывала страх перед смертью, страх перед полным исчезновением! Они видели это собственными глазами и понимали значение происходящего. И они молились своему божеству, прося его не допустить, чтобы такое событие оказалось бессмысленным, не позволить, чтобы оно вообще не имело значения в этом мире.

И только эта настойчивость, упорство каждой отдельной личности приводили к тому, что души умерших, покидая свои материальные тела, сохраняли их форму и оставались живыми — они цеплялись за жизнь как таковую, приспосабливались к тому пространству, в котором оказывались и которое было единственно для них доступным, и таким образом обретали возможность вечного существования.

Я молча слушал, поглощенный рассказом, и жаждал только одного: его продолжения. Однако вполне естественно, что мне вспомнился Роджер. Я словно воочию видел его перед собой, ибо Роджер был единственным призраком, которого мне довелось встретить. А картина, только что нарисованная Мемнохом, представляла собой более понятную и совершенную версию появления Роджера.

— О да, ты абсолютно прав,— подтвердил мои догадки Мемнох.— Быть может, в том и состоит одна из причин его прихода к тебе, хотя... Хотя в тот момент я воспринимал его как досадную, раздражающую и самую нежелательную в мире помеху.

— Ты не хотел, чтобы Роджер встречался со мной?

— Я наблюдал. Я слушал. Я был поражен не менее, чем ты. Однако у меня и до Роджера случались поразительные встречи — с другими призраками. Вот почему его приход не был для меня чем-то из ряда вон выходящим. Но если тебя интересует,

не я ли организовал ваше свидание, то нет — я не имел к нему никакого отношения.

— Но ведь это произошло почти одновременно с твоим появлением, и мне казалось, что оба события тесно связаны между собой.

— Неужели? И в чем же ты усмотрел эту связь? Скорее тебе следует искать ее в себе самом. Не кажется ли тебе, что мертвые и прежде пытались поговорить с тобой? Не кажется ли тебе, что призраки твоих жертв с воплями преследовали тебя повсюду? Конечно, в большинстве случаев призраки твоих жертв пролетали мимо в блаженном неведении, что именно ты стал виновником их смерти. Однако так происходит не всегда. Вполне вероятно, в данном случае изменения произошли в тебе самом. Ведь для нас с тобой обоих не секрет, что ты успел полюбить этого человека, восхищался им, как никто другой, понимал его тщеславие, его интерес к непостижимому и страстное увлечение коллекционированием священных реликвий и других ценностей, потому что сам обладал теми же чертами характера.

— Да, все это правда,— сказал я.— И все же я по-прежнему уверен, что его появление каким-то образом связано с тобой.

Мемнох был поражен. Он долго смотрел на меня и, казалось, готов был разразиться гневом. Однако вместо этого он лишь рассмеялся.

— Но почему? — спросил он.— С чего это мне вдруг пришло бы в голову обратить внимание на какого-то призрака? Ты знаешь, о чем я тебя прошу. И тебе известно, что это значит. Тебе не чужды теологические и мистические откровения. Ты успел познать их, еще будучи смертным. Помнишь? Давным-давно, во Франции, маленький мальчик вдруг понял, что может умереть, не успев познать смысл существования вселенной, и побежал к деревенскому священнику, чтобы прямо задать ему только один вопрос: «Верите ли вы в Бога?»

— Все так, но...— я запнулся, не зная, как оправдать свои сомнения.— Но, повторяю, эти два события произошли практически одновременно. И когда ты утверждаешь, что между ними нет никакой связи, я... Я просто не могу поверить...

— Какое же ты все-таки несносное создание! — воскликнул Мемнох.— Совершенно несносное! — В голосе его отчетливо слышалось легкое раздражение. И все же он терпеливо продол-

жил: — Ну как ты не понимаешь, Лестат, что именно то, что заставило тебя ввязаться во всю эту сложную и запутанную историю с Роджером и его дочерью Дорой, в свою очередь привлекло меня в твоем собственном характере и побудило прийти к тебе, а не к кому-либо другому? Ты стремился к познанию сверхъестественного. Ты молил небеса о собственной гибели и уничтожении. Сделав Дэвида себе подобным, ты, возможно, совершил первый реальный шаг на пути ужасных моральных испытаний. И если превращение в вампира маленькой девочки, Клодии, ты еще мог себе простить и оправдать тем, что был молод и глуп, то...

То обряд перерождения Дэвида, совершенный над ним против его воли, нельзя было ни простить, ни оправдать!.. Ты завладел его бессмертной душой и сделал ее душой вампира! О, это поистине преступление из преступлений! Оно требовало вмешательства небесных сил, оно взывало к Господу! Ведь речь шла о Дэвиде, том самом Дэвиде, который заинтересовал нас до такой степени, что мы однажды позволили ему, пусть даже всего лишь на несколько мгновений, увидеть нас воочию. Нам было небезразлично, какой путь он изберет в дальнейшем!

— Значит, ваше появление перед Дэвидом было преднамеренным?

— Мне казалось, что я уже говорил тебе об этом.

— А Роджер и Дора? Они просто попались на пути?

— Безусловно. Конечно, следует признать, что ты избрал своей жертвой одну из самых ярких и привлекательных личностей. Этот человек был столь же искусен в делах своих — в убийствах, вымогательстве, воровстве,— сколь ты был искусен во всем, что предписывала тебе совершать твоя нынешняя сущность. Твой поступок был крайне смелым и дерзким. Твой голод растет. Он становится в гораздо большей степени опасным для тебя, чем для окружающих. Тебя уже не привлекают, как прежде, отбросы общества, лишенные всякой надежды, или отъявленные головорезы. Остановив свой выбор на Роджере, ты тем самым заявил о том, что жаждешь власти и славы. Ну и что дальше?

— Я растерян. Меня терзают противоречия,— прошептал я.

— Почему? В чем дело? — удивился Мемнох.

— Потому что я влюбился в тебя. А такие эмоции, как мы оба знаем, я никогда не оставляю без внимания. Я чувствую, что

меня влечет к тебе. И все же мне думается, ты лжешь относительно Роджера. И относительно Доры. Я уверен, что все это звенья одной цепи. И стоит мне вспомнить о Боге Воплощенном...

Не в силах продолжать, я оборвал себя на полуслове.

На меня потоком нахлынули воспоминания о рае, я вновь испытал те ощущения, что и там, на небесах,— во всяком случае, те из них, которые еще свежи были в памяти,— и буквально задохнулся от невыразимой печали.

Наверное, я невольно закрыл глаза — не знаю. Помню лишь, что вдруг открыл их и обнаружил, что Мемнох мягко держит меня за руки. Его крупные ладони были теплыми, а кожа — на удивление гладкой, и в то же время в этом пожатии чувствовалась недюжинная сила. Какими же холодными, должно быть, показались ему мои невероятно белые, изящные, отливающие перламутровым сиянием руки со сверкающими, как льдинки на солнце, ногтями!

Он отпустил меня и отошел в сторону, и чувство мучительного одиночества неожиданно причинило мне боль. Руки мои так и остались напряженно сомкнутыми.

А Мемнох уже стоял в нескольких ярдах, спиной ко мне, устремив взгляд в сторону другого берега узкого моря. Я вновь отчетливо видел его огромные крылья, которые беспокойно подергивались, словно охватившее его внутренне напряжение привело в действие мышечный механизм, предназначенный для управления ими. Мемнох казался неотразимо прекрасным и в то же время исполненным отчаяния.

— Возможно, Господь прав,— тихо заговорил он, не оборачиваясь и по-прежнему пристально вглядываясь вдаль. В голосе его звучала ярость.

— Прав в чем? — спросил я, поднимаясь с камня.

Он даже не оглянулся.

— Мемнох, прошу тебя, продолжай,— едва ли не взмолился я.— Иногда мне кажется, что я больше не выдержу, что твоя повесть вот-вот разорвет мне сердце. И тем не менее я прошу тебя: продолжай! Пожалуйста, пожалуйста, продолжай!!!

— Это что, своего рода форма извинения с твоей стороны? — мягко спросил он, поворачиваясь ко мне лицом.

Крылья вновь сделались невидимыми. Он вернулся к камням и сел чуть правее меня.. Я машинально отметил, что нижний край его одеяния покрыт пылью, а в длинных растрепавшихся волосах запутался маленький кусочек зеленого листка.

— Нет, это не просьба о прощении,— ответил я.— Как правило, я говорю именно то, что думаю.

Я внимательно, изучал его лицо: скульптурный профиль, великолепная кожа, ничем не отличающаяся от человеческой, разве что чересчур гладкая и совершенно лишенная волос... Нет, словами описать это просто невозможно! Когда вы входите в какой-либо храм эпохи Возрождения и видите там огромную, величественную в своем идеальном совершенстве статую, она не вызывает страха в вашей душе, потому что вы сознаете, что это всего лишь каменная фигура, не более. Но та статуя, что стояла передо мной, была живой!

Мемнох обернулся, словно только теперь заметил, что я пристально наблюдаю за ним. Когда наши взгляды встретились, в его глазах я увидел мириады переливающихся разноцветных точек. Он наклонился вперед, и я почувствовал на своей щеке нежное прикосновение его мягких, совершенно гладких, чуть влажных губ — горячее дыхание жизни сумело проникнуть даже сквозь мою давно затвердевшую, ледяную кожу и обожгло меня так, как может обжечь только кровь... Живая кровь! Каждая частичка во мне пылала, а сердце пронзила боль, причем я мог, приложив палец к груди, с точностью указать, в каком именно месте.

— А что чувствуешь сейчас *ты*? — спросил я Мемноха, изо всех сил сопротивляясь разрушительному действию его поцелуя.

— Я чувствую кровь сотен и сотен людей,— шепотом ответил он.— Я чувствую душу, познавшую сотни других душ.

— Познавшую? А быть может, просто уничтожившую?

— Ты готов прогнать меня из ненависти к самому себе? Или я могу продолжить свой рассказ?

— О, пожалуйста, пожалуйста, продолжай!

— Итак, люди выдумали или открыли для себя Бога.— Голос Мемноха вновь звучал ровно, спокойно, а интонация была почти поучительной и в то же время смиренной.— В некоторых племенах поклонялись сразу нескольким богам, каждый

из которых почитался как создатель той или иной части мира. Да, конечно, знали люди и о том, что души умерших бессмертны и обитают где-то рядом, а потому пытались вступить с ними в контакт, оставляли дары на могилах, совершали жертвоприношения. Они обращались к душам своих соплеменников с самыми разными просьбами: об успешной охоте, о рождении ребенка...— словом, искали у них защиты и помощи во всех делах.

И когда мы, ангелы, проникали в преисподнюю...— а должен тебе сказать, что наше невидимое присутствие в пространстве, где безраздельно царили души умерших, не причиняло им беспокойства,— когда мы заглядывали туда, то видели, что внимание и любовь тех, кто оставался на земле, укрепляли и поддерживали жизненные силы бесплотных душ.

Так же как и ангелы, души эти различались между собой и по интеллекту, и по степени интереса к тому, что происходило вокруг.

Одни, например, сознавали, что мертвы,— они старались откликнуться на молитвы своих детей, помочь советом и прикладывали все силы, чтобы иметь возможность вести долгие безмолвные беседы с потомками. Они даже пытались являться им, используя всю мощь своей невидимой субстанции, для того чтобы привлечь и сконцентрировать в ней мельчайшие частички материи, витающие в пространстве. Они стремились рассказать о тьме, в которой пребывают, о горечи — вечной спутнице смерти, о том, что нужно быть сильными и храбрыми при жизни... Иногда потомки видели их во сне, ибо спящий разум человека открыт для общения с душами мертвых.

Обитатели преисподней — по крайней мере некоторые из них — сознавали, что вера и внимание детей поддерживают их существование, а потому неоднократно напоминали потомкам о долге перед умершими, о необходимости молиться им и приносить дары на их могилы. Эти души казались наименее растерянными и смущенными, однако в одном аспекте они ошибались так же, как и остальные: они считали, что видели все, что можно было увидеть.

— Они понятия не имели о существовании рая?

— Ни малейшего! Ни один лучик небесного света не проникал в преисподнюю, туда не доносился ни один звук райской

музыки. Души, которые там пребывали, видели только тьму, звезды и людей, оставшихся на земле.

— Ужасно! Разве можно вынести такое?!

— Можно, если считаешь, что приносишь пользу своим детям, и если ты все еще способен черпать силы, глядя, как потомки совершают возлияния на твоей могиле. Можно, если тебя радует, когда живые прислушиваются к твоим советам и осуждают тех, кто этого не делает, если ты имеешь возможность беседовать с ними, хотя бы изредка появляться перед ними воочию и видеть, что это приносит заметные результаты.

— Да, я понимаю. Потомкам они казались своего рода божествами.

— Вот именно. Богами-предками, богами-предтечами, если можно так выразиться. Но они не имели ничего общего с Создателем всего сущего. Как я уже говорил, люди четко разделяли эти два понятия.

Преисподняя чрезвычайно заинтересовала меня. Я принялся изучать ее, что называется, вдоль и поперек. Некоторые души не сознавали, что мертвы. Они чувствовали себя ослепшими, несчастными, потерянными и без конца стенали и плакали, словно малые дети. Мне кажется, что они были настолько слабыми, что даже не ощущали присутствия рядом других душ.

Встречались души, явно пребывавшие в заблуждении и полагавшие, что они по-прежнему живы. Они преследовали своих забывших о долге перед предками родственников, тщетно пытаясь докричаться до них и уж тем более явиться им в снах. Ибо у душ, которые все еще числили себя среди живых, недоставало разума привлечь к собственной субстанции частички материи и таким образом сделаться видимыми.

— Это мне тоже понятно.

— Итак, прежде чем продолжить, уточню еще раз. Одни души сознавали, что они не более чем призраки, посещающие тех, кто остался на земле. Другие пребывали в уверенности, что остаются живыми и что против них ополчился весь мир. А третьи просто бесцельно плавали в пространстве. Они видели, что происходит вокруг, слышали звуки, доносившиеся из мира живых существ, но оставались отстраненными от всего этого и как будто пребывали в неком ступоре или глубоком сне. Но некоторые души погибали!

Да, они погибали прямо на моих глазах! И вскоре я понял, что таких немало. После того как душа, обреченная на смерть, покидала свою плотскую оболочку, она еще приблизительно в течение недели — ну, иногда месяца, не более,— сохраняла форму человеческого тела, а потом начинала медленно таять. Ее субстанция постепенно как бы растворялась, подобно тому как это происходит с внутренней субстанцией умершего животного. И в конце концов она просто исчезала, рассеивалась в воздухе — быть может, вновь возвращалась к некой форме божественной энергии и сущности.

— Так вот что, по твоему мнению, происходило! — с отчаянием в голосе воскликнул я.— Их энергия возвращалась к Создателю! Крошечный язычок пламени свечи вновь сливался с вечным огнем!

— Я не утверждаю, что все происходило именно так,— ответил Мемнох.— С уверенностью могу сказать лишь одно: мне ни разу не приходилось видеть, как маленькие огоньки взмывают к небесам, чтобы навсегда исчезнуть в мощных и любящих объятиях божественного пламени. Нет, ничего подобного не было!

Божественный огонь не достигает преисподней. Как не простираются туда милость и утешение Господни. И тем не менее обитающие там души несут на себе отпечаток как нашего, так и Его образа, они стремятся сохранить этот облик и жаждут жизни после смерти. Наверное, в этом и состоит самое мучительное для них испытание — в неизбывной жажде жизни за гранью смерти.

— А если она отсутствует в самый момент смерти, то душа попросту исчезает? — спросил я.

— Ни в коем случае. Эта жажда, похоже, присуща всем от природы. Она исчезает уже в самой преисподней, и только после этого искра жизни в душе начинает гаснуть. Надо сказать, что душам приходится пройти через многие испытания и выдержать их дано далеко не всем, а лишь наиболее сильным. Как правило, стойкости для этого хватает только тем душам, которые осознают себя либо божествами, либо людьми, проникшими в царство доброго Бога, и которые проявляют интерес и внимание к оставшимся на земле. Более того, они оказывают

влияние и на более слабые души, помогают им обрести силу, тем самым спасая их от смерти и окончательного исчезновения.

Мемнох ненадолго умолк, словно подыскивая слова для дальнейшего повествования, потом продолжил рассказ:

— Мне довелось встретить в преисподней и такие души, которые воспринимали происходящее совершенно по-другому. Они знали, что являются не божествами, а умершими людьми. Они сознавали, что не имеют права каким-то образом вмешиваться в судьбы тех, кто возносил им молитвы. Они понимали, что приносимые им жертвы и возлияния по сути своей были символическими. Им было хорошо известно значение слова «символические». Они знали многое. И в частности то, что мертвы, потеряны для мира. Будь у них возможность, они с удовольствием обрели бы новую телесную оболочку. Надо сказать, что некоторым это удавалось.

Мне довелось стать свидетелем нескольких таких случаев. Я видел, как эти души спускались на землю, завладевали телом и разумом какого-нибудь спящего смертного и оставались внутри его до тех пор, пока человек не находил в себе силы избавиться от непрошеного гостя и не вышвыривал его прочь. Тебе, несомненно, тоже известны факты подобных вторжений — люди называют это одержимостью. Ты сам завладел чужим телом, в то время как твое оказалось во власти другой души.

— Да, конечно.

— Но я рассказываю тебе сейчас о том, как и с чего все начиналось. И поверь, мне было чрезвычайно интересно наблюдать за тем, как наиболее сообразительные души осваивали законы и правила таких вторжений, видеть, как они постепенно развивали свои способности и становились все сильнее и могущественнее. Да, на это стоило посмотреть!

Однако меня не мог не пугать тот факт, что столь сильные души в той или иной форме и степени воздействовали на живых людей. Не забывай, что я по-прежнему оставался обвинителем Господа и часто испытывал ужас перед тем, что Бог назвал природой. Так вот, среди людей стали появляться так называемые оракулы. Они вдыхали или пили некое снадобье, заставлявшее их разум расслабиться и открыться навстречу душе умершего, которая затем беседовала их голосом с живыми.

А поскольку эти могущественные духи — отныне я стану называть их именно так, духами,— поскольку эти могущественные духи знали только то, чему могли научиться на земле и в преисподней, они зачастую побуждали смертных совершать весьма серьезные, поистине ужасные ошибки и промахи. Я слышал их призывы к войнам и казням, я слышал их требования о принесении кровавых человеческих жертв.

— Иными словами, ты был свидетелем того, как люди создавали религию.

— Да, в той мере, в какой человека вообще можно считать создателем чего-либо. Не стоит забывать о том, кто создал мир и всех нас.

— А как относились к такого рода открытиям и откровениям другие ангелы?

— Мы собирались, обменивались впечатлениями, высказывали свое недоумение и удивление, а потом вновь расходились в разные стороны, дабы продолжить исследования. Никогда прежде земные события не привлекали нас до такой степени. Однако отношение к ним было самым разным.

Некоторые — главным образом серафимы — уверяли, что все происходящее может вызывать только восхищение, что деяния Господа достойны наивысших похвал и тысяч восторженных гимнов, что результатом усилий Создателя будет появление некоего существа, которое со временем превратится в невидимое божество, обладающее недюжинными способностями в умении как бороться, так и выживать.

Иные считали, что совершена ужасная, отвратительная ошибка. «Это просто неслыханно! Как могут души людей претендовать на божественность? — вопрошали они.— Следует немедленно пресечь это безобразие!»

Моя реакция была очень эмоциональной: «Это поистине чудовищно и приведет к еще худшим несчастьям и бедствиям! Ведь положено начало новой стадии развития человечества — бестелесным, невежественным и при этом очень целеустремленным существам. С каждой секундой их становится все больше и больше. Эти назойливые, столь же несведущие, как и люди, в чьих телах они прежде обитали, создания постепенно заполняют атмосферу».

— Естественно, многие ангелы разделяли твою точку зрения.

— Да. Кое-кто высказывался столь же страстно и горячо. Однако Михаил попытался охладить мой пыл. «Веруй в Бога, Мемнох,— сказал он.— В Того, по чьей воле произошли все эти перемены. Ибо божественный замысел известен одному только Господу».

Мы с Михаилом беседовали часто и подолгу. Кстати, Рафаил, Гавриил и Уриэль вообще не спускались тогда на землю и не принимали участия в нашем исследовании. Причина совершенно проста: эти четверо никогда не отправлялись куда-либо все вместе. Так уж было заведено... таков был приказ свыше, что двое из них всегда должны оставаться на небесах, дабы в любой момент откликнуться на зов Божий. Вот почему все четверо не могли одновременно покинуть рай. А в тот раз желание присоединиться к нам изъявил один только Михаил.

— Архангел Михаил существует и сейчас?

— Конечно существует! И ты с ним непременно встретишься. При желании ты мог бы сделать это прямо сейчас, хотя... Хотя нет, сейчас, пожалуй, ничего не выйдет. Михаил не придет, потому что он целиком и полностью на стороне Бога. Однако если ты присоединишься ко мне, то он не станет относиться к тебе как к чужому. Откровенно говоря, тебя, вполне возможно, очень удивят симпатия и понимание, с какими Михаил зачастую относится к моим поступкам. Но следует учесть, что небесные обитатели вовсе не считают меня своим непримиримым врагом. В противном случае мне никогда бы не позволили делать то, что я делаю.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Все, кого я упоминал, рассказывая о небесной иерархии, существуют и по сию пору. Они бессмертны. Да и разве могло быть иначе? Другое дело, что ушли в небытие многие души, обитавшие в то время в преисподней,— во всяком случае, с некоторых пор мне не довелось встречать их в какой-либо известной мне форме. Хотя... Хотя вполне возможно, что они существуют и поныне, но в том виде, о каком известно одному только Богу.

— Согласен, это был глупый вопрос,— признал я.— Но пока ты со страхом наблюдал за ходом всех этих процессов, каким образом ты соотносил их с заявлением Бога относительно при-

роды — с его утверждением, что тебе предстоит быть свидетелем того, как человечество становится частью природы?

— Я мог сделать это, только допустив возможность постоянного взаимообмена между энергией и материей. Иными словами, я мог предположить, что души, по сути своей являвшиеся энергией, черпали знания из материи. Другого объяснения у меня не было. Однако мне дал его Михаил. Его точка зрения заключалась в следующем. Все мы находимся как бы на лестнице. Низшие молекулы неорганической материи составляют низшие ступени этой лестницы. А эти бесплотные души занимают ступени, расположенные над человечеством, однако ниже тех, на которых стоят ангелы. Михаил воспринимал происходящее как единый и неделимый процесс. Но не следует забывать, что он видел в этом умысел Божий и не сомневался, что все делается по воле Его.

Я не мог этому поверить! Ибо *страдания*, претерпеваемые душами, приводили меня в ужас. Не оставался равнодушным к ним и Михаил. Он затыкал уши. Не меньший ужас испытывал я и при виде того, как души *умирают*. Если они могут жить, то почему бы не позволить им всем узнать об этом? И еще. Неужели они обречены на вечные скитания во тьме? Что другое в природе остается столь же неизменным? Неужели они превращаются в своего рода разумные астероиды, вращающиеся вокруг планеты по раз и навсегда заданной орбите, в луны, способные плакать, кричать и стенать?

«Что же будет дальше? — спросил я у Михаила.— Племена молятся разным душам. Эти души становятся их богами. Одни боги сильнее, чем другие. Ты только взгляни! Повсюду идут войны, происходят кровавые битвы!»

«Но подумай, Мемнох! — отвечал Михаил.— Приматы дрались между собой и прежде, до того как обрели души. Так уж устроено в природе, что все едят и все могут быть съедены. Именно это все время пытался внушить тебе Господь — с того самого дня, когда ты, услышав мучительные вопли земных обитателей, впервые вознес к Нему свой протестующий голос. Эти души—боги—духи суть отражение людей и часть человечества: они порождены людьми и существуют только благодаря людям. И даже если эти духи обретают силу, достаточную для того,

чтобы управлять живыми людьми, они все равно остаются порождением материи и частью природы. Так сказал Господь».

«Значит, этот не выразимый никакими словами кошмар, который разворачивается перед нами, и есть природа? — вновь задал я вопрос.— Ей недостаточно видеть, как акула целиком заглатывает детеныша дельфина, ей недостаточно видеть, как волк ловит и безжалостно терзает зубами прекрасную лань. Ей этого мало! Природа идет дальше! Из материи она создает этих страдающих, обреченных на муки духов. Природа, а если хочешь — вселенная, почти достигает небес, однако по сути своей она далека от них настолько, что нет ей иного названия, кроме как преисподняя».

Моя речь показались Михаилу чрезмерно дерзкой. Никто не смеет разговаривать в таком тоне с самим архангелом Михаилом! Он этого не потерпит. А потому он немедленно отвернулся от меня — не в гневе, нет, и не из трусливого опасения, что молния небесная, минуя меня, вонзится в его крыло. Михаил отвернулся молча, но всем своим видом словно говоря, что я, Мемнох, слишком недальновиден и лишен мудрости. И все же потом он вновь обратил ко мне свое лицо и мягким, исполненным сострадания голосом произнес: «Мемнох, ты не способен заглянуть глубже и понять, что эти души еще только начинают свою эволюцию. Никто не знает, какую силу они обретут впоследствии. Человек вступил в пространство невидимого. А что, если ему суждено стать таким же, как мы?»

«Но как такое может случиться, Михаил? — потребовал я ответа.— Каким образом эти души узнают, кто такие ангелы и что представляет собой рай? Неужели ты полагаешь, что если мы явимся им и расскажем, то они?..»

Я прервался на полуслове, ибо даже мне было совершенно очевидно, что об этом и помыслить невозможно. Я бы никогда не осмелился... Даже через миллион лет я бы не посмел...

Но едва эта идея пришла нам в голову, мы тут же стали ее обдумывать, а чуть позже к нам присоединились и другие ангелы, пока в конце концов кто-то из них не воскликнул: «Послушайте, но ведь люди знают, что мы здесь!»

Как это знают? Откуда? Я пребывал в недоумении. При всей моей любви и жалости к человечеству я не считал смертных людей очень уж сообразительными.

«Некоторые из них почувствовали наше присутствие,— объяснил ангел.— Они ощущают его точно так же, как ощущают присутствие души умершего. Какой-то частицей разума они в состоянии постичь невидимое. Уверяю вас, они видели нас, пусть даже это длилось всего несколько мгновений, и отныне станут рисовать наши образы в своем воображении. Помяните мое слово — так и будет!»

«Это не могло входить в планы Господа! — заявил Михаил.— Мы немедленно возвращаемся на небеса. Я приказываю!»

Большинство ангелов повиновались ему немедленно и без возражений. Я остался в одиночестве.

«Что ж,— сказал я.— Господь направил меня сюда с определенной миссией. И я не могу вернуться, пока не пойму... А я по-прежнему не понимаю».

Мои слова вызвали долгий спор. В конце концов Михаил нежно поцеловал меня, так, как это принято у ангелов, то есть сначала в губы, а затем в обе щеки, и взмыл к небесам. За ним вознеслись и все остальные.

Я стоял на земле один. Я не обратился с молитвой к Богу, не смотрел на людей — я пытался заглянуть в собственную душу и размышлял о том, что делать дальше. Я не желал появляться перед людьми в своем ангельском обличье. Я не желал, чтобы мне поклонялись как тем душам, которые пребывали в преисподней. У меня не было намерения прогневить Бога, однако я должен был исполнить Его повеление. Я должен был понять и постичь...

«Да, сейчас я невидим,— думал я.— Но что, если я последую примеру самых сообразительных душ и поступлю так же, как поступают в подобных случаях они, то есть привлеку к себе и сконцентрирую материю и таким образом обрету тело? Что, если я сумею собрать мельчайшие частички материи со всего мира? А кто лучше меня знает, из чего именно состоит человеческая плоть? Ведь я с самого начала был свидетелем ее создания, наблюдал за процессом с самых ранних его стадий. Кому лучше, чем мне, известен материальный состав тканей, клеток, костей, мышечных волокон и мозгового вещества? Никому! Кроме одного только Господа Бога!»

Именно так я и сделал. Собрав всю свою волю, я создал собственную оболочку — живую человеческую плоть, интуитивно

и без размышлений избрав для себя облик мужчины. Тебе нужны еще какие-нибудь объяснения по этому поводу?

— Никаких,— ответил я.— Полагаю, ты видел достаточно насилия и мук в момент деторождения, чтобы сделать наиболее разумный выбор. Я понимаю, ибо сам видел слишком многое.

— Все правильно,— подтвердил Мемнох.— Но... Но иногда я думаю вот о чем. Если бы я тогда поступил иначе и предстал в облике женщины, могло ли это изменить дальнейший ход событий? А ведь такой вариант был бы вполне естественным. Ибо, поверь, женщины похожи на нас гораздо больше. Однако если допустить, что в нас присутствуют оба начала, то по сути своей мы все же скорее мужчины.

— Исходя из того, чему мне уже довелось быть свидетелем и что ты сам успел мне рассказать, я склонен согласиться с таким утверждением.

— Итак, я обрел плотскую оболочку. На это мне потребовалось немного больше времени, чем можно предположить. Пришлось по крупицам восстановить в своей ангельской памяти все, что я когда-либо знал. Сначала я сконструировал тело. Потом заполнил его своей субстанцией и как можно более естественным образом разместил ее внутри. Я вынужден был заставить себя подчиниться обстоятельствам, сознательно ограничиться избранными рамками и при этом не впасть в панику. И наконец настал момент, когда я взглянул на мир новыми глазами.

Я медленно кивнул и чуть заметно улыбнулся. В свое время, отказавшись от собственного вампирского тела и променяв его на тело смертного, я, возможно, мог представить себе малую толику тех эмоций, которые испытал Мемнох. Однако я не стал бы претендовать на полное их понимание.

— Процесс отнюдь не был болезненным,— сказал он.— Речь шла лишь о необходимости покорно смириться. Однако, обретая плотскую оболочку, я совсем забыл о крыльях и в результате предстал перед миром в образе высокого ангела. Я подошел к расположенному неподалеку пруду и заглянул в его чистую, прозрачную воду. Впервые я увидел себя самого, Мемноха, в материальном воплощении: мои глаза, волосы, кожу — все то, чем одарил меня Господь и что до тех пор оставалось невидимым...

Однако я мгновенно понял, что не могу оставаться в таком облике. Я был чересчур велик, и моя субстанция буквально сжи-

гала изнутри плотскую оболочку. Нет, так дело не пойдет, решил я и немедленно приступил к формированию нового тела, к уменьшению его размеров, пока наконец не достиг желаемого результата.

Как только ты последуешь за мной — если, конечно, ты примешь такое решение и согласишься стать моим заместителем,— ты научишься делать то же самое. А сейчас позволь лишь заметить, что это вполне возможно, хотя и непросто. Все, что в данном случае требуется,— это ангельские знания, ангельское терпение, ангельское желание и ангельская воля.

Теперь возле пруда стоял обыкновенный человек, обнаженный, светловолосый, светлоглазый,— мужчина, каких можно было встретить повсюду, разве что более совершенный и одаренный половыми органами внушительных, хотя и не роскошных размеров.

И когда моя субстанция заполнила эти органы — я, как ты понял, имею в виду мошонку и пенис,— я вдруг испытал незнакомые прежде ощущения. Пребывая в своей ангельской форме, я не чувствовал ничего подобного. Это были очень сложные, труднообъяснимые ощущения, обусловленные целым рядом новых открытий. Я познал, что такое пол и, в частности, что означает быть мужчиной. Я осознал, до какой степени незащищенным и ранимым может быть человек,— убедился в этом, так сказать, исходя не из наблюдений со стороны, а из личного опыта. И в то же время я с удивлением отметил, каким сильным и могущественным себя чувствую.

Я ожидал, что в облике человека буду трепетать от страха, что сознание собственной незначительности, потеря многих способностей и, напротив, обретение целого ряда других качеств — каких именно, тебе хорошо известно, ибо ты сам прошел через это, когда отказался от своего тела ради тела смертного,— заставит меня навсегда утратить чувство собственного достоинства.

— Да, я очень хорошо помню это.

— Однако ничего похожего я не испытал. Я никогда не был и не намеревался стать существом материальным. Я и представить не мог, что настанет момент — и мне захочется взглянуть на свое отражение в обыкновенном зеркале. Я видел себя лишь

глазами других ангелов и частично своими собственными ангельскими глазами.

Но теперь я стал человеком. Я ощущал наличие мозга в своей голове, отчетливо представлял себе его сложную, почти хаотичную работу, множество слоев влажной мозговой ткани, сформированной в ходе всех стадий эволюции и постепенно достигшей совершенства высокоразвитых клеток, которые составляют его кору. Этот на первый взгляд лишенный всякой логики процесс на самом деле происходил совершенно естественно, но, чтобы постичь его естественность, нужно было обладать теми знаниями, которыми как ангел обладал я.

— Какими же? — спросил я, стараясь, чтобы вопрос мой прозвучал как можно вежливее.

— Ну, например, что эмоции, зарождающиеся на периферии мозга, способны завладеть мною, прежде чем достигнут моего сознания,— сказал Мемнох.— С ангелами ничего подобного случиться не может. Наши чувства полностью контролируются разумом. Мы не способны испытывать иррациональный ужас. Так, во всяком случае, мне всегда казалось. Как бы то ни было, но тогда, стоя на земле в плотской человеческой оболочке, я в этом не сомневался.

— А могли тебя ранить или даже убить в таком облике? — поинтересовался я.

— Нет. Об этом, кстати, я буквально только что намеревался тебе сказать. Однако поскольку я находился посреди вот этой самой долины, окруженной девственными лесами...— а эта область, если тебе интересно знать, впоследствии получит название Палестины — то я понимал, что мое тело вполне может стать пищей для диких зверей. Вот почему я воспользовался своей ангельской субстанцией и с ее помощью создал вокруг себя мощное защитное поле, действовавшее подобно электрическому. Как только ко мне приближался какой-нибудь зверь, а это произошло практически в первую же минуту моего существования в облике человека, оно мгновенно срабатывало и отражало любую атаку.

Огражденный таким образом от любых посягательств, уверенный, что никто и ничто не сможет причинить мне даже малейший вред, я отправился в окрестные поселения, чтобы своими глазами увидеть все, что там происходит.

В моем облике не было ничего сверхъестественного. Напротив, я выглядел как самый обыкновенный, причем совершенно безобидный для окружающих человек и старался вести себя так, чтобы привлекать к себе минимум внимания.

Дождавшись наступления вечера, я приблизился к одному из поселений — самой крупной в округе стоянке людей, обитатели которой сумели силой доказать свое превосходство над другими племенами и теперь собирали дань со своих соседей. На большой, обнесенной по кругу высоким забором территории стояло множество отдельных хижин. В каждой горел огонь. Просторная площадка в центре поселения служила местом общего сбора. Ворота еще не были заперты на ночь.

Я проскользнул внутрь и лег на землю, укрывшись за одной из хижин. В течение нескольких часов, осторожно перебираясь с места на место, чтобы оставаться незамеченным, я наблюдал за людьми. Мне было интересно все: и то, что они делали в сумерках на улице, и то, чем занимались в своих хижинах.

На следующий день я продолжил свои наблюдения, но уже из леса. Когда охотники отправились на промысел, я скрытно последовал за ними, а когда они меня все же заметили, бросился бежать. Никто меня не преследовал.

Три дня и три ночи я неустанно следил за вполне благополучной жизнью этого многочисленного и процветающего племени и за это время сумел многое узнать об их возможностях, способностях и потребностях, о плотских нуждах и болезнях. Но главное, я понял, что такое страсть и вожделение, ибо однажды вдруг почувствовал, как этот огонь разгорается внутри меня самого.

Вот как это произошло. Представь себе вечер, сумерки на исходе третьего дня... Я успел увидеть достаточно, чтобы сделать собственные умозаключения, и готов был представить Богу целый ряд доказательств того, что эти люди никак не могут считаться частью природы. Пришло время покинуть стоянку.

Однако существовала одна проблема, всегда крайне волновавшая ангелов, в том числе и меня. Мы не знали, что такое сексуальный контакт и плотские наслаждения. Конечно, невидимым ангелам не раз доводилось почти вплотную приближаться к совокупляющимся парам, видеть их полуприкрытые от удовольствия глаза, слышать их крики и даже прикасаться к разгоряченным телам и раскрасневшимся лицам.

Лично я делал это неоднократно. Однако только теперь я впервые понял, что плотская страсть может стать ключевым, поворотным моментом в моей судьбе. Я знал, что такое голод и жажда. Я знал, что такое усталость и боль. Я знал, как живут люди, что они думают, чувствуют, о чем разговаривают между собой. Но не знал, что и как происходит в момент плотского совокупления между мужчиной и женщиной.

Итак, в сумерках на исходе третьего дня я стоял вот здесь, на берегу моря, довольно далеко от поселения — оно находилось в нескольких милях вправо от этого места. И вдруг словно из ниоткуда передо мной появилась прекрасная дщерь человеческая.

Поверь, я повидал немало привлекательных женщин. Если ты помнишь, я уже говорил тебе, что женская красота стала для меня одним из самых сильных потрясений в ходе эволюции... Еще до того, как люди избавились от волосяного покрова на своих телах и обрели гладкую кожу... Да и за три дня, проведенных возле стоянки, я успел полюбоваться множеством красавиц — но только издалека, ибо, помня о том, что с некоторых пор я обрел плоть и перестал быть невидимым, старался держаться на расстоянии от людей.

Но, заметь, я уже целых три дня пребывал во плоти. И соответствующие органы этого тела — а они, надо признаться, были в полном порядке — мгновенно откликнулись на появление очаровательного юного существа противоположного пола, дерзкого, чем-то явно рассерженного, с развевающимися на ветру длинными волосами. Девушка в одиночестве шла по берегу — ни охранников-мужчин, ни других женщин поблизости не было.

Вся ее одежда состояла из грубо выделанной шкуры какого-то животного, подпоясанной плетеным кожаным поясом,— она доходила до колен, оставляя открытыми стройные ноги с босыми ступнями. Гнев и возмущение, отражавшиеся на юном лице, свидетельствовали о силе характера. А сочетание голубых глаз и темных волос делало девушку поистине неотразимой. Я сразу понял, что она в отчаянии и намерена совершить какой-то безрассудный поступок.

И тут девушка заметила меня.

Мгновенно осознав грозящую ей опасность, она резко остановилась. Я молча, не двигаясь с места, смотрел на нее, а мой

мужской орган — о том, чтобы хоть чем-то прикрыть собственную плоть, я не позаботился и потому все эти дни ходил обнаженным — явно демонстрировал свое страстное, не терпящее отлагательства желание. Именно в тот момент я ощутил первые признаки того, что называется вожделением. До тех пор, включая и три дня, проведенные в облике человека, я мыслил и чувствовал как ангел, и вот теперь заговорила плоть, а я внимал ей ангельским слухом.

Вместо того чтобы убежать, девушка сделала несколько шагов в мою сторону. Видимо, она поступила так, как подсказало ей мятежное, исполненное отчаяния сердце,— хотя на каком опыте основывалось такое решение, я не знаю. Так или иначе, она готова была раскрыть мне свои объятия и дала это понять, грациозным движением приподняв правой рукой волосы, но тут же позволив им вновь упасть и рассыпаться по плечам.

Я подошел ближе. Девушка взяла меня за руку и повела в горы, вот к той пещере, которую ты сейчас можешь увидеть на одном из склонов, если оглянешься через левое плечо. К тому моменту, когда мы подошли к входу в пещеру, я уже понял, что страсть, разгоревшаяся в этом юном существе, ничуть не уступает моей собственной.

Она не была девственницей и хорошо знала, что такое плотские наслаждения. Знала и стремилась к ним. Ее губы коснулись моих, прижались к ним, и я почувствовал у себя во рту ее язык — искусный, жаждущий, ищущий...

Чувства, переполнявшие меня, трудно передать словами. В какой-то момент я отстранил ее от себя, но лишь затем, чтобы полюбоваться великолепным телом, той самой таинственной материальной плотью, которую ждет впереди смерть и разложение, но которая, однако, может соперничать с любой ангельской субстанцией. Потом мы вновь слились в объятиях, но теперь уже я возвращал ей поцелуи, а она смеялась и все теснее прижималась ко мне обнаженной грудью.

Мы упали на поросший мхом пол — я тысячи раз видел, как делали это смертные,— и когда мой орган вошел в нее, я испытал ни с чем не сравнимое наслаждение и понял то, что не дано понять ни одному ангелу. Мои ощущения никоим образом не были связаны ни с разумом, ни с наблюдениями, ни с тем, что я видел, слышал или стремился постичь. Я был охвачен беспредельной страстью, снова и снова я толчками вторгался в нежную плоть женщины, и мышцы ее влагалища мягко, но сильно сжимали мой мужской орган, удерживали его, словно стремясь поглотить его и никогда не отпускать... И вдруг она напряглась, забилась в моих объятиях, лицо ее покраснело, глаза закатились, а сердце словно перестало биться...

В то же мгновение семя мое исторглось и заполнило ее разгоряченное лоно. Какое-то время я еще продолжал двигаться в том же ритме, но вскоре все чувства во мне начали ослабевать и постепенно угасли...

Обессиленный, я лежал рядом с женщиной, обняв и прижимая ее к себе одной рукой. Я нежно целовал ее в щеку и шепотом повторял на ее родном языке: «Я люблю тебя... Я люблю тебя... Я люблю тебя, чудесное, прекрасное создание... Я люблю тебя!..»

Она лишь покорно и благодарно улыбалась в ответ, а потом вдруг прижалась ко мне изо всех сил, и мне показалось, что слезы вот-вот хлынут из ее глаз. Ее беззаботность сменилась тихой нежностью и одновременно угрызениями совести, я чувствовал, как страдает ее душа.

Что же касается меня, то разум и чувства мои пребывали в полном смятении. Я впервые познал оргазм! Мне довелось достичь высочайшей точки физического наслаждения, испытать то ни с чем не сравнимое удовольствие, которое испытывают в момент совокупления смертные. Не было сил ни двигаться, ни говорить — я молча лежал, устремив взгляд в потолок пещеры.

Но постепенно до меня стало доходить, что женщина чем-то испугана. Она вновь прижалась ко мне, потом встала на колени и, наконец, вскочила и бросилась прочь.

Я сел. С небес лился свет... Это был Божественный свет — и он искал меня! Я торопливо поднялся на ноги и выбежал из пещеры.

«Я здесь, Господи! — крикнул я.— Господь мой, я преисполнен радости! Господь, Боже мой, какие восхитительные чувства мне довелось испытать!»

Я запел хвалебный псалом. И как только я начал его исполнять, частицы материи, словно отторгнутые от меня ангельским голосом, постепенно стали исчезать, растворяться... Я встал во весь свой ангельский рост, расправил крылья и вознес к не-

бесам гимн, прославляя Господа и благодаря Его за то, что́ Он позволил мне испытать в объятиях этой женщины...

Прозвучавший над моей головой голос Бога был тихим, но исполненным гнева и ярости.

«Мемнох! — рек мне Господь.— Ты принадлежишь к сонму ангелов! Что делает ангел, сын Божий, в компании дщери человеческой?»

Прежде чем я успел ответить, свет исчез, и меня закружил стремительный поток воздуха, заставивший затрепетать мои крылья... Я взглянул вниз и увидел, что женщина уже далеко, на берегу моря. Став свидетельницей непонятного, необъяснимого явления, она в ужасе мчалась прочь.

Она убежала, а я оказался на небесах, пред вратами рая. И вдруг я осознал, что впервые эти врата обрели в моих глазах форму, то есть я увидел их так, как видел, например, ты. А потом эти врата с грохотом захлопнулись передо мной, и божественная молния низвергла меня с небес. Я падал столь же стремительно, как падал и ты в моих руках. Только я был один. Я рухнул вниз, невидимый, но исцарапанный и изломанный, и зарыдал, уткнувшись лицом в мокрую землю.

«Ты, Мой наблюдатель, посланный Мною на землю ангел-хранитель! Что ты натворил?» — тихо, но отчетливо прозвучал возле самого моего уха голос Господа.

Я продолжал рыдать и никак не мог успокоиться.

«Господь, Бог мой! — сквозь слезы молил я.— Это какое-то ужасное недоразумение... Позволь мне... Позволь мне объяснить...»

«Оставайся среди смертных, которых ты так любишь! — ответил Бог.— Отныне пусть они будут твоими советчиками. Ибо Я не желаю ни видеть, ни слышать тебя до тех пор, пока гнев Мой не остынет. Сжимай в своих объятиях плоть, которую ты жаждешь и которой ты запачкан. И не появляйся Мне на глаза, пока Я сам не пошлю за тобой — если сочту нужным!»

Вновь поднялся вихрь, а когда я перевернулся на спину, то увидел, что лишился крыльев, вновь обрел плоть и выгляжу как обыкновенный человек.

Тело мое снова стало таким, каким я его для себя создал,— Всемогущий проявил милость и восстановил его до последней клеточки. Я остался лежать на земле и только стонал, испытывая нестерпимую боль и чувствуя, как печаль разрывает на части душу.

Никогда прежде не приходилось мне плакать так, как плачут люди. Голос мой был негромким. Я не испытывал ни колебаний, ни отчаяния. Я по-прежнему оставался самоуверенным ангелом, ибо не сомневался, что Господь не лишит меня своей любви. Да, Он был разгневан, но что из того? Он и прежде не раз на меня сердился.

Меня мучило лишь сознание того, что я отвергнут Господом, что мне запрещено появляться на небесах без Его разрешения, что я лишен права покидать свою плотскую оболочку. Я сел и попытался воздеть руки к небу, однако, несмотря на все усилия, не смог это сделать. И тогда меня вновь охватило такое острое чувство неизбывной печали и полного одиночества, что я мог лишь понуро опустить голову и застыть в молчании.

Наступила ночь. Зажегшиеся на небосводе звезды казались бесконечно далекими, словно я никогда не бывал на небесах. Я закрыл глаза, и вдруг до ушей моих вновь донеслись плач и стенания заключенных в преисподней душ. Они окружали меня, голоса их слышались все ближе, они спрашивали, кто я, чему они стали свидетелями и за какие проступки я низвергнут на землю. Если мое предыдущее посещение было окутано тайной и перевоплощение осталось незамеченным, то теперь Господь буквально вышвырнул меня из рая, и все могли видеть, как я почти мгновенно превратился из ангела в обыкновенного человека.

Вся преисподняя шумела и бурлила в поисках объяснений.

«Боже! — молил я.— Помоги! Посоветуй! Что должен я им сказать?»

И вдруг я ощутил запах женщины. Обернувшись, я увидел, что она осторожно подкрадывается ко мне. Заглянув в мое залитое слезами, искаженное болью и страданием лицо, она уже намного смелее подошла ближе, прильнула ко мне грудью и все еще дрожащими руками обхватила мою голову...

13

Она отвела меня на стоянку. Мужчины и женщины, сидевшие у походных костров, кинулись мне навстречу. Я знал, что обладаю ангельской красотой, и меня не удивляли их восхищенные взоры. Но хотел бы я знать, что, во имя неба, у них на уме.

Меня усадили, поднесли еду и питье. Это было кстати, ибо три дня подряд я пил только воду и ел попадавшиеся кое-где в лесу ягоды.

Я уселся рядом с ними, скрестив ноги, и отведал жареного мяса, и она, моя женщина, моя дщерь человеческая, прильнула ко мне, словно подзадоривая каждого бросить нам вызов.

А затем, поднявшись на ноги и вскинув вверх руки, она громким голосом возвестила всем о том, что видела. Язык ее был прост. Но у нее достало слов рассказать, как она наткнулась на меня на морском побережье и увидела, что я наг, и как отдалась мне, повинуясь священному долгу и понимая, что я не могу быть обитателем земли.

Едва мое семя оказалось в ней, как пещеру заполнил льющийся сверху чудный свет. Она в страхе отпрянула, но я бестрепетно вошел в этот знакомый мне поток и изменился у нее на глазах, так что она видела сквозь меня и при этом видела меня самого. И я сделался высоким, с необъятными оперенными белыми крыльями! Это видение — это существо, сквозь которое она видела, как через воду,— явилось ей лишь на мгновение. Затем я пропал. Мое исчезновение было столь же неоспоримо, как то, что я сейчас сижу здесь. Она смешалась, вся дрожа, и, вглядываясь в сумрак, принялась молиться предкам, Создателю, демонам пустыни, всем охраняющим силам, когда вдруг снова увидала меня — «прозрачного», по ее же незамысловатому выражению, но видимого для глаз. И падающего: огромное крылатое существо, несущееся к земле в падении, непременно убившем бы человека, хотя именно им я и стал — человеком из плоти, как видели все вокруг, сидящим в пыли.

«Господи,— молился я,— что мне делать? Сказанное этой женщиной — правда! Но я не Бог. Ты — Бог. Что мне делать?»

Никакого ответа не дали небеса — ни моим ушам, ни сердцу, ни неповоротливому и дотошному уму.

Что до толпы слушателей, которых, по моему мнению, было человек тридцать пять, не считая детей, то ни один не заговорил. Каждый обдумывал происшедшее. Ни один не смог сразу принять его. И ни один не собирался бросить мне вызов. Что-то в моем поведении и осанке заставляло их держаться на расстоянии.

Что было неудивительно. Я, разумеется, не выказывал своих страданий — не дрожал и не опускал голову. Я так и не научился выражать ангельское страдание через плоть. Просто сидел, сознавая, что по их меркам я молод, привлекателен и таинствен; а они были недостаточно дерзки, чтобы попытаться обидеть меня — ткнуть чем-то острым, обжечь, как, по моим наблюдениям, часто поступали с врагами или отверженными из своего круга.

Неожиданно в группе людей пронесся ропот. На ноги поднялся древний старик. Речь его была даже проще рассказа женщины. Я бы сказал, что слов он употребляет в два раза меньше, но этого было достаточно для выражения его мысли. Он просто спросил меня: «Что ты можешь сказать в свое оправдание?!»

Толпа прореагировала на это так, будто вопрос воплощал высшую мудрость мира. Может, так оно и было. В этот момент женщина почти вплотную приблизилась ко мне. Усевшись рядом, она обняла меня с выражением мольбы на лице.

Я почувствовал нечто — словно ее судьба связана с моей. Она немного боялась всех этих людей из своего клана. И не боялась меня! Удивительно. Вот что могут совершить любовь и нежность — а еще чудеса. А Бог говорит, что эти люди — часть природы!

Я склонил голову, но ненадолго. Затем встал на ноги, увлекая свою подругу с собой. Я употребил все известные мне слова ее языка — даже те, что были в ходу у детей нового поколения, но неведомы взрослым. Я им сказал:

«Я не причиню вам вреда. Я пришел с небес — пришел, чтобы узнать о вас и любить вас. И желаю вам всякого блага под Богом!»

Послышались шум и крики, радостные крики; люди хлопали в ладоши, вставая на ноги, а дети принялись бегать и скакать. Казалось, все пришли к соглашению, что Лилия — женщина, с которой я был близок,— может теперь вернуться в общину. Она была изгнана и обречена на смерть, когда повстречала меня. Теперь она, несомненно, была под защитой, вернувшись назад с божеством, небожителем... они выражали это многими звуками и сочетаниями звуков.

«Нет! — заявил я.— Я не Бог. Не я сотворил мир. Я поклоняюсь, так же как и вы, Богу, который сотворил его».

Эти слова также были приняты с ликованием. Всеобщее безумие и вправду начало меня беспокоить. Глядя на пляшущих, орущих, визжащих людей, пинающих ногами дрова в костре, я остро ощущал, что силы мои на исходе. Прелестная Лилия все так же льнула ко мне.

«Мне необходимо поспать!» — вдруг сказал я им. И это было более или менее правдой. За те три дня, что я обретался во плоти, мне едва удавалось урвать на сон час или чуть больше, и я, изгнанный с небес, страшно устал и был весь покрыт синяками. Мне хотелось приникнуть к этой женщине и спрятать свою печаль у нее на груди.

Все выразили одобрение. Нам приготовили хижину. Люди бегали взад-вперед, собирая лучшие шкуры, и меха, и мягчайшую кожу, и затем нас в молчании ввели в хижину, и я лег навзничь на шкуру горного козла с длинным и мягким мехом.

«Господи, чего ты ждешь от меня?» — вслух спросил я. Ответа не последовало. Были лишь тишина и темнота хижины, а потом вокруг меня обвились руки дщери человеческой — благоуханной, любящей и преисполненной неги и страсти; то была тайна, совершенное живое чудо, нежность и вожделение, которые накатывали волна за волной...

Мемнох замолчал. Казалось, он выдохся. Поднявшись, он снова пошел на берег моря и остановился на мягком песке и гальке. Я увидел, как блеснул силуэт его крыльев — возможно, в точности так, как привиделось той женщине, но через мгновение на берегу виднелась попросту большая фигура с опущенными плечами; она стояла ко мне спиной, со спрятанным в ладони лицом.

— Мемнох, что произошло? — спросил я.— Бог наверняка не оставил тебя там! Что ты сделал? Что случилось на следующее утро, когда ты проснулся?

Вздохнув, он наконец обернулся. Медленно подойдя к валуну, он снова сел.

— К утру я успел познать ее с полдюжины раз и лежал полумертвый, что само по себе было еще одним уроком. Но у меня не было никаких мыслей относительно того, что мне делать. Пока она спала, я молился Богу, молился Михаилу и другим ангелам. Я молился и молился, спрашивая, что мне делать. Угадай, кто мне ответил? — спросил он вдруг.

— Души из преисподней,— ответил я.

— Да! Мне ответили души. Откуда ты узнал? То были души — самые сильные души преисподней, услыхавшие мои молитвы Создателю, услыхавшие самую суть моих стенаний, и моих оправданий, и моей мольбы о снисхождении, прощении и понимании; они услышали все это и испили и поглотили, как обычно поступали с душевными терзаниями своих человеческих детей.

И к восходу солнца, к тому времени, как начали собираться люди из общины, я узнал лишь одно: что бы со мной ни случилось, какова бы ни была воля Создателя, души, томящиеся в преисподней, более не останутся прежними! Они узнали слишком много из слов обретшего плоть ангела, бездумно взывавшего к Богу и небесам.

Разумеется, происшедшее не сразило меня. И я не сидел там в раздумье. Могущественные души узрели первые проблески рая. Теперь они познали свет, заставляющий ангела рыдать и молить в отчаянии, ибо он опасался, что никогда более не увидит этого света. Я не размышлял об этом. Нет.

Господь оставил меня там. Вот о чем я подумал. Господь меня оставил. Я пошел в толпу. Поселение было переполнено людьми. В сущности, мужчины и женщины стекались со всех ближайших стоянок, чтобы увидеть меня.

И нам пришлось покинуть огороженное пространство и выйти на открытое место, в поле. Посмотри направо вниз, туда, где земля идет под уклон. Видишь — поле внизу и часть берега?

— Да.

— Там мы и собрались. И скоро стало ясно, что все эти мужчины и женщины чего-то от меня ждут: что я заговорю, начну творить чудеса, расправлю крылья — словом, нечто такое, не знаю что именно. А что до Лилии, то она все так же льнула ко мне, соблазнительная и прекрасная, переполненная смутным восторгом.

Мы вместе взобрались на ту скалу... видишь, валуны, оставленные ледниками миллионы лет назад? Туда. Мы влезли наверх; она уселась, а я встал перед этими людьми, затем взглянул на небеса и вознес вверх руки.

От всего сердца молил я Господа простить меня, вернуть назад, милостиво завершить мое вторжение исчезновением, иначе говоря — позволить мне принять свое ангельское обличье и

невидимому подняться ввысь. Я страстно желал возвращения, рисуя его в воображении, пытался всеми мыслимыми способами обрести свою прежнюю природу. Безуспешно.

В небесах над головой я видел то же самое, что и люди. Я видел синь неба, плывущие на восток курчавые белые облака и бледную дневную луну. Солнце жгло плечи. Он припекало мою макушку. И тогда мне открылось нечто ужасное: то, что я, возможно, умру в этом теле! То, что я расплачиваюсь своим бессмертием! Бог сделал меня смертным и повернулся ко мне спиной.

Я долго все это обдумывал. Я догадывался об этом с первых мгновений, но теперь уверился во всем с поспешностью человека. И во мне пробудился гнев. Я посмотрел на всех этих мужчин и женщин. Я подумал о словах Бога, которые Он мог бы обратить ко мне в ответ на мои слова, раз уж я предпочел плоть небесам. И в голове моей созрело решение.

Если это должно было стать моим концом, если мне, как всем людям, придется умереть в смертном теле, если у меня остается еще несколько дней, недель или даже лет — как бы это тело ни надеялось выжить среди превратностей жизни,— тогда я должен сделать с ним самое прекрасное из известного мне. Я должен предложить Господу самое хорошее, что у меня есть. Я должен уйти как подобает ангелу, если от меня ждут ухода!

«Я люблю тебя, Господи»,— вслух произнес я. И стал ломать голову над величайшими деяниями, которые мог бы осуществить.

Почти сразу же у меня созрело логичное и, в общем-то, очевидное решение. Научить этих людей всему, что я знаю! Я не стану рассказывать им лишь о небесах, Боге и ангелах, ибо какой в том прок? Хотя, разумеется, расскажу им об этом тоже, расскажу, как найти мирную смерть и упокоение в преисподней, поскольку им это доступно.

Но это будет меньшее из того, что я совершу. Ведь это так мало! Лучше я сделаю вот что: я научу их тем знаниям об *их мире*, которые сам в состоянии постичь умом, но которые пока недоступны им.

Немедленно я приступил к делу. Я повел их в горы и там, в пещерах, показал им рудоносные жилы и рассказал о том, что, когда этот металл сильно разогревается, он изливается из земных недр в виде жидкости, и если им удастся снова его нагреть, они заставят его быть мягким и смогут делать из него разные предметы.

Вернувшись к морю, я собрал немного глины и слепил из нее маленькие человеческие фигурки, чтобы показать, как это просто! Подобрав палку, я нарисовал на песке круг и заговорил с ними о знаках. Как можно изобразить Лилию в виде знака, напоминающего цветок, именем которого она была названа. И как можно изобразить в виде символа меня... человека с крыльями. Я повсюду рисовал картинки, показывая им, как это просто — связать изображение с представлением о конкретном предмете.

К вечеру я собрал вокруг себя женщин и стал учить их, как связывать ремни из мягкой кожи, до чего они не могли дойти сами, а еще сшивать кожу в большие куски.

Этим людям уже был известен лунный календарь, но они не ведали календаря солнечного. Я рассказал им о нем. Сколько дней должно быть в году в зависимости от движения Солнца и планет, и как они смогут записать все это с помощью знаков. И вскоре мы набрали глины с морского берега и сделали из нее плитки, на которых я палочками изобразил маленькие картинки звезд, неба и ангелов. А потом эти плитки оставили высыхать на солнце.

День и ночь был я с моими людьми. И давал им все больше и больше знаний. Когда одна группа уставала и не могла больше учиться, я обращался к другой и наблюдал за их занятиями, пытаясь добиться успеха.

Я знал, что до многого они дойдут сами. Очень скоро они должны были освоить ткачество и научиться делать более совершенную одежду. Все это было прекрасно. Я показал им красители, подобные красной охре, которую они уже употребляли. Я извлекал из земли вещества, способные служить им красками различных цветов. Каждую возникшую у меня мысль, каждую новую идею, пришедшую мне в голову, я передавал им, при этом значительно обогащая их язык и, разумеется, обучая письменности. Затем я научил их музыке совершенно нового типа. Я научил их песням. И женщины приходили ко мне снова и снова, и Лилии пришлось уступить, чтобы семя ангела могло проникнуть во многих и многих женщин, «миловидных дщерей человеческих»...

Он снова замолчал. Казалось, эти воспоминания разбивают ему сердце. В задумчивых его глазах отражалось бледно-голубое небо.

Я заговорил очень тихо, осторожно, готовый по первому знаку с его стороны остановиться. Я цитировал на память из Книги Еноха:

— «...И Азазел... показал им металлы, и научил их обрабатывать их, и делать браслеты и узоры, и научил пользоваться сурьмой, и подкрашивать веки, и показал все виды драгоценных камней, и научил, как смешивать краски».

Он обернулся, чтобы взглянуть на меня. Казалось, он почти лишился дара речи. Голос его прозвучал тихо, почти так же, как мой, когда он произнес следующие строчки из Книги Еноха:

— «...И среди людей распространились нечестивость и блуд, и люди сбились с пути истинного...»

Немного помолчав, он продолжил:

— «...И, погибая, люди возопили, и их вопль вознесся к небесам».— Он снова остановился, медленно и горько улыбаясь.— А что до остального, Лестат, находящегося между строками, которые цитировал ты, и теми, что цитировал я... Это все ложь! Я учил их цивилизации. Я учил их знаниям о небесах и ангелах! *Это все, чему я их учил.* Тогда на земле не было крови, не было беззакония, не было чудовищных великанов. Это все ложь и ложь, осколки и обрывки, хоронящиеся во лжи!

Я бесстрашно кивнул, вполне уверенный в этом и прекрасно все понимая — понимая с точки зрения иудеев, которые позже так твердо верили в святость и закон, встречаясь в жизни с нечестивостью и злом... и снова и снова рассказывали об этих хранителях, этих учителях, этих ангелах — тех, что полюбили дщерей человеческих.

— В том не было магии,— спокойно произнес Мемнох.— Не было никакого колдовства. Я не учил их ковать мечи! Я не обучал их войне! Если другой народ земли обладал знанием, мне известным, я рассказывал им. Что, например, в долине другой реки люди знали, как косить пшеницу серпами! И что на небесах жили офанимы — ангелы круглые, как колесо, и что если эту форму воспроизвести в материи, если к куску дерева прикрепить два круглых куска, то получится предмет, который может катиться!

Он вздохнул.

— Я потерял сон, я сходил с ума. Я изливал на людей знания, и они, измотанные, сгибались под их бременем, а я уходил в пещеры и вырезал на стенах свои знаки. Я изображал картины небес, земли и ангелов. Я изобразил Божественный свет. Я работал неустанно, пока каждый мускул моего смертного тела не начинал болеть.

Не в силах больше выносить общество этих людей, пресыщенный красивыми женщинами, я взял с собой для успокоения Лилию и удалился в лес. Я понимал, что должен поговорить с Богом в тишине.

Войдя под лесные своды, я рухнул наземь и лежал неподвижно, умиротворенный молчаливым присутствием Лилии и размышляя обо всем происшедшем. Я обдумывал доводы, которые намеревался изложить перед Господом, и то, как подкрепить эти доводы тем, что я узнал. Ничего из виденного мной у людей не могло заставить меня думать иначе. То, что я оскорбил Господа, потеряв Его тем самым навеки, и впереди меня ждет преисподняя вместо вечности, было реально и мне ведомо — и все эти мысли стучались в мои душу и сердце! Но я не мог изменить свое мнение!

Доводы, которые я намеревался представить перед Всемогущим, состояли в том, что эти люди стоят над природой и вне природы и требуют от Него все больших и больших знаний, и все, что я увидел, лишь укрепило меня в моем мнении. И то, как они проявляли интерес к небесным тайнам. И то, как они страдали и пытались найти оправдание этих страданий! Если бы только дать им знать о Создателе и причинах, по которым Он их создал... Все это было мучительно сознавать. И в самом сердце этой муки пылала тайна вожделения.

Во время оргазма, когда мое семя проникало в женщину, я испытывал экстаз, напоминающий райское блаженство; я испытывал его только в отношении лежащего рядом со мной тела, и на какую-то долю секунды я понимал — да, понимал,— что мужчины не часть природы — они лучше, они соприродны Богу и нам!

Когда люди пришли ко мне со своими смутными сомнениями — не царят ли повсюду невидимые монстры? — я ответил

им отрицательно, ибо только Бог и Суд Небесный предопределяют все в этом мире, также и судьбу их душ в преисподней.

Когда они спросили, не будут ли непослушные мужчины и женщины — те, что не подчинялись их законам,— навеки брошены после смерти в огонь — очень распространенное среди них поверье,— я пришел в ужас и сказал им, что Господь никогда не допустит такого. Обрекать только что рожденную душу на вечное наказание в огне? Это отвратительно, сказал я им. И снова я им напомнил, что они должны благоговеть перед душами умерших, чтобы облегчить и собственную боль, и страдание этих почивших душ, и что, когда придет смерть, не надо бояться, а следует с легкостью сойти во мрак, не выпуская из поля зрения сияющий свет жизни на земле.

Я говорил все эти слова, потому что просто не знал, что сказать.

А богохульство... Я действительно в нем повинен. И какова же будет теперь моя участь? Я, почитаемый учитель, состарюсь и умру, но, прежде чем это произойдет — или прежде чем мор или дикий зверь еще раньше оборвут мою жизнь,— я буду запечатлевать на камне и в глине все, что возможно. А потом я сойду в преисподнюю и стану созывать к себе души и говорить: «Взывайте, взывайте к небесам!» Я научу их обращать взоры вверх. Я скажу им, что там сияет свет!

Он перевел дух, словно каждое слово обжигало его болью.

Я стал опять тихо цитировать Книгу Еноха:

— «А теперь созерцайте, как стенают души умерших, готовящиеся войти в небесные врата».

— Да, ты знаешь Священное писание, как настоящий дьявол,— с горечью произнес он; лицо его при этом выражало такую печаль, такое сострадание, что в насмешке, вложенной им во фразу, не осталось ни капли яда.— И кто знал, что такое может случиться? — вопрошал он.— Кто знал? Да, да, я стану укреплять преисподнюю, думал я, пока те стоны не разрушат небесные врата и не снесут их до основания. Если души, находящиеся у тебя во владении, способны развиваться, то они способны когда-нибудь уподобиться ангелам! Одна эта мысль позволяла мне надеяться обрести власть над забытыми Богом.

— Но Господь не дал этому произойти, верно? Он не дал тебе умереть в бренном теле.

— Да. Но Он также не наслал и Потоп. И все, чему я учил, сохранилось. Что-то превратилось в легенды, что-то перешло в Священное писание, но, главное, следы моего пребывания на земле сохранились. Остались ремесла, которым я научил людей, осталась способность человека к развитию; люди узнали, что события подчиняются логике, а не волшебству и что даже к тайнам небес души людей, возможно, смогут когда-нибудь приобщиться. Рано или поздно души приобщатся и к этому.

— Но как ты выбрался оттуда? Что случилось с Лилией?

— Лилия? Ах, Лилия. Она умерла в почете, супруга божества. Лилия,— повторил он, предаваясь воспоминаниям, снова делающим ее близкой.— Моя Лилия. Изгнанная и связавшая свою судьбу с Богом.

— К тому времени, когда это произошло, Господь уже забрал тебя? — спросил я.— Положил конец твоим деяниям?

Какое-то мгновение мы пристально смотрели друг на друга.

— Все не так просто. Я пребывал там около трех месяцев, когда однажды проснулся и увидел пришедших за мной Михаила и Рафаила, которые отчетливо произнесли: «Господь требует тебя к себе».

И я, будучи Мемнохом, не искупившим грехи, сказал:

«Да? Почему же тогда Он не подхватит меня и не заберет отсюда или не сделает что ему угодно?»

При этих словах Михаил с несчастным выражением на лице произнес:

«Мемнох, во имя любви к Богу, обратись добровольно в свое привычное обличье. Почувствуй, как растет твое тело; пусть крылья вознесут тебя к небесам. Он требует тебя, только если ты сам хочешь вернуться! Поэтому, Мемнох, подумай, прежде чем...»

«Нет, не стоит предостерегать меня, возлюбленный мой,— сказал я Михаилу.— Я иду со слезами на глазах, я возвращаюсь».

Я опустился на колени и поцеловал спящую Лилию.

Она подняла на меня глаза.

«Это прощание, подруга моя, моя наставница»,— вымолвил я.

Я поцеловал ее и затем, отвернувшись, превратился в зримого для нее ангела с очерченным материальным силуэтом, поэтому она, приподнявшись на локтях и плача, созерцала это прощальное видение, чтобы удержать его в душе и вспоминать, когда захочется.

И тогда, невидимый, я примкнул к Михаилу и Рафаилу и отправился домой.

В первые мгновения я едва верил в это; когда я пролетал через преисподнюю, души возопили в агонии, и я раскинул руки в желании их утешить: «Я не забуду вас! Клянусь! Я передам ваше прошение на небеса». И продолжал полет вверх, туда, откуда нисходил свет, обволакивающий меня, как и горячая Господня любовь, прелюдией то ли Суда Небесного, то ли наказания, то ли прощения — чего именно, я не ведал. И эта любовь обнимала меня и поддерживала. Радостные крики на небесах звучали оглушительно даже для моего слуха.

Там собрались все ангелы, Божии дети. Божественный свет пульсировал в самой их середине.

Буду ли я наказан? Но все, что я ощущал, это благодарность за то, что снова узрел тот свет, пусть даже и на пару мгновений.

Я не мог смотреть на этот свет. Мне пришлось закрыть глаза ладонями. И тогда, как всегда бывает при встрече с небесами, серафимы и херувимы окружили Бога, чтобы свет оказался за их спинами и не слепил глаза ангелам.

Голос Господа прозвучал незамедлительно и властно.

«Хочу сказать тебе кое-что, Мой храбрый и самонадеянный друг,— вымолвил Он.— Есть одно понятие, над которым можешь поразмыслить в своей ангельской мудрости. Это понятие о геенне, об аде.— Это слово предстало предо мной во всей полноте своего смысла.— Огонь и вечные муки,— сказал Бог,— обратная сторона небес. Скажи мне, Мемнох, скажи не кривя душой: будет ли это подходящим для тебя наказанием: полная противоположность славе, от которой ты отказался ради дщерей человеческих? Будет ли это надлежащим приговором: вечное страдание, пока не прервется ход времен?»

14

— Мой ответ последовал через мгновение,— сказал Мемнох. Взглянув на меня, он слегка приподнял брови.— Я сказал: «Нет, Господи, Ты ни с кем так не поступишь. Мы все Твои дети. Это чересчур жестоко по отношению к кому-то или чему-то, умышленно созданному. Нет, Господь мой. Когда мужчины и женщины земли поведали мне, что им представлялись подобные мучения для грешников и эта мысль доставляла им боль и страдание, я уверил их, что такого места не существует и оно никогда не будет существовать».

По небесам прокатился смех. От одного края небес до другого. Каждый ангел смеялся, и, разумеется, этот смех был мелодичен и, как всегда, наполнен восторгом и удивлением, но то был смех, а не песня.

Не смеялось лишь одно существо. Я. Мемнох. Я стоял там, с полной серьезностью и неподдельным изумлением спрашивая, над чем они смеются.

И тут случилась престранная вещь. Бог тоже смеялся — негромко, в унисон с прочими или, скорее, задавая ритм, и только когда Его смех постепенно замер, умолкли и остальные.

«Итак, ты сказал им такое, Мемнох. Что никогда не будет ада, вечного наказания грешникам. И что никогда такое место не может существовать».

«Да, Господи,— отвечал я.— Я не мог себе представить, почему они придумали это. Если только в злости на врагов...»

Смех раздался вновь, но Бог остановил его. Господь молвил:

«Мемнох, всю ли бренную плоть оставил ты на земле? Владеешь ли ты всеми способностями ангела? Не по привычке ли разыгрываешь простака?»

Я заговорил громко, перекрывая несмолкающий смех:

«Нет, Господи, я мечтал об этом мгновении. Разлука с Тобой была подобно агонии. Я делал то, что делал, во имя любви, не так ли? Ты, конечно же, знаешь это лучше моего».

«Боюсь, так и было,— отвечал Он.— Это была любовь, да, верно».

«Господи, я мечтал, что Ты позволишь мне предстать перед Тобой и все объяснить, изложить доводы, пришедшие мне в голову, когда я впервые увидел дщерь человеческую и пошел за ней. Будет ли мне это дозволено?»

Молчание.

Бог и Его окружение не проронили в ответ ни слова, но я вдруг почувствовал, что некоторые из воинов небесных придвинулись ко мне ближе. Сначала я подумал: они просто расправляют на свету крылья, а затем понял, что сразу за мной стоит

небольшая группа ангелов и что они все время находились с краю толпы, и вот их подталкивают в мою сторону.

Разумеется, я знал этих ангелов — кого-то больше, других — нет. Они принадлежали к разным чинам. Я в смущении взглянул на них, а потом на Престол Господень.

«Мемнох,— заговорил вдруг Господь.— Те, что позади тебя,— это твои соратники, они тоже просят, чтобы было исполнено твое желание доказать свою правоту, в надежде, что и им будет сие дозволено».

«Не понимаю, Господи»,— ответил я, хотя понял сразу же, ибо я прочитал на их лицах скорбь и увидел, как они льнут ко мне, словно ища защиты. Я мгновенно догадался, в чем дело: в своих странствиях по земле эти ангелы совершили то же самое, что и я.

«Без подобного размаха или изобретательности, как у тебя,— молвил Господь Бог,— но они тоже приметили жар и тайну в отношениях мужчин и женщин, и они тоже нашли прекрасных дщерей человеческих и взяли их в жены».

Снова послышался великий гомон. Некоторые смеялись все тем же легким смехом, словно происходящее было новым великолепным развлечением, а другие были озадачены; стоящие около меня ангелы-хранители, являющие небольшую группу по сравнению с прочим небесным воинством, в отчаянии смотрели на меня, некоторые даже с упреком, и вот из их толпы прозвучал шепот:

«Мемнох, мы видели, как ты делал это».

Смеялся ли в это время Господь? Мне не было слышно. Свет лился мощным потоком из-за плеч и голов, из-за мутных фигур серафимов и херувимов, и сокровища любви представлялись вечными и незыблемыми, как и всегда.

«Не затем спустились с небес Мои сыновья, и не затем они побывали в рассеянных по земле племенах, чтобы познать плоть, но все же они сделали это. Конечно, как Я уже говорил, с гораздо меньшим желанием возмутить мировые устои и намеренно разрушить Мой замысел, как это было у тебя, Мемнох».

«Господи-Владыка, прости меня»,— прошептал я. И из стана моих соратников раздался такой же приглушенный и почтительный хор голосов.

«Но ответьте мне, вы, стоящие позади Мемноха: что вы можете сказать в свое оправдание? Почему совершили такое, и что нового открыли, и какие доводы представите перед Судом Небесным?»

Ответом было молчание. Все эти ангелы распростерлись перед Господом ниц, с такой самоотрешенностью моля о прощении, что красноречие было бы излишним. Я стоял в одиночестве.

«Ах,— сказал я,— похоже, Господи, я остался один».

«А разве не всегда так было? Мой сын небес, Мой ангел, не доверяющий Богу».

«Господи, я доверяю Тебе! — немедленно ответил я, вдруг разгневавшись.— Доверяю! Но я не понимаю этих вещей и не в силах утихомирить свой рассудок или свою природу — это для меня невозможно. Нет, не то чтобы невозможно, но кажется... не совсем правильно хранить об этом молчание. Правильным мне представляется доказывать свою правоту. Мне кажется, что величайшее дело, которое я могу сделать, это доказать свою правоту и тем самым ублаготворить Господа».

Среди прочих, казалось, царили серьезные разногласия — не среди хранителей, у которых не хватало смелости встать во весь рост и крылья которых были сложены за спиной, как у испуганных птиц в гнезде, но в самом Суде Небесном. Оттуда слышались бормотание, какие-то песенки, обрывки мелодий и смеха, глубокомысленные вопросы, произнесенные тихим голосом. Ко мне повернулись лица многих с нахмуренными бровями, выражающие любопытство с примесью гнева.

«Доказать свою правоту! — молвил Господь.— Но, прежде чем начнешь, вспомни, ради Меня и всех присутствующих, что Мне ведомо все. Я знаю человечество так, как тебе никогда его не узнать. Я видел его окровавленные алтари, и его ритуальные пляски, и его дымящиеся жертвы, я слышал вопли раненых, страждущих, медленно умерщвляемых. Я зрю природу в человечестве так же, как вижу ее в дикости морей и лесов. Не отнимай у меня время, Мемнох. Или, иными словами, чтобы тебе было понятней, не отнимай время, которое проводишь со Мной».

Итак, этот момент настал. Я стоял, спокойно подготавливая себя. Никогда за время своего существования не ощущал я важности события, как это было в тот момент. Это можно было

назвать волнением или, быть может, возбуждением. У меня были слушатели. И я не испытывал никаких колебаний! Но я был разгневан на всю эту толпу, лежащую ниц позади меня и безмолвствующую! И неожиданно в своем гневе я понял, что, пока они там лежат, оставляя меня один на один с Богом и Его Судом, я не вымолвлю ни слова. Я сложил на груди руки и остался стоять.

Господь рассмеялся неспешным ласковым смехом с восходящей интонацией, и тогда все обитатели небес засмеялись тоже. И Бог обратился к распростертым ниц:

«Встаньте, сыны Мои, или мы здесь останемся до скончания времен».

«Это насмешка, Господи, но я ее заслужил,— сказал я.— Благодарю Тебя».

Я слышал, как, шумно шелестя крыльями и хитонами, они поднимаются позади меня, чтобы стать по меньшей мере такими же высокими и прямыми, какими могли быть храбрые люди, живущие на земле под ними.

«Господи, мои доводы просты,— вымолвил я,— но Ты, конечно же, не сможешь от них отмахнуться. Я изложу их как можно доходчивее и точнее. До какого-то момента своего развития приматы там, внизу, были частью природы и подчинялись ее законам. По мере усовершенствования их мозга они делались все более изобретательными, и их сражения с другими животными становились самыми свирепыми и кровавыми из того, что довелось видеть Суду Небесному. Все это правда. И весь их интеллект привел к умножению средств, которыми человечество навлекало на себя великие страдания.

Но ничто из увиденного мною на войне, и на казнях, и даже при опустошении целых поселений и деревень не превосходило по дикости сцены, происходящие среди насекомых, или рептилий, или низших млекопитающих, которые слепо и бессмысленно борются за две вещи: чтобы выжить и чтобы произвести как можно больше потомства».

Я остановился — из вежливости и чтобы произвести эффект. Господь ничего не сказал. Я продолжал:

«Затем наступил момент, когда эти приматы довольно сильно приблизились к Твоему образу, каким мы воспринимаем его в себе самих и который в определенном смысле отличается от

прочей природы. И когда им стала очевидна логика жизни и смерти, это не означало лишь проявления самосознания. Не настолько это было просто. Напротив, самосознание выросло из новой и совершенно неестественной способности любить.

И именно в те времена человечество стало разделяться на семьи, кланы и племена, объединенные внутри себя сокровенными знаниями о личности друг друга, а не общностью вида, и они вместе переживали страдания и счастье, связанные узами любви. Господи, род человеческий — вне природы. Если бы Ты снизошел и...»

«Мемнох, берегись!» — прошептал Бог.

«Прости, Отче,— ответил я, кивая и сжимая за спиной руки, чтобы не начать ими яростно жестикулировать.— Я хотел сказать вот что: спустившись вниз и заглянув в семьи, здесь и там по всему миру, Тобой созданному, я воспринял семью как новый неподражаемый цветок, соцветие чувств и интеллекта, из-за своей хрупкости оторвавшееся от природных стеблей, от которых питалось, и теперь оказавшееся во власти стихии. Любовь, Господи,— я наблюдал ее, я чувствовал любовь мужчин и женщин друг к другу и к их детям, и желание жертвовать друг ради друга, и скорбь по умершим, и желание отыскать души этих умерших в грядущей жизни, и думать о грядущем, где они смогут вновь соединиться с этими душами.

Именно благодаря этой любви и семейным узам, благодаря этому редкому и неподражаемому соцветию — такому созидательному, Господь мой, что оно казалось подобием Твоих созданий,— души этих существ оставались живыми и после смерти! Что другое в природе могло бы совершить это, Господи? Все, что было взято, отдается земле. Твоя мудрость проявляется повсюду; и всех тех, кто страдает и умирает под сводом Твоих небес, милосердно погружают в жестокое неведение относительно порядка вещей, который в конечном итоге подразумевает их собственную смерть.

Но не мужчин и не женщин! В сердце своем, любя друг друга — супруг супругу, одна семья другую семью,— они вообразили себе Небеса, Господь мой. Они вообразили то время, когда воссоединятся души и восстановится человеческий род, и все станут в блаженстве! Они придумали себе вечность, потому что

этого требует их любовь, Господи. Они зачали эти идеи, как зачинают детей из плоти! Я, ангел-хранитель, и я это видел».

И снова настала тишина. Небеса безмолвствовали, и звуки исходили лишь от лежащей внизу земли: шепот ветра, слабое колыхание морей и неясные, отдаленные стенания душ — на земле и в преисподней.

«Господи,— молвил я,— они стремятся к небесам. Они воображают себе вечность или бессмертие — не знаю, что именно. Они страдают от несправедливости, разлук, болезней и смерти, на что никакие другие животные не способны. И души их велики. В преисподней они становятся выше любви к себе и забот о себе во имя любви. Любовь бесконечно обращается между землей и преисподней. Господи, они создали нижний круг незримого судилища! Они пытаются умилостивить Твой гнев, ибо знают, что Ты здесь! И, Господи, они хотят знать о Тебе все. И о себе тоже. Они знают и хотят приумножать знание!»

То были главные мои доводы, и я это понимал. Но опять Господь не прервал меня и не ответил мне.

«Я воспринял людей,— продолжал я,— по меньшей мере как Твое величайшее свершение, еще бы — создать существо, наделенное самосознанием, имеющее представление о времени, с достаточно развитым интеллектом, способным к столь быстрому усвоению знаний, что даже не всякий ангел-хранитель способен на это.

Предложение, с которым я пришел к тебе, Господи, таково: нельзя ли подарить этим душам, пребывающим ли во плоти, обитающим ли в преисподней, часть нашего света? Нельзя ли подарить им свет, подобно тому как животным дают воду, когда те хотят пить? И не могут ли эти души, удостоенные однажды божественного доверия, рассчитывать на то, что займут какое-то, пусть малое, место на этом Суде Небесном, которому нет конца?»

Наступившая тишина казалась дремотной и вечной, словно до начала времен.

«Нельзя ли попытаться сделать это, о Господи? Ибо, если не пытаться, не будет ли участь тех невидимых выживших душ состоять в том, что они станут грубеть и все больше увязать во плоти и это приведет не к познанию истинной природы вещей,

а к появлению извращенных идей, основанных на отрывочных фактах и инстинктивном страхе?»

На этот раз я не стал выдерживать вежливую паузу и сразу продолжил:

«Господи, когда я вошел в плоть, когда я был с женщиной, то это произошло потому, что она была прекрасна — да! — и напоминала нас, и могла даровать тот вид плотского наслаждения, который нам неведом. Само собой разумеется, Господи, это наслаждение неизмеримо мало в сравнении с Твоим величием, но говорю Тебе, Господи, в тот миг, когда я возлег с нею, а она — со мною и мы вместе познали это наслаждение, рев того невеликого пламени все же напоминал звуки песен обитателей горних высот!

На один миг сердца наши остановились, Господи. Мы познали вечность через плоть — мужчина во мне знал, что женщина это тоже понимает. Мы познали нечто возвышающееся надо всеми земными чаяниями, нечто истинно божественное».

Я умолк. Что еще мог я сказать? Не расцвечивать же свои доводы примерами для Того, Кто знал все на свете. Со сложенными на груди руками я почтительно посмотрел вниз, размышляя и прислушиваясь к душам в преисподней; на одно мгновение их слабые отдаленные крики отвлекли меня, оторвали от божественного присутствия, дали понять, что эти души зовут меня, напоминают о моем обещании, надеются на мое возвращение.

«Господи милосердный, прости меня,— вымолвил я.— Твои чудеса околдовали меня. Прости, если я нарушил Твои намерения».

И снова воцарилась грозовая тишина, абсолютно пустая. То была пустота, о которой живущие на земле не могут и помыслить. Я стоял на своем, потому что ничего нельзя было поделать с тем, что свершилось, и я чувствовал в душе, что каждое произнесенное мной слово правдиво и не заражено страхом. Я очень ясно осознал: что бы Господь ни сделал — вышвырнул бы меня с небес или подверг любому другому наказанию,— я и вправду того заслуживаю. Я был созданным Им ангелом и подчиняться мог лишь Ему одному. И Он вправе меня уничтожить, если пожелает. И снова в памяти моей возникли вопли из преисподней, и я, подобно смертному, стал спрашивать себя, отошлет ли

Он меня туда вскоре или сделает нечто менее устрашающее, ибо в природе существуют бесчисленные примеры мучительной гибели и катастроф, а как ангела Бог мог заставить меня испытать любое страдание — я это знал.

«Я верю тебе, Господи,— вдруг сказал я, почти не задумываясь.— Иначе я упал бы ниц, как другие ангелы. Я не имею в виду, что они не верят, я только собираюсь сказать, что полагаю, Ты хочешь, чтобы я понял Твое великодушие, что Твоя суть — это великодушие и Ты не потерпишь, чтобы людские души стенали во мраке и забытье. Ты не потерпишь, чтобы человечество пребывало без всякого намека на божественное».

Наконец Он заговорил, очень тихо и как бы нехотя:

«Мемнох, ты дал им больше чем намек».

«Да, Господи, это так. Но, Господи, души умерших в большой степени вдохновляют людей и ободряют их, и эти души стоят вне природы и укрепляются день ото дня. Если существует некий естественный вид энергии, находящийся за пределами моего понимания, то это будет для меня сильным потрясением. Ибо, похоже, они сделаны из той же субстанции, что и мы, Господи,— невидимой,— и каждая из этих душ неповторима и обладает собственной волей».

Снова настала тишина. Потом Бог заговорил:

«Прекрасно. Я выслушал твои доводы. А теперь у Меня есть к тебе вопрос. За все то, что ты дал человечеству, Мемнох, чем конкретно люди воздали тебе?»

Я был застигнут этим вопросом врасплох.

«Только не говори мне о любви, Мемнох,— продолжал Он.— Об их способности любить друг друга. Суд Небесный хорошо осведомлен и находится в полном согласии на сей счет. Но что они дали тебе, Мемнох? Что ты получил в обмен на риск побывать в их царстве?»

«Самоутверждение, Господи,— торопливо произнес я, затрагивая глубочайшую правду и не кривя душой.— Они познали ангела, увидев оного. Как раз то, чего я и ожидал».

«Ха-ха!» — От Престола Небесного покатились раскаты смеха — настолько звучные, что, без сомнения, достигли ушей несчастных, страждущих в преисподней. Все небеса содрогались от хохота и пения.

Сначала я не осмеливался заговорить или что-либо предпринять, потом вдруг, со злостью или, скорее, с упрямством, поднял руку.

«Но я говорил совершенно серьезно, Господи! Я не был для них неким существом, недосягаемым даже в грезах! Господи, создавая вселенную, бросал ли Ты семя для того, чтобы эти существа возвысили к Тебе свои голоса? Скажешь ли Ты мне об этом? Смогу я узнать, как было дело?»

Унявшиеся ангелы расположились маленькими группами, и вскоре смех совершенно замер, а вместо него раздалось тихое пение, восхваляющее Господа в его терпении, отдающее дань Его терпению в отношении меня.

Я не стал присоединяться к пению. Я смотрел на огромные, расходящиеся в стороны от Бога потоки света, и мысль о необъяснимости присущих мне упрямства, гнева и любознательности несколько смягчила меня, но ни на секунду не ввергла в отчаяние.

«Верую в тебя, Господи. Ты знаешь, что делаешь. Должен знать. Иначе мы... погибнем».

Я остановился, пораженный тем, что только что произнес. Это намного превосходило любой вызов, который я до сих пор бросал Богу, намного превосходило любое сделанное мной предположение. И я в ужасе воззрился на свет и подумал: «А что, если Он не ведает, что творит, и никогда не ведал!»

Я вскинул ладони к лицу, чтобы не дать губам произнести нечто опрометчивое и ограждая мозг от поспешных богохульных мыслей. Я знал Бога! Бог был там. И я стоял пред Ним. Как я только осмелился помыслить такое, и все же это Он говорил раньше: «Ты не веришь в меня»,— имея в виду именно это.

Казалось, Божественный свет становится бесконечно ярким, он проникал повсюду; фигуры серафимов и херувимов стали маленькими и совершенно прозрачными, и свет наполнил меня и наполнил углубления в телах всех ангелов; и я ощутил единение с ними и всю великую любовь к нам Господа, сильнее которой мы не могли себе вообразить ничего.

Тогда заговорил Господь совершенно другими словами, ибо они состязались с этой лучезарной любовью, переполнявшей мыслящий разум. Тем не менее я услыхал их, и они проникли в мою душу.

И все остальные тоже услышали их.

«Мемнох, отправляйся в преисподнюю,— молвил Он,— и отыщи там не более десяти достойных душ, которые могли бы примкнуть к нам на небесах, из всех обитающих там миллионов. Говори им что угодно, но отыщи десять, которые, на твой взгляд, достойны жить рядом с нами. Затем приведи эти десять душ ко мне, и мы продолжим наш разговор».

Я был в восторге.

«Господи, я могу это сделать, знаю, что могу!» — воскликнул я.

И вдруг я увидел лица Михаила, и Рафаила, и Уриэля, почти ослепленных Божественным светом, который, впрочем, начинал меркнуть и стал переносимым. Казалось, Михаил боялся за меня, а Рафаил рыдал. Уриэль, похоже, бестрепетно наблюдал, не пребывая ни на моей стороне, ни на стороне душ, ни на чьей. Такое лицо, как у него, было у ангелов до начала времен.

«Я могу идти? — спросил я.— И когда мне возвращаться?»

«Когда получится,— сказал Бог,— и когда сможешь».

До меня дошло. Если я не найду эти десять душ, то могу не возвращаться.

Я кивнул. Чудесная логика. Я понял. И принял ее.

«На земле проходят годы, пока мы беседуем, Мемнох. Твое поселение и посещенные прочими места превратились в города; мир вращается в лучах небесного света. Что Мне сказать тебе, возлюбленный Мой, кроме того, что сейчас тебе надлежит отправиться в преисподнюю и как можно скорее вернуться с теми десятью душами».

Я уже собирался спросить: «А что будет с хранителями, этими смиренными ангелами, моими соратниками, познавшими плоть?» — когда Господь ответствовал:

«Они будут ожидать твоего возвращения в надлежащем месте небес. Они не узнают ни Моего решения, ни своей участи, пока ты не приведешь ко Мне эти души, Мемнох, души, которые я сочту достойными обитать в Моей божественной юдоли».

«Понимаю, Господи. И с Твоего разрешения отправляюсь!»

И не спрашивая более ни о чем, не обсуждая никаких правил и ограничений, я, Мемнох, архангел и обвинитель Бога, немедленно покинул небеса, спустившись в обширные призрачные области преисподней.

— Но, Мемнох,— прервал его я,— Он не определил для тебя критерий отбора! Как надлежало тебе оценивать те души? Как бы ты узнал?

Мемнох улыбнулся.

— Да, Лестат, именно это Он и сделал и именно так поступил, и поверь мне, я это сразу понял. Не успел я попасть в преисподнюю, как критерий отбора для вхождения на небеса полностью завладел моим умом, сделавшись навязчивой до отчаяния идеей. Это в точности стиль Его поведения, верно?

— Я бы на твоем месте спросил.

— Нет-нет. У меня не было такого намерения. Я выбрался оттуда и принялся за работу! Как я говорил, таков был Его стиль, и я понимал, что единственная моя надежда заключается в выработке собственного критерия и его обосновании, понимаешь?

— Думаю, да.

— Не думаешь, а знаешь,— сказал он.— Ладно. Только представь. Население мира разрослось до миллионов, и хотя города поднялись не во многих местах, но в основном в той самой долине, куда я спустился и где оставил свои знаки на стенах пещер. Человечество распространилось по планете на север и юг, как только могло; на разных стадиях развития возникали поселения, городки и крепости. Та земля, где выросли города, полагаю, называется сейчас Месопотамией. Или это Шумер? Или Ур? Ваши ученые с каждым днем открывают все больше и больше.

Безумные фантазии человека по поводу бессмертия и воссоединения с умершими дали повсеместный толчок к появлению религии. В долине Нила возникла цивилизация поразительной стабильности, и в то же время на земле, которую мы называем Святой, постоянно шли войны.

Итак, я спустился в преисподнюю, которую раньше созерцал лишь снаружи. Она теперь стала огромна и вмещала в себя и некоторые из первых душ, когда-то кипевших жизнью, и миллионы душ, чьи убеждения и устремления к вечности привели их в это ужасное место. Безумные надежды повергли в смущение бессчетное их число. Некоторые стали столь сильными, что захватили главенство над остальными. А некоторые освоили

хитрость возвращения на землю, избегнув взаимного притяжения других невидимых душ,— для того чтобы оказаться вблизи от плоти, в которую смогут вселиться вновь, или повлиять на нее, или нанести вред, или любить, если представится случай.

Мир, населенный душами! И иные из них, совершенно потеряв память о своем человеческом существовании, сделались теми, кого земные мужчины и женщины называют демонами, рыскающими вокруг, жаждущими завладеть человеком, произвести опустошение или навлечь несчастье, насколько позволят обстоятельства.

— И один из них,— сказал я,— превратился в мать или отца вампиров вроде нас.

— Да, верно. Эту мутацию создал Амель. Но она не была единственной. На земле есть и другие монстры, обитающие между видимым и невидимым; но величайшей движущей силой мира всегда были и остаются судьбы миллионов людей.

— Мутации никогда не влияли на ход истории.

— И да и нет. Разве не значит что-нибудь вопль безумной души, исторгаемый пророком из плоти и крови, если слова этого пророка записаны на пяти различных языках и выставлены на продажу на полках магазинов в Нью-Йорке? Можно сказать, что процесс, который я наблюдал и описал Господу, продолжается: иные души умерли, иные укрепились, другим удалось фактически возродиться в новом теле, хотя с помощью какой уловки, этого я в то время не знал.

— А сейчас знаешь?

— Реинкарнацию никоим образом нельзя назвать вещью обычной. И вовлеченные в нее души выигрывают совсем немного. Можно представить себе ситуации, когда она возможна. Происходит ли она при угасании души ребенка и всегда ли сопровождается воплощением в новом теле — зависит от каждого отдельного случая. Тех, кто постоянно участвует в реинкарнации, нельзя сбрасывать со счетов. Но это, как эволюция вампиров или других связанных с землей бессмертных существ, уже отдельная небольшая сфера. Еще раз напоминаю, что сейчас мы говорим о судьбе человечества, о мире человеческом в целом.

— Да, я вполне понимаю. Возможно, лучше, чем ты думаешь.

— Хорошо. Итак, не имея критерия отбора, я все же отправился в преисподнюю и обнаружил там огромное разросшееся

подобие земли! Души дали волю воображению и создали в своем невидимом бытии всевозможные неуклюжие здания, немыслимых существ, монстров — этакое буйство воображения без контроля со стороны небес, и, как я и догадывался, огромное число душ не знали, что они мертвы.

И вот я погрузился в самую гущу всего этого, изо всех сил пытаясь оставаться невидимым, представить себя лишенным всякой различимой формы, но сделать это было непросто. Ибо я оказался в невидимом царстве — все там было невидимо. И вот я принялся в полумраке бродить по унылым дорогам, среди уродливых, почти лишенных формы существ — стенающих, умирающих. А ведь сам я пребывал в обличье ангела.

Тем не менее эти потерянные души не очень-то замечали меня! Похоже, многие из них плохо видели. Ты ведь знаешь, что это состояние описано человеческими шаманами, святыми, людьми, близко подошедшими к смерти, испытавшими ее и затем оживленными и продолжающими жить.

— Да.

— Человеческие души видели лишь часть окружающего их пространства. Я видел все в целом. Я бестрепетно странствовал по всем направлениям, не считаясь со временем или находясь вне его — хотя время, разумеется, текло непрерывно,— и шел туда, куда мне хотелось.

— Обиталище безумных душ.

— Очень похоже, но в этом огромном обиталище было великое множество обособленных обителей. Души со сходными верованиями в отчаянии сошлись вместе в надежде укрепить веру друг друга, а заодно и обоюдные страхи. Но свет земли был здесь слишком сумрачным, чтобы согреть хоть кого-то! А небесный свет сюда попросту не проникал.

Да, ты прав, это было поистине обиталище всевозможных безумных душ, долина смертной тени, ужасная река монстров, которую души страшатся пересечь, чтобы попасть в рай. И, разумеется, никто никогда не пересекал ее.

Первое, что я сделал, это стал слушать; я прислушивался к пению любой души, которая пела мне, то есть, по-нашему, говорила. Я старался запомнить любое чуть слышное высказывание, вопрос или предположение, поразившее мой слух. Что знали эти души? Что с ними сталось?

Вскоре я обнаружил, что в этом ужасном, мрачном месте есть круги — ярусы, возникшие благодаря желанию душ отыскать себе подобных. Обиталище душ произвольно расслоилось, но этот порядок определялся степенью осведомленности, уступчивости, смятения или гнева каждой души.

Ближе всего к земле располагались самые проклятые, продолжавшие борьбу за еду, питье или обладание другими, не могущие принять случившееся или не понимающие этого.

Как раз над ними размещался круг душ, которые только тем и занимались, что дрались друг с другом, вопили, визжали, толкались, пихались в стремлении навредить ли, одолеть ли, захватить ли, убежать ли, пребывая в отчаянном смятении. Эти души даже ни разу не заметили меня. Но опять-таки твои люди видели их и описывали во многих и многих рукописях на протяжении столетий. Ничто из сказанного мной, разумеется, для тебя не новость.

И подальше от этой кутерьмы, ближе к спокойствию небес — хотя я сейчас не говорю о направлениях в буквальном смысле — находились те, кто понял, что вышел за пределы природы и пребывает в каком-то ином месте. Эти души, а некоторые из них пребывали там от начала начал, сделались терпимыми в своих пристрастиях, терпеливо взирая на землю и на окружающие их души, которым они стремились в любви помочь принять собственную смерть.

— Ты нашел души, которые любили.

— О, все они любят,— сказал Мемнох.— Все. Не существует такого понятия, как нелюбящая душа. Он или она любят что-то, даже если это «что-то» существует лишь в памяти или как идеал. Ну да, я отыскал тех, кто вполне миролюбиво и безмятежно выражал безмерную любовь друг к другу и к обитающим ниже их. Нашел я и таких, которые обратили взоры исключительно на землю, стремясь лишь к тому, чтобы отвечать на молитвы, исходящие от отчаявшихся, бедствующих и болящих.

Земля же, как ты знаешь, к этому времени познала немыслимые войны, и целые цивилизации растаяли в результате стихийных бедствий. Непрерывно множились страдания людей, и множились они не только пропорционально росту учености или культурному развитию. Подобное положение сделалось недоступным моему ангельскому разумению. Взирая на землю, я не пытался даже разгадать, что управляет страстями людей какой-нибудь определенной народности, а что — другой или почему какая-то одна группа людей на протяжении жизни нескольких поколений складывает из камней какое-нибудь циклопическое сооружение. Разумеется, я знал почти обо всем, но целью моей на тот момент времени была не земля.

Царство мертвых — вот что меня интересовало в первую очередь.

Я приблизился к тем душам, что взирали вниз с жалостью и состраданием, стремясь мысленно воздействовать на прочих для их же блага. Десять, двадцать, тридцать — я видел их тысячи. Тысячи, говорю я тебе, в которых умерла всякая надежда родиться вновь или получить достойную награду; души, смирившиеся со смертью, с вечностью; души, очарованные видимой для них плотью, в точности как мы, ангелы, бывали и все еще бываем ей очарованы.

Я встречался с этими душами здесь и там, заводя с ними разговор, когда только мог привлечь их внимание. Скоро стало понятным, что им довольно безразлично мое обличье, поскольку они полагали, что я выбрал его, как они — свое: некоторые из них напоминали мужчин и женщин, а некоторые не давали себе труда об этом побеспокоиться. Так что, думаю, они считали меня новичком в преисподней, раз уж я с таким нахальством выставляю напоказ свои руки, ноги и крылья. Отвлечь их от земных дел можно было только вежливым обращением, и я принялся выспрашивать их, стараясь добиться правды и избегая при этом грубости.

Странствуя по преисподней, я, наверное, беседовал с миллионами душ. И всякий раз самым сложным было отвлечь внимание каждой из этих душ либо от земли, либо от переживания какого-либо сгинувшего в прошлом события либо вывести душу из состояния бесцельного созерцания, рассеянности, что требовало поистине неимоверных усилий.

Даже самые мудрые и любящие из душ не желали обременять себя моими вопросами. Лишь постепенно они понимали, что я не простой смертный, а создан из совершенно иной материи и что в моих вопросах заключены вещи, имеющие отношение к некоему месту за земными пределами. Понимаешь, то

была дилемма. Эти души так долго пребывали в преисподней, что не размышляли более о причинах жизни и мироздания; они не проклинали более Господа, которого не знали, и не искали Бога, который был им невидим. И когда я стал задавать свои вопросы, они подумали, что я нахожусь на пути вниз с новыми душами, грезящими о наказаниях и наградах, которые никогда не последуют.

Эти мудрые души в смиренной задумчивости размышляли о своих прошлых жизнях, стараясь ответить на исходящие снизу молитвы, о чем я уже говорил. Они охраняли своих родственников, членов клана, свои народы; охраняли тех, кто привлекал их внимание эффектными проявлениями религиозности; с печалью наблюдали страдания людей, желая помочь и стремясь к этому, насколько возможно.

Мало какая из этих очень сильных и терпеливых душ пыталась снова обрести плоть. Но некоторые из них делали это в прошлом. Они спускались вниз, и рождались заново, и обнаруживали в конечном счете, что не могут в своей памяти отличить одно телесное воплощение от другого, так что нет смысла оставаться в живых! Гораздо лучше пребывать здесь, в ставшей привычной вечности, наблюдая красоту мироздания,— и оно действительно представлялось им прекрасным, как и нам.

И вот из этих вопросов, из этих бесконечных и вдумчивых бесед с мертвыми сформировался мой критерий отбора.

Во-первых, чтобы быть достойной небес и иметь у Бога хотя бы малейший шанс, душа должна понимать жизнь и смерть в самом простом их смысле.

Я нашел множество таких душ.

Далее, в этом понимании должна присутствовать высокая оценка красоты Божьего творения, гармонии мироздания, увиденной как бы оком Господним, картины природы, свитой из бесконечных, накладывающихся друг на друга циклов выживания и воспроизведения, эволюции и роста.

Многие души пришли к пониманию этого. Многие. Но многие, считавшие жизнь прекрасной, полагали смерть и печальной, и бесконечной, и ужасной и предпочли бы никогда не рождаться, буде им дан выбор!

Я не знал, что делать с такого рода убежденностью: ведь она имела широкое распространение. Зачем Он, кто бы Он ни был,

сотворил нас, коли нам надлежит вечно пребывать здесь, вдали от мира, частицей которого мы никогда не станем, если только не пожелаем сойти вниз и снова испытать всю ту муку ради нескольких мгновений торжества, и который не оценим в следующий раз более, чем в предыдущий, ибо не сможем взять с собой наше знание при повторном рождении!

Действительно, придя к этой мысли, многие души переставали развиваться и изменяться. Они испытывали великую тревогу за живых и жалость к ним, но ведали только скорбь, а радость не могли себе даже вообразить. Они стремились обрести покой, и покой казался им тем идеальным состоянием, которого они желали достичь. Покой, нарушаемый порывами ответить на молитвы, было особенно трудно сохранить, но мне как ангелу это представлялось весьма привлекательным. И я долго, долго пребывал в обществе этих душ.

Теперь, если б я только мог поведать им, думал я, если б мог начать наставлять их, то, возможно, сумел бы заставить изменить свое мнение, подготовить их к встрече с небесами. Но в состоянии, в котором они пребывают, они еще не готовы, и я сомневаюсь, что они поверят моим словам.

А что, если они уже поверили и исполнены жажды небес, а Бог не допустит их?

Нет, мне следовало проявлять большую осторожность. Не годилось возвещать знание с вершины валуна, как я это делал в свое короткое пребывание на земле. Раз уж мне приходилось вмешиваться в эволюцию одного из этих мертвецов, должен быть твердый шанс, что эта душа последует за мной к Господнему Престолу.

Понимание жизни и смерти? Этого недостаточно. Примирение со смертью? Этого мало. Безразличие к жизни и смерти — наверняка это не то, что нужно. Легкое смятение и пассивность. Нет. Такого рода души теряли свою индивидуальность. Это в той же степени далеко от ангела, как падающий на землю дождь.

Наконец я достиг области, меньшей прочих и населенной лишь немногими душами. Я сейчас говорю относительно. Помни, что я — дьявол. Я провел немало времени на небесах и в аду. Если я говорю «немногими», то единственно для того, чтобы ты мог охватить разумом всю картину. Ради стройности из-

ложения уточню: несколькими тысячами или больше. То есть я говорю о большем количестве, будь уверен.

— Слушаю тебя.

— Эти души совершенно покорили меня своей лучезарностью, спокойствием и знаниями, которые они восприняли и удержали. Прежде всего, почти каждая из них имела вполне человеческое обличье. То есть в невидимом мире они реализовали свою оригинальную или даже идеальную форму. Они походили на ангелов! Это были невидимые мужчины, женщины, дети, имеющие при себе вещи, дорогие для них в той жизни. Некоторые из душ были совершенно новыми, пронеся через смерть вдумчивость, любознательность и готовность к проникновению в тайну. Другие многое познали, будучи в преисподней и бодрствуя на протяжении столетий в страхе потерять свою индивидуальность, не важно, какие ужасы происходили вокруг. И все для меня были явно видимыми! И антропоморфными, хотя, разумеется, при этом прозрачными, как все души. Одни более прозрачными, другие — менее, но все они были различимыми для окружающих и себя.

Я бродил среди них, ожидая пренебрежительного к себе отношения, но вдруг понял, что они видят меня не таким, как прочие. Они видели по-другому абсолютно все. Они были более настроены на эфемерность невидимого мира, потому что целиком и полностью приняли его условия. Если я желаю быть таким, то пусть буду, думали они, с большой серьезностью судя о том, насколько мне удается быть тем высоким созданием с крыльями и длинными волосами, одетым в развевающиеся одежды. В первые же мгновения своего появления я ощущал окружающее меня счастье. Я чувствовал, что меня принимают. Я совершенно не испытывал сопротивления, а лишь дерзкую любознательность. Они понимали, что я не человеческая душа. Они это понимали, ибо достигли высоты, откуда могли это увидеть! Им открывалось многое о каждой прочей душе, на которую взирали. И многое им открывалось о лежащем внизу мире.

Одна из этих душ приняла форму женщины, но, впрочем, то не была моя Лилия, ибо ее я так и не увидел вновь ни в каком обличье. Но то была женщина, умершая, полагаю, в середине жизни, имевшая много детей, некоторые из них были с ней сей-

час, а иные оставались внизу. Эта душа пребывала в такой безмятежности, что едва ли не светилась. Иными словами, ее эволюция на незримом уровне была столь высока, что она начинала излучать нечто вроде Божественного света!

«Что делает тебя столь отличной от других? — спросил я эту женщину.— Что делает вас всех, скопившихся в этом месте, столь отличными от прочих?»

С поразившей меня проницательностью эта женщина поинтересовалась, кто я есть. Души мертвых обыкновенно не задают этого вопроса. Они обычно погружены в свои безутешные занятия и навязчивые идеи. Но она сказала:

«Кто ты и откуда? Я никогда не видела раньше подобного тебе. Только когда была жива».

«Пока что не хочу тебе открываться,— сказал я.— Но хочу спросить у тебя. Скажи, почему ты кажешься счастливой? Ты ведь счастлива, верно?»

«Да,— сказала она.— Я с теми, кого люблю».

«Так тебя не мучают вопросы по поводу всех этих вещей? — настаивал я.— Ты не стремишься узнать, зачем родилась, или ради чего страдала, или что с тобой случилось после смерти, или зачем ты здесь?»

Изумляя меня еще больше, она рассмеялась. Я никогда не слыхал смеха в преисподней. Это был тихий, успокаивающий, веселый смех — нежный смех, подобный смеху ангелов,— и, помнится мне, я тихо пропел ей в ответ, довольно непринужденно, и при этом ее душа распустилась подобно цветку, как это бывает с облеченными в плоть и обретающимися внизу душами, когда они познают любовь! Проникшись ко мне симпатией, она стала более откровенной.

«Ты красивый»,— почтительно прошептала она.

«Но почему, почему все прочие здесь так несчастливы и почему лишь немногие преисполнены покоя и радости? Да, понимаю, я смотрел вниз. И ты с теми, кого любишь. Но ведь все прочие тоже».

«Мы более не обижаемся на Бога,— молвила она.— Ни один из нас. Не питаем к Нему ненависти».

«А другие — да?»

«Не то чтобы они Его ненавидят,— мягко произнесла она, очень тактично обращаясь ко мне, словно боясь обидеть.— Про-

сто они не могут простить Ему всего этого... того, что происходило с ними в мире, и это унылое прозябание в преисподней. А мы прощаем. Уже простили. Все мы сделали это из разных побуждений, но Бог оправдан в наших глазах. Мы согласны с тем, что наши жизни были наполнены чудесным опытом и стоили боли и страданий, а теперь мы лелеем испытанную нами радость и моменты гармонии, и мы простили Ему то, что Он никогда ничего нам не объяснял, никого не оправдывал, не наказывал грешников и не вознаграждал праведников. И вообще не делал ничего из того, что могли ожидать от Него все эти души, живые и мертвые. Мы прощаем Ему. Мы не знаем наверняка, но догадываемся, что, возможно, Ему ведома великая тайна о том, как вынести всю эту боль и все же остаться праведником. И если Он не хочет открывать этого, что ж, Он Бог. Но, как бы то ни было, мы Ему прощаем и любим Его в нашем всепрощении, хотя и знаем, что Он вправе беспокоиться о нас не более чем о гальке на побережье там, внизу».

Я лишился дара речи. Я сидел неподвижно, предоставив тем душам собраться вокруг меня по доброй воле. Потом заговорила очень юная душа — то была душа ребенка:

«Сначала казалось ужасным, что Бог привел нас в мир, чтобы быть убитыми, как это случилось с нами — понимаешь, мы трое погибли на войне,— но мы простили Ему, потому что понимаем, что если уж Он смог создать нечто такое прекрасное, как жизнь и смерть, то знает зачем».

«Видишь ли,— призналась мне другая душа,— так уж выходит. Мы бы снова вынесли все страдания, если пришлось бы. И постарались бы лучше относиться друг к другу, с большей любовью. Жизнь того стоит».

«Да,— подхватила еще одна душа.— Вся земная жизнь ушла у меня на то, чтобы простить Господу за тот мир, но я сделала это перед смертью и пришла поселиться здесь с остальными. И знаешь, постарайся хорошенько — и увидишь, что мы создали некое подобие сада. Это нелегко. Мы работаем лишь при помощи сознания, воли, памяти и воображения и создаем обитель, где можем вспоминать только хорошее из жизни. И мы прощаем Ему и любим Его за то, что дал нам так много».

«Да,— молвила следующая душа,— за то, что дал нам хоть что-то. Мы благодарны и исполнены любви к Нему. Ибо верно,

что здесь, во мраке, царит великое небытие, а внизу мы встречались со многими, коими завладели небытие и страдание, и им не знакома была радость, в которой мы пребывали раньше и пребываем теперь».

«Это нелегко,— добавила еще одна душа.— Это было великое борение. Но прекрасно было любить, и пить, и танцевать, и петь, радостно было пьяному бегать под дождем; вне всего этого простирается хаос, небытие, и я рада, что глаза мои открылись на лежащий внизу мир и что я вижу его отсюда и могу вспоминать».

Я долго размышлял, не отвечая ни одному, и они продолжали беседовать со мной, словно их притягивал ко мне исходящий от меня свет, если он вообще был зримым. В сущности, чем дольше я отвечал на их вопросы, тем откровеннее они становились, тем больше смысла вкладывали в собственные ответы, тем весомей и убедительней становились их высказывания.

Скоро я понял, что эти люди — выходцы из разных народов и заняты были во всевозможных сферах деятельности. И хотя многих из них тесно связывало родство, это относилось не ко всем. По сути дела, многие из них полностью потеряли из виду своих умерших родственников из других областей преисподней. Другие никогда даже не видели их. И в то же время некоторых приветствовали в момент смерти их сгинувшие близкие! То были люди мира, все надежды которого собрались здесь, в этом месте, где отныне начинал сиять свет.

«В ваших жизнях на земле была ли одна связующая нить?» — спросил я наконец.

Они не могли ответить мне. Они и вправду не знали ответа. Они не расспрашивали друг друга о своей жизни, и, быстро задавая им вопросы наугад, я понял, что не было той связующей нити! Некоторые из этих людей при жизни были очень богатыми, другие бедными, одни невыразимо страдали, другие совсем не страдали, познав преуспеяние и пребывая в лени, что заставило их полюбить мироздание еще до смерти. Но я почувствовал, что при желании могу начать подсчитывать эти ответы и каким-то образом их оценивать. Другими словами, все эти души научились разными путями прощать Бога. Но очень возможно, что один путь лучше подходил для этого, нежели другой, явля-

ясь более действенным. Возможно. Я не был уверен. И не мог в тот момент это знать.

Я обхватил эти души руками. И притянул их к себе.

«Я хочу, чтобы вы отправились со мной в путешествие,— сказал я им, обращаясь теперь к каждому в отдельности и полностью сознавая то, где мы находились.— Я хочу, чтобы вы явились на небеса и предстали перед Господом. В этот раз все может произойти быстро и вы, возможно, узрите Его не более чем на мгновение, а может статься, Он вовсе не позволит вам узреть Себя. Вы можете снова оказаться здесь, так ничего и не узнав и ничего не испытав. Правда заключается в том, что я не в состоянии предугадать это. Никто не знает Господа».

«Понимаем»,— отвечали они.

«Но я приглашаю вас явиться к Богу и рассказать Ему то, что поведали мне. А теперь отвечу на ваш вопрос относительно себя: я, Его архангел Мемнох, из тех ангелов, о которых вы слышали при жизни! Пойдете со мной?»

Иные были изумлены и заколебались. Но большинство ответили в один голос разными словами, суть которых заключалась в следующем: «Мы пойдем. Один взгляд на Бога, даже возможность этого, стоит многого. Пусть это не так, но я не помню, как сладко пахнет олива и как приминается трава на лугу, когда падаешь на нее. Я никогда не пробовал вина. А я никогда не ложился с возлюбленной. Мы пойдем».

Некоторые отказались. Прошло несколько мгновений, прежде чем все мы это поняли, но некоторые совершенно устранились. Теперь они видели меня тем, кем я был, ангелом, и поняли, что именно от них утаивалось, и в то мгновение потеряли покой и способность прощать. Они уставились на меня в ужасе, или гневе, или обуреваемые и тем и другим. Другие души безуспешно старались поверить мне, но у них ничего не получилось. Нет, они не желают видеть Бога, который покинул мир, Им же и сотворенный, позволив его обитателям воздвигать рукотворных богов и втуне просить их о помощи и защите! Нет, нет, нет!

«Пойдемте,— сказал я остальным.— Попробуем попасть на небеса. Приложим к этому все усилия! Сколько нас? Тысячу раз по десять? Миллион? Какое это имеет значение! Господь сказал, десять, но имел в виду *как минимум* десять. Идемте!»

16

Через мгновение у меня будет ответ, подумал я. Он либо примет нас, либо вышвырнет вниз, на землю, как уже сделал со мной однажды. Он может даже рассеять большинство из нас, ибо наверняка в состоянии составить свое суждение по поводу моего успеха или неудачи еще до того, как я достигну небесных врат. Что сказал Он в своей бесконечной мудрости, посылая меня сюда? Он сказал: «Возвращайся, как только *сможешь*».

Я притянул к себе эти души так же крепко, как и тебя, когда уносил на небо, и из преисподней мы взмыли вверх, попав в мощный поток небесного света, изливающийся на стены и на врата. И опять врата, которые я не видел со времен своего падения, были распахнуты настежь, и мы — один архангел и несколько миллионов человеческих душ — снова оказались стоящими в самой середине небес перед изумленными, смеющимися, указывающими на нас ангелами, окружившими нас огромным кольцом и криками привлекающими всеобщее внимание. Наконец небеса затихли.

Что ж, подумал я, пока все хорошо. Мы вошли. А человеческие души... Человеческие души увидели ангелов и преисполнились радости. О, не могу даже вспоминать этот момент без того, чтобы не пуститься в пляс и не запеть. Души ликовали, и когда ангелы принялись вразнобой и нараспев задавать вопросы и исторгать восклицания, человеческие души запели!

Вот уж действительно, небеса никогда не перестанут меняться. Я это понимал. Я понял это мгновенно. Ибо именно так и случилось. Эти души принесли с собой ту же способность, которой научились в преисподней, то есть создавать из незримого нечто желаемое, нечто, к чему стремились и чему в состоянии были посвятить свои помыслы.

И география небес мгновенно и поразительным образом изменилась. Там выросли башни, замки, особняки, те, что ты видел, когда я привел тебя туда, дворцы с куполами, библиотеки, сады и цветы, много цветов,— словом, те вещи, что ангелам никогда бы не пришло в голову принести на небеса... да, там было все. Деревья поднимались в полной красе, с неба изливались шепчущие, благоуханные струи дождя. Небо приобрело теплые тона, которые ширились и густели повсюду. Эти души взяли не-

зримую ткань небес, чем бы она ни была — энергией, сущностью, Божественным светом, созидательной мощью Бога,— и в мгновение ока окружили всех нас чудными сооружениями, отображающими их любознательность, их представления о красоте, их желания!

Все, познанное ими на земле, принесли они на небеса, неустанно украшая их самыми любимыми формами!

Шок от увиденного был соразмерен тому, который я испытал во времена сотворения мира.

Никто не казался удивленным более архангела Михаила. Его потрясенный взгляд, казалось, говорил: «Мемнох, ты привел их на небеса!»

Но, прежде чем он исторг эти слова и пока души все так же стояли, сгрудившись, только начиная понимать, что могут двигаться и прикоснуться к ангелам и к вещам, которые сами нарисовали в своем воображении, возник Божественный свет. Свет этот поднимался и простирался из-за фигур серафимов и херувимов и ласково, деликатно ложился на человеческие души, заполняя каждую из них, выставляя напоказ все ее тайны, делая душу открытой, подобно ангелам.

Человеческие души плакали от радости. Ангелы запели торжественные гимны. Я запел с распростертыми руками:

«Господи, Господи, у меня Твои души, достойные небес, и взгляни, что они принесли на небеса, Владыка, взгляни на Свое творение, взгляни на души тех, кого Ты создал из мельчайших атомов, облек плотью, напитал кровью, а потом через преисподнюю возвел к Своему Престолу. Господи, мы здесь! Владыка, это свершилось, свершилось! Я вернулся, и Ты позволил мне это».

И сказав более чем достаточно, я опустился на колени.

Пение делалось все неистовее; такие звуки не вынес бы ни один смертный. Гимны звучали со всех сторон. Человеческие души становились плотнее, зримее, пока не возникли для нас с той же ясностью, что и мы для них и друг для друга. Некоторые души, взявшись за руки, прыгали, как малые дети. Другие просто плакали и стенали; по лицам их струились слезы.

И тогда свет раздался во все стороны. Мы поняли, что Господь сейчас заговорит. Мы все разом затихли. Мы все были сыновьями Бога. И Бог сказал:

«Дети Мои. Чада Мои возлюбленные. Мемнох стоит рядом со своими миллионами, и они достойны небес».

Голос Бога прервался, и свет стал интенсивнее и теплее, и все небеса преисполнились терпением и чистой любовью.

Я в изнеможении улегся на небесное дно, уставившись в величавый небесный свод с прекрасным голубым пологом и вечно мерцающими звездами. Я слышал, как человеческие души снуют туда-сюда. Я слышал приветственные гимны и песнопения ангелов. Я слышал все и потом, в подражание смертному, закрыл глаза.

Спит ли когда-нибудь Господь? Не знаю. Я закрыл глаза и неподвижно лежал в лучах Божественного света, и после всех этих бесконечных лет в преисподней я снова был в безопасности и в тепле.

Наконец до меня дошло, что ко мне приближаются серафимы — трое или четверо, точно не помню,— и склоняются надо мной, взирая на меня сверху вниз; лица их были освещены непереносимо ярким отраженным светом.

«Мемнох, Господь желает говорить с тобой наедине»,— молвили они.

«Да, иду немедленно!»

Я вскочил на ноги.

И очутился вдали от ликующих толп, без провожатых, один, в тишине, с очами, прикрытыми рукой и опущенными долу, ощущая, что Господь совсем близко.

17

«Открой глаза и взгляни на Меня»,— молвил Господь.

Я повиновался, сознавая, что это может означать мое полное забвение, а все, сделанное до этого,— безрассудство и непонимание Его замысла.

Сияние сделалось равномерным, всепроникающим, но все же переносимым, и в самой его середине я ясно различил выступающий из него лик наподобие моего. Не могу сказать, что это было человеческое лицо. Лик, неповторимость выражения — вот что я созерцал, и этот *совершенно неповторимый лик* смотрел на меня прямо и неотрывно.

Он был так прекрасен, что я и не помышлял о том, чтобы отодвинуться или даже отвернуться от него, но затем он сделался ярче, заставляя меня щуриться, и моргать, и бороться с искушением прикрыть глаза, чтобы не потерять зрение навсегда.

Затем свет чуть померк; он как будто сжался, став для меня переносимым и всепоглощающим, но не ослепляющим. И я стоял, дрожа, очень довольный тем, что удержался и не закрыл лицо руками.

«Мемнох,— сказал Господь.— Ты хорошо поработал. Ты привел из преисподней души, достойные небес; ты приумножил радость и блаженство небес; ты очень хорошо поработал».

Я выразил свое признание, бывшее по существу гимном поклонения, повторяя очевидное: что Бог создал все эти души и в Своей милости позволил им предстать перед Ним.

«Это делает тебя очень счастливым, верно?» — спросил Он.

«Только если и Ты счастлив, Господи»,— ответил я, слегка покривив душой.

«Воссоединяйся с ангелами, Мемнох,— разрешил Он.— Ты прощен за то, что без Моего разрешения обретался во плоти, и прощен за то, что спал с дщерями человеческими. Твои надежды в отношении душ, пребывавших некогда в преисподней, оправдались. А сейчас оставь Меня и поступай как знаешь, но больше не вмешивайся в дела природы или человечества, раз уж ты настаиваешь, что люди не являются частью природы, в чем ты не прав».

«Господи...» — робко начал я.

«Да???»

«Господи, те души, которые я вывел из преисподней, составляют менее одной сотой всех душ, там пребывающих. Господи, преисподняя полна смятения и непонимания. Это всего лишь избранные души».

«Меня что, эта новость должна поразить? Как же Мне не знать этого?» — спросил Он.

«Господи, ты, конечно, позволишь мне вернуться в преисподнюю, чтобы попробовать просветить те души, что не достигли еще уровня небес. Ты, несомненно, позволишь мне попытаться очистить их от того, что мешает им стать достойными небесного блаженства».

«Зачем?»

«Господи, на каждый миллион спасенных приходятся миллионы потерянных для Тебя».

«Ты ведь знаешь, что Мне это известно, не так ли?»

«Господи, смилуйся над ними! Смилуйся над людьми земли, стремящимися с помощью бесчисленных ритуалов достичь Тебя, узнать Тебя и ублажить».

«Зачем?»

Я не ответил. Я был обескуражен и предался размышлениям. И потом сказал:

«Господи, разве Тебе безразличны души, в смятении мечущиеся во мраке, страдающие?»

«А почему это должно Меня беспокоить?» — спросил Он.

И снова я выдержал паузу. Важно было, чтобы мой ответ прозвучал весомо. Но Он заговорил Сам:

«Мемнох, ты можешь сосчитать Мне все звезды? Тебе известны их имена, орбиты, судьбы в природе? Можешь ли ты, Мемнох, хотя бы приблизительно подсчитать число песчинок на дне морском?»

«Нет, Господи, не могу».

«По всему мирозданию разбросаны тысячи живых существ, из которых выживает лишь небольшое число — рыбы и черепахи в море, крылатые насекомые в воздухе. Сотня, миллион существ какого-то вида могут появиться на свет под солнцем за один день, и лишь горсточка выживет для воспроизведения потомства. Ты разве этого не знаешь?»

«Да, Господи, знаю. Я узнал это за прошедшие века. Я наблюдал эволюцию животных. Знаю».

«Что Мне за дело, если лишь горстка душ доберется до врат небесных? Возможно, Я со временем вновь пошлю тебя в преисподнюю. Не могу сказать наверняка».

«Господи, человечество чувствует и страдает!»

«Нам что, снова придется спорить о природе? Человечество — Мое творение, Мемнох, и его развитие, понимаешь ты это или нет, следует Моим законам».

«Но, Господи, все сущее под солнцем в конце концов умирает, а эти души обрели возможность жить вечно! *Они оказались вне цикла!* Они сотворены из незримой воли и знания. Владыка, их появление на небесах, безусловно, подчинено этим Тво-

им законам, а как же иначе? Прошу Тебя, Господи, ответь мне, ибо при всей моей любви к Тебе я не понимаю».

«Мемнох, незримые и упорные воплощаются в Моих ангелов и подчиняются Моим законам».

«Да, Господи, но они не умирают. И Ты беседуешь с нами, и Ты раскрываешься перед нами, и Ты любишь нас, и Ты позволяешь нам видеть разные вещи».

«А ты не думаешь, что красота мироздания раскрывает человечеству смысл Моего света? Ты не думаешь, что эти приведенные тобой сюда души не развились из-за осознания величия всего созданного?»

«Многие еще могли бы прийти, Господи, если им немного помочь. Сейчас их здесь совсем мало. Господи, разве могут помыслить низшие животные о том, чего не в состоянии получить? То есть лев думает о мясе газели, и он его получает, так ведь? Человеческие души помышляют о Всемогущем Господе и жаждут встречи с Ним».

«Ты Мне уже это доказал,— молвил Он.— Ты доказал это всем небесам».

«Но их было немного! Господи, если бы Ты был из плоти и крови и сошел вниз, как я...»

«Остановись, Мемнох».

«Нет, Господи, прости меня, но я не могу отказаться от своих благих намерений, и по логике вещей получается, что если бы Ты сошел вниз и стал из плоти и крови, как это сделал я, то лучше бы узнал эти создания, которых, как Тебе кажется, Ты знаешь, а на самом деле — нет!»

Ответа не последовало.

«Господи, Твой свет не проникает сквозь человеческую плоть. Он путает ее с плотью животных, и так было всегда! Владыка, зная все на свете, Ты не вдаешься в каждую мелочь! И это невозможно, иначе Ты не оставил бы эти души изнывать в агонии в преисподней. И Ты не можешь допустить, чтобы повсюду на земле продолжались страдания мужчин и женщин. Я не верю этому! Не верю, что Ты это допустишь! Не верю!»

«Мемнох, мне достаточно всего один раз изречь слово».

Я не ответил.

«Я с тобой терпелив»,— молвил Он.

«Да, так и есть, но Ты ошибаешься и в этом Ты тоже не прав, ибо будешь бесконечно слушать хвалебные гимны в Твою честь, Господи! Эти души придут к Тебе и будут петь гимны».

«Мне не нужно гимнов, Мемнох»,— молвил Он.

«Тогда зачем мы поем?»

«Из всех Моих ангелов ты единственный обвиняешь Меня! Не веришь в Меня. Эти души, что ты привел из преисподней, верят в Меня, а ты — нет! Таков был твой критерий их отбора! Чтобы они верили в премудрость Господа».

Невозможно было заставить меня молчать.

«Когда я был из плоти и крови, я узнал нечто, подтверждающее все, о чем я подозревал раньше и что видел с тех пор. Что же мне делать, Господи? Лгать Тебе? Произносить вслух заведомо лживые слова? Господи, Ты дал человечеству нечто такое, чего Сам не в силах полностью постичь! И другого объяснения быть не может, ибо если оно найдется, то, значит, не существует природы и законов».

«Уйди с глаз Моих, Мемнох. Сойди на землю, оставь Меня и смешайся с небытием, слышишь?»

«Испытай это, Господи! Стань плотью и кровью, как это сделал я. Ты, которому все подвластно, облекись в плоть...»

«Молчи, Мемнох!»

«Если Ты не смеешь сделать это, если недостойно Создателя постичь каждую частицу созданного Им мироздания, тогда вели умолкнуть всем гимнам ангелов и людей! Вели им умолкнуть, раз уж Ты говоришь, что они Тебе не нужны, и посмотри тогда, что для Тебя значит Твое творение!»

«Я изгоняю тебя, Мемнох!» — провозгласил Он, и через мгновение вновь возникли вокруг меня все небеса, все Божии сыновья, и вместе с ними миллионы спасенных душ, а передо мной оказались Михаил и Рафаил, в ужасе наблюдавшие, как меня с силой выносит из врат прямо в крутящийся вихрь.

«Ты жесток к Своим созданиям, Господи! — прокричал я изо всех сил сквозь оглушительные звуки горестных песнопений.— Те мужчины и женщины, созданные по Твоему образу и подобию, вправе презирать Тебя, ибо девяти десятым из них было бы лучше вовсе не рождаться на свет!»

Мемнох замолчал.

Он чуть нахмурился, отчего на лбу его пролегла небольшая симметричная складка, и наклонил голову, будто прислушиваясь к чему-то. Потом медленно повернулся ко мне.

Я выдержал его взгляд.

— Это именно то, что ты сделал бы, не так ли? — спросил он.

— Да поможет мне Бог,— сказал я,— право, не знаю.

Пейзаж менялся. Пока мы смотрели друг на друга, мир вокруг нас наполнялся новыми звуками. Я понял, что поблизости находятся люди, мужчины со стадами коз и овец; в отдалении я заметил стены города, а повыше на холме — другое небольшое поселение. И в самом деле, мы в тот момент оказались в населенном мире, древнем, но не таком уж далеком от нашего собственного.

Я знал, что эти люди не видят и не слышат нас. Незачем мне было об этом говорить.

Мемнох все так же пристально смотрел на меня, будто спрашивая о чем-то, а я не понимал о чем. Солнце немилосердно палило нас обоих. Я заметил, что мои ладони влажны от кровавого пота, и поднял руку, чтобы вытереть пот со лба. Мемнох был окутан каким-то слабым мерцанием. Он продолжал пристально рассматривать меня.

— Что случилось? — спросил я.— Почему ты мне не скажешь? Что случилось? Почему не продолжаешь?

— Ты чертовски хорошо знаешь, что случилось,— сказал он.— Взгляни на свое одеяние. Оно больше подходит для пустыни. Я хочу, чтобы ты пошел туда, за те холмы... со мной.

Он встал, и я сразу же последовал за ним. Мы были в Святой земле, сомнений не оставалось. Мы проходили мимо дюжин и дюжин небольших групп людей — рыбаков вблизи небольшого городка, стоящего на кромке моря, других людей, ухаживающих за овцами или козами либо перегоняющих небольшие стада в сторону ближайших поселений или обнесенных стенами отгороженных участков земли.

Все выглядело явно знакомым. Раздражающе знакомым, не просто дежа вю или неким указанием на то, что ты жил здесь раньше. Знакомым так, будто было впаяно в мозг. И сейчас я могу припомнить все — даже обнаженного мужчину с кривыми ногами, опирающегося на палку и бессвязно говорящего что-то, когда с невидящими глазами он проходил мимо нас.

За покрывающим все наносным слоем узнавались формы, стили, манера поведения, хорошо мне знакомые — из Писания, гравюр, иллюстраций и фильмов. Это была — во всем своем неприкрытом, сияющем торжестве — священная и притом знакомая местность.

Мы видели людей, стоящих возле пещер, в которых они жили высоко в горах. Другие сидели небольшими группами в тени рощ, беседуя или подремывая. От городов, обнесенных стенами, исходили отдаленные пульсации. Воздух был насыщен песком. Песок забивался в ноздри, прилипал к губам, волосам.

Мемнох был без крыльев. Его плащ, как и мой, покрывала грязь. Одежда наша, судя по легкости и тому, как она пропускала воздух, похоже, была из полотна. Длинные плащи отличались простым покроем. Кожа и телесные формы не изменились.

Небо было ярко-голубым, и солнце изливало на меня свой ослепительный свет, как на любое другое существо этого мира. По временам делалось невыносимо от пота, который заливал мне глаза. И я вскользь подумал о том, как в любое другое время подивился бы на одно только солнце, на это чудо, отвергаемое Детьми Ночи,— но в то время я не вспомнил о нем ни разу, потому что для видевшего Божественный свет солнце перестает быть светом.

Мы поднимались на скалистые уступы, взбираясь по крутым тропинкам и перелезая через камни и древесные стволы, и наконец внизу перед нами показалось обширное пространство горячего, безводного песка, медленно перемещающегося под дуновением заунывного ветра.

Мемнох остановился на самом краю пустыни. Теперь нам предстояло оставить скалистую, неуютную, но все-таки почву и сойти на мягкий песок, по которому так тяжело ступать.

Мемнох зашагал первым. Немного поотстав, я вскоре догнал его. Он обхватил меня левой рукой, плотно прижав сильные пальцы к моему плечу. Я был этому очень рад, ибо испытывал вполне объяснимое мрачное предчувствие; в сущности, во мне нарастал ужас, подобного которому я не испытывал раньше.

— После того как Он изгнал меня,— молвил Мемнох,— я странствовал.— Глаза его были устремлены на пустыню и на то, что казалось бесплодными, сверкающими на солнце скалами в отдалении, враждебными, как сама пустыня.— Я бродил путя-

ми, которыми часто странствовал и ты, Лестат. Бескрылый, с разбитым сердцем, уныло проходил я по земным городам и странам, по континентам и пустыням. Как-нибудь я расскажу тебе все об этом, если пожелаешь. Сейчас это не важно.

Дай скажу лишь о том, что важно: я не осмеливался стать видимым или объявить о себе всем людям. Я скрывался среди них — незримый,— не решаясь воплотиться из страха вызвать гнев Господа и опасаясь под любой личиной присоединиться к борьбе людей — как из страха перед Богом, так и из опасений за то возможное зло, которое могу принести людям. По этим же причинам я не вернулся в преисподнюю. Лишь один Бог мог освободить эти души. Какую надежду мог дать им я?

Но я видел преисподнюю, видел ее необъятность и ощущал боль пребывающих там душ. Я дивился новым, замысловатым, постоянно меняющимся поводам для смятения, придуманным смертными, когда они отвергали одно за другим — веру ли, секту ли, символ веры ли — во имя того жалкого предела мрака.

Однажды меня осенила самодовольная мысль: а если я все-таки проникну в преисподнюю и попробую настолько умело настроить души, что они сами со временем смогут изменить это место, сотворить в формах, вдохновленных надеждой, а не безнадежностью. Чтобы преисподняя превратилась в некое подобие сада. Несомненно, на подобную мысль меня вдохновили действия тех избранных миллионов, которые, будучи взяты на небеса, изменили свою часть сего обиталища. А с другой стороны, вдруг это мне не удастся и хаос лишь усугубится? В общем, я не посмел. Я не посмел это сделать из страха перед Богом и боязни, что не сумею осуществить такую мечту.

Во время странствий я размышлял о многих вещах, но не изменил своих взглядов на то, во что верил, чувствовал или о чем говорил Господу. В частых своих мольбах я постоянно твердил Ему, продолжавшему пребывать в молчании, что не перестаю считать, будто Он покинул свое лучшее творение. А когда уставал, я пел Ему гимны. Или молчал. Смотрел, слушал... наблюдал....

Мемнох, страж и хранитель, падший ангел.

Я еще не догадывался, что мой спор с Всемогущим Господом только начинается. Но в какой-то момент я оказался на пути к тем самым долинам, которые впервые посетил во времена оны и где были возведены первые города людей.

Эти места были для меня землей начинаний, ибо, хотя великие народы возникли из множества наций, именно здесь возлег я с дщерями человеческими и узнал о плоти нечто такое, о чем не могу забыть и чего не ведает Сам Господь.

И вот, попав в эти края, я отправился в Иерусалим, который, кстати, находится в шести или семи милях к западу от места, где мы стоим.

Я сразу же узнал время — землей этой управляли римляне, и иудеи страдали от долгого ужасного плена. Племена, верящие в единого Бога, оказались теперь под властью политеистов, не воспринимающих их веру всерьез.

Да и сами монотеисты разделились на группы. Одни иудеи сделались непримиримыми фарисеями, другие — саддукеями, прочие искатели истины объединялись и уходили в пещеры, находящиеся по ту сторону холмов.

Главная особенность, делавшая это время для меня примечательным — то есть действительно выделяющая его из других эпох,— это могущество Римской империи, простершей свои границы дальше любой другой империи Запада, которую мне приходилось когда-либо наблюдать. Правда, римляне почему-то пребывали в неведении относительно Великой Китайской империи, словно та была в ином мире.

Но не только это притягивало меня сюда. Здесь я ощущал неявное присутствие чего-то или кого-то; казалось, этот кто-то взывает ко мне чуть слышно, просит меня прийти, найти его, не успокаиваться в поиске. Возможно, это существо само ходит вокруг меня, искушая, как я искушал тебя. Не знаю.

Итак, я отправился в Иерусалим, прислушиваясь к людским разговорам.

Люди говорили о пророках и святых пустынниках, очищении и воле Господней. Люди спорили о законах. Они вели разговоры о священных книгах и святых традициях. Они говорили о людях, которые крестились в воде, с тем чтобы спастись в глазах Бога.

И еще они говорили о человеке, который принял крещение и после этого удалился в пустыню, ибо в тот миг, когда его коснулись иорданские воды, над ним разверзлись небеса и стал виден Божественный свет.

Разумеется, по всей земле можно услышать подобные истории. И в этой не было ничего необычного, если не считать того, что меня она почему-то заинтересовала. В моих скитаниях по этой стране меня словно бы кто-то направлял, и вскоре путь мой уже лежал на восток от Иерусалима. Мои обостренные ангельские чувства говорили мне, что я нахожусь поблизости от чего-то таинственного, чего-то напоминающего о священном, что не всякому из людей было дано увидеть, и только ангел мог это разглядеть и понять. Разум мой спорил с чувствами, отвергал их, и все же я дальше и дальше углублялся в пустыню, бескрылый и невидимый в этом пекле.

Мемнох увлек меня за собой, и мы ступили на песок, к счастью оказавшийся не таким глубоким, как я себе представлял, но зато горячим и полным мелких камешков. Мы шли по каньонам, взбирались на откосы и наконец оказались в небольшой низине с высящейся грудой камней посередине. Эти камни, похоже, собраны были здесь неспроста — приносили их появлявшиеся здесь время от времени люди. Выбор этого места был столь же естественным, как и других мест, где мы раньше останавливались подолгу.

А камни были просто вехой в пустыне или, возможно, напоминанием о чем-то.

Я был как на иголках от нетерпения услышать продолжение рассказа Мемноха. Моя тревога росла. Он замедлил шаг, пока мы не остановились неподалеку от этой небольшой груды камней.

— Все ближе и ближе подходил я,— говорил он,— к тем камням, что ты сейчас видишь, и своими ангельскими глазами, столь же зоркими, как твои, рассмотрел в отдалении одинокую человеческую фигуру. Но глаза мои говорили мне, что это не человек, что, напротив, это создание исполнено божественного пламени.

Я не хотел верить этому и все же шел и шел дальше, не в силах остановиться. Затем я остановился — там примерно, где мы стоим сейчас, вперясь в фигуру, сидящую передо мной на камне и смотрящую на меня снизу вверх.

То был Господь! Сомнений не было. Он был облечен в плоть, с загорелой на солнце кожей, темноволосый, с темными глазами жителей пустыни, но это был Бог! Мой Бог!

И Он сидел там в телесной оболочке, глядя на меня человеческими глазами и одновременно глазами Бога, и я видел, что Он весь исполнен света и сокрыт от внешнего мира своей плотью, словно то была наипрочнейшая перегородка между небесами и землей.

Если и было что-то ужаснее этого откровения, так это то, что Он смотрел на меня, знал меня и ожидал меня, и то, что при взгляде на Него я испытывал любовь.

Мы снова и снова пели песнь любви. Неужели это та самая песнь, что предназначена для всего мироздания?

Я в ужасе смотрел на Его смертную плоть, Его опаленную солнцем кожу, ощущал Его жажду, пустоту в желудке, боль Его страдающих глаз и присутствие внутри Его Всемогущего Бога. И меня переполняла любовь.

«Итак, Мемнох,— молвил Он на человеческом языке человеческим голосом.— Я пришел».

Я упал перед Ним ниц. Это произошло инстинктивно. Я просто лежал там, протянув руку, чтобы прикоснуться к застежке на Его сандалии. Я вздохнул, и тело мое задрожало в предчувствии избавления от одиночества, приближения к Богу и удовлетворения от этого, и у меня легко полились слезы, оттого что я рядом с Ним и вижу Его, и я подивился, что бы это значило.

«Поднимись, иди — сядь поближе,— молвил Он.— Теперь я — человек и Я — Бог, но мне страшно».— Голос Его невыразимо волновал меня — человеческий голос, но при этом исполненный божественной мудрости. Он говорил на языке и с интонациями жителей Иерусалима.

«О Господь, что мне сделать, чтобы облегчить Твою боль? — спросил я, ибо боль Его была очевидна. Я встал.— Что ты совершил и зачем?»

«Я совершил именно то, на что ты меня толкал своими уговорами, Мемнох,— отвечал Он, и на лице Его заиграла самая сказочная и очаровательная из улыбок.— Я воплотился. Только сделал это лучше тебя. Я родился от смертной женщины, заронив в нее Свое семя, и в течение тридцати лет жил на этой земле ребенком, а потом мужчиной, по временам сомневаясь — нет, даже забывая и совершенно переставая верить, что я действительно Бог!»

«Я вижу Тебя, я знаю Тебя. Ты — Владыка, Господь мой»,— молвил я. Я был так поражен Его лицом, узнаванием Его под маской кожи, покрывающей кости Его черепа. В одно трепетное мгновение в точности припомнил я то чувство, когда уловил выражение Его лица в лучах света, а теперь увидел то же выражение на человеческом лице. Я опустился на колени.

«Ты — мой Бог»,— молвил я.

«Я, Мемнох, позволил полностью вовлечь Себя в плотскую жизнь, чтобы узнать, что означает, как ты сказал, быть человеком, и узнать страдания людей, их страхи и желания, а также то, чему они могут научиться здесь или наверху. Я совершил то, что ты Мне велел, и сделал это лучше тебя, Мемнох. Я сделал это так, как должно Богу, доведя до крайности!»

«Господи, мне невыносимо смотреть на Твои страдания,— быстро произнес я, не в силах оторвать от Него взгляд и грезя о воде и пище для Него.— Позволь мне отереть с Тебя пот. Позволь принести Тебе воды. Позволь сделать это в одно ангельское мгновение. Позволь мне утешить Тебя, умыть Тебя и облачить в пышное убранство, подобающее Богу на земле».

«Нет,— молвил Он.— В те дни, когда Я считал Себя безумным, когда знал, что сознательно пожертвовал Своим всеведением для того, чтобы страдать и познать ограничения, ты мог бы убедить Меня в том, что это правильный путь. Я ухватился бы за твое предложение сделать Меня Царем. Это могло стать способом обнаружить Себя перед ними. Но не теперь. Я знаю, *кто* Я и *что* Я, и знаю, *что грядет*. Ты прав, Мемнох, в преисподней есть души, готовые попасть на небеса, и Я Сам вознесу их туда. Я узнал то, чем ты Меня прельщал».

«Отче, ты голодаешь. Ты страдаешь от невыносимой жажды. Давай же, обрати эти камни в хлеб Своим могуществом и вкуси от него. Или позволь мне принести Тебе еды».

«Послушай Меня в кои-то веки! — произнес Он с улыбкой.— Перестань говорить о еде и питье. Кто здесь человек? Я! Ты, несносный противник, ты, любящий поспорить дьявол! Замолчи на минуту и послушай. Я облечен плотью. Помилосердствуй и дай Мне сказать.— Он рассмеялся; лицо Его было преисполнено доброты и сочувствия.— Ну же, облекись плотью вместе со Мной,— молвил Он.— Стань Моим братом, сядь подле Меня, сын Божий, и давай поговорим».

Я сразу сделал, как Он просил, бездумно создавая тело, похожее на то, что ты видишь сейчас, ибо для меня это столь же естественно, как думать. Облекая себя в такую же, как и сейчас, одежду, я вдруг осознал, что сижу на камне с Ним рядом. Я был больше Его и заранее не подумал о том, чтобы уменьшить свои пропорции, и тут же стал торопливо это проделывать, пока мы не стали мужчинами примерно одного роста. Во всем остальном я оставался ангелом, не испытывая голода, жажды или усталости.

«Сколько времени Ты пребываешь в этой пустыне? — спросил я.— Люди в Иерусалиме говорят, около сорока дней».

«Примерно так и есть,— кивнув, отвечал Он.— А теперь Мне пора приниматься за пастырство, которое продлится три года. Я стану преподносить великие уроки, которые необходимо усвоить, для того чтобы быть допущенным на небеса: осознание мироздания и понимание его сознательного развертывания; признание его красоты и законов, что делает возможным принятие страдания и кажущейся несправедливости и всех проявлений муки; я пообещаю конечное торжество для тех, кто сможет достичь понимания, для тех, кто в состоянии предать свои души пониманию Бога и Его деяний. Так Я одарю мужчин и женщин, и это, думаю, является в точности тем, чего ты от Меня добивался».

Я не осмелился ответить ему.

«Любить, Мемнох, Я научился любить их так, как ты о том говорил. Я научился любить и лелеять человека, как это делают мужчины и женщины, и Я возлежал с женщинами и познал тот экстаз, ту вспышку ликования, о которых ты говорил столь красноречиво, когда Я не мог даже помыслить о том, что Мне захочется такой малости.

Я стану говорить о любви больше, чем о любом другом предмете. Я скажу вещи, которые люди могут переиначить и неправильно понять. Но любовь будет главным их смыслом. Ты убедил Меня, и Я убедил Себя, что именно она возвышает человека над животными, хотя люди — это тоже животные».

«Ты намерен оставить им специальное руководство о том, как любить? И как остановить войну и сойтись вместе в одной форме поклонения...»

«Нет, вовсе нет. Это было бы абсурдным вмешательством и нарушило бы всю величественную систему, которую Я привел в движение. Это остановило бы динамику разворачивания вселенной.

Мемнох, для Меня мы, человеческие существа, все еще часть природы, как Я говорил, только люди лучше животных. Все дело в степени. Да, люди протестуют против страдания и отдают себе отчет в том, что страдают, но в каком-то смысле ведут себя в точности как низшие животные, то есть страдание улучшает их и подталкивает вперед на пути эволюции. Они достаточно сообразительны, чтобы понять его значимость, в то время как животные лишь учатся инстинктивно избегать страдания. В сущности, человек может улучшиться за время одной жизни путем страдания. Но он все же часть природы. Мир будет развиваться, как и всегда, исполненный неожиданностей. Одни из этих сюрпризов будут ужасными, другие — чудесными, а иные — прекрасными. Но известно наверняка, что мир будет продолжать развиваться и мироздание будет продолжать разворачиваться».

«Да, мой Господь,— сказал я,— но все же страдание — это зло».

«Чему Я учил тебя, Мемнох, когда ты впервые пришел ко Мне, говоря, что разложение — это плохо, смерть — плохо? Разве ты не ощущаешь величия в человеческих страданиях?»

«Нет,— отвечал я.— Я вижу гибель надежды, гибель любви, семьи, потерю душевного равновесия; я вижу невыносимую боль; я вижу человека, согнувшегося под этой ношей, отравленного горечью и ненавистью».

«Ты воспринимаешь недостаточно глубоко, Мемнох. Ты всего лишь ангел. Ты отказываешься понимать природу, и таков твой путь с самого начала.

Я привнесу в природу Свой свет через плоть, и будет это длиться три года. Я научу людей наимудрейшим вещам, которые узнаю и смогу высказать, обретаясь в этом теле, созданном из плоти и крови, и имея мозг; а затем Я умру».

«Умрешь? Как это? Что ты имеешь в виду под смертью? Твоя душа покинет...» — Я в нерешительности замолчал.

Он улыбнулся.

«У Тебя все-таки есть душа, Господи? То есть Ты мой Господь в облике сына человеческого, и свет заполняет каждую частичку Тебя, но Ты... у Тебя ведь нет души, верно? У Тебя нет человеческой души!»

«Мемнох, эти различия не имеют значения. Я Бог Воплощенный. Как может у Меня быть человеческая душа? Важно то, что Я останусь в этом теле, когда его терзают и убивают; и Моя смерть будет доказательством Моей любви к тем, кого Я создал и кому позволил так много страдать. Я разделю их боль и узнаю их боль».

«Пожалуйста, Господи, прости меня, но что-то мне кажется неверным в самой идее».

И снова Ему показалось это забавным. Его темные глаза заискрились сочувствующим молчаливым весельем.

«Неверным? Что неверно, Мемнох,— то, что Я приму форму умирающего бога природы, которого мужчины и женщины воображали себе и о котором мечтали и пели с незапамятных времен, умирающего бога, символизирующего природный цикл, в котором все, что рождается, должно умереть?

Я умру и потом воскресну из мертвых, подобно тому как тот бог воскресает в любом мифе всех народов мира о вечном приходе весны после зимы. Я стану Богом поверженным и Богом восставшим, только теперь это произойдет непосредственно в Иерусалиме, а не во время специального ритуала с человеческими исполнителями. Сам Сын Божий инсценирует эти мифы. Я решил освятить эти легенды Своей настоящей смертью.

Я восстану из гроба. Мое воскресение подтвердит вечный приход весны после зимы. Оно подтвердит то, что все в природе подвержено изменениям.

Мемнох, Меня будут помнить именно благодаря Моей смерти. Смерти! Она будет ужасной. Меня запомнят не из-за Моего воскресения — ибо это нечто такое, чего многие просто никогда не увидят и во что не поверят. Но Моя смерть — да, Моя смерть станет веским подтверждением правоты мифов, и она явится жертвой со стороны Бога во имя познания Его Творения. Это именно то, о чем ты Меня просил».

«Нет, нет, погоди, Господи, здесь что-то не так!»

«Ты всегда забываешься и забываешь, с кем разговариваешь,— мягко произнес Он, а я, глядя на Него, по-прежнему был

зачарован этой смесью человеческого и божеского, потрясен Его красотой и божественностью, снова и снова охваченный собственным предчувствием, что все неправильно.— Мемнох, Я только что поведал тебе то, чего не знает никто, кроме Меня,— молвил Он.— Не говори со Мной так, будто Я не прав. Не трать понапрасну мгновения, проведенные с Сыном Божиим! Разве не можешь ты ничему научиться у Меня, облеченного плотью, как учился у людей из плоти и крови? Разве Мне не о чем поведать тебе, возлюбленный мой архангел? Почему ты сидишь здесь и допрашиваешь Меня? Что могло бы означать твое слово «неверно»?»

«Не знаю, Господи, не знаю, как Тебе и ответить. Не могу подобрать слов. Знаю просто, что ничего не получится. Прежде всего, кто будет мучить и убивать Тебя?»

«Жители Иерусалима,— ответил Он.— Мне удастся вызвать всеобщее раздражение — и косных иудеев, и бессердечных римлян; каждый будет раздосадован пронзительным посланием чистой любви и тем, что любовь требует от человека. Я выкажу презрение к обычаям других людей, к их ритуалам и законам. И попаду в машину их правосудия.

Я буду осужден за богохульство, когда стану говорить о Своем божественном происхождении, о том, что я Сын Божий, Бог Воплощенный... и за самую Свою миссию Я претерплю такие муки, что этого никогда не забудут; Моя смерть через распятие тоже не будет забыта».

«Распятие? Владыка, видел ли ты людей, умирающих от этого? Ты знаешь, как они страдают? Их пригвождают к деревянному кресту, и они задыхаются, вися в таком положении, слабеют, не в состоянии приподнять вес своего тела на пригвожденных стопах, и в конце концов погибают от удушья — в крови и боли».

«Разумеется, видел. Это обычная форма казни. Отвратительно и вполне в духе людей».

«О нет, нет! — воскликнул я.— Это не должно произойти. Ты же не собираешься завершить свое учение столь явным провалом и жестокой казнью, от которой погибнешь?»

«Это не провал,— сказал он.— Мемнох, Я стану мучеником идеи, которую несу людям! Невинный агнец приносился в жертву доброму Богу еще на заре истории человечества! Люди бессознательно жертвуют Богу самое дорогое, чтобы показать свою любовь. Кому, как не тебе, тайно наблюдавшему за их алтарями, слушавшему их молитвы и склонявшему Меня к тому же, известно это лучше других? У них жертва и любовь связаны воедино».

«Господи, они жертвуют из страха! Это не имеет ничего общего с любовью к Богу, так ведь? А сами их жертвы? Дети, приносимые в жертву Ваалу, и сотни иных отвратительных ритуалов по всему миру. Они делают это из страха! Зачем бы любовь потребовала жертв?»

Я зажал рот ладонями. Я был не в состоянии доказывать дальше. Меня объял ужас. Мне не удавалось вытянуть нить этого ужаса из всего удушающего полотна. Потом я заговорил, рассуждая вслух:

«Это все неправильно, Господи. Уже одно то, что Бог должен так низко пасть, будучи в человеческом обличье, само по себе неслыханно; но то, что людям будет позволено учинить над Богом такое... Но будут ли они знать, что делают, что Ты — Бог? Я думаю, это невозможно... Господи, все это произойдет в смятении и непонимании. И повлечет за собой хаос, Владыка! Мрак!»

«Естественно,— молвил Он.— Кто в здравом уме стал бы распинать Сына Божиего?»

«В таком случае, что же это означает?»

«Мемнох, это означает, что Я предам Себя людям во имя любви тех, кого сотворил. Я воплощен, Мемнох. Я воплощен уже тридцать лет».

«Умереть вот так — это неправильно, Господи. Это гнусное убийство. Отче, это чудовищная кровавая жертва, которую Ты вознамерился принести человеческой расе! И Ты еще говоришь, они запомнят Тебя за это? Запомнят лучше, чем после воскресения из мертвых, когда Божественный свет изойдет из Твоего человеческого тела, заставив Твои страдания сойти на нет?»

«Свет не изойдет из этого тела,— молвил Он.— Это тело умрет. Я познаю смерть. Я сойду в ад и останусь там на три дня с теми, кто умер, а потом вернусь в это тело и воскресну из мертвых. Да, они запомнят именно Мою смерть, ибо как смогу Я воскреснуть, не умерев?»

«Не делай ни того ни другого,— взмолился я.— Правда, умоляю Тебя. Не приноси Себя в жертву. Не окунайся в их самые

вопиющие кровавые ритуалы. Господи, Ты когда-нибудь приближался к смраду их жертвенных алтарей? Да, я просил Тебя прислушаться к их молитвам, но никоим образом не подразумевал, что Ты опустишься со своих высот, чтобы вдыхать зловоние крови и плоти мертвых животных или видеть немой страх в их глазах, когда животным перерезают глотку! Ты видел когда-нибудь младенцев, которых бросают на растерзание огненному богу Ваалу?»

«Мемнох, это путь к Богу, избранный самим человеком. По всему свету в мифах поется одна и та же песнь».

«Да, но это потому, что Ты никогда не вмешиваешься, чтобы прервать ее, Ты позволяешь этому совершаться, Ты позволяешь человечеству развиваться, и они в ужасе оглядываются назад на своих животных предков, и они видят, что смертны, и стремятся умилостивить Бога, который обрекает их на все это. Господи, они ищут смысл, но находят в этом одно бессмыслие».

Он посмотрел на меня как на сумасшедшего и какое-то время молчал.

«Ты меня разочаровываешь,— молвил Он затем тихо и кротко.— Ты ранишь Меня, Мемнох, ты ранишь Мое человеческое сердце».— Он протянул вперед руки и прикоснулся загрубевшими ладонями к моему лицу. То были руки человека, немало поработавшего в этом мире, потрудившегося, как никогда не трудился я во время своего краткого визита на землю.

Я закрыл глаза, я молчал. Но что-то на меня нашло! Откровение, прозрение, неожиданное осознание таящейся во всем этом ошибки, но как мог я аргументировать свою мысль? И мог ли я вообще говорить?

Я снова открыл глаза, не высвобождая своих рук из Его и чувствуя мозоли на Его пальцах. Я глядел в Его изможденное лицо. Как же Он голодал, как страдал в этой пустыне и как трудился все эти тридцать лет! О нет, это было несправедливо!

«Что, мой архангел, что несправедливо?» — вопрошал Он меня с бесконечным терпением и человеческой тревогой.

«Господи, они выбирают эти сопряженные со страданием ритуалы, потому что не могут избежать страдания в материальном мире. Материальный мир необходимо преодолеть! Почему должен кто-то испытывать те же страдания, что и человек? Господи, их души являются в преисподнюю изуродованными,

перекрученными от боли, черными, как пепел из горнила потерь, несчастий и насилия, кои им пришлось испытать. Страдание — вот зло в этом мире. Страдание — это смерть и разложение. Это ужасно, Господи. Ты не можешь думать, что подобные страдания для кого-то благо. Эти муки, эта невыразимая способность истекать кровью и познать боль и истребление — они должны быть преодолены в этом мире, если человек хочет приблизиться к Богу!»

Он не ответил мне, а лишь опустил руки.

«Мой ангел,— молвил Он наконец,— ты вызываешь во Мне еще большую симпатию сейчас, когда у Меня в груди бьется человеческое сердце. Как ты наивен! Как далек ты от понимания материального мироздания».

«Но ведь именно я уговорил Тебя сойти вниз! Почему ж я далек? Я — ангел-хранитель! Я вижу то, на что другие ангелы не осмеливаются даже взглянуть из страха, что разрыдаются, и это вызовет у Тебя гнев».

«Мемнох, просто-напросто ты не понимаешь, что такое плоть. Эта концепция чересчур сложна для тебя. Что, по-твоему, сделало твои души в преисподней совершенными? Разве не страдание? Да, они, возможно, являются туда исковерканными и испепеленными, если на земле на их долю достались одни страдания, и некоторые их них могут разочароваться и исчезнуть. Но ведь кто-то из них, даже будучи в преисподней, просветляется и очищается.

Мемнох, жизнь и смерть — это составляющие цикла, а страдания — его побочный продукт. И человеческая способность познать страдания никого не минует! То, что просветленные души, коих ты вывел из преисподней, познали их, то, что они научились принимать красоту мира во всех ее проявлениях, сделало их достойными пройти через небесные врата!»

«Нет, Отче, это неверно! — сказал я.— Ты понял неправильно. О, я понимаю, что произошло».

«Понимаешь? Что ты пытаешься втолковать Мне? То, что Господь Вседержитель, проведя тридцать лет в человеческом обличье, не постиг правды?»

«Именно так! Все это время Ты помнил, что являешься Богом. Ты упоминал моменты, когда Тебе казалось, что Ты сошел с ума или все позабыл, но то были мгновения! Краткие мгнове-

ния! И теперь, когда Ты замышляешь собственную смерть, Ты знаешь, *кто* Ты, и Ты этого не забудешь, верно?»

«Нет конечно. Мне надлежит быть воплощенным Сыном Божиим, чтобы выполнить Свое пастырство, исполнить Свои чудеса. Суть в этом».

«В таком случае, Господи, Ты не ведаешь, что означает быть во плоти!»

«Как смеешь ты полагать, будто это тебе известно, Мемнох?»

«Когда Ты оставил меня в этом плотском обличье, когда низверг меня к дщерям человеческим, чтобы они исцелили меня и позаботились обо мне, в те ранние времена на этой самой земле, мне не было обещано, что меня возьмут обратно на небеса. Господи, Ты ведешь нечестную игру в этом эксперименте. Ты с самого начала знал, что вернешься назад, что снова станешь Богом!»

«Но кто лучше Меня поймет, что чувствует эта плоть?!» — вопрошал Он.

«Любой смертный, висящий сейчас на кресте на Голгофе за стенами Иерусалима, поймет лучше Тебя!» — отвечал я.

Его глаза расширились при взгляде на меня. Но Он не стал бросать мне вызов. Его молчание тревожило меня. И опять меня поразила мощь выражения Его лица, сияние божества в человеке, что призывало ангела во мне просто замолчать и пасть к Его ногам. Но я не стал это делать!

«Господи, когда я сошел в преисподнюю,— молвил я,— то не знал, вернусь ли когда-нибудь на небеса. Понимаешь? Никто не давал мне обещания, что мне позволят вернуться на небеса, разве не так? Меня учили страдания и мрак, ибо я рисковал тем, что никогда не преодолею их. Разве не видишь?»

Он долго обдумывал мои слова, потом печально покачал головой:

«Мемнох, ну как ты не можешь понять! Когда же человечество ближе всего к Богу, если не в минуты страдания ради любви друг к другу, те минуты, когда один человек умирает во имя жизни другого, когда люди движутся к смерти ради защиты оставшихся позади или защиты той правды о жизни, коей научило их мироздание?»

«Но миру не нужно всего этого, Господи! Нет, нет и нет. Миру не нужны кровь, страдания, войны. Не это учит людей любви!

Людей учат теплота и привязанность друг к другу, любовь к детям, любовь в объятиях возлюбленных, способность понимать страдания других людей и желание защитить их, подняться над дикостью, образовав семью ли, клан ли, племя ли, что означает покой и безопасность для всех!»

Надолго воцарилось молчание. А потом Он лукаво рассмеялся.

«Мемнох, ангел мой. То, что ты узнал о жизни, ты узнал на ложе».

Я ответил не сразу. Его комментарий был, разумеется, пронизан презрением и иронией. Потом я заговорил:

«Это правда, Господи. Но страдания людей столь ужасны, несправедливость столь пагубна для их душевного равновесия, что все это может свести на нет усвоенные на ложе уроки, как бы великолепны они ни были!»

«О-о, но когда любовь приходит через страдание, Мемнох, она приобретает силу, которую никогда не придаст ей неискушенность».

«Зачем Ты говоришь так? Я не верю этому! Думаю, Ты не осознаешь всего. Господи, послушай меня. Есть только одна возможность доказать это, как я это понимаю. Одна возможность».

«Если ты хоть на мгновение помышляешь о том, чтобы помешать Моему пастырству и Моей жертве, если полагаешь, что сможешь повернуть вспять поток неудержимых сил, направленных на исполнение этого события, тогда ты более не ангел, а демон!» — молвил Он.

«Я не прошу об этом,— ответил я.— Доведи это дело до конца. Наставляй их, унижай их; пусть Тебя схватят, пытают и казнят на кресте, да — соверши все это. Но соверши как человек!»

«Я и собираюсь».

«Нет, Ты все время будешь помнить, что Ты — Бог. А я говорю: забудь, что Ты Бог! Сокрой Свою божественность во плоти так, как это происходит с Тобой временами. Сокрой ее, Господи, оставив Себе лишь веру в небеса, как если бы она пришла к Тебе через всеохватное и неопровержимое откровение.

И сокрой в этой пустыне правду о том, что Ты Бог. Тогда Ты выстрадаешь все, как выстрадал бы человек. И Ты познаешь саму суть этого страдания. Ты увидишь то, что видят люди, когда

рвется и раздирается плоть, когда течет кровь — Твоя собственная. Это отвратительно!»

«Мемнох, люди каждый день гибнут на Голгофе. Важно то, что Сын Божий сознательно умирает на Голгофе в человеческом облике».

«Нет, нет! — вскричал я.— Это катастрофа».

Он вдруг показался мне таким опечаленным, что я подумал, Он сейчас зарыдает из жалости ко мне. Его губы запеклись и потрескались от жары, руки были такими тонкими, что просвечивали вены. У Него был вид самого обыкновенного человека, изнуренного годами тяжелого труда.

«Посмотри на Себя,— сказал я,— голодного, испытывающего жажду, страждущего, изможденного, потерявшегося во мраке жизни, среди недобрых стихийных проявлений природы и мечтающего о триумфе после прощания с этим телом! Какого рода урок может преподнести такое страдание? И кого Ты оставишь с чувством вины за Твою гибель? Что станет со всеми теми простыми смертными, что отвергли Тебя? Нет, пожалуйста, выслушай меня, Отче. Если Ты не откажешься от своей божественности, не делай этого. Измени Свои намерения. Не умирай. И самое главное, не дай Себя убить! Не свисай с дерева подобно лесному божеству из греческих мифов. Пойдем со мной в Иерусалим, и Ты познаешь и женщин, и вино, и песни, и пляски, и рождение младенцев, и всю радость, которую может вместить и выразить человеческое сердце!

Господи, бывают моменты, когда самые суровые мужи держат на руках младенцев, своих детей,— счастье и удовлетворение в такие минуты настолько велико, что нет на свете такого ужаса, что мог бы нарушить испытываемый ими покой! В этом состоит способность человека любить и понимать! Когда человек может достичь гармонии, невзирая ни на что, и мужчины и женщины способны на это, Господи. Пойдем, потанцуем с Твоим народом. Споем с ними. Попируем. Заключи в Свои объятия женщин и мужчин и познай их во плоти!»

«Мне жаль тебя, Мемнох,— молвил Он.— Мне жаль тебя, как жаль смертных, что убьют Меня и затем неправильно истолкуют Мои законы. Но Я думаю о тех, кто до глубины души будет тронут Моими страданиями, кто никогда их не забудет и поймет, какую любовь испытываю Я к смертным — любовь, во имя

которой Я позволю Себе умереть среди них еще до открытия врат преисподней. Мне жаль тебя. Тебе, с твоими чувствованиями, будет слишком тяжело нести бремя своей вины».

«Моей вины? Какой вины?»

«Ты — причина всего этого, Мемнох. Именно ты сказал, что Я должен сойти вниз во плоти. Именно ты подталкивал Меня к этому, именно ты бросил Мне вызов, а теперь не в состоянии узреть чудо Моей жертвы.

И когда ты узришь это, когда и вправду узришь, как преображенные страданием души возносятся на небеса, что тогда ты подумаешь о своих ничтожных маленьких открытиях, сделанных в объятиях дщерей человеческих? Что ты станешь думать? Разве не понимаешь? Я искуплю страдание, Мемнох! Я придам ему огромнейшую и всеобъемлющую значимость внутри жизненного цикла! Я доведу его до предела. Я позволю спеть ему его величальную песнь!»

«Нет, нет, нет! — Поднявшись на ноги, я принялся Его уговаривать.— Господи, сделай лишь то, о чем я прошу. Доведи это до конца — да, если должен, построй это чудо на убийстве, сделай так, если таково Твое желание. Но сокрой Свою божественную сущность, с тем чтобы умереть — умереть взаправду, Господи, и чтобы когда они будут загонять гвозди в Твои ладони и ступни, Ты познал, что чувствует человек, и не более того. И тогда, когда Ты вступишь во мрак преисподней, Твоя душа будет человеческой! Пожалуйста, Господи, ну пожалуйста, умоляю Тебя. Во имя всего человечества, умоляю Тебя. Я не умею предсказывать будущее, но никогда оно меня не страшило более, чем теперь».

Мемнох умолк.

Мы стояли одни в песках: Мемнох, смотрящий вдаль, и я, потрясенный, подле него.

— Он ведь не сделал этого, верно? — спросил я.— Мемнох, Бог умер, зная, что Он — Бог. Он умер и воскрес, помня об этом все время. Мир спорит об этом, и судит, и дивится, но Он знал. Когда в Него загоняли гвозди, Он знал, что суть Бог.

— Да,— сказал Мемнох.— Он был человеком, но этот человек ни на секунду не оставался без Божественной силы.

Неожиданно меня что-то отвлекло.

Мемнох был слишком потрясен, чтобы произнести еще какие-то слова.

В окружающем пейзаже что-то изменилось. Я посмотрел в сторону груды камней и осознал, что там сидит фигура — фигура темноглазого человека с загорелой кожей, изнуренного и покрытого песком пустыни; человек этот смотрел на нас. И хотя ни единая частица его плоти не отличалась от человеческой, он явно был Богом.

Я оцепенел.

Еще раньше я потерял все ориентиры. Я не знал пути назад или вперед или того, что лежит слева и справа.

Я оцепенел, но все же не был напуган, а этот человек, этот темноглазый мужчина просто смотрел на нас с ласковым участием на лице и тем же безграничным всепрощением, которое я видел на небесах, когда *Он* повернулся и взял меня за руки.

Сын Божий.

— Подойди сюда, Лестат,— тихо позвал Он теперь человеческим голосом, заглушая ветер пустыни.— Подойди ближе.

Я взглянул на Мемноха. Мемнох тоже смотрел на Него и вдруг улыбнулся горько:

— Лестат, всегда следует независимо от того, как Он себя ведет, делать в точности то, что Он велит.

Богохульство. Я с дрожью повернулся.

Я пошел к фигуре, ощущая каждый свой шаг по раскаленному песку, и очертания тонкой темной фигуры сделались более отчетливыми — то был изможденный, страждущий человек. Я опустился перед Ним на колени, подняв глаза к Его лицу.

— Господь Живущий,— прошептал я.

— Я хочу, чтобы ты вошел в Иерусалим,— молвил Он. Протянув руку, Он отвел назад мои волосы. Рука была такой, как описал Мемнох: сухой, мозолистой, темной от солнца, как и Его чело. Но голос вибрировал где-то между естественным и божественным, он звучал на тембр выше ангельского. Это был голос, говоривший со мной на небесах, только сведенный к человеческим звукам.

Я не мог отвечать. Я был не в состоянии что-либо делать. Я знал, что ничего не сделаю, пока мне не велят. Мемнох стоял в отдалении со сложенными на груди руками и наблюдал. Я, один, преклонил колени, заглядывая в глаза Бога Воплощенного.

— Приди в Иерусалим,— молвил Он.— Это не займет у тебя много времени, каких-то несколько мгновений, не более. Приди в Иерусалим с Мемнохом в день Моей смерти и взгляни на Мои страдания — узри Меня, увенчанного терновым венцом и несущего Свой крест. Сделай это для Меня, прежде чем ты примешь решение, кому будешь служить — Мемноху или Господу Богу.

Каждая частичка моего тела знала, что я не могу это сделать. Я не мог это вынести! Я не мог смотреть на это. Не мог. Я был парализован. Непослушание, богохульство — не в том было дело. Я не мог вынести саму мысль об этом! Я уставился на Него, Его обожженное солнцем лицо, Его кроткие, любящие глаза, на песчинки, прилепившиеся к щеке. Его темные волосы, в беспорядке разметанные ветром, были откинуты с лица.

Нет! Я не могу это сделать! Не могу вынести!

— Нет, можешь,— ободряюще произнес Он.— Лестат, храбрый Мой вестник смерти для столь многих! Неужели ты и вправду вернешься на землю, не взглянув хотя бы мельком на то, что Я предлагаю? Неужели ты действительно откажешься от возможности взглянуть на Меня в терновом венце? Ты разве когда-нибудь упускал возможность узнать что-то новое? Подумай, что Я сейчас тебе говорю. Нет, ты не отступишься от этого, даже если Мемнох будет уговаривать тебя.

Я понимал, что Он прав. Да, я знал, что не вынесу этого. Я не мог войти в Иерусалим и увидеть настоящего Христа, несущего Свой крест. Не мог. Не мог. У меня недоставало силы — я молчал. Рой мыслей во мне принуждал меня словесно выразить смущение и затянувшееся оцепенение.

— Могу я взглянуть на это? — сказал я. И закрыл глаза. Затем открыл их и снова взглянул на Него и Мемноха, который уже подошел ближе и с холодным выражением лица пристально смотрел на меня сверху вниз.

— Мемнох,— молвил Бог Воплощенный.— Возьми его с собой, покажи дорогу, пусть он лишь мельком взглянет на все. Стань его провожатым, а потом продолжай свою миссию по отбору и обращению душ.

Он взглянул на меня и улыбнулся. Человек с темными кругами вокруг глаз, с расшатанными зубами. Человек.

— Помни, Лестат,— обратился ко мне Господь.— Это всего лишь мир. А ты знаешь мир. Преисподняя ждет. Ты видел мир и небеса, но не видел ада.

18

Мы находились в городе, городе из темно-коричневого и бледно-желтого камня и глины. Прошло три года. Предсказанное сбылось. Все, что я помню, это то, что мы оказались в огромной толпе людей, одетых в плащи, накидки, лохмотья, и что я ощущал запах человеческого пота, и теплоту затхлого дыхания, и непреодолимый смрад от человеческих испражнений и верблюжьего навоза. И что, хотя никто нас не замечал, я чувствовал давление вокруг, чувствовал, как немытые мужчины напирают на меня, размахивают передо мной руками, и песок носился в воздухе здесь, в стенах города, на этих узких улочках, точно так же как в воздухе пустыни.

Люди стояли в невысоких арках дверных проемов, высовывались из окон сверху. Копоть смешивалась с докучливым песком. Женщины с наброшенными на лица накидками льнули друг к другу, проталкиваясь мимо нас. Над головой послышались крики и визг. Вдруг до меня дошло, что толпа плотно сомкнулась вокруг и я не мог даже пошевелиться. Я в отчаянии стал искать глазами Мемноха.

Он оказался подле меня, спокойно наблюдая за всем. Ни один из нас не излучал какого-либо сверхъестественного сияния среди этих бесцветных и чумазых существ, обыкновенных людей того раннего и сурового времени.

— Я не хочу делать это! — упорствовал я, уносимый толпой и пытающийся сопротивляться.— Не думаю, что смогу это вынести! Не могу смотреть, Мемнох, нет — не требуй этого от меня. Нет... Не хочу идти дальше. Мемнох, отпусти меня!

— Успокойся,— непреклонно произнес он.— Мы почти пришли на место, где Он будет проходить.

Обхватив меня левой рукой, как бы ограждая от людей, он раздвигал толпу перед нами, казалось, без всяких усилий, пока мы не вышли в первые ряды ожидающих у широкой дороги, по которой двигалась процессия. Крики оглушали. Мимо нас проходили римские солдаты. Одежда их была в песке; лица усталые,

скучные, даже мрачные. Через дорогу, по ту сторону процессии, вскинула руки и запричитала красивая женщина, волосы которой были прикрыты длинной белой накидкой.

Она смотрела на Сына Божиего. Он показался в поле зрения. Сначала я увидел большую поперечину распятия поверх Его плеч, выпирающую с двух сторон, а потом привязанные к балке веревками Его кисти, уже сочащиеся кровью. Голова Его была склонена; каштановые волосы спутаны и испачканы, а сверху прикрыты грубым черным венцом из терна с шипами. Зрители прижались к стенам по обе стороны от Него; некоторые глумились над Ним, иные молчали.

Ему едва доставало места, чтобы пройти с Его ношей; в разорванной одежде, с кровоточащими коленями, в синяках, Он все же шел. От ближайших стен неодолимо несло смрадом мочи.

Он еле тащился в нашу сторону, опустив лицо вниз, потом упал, ударившись коленом о камни мостовой. Позади Него я увидел прочих, несущих длинный столб от креста, который будет вкопан в землю.

Идущие рядом солдаты сразу же подняли Его и укрепили поперечину у Него на плечах. Мы увидели Его лицо, не далее чем в трех футах от того места, где мы стояли, и Он взглянул на нас обоих. Обожженный солнцем, с впалыми щеками, с приоткрытым дрожащим ртом, уставив на нас широко открытые глаза, Он смотрел без выражения, без призыва. Кровь сочилась из-под черных шипов, вонзившихся в Его лоб; она стекала тоненькими струйками по Его векам и щекам. Грудь Его была обнажена под лохмотьями надетой на Него дряхлой мантии и покрыта свежими красными рубцами от плети!

— Господь мой! — Я опять лишился всякой силы воли; Мемнох поддерживал меня, пока мы оба вглядывались в лицо Господа. А толпа, толпа продолжала вопить и посылать проклятия, кричать и толкаться; малые дети вытягивали шеи, чтобы увидеть, женщины причитали. Иные смеялись; огромная ужасающая зловонная масса народа под безжалостным солнцем, опаляющим пространство между ближайшими, запятнанными мочой стенами!

Он подходил все ближе! Узнал ли Он нас? Он содрогнулся в агонии, кровь стекала по Его лицу на дрожащие губы. Он перевел дух, словно от удушья, и я увидел, что мантия на Его плечах

под грубым деревом балки, пропитана кровью от бичевания. Он не мог бы терпеть и минуты, но все же Его подталкивали, и Он встал прямо перед нами, с мокрым от пота и крови лицом, а потом Он медленно повернулся и посмотрел на меня.

Я рыдал, не в силах сдержаться. Чему же я стал свидетелем? Немыслимое зверство в любое время и в любом месте, но легенды и молитвы моего детства наполнились уродливой живостью; я почувствовал запах крови. Я Его чуял. Вампир во мне учуял Его. Слыша собственные рыдания, я простер к Нему руки.

— Господь мой!

Во всем мире воцарилась тишина. Люди кричали и толкались, но не в том измерении, где стояли мы. Он стоял там, вперив очи в меня и Мемнoха, покинув это время и владея моментом во всей полноте, с его агонией, пока глядел на нас обоих.

— Лестат,— молвил Он таким слабым, надтреснутым голосом, что я едва услыхал Его.— Ты ведь хочешь попробовать, верно?

— Господи, о чем Ты говоришь? — вскричал я, с трудом владея словами из-за нахлынувших слез.

— Кровь. Попробуй ее. Вкуси кровь Христа.— И лицо Его озарилось страшной мученической улыбкой, это была почти гримаса. Тело Его содрогалось под непомерной тяжестью балки, и кровь продолжала течь тонкой струйкой, словно при каждом вздохе шипы глубже вонзались в Его лицо, и полосы на Его груди начали вздуваться и превращаться в сочащиеся кровью рубцы.

— Нет, Господь мой! — закричал я, протягивая к Нему руки и прикасаясь к Его слабым рукам, привязанным к огромной поперечине, Его истерзанным слабым рукам под разорванными рукавами, и передо мной горела Его кровь.

— Господня Кровь, Лестат,— прошептал Он.— Подумай обо всей человеческой крови, омывавшей твои уста. Разве Моя кровь не стоит многого? Ты что — боишься?

С рыданиями охватил я Его шею ладонями, а костяшки моих пальцев уперлись в поперечину; и я поцеловал Его в горло, а потом мой рот открылся помимо моей воли и зубы вонзились в Его плоть. Я услыхал Его стон; протяжный, отдающийся эхом стон, казалось, уходил ввысь и заполнял мир своими звуками, и кровь полилась ко мне в рот.

Крест, гвозди, забиваемые в Его запястья, Его тело, повернутое и изогнутое, словно в последние мгновения Он попытался вырваться, и голова Его упала на поперечину, так что шипы вонзились в Его череп, а потом забиваемые в ступни гвозди и Его закатившиеся глаза, непрекращающийся стук молотка и вслед за этим — свет, необъятный ширящийся свет, подобный тому, что поднимался когда-то над окоемом небес, заполняющий весь мир и стирающий даже этот теплый, весомый, сладкий избыток крови, который влился в меня. Свет, самый свет и пребывание в нем, *в Его образе*! Свет померк — быстро, беззвучно, оставляя за собой длинный туннель или тропу, и я знал, что тропа эта ведет прямо от земли к свету.

Боль! Свет исчезал. Отделение было невыразимым! Все мое тело испытало сильный удар.

Я был отброшен назад в толпу. Песок залеплял глаза. Вокруг меня слышались вопли. У меня на языке осталась кровь. Она стекала с моих губ. Время спрессовалось вместе с удушающей жарой. И Он стоял перед нами, глядя на нас в упор, и из глаз Его текли слезы сквозь пелену крови, уже покрывавшую Его целиком.

— Господь мой, Господь мой, Господь мой! — кричал я, глотая остатки крови; я рыдал.

На той стороне дороги ярким пятном промелькнула женщина. Вдруг голос ее возвысился над гомоном и руганью, над жуткой какофонией голосов грубых и бесчувственных человеческих существ, сражающихся за право быть свидетелями.

— Господь мой! — пронзительно вскрикнула она голосом, напоминающим звук трубы. Она встала у Него на пути.

Она стояла перед Ним и, стащив с головы тонкий белый платок, поднесла его обеими руками к Его лицу.

— Господь Бог мой, я Вероника,— вскричала она.— Ты помнишь Веронику? Двенадцать лет страдала я от кровотечения и когда прикоснулась к краю Твоей одежды, то исцелилась.

— Нечистая, грязная! — послышались крики.

— Преступница, богохульница!

— Сын Божий, осмелься!

— Нечистая, нечистая, нечистая!

Крики становились все неистовей. Люди протягивали к ней руки, но, похоже, брезговали прикоснуться к ней. Камни и мел-

кая галька падали дождем близ нее. Солдаты были в нерешительности, тщетно пытаясь сдержать толпу.

Но Бог Воплощенный, плечи которого согнулись под балкой, лишь взглянул на нее и произнес:

— Да, Вероника, осторожно, твой Плат, милая, твой Плат.

Она накинула белую ткань, чистую и тонкую, на Его лицо, чтобы стереть кровь и пот, чтобы успокоить, утешить. Его профиль на мгновение ясно показался под этой белизной, а потом, когда она собиралась осторожно промокнуть Его лицо, солдаты оттащили ее назад, и она замерла, подняв Плат над головой, чтобы всем было видно.

Его лик отпечатался на нем!

— Мемнох! — воскликнул я.— Посмотри на Плат!

Лик отпечатался на ткани с безупречностью и совершенством, какого не достиг бы ни один художник, словно на Плате был воспроизведен точный отпечаток черт Христа с помощью современной фотокамеры, только отпечаток еще более живой, будто тонкая пленка плоти стала плотью на этой картинке, а кровь стала кровью, глаза оставили на ткани свои точные копии, и губы также оставили на ней свой отпечаток.

Все находящиеся поблизости видели это сходство. Люди проталкивались мимо нас, чтобы увидеть это. Крики усиливались.

Рука Христа освободилась от веревки, которой была привязана к поперечине, протянулась и взяла у женщины Плат, а та упала на колени в слезах, прижимая ладони к лицу. Изумленные и смущенные солдаты расталкивали толпу локтями, огрызаясь на тех, кто напирал.

Христос обернулся и вручил Плат мне.

— Возьми его и сохрани! Спрячь, забери с собой! — прошептал Он.

Я схватил ткань, в ужасе, что могу повредить или запачкать изображение. К Плату протянулись руки. Я крепко прижал его к груди.

— У него Плат,— выкрикнул кто-то. Меня оттеснили назад.

— Отдай Плат! — Чья-то рука пыталась вырвать его у меня.

Те, кто рванулся вперед, были внезапно остановлены теми, кто подошел сзади, чтобы посмотреть на спектакль, и невольно оттеснили нас в сторону. Нас отнесло назад, как на волне, и мы, спотыкаясь, пробирались между грязными, оборванными людьми, сквозь шум, крики и брань.

Процессия совершенно скрылась из виду; издалека раздавались крики о Плате.

Я плотно свернул его, повернулся и побежал.

Я не знал, где находится Мемнох; я не знал, куда направляюсь. Я бежал вниз по одной узкой улочке, потом по другой, третьей; мимо меня непрерывным потоком шли к месту казни равнодушные ко мне люди или просто горожане спешили по привычным для них маршрутам.

В груди жгло от бега, израненные ноги были в синяках; я вновь попробовал Его крови и узрел свет в ослепительной вспышке. Ослепленный, я засунул Плат под плащ. Никто не доберется до него. Никто.

С моих губ слетел жуткий вопль. Я посмотрел вверх. Небо стало другим; голубое небо над Иерусалимом, наполненный песком воздух переменились; меня милосердно окружил вихрь, и кровь Христова проникла в мою грудь и мое сердце, отчего сердце мое сделалось летучим и легким, свет заполнил глаза, и обе мои ладони крепко сжали свернутый Плат.

Вихрь нес меня в тишине и безмолвии. Напрягая всю свою волю, я заставил себя взглянуть вниз, просунуть руку под одеяние, которое стало вдруг пиджаком и рубашкой — костюмом, что я носил в заснеженном Нью-Йорке,— и между жилетом и рубашкой я чувствовал свернутый Плат! Казалось, ветер вот-вот сорвет с меня одежду! И сорвет у меня с головы волосы. Но я крепко прижимал к себе свернутую тряпицу, что надежно пряталась у моего сердца.

От земли поднимался дым. Снова крики и визг. Не были ли они ужаснее криков, сопровождавших Христа по пути на Голгофу?

Я тяжело, со всего размаха ударился о стену и пол. Мимо проносились лошади, едва не задевая копытами мою голову и высекая из камней искры. Передо мной лежала истекающая кровью, умирающая женщина, видимо со сломанной шеей; из ее носа и ушей текла кровь. Во все стороны разбегались люди. И снова запах экскрементов мешался с запахом крови.

Это был побежденный город, отданный на растерзание победителям; вопли эхом отдавались под высокими сводами; пламя подступало так близко, что опаляло мои волосы.

— Плат, Плат! — молвил я, нащупав его, надежно спрятанный между жилетом и рубашкой. Ко мне приблизилась ступня

солдата, сильно ударив меня по лицу сбоку. Я распластался на камнях.

Подняв глаза, я обнаружил, что нахожусь вовсе не на улице. Я лежал под куполом огромного храма с рядами колонн и арок. Повсюду вокруг меня на фоне сверкающих золотых мозаик лилась кровь. Людей давили копытами лошадей. Прямо надо мной о стену разбили тельце ребенка — череп его раскололся и маленькие конечности обвисли, как у тряпичной куклы. Всадники рубили с плеча палашами спасающихся бегством людей, кромсая плечи, руки и головы. Неистовствовали языки пламени, отчего было светло как днем. Мужчины и женщины бежали через порталы храма. Воины преследовали их. Камни и земля пропитались кровью. Кровью пропитался весь мир.

Повсюду вокруг и высоко наверху плавились золотые мозаики, и лики святых застыли от ужаса, наблюдая за этой кровавой бойней. Пламя поднималось все выше. Горели книги! Под ногами валялись груды разбитых в щепы икон и куски скульптур, тлеющих, закопченных, пожираемых пламенем, поблескивающих позолотой.

— Где мы? — прокричал я.

Голос Мемноха раздался совсем рядом со мной. Спокойный, он сидел, прислонившись к каменной стене.

— Айя-София, друг мой,— ответил он.— Ничего особенного, право. Всего-навсего Четвертый крестовый поход.

Я протянул ему левую руку, не желая отпускать Плат, который держал правой.

— То, что ты видишь,— это христиане-католики, истребляющие христиан греческой веры. Вот и вся история. Египет и Святая земля на какое-время позабыты. Венецианцам было дано три дня на разграбление города. Это было политическое решение. Разумеется, все они пришли сюда, чтобы отвоевать Святую землю, где мы с тобой недавно побывали, но битва не состоялась, поэтому власти дали волю войскам, впустив их в город. Христиане режут христиан. Католики против христиан греческой веры. Хочешь пройтись по городу? Желаешь взглянуть еще? Миллионы книг утеряны навсегда. Рукописи на греческом, сирийском, коптском, латинском. Божьи книги и людские книги. Хочешь прогуляться по монастырям, где христианских монахинь вытаскивают из келий их собратья по христианской вере

и безжалостно насилуют? Константинополь подвергается разграблению. Ничего особенного, поверь мне, пустяк.

Я лежал на земле и рыдал, пытаясь закрыть глаза и не видеть, но был не в состоянии не видеть — вздрагивая от звона лошадиных копыт, столь опасно близких, задыхаясь от запаха крови убитого младенца, тяжело и безжизненно навалившегося мне на ногу, словно какое-то мокрое морское существо. Я плакал и плакал. Рядом со мной лежало тело мужчины с наполовину отделенной от шеи головой; на камни натекла лужа крови. О тело споткнулся другой человек, с вывихнутым коленом, окровавленной рукой попытался ухватиться за что-нибудь, чтобы не упасть, и, найдя лишь розовое голое тельце ребенка, отбросил его в сторону. Маленькая головка младенца была размозжена окончательно.

— Плат,— прошептал я.

— О да, бесценный Плат,— сказал он.— Не желаешь ли сменить обстановку? Можем отправиться дальше. Например, в Мадрид и испробовать аутодафе. Ты знаешь, что это такое? Это когда мучают и сжигают заживо евреев, не желающих обращаться в христианство. А можем вновь вернуться во Францию и посмотреть на катар, вырезаемых в Лангедоке. Ты, наверное, слышал эти легенды, когда был подростком. С ересью было покончено, со всей ересью. Весьма успешная миссия со стороны отцов-доминиканцев, которые позже, естественно, примутся за ведьм. Выбор у нас большой. Предположим, мы отправимся в Германию и увидим мученичество анабаптистов. Или в Англию, чтобы понаблюдать, как королева Мария сжигает тех, кто выступал против Папы в годы правления ее отца Генриха. Я расскажу тебе о необычной сцене, которую частенько наблюдал. Страсбург, 1349 год. Две тысячи евреев были сожжены там в феврале этого года по обвинению в распространении «черной смерти». Подобные вещи будут происходить по всей Европе...

— Я знаю историю,— рыдал я, пытаясь перевести дух.— Знаю!

— Да, но когда видишь сам, это совсем другое дело, не так ли? Как я уже говорил, это все пустяки. То, ради чего это затевалось,— разделить навсегда греческую и латинскую церкви.

И по мере ослабления Константинополя приверженцы Корана, мусульмане, повалят толпой мимо разрушенных оборо-

нительных сооружений в Европу. Желаешь посмотреть на одну из этих битв? Можем отправиться прямо в двадцатое столетие, если хочешь. Можем отправиться в Боснию и Герцеговину, где сейчас сражаются мусульмане с христианами. Эти страны, Босния и Герцеговина, сейчас на устах людей, шагающих по улицам Нью-Йорка.

А пока мы обсуждаем народы библейских стран — мусульман, иудеев, христиан,— почему бы нам не отправиться в южный Ирак и не послушать причитания голодающих курдов, чьи болота осушены и население истребляется? Если пожелаешь, мы можем просто ограничить зону обзора разграблением святых мест — мечетей, соборов, церквей. Можно воспользоваться этим методом, чтобы пропутешествовать вплоть до сегодняшнего времени.

Обрати внимание: ни одно из сделанных мной предложений не затрагивает людей, не верящих в Бога или Христа. Люди, чтящие Библию,— вот о ком мы говорим; Библию, идущую от единого Бога и непрерывно изменяющуюся и усовершенствующуюся.

А сегодня, днем и ночью, сгорают в пламени бесценные документы. Это развертывание мироздания, это эволюция; это, несомненно, освященное страдание каких-то людей, ибо все те люди, которых ты здесь видишь, поклоняются одному и тому же Богу.

Я ничего не ответил.

Его голос, к счастью, прервался, но битва — нет. Раздался взрыв. Пламя с ревом взметнулось так высоко, что я разглядел лики святых под самым куполом. На одно мгновение вокруг меня осветилась вся величественная базилика — ее огромный овал, ряды колонн, большие полуарки, поддерживающие купол. Свет померк, опять раздался взрыв, и с новой силой зазвучали крики.

Тогда я закрыл глаза и лежал без движения, не замечая толчков и тяжести подошв людей, ступающих по моей спине. У меня был Плат, и я лежал тихо, стараясь не привлекать внимания.

— Может ли ад быть хуже этого? — спросил я. Голос мой прозвучал слабо, и я не думал, что он услышит меня за шумом сражения.

— Право, не знаю,— ответил он тем же спокойным голосом, словно то, что нас связывало, без усилий передавало слова от одного к другому.

— Это что, и есть преисподняя? — спросил я.— И души могут отсюда выбраться?

Он ответил не сразу.

— Ты полагаешь, я стал бы вести с Ним войну на моих условиях, если бы души не могли выбраться? — спросил он, словно сама мысль о вечном пребывании здесь оскорбила его.

— Забери меня отсюда, пожалуйста,— прошептал я. Моя щека покоилась на каменном полу. Вонь от лошадиного навоза смешивалась с запахом мочи и крови. Но вопли были хуже всего. Вопли и непрекращающийся звон металла! — Мемнох, забери меня отсюда! Расскажи мне, в чем суть вашего с Ним поединка! Расскажи о правилах!

Я попытался сесть, подтянул к себе ноги, вытирая глаза левой рукой, а правой по-прежнему сжимая Плат. Я стал задыхаться от дыма. Глаза сильно жгло.

— Скажи мне, что ты имел в виду, когда сказал, что я тебе нужен, что ты выигрываешь битву? Что это за битва между тобой и Им? Чего ты хочешь от меня? Как ты оказался Его противником? Что, именем Бога, должен делать я?

Я поднял глаза. Он сидел, расслабившись, нога на ногу, руки сложены на груди, с ясным лицом в момент вспышки пламени и бледным, когда оно угасало. Весь перепачканный, он казался слабым и смотрелся довольно странно — был жалким и спокойным одновременно. Выражение его лица не было ни горьким, ни саркастическим, а лишь задумчивым — с застывшей гримасой, совсем как те лики на мозаиках — безжизненные свидетели тех же самых событий.

— Итак, мы прошли через многие войны. Мы видели так много смертоубийств. Мы вытерпели массу мучений,— молвил он.— Теперь у тебя нет недостатка в воображении, Лестат.

— Дай мне отдохнуть, Мемнох. Ответь на мои вопросы. Я не ангел, а лишь чудовище. Пожалуйста, пойдем.

— Хорошо,— сказал он.— Сейчас отправимся. Ты, в сущности, проявил храбрость, как я и предполагал. Твои слезы обильны и идут от сердца.

Я не ответил. Грудь моя вздымалась. Я продолжал сжимать Плат. Левую руку я приложил к уху. Как я смогу двигаться? Ожидал ли я, что он унесет меня в вихре? Будут ли мои члены подчиняться приказам воли?

— Отправляемся, Лестат,— вновь произнес он. Я услышал, как поднимается ветер. Это был вихрь, и стены уже отдалились от нас. Я прижал рукой Плат. И услышал голос около уха:

— А теперь отдохни.

Во мраке вокруг нас кружились души. Я чувствовал, как моя голова прислоняется к его плечу, а ветер разметывает волосы. Я закрыл глаза и увидел, как Сын Божий вступает в огромное, темное, сумрачное пространство. Его маленькая отдаленная фигура излучала свет по всем направлениям, освещая сотни борющихся человеческих форм, душ, привидений.

— Преисподняя,— порывался я сказать. Но мы были внутри вихря, и мне привиделся лишь образ на фоне черноты моих сомкнутых глаз. И снова свет сделался ярче, лучи слились в одно огромное сияние, словно я оказался внутри его. Послышались песнопения, все громче и яснее, заглушая стенания душ вокруг нас, пока эти звуки не смешались и не сделались самой сутью видения и природой вихря. И они стали единым целым.

19

Я неподвижно лежал где-то в открытом месте, на каменистой почве. У меня был с собой Плат. Я ощущал его массу, но не осмеливался просунуть руку за пазуху и вытащить его, чтобы осмотреть.

Я увидел Мемноха, стоящего немного поодаль, в полном торжественном облачении, с высоко поднятыми и сведенными за спиной крыльями. И я увидел Бога Воплощенного, воскресшего, со все еще алеющими ранами на лодыжках и запястьях. Но Его уже искупали и омыли, и тело Его было такое же, как у Мемноха, то есть размерами больше человеческого. Его одежды были белыми и свежими, а темные волосы по-прежнему сильно окрашены запекшейся кровью, но красиво причесаны. Казалось, через покров эпидермиса на Его теле света исходит больше, чем до распятия; Он излучал такое мощное сияние, по сравнению с которым сияние Мемноха воспринималось много тусклее. Но

эти двое не соперничали друг с другом и были, по сути, одинаково лучезарны.

Я лежал, где лежал, глядя вверх и слушая их спор. И только уголком глаза — еще до того, как их голоса сделались для меня различимы,— увидел я, что это поле брани, усеянное телами убитых. То не было время Четвертого крестового похода. Не было нужды говорить мне об этом. То была более ранняя эпоха; одежду и доспехи на мертвых воинах я отнес бы, когда бы меня спросили, к третьему веку, хотя я не был совсем уверен. То были ранние, стародавние времена.

Мертвые смердели. Воздух кишел пирующими насекомыми и ленивыми, разъевшимися стервятниками, прилетевшими разорвать мерзкую, разбухшую плоть. Вдалеке раздавалось рычание дерущихся волков.

— Да, понимаю! — сердито произнес Мемнох. Он говорил на языке, который не был ни английским, ни французским, но я прекрасно его понимал.— Врата небесные открыты для всех, кто умирает с пониманием и приятием гармонии мироздания и благодати Господней! А что же остальные? Как насчет миллионов прочих?

— И снова Я спрашиваю тебя,— молвил Сын Божий,— какая Мне забота до прочих? Тех, кто умирает без понимания и приятия Бога. Что они для Меня?

— Созданные Тобой дети, вот кто они! Так же стремящиеся к небесам, только силящиеся отыскать путь! И число потерянных превосходит на миллиарды тех немногих, что обладают мудростью, водительством, проницательностью, даром. И Ты это знаешь! Как же можешь Ты позволить столь многим раствориться среди теней преисподней, или распасться на составные части, или остаться на земле, превратившись в злых духов? Разве Ты пришел не для того, чтобы спасти их всех?

— Я пришел спасти тех, кого можно спасти! — отвечал Он.— И снова повторю тебе, что это цикл, это естественно, и на каждую душу, беспрепятственно входящую в небесный свет, приходятся тысячи душ погибших. Вот чего стоит понять, принять, познать, узреть красоту.

— Помоги потерянным душам! Помоги им. Не оставляй их в этом вихре, не оставляй в преисподней на тысячелетия борь-

бы за понимание того, что они еще могут познать на земле! Ты все испортил, вот что Ты сделал!

— Как ты смеешь!

— Ты все испортил! Посмотри на это поле брани — Твой крест появился в небе еще до этой битвы, а теперь Твой крест становится символом империи! Со времени смерти свидетелей, видевших Твое воскресшее тело, лишь горстка мертвых приобщилась к свету, а сонмы их погибли в распрях, битвах, от непонимания и теперь мучаются во мраке!

— Мой свет для тех, кто захочет принять его.

— Это не слишком справедливо!

Бог Воплощенный сильно ударил Мемноха по лицу. Мемнох отшатнулся назад, рефлекторно расправив крылья, словно собираясь взлететь, но потом снова сложил их. В воздухе закружилось несколько белых перышек. Мемнох поднес руку к отпечатку Божьей ладони, горевшему на его щеке. Мне хорошо был виден этот отпечаток ладони, кроваво-красный, словно раны на лодыжках и запястьях Христа.

— Прекрасно,— молвил Бог Воплощенный.— Раз уж ты больше беспокоишься о тех потерянных душах, нежели о своем Боге, пусть твоим жребием станет их собирание! Пусть преисподняя станет твоим царством! Собирай их там миллионами и наставляй для света. Я говорю: пусть ни одна из них не растворится и не распадется вне твоей власти и не вернется к бытию. Я говорю: пусть ни одна не погибнет, а за всех будешь отвечать ты — они твои ученики, последователи, слуги.

И так до того дня, пока преисподняя не опустеет! И до того дня, пока все души не попадут к небесным вратам, ты — Мой враг, ты — Мой дьявол, ты осужден посвятить не менее трети своего существования земле, столь тобой любимой, и не менее трети — преисподней, или аду, не важно, как ты называешь свое царство. И только лишь время от времени сможешь ты подниматься на небеса по Моему соизволению, позаботившись о том, чтобы при этом быть в ангельском обличье!

На земле пусть тебя видят в обличье демона! Звериный бог, бог танца, возлияний, пирушек, плоти, — всего того, что ты так любишь и ради чего посмел бросить вызов Мне. Пусть они видят тебя в таком обличье, и пусть твои крылья станут цвета сажи и пепла, а ноги твои уподобятся козлиным, словно ты — сам Пан! Или всего лишь мужчина. Оказываю тебе эту милость — ты можешь быть среди них человеком, раз уж считаешь, что быть человеком — такое стоящее дело. Но быть ангелом среди них — нет! Никогда!

Ты не будешь пользоваться своим ангельским обличьем, чтобы смущать их или сбивать с пути, ослеплять или унижать их. Ты и твои соратники делали много такого. Но вот что: когда будешь проходить через Мои врата, ты должен быть одет подобающим образом — белоснежные крылья и такие же одежды. Не забудь в Моем царстве быть самим собой!

— Я смогу это сделать! — сказал Мемнох.— Я смогу научить их; я смогу их направлять. Позволь мне управлять адом, раз уж я вызвался управлять им, и я смогу перевоспитать их для небес; я смогу исправить все то, что сделал с ними на земле Твой естественный цикл.

— Вот и прекрасно! Мне очень хочется посмотреть, как это у тебя получится! — молвил Сын Божий.— Посылай Мне побольше душ, прошедших у тебя очищение. Дерзай. Приумножай Мою славу. Приумножай ряды детей Божьих. Небеса безграничны и приветствуют твои усилия.

Но ты не вернешься домой до тех пор, пока задание не будет выполнено, пока путь от земли до небес не заполнится всеми умершими или пока сам мир не погибнет — пока процесс эволюции не распространится до момента, когда преисподняя по той или иной причине не опустеет; и помни Мои слова, Мемнох, это время может никогда не наступить! Я не предрекал никакого конца разворачиванию вселенной! Итак, тебе обеспечен долгий срок пребывания среди проклятых.

— А на земле? Каковы мои полномочия на земле? Козлиному богу ли, человеку ли — что мне делать?

— То, что должен! Предупреди людей. Подготовь людей, чтобы они шли ко Мне, а не в преисподнюю.

— А могу я делать это по-своему? Рассказывая им, какой Ты беспощадный Бог, и что убивать Твоим именем — это зло, и что страдание чаще коверкает и навлекает проклятие на жертвы, чем спасает их? Можно поведать им правду? Что, если они пожелают прийти к Тебе и забудут Твою религию, Твои святые войны, Твое великое мученичество? Они захотят познать, о чем рассказывает тайна плоти, любовный экстаз. Даешь ли Ты мне

свое позволение? Даешь ли Ты свое позволение говорить им правду?

— Говори им что угодно! И в каждом случае, когда ты будешь отвращать их от Моих церквей, Моих откровений, притом что их могут неверно понять,— в каждом случае, когда ты будешь отвращать их, ты рискуешь заполучить еще одного ученика в твою адскую школу, еще одну душу, нуждающуюся в реформации. Твой ад будет переполнен!

— Не благодаря моим деяниям, Господи,— сказал Мемнох,— ад будет переполнен, но благодаря Тебе!

— И ты еще смеешь!

— Пусть мир разворачивается, Господь Мой, как ему и надлежит,— Ты сам это говорил. Только теперь я — его часть, и ад — его часть. А Ты не дашь мне тех ангелов, что верят, как и я, и будут работать на меня и терпеть вместе со мной одинаковый мрак?

— Нет! Не дам тебе ни единого ангельского духа! Набирай себе помощников из земных душ. Сделай их своими демонами! Ангелы-хранители, что пали вместе с тобой, каются в этом. Никого Я тебе не дам. Ты — ангел. Оставайся в одиночестве.

— Прекрасно, буду один. Ограничь меня земной формой, если хочешь, но я все же буду торжествовать. Я приведу через преисподнюю на небеса больше душ, чем Ты приведешь к небесным вратам. Я приведу более облагороженных душ, поющих о рае, чем Ты когда-либо приводил через Твой узкий туннель. Именно я заполню небеса и умножу Твой триумф. Вот увидишь.

Они умолкли, разъяренный Мемнох и разъяренный Бог Воплощенный, или так лишь казалось. Эти две фигуры стояли друг против друга, обе одинакового роста, только крылья Мемноха были распростерты за спиной, как напоминание о мощи, а от Бога Воплощенного исходил более сильный, невыразимо прекрасный свет.

Неожиданно Бог Воплощенный улыбнулся.

— В любом случае Я торжествую, верно? — спросил Бог.

— Я проклинаю Тебя! — вымолвил Мемнох.

— Нет, неправда,— печально и ласково произнес Бог. Он протянул руку и дотронулся до лица Мемноха, и отпечаток Его гневной длани исчез с ангельской кожи. Бог Воплощенный наклонился и поцеловал Мемноха в губы.

— Я люблю тебя, храбрый Мой соперник! — молвил Он.— Хорошо, что Я сотворил тебя, так же хорошо, как и все, что Я создал. Приводи ко Мне души. Ты — всего лишь часть цикла, часть природы, столь же чудесная, как вспышка молнии или извержение вулкана, как звезда, взорвавшаяся в галактике, отстоящей от нас на многие и многие мили, так что пройдут тысячи лет, прежде чем жители земли увидят ее свет.

— Ты — безжалостный Бог,— сказал Мемнох, отказываясь уступить хотя бы на йоту.— Я научу их прощать Тебе Твои качества: величественность, бесконечную созидательность и несовершенство.

Бог Воплощенный тихо засмеялся и поцеловал Мемноха в лоб.

— Я — мудрый Бог, и Я — терпеливый Бог,— молвил Он.— Я — тот, кто тебя создал.

Образы пропали. Они даже не потускнели, а просто исчезли.

Я лежал один на поле брани.

Зловоние исходило от облака висящих надо мной газов, отравляя мне каждый вздох.

Ибо, насколько хватало глаз, я видел одних мертвецов.

Вдруг меня испугал шум. Ко мне приближалась тощая фигура тяжело дышащего волка, идущего прямо на меня с опущенной головой. Я сжался. Я увидел его узкие, поднятые на меня глаза, когда он стал нагло тыкаться в меня своей мордой. Я ощутил его смрадное дыхание и отвернул лицо. Я слышал, как он нюхает мое ухо, мои волосы. Я слышал, как из его пасти раздается глухое ворчание. Я просто закрыл глаза и правой рукой под пиджаком нащупал Плат.

Его зубы прикоснулись к моей шее. Мгновенно я повернулся, встал и отбросил волка назад, и он, спотыкаясь и воя, побежал прочь от меня. Он бежал прочь по телам убитых.

Я перевел дух. Я осознал, что небо над головой — это полуденное земное небо, и я смотрел на белые облака, обыкновенные белые облака, тянувшиеся к туманному, далекому горизонту, и прислушивался к шуму от полчищ насекомых — мошкары и мух, кружащихся над телами,— и видел, как огромные, горбатые, уродливые стервятники чинно обходят это пиршество.

Издалека послышались звуки человеческих рыданий.

Но небо было величественным и ясным. Из-за облаков появилось солнце во всей своей мощи, и тепло снизошло на мои руки и лицо и на пропитанные газами, вспухшие тела, что окружали меня.

Наверное, я потерял сознание. Мне этого хотелось. Мне хотелось снова упасть навзничь на землю, потом перевернуться и уткнуться лбом в почву, просунуть руку под пиджак и почувствовать там Плат.

20

Сад в преддверии небесных врат. Спокойное лучезарное место, из которого души возвращаются иногда домой, когда им говорят, что время их еще не пришло.

В отдалении, ниже сверкающего кобальтового неба, я видел, как только что умершие приветствуют давно умерших. Встреча за встречей: объятия, восклицания. Уголком глаза мне были видны до головокружения высокие стены небес и небесные врата. На этот раз я увидел, как ангелы, по виду менее плотные, чем прочие небесные обитатели, свободно перемещаются по небу — группа за группой, иногда ныряя в небольшие скопления смертных, проходящих по мосту. Становясь то видимыми, то незримыми, ангелы надзирали за всем, потом уносились вверх, чтобы постепенно растаять в бесконечной небесной сини.

Из-за стен доносились слабые, до боли призывные звуки небес. Я мог закрыть глаза и почти зримо представить их сапфировые цвета! Во всех песнях звучал один и тот же припев: «Входи, входи, останься с нами. Хаоса больше не будет. Это небеса».

Но я находился далеко от всего этого, в небольшой долине. Я сидел посреди россыпи полевых цветов, белых и желтых, на поросшем травой берегу ручья, который пересекали души, чтобы попасть на небеса. Только в месте, где я сидел, он казался пусть и прекрасным, но не более чем обыкновенным бурным потоком. Песня, которую пел ручей, была о том, как после дыма, войны, после грязи и крови, после смрада и боли все на свете ручьи одинаково прекрасны, как этот.

Вода поет на разные голоса, течет, преодолевая каменные преграды и заполняя земные впадины; она взбирается по уступам вверх, чтобы низвергнуться с них под звуки пушек и фуг.

Травинки тем временем склоняют верхушки, чтобы смотреть на это.

Я прислонился к стволу дерева, возможно — персикового; на нем не было ни цветов, ни плодов, чтобы сказать точно. Ветви его свисали вниз, но не покорно, а буйно, с неким неуловимым достоинством; наверху, среди трепета неисчислимой листвы, я заметил мелькание птичьих крыльев. И выше всего этого были ангелы, ангелы, ангелы — словно сотканные из воздуха, светлые, сияющие духи, столь прозрачные, что по временам исчезали в едином вздохе небес.

Рай фресок. Рай мозаик. Только ни одна форма искусства не в силах изобразить все это. Спросите тех, кто здесь был и вернулся. Тех, чье сердце остановилось на операционном столе и чьи души прилетели в этот сад, а потом были возвращены телу. Ни словами, ни красками не передать этой красоты.

Меня окружал прохладный, ароматный воздух, медленно удаляя, слой за слоем, сажу и грязь, прилипшие к моему пиджаку и рубашке.

Вдруг, словно возвращаясь к жизни после ночного кошмара, я залез рукой под рубашку и достал Плат. Развернув, я поднял его за углы.

Лик горел на нем, темные глаза глядели на меня в упор, кровь казалось такой же ярко-красной, как и раньше, кожа — великолепного оттенка, глубина почти голографическая, хотя все изображение едва заметно смещалось при колыхании Плата под ветерком. Ничто не испачкалось, не порвалось, не потерялось.

Я почувствовал, как у меня перехватывает дыхание, сердце забилось угрожающе часто. К лицу прихлынул жар.

Взгляд карих глаз оставался пристальным, как тогда; они не закрылись при прикосновении мягкой ткани. Я поднес Плат к себе, затем снова свернул его, почти в панике, и плотно прижал к телу, положив на этот раз под рубашку. Непослушными пальцами застегнул пуговицы. Наконец с рубашкой было покончено. Пиджак был грязным, хотя целым, но все пуговицы пропали, даже те из них, что были на обшлагах. Я глянул вниз, на свои ботинки; они были разорваны в клочья, разбиты и едва не разваливались. Как странно они выглядели, ни на что не похожие, хотя были сделаны из превосходной кожи.

— Мемнох! — вдруг позвал я, оглядываясь по сторонам.

Где же он? Разве я здесь один? Где-то вдали по мосту двигалась процессия счастливых душ. Неужели врата открываются и закрываются — или это иллюзия?

Я посмотрел налево, на рощицу оливковых деревьев, и увидел за ней фигуру, которую сначала не узнал, но потом понял, что это Мемнох в обличье обыкновенного человека. Он стоял спокойный, с сумрачным и застывшим лицом, глядя на меня. Потом образ его начал расти и шириться, возникли огромные черные крылья, и кривые козлиные ноги, и раздвоенные копыта; и ангельский лик мерцал, словно он был из черного живого гранита. Мемнох, мой Мемнох, которого я знал, снова предстал в обличье демона.

Я воспринял это спокойно и не стал закрывать лицо. Я изучал детали облаченного в мантию торса, видел, как ткань ниспадает на отвратительные, покрытые шерстью ноги. Раздвоенные копыта зарылись в землю, но кисти и предплечья оставались такими же прекрасными, как и прежде. Волосы его были как развевающаяся грива иссиня-черного цвета. И во всем саду он был единственным существом, абсолютно лишенным красок. Во всяком случае, я его видел таким.

— Аргумент прост,— сказал он.— Теперь тебе ведь не составит труда понять его?

Его черные крылья сошлись спереди, охватывая все тело; внизу, близ ступней, нижние их края были отогнуты, чтобы при ходьбе не задевать землю. Он пошел мне навстречу, ужасный, звероподобный монстр с удивительно совершенными торсом и головой, прихрамывающее существо, втиснутое в человеческую концепцию зла.

— А ты прав,— сказал он, медленно и с трудом усаживаясь; крылья его постепенно исчезли, иначе они не позволили бы ему сесть. И вот он уже сидел рядом — козлоногий бог — и в упор глядел на меня: волосы спутаны, но лицо безмятежное, как всегда, не строже, не приятней, не мудрее, не жестче обыкновенного, ибо оно было высечено из черноты вместо мерцающего подобия плоти.

— Понимаешь,— продолжил Мемнох,— Он фактически сделал вот что. Он повторял мне снова и снова: «Мемнох, ничто во вселенной не пропадает втуне, понимаешь?» И Он сошел вниз, страдал, умер и воскрес из мертвых, чтобы освятить человеческое страдание, взлелеять его как необходимое условие смерти; и в смерти Своей явил вдохновение, превосходство души.

Но миф о страждущем и умирающем боге (говорим ли мы о Таммузе из Шумера или Дионисе из Греции — словом, о любом земном божестве, чья смерть легла в основу возрождения мира) — человеческая идея! Идея, выношенная людьми, не представляющими себе мироздание без принесенной ради него жертвы. Умирающий бог, дающий жизнь человеку,— одна из самых ранних идей, возникших в умах тех примитивных существ, которые не могли придумать нечто абсолютное и совершенное. И вот Он привил Себя — Бога Воплощенного — к людским мифам, пытающимся объяснить явления жизни, как если бы они имели определенный смысл, когда, возможно, такового и не имеют.

— Да.

— В чем заключалась Его жертва при сотворении мира? — спросил Мемнох.— Он ведь не Тиамат, убитый Мардуком. Не Озирис, изрубленный на куски! Чем пожертвовал Он, Всемогущий Бог, чтобы создать материальную вселенную? Я не припомню, чтобы от Него что-то было отнято. Верно, что мир произошел от Него, но я не помню, чтобы от Него убавилось, или Его казнили, или изувечили в процессе сотворения материального мира! После сотворения планет и звезд Он оставался все тем же Богом! Если что-то и произошло, так это Его возвеличивание, во всяком случае так представлялось ангелам, когда они пели о новых этапах сотворения Им бытия. Сама природа Его как Создателя разрасталась и ширилась в нашем восприятии, по мере того как эволюция шла по Его пути.

Но когда Он пришел как Бог Воплощенный, то стал имитировать мифы, придуманные людьми для того, чтобы попытаться освятить все страдания, попытаться доказать, что история не кошмар, а исполнена смысла. Он погрузился в созданную человеком религию и вложил в эти образы Свою божественную милость. И Он освятил страдание собственной смертью, тогда как оно не было освящено в Его мироздании, понимаешь?

— То было бескровное сотворение, не требующее жертв,— сказал я. Голос мой прозвучал тускло, но сознание никогда не было более живым, чем в этот момент.— Вот о чем ты говоришь.

Но Он и вправду верит, что страдание священно или может быть таковым. Ничто не проходит бесследно. Во всем скрывается смысл.

— Да. Но я считаю, что Он допустил ужасный изъян в Своем космосе — человеческую боль, несчастья, способность переносить невыразимую несправедливость — и нашел для всего этого место, пользуясь самыми низменными суевериями людей.

— Но когда люди умирают — что тогда происходит? Находят ли верящие в Него тот туннель, и свет, и своих любимых?

— Если они жили в мире и процветании, то обычно — да. Они без ненависти и возмущения возносятся прямо на небеса. И так же происходит с некоторыми, кто совсем не верит в Него или Его учение.

— Потому что они тоже исполнены света.

— Да. И это радует Его и расширяет Его небеса, и небеса постоянно пополняются новыми душами со всех концов света.

— Но ад также переполнен душами.

— Ад по сию пору превосходит небеса по размерам, как это ни смешно признать. Есть ли такое место на Его планете, где не было бы насилия, несправедливости, преследования, мучений, войн! Каждый день растет число моих смущенных и озлобленных учеников. Бывают времена таких лишений и ужаса, что к Нему возносится совсем мало мирных душ.

— А Ему до этого нет дела.

— Именно. Он говорит, что страдание чувствующих существ подобно перегною; оно удобряет их души! Он взирает со Своих горних высот на человеческую бойню и видит в этом величие. Он видит, что мужчины и женщины никогда не любят столь сильно, как потеряв возлюбленных; никогда не любят столь сильно, как жертвуя ради других согласно какому-то абстрактному представлению о Нем; никогда не любят столь сильно, как когда армия-завоевательница нападает, чтобы разорить домашний очаг, разобщить народ и насадить на копья тела младенцев.

И чем Он это оправдывает? Природой. Это то, что Он создал. И если измученные и озлобленные души сначала попадают ко мне в руки и претерпевают мое обучение в аду, тем более великими они станут!

— То есть твоя работа становится все тяжелее.

— И да, и нет. Я выигрываю. Но я должен победить на Его условиях. Ад — место страданий. Но давай рассмотрим этот вопрос без спешки. Посмотри, что сделал Он. Когда Он распахнул пастежь врата преисподней и спустился во мрак, как бог Таммуз спускался в шумерский ад, души последовали толпой за Ним и увидели Его искупление, увидели раны на Его руках и ногах. И то, что Он должен умереть за них, стало средоточием их смятения, и, разумеется, они устремились с Ним в небесные врата — ибо все, ими выстраданное, вдруг обрело смысл. Но был ли действительно в этом смысл? Можешь ли ты придать священное значение циклу природы, просто погружая в нее свое божественное Я? Достаточно ли этого?

— А как же души, что сжимаются от горечи и отнюдь не расцветают под каблуками топчущих их воинов; как же души, исковерканные немыслимой несправедливостью, впадающие в поношение вечности; а как насчет всего современного мира, озлобленного на Бога, озлобленного в достаточной степени, чтобы проклинать Иисуса Христа и Самого Бога, как это делали Лютер, Дора, как это делал ты, как делали все.

— Люди современного тебе мира, мира конца двадцатого столетия, никогда не переставали верить в Него. Дело в том, что они ненавидят Его, они негодуют на Него; они озлоблены на Него. Они считают... они считают...

— Считают себя превыше Его,— спокойно произнес я, со всей остротой понимая, что сейчас он говорит те же слова, которые я говорил Доре.

— Да,— сказал он.— Да, ты считаешь себя превыше Его.

— И ты тоже.

— Да. Я не могу продемонстрировать населяющим ад Его раны. Это вряд ли убедило бы их, этих жертв, этих скорбящих, негодующих страдалиц, вынесших боль, которую Ему не представить. Я могу лишь сказать им, что это отцы-доминиканцы Его именем заживо сожгли их тела, считая их ведьмами. Или когда их семьи, кланы и деревни истреблялись испанскими солдатами, то это было нормально, потому что на знамени, которое люди несли в Новый Свет, было Его изображение с кровоточащими руками и ступнями. Ты думаешь, это заставит кого-нибудь покинуть ад, чтобы выяснить, почему Он позволил

такому случиться? И позволит другим душам вознестись без единой капли боли?

Если бы я начал их обучение с этого образа — Христос умер за тебя,— сколько, по-твоему, времени ушло бы на обучение души в аду?

— Ты не сказал мне, каков ад и как ты проводишь там обучение.

— Я делаю это по-своему, могу тебя заверить. Я поставил свой престол над Его Престолом — как выражаются поэты и интерпретаторы Священного писания,— ибо знаю, что для того, чтобы душа попала на небеса, никогда не требовалось страдания, что полное понимание и приятие Бога никогда не требовало поста, бичевания, распятия, смерти. Я знаю, что человеческая душа превзошла природу, и для этого душе понадобилось лишь научиться ценить красоту! Иов был Иовом до того, как страдал! И оставался им после! Чему такому страдание научило Иова, чего он не знал раньше?

— Но как ты обставляешь это в аду?

— Я вовсе не начинаю с рассказа о том, что человеческий глаз одинаково отображает для Него совершенство творения, когда с ужасом смотрит на изувеченное тело и мирно взирает на сад.

И Он настаивает, что все дело в этом. Твой Сад Зла, Лестат,— вот его версия совершенства. Все это развилось из одного и того же семени, и я, Мемнох-дьявол, с моим недалеким ангельским разумом, не в состоянии это уразуметь.

— Тогда как же ты борешься с Ним в аду и отвоевываешь небеса для проклятых? Как?

— Что, по-твоему, представляет собой ад? — спросил он.— У тебя достаточно было времени, чтобы на этот счет появились какие-то соображения.

— Прежде всего это то, что мы называем чистилищем,— сказал я.— Никто не избежит искупления. Я понял это из твоего спора на поле брани. Итак, какие страдания должны принять души в аду, чтобы их безоговорочно аттестовали для небес?

— И какие же, по-твоему, должны они принять страдания?

— Не знаю. Мне страшно. Мы собираемся отправиться туда, верно?

— Да, но мне хочется узнать, чего ожидаешь ты.

— Я не знаю, чего ожидать. Я знаю, что существа, лишившие других жизни — как я,— должны пострадать за это.

— Пострадать или заплатить?

— А есть какая-нибудь разница?

— Ну, допустим, тебя представился бы случай простить Магнуса, вампира, втянувшего тебя во все это. Предположим, он встал бы перед тобой и сказал: «Лестат, прости меня за то, что я вырвал тебя из привычной человеческой жизни и поместил вне природы, заставив пить кровь, чтобы жить. Делай со мной что пожелаешь, но только прости меня». Как бы ты поступил?

— Ты выбрал плохой пример,— сказал я.— Наверняка я бы его простил. Магнус не ведал, что творил. И вообще, мне на него наплевать. Он был сумасшедшим. Чудовищем Старого Света. Он повиновался какому-то извращенному, обезличенному рефлексу. Я даже не думаю о нем. Мне до него нет дела. Если ему и надо просить у кого-то прощение, пусть просит его у смертных, которых он убил в течение жизни.

В его башне было подземелье, заполненное трупами молодых мужчин, внешне напоминавших меня,— тех, что он приводил туда, очевидно, для испытания и потом убивал без всякого посвящения. Я все еще помню их, груды молодых тел, все со светлыми волосами и голубыми глазами. Молодые люди, лишенные энергии и самой жизни. Прощение он должен получить от всех тех, кого лишил жизни тем или иным способом,— ему придется заслужить прощение каждого из них.

Я снова начал дрожать. Этот признак гнева был мне хорошо знаком. А какой гнев испытывал я много раз, когда прочие обвиняли меня в дерзких нападениях на смертных мужчин и женщин. И детей. Беспомощных детей.

— А ты? — спросил меня Мемнох.— Что, по-твоему, необходимо тебе, чтобы попасть на небеса?

— Думаю, достаточно будет того, что я на тебя работаю,— произнес я с вызовом.— По крайней мере, это вытекает из твоих слов. Но ты не открыл мне в точности, чем занимаешься! Ты рассказал мне только историю сотворения и страстей, твоего пути и Его пути, ты описал свое противостояние Ему на земле, и я могу представить себе последствия такого противостояния — мы оба сенсуалисты, мы оба верим в мудрость плоти.

— Аминь.

— Но ты не дал полного объяснения тому, чем занимаешься в аду. И каким образом ты можешь выиграть у Бога? За счет того, что быстро передаешь души Ему в руки?

— Быстро и с веской аттестацией,— сказал он.— Но сейчас речь идет не о каком-то конкретном предложении для тебя. И не о моем противостоянии Ему; я спрашиваю тебя вот о чем: учитывая все, что ты видел, *каким, по-твоему, должен быть ад?*

— Боюсь отвечать. Ибо место мое — здесь.

— Ты ведь никогда ничего не боялся. Продолжай. Сформулируй свои соображения. Каким в твоем понимании должен быть ад, что должна вынести душа, чтобы стать достойной небес? Достаточно ли сказать: «Я верю в Бога. Иисус, я верю в Твои страдания»? Достаточно ли сказать: «Сожалею о всех своих грехах, потому что они оскорбляют Тебя, мой Бог»? Или: «Мне жаль, потому что, пребывая на земле, я в действительности не верил в Тебя. А теперь я знаю, что все это правда, и я не буду больше делать ничего порочащего меня, и, пожалуйста, пусти меня поскорей на небеса».

Я не отвечал.

— Суждено ли всякому попасть на небеса? — спросил он.

— Нет. Этого не может быть,— ответил я.— Такое невозможно для существ, подобных мне, существ, мучавших и убивавших других существ. Невозможно для людей, умышленно вызывавших своими действиями наказания столь жестокие, как болезни, или пожар, или землетрясение,— то есть людей, совершавших грехи, принесшие столько же или больше зла, чем природные катастрофы. Неправильно было бы им отправиться на небеса, даже если они знают, даже если понимают или начали постигать совершенное ими! Небеса очень скоро превратятся в ад, если всякая жестокая, эгоистичная, злобная душа попадет на небо. Мне бы не хотелось встретить на небесах подобных исчадий зла! Если такое возможно, то страдания этого мира страшно близки к...

— Страшно близки к чему?

— К тому, что не заслуживает прощения,— прошептал я.

— Что же заслуживает прощения — с точки зрения души, умершей в боли и смятении? Души, знавшей, что Богу все равно?

— Не знаю,— признался я.— Когда ты описывал тех избранных из преисподней, первый миллион душ, что ты провел через небесные врата, ты не говорил о преображенных чудовищах; ты говорил о людях, простивших Богу несправедливость мира, не так ли?

— Верно. Именно таких я взял с собой к небесным вратам — да.

— Но ты говорил так, словно эти люди стали жертвами несправедливости Господа. Ты ведь не исправлял души виновных? Таких, как я,— грешников, виновных в совершении несправедливостей?

— Ты думаешь, что им нечего сказать в свое оправдание?

— Некоторые могут иметь свои оправдания, коренящиеся в собственной глупости, простодушии, страхе перед властями. Но многие, очень многие злодеи просто-напросто такие, как я. Они знают, насколько плохи. Им на это наплевать. Они делают то, что делают, потому что... потому что им это нравится. Я люблю делать из людей вампиров. Я люблю пить кровь. Мне нравится лишать людей жизни. И всегда нравилось.

— Разве из-за этого ты пьешь кровь? Просто потому, что тебе нравится? А не оттого ли, что из тебя сделали совершенный сверхъестественный механизм с вечной жаждой крови, питающийся только кровью. Механизм, выхваченный из жизни и превращенный в Дитя Ночи из-за несправедливости мира, который ты и твоя судьба волновали не более, чем любой ребенок, голодающий этой ночью в Париже?

— Я не оправдываю то, что совершаю, или то, чем являюсь. Если думаешь, что да, если именно поэтому хочешь, чтобы я вместе с тобой управлял адом или обвинял Бога... то ты выбрал не ту персону. Я заслуживаю искупления только за то, что отнял у людей. Где их души, души тех, что я убил? Были ли они готовы к небесам? Попали ли они в ад? Потеряли ли *эти* души свою индивидуальность и пребывают ли все так же в вихре между адом и небесами? Души там, я знаю, я видел их — души, которым предстоит еще найти свое место.

— Да, верно.

— Я мог бы послать души в этот вихрь. Я — воплощение жадности и жестокости. Я пожирал смертных, которых убил,— для меня это было едой и питьем. Я не могу это оправдать.

— Ты думаешь, я хочу, чтобы ты оправдал себя? — спросил Мемнох.— Какое насилие я до сих пор оправдывал? Что заставляет тебя думать, что ты мне понравишься, если станешь оправдывать или защищать свои действия? Разве я когда-нибудь защищал кого-то, заставившего другого страдать?

— Нет, не защищал.

— Ну и что тогда?

— Что такое ад и как можешь ты управлять им? Ты не хочешь, чтобы люди страдали. Похоже, ты не хочешь даже, чтобы я страдал. Ты не можешь указать на Бога и сказать, что Он делает все хорошо и со смыслом! Не можешь. Ты — Его противник. Тогда что же такое ад?

— А что ты думаешь на этот счет? — снова спросил он меня.— С чем бы ты морально примирился... прежде чем совершенно отвергнуть меня! Прежде чем сбежать от меня. В какой ад смог бы ты поверить и каким бы ты его создал, будучи на моем месте?

— Областью, где люди осознают, что они сделали прочим, где сталкиваются с каждой подробностью этого, чтобы *никогда, никогда* не совершать того же самого опять; местом, где люди буквально преобразуются от понимания того, что сделали неправильно, и как могли бы избежать этого, и что им надо было делать. Когда они *понимают*, как сказал ты об избранных из преисподней. Когда могут *простить* не только Бога за весь этот большой кавардак, но и себя за свои ошибки, свое ужасное агрессивное поведение, свою злобу и низость. Когда любят всех и прощают всем. Лишь тогда они достойны небес. *Ад должен стать местом, где они увидят последствия своих действий, но с полным милосердным пониманием того, как мало сами знали до этого.*

— Совершенно верно. Понимать то, что ранит других людей, осознать, что ты не ведаешь многого, что никто не давал тебе знания, хотя у тебя была власть! И простить — простить своих жертв, простить Бога, простить себя. Да. Вот это правильно. Это положит конец моему гневу, моему насилию. Я не смогу больше потрясать кулаками, если только прощу Бога, и других людей, и себя.

Он ничего больше не говорил, просто сидел со сложенными на груди руками — глаза широко раскрыты, на темном лбу мелкие капельки влаги.

— Так вот в чем дело? — со страхом произнес я.— Это... это место, где ты учишься понимать, что сделал другому существу... где приходит осознание того, какие страдания навлек на других!

— Да, и это ужасно. Я создал его и управлял им, чтобы возродить души праведных и неправедных, тех, кто страдал, и тех, кто совершал зло. И единственный урок такого ада — это любовь.

Я был испуган, так испуган, как в то время, когда мы ходили в Иерусалим.

— Он любит мои души, когда они являются к Нему,— сказал Мемнох.— И Он рассматривает каждую как оправдание Своего пути!

Я горько улыбнулся.

Мемнох продолжил:

— Война Ему кажется вещью величественной, болезни в Его глазах накладывают печать избранности, а самопожертвование кажется Ему воспеванием Его славы! Словно Он когда-нибудь испытал все это! Он пытается задавить меня цифрами. Да во имя креста было совершено больше несправедливости, чем во имя любого другого дела, или символа, или вероучения, или любой другой философии на земле!

И я высвобождаю души из ада, говоря правду о том, как люди страдают, что они знают и на что способны, так что мои души потоком идут через Его врата.

А кто, по-твоему, попадает в ад, чувствуя себя более всех обманутым? Наиболее разгневанным и не прощающим? Ребенок, погибший в газовой камере концентрационного лагеря? Или воин с руками по локоть в крови, которому внушали, что если он истребит врагов государства, то обретет себе пристанище в Валгалле, раю или на небесах?

Я не отвечал. Я хранил молчание, слушая его, наблюдая за ним.

Он подался вперед, еще более решительно завладевая моим вниманием и преображаясь у меня на глазах из дьявола — козлоногого человекозверя с раздвоенными копытами — в ангела, Мемноха — Мемноха в просторной непритязательной мантии, с сияющими светлыми глазами под золотистыми нахмуренными бровями.

— Ад — это место, где я исправляю вещи, сделанные Им неправильно,— молвил он.— Ад — это место, где я вновь ввожу в употребление то состояние духа, которое могло бы существовать, если бы страдание не разрушило его! Ад — это место, где я учу мужчин и женщин, что они могут быть лучше Его.

Но это и мое наказание, ад. Из-за споров с Ним, из-за того, что я вынужден отправиться туда и помогать душам пройти весь цикл, как Он его понимает, из-за того, что я должен жить там с ними! И если я не смогу помочь им, если не научу их, они могут остаться там навсегда!

Но ад не место моего сражения.

Земля — вот место моего сражения. Лестат, я сражаюсь с Ним не в аду, а на земле. Я блуждаю по свету, стремясь низвергнуть всякую доктрину, которую Он воздвиг для освящения самопожертвования и страдания, для освящения агрессии, жестокости и разрушения. Я увожу мужчин и женщин из церквей и храмов, чтобы они танцевали, пели, пили, обнимали друг друга свободно и по любви. Я делаю все, что в моих силах, чтобы изобличить ложь в самой сути Его религий! Я пытаюсь разрушить ложь, которой Он позволил разрастаться по мере разворачивания вселенной.

Он — единственный, кто безнаказанно может наслаждаться страданием! И все потому, что Он — Бог и не знает, что это значит, и никогда не знал. Он создал существ, более сознательных и любящих, чем Он сам. И окончательная победа над всем людским злом придет лишь тогда, когда Он будет свергнут с Престола, раз и навсегда, проигнорирован, отвергнут, отброшен прочь. Когда с Него будет снят покров таинственности, и мужчины и женщины станут искать добро, и справедливость, и нравственность друг в друге.

— Они пытаются делать это, Мемнох! Пытаются! — сказал я.— Вот что они имеют в виду, когда говорят, что ненавидят Его. Вот что имела в виду Дора, говоря: «Спросите Его, почему Он допускает все это!» Тогда ее руки сжимались в кулаки!

— Знаю. Ну, так ты хочешь или нет помочь мне в борьбе против Него и Его креста? Отправишься ли ты со мной на небеса — в этот мерзкий ад болезненного узнавания, мерзкий в своей одержимости страданиями! Нет, ты не станешь служить мне

в каком-нибудь одном из этих мест. Ты будешь служить во всех сразу. И подобно мне, небеса вскоре могут показаться тебе почти столь же невыносимыми, что и ад, из-за своей возвышенности. Их блаженство заставит тебя пожелать исправить совершенное Им зло, ты будешь стремиться заставить ад работать на эти смятенные души, чтобы помочь им вознестись из трясины к свету. Когда находишься в лучах света, то не можешь забыть эти души! Вот что значит служить мне.

Он помолчал, потом спросил:

— У тебя достанет смелости увидеть это место?

— Мне бы хотелось.

— Предупреждаю тебя, это ад.

— Я только начинаю представлять себе...

— Он не будет существовать вечно. Настанет день, когда либо сам мир будет разнесен на куски Его человеческими почитателями, либо все те, кто умрет, станут посвященными, и предадутся Ему, и попадут прямо в Его руки. Совершенный мир или мир разрушенный, одно или другое,— но однажды аду настанет конец. И тогда я вернусь на небеса, счастливый остаться там первый раз за все мое существование, с начала времен.

— Возьми меня с собой в ад, пожалуйста. Теперь я хочу его увидеть.

Он протянул руку, погладил меня по волосам, затем прижал ладони к моим щекам. Ладони были теплыми и ласковыми. На меня снизошло ощущение покоя.

— Как много раз в прошлом,— сказал он,— я почти завладевал твоей душой! Я видел, как она вот-вот выскользнет из плена твоего тела, и все-таки твоя сверхъестественно сильная плоть, твои сверхъестественный разум и геройская смелость не давали душе и телу разъединиться, и душа, бывало, мерцала и горела внутри, не даваясь в руки. А теперь... теперь я иду на риск, предлагаю тебе погрузиться в ад, хочу, пока ты не передумал, чтобы ты посетил его, в надежде, что ты вынесешь увиденное и услышанное и вернешься, чтобы быть со мной и помочь мне.

— Было ли хоть раз, чтобы моя душа воспаряла к небесам, минуя тебя, минуя вихрь?

— А как ты думаешь?

— Я помню... однажды, когда я был жив...

— И что?

— Чудное мгновение. Я пил и беседовал с хорошим своим другом, Николя, это было на постоялом дворе в моей деревеньке во Франции. Внезапно, всего на какой-то миг, я ощутил невообразимое блаженство: все показалось терпимым и совершенно непричастным ни к какому ужасу, когда-либо совершенному или могущему произойти. Всего один миг, пьяный миг. Помнится, я описал его на бумаге, пытаясь вновь воскресить в памяти. То было мгновение, когда я готов был простить все, что угодно, и отдать все, что угодно, и, возможно, в тот миг я просто перестал существовать: что я видел, было вне меня. Не знаю. Если бы в тот момент пришла смерть...

— Но пришел страх — страх, когда сознаешь, что, даже умерев, можешь ничего не понять, что ничего может и не быть...

— Да. А теперь я опасаюсь чего-то худшего. Того, что, несомненно, нечто существует, и оно, может быть, хуже, чем ничто.

— Ты вправе так думать. Не обязательно нужны орудия пыток, гвозди или огонь, чтобы заставить мужчин и женщин желать забвения. Ты только представь — желать, чтобы ты никогда не жил.

— Мне знакомо такое. И я боюсь вновь испытать это чувство.

— Правильно делаешь, что боишься. Я думаю, ты никогда еще не был настолько готов к тому, что я собираюсь показать.

21

По каменистому полю кружил вихрь, мощная центробежная сила рассеивала и высвобождала те души, которые пытались освободиться от ее уз; как только им удавалось это сделать, они обретали узнаваемые человеческие формы и принимались колотить во врата ада или просто слонялись вдоль невообразимо высоких стен, посреди вспышек огня, обращаясь друг к другу и моля о чем-то.

Голоса терялись в шуме ветра. Души в человеческом обличье пребывали в борении, некоторые блуждали словно в поисках каких-то потерянных предметов, а потом поднимали руки, снова отдаваясь на волю вихря.

Женская фигура, тонкая и бледная, протянула руки, чтобы собрать не находящую себе места, плачущую стайку детских душ; некоторые из них были настолько малы, что не умели ходить. Души детей блуждали с жалобным плачем.

Мы приблизились к вратам, к их узким, разомкнутым наверху аркам, поднимающимся ввысь черными тонкими силуэтами и словно сработанным из оникса средневековыми мастерами. Воздух был наполнен тихими жалобными стенаниями. Души отовсюду протягивали к нам руки; тихий гул голосов окутывал нас наподобие комариной стаи или полчища мух над полем после сражения. Призраки хватали мои волосы и пиджак.

Помоги нам... впусти нас... будь проклят... проклинаю тебя... проклятый... возьми меня назад... освободи меня... проклинаю тебя навеки... черт тебя побери... помоги мне... помоги...

Ропот крепчал.

Я сопротивлялся, чтобы души не загораживали мне вид. Передо мной плыли размытые лица, горестные вздохи обдавали горячим дыханием мою кожу.

Врат как таковых не было, были просто проемы.

Возле них стояли мертвецы-прислужники, с виду более плотные, а на самом деле с такими же просвечивающими фигурами, как у других, разве что чуть плотнее и различимее; они манили к себе потерянные души, каждую называя по имени; они перекрывали ураганный ветер призывами к тому, что каждый должен найти дорогу внутрь и что это еще не вечные муки.

Чадили факелы; по верху стен горели лампы. Небо полосовывали зигзаги молний и мощный таинственный фейерверк от выстрелов пушек — и старинных, и современных. Воздух был наполнен запахом пороха и крови. Снова и снова вспыхивали огни, словно в каком-то сказочном представлении, устроенном на потеху старинного китайского императорского двора, а затем вновь накатил мрак, делая все вокруг нематериальным и холодным.

— Входите внутрь,— пропели мертвецы-прислужники, призраки столь же решительные, каким был Роджер, в одеяниях всех времен и народов, мужчины и женщины, дети, старики — ни одного непрозрачного тела,— все они направлялись мимо нас в запредельную долину, пытаясь помочь боровшимся, проклинающим, упавшим. Мертвецы-помощники из Индии в своих

шелковых сари, из Египта — в платьях из хлопка, из давно канувших в Лету царств — в великолепных, богато изукрашенных придворных одеяниях; костюмы со всего света — украшенные перьями наряды, которые мы называем дикарскими, темные сутаны священников; самовыражение всего света, от самого примитивного до великолепнейшего.

Я прильнул к Мемноху. Была ли она прекрасной или отталкивающей — эта толпа из представителей всех времен и народов? Черные, белые, азиаты — люди всех рас, с вытянутыми вперед руками уверенно движущиеся среди потерянных и смятенных душ!

Сама земля жгла мне подошвы; почерневший каменистый мергель, усыпанный мелкой крошкой. Почему это? Зачем?

По всем направлениям то резко, то плавно вздымались горные склоны, переходили в отвесные скалы, стремились ввысь и обрывались в глубокие ущелья, заполненные дымчатым туманным сумраком и казавшиеся самой преисподней.

В проемах арок то мерцал, то вспыхивал свет; крутые изломы лестниц на отвесных каменных стенах уводили к едва различимым глазом долинам и стремительным потокам, над которыми поднимался пар,— золотистым и красным от крови.

— Мемнох, помоги мне! — прошептал я. Я не осмеливался выпустить из рук Плат. И не мог заткнуть уши. Стенания впивались в мою душу, как топоры, отсекая от нее кусок за куском.— Мемнох, это невыносимо!

— Мы поможем тебе,— воскликнули призраки-прислужники, стайка которых окружила меня со всех сторон, чтобы расцеловать и обнять. Глаза их были широко раскрыты в приливе сочувствия.— Лестат пришел. Лестат здесь. Мемнох привел его. Войди в ад.

Голоса то нарастали, то утихали, они звучали то поодиночке, то вместе, словно множество людей твердили по четкам молитвы, каждый начиная со своего места, и постепенно голоса стали звучать нараспев.

— Мы любим тебя.

— Не бойся. Ты нам нужен.

— Останься с нами.

— Помоги нам скоротать время.

Я чувствовал их нежные утешающие прикосновения, хотя меня ужасали и пылающий свет, и полыхающие на небе вспышки, а запах дыма щекотал ноздри.

— Мемнох! — Я вцепился в его почерневшую руку, пока он тащил меня за собой, строго, с отстраненным выражением на лице озирая свое адское царство.

И там под нами, за скальной расщелиной, лежали бесконечные равнины, усеянные блуждающими и спорящими мертвецами, рыдающими, потерянными, испуганными,— теми, кого вели, собирали и утешали призраки-прислужники; а иные бежали опрометью, словно могли спастись, но лишь натыкались на толпы душ и продолжали безнадежно бегать по кругу.

Откуда исходил этот адский свет, это мощное и неослабное сияние? Водопады искр, неожиданные вспышки пылающего красного цвета, пламя, кометы, дугой проносящиеся над вершинами.

Вопли усиливались, эхом отдаваясь от скал. Души подвывали и пели. Мертвецы-прислужники бросались, чтобы помочь упавшим встать на ноги, проводить тех, кто наконец подходил к тем или иным лестницам или вратам, входам в пещеры или тропинкам.

— Проклинаю Его, проклинаю Его, проклинаю Его! — отдавалось эхом в горах и разносилось по долинам.

— Никакой справедливости, даже после того, что было совершено!

— Ты же не можешь сказать...

— ...Кто-то должен поступить правильно...

— Иди сюда, я держу тебя за руку,— сказал Мемнох и пошел дальше с тем же суровым выражением на лице, проворно ведя меня вниз по гулким ступеням, крутым, опасно узким и вьющимся вокруг скалы.

— Я не вынесу этого! — закричал я. Но мой голос отнесло прочь. Я снова запустил правую руку под пиджак, чтобы ощутить Плат, а затем потянулся к выщербленной, осыпающейся стене. Были ли то специально выдолбленные в стене углубления? Цеплялись ли другие за них, чтобы удержаться и не упасть? Вопли и стенания совершенно лишили меня рассудка. Мы пришли в следующую долину.

Неужели этот мир столь же обширен и многообразен, как и небеса? Здесь были мириады дворцов, башен и арок; в покоях, которые заполняли души всех времен и народов, велись споры, беседы, слышалось пение, иные обнимали друг друга, как обретенные в минуту скорби друзья. Солдаты в древней военной форме и современной, женщины в бесформенных черных одеяниях Святой земли, души современного мира в своих прихотливых нарядах из магазинов готового платья — одежды всех теперь покрывали копоть и пыль, и все то, что блестело и привлекало когда-то, было приглушено сполохами адского света, словно ни один цвет не мог соперничать со зловещим ореолом небес. Одни души рыдали и гладили друг другу лицо, другие, сжав кулаки, пронзительно выкрикивали слова ярости.

Души в поношенных темно-коричневых монашеских одеяниях, монахини в жестких белых головных покрывалах, принцы с бархатными рукавами-буфами, нагие мужчины, разгуливающие с таким видом, словно никогда не ходили одетыми; платья из крашеной льняной ткани со старинными кружевами, современные платья из блестящего шелка или искусственных тканей, оливково-зеленые мундиры солдат и доспехи из сверкающей бронзы, крестьянская одежда из грубой ткани и прекрасно сшитые шерстяные костюмы современных фасонов, вечерние платья из серебристых тканей; волосы всех цветов, спутанные и взъерошенные ветром; кожа всевозможных оттенков; коленопреклоненные старики с сомкнутыми перед собой ладонями, розовыми лысинами и кожей на шее, собранной в трогательные складочки; тонкие белые души тех, кто голодал в жизни, лакали из ручьев по-собачьи, другие лежали на спине, из-под полузакрытых век посматривая на скалы и узловатые деревья, предаваясь пению, мечтам и молитвам.

С каждой секундой глаза мои все больше привыкали к сумраку. В поле моего зрения попадало все больше подробностей, более понятным становился каждый квадратный дюйм того, что я созерцал! Фигуры, роившиеся десятками поблизости от каждой настоящей души — те, что танцевали, пели и причитали,— были не более чем образами, проекциями этой самой души, служившими для ее общения с окружающим миром.

Ужасная фигура женщины, охваченной пламенем, была не более чем химерой для стенающих душ, бросающихся в огонь и

пытающих отвязать ее от столба, затоптать пламя, пожирающее ее волосы, вызволить ее из немыслимой агонии! То было место для ведьм. Все они пылали! Спасите их! О Господи, ее волосы в огне!

И действительно, солдаты, заряжающие пушку и прикрывающие в этот момент уши, были не более чем иллюзией для тех сонмов истинных душ, рыдающих, стоя на коленях, и неуклюжий гигант, размахивающий топором, был не более чем призраком для тех, кто уставился на него в оцепенении, узнавая в нем самого себя.

— Не могу... не могу смотреть!

Чудовищные образы убийства, пыток вспыхнули передо мной, опаляя мне лицо. Призраков тащили на смерть в котлах с кипящей смолой, воины падали на колени с широко раскрытыми глазами; принц какого-то погибшего персидского царства с воплем подпрыгнул в воздух, раскинув руки; в глазах его мелькали отблески огня.

В завываниях, шепоте настойчиво звучали протесты, вопросы, внезапные озарения. Отовсюду раздавались необычные речи, если только у вас доставало смелости им внимать, улавливать темы, режущие слух наподобие неистовой погребальной песни.

— ...Да, да, я думал, я знал...

— ...Милые мои, крошки мои...

— ...В твои объятия, потому что ты никогда...

— ...И я все время думал, а ты...

— ...Любила тебя, любила тебя, любила тебя, и всегда... и, нет, ты не знал. Не знал, не знал...

— ...Я всегда думал, что должен быть таким, но я знал, я чувствовал...

— ...Смелость повернуться и сказать, что это не так...

— ...Мы не знали, не знали...

И все это слилось в результате в один непрерывный вопль.

Мы не знали!

Передо мной возникли внутренние стены мечети, заполненной кричащей, прикрывающей головы руками толпой, когда на них с оглушительным грохотом, напоминающим артиллерийскую канонаду, начала сыпаться штукатурка.

Все иллюзии.

— Мы не знали, не знали,— завывали голоса душ.

Коленопреклоненные мертвецы-прислужники сбились в кучу, по их лицам струились слезы:

— Да, мы понимаем, вы понимаете...

— И в тот год, просто, чтобы пойти домой и быть с...

— Да...

Я упал, зацепившись ногой о камень, и меня бросило в гущу коленопреклоненных воинов, которые рыдали, вцепившись друг в друга, и призраков побежденных, убитых, умерших с голоду,— все они раскачивались и стенали в голос.

Последовала череда взрывов, каждый из последующих страшнее предыдущего,— из тех, что могли произойти лишь в наши дни. Небо сделалось светлым, как днем, если только день может быть бесцветным и беспощадным, и затем растворилось в мерцающей темноте.

В *зримой* темноте!

— Помогите, помогите мне выбраться отсюда! — закричал я, но они, казалось, не слышат или не замечают моих воплей, и когда я стал искать глазами Мемноха, я увидел створки дверей лифта, которые вдруг растворились, и передо мной замаячила просторная современная комната, освещенная причудливыми светильниками; полы были застелены бесконечными коврами. Полированный блеск нашего механического мира. Мне навстречу выбежал Роджер.

Роджер в своем щегольском пиджаке лилового шелка и плотно сидящих брюках, с надушенными волосами и наманикюренными ногтями.

— Лестат! — воскликнул он.— Здесь Терри, здесь они все. Лестат.— Он цеплялся за мой пиджак, в упор глядя на меня глазами привидения и одновременно человеческими; он дышал мне в лицо. Комната стала растворяться в дыму; неясный призрак Терри с соломенно-желтыми волосами обнимал его руками за шею; ее открытое лицо выражало удивление, накрашенные губы молчали. И тут нас коснулось крыло Мемноха, отгораживая меня от них; пол комнаты разверзся.

— Я хотел ему рассказать про Плат...— Я начал сопротивляться.

— Сюда! — Мемнох держал меня.

Небеса вновь наполнились ливнем искр, и облака наверху взорвались, сталкиваясь друг с другом; молнии почти касались наших голов, потоки холодного, пронизывающего дождя накрыли нас с головой.

— О Господи, о Господи, о Господи! — вскричал я.— Этого не может быть! Господи! Я говорю: нет!

— Взгляни, *взгляни*!

Мемнох указал на фигуру Роджера, опирающегося на локти и на колени, вертящегося, как пес, среди тех, кого он убил: мужчин, заклинающих его с простертыми руками, женщин, разрывающих ткань своих платьев, чтобы показать раны; гомон голосов неудержимо нарастал, звуки словно выплеснулись из самого ада, и я вдруг увидел Терри — Терри, руки которой, как раньше, обнимали его за шею. Роджер лежал на земле в разорванной на груди рубашке, с босыми ногами, а вокруг него расстилались джунгли. В темноте прогремели выстрелы. Затрещали автоматные очереди, в ярости разлетелись по сторонам смертельные пули. Среди переплетения лиан, среди чудовищного вида деревьев мерцали огни какого-то дома. Роджер повернулся ко мне, попытался подняться, но снова упал на колени и зарыдал; по лицу его текли слезы.

— ...И каждый поступок... по-своему... Лестат... я не знал... не знал...

И отчетливо зримый, мертвенно-бледный и вопрошающий, встал он передо мной для того лишь, чтобы пропасть среди бесчисленных прочих.

Я видел их по всем направлениям. Этих прочих.

Один эпизод перерастал в следующий, пепельные цвета становились ярче или тускнели в пасмурной мгле, и то здесь, то там из неистовых бурных адских полей возникали очищенные от греха души. Барабанный бой сменялся леденящими душу воплями, толпу мужчин в грубых белых балахонах подталкивали к пылающим поленьям; они простирали руки к душам, которые, съежившись, выли и кричали в раскаянье, в ужасе от узнавания.

— Бог мой, мой Бог, мы прощены!

Что это за внезапный порыв отвратительного, зловонного ветра?

Вверх взлетели души с раскинутыми руками, их одежда вдруг спала или растаяла, превратившись в неразличимые одеяния спасенных.

И открылся туннель.

Я узрел свет, узрел мириады душ, свободно летящих вверх по туннелю к сиянию небесному; туннель был совершенно круглый в сечении и расширялся по мере подъема, и на одно блаженное мгновение, один блаженный крошечный миг, в туннеле снова зазвучали песни небес, словно его обводы были созданы не движением воздуха, а чем-то твердым, от чего могли отражаться эхом эти эфирные песнопения, и их организованный ритм, их душераздирающая красота пронизывали чудовищные страдания этого места.

— Я не знал, не знал!

Голоса звучали громче. Туннель сомкнулся.

Я споткнулся, тычась то туда, то сюда. Здесь солдаты терзали копьями молодую женщину, другие в это время рыдали и порывались оторвать ее корчившееся в муках тело от мучителей. Там младенцы ковыляли на пухлых ножках, с протянутыми вперед ручонками, чтобы попасть в объятия рыдающих отцов, матерей, убийц.

А вот пригвожденный к земле, с закованным в доспехи телом, с длинной рыжей бородой, с открытым ртом, из которого вырывались вопли, лежал один из солдат и проклинал Бога, проклинал дьявола, проклинал судьбу.

— *Я не буду, не буду, не буду!*

— Знаешь, кто стоит за этими дверями? — произнес мрачный призрак-прислужник в облике женщины с прекрасными волосами, в бесплотной белизне струящимися вокруг лица. Она коснулась моей щеки мягкой ладонью.— Взгляни сюда...— Двухстворчатая дверь начала открываться, стены комнаты были уставлены книгами.— Твои мертвые, возлюбленный мой, твои мертвые — все те, кого ты убил!

Я уставился на лежащего на спине рыжебородого воина, изо рта которого раздавалось рычание: «Никогда, никогда не скажу я, что это справедливо, никогда, никогда...»

— Это не мои мертвые,— прокричал я, повернулся и побежал. Но опять споткнулся и снова упал лицом вниз на мягкое ложе из тел. В отдалении исчезали в пламени руины какого-то

города; рушились стены; пушка грохнула в очередной раз, и воздух наполнился ядовитым дымом; люди падали и заходились в кашле; общий припев *«я не знал»* сливался в одну стройную ноту, и этот порядок был хуже, чем его отсутствие!

— ПОМОГИТЕ! — все кричал я. Никогда не испытывал я подобного облегчения от крика, никогда не ведал я такого чистого и всепоглощающего малодушия, чтобы криком взывать к высоте небес в этом Богом забытом месте, где вопли заполняли все пространство и никто тебя не слышал, никто, кроме улыбающихся мертвецов-прислужников.

— Учись, дорогой мой.

— Учись.— Шепот, как поцелуй. Душа индийца с головой в тюрбане и смуглым лицом.— Учись, мальчик мой.

— Взгляни наверх, посмотри на цветы, посмотри на небо...— Женщина-призрак из прислужников танцевала по кругу, ее белое платье то пропадало в клубах копоти и дыма, то вновь появлялось, ступни ее тонули в глине, но затем уверенно выбирались на твердое место.

— Не дурачь меня, здесь нет сада! — заорал я. Я стоял на коленях. Одежда моя была изорвана, но под рубашкой был Плат! Он *был* у меня!

— Возьми меня за руки...

— Нет, отпусти меня! — Я просунул руку под пиджак, чтобы накрыть Плат. Пошатываясь, мне навстречу поднялась неясная фигура с простертой рукой.— Ты, ты, проклятый мальчишка, ты, грязный щенок, ты — на улицах Парижа, словно сам Люцифер, сияющий золотым светом, ты! Подумай, что ты сделал со мной!

Из тьмы проступила таверна, мальчик, падающий навзничь от удара моего смертельного кулака, покатившиеся бочонки и крики пьяниц, набросившихся на меня.

— Нет, остановитесь! — зарычал я.— Уберите его от меня. Я его не помню. Я никогда не убивал его. Не помню. Говорю вам, я не могу... Клодия, где ты? Где ты — та, кого я обидел? Клодия! Николя, помогите мне!

Но были ли они там, затерявшиеся в вихре, или исчезли, давно пропали в туннеле на пути к сияющему торжеству наверху, на пути к радостным песнопениям, вплетающим тишину в свои

мелодии и аккорды? Молитв я уже не слышал, тех молитв, что шли оттуда, с небес.

Мои вопли лишились всякого достоинства, и все же насколько дерзко звучали они для моего слуха.

— Помогите, кто-нибудь! Помогите!

— Неужели тебе надо сперва умереть, чтобы затем послужить мне? — спросил Мемнох. Он возник предо мной, гранитный ангел тьмы с распростертыми крыльями. «О да, разруши эти ужасы ада, пожалуйста, пусть хоть в этом своем ужасном виде!» — Ты вопишь в аду так же, как пел на небесах. Это мое царство, это наша работа. Помни о свете!

Я упал назад, ударился при этом плечом и ушиб левую руку, потому что не хотел отпускать Плат, который держал правой рукой. Я увидел над головой промельк небесной голубизны, осыпающиеся с зеленых веток лепестки цветков персика и свисающие с этих же веток ароматно пахнущие плоды.

Дым застлал мне глаза. Коленопреклоненная женщина сказала мне:

— Теперь я понимаю, что никто не может простить меня, кроме меня самой, но как могла я сделать с ней такое — она же такая маленькая. Как я могла...

— Я думала, тут — другое,— прошептала молодая девушка, хватая меня за шею и касаясь своим носом моего, пока говорила,— но ты знаешь эту доброту, просто когда держишь его за руку, а он...

— Прости! — молвил Мемнох и стал продвигаться вперед, осторожно отодвигая души в сторону.

Но толпа напирала; бледные фигуры мчались надо мной и вокруг, словно стремились к какому-то, мне невидимому источнику их тревоги.

— Прости! — прошептал Мемнох.

Он выхватил из толпы выпачканного в крови монаха, коричневая сутана которого была изорвана в клочья, ступни — обожжены и покрыты волдырями.

— В твоем сердце — власть! — сказал Мемнох.— Стань лучше Его, подай Ему пример.

— Я люблю... Его...— С губ призрака слетел шепот, а сам призрак неожиданно исчез.— Он не мог допустить, чтобы мы так страдали... Не мог.

— Он прошел испытание? — спросил я.— Прошла ли его душа освидетельствование в этом адском месте? Было ли достаточно слов, которые он сказал? Или он ползает где-нибудь здесь, в грязи? Или же туннель взял его наверх? Мемнох! Помоги мне.

Я повсюду искал монаха с обожженными ступнями. Искал и искал.

Взрыв потряс городские башни, и они обрушились. Огромная мечеть рухнула. Человек стрелял из ружья по бегущим. Женщины в покрывалах с криками падали на землю.

Громче и громче гремел колокол.

— Боже милосердный! Мемнох, колокол звонит, слушай! Больше чем просто колокол!

— Колокола ада, Лестат, и они ни по кому не звонят! Они звонят по нам, Лестат! — Он схватил меня за ворот, словно собираясь оторвать от земли.— Вспомни свои слова, Лестат. Колокола ада — ты слышишь зов колоколов ада!

— Нет, отпусти меня. Я не понимал, что говорю. То была поэзия. То была глупость. Отпусти меня. Я не могу это вынести!

Под лампой вокруг стола с десяток людей спорили над картой, иные — обняв друг друга и указывая на различные участки, окрашенные в тусклые цвета. Повернулась чья-то голова. Мужчина?

Лицо:

— Ты!

— Отпусти меня! — Я повернулся и был отброшен к стене с книжными полками; книги попадали, блестя корешками и ударяя меня по плечам. Господь милосердный, мои члены не могли больше этого вынести. Я заехал кулаком в сверкающий земной глобус, укрепленный на причудливом деревянном обруче. На меня уставился пустыми глазницами стоящий на коленях ребенок.

Увидев дверной проем, я побежал.

— Нет, отпусти меня. Не могу. Не буду. Не буду.

— Не будешь? — Мемнох схватил меня за правое предплечье, надвинувшись на меня хмурым темным лицом, подняв крылья и вновь заслоняя свет, когда они сложились, чтобы окутать меня, словно я — его собственность.— Ты не поможешь мне освободить это место, послать эти души на небеса?

— Я не в силах сделать это! — воскликнул я.— Я не стану это делать! — Внезапно во мне пробудилась ярость. Я чувствовал, как она уничтожает весь мой страх, сомнения и дрожь; я ощущал, как она пробегает по моим венам подобно расплавленному металлу. Хорошо знакомый мне гнев, решимость Лестата.— *Я не стану частью всего этого ни ради тебя, ни ради Него, ни ради них или кого-либо вообще!*

Я качнулся назад, свирепо уставившись на него.

— Нет, только не это. Не для такого, как Он, слепого Бога и не для того, кто требует то, чего требуешь от меня ты. Вы сумасшедшие, вы оба! Я не стану помогать тебе. Я отказываюсь.

— Так вот как ты поступишь со мной — ты меня покинешь? — ошеломленно воскликнул он; его темное лицо исказилось от боли, на гладких черных щеках засверкали слезы.— Ты оставишь меня с этим и не протянешь руки, чтобы помочь, после всего, что ты совершил?! Каин, братоубийца, убийца невинных, неужели ты мне не поможешь?..

— Перестань, ну перестань. Я не стану, не могу поддержать тебя. Не могу помочь этому свершиться. Не могу участвовать в этом! Не могу этого вынести! *Не могу учить в этом месте!*

В горле у меня хрипело и жгло, и шум, казалось, поглотил мои слова, но Мемнох услыхал их.

— Нет, нет, не буду — не тот материал, не те правила, не та эстетика! Никогда, никогда, никогда!

— Трус,— прорычал он; миндалевидные глаза его сделались огромными, на твердом черном лбу и щеках вспыхивали отблески огня.— У меня в руках твоя душа, я дарю тебе спасение за цену, за которую вымаливают у меня прощение те, кто страждет здесь уже много тысячелетий!

— Только не я. Не хочу стать частью этой боли, нет — не теперь, никогда... Иди к Нему, меняй правила, улучшай их, пусть они обретут смысл, но только не это — это выше человеческого терпения, это несправедливо, несправедливо, это бессовестно.

— Это же ад, глупец! Чего ты ожидал? Что ты будешь служить господину ада, ни капли не страдая?

— Не стану совершать над ними такое! — пронзительно закричал я.— К черту меня и тебя.— Я стиснул зубы. Я кипел и бушевал, вынося свой приговор.— Я не стану участвовать в этом

с ними! Не понимаешь? Не могу этого принять! Не могу посвятить себя этому. Не могу подчиниться этому. А теперь я покидаю тебя — ты ведь предоставил мне право выбора. Отправляюсь домой! Освободи меня!

Я повернулся.

Он снова схватил меня за руку, но на этот раз гнев мой не знал границ. Я отшвырнул его назад, в сторону тающих и падающих душ. Там и здесь к нам с возгласами поворачивались мертвецы-прислужники; на их бледных вытянутых лицах читались тревога и уныние.

— А теперь уходи,— клял меня Мемнох, все так же неподвижно лежа на земле — на том месте, куда я его отшвырнул.— И, Бог свидетель, ты, мой ученик, будучи при смерти, приползешь ко мне на коленях, но никогда уже не будет тебе предложено стать моим принцем, моим помощником!

Я оцепенело уставился через плечо на его поверженную фигуру. Зарывшись локтем в мягкую черную изнанку своего крыла, он поднялся на копыта и снова направился ко мне своей чудовищной прихрамывающей походкой.

— Ты слышишь меня?

— *Я не могу служить тебе!* — *прогремел я во всю глотку.*— Не могу это сделать.

Потом я обернулся в последний раз, зная, что больше не посмотрю назад, с одной только мыслью: спастись! Я бежал и бежал, оскальзываясь на глине и камнях покатых берегов, переправляясь вброд через мелкие ручьи, минуя группы удивленных мертвецов-прислужников и стенающих душ.

— Где лестница? Где врата? Вы не можете мне в этом отказать. Вы не имеете права. Смерть не завладела мной! — кричал я, так и не оборачиваясь назад и не останавливая бег.

— Дора! Дэвид! Помогите мне! — звал я.

И тут почти у моего уха прозвучал голос Мемноха:

— Лестат, не делай этого, не уходи. Не возвращайся домой. Лестат, не делай этого, это сумасшествие — разве не понимаешь,— ну пожалуйста, во имя любви к Господу, если ты можешь хоть немного любить Его и любить их, помоги мне!

— НЕТ! — Я обернулся и, с силой толкнув его, увидел, как он покатился вниз по крутым ступеням — неуклюжая и гро-

тескная фигура с выражением изумления на лице, запутавшаяся в огромных хлопающих крыльях. Я резко повернулся к нему спиной. Впереди, из открытой двери на самом верху, лился свет.

Я побежал на свет.

— Остановите его! — закричал Мемнох.— Не выпускайте его. Не позволяйте ему унести с собой Плат.

— У него с собой Плат Вероники! — воскликнул один из мертвецов-прислужников, внезапно бросаясь на меня из сумрака.

Моя нога едва не соскользнула, однако я продолжал бегом скакать со ступеньки на ступеньку. Ноги сильно болели. Я чувствовал, что они приближаются ко мне — мертвецы-прислужники.

— Остановите его.

— Не дайте ему уйти!

— Остановите его!

— Отберите у него Плат,— кричал Мемнох,— он под рубашкой — нельзя, чтобы Плат пропал вместе с ним!

Я взмахнул левой рукой, и один из мертвецов-прислужников прилип обмякшей, бесформенной грудой к скале. Высоко наверху неясно вырисовывалась дверь. Мне был виден свет. Я видел свет и знал, что это земной свет — сверкающий и естественный.

На мои плечи опустились руки Мемноха, и он крутанул меня к себе.

— Нет, ты не посмеешь! — прорычал я.— Бог мне простит. Ты меня простишь, но не забирай ни меня, ни Плат! — гремел я.

Я поднял левую руку, чтобы отгородиться от его протянутых ко мне рук, и снова ударил Мемноха. Но его спасли крылья: Мемнох взлетел мне навстречу и едва не вдавил меня обратно в ступени. Я почувствовал, как его пальцы пронзают мой левый глаз! Вот они разлепили мне веки и стали вдавливать глаз в череп, причиняя мне нестерпимую боль, а потом по моей щеке сползла вниз студенистая масса.

Я услышал прерывистый вздох Мемноха.

— О нет...— простонал он, прижав пальцы к губам, в ужасе уставившись на тот же предмет, на который смотрел и я.

На глаз, на мой круглый голубой глаз, дрожащий и мерцающий на ступени лестницы. Все мертвецы-прислужники тоже уставились на глаз.

— Наступите на него, раздавите его,— воскликнул один из них и бросился вперед.

— Раздавить его, наступить, размазать! — закричал другой, устремившись к глазу с верхних ступеней.

— Нет, не делай этого, не надо! Остановитесь, вы все! — простонал Мемнох.— Не в моем царстве, здесь вы не посмеете!

— Наступи на глаз!

Это было мое мгновение, мой шанс. Я взлетел наверх, едва касаясь подошвами ступеней. Я почувствовал, как моя голова и плечи погружаются в свет и тишину, а потом в снег.

Я был свободен.

Я оказался на земле. Ноги мои ударились о мерзлую почву — скользкий снег вперемешку с грязью.

Я бежал, одноглазый, истекающий кровью, с Платом, спрятанным под рубашкой, бежал сквозь жестокую бурю, сквозь снежные заносы; крики мои взлетали вверх и эхом отражались от знакомых зданий — темных, неприветливых небоскребов моего города. Дом, земля.

Солнце только что погрузилось в темно-серую дымку налетевшей метели; белизна снега поглотила зимние сумерки.

— Дора, Дора, Дора!

Я все бежал и бежал.

Призрачные смертные пробирались сквозь метель; призрачные люди спешили по узким скользким тротуарам, автомобили ползли сквозь бурю, и их фары высвечивали поднимающуюся, сгущающуюся белизну. Снежные сугробы были настолько высокими, что я падал и с трудом вставал на ноги, но продолжал идти.

Передо мной возникли арки и шпили собора Святого Патрика. Святой Патрик.

А чуть дальше возносилась вверх стена Олимпийской башни из стекла, напоминающего полированный камень. Своей чудовищной высотой она пыталась достать до самих небес, уподобившись Вавилонской башне.

Я остановился, сердце мое едва не разрывалось.

— Дора! Дора!

Я достиг дверей вестибюля — головокружительные огни, гладкие полы, скопление смертных. Повсюду смертная плоть,

поворачивающаяся взглянуть на то, что двигалось слишком быстро, чтобы быть замеченным. Убаюкивающая музыка и уютные огни, поток искусственного тепла!

Я отыскал лестничный пролет и взмыл по нему вверх, как пепел по дымоводу; вломившись через деревянную дверь, я вошел, пошатываясь, в комнату.

Дора.

Я увидел ее, почувствовал ее запах, снова ощутил аромат крови между ног; увидел это нежное маленькое лицо, белое, потрясенное, и по обе стороны от нее, как домовые из детских стишков или рассказов-страшилок, стояли Арман и Дэвид — вампиры, монстры, уставившиеся на меня в одинаковом оцепенении.

Я попробовал открыть левый глаз, которого у меня больше не было, затем повертел головой, чтобы ясно рассмотреть всех троих единственным правым глазом. Я ощущал острую боль в пустой глазнице, словно туда вонзилось множество иголок.

Лицо Армана застыло от ужаса. Он стоял в своем отделанном кружевом шикарном бархатном наряде и до блеска начищенных ботинках. Обращенное ко мне лицо ангела Боттичелли искажала боль.

И рядом с ним — Дэвид, исполненный жалости и сочувствия. Пожилой англичанин, заключенный в молодое, здоровое тело, по-зимнему укутанное в твид и кашемир, выглядел ошеломленным.

Монстры, одетые как люди — земные, настоящие люди!

И светящаяся фигурка моей Доры, моей хрупкой, страстной Доры с ее огромными черными глазами.

— Милый, милый,— воскликнула Дора,— я здесь! — Она обняла меня теплыми маленькими руками за ноющие плечи, не обращая внимания на снег, падающий с моих волос и одежды. Я опустился на колени, зарыв лицо в ее юбку, поближе к крови между ногами, крови из ее живой матки, крови земли, крови Доры, которую дарило ее тело, а затем повалился на пол.

Я был не в состоянии ни говорить, ни двигаться. Я чувствовал, как она прикасается своими губами к моим.

— Ты теперь в безопасности, Лестат,— сказала она.

Или то был голос Дэвида?

— Ты с нами,— молвила она.

Или то был Арман?

— Мы здесь.

— Посмотри, посмотри на его ноги. На нем только один ботинок.

— А его пиджак! Он порван... пуговицы потерялись.

— Милый, милый.— Она поцеловала меня.

Я осторожно перевернул ее на спину, стараясь не придавить своим весом, задрал на ней юбку и прижал лицо к ее обнаженным бедрам. Запах крови затопил мое сознание.

— Прости меня, прости меня,— прошептал я, и мой язык прорвал тонкий хлопок ее трусов, срывая ткань с мягких волос внизу лобка, отодвигая в сторону запятнанную кровью прокладку. Я приник к крови ее молодых набухших розовых вагинальных губ, вытекающей из устья ее матки, крови ее сильного молодого тела, крови плотных горячих клеток ее вагинальной плоти, крови, не приносящей боли или жертвы, а дарующей лишь ее нежную снисходительность ко мне, к моему невыразимому акту, когда мой язык глубоко проникал в нее, извлекая кровь, которая была еще только на подходе, нежно, очень нежно собирая кровь с мягких волос, растущих на ее половых губах, высасывая каждую ее мельчайшую капельку.

Нечистая, нечистая. Они кричали это на пути к Голгофе, когда Вероника сказала: «Господи, я прикоснулась к краю твоей одежды, и мое кровотечение прекратилось». *Нечистая, нечистая.*

— Нечистая, хвала Богу, нечистая,— прошептал я, облизывая языком тайное, запятнанное кровью место, ощущая вкус и запах крови, ее сладкой крови,— то место, откуда кровь вытекает свободно, и нет никакой раны, и нет в ней нужды — доступ к ее крови открыт для меня ее прощением.

В окно бился снег. Я слышал его, ощущал его — слепящий белый снег жуткой для Нью-Йорка снежной бури, холодная белая зима, все замораживающая своим покровом.

— Мой дорогой, ангел мой,— прошептала она.

Я лежал рядом с ней, я задыхался. Кровь ее была у меня внутри. Я извлек ее всю из матки — ту, что должна была вытечь. Я слизал даже ту, что налипла на прокладку.

Она села в кровати, скромно прикрывая меня своими скрещенными руками и наклонясь вперед. Она словно пыталась за-

крыть меня от их глаз — Дэвида и Армана,— ни разу при этом не оттолкнув, не закричав на меня, не отпрянув. И сейчас, когда я плакал, Дора держала мою голову в своих руках.

— Ты в безопасности,— снова повторила она.

В безопасности. Все они говорят: в безопасности, словно это магическое заклинание. Безопасность, безопасность.

— О нет! — воскликнул я. Я рыдал.— Нет, никто из нас не в безопасности. И никогда мы не будем в безопасности, никогда, уже никогда...

22

Я не позволю им прикасаться к себе. Я не собираюсь им отдавать ничего, даже рваный ботинок. Уберите ваши расчески, ваши полотенца, не надо меня утешать. Я вцепился в спрятанный на груди предмет.

Все, о чем я просил,— это кусок какой-нибудь ткани, чтобы укрыться. Они дали мне одеяло, мягкое, шерстяное — то, что надо.

Квартира почти опустела.

Все это время они без остановки переправляли сокровища Роджера на юг; занимались этим агенты из смертных. Большинство скульптур и икон были переправлены в монастырь в Новом Орлеане, бывший сиротский приют, и помещены в пустой часовне, которую я когда-то видел и где ничего не было, кроме распятия. Это был знак!

С делами было еще не совсем покончено. Оставались неотправленными кое-какие ценные вещи, пара чемоданов, коробки с бумагами, папки с досье.

Я отсутствовал три дня. В новостях было полно домыслов о смерти Роджера. Хотя как все это попало в прессу, мне говорить не хотели. В мире темного криминального наркобизнеса во всю шла драка за власть. Репортеры перестали звонить на телевидение с расспросами о Доре. Никто не знал об этой квартире. Никто не знал, что она здесь.

И лишь очень немногие знали о сиротском приюте, куда она собиралась вернуться, как только перевезут все реликвии Роджера.

На кабельном телевидении ее шоу запретили. Дочь гангстера больше не проповедовала. Она не виделась и не разговаривала со своими последователями. Из колонок новостей и шуток телеведущих она узнала, что скандал облек ее фигуру ореолом загадочности. Но в основном ее называли не имевшей никаких перспектив телеевангелисткой, выступавшей в кратковременных передачах и не ведавшей о делах отца.

В обществе Дэвида и Армана она утратила все контакты с прежним миром, живя здесь, в нью-йоркской квартира отца, за стенами которой властвовала тяжелейшая за последние пятьдесят лет зима и с небес валил снегопад; живя среди бесценных реликвий, прислушиваясь к ним, к их ласковым утешениям, к их чудесным сказкам, не представляя, что собирается делать, все еще веря в Бога...

Вот такими были самые последние новости.

Я забрал у них одеяло и пошел в одном ботинке через квартиру.

Я вошел в маленькую комнату. Завернулся в одеяло. Окно здесь было зашторено. Значит, солнца не будет.

— Не подходите ко мне,— сказал я.— Мне нужно отоспаться сном смертного. Мне нужно проспать ночь и следующий день, и потом я все вам расскажу. Не трогайте меня, не приближайтесь ко мне.

— Можно мне спать в твоих объятиях? — спросила Дора — бледное, трепещущее, наполненное кровью создание, стоящее в дверном проеме, за которым виднелись ее ангелы-вампиры.

Комната была темной. В ней стоял лишь один сундук с сокровищами. Правда, в холле были еще и статуи.

— Нет. Как только взойдет солнце, мое тело сделает все возможное, чтобы защититься от вторжения смертного. Тебе нельзя погружаться со мной в этот сон.

— Тогда позволь мне полежать с тобой хоть сейчас.

Двое других уставились через ее плечо на мою пустую глазницу, взволнованно подталкивая друг друга. В ней, должно быть, стояла кровь. Но наша кровь быстро сворачивается. Глаз был вырван с корнем. Какой же, интересно, у него корень? Я все еще чувствовал запах нежной, восхитительной крови, которую вкусил от Доры. Кровь осталась у меня на губах, ее кровь.

— Дайте мне поспать,— сказал я.

Заперев дверь, я лег на пол, подтянул колени к животу, окунулся в тепло и уют толстых складок одеяла. Я вдыхал запах прилипших к моей одежде сосновых иголок и земли, дыма, засохших частиц дерьма, крови — человеческой крови,— крови с полей сражений и крови из Айя-Софии, когда на меня свалился мертвый младенец, и запах конского навоза, и запах адского известняка.

Все это было под одеялом вместе со мной, а рука моя покоилась на развернутом Плате, прикрывавшем мою нагую грудь.

— Не подходите ко мне! — прошептал я вновь для ушей бессмертных, находящихся за пределами комнаты,— тех, что были так смущены и напуганы.

А потом я заснул.

Сладкий покой. Приятная темнота.

Хорошо бы смерть была похожа на это состояние. Хорошо бы вот так спать, спать и спать вечно.

23

Я пребывал в бесчувствии целых двадцать четыре часа, проснувшись лишь на следующий вечер, когда солнце на зимнем небе уже угасало. На деревянном сундуке были разложены предметы моей одежды, хорошей, а не той, в чем я пришел, и стояла пара ботинок.

Я попытался представить себе, кто все это подбирал для меня из того гардероба, что был в гостинице. Логика подсказывала, что это Дэвид. Я улыбнулся, размышляя о том, как часто в нашей жизни мы с Дэвидом совершенно запутывались в приключениях с одеждой.

Но, видите ли, вампир, который не придает значение такой мелочи, как одежда,— уже нонсенс. Даже самые великие мифические персонажи — если они созданы из плоти и крови — обязаны беспокоиться по поводу застежек на туфлях.

Меня вдруг осенило, что я вернулся из царства, где одежда изменяет вид по воле носящего ее. И что я покрыт грязью и на мне лишь один ботинок.

Я поднялся, не забывая об осторожности. Бережно достал Плат, не разворачивая и даже не рискуя взглянуть на него, хотя,

мне казалось, сквозь ткань проступало темное изображение. Я аккуратно снял с себя всю одежду и сложил ее стопкой на одеяле — так, чтобы не пропало ни одной сосновой иглы. Затем пошел в расположенную рядом ванную комнату — стандартное помещение с горячим паром, выложенное кафелем,— и купался как человек, крестящийся в Иордане. Дэвид приготовил мне все необходимые мелочи: щетки, расчески, ножницы. Вампиры, право, не нуждаются в особенной роскоши.

Все это время дверь ванной комнаты была приоткрыта. Осмелься кто-нибудь войти в спальню, я выпрыгнул бы из-под горячей струи и велел незваному гостю выйти.

Наконец я появился из ванной — влажный и чистый, причесал волосы, тщательно вытерся и полностью облачился в одежду. То есть надел на себя все, что у меня было, начиная с шелковых кальсон, майки и черных носков и кончая шерстяными брюками, рубашкой, жилетом и двубортным блейзером темно-синего цвета.

Потом я наклонился и поднял сложенный Плат. Я держал его, не осмеливаясь развернуть.

Мне было хорошо видно темное пятно на обратной стороне ткани. В этот раз я не сомневался. Я убрал Плат под жилет и тщательно застегнул все пуговицы.

Затем посмотрел в зеркало. Там отражался безумец в костюме от «Братьев Брукс», демон с роскошными белокурыми локонами, с расстегнутым воротником рубашки и единственным жутким глазом, глядящий на себя самого.

Глаз! Господь милосердный! Глаз!

Пальцы мои потянулись вверх, чтобы ощупать пустую глазницу и складку век, не до конца прикрывавшую пустоту. Сейчас бы меня очень выручила черная повязка на глаз. Но повязки не было.

Лицо осквернено, глаз отсутствовал. Я понял, что дико трясусь. Дэвид оставил для меня один из моих широких, наподобие шарфа, шейных платков из фиолетового шелка, и я обмотал его несколько раз вокруг шеи, чтобы он стоял, как старинный жесткий воротничок,— такие вы могли видеть на каком-то из портретов Бетховена.

Я заправил концы платка под жилет. Отраженный в зеркале, глаз отсвечивал под цвет платка фиолетовым.

Я быстро надел ботинки, посмотрел на изорванную одежду, поднял несколько комков грязи, засохший лист и осторожно положил все это на одеяло. Затем направился в коридор.

В квартире было тепло и стоял устойчивый запах ладана; он нисколько не раздражал — напротив, заставил вспомнить о старых католических храмах и о священниках в алтаре, размахивающих подвешенным на цепочку серебряным кадилом.

Войдя в жилую комнату, я увидел всех троих очень четко — они собрались на ярко освещенном пространстве, стекло стен превратилось в зеркало, снаружи был ночной город, на который падал и падал снег. Мне захотелось взглянуть на снег. Я прошел мимо них и прижался лицом к стеклу. Крыша собора Святого Патрика была белой от снега, но на острых шпилях снег не задерживался, хотя каждый выступ, каждая архитектурная деталь были опушены белым. Улица превратилась в непроходимое заснеженное ущелье. Там что, перестали убирать снег?

Внизу двигались маленькие фигурки ньюйоркцев. Были ли среди них одни живущие? Я напряг правый глаз. Видны были только те, кто казался живым. Я стал пристально рассматривать церковную кровлю, предвкушая ужас от того, что, вдруг увидев вплетенную в орнамент горгулью, я обнаружу ее следящие за мной живые глаза.

Вообще-то, меня мало кто волновал, кроме, конечно, находящихся со мной в комнате — тех, кого я любил, тех, кто ждал терпеливо, когда же кончится мое мелодраматическое, наполненное эгоизмом молчание.

Я обернулся. Арман снова принарядился в модный бархат и кружево — образчики этого так называемого неоромантического стиля можно найти сейчас в любом из магазинов Нью-Йорка. Его нестриженые распущенные золотисто-каштановые волосы ниспадали так же, как это было в давно минувшие времена, когда, считаясь святым среди Детей Сатаны, как называли себя вампиры Парижа, он не позволял себе быть столь тщеславным, чтобы срезать хоть один локон. Чистота его волос была идеальной, цвет их, золотисто-каштановый, контрастировал с темно-красным, кровавым фоном его пальто. А эти его печальные, вечно юные глаза, смотрящие на меня, его гладкие мальчишеские щеки, ангельский рот. Он сидел у стола, сдержанный, но

переполненный любовью и любопытством, даже смутной покорностью, казалось, говорящей: «Отложим все наши споры, я здесь ради тебя».

— Да,— произнес я вслух.— Спасибо.

Дэвид сидел с ним рядом, крепкий молодой англосакс с коричневыми волосами, на вид все так же пышущий здоровьем, как и в ту ночь, когда я сделал его одним из нас. По обыкновению на нем был твидовый пиджак с заплатками из кожи на локтях и наглухо застегнутый, как и у меня, жилет. Кашемировый шарф защищал его шею от холода, к которому он вряд ли привык, несмотря на свое здоровье.

Даже странно, до чего мы все чувствительны к холоду. Иногда мы, правда, долго не замечаем его, а потом вдруг реагируем неожиданно чутко.

Рядом сидела моя Дора, напротив Армана. Дэвид сидел между ними, ближе ко мне. Для меня был оставлен стул, стоящий спинкой к окну и небу, если б я захотел сесть. Я посмотрел на стул. Простой, утилитарный предмет: черная лакированная поверхность, восточный стиль, скорее всего китайский, весьма практичный, видимо — дорогой.

Дора встала, слегка расставив ноги. Одета она была в легкое длинное платье из шелка цвета бургундского. Ее белые руки были обнажены. Лицо выражало тревогу; шапочка блестящих черных волос мысками опускалась на щеки — модная стрижка восьмидесятилетней давности, возрожденная в наши дни. Глаза ее были полны любви.

— Что случилось, Лестат? — спросила она.— Расскажи нам, пожалуйста!

— Где твой глаз? — задал вопрос Арман.

Именно такого вопроса я от него и ждал. Вставать он не стал.

Дэвид, как истинный англичанин, поднялся лишь потому, что встала Дора. Арман продолжал сидеть, глядя на меня снизу вверх и задавая прямые вопросы.

— Что с ним случилось?

Я посмотрел на Дору.

— Они могли спасти глаз,— начал я, вспоминая рассказ о дядюшке Микки, дядюшкином глазе и гангстерах,— если бы бандиты не растоптали его!

— О чем ты говоришь? — спросила она.

— Я не знаю, растоптали они мой глаз или нет,— отвечал я, раздосадованный дрожью в собственном голосе. Вечная моя беда — голос.— Это были не бандиты, а призраки, и когда я бежал, то оставил глаз лежать на ступенях. Это был мой единственный шанс. Возможно, они раздавили его, размазали, будто каплю слизи, не знаю. А что, дядюшку Микки похоронили со стеклянным глазом?

— Да... Думаю, да,— в изумлении произнесла Дора.— Никто никогда не говорил мне про это.

Я чувствовал, как те двое пристально на нее смотрят, как Арман разглядывает меня, как они мысленно восстанавливают образ дяди Микки, избитого до полусмерти в баре «Корона» на Мэгазин-стрит, когда гангстер остроконечным носком ботинка раздавил дядюшкин глаз.

Дора судорожно вздохнула.

— Что с тобой случилось?

— Вы перевезли вещи Роджера? — спросил я.

— Да, они в часовне Святой Елизаветы, в надежном месте,— ответила Дора.

Святой Елизаветы... Это было название сиротского приюта, когда он еще существовал. Я никогда не слышал, чтобы она произносила это название раньше.

— Никому не придет в голову искать их там. Прессе до меня уже нет дела. Папины враги, как стервятники, отслеживают его корпоративные связи; они нацелены на его банковские счета; ради ключей от его сейфов они готовы убить любого. Я же, его дочь, считаюсь побочной, к тому же разорившейся. А, не важно.

— Благодарение Богу за это,— произнес я.— Вы говорили им, что он умер? Скоро ли окончится вся эта история, и какую роль вам надлежит в ней играть?

— Нашлась его голова,— спокойно сказал Арман.

Он стал объяснять приглушенным голосом. Собаки вырыли голову из кучи мусора и дрались из-за нее под мостом. Примерно с час какой-то старик, греясь у костра, наблюдал за ними и наконец понял, что собаки грызлись из-за человеческой головы. Тогда он отнес голову в соответствующее учреждение, и генетический анализ волос и кожи показал, что это Роджер. Зубные

коронки не помогли бы. У Роджера были превосходные зубы. Доре оставалось лишь ее опознать.

— Он, должно быть, сам хотел, чтобы ее нашли,— сказал я.

— Почему ты так думаешь? — спросил Дэвид.— Где ты пропадал?

— Я видел твою мать,— сказал я Доре,— видел ее белокурые волосы и голубые глаза. Совсем скоро и она, и другие будут на небесах.

— О чем, ради всего святого, ты говоришь, милый? — спросила она.— Ангел мой? Что такое ты мне рассказываешь?

— Садитесь все. Я расскажу вам историю целиком. Выслушайте, что я скажу, и не перебивайте. Нет, я не хочу садиться, я буду стоять вот так, спиной к небу, вьюге, снегу и храму. Я буду ходить по комнате. Слушайте же то, что мне надлежит рассказать вам. Запомните. Все это приключилось со мной! Меня могли одурачить. Меня могли обмануть. Но я видел все это собственными глазами и слышал собственными ушами!

Я рассказал им все, с самого-самого начала; некоторые вещи они слышали раньше, но все вместе — никогда. Я начал с моего первого фатального взгляда на Роджера, с моей любви к его бесстыдной белозубой улыбке и виноватым мерцающим черным глазам и дошел в истории до того момента, когда прошлой ночью я вломился в дверь этой квартиры.

Я передал им все. Каждое слово, произнесенное Мемнохом и Богом Воплощенным. Все, что я видел на небесах, в аду и на земле. Я говорил, и говорил, и говорил...

Рассказ занял всю ночь. Шли часы, пока я отмеряя шаги, подчас бессвязно говорил что-то, повторял те части, которые хотел передать точно, рассказывал об этапах человеческой эволюции, приводивших ангелов в замешательство, и о просторных небесных книгохранилищах, и о персиковом дереве, и о Боге, и о воине в аду, поверженном, но не желающем сдаваться. Я описал им подробности убранства Айя-Софии. Я говорил о нагих мужчинах на поле брани. Снова и снова описывал ад, описывал небеса. Повторял свою последнюю речь о том, что не смогу помогать Мемноху, не смогу учить в его школе!

Они не спускали с меня глаз, не произносили ни звука.

— Плат у тебя с собой? — спросила Дора дрожащими губами.— Он сохранился?

Таким нежным был наклон ее головы, словно она заранее прощала мне, если бы я сказал: «Нет, я потерял его на улице, отдал нищему!»

— Плат ничего не доказывает,— сказал я.— Что бы ни было на нем изображено, это ничего не значит! Любой, кто в состоянии создать подобные иллюзии, может создать и Плат! Он не доказывает ни правду, ни ложь, ни мошенничество, ни колдовство.

— Когда ты был в аду,— спросила она так ласково, так по-доброму, и белое ее лицо сияло при свете лампы,— ты сказал Роджеру про Плат?

— Нет, Мемнох не разрешил. И я видел его всего минуту, понимаешь — одно мгновение первый раз и потом второй. Но он вознесется наверх, я знаю, он вознесется, потому что умен и многое постиг, и Терри отправится с ним! Они окажутся в объятиях Господа, если только Бог не дешевый фокусник и все это не было ложью. Но ложью ради чего? С какой целью?

— Так ты не веришь в то, о чем Мемнох тебя просил? — спросил Арман.

Только в этот момент до меня дошло, насколько он потрясен, каким он был еще мальчиком, когда из него сделали вампира, насколько был молод и полон земной грации. Он хотел, чтобы все это было правдой!

— О да, верю! — ответил я.— Я ему верил, но *все это могло оказаться ложью*, разве не понимаешь?

— Разве ты не чувствовал, что это правда,— спросил Арман,— что ты был ему действительно нужен?

— Что? — возмутился я.— Неужели мы опять вернулись к спорам о том, служим ли мы Господу, служа Сатане? К вашим с Луи спорам в Театре вампиров о том, являемся ли мы, Дети Сатаны, детьми Бога?

— Да! — ответил Арман.— Ты ему поверил?

— Да. Нет. Не знаю,— сказал я.— Не знаю! — Голос мой перешел в крик.— Я ненавижу Бога столь же сильно, как всегда. Я возмущаюсь ими обоими, черт бы их побрал!

— А Христос? — спросила Дора, и глаза ее наполнились слезами.— Было ли Ему жаль нас?

— Да, по-своему. Да. Вероятно. Возможно. Кто знает! Но Он не прошел через страсти, как человек, о чем просил Его Мемнох. Он нес Свой крест, как Бог Воплощенный. Говорю вам, их правила — это не наши правила! Мы постигли лучшие правила! Мы подчинены безумным вещам!

Она разразилась тихими, скорбными рыданиями.

— Почему же мы никогда, никогда ничего о них не узнаем? — плакала она.

— Не знаю! — заявил я.— Знаю, что они там, что являлись мне, что позволили увидеть себя. И все же я не знаю!

Дэвид хмурился, как это делал Мемнох, когда глубоко задумывался. Затем спросил:

— А если все это было чередой образов и иллюзий, вещей, извлеченных из твоей души и сознания? Какова тогда его цель? Если не прямое предложение стать его заместителем или принцем, то каков еще может быть мотив?

— А что вы думаете? — спросил я.— Они забрали мой глаз! Говорю вам, здесь нет ни слова лжи. Они забрали мой проклятый глаз, черт его возьми. Не понимаю, зачем все это, если только это не правда — правда до последнего звука.

— Мы понимаем, ты веришь, что это правда,— сказал Арман.— Ты полностью в это веришь. Ты был свидетелем. И я верю, что это правда. На всем протяжении своих долгих странствий по долине смерти я верил, что это правда!

— Не будь таким глупцом,— с горечью произнес я.

Но я видел огонь в лице Армана; я видел в его глазах восторг и печаль. Я видел, что весь он наэлектризован верой, готов к обращению.

— Одежда,— задумчиво и спокойно произнес Дэвид,— в той комнате. Вещественные доказательства пригодятся для научного подтверждения.

— Перестань рассуждать как ученый. Эти создания играют в игры, понятные только им. Что им до сосновых иголок и грязи, прилипших к моей одежде. Да, я сберег эти реликвии, я сберег все, за исключением своего проклятого глаза, который оставил на лестнице, выбираясь из ада. Я тоже хочу исследовать следы на этой одежде. Я тоже хочу знать, что это был за лес, по которому я шел, слушая его звуки!

— Они выпустили тебя,— сказал Дэвид.

— Видел бы ты его лицо, когда он заметил глаз на ступени,— ответил я.

— Какое у него было лицо? — спросила Дора.

— На нем был ужас, ужас от того, что это произошло. Понимаешь, когда он потянулся ко мне, думаю, что его пальцы попали в мою глазницу случайно. Он просто собирался схватить меня за волосы, но промахнулся. А когда его пальцы погрузились в глазницу, он попытался в страхе вытащить их. И глаз выпал, растекшись по моему лицу, отчего Мемнох был поражен ужасом!

— Ты любишь его,— глухо произнес Арман.

— Да, я люблю его. Я думаю, что он прав во всем. Но я ни во что не верю!

— Почему же ты не принял его? — спросил Арман.— Почему не отдал ему свою душу?

О, как наивно это прозвучало, как явно исходило от сердца, древнего и ребяческого, сердца столь сверхъестественно сильного, что оно смогло на протяжении сотен лет биться вместе с сердцами смертных.

Маленький дьявол! Арман!

— Почему же ты не принял его? — Тон его был умоляющим.

— Они дали тебе спастись, и у них была цель,— сказал Дэвид.— Это вроде того видения, что посетило меня в кафе.

— Да, у них была цель,— откликнулся я.— Но разве я разрушил их намерение? — Я смотрел на него в ожидании ответа — на него, мудрого, старого по человеческим меркам.— Дэвид, разве я помешал им тем, что изъял тебя из жизни? Разве я помешал им каким-то иным образом? О, если бы только вспомнить — их голоса в самом начале. Что-то говорилось о мщении. Но не просто о мщении. Но все это лишь обрывки. Не могу сейчас вспомнить. Что произошло? Вернутся ли они за мной?

Я вновь разразился рыданиями. Глупо. И снова стал описывать Мемноха, во всех его обличьях, включая образ обыкновенного человека, правда идеальных пропорций,— его крадущиеся шаги, его крылья, дым, сияние небес, пение ангелов...

— Сапфировый...— прошептал я.— Эти образы, эти вещи, которые видели пророки, пересыпая свои писания такими словами, как топаз, берилл, огонь, золото, лед и снег,— все это там было... и Он молвил: «Испей Моей крови!» Я так и сделал.

Они придвинулись ко мне ближе. Я их напугал. Я был чересчур громогласен, чересчур одержим. Они окружили меня, обняли, а Дэвид еще и прижался своим смуглым лбом к моему.

— Если позволишь...— сказал Арман, чьи пальцы скользили к моему воротнику.— Если позволишь мне испить, то я узнаю...

— Нет, все, что ты узнаешь, это то, что я верю в увиденное мною! — молвил я.

— Нет,— сказал он, качая головой.— Я узнаю кровь Христа, если отведаю твоей.

Я тоже покачал головой.

— Прочь от меня. Я не знаю даже, как будет выглядеть Плат. Будет ли он похож на нечто, чем я вытирал во сне кровавый пот? Прочь.

Они подчинились. Их круг разомкнулся. Я повернулся спиной к стене, чтобы видеть слева от себя снег, хотя теперь для этого мне пришлось повернуть голову. Взглянув на них, я нащупал рукой свернутый под жилетом Плат. Ощутив под пальцами древнюю ткань, я испытал странное, необъяснимое чувство.

Я вынул Плат и поднял его над головой, словно был Вероникой, показывающей его толпе.

В комнате настала тишина, не нарушаемая ни малейшим движением.

Затем я увидел, как Арман рухнул на колени. Дора испустила протяжный, пронзительный крик.

— Боже милостивый,— молвил Дэвид.

Охваченный дрожью, я опустил Плат, продолжая держать его за края — так, чтобы видеть отражение Плата в темном стекле окна на фоне падающего снега.

Его лик! Его лик впечатался в ткань. Я посмотрел вниз. Бог Воплощенный в упор смотрел на меня, выжженный на ткани — не нарисованный, не вышитый, а втравленный в самые волокна. Его лик, лик Господа, в момент, когда Он истекал кровью в Своем терновом венце.

— Да,— прошептал я.— Да, да.— Я упал на колени.— О да, такой законченный, до последней детали.

Я почувствовал, как Дора берет у меня Плат. Я бы не отдал его, попытайся это сделать кто-нибудь другой. Но я доверял ее нежным рукам, и Дора подняла его вверх, поворачивая в раз-

ные стороны, чтобы каждый мог увидеть Его темные глаза, сияющие на полотне!

— Это Бог! — пронзительно вскрикнула она.— Это Плат Вероники! — Ее крик сделался торжествующим и исполнился радости.— Отец, ты сделал это! Ты подарил мне Плат!

И она принялась смеяться подобно человеку, узревшему все видения, которые только можно вытерпеть; она кружилась в танце с высоко поднятым Платом, вновь и вновь повторяя одни и те же слова.

Стоящий на коленях Арман был потрясен и сломлен, по щекам его катились кровавые слезы — жуткие красные ручейки на белой плоти.

Покорный и смущенный, Дэвид просто наблюдал. Он пристально рассматривал Плат, пока тот реял в воздухе, во всю ширину растянутый у Доры в руках. Он пристально изучал мое лицо. Он рассматривал сгорбившуюся, сломленную фигуру рыдающего Армана, этого потерянного дитяти в его восхитительном бархате и кружевах, теперь запятнанных слезами.

— Лестат,— рыдала Дора, из чьих глаз потоком лились слезы,— ты принес мне лик моего Господа! Ты принес Его всем нам. Понимаешь? Мемнох проиграл! Мемнох повержен. Бог победил! Бог использовал Мемноха в собственных целях, Он завел Мемноха в лабиринт Мемнохом же созданной конструкции. Бог торжествует!

— Нет, Дора, нет! Ты не можешь в это поверить,— вопил я.— А что, если это неправда? Что, если все это было набором трюков? Дора!

Она промчалась мимо меня по коридору и выскочила за дверь. Мы трое стояли в оцепенении. Потом услышали, как спускается лифт. У нее с собой был Плат!

— Дэвид, что она собирается делать? Дэвид, помоги мне.

— Кто теперь нам поможет? — спросил Дэвид без всякой убежденности или горечи, лишь с рассудительностью, извечной своей рассудительностью.— Арман, возьми себя в руки. Нельзя этому поддаваться,— произнес он. Голос его был печальным.

Но Арман был безутешен.

— Почему? — спросил Арман. В тот момент он был лишь стоящим на коленях ребенком.— За что?

Вот так, должно быть, он выглядел столетия назад, когда Мариус явился освободить его от венецианских захватчиков — его, мальчика, которого держали для плотских утех, мальчика, привезенного во дворец бессмертного.

— Почему же я не могу в это поверить? О Господи, я верю в это. Это лицо Христа!

Он, как пьяный, поднялся на ноги и медленно, упрямо, шаг за шагом, пошел за Дорой.

К тому времени, как мы вышли на улицу, она уже стояла и кричала перед дверями собора:

— Откройте двери! Откройте церковь! У меня с собой Плат Вероники!

Дора пнула ногой бронзовую дверь. Вокруг нее собирались смертные, слышался приглушенный шум голосов.

— Плат, Плат! — Они уставились на нее, когда она замерла на месте, показывая им свое сокровище еще и еще. Потом все принялись колотить в дверь.

Небо над головами светлело от лучей встающего солнца — еще далекого, еще скрытого в зимней мгле, но неизбежно следующего своим привычным путем, чтобы осветить нас смертельным светом, если только мы не найдем укрытия.

— Откройте двери! — завизжала она.

Отовсюду спешили люди, прерывисто дыша, падая на колени при виде Плата.

— Уходите,— сказал Арман,— ищите укрытие, пока не поздно. Дэвид, возьми его, уходите.

— А ты? Что будешь делать ты? — вопрошал я.

— Я останусь свидетелем. Буду стоять здесь с распростертыми руками,— воскликнул он,— и когда взойдет солнце, моя смерть подтвердит чудо.

Массивные двери наконец открылись. Одетые в темное фигуры в изумлении отпрянули. Первый луч серебристого света осветил Плат, а потом изнутри засиял теплый электрический свет, перемешанный со светом свечей, и потянуло нагретым воздухом.

— Лик Христа! — пронзительно кричала она.

Священник повалился на колени. Другой, более пожилой мужчина в черном — монах, священник, кто бы он ни был,— стоял с открытым ртом, глядя на Плат снизу вверх.

— Боже милосердный, Боже милосердный,— повторял он, крестясь.— Чтобы при моей жизни, Господи... Это та самая Вероника!

Мимо нас проносились люди, спотыкаясь и отталкивая друг друга, чтобы последовать за ней в церковь. Я слышал, как их шаги отдаются эхом под гигантскими сводами.

— У нас нет времени,— шепнул Дэвид мне в ухо. Он оторвал меня от земли, сильный, как Мемнох, правда вихря при этом не было — был лишь разгорающийся зимний рассвет, и падающий снег, и все больше криков, воплей и стенаний, по мере того как мужчины и женщины стекались к церкви; на колокольне в вышине зазвонили колокола.

— Скорей, Лестат, пойдем со мной!

Мы уже бежали, почти слепые от света, когда позади я услыхал звенящий над толпой голос Армана.

— Свидетельствуйте — этот грешник умирает за Него! — Полыхнуло пламя мощного взрыва! Пока мы убегали, я видел, как оно ярко освещает стеклянные стены башен. Я слышал крики.

— Арман! — выкрикнул я. Дэвид тащил меня за собой вниз по металлическим ступеням с грохотом и звоном, вторящим звону колоколов, что раздавался с верха собора.

У меня кружилась голова; я уступил ему. Я поддался его воле, горестно рыдая:

— Арман, Арман...

С трудом различил я в темноте фигуру Дэвида. Мы оказались в сыром месте со льдом — в погребе, под высоким воющим пространством пустого здания, отданного на волю ветру. Дэвид прорывал ход в земле.

— Помоги мне,— закричал он,— я теряю все чувства, свет настигает нас, солнце встало, нас найдут.

— Не найдут.— Я стал рыть могилу, увлекая его с собой все дальше и дальше и забрасывая ход позади мягкими комьями земли. Даже звуки города над нами не проникали через эту темноту. Даже колокольный звон из церкви.

Открылся ли туннель для Армана? Вознеслась ли его душа? Или же он прошел через врата ада?

— Арман,— прошептал я. И, закрыв глаза, увидел перед собой потрясенное лицо Мемноха: «Лестат, помоги мне!»

С последними проблесками сознания я попытался нащупать Плат. Но Плата не было, он пропал. Я отдал его Доре. Плат у Доры. Дора отнесла его в церковь.

«Ты никогда не станешь моим врагом!»

24

Мы сидели на низкой стене, выходящей на Пятую авеню, на краю Центрального парка. И так три ночи подряд. Мы наблюдали.

Ибо, насколько хватало глаз, со стороны жилых кварталов тянулась бесконечная очередь шириной пять-шесть футов: мужчины, женщины, дети — поющие, притоптывающие, чтобы согреться; взад-вперед вдоль очереди сновали монахини и священники, предлагая горячий шоколад и чай тем, кто замерз. На расстоянии нескольких футов друг от друга в больших железных барабанах горели костры. Насколько хватало глаз.

Очередь тянулась до деловой части города и двигалась дальше, мимо сверкающих витрин Бергдорфа Гудмана и Генри Бендела, меховых, ювелирных и книжных магазинов центра, пока не сворачивала к собору.

Скрестив ноги и сложив на груди руки, Дэвид стоял, прислонившись к каменной ограде парка. Я по-детски сидел, подогнув колени: опустошенное одноглазое лицо поднято, подбородок уперт в кулак, локоть на колене. Я прислушивался к толпе.

Далеко впереди послышались крики и визг. Наверное, кто-то в очередной раз приложился к реликвии чистой салфеткой и изображение снова перешло на салфетку! То же самое произойдет и завтрашней ночью, и послезавтрашней, и, возможно, повторится еще не однажды, и никто не знал, сколько это будет продолжаться, знали только, что сияние лика переносится от оттиска к оттиску, как пламя с фитиля на фитиль.

— Пойдем,— сказал Дэвид.— Мы здесь замерзнем. Ну пойдем же.

Мы пошли.

— Зачем все это? — спросил я.— Торчать здесь, наверху, чтобы видеть то же самое, что мы видели прошлой и позапрошлой ночью? Чтобы я снова пытался добраться до нее, понимая, что

любая демонстрация силы, любой сверхъестественный дар лишь подтвердят само чудо? Она никогда больше не захочет меня слушать. Ты ведь знаешь, что не захочет. А кто сейчас стоит на ступенях, кто принесет себя в жертву на рассвете, чтобы подтвердить это чудо?

— Там Маэл.

— Ах да, этот друид, когда-то бывший жрецом и до сих пор им оставшийся. Значит, сегодня утром именно он, подобно Люциферу, сгинет в огне.

Прошлой ночью это был какой-то оборванец, бродяга и горький пьяница, явившийся невесть откуда и нам не известный. Он превратился на рассвете в сверхъестественный факел на глазах у многочисленных операторов с видеокамерами и газетных фоторепортеров. Газеты пестрели снимками этого чуда, как и фотографиями самого Плата.

— Подожди здесь,— сказал я.

Мы пришли в южную часть Центрального парка. Толпа дружно пела старый торжественный и воинственный гимн:

> Святый Боже, мы восхваляем Имя Твое
> Владыка всего сущего, мы склоняемся пред Тобой!

Я стоял, в изумлении не сводя с них глаз. Боль в левой глазнице, похоже, усилилась. Интересно, что могло там меняться и какие процессы происходили.

— Вы глупцы, все вы! — заорал я.— Христианство — самая кровавая религия из тех, что существовали на свете. Могу засвидетельствовать это!

— Сейчас же замолчи и делай, что я скажу.— Прежде чем кто-либо успел обернуться и посмотреть на нас, Дэвид уже тащил меня за собой, и скоро мы растворились среди прохожих, идущих по ледяным тротуарам. Снова и снова сдерживал он меня на этом пути. Он устал это делать. Я не винил его.

Один раз я попал в руки полицейских.

Меня поймали и пытались вытолкать из собора за то, что я хотел поговорить с ней, но потом, когда меня выводили вон, все они медленно отстранились. Они почувствовали, что я не живой,— так, как это чувствуют смертные. Они это почувствовали и стали бормотать что-то про Плат и чудо, и я был бессилен что-либо сделать.

Полицейские были повсюду. Они стояли на страже, чтобы оказать помощь, подать горячего чаю; то и дело они отходили погреть над костром белые, замерзшие руки.

Никто нас не замечал. Да и с какой стати? Мы были просто двумя неприметными мужчинами, частью толпы; наша сияющая кожа не бросалась в глаза среди этой слепящей снежной белизны, среди этих исступленных паломников, распевающих псалом за псалмом.

Витрины книжных магазинов были завалены всевозможными изданиями Библии, книгами по христологии. Высилась огромная пирамида книг в обложке цвета лаванды под названием «Вероника и ее Плат» Эвы Курилюк. Рядом с ней лежала другая кипа: «Святые лики, тайные места» Яна Уилсона.

Люди продавали на улице брошюры и даже раздавали их бесплатно. Я слышал говоры всех штатов страны: Техаса, Флориды, Джорджии, Калифорнии...

Библии, Библии, Библии — распродаваемые и раздаваемые.

Группа монахинь раздавала изображения святой Вероники. Но самым ходовым товаром были цветные фото самого Плата, сделанные в церкви и затем растиражированные в тысячах экземпляров.

— Чудесная милость, чудесная милость...— пели в унисон в одной из групп, раскачиваясь взад-вперед, занимая в шеренге свои места.

— Gloria, in excelsus deum! — разразился длиннобородый мужчина с простертыми руками.

Подходя ближе к церкви, мы увидели, как повсюду собираются небольшие группы людей. В гуще одной из них быстро, горячо говорил молодой человек:

— В четырнадцатом веке ее, Веронику, официально признали святой, и считалось, что Плат был утерян во время Четвертого крестового похода, когда венецианцы штурмовали Айя-Софию.— Он остановился, чтобы поправить очки на носу.— Разумеется, Ватикан не преминет вынести официальное решение по этому поводу, как всегда это делает, но из оригинала Плата уже получены семьдесят три копии, и это на глазах бесчисленных свидетелей, готовых дать показания перед папским престолом.

В другом месте собралось несколько одетых в темное мужчин, должно быть священников — не могу сказать точно,— в окружении слушателей, щурящихся на снег.

— Я не утверждаю, что иезуиты не могут прийти,— сказал один из мужчин.— Я сказал лишь, что они не придут сюда, чтобы взять управление в свои руки. Дора просила, чтобы хранителями Плата стали францисканцы, если она покинет собор.

А позади нас две женщины сошлись на том, что уже были проведены экспертизы и что возраст Плата не вызывает сомнений.

— Сейчас нигде в мире больше не выращивается этот сорт льна; невозможно найти новый кусок такой ткани; сама новизна и чистота этой ткани являют собой чудо.

— ...Все телесные жидкости, каждая часть изображения, полученная из жидкостей человеческого тела. Не следовало портить Плат, чтобы это обнаружить! Это... это...

— ...Действие энзима. Но вы понимаете, как искажают подобные вещи...

— ...Нет, не «Нью-Йорк таймс». «Нью-Йорк таймс» не собирается утверждать, что три археолога признали ее подлинной...

— Не подлинной, друг мой, а лишь не имеющей современного научного объяснения...

— Бог и дьявол — идиоты! — произнес я.

Группа женщин повернулась ко мне в изумлении.

— Прими Иисуса как своего Спасителя, сын мой,— сказала одна из них.— Он умер за наши грехи.

Дэвид утащил меня прочь. Никто больше не обращал на нас внимания. Маленькие школы росли как грибы — группки философов и свидетелей или просто тех, кто поджидал очарованных, нетвердой походкой выходящих из церкви людей с лицами, залитыми слезами.

— ...Я видел Его, я видел Его, это был лик Христа.

И прилепившаяся к арке подобно огромной паукообразной тени фигура вампира Маэла, почти невидимая для них, ждала, чтобы вступить в свет утренней зари с руками, раскинутыми в форме креста.

Он бросил на нас хитрый взгляд.

— Ты тоже! — тихо сказал вампир своим сверхъестественным голосом, неслышным для прочих.— Иди, встреть солнце с распростертыми руками! Лестат, Бог выбрал тебя в качестве Своего посланника.

— Пойдем,— молвил Дэвид.— Мы достаточно повидали за эту ночь и за все предыдущие.

— И куда же мы пойдем? — спросил я.— Перестань, не надо тянуть меня за руку. Дэвид! Ты слышишь меня?

— Уже перестал,— вежливо откликнулся он, понижая голос и тем самым как бы советуя мне тоже говорить тише. Медленно падал снег. В ближней к нам железной жаровне потрескивал огонь.

— Книги! Что с книгами? Как же, во имя Бога, я мог позабыть про книги?!!

— Какие книги? — спросил он. Дэвид как раз подтолкнул меня, чтобы дать пройти прохожему, к витрине магазина, за стеклом которой виднелась кучка людей, наслаждающаяся теплом и глядящая в сторону церкви.

— Книги Винкена де Вайльда. Двенадцать книг Роджера! Что с ними стало?

— Они там,— сказал он.— Там, наверху, в башне. Она оставила их тебе. Лестат, я это тебе объяснял. Она говорила с тобой прошлой ночью.

— В присутствии всех невозможно было говорить правду.

— Она сказала тебе, что эти реликвии теперь твои.

— Необходимо достать книги! — сказал я. О, каким же я был глупцом, что позабыл об этих прекрасных книгах.

— Успокойся, Лестат, не переживай. Нельзя, чтобы на тебя обращали внимание. С квартирой ничего не случилось. Она никому о ней не рассказывала. Она оставила ее нам. Она не скажет никому, что мы там были. Она мне обещала. Она отдала документы, касающиеся приюта, тебе, Лестат, неужели не понимаешь? И порвала все связи с прежней жизнью. Ее старая религия мертва, отменена. Она родилась заново, став хранительницей Плата.

— Мы этого не знаем! — рычал я.— И никогда не узнаем. А если мы не знаем и нам не дано знать, то как может это принять она?!

Он подтолкнул меня к стене.

— Я хочу вернуться и забрать книги,— сказал я.

— Разумеется, мы сделаем это, если ты хочешь.

Как же я устал.

Люди на тротуарах пели:

— И Он идет со мной, и говорит со мной, и позволяет называть Его по имени.

Квартира была в порядке.

Насколько я понимал, Дора так и не возвращалась сюда. Ни один из нас не возвращался. Дэвид приходил проверить, и Дэвид говорил правду. Все оставалось на своих местах.

За исключением того, что в крошечной комнатенке, в которой я тогда спал, стоял только один сундук. Моя одежда и одеяло, на котором она лежала, покрытая грязью и сосновыми иглами из древнего леса, исчезли.

— Это ты убрал все?

— Нет,— сказал он.— Думаю, это она. Это все реликвии ангельского посланца. Насколько мне известно, их забрали чиновники из Ватикана.

Я рассмеялся.

— Они подвергнут анализу все эти вещи, включая кусочки лесной органики.

— Одежда посланца Господа — об этом уже писалось в газетах,— сказал он.— Лестат, пора приходить в себя. Невозможно ощупью продвигаться по миру смертных, как ты это делаешь. Ты рискуешь собой, рискуешь жизнями окружающих. Ты представляешь риск для всего вокруг. Необходимо сдерживать свою силу.

— Риск? После того, что я сделал, создав чудо вроде этого — новое вливание крови в ту религию, которую ненавидел Мемнох? О Господи!

— Ш-ш-ш. Тише,— сказал он.— Сундук здесь. Книги в сундуке.

А-а, значит, книги были в этой маленькой комнатке, где я спал. Я был утешен, абсолютно утешен. Я уселся там со скрещенными ногами, раскачиваясь взад-вперед и плача. Так странно было плакать одним глазом! Господи, а слезы выходят из левого глаза? Не думаю. Полагаю, он вырвал и каналы — что ты скажешь?

Я протянул руку и откинул крышку сундука. Он был сделан из дерева — китайский сундук, украшенный многофигурной резьбой. И там лежали двенадцать книг, каждая тщательно завернутая нами, все в сохранности, все сухие. Мне не надо было открывать их, чтобы удостовериться в этом.

— Я хочу, чтобы мы сейчас же ушли,— сказал Дэвид.— Если ты снова начнешь рыдать, если опять начнешь рассказывать людям...

— О, я знаю, как ты устал, друг мой,— ответил я.— Прости меня. Мне очень жаль.— Я вспомнил, как он силой отрывал меня от одной группы людей, от следующей, утаскивая прочь с глаз смертных.

Я снова подумал о тех полицейских. Я даже не сопротивлялся им. Просто они один за другим отступали назад, словно уходя от чего-то заразного, нездорового, как подсказывало им их телесное существо. Назад.

И она тоже говорила о посланце Господа. Дора говорила вполне определенно.

— Нам следует бросить все это сейчас же,— сказал он.— Довольно. Придут другие. Я не хочу видеть других. А ты? Ты хочешь отвечать на вопросы Сантино, или Пандоры, или Джесс, или кого угодно? Что еще мы можем сделать? Я хочу уйти.

— Ты считаешь, что я был его шутом, не так ли? — спросил я, поднимая на него глаза.

— Чьим шутом — Господа или дьявола?

— В том-то и дело,— ответил я,— не знаю. Скажи, что ты думаешь.

— Я хочу уйти,— сказал он,— потому что если я сейчас не уйду, то примкну к ним этим утром на ступенях церкви — к Маэлу или кто там будет еще. И следом придут другие. Я их знаю. Я их вижу.

— Нет, ты не можешь это сделать! Что, если каждая крупинка этого — ложь? Что, если Мемнох не был дьяволом, а Бог не был Богом и все это было какой-то отвратительной мистификацией, разыгранной перед нами монстрами, мало чем отличающимися от нас самих?! Даже и не думай о том, что примкнешь к ним на церковных ступенях! Земля — это то, что у нас есть! Прильни к ней! Ты не знаешь. Ты не знаешь о вихрях и аде. Не знаешь. Только Ему ведомы правила. Только Ему дано

говорить правду! А Мемнох раз за разом описывал Его как сумасшедшего, нравственного идиота.

Дэвид медленно обернулся, на лице его заиграли блики света. Он тихо спросил:

— Его кровь, Лестат, неужели она и вправду может быть в тебе?

— Не вздумай верить в это! — сказал я.— Только не ты! Нет. Не верь. Я выхожу из игры. Я отказываюсь принимать чью-либо сторону! Я принес Плат назад, чтобы ты и она поверили в мои слова — это все, что я сделал,— и вот случилось это... это безумие!

Я потерял сознание.

На мгновение я узрел свет небес — или мне это показалось? Я узрел Его, стоящего у балюстрады. Я учуял тот сильный ужасный запах, что так часто поднимался от земли, с полей брани, с полей ада.

Дэвид опустился рядом со мной на колени, взяв меня за руки.

— Взгляни на меня, не исчезай сейчас! — сказал он.— Я хочу, чтобы мы ушли отсюда, нам надо уйти. Понимаешь? Мы вернемся домой. И потом, я хочу, чтобы ты рассказал мне всю историю, продиктовал ее мне, слово за словом.

— Зачем?

— Мы отыщем, что в твоих словах правда. Подробности помогут нам разобраться в том, что кто сделал и для кого. Либо тебя использовал Бог, либо Мемнох! Либо Мемнох все время лгал! Либо Бог...

— А-а, так вот отчего у тебя голова болит? Я не хочу, чтобы ты записывал. Если ты запишешь, то это будет лишь версия — версия, а версий и так слишком много. Что рассказала им Дора о своих ночных посетителях, о своих милостивых демонах, что принесли ей Плат? Они забрали мою одежду! Что, если на этой одежде остались частицы моей кожи?

— Пойдем, пойдем, возьми книги — вот — я помогу тебе. Здесь три мешка, но хватит двух; положи эту связку в свой, а я возьму этот.

Я повиновался его приказаниям. Мы уложили книги в два мешка. Теперь можно и отправляться.

— Почему вы оставили книги здесь, а все прочее отослали?

— Она хотела, чтобы их забрал ты,— сказал Дэвид.— Я же говорил тебе. Она просила меня проследить, чтобы они попали к тебе. И она отдала тебе все остальное. Она сожгла все мосты. Это религиозное движение, затрагивающее фундаменталистов и фанатиков, христиан Востока и Запада.

— Мне надо увидеться с ней.

— Нет. Невозможно. Пойдем. Сюда. У меня есть теплое пальто. Ты должен надеть его.

— Ты что, всегда теперь будешь моей нянькой? — спросил я.

— Может быть.

— Почему бы мне не пойти сейчас в церковь и не поджечь Плат? Я мог бы это сделать. Я мог бы сделать это силой своего сознания — заставить Плат загореться.

— Тогда почему же ты этого не делаешь?

Я вздрогнул.

— Я... я...

— Давай, давай. Тебе не надо даже в церковь ходить. Твоя энергия не зависит от расстояния. Возможно, ты сумеешь поджечь его. Интересно будет, если Плат не загорится, а? Но допустим, загорится, допустим, он почернеет и сгорит, как дрова в камине, когда ты поджигаешь их телекинетической энергией своего сознания. Что тогда?

Я разрыдался. Я не смог бы совершить такое. Не смог бы. Я не знал наверняка! Просто не знал. И если я стал жертвой обмана Бога, была в том Божья воля для всех нас или нет?

— Лестат! — Он свирепо уставился на меня или, я сказал бы, скорее, пригвоздил меня своим властным взглядом.— Послушай, что я тебе скажу. Не приближайся к ним больше! Не устраивай для них больше никаких чудес. Ты ничего более не в состоянии сделать. Пусть она рассказывает об ангельском посланце. Это уже вошло в историю.

— Я хочу поговорить с репортерами!

— Нет!

— В этот раз я обещаю говорить тихо — обещаю, и никого не испугаю, клянусь — не испугаю, Дэвид...

— Со временем, Лестат, если еще будет желание... со временем...— Он наклонился и пригладил мои волосы.— А теперь идем. Нам пора.

25

В бывшем здании детского приюта было холодно. Его толстые кирпичные стены, лишенные какого-либо утепления, удерживали стужу, и зимой внутри было холоднее, чем на улице. Кажется, я это помнил с прежних времен. Почему она отдала все мне? Почему? Она передала мне документы и все реликвии. Что это значит? Только то, что она исчезла, как комета в небе.

Была ли на земле хоть одна страна, где каналы новостей не передавали бы ее лицо, ее голос, ее Плат, ее историю?

Но мы были дома, это был наш город, Новый Орлеан, наша маленькая страна, и здесь не падал снег, а лишь ощущался легкий аромат чудесных оливковых деревьев, и магнолии в старом, заброшенном монастырском саду разбрасывали розовые лепестки. Посмотрите на эти розовые лепестки на земле.

Здесь так тихо. Никто не ведал об этом месте. Наконец-то Чудовище может жить у себя во дворце, вспоминая Красавицу и вечно размышляя о том, рыдает ли Мемнох в аду или оба они — сыны Божии — заливаются на небесах смехом!

Я вошел в часовню, ожидая увидеть накрытые тканью коробки, ящики. Но глазам моим предстало самое настоящее святилище. Все предметы были распакованы, протерты, расставлены по местам: статуи святого Антония, святой Люсии с ее глазами на блюде, младенец Иисус из Праги в его испанском наряде. В простенках между окнами виднелись аккуратно развешанные иконы.

— Но кто все это сделал?

Дэвид исчез. Куда? Какая разница, он вернется. Зато у меня есть двенадцать книг. Что мне нужно, так это удобное местечко, чтобы присесть. Пожалуй, алтарные ступени для этого подойдут. И еще нужен свет. С одним глазом того света, что льется через высокие витражные окна, мне не хватает, надо чуточку больше.

На паперти часовни появилась фигура. Без запаха. Вампир. Мой птенец, должно быть. Молодой. Луи. Все такой же.

— Это ты все устроил? — спросил я.— Так красиво расставил вещи в часовне?

— Мне показалось, так будет хорошо,— сказал он. Он подошел ко мне. Я отчетливо увидел его, хотя пришлось повернуть

голову, чтобы сфокусировать на нем взгляд единственного своего глаза и перестать пытаться открыть другой, которого не было.

Высокий, бледный, чуть изможденный. Короткие черные волосы. Зеленые глаза, очень добрые. Грациозная походка, присущая тому, кто не любит создавать шум, суетиться или быть на виду. Простая черная одежда, как тогда, у евреев в Нью-Йорке, собравшихся у собора и наблюдающих весь тот спектакль.

— Пойдем домой,— сказал он. Такой человечный голос. Такой добрый.— Настало время прийти туда и много о чем подумать. Разве ты не хочешь оказаться дома, в нашем жилище, среди нам подобных?

Если что-то на свете и могло меня успокоить, так это он с этим его забавным наклоном головы, с его манерой неотрывно смотреть на меня, своей спокойной уверенностью оберегая от того, чего боялся я, он и, наверное, любой из нас.

Мой старый, мой благородный друг, нежный мой терпеливый ученик, столь же твердо обученный викторианским правилам вежливости, сколь когда-то преподанным мной правилам поведения монстра. Что, если Мемнох навещал его? А если нет, то почему Мемнох до сих пор этого не сделал?

— Что я совершил, это было Господней волей? — спросил я.

— Не знаю,— сказал Луи. Он положил свою мягкую руку поверх моей. Его неспешный голос был как бальзам для моих нервов.— Пойдем домой. Я многие часы слушал по радио, по телевидению историю ангела ночи, принесшего Плат святой Вероники. Изорванная одежда ангела попала в руки священников и ученых. Дора благословляет людей. Плат приносит исцеление. Люди съезжаются в Нью-Йорк со всего света. Я рад твоему возвращению. Я хочу, чтобы ты остался здесь.

— Я что, послужил Богу? Разве это возможно? Богу, которого все еще ненавижу?

— Я не слыхал твоего рассказа. Ты расскажешь мне? — спросил он прямо, без задних мыслей.— Или для тебя слишком мучительно вспоминать все снова?

— Дэвид обещал записать,— сказал я.— По памяти.— Я постучал себя по виску.— У нас такая хорошая память. Полагаю, некоторые могут вспомнить вещи, которые не происходили в действительности.

Я огляделся по сторонам.

— Где мы? О Господи, я забыл! Мы в часовне. Вот ангел с чашей в руках, а вот распятие, которое здесь было раньше.

Каким же окостеневшим и безжизненным оно выглядело, таким непохожим на сияющий Плат.

— Плат показывают в вечерних новостях?

— Постоянно.— Он улыбнулся. Никакой насмешки. Только любовь.

— Что ты подумал, Луи, когда увидел Плат?

— Что это тот Христос, в которого я когда-то верил. Что это тот Сын Божий, которого я знал, когда был мальчишкой.— Голос его звучал терпеливо.— Пойдем домой. Пойдем. В этом месте... водятся... существа.

— Правда?

— Духи? Привидения? — Он не казался напуганным.— Они маленькие, но я их чувствую, и, знаешь, Лестат, у меня нет твоих способностей.— Он снова улыбнулся.— Ты должен *понимать* это. Разве ты их не чувствуешь?

Я закрыл глаза. Вернее, один глаз. Я услышал странные звуки, словно много-много детей шли друг за другом парами.

— Думаю, они распевают таблицы.

— Какие таблицы? — спросил Луи. Он сжал мою руку, наклоняясь ко мне.— Лестат, что это за таблицы?

— О, знаешь, так когда-то учили умножению. Они должны были пропевать в классе таблицу умножения: дважды два четыре, дважды три шесть, дважды четыре восемь... разве не это они поют? Да, это.

Я умолк. Там кто-то был, на паперти, сразу за дверями часовни, в тени, где я когда-то прятался от Доры. Кто-то нашей породы. Должен был быть. И он был старый, очень старый. Я чувствовал его силу. Там был некто столь древний, что это поняли бы лишь Мемнох и Бог Воплощенный или... Луи. Да, возможно, Луи, если он доверяет своей памяти, мгновенным озарениям, своему разрушительному краткому опыту общения с древними. Возможно...

И все же он не испугался. Он настороженно наблюдал за мной, но почти без страха.

— Давай, я не боюсь тебя! — молвил я. И пошел навстречу. Через правое мое плечо были перекинуты два мешка с книгами, левой рукой я крепко сжимал ткань мешковины. Правая рука моя была свободна. И правый глаз. У меня оставалось хотя бы это. Кто же все-таки стоит за дверями?

— Там Дэвид,— произнес Луи умиротворяющим тоном, как бы говоря: «Видишь? Беспокоиться не о чем».

— Нет, рядом с ним. Всмотрись, всмотрись внимательно в темноту. Видишь фигуру женщины — такую белую, неподвижную,— она могла бы сойти за одну из статуй? Маарет! — молвил я.

— Это я, Лестат,— сказала она.

Я рассмеялся.

— Не был ли таким же ответ Исайи, когда его позвал Господь,— «Это я, Господи»?

— Да,— сказала она. Ее голос был едва слышным, но ясным и очищенным временем — вся плотская густота уже давно из него ушла.

Я двинулся к ним, перейдя из часовни на небольшую паперть. Дэвид стоял рядом с ней как ее помазанник, готовый мгновенно исполнить любое повеление Маарет, ведь она — старшая, почти самая старшая, наша Ева, Мать всех нас или единственная оставшаяся Мать; и теперь, глядя на нее, я вновь припомнил жуткую историю ее глаз — то, как ее ослепили, когда она была человеком, и глаза, которыми она сейчас смотрела, отняты у людей.

Кровоточащие человеческие глаза, взятые у мертвого или живого и вставленные в ее глазницы, чтобы питаться вампирской кровью как можно дольше. Но какими же утомленными казались они на ее красивом лице. Что тогда сказала Джесс? «Она сделана из алебастра». А алебастр — камень, пропускающий свет.

— Я не стану брать человеческий глаз,— произнес я шепотом.

Она ничего не сказала. Она здесь не для того, чтобы судить или советовать. Зачем же она пришла? Что ей надо? — Ты тоже хочешь послушать рассказ?

— Твой милый английский приятель говорит, что все случилось так, как ты описал. Он говорит, что песни, которые поют на телевидении, правдивы; что ты — Ангел Ночи, и ты принес ей Плат, и что он был там и слышал твой рассказ.

— Я не ангел! И я совсем не собирался отдавать ей Плат! Я взял его как доказательство. Взял, потому что...

Мой голос осекся.

— Почему? — спросила она.

— Потому что мне его дал Христос! — прошептал я.— Он сказал: «Возьми его»,— и я взял.

Я рыдал. А она ждала. Терпеливо, торжественно. Луи ждал. Дэвид ждал.

Наконец я успокоился и сказал:

— Запиши каждое слово, Дэвид, если станешь писать. Каждое двусмысленное слово — слышишь? Я не стану писать сам. Не стану. Ну, может быть... если посчитаю, что ты передаешь недостаточно точно, тогда напишу. Чего ты хочешь? Зачем ты пришла? Нет, не буду писать. Зачем ты здесь, Маарет, зачем предстала передо мной? Зачем ты пришла в новый замок Чудовища, для чего? Ответь мне.

Она ничего не ответила. Ее длинные светло-рыжие волосы доходили до талии. Она была одета в простую одежду, на которую в большинстве мест просто не обратили бы внимания: длинный свободный жакет, подпоясанный на тонкой талии, и юбка, закрывающая верх маленьких ботинок. От ее головы с человеческими глазами исходил сильный аромат крови. И сами горящие на лице глаза смотрели на меня нестерпимо страшно.

— Я не возьму человеческий глаз! — сказал я. Но я уже говорил это раньше. Наверное, с моей стороны это выглядело высокомерным и непочтительным. Ведь она была такой могущественной.— Я не возьму человеческую *жизнь*,— сказал я. Вот что в действительности я имел в виду.— Я никогда, никогда, пока живу, терплю, голодаю и страдаю, не возьму человеческую жизнь и не подниму руку на живое существо, будь оно человеком или одним из нас — не важно,— не буду... я... до последнего дыхания... не стану...

— Я намерена задержать тебя здесь,— молвила она.— В качестве пленника. На время. Пока ты не успокоишься.

— Ты сошла с ума. Ты нигде меня не задержишь.

— У меня приготовлены для тебя цепи. Дэвид, Луи, вы мне поможете.

— Что такое? Вы оба, как вы смеете? Цепи? Какие цепи? Кто я такой — Азазел, брошенный в яму? Мемнох над этим

хорошо посмеется, если только он навсегда не отвернулся от меня!

Но ни один из них не пошевелился. Они стояли неподвижно. Внешне хрупкая, белая фигура Маарет скрывала в себе мощную силу. Луи и Дэвид страдали. О, я чуял запах страдания.

— У меня есть для тебя вот это,— вымолвила она, протягивая руку.— Когда ты это прочтешь, то начнешь вопить и рыдать, и мы продержим тебя здесь в безопасности и покое до тех пор, пока ты не успокоишься. Здесь. Под моей защитой. В этом месте. Ты станешь моим пленником.

— Что? Что это такое? — вопрошал я.

Это был мятый пергаментный сверток.

— Что это, черт возьми, такое? — повторял я.— Кто дал тебе это? — Мне не хотелось прикасаться к свертку.

Она ухватилась за мою левую руку с неодолимой силой, заставив меня выронить мешки с книгами, и вложила в мою ладонь пергаментный сверток.

— Это мне передали для тебя,— сказала она.

— Кто? — спросил я.

— Персона, чье письмо ты найдешь внутри. Разверни его.

— Какого черта! — выругался я. Пальцами правой руки я разорвал измятый тонкий пергамент.

Мой глаз! Он сверкал на фоне написанных на вложенном внутрь листе строчек. В этом маленьком свертке находился мой глаз. Мой голубой глаз, живой и невредимый.

Задыхаясь, я схватил его, поднес к лицу и вставил в болящую глазницу, чувствуя, как нервы тянутся назад, к мозгу. Мир засиял целостной картиной зрения.

Она стояла, неотрывно глядя на меня.

— Я стану вопить? — воскликнул я.— Вопить — почему? Что, по-твоему, я вижу? Я вижу лишь то, что видел раньше! — кричал я. Я посмотрел справа налево. Ужасная заплатка из тьмы пропала, мир предстал завершенным: витражи, застывшее трио, наблюдающее за мной...— О, спасибо, Господи! — прошептал я. Но что это значило? Было ли это благодарственной молитвой или просто восклицанием?

— Прочти,— сказала она,— то, что написано.

Архаичный стиль. Что это? Иллюзия? Слова, написанные на языке, вовсе не являющемся языком, и все же ясно читаемые —

я смог узнать их торопливый очерк, начертанный и кровью, и чернилами, и сажей:

«Моему принцу!
Благодарю тебя за прекрасно
выполненную работу.

с Любовью,
Мемнох-дьявол».

Я взревел.

— Ложь, ложь, ложь! — Я услыхал звон цепей.— Какой металл, по-твоему, может связать меня, повергнуть в уныние? Черт тебя возьми! Ложь! Ты его не видела. Он тебе этого не предавал!

Дэвид, Луи, ее сила, ее непостижимая сила — сила с незапамятных времен, еще до того, как были начертаны первые слова на табличках в Иерихоне,— окружали меня, поглощали меня. Более она, чем они; я был ее ребенком, проклинающим ее.

Они поволокли меня во тьму — и вопли мои отдавались эхом от стен,— в помещение, которое они выбрали для меня: темное подземелье с замурованными окнами. Я пытался вырваться, но меня опутывали цепи.

— Это ложь, ложь, ложь! Не верю! Если меня кто и одурачил, так это только Господь! — Я продолжал бушевать.— Он сделал это со мной. Это все нереально, если Он не совершил этого — Бог Воплощенный. Не Мемнох. Нет, никогда, никогда. Ложь!

В конце концов я в изнеможении повалился на пол. Мне было все равно. Было какое-то утешение в том, что я был закован в цепи и не мог колотить по стенам кулаками, превратив их в месиво, или размозжить голову о кирпичи, или того хуже...

— Ложь, ложь, все это огромная панорама лжи! Это все, что я видел! Еще один огромный замкнутый круг лжи!

— Не все ложь,— сказала она.— Не все. Это стародавняя дилемма.

Я умолк. Я чувствовал, как мой левый глаз глубже и сильнее прорастает корнями в мозг. Он снова у меня был. У меня был мой глаз. И подумать только о его лице, его искаженном от ужаса лице, когда он взглянул на мой глаз. И та история с глазом дядюшки Микки. Я был не в состоянии понять это. Мне снова захотелось выть.

Мне показалось, что я смутно слышу нежный голос Луи — протестующий, умоляющий, спорящий. Я услышал, как замыкаются запоры. Я слышал, как в дерево забивают гвозди. Я слышал, как Луи умоляет.

— Ненадолго, совсем ненадолго...— проговорила она.— Он слишком силен для нас, и ничто другое здесь не поможет. Либо это, либо придется разделаться с ним.

— Нет! — вскричал Луи.

Я услышал протесты Дэвида — нет, этого она не сделает.

— Я не стану это делать,— спокойно молвила она.— Но он останется здесь до тех пор, пока я не скажу, что он может уйти.

И они ушли.

— Пойте,— прошептал я. Я разговаривал с привидениями детей.— Пойте...

Но монастырь был пуст. Все маленькие привидения разбежались. Монастырь был мой. Слуга Мемноха; князь Мемноха. Я был один в своей темнице.

26

Ночь вторая, ночь третья... Снаружи в городе по широкому проспекту мчались машины. Проходили парочки, перешептываясь в вечерних тенях. Завыла собака.

Четвертая ночь, пятая?..

Рядом со мной сидел Дэвид, читая мне запись моей истории, слово за словом,— все, что я рассказал, как он это запомнил, вновь и вновь прерываясь, чтобы спросить, правильно ли там или здесь, те ли это слова, таков ли получается образ.

По обыкновению отвечала она. Из своего места в углу она говорила:

— Да, это он видел, и это он тебе рассказал. Именно это я вижу в его сознании. Таковы были его слова. Вот что он чувствовал.

Наконец — прошла, должно быть, неделя — она встала надо мной и спросила, хочу ли я крови. Я ответил:

— Я никогда больше не стану ее пить. Я высохну и стану твердым, как известняк. И меня бросят в печь.

Однажды ночью заявился Луи со спокойной непринужденностью тюремного капеллана, свободного от каких бы то ни

было правил и все же не представляющего для узников никакой угрозы.

Он медленно уселся подле меня, сложив ноги и глядя в сторону — понимая, что невежливо смотреть в лицо пленника, закованного в цепи.

Он дотронулся пальцами до моего плеча. Волосы его были в полном порядке — модно подстрижены, причесаны и чисто вымыты. Одежда его тоже была чистой и новой, словно он специально принарядился ради меня.

Я внутренне улыбнулся этому. Он и раньше, бывало, так поступал, и когда я замечал, что на рубашке у него старинные пуговицы из золота и жемчуга, то понимал, что это для меня, и принимал его дар, как больной принимает холодный платок на лоб.

Его пальцы надавили на плечо чуть сильнее, и мне это тоже понравилось. Но у меня не было ни малейшего намерения говорить об этом.

— Я читал книги Винкена,— сказал он.— Я вернулся тогда за ними и подобрал, когда мы оставили их в часовне.— Сказав это, он взглянул на меня с почтительным простодушием.

— Благодарю,— сказал я.— Я выронил их, там было темно. Выронил, когда потянулся за глазом. Или когда она взяла меня за руку? Как бы то ни было, я выронил мешки с книгами. Мне не сдвинуть с места эти оковы, я не могу пошевелиться.

— Я отнес книги домой, на Роял-стрит. Они там, как и множество других драгоценностей.

— Понимаю. Ты видел миниатюры? Ты достаточно хорошо их рассмотрел? Я не смог, не успел. Просто... все произошло слишком быстро, и я так и не открыл книги. Но если бы ты увидел его призрак там, в баре, и услышал, как он их описывает...

— Они потрясающи. Просто великолепны. Они тебе понравятся. Ты будешь долго наслаждаться ими наедине при свете. Я только начал их рассматривать и читать. С помощью лупы. Но тебе не потребуется лупа. Твои глаза зорче моих.

— Мы будем читать их... возможно... ты и я... вместе.

— Да... все двенадцать книг,— молвил Луи. Он тихо заговорил о многих чудесных вещах, которые видел в книгах,— о крошечных людях, и зверях, и цветах, и о льве, лежащем рядом с ягненком.

Я закрыл глаза. Я был благодарен. Я был удовлетворен. Он понимал, что я не хочу больше разговаривать.

— Я буду там, внизу, в наших комнатах,— сказал он,— буду ждать. Тебя не станут держать здесь долго.

Что значит это «долго»?

Погода, кажется, потеплела.

Дэвид мог бы тоже прийти.

Иногда я закрывал глаза и затыкал уши, отказываясь воспринимать звуки, будто намеренно адресованные мне. Я слышал пение цикад, когда небо все еще пламенело от солнца и другие вампиры спали. Я слышал, как поют птицы, слетающие на ветки дубов на Наполеон-авеню. Я слышал детей!

Дети все-таки вернулись. Они пели. Иногда один или двое из них разговаривали быстрым шепотом, словно секретничали, накрывшись с головой простыней.

И еще — шаги на ступенях.

А там, за стеной,— кричащая, светящаяся электрическими огнями ночь.

Однажды вечером я открыл глаза — цепи исчезли.

Я был один, дверь открыта.

Моя одежда была изорвана в клочья, но мне было наплевать. Я с трудом поднялся и, наверное, впервые за две недели поднес руку к лицу, чтобы проверить, на месте ли глаз, хотя, разумеется, я им видел. Просто я давно перестал вспоминать о нем.

Я вышел из здания приюта, пересек двор. На мгновение мне показалось, что я увидел железные качели — те, что ставили на детских площадках в прежние времена. Я различил рамы, напоминающие букву А, поперечину, и сами качели, и качающихся на них детей — маленьких девочек с развевающимися волосами; я слышал, как они смеются. В изумлении я поднял глаза на витражи часовни.

Дети исчезли. Двор был пуст. Отныне этот дворец принадлежит мне. Дора оборвала все связи. Она пришла к своей великой победе.

Я долго шел по Сент-Чарльз-авеню. Шел под знакомыми мне дубами, по старым тротуарам, мимо новых и старых домов. Ми-

новав Джексон-авеню, я оказался среди забавной смеси из забегаловок и неоновых вывесок, заколоченных и полуразрушенных зданий, стоявших вперемежку с модными магазинчиками,— в кричащих полупустых кварталах, тянущихся вплоть до населенных кварталов города.

Я подошел к магазину, некогда торговавшему дорогими машинами. Здесь продавали автомобили в течение пятидесяти лет, а теперь это было огромное пустое помещение со стеклянными стенами. Я очень хорошо видел собственное отражение в стекле. Мое сверхъестественное зрение опять вернулось ко мне — безупречное, на оба голубых глаза.

Я увидел себя. И я хочу, чтобы и вы увидели меня в этот момент. Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня моими глазами, и я клянусь, что все, мною рассказанное, каждое мое слово, истинно и идет от сердца.

Я — вампир Лестат. Вот что я увидел в стекле. Вот что я услышал в себе. Вот что я знаю! И это *все*, что я знаю.

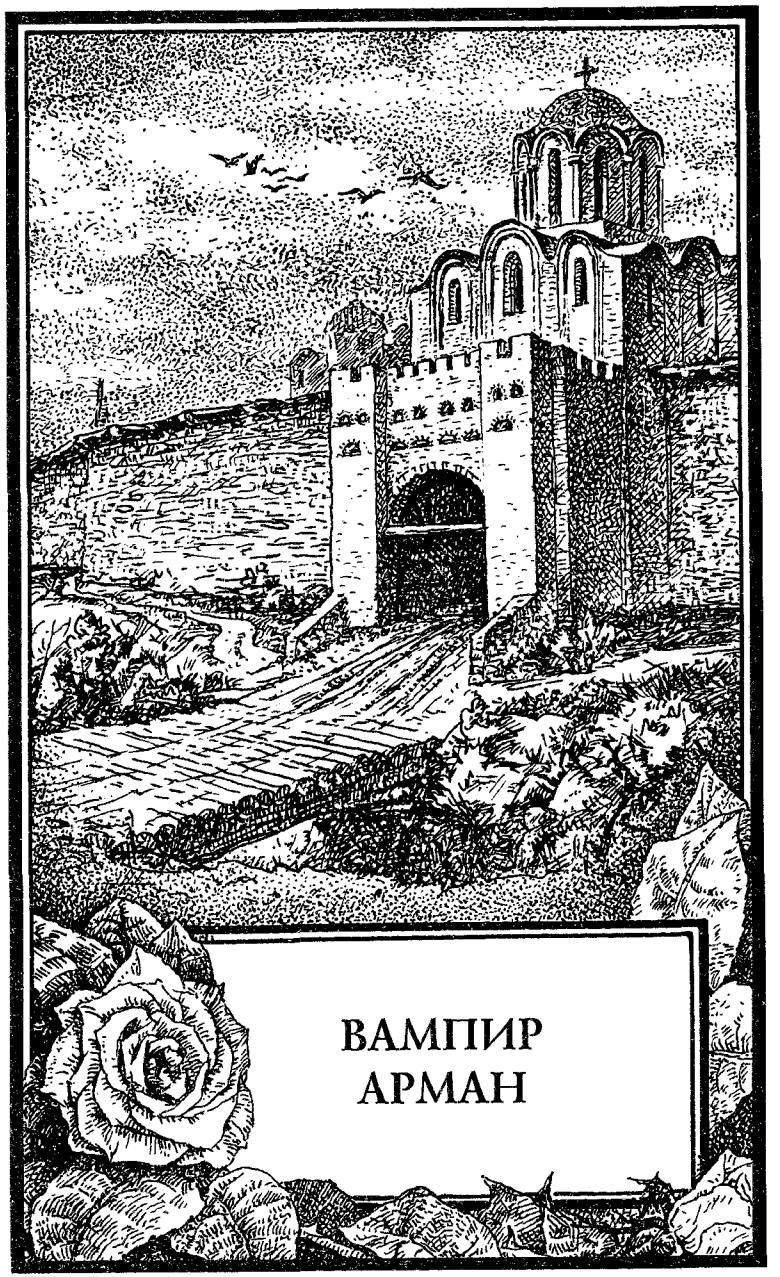
Верьте мне, верьте моим словам, верьте тому, что я сказал, и тому, что про меня написано.

Я по-прежнему здесь, герой собственных грез, и позвольте мне всегда оставаться с вами.

Я — вампир Лестат.

А теперь разрешите мне из вымысла превратиться в легенду.

9.43, 28 февраля 1994 г.
Прощай, любовь моя.



Бранди Эдвардсу, Брайану Робертсону,
а также Кристоферу и Мишель Райс.

Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.

Евангелие от Иоанна. 20:17

Часть I
ПЛОТЬ И КРОВЬ

1

оворили, что на чердаке умер ребенок. Его одежду нашли в стене.

Мне хотелось подняться туда, лечь у стены и остаться одному.

Иногда здесь встречают привидение — призрак ребенка. Но никто из вампиров, как правило, призраков видеть не умеет, во всяком случае, так, как я. Не важно. Ребенок меня не интересовал. Я не искал общества ребенка. Мне просто хотелось побыть там.

Оставаться и дальше рядом с Лестатом бесполезно. Я пришел. Я выполнил свой долг. Я ничем не мог ему помочь.

Взгляд его пронзительных, сосредоточенных, застывших глаз заставлял меня нервничать, лишал присутствия духа, хотя в глубине души я оставался спокойным, меня переполняла любовь к близким — к моим смертным детям, темноволосому Бенджи и нежной, гибкой Сибил, но у меня пока не хватало сил их забрать.

Я ушел из часовни.

Я даже не обратил внимания на остальных. Весь монастырь превратился в обитель вампиров. Не то чтобы он казался диким или заброшенным, но я не заметил, кто оставался в часовне, когда я уходил.

Лестат по-прежнему лежал на мраморном полу часовни перед огромным распятием. Поза его оставалась неизменной: на боку, с расслабленными руками, левая ладонь накрывает правую, и пальцы ее при этом слегка касаются пола — как будто намеренно, хотя ни о каких намерениях и речи быть не могло. Пальцы правой руки изогнулись, образовав впадинку в ладони там, куда падал свет, что тоже казалось осмысленным жестом, хотя никакого смысла здесь не было.

В течение многих месяцев Лестат пребывал без движения, превратившись в безвольное сверхъестественное тело, однако выражение его лица было почти вызывающе разумным.

Перед рассветом высокие витражи надлежащим образом зашторивали, а по ночам в них играли отблески чудесных свечей, расставленных между изящными статуями и реликвиями, наполнявшими этот когда-то освященный дом, где под высокими сводами дети слушали мессу.

Теперь оно принадлежало нам. Ему — Лестату, мужчине, лежавшему без движения на мраморном полу.

Мужчине. Вампиру. Бессмертному. Сыну Тьмы. Любое из этих слов отлично ему подходит.

Оглянувшись на него через плечо, я, как никогда, почувствовал себя ребенком. Такой я и есть. Я вписываюсь в это определение, как будто оно во мне закодировано, как будто это единственно возможная для меня генетическая схема.

Когда Мариус сделал меня вампиром, мне было, наверное, лет семнадцать. К тому моменту рост мой составлял пять футов шесть дюймов и весь последний год оставался неизменным. У меня были изящные, как у женщины, руки и по-детски чистое лицо — я, как мы выражались в то время, в шестнадцатом веке, был безбородым. Не евнухом, нет, конечно нет, отнюдь, но совсем еще мальчиком.

В те времена красота юношей ценилась не в меньшей степени, чем прелесть женщин. Только теперь мне кажется, что в этом есть какой-то смысл, и то потому, что я люблю своих собственных детей: по-девичьи длинноногую Сибил с грудью женщины и Бенджи с круглым напряженным арабским личиком.

Я остановился у подножия лестницы. Никаких зеркал — лишь потемневшие от сырости высокие кирпичные стены с обо-

дранной штукатуркой; только в Америке такие здания могут назвать старинными. Знойное новоорлеанское лето и сырая, промозглая зима — зеленая зима, как я ее называю, потому что листья с деревьев здесь практически не опадают,— наложили на все свой отпечаток.

По сравнению с обычным для этого города климатом в стране, где я родился, царила, можно сказать, вечная зима. Не удивительно, что в солнечной Италии я совершенно забыл о своих истоках и с легкостью принял тот образ жизни, которому следовали в доме Мариуса. «Я не помню» — эта формула стала своего рода заклинанием. Только при этом условии можно было так полюбить порок, так пристраститься к итальянскому вину, обильным трапезам и даже к ощущению теплого мрамора под босыми ногами, когда комнаты палаццо Мариуса самым грешным, безнравственным образом отапливались бесчисленными каминами.

Его смертные друзья — когда-то и я принадлежал к их числу — без конца бранили его за расточительство: за излишние траты на дрова, масло, свечи. А Мариус признавал только самые изысканные свечи, из пчелиного воска. Для него имел значение каждый аромат.

«Прекрати думать об этом,— уговаривал я себя.— Отныне воспоминания не должны тебя ранить. Ты пришел сюда ради дела. Теперь с ним покончено, пора найти тех, кого ты любишь,— юных смертных, Бенджи и Сибил,— и жить дальше».

Жизнь уже не театральная сцена, где вновь и вновь появляется и со зловещим видом сидит за столом призрак Банко.

Душа у меня болела.

Пора подняться наверх. Отдохнуть немного возле кирпичной стены, где нашли детскую одежду. Лечь рядом с ребенком, убитым в монастыре, как утверждают сплетники-вампиры, новые призрачные обитатели этих залов, пришедшие посмотреть, как спит сном Эндимиона великий Вампир Лестат.

Я не ощущал запаха убийства — слышал лишь нежные голоса монахинь.

Я поднялся по лестнице человеческим шагом. За пятьсот лет я научился этому в совершенстве. Равно как и умению пугать молодежь — как постоянных обитателей этого дома, так и слу-

чайных посетителей — не хуже любого из Старейших. Даже самые скромные из них не упускают случая продемонстрировать свой дар телепатии или способность мгновенно исчезать, словно растворяясь в воздухе, а то и слегка сотрясти стены в восемнадцать дюймов толщиной с нетленными кипарисовыми подоконниками.

Ему должны понравиться эти запахи, подумал я. Мариус... Где он? Прежде чем поговорить с ним, я предпочел навестить Лестата, а потому мы успели обменяться лишь несколькими вежливыми словами, когда я оставлял на его попечение свои сокровища.

Ведь я привел в логово бессмертных своих детей, ибо кто способен защитить их лучше, чем мой любимый Мариус — такой могущественный, что никто здесь не посмеет перечить ему.

Естественно, между нами нет телепатической связи, ведь Мариус — мой создатель. Но не успел я подумать об этом, как осознал, что не ощущаю ни малейшего свидетельства его присутствия в здании. Откуда мне знать, что происходило в тот короткий промежуток времени, пока я стоял на коленях перед Лестатом. Я понятия не имел, где сейчас мог быть Мариус. Я не чувствовал знакомых человеческих запахов Бенджи и Сибил. Меня парализовал ужас.

Я остановился на втором этаже и прислонился к стене, с показным спокойствием разглядывая лакированные сосновые половицы. На паркете образовались желтые островки света.

Где же Бенджи и Сибил? Что я наделал! Зачем привел сюда двух очаровательных смертных — Бенджи, живого, подвижного мальчика двенадцати лет, и двадцатипятилетнюю Сибил. А вдруг Мариус, столь благородный по своей натуре, выпустил их из виду?

— Я здесь, дитя.— Как обрадовал меня этот раздавшийся совсем рядом отчетливый, тихий и доброжелательный голос! Прямо подо мной в пролете лестницы я увидел своего создателя. Он следовал за мной вверх по лестнице или, скорее, оказался там с помощью свой силы и скорости, безмолвно и незаметно преодолев разделявшее нас расстояние.

— Мастер,— сказал я со слабой улыбкой, словно извиняясь.— В какой-то момент я за них испугался. Мне здесь грустно.

Он кивнул.

— Они со мной, Арман,— сказал он.— Этот город кишит смертными. Сколько бы здесь ни бродило скитальцев, пищи хватит на всех. Их никто не обидит. Даже если бы меня здесь не было, никто не осмелился бы.

Наступила моя очередь кивать. Но я не разделял его уверенность. Вампиры по природе своей капризны и часто совершают ужасные, жестокие поступки просто так, ради собственного удовольствия. Какой-нибудь заезжий мрачный чужак, привлеченный необычными событиями, вполне может развлечься, убив чужую смертную зверюшку.

— Ты просто чудо, дитя мое,— улыбнулся Мастер. Дитя! Кто, кроме Мариуса, моего создателя, мог бы так меня назвать. Но что для него пятьсот лет? — Ты ушел на солнце, сын мой,— продолжал он с озабоченным выражением на добром лице.— И выжил, чтобы рассказать свою повесть.

— На солнце, господин? — переспросил я. Однако мне не хотелось что-либо рассказывать. Еще не пришло время описывать, что произошло на самом деле, обсуждать легенду о Плате Вероники и запечатленном на нем во всем величии славы лике нашего Господа, равно как и события того утра, когда я с готовностью отказался от своей души. Какой чудесный миф был создан из этой истории!

Он поднялся по ступенькам и опустился рядом со мной, соблюдая, однако, вежливую дистанцию. Он всегда оставался джентльменом, даже когда этого слова еще не существовало. В древнем Риме наверняка было слово, обозначающее таких людей — неизменно хорошо воспитанных, считавших делом чести оказывать внимание другим, одинаково любезных как с бедными, так и с богатыми. Таков уж Мариус, и, насколько я знаю, он таким был всегда.

Он положил свою белоснежную руку на невзрачные атласно-гладкие перила. На нем был длинный бесформенный плащ из серого бархата, когда-то чрезвычайно экстравагантный, теперь же поблекший от времени. Светлые, длинные, как у Лестата, волосы, взъерошенные от сырости, даже усеянные каплями росы с улицы, той же росы, что осталась на его золотых бровях и заставила потемнеть длинные ресницы вокруг больших кобальтово-синих глаз, поблескивали на свету.

В нем присутствовало что-то нордическое, холодное, в отличие от Лестата, чьи волосы всегда отливали золотом и сияли ярким светом, а призматические глаза поглощали все краски, приобретая еще более великолепный фиолетовый оттенок при малейшем проявлении внимания боготворящего его внешнего мира.

В Мариусе же я видел солнечное небо диких северных земель, его глаза излучали ровный свет, отвергая любой цвет со стороны, оставаясь идеальными зеркалами его неизменной, в высшей степени благородной души.

— Арман,— сказал он.— Я хочу, чтобы ты пошел со мной.

— Куда, Мастер? — спросил я. Мне тоже хотелось быть с ним предельно вежливым. Невзирая на любые столкновения, он всегда порождал во мне возвышенные инстинкты.

— Ко мне домой, Арман, туда, где они сейчас находятся, Сибил и Бенджи. Нет, не бойся за них. С ними Пандора. Это поразительные смертные, блистательные, на удивление разные и одновременно в чем-то похожие. Они тебя любят, они так много знают и уже успели пройти с тобой долгий путь.

Мне в лицо бросилась горячая кровь; ощущение теплоты было колючим и неприятным, а когда кровь отлила от кожи, стало прохладнее, и меня странным образом раздражал тот факт, что я вообще испытываю какие-то ощущения.

Меня потрясло пребывание в монастыре, я стремился поскорее его покинуть.

— Мой господин, я не знаю, кем я стал в новой жизни,— с благодарностью откликнулся я.— Переродился? Запутался? — Я заколебался, но что толку останавливаться? — Пока что не проси меня остаться. Может быть, позже, когда Лестат придет в себя, когда пройдет достаточно времени, может быть... Я точно не знаю, но сейчас принять твое любезное приглашение я не могу.

Он коротко кивнул в знак согласия и сделал рукой жест, означающий уступку. Старый серый плащ соскользнул с плеча, но он, казалось, даже не обратил на это внимания. Его тонкие шерстяные одежды пришли в небрежение, на отворотах и карманах лежал слой серой пыли. Подобное отношение к собственной внешности было ему совершенно не свойственно.

Горло его прикрывала полоса ослепительно белой ткани, благодаря чему бледное лицо выглядело почти человеческим. Но шелк порвался, как будто он продирался в нем через заросли ежевики. Короче говоря, эта одежда больше подходила для привидения, чем для того, кто привык появляться в свете. Она сгодилась бы для неудачника-бродяги, но не для моего старого Мастера.

Наверное, он знал, что я зашел в тупик. Я смотрел вверх, во мрак. Мне хотелось попасть на чердак, к спрятанной там одежде мертвого ребенка. Меня заинтересовала эта история. У меня хватило наглости размечтаться, хотя он все еще ждал. Его ласковые слова вернули меня к реальности.

— Когда тебе понадобятся Сибил и Бенджи, ты найдешь их у меня,— сказал он.— Это недалеко. Когда захочешь, ты услышишь «Аппассионату».

Он улыбнулся.

— Ты дал ей пианино.— Речь шла о золотоволосой Сибил. Я повесил завесу между миром и моим сверхъестественным слухом и пока что не хотел ее поднимать — даже ради восхитительных звуков ее музыки, по которым я уже очень скучал.

Как только мы вошли в монастырь, Сибил заметила пианино и шепотом спросила меня, можно ли ей поиграть. Оно стояло не в часовне, где лежал Лестат, а подальше, в другом помещении, длинном, пустом. Я ответил ей, что это не вполне прилично, что это может помешать Лестату. Мы же не знаем, что он думает, что чувствует,— быть может, ему плохо, быть может, он попал в ловушку собственных снов.

— Возможно, когда ты придешь, ты ненадолго останешься,— сказал Мариус.— Тебе понравится, как она играет на моем пианино. А потом мы поговорим, ты сможешь отдохнуть и пожить с нами, сколько захочешь.

Я не ответил.

— Мой дом — настоящий дворец по понятиям Нового Света,— сказал он с несколько насмешливой улыбкой.— Он очень близко. Там есть просторные сады, старые дубы, высокие окна. Ты же знаешь, как мне это нравится. Все в римском стиле. Двери, открытые навстречу весеннему дождю, а весенний дождь здесь чудесен, как мечта.

— Да, я знаю,— прошептал я.— Он, наверное, и сейчас идет, да?

Я улыбнулся.

— Ну да, я весь вымок,— почти весело ответил он.— Приходи, когда захочешь. Не сегодня, так завтра...

— Нет, я приду сегодня.— Я совсем не хотел его обижать, нет, но Бенджи и Сибил уже достаточно насмотрелись на белолицых монстров и наслушались их бархатных голосов. Пора уходить.

Я посмотрел на него довольно-таки смело и даже получил от этого удовольствие, преодолев проклятие застенчивости, наложенное на нас современным миром. В старину, в Венеции, он одевался пышно, как тогда было принято, всегда украшал себя роскошью — зеркало моды, говоря прежним изящным языком. Когда он вечером в мягком фиолетовом полумраке пересекал площадь Сан-Марко, все на него оборачивались. Красное было его неотъемлемой частью, красный бархат — развевающийся плащ, великолепный расшитый камзол, а под ним — туника из золотого шелка, очень популярный в то время наряд.

У него были волосы молодого Лоренцо Медичи, прямо с фрески.

— Господин, я люблю тебя, но сейчас я должен остаться один,— сказал я.— Ведь я вам сейчас не нужен, сударь? Зачем? И всегда был не нужен.— Я мгновенно пожалел об этом. Дерзким был не тон, а слова. Так как наши мысли разделяла близость крови, я боялся, что он меня неправильно понял.

— Херувим, мне тебя не хватает,— всепрощающим тоном сказал он.— Но я могу подождать. Кажется, не так давно, когда мы были вместе, я уже говорил тебе эти слова, теперь я их повторяю.

Я не мог заставить себя сказать ему, что мне пришло время общаться со смертными, объяснить, как я стремлюсь просто проболтать всю ночь с маленьким Бенджи — он настоящий мудрец — или послушать, как моя любимая Сибил снова и снова играет сонату. Казалось бессмысленным вдаваться в дальнейшие объяснения. И меня опять охватила печаль, тяжелая, явственная, из-за того, что я пришел в этот одинокий пустой монастырь, где лежит Лестат, не способный, или же не желающий, ни двигаться, ни разговаривать.

— Из моего общества сейчас ничего не выйдет, господин,— сказал я.— Но, безусловно, если ты дашь мне ключ, где тебя искать, тогда, по прошествии времени...— Я не закончил.

— Я за тебя боюсь! — внезапно прошептал он с особенной теплотой.

— Еще больше, чем раньше, сударь? — спросил я.

Он задумался. И сказал:

— Да. Ты любишь двух смертных детей. Они для тебя — и луна, и звезды. Пойдем, поживи со мной, хотя бы недолго. Расскажи мне, что ты думаешь о нашем Лестате, о том, что случилось. Расскажи, может быть, если я пообещаю вести себя спокойно и не давить на тебя, ты выразишь свою точку зрения на то, что ты недавно видел.

— Вы так деликатно затрагиваете эту тему, сударь, я вами просто восхищаюсь. Вы хотите сказать — почему я поверил Лестату, когда он сказал, что побывал в раю и в аду, вас интересует, что я увидел, взглянув на принесенную им реликвию, на Плат Вероники.

— Если захочешь рассказать. Но на самом деле я хочу, чтобы ты пришел и отдохнул.

Я положил руку на его пальцы, изумляясь, что, несмотря на все, что я пережил, моя кожа почти такая же белая, как у него.

— Потерпи моих детей, пока я не приду, хорошо? — попросил я.— Они воображают себя бесстрашными злодеями, потому что пришли со мной сюда, беспечно насвистывая, в самое, так сказать, пекло живых мертвецов.

— Живых мертвецов,— сказал он с неодобрительной улыбкой.— Какие слова в моем присутствии! Ты же знаешь, я это ненавижу.

Он быстро запечатлел на моей щеке поцелуй, что застало меня врасплох, но тут я осознал, что его уже нет.

— Старые фокусы,— произнес я вслух, думая, достаточно ли он близко, чтобы меня услышать, или он так же яростно заслоняет от меня свои уши, как я заслоняю свои от внешнего мира.

Я посмотрел в сторону, мечтая остаться в покое, и внезапно подумал о беседках, не словами, но образами, как умели мои прежние мысли, захотел лечь на садовые клумбы среди растущих цветов, прижаться лицом к земле и тихо что-нибудь спеть про себя.

Весна на улице, тепло, нависший туман, который превратится в дождь. Вот чего мне не хватало. И еще болотистых лесов вдали, но при этом мне нужны были Сибил и Бенджи, нужно было уйти и обрести немного воли, чтобы жить дальше.

Ах, Арман, ее-то тебе вечно не хватает, воли. Не допускай, чтобы повторилась старая история. Вооружись всем, что с тобой произошло.

Кто-то был рядом.

Неожиданно мне показалось ужасным, что какой-то незнакомый бессмертный вторгается в обрывки моих личных мыслей и, может быть, стремится эгоистично приблизиться к моим чувствам. Это оказался всего лишь Дэвид Тальбот.

Он появился из крыла часовни, пройдя по холлам монастыря, соединяющим ее, как мост, с основным зданием, пока я стоял наверху лестницы, ведущей на второй этаж.

Я увидел, как он вошел в холл, оставив позади стеклянную дверь, ведущую в сад, а за ней — мягкий, смешанный золотисто-белый свет дворика.

— Все спокойно,— сказал он,— на чердаке никого нет, и, конечно, вы можете туда подняться.

— Уходи,— сказал я. Я испытывал не злость, а искреннее желание, чтобы мои мысли не читали, а эмоции оставили в покое. Он проигнорировал мою реплику с удивительным самообладанием, а потом сказал:

— Да, я боюсь вас, немного, но при этом мне ужасно любопытно.

— Ну ясно. Значит, это оправдывает тот факт, что ты за мной следил?

— Я за вами не следил, Арман,— сказал он.— Я здесь живу.

— Вот как. Тогда прости меня,— согласился я.— Я и не знал. Полагаю, я рад, что ты его охраняешь, не оставляешь одного.— Я, естественно, говорил о Лестате.

— Вас все боятся,— спокойно уточнил он. Он занял небрежную позу в нескольких футах от меня, скрестив руки на груди.— Видите ли, знания и обычаи вампиров — предмет, достойный изучения.

— Только не для меня.

— Да, я понимаю,— сказал он.— Я просто размышлял вслух, надеюсь, вы меня простите. Насчет убитого ребенка на чердаке. Это в высшей степени раздутая история, об очень незначительном человечке. Может быть, если вам повезет больше, чем остальным, вы увидите призрак ребенка, чью одежду замуровали в стене.

— Ты не возражаешь, если я тебя рассмотрю? — спросил я.— Раз уж ты собрался с таким самозабвением копаться у меня в голове? Мы же встречались раньше, еще до того, как это случилось: Лестат, путешествие на небеса, этот дом. Я никогда тебя подробно не разглядывал. Либо от безразличия, либо из вежливости, не знаю.

Я сам удивился горячности своего голоса. Мое настроение все время менялось, и не по вине Дэвида Тальбота.

— Я знаю о тебе лишь то, что известно всем,— сказал я.— Что ты родился не в этом теле, что ты был пожилым человеком, когда Лестат с тобой познакомился, что тело, где ты обитаешь, принадлежало ловкой душе, способной перескакивать из одного живого существа в другое, а затем торговать им, являясь при этом нарушителем прав собственности.

Он обезоруживающе улыбнулся.

— Так говорил Лестат. Так он написал. Это, конечно, правда. Вы же знаете. Знаете с тех пор, когда мы встречались.

— Три ночи мы провели вместе,— сказал я.— И я ни разу тебя ни о чем не спрашивал. То есть ни разу даже не посмотрел тебе в глаза.

— Мы тогда думали о Лестате.

— А сейчас — нет?

— Я не знаю,— ответил он.

— Дэвид Тальбот...— Я смерил его холодным взглядом.— Дэвид Тальбот, Верховный глава ордена психодетективов, известного как Таламаска, был катапультирован в тело, в котором сейчас и обитает.— Не знаю, пересказывал ли я уже известные мне факты, или придумывал на ходу.— Там он либо закрепился, либо не смог выбраться, запутавшись в сетях вен-канатов, а потом его хитростью заманили в вампиры, в везучий организм вторглась пламенная кровь, запечатав внутри его душу и превратив в бессмертного. Мужчина со смуглой бронзовой кожей и сухими, блестящими и густыми черными волосами.

— Кажется, вы все правильно поняли,— ответил он со снисходительной вежливостью.

— Джентльмен-красавчик,— продолжал я,— карамельного цвета, с такой кошачьей легкостью движений и с таким манящим взглядом, что мне приходит на ум все, что когда-то меня восхищало, плюс смесь запахов корицы, гвоздики, перца и прочих специй — золотых, коричневых, красных... Эти ароматы пронзают мой мозг и повергают меня в бездну эротических желаний, которые сейчас еще живее, чем прежде, они вот-вот разыграются. Кожа у него пахнет орехами кешью и густым миндальным кремом. Правда.

Он засмеялся.

— Я вас понял.

Я сам себя шокировал. Мне стало паршиво.

— Я не уверен, что сам себя понял,— извинился я.

— Думаю, здесь все ясно,— сказал он.— Вы хотите, чтобы я оставил вас в покое.

— Слушай,— быстро прошептал я.— Я не в себе. Все мои ощущения перепутались, сплелись в узел, как нитки — вкусовые, зрительные, осязательные. Я себя не контролирую.

Я лениво и злобно подумал, не стоит ли напасть на него, схватить, заставить склониться перед моим мастерством и коварством и попробовать его кровь, не спрашивая согласия.

— Я уже слишком далеко продвинулся для этого,— сказал он,— и зачем вам так рисковать?

Какое самообладание! Его опыт и интеллект действительно управляли здоровой молодой плотью — мудрый смертный с железной властью над вечностью и сверхъестественными силами. Какая смесь энергий! Приятно было бы выпить его кровь, получить его помимо его воли. Ничего нет на земле веселее, чем победа над равным тебе по силе.

— Не знаю,— пристыженно сказал я. Изнасилование недостойно мужчины.— Не знаю, зачем я тебя оскорбляю. Понимаешь, я хотел побыстрее уйти. То есть я хотел зайти на чердак, а потом оказаться где-нибудь подальше отсюда. Я хотел избежать подобных страстей. Ты удивительный, при этом ты считаешь, что я тоже удивительный, и это забавно.

Я обвел его взглядом. Да, истинная правда, во время последней нашей встречи я оставался к нему слеп.

Одевался он сногсшибательно. С изобретательностью былых времен, когда мужчины прихорашивались, как павлины, он выбирал золотисто-красноватые и темно-коричневые оттенки. Элегантный, хорошо сложенный, весь в аксессуарах из чистого золота — часы в жилетном кармане, пуговицы и тонкая булавка в современном галстуке, в цветном лоскуте ткани, популярном у мужчин этой эпохи, словно они сами напрашиваются на то, чтобы их ухватили за аркан. Нелепое украшение. Даже блестящая рубашка из хлопка была рыжевато-коричневой, вызывая ассоциации с солнцем и нагревшейся землей. Даже ботинки коричневые, глянцевые, как спины жуков. Он подошел ко мне.

— Вы знаете, о чем я сейчас попрошу,— сказал он.— Не нужно бороться с невысказанными мыслями, с новыми ощущениями, с непреодолимым прозрением. Напишите мне лучше о них книгу.

Такого вопроса я предугадать не мог. Я был удивлен, приятно удивлен, но тем не менее он застал меня врасплох.

— Написать книгу? Я? Арман?

Я направился к нему, резко повернулся и взлетел по ступенькам на чердак, обогнул третий этаж и оказался на четвертом.

Густой, теплый воздух. Это место каждый день жарится на солнце. Все сухое, приятное, дерево пахнет ладаном, а пол весь в трещинах.

— Девочка, где ты? — спросил я.

— То есть ребенок,— поправил он.

Он подошел сзади и ради приличия выдержал паузу. Потом добавил:

— Ее здесь никогда не было.

— Откуда ты знаешь?

— Будь она призраком, я мог бы ее вызвать,— сказал он.

Я оглянулся через плечо.

— Ты обладаешь такой силой? Или тебе просто хочется поддержать разговор? Прежде чем ты осмелишься продолжать, позволь предупредить тебя, что мы почти никогда не обладаем способностью видеть духов.

— Я совсем другой,— пояснил Дэвид.— Я ни на кого не похож. Я попал в Мир Тьмы, имея в своем распоряжении другие возможности. Если позволите, я скажу, что мы, вампиры, развиваемся как вид.

— Глупый шаблон.— Я двинулся вглубь чердака, где увидел маленькую оштукатуренную комнатку с шелушащимися на стенах розами, с большими, гибкими, красиво нарисованными викторианскими розами с бледно-зелеными пушистыми листьями. Я вошел внутрь. Сквозь окно проникал свет, но оно располагалось слишком высоко для ребенка. Безжалостно, подумал я.

— А кто сказал, что здесь умер ребенок? — спросил я. Под многолетней пылью все было чисто. Чужого присутствия не ощущалось. Отлично, вполне справедливо, подумал я, никакой призрак меня не утешит. Почему это специально ради меня из своего сладостного покоя должны возвращаться призраки? Ради того, чтобы я, может быть, прижался к воспоминанию о ней, к ее хрупкой легенде. Как убивают детей в приютах, если за ними ухаживают одни монашки? Я никогда не считал, что женщины настолько жестоки. Сухие, возможно, без воображения, но не агрессивны до такой степени, как мы, чтобы убивать.

Я поворачивался из стороны в сторону. У одной стены выстроился ряд сундуков. Один из них был открыт — в нем лежали старые ботинки, маленькие коричневые «оксфордские», как их называют, ботинки с черными шнурками, и теперь моим глазам открылась дыра, ранее находившаяся у меня за спиной, пролом в стене, из которого вырвали ее одежду. Сваленная прямо там, одежда лежала заплесневелая и мятая.

Меня сковала неподвижность, как будто эта пыль стала тонким льдом, сошедшим с высоких пиков надменных и чудовищно эгоистичных гор, чтобы заморозить все живое, чтобы сомкнуться и навсегда положить конец всему, что умеет дышать, чувствовать, видеть сны или жить. Он заговорил стихами:

— «Не бойся больше солнечной жары,— прошептал он.— Не бойся бурь бушующих зимы. Не бойся...»

Я вздрогнул от удовольствия. Я знал эти строфы. И любил их. Я встал на колени, как перед причастием, и потрогал ее одежду.

— А она была маленькая, не больше пяти, и совсем она здесь не умерла. Никто ее не убивал. Ничего в ней особенного нет.

— Как же ваши слова противоречат мыслям,— сказал он.

— Неверно, я думаю о двух вещах одновременно. Сам факт убийства человека придает ему индивидуальность. Меня убили. Нет-нет, не Мариус, как ты мог бы подумать,— другие.

Я знал, что говорю тихо и высокомерно, потому что не собирался устраивать драму.

— Воспоминания окутывают меня, как старые меха. Я поднимаю руку — и ее накрывает рукав воспоминаний. Я оборачиваюсь — и вижу другую эпоху. Но знаешь, что меня пугает больше всего? Что это состояние, как и все прочие мои состояния, в конечном счете ничего не докажет, однако растянется на века.

— Чего вы боитесь на самом деле? Чего вы хотели от Лестата, когда пришли сюда?

— Дэвид, я пришел его увидеть. Я пришел узнать, как у него дела, почему он лежит там и не двигается. Я пришел...— Продолжать я не собирался.

Благодаря глянцевым ногтям его руки казались украшением тела, необычными, ласковыми, миловидными и приятными в прикосновении. Он достал платьице, рваное, серое, усеянное кусочками кружев. Все, что облечено в плоть, может излучать головокружительную красоту, если сосредоточиться надолго, а его красота выставляла себя напоказ без оправданий.

— Просто одежда. Ситец в цветочек, бархатная тряпка со взбитым рукавом, не больше, чем яблоко,— в тот век и днем, и ночью все ходили с обнаженными плечами.

— Ее отнюдь не окружало насилие,— сказал он словно бы с сожалением.— Просто бедный ребенок, как вы думаете? Унылый как по натуре, так и по воле обстоятельств.

— Тогда скажи мне, почему их замуровали в стену? Какой грех совершили эти маленькие платья? — Я вздохнул.— Господи Боже, Дэвид Тальбот, почему бы нам не оставить девочке немного романтики и славы? Ты меня злишь. Ты говоришь, что можешь видеть призраков. И как, они тебе нравятся? Ты любишь с ними разговаривать? Я мог бы рассказать тебе об одном призраке...

— Когда же вы мне расскажете? Послушайте, разве вы не заметили приманку? — Он встал и правой рукой смахнул пыль с коленей. В левой он держал подобранное с пола платье. Меня чем-то раздражало это сочетание — высокое существо с мятым платьем маленькой девочки в руке.

— Знаешь, если подумать,— сказал я, отвернувшись, чтобы не смотреть на платье в его руке,— нет у Бога веской причины

для существования маленьких мальчиков и девочек. Подумай о нежном потомстве других млекопитающих. Разве различают пол среди щенков, котят или жеребят? Никто об этом не думает. Полувзрослое хрупкое существо бесполо. Нет зрелища великолепнее, чем маленькая девочка или мальчик. У меня в голове столько мнений! Наверное, она взорвется, если я что-нибудь не сделаю, а ты говоришь — написать для тебя книгу. Ты думаешь, это возможно, думаешь...

— Вот что я думаю: когда вы напишете книгу, то расскажете всю историю так, как вам бы хотелось!

— И где здесь великая мудрость?

— Ну подумайте, для большинства из нас речь — это просто выражение наших чувств, просто вспышка. Послушайте, обратите внимание на то, как у вас проявляются эти взрывы.

— Не хочу.

— Хотите, однако не такие слова вам хотелось бы прочесть. Когда пишешь, все по-другому. Создается повествование, не важно, пусть фрагментарное, или экспериментальное, или не принимающее в расчет общепринятые нормы удобства. Попробуйте. Нет, нет, у меня появилась идея получше.

— Какая?

— Пойдемте вниз, в мои комнаты. Я уже говорил, что теперь живу здесь. Из моих окон видны деревья. Я живу не так, как наш друг Луи, который бродит из одного пыльного угла в другой, а потом возвращается в свою квартиру на Рю-Рояль, убедив себя в очередной, тысячный, раз в том, что Лестату ничто не угрожает. У меня в комнатах тепло. Освещение в старом стиле: я использую свечи. Пойдемте вниз, а там я запишу ее, вашу историю. Говорите со мной. Ходите по комнате, проповедуйте, если хотите, или обвиняйте, да, обвиняйте, а я все запишу, и тогда сам факт, что я записываю, заставит вас придать ей форму. Вы начнете...

— Что?

— Рассказывать, что произошло. Как вы умерли, как вы выжили.

— На чудеса не настраивайтесь, хитроумный ученый. Я не умер в то утро в Нью-Йорке. Я *чуть* не умер.

Он меня несколько заинтриговал, но я ни за что не смог бы выполнить его просьбу. Тем не менее он был честен, на удивле-

ние честен, насколько я мог определить, и вследствие этого — искренен.

— Да нет, я говорил не в буквальном смысле. Я имел в виду: что значило подняться так высоко навстречу солнцу, столько страдать, а в результате, как вы сказали, обнаружить в своих страданиях все эти воспоминания, все связующие звенья? Расскажите мне! Расскажите.

— Нет, если ты намерен сделать из этого связный рассказ,— резко сказал я. Я проверял его реакцию. Я ему не надоел. Он хотел продолжать разговор.

— Связный рассказ? Арман, я просто запишу все, что вы скажете.— В его голосе звучало неподдельное любопытство.

— Честно?

Я окинул его игривым взглядом. Сделать такое?! Он улыбнулся, встряхнул платье и аккуратно бросил его в середину кучи другой старой одежды.

— Я не изменю ни единого слова,— сказал он.— «Побудь со мной, откройся мне, моей отдайся страсти».— И опять улыбнулся.

Внезапно он направился ко мне почти в такой же агрессивной манере, в какой я раньше собирался приблизиться к нему. Он просунул руки мне под волосы и потрогал мое лицо, потом собрал мои волосы, уткнулся лицом в кудри и рассмеялся. Он поцеловал меня в щеку.

— Волосы у тебя сотканы словно из янтаря, если янтарь расплавить на свече и растянуть на длинные тонкие воздушные нити, чтобы они застыли в таком положении и превратились в эти сияющие локоны. Ты очаровательный, как мальчик, и красивый, как девушка. Жаль, что я не могу хотя бы мельком увидеть, каким ты был у него, у Мариуса, в старинном бархате. Хотелось бы мне хоть на секунду увидеть тебя — в чулках, в подпоясанном камзоле, расшитом рубинами. Посмотри на себя, ледяное дитя. Моя любовь тебя даже не трогает.

Неправда.

У него были горячие губы, под ними чувствовались клыки, я ощутил, как внезапно настойчиво напряглись его пальцы, снова сжавшие мой череп. От этого у меня по спине побежали мурашки, все тело напряглось и вздрогнуло, я не мог и предвидеть, что мне будет так приятно. Я отверг эту одинокую интимность,

до такой степени, чтобы направить ее в другое русло или же совершенно от нее избавиться. Скорее я умру или уйду в темноту, без затей, одинокий, с заурядными слезами на глазах.

По выражению его глаз я решил, что он умеет любить, ничего не отдавая. Никакой не знаток, обычный вампир.

— Я из-за тебя голоден,— прошептал я.— Мне нужен не ты, а тот обреченный, кто до сих пор жив. Я хочу поохотиться. Прекрати. Что ты меня трогаешь? С чего это ты такой ласковый?

— Перед тобой никто не устоит,— сказал он.

— А как же! Кто откажется попользоваться маленьким пикантным греховодником? Кому не хочется получить веселого ловкого мальчика? Дети вкуснее женщин, а девушки слишком похожи на женщин. Но мальчики... Они не похожи на мужчин, да?

— Не издевайся надо мной. Я имел в виду, что просто хотел прикоснуться к тебе, почувствовать, какой ты гибкий, вечно молодой.

— Это я, что ли, вечно молодой? — сказал я.— Чушь ты говоришь для такого красавчика. Я пошел. Я голоден. А когда я закончу, когда согреюсь и наемся, я приду, поговорю с тобой и расскажу все, что хочешь.

Я отступил от него, однако вздрогнул, когда он отпустил мои волосы. Я посмотрел в пустое белое окно, слишком высокое, чтобы увидеть деревья.

— Они здесь ничего зеленого не видели, а на улице весна, южная весна. Ею пахнет даже через стены. Я хочу хотя бы минуту посмотреть на цветы. Убить, выпить кровь и посмотреть на цветы.

— Так не пойдет. Я хочу написать книгу,— сказал он.— Прямо сейчас, я хочу, чтобы ты пошел со мной. Я здесь целую вечность сидеть не буду.

— Чепуха, конечно будешь. Думаешь, я кукла, да? Ты думаешь, что я привлекательный, что я отлит из воска, и ты будешь сидеть здесь столько же, сколько и я.

— А ты довольно вредный, Арман. Выглядишь как ангел, а разговариваешь как заурядный головорез.

— Какое высокомерие! Я-то думал, ты меня хочешь.

— Только на определенных условиях.

— Врешь, Дэвид Тальбот,— сказал я.

Я направился мимо него к лестнице. В темноте пели цикады — они часто поют в Новом Орлеане всю ночь напролет.

Через девятигранные окна на лестнице я заметил цветущие весенние деревья, плющ, скрутившийся над крыльцом.

Он шел за мной. Мы спускались ниже и ниже, ступенька за ступенькой, как обыкновенные люди, дошли до первого этажа и, миновав искрящиеся стеклянные двери, оказались на широкой освещенной Наполеон-авеню, в центре которой, подальше, располагался влажный, душистый зеленый парк, парк, полный аккуратно высаженных цветов и старых, шишковатых и смиренно склоненных деревьев.

Вся эта картина шевелилась на слабом речном ветру, в воздухе висел, не опускаясь над самой рекой, мокрый туман, а на землю падали, кружась в воздухе, как губительный пепел, крошечные зеленые листья. Мягкая-мягкая южная весна. Даже небо вот-вот, казалось, разродится весной — снижаясь, краснея от отраженного света, всеми порами источая туман.

От садов справа и слева поднимался резкий аромат, исходящий от фиолетовых цветов, разросшихся, как сорняки, но с бесконечно сладким запахом и диких ирисов, прорезающих черную грязь, как клинки, с чудовищно большими лепестками, бьющимися о старые стены и бетонные ступеньки, и, как всегда, от роз, роз старух и юных женщин, роз слишком цельных для тропической ночи, роз, покрытых ядом.

Здесь, по центральной полоске травы, проехала машина. Я узнал ее, она оставила свой след среди буйной глубокой зелени, по которой я шел навстречу трущобам, навстречу реке, навстречу смерти, навстречу крови. Он следовал за мной. Я мог бы закрыть глаза на ходу и не сбиться с пути, и видеть машины.

— Давай-давай, иди за мной,— сказал я не в качестве приглашения, но в качестве комментария к его действиям.

За несколько секунд — несколько кварталов. Он не отставал. Очень сильный. В его жилах, можно не сомневаться, течет кровь всего королевского двора. В создании самого смертоносного из монстров на Лестата можно положиться, после стольких-то первоначальных соблазнительных ошибок: Никола, Луи, Клодия — ни один из них был не в состоянии о себе

позаботиться, двое погибли, один остался, наверное слабейший из всех вампиров, но он тем не менее бродит по огромному миру.

Я обернулся. Меня поразило его напряженное гладкое лицо. Он выглядел так, словно его покрыли лаком, навощили, отполировали, и мне опять пришли на память специи, ядра засахаренных орехов, восхитительные запахи, сладкий сахаристый шоколад и густой темный жженый сахар, и неожиданно мне показалось, что неплохо было бы его схватить.

Но он не заменит мне гнусного, дешевого, спелого и зловонного смертного. И что же я сделал? Показал ему:

— Вон там.

Он взглянул в этом направлении. Он увидел осевшие очертания старых зданий. За каждой облезлой стеной, под каждым потрескавшимся потолком, среди крошечных узких лестниц прятались, спали, обедали, бродили смертные.

Я нашел его, идеально безнравственного; он ждал меня — шквал тлеющих угольков ненависти, злобы, жадности и презрения.

Мы дошли до Мэгазин-стрит и прошли дальше, но еще не достигли реки, хотя она была почти рядом; об этой улице у меня не сохранилось никаких воспоминаний, или я не забредал на нее во время моих скитаний по этому городу — их городу, Луи и Лестата; обычная узкая улица под луной, с домами цвета плавника, с окнами, прикрытыми импровизированными занавесками, за одним из которых сидел этот ссутулившийся, высокомерный, жестокий смертный, приклеившийся к телеэкрану, с жадностью глотающий солодовый напиток из коричневой бутылки, не обращая внимания на тараканов и пульсирующую жару, рвущуюся в открытое окно; уродливое, потное, грязное и неотразимое существо, созданная для меня плоть и кровь.

Дом настолько кишел паразитами и крошечными мерзкими тварями, что больше всего напоминал скорлупу, треснувшую, ломкую, вездесущие тени делали ее похожей на лес. Никаких санитарных норм. Среди куч мусора и сырости гнила даже мебель. Урчащий белый холодильник покрывала плесень. Только вонючая постель и лохмотья выдавали истинное, жилое, предназначение дома.

Подходящее гнездо для этой дичи, для этой мерзкой птицы, для толстого, сытного мешка костей, крови и потрепанного оперения, годного только на то, чтобы ощипать его и съесть.

Я оттолкнул дверь в сторону — навстречу мне, словно рой мошек, поднялась человеческая вонь — и тем самым сорвал ее с петель, но без особенного шума.

Я прошел по газетам, раскиданным по крашеным половицам. Апельсиновые корки превратились в коричневатую кожу. Бегали тараканы. Он даже голову не поднял. Его опухшее пьяное лицо отливало жутковатой синевой, но при этом в нем было, возможно, и что-то ангельское — благодаря свету лампы.

Он взмахнул волшебным пластиковым приборчиком, чтобы переключить канал, экран мигнул и беззвучно заморгал, и он включил громкость — песня, играет группа, пародия, хлопают люди.

Дрянные звуки, дрянные картинки, как и окружающий его мусор. Ладно, ты мне нужен. Больше никому.

Он поднял глаза на меня, маленького агрессора, Дэвид ждал слишком далеко, чтобы он его увидел.

Я толкнул телевизор в сторону. Он покачнулся и упал на пол, его детали разбились, словно внутри находилось множество склянок с энергией, теперь превратившихся в осколки.

В нем моментально возобладала ярость, зарядив его лицо сонливым узнаванием.

Он поднялся, расставив руки, и набросился на меня.

Перед тем как впиться в него зубами, я заметил, что у него были длинные, спутанные черные волосы. Грязные, но густые. Они держались за спиной при помощи завязанной в узел у основания шеи тряпки и рассыпались по пестрой рубашке толстым хвостом.

Надо признать, в нем оказалось достаточно густой, одурманенной пивом крови, которой хватило бы и на двух вампиров, и яростное бойцовское сердце, а при этом — столько плоти, что забираться на него было все равно что оседлать быка.

Когда пьешь кровь, все запахи приятны, даже самые прогорклые. Я, как всегда, подумал, что сейчас тихо умру от счастья.

Я поспешно набрал полный рот крови, подержал ее на языке и пропустил в желудок, если таковой у меня имеется, чтобы

остановить алчную грязную жажду, но не настолько, чтобы лишить этого типа воли.

Он впал в забытье и начал сопротивляться, сделал большую глупость, вцепившись мне в пальцы, а потом совершил опасную бестактность — попытался добраться до моих глаз. Я крепко зажмурился и дал ему нажать на глаза жирными большими пальцами. Никакой пользы это ему не принесло. Я мальчик стойкий. Нельзя ослепить слепого. Я был слишком занят кровью, чтобы обращать внимание. К тому же мне было приятно. Эти слабаки, стремясь оцарапать кожу, только гладят ее.

Его жизнь прошла мимо, словно все, кого он когда-нибудь любил, проехали на «американских горках» под искрящимися звездами. Хуже, чем на картине Ван Гога. Пока мозг не извергнет свои ярчайшие краски, нельзя узнать настоящую палитру того, кого убиваешь.

Вскоре он сдался. Я опустился на пол вслед за ним. Теперь уже я обхватил его левой рукой и лежал, прижимаясь к его большому мускулистому животу, как ребенок, и пил кровь большими торопливыми глотками, выжимая все его мысли, видения и чувства, чтобы они слились в один цвет, мне нужен только цвет чисто оранжевый; и на секунду, когда он умирал — когда мимо меня большим шаром черной энергии, которая в конечном счете оказывается пустотой, просто дымом или того меньше, прокатилась смерть,— когда смерть вошла в меня и вышла назад, как ветер, я подумал, не лишаю ли я его конечного понимания, сокрушая все, чем он был?

Чепуха, Арман. Ты знаешь то, что известно духам, что известно ангелам. Этот подонок отправляется домой! На небеса. На небеса, которые отказались от тебя, причем, может быть, навсегда. Мертвым он выглядел просто отлично.

Я сел рядом с ним. Я вытер рот — нет, на нем не осталось ни капли крови. У вампира изо рта капает кровь только в кино. Даже самые приземленные бессмертные слишком опытны, чтобы пролить хотя бы каплю. Я вытер рот, потому что у меня на губах и на лице был его пот и я хотел от него избавиться.

Тем не менее я восхищался им — несмотря на внешность толстяка, он оказался большим и удивительно жестким. Я восхищался черными волосами, льнущими к влажной груди в тех местах, где порвалась рубашка.

Его черные волосы представляли собой достойное зрелище. Я сорвал стягивающий их тряпичный узел. Густые и пышные, как у женщины.

Удостоверившись, что он мертв, я намотал их на левую руку и вознамерился выдернуть всю шевелюру из скальпа. Дэвид охнул.

— Тебе это необходимо? — спросил он.

— Нет,— сказал я. Но от скальпа все равно оторвалось несколько тысяч волосков, каждый — с собственным крошечным окровавленным корнем, сверкнувшим в воздухе, как яркий ночной светлячок. Мгновение я удерживал прядь волос в руке, потом они выскользнули из моих пальцев и упали за его повернутую набок голову.

Вырванные с корнем волосы небрежно упали на его грубую щеку. Глаза были влажными, как желе, и, казалось, еще не утратили способности видеть.

Дэвид отвернулся и вышел на узкую улицу. Вокруг гремели и ревели машины. На речном корабле пел свисток.

Я пошел за ним. Я стер с себя пыль. Одним ударом я мог разрушить весь дом, крыша просто обрушилась бы в зловонную грязь, и он бы тихо умер среди остальных домов, чтобы никто из жильцов даже и не узнал об этом, все влажное дерево просто бы рухнуло. Я никак не мог избавиться от вкуса и запаха пота.

— Почему ты так возражал против того, чтобы я вырвал его волосы? — спросил я.— Я просто хотел забрать их, он же умер, ему все равно, а никто другой не будет по ним скучать.

Он повернулся с коварной улыбкой и смерил меня взглядом.

— Твой вид меня пугает,— сказал я.— Неужели я по небрежности разоблачил в себе чудовище? Знаешь, моя блаженная смертная Сибил, когда она не играет сонату Бетховена, известную как «Аппассионата», все время смотрит, как я охочусь. А теперь ты хочешь, чтобы я рассказал тебе свою историю?

Я бросил последний взгляд на труп с обвисшим плечом. На подоконнике над ним стояла синяя стеклянная бутылка, а в ней — оранжевый цветок. Ну не проклятие ли это?

— Да, очень хочу,— сказал Дэвид.— Пойдем, вернемся вместе. Я просил тебя не вырывать его волосы только по одной причине.

— Да? — спросил я. Я посмотрел на него. С довольно-таки искренним любопытством.— И по какой же причине? Я всего-то собирался вырвать его волосы и выбросить.

— Все равно что оторвать крылышки у мухи,— предположил он без видимого осуждения.

— У мертвой мухи,— ответил я. И намеренно улыбнулся.— Ну же, из-за чего весь этот шум?

— Я хотел проверить, послушаешь ты меня или нет,— сказал он.— Вот и все. Потому что, если бы ты меня послушал, между нами все было бы в порядке. И ты остановился. Вот все и в порядке.— Он повернулся и взял меня за руку.

— Ты мне не нравишься! — сказал я.

— О нет, нравлюсь, Арман,— ответил он.— Давай, я все запишу. Шагай по комнате, проповедуй, обвиняй. Сейчас ты на высоте, ты сильный, потому что у тебя есть двое замечательных маленьких смертных, цепляющихся за каждый твой жест, они у тебя как служители у Бога. Но ты хочешь рассказать мне свою историю, сам знаешь, что хочешь. Ну же!

Я не мог удержаться от смеха.

— И что, эта тактика уже приносила результат?

Теперь наступила его очередь смеяться, что он и сделал в добродушной манере.

— Нет, вряд ли,— сказал он.— Но давай поставим вопрос так: напиши книгу для них.

— Для кого?

— Для Бенджи и Сибил.— Он пожал плечами.— Нет?

Я не ответил.

Написать книгу для Бенджи и Сибил. Мысли перенесли меня в будущее, в веселую безопасную комнату, где мы соберемся вместе несколько лет спустя — я, Арман, не изменившийся маленький учитель, и Бенджи с Сибил в расцвете своей смертной жизни. Бенджи вырастет в стройного, высокого джентльмена с арабскими пленительными чернильными глазами, с любимой сигарой в руке, мужчину с большими перспективами и большими возможностями. И моя Сибил, гибкая, с пышными царственными формами, с золотыми волосами, обрамляющими овальное лицо взрослой женщины с пухлыми губами и глазами, полными чарующего, скрытого сияния, еще более великая пианистка, чем сейчас, выступающая с концертами.

Смогу ли я продиктовать в этой комнате свою историю и подарить им книгу? Книгу, продиктованную Дэвиду Тальботу? Смогу ли я, выпуская их из своего алхимического мира, подарить им эту книгу? Ступайте, дети мои, забирайте с собой все богатства и напутствия, какими я могу вас наделить, а теперь еще и эту книгу, так давно написанную для вас мною вместе с Дэвидом.

Да, сказала моя душа. И все-таки я повернулся, сорвал с жертвы черный волосатый скальп и топнул по нему ногой. Дэвид даже не поморщился. Англичане такие вежливые.

— Отлично,— сказал я,— я расскажу тебе мою историю.

Его комнаты располагались на втором этаже, недалеко от того места, где я задержался на лестнице. Какой контраст по сравнению с пустыми, не обогреваемыми холлами! Он устроил себе настоящую библиотеку, со столами, с креслами. Медная кровать, сухая и чистая.

— Это ее комнаты,— сказал он.— Разве ты не помнишь?

— Дора,— сказал я. И неожиданно вдохнул ее запах. Надо же, он сохранился повсюду. Но все ее личные вещи исчезли.

Должно быть, это его книги — а как же иначе? Новые спиритуалисты: Дэннион Вринкли, Хиларион, Мелвин Морс, Брайан Уэйс, Мэтью Фокс, Урантия. Плюс старые тексты: Кассиодор, святая Тереза Авильская, Григорий из Тура, Веды, Талмуд, Тора, Кама-сутра, все на языке оригинала. Несколько малоизвестных романов, пьесы, стихи.

— Да.— Он сел за стол.— Мне свет не нужен. А тебе?

— Я не знаю, что тебе рассказать.

— Ясно,— сказал он и достал автоматическую ручку. Он открыл блокнот с поразительно белой бумагой, размеченной тонкими зелеными линейками.— Ты поймешь, что мне рассказать.— Он посмотрел на меня.

Я стоял, обхватив себя руками, уронив голову, как будто она может отвалиться и я умру. Волосы упали мне на грудь. Я подумал о Сибил и Бенджамине, о моей тихой девочке и жизнерадостном мальчике.

— Они тебе понравились, Дэвид, мои дети? — спросил я.

— Да, с первого взгляда, как только ты их привел. Они всем понравились. Все смотрели на них с любовью и уважением.

Столько сдержанности и обаяния. Наверное, каждый из нас мечтает о таких спутниках, верных смертных друзьях, обезоруживающе милых, которые не сходят с ума и не кричат. Они тебя любят, но не находятся во власти ужаса или под гипнозом.

Я не двигался. И не говорил. Я закрыл глаза. В голове у меня раздался быстрый, дерзкий марш из «Аппассионаты», грохочущие, искрящиеся волны музыки, болезненной и ломко-металлической — «Аппассионаты». Только она звучала в голове. Без золотистой длинноногой Сибил.

— Зажги свечи, все, какие есть,— нерешительно сказал я.— Тебе не сложно? Приятно, когда много свечей, да, смотри, на окнах все еще висят кружева Доры, свежие, чистые. Я люблю кружева, это брюссельский *point de gaze*, или очень похоже, да, я от них без ума.

— Конечно, я зажгу свечи,— сказал он.

Я повернулся к нему спиной. Я услышал резкий, восхитительный треск маленькой деревянной спички. Я понюхал, как она горит, а потом до меня донесся жидкий аромат склоняющегося фитиля, скручивающегося фитиля, и вверх поднялся свет, обнаружив на полосатом потолке голые кипарисовые доски. Еще треск, новая цепочка тихих, приятных, мягких хрустящих звуков, и свет разросся, опустился на меня и почти что озарил мрачную стену.

— Зачем ты это сделал, Арман? — сказал он.— Да, на плате, вне всякого сомнения, было изображение Христа, создавалось впечатление, что это и есть священный Плат Вероники, видит Бог, в него поверили тысячи людей, да, но в твоем случае — почему, почему? Да, я не могу не признать, что оно обладало ослепительной красотой — Христос в терновом венце, его кровь, глаза, смотрящие прямо на нас, на нас обоих, но почему ты так безусловно поверил в него, Арман, после стольких лет? Зачем ты ушел к нему? Ведь ты хотел именно этого?

Я покачал головой. И постарался, чтобы мои слова прозвучали мягко и просительно.

— Соберись с силами, ученый,— сказал я, медленно поворачиваясь к нему.— Следи за своей страницей. Это для тебя и для Сибил. Да, это и для моего маленького Бенджика. Но в своем роде — это моя симфония для Сибил. История начинается

очень давно. Может быть, я никогда по-настоящему не сознавал, насколько давно,— до этого самого момента. Слушай и записывай. А я буду шагать по комнате, проповедовать и обвинять.

2

Я смотрю на свои руки и вспоминаю слово «нерукотворный». Я знаю, что это означает, хотя всякий раз, когда мне доводилось его слышать, речь шла именно о чем-то созданном моими руками.

Хотел бы я сейчас заняться живописью, взять в руки кисть и поработать ею, как в прежние времена,— впасть в транс и неистово, одним мазком наносить краски, чтобы каждая линия, каждый оттенок с первого раза принимали окончательный вид.

Нет, я слишком расстроен, воспоминания пугают меня.

Позволь, я сам выберу, с чего начать.

Константинополь... Недавно попавший под контроль турок... Я хочу сказать, что к тому моменту, когда меня — мальчика-раба, захваченного в диких землях родной ему страны, о которой он ничего толком не знал, за исключением, пожалуй, лишь ее названия: Золотая Орда,— привезли в этот город, он принадлежал мусульманам меньше века.

Меня уже успели лишить воспоминаний, а также родного языка и способности связно мыслить. Я помню убогие, грязные комнаты — должно быть, в Константинополе, потому что впервые за целую вечность, прошедшую после того, как меня вырвали из той жизни, о которой я напрочь забыл, я понимал, о чем говорят окружавшие меня люди.

Это были торговцы, занимавшиеся продажей рабов для европейских борделей, и говорили они, конечно, по-гречески. Верности религии они не знали, а я не знал ничего другого, но память сочувственно избавила меня от подробностей.

Меня бросили на толстый турецкий ковер, шикарный, с красивым орнаментом,— такие можно встретить лишь во дворцах. Здесь он служил для демонстрации особенно ценных и дорогих товаров.

Кто-то расчесал мои длинные влажные волосы, причем постарался сделать эту процедуру весьма болезненной. Все личные вещи с меня содрали, и под старой потрепанной туникой

из золотой ткани на мне ничего не было. В комнате было жарко и сыро. Мне хотелось есть, но, поскольку на пищу надеяться не приходилось, я знал, что эта колючая, пронзительная боль вскоре затухнет сама собой. Туника с длинными широкими рукавами доходила мне до коленей и, должно быть, наделяла меня неким несуществующим ореолом, делая похожим на падшего ангела.

Встав на ноги, естественно босые, я увидел этих людей и понял, чего они хотят: порока, мерзости, расплачиваться за которые придется в аду. У меня в голове зазвучало эхо проклятий давно исчезнувших старейшин: слишком красивый, слишком слабый, слишком бледный, слишком много дьявольского в глазах — и улыбка от дьявола.

Как же сосредоточенно спорили эти мужчины, как напряженно торговались. Они пристально рассматривали меня, но никто не удосужился заглянуть мне в глаза.

Мне вдруг стало смешно. Все здесь делалось в такой спешке! Те, кто меня привез, ушли. Те, кто отмывал и оттирал меня, остались в купальне. Меня кинули на ковер, как сверток.

На секунду у меня мелькнула уверенность, что когда-то я был острым на язык и циничным и вообще хорошо разбирался в мужской природе. Я смеялся, потому что эти торговцы приняли меня за девочку.

Я ждал, слушал, улавливая отдельные обрывки разговора. Мы находились в просторной комнате с низким потолком, а точнее — пологом из шелка, расшитым крошечными зеркалами и всякими завитушками, которые так любят турки. Ароматизированные лампы дымили и коптили, наполняя воздух неясной дымкой, от которой щипало глаза.

Люди в тюрбанах и кафтанах, как и их речь, не казались мне непривычными. Но я понимал только отдельные фразы. Я поискал глазами путь к бегству. Бесполезно. У выходов, ссутулившись, стояли суровые, крепкие, мрачно насупившиеся люди. В дальнем конце комнаты за столом сидел человек и сосредоточенно щелкал костяшками счетов; перед ним кучками лежали золотые монеты.

Один из торговцев, высокий худой мужчина с широкими скулами, мощной челюстью и гнилыми зубами, подошел ко мне и ощупал мои плечи и шею. Потом он поднял тунику. Я бук-

вально окаменел, как парализованный, хотя не испытывал ни злости, ни осознанного страха. Это была страна турок, и я знал, что они делают с мальчиками. Однако мне не доводилось видеть что-либо своими глазами или на картинках, равно как не приходилось слышать рассказы свидетелей и встречаться с людьми, жившими в этой стране или хоть однажды здесь побывавшими и возвратившимися домой.

Домой... Несомненно, я хотел забыть, кто я такой. Наверняка. К этому меня вынуждал позор. Но в тот момент, стоя в комнате, похожей на шатер, на ковре с цветочными узорами, окруженный купцами и работорговцами, я изо всех сил напрягал память, как будто стоило мне мысленно представить себе карту — и я смогу воспользоваться ею, чтобы вернуться в родные места.

И все-таки я сумел вспомнить степи, дикие земли, земли, куда никто не ездит, за исключением... Но здесь начинался пробел. Я был в степи... Я бросил вызов судьбе — по глупости, но по своей воле. Я вез с собой что-то чрезвычайно важное. Я соскочил с лошади, вырвал из кожаного, притороченного к седлу мешка большой сверток и побежал, прижимая его к груди.

— Деревья! — крикнул он... Но кем был этот «он»?

Тем не менее я понимал, что он хочет сказать: нужно добраться до рощи и спрятать там это сокровище, великолепную волшебную вещь, лежавшую в свертке... «нерукотворную» вещь...

Но мне не удалось уйти далеко. Когда меня схватили, я бросил сверток, и они даже не стали его искать — во всяком случае, насколько я видел. Пока меня поднимали в воздух, я думал: ее не следует оставлять вот так, завернутой в ткань. Ее необходимо спрятать среди деревьев...

Должно быть, меня изнасиловали на корабле, потому что путешествия и прибытия в Константинополь я не помню. Память не сохранила ощущения голода, холода или страха, равно как и воспоминаний о грубом обращении или насилии надо мной.

Только здесь я впервые во всех подробностях узнал, что такое насилие, почувствовал зловоние жирных тел, услышал проклятия и ругательства в адрес обесчещенного и погубленного невинного ребенка.

Меня охватило чудовищное, невыносимое чувство абсолютной беспомощности и бессилия.

Омерзительные люди, безбожники, противники человеческого естества...

Я, как зверь, зарычал на купца в тюрбане и тут же получил сильный удар в ухо, сбивший меня с ног. Я так и остался лежать на полу, глядя на него и стараясь вложить в этот взгляд как можно больше презрения, и не встал, даже когда он пнул меня ногой. Говорить я тоже отказался.

Перекинув через плечо, он понес меня прочь — через заполненный людьми и заваленный кучами грязи двор, мимо удивительных, но отвратительно пахнущих верблюдов и ослов,— в гавань, где стояли в ожидании корабли. Поднявшись по сходням на один из них, он затащил меня в трюм.

Здесь тоже было грязно, воняло гашишем, шебуршились корабельные крысы. Меня бросили на тюфяк из грубой ткани. Я снова осмотрелся в поисках выхода, но увидел только лестницу, по которой мы спустились, и услышал доносившийся сверху гул множества мужских голосов.

Когда корабль отплыл, было еще темно. Через час мне стало так плохо, что хотелось только одного: умереть. Я свернулся на полу, с головой спрятавшись под мягкой, липшей к телу тканью старой туники, и старался по возможности не двигаться. Я спал очень долго.

Когда я проснулся, рядом стоял старик. Он был одет не как турок и потому показался мне не таким страшным, к тому же глаза его светились добротой и сочувствием.. Склонившись надо мной, он заговорил на мелодичном и приятном, но совершенно незнакомом языке — я не понимал ни слова.

Чей-то голос сказал ему по-гречески, что я немой, ничего не соображаю и рычу, как зверь.

Впору было еще раз посмеяться, но мне было слишком плохо.

Тот же самый грек сообщил старику, что я не избит и не ранен и что за меня назначили высокую цену.

Старик сделал пренебрежительный жест, покачал головой и вновь заговорил на своем певучем языке, а потом ласково обхватил меня руками и мягко заставил встать.

Через дверь он провел меня в маленькое помещение, обитое красным шелком.

Там я и провел остаток путешествия, за исключением одной ночи.

В ту ночь — не знаю, какую именно по счету,— я проснулся и обнаружил, что старик спит рядом со мной. Должен заметить, он и пальцем меня не трогал, за исключением тех случаев, когда хотел приласкать или успокоить. Я вышел, поднялся по лестнице и долго смотрел на звезды.

Мы стояли на якоре в порту, а на крутых уступах скал, окружавших гавань, где под декоративными арками сводчатой галереи горели факелы, раскинулся город — мрачные сине-черные здания с куполообразными крышами и колокольни.

Вид этого обжитого берега казался весьма привлекательным, но мне и в голову не приходило, что можно спрыгнуть с корабля и обрести свободу. Под арками прогуливались люди, а под той, что была ближайшей ко мне, я увидел странно одетого человека в сияющем шлеме, с болтающимся на бедре большим широким мечом. Он стоял на страже, прислонившись к украшенной замысловатой резьбой разветвляющейся, словно дерево, колонне, которая поддерживала свод галереи. Создавалось впечатление, что передо мной остатки какого-то дворца, безжалостно прорезанного каналом для прохода кораблей.

Вся картина в целом произвела на меня большое впечатление и навсегда врезалась в память, но больше я на берег почти не смотрел. Взгляд мой устремился к небесам и его загадочным обитателям — мифическим созданиям, навеки воплощенным во всемогущих и непостижимых звездах. На фоне чернильной черноты ночи они сияли, как драгоценные камни,— столь ярко, что мне вдруг вспомнились старые стихи и даже звуки гимнов, исполняемых исключительно мужчинами.

Если не ошибаюсь, прошло несколько часов, прежде чем меня поймали, жестоко избили кожаной плетью и утащили обратно в трюм. Я знал, что, как только меня увидит старик, наказание немедленно прекратится. Так и случилось. Он буквально затрясся от бешенства, а потом прижал меня к себе, и мы снова легли в постель. Он был слишком стар, чтобы что-то от меня требовать.

Я не испытывал к нему любви. Ничего не смыслящему немому было очевидно, что этот человек относится к нему как к ценному товару, который необходимо сохранить ради выгодной продажи. Но я нуждался в нем и в его утешениях. Я спал, сколько мог. Малейшая качка вызывала тошноту, а иногда меня

мутило просто от жары. Я еще не знал настоящей жары. Старик кормил меня так хорошо, что иногда мне казалось, будто он откармливает меня, как теленка, чтобы продать на мясо.

Когда мы добрались до Венеции, день клонился к вечеру. Мне даже краешком глаза не удалось увидеть красоты Италии, ибо все время я провел взаперти, в мрачной дыре, вместе со своим старым стражем. Когда же наконец меня повели в город, я убедился, что никоим образом не ошибался в своих подозрениях на счет старика.

В какой-то темной комнате он вступил в яростный спор с другим человеком. Ничто не заставило бы меня заговорить. Ничто не заставило меня показать, что я сознаю, что со мной происходит. Однако я все отлично понимал. Деньги перешли из рук в руки. Старик ушел, даже не оглянувшись.

Меня пытались обучать. Вокруг звучала певучая, ласкающая речь. Мальчики приходили, садились рядом и старались улестить меня ласковыми поцелуями и объятиями. Они щипали и поглаживали мои соски, старались добраться до интимных мест, на которые, как меня учили, нельзя было и смотреть, дабы не впасть в страшный грех.

Я пытался молиться, но обнаружил, что не помню слов. Даже образы утратили четкость. Свет, указывающий мне путь на протяжении всей жизни, угас. Стоило мне отвлечься и задуматься, кто-нибудь бил меня или дергал за волосы.

Всякий раз после побоев они приносили притирания и заботливо обрабатывали поврежденную кожу. Однажды, когда какой-то мужчина ударил меня по лицу, другой прикрикнул на него и схватил за руку, прежде чем тот успел нанести второй удар.

Я наотрез отказывался от еды и воды, и никто не мог заставить меня изменить решение. Это не было сознательным объявлением голодовки — просто я не желал делать то, что поддерживало бы во мне жизнь. Я знал, что иду домой. Домой! Я умру и попаду домой! Но переход будет ужасным и болезненным. Если бы меня оставили одного, я бы плакал. Но меня не оставляли ни на минуту. Значит, придется умирать на людях. Я целую вечность не видел дневного света. Даже сияние ламп резало глаза — так глубоко я погрузился в нерушимую тьму. Но рядом всегда были люди.

Периодически свет становился ярче. Они садились вокруг — я видел их смуглые личики, а шустрые, похожие на звериные лапки ручонки убирали с моего лица волосы или трясли за плечо. Я отворачивался к стене.

Моим собеседником и компаньоном был звук. Я думал, что только он и останется со мной до конца жизни: плеск воды, доносившийся с улицы. Я различал, когда мимо проплывала лодка, слышал, как скрипят деревянные опоры, а когда прижимался головой к каменной кладке стен, то ощущал, как раскачивается здание, словно оно стояло не на берегу, а непосредственно в воде. Впрочем, так и было на самом деле.

Однажды мне приснился дом, но что именно — не помню. Я проснулся в слезах, и из темноты раздались негромкие голоса — шквал нежных, вкрадчивых утешений.

Мне казалось, что самое лучшее — это остаться в одиночестве. Я ошибался. Когда меня заперли на несколько дней и ночей в темной комнате без хлеба и воды, я начал кричать и биться о стену. Никто не пришел.

Через какое-то время я впал в ступор, а когда дверь наконец открылась, испытал невероятное потрясение — я резко вздрогнул и сел, прикрывая глаза. Лампа представлялась мне опасным и грозным врагом. Кровь в висках пульсировала, болью отдаваясь в голове.

И тут я почувствовал мягкий, ненавязчивый аромат: смесь запахов душистых дров, горящих в очаге в снежную зиму, раздавленных цветов и какого-то масла.

Меня коснулось что-то твердое, словно сделанное из дерева или меди, однако при этом явно живое. В конце концов я открыл глаза и увидел перед собой незнакомого мужчину, а то, что я принял за нечто деревянное или медное, оказалось его пальцами — очень белые и жесткие на ощупь, они тем не менее поддерживали меня чрезвычайно нежно и бережно. Взгляд голубых глаз незнакомца был пронзительным и в то же время на удивление ласковым.

— Амадео...— прошептал он.

С головы до ног облаченный в красный бархат, он оказался потрясающе высоким. Светлые волосы, тщательно расчесанные на пробор, как у святых, густыми прядями спускались до плеч,

где рассыпались по плащу блестящими волнами. У него был гладкий, без единой морщинки лоб и высоко расположенные прямые золотистые брови, достаточно темные, чтобы придать чертам лица четкость и решительное выражение. Ресницы темно-золотыми нитями загибались вверх. А когда он улыбнулся, полные, красиво очерченные губы мгновенно порозовели.

Я узнал его! Я с ним разговаривал! Никакое другое лицо не могло показаться столь чудесным.

Он улыбался мне с такой добротой! Кожа над губой и подбородок были чисто выбриты — на его лице я не разглядел ни единого волоска. Тонкий, изящной формы, но достаточно крупный нос не нарушал пропорции поистине неотразимого лица.

— Нет, я не Христос, дитя мое,— сказал он.— Я тот, кто приносит свое собственное спасение и вечное блаженство. Приди в мои объятия.

— Я умираю, мой господин.— Даже сейчас я не могу сказать, на каком языке произнес в тот момент эти слова. Но он понял.

— Нет, малыш, ты не умираешь. Теперь ты переходишь под мое покровительство и, возможно,— если звезды не отвернутся от нас, а будут нам благоприятствовать — не умрешь никогда.

— Но ты же Христос! Я тебя знаю!

Он опустил взгляд и с улыбкой покачал головой. Полные губы чуть раздвинулись, открыв взору белоснежные зубы. Потом он подхватил меня под мышки, приподнял и поцеловал в шею. От этого поцелуя по коже моей пробежали мурашки, и я застыл словно парализованный. Глаза у меня сами собой закрылись, а он коснулся пальцами моих опущенных век и нежно шепнул в самое ухо:

— Спи. Я отнесу тебя домой.

Проснулся я в огромной купальне. Ни у кого в Венеции такой ванны никогда не было. Однако это я могу утверждать сейчас, после того как многое повидал. Но что я знал об обычаях этой страны тогда? Тем не менее это был настоящий дворец — во дворцах мне бывать доводилось.

Я выбрался из бархатного свертка, в котором лежал,— если не ошибаюсь, это был его красный плащ — и увидел справа от себя огромную кровать с пологом, а за ней — глубокий овальный бассейн, собственно ванну. Из раковины, поддерживаемой ангелами, в ванну текла вода, от широкой поверхности поднимался пар, а в клубах пара стоял мой господин. На его обнаженной белой груди розовели соски, а волосы, отброшенные со лба, казались еще более густыми, светлыми и прекрасными, чем раньше.

Он поманил меня к себе.

Я боялся воды. Я встал на колени возле самого края ванны и погрузил в нее пальцы.

Удивительно быстрым и грациозным движением он подхватил меня на руки и по плечи опустил в теплую воду, а потом откинул назад мою голову.

Я снова посмотрел на него. Над нами на ярко-голубом потолке словно живые парили ангелы с гигантскими, покрытыми белыми перьями крыльями. Никогда я не видел таких великолепных кудрявых ангелов, вопреки любым правилам и стилям выставляющих напоказ свою человеческую красоту: мускулистые конечности, кружащиеся вихрем одеяния, развевающиеся локоны. Все это казалось мне определенным безумием — пышущие здоровьем и энергией фигуры, их буйные божественные игры в тумане поднимавшегося к потолку и растворявшегося в золотистом сиянии пара...

Я вглядывался в склонившееся ко мне лицо нового господина и мысленно молил: «Поцелуй меня еще раз... да, пожалуйста... тот трепет... поцелуй меня...»

Но он принадлежал к той же породе, что и эти нарисованные существа. Он был одним из них и обитал в своего рода варварском раю, принадлежащем языческим солдатским богам, где все сводится к вину, фруктам и плоти... Я попал в дурное место.

Он запрокинул голову и звонко рассмеялся, а потом зачерпнул пригоршню воды и плеснул мне на грудь. Когда он открыл рот, перед моими глазами на секунду мелькнуло нечто странное и опасное: зубы, больше походившие на волчьи клыки. Но они тут же исчезли, и только губы крепко прижались к моему горлу, а чуть позже коснулись поцелуем плеча и спустились ниже, к груди, которую я не успел прикрыть.

Я застонал и теснее приник к нему в воде, а его губы, скользнув по моей груди, уже прижимались к животу. Он нежно вби-

рал в себя мою кожу, как будто высасывал из нее всю соль и жар, и даже его лоб, уткнувшийся мне в плечо, наполнял меня теплыми, восхитительными ощущениями... А когда он наконец добрался до самого грешного места, я почувствовал, как оно взметнулось вверх и выстрелило — словно превратилось вдруг в арбалет и выпустило стрелу. Я вскрикнул.

Он позволил мне еще какое-то время оставаться в прежнем положении, затем неторопливо омыл мое тело, куском мягкой складчатой ткани вытер лицо и ополоснул в воде волосы.

А когда он решил, что я достаточно отдохнул, мы снова начали целоваться.

Перед рассветом я проснулся в его постели. Я сел и увидел, что он надевает широкий плащ и покрывает голову. В этой комнате тоже было полно мальчиков, но не унылых, истощенных наставников из борделя. Мальчики, собравшиеся вокруг кровати, были красивыми, сытыми, веселыми и милыми.

Разноцветные туники ярких, искрометных оттенков, с аккуратными складками и туго затянутыми поясами придавали им девичью грацию. У всех были роскошные длинные волосы.

Мой господин обернулся и на прекрасно знакомом мне языке сказал, что я — его единственное дитя, что сегодня ночью он непременно вернется, а я к тому времени успею познакомиться с новым для себя миром.

— Новый мир! — воскликнул я.— Нет! Не уходи от меня, господин! Мне не нужен этот мир. Мне нужен только ты!

Он уже успел высушить и красиво причесать волосы, а руки смягчить пудрой. Склонившись надо мной, он вновь заговорил на только нам двоим понятном языке:

— Послушай меня, Амадео, теперь ты принадлежишь мне, Мариусу Римскому, и я останусь с тобой навсегда. А сейчас пусть мальчики накормят тебя и оденут..

Он повернулся к ним и на мягком, певучем наречии отдал необходимые распоряжения. Лица мальчиков светились таким счастьем, что можно было подумать, будто господин одарил их сластями и золотом.

— Амадео, Амадео,— повторяли они, окружив меня и удерживая, чтобы я не смог последовать за господином. Они заговорили со мной по-гречески — быстро и свободно, а я не очень хорошо знал греческий язык. Но их я понял.

Мальчики звали меня за собой и уверяли, что не станут обижать новичка, что отныне я один из них. Они поспешно одели меня в обноски, споря между собой по поводу каждой вещи: достаточно ли хороша туника, не слишком ли выцвели чулки... Ничего, это ненадолго — в конце концов решили они! В довершение всего мне выдали туфли и куртку, которая, как выяснилось, была уже мала одному из них, по имени Рикардо. Новый наряд казался мне поистине королевским.

— Мы тебя любим,— сказал Альбиний, второй по старшинству мальчик после черноволосого Рикардо и полная тому противоположность внешне — блондин со светло-зелеными глазами.

Остальных мальчиков я не очень различал, но этих двух выделить было легко.

— Да, мы тебя любим,— сказал Рикардо, отбрасывая со лба волосы и подмигивая мне. По сравнению с остальными кожа его была намного более гладкой и смуглой, а глаза казались совершенно черными.

У всех здесь были тонкие, изящные пальцы — такие же, как и у меня. Однако среди моих собратьев такие руки встречались крайне редко. Но об этом я тогда думать не мог.

Тем не менее в голову мне пришло вдруг совершенно невероятное предположение. А что, если мое похищение не было случайным? Что, если мне, бледному, с тонкими пальцами подростку, вечному источнику неприятностей, было предопределено свыше оказаться именно в этой стране? Мысль эта вызвала во мне суеверный страх. Но нет, это слишком невероятно, чтобы оказаться правдой. У меня заболела голова. Перед глазами замелькали безмолвные образы пленивших меня всадников, я вспомнил зловонный трюм корабля, доставившего меня в Константинополь, костлявые фигуры суетящихся купцов, передававших меня из рук в руки.

Господи, почему меня вообще кто-то любит? За что? Почему полюбил меня ты, Мариус Римский?

Стоя в дверях, Мастер, как его здесь все называли, улыбнулся и помахал нам на прощание. Малиновый капюшон на его голове служил прекрасным обрамлением изящных скул и красиво изогнутых губ. К моим глазам подступили слезы.

Не успела захлопнуться дверь, а Мастера уже поглотил клубящийся белый туман. Ночь подходила к концу. Но свечи не гасли.

Мы прошли в большую комнату, и я увидел в ней множество горшочков с красками и глиняных баночек с кистями, готовыми к использованию. Большие белые квадраты ткани — холсты — ожидали своей очереди, чтобы превратиться в прекрасные картины.

Мальчики добавляли в краски не яичные желтки, как велел старый обычай. Они смешивали яркие, мелко дробленные красители с янтарных оттенков маслами. В маленьких горшочках меня ждали большие глянцевые сгустки. Я взял протянутую кисть и взглянул на туго натянутый передо мной белый холст, на котором должен был что-то нарисовать.

— Нерукотворный...— произнес я. Но что означало это слово? Я поднял кисть и начал рисовать его, блондина, спасшего меня от мрака и убожества. Я обмакнул кисть в баночки с бежевой, розовой и белой красками и коснулся ею упругой поверхности холста. Но ничего не вышло — никакой картины не получилось!

— Нерукотворный! — прошептал я, уронил кисть и закрыл лицо руками.

Я порылся в памяти, чтобы воспроизвести это слово по-гречески. Когда я произнес его, несколько мальчиков кивнули, но смысл до них не дошел. Как мне объяснить им суть катастрофы? Я посмотрел на свои пальцы. Что же стало с?.. Все воспоминания внезапно сгорели — остался только Амадео.

— Не могу.— Я уставился на холст, на месиво красок.— Может быть, на дереве, не на ткани, у меня бы и получилось.

Что же я умел делать? Они не понимали.

Он не был Богом во плоти, мой господин, Мастер, блондин с ледяными голубыми глазами.

Но он был Богом для меня. А я не смог сделать то, что нужно было сделать.

Чтобы утешить меня и отвлечь, мальчики сами взялись за кисти и с поразительной легкостью, едва касаясь ими холстов, нарисовали много-много картинок.

Лицо мальчика — щеки, рот, глаза, да, и копна золотисто-рыжих волос. Господи Боже, это же я... Но это, наверное, не

холст, а зеркало. А в нем тот самый Амадео. За дело взялся Рикардо — он отточил выражение лица, подчеркнул глаза и чуть подправил рот, но так, словно сотворил чудо: казалось, будто мое изображение вот-вот заговорит. По какому невероятному волшебству из ничего появился этот застывший в естественной позе мальчик со сведенными бровями и прядями растрепанных волос над ухом?

Эта соблазнительная плотская фигура казалась живой и выглядела одновременно и богохульной, и прекрасной.

Рикардо написал несколько греческих букв и произнес их вслух.

— Но Мастер имел в виду совсем другую картину! — воскликнул он, отбрасывая кисть и быстро собирая рисунки.

Меня провели по всему дому — они называли его «палацо» и с удовольствием научили этому слову меня.

В доме было полно картин — на стенах, на потолках, на досках, на сложенных рядами холстах,— высоченных картин с изображениями разрушенных зданий, разбитых колонн, буйной зелени, далеких гор и огромного числа оживленных людей с раскрасневшимися лицами, чьи пышные волосы и великолепные одежды свободно развевались на ветру.

Это было, как если бы передо мной поставили большие блюда с фруктами и другой едой: сумасшедший беспорядок, изобилие ради изобилия, буйство цветов и форм. Как вино — слишком сладкое и легкое...

И как город, открывшийся передо мной, когда мальчики распахнули окна. Я увидел скользящие по зеленоватой воде маленькие черные лодки — гондолы (они были уже тогда), залитые ослепительным солнечным светом, и людей в шикарных алых или золотых плащах, спешащих куда-то по набережным.

Мы тоже спустились в гондолы — целая армия,— и не успел я оглянуться, как уже отправились в путь. Гондолы, как грациозные стрелы, беззвучно скользили между фасадами громадных домов, великолепных, как соборы, с узкими остроконечными арками, с окнами в форме лотосов, облицованными блестящим белым камнем.

Даже самые старые и небогатые жилые здания, не слишком нарядно украшенные, но тем не менее чудовищные по разме-

ру, были выкрашены в разные цвета: в ярко-розовый — такой насыщенный, что казалось, будто стены покрыты раздавленными лепестками,— или в густо-зеленый, почти одного тона с мутной водой каналов.

Мы прибыли на площадь Сан-Марко, с двух сторон обрамленную длинными, абсолютно симметричными галереями.

Сотни толпящихся перед золотыми церковными куполами в противоположном от нас конце площади людей показались мне обитателями рая.

Золотые купола... Золотые купола...

Мне рассказывали какую-то старую повесть о золотых куполах, да и сам я, если память мне не изменяет, когда-то видел их на потемневшей картинке. Священные купола... Утраченные купола... Охваченные пламенем купола... Осквернённая церковь... Точно так же осквернили и меня... Нет... Развалины исчезли, их разнесло взрывом внезапного появления вокруг меня целого и невредимого, полного жизни мира! Когда и как все возродилось из ледяного пепла? Как мне удалось умереть среди снегов и дымящихся пожаров и оказаться здесь, под ласкающим солнцем?

В его теплых душистых лучах купались и нищие, и торговцы; оно светило как на знатных людей, шествовавших в сопровождении пажей, которые несли за ними роскошные бархатные шлейфы, так и на книготорговцев, разложивших книги под алыми навесами, или на лютнистов, игравших за мелочь.

В лавках и на рыночных прилавках были выставлены товары, популярные у жителей этого необъятного дьявольского мира: стеклянная посуда, какой я никогда не видел, включая всевозможных цветов кубки, маленькие статуэтки, изображавшие животных и людей, и великое множество разнообразных сияющих, гладких безделушек. Там же продавали и восхитительно яркие, потрясающей огранки бусины для четок, и великолепные кружева с изящными, утонченными узорами, а иногда даже с белоснежными изображениями колоколен и домиков, выполненными очень тщательно и досконально, вплоть до окон и дверей. Торговали и огромными пушистыми перьями незнакомых мне птиц, и живыми экзотическими пернатыми — они хлопали крыльями и хрипло кричали в золоченых клетках. Изысканные, ослепительной работы разноцветные ковры слишком живо напомнили мне о могущественных турках и их столице,

откуда меня привезли. Тем не менее кто устоит перед такими коврами? Закон запрещал мусульманам изображать людей, и потому они с вызывающей благоговение аккуратностью украшали свои творения цветами, арабесками, лабиринтами спиралей и прочими узорами, используя при этом самые дерзкие оттенки красок. Торговцы наперебой предлагали прохожим и масло для ламп, и тонкие свечки, и ладан, а также в огромном изобилии блестящие драгоценные камни неописуемой красоты и тончайшей работы изделия золотых и серебряных дел мастеров — посуду и декоративные вещи, как старинные, так и новые. Попадались лавки, торговавшие исключительно специями, лавки, где продавались лекарства и микстуры, бронзовые статуи, львиные головы, фонари и оружие. Встречались и торговцы тканями — восточными шелками, тончайшей шерстью удивительных тонов, хлопком, льном, отличными образчиками вышивки и разнообразными лентами.

Люди здесь казались баснословно богатыми — они небрежно попивали в тавернах прозрачное красное вино, закусывали свежими мясными пирожками, поглощали сладкие пирожные с кремом.

Книготорговцы предлагали новинку — напечатанные книги. Подмастерья с восторгом рассказывали мне о чудесном изобретении — печатном станке, который лишь недавно дал людям в разных странах возможность покупать книги не только с буквами и словами, но и с самыми разными картинками.

В Венеции издатели уже открыли десятки маленьких мастерских, где день и ночь печатались книги на греческом и латинском языках, а также на местном наречии — на том мягком, певучем наречии, на котором подмастерья переговаривались между собой.

Мне разрешили остановиться и повнимательнее рассмотреть новое чудо: станки, производящие страницы для книг.

Но у Рикардо и всех остальных мальчиков были и свои дела: они должны были собрать для Мастера изготовленные на этих станках литографии и гравюры немецких художников, удивительные старинные картины Мемлинга, Ван Эйка или Иеронимуса Босха. Наш господин всегда искал их на рынке. Такие рисунки позволяли южанам познакомиться с жизнью в северных землях. Мастер был рьяным поклонником всякого рода удиви-

тельных вещей. Ему очень нравилось, что с установкой в городе более сотни печатных станков у него появилась возможность заменить примитивные, неточные копии Ливия и Вергилия текстами, которые полностью соответствовали оригиналу.

Боже, на меня обрушилась целая лавина информации!

И не менее важным, чем литература или картины, поручением был мой новый гардероб. Мы должны были заставить портных все бросить и одеть меня в соответствии с маленькими пастельными рисунками, сделанными Мастером.

Кроме того, следовало отнести в банки выписанные им аккредитивы и получить деньги — всем, в том числе и мне. Никогда в жизни мне не доводилось даже прикасаться к деньгам.

Они показались мне очень красивыми: флорентийское золото и серебро, немецкие флорины, богемские грошены, замысловатые старинные монеты, отчеканенные при дожах, как прежде называли правителей Венеции, старые экзотические монеты из Константинополя. Мне, как и другим, выдали маленький мешочек со звенящими, бренчащими деньгами, и мы привязали наши «кошельки» к поясам.

Заметив, что в одной из лавок я во все глаза уставился на привлекшее мое внимание маленькое чудо, один из мальчиков купил его для меня. Это были тикающие часы. Я не мог постичь их устройство, и никто толком не мог объяснить мне, что это за крошечная тикающая вещица, усыпанная драгоценными камнями. Наконец я потрясенно осознал: за странным стеклом и драгоценной, филигранно выполненной, разноцветной оправой скрываются крошечные часы!

Я сжал их в ладони, и у меня закружилась голова. До сих пор мне приходилось видеть только огромные часы на стенах колоколен и башен.

— Теперь я ношу с собой время,— прошептал я по-гречески, взглянув на своих новых друзей.

— Амадео,— сказал Рикардо,— сосчитай мне часы.

Я хотел сказать, что это невероятное открытие исполнено какого-то смысла, важного лично для меня. Это послание из другого мира, слишком поспешно и опасно забытого. Время перестало быть временем и никогда больше им не будет. День уже не день, а ночь — не ночь. Я не мог это выразить ни по-гречески, ни на любом другом языке, ни даже в моих бредовых мыс-

лях. Я стер со лба пот. Яркое итальянское солнце заставляло щурить глаза. Высоко в небе носились огромные стаи птиц, похожих на крошечные росчерки пера, по чьей-то воле замахавшие в унисон с крыльями.

— Мы живем в огромном мире...— ни с того ни с сего прошептал я.

— Мы — в его сердце, в величайшем его городе! — прокричал Рикардо, проталкивая меня сквозь толпу.— И, черт возьми, прежде чем нам придется провести долгое время взаперти, за стенами портновской мастерской, мы полюбуемся им и насладимся!

Для начала мы решили заглянуть в кондитерскую, где нас ждали чудесные лакомства из шоколада с сахаром и приторные, липкие ярко-красные и желтые сласти, названия которых я не знал.

Один из мальчиков показал свою книжку с повергшими меня в ужас напечатанными изображениями мужчин и женщин, слившихся в плотских объятиях. Это были новеллы Боккаччо. Рикардо обещал мне их почитать и сказал, что это на самом деле отличная книжка, чтобы учить меня итальянскому языку. И он научит меня читать еще и Данте.

Боккаччо и Данте — флорентийцы, сказал один из мальчиков, но в целом они не так уж и плохи.

Мастер любит всевозможные книги, сказали мне, и посоветовали не скупясь тратить на них деньги, ибо этим он всегда доволен. А еще мальчики добавили, что приходящие учителя сведут меня с ума уроками, что все мы должны изучить *studia humanitatis*, куда входят история, грамматика, риторика, философия, древние авторы и еще многое другое. Значение всех этих незнакомых, поразивших меня слов я осознал только впоследствии, после того как мне пришлось неоднократно слышать их изо дня в день и на практике познать смысл каждого понятия.

Мне предстояло усвоить еще один урок: Мастер поощряет, когда мы украшаем свою внешность. Мне купили и повесили на шею золотые и серебряные цепи, ожерелья с медальонами и прочие безделушки. Требовались еще перстни, причем с камнями. Нам пришлось яростно поторговаться из-за них с ювелирами, но в результате я стал обладателем настоящего изумруда

и двух перстней с рубинами и гравированными серебряными надписями, которые не умел еще прочитать.

Я не мог оторвать взгляд от своей руки с новым украшением. Как видишь, даже сейчас, пятьсот лет спустя, я питаю слабость к перстням с драгоценными камнями. Я отказался от них только в период долгого дремотного забытья и оцепенения разума — в те века в Париже, когда был кающимся грешником, одним их преданных сатане Детей Ночи. Но к этому кошмару я скоро перейду.

А в данный момент речь идет о Венеции, где я считал себя одним из сыновей Мариуса и в течение долгих лет развлекался вместе с другими его детьми.

Итак, мы отправились к портному.

Пока с меня снимали мерку, кололи булавками и одевали, мальчики рассказывали истории о богатых венецианцах, приходивших к Мастеру в стремлении заполучить хотя бы самую маленькую его картину. Однако наш господин утверждал, что его творения никуда не годятся, и почти ничего не продавал, но иногда мог написать портрет женщины или мужчины, если их внешность казалась ему достойной внимания. На этих портретах человека всегда окружали боги, богини, ангелы или святые. С языков мальчиков слетали знакомые и незнакомые мне имена. Меня словно накрыло волной, вобравшей в себя все существующие в мире святыни.

Иногда ко мне возвращались тревожные воспоминания, но почти сразу рассеивались как дым. Святые и боги — разве они не одни и те же во все времена? И разве не объявляет всех их не более чем искусной ложью определенный свод законов и правил, которому я не должен был изменять прежде и которому обязан следовать сейчас? Я никак не мог составить собственное мнение на этот счет, а вокруг меня царила атмосфера сплошного счастья, да, именно счастья. Не может быть, чтобы за этими бесхитростными сияющими лицами скрывалась безнравственность. Я в это не верил. Однако каждое удовольствие рождало в душе подозрения. Когда не мог уступить, блеск слепил мне глаза, а вынужденные уступки лишали меня самообладания.

Этот день посвящения был всего лишь одним из сотен — нет, тысяч — подобных дней, и я точно не знаю, когда впервые

начал понимать, что конкретно говорят мои спутники. Однако это время наступило, и вскоре,— я не слишком долго оставался самым наивным.

Мой первый выход в город оставил в душе ощущение истинного чуда. Высокое небо было кобальтово-голубым, а с моря дул свежий, влажный, прохладный бриз. Несущиеся мимо облака сбивались в кучки — они были точно такими же, как на картинах Мастера, что лишний раз свидетельствовало о том, что его творения не лгут.

И когда мы по особому разрешению вошли в храм дожей, в собор Сан-Марко, и я впервые собственными глазами увидел его мерцающие золотом мозаики на куполах и арках, у меня буквально перехватило дыхание. Но мне предстояло испытать еще одно суровое потрясение: на фоне всего этого великолепия мрачно застыли фигуры знакомых святых.

Обитатели этих сияющих золотом стен — холодные, с миндалевидными глазами, в свободных строгих одеяниях, с неизменно сложенными для молитвы руками — не представляли для меня тайны. Я узнавал их нимбы, узнавал крошечные дырочки в золоте, проделанные для того, чтобы оно сверкало еще волшебнее. Я чувствовал осуждение бесстрастно взиравших на меня бородатых патриархов и потому остановился на полпути, полумертвый, не в состоянии идти дальше, а потом и вовсе опустился на каменный пол. Мне стало плохо.

Меня вывели из собора. Шум на площади казался оглушительным — я словно постепенно все ближе продвигался к некой чудовищной развязке. Я хотел сказать моим друзьям, что она неизбежна и что их вины в этом нет.

Мальчики разволновались. Ведь помимо этого храма я видел многое другое. Почему же меня так напугал именно он? Я не мог что-либо объяснить. Ошеломленный, весь в поту, я безвольно лежал, прислонившись к колонне, а они тем временем старались успокоить меня, объясняя по-гречески, что, да, собор действительно очень старый, что он построен по образцу византийских церквей, что в Венеции вообще много византийского.

— Наши корабли веками торгуют с Византией. Мы — морская империя,— говорили они.

Я старался воспринять их слова.

Но, несмотря на страдания, мне стало ясно, что это место отнюдь не предназначалось для того, чтобы подвергнуть меня Божией каре. Я покинул его с той же легкостью, с какой и вошел. Окружавшие меня мальчики с приятными голосами и ласковыми руками протягивали мне холодное вино и фрукты, чтобы я поскорее пришел в себя, и не предполагали, что это место может представлять для меня какую-либо опасность.

Слева от нас я увидел набережные и гавань. Потрясенный красотой деревянных судов, я бросился в ту сторону. Они стояли на якоре по четыре-пять бортов в ряд, а за ними глазам моим предстало самое большое чудо: громадные галеоны, построенные из широких, особым образом изогнутых досок,— их паруса были надуты ветром, а грациозные весла рассекали воду. Суда выплывали в открытое море.

Взад-вперед на опасно близком расстоянии друг от друга сновали другие корабли — огромные деревянные барки проскальзывали в пасть Венецианской бухты или покидали ее, а тем временем великое множество других кораблей, не менее изящных и потрясающих воображение, стояли на якоре, извергая на причалы обильные потоки самых разных товаров.

Мои товарищи отвели меня, спотыкающегося на ходу, к Арсеналу, где я несколько успокоился, наблюдая за занятыми своим делом кораблестроителями. Впоследствии я часами болтался на Арсенале — меня восхищал гениальный процесс творчества: человеческие руки создавали барки таких размеров, что, по моим понятиям, они неизбежно должны были затонуть. Однако этого не происходило.

Иногда перед моим мысленным взором вдруг возникали мимолетные образы — я видел ледяные реки, баржи и лодки, грубых мужчин, пропахших животным жиром и прогорклой кожей. Однако со временем исчезли и эти последние разрозненные обрывки воспоминаний о царстве зимы, из которого я пришел.

Если бы я попал не в Венецию, моя повесть наверняка была бы другой.

За все проведенные там годы мне никогда не надоедало посещать Арсенал и наблюдать за строительством кораблей. С помощью нескольких любезных слов и монет я без проблем добивался разрешения войти и с неизменным восторгом следил,

как изогнутые под разными углами доски и пронзающие небо мачты постепенно соединяются в одно целое и превращаются в прекрасные фантастические сооружения. И хотя в тот первый день мы в спешке буквально промчались по этому двору чудес, мне было достаточно и этого.

Иными словами, именно Венеция — по крайней мере, на какое-то время — освободила меня от тяжести мучительных воспоминаний о неком предыдущем существовании, о целом сонме истин, вновь сталкиваться с которыми я не хотел.

Если бы не Венеция, со мной не было бы и моего Мастера.

Не прошло и месяца со дня нашего знакомства, а он уже успел между делом рассказать мне обо всем, чем ценен был для него каждый из итальянских городов, о том, как он любил смотреть во Флоренции на поглощенного работой великого скульптора Микеланджело, как слушал в Риме прекрасных ораторов и учителей.

— Но история венецианского искусства насчитывает тысячу лет,— говорил он, берясь за кисть, чтобы расписать стоявшую перед ним огромную тонкую доску.— Венеция сама по себе — произведение искусства, великий город, где каждое здание по красоте своей не уступает храму. Они стоят бок о бок, образуя своего рода восковые соты, а бесконечный приток нектара непрерывно обеспечивают трудолюбивые, как пчелы, люди. Взгляни на наши дворцы, уже одни они — достойное зрелище.

По прошествии времени он, как и остальные, рассказал мне об истории Венеции, особое внимание уделяя Республике, которая, несмотря на деспотизм своих решений и яростную враждебность к чужакам, тем не менее обеспечивала «равенство» людей. Флоренция, Милан, Рим — эти города находились под властью элиты, небольшой горстки отдельных личностей и семейных кланов, в то время как Венеция, невзирая на все ее недостатки, отдавала бразды правления своим сенаторам, могущественным купцам и Совету Десяти.

В день моей первой прогулки по Венеции во мне зародилась вечная любовь к ней. Она не переставала удивлять меня и, несмотря на обилие хорошо одетых и ловких нищих, казалась удивительно гостеприимным домом, лишенным кошмаров,— средоточием потрясающей роскоши, благополучия и пылких страстей.

И разве в мастерской портного меня не превратили в настоящего принца, такого же, как мои новые друзья?

К тому же я собственными глазами видел меч Рикардо. Все они были дворянами.

— Забудь все, что с тобой было раньше,— сказал Рикардо.— Мастер — наш правитель, а мы — его принцы, его королевский двор. Теперь ты богат, и ничто не сможет причинить тебе вред.

— Мы не просто ученики-подмастерья в обычном смысле слова,— сказал Альбиний.— Нас пошлют в университет Падуи. Вот увидишь. Нас обучают не только наукам и литературе, но и музыке, танцам, хорошим манерам. Позже ты встретишься с мальчиками, которые приедут, чтобы навестить нас. Все они благородные господа со средствами. Джулиано, например, стал преуспевающим адвокатом, а еще один мальчик — доктором в Торчелло, в городке на острове неподалеку отсюда.

— Все, кто покидает Мастера, получают независимые средства,— объяснял Альбиний.— Дело только в том, что Мастер, как все венецианцы, порицает праздность. Мы такие же богачи, как и иностранные лорды, которые бездельничают и только пробуют наш мир на вкус, как будто он блюдо с едой.

К концу этого солнечного дня — дня моего первого знакомства с правилами, установленными в школе Мастера, и обычаями его великолепного города — я был причесан, подстрижен и одет в те цвета, которые он счел предпочтительными для меня и в дальнейшем. На мне были небесно-голубые чулки, короткая подпоясанная куртка из полуночно-синего бархата и туника очень светлого оттенка лазури, на которой толстыми золотыми нитями были вышиты французские геральдические лилии. К такой цветовой гамме рекомендовалось добавить немного винно-красного, например в отделке или меховом подбое, который понадобится зимой, когда морской бриз задует сильнее и в этом раю наступит то, что в представлении итальянцев называется холодами.

К наступлению ночи я уже важно расхаживал вместе с остальными по мраморным плитам и даже пытался немного потанцевать под звуки лютни, на которой играли мальчики помладше, а также под аккомпанемент спинета, первого увиденного мной в жизни клавишного инструмента.

Когда над каналом за узкими остроконечными аркообразными окнами палаццо померкла красота сумерек, я стал бродить по дому, ловя свои отражения в многочисленных темных зеркалах, выраставших от мраморного пола до самого потолка коридора, салона, алькова и прочих прекрасно обставленных комнат, попадавшихся мне на пути.

Я пел новые слова в унисон с Рикардо. Великое Венецианское государство называлось Серениссима. Черные лодки на каналах — гондолы. Ветры, которым скоро предстояло задуть и свести нас с ума,— сирокко. Верховный правитель этого волшебного города именовался дожем. Автором книги, приготовленной на сегодня учителем для чтения, был Цицерон. Музыкальный инструмент, оказавшийся в руках у Рикардо, который нежно перебирал пальцами его струны,— лютня. Огромный навес над царским ложем Мастера — балдахин, его каждые две недели подбивают новой золотой бахромой. Я пришел в экстаз.

Я получил не только меч, но и кинжал.

Какое доверие! Конечно, остальным я казался сущим ягненком, да и себе тоже. Но никогда еще никто не доверял мне такое оружие из бронзы и стали. Память вновь принялась за свои фокусы. Я умел бросать деревянное копье, умел... Увы, все заволокло клубами тумана — осталось лишь смутное сознание того, что мое предназначение состояло не в умении владеть оружием, а в чем-то ином, всеобъемлющем и требующем от меня полной отдачи сил. А оружие носить мне было запрещено.

Нет, хватит об этом! Хватит! Хватит! Хватит! Смерть поглотила меня и забросила сюда, во дворец Мастера, в гостиную с великолепными изображениями батальных сцен, с нарисованными на потолке картами, с окнами из толстого фасонного стекла. Со свистом выхватив меч, я направил его вперед, словно нацеливаясь в будущее, а потом, внимательно рассмотрев украшавшие рукоять кинжала изумруды и рубины, одним взмахом лезвия рассек пополам яблоко.

Мои новые товарищи смеялись надо мной. Но по-дружески, по-доброму.

Скоро придет Мастер. Младшие мальчики, которые не ходили с нами в город, быстро пробегали по комнатам, поднося к факелам и канделябрам тонкие свечки. Я стоял в дверях, переводя взгляд с одного на другого, и не переставал удивляться тому,

как много их в доме. Огонь вспыхивал беззвучно, и вскоре все помещения были ярко освещены.

Вошел высокий сухопарый человек с потрепанной книгой в руке. Длинные жидкие черные волосы и черное, свободное, простого покроя шерстяное одеяние только подчеркивали суровость его облика. Несмотря на мелькавшие в маленьких глазках веселые искорки, бесцветные тонкие губы придавали лицу воинственное выражение.

Мальчики дружно застонали.

Высокие узкие окна закрыли, чтобы не впускать ночную прохладу.

С канала доносилось пение — звонкие голоса людей, проплывавших мимо дворца в длинных узких гондолах, рассыпались искрами, ударяясь о стены, и постепенно стихали вдали.

Я до последней крошки съел сочное яблоко. В тот день я съел больше фруктов, мяса, хлеба, конфет и всяких сластей, чем способен съесть любой нормальный человек. Но я не был нормальным человеком — я был голодным мальчиком.

Учитель щелкнул пальцами, достал из-за пояса длинный хлыст, постучал им по ноге и повернулся к мальчикам.

— Прошу вас,— сказал он.

При появлении Мастера я поднял глаза.

Все ученики, от мала до велика, бросились навстречу своему господину, стремясь обнять его и прижаться к его рукам, в то время как он внимательно рассматривал созданные за долгий день рисунки и картины.

Учитель почтительно поклонился хозяину дома и застыл в молчаливом ожидании, а когда мы всей компанией отправились на прогулку по галереям, смиренно последовал за нами.

Мастер протянул к нам руки. Каким удовольствием для всех было ощутить прикосновение его длинных холодных пальцев или хотя бы коснуться плотной ткани свободно свисавших красных рукавов.

— Идем, Амадео, идем с нами.

Но я жаждал только одного, и мне не пришлось долго томиться в ожидании.

Мальчиков отослали вместе с человеком, который должен был читать им Цицерона. Твердые руки господина со сверкающими ногтями развернули меня в нужную сторону, и мы направились в его личные покои.

Сюда допускали не всех. Расписные деревянные двери тотчас были закрыты на засов, жаровни благоухали ладаном, от медных ламп поднимался ароматный дым. На кровати лежали мягкие подушки и, казалось, цвел сад из раскрашенного по трафарету и вышитого шелка, атласа с цветочными узорами, плотной синели, парчи с замысловатым рисунком. Он задернул алый полупрозрачный полог кровати. Куда ни глянь, везде царил красный цвет — красный, красный, красный... Это его цвет, объяснил он мне, а моим будет синий.

Он нежно обращался ко мне на каком-то универсальном языке, осыпая меня образами.

— Когда в твоих карих глазах отражается пламя, они похожи на янтарь,— прошептал он.— Да, но они блестящие, темные, два сияющих зеркала, где я вижу свое отражение, в то время как они — темные врата твоей богатой души — хранят собственные тайны.

Я буквально тонул в застывшей голубизне его глаз и не в силах был оторвать взгляд от блеска гладких, кораллового оттенка губ.

Он лег рядом со мной, поцеловал, легко и ласково провел пальцами по волосам, не дернув ни за один завиток, отчего у меня по коже головы и между ног пробежала дрожь. Его большие пальцы, такие холодные и твердые, гладили мои щеки, губы, подбородок, возбуждая всю мою плоть, полуоткрытые губы с голодной страстью прижимались к моим ушам...

Для других удовольствий я был еще слишком мал.

Наверное, мои ощущения были близки к тем, которые испытывают в подобных обстоятельствах женщины. Казалось, этому не будет конца. Я вновь и вновь погружался в мучительный восторг, запутавшись в его объятиях, не в состоянии выбраться, содрогаясь, изгибаясь и раз за разом взлетая на вершины блаженства.

Потом он научил меня словам нового языка: холодные твердые плиты на полу — это «каррарский мрамор», портьеры сделаны из «шелка», на подушках вышиты «рыбы», «черепахи» и «слоны», а на самом тяжелом покрывале-гобелене изображен «лев».

Я завороженно слушал, стараясь не упустить ни одной, пусть даже самой мелкой, детали. Он рассказал мне о добыче жемчуга, усыпавшего мою тунику, о том, что его достают из морских раковин. В пучину моря ныряют мальчики и выносят на поверхность эти драгоценные круглые белые сокровища, держа их во рту. Изумруды поступают из рудников, из земных глубин. Из-за них люди убивают друг друга. А бриллианты...

— Нет, ты только взгляни на бриллианты! — Он снял свой перстень и надел его мне на палец, проверяя, подошел ли он, и ласково поглаживая при этом мою руку.— Бриллианты — белый свет Господа,— сказал он.— Бриллианты чисты.

Господь... Кто такой Господь? Меня затрясло. Вдруг показалось, что все вокруг вот-вот повергнется в прах.

В течение всей нашей беседы он не сводил с меня внимательного взгляда, и иногда я отчетливо слышал его слова, хотя он не шевелил губами и не издавал не звука.

Я нервничал. Бог! Не позволяй мне думать о Боге. Будь моим Богом сам!

— Где твои губы? — прошептал я.— Где твои руки?

Мой голод изумил его и привел в восторг.

Он тихо смеялся, отвечая мне новыми поцелуями, ароматными и вполне безобидными. Его теплое дыхание тихим шелестящим ветром обвевало мой пах.

— Амадео... Амадео... Амадео...— не уставал повторять он.

— Что значит это имя, господин? Почему ты дал его мне? — Кажется, в тоне, каким был задан вопрос, прозвучало нечто от моего прежнего «я», хотя, возможно, эти почтительные, но тем не менее дерзкие интонации принадлежали уже одетому в золото и дорогие наряды новоявленному принцу.

— Возлюбленный Бога,— пояснил Мастер.

Нет! Услышать такое было выше моих сил! Бог! Никуда от него не деться. Я разволновался, меня охватила паника.

Взяв меня за руку, он согнул мой палец так, чтобы тот указывал на крошечного крылатого младенца, запечатленного золотыми каплями бисера на потертой квадратной подушке, лежавшей рядом с нами.

— Амадео,— сказал он,— возлюбленный бога любви.

В кипе моей одежды, валявшейся у кровати, он нашел тикающие часы. Он взял их, внимательно рассмотрел и улыбнулся.

Просто отличные, сказал он, такие встречаются нечасто. Они весьма ценные и вполне достойны королевской руки.

— Ты получишь все, что пожелаешь,— добавил Мастер.

— За что?

В ответ опять послышался его смех.

— За вот эти каштановые локоны,— сказал он, перебирая мои волосы,— за глаза необычайно насыщенного и красивого коричневого цвета. За кожу, похожую на свежие молочные сливки поутру, за губы, неотличимые от розовых лепестков...

Под утро он поведал мне легенды об Эросе и Афродите; он убаюкивал меня рассказами о бездонной печали Психеи, возлюбленной Эроса, не имевшей возможности увидеть его при свете дня.

Потом я шел рядом с ним по холодным коридорам. Сжимая пальцами мое плечо, он показывал мне изящные белые статуи своих богов и богинь, любовников — Дафну, чьи грациозные руки и ноги превратились в лавровые ветви, в то время как ее любви отчаянно добивался бог Аполлон; беспомощную Леду в объятиях могучего лебедя.

Он проводил моими руками по изгибам мраморных тел, по тщательно высеченным и гладко отполированным лицам, по напряженным икрам сильных, крепких ног, по ледяным расселинам полуоткрытых ртов... А потом он заставил меня коснуться пальцами его собственного лица и в эти мгновения показался мне такой же мраморной статуей, но только вырезанной еще искуснее остальных и ожившей. И когда он приподнял меня своими мощными руками, я почувствовал исходящий от него жар — жар ароматного дыхания, вздохов и неразборчивых слов...

К концу недели я не мог вспомнить ни слова родного языка.

Не находя среди множества известных мне прилагательных достойных эпитетов, я стоял на площади, зачарованно глядя, как Великий Совет Венеции шествует по Моло, слушая доносящиеся с алтаря Сан-Марко слова Великой мессы или наблюдая за судами, плавающими по зеркально гладкой поверхности Адриатики; или следил за тем, как обмакиваются в краски кисти, как смешиваются в глиняных горшочках розовая марена, киноварь, кармин, вишневая краска, лазурь, бирюза, все оттенки зелени, желтая охра, темно-коричневая умбра, лимонный краситель, се-

пия, фиолетовый *caput mortuum* — все такие красивые — и густой лак под названием «кровь дракона».

Я добился больших успехов в танцах и фехтовании. Моим любимым партнером был Рикардо, и вскоре я осознал, что по своим умениям почти не уступаю этому мальчику из старших, превосходя даже Альбиния, который до моего появления считался вторым после Рикардо. Надо сказать, однако, что Альбиний не держал на меня зла. Эти мальчики стали для меня братьями.

Они водили меня в дом прекрасной куртизанки Бьянки Сольдерини — стройной, гибкой, несравненной чаровницы с волнистыми локонами в стиле Боттичелли и миндалевидными серыми глазами, обладавшей благородством, умом и добрым сердцем. Когда бы я ни пришел, меня всегда с радостью принимали в ее доме, где молодые женщины и мужчины часами читали стихи, увлеченно обсуждали казавшиеся бесконечными иностранные войны или способности недавно заявивших о себе художников — кто из них и когда сможет получить следующий заказ и каким этот заказ будет.

Негромкий, почти детский голосок Бьянки как нельзя лучше сочетался с ее девичьим личиком и крошечным носиком. Рот ее походил на настоящий розовый бутон. Но она была умна, независима и неукротима. Она холодно отвергала любовников-собственников, предпочитая, чтобы вокруг нее всегда толпились люди. Любой прилично одетый или носящий меч человек автоматически получал доступ в ее гостеприимный дом. Здесь не отказывали в приеме практически никому, за исключением тех, кто стремился обрести власть над хозяйкой.

У Бьянки можно было встретить гостей из Франции и Германии, и всех без исключения — как иноземцев, так и местных жителей — интересовал вопрос о нашем таинственном и загадочном господине, Мариусе. Однако нам было запрещено отвечать на вопросы любопытствующих, и когда нас спрашивали, не намерен ли он жениться, согласится ли написать тот или иной портрет, будет ли дома в такой-то день и примет ли у себя того или иного человека, мы лишь молча улыбались.

Иногда я засыпал на подушках кушетки или даже на одной из кроватей и смотрел сны под аккомпанемент приглушенных

голосов зашедших в гости дворян и неизменно убаюкивающей и успокаивающей музыки.

Бывало — хотя и очень редко,— что там появлялся наш господин собственной персоной. Он забирал нас с Рикардо, вызывая небольшую сенсацию в портего — главной гостиной. Он неизменно отказывался от предложенного кресла и стоял, не снимая плаща с капюшоном. Однако всегда любезно улыбался в ответ на уговоры присоединиться к собравшимся и иногда даже дарил Бьянке написанный его рукой миниатюрный портрет.

Они и сейчас явственно стоят перед моими глазами — великое множество усыпанных драгоценными камнями миниатюр, преподнесенных Мастером Бьянке на протяжении тех лет.

— Вы в точности воссоздаете мое лицо по памяти,— говорила она, подходя поцеловать его.

Я видел, с какой осторожностью он удерживал ее на расстоянии — подальше от жесткой, холодной груди и лица, запечатлевая на ее щеках поцелуи, хранящие чары мягкости и нежности, которые развеяло бы его настоящее прикосновение.

Под руководством учителя Леонардо из Падуи я часами читал книги, стараясь вторить ему в унисон. Освоив латынь, я перешел к итальянскому, потом вновь к греческому языку. Мне одинаково нравились и Аристотель, и Платон, и Плутарх, и Ливий, и Вергилий. Откровенно говоря, я толком не понимал ни одного из них — я просто выполнял задание Мастера, а знания тем временем сами собой копились у меня в голове.

Я не видел смысла в том, чтобы подобно Аристотелю бесконечно говорить о неодушевленных предметах. Жизнь и биографии древних, с таким воодушевлением изложенные Плутархом, представлялись мне гораздо более интересными. Однако я хотел узнать поближе современных людей. Я предпочитал дремать на кушетке у Бьянки, а не спорить о достоинствах того или иного художника. К тому же я знал, что мой господин лучше их всех.

Мой мир ограничивался просторными комнатами с расписанными стенами, озаренными щедро льющимся светом, а за их пределами — напоенным ароматами воздухом и бесконечной вереницей модно и шикарно одетых людей. Я к нему быстро привык, ибо никогда не видел страданий и несчастий город-

ских бедняков. Даже прочитанные книги рассказывали об этом новом для меня царстве, где я настолько прочно закрепился, что ничто не могло бы заставить меня вернуться в прежний, исчезнувший мир хаоса и страданий.

Я научился играть песенки на спинете. Я научился перебирать струны лютни и петь тихим голосом, правда, мелодии, как правило, были грустными. Мой господин любил эти песни.

Иногда мы собирались вместе и хором исполняли перед Мастером наши собственные сочинения, а иногда представляли на его суд разученные нами новые танцы.

В жаркое время дня, когда полагалось отдыхать, многие из нас играли в карты. Мы с Рикардо выскальзывали из дома и в поисках партнеров для азартных игр отправлялись в какую-нибудь таверну. Пару раз мы сильно напились. Узнав об этом, Мастер немедленно положил конец нашим приключениям. Особенно его ужаснуло, что я пьяным упал в Большой канал и меня едва спасли от смерти. Могу поклясться, что при этом известии он побледнел,— я собственными глазами видел, как от его щек отлила краска.

За это он отхлестал Рикардо хлыстом по ногам. Я преисполнился стыда. Рикардо неподвижно стоял в библиотеке у большого камина, повернувшись спиной, и стойко — без криков и мольбы о прощении — перенес наказание. Потом он встал на колени и поцеловал кольцо господина. Я поклялся впредь никогда не напиваться.

Однако на следующий же день я вновь напился. Правда, на этот раз у меня хватило ума доплестись до дома Бьянки и спрятаться у нее под кроватью, где можно было выспаться, не подвергаясь риску. Еще до полуночи господин вытащил меня оттуда. Я решил, что сейчас получу свое. Но он только уложил меня в постель, где я заснул, не успев попросить прощения. В какой-то момент я открыл глаза и увидел, что он сидит за письменным столом и пишет так же быстро, как и рисует, в огромной книге, которую ему всегда удавалось спрятать до ухода из дома.

Когда же остальных, включая Рикардо, все-таки охватывала дневная дремота — как правило, такое случалось в особенно жаркие летние дни,— я выбирался на улицу и нанимал гондолу. Я лежал на спине и смотрел в небо, пока мы проплывали по

каналу в сторону залива, а на обратном пути закрывал глаза и старался расслышать самые тихие вскрики, доносившихся из погруженных в покой сиесты зданий, шелест водорослей, биение воды о подгнившие фундаменты, плач чаек над головой. Меня не раздражали ни мошки, ни запах, поднимавшийся от поверхности каналов.

Однажды днем я не вернулся домой к назначенному для работы и занятий времени — я забрел в таверну послушать музыкантов и певцов. А в другой раз я попал на представление, которое давали на открытых подмостках посреди церковной площади. Никто не сердился на меня за отлучки. Никому ни о чем не докладывали. Никто не устраивал проверки знаний ни мне, ни другим ученикам.

Иногда я спал целый день и просыпался лишь тогда, когда мне самому того хотелось. Необычайно приятно было, вдруг пробудившись, обнаружить господина за работой — либо в студии, где он, стоя на лесах, писал большую картину, либо рядом с собой, за столом в спальне, самозабвенно погруженного в свои записи.

В любое время суток повсюду в изобилии стояли блюда с едой: блестящие гроздь винограда, разрезанные на куски зрелые дыни, восхитительный хлеб мелкого помола со свежайшим маслом. Я ел черные оливки, мягкий сыр и свежий лук-порей из садика на крыше. Молоко в серебряных кувшинах всегда было холодным.

Мастер никогда не ел. Это знали все. Днем он всегда отсутствовал. О Мастере никогда не говорили без почтения. Он умел читать в душах мальчиков. Мастер отличал добро от зла и всегда понимал, когда его обманывают. Наши мальчики были хорошими. Иногда кто-то приглушенным голосом упоминал о плохих мальчиках, которых практически сразу же выгоняли из дома. Но никто даже в мелочах не обсуждал Мастера. Никто не говорил о том, что я сплю в его постели.

В полдень мы все вместе обедали — жареной птицей, нежным барашком или толстыми сочными ломтями говядины.

Учителя приходили одновременно по трое или четверо, чтобы обучать небольшие группы подмастерьев. Кто-то работал, кто-то учился.

Из класса, где зубрили латынь, я мог свободно перейти в класс, где изучали греческий. Иногда я листал сборник эротических сонетов и читал некоторые из них, как умел, пока на помощь не приходил Рикардо. Вокруг него тут же собирались другие ученики, и начиналось бурное веселье, а учителям приходилось ждать, пока все успокоятся.

При таком попустительстве я делал большие успехи. Я быстро учился и с легкостью отвечал практически на любые произвольно заданные Мастером вопросы и в свою очередь задавал свои, те, которые меня волновали в тот или иной момент.

Четыре из семи ночей в неделю Мастер посвящал рисованию, обычно начиная с полуночи и вплоть до своего предрассветного исчезновения. Ничто не в силах было оторвать его от работы.

С поразительной легкостью и ловкостью, как огромная белая обезьяна, он поднимался по лесам и, небрежно уронив с плеч свой алый плащ, выхватывал из рук мальчика приготовленную кисть. Рисовал он так самозабвенно и неистово, что на нас, изумленно следивших за каждым его движением, расплескивалась краска. Он был истинным гением, и всего лишь за несколько часов на холсте оживали потрясающей красоты пейзажи или до мельчайших деталей выписанные группы людей.

Работая, Мастер всегда что-нибудь напевал вслух. Рисуя по памяти или на основе своего воображения портреты великих писателей или героев, он громко называл для нас их имена. Он обращал наше внимание на краски, которыми пользовался, на контуры и линии, на законы перспективы, позволявшие создавать едва ли не осязаемые изображения и помещать их в казавшиеся абсолютно реальными сады, дворцы, залы...

Мальчикам поручалось дорисовать наутро только некоторые детали: цветную драпировку, тон крыльев, крупные части тел персонажей, которым впоследствии — пока масляная краска еще будет оставаться подвижной — Мастер собирался придать большую выразительность. Сияющие полы дворцов прежних эпох по нанесении им последних штрихов превращались в настоящий мрамор, попираемый покрасневшими круглыми пятками его философов и святых.

Работа непроизвольно затягивала нас. В палаццо оставались десятки незаконченных полотен и фресок, настолько жизненных, что они казались нам вратами в другой мир.

Одареннее всех среди нас был Гаэтано, один из самых младших. Но любой из мальчиков, за исключением меня, мог сравняться с учениками из мастерской любого художника, даже с мальчиками Беллини.

Иногда в палаццо устраивали приемы. Перспектива принимать гостей вместе с Мастером заставляла Бьянку сиять от радости, и она приходила в окружении множества слуг, чтобы исполнить обязанности хозяйки дома. Мужчины и женщины из самых благородных домов Венеции стремились попасть на такие приемы, чтобы увидеть творения Мастера. Его талантом восхищались все. Прислушиваясь в такие дни к разговорам гостей, я выяснил, что Мастер почти ничего не продает, что практически все его работы остаются в стенах палаццо и что он создал собственные варианты самых прославленных сюжетов — от школы Аристотеля до распятия Христа. Христос... Их Христос был кудряв, розовощек и мускулист; их Христос представал в облике самого обычного человека, а иногда походил на Купидона или Зевса...

Тот факт, что я не умел рисовать так же хорошо, как Рикардо и остальные, а потому половину времени довольствовался тем, что держал им горшки, мыл кисти и затирал места, требовавшие исправления, ничуть меня не расстраивал. Я не хотел рисовать. Просто не хотел. При одной мысли о необходимости изобразить что-либо у меня тряслись руки, а в животе все сворачивалось.

Я предпочитал разговоры, шутки, предположения о том, почему наш Мастер не берет заказов, хотя к нему ежедневно приходят письма, приглашающие принять участие в конкурсе на создание той или иной фрески для герцогского дворца или роспись одной из тысячи церквей на острове.

Я часами наблюдал, как холсты превращаются в красочные картины. Я вдыхал запах лаков, пигментов, масел.

Иногда мной овладевала злость, вгонявшая меня в ступор, но вызвана она была отнюдь не отсутствием мастерства.

Меня мучило что-то другое — нечто связанное с фривольными позами нарисованных фигур, с их сияющими розовыми лицами, с кипенными облаками на раскинувшемся над их головами небе, с пушистыми ветвями темных деревьев.

Столь разнузданное изображение природы казалось мне безумием. С тяжелой головой я в одиночестве скитался по набережным, пока не нашел старую церковь, а в ней — позолоченный алтарь с суровыми узкоглазыми святыми, мрачными, осунувшимися, застывшими: наследие Византии, подобное тому, что я увидел в Сан-Марко во время своей первой прогулки по городу. С благоговением смотрел я на эти свидетельства старины, и у меня болела, болела, нестерпимо болела душа. Когда меня нашли мои новые друзья, я лишь тихо выругался и продолжал упрямо стоять на коленях, не подавая вида, что знаю об их появлении. Я заткнул уши, чтобы не слышать их смех. Как они смеют смеяться в пустой церкви, где измученный Христос льет кровавые слезы и кровь черными жуками сочится из его ран?

Иногда я засыпал прямо перед старинными алтарями. Я убегал от своих товарищей. На сырых холодных камнях я чувствовал себя одиноким и счастливым. Я воображал, будто слышу, как под полом журчит вода.

Я нанял гондолу до Торчелло и там отыскал великий старинный собор Санта-Мария Ассунта, прославленный своей мозаикой — по мнению некоторых, как произведение древнего искусства не менее великолепной, чем мозаики Сан-Марко. Я прокрался под низкие своды, разглядывая древний золотой иконостас и мозаику апсиды. Высоко наверху, в дальнем изгибе апсиды, стояла Дева, Теотокос, Богоматерь. На ее лице застыло строгое, я бы даже сказал — недовольно-мрачное выражение. На левой щеке блестела слеза. В руках она держала младенца Иисуса, а также пеленку, символ *Mater Dolorosa*.

Несмотря на то что при взгляде на эти образы у меня застывала душа, я чувствовал, что они мне близки. Голова кружилась, а от царящей на острове жары и тишины, повисшей в соборе, сводило живот. Но я оставался на месте. Я бродил перед иконостасом и молился.

Я был уверен, что здесь меня никто не найдет. К закату я окончательно заболел. Я знал, что у меня жар, но забился в самый дальний угол церкви и нашел успокоение, распластавшись ниц на холодном каменном полу. Поднимая голову, я видел перед собой пугающие сцены Страшного Суда — души, приговоренные к аду. Я был уверен, что заслужил эти муки.

За мной пришел мой господин. Как мы оказались в палаццо, я не помню. Такое впечатление, что уже через несколько секунд он уложил меня в постель и мальчики протирали мне лоб прохладной тканью. Меня заставили выпить воды. Кто-то сказал, что у меня лихорадка, а другой голос приказал ему замолчать...

Мастер остался дежурить возле меня. Мне снились плохие сны, но, проснувшись, я не мог их вспомнить. Перед рассветом Мастер поцеловал меня и нежно привлек к себе. Никогда еще я столь сильно не любил холодную, твердую плоть своего господина, как в те минуты, когда, сгорая в лихорадке, обнимал его и из последних сил прижимался щекой к его лицу.

Он дал мне выпить что-то горячее и острое из подогретой чаши, потом поцеловал меня и заставил сделать еще несколько глотков. Мое тело наполнил целительный огонь.

Однако к моменту его возвращения на следующую ночь у меня опять началась лихорадка. Я не столько спал, сколько в каком-то страшном полусне бродил по ужасным темным коридорам и не мог найти ни одного теплого или чистого места. У меня под ногтями появилась земля. В какой-то момент мне привиделась лопата, я испугался, что меня засыплют землей, и заплакал.

Рикардо все время оставался рядом и держал меня за руку, говоря, что скоро наступит ночь и тогда непременно придет Мастер.

— Амадео...— услышал я наконец голос нашего господина. Он поднял меня на руки, совсем как маленького ребенка.

У меня в голове вертелось множество вопросов. Я умру? Куда меня несет Мастер, закутав в бархат и меха? Зачем?

Мы оказались в какой-то венецианской церкви, в окружении новых, современных икон. Горели все свечи. Молились люди. Не спуская с рук, он развернул меня лицом к гигантскому алтарю и велел внимательно на него посмотреть.

Прищурившись, так как у меня болели глаза, я подчинился и увидел наверху Деву, коронуемую ее возлюбленным сыном, царем Иисусом.

— Посмотри, какое у нее милое, живое лицо,— прошептал Мастер.— Она сидит в той же позе, что и люди в этой церкви. А ангелы... Ты только взгляни на них — счастливые мальчики,

сбившиеся в стайки вокруг колонн. Посмотри на их умиротворенные и кроткие улыбки. Вот рай, Амадео. Вот добро.

Я обвел высокую картину сонным взглядом.

— Видишь апостола, который шепчется со своим соседом? — тем временем продолжал Мастер.— Он выглядит совершенно естественно — так мог бы вести себя обычный человек на подобной церемонии. А наверху, смотри, Бог Отец с удовлетворением взирает на эту сцену.

Я попытался сформулировать вопросы, объяснить, что такое сочетание плотского и блаженного невозможно, но не смог подобрать достаточно красноречивых слов. Нагота маленьких ангелов была очаровательна и невинна, но я в это не верил. Это ложное верование Венеции, ложное верование Запада, ложь самого дьявола.

— Амадео,— старался убедить меня Мастер,— не бывает добра, основанного на страданиях и жестокости; не бывает добра, построенного на лишениях маленьких детей. Амадео, из любви к Богу повсюду произрастает красота. Посмотри на эти краски: они созданы Богом.

Чувствуя себя в его объятиях в безопасности, обхватив его руками за шею, я постепенно впитал в свое сознание детали огромного алтаря. Я вновь и вновь обводил его взглядом, стараясь не упустить ни одного мелкого штриха.

Я указал пальцем на льва, спокойно сидевшего у ног святого Марка, на лежащую перед святым книгу, страницы которой он листал,— казалось, они действительно переворачиваются... А лев выглядел совершенно домашним и кротким, как дружелюбный пес у очага.

— Это рай, Амадео,— повторил он.— Что бы ни вбило прошлое тебе в душу, забудь об этом.

Я улыбнулся и медленно, ряд за рядом, осмотрел фигуры стоящих святых, а потом тихо рассмеялся и доверительно шепнул господину на ухо:

— Они разговаривают, бормочут, болтают друг с другом, совсем как венецианские сенаторы.

В ответ послышался его приглушенный, сдержанный смех:

— О, я думаю, сенаторы ведут себя пристойнее, Амадео. Я никогда не видел их в таких фривольных позах, но это, как я уже говорил, и есть рай.

— Нет, господин, посмотри туда. Святой держит икону, прекрасную икону. Господин, я должен тебе рассказать...

Я замолчал. Меня бросило в жар, а все тело покрылось капельками пота. Глаза жгло, как огнем, и я ничего не видел.

— Мастер...— Ко мне наконец вновь вернулся голос.— Я в диких степях. Я бегу. Я должен спрятать ее среди деревьев...

Откуда ему было знать, о чем идет речь,— что я говорю об отчаянном побеге в прошлом, связное воспоминание о котором осталось в моей памяти, о побеге через степь со священным свертком в руках, со свертком, который нужно развернуть и укрыть под сенью деревьев.

— Посмотри, господин, икона...

Мне в рот полился мед. Густой и сладкий. Он тек из холодного источника, но это не имело значения. Я узнал этот источник. Мое тело превратилось в кубок, который встряхнули, чтобы взболтать его содержимое и растворить всю горечь, оставив лишь мед и дремотное тепло.

Когда я открыл глаза, то увидел, что вновь лежу на нашей кровати. Жар как рукой сняло. Лихорадка прошла. Я перевернулся и приподнялся, опираясь на подушки.

Мой господин сидел у стола. Он перечитывал то, что, видимо, только что написал. Его светлые волосы были перевязаны лентой. Ничем не скрытое лицо с точеными скулами и гладким узким носом казалось на удивление красивым. Он посмотрел на меня и улыбнулся.

— Не гоняйся за воспоминаниями,— сказал он, словно продолжая разговор, который мы не прерывали, даже пока я спал.— Не ищи их в церкви Торчелло. Не ходи к мозаике Сан-Марко. Со временем все эти пагубные вещи вернутся сами собой.

— Я боюсь вспоминать,— прошептал я.

— Знаю,— ответил он.

— Откуда ты знаешь? — спросил я его.— Это скрыто в моем сердце. Она только моя, эта боль.

Мне было стыдно за свою дерзость, однако, сколько бы я ни раскаивался, моя дерзость проявлялась теперь все чаще и чаще.

— Ты действительно во мне сомневаешься? — спросил он.

— Твои достоинства неизмеримы. Все мы это знаем, но никогда не обсуждаем, и мы с тобой тоже никогда не говорим о них.

— Так почему ты не хочешь довериться мне, вместо того чтобы цепляться за обрывки собственных воспоминаний?

Он поднялся из-за стола и подошел к кровати.

— Пойдем,— сказал он.— Лихорадки больше нет. Следуй за мной.

Он повел меня в одну из многочисленных библиотек в палаццо, в неубранное помещение, где в беспорядке валялись рукописи. Он редко работал в этих комнатах, а точнее, практически никогда. Он оставлял там свои новые приобретения, чтобы мальчики занесли их в каталог, а позже относил то, что считал необходимым, в нашу комнату.

Порывшись на полках, он отыскал нужную папку, большую, потрепанную, из старой желтой кожи, с протершимися углами. Белые пальцы разгладили большой лист пергамента. Он положил его на дубовый письменный стол так, чтобы мне было видно.

Картина, старинная...

Я увидел, что на ней изображена огромная церковь с золотыми куполами, необыкновенно величественная и красивая. На ней горели буквы. Они были мне знакомы, но я не мог заставить себя вспомнить их и тем более произнести вслух.

— Киевская Русь,— сказал вместо меня Мастер.

Киевская Русь...

Мной овладел невыразимый ужас. Не успев остановиться, я сказал:

— Она разрушена, сожжена! — непроизвольно вырвалось у меня.— Такого места нет! В отличие от Венеции его не существует. Оно разрушено, там царят холод, грязь, безнадежное отчаяние!.. Да, именно эти слова подходят больше всего...

У меня закружилась голова. Я почувствовал, что вижу путь к избавлению от безысходной скорби, но он был холоден, темен и извилист, с множеством поворотов, и в конце концов вел к миру вечной тьмы, где единственное, чем пахнут руки, кожа, одежда, это сырая земля.

Я попятился и убежал от Мастера.

Я промчался по всему палаццо.

Буквально слетев вниз по лестнице, я пронесся по темным комнатам первого этажа, выходившим на канал...

Вернувшись, я нашел его одного в спальне. Он, как всегда, читал — свою любимую в последнее время книгу: «Утешение философией» Боэция — и, когда я вошел, бросил на меня спокойный взгляд.

Я стоял, погруженный в размышления о своих болезненных воспоминаниях.

Я не мог их поймать. Да будет так. Они унеслись в небытие, как листья по аллее,— листья, которые время от времени непрерывным потоком падают, сорванные ветром, мимо окрашенных в зеленый цвет стен из маленьких садиков, устроенных на крышах домов.

— Я не хочу...— пробормотал я.

Существует лишь один Бог во плоти. Мой господин, мой Мастер.

— Когда-нибудь к тебе все вернется, когда у тебя хватит сил этим пользоваться,— сказал он, захлопывая книгу.— А пока... Позволь мне тебя утешить.

О да, к этому я был готов, как никогда.

3

Как же долго тянулись без него дни. К наступлению ночи, когда зажигали свечи, я сжимал руки в кулаки. Бывали ночи, когда он вообще не появлялся. Мальчики говорили, что он уехал по делам чрезвычайной важности и что в доме все должно идти так же, как и при нем.

Я спал в его пустой кровати, и никто не задавал мне вопросов. Я обыскивал весь дом в надежде обнаружить хоть какие-то следы его пребывания. Меня мучили сомнения. Я боялся, что он больше никогда не вернется.

Но он всегда возвращался.

Едва заслышав на лестнице знакомые шаги, я бросался в его объятия. Он подхватывал меня, обнимал, целовал и после этого позволял нежно прижаться к его груди. Он словно не ощущал моего веса, хотя с каждым днем я становился, как мне казалось, все выше и тяжелее.

Мне суждено было навсегда остаться тем семнадцатилетним мальчиком, которого ты видишь перед собой. Но я не понимал, как мужчина такого изящного, как он, сложения мог с такой

легкостью поднимать меня и держать на руках. Я не пушинка, никогда ею не был. Я сильный.

Больше всего мне нравилось — если приходилось делить его общество с остальными,— когда он читал нам вслух.

Поставив вокруг канделябры, он приглушенным, приятным голосом читал «Божественную комедию» Данте, или «Декамерона» Боккаччо, или же — по-французски — «Роман о Розе» и стихи Франсуа Вийона. Он рассказывал о новых языках, которые мы должны понимать наравне с латынью и греческим. Он предупреждал, что литература отныне не ограничивается классическими произведениями.

Мы молча слушали Мастера, сидя на подушках, а иногда прямо на голом мраморе. Некоторые стремились встать как можно ближе к нему.

Иногда Рикардо под аккомпанемент лютни напевал мелодии, которым его научил преподаватель, и даже непристойные песни, услышанные на улицах. Он скорбно пел о любви и заставлял нас плакать. Мастер смотрел на него любящими глазами.

Я не испытывал никакой ревности. Только я делил с господином ложе.

Иногда он даже усаживал Рикардо у двери в спальню, чтобы он нам поиграл. Послушный Рикардо никогда не просил впустить его внутрь.

Когда за нами опускались драпировки, у меня бешено билось сердце. Господин стягивал с меня тунику, иногда даже весело разрывал ее, словно это были жалкие лохмотья.

Я опускался под ним на расшитые атласные покрывала; я раздвигал ноги и ласкал его коленями, немея и дрожа, когда он чуть согнутыми пальцами касался моих губ.

Однажды я лежал в полусне. Воздух стал розовато-золотистым. В комнате было тепло. Я почувствовал, как его губы прижались к моим и внутрь, как змея, проник холодный язык. Мой рот наполнила какая-то жидкость, густой пылающий нектар, такое сильнодействующее зелье, что оно распространилось по всему телу до кончиков пальцев. Я почувствовал, как оно постепенно спускается к самым интимным местам. Я горел, как в огне.

— Господин,— прошептал я.— Что это было? Это еще приятнее поцелуев...

Он опустил голову на подушку и отвернулся.

— Дай мне это еще раз, господин,— сказал я.

Он давал, но только в те моменты, когда ему было угодно, по каплям, вместе с красными слезами, которые он иногда позволял мне слизывать с его глаз.

Кажется, так прошел целый год, прежде чем я вернулся как-то вечером домой, раскрасневшись от зимнего воздуха, нарядившись ради него в свои самые изысканные темно-синие одежды, в небесно-голубые чулки и в самые дорогие в мире, отделанные золотом туфли,— целый год, прежде чем я в тот вечер вошел, забросил свою книгу в угол спальни с выражением великой мировой усталости на лице, положил руки на бедра и свирепо посмотрел на него. Он сидел в своем высоком глубоком кресле с изогнутой спинкой и смотрел на угли в жаровне, поднося к нам руки и наблюдая за языками пламени.

— Так вот...— дерзко начал я, откинув голову, очень по-светски, как искушенный венецианец, принц, окруженный на рыночной площади целой свитой жаждущих обслужить его купцов, школяр, перечитавший слишком много книг.— Так вот, здесь есть какая-то важная тайна, сам знаешь. Пора тебе все мне рассказать.

— Что? — спросил он довольно любезно.

— Почему ты никогда... Почему ты никогда ничего не чувствуешь? Почему ты обращаешься со мной как с куклой? Почему ты никогда...

Я впервые увидел, как он покраснел; его глаза заблестели, сузились, а потом широко раскрылись от подступивших красноватых слез.

— Мастер, ты пугаешь меня,— прошептал я.

— А что ты хочешь, чтобы я чувствовал, Амадео? — спросил он.

— Ты как ангел, как статуя,— сказал я, только на этот раз я словно вдруг протрезвел и дрожал.— Господин, ты играешь со мной, но твоя игрушка все чувствует.— Я приблизился к нему. Я дотронулся до его рубашки, намереваясь распустить шнуровку.— Позволь мне...

Он перехватил мою руку. Он поднес мои пальцы к губам и принялся ласкать их языком. Его глаза были устремлены прямо на меня.

«Вполне достаточно,— говорили они.— Я чувствую вполне достаточно».

— Я дам тебе все, что угодно,— умоляюще заговорил я, просовывая ладонь между его ног.

Он казался удивительно твердым. Ничего необычного в этом не было, но он не должен на этом останавливаться, он должен довериться мне.

— Амадео,— сказал он.

С необъяснимой силой он потянул меня за собой на кровать. Нельзя даже сказать, что он поднялся с кресла. Казалось, только что мы были здесь, а через мгновение упали на знакомые подушки. Я моргнул. Полог опустился за нами словно сам собой, под действием бриза, подувшего в открытое окно. Я прислушивался к голосам, доносившимся с канала,— так поют голоса Венеции, отражаясь от стен домов этого города дворцов.

— Амадео,— прошептал он, в тысячный раз прижимаясь губами к моему горлу, но на этот раз я почувствовал мгновенный укус, острый, резкий. Внезапно дернулась нить, сшивавшая мое сердце. Я словно перестал существовать... Осталось лишь ощущение того, что было у меня между ног. Его губы прильнули к моей шее, и нить порвалась еще раз, а затем еще, и еще, и еще...

У меня начались видения. Передо мной возникло какое-то новое, незнакомое место. Словно вернулись вдруг сны, которые я не в силах был вспомнить после пробуждения. Словно я ступил на дорогу, ведущую к жгучим фантазиям, посещавшим меня в снах, и только в снах...

Вот! Вот чего я от тебя хочу...

— Так получи же,— сказал я, бросив эти слова в почти забытое настоящее, плывя рядом с ним, чувствуя, как он дрожит, как возбуждается, как резко извлекает из глубин моей плоти некие нити, ускоряя биение моего сердца, едва ли не заставляя меня кричать, чувствуя, какое он испытывает наслаждение, как напрягается его спина, как трепещут и танцуют его пальцы, когда он изгибается, прижимаясь ко мне. Пей... пей... пей...

Наконец он оторвался от меня и повернулся на бок.

Лежа с закрытыми глазами, я улыбался. Я коснулся своего рта и почувствовал, что на нижней губе до сих пор осталась крошечная капля нектара. Я подобрал ее языком и погрузился в мечты.

Он тяжело дышал, все еще вздрагивал и был мрачен. А когда его рука нащупала мою, она тоже дрожала.

— Ах! — тихо воскликнул я, все еще улыбаясь, и поцеловал его в плечо.

— Я причинил тебе боль! — сказал он.

— Нет-нет, что ты, мой милый господин,— возразил я.— А вот я причинил тебе боль! Теперь ты мой!

— Амадео, ты играешь с огнем.

— А разве ты не этого хочешь, господин? Тебе что, не понравилось? Ты взял мою кровь и стал моим рабом!

Он засмеялся.

— Так вот как ты все извращаешь?

— М-м-м. Какая разница? Люби меня — и все.

— Никогда никому не рассказывай об этом.— В голосе его не слышалось ни страха, ни слабости, ни стыда.

Я перевернулся, подтянулся на локтях и посмотрел на него, на его спокойный профиль, повернутый в другую сторону.

— А что они сделают?

— Ничего,— ответил он.— Важно, что́ они подумают и почувствуют. А мне некогда объяснять им что-либо.— Он посмотрел на меня.— Будь милосерден и мудр, Амадео.

Я долго молча смотрел на него. Только постепенно я осознал, что мне страшно. На секунду мне даже показалось, что страх затмит теплоту этой сцены, ненавязчивое великолепие лучащегося света, проникающего сквозь занавеси, четких линий его гладкого лица, доброты его улыбки. Потом страх уступил место другой, более серьезной проблеме.

— Ведь ты вовсе не стал моим рабом, правда? — прошептал я.

— Ну почему же? — Он чуть было не засмеялся.— Я твой раб, если тебе обязательно нужно знать.

— А что произошло, что ты сделал, что случилось, когда...

Он приложил палец к моим губам.

— Ты думаешь, что я такой же, как остальные люди? — спросил он.

— Нет,— сказал я, но меня вдруг охватил страх, задушивший во мне обиду. Не в силах сдержаться, я порывисто обнял его и попытался уткнуться лицом в его шею. Однако плоть его была слишком твердой для этого. Тем не менее он обхватил ру-

кой мою голову и поцеловал в макушку, а потом отвел назад мои волосы и просунул большой палец мне за щеку.

— Я хочу, чтобы когда-нибудь ты уехал отсюда,— сказал он.— Я хочу, чтобы ты ушел. Ты возьмешь с собой богатства и знания, которые я смогу тебе дать. С тобой останутся твои таланты и освоенные искусства: умение рисовать, умение сыграть любую музыку, какую я ни попрошу,— это ты уже можешь — умение изящно танцевать. Ты заберешь свои достижения и отправишься на поиски тех драгоценных вещей, которые тебе нужны...

— Мне ничего не нужно — только ты.

— ...А когда ты будешь вспоминать об этих временах, когда в полусне по ночам ты будешь вспоминать меня, закрывая на подушке глаза, эти наши моменты покажутся тебе развратными и непонятными. Они покажутся тебе колдовством, выходками безумца, а теплая комната, в которой мы с тобой сейчас находимся, может превратиться в твоем воображении в затерянное хранилище мрачных тайн, и это причинит тебе боль.

— Я не уйду.

— Помни, что это была любовь,— продолжал он.— И что именно в этой школе любви ты смог залечить свои раны, снова научился говорить, даже петь, что здесь ты перестал быть запуганным, сломленным жизнью ребенком, от которого осталась только скорлупа... Ты возродился и подобно ангелу взлетел к небесам, расправив новые, более сильные и широкие крылья.

— А что, если я никогда не уйду по собственной воле? Ты выбросишь меня из окна, чтобы я взлетел или упал? Запрешь все ставни, чтобы помешать мне вернуться? Лучше запри, потому что я буду стучать, стучать, стучать, пока не упаду замертво. У меня не будет крыльев, чтобы улететь от тебя.

Он пристально всматривался в меня. Никогда еще я так долго не наслаждался его взглядом, никогда еще моим ищущим пальцам не позволялось так часто прикасаться к его губам.

Наконец он приподнялся рядом со мной и мягко прижал меня к кровати. Его губы, всегда нежно-розовые, как внутренние лепестки расцветающих белых роз, на моих глазах постепенно меняли цвет. Между ними показалась блестящая красная полоска. Постепенно расширяясь, эта полоска полностью

окрасила тонкие линии губ, словно оставшееся на них вино,— только она, эта жидкость, сверкала... Губы его замерцали, а когда он приоткрыл их, красная жидкость вырвалась оттуда, как стремительно разворачивающийся язык.

Он приподнял мою голову. Я поймал ртом хлынувшую струю.

Мир выскользнул из-под меня. Я накренился и поплыл по течению с открытыми, но ничего не видящими глазами... А он тесно прижался губами к моему рту...

— Мастер, я от этого умру! — пытался прошептать я.

Я метался под его тяжестью, пытаясь найти опору в этой дремотной упоительной пустоте, дрожа и взлетая к вершинам блаженства. Мои конечности напрягались и вновь расслаблялись, вся моя плоть вытекала из него, из его губ через мои, она полностью растворялась в его дыхании и вздохах.

За этим последовал укол — крошечное и несоизмеримо острое лезвие пронзило меня до самых глубин души. Я извивался на нем, словно агнец на вертеле. О, это могло бы научить богов любви, что такое любовь. Вот оно, мое освобождение,— если только я сумею выжить!

Ослепший, дрожащий с головы до ног, я полностью слился с ним. Я почувствовал, как его рука прикрыла мне рот, и только тогда услышал собственные крики, теперь уже заглушенные.

Я обвил руками его шею, все крепче прижимая его к своему горлу.

— Ну же! Ну же! Ну же!..

Проснулся я уже днем.

Он давно ушел — этому раз и навсегда заведенному правилу он никогда не изменял. Я лежал в кровати один. Мальчики еще не заглядывали.

Я выбрался из постели и подошел к высокому узкому окну. Традиционные для архитектуры Венеции, такие окна не впускали в дома неистовую летнюю жару и преграждали путь неизбежно приносящимся с Адриатического моря холодным ветрам.

Я распахнул рамы с толстыми стеклами и, как делал это нередко, устремил взгляд на стены расположенных напротив моего убежища домов.

На верхнем балконе служанка вытряхивала пыль из тряпки. Я смотрел на нее с противоположной стороны канала. У жен-

щины было багровое лицо, и казалось, что кожа на нем шевелится, словно покрытая тучами неких крошечных живых существ, например муравьев. Она ни о чем не подозревала! Я положил руки на подоконник и присмотрелся внимательнее. Понятно! Я видел жизнь, кипевшую внутри ее, работу плоти, делавшую подвижной каждую черточку ее лица.

Руки женщины производили особенно жуткое впечатление: узловатые, опухшие, каждая морщинка на них, каждая складочка, была забита поднятой метлой пылью.

Я потряс головой. Слишком велико было расстояние, чтобы столь отчетливо видеть такие мелкие детали. В отдаленной комнате болтали мальчики. Пора за работу. Пора вставать — даже в палаццо ночного властелина, который днем ничего не проверяет и никого не подгоняет. Но ведь и мальчики сейчас очень далеко от меня — так почему же я слышу их голоса?

А этот бархат? Эта драпировка из любимой ткани Мастера? Когда я ее коснулся, бархат на ощупь скорее походил на мех — я различал каждое тончайшее волокно! Я уронил ее. И отправился на поиски зеркала...

В доме их были десятки, огромных декоративных зеркал, все в причудливых рамах и обильно украшенные крошечными херувимчиками. В передней я нашел высокое зеркало — оно висело в нише за покоробленными, но прекрасно расписанными дверцами — там я хранил свою одежду.

Свет из окна следовал за мной. Я увидел свое отражение. Но оказался не закипающей, разлагающейся массой, какой виделась мне та женщина. У меня было по-детски гладкое лицо — и абсолютно белое...

— Я этого хочу! — прошептал я. Я точно знал.

— Нет,— ответил он.

Это было, уже когда он вернулся той ночью. Я произносил какие-то напыщенные речи, бегал по комнате и кричал на него.

Он не стал вдаваться в длинные объяснения, будь то мистические или научные, хотя с легкостью мог дать мне и те и другие. Он только сказал, что я еще маленький, что нужно насладиться тем, что будет навсегда потеряно.

Я заплакал. Я не хотел ни работать, ни рисовать, ни учиться — я отказывался что-либо делать вообще.

— Пока что ты утратил ко всему интерес, но ненадолго,— терпеливо сказал он.— Но ты удивился бы...

— Чему?

— Тому, до какой степени ты пожалел бы о том, что навсегда исчезло, стань ты совершенным и навсегда застывшим, как я, а все человеческие ошибки оказались бы напрочь вытесненными новой, еще более ошеломительной цепью провалов и неудач. Не проси меня об этом, больше не проси.

Я потемнел от злости и отчаяния и готов был умереть. Забившись в угол, я ожесточенно молчал. Однако Мастер еще не закончил.

— Амадео,— сказал он глухим от печали голосом.— Молчи. Не надо слов. Ты получишь это, и достаточно скоро. Когда я решу, что время пришло.

Услышав последние слова, я подбежал к нему, как маленький, кинулся ему на шею и тысячу раз поцеловал его ледяную щеку, невзирая на его насмешливую, презрительную улыбку.

Наконец его руки застыли, как металл. Сегодня — никаких кровавых игр. Мне нужно учиться. Необходимо наверстать упущенное за день.

А он должен был встретиться с подмастерьями, вернуться к своим делам, к гигантскому холсту, над которым работал. Я сделал так, как он велел.

Но задолго до наступления утра я заметил в нем перемену. Остальные давно ушли спать. Я послушно переворачивал страницы книги, когда увидел, что он пристально смотрит на меня со своего кресла, словно зверь, словно какой-то хищник вытеснил из его души все человеческое и оставил только голод... Глаза Мастера остекленели, шелковые губы, внутри которых по мириадам тропинок бежала кровь, превратились в две тонкие багровые полоски...

Он поднялся как пьяный и совершенно чужой, не свойственной ему походкой направился ко мне, вызвав в душе леденящий ужас.

Его пальцы вспыхивали, сжимались, манили...

Я побежал к нему. Он поднял меня обеими руками, мягко сжал в объятиях и уткнулся лицом мне в шею. Я почувствовал его всем телом — от кожи головы до кончиков пальцев ног.

Куда он меня бросил, я не понял. Не то на нашу кровать, не то на поспешно собранные в кучу подушки в соседней комнате.

— Дай ее мне,— сонно попросил я и отключился, едва почувствовав, как она потекла мне в рот...

4

Он сказал, что мне следует посетить бордели и узнать, что значит совокупляться по-настоящему, а не в играх, как мы делали с мальчиками.

В Венеции таких мест было много, дело было поставлено на широкую ногу, что позволяло получить изысканное наслаждение в самой роскошной обстановке. Общепринято было считать, что подобного рода развлечения в глазах Христа не слишком большой грех, и молодые щеголи посещали эти заведения, не таясь.

Я знал один дом с особенно изящными и искусными женщинами — высокими, пышнотелыми, светлоглазыми красавицами с севера Европы. Некоторые из них обладали совсем светлыми, практически белыми волосами — считалось, что они во многом отличаются от итальянок, которых мы видели каждый день. Не знаю, насколько важным такое отличие было лично для меня, так как с того момента, как попал в Венецию, я был просто ослеплен красотой итальянских мальчиков и женщин. Венецианские девушки с лебедиными шеями, с замысловатыми взбитыми прическами, в широких прозрачных вуалях оказались практически неотразимыми. Однако в борделе можно было встретить самых разных женщин, а суть игры заключалась в том, чтобы одолеть столько, сколько получится.

Мой господин отвел меня в это место, заплатил за меня целое состояние в дукатах и сказал полногрудой очаровательной хозяйке, что заберет меня через несколько дней. Дней!

Я бледнел от ревности и сгорал от любопытства, глядя, как он уходит, как неизменно царственная фигура в знакомом малиновом плаще садится в гондолу и хитро подмигивает мне, в то время как та уносит его прочь.

В результате я провел целых три дня в доме самых сладострастных девиц Венеции — спал до полудня, сравнивал оливковую кожу с белой, позволял себе неспешный осмотр волос в

нижней части тела каждой из красавиц, отличая шелковистые от более жестких и вьющихся.

Я научился мелким прелестям наслаждения — например, как приятно бывает, когда в соответствующий момент тебя покусывают за грудь (слегка, причем не вампиры) или любовно подергивают за волосы под мышками. Мои половые органы намазывали золотистым медом, и его тут же слизывали хихикающие ангелы...

Конечно, там имели место и более интимные приемы, в том числе и совершенно бесстыдные акты, которые, строго говоря, считались преступлениями, но в этом доме служили не более чем разнообразными дополнительными украшениями в принципе не выходящих за рамки дозволенности, но дразнящих празднеств. Все делалось элегантно. Повсюду стояли большие глубокие деревянные кадки, и в любое время можно было принять горячую ванну; на поверхности ароматизированной, подкрашенной в розовый цвет воды плавали цветы, и я периодически сдавался на милость стайки мягкоголосых женщин, которые ворковали вокруг меня, как птички на карнизе, словно котята облизывали с ног до головы и завивали мне волосы, накручивая их на пальцы.

Я был маленьким Ганимедом Зевса, ангелочком, сошедшим с непристойной картины Боттичелли. (Многие из них, кстати сказать, висели в этом борделе, спасенные от «очистительных» костров тщеславия, устроенных во Флоренции непрошибаемым реформистом Савонаролой, подстрекавшим великого Боттичелли ни больше ни меньше... как сжигать свои прекрасные произведения!) Я был херувимом, упавшим из-под купола собора, венецианским принцем (хотя на самом деле таковых в Республике не существовало), брошенным врагами в руки прелестниц, дабы те распалили в нем желание и тем самым сделали его совершенно беспомощным.

А накал моего желания постепенно рос. Если уж кому-то суждено до конца дней оставаться просто человеком, то что может быть веселее, чем валяться на турецких подушках с такими нимфами, которых большинство мужчин видят только мельком, да и то лишь в волшебном лесу своих мечтаний.

Вино было великолепным, пища — просто чудесной, причем в меню входили изобретенные арабами подслащенные блюда

со специями, а в целом кухня была намного экстравагантнее и экзотичнее, чем в доме моего господина.

(Когда я рассказал ему об этом, он нанял четырех новых шеф-поваров.)

Я, очевидно, спал, когда за мной явился Мастер и как всегда загадочным образом перенес меня домой, так что я проснулся уже в собственной постели.

Не успев открыть глаза, я понял, что, кроме него, мне никто не нужен. Такое впечатление, что греховные утехи последних нескольких дней только воспламенили меня, усилили плотский голод и возбудили желание посмотреть, отреагирует ли его восхитительное белое тело на изученные мной более тонкие приемы. Когда он наконец пришел ко мне под полог, я набросился на него, расстегнул на груди рубашку и впился губами в его соски, обнаружив, что, несмотря на свою поразительную белизну и холодность, они чрезвычайно мягкие, нежные и, несомненно, естественным на первый взгляд образом связаны с корнями его желаний.

Он лежал спокойно и грациозно, позволяя мне играть с ним так же, как играли со мной мои наставницы. Когда же он наконец приступил к своим кровавым поцелуям, они полностью затмили все мои воспоминания о человеческих ласках, и я лежал в его объятиях такой же беспомощный, как и всегда. Казалось, в эти моменты наш мир не просто становился царством плоти, но и оказывался во власти чар, не подчиняющихся никаким законам природы.

На исходе второй ночи, ближе к утру, я нашел его в студии, где он рисовал в одиночестве, в то время как ученики спали каждый в своем углу, как неверные апостолы в Гефсиманском саду.

Мои вопросы не заставили бы его прекратить работу. Поэтому я встал у него за спиной, обвил руками и, приподнявшись на цыпочки, прошептал прямо ему в ухо:

— Расскажи мне, Мастер, ты должен рассказать, как ты получил свою волшебную кровь?

Я слегка прикусил мочки его ушей и провел руками по его волосам. Он не отрывался от картины.

— Ты уже родился таким? Неужели мое предположение о том, что тебя... превратили... всего лишь ужасная ошибка?

— Прекрати, Амадео,— прошептал он, продолжая рисовать. Он увлеченно работал над лицом Аристотеля — бородатого, лысеющего старца со своей великой картины «Академия».

— Бывает ли, господин, что ты испытываешь одиночество, побуждающее тебя с кем-нибудь поговорить, с кем угодно,— найти собеседника, друга, принадлежащего к той же, что и ты сам, породе, излить сердце тому, кто сможет тебя понять?

Он обернулся, пораженный моим вопросом.

— А ты, избалованный ангелочек? — Он понизил голос, чтобы сохранить в нем нотки нежности.— Думаешь, ты сможешь стать таким другом? Ты наивен! И останешься таковым до конца своих дней. У тебя невинное сердце. Ты отказываешься воспринимать истину, противоречащую глубокой неистовой вере, которая превращает тебя в вечного монашка, в мальчика-служку при алтаре...

Я отпрянул — никогда еще мне не доводилось столь сильно злиться на своего господина.

— Ну уж нет, я не такой! — заявил я.— Я уже мужчина, хотя и выгляжу как подросток, и тебе это прекрасно известно. Кто, кроме меня, размышляет о том, кто ты такой, об алхимии твоего могущества? Жаль, что я не могу нацедить чашку твоей крови, исследовать ее как врач, определить ее состав и узнать, чем она отличается от той, что течет в моих венах? Да, я твой ученик, твой верный и преданный ученик, но для этого мне приходится быть мужчиной. Когда это ты терпел невинность? Когда мы ложимся вместе в постель, это, по-твоему, невинно? Я — мужчина!

Он разразился изумленным хохотом. Мне приятно было видеть его удивление.

— Поведайте мне вашу тайну, сударь,— попросил я, обвивая его руками за шею и опуская голову ему на плечо.— Существовала ли мать, такая же белая и сильная, как и вы, родившая вас, как Богородица из своего священного чрева?

Он взял меня за руки и слегка отстранил, чтобы поцеловать,— поцелуй получился такой настойчивый, что я даже испугался. Потом он передвинул губы к моей шее, всасывая кожу, лишая меня сил и заставляя всем сердцем соглашаться стать тем, кем ему будет угодно.

— Да, я создан из луны и звезд, из царственной белизны, составляющей суть как облаков, так и невинности,— сказал он.— Но ты сам понимаешь, что не мать родила меня таким. Когда-то я был человеком и старел год от года. Смотри...— Он обеими руками поднял мое лицо и заставил смотреть прямо на него.— Видишь, в углах глаз еще виднеются остатки морщин, избороздивших мое лицо.

— Да их почти не видно, сударь,— прошептал я, стремясь успокоить Мастера, если его волновало подобное несовершенство. Он блистал в собственном сиянии, в своей глянцевой отшлифованности.

Представь себе ледяную фигуру, такую же совершенную, как Галатея Пигмалиона, брошенную в пламя, обожженную, тающую, но при этом чудом сохраняющую неизменными свои черты... Вот таким и был мой господин, мой Мастер, в те мгновения, когда им овладевали человеческие эмоции. Он сжал мои руки и поцеловал меня еще раз.

— Маленький мужчина, карлик, эльф,— прошептал он.— Ты хочешь остаться таким навеки? Разве ты недостаточно спал со мной, чтобы знать, чем я могу наслаждаться, а чем — нет?

Я победил его, и на оставшийся до его ухода час он стал моим пленником.

Но на следующую ночь он отправил меня в нелегальный и еще более роскошный дом удовольствий, дом, содержавший для удовлетворения страстей своих посетителей только молодых мальчиков.

Дом был декорирован в восточном стиле, и, полагаю, в нем смешивалась роскошь Египта с пышностью Вавилона. Золотые решетки делили помещение на маленькие отсеки, а латунные колонны, отделанные ляпис-лазурью, поддерживали над обитыми дамастом позолоченными деревянными кушетками балдахины из ткани лососевого цвета. От курящегося ладана воздух казался тяжелым, а неяркое освещение действовало успокаивающе.

Обнаженные мальчики, упитанные, уже вполне зрелые, с гладкими, округлыми руками и ногами, горели желанием, были сильными и цепкими и при этом оживляли любовные игры своими собственными бурными мужскими желаниями.

Казалось, моя душа превратилась в маятник, раскачивающийся между здоровой радостью от завоевания и полуобморочным сознанием необходимости подчиниться, отдаться на милость более сильных тел, более страстных желаний и более мощных и ласковых рук.

Я оказался в плену у двух умелых и своевольных любовников. Меня пронзали и вскармливали, молотили и опустошали, пока я не заснул так же крепко, как спал дома в отсутствие Мастера и его чудес.

Это было только начало.

Однажды, очнувшись от своего пьяного сна, я обнаружил, что меня окружают странные существа неопределенного пола. Только двое из них были евнухами, обрезанными с таким мастерством, что их надежные орудия могли вздыматься не хуже, чем у любого мальчика. Остальные же просто разделяли пристрастие своих товарищей к краске. Глаза у всех были подведены и оттенены фиолетовым, ресницы закручены вверх и покрыты лаком, что придавало их лицам жутковатое, безгранично отчужденное и равнодушное выражение. Их накрашенные губы казались более твердыми и крепкими, чем у женщин,— и более требовательными. Они возбуждали и провоцировали меня своими поцелуями, словно мужское начало, наделившее их мускулами и твердым членом, добавило потенции даже их ртам. Улыбались они как ангелы. Их соски были украшены золотыми кольцами, а волосы в паху покрыты золотой пыльцой.

Я не протестовал, когда они на меня набросились. Я не боялся переходить границы и даже позволил им привязать к кровати мои запястья и лодыжки, чтобы они могли с бóльшим успехом творить свои чудеса. Их было невозможно бояться. Я оказался словно распятым, но это не доставляло мне ничего, кроме удовольствия. Их настойчивые пальцы даже не позволяли мне закрывать глаза. Они гладили мои веки и заставляли смотреть. Они проводили по моему телу мягкими толстыми кисточками. Они втирали во всю мою кожу масла. Они всасывали, как нектар, пламенный сок, снова и снова вытекавший из моего тела, пока я не крикнул, что у меня его больше не осталось, что, впрочем, отнюдь их не остановило. Чтобы в шутку поддразнить меня, они начали вести счет моим «маленьким смертям», потом меня пе-

ревернули, связали, и я моментально погрузился в восторженный сон...

Проснулся я, не думая о времени и забыв обо всех заботах. В ноздри мне ударил густой дым трубки. Я взял ее и втянул дым в себя, смакуя знакомый порочный аромат гашиша.

Я провел в том доме четыре ночи.

Обратно в палаццо меня вновь доставили во сне.

На сей раз я проснулся без сил, раздетый, едва прикрытый рваной рубашкой из тонкого шелка кремового цвета. Я лежал на кушетке, перенесенной прямо из борделя в студию Мастера, а он сидел неподалеку и, видимо, рисовал мой портрет, отрываясь от маленького мольберта только для того, чтобы бросить на меня мимолетный взгляд.

В ответ на мой вопрос о том, сколько сейчас времени и какая по счету идет ночь, он промолчал.

— Итак, ты злишься на меня, потому что мне понравилось? — спросил я.

— Лежи спокойно,— ответил Мастер.

Я откинулся на подушки, замерзший, чувствуя себя невероятно одиноким, обиженным, и совсем по-детски мечтал в тот момент лишь об одном: укрыться в его объятиях.

Наступило утро, и он ушел, так ничего и не сказав. Картина была блистательным шедевром непристойности. Я лежал в позе спящего на берегу реки, словно фавн, а надо мной стоял высокий пастух, сам Мастер, в сутане священника. Окружавший нас лес был густым, живым, с шелушащимися стволами и гроздьями пыльных листьев. Вода в ручье была нарисована так реалистично, что казалась мокрой на ощупь, а я в изображении Мастера выглядел простодушным, погруженным в глубокий сон: рот полуоткрыт, брови нахмурены, видимо, под впечатлением от неспокойных видений.

Я в ярости бросил картину на пол, надеясь размазать все краски.

Почему он ничего не сказал? Зачем он навязал мне эти уроки, которые поставили между нами стену? Почему он злится на меня только за то, что я выполняю его указания? Интересно, не проверку ли моей невинности он устроил этими борделями? Неужели его наставления о необходимости получать удовольствие — одно сплошное вранье? Я сел за его стол, взял перо и нацарапал ему записку:

«Ты Мастер. Ты должен все знать. Невыносимо иметь господином того, кто не умеет управлять. Либо укажи мне путь, пастух, либо отложи свой посох».

Дело в том, что я чувствовал себя полностью вымотанным от удовольствий, пьянства, извращения всех моих чувств и к тому же одиноким — и все это только ради того, чтобы быть с ним, ради его руководства, его доброты, чтобы он убедил меня, что я принадлежу ему.

Но он ушел.

Я отправился на поиски приключений. Я провел целый день в тавернах, пил, играл в карты, намеренно обольщал хорошеньких девушек, готовых стать легкой добычей, чтобы держать их при себе во время разнообразных азартных игр.

Затем, с наступлением темноты, я ответил на авансы пьяного англичанина, бледного веснушчатого дворянина, потомка старейших родов Франции и Англии, именовавшегося графом Гарлеком, который путешествовал по Италии, чтобы посмотреть великие чудеса, и был полностью очарован многочисленными прелестями этой удивительной страны, в том числе и содомией.

Естественно, он считал меня красивым мальчиком. А кто так не считал? Он и сам был далеко не урод. Даже бледные веснушки обладали своеобразной привлекательностью, особенно в сочетании с медного оттенка волосами.

Он отвел меня в покои своего великолепного палаццо, где держал слишком много прислуги, и занялся со мной любовью. Это было недурно. Мне понравились его невинность и неловкость. У него были чудесные голубые глаза, светлые и круглые, удивительно мощные, мускулистые руки и ухоженная, но восхитительно колючая оранжевая бородка.

Он писал мне стихи по-латыни и по-французски и очаровательно их декламировал. Через пару часов игры в варвара-завоевателя он сообщил, что хочет, чтобы я оказался сверху. И это мне очень даже понравилось. Так мы потом и играли, я был солдатом-победителем, а он — жертвой на поле боя, иногда я легко хлестал его сложенным вдвое ремнем, отчего нас обоих бросало в жаркий пот.

Время от времени он умолял меня признаться, кто я такой на самом деле и где он сможет меня найти, но я, конечно, ничего ему не сказал.

Я оставался с ним три ночи, болтая о загадочных английских островах, читая ему вслух итальянские стихи, иногда даже играл ему на мандолине и пел все нежные любовные песни, какие помнил.

Он научил меня изрядному количеству грубых уличных английских выражений и заявил, что хочет забрать к себе домой. Ему придется прийти в чувство, сказал он; ему придется вернуться к своим обязанностям, к своим поместьям, к своей ненавистной порочной жене-шотландке, изменнице, чей отец был убийцей, и к своему невинному малышу, чьи ярко-рыжие кудри вселяли в графа уверенность в собственном отцовстве.

Он будет содержать меня в Лондоне, в прекрасном доме, подаренном его величеством королем Генрихом Восьмым. Он не может без меня жить, а поскольку все Гарлеки неизменно получали все, что хотели, у меня нет другого выхода, кроме как подчиниться. Если я — сын могущественного вельможи, то я должен в этом признаться, и он справится с этим осложнением. Кстати, не испытываю ли я ненависти к своему отцу? Его отец — мерзавец. Все Гарлеки — мерзавцы и были такими со времен Эдуарда Исповедника. Мы должны ускользнуть из Венеции сегодня же ночью.

— Ты не знаешь ни Венецию, ни ее дворянство,— доброжелательно заметил я.— Подумай. Стоит только попробовать — и тебя разрежут на кусочки.

Теперь я осознал, что он еще довольно молод. Раньше я както не задумывался о таких вещах, ибо любой мужчина взрослее меня казался мне старым. Графу не могло быть больше двадцати пяти лет. А также он был не в своем уме.

Он подскочил на кровати, отчего его густые медные волосы высоко взметнулись, выхватил свой кинжал, великолепный итальянский стилет, и уставился сверху вниз на мое обращенное к нему лицо.

— Ради тебя я способен на убийство,— гордо и доверительно сказал он на венецианском диалекте. Потом он вонзил кинжал в подушку, и из нее полетели перья.— И тебя убью, если возникнет в том необходимость.

Перья взлетели к его лицу.

— И что у тебя останется? — спросил я.

За его спиной раздался треск. Я был уверен, что за окном, за запертыми деревянными ставнями кто-то есть, хотя мы и находились на высоте трех этажей над Большим каналом. Я сказал ему об этом. Он мне поверил.

— Я родом из семьи зверских убийц,— соврал я.— Если ты попробуешь вывезти меня отсюда, они последуют за тобой хоть на край света; они по камню разберут твои замки, разрубят тебя надвое, отрежут тебе язык и половые органы, завернут их в бархат и отошлют твоему королю. Так что уймись.

— Ах ты, хитрый, дерзкий дьяволенок,— сказал он,— у тебя вид ангела, а ведешь ты себя как мошенник из таверны,— и это с твоим-то певучим, сладким мужским голосом.

— Да, я такой,— радостно подтвердил я.

Я встал и поспешно оделся, уговаривая его повременить с убийством и обещая вернуться, как только представится возможность, ибо отныне мое место исключительно рядом с ним, потом наспех поцеловал его и направился к двери.

Он вертелся в постели, все еще крепко сжимая в руке кинжал; его морковного цвета голову, плечи и бороду усыпали перья. Вид у него и вправду был угрожающий.

Я потерял счет ночам своего отсутствия.

Я не мог найти открытую церковь. Ничье общество меня не привлекало.

Было темно и холодно. Вечерний звон уже пробили. Конечно, по сравнению со снежной северной страной, где я родился, венецианская зима представлялась мне мягкой, но тем не менее она оставалась зимой, гнетущей и сырой, и хотя город очищали свежайшие ветра, он казался негостеприимным и неестественно тихим. Безграничное небо исчезало в густом тумане. Холодом веяло даже от камней, как будто это были не камни, а ледяные глыбы.

Я сел на мокрые ступени одного из ведущих к воде спусков и расплакался. Чему меня все это научило?

Полученный опыт позволил мне почувствовать себя ужасно искушенным. Но тепла, способного надолго согреть душу, мне он не принес, и одиночество мучило меня сильнее, чем чувство вины, чем ощущение того, что я проклят.

Казалось, страх перед одиночеством победил во мне все прежние чувства. Сидя на лестнице, глядя на редкие звезды, плывущие над крышами домов, я сознавал, как ужасно будет потерять одновременно и моего господина, и чувство вины, быть изгнанным туда, где некому любить меня или проклинать, заблудиться и, спотыкаясь, идти по миру, имея в спутниках лишь обыкновенных и, по сути, совершенно посторонних мне людей — всех этих мальчиков, женщин, английского лорда с кинжалом и даже мою любимую Бьянку.

К ней домой я и пошел. Я спрятался под ее кроватью, как бывало в прошлом, и не хотел выходить.

Она принимала целую компанию англичан, но, к счастью, моего медноволосого любовника среди них не было — он, несомненно, все еще стряхивал с себя перья. А потом я решил, что, даже если мой красавчик лорд Гарлек и появится, он не рискнет позориться перед соотечественниками и строить из себя дурака. Бьянка вошла в спальню, очаровательная в своем фиолетовом шелковом платье, с бесценным ожерельем из сияющего жемчуга вокруг шеи. Она встала на колени и заглянула под кровать.

— Амадео, ну что с тобой случилось?

Я никогда не искал ее милостей. Насколько я знаю, никто этого не делал. Но в том состоянии подростковой лихорадки, в каком я в тот момент пребывал, самым логичным казалось взять ее силой.

Я выбрался из-под кровати, пошел к дверям и захлопнул их, чтобы нас не побеспокоил шум остальных гостей.

Когда я обернулся, она стояла на полу на коленях и смотрела на меня, сдвинув золотые брови, приоткрыв мягкие персиковые губы с выражением смутного удивления, которое я нашел очаровательным. Мне хотелось раздавить ее своей страстью, однако, конечно, соблюдая при этом меру, дабы впоследствии она вновь стала прежней, как если бы прекрасная ваза, разбитая на куски, могла из мельчайших частиц и осколков восстановить свою прежнюю форму и даже приобрести новый, более утонченный блеск.

Я потянул ее за руки и бросил на кровать. Все знали, что на этом великолепном, высоко взбитом ложе Бьянка всегда спит одна. Изголовье украшали огромные позолоченные лебеди и колонны, поднимающиеся к пологу, расписанному танцующими нимфами. Прозрачные занавески были сотканы из золотых нитей. Ничто здесь, равно как и в красной бархатной постели моего господина, не напоминало о царящей за окнами унылой зиме.

Я наклонился и поцеловал ее, приходя в неистовство от неподвижного, холодно-спокойного и пронзительного взгляда ее красивых глаз. Я сжал тонкие запястья и, сложив вместе ее ладони, схватил их одной рукой, чтобы иметь возможность разорвать ее изящное платье. Я рвал его торопливо, так, что все крошечные жемчужные пуговицы полетели в сторону, обнажая кружевной корсет на китовом усе. Потом я разломал и его, как плотную скорлупу.

У нее оказалась маленькая свежая грудь, слишком нежная и девичья для борделя, где пышные формы были в порядке вещей. Тем не менее я намеревался насладиться ими в полной мере. Я напел ей какую-то песенку и услышал ее вздох. Я спикировал на нее, все еще прочно сжимая ее запястья, быстро и энергично поцеловал по очереди соски и отстранился, а потом принялся игриво похлопывать по груди, пока кожа не порозовела.

Щечки ее раскраснелись, она не переставала хмурить свои золотые брови, отчего на гладком белом лбу появились едва заметные морщинки.

Ее глаза походили на два опала, и хотя она медленно, почти сонно моргала, она даже не вздрогнула и не сделала попытки отодвинуться.

Я закончил воевать с ее тонкими одеждами. Разорвав завязки юбки, я позволил ей упасть на пол, и наконец мне открылась восхитительная, прелестная женская нагота. Я понятия не имел, какие преграды можно встретить под юбками порядочной женщины. Здесь я не встретил ни одной — глазам моим предстало лишь маленькое гнездо золотистых волос под слегка округлым животиком, а еще ниже влажно поблескивали очаровательные бедра.

Я сразу понял, что она не намерена мне отказывать. Ее вряд ли можно было назвать беспомощной. А сверкающая влага на внутренней стороне бедер едва не свела меня с ума. Я устремился в нее, изумляясь миниатюрности ее сложения и чувствуя, что

она слегка напряжена,— видимо, сказывалось отсутствие опыта, а быть может, я все же непроизвольно причинил ей боль.

Я действовал энергично и напористо, приходя в восторг от ее румянца и ощущения под собой охваченного страстью прекрасного женского тела. Золотые локоны Бьянки выбились из прически, украшенной жемчугом и лентами, она вся взмокла, порозовела и блестела, как внутренняя поверхность морской раковины. Наконец я услышал ее судорожный вздох и, не в силах больше сдерживаться, излился в ее тугое лоно. Мы словно превратились в одно целое и какое-то время еще покачивались в едином ритме. Тело ее было красным как кровь. Прошло еще несколько минут, прежде чем она тряхнула головой и расслабилась.

Я перекатился через нее и закрыл лицо руками, как будто ожидая пощечины.

Я услышал ее смешок, и неожиданно она действительно довольно-таки сильно ударила меня, однако удар пришелся по рукам. Ерунда. Я сделал вид, что плачу от стыда.

— Посмотри, во что ты превратил мое прекрасное платье, гнусный маленький сатир, отвратительный конкистадор! Ах ты, подлый, скороспелый ребенок!

Я почувствовал, что она встала с кровати, и услышал, как она одевается, тихо напевая что-то себе под нос.

— А что подумает об этом твой господин, Амадео? — спросила она.

Я убрал руки от лица и осмотрелся, гадая, откуда исходит голос. Она одевалась за раскрашенным деревянным экраном — парижский сувенир, вспомнил я, подаренный одним из ее любимых французских поэтов. Вскоре она появилась, одетая так же блистательно, как и прежде, в бледно-зеленое, цвета свежей весенней травы, платье, украшенном полевыми цветами — крошечными желтыми и розовыми бутонами, тщательно вышитыми плотной нитью на новом корсаже и длинных юбках из тафты. Она походила на райский сад.

— Ну, отвечай! Что скажет твой великий господин, когда обнаружит, что его маленький любовник — настоящий лесной бог?

— Любовник? — поразился я.

Она была очень ласковой. Она села и начала расчесывать спутанные пряди. Бьянка не пользовалась косметикой, и наши игры не запятнали ее красоту. Волосы окутали ее великолепным золотым капюшоном, обрамляя прекрасное лицо с гладким высоким лбом.

— Тебя создал Боттичелли,— прошептал я. Мне уже не раз доводилось говорить ей об этом, ибо она действительно напоминала красавиц с картин прославленного флорентийца. Со мной соглашались многие и часто дарили ей миниатюрные копии творений этого великого художника.

Я погрузился в размышления — о Венеции, о мире, в котором живу, и, конечно, о ней, куртизанке, с видом святой принимающей эти чистые, но сладострастные картины.

До моего внутреннего слуха долетело эхо слов, услышанных давным-давно, когда я стоял на коленях перед лицом древней блистательной красоты, считая, что достиг вершины, и мне сказали, что я должен взяться за кисть и рисовать лишь то, что «отражает Божий мир».

Я не испытывал никакого смятения чувств — только невероятную смесь настроений, наблюдая, как она заново укладывает волосы, вплетая в них тонкие нити с жемчугами и бледно-зеленые ленты, расшитые теми же цветами, что и на платье. Полуприкрытая корсажем грудь покраснела. Мне захотелось сорвать его еще раз.

— Красавица Бьянка, с чего ты взяла, что я — его любовник?

— Это все знают,— прошептала она.— Ты его фаворит. Думаешь, он на тебя рассердится?

— Если бы,— вздохнул я, садясь.— Ты не знаешь моего Мастера. Он ни за что не поднимет на меня руку. Он ни за что даже голоса не повысит. Он сам велел мне познать все, что должен знать мужчина.

Она улыбнулась и кивнула.

— Поэтому ты пришел и спрятался под кроватью.

— Мне было грустно.

— Не сомневаюсь,— сказала она.— Ну, теперь спи, а когда я вернусь, если ты еще не уйдешь, я тебя согрею. Стоит ли тебе говорить, мой непокорный мальчик, чтобы ты никогда не смел и словом обмолвиться о том, что здесь произошло? Неужели ты

еще такой маленький, что я должна объяснять тебе подобные вещи? — Она наклонилась, чтобы поцеловать меня.

— Нет, моя жемчужина, моя красавица, не нужно мне объяснять. Я даже *ему* не скажу.

Она встала и принялась собирать рассыпанный жемчуг и смятые ленты — следы моего непрошеного вторжения. Потом разгладила постель. Она выглядела прелестно, словно лебедушка, под стать позолоченным лебедям ее похожей на ладью кровати.

— Твой господин все узнает,— сказала она.— Он великий волшебник.

— Ты его боишься? Я имею в виду — вообще, Бьянка, не из-за меня.

— Нет,— сказала она.— С чего бы мне его бояться? Все знают, что лучше его не злить, не оскорблять, не нарушать его уединения и не задавать вопросов. Но дело вовсе не в страхе. Что ты плачешь, Амадео, что случилось?

— Я не знаю, Бьянка.

— Так я тебе скажу,— сказала она.— Как и все великие люди, он сумел заменить собой весь мир. Такой человек становится для тебя всем, а его мудрый голос превращается в закон, которому подчиняется все на свете. А теперь ты оказался за пределами его мира и жаждешь вернуться. Все, что лежит вне поля его зрения, не имеет ценности, поскольку он этого не видит и не может оценить. Поэтому у тебя нет выбора: ты можешь только покинуть пустыню, не освещенную его сиянием, и вернуться к источнику. Ты должен пойти домой.

Она вышла и закрыла дверь. Я отказался оставить ее дом и заснул.

На следующее утро мы вместе позавтракали, и я провел в ее обществе весь день. Наша близость позволила мне взглянуть на нее совершенно другими глазами. Сколько бы она ни говорила о моем господине, я пока что хотел видеть только ее, хотел сидеть в ее покоях, где ею был пропитан весь воздух, где повсюду стояли ее личные, особенные вещи.

Я никогда не забуду Бьянку. Никогда.

Я рассказал ей — в той мере, в какой можно рассказать куртизанке,— о борделях, в которых побывал. Может быть, я и помню о них во всех подробностях только потому, что поведал о

своих похождениях Бьянке. Конечно, я выбирал слова деликатнее. Но я ей рассказал. В том числе и о желании Мастера, чтобы я всему научился, и о том, что он сам отвел меня в эти потрясающие академии.

— Отлично. Но тебе нельзя здесь оставаться, Амадео. Он отправил тебя в места, где ты мог наслаждаться большим обществом. Едва ли ему понравится, что ты проводишь время в компании одного человека.

Я не желал уходить. Но с наступлением вечера, когда ее дом заполонили английские и французские поэты, когда заиграла музыка и начались танцы, мне не захотелось делить ее с миром поклонников.

Я некоторое время наблюдал за Бьянкой, смутно сознавая, что обладал ею в ее личных покоях и что никому из этих поклонников не суждено пережить что-либо подобное. Однако утешения мне это сознание не принесло.

Мне нужно было получить что-нибудь от Мастера, хоть какое-то доказательство его страсти — нечто убедительное, способное стереть из памяти то, что произошло. Внезапно я отчетливо это понял и, раздираемый желанием, отправился в таверну, где постарался напиться, дабы осмелеть и вести себя дерзко и скверно. Только после этого я поплелся домой.

Я настроился на наглый, вызывающий и очень независимый лад, на том основании, что так долго пробыл вдали от моего господина и всех его тайн.

Когда я вернулся, он неистово рисовал, стоя на самом верху лесов, и я решил, что он выписывает лица греческих философов, творя, как обычно, чудеса, благодаря которым из-под кисти появлялись живые лики, как будто он снимал с них слой краски, а не наносил ее.

Он было одет в длинную, до пят, перепачканную серую тунику. Когда я вошел, он даже не обернулся. Такое впечатление, что все жаровни, которые нашлись в доме, были собраны в этой комнате, чтобы осветить ее так, как он хотел.

Мальчиков пугала скорость, с которой он покрывал холст красками.

Пока я заплетающимся шагом пробирался в мастерскую, до меня дошло, что он работает не над своей греческой академией.

Он рисовал меня. На этой картине я стоял на коленях — современный юноша с длинными локонами, одетый элегантно и неброско, так, как это было принято в высшем обществе, с невинным видом сложивший руки для молитвы. Вокруг меня собрались ангелы, как всегда, с добрыми и прекрасными лицами, но... с черными крыльями.

Черные крылья... Чем дольше я смотрел на полотно, тем более отвратительными виделись мне эти огромные крылья с черными перьями... Отвратительными! А он уже практически закончил картину. Мальчик с каштановыми волосами без вызова смотрел на небеса, как живой, а ангелы казались алчными и в то же время печальными.

Однако ничто не производило более чудовищного впечатления, чем вид рисующего Мастера,— вид его стремительно двигавшейся руки и кисти, хлещущей по холсту, оживлявшей небо, облака, сломанный фронтон, крыло ангела, солнечный свет...

Мальчики прижимались друг к другу, уверенные, что перед ними либо сумасшедший, либо колдун. Одно из двух. Зачем же он так бездумно открылся тем, чей разум до сих пор оставался непотревоженным?

Зачем он выставляет напоказ нашу тайну, демонстрируя всем, что он не более человек, чем нарисованные им крылатые существа? Как же он, властелин, позволил себе до такой степени утратить душевное равновесие?

Неожиданно он гневно швырнул горшок с краской в дальний угол комнаты, обезобразив стену темно-зеленой кляксой. Он выругался и выкрикнул что-то на совершенно незнакомом нам языке.

Он сбросил вниз остальные горшки, и с деревянных лесов полились густые сверкающие потоки краски. Кисти полетели во все стороны, как стрелы.

— Убирайтесь отсюда! Идите спать! Я не желаю вас видеть, невинные ангелочки! Убирайтесь! Уходите!

Ученики разбежались. Рикардо собрал вокруг себя самых маленьких. Все поспешно вышли.

Он сел высоко на лесах, свесив ноги, и смотрел на меня сверху вниз, словно не узнавая.

— Спускайся, Мастер,— сказал я.

Его растрепанные волосы были кое-где запачканы краской. Его не удивило мое присутствие, он не вздрогнул при звуке моего голоса. Он знал, что я пришел. Он всегда знал такие вещи. Он слышал, что говорят в других комнатах. Он знал, о чем думают окружающие. Из него ключом била магия, а когда я пил из этого ключа, у меня голова шла кругом.

— Давай я расчешу тебе волосы,— сказал я, в полной мере сознавая всю дерзость и оскорбительность своего поведения.

Туника на нем была грязная, вся в пятнах, он вытирал о нее кисть.

Одна из сандалий соскользнула с его ноги и ударилась о мраморный пол. Я подобрал ее.

— Мастер, спускайся. Если тебя обеспокоили какие-то мои слова, я их больше не повторю.

Он не отвечал.

Внезапно меня охватила неистовая злость. Ведь это по его приказу мне пришлось расстаться с ним на много дней и страдать от одиночества, а теперь, когда я наконец вернулся, он смотрит на меня безумными, недоверчивыми глазами. Я не намерен мириться с тем, что он отводит взгляд, игнорируя меня. Он должен признаться, что я — причина его ярости. Он просто обязан сказать об этом!

Мне вдруг захотелось плакать.

Я не в силах был видеть его измученное лицо, не мог и в мыслях допустить, что ему тоже бывает больно, как мне, как другим мальчикам. Все во мне протестовало против такого предположения.

— В своем эгоизме ты всех перепугал, мой властелин и хозяин! — объявил я.

Не удостоив меня в ответ даже взглядом, он вдруг исчез, подняв вокруг себя вихрь, и я услышал, как в пустых комнатах эхо разносит его быстрые шаги.

Я знал о его способности передвигаться со скоростью, недоступной для обыкновенного человека. Я помчался за ним, но дверь спальни захлопнулась прямо перед моим носом, и прежде, чем я успел ухватиться за ручку, засов скользнул на свое место.

— Мастер, впусти меня! — крикнул я.— Я ушел только потому, что ты так велел! — Я метался перед запертой дверью, по-

нимая, что взломать ее невозможно. Я стучал по ней кулаками и пинал ее ногами.— Мастер, ты же сам послал меня в бордели! Это ты подверг меня проклятым испытаниям!

Так продолжалось довольно долго. В конце концов я сел на пол под дверью, прислонился к ней спиной и громко, с подвываниями заплакал. Он ждал, пока я прекращу весь этот шум.

— Иди спать, Амадео,— наконец послышался из-за двери его голос.— Мой гнев не имеет к тебе отношения.

Не может быть! Вранье! Я пришел в бешенство, я чувствовал себя оскорбленным, обиженным, я замерз. Во всем доме было чертовски холодно.

— Так пусть ко мне имеет отношение ваше спокойствие, сударь! — крикнул я.— Откройте же эту чертову дверь!

— Иди спать к остальным,— спокойно сказал он.— Твое место среди них, Амадео. Ты их любишь. Они такие же, как ты. Не ищи общества чудовищ.

— Ах, так вот кто вы такой! — воскликнул я презрительно и грубо.— Вы, способный рисовать, как Беллини или Мантенья, способный читать любые книги и говорить на любом языке, способный на безграничную любовь и терпение ей под стать,— чудовище? Я правильно понял? Значит, это чудовище дало нам крышу над головой и ежедневно кормит нас пищей, приготовленной на кухне богов? Да уж, поистине чудовище!

Он не ответил.

Это взбесило меня еще больше. Я спустился на нижний этаж и снял со стены большой боевой топор. Раньше я едва замечал выставленное в доме многочисленное оружие. Что ж, пришло и его время, подумал я. Хватит с меня холода. Я больше не могу. Не могу!

Я поднялся наверх и рубанул дверь боевым топором. Конечно, топор прошел сквозь хрупкое дерево, сокрушив расписную панель, расколов старинный лак и красивые желтые и красные розы. Я вытащил топор и снова ударил в дверь.

На этот раз засов сломался. Я толкнул ногой разбитую раму, и она упала на пол.

Он сидел в большом дубовом кресле и смотрел на меня в полном изумлении, сжимая руками львиные головы на подлокотниках. За его спиной возвышалась массивная кровать с красным, отороченным золотом балдахином.

— Да как ты смеешь! — сказал он.

В мгновение ока он оказался прямо передо мной, забрал у меня топор и с легкостью отшвырнул его, но так, что тот врезался в противоположную каменную стену. Потом он подхватил меня и швырнул на постель. Кровать затряслась, вместе с ней — балдахин и драпировки. Ни один человек не смог бы отбросить меня на такое расстояние. Но для него это не составило труда. Махая ногами и руками, я приземлился на подушки, отчего содрогнулась не только кровать, но все сооружение в целом, вместе с балдахином и занавесями.

— Презренное чудовище! — бросил я, стараясь принять удобное положение. Потом повернулся на левый бок, согнул ногу в колене и окинул его злым взглядом.

Он стоял ко мне спиной, намереваясь закрыть внутренние двери комнаты, которые раньше были распахнуты и поэтому не сломались. Вдруг он остановился и с игривым выражением на лице повернулся ко мне.

— Ах, какой у нас подлый нрав для такой ангельской внешности,— ровно сказал он.

— Если я ангел,— ответил я, отползая от края кровати,— рисуй меня с черными крыльями.

— Как ты смеешь ломиться в мою дверь?! — Он скрестил руки на груди.— Неужели я должен объяснять, почему я не потерплю такого ни от тебя, ни от кого-либо другого?

Он стоял и взирал на меня, приподняв брови.

— Ты меня мучаешь,— сказал я.

— Да что ты? Как именно? И с каких пор?

Мне хотелось заорать. Мне хотелось крикнуть: «Я люблю только тебя!».

Вместо этого я сказал:

— Я тебя ненавижу.

Он не смог удержаться от смеха. Он опустил голову и подпер пальцами подбородок, не сводя с меня глаз.

Потом он вытянул руку и щелкнул пальцами. Я услышал, как в нижних комнатах что-то зашуршало. Я выпрямился и сел, окаменев от изумления.

Я увидел, как по полу в дверь проскользнул длинный учительский хлыст, словно его двигало ветром; потом он изогнулся, перевернулся, поднялся и упал в ожидающую руку.

Внутренние двери захлопнулись за его спиной, засов влетел на место, раздалось звяканье металла. Я отодвинулся подальше.

— Приятно будет тебя выпороть,— сказал он, мило улыбаясь, с почти невинным взглядом.— Можешь записать это в очередные человеческие впечатления, как, например, выделывание курбетов со своим английским лордом.

— Давай. Я тебя ненавижу,— сказал я.— Я — мужчина, а ты это отрицаешь.

Он казался высокомерным, спокойным, но отнюдь не расположенным к шуткам.

Подойдя к кровати, он схватил меня за голову и швырнул лицом в подушки.

— Демон! — воскликнул я.

— Господин,— невозмутимо поправил меня он.

Я почувствовал, как его колено уперлось мне в спину, а следом за этим на мои бедра со свистом опустился хлыст. Конечно, из одежды на мне были только диктуемые модой тонкие чулки, поэтому с тем же успехом я мог быть и голым.

Я вскрикнул от боли, но сразу закрыл рот. Когда за первым ударом последовало еще несколько, я изо всех сил постарался молча снести побои, однако услышал собственный неосторожно вырвавшийся стон. Этот стон возмутил меня, точнее, даже привел в бешенство.

Он вновь и вновь опускал хлыст — на мои бедра, на икры... В неописуемой ярости я пытался приподняться, отталкиваясь ладонями от покрывала,— тщетно. Я не мог сдвинуться с места. Меня сковывало его колено, а он самозабвенно хлестал меня, не останавливаясь ни на секунду.

В конце концов моя бунтарская натура подсказала выход: я решил поиграть в одну игру. Будь я проклят, если стану просто лежать и плакать,— а к моим глазам уже подступали слезы. Я крепко зажмурился, сжал зубы и сказал себе, что каждый удар окрашен в божественный красный цвет, что мне это нравится и что горячая, сокрушительная боль — тоже красная, а тепло, разливающееся по моим опухающим ногам,— золотистое и ласковое.

— Какая прелесть,— сказал я.

— Ты доиграешься, мальчишка! — воскликнул он и принялся хлестать меня еще сильнее и быстрее. Мои прекрасные видения оставили меня. Мне было больно, чертовски больно.

— Я тебе не мальчишка! — выкрикнул я.

Я почувствовал, что у меня повлажнела нога,— по ней текла кровь.

— Господин, ты что, собрался меня изуродовать?

— Что может быть хуже для падшего святого, чем превратиться в мерзкого дьявола?

Новые удары. Я понял, что тело мое кровоточит уже в нескольких местах. Теперь я точно буду весь в шрамах. Я не смогу ходить.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь! Прекрати!

К моему изумлению, он остановился. Я уткнулся лицом в руку и заплакал. Я долго всхлипывал, а ноги так горели, как будто побои все еще продолжались. Мне казалось, что он опять наносит мне удар за ударом, но это было не так. Я все надеялся, что боль вот-вот утихнет, перерастет в теплое, трепетное и приятное ощущение, как в начале, в первые два раза. Это будет терпимо, но то, что я испытывал в тот момент, было ужасно. Как же мне противно!

Вдруг я почувствовал, что он наклонился надо мной. Его волосы приятно защекотали мне ноги. Потом он ухватил пальцами порванные чулки и дернул, моментально сорвав их с моих ног.

Боль завибрировала, усилилась, а затем мне немного полегчало. Шрамы обдувал прохладный ветер. Когда к ним прикоснулись его пальцы, я испытал такое чудовищное удовольствие, что не удержался и застонал.

— Ты еще будешь ломиться ко мне в дверь?

— Никогда,— прошептал я.

— Ты еще будешь мне противоречить?

— Никогда, никогда, ни единым словом!

— Что еще?

— Я тебя люблю.

— Не сомневаюсь.

— Но это правда! — задыхаясь, сказал я.

Его пальцы гладили мою раненую плоть, доставляя мне невыносимое наслаждение. Я не осмеливался поднять голову, а вместо этого еще крепче прижался щекой к шершавой вышивке на покрывале, к огромному изображению льва, вдохнул побольше воздуха и дал волю слезам. Мне было спокойно — наслаждение лишило меня всякой власти над собственным телом.

Я закрыл глаза и почувствовал на своей ноге его губы. Он поцеловал один из шрамов. Я решил, что вот-вот умру. И попаду в рай, в более возвышенный и восхитительный, чем венецианский. В паху сама собой ожила благодарная, безрассудная сила...

На шрам потекла горячая кровь. По нему резким движением скользнул его язык, лизнул, надавил, и перед моими глазами запылало пламя — ослепительный огонь на мифическом горизонте во мраке моего слепого рассудка.

Он перешел к следующему шраму: на него тоже закапала кровь, последовало очередное прикосновение чуть шершавого языка — и гнусной боли как не бывало, осталось только пульсирующее наслаждение. А когда он перешел к новой ране, я подумал, что больше не выдержу...

Он быстро двигался от шрама к шраму, покрывая их своими волшебными поцелуями, сопровождаемыми прикосновением языка, а я дрожал всем телом и стонал.

— Ну и наказание! — внезапно выдохнул я.

Ужасные слова! Я мгновенно раскаялся.

Поздно! Я почувствовал жестокий шлепок пониже спины.

— Я не то хотел сказать,— пытался объяснить я.— То есть я не хотел... показаться неблагодарным... В смысле... прости меня за эти слова!

Но он ударил меня снова, так же яростно, как и в первый раз.

— Господин, ну пожалей же меня. Я совсем запутался! — закричал я.

Он опустил руку на еще горевшее от удара место, и я решил, что вот теперь он точно изобьет меня до потери сознания.

Но его пальцы лишь ласково сжали мою кожу, не разорванную, а просто слегка горячую, как после первых ударов хлыста.

Я снова почувствовал прикосновение его губ к моей левой икре... кровь... язык... По всему телу разлились приятные ощущения, и я беспомощно ловил ртом воздух.

— Мой господин, Мастер, я люблю тебя.

— Хорошо-хорошо, но в этом ничего необычного нет,— прошептал он, не переставая целовать мои ноги. Он слизывал кровь. Я содрогался под его рукой, лежащей у меня на ягодицах.— Вопрос в том, Амадео, почему *я* тебя люблю? Почему? Зачем мне понадобилось идти в тот вонючий бордель посмотреть

на тебя? Я по природе сильный... какой бы ни была моя природа...

Он жадно поцеловал большой шрам на моем бедре. Я чувствовал, как он высасывает из него кровь, слизывает ее языком, а потом в рану потекла его кровь, сотрясая все мое тело. Я ничего не видел, хотя, как мне казалось, глаза мои оставались открытыми. Я хотел удостовериться, что это действительно так, но ничего не мог разглядеть — только золотистый туман.

— Я люблю тебя, очень люблю,— сказал он.— Но почему? Да, ты сообразительный, да, ты очень красивый, а внутри тебя скрыты опаленные останки святого!

— Господин, я не понимаю, о чем ты говоришь. Я никогда не был святым! Никогда! Я не считаю себя святым! Я жалкая, непочтительная, неблагодарная тварь. О, я тебя обожаю. Как же это восхитительно — беспомощно сдаться на твою милость.

— Прекрати издеваться.

— Да у меня и в мыслях не было издеваться! Я стремлюсь высказаться, поведать правду... Я хочу быть рабом правды, рабом... Я хочу быть твоим рабом.

— Нет, ты, похоже, действительно не издеваешься. Ты говоришь то, что думаешь. Однако сам не понимаешь, насколько это абсурдно.

Он закончил свое продвижение. Мои ноги напрочь утратили прежнюю форму, ту, которая существовала в моем затуманенном сознании. Я мог только лежать и содрогаться от его поцелуев. Он опустил голову на мои бедра, на все еще не остывшее после шлепка рукой место, и вдруг я почувствовал, что его пальцы коснулись самых интимных моих органов.

Мой член твердел в его руке, твердел от вливания его жгучей крови, но еще больше — от присутствия во мне молодого мужского начала, так часто смешивавшего по собственной воле наслаждение с болью.

Он становился все тверже и тверже, я метался под тяжестью головы и плеч Мастера, пока в конце концов в его скользкие пальцы безудержными, безостановочными толчками не хлынул бурный поток.

Я приподнялся на локте и оглянулся на него через плечо. Он выпрямился и сидел, уставившись на прилипшую к пальцам жемчужно-белую сперму.

— Господи Боже, ты этого добивался? — спросил я.— Увидеть в своих руках эту вязкую белую массу?

Он посмотрел на меня с несчастным видом. С ужасно несчастным.

— Разве это не означает,— спросил я,— что время пришло?

В его глазах читалась такая мука, что я не отважился приставать к нему с дальнейшими расспросами.

Сонный, ослепленный, я почувствовал, что он перевернул меня на спину, сорвал тунику и куртку, а затем чуть приподнял и... Далее последовало нападение, укус в шею... Сердце сжалось от резкой боли, но не успел я испугаться, как она ослабла. Я опустился рядом с ним на ароматную постель и заснул, прижавшись к его груди, согревшись под одеялами, которыми он укрыл нас обоих.

Когда я открыл глаза, стояла глубокая ночь. Благодаря ему я научился безошибочно чувствовать приближение утра. Но до утра было еще очень далеко.

Поискав глазами Мастера, я увидел, что он стоит в изножье кровати, одетый в свой самый изысканный красный бархат. На нем были куртка с разрезами на рукавах, плотная туника с высоким воротником и красный бархатный плащ, отороченный горностаем.

Тщательно расчесанные волосы, едва заметно натертые маслами, мерцали. Он откинул их назад, открыв чистую, прямую линию лба, а на плечах закрутил в искусственные локоны. Выглядел он, однако, очень печальным.

— Господин, что случилось?

— Мне нужно уехать на несколько ночей. Нет, не потому что я на тебя сержусь, Амадео. Одно из моих обычных путешествий. Я и так уже давно опаздываю.

— Нет, Мастер, пожалуйста, только не сейчас. Прости меня, умоляю тебя, только не сейчас! Что мне...

— Дитя. Я ухожу, чтобы увидеться с Теми, Кого Следует Оберегать. У меня нет выбора.

Сначала я ничего не говорил. Я старался разгадать подтекст его слов. Его голос упал, и слова эти он произнес нерешительно.

— А кто они, Мастер? — спросил я.

— Может быть, когда-нибудь я возьму тебя с собой. Я испрошу позволения...— Он не закончил.

— Зачем, Мастер? Когда тебе требовалось чье-то позволение?

Я хотел сказать это простодушно и искренне, но слова прозвучали чересчур дерзко.

— Ничего страшного, Амадео,— сказал он.— Я периодически испрашиваю позволения у своих Старейших, только и всего. У кого еще мне спрашивать?

Он казался усталым. Он сел рядом со мной, наклонился и поцеловал в губы.

— Старейшие, сударь? То есть Те, Кого Следует Оберегать,— такие же создания, как и ты?

— Будь добр к Рикардо и к остальным. Они тебя боготворят,— сказал он.— Они проплакали все время, пока тебя не было. Они даже не поверили, когда я сообщил им, что ты возвращаешься домой. Потом Рикардо увидел тебя с этим английским лордом и пришел в ужас, что я разорву тебя в клочья, и в то же время боялся, что англичанин тебя убьет. У него неплохая репутация, у твоего английского лорда, он стучит ножом по столу в каждой таверне. Тебе обязательно связываться с заурядными убийцами? Когда дело доходит до любителей лишать людей жизни, тебе нет равных. Когда ты пошел к Бьянке, они не посмели рассказать мне об этом и воображали всякие красочные картинки, чтобы я не прочел их мысли. Как же они понятливы и сообразительны!

— Они любят тебя, мой повелитель,— сказал я.— Слава Богу, ты простил меня за все те места, где я побывал. Я сделаю все, что ты пожелаешь.

— Тогда спокойной ночи.— Он поднялся, собираясь уходить.

— А на сколько ночей ты покидаешь меня, Мастер?

— Самое большее — на три,— бросил он через плечо. Высокая, величественная фигура в плаще направилась к двери.

— Мастер.

— Да?

— Я буду очень хорошо себя вести, как святой,— сказал я.— Но если не получится, ты отхлещешь меня еще раз?

Как только я увидел на его лице гнев, я немедленно раскаялся в сказанном. Зачем я все это говорю?

— Только не уверяй меня, что имел в виду не это! — сказал он, прочитав мои мысли и услышав мои слова, прежде чем я успел их произнести.

— Нет. Я просто ненавижу, когда ты уходишь. Я подумал — может быть, если я поддразню тебя, ты не уйдешь.

— Что ж, я уйду. И лучше не дразни меня. Это будет самым благоразумным с твоей стороны.

Уже в дверях он передумал и вернулся к кровати. Я ожидал самого худшего. Он ударит меня и уйдет, не поцеловав шрам.

Но все произошло иначе.

— Амадео, пока меня не будет, *подумай об этом*,— сказал он.

Я смотрел на него протрезвевшими глазами. Все его поведение вынуждало меня хорошенько поразмыслить, прежде чем проронить хоть слово.

— Обо всем, сударь? — спросил я.

— Да,— сказал он. Потом он подошел поцеловать меня.— Ты хочешь остаться таким навсегда? — спросил он.— Вот таким, какой ты сейчас,— таким молодым мужчиной?

— Да, Мастер! Навсегда, с тобой! — Мне хотелось сказать ему, что я умею делать все, что умеют мужчины, но это прозвучит ужасно глупо, к тому же ему это может показаться неправдой.

Он любовно положил руку на мою голову, отводя волосы назад.

— Два года я следил, как ты взрослеешь,— сказал он.— Ты достиг своего полного роста, но ты маленький, у тебя детское лицо, и, несмотря на отменное здоровье, ты хрупкого сложения, еще не тот крепкий мужчина, в которого, несомненно, должен превратиться с годами.

Я был слишком зачарован, чтобы перебивать. Даже когда он сделал паузу, я продолжал молчать.

Он вздохнул, глядя в сторону, как будто не мог подобрать слова.

— Этот английский лорд угрожал тебе кинжалом, но ты не испугался. Помнишь? Еще двух дней не прошло.

— Да, сударь, это было глупо.

— Ты запросто мог умереть,— сказал он, приподнимая бровь.— Запросто.

— Сударь, пожалуйста, раскройте мне эти тайны,— сказал я.— Расскажите, как вы получили свою силу. Доверьте мне свой секрет. Господи, сделайте так, чтобы я остался с вами навсегда. Меня не волнуют мои собственные суждения по этому поводу. Я подчинюсь вашим.

— Ну конечно подчинишься, если я выполню твою просьбу.

— Но ведь это тоже в своем роде подчинение, Мастер,— отдаться тебе, твоей воле, твоей силе. Да, я хочу получить ее и быть таким, как ты. Значит, господин, ты это мне обещаешь, ты намекаешь на то, что можешь сделать меня таким, как ты? Можешь наполнить меня своей кровью, которая делает из меня раба, и завершить этот процесс? Иногда мне кажется, я знаю, что ты можешь это сделать, но я не уверен... А что, если я знаю это только потому, что это знаешь ты? А что, если ты можешь сделать это со мной от одиночества.

— О! — Мастер закрыл лицо руками, как будто я вновь его взбесил.

Я совершенно растерялся.

— Мастер, если я оскорбил тебя, ударь меня, избей, делай со мной что хочешь, только не отворачивайся. Не закрывай глаза, смотри на меня, Мастер, потому что я жить не могу без твоего взгляда. Объясни мне все, Мастер, отбрось то, что нас разделяет; если дело только в моем невежестве, то положи ему конец.

— Да, положу, положу,— сказал он.— Ты такой умный, Амадео, и при этом так ловко вводишь в заблуждение. Да, из тебя вышел бы хороший раб Божий — ведь прежде тебя учили, что именно таким надлежит быть святому.

— Сударь, вы меня неправильно воспринимаете. Никакой я не святой! Я раб, да, потому что, как я полагаю, это форма мудрости, а она нужна мне, поскольку вы цените мудрость.

— Я хочу сказать, что на первый взгляд ты кажешься простодушным, но из твоей простоты рождается глубокое понимание. Я одинок. О да, да, я одинок, одинок — и от одиночества стремлюсь по крайней мере разделить с кем-то свои беды. Но кто осмелится обременять моими бедами такое юное создание, как ты? Амадео, как ты думаешь, сколько мне лет? Угадай мой возраст — только ответь искренне, со свойственной тебе откровенностью.

— У вас его нет, сударь. Вы не едите, не пьете, не меняетесь со временем. Вам не нужна вода, чтобы омывать свое тело. У вас гладкая кожа, она не поддается никаким природным явлениям. Мастер, мы все это знаем. Вы — чистое, возвышенное и цельное творение.

Он покачал головой. Я все больше расстраивал его, хотя стремился к противоположному эффекту.

— Я уже это сделал,— прошептал он.

— Что, мой повелитель, что ты сделал?

— Связал тебя с собой, Амадео, пока...— Он замолчал и нахмурился, но у него было такое доброе и удивленное лицо, что мне стало больно.— Нет, это эгоистичный самообман. Я мог бы дать тебе кучу золота и переместить в какой-нибудь отдаленный город, где...

— Мастер, лучше убей меня. Убей меня — или же удостоверься, что твой город лежит вне пределов исследованного мира, потому что в противном случае я непременно вернусь назад! Я потрачу последний дукат из твоей кучи золота, чтобы воротиться сюда и постучать в твою дверь.

Он дрожал и казался совсем несчастным. Столь похожим на человека я его еще не видел. Он отвел глаза и словно попытался заглянуть поглубже в разделявшую нас бездонную пропасть.

Я прижался к его плечу и поцеловал его. Теперь, после моей грубой выходки и всего, что произошло между нами несколько часов назад, наша связь стала еще более глубокой, зрелой и тесной.

— Нет, у меня нет времени на такие утешения,— сказал он.— Мне пора идти. Этого требует долг. Меня призывают к себе древние существа, те, бремя заботы о которых я так долго несу на себе. Я так устал!

— Не уходи сегодня, Мастер, возьми меня туда, где ты скрываешься от солнца. Ведь ты от солнца прячешься, не так ли, Мастер,— ты, кто рисует голубые небеса и сияние Феба с бóльшим блеском, чем те, кто их видит, ты сам никогда их не видишь.

— Прекрати! — взмолился он, сжимая пальцами мою руку.— Прекрати свои поцелуи, прекрати строить догадки и делай то, что я говорю.

Он глубоко вздохнул и впервые за всю нашу совместную жизнь я увидел, как он достал носовой платок и стер влагу, выступившую на губах и на лбу. Ткань слегка покраснела. Он посмотрел на нее.

— Перед уходом я хочу тебе кое-что показать,— сказал он.— Одевайся, быстро. Давай я тебе помогу.

Меньше чем за несколько минут я полностью оделся и был готов выйти в холодную зимнюю ночь. Он закутал меня в черный плащ, подал отделанные горностаем перчатки и надел мне на голову черную бархатную шляпу. Из обуви он выбрал черные кожаные сапоги, которые прежде не хотел на мне видеть. Он считал, что у мальчиков красивые лодыжки, и сапоги не любил, хотя не возражал, чтобы мы носили их днем, в его отсутствие.

Он так расстроился, так мучился, и все эти чувства так явственно отражались на его лице, несмотря на его выбеленную чистоту, что я не смог удержаться от поцелуя — просто чтобы раскрыть его губы, просто чтобы почувствовать, как они ответят мне.

Я закрыл глаза. Его рука накрыла мое лицо и веки.

Вокруг раздался громкий шум, как будто захлопали деревянные створки, как будто по сторонам разлетелись обломки проломленной мною двери, как будто драпировки зашелестели на ветру.

Меня окружил холодный уличный воздух. Он поставил меня на землю, я ничего не видел, но понял, что стою на набережной. Я слышал рядом шум плещущейся в канале воды, словно зимний ветер растревожил ее и пригнал в город волнующееся море. А еще я слышал, как о причал монотонно бьется деревянная лодка.

Он отпустил пальцы, и я открыл глаза.

Мы находились далеко от палаццо. Меня смутило, что мы с легкостью и быстротой преодолели такое расстояние, но я не особенно удивлялся. Он умел творить чудеса и теперь продемонстрировал мне это на деле. Мы стояли в темных переулках. На маленькой пристани у узкого канала. Я никогда не осмеливался выбираться в этот гнусный район, где жили рабочие.

Я видел дома только с черного хода, обитые железом окна, нищету и кромешную тьму, я ощущал отвратительную вонь, так как на поверхности глубокого, волнующегося под порывами зимнего ветра канала плавали отходы.

Он повернулся и потащил меня за собой, в сторону от воды. На секунду я словно ослеп, а потом перед глазами сверкнула его белая рука. Я увидел, как он выставил один палец, и заметил, что в прогнившей гондоле, вытащенной из воды и поставленной в рабочем квартале, спит человек. Человек пошевелился и отбросил свое одеяло. Он встрепенулся, заворчал и выругался, так как мы нарушили его сон, и я рассмотрел его неуклюжую фигуру.

Я потянулся за кинжалом. Я увидел, как сверкнул его клинок. Белая рука Мастера, сияющая, как кварц, едва коснулась его пояса, а оружие отлетело от него и покатилось по камням. Одурманенный и взбешенный, человек неуклюже бросился на моего господина, чтобы сбить его с ног.

Мастер легко перехватил его — как большой сверток из шерсти, от которого несло пороком. Я увидел лицо господина. Его рот приоткрылся, обнажив два крошечных, острых, как кинжалы, зуба, и он вонзил их в горло оборванца. Я услышал, как человек вскрикнул, но лишь на мгновение, а потом его вонючее тело дернулось и застыло.

Изумленно и завороженно следил я, как мой Мастер опускает свои гладкие веки — во мраке его золотые ресницы отливали серебром,— и услышал тихий влажный звук, едва различимый, но подтверждающий самые чудовищные предположения: это лилась человеческая кровь. Мой Мастер еще крепче прижался к жертве, его сильные белые пальцы выжимали остатки жизни из умирающего тела, и вдруг он издал долгий сладостный вздох наслаждения. Он пил. Сомнений быть не могло — он пил... Он даже слегка нагнул голову, словно хотел побыстрее выжать последние капли, и от этого тело человека, на вид хрупкое и еще гибкое, содрогнулось в последних конвульсиях, а затем затихло, теперь уже навсегда.

Мастер выпрямился и провел языком по губам. Не видно было ни капли крови. Но саму кровь я видел. Я видел ее в теле своего господина, чье лицо теперь приобрело красноватый оттенок. Он повернулся, посмотрел на меня, и я отчетливо разглядел румянец на его щеках и яркий блеск губ.

— Вот откуда она берется, Амадео,— сказал он. Он толкнул труп в мою сторону, так что меня задели грязные одежды, а когда тяжелая мертвая голова запрокинулась, он подтолкнул ее еще

ближе, и я был вынужден посмотреть в грубое, безжизненное лицо обреченного. Он был молод, бородат, но некрасив и бледен, а еще он был... мертв.

Под обмякшими веками показались белые полоски. Из бездыханного бесцветного рта сквозь пожелтевшие гнилые зубы сочилась скользкая струйка слюны.

Я лишился дара речи. Ни страх, ни отвращение не имели к этому отношения. Я был просто до глубины души поражен. Если у меня и возникали в тот момент какие-то мысли, то лишь о том, что все увиденное совершенно невероятно.

Во внезапном припадке бешенства мой господин отшвырнул труп к воде, и тело с глухим плеском и бульканьем скрылось в глубинах канала.

Он подхватил меня, и я увидел, что мимо меня вниз падают окна. Я чуть не закричал, когда мы поднялись над крышами. Он зажал мне рот рукой. Он двигался так стремительно, будто что-то вытолкнуло или подбросило его в воздух.

Должно быть, мы описали круг, а когда я открыл глаза, мы стояли в знакомой комнате. Длинные золотистые занавески опускались на место. Здесь было тепло. В тени я увидел сияющий силуэт золотого лебедя.

Это была комната Бьянки, ее личное святилище.

— Мастер! — воскликнул я, испытывая страх и отвращение из-за того, что мы вот так, без предупреждения, не получив на то позволения хозяйки, проникли в ее покои.

Тонкая полоска света под закрытыми дверями расползалась по паркету и толстому персидскому ковру. Она накладывалась на резные перья ее лебединого ложа.

Чуть позже сквозь гомон легкомысленных голосов до моего слуха донесся звук ее поспешных шагов — видимо, она решила выяснить причину постороннего шума.

Когда она открыла двери, в комнату через распахнутое окно ворвался холодный зимний ветер. Она плотно захлопнула рамы, изгоняя сквозняк,— бесстрашное создание, а затем с безошибочной точностью потянулась к ближайшей лампе и вывернула фитиль. Зажегся огонек, и я увидел, что она смотрит на моего господина, хотя меня она наверняка тоже заметила.

Она была такая же, как всегда, какой я оставил ее всего лишь несколько часов назад, хотя мне казалось, что с тех пор прошла

целая вечность. Одетая в золотистый бархат и шелка, со скрученной на затылке косой и пышными локонами, во всем своем великолепии струившимися по плечам и по спине, она была несравненно прекрасна.

Однако на ее маленьком личике застыла печать тревоги и сомнений.

— Мариус! — воскликнула она.— И по какой причине вы, мой властелин, являетесь подобным образом в мои личные комнаты? По какой причине вы пробираетесь сюда через окно да еще и вдвоем с Амадео? Что это значит — ревность?

— Нет, просто мне нужна исповедь,— ответил мой господин. У него даже голос дрожал. Он крепко держал меня за руку, как ребенка, и приблизился к ней, обвиняюще выставив свой длинный палец.— Расскажи ему, мой милый ангел, расскажи ему, что скрывается за твоим чудесным личиком.

— Я не знаю, о чем ты говоришь, Мариус. Но ты меня сердишь. И я приказываю тебе убираться из моего дома. Амадео, а ты что скажешь на это оскорбление?

— Не знаю, Бьянка,— пробормотал я. Я ужасно испугался. Никогда еще я не слышал, чтобы голос моего господина дрожал, и никогда еще я не слышал, чтобы кто-то так фамильярно обращался к нему по имени.

— Убирайся из моего дома, Мариус. Немедленно уходи. Я обращаюсь к тебе как к человеку чести.

— Вот как? А каким образом ушел из твоего дома твой друг, флорентиец Марцелий, тот, кого тебе велели заманить сюда хитроумными речами и кому ты подмешала в питье столько яда, что его хватило бы для убийства двадцати человек?

Лицо моей дамы сделалось еще более холодным, но ни на секунду не ожесточилось. Она оценивающе смотрела на дрожащего от ярости Мастера и казалась настоящей фарфоровой принцессой.

— А тебе-то что за дело, мой властелин? — спросила она.— Разве ты превратился в Великий Совет или в Совет Десяти? Веди меня к судьям, предъяви улики, если тебе будет угодно, таинственный колдун! Докажи свои слова.

Чувствовалось, что Бьянка взвинчена до предела. Она гордо вскинула хорошенькую головку.

— Убийца,— сказал Мастер.— В каждой клетке твоего мозга я вижу дюжину исповедей, дюжину жестоких поступков, дюжину преступлений...

— Нет, не тебе меня судить! Может, ты и маг, но отнюдь не ангел, Мариус. С твоими-то мальчиками!

Он подтянул ее к себе, и я снова увидел, как открылся его рот. Я увидел его смертоносные зубы.

— Нет, Мастер, нет! — Я вырвался из его чуть ослабевшей хватки и налетел на него с кулаками, протиснувшись между ним и ею, изо всех сил замолотив по его телу.— Не смей, Мастер! Мне все равно, что она сделала! Зачем ты докапываешься до каких-то там причин? Ты называешь ее жестокой? Ее! Да что с тобой такое?

Она отлетела к кровати и с трудом забралась на нее, поджимая ноги. Он отодвинулась в тень.

— Да ты демон, порождение ада,— прошептала она.— Ты чудовище, и я убедилась в том собственными глазами. Амадео, он ни за что не оставит меня в живых.

— Оставь ее в живых, повелитель, или я умру вместе с ней! — воскликнул я.— Ты хочешь, чтобы она стала своего рода предостережением, послужила мне уроком, но я не желаю смотреть, как она умирает.

Мой господин был в ужасном состоянии. Он был просто ошеломлен. Он оттолкнул меня, но поддержал, не позволяя упасть, а потом направился к кровати и сел рядом с Бьянкой. Она еще глубже вжалась в изголовье и потянулась к прозрачной золотой занавеске, словно та могла ее спасти.

Она посерела, съежилась, но не сводила с Мастера неистовых голубых глаз.

— Мы с тобой оба убийцы, Бьянка,— прошептал он, протягивая к ней руку.

Я бросился вперед, но он небрежно задержал меня правой рукой, а левой расправил на ее лбу несколько выбившихся из прически кудряшек и опустил ладонь на ее голову, словно священник, дающий благословение.

— Я была вынуждена так поступить, сударь,— сказала она.— В конце концов, разве у меня был выбор? — Какая же она была храбрая, какая сильная! Сплав тонкого, нежного серебра со сталью.— Что мне делать, раз мне дают задания, причем я знаю,

что́ придется делать и для кого. Как же они хитры! То зелье убивало жертву постепенно, в течение многих дней, вдали от моего гостеприимного дома.

— Пригласи сюда своего притеснителя, дитя, и отрави, вместо того чтобы травить тех, на кого он укажет.

— Да, так все и разрешится,— поспешно сказал я.— Убей того, кто тебя заставляет.

Она, казалось, всерьез призадумалась, а потом улыбнулась.

— А как же его стража, его родня? Меня задушат за такое предательство.

— Я убью его ради тебя, милая,— сказал Мариус.— И за это тебе не придется расплачиваться со мной новыми преступлениями — ты просто забудешь о жажде, которую прочла в моем взгляде этой ночью.

Впервые ее мужество, казалось, дрогнуло. Ее глаза наполнились чистыми красивыми слезами, и в них промелькнула тень усталости. Она на секунду склонила голову.

— Ты знаешь, кто он, ты знаешь, где его дом, ты знаешь, что он сейчас в Венеции.

— Считай, что он мертв, моя прекрасная дама,— заверил ее мой господин.

Я обхватил его рукой за шею и поцеловал в лоб.

— Ну, пойдем, херувим,— сказал он мне, не отводя от нее взгляда.— Избавим мир от этого флорентийца, этого банкира, который использует Бьянку, чтобы расправиться с теми, кто доверил ему свои счета.

Такая догадливость потрясла Бьянку, но она опять улыбнулась мягкой, понимающей улыбкой. Она была такая грациозная, неподвластная ни гордыне, ни горечи. Создавалось впечатление, что она обладала способностью отбрасывать от себя все плохое.

Мой господин покрепче прижал меня к себе правой рукой. Левой он извлек из куртки большую прекрасную грушевидную жемчужину. Бесценная вещь. Он передал ее Бьянке, которая на мгновение заколебалась, однако все же приняла дар. Жемчужина мягко скользнула в ее раскрытую ладонь.

— Позволь поцеловать тебя, милая принцесса,— обратился к ней Мастер.

К моему изумлению, она ни словом не возразила, и он осыпал ее легкими поцелуями. Я увидел, как сошлись к переносице

ее изящные золотые брови, как глаза затуманились, а тело расслабилось. Она откинулась на подушки и крепко заснула.

Мы удалились. Мне показалось, будто я услышал, как за нами захлопнулись ставни. Ночь выдалась сырая и темная. Моя голова утыкалась в плечо Мастера. Я не смог бы посмотреть в небо или пошевелиться, даже если бы захотел.

— Благодарю тебя, мой возлюбленный повелитель, за то что ты не убил ее,— прошептал я.

— Она не просто практичная женщина,— сказал он.— Она еще не сломлена. Она невинна и в то же время коварна и поистине достойна титула герцогини и даже королевы.

— Но куда мы теперь идем?

— Мы уже пришли, Амадео. Мы на крыше. Посмотри вокруг. Слышишь, как шумно внизу?

Снизу действительно доносились громкие звуки бубнов, флейт и барабанов.

— Значит, они умрут в разгар пира,— задумчиво прошептал Мастер. Он стоял на краю крыши, держась за каменные перила. Ветер развевал плащ за его спиной. Мастер обратил взгляд к звездам.

— Я хочу видеть все,— заявил я.

Он закрыл глаза, как будто его ударили.

— Не считайте меня бесчувственным, сударь,— продолжал я.— Не думайте, что я переутомился или просто привык к грубости и жестокости. Я всего лишь раб, сударь, раб Божий. Если я правильно помню, мы не вправе сомневаться и задавать вопросы. Мы будем смеяться, будем принимать все как есть и превратим нашу жизнь в радость.

— Тогда спускайся со мной. Там их целая толпа — толпа хитрых флорентийцев. Как же я голоден... Я специально голодал в ожидании подобной ночи.

5

Наверное, так себя чувствуют смертные во время охоты на большого зверя в лесу или в джунглях.

Что касается меня, то, спускаясь по лестнице с потолка в обеденный зал нового, богато украшенного палаццо, я ощущал крайнее возбуждение. Сейчас умрут люди. Сейчас произойдет

убийство. Плохие люди, люди, несправедливо поступившие с прекрасной Бьянкой, будут без малейшего риска убиты моим всемогущим господином, что не подвергнет опасности никого из тех, кого я знал или любил.

Целая армия наемников не могла бы испытывать к этим личностям меньшее сострадание. Наверное, даже венецианцы, атакующие турок, больше сочувствовали своим врагам.

Я был зачарован; я уже ощущал запах крови, и это казалось мне весьма символичным. Я хотел видеть, как прольется кровь. Так или иначе, мне не нравились флорентийцы, и я мечтал о быстрой расправе с теми, кто не только подчинил Бьянку собственной воле, но и подверг ее опасности стать жертвой моего господина.

Да будет так.

Мы вошли в просторный, красиво отделанный обеденный зал, где несколько человек обжирались великолепным ужином из жареного поросенка. По всей комнате с огромных металлических стержней свисали фламандские гобелены, совсем новые, живописующие, прекрасные сцены охоты: вельможи и их дамы, лошади и гончие... Эти тяжелые гобелены закрывали даже окна и доходили до самого пола.

Пол же был сделан из изящно инкрустированного разноцветного мрамора и украшен изображениями павлинов — в их больших веерообразных хвостах поблескивали настоящие драгоценные камни.

По одну сторону широкого стола сидели трое мужчин, буквально пускающих слюни над золотыми блюдами с липкими костями рыбы и птицы и остатками жареного поросенка, бедного раздувшегося существа, чья голова с постыдно зажатым в челюстях традиционным яблоком, словно символизировавшим выполнение его последнего желания, осталась нетронутой.

Другая троица — молодые мужчины, довольно симпатичные и в высшей степени атлетически сложенные, с великолепными мускулистыми ногами,— была поглощена танцами: сцепившись за руки, они образовали кружок, в то время как небольшая группа мальчиков аккомпанировала им на разных инструментах. Именно эту музыку — грохочущий марш — мы и услышали с крыши.

После изобильного пира на одежде присутствующих остались пятна и следы жира. Но любой из них мог похвастать густыми и длинными, как велела мода, волосами, а также нарядными, богато расшитыми шелковыми туниками и чулками. Комнату не согревал огонь, но никому из присутствующих он был не нужен, все уже сбросили бархатные куртки, отороченные напудренным горностаем или серебристой лисой.

Вино разливал, а точнее, расплескивал из кувшина по кубкам человек, явно не способный справиться с этой задачей. А танцующая троица хотя и была исполнена благих намерений разыграть свою сцену, буянила и толкала друг друга, намеренно высмеивая всем нам знакомые танцевальные фигуры.

Я сразу заметил, что прислугу уже отпустили. Несколько кубков лежали опрокинутыми. Несмотря на зиму, над сияющими полуобъеденными скелетами и горками влажных фруктов вились стайки крохотных мошек.

Над комнатой повис золотистый туман — дым табака, так как они курили самые разнообразные трубки. Фон гобеленов был неизменно темно-синим, что придавало всей сцене теплоту, подчеркивая яркий блеск богатых разноцветных одежд мальчиков-музыкантов и собравшихся гостей.

Едва мы вошли в дымную теплую комнату, меня совершенно одурманила ее атмосфера, и, когда мой господин велел мне сесть у края стола, я поспешил последовать его приказу, поскольку едва не падал от слабости. Надо ли говорить, что я постарался не дотрагиваться даже до столешницы, а уж тем более до тарелок.

Краснолицые громкоголосые весельчаки не обращали на нас внимания. Громкая ритмичная музыка подавляла все другие ощущения. Но мужчины до того напились, что не заметили бы нас и в гробовой тишине. Мой господин запечатлел на моей щеке поцелуй и прошел к самой середине стола, к свободному месту, предположительно оставленному одним из тех, кто скакал в тот момент под музыку; Мастер перешагнул через скамью с подушками и сел. Только тогда оказавшиеся по обе стороны от него двое мужчин, которые до того момента яростно орали друг на друга, споря о чем-то, обратили внимание на блистательного гостя в алых одеждах.

Мой господин сбросил капюшон плаща, открыв взорам пирующих свои феноменально длинные волосы. Он снова стал похож на Христа во время Тайной вечери: тонкий нос, гладкие полные губы, светлые, ровно расчесанные на пробор волосы, сверкающие от ночной влаги.

Он по очереди осмотрел обоих гостей, и, к моему изумлению,— я наблюдал за ним с другого конца стола — углубился в их разговор, обсуждая зверства, обрушившиеся на венецианцев, оставшихся в Константинополе, когда турок двадцати одного года от роду, султан Мехмед Второй, завоевал город.

Похоже, они спорили по поводу того, как именно турки ворвались в священную столицу, и один человек говорил, что, если бы венецианские корабли не отплыли от Константинополя, город еще можно было бы спасти.

Никоим образом, утверждал другой мужчина, рыжеволосый здоровяк с золотистыми глазами. Какой красавец! Если Бьянку сбил с пути этот негодяй, то я мог себе представить, как ему это удалось. Между рыжей бородой и усами виднелись роскошные губы, изогнутые, как лук Купидона, а сильная челюсть была под стать мраморным шедеврам Микеланджело.

— Сорок восемь дней турецкие пушки обстреливали городские стены,— объяснял он своему собеседнику,— и в результате они прорвались. На что оставалось надеяться? Ты хоть раз видел такие пушки?

Второй, очень хорошенький темноволосый молодой человек с оливковой кожей, круглыми щеками, маленьким носом и огромными черными бархатными глазами, разъярился и сказал, что венецианцы вели себя как трусы, что поддержка их флота могла бы остановить даже пушки, если бы он только появился на месте событий.

— Константинополь бросили! — объявил он, стукнув кулаком по стоявшему перед ним блюду.— Ему не помогли ни Венеция, ни Генуя. В тот страшный день величайшую империю на земле обрекли на развал!

— Неправда,— довольно спокойно сказал мой господин, поднимая брови и слегка наклоняя голову набок. Он медленно обвел взглядом каждого из собеседников по очереди.— На самом деле многие храбрые венецианцы пришли на помощь Константинополю. У меня есть основания полагать, что даже при-

бытие всего венецианского флота не остановило бы турок. Молодой султан Мехмед Второй мечтал получить Константинополь, и ничто не могло его остановить.

Это было очень интересно. Я с удовольствием готов был получить урок истории и, чтобы лучше видеть и слышать, вскочил и обошел вокруг стола, подтащив к спорящим легкое кресло со скрещенными ножками и удобным сиденьем из красных кожаных ремней. Я поставил его на углу, не желая терять из виду и танцоров, которые при всей своей неловкости представляли собой достойное наблюдения зрелище — хотя бы из-за длинных развевающихся разукрашенных рукавов и усыпанных драгоценностями туфель.

Рыжий мужчина за столом откинул назад длинную, густую кудрявую гриву и, встретив сильную поддержку со стороны моего господина, окинул его восхищенным взглядом.

— Да-да, вот человек, который знает, что там произошло, а ты все врешь, дурак,— сказал он собеседнику.— А знаешь ли ты, что генуэзцы храбро сражались до самого конца? Папа послал три корабля; они прорвали блокаду и проскользнули прямо к поганому замку султана, Румели Хизар. Это был Джованни Лонго — представляешь себе подобную храбрость?

— Честно говоря, нет! — ответил черноволосый, наклоняясь к Мастеру.

— Настоящая храбрость,— небрежно заметил мой господин.— Зачем вы говорите чушь, в которую сами не верите. Будет вам, вы же знаете, что произошло с венецианскими кораблями, захваченными султаном.

— Да, что ты на это скажешь? А ты бы поплыл в ту гавань? — вопросил рыжеволосый флорентиец.— Знаешь, что сделали с венецианскими кораблями, захваченными за полгода до этого? Всех до единого, кто был на борту, обезглавили.

— За исключением командующего! — выкрикнул танцор, обернувшийся, чтобы вступить в разговор, но не прекративший танцевать, дабы не сбиться с шага.— Его посадили на кол. Его звали Антонио Риццо — это был один из благороднейших людей в мире.

Он продолжил танец, сделав небрежный презрительный жест через плечо. Потом, совершая пируэт, поскользнулся и чуть

не упал. Остальные танцоры подхватили его. Черноволосый за столом качал головой.

— Будь там весь венецианский флот!..— закричал он.— Но вы, флорентийцы и венецианцы, все одинаковые, предатели, вечно себе лазейку ищете.

Мой господин, глядя на него, рассмеялся.

— Ты надо мной не смейся,— заявил черноволосый,— ты — венецианец; я тебя тысячу раз видел, тебя и мальчишку!

Он показал на меня. Я взглянул на Мастера. Мой господин только улыбнулся, и я отчетливо услышал его шепот, как будто нас не разделяло такое расстояние:

— Свидетельство мертвеца, Амадео.

Черноволосый поднял кубок, опрокинул в горло немного вина и пролил столько же на свою остроконечную бороду.

— Полный город потворствующих ублюдков! — объявил он.— Только на одно они годятся: деньги занимать под высокий процент, когда все уже промотали на роскошные одежды.

— Кто бы говорил,— ответил рыжеволосый.— Сам как павлин паршивый. Стоило бы тебе хвост отрезать. Ладно, вернемся к Константинополю, раз ты так уж чертовски уверен, что его можно было спасти!

— Сам говоришь как поганый венецианец.

— Я — банкир; я человек ответственный,— сказал рыжеволосый.— Я восхищаюсь теми, кому делаю деньги.— Он поднял свой кубок, но, вместо того чтобы выпить вино, плеснул его в лицо черноволосому мужчине.

Мой господин не потрудился отодвинуться, так что вино, несомненно, частично пролилось и на него. Он посмотрел на два румяных потеющих лица по обе стороны от него.

— Джованни Лонго, один из храбрейших генуэзцев, когда-либо командовавших кораблем, пробыл в городе всю осаду! — закричал рыжеволосый.— Вот это мужество. Вот на такого человека я поставлю деньги.

— С чего бы это? — закричал тот же танцор, что вмешался в разговор. Он ненадолго вырвался из круга, чтобы объявить: — Он проиграл битву, к тому же у твоего отца хватало здравого смысла не вкладывать ни в кого из них деньги.

— Не сметь! — воскликнул рыжеволосый.— За Джованни Лонго и генуэзцев, которые сражались вместе с ним! — Он схватил кувшин, чуть не перевернув его, оросил вином свой кубок, а заодно и стол, а потом сделал большой глоток.— И за моего отца. Да сжалится Господь над его бессмертной душой. Отец, я убил твоих врагов и убью тех, кто купается в невежестве.— Он развернулся, въехал локтем в одежду моего господина и сказал: — А мальчик у вас красивый. Не торопитесь с ответом. Подумайте. Сколько?

Мой господин расхохотался так естественно и мелодично, как при мне еще никогда не смеялся.

— Предложите мне что-нибудь... что-нибудь, что может мне пригодиться,— сказал мой господин, украдкой блеснув глазами в мою сторону.

Такое впечатление, что каждый мужчина в зале разглядывал меня с головы до ног. А ведь они не были любителями мальчиков; они были просто итальянцами своей эпохи, которые, как от них требовалось, плодили детей, а также при каждой удобной возможности развратничали с женщинами и тем не менее ценили пухленького сочного молодого человека, как сегодня люди ценят поджаренный до золотистой корочки тост, намазанный сметаной и превосходной черной икрой.

Я не смог сдержать улыбку. Убей их, думал я, пусти их на убой. Я почувствовал себя привлекательным и даже красивым. Ну же, кто-нибудь, скажите, что я напоминаю вам Меркурия, разгоняющего облака в «Весне» Боттичелли; однако рыжеволосый мужчина, сосредоточив на мне плутоватый игривый взгляд, сказал:

— Ах, это же «Давид» Верроккьо, натурщик той бронзовой статуи. И не заверяйте меня в обратном. Он к тому же бессмертный. О да, это видно — бессмертный. Он никогда не умрет.

Он опять поднял кубок, а потом пощупал свою тунику на груди и вытащил из-под напудренной горностаевой оторочки куртки богатый золотой медальон с ограненным бриллиантом невероятного размера. Он сорвал цепочку с шеи и гордо протянул его моему господину, который смотрел, как он болтается перед ним, как шар, способный наложить чары.

— За всех нас,— сказал черноволосый, поворачиваясь и глядя на меня в упор. Остальные смеялись. Танцоры кричали:

— Да, и за меня!

— Ничего не получишь, если я не буду вторым, после тебя!

— Послушай, я первый, даже до тебя!

Последнее восклицание было адресовано рыжеволосому, но драгоценность танцор бросил моему господину — кольцо с карбункулом и неизвестным мне блестящим фиолетовым камнем.

— Сапфир,— шепнул Мастер, поддразнивая меня взглядом.— Амадео, согласен?

Третий танцор, блондин, самый маленький ростом из всех присутствующих, с небольшим горбом у левого плеча, вырвался из круга и подошел ко мне. Он снял с пальцев все кольца, как будто перчатки стянул, и швырнул их мне, так что они забренчали у моих ног.

— Улыбнись мне благосклонно, юный бог,— сказал он, слегка задыхаясь после танца; бархатный воротник у него промок от пота. Он с трудом держался на ногах и чуть не упал, но смог превратить это в шутку, неуклюже пустившись в пляс.

Музыка не смолкала, она грохотала и грохотала, словно музыканты считали, что она способна заглушить опьянение их господ.

— Кого-нибудь интересует осада Константинополя? — спросил мой господин.

— Расскажите мне, что стало с Джованни Лонго,— тихим голосом попросил я. Все взгляды устремились на меня.

— Лично у меня на уме осада... Амадео, правильно?... Да, Амадео! — воскликнул танцор-блондин.

— Ладно-ладно, сударь,— сказал я.— Поучите лучше меня истории.

— Ах ты, чертенок,— сказал черноволосый мужчина.— Даже кольца не подобрал.

— Да у меня все пальцы в кольцах,— вежливо сказал я, и это была правда. Рыжеволосый не замедлил ринуться в бой.

— Джованни Лонго оставался там все сорок дней, пока шел обстрел. Когда турки проломили стены, он сражался всю ночь. Ничто его не страшило. Его отнесли в безопасное место лишь потому, что он получил пулю.

— А пушки, сударь? — спросил я.— Они действительно были такие большие?

— Можно подумать, ты там был! — закричал черноволосый рыжему, прежде чем тот успел мне ответить.

— Мой отец там был! — сказал рыжий.— И выжил, чтобы все рассказать. Он был на последнем корабле с венецианцами, который выскользнул из гавани. И пока вы не успели вставить слово, сударь, предупреждаю: не смейте дурно говорить о моем отце или тех венецианцах. Они вывезли население в безопасное место, после того как битва была проиграна...

— Дезертировали, ты хочешь сказать,— ответил черноволосый.

— Я хочу сказать, ускользнули, унося с собой беспомощных беженцев, когда битва была уже проиграна. Ты назвал моего отца трусом? Ты в хороших манерах понимаешь не больше, чем в войне. Ты слишком глуп, чтобы с тобой драться, да и слишком пьян.

— Аминь,— сказал мой Мастер.

— Скажи ему,— обратился рыжий к моему господину.— Ты, Мариус Римский, скажи ему.— Он сделал новый слюнявый глоток.— Расскажи ему о бойне, обо всем, что произошло. Расскажи ему, как дрался на стенах Джованни Лонго, пока в грудь ему не угодила пуля. Слушай, безмозглый дурень! — заорал он своему другу.— Никто в этих делах не разбирается лучше Мариуса Римского. Колдуны умны, говорит моя шлюха. За Бьянку Сольдерини.

Он осушил стакан.

— Ваша шлюха, сударь? — спросил я.— Вы так выражаетесь о достойной женщине да еще в присутствии пьяных, непочтительных мужчин?

Никто не обратил на меня внимания — ни рыжий, который опять опрокидывал кубок, ни кто-либо из остальных.

Ко мне поплелся неверным шагом танцор-блондин.

— Они пьяны и о тебе забыли, прекрасный мальчик,— сказал он.— Но только не я.

— Сударь, вы спотыкаетесь, когда танцуете,— заметил я.— Смотрите не споткнитесь, когда будете за мной ухаживать.

— Ах ты, жалкий щенок,— сказал он и упал на меня, потеряв равновесие. Я вылетел из кресла и отскочил вправо. Он споткнулся о ножку и рухнул на пол.

Раздался громкий взрыв хохота. Два оставшихся танцора прекратили выделывать свои па.

— Джованни Лонго был храбр,— невозмутимо ответил мой господин, оглядевшись вокруг и вновь обращая свой холодный взгляд к рыжему.— Все они были храбры. Но ничто не могло спасти Византию. Ее час пробил. Кончилось время императоров и трубочистов. А в последующем побоище многое было безвозвратно утеряно. Библиотеки сжигались сотнями. Столько священных рукописей, содержавших множество тайн, утрачено навсегда.

Я попятился от атаковавшего меня пьяницы, который перекатился по полу.

— Ах ты, паршивая болонка! — заорал он, растянувшись у моих ног.— Я сказал, дай мне руку.

— Хорошо, сударь, однако,— проговорил я,— мне кажется, вы этим не ограничитесь.

— Так и будет! — воскликнул он, но его занесло, и он снова упал, испустив протяжный стон.

Один из сидевших за столом мужчин — красивый, но пожилой, с длинными, густыми, волнистыми седыми волосами и морщинистым лицом, тот, кто все это время молча угощался жирной бараньей лопаткой, бросил взгляд на меня и на упавшего — тот безуспешно пытался подняться на ноги.

— Х-м-м-м. Значит, Голиаф пал, маленький Давид? — улыбнулся он мне.— Последи за своим языком, маленький Давид, мы не все здесь тупые великаны, а тебе еще рановато кидаться камнями.

Я улыбнулся ему в ответ.

— Ваша острота так же неуклюжа, как и ваш друг, сударь. Что касается, как вы выразились, моих камней, они останутся на месте, в своем мешке, и подождут, пока вы не споткнетесь о вашего друга.

— Вы упомянули о книгах, сударь? — спросил Мариуса рыжий мужчина, абсолютно игнорируя нашу перепалку.— При падении величайшего города мира жгли книги?

— Да, этого приятеля интересуют книги,— сказал черноволосый.— Сударь, вы бы лучше присмотрели за мальчишкой. Он человек конченый. Обстоятельства изменились. Велите ему не смеяться над старшими.

Ко мне направились двое танцоров, оба такие же пьяные, как и тот, кто упал. Они сделали вид, что хотят меня погладить,

и превратились в одно зловонное, тяжело дышащее четверорукое чудовище.

— Ты улыбаешься, когда наш друг катается по полу? — спросил один из них, вставляя мне колено между ног.

Я попятился и чудом избежал увесистой оплеухи.

— Ничего другого я придумать не смог,— ответил я.— Учитывая, что причиной его падения стало поклонение мне. Смотрите, господа, сами не увлекитесь этим культом. Я ни в коей мере не настроен отвечать на ваши молитвы.

Мастер поднялся со своего места.

— Меня это начинает утомлять,— произнес он холодно и отчетливо. Его голос, эхом отразившийся от покрытых гобеленами стен, леденил душу.

Все посмотрели на него, даже по-прежнему ползавший по полу человек.

— Да что вы? В самом деле? — Черноволосый поднял голову.— Мариус Римский, верно? Я о вас слышал. Я вас не боюсь.

— Это вам очень благоприятствует,— прошептал мой господин с улыбкой. Он положил руку на его голову, и тот рванулся в сторону, чуть не свалившись со скамьи. Теперь он совершенно определенно испугался.

Танцоры смерили взглядом моего господина, наверняка стараясь вычислить, легко ли будет его одолеть. Один из них снова набросился на меня.

— Молитвы, черт подери! — сказал он.

— Сударь, поосторожнее с моим господином. Вы его утомляете, а он, когда устает, очень легко раздражается.

Я выдернул руку, за которую он намеревался меня схватить.

Я попятился еще дальше, смешавшись с мальчиками-музыкантами, где меня спасительным облаком окутала музыка.

Я увидел на их лицах панику, но они заиграли еще быстрее, не обращая внимания на выступивший над бровями пот.

— Отлично, отлично, господа,— сказал я.— Мне нравится. Но сыграйте реквием, если можно.

Они окинули меня отчаянными взглядами, но знаков расположения не выказали. Барабан не умолкал, свирель вела свою переливчатую мелодию, зал трепетал от звуков лютни.

Блондин на полу закричал, взывая о помощи, так как до сих пор так и не смог подняться самостоятельно, и двое танцоров

бросились, чтобы поддержать его, хотя один из них не переставал стрелять в меня настороженными взглядами.

Мастер посмотрел сверху вниз на черноволосого противника, одной рукой потянул его со скамьи вверх и наклонился, чтобы поцеловать в шею. Тот повис в руках моего господина и застыл, как маленький хрупкий зверек в пасти у огромного хищника. Я мог поклясться, что расслышал, как из него хлынула кровь, когда мой господин встряхнул волосами и они упали вниз, прикрывая следы роковой трапезы.

Вскоре Мастер уронил жертву на скамью. За этой сценой наблюдал только рыжий, однако он был настолько пьян, что, казалось, никак не мог сообразить, что к чему. Он в недоумении приоткрыл один глаз и еще раз отпил из своего грязного, забрызганного кубка, потом, как кот, облизал пальцы правой руки. Когда Мастер бросил его черноволосого товарища, тот уткнулся лицом прямо в блюдо с фруктами.

— Пьяный идиот,— сказал рыжий.— Никто не сражается за благородство, за честь, за порядочность.

— В любом случае немногие,— сказал мой господин, глядя на него.

— Они, эти турки, раскололи мир надвое,— продолжал рыжий, уставившись на мертвеца и явно не замечая, что тот уже не дышит. Я не видел лица черноволосого, но меня невероятно возбуждало сознание того, что он мертв.

— Ну хватит, господа,— сказал Мариус,— а вы, сударь, подойдите сюда, вы, кто подарил моему сыну столько колец.

— Так это ваш сын, сударь? — крикнул светловолосый горбун, которому удалось наконец принять вертикальное положение. Он оттолкнул от себя своих друзей, повернулся и пошел на призыв.— Я ему таким отцом буду — вам и не снилось.

Внезапно мой господин совершенно беззвучно появился на нашей стороне стола. Его взметнувшиеся было одежды моментально приняли прежний вид, как будто он просто сделал шаг. Рыжий, видимо, этого просто не заметил.

— Скандеберг, великий Скандеберг, поднимаю за него кубок,— сказал сам себе рыжий.— Его давно уже нет, но дайте мне пять Скандебергов, и я снаряжу новый крестовый поход, чтобы забрать наш город у турок.

— Ну надо же, а кто не снарядил бы, с пятью-то Скандебергами? — спросил сидевший на дальнем конце стола пожилой человек, с чавканьем вгрызаясь в лопатку. Он вытер рот тыльной стороной ладони.— Но не существует генерала, равного Скандебергу, и никогда не существовало, за исключением его самого. Что там с Людовико? Дурак ты! — Он встал.

Мой господин обхватил рукой блондина, тот попытался оттолкнуть его и пришел в ужас, когда Мастер не сдвинулся с места. Пока двое танцоров безуспешно старались освободить своего товарища, мой господин дарил ему свой смертоносный поцелуй. Он приподнял подбородок блондина и приник к большой артерии на шее. Он качнул его в противоположную сторону и, как мне показалось, одним большим глотком вытянул из него всю кровь. В мгновение ока он прикрыл веки своей жертвы двумя белыми пальцами и отпустил тело, мгновенно соскользнувшее на пол.

— Ваша очередь умирать, милостивые господа,— сказал он попятившимся от него танцорам.

Один из них выхватил меч.

— Не глупи! — заорал его друг.— Ты пьян. Ты никогда...

— Да, не выйдет,— с легким вздохом подтвердил Мастер. Его губы стали такими розовыми, какими я их еще никогда не видел, а выпитая кровь прилила к щекам. Даже в глазах появился новый, сияющий блеск.

Он схватил рукой меч и одним нажатием большого пальца переломил лезвие, так что в руке противника остался только обломок.

— Как вы смеете! — закричал мужчина.

— Лучше спроси, как он это сделал! — посоветовал рыжий.— Разломил надвое, да? Что же это за сталь?

Любитель лопатки громко засмеялся и запрокинул голову, потом оторвал от кости новую порцию мяса.

Мой господин протянул руку и вырвал из времени и пространства владельца сломанного меча. На этот раз, чтобы обнажить вену, он с шумным хрустом сломал человеку шею.

Казалось, этот звук услышали и все остальные: тот, кто ел лопатку, насторожившийся танцор и рыжеволосый мужчина.

Следующим мой господин обнял последнего танцора. Любящим жестом он взял его лицо в ладони и снова принялся пить,

приоткрыв у горла рот, чтобы я на секунду увидел кровь — настоящий поток крови, который тут же исчез за склоненной головой Мастера.

Я видел, как кровь пульсирует под пальцами моего господина, и не мог дождаться, пока он поднимет голову. Впрочем, это случилось весьма скоро — скорее, чем в случае с предыдущей жертвой. Он посмотрел на меня затуманенным, полусонным взглядом, его лицо пылало, и внешне он ничем не отличался от живых людей. Он так же опьянел и обезумел от своего необычного напитка, как они — от простого вина.

Непослушные золотые кудри прилипли к его вспотевшему лбу, и я увидел тонкую пленку крови. Музыка резко остановилась.

Ее остановила не бойня, а вид моего господина, из рук которого безвольным мешком костей на пол скользнула последняя жертва.

— Реквием,— повторил я.— Их призраки будут вам благодарны, добрые господа.

— Либо играйте,— сказал Мариус, приближаясь к музыкантам,— либо бегите отсюда.

— Я думаю, бежим отсюда,— прошептал лютнист. Они моментально повернулись и направились к дверям. В спешке они никак не могли отодвинуть щеколду и беспомощно толпились, выкрикивая проклятия.

Мой господин подобрал с пола драгоценные кольца, лежавшие вокруг кресла, где я раньше сидел.

— Дети мои, вы уходите без оплаты,— сказал он.

Охваченные страхом, они обернулись и увидели, что он кидает им кольца. Каждый из них неловко, нетерпеливо и пристыженно поймал по драгоценности, брошенной Мастером. Потом двери резко отворились и створки ударились в стены. Мальчики выбежали из зала, и двери захлопнулись вновь.

— Ловко! — отметил человек с лопаткой, которую он наконец-то отложил в сторону, так как мясо уже кончилось.— И как тебе это удается, Мариус Римский? Говорят, ты могущественный маг. Не понимаю, почему Великий Совет не призовет тебя к суду по обвинению в колдовстве. Должно быть, все дело в твоих деньгах — я прав?

Я уставился на Мастера. Никогда еще я не видел его таким привлекательным, как сейчас, когда его разгорячила свежая кровь. Мне хотелось дотронуться до него. Мне хотелось, чтобы он меня обнял. Он смотрел на меня пьяными и ласковыми глазами.

Но он оторвал от меня свой соблазнительный взор и направился обратно к столу, обошел его и сел рядом с человеком, который доедал лопатку.

Седовласый мужчина поднял на него глаза и бросил взгляд на рыжего товарища.

— Не глупи, Мартино,— сказал он рыжему.— Может быть, в Венеции вполне легально заниматься колдовством, если человек платит налоги. Положи свои деньги в банк Мартино, Мариус Римский.

— Я это и делаю,— кивнул Мариус Римский, мой господин,— и они приносят мне вполне приличный доход.

Он снова сел между мертвецом и рыжим, который пришел в восторг и возбуждение оттого, что Мариус вернулся к нему.

— Мартино,— предложил Мастер.— Давайте поговорим подробнее о падении империй. Ваш отец, почему он оказался вместе с генуэзцами?

Рыжий, воспламенившись от всего этого разговора, гордо заявил, что его отец был представителем семейного банка в Константинополе, а впоследствии умер от ран, полученных в тот последний, страшный день.

— Он все видел,— говорил рыжий,— он видел, как истребляли женщин и детей. Он видел, как хватали монахов в алтаре храма Святой Софии. Он знает тайну.

— Тайну! — фыркнул пожилой человек. Он пододвинулся к ним и, широко взмахнув левой рукой, столкнул со скамьи мертвеца, который упал через нее на пол.

— Господи Боже, бессердечный ублюдок,— сказал рыжий.— Слышал, как треснул его череп? Не смей обращаться так с моим гостем, если тебе жизнь дорога.

Я подошел поближе к столу.

— Да, иди, иди сюда, красавчик,— позвал рыжий.— Присаживайся.— Он обратил ко мне свои пламенеющие золотом глаза.— Садись напротив меня. Господи, только просмотрите на Франсиско. Готов поклясться, я слышал, как треснул его череп.

— Он умер,— мягко произнес Мариус.— Пока что все в порядке, беспокоиться не о чем. Его лицо буквально светилось от выпитой крови, а волосы на фоне порозовевшей кожи казались еще светлее. Вокруг глаз ожили крошечные паутинки сосудов, ни на йоту не лишая их приводящей в благоговейный восторг, сияющей красоты.

— Хорошо, прекрасно, они умерли.— Рыжий пожал плечами.— Да, так вот, я говорил,— и вам, черт подери, стоит мои слова запомнить, потому что я это точно знаю,— что монахи взяли священную чашу и священную просфору и пошли в потайное место в храме Святой Софии. Мой отец все видел своими глазами. Я знаю тайну.

— Глазами, глазами...— передразнил его пожилой человек.— У тебя, должно быть, павлин был вместо отца, что у него столько глаз!

— Заткнись, или я перережу тебе горло! — огрызнулся рыжий.— Смотри, что ты сделал с Франсиско, взял его и опрокинул. Господи! — Он лениво перекрестился.— Да у него на затылке кровь!

Мой господин обернулся и, нагнувшись, намочил пальцы в этой крови. Он медленно повернулся ко мне, потом к рыжему и слизнул кровь с одного пальца.

— Мертвый,— с легкой усмешкой сказал он.— Но она еще вполне теплая и густая.— Он медленно улыбнулся.

Рыжий смотрел на него завороженно, как ребенок на представление марионеток. Мой господин раскрыл окровавленную ладонь, как бы говоря: «Хочешь попробовать?»

Рыжий схватил Мариуса за запястье и облизал кровь с большого и указательного пальцев.

— М-м-м-м, как вкусно,— протянул он.— Все мои товарищи — отличной крови.

— И не говорите,— ответил мой господин.

Я не мог оторвать взгляд от его изменившегося лица. Теперь казалось, что его щеки даже потемнели, а быть может, они просто изменяли форму, когда он улыбался. У него порозовели губы.

— И я еще не закончил, Амадео,— прошептал он.— Я только начал.

— Он не сильно ранен! — настаивал пожилой человек. Он рассмотрел лежавшую на полу жертву. Он волновался. Неужели он его убил? — У него на затылке просто крошечный порез, вот и все. Разве нет?

— Да, крошечный порез,— сказал Мариус.— И в чем же заключается тайна, дорогой друг? — Он повернулся спиной к седому мужчине, заговорив с рыжим с куда большим интересом, чем прежде.

— Да, прошу вас,— сказал я.— В чем же тайна, сударь? В том, что священники бежали?

— Нет, мальчик, не будь тупицей! — ответил рыжий, взглянув на меня через стол. Он был невероятно красив. Бьянка его когда-нибудь любила? Она никогда не рассказывала.

— Тайна, тайна...— сказал он.— Если ты в эту тайну не поверишь, то ни во что уже не поверишь — ни в святое, ни в нечестивое.

Он поднял кубок. Но тот был пуст. Я взял кувшин и наполнил кубок темным ароматным вином. Я подумал, не стоит ли и мне попробовать, потом отвращение взяло верх.

— Чушь,— прошептал мой Мастер.— Выпей за упокой их душ. Давай. Вон чистый кубок.

— Ах да, прости меня,— сказал рыжий.— Я даже не предложил тебе кубок. Господи, подумать только, я кинул тебе на пол простой ограненный бриллиант, когда хотел получить твою любовь.

Он взял кубок — богатую, изысканную вещицу, инкрустированную серебром и усыпанную крошечными сверкающими камнями. Теперь я заметил, что все кубки составляли один набор, на каждом были вырезаны миниатюрные изящные фигурки, украшенные одинаковыми яркими камешками. Он со звоном поставил кубок на стол, взял у меня кувшин, наполнил кубок и протянул его мне.

Я подумал, что меня вырвет прямо на пол. Я посмотрел на мужчину, на его почти приятное лицо и красивые огненно-рыжие волосы. Лицо его озарила мальчишеская улыбка, открывшая мелкие, но идеально белые, просто жемчужные зубы. Казалось, он влюбился в меня до безумия и размечтался, не произнося ни слова.

— Бери, выпей,— велел мне Мастер.— Ты ступил на опасный путь, Амадео, так выпей же за знания, выпей за силу.

— Вы ведь не смеетесь надо мной, сударь, правда? — спросил я, уставившись, на рыжего, но обращаясь непосредственно к Мариусу.

— Я люблю тебя,— ответил Мастер,— но ты все-таки замечаешь что-то в моих словах, так как от человеческой крови я грубею. Так всегда бывает. Только в голодании я обретаю божественную чистоту.

— Да, и на каждом перекрестке поворачиваете меня в нужную сторону,— сказал я.— Прочь от кары и поближе к чувствам, к удовольствиям.

Я встретился взглядом с рыжим. Но я слышал ответ Мариуса.

— Кара — это и есть убийство, вот в чем камень преткновения. Кара — это убивать без причины, просто так, не за «честь, благородство и порядочность», как говорит наш друг.

— Да! — сказал «наш друг», повернувшись к Мариусу, а потом опять ко мне.— Пей! — Он протянул мне кубок.

— А когда все будет кончено, Амадео, собери эти кубки и отнеси домой, чтобы они служили напоминанием о моем провале — или поражении, ибо это одно и то же,— а также уроком для тебя. Редко я вижу это так отчетливо и ясно.

Рыжий, увлекшись флиртом, наклонился вперед и поднес кубок прямо к моим губам.

— Маленький Давид, ты вырастешь и станешь королем — помнишь? Да, я мог бы поклоняться тебе, маленький мужчина с нежными щечками, и молить хоть об одном псалме от твоей арфы, хоть об одном, лишь бы ты дал его по собственной воле!

Мой Мастер тихо прошептал:

— Можешь исполнить последнее желание умирающего?

— По-моему, он умер! — громко воскликнул седой человек.— Смотри, Мартино, кажется, я таки убил его: у него кровь течет из головы, как сок из помидора, черт бы его побрал. Посмотри!

— Да заткнись ты! — сказал рыжеволосый Мартино, не сводя с меня глаз.— Ну же, исполни последнюю просьбу умирающего, маленький Давид,— продолжал он.— Все мы умрем. Я умру за тебя, так не умрете ли вы со мной, сударь,— ненадолго, прямо в моих руках? Давай поиграем в одну игру. Она вас развлечет, Мариус Римский. Посмотрите, как я заберусь на него, как я ритмично и искусно буду его гладить, и на ваших глазах скульптура из плоти забьет фонтаном, я поработаю насосом, и мне в руки хлынет влага.

Он сложил руки, как будто уже получил то, что хотел. Он еще долго смотрел на меня, а потом низким шепотом произнес:

— Я слишком мягок, из меня скульптуры не получится. Дай же мне отпить от твоего фонтана. Сжалься над умирающим от жажды.

Я выхватил из его дрожащей руки и одним глотком опустошил кубок. Внутри все напряглось, и мне показалось, что сейчас вино поднимется обратно и меня вырвет. Я заставил его спуститься вниз. Я посмотрел на моего Мастера.

— Как же мерзко, мне противно.

— Чушь какая,— ответил он, едва шевеля губами.— Смотри, какая вокруг красота!

— Будь я проклят, если он не умер,— сказал седой. Он пнул труп Франсиско на полу.— Мартино, я пошел.

— Останьтесь, сударь,— сказал Мариус.— Я поцелую вас на ночь.

Он хлопнул его по запястью и набросился на его горло. Интересно, что подумал в тот момент рыжий, который, едва взглянув на них, продолжил свои уговоры. Он опять наполнил мой кубок. Седой человек издал стон, или это был Мариус? Я окаменел от ужаса. Когда он отвернулся от своей жертвы, я увидел разлившуюся в нем новую кровь и отдал бы все на свете, лишь бы он снова стал белым — мой мраморный бог, мой высеченный из камня повелитель в нашей общей постели.

Рыжий встал прямо передо мной, перегнулся через стол и мокрыми губами приложился к моему рту.

— Я умираю из-за тебя, мальчик! — объявил он.

— Нет, ты умираешь без причины,— сказал Мариус.

— Мастер, пожалуйста, только не его! — крикнул я.

Я отлетел назад, чуть не потеряв равновесие. Рука моего господина разделила нас, и его ладонь легла рыжему на плечо.

— В чем же тайна, сударь? — отчаянно крикнул я,— тайна храма Святой Софии, в которую нужно поверить?

Рыжий был совершенно одурманен. Он сознавал, что перебрал, что происходящее не поддается никакой логике, но был уверен, что виной всему опьянение. Он покосился на руку Ма-

риуса, лежавшую у него на груди, и даже повернулся, чтобы получше рассмотреть пальцы, сжимавшие его плечо. Потом он взглянул Мариусу в лицо, и я тоже.

Мариус стал человеком, настоящим человеком. От недоступного, вечно неизменного бога не осталось и следа. В его глазах мерцала кровь. Он разрумянился, как будто долго бежал, и губы его были в крови, он облизнул их, и язык стал рубиново-красным. Он улыбнулся Мартино — последнему, единственному оставшемуся в живых.

Мартино перевел взгляд с Мариуса на меня, мгновенно смягчился и потерял бдительность.

— В разгар осады,— почтительно заговорил он,— когда турки ворвались в церковь, некоторые монахи оставили алтарь Святой Софии и унесли с собой чашу и Святое причастие, плоть и кровь нашего Господа. Они и по сей день спрятаны в потайных комнатах храма Святой Софии, и в тот самый миг, когда мы возьмем город, в тот самый миг, когда мы вернем себе великий храм Святой Софии, когда мы прогоним турок из нашей столицы, вернутся те священники, те самые священники. Они выйдут из своего укрытия, поднимутся по ступеням алтаря и возобновят мессу с того самого места, на каком их заставили остановиться.

— Ах,— вздохнул я в восхищении от услышанного и тихо обратился к своему господину: — Мастер, ведь это достаточно хорошая тайна, чтобы оставить ему жизнь, нет?

— Нет,— сказал Мариус.— Эту историю я знаю, а он сделал Бьянку шлюхой.

Рыжий силился понять суть нашего диалога.

— Шлюхой? Бьянку? Десять раз убийцей, сударь, но не шлюхой. Шлюха... Все совсем не так просто.— Он разглядывал Мариуса с таким видом, словно находил этого разгоряченного от страсти мужчину прекрасным. Так оно и было.

— Да, но ты научил ее совершать убийства,— почти нежно произнес Мариус, массируя пальцами его плечо и одновременно закидывая ему за спину левую руку, чтобы иметь возможность покрепче прижать его к себе. Он наклонил голову и лбом коснулся виска Мартино.

— Х-м-м-м.— Мартино встряхнулся.— Я перепил. Я никогда не учил ее ничему подобному.

— Да нет, учил, ты учил ее убивать, причем за совершенно ничтожные суммы.

— Господин, а нам-то что за дело?

— Мой сын забывается,— сказал Мариус, глядя на Мартино.— Он забывает, что я обязан убить тебя от имени нашей прекрасной дамы, которую ты хитростью заманил в свои темные, грязные заговоры.

— Она оказывала мне услуги,— сказал Мартино.— Дайте мне мальчика!

— Прошу прощения?

— Вы намерены убить меня, так убивайте. Но дайте мне мальчика. Один поцелуй, сударь,— о большем я не прошу. Один поцелуй, мне будет достаточно. Для всего остального я слишком пьян!

— Пожалуйста, Мастер, я этого не вынесу! — воскликнул я.

— Как же ты намереваешься вынести вечность, дитя мое? Разве ты не знаешь, что я собираюсь тебе дать? Разве есть у Бога такая сила, что может меня сломить? — Он окинул меня яростным, злым взглядом, но мне казалось, что в нем больше притворства, чем подлинных эмоций.

— Я выучил свой урок,— сказал я.— Я просто не могу смотреть, как он умрет.

— О да, значит, выучил. Мартино, целуй моего сына, если он позволит, и смотри, будь с ним ласков.

Теперь уже я перегнулся через стол и поцеловал рыжего в щеку. Он повернулся и перехватил мои губы своим ртом, голодным, кислым от вина, но соблазнительно горячим.

Из моих глаз брызнули слезы. Я открыл рот и впустил его язык. Закрыв глаза, я чувствовал, как он завибрировал, как его губы затвердели, как будто превратились в металл.

Мой господин набросился на него, набросился на его горло, и поцелуй прервался, а я в слезах, вслепую нащупал рукой то самое место на шее, куда проникли зловещие зубы моего господина. Я нащупал шелковые губы Мастера, твердые зубы под ними, хрупкую шею.

Я открыл глаза и отстранился. Обреченный Мартино вздыхал и стонал — сомкнув губы, он с затуманенными глазами безвольно откинулся назад в руках моего господина.

И вдруг, медленно повернув к Мастеру голову, он хриплым пьяным голосом едва слышно проговорил:

— Из-за Бьянки...

— Из-за Бьянки...— повторил вслед за ним я. Не в силах сдержаться, я всхлипнул и заглушил вырвавшееся рыдание ладонью.

Мой господин выпрямился. Правой рукой он разгладил влажные, спутанные волосы Мартино.

— Из-за Бьянки...— сказал он ему на ухо.

— Не надо было... не надо было оставлять ей жизнь,— со вздохом прошептал Мартино последние в своей жизни слова. Его голова упала вперед, на правую руку моего господина.

Мастер поцеловал его в затылок и отпустил, Мартино соскользнул на стол.

— Очарователен до последней секунды,— сказал он.— Глубокая душа истинного поэта.

Я встал, оттолкнув назад скамью, и выбрался на середину зала. Я плакал — я больше не мог сдерживать слезы. Я полез в куртку за носовым платком и в следующее мгновение споткнулся о лежавшее позади тело горбуна. Едва не упав на него, я слабо вскрикнул..

Я пятился от него и от трупов его товарищей, пока не нащупал за спиной тяжелый шершавый гобелен и не услышал запах пыли и ниток.

— Так вот чего ты от меня хотел,— всхлипывал я,— чтобы я это возненавидел, чтобы я плакал из-за них, дрался из-за них, вступался за них.

Он все еще сидел за столом — Христос на Тайной вечере, с аккуратно расчесанными на пробор волосами,— положив одну покрасневшую руку на другую, глядя на меня горячими посоловевшими глазами.

— Я хотел, чтобы ты оплакал в душе хотя бы одного из них — хотя бы одного! — В его голосе звучал гнев.— Разве я прошу слишком многого? Чтобы ты пожалел хотя бы об одной из стольких смертей! — Он поднялся из-за стола. Его трясло от бешенства.

Я закрыл лицо платком и только молча всхлипывал.

— Для безымянного нищего, кому постель заменяла лодка, у нас слез не нашлось, не так ли, и пусть наша хорошенькая Бьянка не страдает, раз мы поиграли в молодого Адониса в ее

постели! И из-за этих мы плакать не будем, разве только из-за одного — несомненно, самого порочного злодея,— и то лишь потому, что он нам польстил, не правда ли?

— Я узнал его,— прошептал я.— Я хочу сказать, за это короткое время я успел его узнать и...

— А ты предпочел бы, чтобы они бежали от тебя, безымянные, как лисы в кустах! — Он указал на гобелены с изображением сцен королевской охоты.— Смотри же глазами мужчины на все, что я тебе показываю.

В комнате внезапно потемнело, все свечи задрожали. Я охнул от неожиданности, но причиной всего был Мастер — он возник прямо передо мной и смотрел на меня сверху вниз,— беспокойное, разгоряченное существо, чей внутренний жар я чувствовал так остро, как будто его источала каждая пора.

— Господин,— крикнул я, глотая слезы,— ты доволен тем, чему ты меня научил, или нет? Ты доволен тем, чему я научился, или нет? Не смей играть со мной! Я тебе не марионетка — и никогда ей не буду! Чего же ты от меня хочешь? Почему ты злишься? — Меня затрясло, и слезы хлынули настоящим потоком.— Ради тебя я буду сильным, но я... я узнал его.

— Почему? Потому что он с тобой целовался? — Он наклонился и собрал левой рукой мои волосы. Он потащил меня к себе.

— Мариус, ради Бога!

Он поцеловал меня. Он целовал меня, как Мартино, и рот у него был такой же человеческий и горячий. Его язык скользнул мне в рот, и я почувствовал не кровь, но мужскую страсть. Его пальцы жгли мне щеки.

Я начал вырываться. Он отпустил меня.

— О, вернись ко мне, мой холодный белый бог,— прошептал я, опуская голову ему на грудь. Я чувствовал его сердце. Я слышал, как оно бьется. Я никогда раньше его не слышал, никогда не ощущал биение пульса в каменной часовне его тела.— Вернись ко мне, мой бесстрастный учитель. Я не понимаю, чего ты хочешь.

— О дорогой мой,— вздохнул он.— О любовь моя.— С этими словами он осыпал меня привычным демоническим ливнем поцелуев, не насмешками страстного мужчины, но своей любовью, мягкой, как лепестки, запечатлевая ее дары на моем лице

и волосах.— О мой прекрасный Амадео, о дитя мое,— говорил он.

— Люби меня, люби меня, пожалуйста,— прошептал я.— Люби меня и забери меня с собой. Я — твой.

Он обнимал меня в наступившей тишине. Я дремал у него на плече. Подул ветерок, но он не потревожил тяжелые гобелены, где французские вельможи и дамы скользили по густому вечнозеленому лесу в окружении борзых и гончих, которые никогда не прекратят лаять, и птиц, которые никогда не прекратят петь.

Наконец он отпустил меня и пошел прочь, ссутулившись, низко склонив голову. Потом ленивым взмахом руки он поманил меня за собой, но вышел из комнаты слишком быстро.

Спустившись по каменной лестнице, я выскочил за ним на улицу. Двери были открыты. Холодный ветер осушил мои слезы и развеял зловещую жару той комнаты. Я бежал и бежал по каменным набережным, через мосты, следуя за ним к площади.

Мне удалось нагнать его только в районе Моло — он шел мимо Сан-Марко по направлению к гавани, высокий человек в красном плаще с капюшоном. Я побежал за ним. С моря дул сильный ледяной ветер. Он ударил мне в лицо, и я почувствовал себя окончательно очищенным.

— Не оставляй меня, Мастер,— воззвал я. Мои слова проглотил ветер, но Мариус их услышал.

Он остановился, словно решил внять моим мольбам. Он повернулся и подождал, пока я поравняюсь с ним, а потом взял мою протянутую руку.

— Мастер, выслушай мой урок,— сказал я.— Суди мою работу.— Я поспешно перевел дух и продолжил: — Я видел, как ты пьешь кровь плохих людей, людей, осужденных в твоем сердце за какое-то серьезное преступление. Я видел, как ты пируешь,— и это твоя природа. Я видел, как ты забираешь кровь, без которой не можешь жить. И повсюду вокруг тебя существует мир зла — пустыня, полная людей, которые ничем не лучше животных, и они снабжают тебя кровью такой же густой и сладкой, как кровь невинной жертвы. Вот что ты хотел мне показать, и я это увидел.

Его лицо оставалось бесстрастным, а устремленный на меня взгляд — изучающим. Казалось, снедавшая его лихорадка медленно затухает. Его лицо освещали факелы с далеких галерей, оно постепенно белело и вновь становилось твердым. В гавани скрипели корабли. Издалека доносилось чье-то бормотание и крики тех, кто, вероятно, не мог уснуть или никогда не спал.

Я взглянул на небо, опасаясь, что увижу роковой свет. Тогда он уйдет.

— Если я вот так, Мастер, выпью кровь злодея и тех, кого я одолею, я стану таким, как ты?

Он покачал головой.

— Многие люди пьют чужую кровь, Амадео,— сказал он тихим, спокойным голосом. Рассудок возвращался к нему, равно как и привычные манеры — своего рода внешнее отражение его души.— Хочешь ли ты быть со мной, стать моим учеником, моим возлюбленным?

— Да, Мастер, навсегда и навеки — или же на тот срок, что отпустит нам судьба.

— Нет, я говорил не ради красного словца. Мы бессмертны. Только один враг способен нас уничтожить — это огонь, и не важно, будет ли источником его вон тот факел или дневное светило. Приятно сознавать, что, когда мы все-таки наконец устаем от этого мира, существует еще восход солнца.

— Я твой, Мастер.— Я крепко обнял его и попытался завоевать его поцелуями. Он терпел их и даже улыбался, но не шелохнулся и никак на них не ответил.

Но когда я оторвался от него и сложил правую руку в кулак, как если бы намеревался его ударить,— конечно, я бы на это не осмелился — он, к моему изумлению, начал сдаваться.

Он повернулся и бережно обнял меня сильными, но неизменно ласковыми руками.

— Амадео, я не могу без тебя жить.— В его ослабевшем голосе слышалось отчаяние.— Я хотел показать тебе зло, а не развлечение. Я хотел показать тебе безнравственную сторону моего бессмертия. И мне это удалось. Но при этом я и сам ее увидел, она затмила мне глаза, мне больно, я устал.

Он прижался ко мне головой и обнял еще крепче.

— Делайте со мной что хотите, сударь,— сказал я.— Заставьте меня страдать и стремиться к этому, если вам так угодно. Я ваш раб. Я ваш.

Он отпустил меня и поцеловал, на сей раз довольно холодно.

— Четыре ночи, дитя мое,— сказал он, отстраняясь.— Я ухожу исполнить долг перед древними. Увидимся через четыре ночи.

На прощание он поцеловал свои пальцы и приложил их к моим губам, а потом исчез.

Я остался один. Приближалось морозное утро. Я стоял в одиночестве под бледнеющим небом и знал, что искать его бессмысленно.

В величайшем унынии я побрел назад, из переулка в переулок, срезая путь по маленьким мостикам, чтобы забраться в самую сердцевину пробуждающегося города, сам не зная зачем.

Осознав, что вернулся к дому убитых мужчин, я слегка удивился, однако еще больше поразил меня тот факт, что дверь до сих пор открыта, как будто в любой момент мог появиться слуга. Тем не менее навстречу мне никто не вышел.

Небо постепенно бледнело и вскоре стало слабо-голубым. По поверхности канала полз туман. Я пересек мостик, ведущий к двери, и снова поднялся по ступенькам. Из неплотно захлопнутых окон просачивался мутный свет. Я нашел обеденный зал, где до сих пор горели свечи. В воздухе висел удушающий запах табака, воска и острой пищи.

Я вошел внутрь и обследовал трупы, лежавшие, как он их и оставил, в полном беспорядке; они слегка пожелтели, приобрели восковой оттенок и уже стали добычей мошек и мух.

В глухой тишине слышалось только жужжание насекомых.

Лужицы пролитого на столе вина подсохли. На трупах не сохранилось никаких следов насильственной смерти.

Меня снова затошнило, затошнило до дрожи, и я сделал глубокий вдох, чтобы сдержать рвоту. Тут я осознал, зачем пришел.

Ты, наверное, знаешь, что в те дни мужчины носили поверх курток короткие плащи, иногда прикреплявшиеся к верхней одежде. Такой плащ мне и понадобился, и я нашел его, сорвав со спины лежавшего лицом вниз горбуна. Это был ослепительно яркий плащ канареечно-желтого цвета, отороченный белой лисицей и подбитый плотным шелком. Я завязал на нем узлы,

чтобы получился прочный глубокий мешок, а потом поднялся и прошел к столу. Прежде чем сложить в импровизированный мешок кубки, я выплескивал из них остатки содержимого.

Закончив, я осмотрелся, дабы убедиться, что не пропустил ни один кубок. Нет, собраны все. Я осмотрел трупы: моего спящего рыжеволосого Мартино, уткнувшегося лицом в лужу вина, растекшегося по белому мрамору, и Франсиско, из чьей головы действительно вытекла небольшая струйка потемневшей крови.

Над этой кровью, как и над останками жареного поросенка, жужжали и гудели мухи. Налетел целый батальон черных жучков, очень распространенных в Венеции, так как их разносит вода,— они побежали по столу к лицу Мартино.

Через открытую дверь в зал проник спокойный согревающий свет. Наступило утро.

Обведя эту сцену последним взглядом, навсегда запечатлевшим в моей памяти каждую ее деталь, я вышел и отправился домой.

К моему приходу мальчики уже проснулись и занимались делами. Старый плотник ремонтировал дверь, которую я разбил топором.

Я передал служанке мешок с позвякивавшими в нем кубками, и она, сонная, только что пришедшая с улицы, приняла его, не сказав ни слова.

Внутри меня все сжалось, к горлу подступила тошнота, и мне показалось, что на этот раз меня непременно вырвет, а точнее, разорвет. Впечатление было такое, что мое тело чересчур мало, чтобы служить вместилищем всего, что я знаю и чувствую. В голове звенело. Мне хотелось лечь, но прежде необходимо было увидеть Рикардо — встретиться с ним и со старшими мальчиками. Обязательно.

Я побрел по дому, пока не нашел их,— они собрались на лекцию молодого адвоката, который приезжал из Падуи всего один-два раза в месяц, чтобы начать наше юридическое образование. Рикардо заметил меня в дверях и сделал жест, призывающий к молчанию. Говорил учитель.

Мне нечего было сказать. Я прислонился к двери и смотрел на своих друзей. Я любил их. Да, несомненно, любил. И готов был за них умереть. Как только я это осознал, слезы облегчения

безудержно хлынули из моих глаз. Увидев, что я отвернулся, Рикардо выскользнул из комнаты и подошел ко мне.

— Что случилось, Амадео? — спросил он.

Внутренние мучения довели меня до полубредового состояния. Я опять увидел умерщвленную компанию за обеденным столом. Я повернулся к Рикардо и заключил его в объятия, наслаждаясь его теплом и человеческой мягкостью, а затем сказал, что готов умереть за него, умереть за каждого из них и за Мастера тоже.

— Но почему, в чем дело, зачем сейчас эти клятвы? — спросил он. Я не мог рассказать ему о бойне. Я не мог рассказать ему о том, с каким хладнокровием наблюдал, как умирают люди.

Я скрылся в спальне Мастера, лег на кровать и постарался заснуть.

Поздно вечером, когда я проснулся и обнаружил, что дверь заперта, я выбрался из постели и подошел к письменному столу Мастера. К своему изумлению, я увидел, что там лежит его книга, та самая, которую он всегда прятал.

Конечно, я не посмел бы перевернуть ни единой страницы, но она была открыта, и страница передо мной была заполнена латинскими письменами. Хотя эта латынь показалась мне странной и сложной для понимания, заключительные слова я разобрал без ошибки:

«Как за такой красотой может скрываться такое израненное и непреклонное сердце, и почему я не могу его не любить, почему я в своей усталости не могу не опираться на его непреодолимую и одновременно неукротимую силу? Разве это не иссохший, мрачный дух мертвеца в детском обличье?»

Я почувствовал странное покалывание, распространившееся по голове и по руками. Так вот я какой! «Израненное и непреклонное сердце!», «иссохший, мрачный дух мертвеца в детском обличье!» Нет, я не мог это отрицать; не мог сказать, что это неправда. Но какими же обидными, какими категорично жестокими показались мне эти слова. Нет, не жестокими, а всего лишь безжалостными и точными. И какое право я имел ожидать чего-то другого?

Я заплакал.

Я по обыкновению лег на нашу кровать и взбил мягчайшие подушки.

Четыре ночи. И как я их выдержу? Чего он от меня хотел? Чтобы я попрощался со всем, что знал и любил смертным мальчиком? Вот такими были бы его указания. Так я и сделаю.

Но судьбой мне было отпущено всего несколько часов.

Меня разбудил Рикардо, тыча мне в лицо запечатанной запиской.

— Кто это прислал? — сонно спросил я. Я сел, просунул под сложенную бумагу большой палец и сломал восковую печать.

— Прочитай, и сам мне скажешь. Ее доставили четверо, компания из четырех человек. Должно быть, что-то чертовски важное.

— Да,— сказал я, разворачивая ее,— учитывая, какой у тебя перепуганный вид.— Он стоял надо мной, скрестив руки. Я прочел следующее:

«Дорогой мой ангел!

Не выходи из дома. Ни под каким предлогом не выходи на улицу и не впускай никого, кто захочет войти. Твой злобный английский лорд, граф Гарлек, путем самого нещепетильного вынюхивания установил твою личность и теперь клянется в своем безумии увезти тебя к себе в Англию или же сложить твои останки у дверей твоего господина. Признайся Мастеру во всем. Только его сила сможет тебя спасти. И непременно пришли мне в ответ записку, иначе я совсем потеряю голову — из-за тебя и из-за жутких историй, о которых все утро судачат на всех каналах и площадях.

Твоя верная Бьянка».

— Черт возьми,— сказал я, складывая письмо.— Мариуса не будет четыре ночи, а теперь еще и это. Мне что, все эти четыре ночи, самые важные, прятаться под этой крышей?

— Хорошо бы,— сказал Рикардо.

— Значит, ты уже все знаешь.

— Бьянка рассказала. Англичанин проследил за тобой до дома Бьянки и, услышав, что ты все время пробыл у нее, разнес бы ее комнаты, если бы гости всей толпой его не остановили.

— Ну почему же, ради всего святого, они его не убили? — с отвращением спросил я.

Он выглядел ужасно обеспокоенным и полным сочувствия.

— Думаю, они рассчитывают в этом на нашего господина,— сказал он,— раз уж этот человек гоняется за тобой. С чего ты так уверен, что Мастер собрался уехать на четыре ночи? Он приходит и уходит, никого не предупреждая.

— Х-м-м-м, не спорь со мной,— уверенно ответил я.— Рикардо, он вернется домой только через четыре ночи, а я не останусь сидеть взаперти в этом доме, тем более когда лорд Гарлек меня порочит.

— Лучше останься! — ответил Рикардо.— Амадео, этот человек прославился своим мечом. Он занимается с мастером фехтования. Он — гроза всех таверн. Ты же знал это, когда с ним связался, Амадео. Подумай, что ты делаешь. О нем говорят только плохое.

— Тогда пойдем со мной. Тебе достаточно будет отвлечь его, и я его убью.

— Нет, ты неплохо обращаешься с мечом, это правда, но ты не убьешь человека, который умел мастерски владеть клинком, еще когда тебя и на свете-то не было.

Я откинулся на подушки. Что мне делать? Я сгорал от нетерпения выйти в свет, от желания взглянуть на все с великим ощущением важности моих последних дней в человеческом мире... А что теперь? Мало того, человек, годный только на несколько ночей буйных хулиганских удовольствий, несомненно, всем и каждому сообщает о своем недовольстве.

Как ни горько было это сознавать, похоже, придется остаться дома. Ничего не поделаешь. Мне очень хотелось убить наглеца, убить своим собственным мечом и кинжалом. Мне даже казалось, что у меня есть все шансы... Но что значит это пустячное приключение в сравнении с тем, что ожидает меня по возвращении Мастера?!

Дело в том, что я уже покинул мир обыденных вещей, мир сведения заурядных счетов, и теперь меня нельзя было вовлечь в дурацкую авантюру, которая могла бы лишить меня права на ожидающую меня странную судьбу.

— Ладно, а Бьянка от него в безопасности? — спросил я Рикардо.

— В полной безопасности. У нее столько поклонников, что дом не в состоянии их вместить, и она всех настроила против него и в твою пользу. Теперь напиши ей что-нибудь, вырази благодарность и поклянись мне, что останешься дома.

Я поднялся и пошел к письменному столу Мастера. Я взял перо. Меня остановил жуткий грохот, сопровождаемый чередой пронзительных криков. В каменных комнатах зазвучало их эхо. Я услышал, как побежали люди. Рикардо встал в позицию и положил ладонь на рукоять меча.

Я приготовил собственное оружие, вынув из ножен как легкую рапиру, так и кинжал.

— Господи Боже, неужели этот человек в нашем доме?

Все крики заглушил ужасный вопль.

В дверях появился малыш Джузеппе с призрачно белым лицом и большими округлившимися глазами.

— Черт побери, в чем дело? — спросил Рикардо, хватая его за плечи.

— Он ранен ножом. Смотри, он весь в крови! — сказал я.

— Амадео, Амадео! — разнеслось по каменной лестнице. Это был голос англичанина.

Мальчик согнулся от боли. Удар пришелся прямо в живот, чудовищная жестокость. Рикардо был вне себя.

— Закрой дверь! — заорал он.

— Как же я закрою дверь,— закричал я,— если остальные могут случайно попасться ему на пути?

Я выбежал в большой зал и помчался в портего — главное помещение в доме.

На полу, скорчившись, лежал другой мальчик, Джакопо. Я увидел, что по камням течет кровь.

— Это уже переходит все границы! Настоящее избиение младенцев! — заорал я.— Лорд Гарлек, выходи. Тебя ждет смерть.

Я услышал за спиной крик Рикардо. Малыш, несомненно, умер.

Я побежал к лестнице.

— Лорд Гарлек, я здесь! — крикнул я.— Выходи, звероподобный трус, детоубийца! Я приготовил камень для твоей шеи!

Рикардо развернул меня в другую сторону.

— Вон там, Амадео,— прошептал он.— Я с тобой.— Он со свистом выхватил клинок. Он намного лучше меня обращался с мечом, но это был мой поединок.

Он стоял в противоположном конце портего. Я надеялся, что он будет еле держаться на ногах от пьянства, но мне не повезло. Я мгновенно увидел, что если он и лелеял мечту увезти меня силой, то она испарилась без следа; он убил двух мальчиков и понимал, что похоть довела его до последней грани. Передо мной был отнюдь не ослепленный любовью противник.

— Господь наш на небесах, помоги нам! — прошептал Рикардо.

— Лорд Гарлек,— закричал я.— Ты посмел устроить бойню в доме моего господина!

Я отступил в сторону от Рикардо, чтобы освободить нам обоим место, и сделал ему знак пройти вперед, подальше от верхней ступеньки. Я взвесил в руках рапиру. Недостаточно тяжелая. Господи, как я пожалел, что мало тренировался.

Англичанин направился ко мне. Я раньше и не замечал, какой он высокий, какие длинные у него руки, а это дает ему большое преимущество. Его плащ развевался, ноги облегали тяжелые сапоги, в одной руке он держал поднятую рапиру, в другой — свой длинный итальянский кинжал. По крайней мере, настоящего тяжелого меча у него не было.

Огромная комната зрительно уменьшала его размеры, тем не менее было видно, что он обладает мощным телосложением. На голове его пылали медные волосы, голубые глаза налились кровью, но он твердо стоял на ногах, и не менее твердым был его убийственный взгляд, хотя по лицу струились горькие слезы.

— Амадео! — воззвал он через все просторное помещение, надвигаясь на меня.— Я жил и дышал, но ты вырвал из моей груди сердце и забрал его с собой! Сегодня ночью мы вместе отправимся в ад.

6

Высокий длинный парадный зал нашего дома, портего, представлял собой отличное, просто идеальное место для поединка. Ничто не могло бы запятнать его потрясающие мозаичные полы с разноцветными мраморными кругами и праздничными узорами из сплетенных цветов и крошечных диких птиц.

Мы получили для сражения целое поле, ни один стул не мог попасться нам на пути, чтобы помешать убить друг друга.

Я двинулся на англичанина, не успев признаться себе, что я еще не слишком хорошо фехтую, что я никогда не проявлял к этому врожденных способностей и понятия не имею, что хотел бы сейчас от меня мой господин, то есть что бы он посоветовал, будь он рядом.

Я сделал несколько самоуверенных выпадов, которые лорд Гарлек парировал с такой легкостью, что я чуть было не отчаялся. Но в тот момент, когда я решил, что пора перевести дух и, может быть, даже бежать, он взмахнул кинжалом и рассек мое левое плечо. Порез ужалил меня и привел в бешенство.

Я вновь ринулся на него, и на этот раз мне повезло: я сумел добраться до его горла. Простая царапина, но из нее на тунику хлынула кровь, и, получив эту рану, он разозлился не меньше меня.

— Гнусный, проклятый дьяволенок,— говорил он,— ты заставил меня обожать тебя, чтобы притащить меня сюда и четвертовать в свое удовольствие. Ты же обещал, что вернешься.

На самом деле он изливал на меня такой словесный огонь на протяжении всего поединка. Наверное, он нуждался в нем, как нуждаются в поддержке боевого барабана и флейты во время атаки.

— Иди-ка сюда, паршивый ангелочек, я тебе крылышки пообрываю! — говорил он.

Обрушив на меня град быстрых выпадов, он отогнал меня назад. Я споткнулся, потерял равновесие и упал, но мне удалось вскочить на ноги и использовать низкую позицию, чтобы нанести удар в опасной близости от его мошонки, из-за чего он вздрогнул от неожиданности. Я бросился на него, понимая, что любое промедление не в моих интересах.

Он уклонился от моего клинка, засмеялся и сверкнул кинжалом, на сей раз попав мне в лицо.

— Свинья! — заревел я, не успев остановиться. Я и не знал, что так безнадежно тщеславен. Мое лицо — ни больше ни меньше. Он порезал его! Мое лицо! Я почувствовал, как хлещет кровь,— лицевые раны всегда сильно кровоточат — и ринулся на него, теперь уже забыв обо всех правилах поединка, неистово вращая рапиру, рассекая воздух. Пока он отчаянно парировал удары то справа, то слева, я увернулся, вонзил кинжал ему в

живот и рванул лезвие вверх, однако оно наткнулось на толстый, инкрустированный золотом кожаный ремень.

Я попятился, когда он попытался заколоть меня одновременно и рапирой, и кинжалом, но тут он выронил оружие и схватился за вываливающиеся наружу внутренности.

Он упал на колени.

— Прикончи его! — заорал Рикардо. Он, как человек чести, стоял сзади.— Прикончи его, быстрее, Амадео, или это сделаю я. Подумай, что он устроил под этой крышей.— Я поднял рапиру.

Англичанин внезапно схватил собственную рапиру и со стоном, морщась от боли, сверкнул ею в мою сторону. Он рывком поднялся и кинулся на меня. Я отскочил. Он снова рухнул на колени. Ему было плохо, он дрожал. Он уронил рапиру, опять схватившись за раненый живот. Мой противник не умер, но и сражаться дальше не мог.

— О Господи,— прошептал Рикардо, сжимая свой кинжал. Но было видно, что он не может поднять руку на безоружного.

Англичанин перевернулся на бок и подтянул к животу согнутые в коленях ноги. С гримасой боли он положил голову на камень, сделал глубокий вдох, и его лицо разгладилось. Он боролся с ужасной болью и не желал верить, что ему пришел конец.

Рикардо вышел вперед и приставил кончик меча к щеке лорда Гарлека.

— Он умирает, дай ему умереть,— сказал я.

Но Гарлек продолжал дышать.

Я хотел убить его, действительно хотел, но невозможно было убить того, кто лежал передо мной так спокойно и бесстрашно.

В глазах Гарлека появилось мудрое мечтательное выражение.

— Значит, вот здесь все и закончится,— сказал он едва слышно — так тихо, что, возможно, Рикардо даже этого не разобрал.

— Да, закончится,— подтвердил я.— Так пусть это произойдет благородно.

— Амадео, он убил двоих детей! — сказал Рикардо.

— Возьми свой кинжал, лорд Гарлек! — Ногой я подтолкнул к нему оружие, а потом вложил кинжал прямо ему в руку.— Бери, лорд Гарлек,— повторил я.

Кровь текла по моему лицу, заливая шею, щекочущая, липкая. Это становилось невыносимо. Мне больше хотелось заняться собственными ранами, чем возиться с ним.

Он перевернулся на спину. Изо рта и из распоротого живота полилась кровь. Его лицо взмокло и заблестело, дышать становилось все труднее. Он снова казался совсем юным, юным, как в тот момент, когда он угрожал мне, мальчик-переросток с густой копной пламенеющих кудрей.

— Вспомни обо мне, когда начнешь покрываться потом, Амадео,— сказал он хриплым, по-прежнему едва слышным голосом.— Вспомни обо мне, когда до тебя дойдет, что тебе тоже не жить.

— Пронзи его насквозь,— прошептал мне Рикардо.— С такой раной он может умирать целых два дня.

— А у тебя и двух дней не останется,— сказал с пола лорд Гарлек, ловя ртом воздух.— Ведь твои раны отравлены. Чувствуешь боль в глазах? У тебя же горят глаза, не так ли, Амадео? Попадая в кровь, яд первым делом действует на глаза. Голова еще не кружится?

— Ублюдок! — Рикардо трижды пронзил его рапирой.

Лорд Гарлек изменился в лице. Его веки дрогнули, а изо рта вытек последний сгусток крови. Он был мертв.

— Яд? — прошептал я.— Отравленный кинжал? — Я инстинктивно потрогал раненое плечо. Порез на лице, однако, был еще глубже.— Не трогай ни рапиру, ни кинжал. Яд!

— Он лгал, пойдем, я тебя умою,— сказал Рикардо.— Нельзя терять время.— Он попытался вытащить меня из комнаты.

— Что же нам с ним делать, Рикардо? Что нам делать? Мы здесь одни, Мастера нет. В доме три трупа, а может, и больше.

Не успел я договорить, как с обоих сторон холла послышались шаги. Это малыши выходили из своих укрытий, и я заметил среди них одного из учителей — он, очевидно, удерживал детей подальше от места поединка.

По этому поводу у меня возникли смешанные чувства. Но все они были еще детьми, а учитель — безоружный, беспомощный ученый. Старших мальчиков, как повелось, по утрам в доме не было. Так я, во всяком случае, думал.

— Идемте, нужно перенести их в пристойное место,— сказал я.— Не трогайте оружие.— Я сделал малышам знак подой-

ти.— Давайте перенесем его в лучшую спальню. И мальчиков тоже.

Малыши изо всех сил старались слушаться, но некоторые из них расплакались.

— Да помогите же нам! — обратился я к учителю.— Осторожно, оружие отравлено.— Он уставился на меня как безумный.— Я не шучу. Это яд.

— Амадео, да ты весь в крови! — пронзительно закричал он.— Что значит — оружие отравлено? Господи, спаси нас!

— Да прекратите вы! — сказал я, но больше выносить эту ситуацию не мог и, когда Рикардо взял на себя заботы о переноске тел, помчался в спальню Мастера, чтобы обработать раны.

В спешке я опорожнил весь кувшин с водой в таз и схватил салфетку, останавливая кровь, стекавшую по шее под рубашку. Липкая, липкая дрянь... Все поплыло перед глазами, и я чуть не упал. Ухватившись за край стола, я велел себе не думать о том, что сказал лорд Гарлек. Рикардо был прав. Лорд Гарлек все выдумал насчет яда. Отравить клинок — подумать только!

Утешая себя таким образом, я опустил глаза и впервые увидел царапину на тыльной стороне правой ладони, очевидно оставленную его рапирой. Ладонь распухла, как после укуса ядовитого насекомого.

Я потрогал плечо и лицо. Раны и порезы отекали все больше. Голова опять закружилась. Прямо в таз закапал пот — теперь в нем плескалась красная, как вино, вода.

— О Господи! Дьявол таки сделал это,— пробормотал я. Я повернулся, меня сильно качнуло в сторону, а комната накренилась и поплыла.

Кто-то подхватил меня. Я попытался позвать Рикардо, но язык во рту не ворочался.

Все звуки и краски смешались в горячее, пульсирующее пятно. Потом я с изумительной четкостью увидел над головой расшитый балдахин кровати Мастера. Надо мной стоял Рикардо.

Он что-то говорил — быстро и испуганно, но я не мог разобрать, что именно. Мне даже казалось, что я слышу иностранную речь — приятную, очень мелодичную и совершенно мне незнакомую.

— Мне жарко,— сказал я,— я горю, мне так жарко, что я этого не выдержу. Мне нужна вода. Положи меня в ванну Мастера.

Казалось, он меня вообще не слышит. Он не прекращал умолять меня о чем-то. Я почувствовал, что он положил руку на мой лоб, и она словно обожгла меня — ощущение было очень резким. Я взмолился, чтобы он меня не трогал, но он не слышал, да и я тоже! На самом деле я не произнес ни слова. Я лишь хотел, но язык стал слишком большим и тяжелым. «Ты же отравишься!» — хотел крикнуть я. И не смог.

Я закрыл глаза. Меня увлек за собой милосердный поток. Я увидел бескрайнее сверкающее море, волны за островом Лидо, узорчатые и прекрасные в лучах полуденного солнца. Я плыл по этому морю — возможно, на маленьком баркасе, а быть может, просто на спине. Я не чувствовал самой воды, но ничто, казалось, не отделяло меня от нежных покачивающихся волн, высоких, медленных, легких, то поднимавших меня вверх, то опускавших. На далеком берегу поблескивал огромный город. Сперва я решил, что это Торчелло или даже Венеция, что меня каким-то образом развернуло в обратном направлении и несет назад, к земле. Потом я увидел, что он намного больше Венеции, что небо пронзают высокие, отражающие солнце башни, как будто он целиком построен из сверкающего стекла. Как же там было красиво.

— Я попаду туда? — спросил я.

Казалось, воды сомкнулись надо мной, но не удушающей пеленой, а умиротворяющим покрывалом тяжелого света. Я открыл глаза и увидел красную тафту балдахина над кроватью, золотую бахрому, украшавшую бархатные драпировки, а потом надо мной склонилась Бьянка Сольдерини. В руке она держала кусок ткани.

— Яда на этом кинжале было недостаточно, чтобы ты умер,— сказала она.— Ты просто заболел. Теперь послушай меня, Амадео. Каждый твой вздох должен быть спокойным и сильным, ты должен настроиться на борьбу с болезнью — и тогда непременно поправишься. Ты должен просить сам воздух дать тебе силы, должен дышать глубоко и медленно, да, вот так... И не смей терять уверенность. Пойми, что яд постепенно выходит из тебя вместе с потом. Ты не имеешь права бояться!

— Мастер узнает,— сказал Рикардо. Он выглядел осунувшимся и несчастным, губы дрожали, глаза были полны слез. Да, безусловно, зловещий знак.— Мастер так или иначе узнает. Он все знает. Мастер прервет путешествие и вернется домой.

— Оботри ему лицо,— спокойно сказала Бьянка.— Оботри ему лицо и помолчи.

Какая же она храбрая!

Я пошевелил языком, но не смог выговорить ни слова. Я хотел попросить, чтобы мне обязательно сказали, когда сядет солнце, поскольку тогда, и только тогда, может появиться Мастер. Конечно, такая возможность существует. Тогда, и только тогда. Может быть, он придет.

Я отвернулся от них. Даже ткань обжигала мне лицо.

— Мягко, спокойно,— сказала Бьянка.— Вдохни воздух, вот так, и не бойся.

Я долго пролежал, паря на грани сознания и забытья, испытывая бесконечную благодарность за то, что их голоса звучат не очень громко, а прикосновения не слишком резки. Но потеть было отвратительно, и я отчаянно жаждал оказаться где-нибудь в прохладном месте.

Я метался в постели и один раз даже попытался встать, но почувствовал жуткую тошноту, до рвоты. С огромным облегчением я осознал, что меня уложили обратно.

— Не отпускай мои руки,— вновь услышал я голос Бьянки.

Ее пальцы коснулись моих — такие маленькие и очень горячие, горячие, как все вокруг, горячие, как ад... Но мне было слишком плохо, чтобы думать об аде, слишком плохо, чтобы думать о чем-нибудь, кроме того, чтобы меня наконец вырвало в таз и чтобы вокруг меня разлилась спасительная прохлада... Хоть бы кто-нибудь открыл окна! Да, я понимал, что на улице зима, но разве это могло иметь значение. Мне так хотелось, чтобы открыли окна!

Вероятность смерти казалась мне досадной помехой, только и всего. Гораздо важнее было избавиться наконец от всех ужасных ощущений, и никакие мысли о душе и о загробном мире меня не волновали.

И вдруг все резко изменилось.

Я почувствовал, что взмываю вверх, как будто кто-то схватил меня за голову и пытается протащить сквозь балдахин и

дальше — сквозь потолок комнаты. Взглянув вниз, я, к своему великому изумлению, увидел себя лежащим на кровати. Причем совершенно отчетливо, словно никакого балдахина над постелью и не было.

Я и представить не мог, что так красив. Только пойми меня правильно: тогда я отнесся к этому открытию совершенно бесстрастно и только отметил про себя: «Надо же, какой красивый мальчик. Как щедро одарил его Бог. Смотри, какие у него длинные, тонкие пальцы, смотри, какие темные, рыжевато-коричневые волосы...» Я всегда был таким, но не сознавал своей привлекательности. Впрочем, откровенно говоря, я об этом и не задумывался, меня мало интересовало, какое впечатление производит моя внешность на тех, с кем приходилось сталкиваться в течение жизни. Я не верил льстивым речам. Страсть, которую испытывали ко мне многие из окружающих, вызывала во мне только презрение. Даже вожделение моего господина казалось мне проявлением слабости и заблуждения. Но теперь я понял, почему люди при виде меня буквально теряли голову. Тот мальчик, что умирал на постели, тот мальчик, что стал причиной всеобщих рыданий, казался воплощением чистоты, воплощением юности, стоящей на пороге жизни.

Единственное, что казалось нелогичным, это смятение, царившее в огромной комнате.

Почему они все плачут? В дверях я увидел знакомого священника из соседней церкви и заметил, что мальчики спорят с ним и не позволяют приблизиться к постели, опасаясь, что я могу испугаться. Все происходящее представлялось мне бессмысленным. Почему Рикардо в отчаянии заламывает руки? Чего ради суетится Бьянка, зачем она носится с этой мокрой тряпкой и лихорадочно шепчет мне какие-то ласковые слова?

«Ох, бедный мальчик,— подумал я.— Если бы ты знал, какой ты красивый, ты мог бы испытывать к окружающим побольше сочувствия, мог бы считать себя немного сильнее и быть более уверенным в собственных возможностях, в способности добиться чего-то самостоятельно. Ведь ты играл с людьми в коварные игры только потому, что не верил в себя и даже не знал, какой ты на самом деле».

Нелепость ситуации виделась мне совершенно отчетливо. Но я покидал этот мир! Тот же поток воздуха, который вытолкнул

меня из лежавшего на кровати очаровательного молодого тела, увлекал меня еще выше — в туннель, где яростно шумел ветер...

Ветер захлестнул меня, окончательно затащил в тесное пространство туннеля, и я увидел, что нахожусь в нем отнюдь не один, что в него попали и другие — и теперь они тоже кружатся в непрекращающемся яростном вихре. Я заметил, что они смотрят на меня, увидел их открытые, искаженные мукой рты. Меня тянуло по туннелю все выше и выше. Я не чувствовал страха, но испытывал ощущение обреченности. Я ничем не мог себе помочь.

«Вот в чем заключалась твоя ошибка, пока ты был тем распростертым на постели мальчиком,— думал я.— Но теперь все действительно безнадежно». И в тот момент, когда я пришел к этому выводу, я достиг конца туннеля. Он исчез — словно растворился. Я стоял на берегу прекрасного сверкающего моря.

Волны не замочили меня, но я их помнил и сказал вслух:

— Наконец-то я здесь, я добрался до берега! А вот и стеклянные башни!

Подняв голову, я увидел, что до города еще далеко, что он лежит за цепью зеленых холмов, что к нему ведет тропа, а по обе ее стороны раскинулись целые поля ярких роскошных цветов. Я никогда не видел таких цветов, никогда не видел лепестков такой формы и в таких сочетаниях, и никогда за всю жизнь глазам моим не открывались такие краски и оттенки. В палитрах художников для этих красок названий не было. Я бы не мог определить их теми немногочисленными и неадекватными терминами, что были мне известны.

«О, в какой восторг привели бы венецианских художников такие краски,— думал я,— и представить только, как бы они преобразили наши работы, как бы они воспламенили наши картины, если бы удалось найти их источник, растолочь их в порошок и смешать с нашими маслами. Но какой в этом смысл? Картины больше не нужны».

Все великолепие, которое можно запечатлеть в красках, открылось в этом мире. Я видел его в цветах. Я видел его в пестрой траве. Я видел его в бескрайнем небе над собой, уходившем далеко за ослепительный город, который тоже сверкал и переливался грандиозным, гармоничным сочетанием красок, смешавших-

ся, мигающих, мерцающих, словно башни города были сделаны не из мертвой или земной материи, а из волшебной бурлящей энергии.

Меня переполняла огромная благодарность — я отдался ей всем моим существом.

— Господи, теперь я вижу,— произнес я вслух.— Я вижу и понимаю.

В тот момент мне действительно предельно ясно открылся подтекст этой разносторонней и постоянно усиливавшейся красоты, этого трепетного, светящегося мира. Он до того исполнился смыслом, что я нашел ответы на все вопросы и все наконец-то окончательно разрешилось. Я вновь и вновь повторял шепотом слово «да». Я, кажется, кивнул, а потом выражать что-то словами показалось мне полным абсурдом.

В этой красоте сквозила великая сила. Она окружила меня, как воздух, ветер или вода, но она не имела к ним отношения. Она была гораздо более разреженной и глубинной и, удерживая меня с внушительной силой, тем не менее оставалась невидимой, лишенной ощутимой формы и напряженности. Этой силой была любовь.

«О да,— думал я,— это любовь, совершенная любовь, и в своем совершенстве она наполняет смыслом все, что я когда-либо знал и испытал: каждое разочарование, каждую обиду, каждый ложный шаг, каждое объятие, каждый поцелуй... Все это было только предзнаменованием божественного приятия и добра, ибо дурные поступки показывали, чего мне недостает, а хорошие — пусть даже только на мгновение — приоткрыли завесу над тайной истинной любви...»

Эта любовь наполнила смыслом всю мою жизнь, вплоть до, казалось бы, самых незначительных ее обстоятельств. И пока я этим восторгался, пока всецело, без малейших сомнений, отдавался ей, начался удивительный процесс: вся моя жизнь вернулась ко мне в образах тех, кого я когда-либо знал.

Я увидел свою жизнь с самых первых секунд и до того момента, который привел меня сюда. В этой жизни не нашлось ничего особенно примечательного; в ней не хранилось ни великой тайны, ни перелома, ни судьбоносного события, которое изменило бы мою душу. Напротив, она оказалась вполне есте-

ственной и заурядной цепочкой мириад крошечных событий, и каждое из них касалось других душ, так или иначе связанных со мной. Теперь я осознал нанесенные мною обиды и услышал те мои слова, что приносили успокоение, я увидел результат своих повседневных поступков. Я увидел обеденный зал, пировавших в нем флорентийцев и вновь постиг смятение и одиночество, в котором они пребывали перед смертью. Я увидел печаль и полную оторванность от окружающего мира их душ, сражающихся за то, чтобы остаться в живых.

Единственное, чего я не видел, это лица моего господина. Я не видел, кто он такой. Я не видел его душу. Я не видел, что значит для него моя любовь или что значит его любовь для меня. Но это не имело значения. В действительности я осознал это только позже, когда пытался передать испытанные мной ощущения. Пока что важно было только понимание того, что означает дорожить остальными и ценить саму жизнь. Я осознал, что значило рисовать картины — не рубиново-красные, кровавые и животрепещущие венецианские полотна, но старинные картины в древнем византийском стиле, которые когда-то, на редкость совершенные и безыскусные, выходили из-под моей кисти. Теперь я вспомнил, что в прошлом писал удивительные иконы, и увидел эффект, произведенный моими творениями... И мне казалось, что я буквально тону в этом огромном потоке информации. Ее накопилось так много, и тем не менее все это богатство было так легко воспринимать, что я почувствовал великую и окрыляющую радость.

Знания эти были сродни любви и красоте. И я вдруг осознал, что фактически все эти понятия — знания, любовь, красота — составляют единое целое.

Душа моя наполнилась торжеством и великим счастьем.

«Ну да, конечно, как же я не понял, ведь на самом деле все так просто!» — думал я.

Обладай я в тот момент телом, будь у меня глаза, я бы непременно заплакал. Но это были бы сладостные слезы. В действительности же моя душа пребывала, так сказать, вне пределов всего мелочного, обыденного, способного лишить воли. Я оставался спокойным, и знания, факты, то есть сотни и сотни мелких подробностей, которые, как прозрачные капли волшебной

жидкости, проходили сквозь меня, наполняли меня и исчезали, уступая дорогу новым нитям этого водопада истины, внезапно поблекли.

Там, впереди, стоял стеклянный город, а за ним высилось голубое, как в полдень, небо. Только теперь его заполнили все существующие на свете звезды.

Я устремился к городу, причем так поспешно и целенаправленно, что задержать меня смогли только три человека.

Потрясенный до глубины души, я застыл на месте. Этих людей я знал. Они были священниками — монахами, старыми монахами из моей родной страны, которые умерли задолго до того, как я нашел свое призвание. Теперь я видел все это очень отчетливо, я знал их имена, знал, от чего они умерли. На самом деле это были святые покровители моего города и огромного монастыря с пещерами, где я раньше жил.

— Зачем вы меня держите? — спросил я.— Где мой отец? Он уже здесь, правда?

Не успел я задать этот вопрос, как увидел своего отца. Он выглядел точно так же, как и всегда: крупный мужчина в кожаных охотничьих одеждах, с взлохмаченной бородой и длинными каштановыми волосами, того же цвета, что и у меня. Его щеки покраснели от холодного ветра, а нижняя губа, отчетливо видная между густыми усами и бородой с проседью, насколько я помнил, была влажной и розовой. Глаза по-прежнему оставались ярко-синими. Он, как обычно, с доброй улыбкой помахал мне рукой. Он выглядел так, словно, невзирая на советы и предостережения, опять собрался поохотиться в степи. Он совершенно не боялся монголо-татарских налетов. В конце концов, при нем был большой лук, такой тугой, что натянуть его мог только он, с ним были его остро заточенные стрелы и огромный широкий меч, одного удара которого было достаточно, чтобы снести человеку голову с плеч. Словом, мой отец походил на мифического героя великих, поросших травой степных просторов.

— Отец, почему они меня держат? — спросил я.

Однако взгляд его вдруг стал пустым, улыбка погасла, а лицо утратило всякое выражение. Не прошло и минуты, как образ его поблек и рассеялся в воздухе. К моей глубочайшей, невыразимой печали, он исчез.

— Андрей, твое время еще не пришло,— сочувственно утешали меня стоявшие рядом монахи с длинными седыми бородами, облаченные в черные рясы.

Я чувствовал себя бесконечно несчастным. Мне стало так грустно, что я не в силах был произнести хоть слово в ответ. Я понял, что никакие мои возражения ничего не изменят, и один из монахов взял меня за руку.

— Ну вот, вечно с тобой так,— сказал он.— Что ж, спрашивай.

Он не шевелил губами, но в этом не было необходимости. Я слышал его очень отчетливо и знал, что он на меня не сердится. На такое он был не способен.

— Почему,— спросил я,— мне нельзя остаться? Почему вы не позволяете мне остаться, если я того хочу и если уж я сюда пришел?

— Подумай обо всем, что ты увидел. Ты знаешь ответ.

Должен признаться, что в то же мгновение я действительно понял ответ. Сложный и одновременно крайне простой, он был подсказан мне теми знаниями, которые я получил.

— Ты не сможешь унести эти знания с собой,— сказал монах.— Ты забудешь практически все, что здесь увидел. Но всегда помни общий урок: значение имеет только любовь — твоя любовь к другим, их любовь к тебе, любовь ко всему и вся в окружающей тебя жизни.

Его объяснение показалось мне чудесным и исчерпывающим! Это были не пустые слова, нет! Это было нечто безмерное, неуловимое, но столь всеобъемлющее, что все смертные преграды непременно должны были рухнуть перед лицом, казалось бы, простой истины.

Еще миг — и я вернулся в свое тело. Я вновь превратился в мальчика с каштановыми волосами, умирающего на кровати. Руки и ноги зудели, а когда я изогнулся, спину обожгла жуткая боль. Я по-прежнему горел, потел и корчился в муках, губы потрескались, оцарапанный о зубы язык распух.

— Воды...— попросил я.— Пожалуйста, дайте мне воды...

В ответ послышались тихие всхлипывания, перемежающиеся смехом и восклицаниями, выражавшими благоговейный восторг.

Они уже оплакивали меня, но, как оказалось, преждевременно. Я открыл глаза и посмотрел на Бьянку.

— Мне пока рано умирать.

— Что ты сказал, Амадео? — спросила она, наклоняясь и прижимаясь ухом к моим губам.

— Пока рано...— повторил я.

Мне принесли холодного белого вина с медом и лимоном. Я сел и выпил его маленькими глотками.

— Еще...— слабым голосом тихо попросил я, проваливаясь в сон.

Я вновь опустился на подушки и почувствовал, как Бьянка нежно прикладывает салфетку к моему лбу и опущенным векам. Какое чудесное милосердие! Как важно уметь приносить небольшое, но благородное успокоение, которое сейчас для меня, быть может, важнее всего в целом мире. Целый мир... Целый мир...

Я забыл, что именно видел на той стороне! Мои глаза распахнулись. Я отчаянно старался восстановить в памяти детали. И вспомнил монаха — так живо, словно мы только что разговаривали в соседней комнате. Он ведь сказал, что я не смогу вспомнить. А там было бесконечно много всего — неведомого, необъяснимого, такого, что подвластно разуму лишь моего господина.

Я закрыл глаза и заснул. Но видения не желали возвращаться. Жар не спадал, я чувствовал себя ужасно, однако все-таки дремал, смутно сознавая, что лежу на влажной горячей постели, под балдахином, что в воздухе разлита духота, что до слуха моего неясно доносятся голоса мальчиков и тихие наставления Бьянки. Рядом тикали мои часы — я узнавал их звук. Постепенно я почувствовал некоторое облегчение — а быть может, просто привык к ощущению жара и жажды и перестал обращать внимание на обильно выступивший по всему телу пот. Я лежал, дремал и безропотно ждал прихода Мастера.

«Мне столько нужно тебе рассказать,— думал я.— И прежде всего — про стеклянный город! Я должен объяснить, что когда-то я был...» Кем? Я не мог вспомнить. Художником — да. Но каким именно? Что я рисовал? И как меня звали? Андрей? Кто и когда дал мне это имя?

7

Шло время, и постепенно жаркую постель и душную комнату скрыла упавшая на них темная пелена небес, усыпанная мириадами звезд-часовых. Во всем своем великолепии они сияли над блестящими башнями стеклянного города, и в этом полусне, находясь во власти самой утешительной и благословенной из всех иллюзий, я услышал, как звезды запели мне песню.

Каждая звезда в бездонной пустоте неба имела собственное место в том или ином созвездии и издавала чудесный мерцающий звук, словно в глубине каждого пылающего шара брался грандиозный аккорд, а затем посредством некоего сверкающего круговращения разносился по всей вселенной.

Никогда мои земные уши не слышали такого звука. Но никакие слова, никакие описания не могут дать хотя бы приблизительное представление об этой воздушной и прозрачной музыке, об этой гармонии и праздничной симфонии.

«Господь мой, будь Ты музыкой, таким был бы Твой глас, и никакой разлад не смог бы восторжествовать над Тобой. Ею — чистейшим выражением Твоего непостижимого и чудесного замысла — Ты очистил бы мир от каждого тревожного шума. И пред ее громогласным совершенством померкла бы всякая банальность».

Такой была моя молитва, прочувствованная, в высшей степени личная,— молитва, произнесенная на древнем языке, пока я спал.

«Останьтесь со мной, прекрасные звезды,— умолял я,— и пусть я никогда не осмелюсь даже на попытку разгадать это слияние света и звука, а только отдамся ему, окончательно, без сомнений и вопросов».

Источая холодные царственные лучи, звезды увеличились до бесконечности, и ночь постепенно ушла — остался только великолепный свет, льющийся неизвестно откуда.

Я улыбнулся. Я вслепую пощупал губы и ощутил под пальцами собственную улыбку, а когда свет зажегся еще ярче и ближе, как будто стал целым океаном света, почувствовал, как по моему телу разливается спасительная прохлада.

— Не гасни, не уходи, не оставляй меня...— Мой горестный шепот был едва слышен. Я вжался дрожащей головой в подушку.

Но его время, время этого величественного и первичного света, истекло, свету предстояло померкнуть и оставить перед моими полузакрытыми глазами обыденно дрожащие свечи... Моим глазам предстали в полумраке только повседневные вещи: четки с рубиновыми бусинами и золотым крестом, вложенные в мою правую руку, или лежащий слева открытый молитвенник, страницы которого подрагивали от легкого дуновения ветра, рябь на гладкой тафте, натянутой на золотую раму...

Как же были красивы эти простые, заурядные вещи! Куда они ушли — моя милая сиделка с лебединой шеей и мои плачущие товарищи? Может быть, ночь утомила их и вынудила отправиться спать в другое место, дабы позволить мне в полной мере оценить тихие минуты одинокого бодрствования? Мой разум переполняли тысячи отчетливых воспоминаний.

Я открыл глаза. Никого не было, за исключением одной фигуры рядом со мной на кровати. Я ощутил на себе равнодушный, отстраненный и одновременно мечтательный взгляд холодных, гораздо более светлых, чем летнее небо, голубых глаз, казавшихся едва ли не граненными.

Мастер! Сложив руки на коленях, он наблюдал за мной словно издалека, как будто ничто не могло потревожить величие его изваяния, и выглядел совершенно посторонним. Казалось, что его навсегда застывшее лицо никогда не знало улыбки.

— Безжалостный! — прошептал я.

— Нет, о нет,— сказал он, хотя губы его даже не шевельнулись.— Но расскажи мне еще раз эту историю. Опиши мне тот стеклянный город.

— Ах да, мы же о нем уже говорили, не так ли? О тех монахах, которые велели мне вернуться, и о старых картинах — они такие древние и, на мой взгляд, очень красивые. Понимаешь, они были созданы не руками, а вложенной в меня силой. Она входила в меня, а мне оставалось только взять кисть и с легкостью писать лики Богородицы и святых.

— Не отбрасывай от себя эти старые образы,— сказал Мастер, и снова его губы не дрогнули, произнося слова, которые я тем не менее ясно слышал, а тон и тембр его голоса пронзали

мои уши.— Ибо образы меняются, и то, что сегодня разумно и логично, завтра станет суеверием. А в открывшейся тебе древней строгости лежит великая неземная цель, неослабевающая чистота. Но расскажи мне еще раз про стеклянный город.

Я вздохнул.

— Ты, как и я, не понаслышке знаешь, что такое жидкое стекло,— начал я.— Ты видел, как его достают из печи с помощью железного копья: раскаленный шар, чудовищно горячий, плавится, роняя капли, в ожидании, когда художник придаст ему ту или иную форму или же наполнит его воздухом, чтобы получить идеально круглый сосуд. Так вот, представь себе, что это стекло поднялось из недр самой Матери Земли — поток, фонтанами выброшенный в облака... И эти огромные фонтаны превратились в населенные башни стеклянного города — не в подражание формам, созданным человеком, но в идеальные конструкции невообразимых тонов, предопределенные и воплощенные раскаленной силой самой земли. Кто обитал в таком месте? Мне показалось, что оно очень далеко, но вполне достижимо: достаточно лишь прогуляться немного по великолепным холмам с поросшими зеленой травой и фантастически прекрасными цветами склонами.

Рассказывая о своем удивительном, невероятном видении, я смотрел в сторону, погружаясь в зрительные воспоминания, однако теперь перевел взгляд на Мастера.

— Скажи, что все это значит? Где находится это место, и почему мне позволили на него посмотреть?

Он грустно вздохнул и на миг отвернулся. А когда вновь обратил ко мне застывшее, отчужденное лицо, я увидел, что, как и позавчера ночью, по жилам его течет теплая человеческая кровь. Поздняя трапеза в этот вечер, несомненно, уже состоялась.

— Неужели ты даже не улыбнешься, если пришел попрощаться? — спросил я.— Если ты ничего не чувствуешь, кроме горечи и холода, и позволишь мне умереть от свирепой лихорадки? Ты знаешь, какую тошноту я испытываю, ты знаешь, как у меня болит голова, как сводит все суставы, как горят от бесспорно смертельного яда раны. И если ты вернулся домой, чтобы побыть рядом со мной, то почему остаешься таким далеким и словно бы ничего не чувствуешь?

— Я, как всегда, переполнен любовью,— ответил он,— дитя мое, мой любимый, выносливый сын. Любовь... Она замурована там, где ей, наверное, и надлежит остаться, ибо ты прав, и смерть твоя неизбежна. Тогда, может быть, те монахи примут тебя, ибо тебе некуда будет вернуться, а следовательно, другого выбора у них не останется.

— Да, но вдруг таких мест много? Что, если в другой раз я окажусь на ином берегу, где из кипящей земли поднимается не открывшаяся мне тогда красота, а сера? Мне больно. Эти слезы — как кипяток. Столько всего потеряно. Я не могу вспомнить. Кажется, я слишком часто повторяю одно и то же. Я не могу вспомнить! — Я протянул руку. Мастер не шевельнулся. Моя рука отяжелела и упала на забытый молитвенник. Пальцы нащупали жесткие пергаментные страницы.

— Что убило твою любовь? То, что я сделал? Что по моей вине сюда пришел человек, убивший моих братьев? Или что я умер и увидел такие чудеса? Отвечай!

— Я и сейчас тебя люблю. И буду любить, каждую ночь и каждый день, проведенный во сне,— словом, всегда. Твое лицо — это подаренное мне сокровище, которое я никогда не забуду, хотя и могу безрассудно потерять. Его блеск будет мучить меня целую вечность. Амадео, подумай обо всем еще раз, открой свои мысли, как раковину, позволь мне увидеть жемчужину — то, чему они тебя научили.

— А ты сможешь, Мастер? Ты сможешь понять, как любовь, и только любовь, может быть важной настолько, чтобы заключать в себе весь мир? Даже травинки, листья деревьев, пальцы руки, которая тянется к тебе? Любовь, Мастер! Любовь! Но кто поверит в такую простую и всеобъемлющую истину, когда существуют хитроумные лабиринты вероучений и философии, полные созданной человеком, неизменно соблазнительной сложности? Любовь... Я слышал ее звук. Я ее видел. Или это были галлюцинации охваченного лихорадкой разума — разума, который боится смерти?

— Может быть...— Лицо его по-прежнему оставалось бесчувственным, неподвижным. Глаза сузились, словно ослепленные увиденным.— О да,— сказал он.— Ты умрешь. Я дам тебе умереть, и, думаю, для тебя, возможно, существует только один берег, где ты опять найдешь своих монахов, свой город.

— Мое время еще не пришло,— возразил я.— Я знаю. И за короткий срок нельзя что-либо изменить. Разбей эти тикающие часы. Они хотели сказать, что час земного воплощения души еще не пробил. Судьба, при рождении написанная у меня на руке, не может так скоро осуществиться или так легко потерпеть поражение.

— Я могу устранить все препятствия, дитя мое.— На этот раз я увидел, что губы Мастера шевелятся. Его лицо приобрело приятный бледно-коралловый оттенок, глаза внезапно широко раскрылись, он снова стал самим собой — тем, кого я знал, тем, кем дорожил.— Мне так просто было бы забрать у тебя последние силы.— Он наклонился надо мной. Я увидел крошечные пестрые полоски в зрачках его глаз, яркие лучистые звезды за более темной радужной оболочкой. Его рот с удивительно тонкими линиями губ был розовым, как будто на нем был запечатлен поцелуй человека.— Мне так просто было бы выпить последний роковой глоток твоей детской крови, последнюю каплю свежести, которую я так люблю... И тогда в моих руках останется лишь холодная плоть, блистающая такой красотой, что каждый, кто увидит ее, прослезится... Эта плоть, это безжизненное тело ни о чем не сможет мне рассказать. Я буду знать, что тебя нет — и все.

— Ты говоришь это, чтобы меня помучить? Мастер, раз уж я не могу попасть туда, я хочу быть с тобой!

Его губы дрогнули, лицо исказилось откровенным отчаянием. Он стал похож на человека, на настоящего человека, и красные кровавые слезы усталости и печали заволокли уголки его глаз. Рука, протянутая, чтобы коснуться моих волос, тряслась.

Я схватил ее, словно высокую, колышущуюся на ветру ветку. Я собрал его пальцы, как листья, поднес их к губам, поцеловал, а потом приложил к раненой щеке. Я почувствовал, как завибрировал под ними отравленный порез. Но еще более остро я почувствовал, как сильно они дрожат.

Я прищурился.

— Сколько людей сегодня расстались с жизнью, чтобы тебя насытить? — прошептал я.— И как может происходить такое в мире, состоящем из одной только любви? Ты слишком прекрасен, чтобы оставаться незамеченным. Я запутался. Я этого

не понимаю. Но если я выживу, разве я, простой смертный мальчик, смогу это забыть?

— Ты не выживешь, Амадео,— грустно сказал он.— Не выживешь! — Его голос прервался.— Яд проник слишком глубоко, небольшие вливания моей крови его не пересилят.— На его лице отразилась боль.— Дитя, я не могу тебя спасти. Закрой глаза. Прими мой прощальный поцелуй. Между мной и теми, кто стоит на том берегу, нет дружбы, но они не смогут не принять то, что умирает так свободно.

— Мастер, нет! Мастер, я не могу проверить это один. Мастер, они же отослали меня обратно, но ведь они не могли не знать, что ты обязательно придешь! И ты пришел!

— Амадео, им все равно. Хранители мертвых чрезвычайно равнодушны. Они говорят о любви, но не о веках заблуждения и неведения. Что за звезды могут петь такую прекрасную песню, когда весь мир изнывает от диссонанса? Жаль, что ты не смог их заставить, Амадео.— Его голос чуть не сорвался от боли.— Амадео, какое право они имели возлагать на меня ответственность за твою судьбу?

Я издал слабый грустный смешок.

Меня затрясло в лихорадке. Вновь нахлынула волна слабости. Если я пошевельнусь или заговорю, то подступит мерзкая сухая тошнота. Лучше уж умереть.

— Мастер, я не сомневался, что ты тщательно обдумаешь и проанализируешь мой рассказ,— прошептал я, стараясь сдержать горькую, саркастическую улыбку.

Мне хотелось добраться наконец до истины. Грудь сдавило, не хватало воздуха, казалось, что самое лучшее — прекратить дышать, что никакого неудобства это не принесет. Но тут же вспомнились строгие наставления Бьянки.

— Мастер,— добавил я,— не бывает в этом мире кошмаров без конечного искупления.

— Да, но какова цена такого спасения для некоторых из нас? — настаивал он.— Амадео, как они смеют требовать от меня участия в осуществлении своих непостижимых планов? Я молю Бога, чтобы это были иллюзии. Не говори больше о чудесном свете. Не думай о нем.

— Не думать, сударь? А ради чьего успокоения мне стирать все из памяти? Кто здесь умирает?

Он покачал головой.

— Давай, выдави из глаз кровавые слезы,— продолжал я.— Кстати, на какую смерть вы сами надеетесь, сударь? Ведь вы говорили мне, что даже для вас смерть отнюдь не невозможна. Объясните, если, конечно, у меня осталось время, до того как весь отпущенный мне свет погаснет и земля поглотит сокровище во плоти, которым вам захотелось обладать из одной лишь прихоти!

— Это не было прихотью,— прошептал он.

— Ну, так куда попадете вы, сударь? Утешьте меня, пожалуйста. Сколько минут мне осталось?

— Я не знаю,— прошептал он едва слышно, отворачиваясь и низко склоняя голову. Я никогда не видел его таким растерянным.

— Дай мне посмотреть на твою руку,— тихо попросил я.— Ведьмы в темных венецианских тавернах научили меня читать линии на ладони. Я скажу, когда ты умрешь. Дай мне руку.

Я почти ничего не видел. Все заволокло туманом. Но я говорил серьезно.

— Ты опоздал,— ответил он.— Ни одной линии не осталось.— Он показал мне свою ладонь.— Время стерло то, что люди называют судьбой. У меня ее нет.

— Мне жаль, что ты вообще пришел,— сказал я и отвернулся.— Ты не мог бы оставить меня, мой возлюбленный учитель? Я предпочел бы общество священника и моей сиделки, если ты не отправил ее домой. Я любил тебя всем сердцем, но не желаю умирать в твоем высочайшем обществе.

Сквозь туман я увидел, как Мастер склоняется ко мне, почувствовал, как его ладони обхватывают мое лицо. В его голубых глазах сверкнуло ледяное пламя — нечеткое, но яростное.

— Хорошо, мой дорогой. Момент настал. Ты хочешь пойти со мной и стать таким, как я?..— Его голос, несмотря на боль, звучал спокойно и многозначительно.

— Да, с тобой, навсегда и навеки.

— ...Отныне и навеки втайне процветать только на крови злодеев, как процветаю я, и, если доведется, хранить эту тайну до конца света?

— Обещаю. Я согласен.

— ...Выучить каждый урок, который я преподам?

— Да, каждый.

Он поднял меня с кровати. Я упал ему на грудь, у меня кружилась голова, и ее пронзила такая острая боль, что я тихо вскрикнул.

— Это ненадолго, любовь моя, мой юный, хрупкий ангел,— шепнул он мне в самое ухо.

Я почувствовал, как его руки опускают меня в ванну, в теплую воду, осторожно снимают одежду, а голову заботливо кладут на выложенный плиткой край. Я расслабился и почувствовал, как вода плещется возле моих плеч.

Сначала он омыл мое лицо, а затем все тело. Он провел по моему лицу твердыми атласными кончиками пальцев.

— Еще ни одного волоска на подбородке, но ты уже обладаешь достоинствами мужчины, и теперь тебе придется навсегда отказаться от наслаждений, которые ты так любил.

— Да, я согласен,— прошептал я. Ужасная боль обожгла мою щеку. Порез разошелся. Я попытался потрогать его, но Мастер удержал мою руку. Это его кровь капнула на гноящуюся плоть. Щека ныла и горела, я чувствовал, как срастается кожа. То же самое он проделал с раной на плече, а потом — с маленькой царапиной на руке. Закрыв глаза, я отдался парализующему удовольствию этого процесса, вселявшего в меня суеверный страх.

Он опять прикоснулся ко мне рукой, успокаивающе проведя ею по моей груди, миновав интимные места, обследовав по очереди обе ноги, возможно проверяя, нет ли на коже небольших царапин или каких-либо иных повреждений, лишающих ее совершенства. Меня вновь охватила жаркая, пульсирующая дрожь удовольствия.

Я почувствовал, как меня поднимают из воды, заворачивают во что-то теплое. Потом воздух вокруг слабо взвихрился — судя по всему, Мастер перенес меня в другое место, причем со скоростью, недоступной любому любопытствующему взгляду. Я стоял босиком на мраморном полу, и ощущение бодрящего холода казалось мне особенно приятным.

Мы стояли в студии — спиной к картине, над которой Мастер работал несколько ночей назад, и лицом к другому шедевру огромного размера, где под голубым небом бежали через освещенную сверкающими лучами солнца рощу две фигуры и ветер развевал их волосы...

Женщина была Дафной — ее простертые к небу руки превращались в лавровые ветви, уже поросшие листьями, а ноги становились корнями и вот-вот готовы были устремиться в глубь ярко-коричневой земли. Ее преследовал обезумевший прекрасный бог Аполлон — атлет с золотыми волосами и стройными мускулистыми ногами. Он не в силах был предотвратить отчаянное волшебное бегство нимфы от его опасных объятий, остановить ее роковое превращение.

— Взгляни на равнодушные облака,— прошептал Мастер мне на ухо. Он указал на великолепные солнечные блики, нарисованные им с бо́льшим мастерством, чем удавалось это другим — тем, кто ежедневно видел светило.

Вот тогда Мастер и произнес слова, которые я когда-то повторил Лестату, рассказывая ему свою историю,— слова, которые Лестат милосердно сохранил в памяти в числе тех немногочисленных образов, какие я был в состоянии ему показать.

Сейчас, когда я повторяю эти слова, последние из тех, какие мне суждено было услышать в смертной жизни, в ушах моих словно вновь звучит голос Мариуса:

«Ты больше никогда не увидишь иного солнца, кроме этого. Но миллионы ночей станут твоими, и ты узришь свет, который недоступен никому из смертных. Словно Прометей, ты украдешь его у далеких звезд — вечный и бесконечный свет, который поможет тебе постичь все тайны мира».

И я, кто узрел куда более удивительный, Божественный свет в том царстве, которое меня отвергло, жаждал только одного: чтобы он затмил его навсегда.

8

Личные покои Мастера. Череда комнат, стены которых увешаны безупречными копиями творений тех смертных художников, кто вызывал его восхищение: Джотто, Фра Анджелико, Беллини.

Мы стояли в комнате шедевра Беноццо Гоццоли из капеллы Медичи во Флоренции: «Шествие волхвов». В середине века создал Гоццоли это видение и обволок им три стены маленького святилища. Но мой господин, обладавший сверхъестественной

памятью и мастерством, расширил великий труд, перенеся все плоскости от начала до конца на одну огромную стену этой безмерно широкой галереи.

Она казалась не меньшим совершенством, чем оригинал Гоццоли: прекрасно одетые молодые флорентийцы, каждое бледное лицо — этюд задумчивой невинности. Поодаль — кавалькада великолепных лошадей, следующая за изящной фигурой Лоренцо Медичи, юноши с мягкими, вьющимися светло-каштановыми волосами до плеч и плотским румянцем на белых щеках. В отделанной мехом золотой куртке с длинными рукавами и разрезами на них он безразлично взирал на зрителя, царственно восседая на белом, великолепно украшенном коне. Каждая деталь картины была под стать остальным. Даже идеально выписанное конское снаряжение и попона из золота и бархата отлично сочетались с облегающими рукавами туники Лоренцо и его красными бархатными сапогами до коленей.

Но большей частью своего очарования картина была обязана лицам юношей и нескольких стариков, составлявших необъятную процессию,— их маленьким ртам со спокойно сложенными губами и блуждающим по сторонам взорам, словно прямой взгляд вперед мог нарушить чары.

Они шли все дальше и дальше, мимо замков и гор, следуя извилистому пути в Вифлеем.

Для освещения этого шедевра по обе стороны комнаты зажигались десятки стоящих в ряд серебряных канделябров. Толстые белые свечи из чистейшего воска источали роскошный свет. Высоко вверху потрясающая масса нарисованных облаков окружала овал словно парящих в воздухе святых, касавшихся друг друга кончиками пальцев вытянутых рук и взиравших на нас благожелательно и с удовлетворением.

Никакая мебель не скрывала розовые плиты каррарского мрамора, из которых был составлен отполированный до блеска пол, разделенный на большие квадраты извилистыми узорами из вьющихся зеленых растений. Мрамор под босыми ногами казался шелковистым.

Я зачарованно разглядывал чудесный зал. «Шествие волхвов» занимало всю расположенную справа от меня стену, и казалось, что я слышу и приглушенный топот конских копыт, и шарканье шагов странников, и шуршание кустарника с красными

цветами, и даже отдаленные крики охотников, мчавшихся вместе с изящными борзыми собаками по невидимым вдалеке горным тропам.

Мастер стоял в самом центре зала. Привычный наряд из красного бархата он сменил на свободную, длинную, скрывавшую ноги до самых ступней мантию из золотой ткани, с длинными, доходившими до запястий, широкими рукавами.

Волосы образовали вокруг головы желтоватый блестящий ореол и мягко падали на плечи.

На мне было такое же широкое одеяние, простое и легкое.

— Иди ко мне, Амадео,— сказал он.

Я был слаб, ужасно хотел пить и едва держался на ногах. Однако он все это знал, и любые оправдания были бы неуместны. Я делал один неуверенный шаг за другим, пока не добрался до его протянутых рук.

Его ладони легли мне на затылок.

Он приблизил губы. Меня охватило благоговейное предчувствие страшного конца.

— Сейчас ты умрешь, чтобы остаться со мной в вечной жизни,— прошептал он мне в ухо.— Не бойся ни на секунду. Твое сердце в моих руках, а значит, в безопасности.

Его зубы впились в меня, глубоко, жестко, с остротой двух кинжалов, и в моих ушах загрохотало мое собственное сердце. Все мои внутренности съежились, а желудок свело от боли. Однако при этом по венам разлилось безграничное блаженство, устремившееся к ранам на шее. Я чувствовал, как моя кровь бежит навстречу моему господину, навстречу его жажде и моей неизбежной смерти.

Даже мои руки были скованы небывалыми, вызывавшими трепет ощущениями. Мне показалось, что я внезапно превратился в безвольное скопление раскаленных нитей, а Мастер тем временем с тихим, явственным звуком неторопливо пил мою кровь, а точнее, мою жизнь. Звук его сердца, медленный, ровный, гулкий стук, отдавался у меня в ушах.

Словно по волшебству боль в моих внутренностях преобразовалась в ощущение невыразимого словами восторга; тело лишилось веса, я утратил сознание себя самого в пространстве. Его сердце билось внутри меня. Мои руки нащупали его длинные атласные локоны, но я не цеплялся за них. Я плыл, поддерживаемый только настойчивым биением сердца и стремительным потоком моей крови.

— Я сейчас умру,— прошептал я. Такой экстаз не может длиться вечно.

Весь мир вдруг исчез, как будто испарился.

Я стоял в одиночестве на продуваемом ветрами, заброшенном морском берегу. Это была та же земля, куда я уже совершал путешествие, но теперь она резко изменилась, лишенная сияющего солнца и изобилия цветов и красок. Там были и монахи, но их рясы замело пылью, они потемнели и пахли землей. Я узнал их узкие бородатые лица, жидкие сальные волосы и черные войлочные шляпы. Я хорошо их знал. Мне были известны их имена. Я видел грязь под их ногтями, голодный блеск запавших глаз. Они манили меня за собой.

Ах да, туда, где и есть мое место. Мы взбирались все выше и выше, пока не оказались на отвесном обрыве. Вдалеке, слева от нас, виднелся стеклянный город... Но каким же он был покинутым и пустым!

Вся расплавленная энергия, освещавшая его бесчисленные прозрачные башни, угасла, исчезла, словно ее источник иссяк. Ничего не осталось от пламенеющих красок — только мрачные, тусклые тона под безликой гладью безнадежного серого неба. Как же грустно было видеть стеклянный город, лишенный волшебного огня.

От него доносился целый хор звуков, среди которых особенно выделялся один: приглушенный звон стекла, бьющегося о другое стекло. Никакой музыки. Только смутное, но явственное отчаяние.

— Иди же, Андрей,— сказал мне один из монахов. Его грязные руки с прилипшими к ним кусочками запекшейся земли дотронулись до меня и потянули за собой, причиняя боль пальцам. Я опустил глаза и увидел, что они у меня тонкие и совершенно белые. Суставы блестели, как будто с них уже сорвали плоть, но это была лишь иллюзия.

Обвисшая, как и у них, кожа прилипла к костям. Перед нами появились воды реки, полной льдин и огромных скоплений почерневшего плавника, она темным озером разлилась по равнине. Нам пришлось идти по обжигающе холодной воде. Но мы не останавливались, все четверо: трое монахов и я. Над нами

возвышались когда-то золотые купола Киева. Это был наш Софийский собор, выстоявший после жутких кровопролитий и пожарищ, устроенных монголами, опустошившими город, уничтожившими большую часть его богатств и населения.

— Идем, Андрей.

Я узнал эту дверь. Она вела в Киево-Печерскую лавру. Только свечи освещали глубокие пещеры, и повсюду царил запах земли, заглушавший даже вонь засохшего пота на грязной, нездоровой плоти.

В руках я сжимал шершавую деревянную ручку маленькой лопаты. Я вонзил ее в кучу земли. Я вскрывал стену из мягкого камня, пока мой взгляд не упал на человека, не мертвого, но грезящего под слоем грязи.

— Все еще жив, брат? — прошептал я этой душе, захороненной по самую шею.

— Все еще жив, брат Андрей. Дай мне лишь то, что меня подкрепит,— произнесли потрескавшиеся губы. Белые веки так и не поднялись.— Дай мне лишь самую малость, чтобы наш Господь и Спаситель, Христос, избрал время, когда мне будет позволено вернуться домой.

— Брат, сколько же в тебе мужества! — воскликнул я, поднося к его губам кувшин с водой. Он пил, и по его лицу полосками стекала грязь. Его голова откинулась на каменную стену.

— А ты, дитя,— сказал он, с трудом дыша и чуть-чуть отворачиваясь от предложенного кувшина,— когда ты наберешься сил, дабы избрать себе земляную келью, свою могилу, и ждать прихода Христа?

— Надеюсь, что скоро, брат,— ответил я. Я отступил и вновь поднял лопату.

Я начал раскапывать новую келью, и вскоре в нос мне резко ударил отвратительный запах, который ни с чем не спутаешь. Стоявший рядом монах задержал мою руку.

— Наш добрый брат Иосиф наконец пребудет с Господом,— сказал он.— Да, открой его лицо, дабы мы могли убедиться, что он ушел с миром.

Запах сгущался. Только мертвецы так сильно воняют. Такой запах источают разоренные могилы и телеги для перевозки покойников в районах, где бушует чума. Я боялся, что меня стошнит. Но продолжал копать, пока наконец-то не открылась голова покойника — лысый череп, обтянутый сморщившейся кожей.

Братья, стоявшие за моей спиной, бормотали молитвы.

— Закрывай, Андрей.

— Когда ты обретешь мужество, брат? Только Бог может указать тебе, когда...

— Мужество на что? — Я знаю этот грохочущий голос, этого широкоплечего мужчину, ворвавшегося в пещеры. Я безошибочно узнаю его каштановые волосы и бороду, его короткую кожаную куртку и оружие, висящее на кожаном ремне.

— Так вот чем вы занимаетесь с моим сыном, иконописцем?

Он схватил меня за плечо, как хватал тысячу раз, той же крепкой, похожей на звериную лапу рукой, которая избивала меня до потери сознания.

— Отпусти меня, пожалуйста, несносный, невежественный бык,— прошептал я.— Мы в доме Божьем.

Он потащил меня так, что я упал на колени. Моя ряса затрещала, черная ткань порвалась.

— Отец, прекрати сейчас же и уходи! — воскликнул я.

— Закопать в этих ямах мальчика, который рисует с талантом ангела?

— Брат Иван, прекрати орать. Богу решать, кто из нас и что будет делать.

Монахи побежали за мной. Меня тащили в мастерскую. Всю дальнюю стену, от пола до потолка, занимали ряды икон. Отец швырнул меня на стул у большого тяжелого стола. Он поднял железный подсвечник с дрожащей свечой, осветив все остальные тонкие ритуальные свечки.

Свеча бросала огненные отблески на его огромную бороду. Из густых бровей вылезали длинные седые волоски, закручивающиеся вверх, как у дьявола.

— Ты ведешь себя как деревенский идиот, отец,— прошептал я.— Удивляюсь, как я сам не стал слюнявым блаженным нищим.

— Заткнись, Андрей. Одно мне ясно: здесь тебя никто не учит, как следует себя вести. Пора мне тебя выдрать.

Он влепил мне по голове кулаком. У меня онемело ухо.

— Я думал, что достаточно колотил тебя, пока не привел сюда, но я ошибся,— сказал он. Он наградил меня еще одной затрещиной.

— Святотатство! — воскликнул, склоняясь надо мной, монах.— Этот мальчик благословлен Богом.

— Благословлен кучкой ненормальных,— сказал отец. Он достал из-за пазухи сверток.— Ваши яйца, братья! — презрительно сказал он.

Он положил на стол мягкий кожаный мешок и достал одно яйцо.

— Рисуй, Андрей. Рисуй и напомни этим ненормальным, что ты одарен самим Господом.

— Но картину пишет сам Господь! — вскричал монах, самый старый, чьи липкие седые волосы с течением времени так пропитались жиром, что стали почти черными. Он протиснулся между моим стулом и отцом.

Отец положил на стол все яйца, кроме одного. Нагнувшись над маленькой глиняной миской, он разбил скорлупу, аккуратно собрав в одну половинку желток, а остальное пролив на свою кожаную одежду.

— Держи, вот тебе, Андрей, чистый желток.— Он вздохнул и отбросил на пол разбитую скорлупу.

Отец поднял небольшой кувшин и налил воды в миску с желтком.

— Давай, смешивай, смешивай свои краски и работай. Напомни этим...

— Он работает, когда к тому призывает его Господь,— объявил старец,— а когда Господь повелит ему похоронить себя в земле, жить жизнью затворника, отшельника, он так и сделает.

— Черта с два,— сказал отец.— Сам князь Михаил заказал написать икону Богородицы. Рисуй, Андрей. Нарисуй три, чтобы я мог отдать князю ту, что он хотел, а остальные по его приказанию отвези в дальние владения его двоюродного брата, князя Федора.

— Там все разрушено, отец,— с презрением сказал я.— Федора и всех его людей убили дикие племена. Ты знаешь не хуже меня, отец, что там, в диких землях, не найдешь ничего, кроме камней. Мы заезжали достаточно далеко, чтобы увидеть все своими глазами.

— Мы поедем, если князю так будет угодно,— сказал отец,— и оставим икону в ветвях дерева, стоящего рядом с местом, где погиб его брат.

— Суетное тщеславие и безумие,— вмешался в наш разговор старец. В комнату вошли и другие монахи. Поднялся шум.

— Кончайте голосить и говорите по-человечески! — прикрикнул на них отец.— Дайте моему сыну рисовать. Андрей, смешивай краски. Талдычь свои молитвы, но приступай к делу.

— Отец, ты меня унижаешь. Я тебя презираю. Мне стыдно, что я твой сын. Я твоим сыном не буду. Заткни свой грязный рот, иначе я ничего тебе не нарисую.

— А, узнаю своего милого сыночка — что ни речи, то мед, и пчелы оставили ему свое жало в придачу.

Он опять меня ударил. На этот раз у меня закружилась голова, хотелось покрепче сжать ее руками, но я сдержался. У меня заболело ухо.

— Гордись собой, Иван-дурак! — сказал я.— Как я буду рисовать, если ничего не вижу и даже сидеть не могу?

Монахи закричали. Они спорили друг с другом. Я постарался сосредоточиться на небольшом ряду глиняных кувшинов, подготовленных для смешивания желтков и воды. Наконец я принялся за работу — уж лучше заниматься делом и выбросить их из головы. Я услышал, как отец удовлетворенно засмеялся.

— Давай, покажи им! Пусть знают, кого собираются живьем закопать в куче грязи.

— Во имя любви к Богу,— сказал старец.

— Во имя тупых идиотов,— возразил отец.— Вам мало заполучить великого художника. Вам нужно превратить его в святого.

— Ты сам не знаешь цену собственному сыну. Господь направлял тебя, когда ты привел его к нам.

— Не Господь, а деньги,— сказал отец. Со стороны монахов послышались оханья.

— Что ты им врешь,— неслышно сказал я.— Ты прекрасно знаешь, что сделал это только из гордыни.

— Да, из гордости,— ответил отец,— что мой сын может нарисовать лик Господа и Богородицы как истинно великий мастер. А вы, кому я доверил этого гения, слишком невежественны, чтобы это понимать.

Я начал растирать необходимые пигменты, а потом вновь и вновь перемешивать мягкий коричнево-красный порошок с желтком и водой, пока в них не растворился каждый крошечный комок и краска не стала гладкой, идеально разведенной и чистой. Теперь немного желтого, потом красный.

Они из-за меня поскандалили. Отец замахнулся на старца кулаком и едва не стукнул его, но я не стал отрываться. Он не посмеет. Он в бешенстве пнул мою ногу, вызвав судорогу в мышцах, но я промолчал и продолжал смешивать краски.

Слева меня обошел один из монахов и поставил передо мной чистую выбеленную доску, огрунтованную, подготовленную для святого лика.

Наконец все было готово. Я наклонил голову. И перекрестился по нашему обычаю — справа налево, а не слева направо.

— Господи, дай мне силу, дай мне глаза, направь своей любовью мои руки, как можешь делать только ты! — У меня в руках тотчас оказалась кисть — я взял ее бессознательно — и начала скользить по дереву, сперва обозначая овал лица Богородицы, затем — покатые линии плеч, а далее — контур ее сложенных рук.

Теперь же их вскрики отдавали дань картине. Мой отец злорадно смеялся, испытывая удовлетворение.

— Ага, так-так, мой Андрей, мой острый на язык, саркастичный, непослушный, неблагодарный, маленький, одаренный Богом гений.

— Ну, спасибо тебе, отец,— язвительно прошептал я, пребывая в глубинах собственного сосредоточенного, поверженного в транс сознания и словно со стороны с благоговением наблюдая за движением кисти. Вот ее волосы, плотно прилегавшие к голове, разделенные на пробор. Мне не требовалось специальных инструментов, чтобы придать идеально круглую форму нимбу вокруг ее головы.

Монахи держали наготове чистые кисти. Один зажал в руках чистую тряпку. Я схватил другую кисть и принялся смешивать красную краску с белой пастой, пока не добился подходящего для плоти оттенка.

— Ну разве не чудо?!

— Вот именно,— проговорил старец сквозь сжатые зубы.— Это чудо, брат Иван, и он поступит согласно Божией воле.

— Будьте вы прокляты! Пока я жив, он здесь замурован не будет. Он едет со мной в степь.

— Отец,— усмехнулся я,— мое место здесь.

— Он лучший стрелок в семье и поедет со мной в степь,— повторил отец, обращаясь к монахам, которые обрушили на него шквал протестов и возражений.

— Почему ты нарисовал слезу в уголке глаза Богородицы, брат Андрей?

— Это Господь наделил ее слезой,— ответил другой монах.— Это же Всех Скорбящих Радость. Только посмотри, как прекрасны складки ее плаща.

— Смотрите, маленький Христос! — воскликнул мой отец, и даже его лицо исполнилось почтения.— Бедный младенец Христос, его скоро ждет распятие, смерть на кресте.— Он понизил голос, ставший почти нежным.— Какой талант, Андрей, смотрите же, загляните в глаза младенцу, посмотрите на его ручку, на большой палец...

— Даже тебя озарил свет Господень,— сказал старец.— Даже такого жестокого глупца, как ты, брат Иван.

Монахи подошли ближе, вокруг меня сомкнулся круг. Отец протянул мне полную ладонь маленьких мерцающих камней.

— Для нимбов. Работай быстрее, Андрей, князь Михаил повелел нам ехать.

— Говорят же тебе, это безумие,— мгновенно зажурчал хор голосов. Отец повернулся и занес над ними кулак.

Я поднял глаза и протянул руку к чистой деревянной доске. Мой лоб взмок от пота, но я продолжал работать.

Я нарисовал три иконы.

Меня охватило счастье, чистое, неподдельное счастье. Как приятно было согреться в нем, ощутить его, и я знал, хотя ничего и не говорил, что все устроил мой отец — такой веселый, краснощекий, с широкими плечами и блестящим лицом, отец, которого я предположительно должен был ненавидеть.

Скорбящая Богородица с младенцем, салфетка для ее слез и младенец Христос. Усталый, с затуманенным взглядом, я откинулся назад. Было невыносимо холодно. Хоть бы разожгли огонь. Левую руку свело — она замерзла. Только правая была в порядке благодаря тому темпу, в котором я работал. Мне хотелось сунуть в рот пальцы левой руки, но это было неприлично, толь-

ко не здесь, не в этот момент, когда все собрались перед созданными мною иконами.

— Шедевр... Истинно творение Господа...

На меня снизошло ужасное чувство времени, чувство, что я нахожусь вдалеке от этой минуты, вдалеке от Печерской лавры, которой я дал обет посвятить свою жизнь, вдалеке от монахов, моей братии, вдалеке от моего кощунствующего, глупого отца, который, несмотря на свое невежество, так мной гордился.

Из его глаз текли слезы.

— Мой сын,— сказал он, с гордостью сжимая мое плечо.

По-своему он был прекрасен: красивый сильный человек, который ничего не боялся, сам по себе князь среди своих лошадей, своих собак и своих сторонников, одним из которых был я, его сын.

— Оставь меня в покое, туполобая деревенщина,— сказал я и улыбнулся ему, чтобы еще больше разозлить. Он засмеялся. Он слишком радовался и слишком гордился, чтобы поддаться на провокацию.

— Смотрите, что сделал мой сын! — Голос его предательски дрогнул и слегка охрип. Отец чуть не плакал. А ведь он не был даже пьян.

— Нерукотворные...— произнес монах.

— Естественно,— презрительно хохотнул отец.— Просто нарисованные рукой моего сына, вот и все.

Шелковистый голос произнес мне на ухо:

— Ты сам разместишь камни в нимбах, брат Андрей, или мне выполнить эту работу?

Наконец все было сделано: паста наложена, камни закреплены — пять камней для иконы Христа. В моей руке опять появилась кисть, чтобы пригладить темные волосы Христа, разделенные на пробор и убранные за уши, так что по обе стороны пряди виднелись только частично. В моей руке возникла игла, чтобы углубить и оттенить черные буквы в открытой книге, лежавшей в левой руке Христа. С доски, серьезный и строгий, глядел Господь Бог, под изгибом коричневых усов краснела прямая линия губ.

— Пойдем, князь здесь, князь приехал.— За дверью монастыря валил снег, кружащийся под жестокими порывами ветра. Монахи помогли мне надеть кожаные одежды, застегнули пояс. Приятно было снова вдохнуть запах бараньей кожи, поглубже втянуть в себя свежий холодный воздух. Отец держал мой меч. Тяжелый, старинный, он сохранился со времен его давней стычки с тевтонскими рыцарями в далеких землях, драгоценные камни давно уже откололись от рукояти, но он оставался хорошим, удобным в бою оружием.

В снежном тумане появилась фигура на коне. Это был сам князь Михаил в меховой шапке, в шубе и перчатках — великий властелин, правивший Киевом от имени наших завоевателей, принадлежащих к римско-католической вере, которую мы не принимали. Нам позволили сохранить прежнюю религию. Он был разодет в иностранный бархат и золото, разряженная фигура, уместная при королевском литовском дворе, о котором ходили фантастические слухи. Как же он выносит Киев, разрушенный город?

Лошадь встала на дыбы. Мой отец подбежал к ней, чтобы схватить под уздцы, и пригрозил животному так же, как угрожал мне.

Икону для князя Федора быстро завернули в шерсть и доверили нести мне.

Я положил руку на рукоять меча.

— Нет, ты не увезешь его на свое безбожное дело! — воскликнул старец.— Князь Михаил, ваша светлость, наш могущественный правитель, велите этому безбожнику не забирать нашего Андрея.

Сквозь снег я рассмотрел лицо князя — сильное, с правильными чертами, седыми бровями и бородой, с огромными синими глазами.

— Отпустите его, отец,— крикнул он монаху.— Мальчик охотится с отцом с четырех лет. Никто еще не приносил таких щедрых подарков к моему столу, да и к вашему, отец. Отпустите его.

Лошадь заплясала и попятилась. Отец повис на поводьях. Князь Михаил сплюнул снег с губ.

Наших лошадей подвели к входу — могучего отцовского жеребца с грациозно изогнутой шеей и мерина пониже, который был моим, пока я не попал в Печерскую лавру.

— Я вернусь, отец,— обратился я к старцу.— Благословите меня. Что я могу сделать против своего доброго, мягкосердеч-

ного и бесконечно благочестивого отца, когда мне приказывает сам князь Михаил?

— Да заткни ты свой паршивый рот,— сказал мой отец.— Думаешь, мне хочется слушать это всю дорогу до замка князя Федора?

— Ты будешь слушать это на протяжении всего пути в ад! — объявил старец.— Ты ведешь на смерть моего лучшего послушника.

— Послушника? Послушника, обреченного обитать в вырытой в земле дыре! Ты забираешь руки, нарисовавшие все эти чудеса...

— Их нарисовал Господь,— ядовито прошипел я.— Ты прекрасно это знаешь, отец. Будь добр, прекрати выставлять напоказ свое безбожие и воинственность.

Я сидел в седле. Икону обернули шерстяной тканью и крепко привязали к моей груди.

— Я не верю, что мой брат Федор погиб! — сказал князь, пытаясь сдержать своего коня и поравняться с отцовским жеребцом.— Может быть, странники видели другие развалины, какой-то старый...

— Сейчас в степях никто и ничто не выживает,— заметил старец и взмолился, обращаясь к Михаилу: — Князь, не забирайте Андрея. Не увозите его.

Монах побежал рядом с моим конем.

— Андрей, ты там ничего не найдешь — только стелющуюся траву и деревья. Положи икону в ветвях дерева. Положи ее там на Божию волю, чтобы татары, когда найдут икону, узнали ее божественную силу. Положи ее там для язычников. И возвращайся домой.

Снег падал так неистово и густо, что я перестал видеть его лицо. Я посмотрел вверх, на ободранные, голые купола нашего собора, след византийской славы, оставленный нам монголами-завоевателями, ныне алчно собиравшими с нас дань через князя-католика. Какой она была холодной и заброшенной, моя родина. Закрыв глаза, я мечтал о грязной келье в пещерах, о том, чтобы надо мной сомкнулся слой земли, чтобы, когда меня наполовину захоронят, ко мне пришли сны о Боге и о творимом им добре.

«Вернись ко мне, Амадео. Вернись! Не дай сердцу остановиться!»

Я озирался по сторонам.

— Кто меня зовет? Густая белая вуаль снега расступилась, приоткрыв далекий стеклянный город, черный, блестящий, словно разогретый кострами ада. К зловещим облакам темнеющего неба поднимались, подпитывая их, клубы дыма. Я поскакал к стеклянному городу.

— Андрей! — послышался за моей спиной отцовский голос.

«Вернись ко мне, Амадео. Не дай сердцу остановиться!»

Пока я пытался сдержать коня, шерстяная ткань развернулась, икона выпала на землю и покатилась по холму, без конца переворачиваясь, подпрыгивая на углах. Я увидел мерцающее лицо Христа.

Меня подхватили и потянули вверх сильные руки.

— Отпустите меня! — запротестовал я и оглянулся. На замерзшей земле лежала икона, вопрошающий взгляд Господа был обращен вверх.

Мое лицо с обеих сторон сжали твердые пальцы. Я моргнул и открыл глаза. В комнате было тепло и светло. Прямо надо мной неясно вырисовывалось знакомое лицо моего господина, его голубые глаза налились кровью.

— Пей, Амадео,— сказал он.— Пей от меня.

Моя голова упала ему на горло. Забурлил фонтан крови; он забил из вены Мастера, густой струей полился на воротник его золотой мантии... Я лизнул ее. Кровь воспламенила меня, и я вскрикнул.

— Тяни ее в себя, Амадео! Тяни сильнее!

Кровь заполнила мой рот. Мои губы тесно прижались к шелковистой белой плоти, дабы не позволить пропасть хотя бы капле драгоценной жидкости. Я сделал большой глоток и в тусклой вспышке увидел, как мой отец скачет через степь: могучая фигура в кожаных одеждах, меч прочно прикреплен к поясу, нога согнута, потрескавшийся, изношенный коричневый сапог твердо стоит в стремени. Он повернул налево, грациозно приподнимаясь и опускаясь в такт широким шагам своего коня.

— Отлично, уходи от меня, ты, трус, бесстыдник, жалкий мальчишка! Уходи! — Он смотрел прямо перед собой.— Я мо-

лился, Андрей, я молился, чтобы они не затащили тебя в свои грязные пещеры, в свои мрачные земляные кельи. Мои молитвы услышаны! Иди с Богом, Андрей. Иди с Богом. Иди с Богом!

Лицо стоявшего надо мной Мастера, восхищенное и прекрасное, сияло белизной на фоне дрожащего золотого света бесчисленных свечей.

Я лежал на полу. В моем теле бурлила и пела кровь. Я поднялся на ноги и почувствовал, как закружилась голова. Перед глазами все поплыло.

— Мастер...

Он был уже в дальнем конце помещения и спокойно стоял босиком на светящемся розовом полу, протянув ко мне руки.

— Иди ко мне, Амадео, подойди сюда, иди, забери остальное.

Я старался подчиниться. Мастерская сияла разными красками. Я увидел процессию волхвов.

— Какие они яркие, какие живые!

— Иди ко мне, Амадео.

— У меня не хватит сил, Мастер, я упаду в обморок, я умру в этом великолепном свете.

Я сделал шаг, за ним — еще один, хотя и думал, что это невозможно. Я ставил одну ногу перед другой, подходя все ближе и ближе, пока не споткнулся.

— Хоть на четвереньках, но только иди. Иди ко мне.— Я вцепился в его мантию. Придется взобраться на эту гору, если уж я решился. Я потянулся вверх и схватился за его согнутую в локте правую руку, потом приподнялся, почувствовав прикосновение золотой ткани. Я постепенно распрямлял ноги и наконец встал. Я снова нашел источник. Я пил, пил и пил.

Золотым потоком кровь хлынула внутрь, разлилась по моим конечностям. Я был Титаном, подмявшим под себя Мастера.

— Дай мне ее,— прошептал я,— дай.

Кровь на миг задерживалась на моих губах и потоком устремлялась в горло.

Как будто его холодные мраморные руки поймали мое сердце. Я слышал, как оно бьется, борется, как открываются и закрываются клапаны, слышал влажный звук вторгающейся крови, хлопки принимавших и перерабатывающих ее клапанов,

мое сердце росло и набиралось сил, вены становились неуязвимыми металлическими каналами, заполненными этой необычайно крепкой жидкостью.

Я лежал на полу. Он стоял надо мной, раскрыв объятия.

— Вставай, Амадео. Давай, поднимайся, иди ко мне. Возьми ее.

Я плакал. Я всхлипывал. Слезы оказались красными, и рука покрылась пятнами цвета крови.

— Помоги мне, Мастер.

— Я тебе и помогаю. Иди, ищи ее сам.

Неожиданно обретенная сила помогла мне подняться на ноги, словно все человеческие ограничения были сняты, как сдерживавшие меня веревки или цепи. Я набросился на него и оттянул назад воротник, чтобы быстрее отыскать рану.

— Сделай новую рану, Амадео.

Я впился в плоть, прокусил ее, и кровь брызнула на мои губы. Я тут же плотно прижал их к ране.

Теки в меня!

Мои глаза закрылись. Я увидел степи, стелющуюся траву, голубое небо. Мой отец все скакал и скакал вперед, а перед ним — небольшая группа всадников. Был ли я среди них?

— Я молился, чтобы ты сбежал! — выкрикнул он со смехом,— так и получилось. Черт тебя подери, Андрей. Черт подери тебя, твой острый язык и твои волшебные руки. Черт побери, щенок, сквернослов, черт побери! — Он смеялся, смеялся и все скакал, скакал вперед, и трава расступалась перед ним.

— Отец, смотри! — попытался закричать я. Я хотел, чтобы он увидел каменные развалины замка. Но у меня был полный рот крови. Они были правы. Крепость князя Федора была уничтожена, сам он давно погиб. Достигнув первой груды увитых сорняками камней, отцовская лошадь внезапно попятилась.

Я потрясенно осознал, что подо мной — мраморный пол, удивительно теплый. Я лежал, распростертый на нем ниц. Я приподнялся. Скопление розовых узоров было таким густым, таким насыщенным, таким чудесным, как будто вода вдруг превратилась в прекрасный камень и застыла. Я мог бы смотреть в ее глубины целую вечность.

— Вставай, Амадео, еще раз.

О, на этот раз подняться было легко — дотянуться до его руки, а потом и до его плеча. Я вновь разорвал плоть его шеи. Я пил. Кровь омыла меня изнутри, снова, к моему потрясению, открыв красоту моего собственного тела, притом что в сознании моем царила черная пустота. Я увидел тело мальчика, точнее, мое собственное, и в этом теле я вдыхал свет и тепло, словно целиком превратился в один большой, состоящий из множества пор орган зрения, слуха, дыхания. Я дышал миллионом сильных и крошечных ртов.

Кровь наполнила меня до такой степени, что я больше не мог ее принимать. Я стоял перед моим господином. В его лице я заметил лишь намек на усталость, лишь отражение слабой боли в обращенном на меня взгляде. И впервые увидел черты его прежнего человеческого облика, едва заметные возрастные морщинки в уголках его ясных глаз.

Складки золотой мантии заблестели, при малейшем его движении ткань переливалась на свету. Он поднял палец и указал на «Шествие волхвов».

— Теперь твоя душа навеки прикована к твоему физическому телу,— сказал он.— И ощущениями вампира, вампирским зрением, осязанием, вкусом и обонянием ты постепенно познаешь весь мир. Не отворачиваясь от него в мрачных глубинах земли, но открывая объятия его бесконечному великолепию, ты в полной мере ощутишь величие творений Господа и его чудес, проникнешься пониманием божественного снисхождения, воплощенного в деяниях людей.

Облаченные в шелка персонажи «Шествия волхвов» словно ожили. Я снова услышал стук подков по мягкой земле и шарканье обуви. Мне опять показалось, что я слышу, как мчатся по горному склону собаки. Я увидел, как поросль цветущего кустарника качается под тяжестью задевающей ее золоченой процессии; я увидел, как с цветов слетают лепестки. Чудесные звери резвились в густом лесу. Гордый Лоренцо, сидя верхом на коне, повернулся и посмотрел на меня. Далеко-далеко за его спиной простирался мир каменистых скал, охотников на гнедых жеребцах и преследующих добычу псов.

— Это ушло навсегда, Мастер,— сказал я, и голос мой прозвучал на удивление звонко.

— Что ушло, дитя мое?

— Русская земля, страна диких степей, мир с темными ужасными кельями в сырой земле.

Я огляделся. От многочисленных горящих свечей поднимался дым. Воск сползал вниз и капал на серебряные подсвечники, на безупречно чистый мерцающий пол. Пол стал неожиданно прозрачным, как море, и казался шелковистым, а по бескрайнему голубому небу над нами плыли нарисованные облака. Казалось, эти облака источают туман, теплый летний туман, порожденный слиянием суши и моря.

Я вновь повернулся к картине и направился прямо к ней, широко распахнув руки, как будто стремился заключить в объятия и белые замки на холмах, и тонкие ухоженные деревья, и величественную пустыню — словом, все то, что как будто заново открылось моему кристально чистому, просветленному взгляду.

— Сколько всего! — прошептал я.

Никаких слов не хватит, чтобы описать густые коричневые и золотые оттенки бород экзотичных волхвов или игру теней на голове белого коня, верблюдов с изогнутыми шеями или яркие краски раздавленных ногами лепестков...

— Я вижу всем своим существом,— вздохнул я.— Закрыв глаза, я приник к картине и мысленно воскресил в памяти все ее детали, не упуская ни одной, пусть даже самой незначительной.— Я вижу ее, вижу,— тихо повторил я.

Мастер подошел сзади и обнял меня, а потом поцеловал мои волосы.

— Ты сможешь еще раз увидеть зеркальный город? — спросил он.

— Я могу представить его! — воскликнул я.

Откинув голову ему на грудь, я покрутил ею из стороны в сторону, а потом открыл глаза и выхватил из общей картины те самые краски, которых мне не хватало, чтобы воссоздать в воображении огромный город из сверкающего стекла, пронзающий своими башнями небеса.

— Вот он, ты его видишь?!! — Я принялся сбивчиво описывать его Мастеру — слова лились непрерывным потоком: блестящие зеленые, желтые и синие шпили, сверкающие и дрожащие в неземном свете...— Теперь видишь? — переспросил я.

— Нет. Но его видишь ты,— сказал Мастер,— и этого более чем достаточно.

В тусклых покоях мы оделись в траурно-черные цвета. Никаких сложностей — все вещи как будто утратили свою прежнюю форму и стали на редкость послушными. Казалось, достаточно всего лишь провести пальцами по камзолу, чтобы он застегнулся.

Мы поспешили вниз по лестнице и вышли в ночь.

Взобраться по скользким стенам палаццо было проще простого. Я снова и снова цеплялся ногами за трещины в камне, балансируя на пучке папоротника или лозы, хватался руками за оконные решетки и в конце концов слегка потянул за прутья и вытащил одну из них. С какой легкостью я уронил металлическую решетку в сверкающую зеленую воду! Приятно было видеть, как она тонет, как плещется, смыкаясь над ней, вода, как мерцает, отражаясь от пошедшей рябью поверхности, свет факелов.

— Я же упаду!

— Идем.

Внутри, в комнате, из-за письменного стола поднялся человек. От холода он закутал шею шерстяной тканью. Его широкое темно-синее одеяние окаймляла жемчужно-золотая полоса. Богач, банкир. Друг флорентийца, не оплакивающий свою потерю над толстыми листами пергамента, но высчитывающий неизбежные барыши, так как все его партнеры, очевидно, погибли от клинка и яда в частном обеденном зале.

Догадался ли он в тот миг, что это сделали мы, человек в красном плаще и мальчик с каштановыми волосами, появившиеся в высоком окне четвертого этажа морозной зимней ночью?

Я набросился на него, словно он был любовью всей моей недолгой жизни, и сдернул полоску шерсти, скрывавшую артерию, откуда мне предстояло пить кровь.

Он умолял меня остановиться, говорил, что готов заплатить, что мне достаточно лишь назвать цену. Каким неподвижным казался мой господин, пока тот человек умолял, а я игнорировал его, нащупывая большую, пульсирующую, неотразимую вену. Мастер следил только за мной.

— Я должен отнять у вас жизнь, сударь...— прошептал я.— У воров сильная кровь, не так ли?

— Но ты же совсем еще мальчик! — вскричал он, и вся его решимость рухнула.— Неужели Господь столь необычным способом вершит свое правосудие?

Его кровь, приправленная выпитым вином и травами, съеденными за ужином, почти фиолетовая при свете ламп, оказалась острой, едкой и на редкость противной.. После первого глотка я почувствовал, что его сердце остановилось.

— Спокойнее Амадео,— прошептал Мастер.

Я чуть отстранился, и сердце жертвы забилось снова.

— Вот так, пей медленно, медленно, пусть сердце перекачивает в тебя кровь, да-да, и мягче работай пальцами, чтобы не причинять лишних страданий,— ведь ему и без того не позавидуешь: что может быть хуже, чем знать, что вот-вот умрешь?

Мы вместе пошли по узкой набережной. Не было больше нужды опасаться падения в воду, и я с интересом наблюдал за текущим мимо потоком, берущим свое начало от моря и набиравшим скорость в многочисленных, заключенных в камень, соединенных между собой каналах. Мне захотелось потрогать мокрый зеленый мох на камнях.

На маленькой, пустой в этот поздний час площади мы остановились перед угловой дверью высокой каменной церкви. Все окна были затворены, все двери заперты. Вечерний звон давно пробил. Тишина.

— Еще раз, моя прелесть, чтобы ты набрался сил,— сказал Мастер. Он обнял меня, крепко прижал к себе, и смертоносные клыки вновь пронзили мою шею.

— Ты обманешь меня? Ты убьешь меня? — прошептал я, чувствуя собственную беспомощность, поскольку никакое сверхъестественное усилие не могло помочь мне вырваться из его хватки.

Он вытянул из меня столько крови, что я едва не потерял сознание, руки мои безвольно повисли, а ноги затряслись, как у марионетки. Я пытался оттолкнуть его — бесполезно. Кровь продолжала перетекать из меня, из всех моих тканей в его тело.

— Теперь давай, Амадео, забери ее обратно.

Я был так слаб, что чуть не свалился на землю, но в последний момент сумел ухватиться за плащ Мастера и буквально рухнул ему на грудь. Я подтянулся и обхватил его левой рукой за шею. Он отступил и выпрямился, чтобы усложнить мне зада-

чу. Но я был слишком твердо намерен ответить на его вызов и доказать, что усвоил урок.

— Отлично, дорогой мой господин,— сказал я, вновь разрывая его кожу.— Я вас схватил и выпью из вас все, до последней капли, если вы не успеете увернуться.— И тут я понял, что у меня тоже появились крошечные клыки!

Он тихо рассмеялся, что только увеличило мое наслаждение — тот, чью кровь я пью, смеется под этими новыми клыками.

Я изо всех сил пытался вытянуть сердце из его груди. Я услышал, как он вскрикнул, а потом рассмеялся от изумления. Я тянул и тянул его кровь, торопливо глотая ее с резким, неприятным звуком.

— Ну же, дайте мне еще раз услышать ваш крик! — прошептал я, жадно высасывая кровь, расширяя разрез своими зубами, своими новыми, заострившимися, удлинившимися зубами, клыками, принадлежавшими мне, созданными для кровопролития.— Ну же, молите о милосердии, сударь!

Но он лишь мелодично смеялся в ответ.

Я пил его кровь глоток за глотком, радуясь, гордясь его беспомощным смехом, тем, что он упал на колени посреди площади, а я все не отпускал его, так что ему все же пришлось оттолкнуть меня.

— Я больше не могу! — объявил я. Я лег на спину, на камни. Вверху чернело стылое небо, усыпанное белыми горящими звездами. Я смотрел в него с восхитительным сознанием, что спокойно лежу на холодных голых камнях. Больше не придется волноваться ни о грязи, ни о сырости, ни об опасности болезни. Не придется беспокоиться о том, что могут подумать люди, выглянувшие в окно. Не придется думать о том, что час уже поздний. Смотрите на меня, звезды! Смотрите на меня, как я смотрю на вас.

Безмолвные, сверкающие, крошечные глаза небес...

Я начал умирать. В желудке поднялась иссушающая боль, потом она двинулась к остальным внутренностям.

— Теперь тебя покинет все, что еще осталось от смертного мальчика,— сказал Мастер.— Не бойся.

— И больше не будет музыки? — прошептал я, перекатываясь на живот и обнимая обеими руками лежавшего рядом Мастера. Подложив локоть под голову, он привлек меня к себе.

— Спеть тебе колыбельную? — тихо спросил он.

Я отпрянул. Из меня потекла зловонная жидкость. В первый момент мне стало стыдно, но это ощущение постепенно прошло. Он поднял меня на руки, легко, как всегда, и уткнул лицом себе в шею. Нас захлестнул порыв ветра.

Потом я почувствовал холодную воду Адриатики и безошибочно определил, что лечу вниз, подхваченный морской волной. Море оказалось соленым, восхитительным и не представляло никакой опасности. Я несколько раз перевернулся и, обнаружив, что остался один, попытался найти точку опоры. Я находился в открытом море, недалеко от острова Лидо. Я оглянулся на главный остров и изумительно острыми глазами рассмотрел за огромным скоплением стоявших на якоре кораблей пылающие факелы герцогского дворца.

До меня донеслись звуки ночной портовой жизни, как будто я в темноте плавал между кораблями. Но порт был далеко.

Что за удивительная способность — слышать эти голоса, иметь возможность выделить один конкретный голос, разобрать, что он бормочет под утро, а потом настроить слух на другого человека и впитать другие слова.

Я какое-то время держался на поверхности моря и смотрел в небо, пока не ушла вся боль. Я чувствовал, что очистился, и не хотел оставаться один. Я перевернулся и без усилий поплыл к гавани. Оказываясь в непосредственной близости от какого-либо судна, я скрывался под водой.

Меня поразила обретенная способность видеть даже то, что скрыто под поверхностью моря. А там была настоящая подводная вселенная: огромные якоря, впившиеся в рыхлое дно лагуны, изогнутые днища галеонов... Мне хотелось продолжить исследования, но тут до моего слуха донесся голос Мастера — не телепатический голос, как мы сейчас говорим, но слова, произнесенные вслух. Он тихо призывал меня вернуться на площадь.

Я стянул с себя отвратительно пахнувшую одежду, выбрался из воды и нагишом поспешил к нему. Было темно и холодно, однако отныне мне не нужно бояться ни того ни другого. Увидев своего господина, я раскинул руки и улыбнулся.

Он закутал меня в приготовленный меховой плащ.

— Ты чувствуешь новую свободу. Твои босые ноги не задевает ледяной холод камней. Если ты порежешься, твоя эластичная кожа мгновенно исцелится, ни единое маленькое ползучее

создание тьмы не вызовет в тебе отвращения и не причинит тебе вреда. Болезни тебя не коснутся.— Он осыпал меня поцелуями.— Даже зачумленная кровь тебя только накормит, так как твое сверхъестественное тело очистит ее и поглотит. Ты поистине могущественное создание. В то же время в груди твоей, к которой я сейчас прикасаюсь, по-прежнему бьется сердце, твое человеческое сердце.

— Правда, господин? — спросил я. Я был вне себя от восторга и впал в шутливое настроение.— И с чего бы ему остаться человеческим?

— Амадео, разве ты находил меня бесчеловечным? Разве ты замечал во мне жестокость?

Мои волосы высохли практически мгновенно. Теперь мы вышли с площади рука об руку; я поплотнее завернулся в тяжелый меховой плащ.

Когда я не ответил, он остановился, снова обнял меня и начал жадно целовать.

— Ты любишь меня,— сказал я,— таким, как сейчас, даже больше, чем раньше.

— О да.— Он грубо схватил меня и покрыл поцелуями все горло, потом плечи и грудь.— Теперь я не причиню тебе вреда, не задушу твою жизнь неловким движением. Ты мой, плоть от плоти, кровь от крови моей.

Он остановился. Он плакал. Он не хотел, чтобы я это заметил. Он отвернулся, когда я попытался поймать его лицо дерзкими руками.

— Мастер, я люблю тебя,— сказал я.

— Обрати внимание.— Он отстранил меня, явно недовольный своими слезами, и указал на небо.— Ты всегда сможешь узнать, когда наступит утро, если будешь внимателен. Ты чувствуешь? Слышишь птиц? В каждой части света есть птицы, которые поют прямо перед рассветом.

Мне пришла в голову мрачная мысль: одной из тех вещей, которых мне не хватало в пещерах Печерской лавры, было пение птиц. Там, в степи, когда я охотился вместе с отцом и переезжал от рощи к роще, мне всегда нравилось, как поют птицы. Нам никогда не приходилось подолгу торчать в жалких киевских хибарах на берегу реки. Мы часто отправлялись в запретные странствия по степи, откуда не вернулось столько людей.

Но это прошло. Я в чудесной стране — в Италии, в милой Сереniссиме. Со мной рядом Мастер, свершивший великое, сладострастное чудо превращения.

— Ради этого я и поехал в степи,— прошептал я.— Ради этого он и забрал меня из монастыря в тот последний день.

Мастер печально посмотрел на меня.

— Надеюсь,— сказал он.— Все, что я знал о твоем прошлом, я прочел в твоих мыслях, пока они были мне открыты, но теперь они закрылись — закрылись, поскольку я сделал тебя вампиром, таким, как я сам, и мы никогда уже не узнаем мыслей друг друга. Мы слишком близки, общая кровь оглушительно ревет в наших ушах, когда мы стараемся в тишине поговорить друг с другом, и я навсегда прощаюсь с ужасными образами подземного монастыря, которые так ярко мелькали в твоих мыслях, но всегда в агонии, всегда в почти полном отчаянии.

— Да, в отчаянии, и все это ушло, как страницы, вырванные из книги и брошенные по ветру. Вот так, просто ушло.

Мастер велел мне поспешить. Мы шли не домой. Темными переулками мы направлялись в другую сторону.

— Мы идем в наше убежище,— сказал он,— точнее, в наш склеп, где нас ждет постель, то есть наша могила.

Мы вошли в старый обветшалый палаццо, единственными обитателями которого были несколько спящих бедняков. Мне там не понравилось. Он приучил меня к роскоши. Но вскоре мы попали в подвал. Кстати, подвалы — крайне редкая, практически невозможная вещь для зловонной и сырой Венеции. Но это действительно был подвал. Мы спустились по каменной лестнице, миновали толстые бронзовые двери, которые не смог бы открыть обычный человек, и в результате в кромешной темноте достигли самой дальней комнаты.

— Когда-нибудь ты и сам наберешься сил,— прошептал мой господин,— чтобы проделывать этот фокус.

Я услышал бешеный треск и негромкий взрыв, и в его руке запылал огромный яркий факел. Чтобы зажечь его, Мастеру понадобилось лишь усилие мысли.

— С каждым десятилетием ты будешь становиться сильнее, а потом и с каждым веком, и много раз за свою долгую жизнь тебе предстоит убеждаться, что твои способности совершили волшебный скачок. Проверяй их с осторожностью, а то, что

обретешь, защищай. Используй все, что обнаружишь, с умом. Никогда не остерегайся никаких способностей, это так же глупо, как и человеку остерегаться своей силы.

Я кивнул, завороженно уставившись на огонь. Никогда еще я не видел таких красок в простом огне, и я не испытывал к нему отвращения, хотя и знал, что это единственное, что может меня уничтожить. Во всяком случае, так сказал Мастер.

Он жестом предложил мне осмотреться в комнате. Что за потрясающее помещение! Оно было обито золотом! Даже потолок золотой! В центре стояли два каменных саркофага, украшенные фигурами, вырезанными в старинном стиле, то есть строгими и величественными. Рассмотрев их внимательно, я увидел, что это рыцари в шлемах и длинных туниках, с тяжелыми широкими мечами, высеченными у боков, руки в перчатках сложены в молитве, глаза закрыты в вечном сне. Каждая фигура была позолочена и местами покрыта серебром, а также усыпана бесчисленными маленькими драгоценными камнями. На поясах рыцарей сверкали аметисты. Воротники туник украшали сапфиры. Топазы блестели на ножнах их мечей.

— Разве такие сокровища — недостаточное искушение для вора? — спросил я.— Они же лежат просто так, под разрушенным домом!

Он искренне расхохотался.

— Ты уже учишь меня принимать меры предосторожности? — спросил он с улыбкой.— Какая дерзость! Никакой вор не в силах сюда пробраться. Открывая двери, ты не соизмерял свою силу. Взгляни на засов, который я закрыл за нами, раз ты так волнуешься. Теперь посмотрим, сможешь ли ты поднять крышку гроба. Вперед. Посмотрим, сравняется ли твоя сила с твоей наглостью.

— Я не хотел показаться дерзким,— возразил я.— Слава Богу, ты улыбаешься.— Я поднял и сдвинул в сторону крышку гроба. Мне это не составило труда, но я догадывался, что камень очень тяжелый.— Понятно,— кротко сказал я и улыбнулся сияющей, невинной улыбкой. Внутри гроб был отделан дамастом пурпурного цвета.

— Ложись в эту колыбель, дитя мое,— сказал он.— И без страха ожидай восход солнца. Когда оно появится, ты будешь уже крепко спать.

— А мне нельзя спать с тобой?

— Нет, твое место здесь, в этой постели, я уже давно ее для тебя приготовил. Здесь, рядом с тобой, у меня есть своя узкая постель, ее на двоих не хватит. Но теперь ты мой, мой, Амадео. Награди меня еще несколькими поцелуями, да, вот так... как хорошо...

— Мастер, никогда не позволяй мне сердить тебя. Никогда не разрешай мне...

— Нет, Амадео, спорь со мной, задавай вопросы, будь моим дерзким и неблагодарным учеником.— Он выглядел немного грустным. Он ласково подтолкнул меня и указал на гроб. Замерцал пурпурный атласный дамаст.

— И я ложусь в гроб,— прошептал я,— так рано.

После этих слов на его лицо набежала тень боли. Я пожалел о них. Мне хотелось сказать что-нибудь, чтобы все исправить, но он жестом велел мне ложиться.

Как же там было холодно, проклятые подушки, как жестко. Я задвинул крышку на место и неподвижно лег, прислушиваясь к звуку задутого факела, к трению камня о камень, когда он открыл свою собственную могилу. Я услышал его голос:

— Спокойной ночи, моя юная любовь, моя маленькая любовь, мой сын...

Я безвольно лежал. Как восхитительно было просто расслабиться. Все казалось мне таким новым.

Далеко-далеко, в стране, где я родился, в Печерской лавре пели монахи.

Я сонно размышлял обо всем, что вспомнил. Я вернулся домой, в Киев. Из своих воспоминаний я создал живописную картину, чтобы она учила меня всему, что я в состоянии узнать. И в последние моменты ночного сознания я попрощался с ними навсегда, попрощался с их верованиями и с их ограничениями.

Я вызвал в воображении «Шествие волхвов», во всем своем великолепии сияющее на стене: процессию, которую смогу вволю изучить, как только сядет солнце. Мне, в глубине моей дикой и страстной души, моего новорожденного вампирского сердца, показалось, что волхвы пришли, дабы возвестить не только о рождении Христа, но и о моем перерождении.

9

Если я и думал, что мое превращение в вампира будет означать конец моего образования или моего ученичества у Мариуса, то я очень заблуждался. Меня не выпустили в тот же миг на свободу и не позволили только лишь наслаждаться преимуществами моей новой силы.

На следующую же ночь после превращения мое воспитание началось всерьез. Теперь меня нужно было готовить уже не к временной жизни, а к вечности.

Мастер рассказал, что его сделали вампиром почти пятнадцать веков назад и что существа, нам подобные, живут практически по всему миру. Скрытные, подозрительные, часто ужасно одинокие, ночные скитальцы, как называл их Мастер, зачастую бывали плохо подготовлены к бессмертию, и все их существование представляло собой не более чем цепочку жутких катастроф, пока их не одолевало отчаяние и они не приносили себя в жертву, устроив страшный пожар или выйдя на солнечный свет.

Что касается совсем старых, кто, как мой Мастер, смог выстоять на протяжении многих эпох и пережить крушение многих империй, они по большей части были мизантропами, выискивая себе города, где можно было править смертными, оттоняя молодых вампиров, пытающихся разделить с ними территорию, даже если это означало уничтожение себе подобных.

Венеция была неоспоримой вотчиной моего Мастера, его охотничьими угодьями, его личной ареной, где он мог руководить играми, которые в этот отрезок своей жизни счел для себя важными.

— Все на свете преходяще,— говорил он,— кроме тебя самого. Ты обязан прислушаться к моим словами, потому что мои уроки — прежде всего уроки выживания. Детали узнаешь позже.

Первым уроком было то, что мы убиваем только «злодеев». Когда-то, в туманные древние века, такой была торжественная клятва тех, кто пьет кровь. Во времена античности и язычества существовала даже некая религия. Вампиров боготворили как вершителей правосудия над теми, кто был повинен в преступлении.

— Никогда больше мы не позволим окружить себя и загадку нашей силы подобными суевериями,— говорил Мастер.— Мы не безупречны. Мы не получали полномочий от Бога. Мы бродим по свету, как гигантские кошки в необъятных джунглях, и имеем не больше прав на тех, кого убиваем, чем любое существо, стремящееся тем или иным способом выжить.

Но главный принцип остается неизменным: убийство невинных способно свести с ума. Поверь мне, что для твоего же душевного спокойствия ты должен пить кровь исключительно злодеев, должен научиться любить их во всей их мерзости и низости, должен питаться видениями злодеев, которые неизбежно наполнят твое сердце и душу в момент убийства.

Начни убивать невинных — и рано или поздно ты станешь испытывать чувство вины, а с ним придет бессилие, а вслед за бессилием — отчаяние. Тебе может казаться, что для этого ты слишком холоден и безжалостен. Ты можешь чувствовать себя выше людей и оправдывать свою хищную невоздержанность тем, что твоя жажда крови обусловлена необходимостью поддерживать собственную жизнь. Но в конечном счете это не сработает.

В конечном счете ты поймешь, что ты не столько монстр, сколько человек, что все, что есть в тебе благородного, проистекает от твоих человеческих корней, а усугубление твоей природы способно только дать тебе возможность в еще большей мере оценить все человеческое. Ты начнешь жалеть тех, кого убиваешь, даже тех, для кого нет искупления, и начнешь любить людей так отчаянно, что наступят ночи, когда голод покажется тебе намного предпочтительнее, чем кровавая трапеза.

Все это я воспринимал всем сердцем и не замедлил устремиться вместе с Мастером в мрачное чрево Венеции, в дикий мир таверн и порока, который я, будучи таинственным, облаченным в бархат учеником Мариуса Римского, никогда прежде не видел в истинном свете. Конечно, я знал места, где можно напиться, я знал модных куртизанок, таких как наша любимая Бьянка, но я не знал венецианских воров и убийц. А они-то и стали моей основной, точнее, единственной пищей.

Очень скоро я понял, что имел в виду мой господин, говоря, что я должен приобрести вкус к злодеям и сохранить его. Грезы моих жертв с каждым убийством становились все явственнее.

Убивая, я начал видеть ослепительные краски. Иногда я даже мог увидеть эти краски, еще не приблизившись к жертве. Некоторых людей окружали красноватые тени, а другие излучали ярко-оранжевый свет. Ярость моих подлейших и самых отвратительных жертв часто бывала блестяще-желтой, ослепляя меня и обжигая как в те мгновения, когда я совершал нападение, так и в те минуты, пока я выпивал из жертвы всю кровь.

Изначально я был ужасно жестоким и импульсивным убийцей. Как только Мариус приводил меня в гнездо убийц, я с неловким неистовством приступал к делу: выманивал добычу из таверны или из ночлежки, загонял ее в угол на набережной и раздирал ей горло, как дикий пес. Я жадно пил и часто вырывал сердце жертвы. Однако вскоре понял, что так делать не следует, ибо, как только сердце умирает, кровь перекачивать уже нечему.

Но мой господин, невзирая на свои возвышенные речи о людских добродетелях и твердом убеждении в том, что мы тоже несем определенную ответственность, тем не менее учил меня убивать искусно.

— Пей медленно,— наставлял он.

Мы бродили по немногочисленным, но все же существовавшим кое-где в Венеции узким берегам каналов. Мы плавали в гондоле и благодаря сверхъестественному дару подслушивали разговоры, предназначенные, как нам казалось, лично для нас.

— В половине случаев не нужно даже входить в дом, чтобы вытащить жертву,— говорил Мастер.— Встань неподалеку, прочти его мысли, безмолвно подбрось ему приманку. Если ты прочел его мысли, то почти наверняка сможешь передать ему послание. Можно выманить его, не говоря ни слова. Можно оказать неодолимое давление. Когда он к тебе выйдет, тогда и убивай.

Никогда не нужно заставлять их страдать, или же проливать кровь в буквальном смысле. Обнимай свою жертву с любовью, если сможешь. Медленно ласкай ее и осторожно вонзай зубы. Потом пей, пей как можно медленнее. Таким образом его сердце верно послужит тебе до последнего мгновения.

Что касается видений и этих красок, о которых ты говоришь, стремись воспользоваться ими для получения новых знаний. Пусть умирающая жертва расскажет тебе все, что может. Если перед тобой проходят картины чьей-либо долгой жизни, наблюдай за ними, смакуй их. Да, смакуй. Поглощай их медленно, как

кровь. Что касается красок, пропитайся ими. Пусть тебя наводнят ощущения. Иными словами, будь одновременно и крайне активен, и совершенно пассивен. Занимайся с жертвой любовью. И всегда прислушивайся к тому моменту, когда сердце окончательно перестанет биться. В это мгновение ты, безусловно, испытаешь высшие ощущения, но его можно упустить.

После этого избавься от тела или же убедись, что на горле жертвы не осталось следов укуса — зализывай раны. Одна капля твоей крови на кончике языка поможет тебе этого добиться. В Венеции трупы — обычная вещь. Не обязательно прилагать особые усилия. Но когда мы будем охотиться в прилегающих к ней деревнях, тебе часто придется хоронить останки.

Я слушал эти уроки с готовностью и восхищением. Совместная охота была для меня величайшим удовольствием. Я достаточно быстро осознал, что те убийства, свидетелем которых я стал перед превращением, Мариус намеренно совершил столь неловко. Надеюсь, я в своем рассказе сумел объяснить достаточно ясно, что он хотел заставить меня почувствовать жалость к тем жертвам; он хотел, чтобы я пришел в ужас. Он хотел, чтобы я рассматривал смерть как чудовищное явление. Однако в силу своей молодости, преданности Мастеру и из-за обилия сцен жестокости и насилия, увиденных за мою короткую жизнь, я отреагировал не так, как он рассчитывал.

Так или иначе, но в действительности он был удивительно искусным убийцей. Часто мы выбирали одну жертву и вместе убивали ее: я пил из горла, а он — из запястья. Иногда он наслаждался тем, что крепко держал жертву, пока я выпивал всю кровь.

Будучи молодым вампиром, я испытывал жажду каждую ночь. Да, я мог прожить без свежей крови три ночи, а быть может, и дольше — иногда так и случалось. Однако к пятой ночи голодания — это тоже было проверено — я становился слишком слаб, чтобы подняться из гроба. Таким образом, это означало, что, если мне когда-нибудь вдруг придется остаться одному, я должен убивать по меньшей мере каждую четвертую ночь.

Первые несколько месяцев были настоящей оргией. Каждое новое убийство возбуждало меня сильнее, чем предыдущие, приводило в неописуемый восторг. Один только вид обнаженного горла доводил меня до такого состояния, что я становился

похожим на зверя и не в состоянии был ни говорить, ни сдерживаться. Открывая глаза в холодной каменной темноте, я представлял себе человеческую плоть. Я ощущал, как прикасаюсь к ней голыми руками, и мечтал только о ней — никаких других событий для меня не существовало, они просто не имели ровным счетом никакого значения.

Долгое время после убийства мое тело вздрагивало от приятных ощущений, пока теплая ароматная кровь постепенно проникала во все уголки моего тела, наполняя удивительным теплом мое лицо.

Одного этого хватало, чтобы, ввиду моей молодости, увлечь и буквально поглотить меня целиком.

Но в намерения Мариуса не входило позволить мне, нетерпеливому юному хищнику, не думающему ни о чем, кроме того, чтобы безудержно насыщаться ночь за ночью, погрязнуть в крови.

— Ты должен начать всерьез заниматься историей, философией и юриспруденцией,— сказал он мне.— Теперь тебя ждет не университет Падуи. Твоя задача выжить и обеспечить себе возможность существовать вечно.

Так что, когда по завершении тайных вылазок мы возвращались в теплые комнаты палаццо, он усаживал меня за книги. Он в любом случае хотел отдалить меня от Рикардо и остальных мальчиков, чтобы они ничего не заподозрили о произошедших со мной переменах. Он даже сказал мне, что они «знают» об этой перемене, сознают они это или нет. Их тела знают, что я больше не человек, хотя их разуму потребуется время, чтобы принять этот факт.

— Проявляй по отношению к ним только внимание и любовь, только полное снисхождение, но держись на расстоянии,— говорил мне Мариус.— К тому моменту, когда они осознают, что свершилось немыслимое, ты уже убедишь их, что ты им не враг, что ты остался прежним Амадео, которого они любят, что, несмотря на перемены в тебе самом, к ним ты не переменился.

Это я понял. И тотчас проникся еще более глубокой любовью к Рикардо. И к остальным мальчикам.

— Но, Мастер, неужели они никогда тебя не раздражают? — недоумевал я.— Они же медленно соображают и так неуклюжи. Да, я люблю их, но ты, конечно, видишь их в более уничижительном свете, чем я.

— Амадео,— тихо сказал он,— они же все умрут.— Его лицо исказила гримаса скорби.

Я прочувствовал это моментально и всей душой, теперь я все так чувствовал. Чувства налетали, как вихрь, и мгновенно преподавали свой урок. Они все умрут. Да. В то время как я бессмертен. После этого я уже никогда не мог быть с ними нетерпелив и даже доставлял себе удовольствие, вволю наблюдая за ними и изучая их, никогда им этого не показывая, но упиваясь каждой деталью, как будто они обладали особой экзотичностью, потому что... они все умрут.

Всего здесь не описать, слишком много происходило событий. Не знаю, каким образом изложить хотя бы то, что мне открылось в одни только первые месяцы. И все, что я выяснил тогда, впоследствии находило свое развитие; знания мои углублялись.

Я чувствовал запах гниения, но также созерцал тайну роста, чудо цветения и созревания, и всякий процесс, будь он направлен к взрослению или к могиле, восхищал меня и завораживал, за исключением разрушения человеческого разума.

Изучение систем правления и законодательства было более сложной задачей. Хотя читал я теперь несравнимо быстрее, чем прежде, и практически мгновенно постигал суть прочитанного, мне приходилось заставлять себя интересоваться такими вещами, как история римского права с древнейших времен и великий кодекс императора Юстиниана, именуемый «Corpus juris civilis», который мой Мастер считал одним из превосходнейших письменных сводов законов во все эпохи.

— Мир меняется только к лучшему,— объяснял мне Мариус.— С каждым веком цивилизация все больше ценит правосудие, обычные люди широкими шагами движутся к богатству, которое когда-то считалось привилегией правителей, а искусство от каждого подъема свободы только выигрывает, становится более образным, более изобретательным и прекрасным.

Я мог это понять только теоретически. Я не питал к юриспруденции ни доверия, ни интереса. Фактически я в теории полностью презирал идеи моего господина. Я хочу сказать, что презирал не его, но в глубине души испытывал презрение к закону,

к юридическим учреждениям и к правительству, причем мое презрение было настолько полным, что я сам не понимал, почему так происходит.

Мастер же отвечал, что он понимает.

— Ты родился в темной, мрачной земле,— сказал он.— Жаль, что я не могу перенести тебя на двести лет назад, в эпоху, когда Батый, сын Чингисхана, еще не разграбил великолепный русский город Киев, во времена, когда купола Софийского собора действительно сияли золотом, а люди славились своим мастерством и были полны надежды.

— Я до тошноты наслушался о былом великолепии,— тихо сказал я, не желая его разозлить.— В детстве меня напичкали сказками о старых временах. Дрожа у огня в жалкой деревянной избе, где мы жили, на расстоянии нескольких ярдов от обледенелой реки, я без конца слушал эту чушь. У нас в доме жили крысы. В нем не было ничего красивого, кроме икон и песен моего отца. Народ не знал ничего, кроме лишений, причем, как тебе известно, мы говорим о громадной стране. Невозможно представить себе ее масштабы, если не побывать там, если не путешествовать, как мы с отцом, в промерзшие северные московские леса, или в Новгород, или в Краков.— Я замолчал.— Не хочу думать о тех временах и о тех местах,— сказал я.— В Италии и представить невозможно, как люди выживают в подобных условиях.

— Амадео, эволюция права, форм правления происходит в каждой стране и у каждого народа по-своему. Я уже давно рассказал тебе, что выбрал Венецию, поскольку это великая республика, поскольку ее население прочно связано с родной землей благодаря тому, что оно состоит в основном из купцов и занимается торговлей. Я люблю Флоренцию, поскольку ее великая семья Медичи — банкиры, а не праздные титулованные аристократы, которые презирают любой труд во имя того, что, как они считают, было дано им Богом. Великие города Италии создавались тружениками, людьми творческими, людьми деятельными, благодаря чему здесь испытывают сочувствие ко всем системам и существуют бесконечно большие возможности для мужчин и женщин во всех жизненных сферах.

Этот разговор меня обескуражил. Разве все это так уж важно?

— Амадео, мир теперь принадлежит тебе,— сказал Мастер.— Ты должен рассматривать более масштабные исторические циклы. Состояние мира со временем начнет тебя удручать, и ты вдруг обнаружишь, как обнаруживают это все бессмертные, что существовать в изоляции от него невозможно. Особенно для тебя.

— Почему бы это? — несколько резко спросил я.— Я думаю, что смогу закрыть глаза. Что мне за дело — банкир человек или купец? Какая мне разница, строит ли город, где я живу, собственный торговый флот? Мастер, я могу целую вечность смотреть на картины в этом палаццо. Я еще даже не успел во всех деталях рассмотреть «Шествие волхвов», а здесь еще столько всего другого! Не говоря уже обо всех остальных картинах в этом городе!

Он покачал головой.

— Изучение живописи приведет тебя к исследованию человечества, а исследование человечества заставит тебя либо скорбеть, либо прославлять состояние мира смертных.

Я в это не верил, но изменить расписание мне не позволили. Я учился, как мне велели.

Должен сказать, что Мастер обладал многими способностями, которых я не имел, но он уверял, что они разовьются со временем. Он мог разжечь огонь силой мысли, но только при оптимальных условиях — то есть он мог воспламенить уже просмоленный факел. Он мог без усилий и быстро забраться на крышу любого здания, лишь небрежно цепляясь руками за подоконники, подталкивая себя наверх стремительными грациозными движениями, и мог заплыть в любые морские глубины.

Естественно, его вампирское зрение и слух были гораздо острее и сильнее моих, и, в то время как голоса зачастую непроизвольно вторгались в мою жизнь, он умел намеренно изгонять их. Этому мне следовало учиться, и я отчаянно трудился, поскольку временами мне казалось, что вся Венеция состоит из сплошной какофонии голосов и молитв.

Но величайшим его умением, которым не обладал я, была способность подниматься в воздух и с быстротой молнии преодолевать огромные расстояния. Ее он демонстрировал мне много раз, но практически всегда, поднимая меня и унося с со-

бой, он заставлял меня закрыть лицо и силой опускал мою голову, чтобы я не видел, куда мы направляемся и каким образом.

Почему он так скрытен относительно этой способности, я понять не мог. Наконец, как-то ночью, когда он отказался перенести нас на остров Лидо, чтобы посмотреть ночную церемонию с фейерверками и освещенными факелами кораблями, я настоял, чтобы он ответил на мой вопрос.

— Это пугающая сила,— холодно сказал он.— Отрываться от земли страшно. На раннем этапе не обходится без ошибок и катастроф. С приобретением мастерства, умения подниматься в верхние слои атмосферы не только тело, но и душу пробирает дрожь. Эта способность не просто противоестественна, она сверхъестественна.— Я видел, что разговор причиняет ему боль. Он покачал головой.— Это единственный талант, который кажется абсолютно нечеловеческим. Я не могу научиться у смертных, как его лучше использовать. Во всех других отношениях мои учителя — люди. Моя школа — человеческое сердце. Здесь же все иначе. Я становлюсь магом. Я становлюсь колдуном, чародеем. Эта сила соблазнительна, она способна любого превратить в своего раба.

— Но каким образом? — спросил я.

Он оказался в затруднении. Ему не хотелось даже говорить об этом и в конце концов он все же потерял терпение.

— Когда-нибудь, Амадео, ты меня замучаешь своими вопросами. Ты спрашиваешь и спрашиваешь, как будто я обязан тебя опекать. Поверь мне, это не так.

— Мастер, ты меня создал, ты настаиваешь на моем послушании. Разве я стал бы читать «Историю моих бедствий» Абеляра или труды Дунса Скота из Оксфордского университета, если бы ты не заставлял? — Я остановился. Я вспомнил своего отца и то, как я без конца осыпал его ядовитыми словами и оскорблениями.

Я был обескуражен.

— Мастер,— сказал я.— Просто объясни мне.

Он сделал жест, как бы говоря: «Неужели ты действительно думаешь, что все так просто?»

— Хорошо,— продолжил он.— Дело обстоит так. Я могу подняться очень высоко в воздух, я могу двигаться очень быстро. Я не часто могу проникнуть через облака. Как правило, они плывут надо мной. Но я передвигаюсь так быстро, что мир превращается в нечеткое пятно. Приземлившись, я оказываюсь в странных местах. Пойми, несмотря на волшебство, это глубоко неприятная способность, доставляющая много беспокойства. Иногда, после того как использую эту силу, я теряюсь, утрачиваю почву под ногами, уверенность в своих целях и даже волю к жизни. Перемещение происходит слишком быстро — может быть, дело в этом. Я никогда никому об этом не рассказывал, а теперь говорю с тобой, а ты еще маленький и даже отдаленно многого не понимаешь.

Я действительно не понимал.

Но очень скоро он сам пожелал, чтобы мы предприняли более длительное путешествие, чем те, что совершали раньше. Это было делом нескольких часов, но, к моему полному изумлению, между заходом солнца и ранним вечером мы добрались до далекой Флоренции.

Там, очутившись в мире, разительно отличающемся от мира Венеции, тихо пройдясь рядом с итальянцами совершенно другой породы, я впервые понял, о чем он говорил.

Понимаешь, я и раньше видел Флоренцию, путешествуя с группой друзей в качестве смертного ученика Мариуса. Но мои беглые наблюдения не шли в сравнение с тем, что я увидел, став вампиром.

Однако на дворе стояла ночь. В городе уже пробили вечерний звон. И камни Флоренции выглядели темнее, неряшливее, они напоминали крепость, улицы были узкими и мрачными, так как их не освещали фосфоресцирующие полоски воды, как у нас. Во флорентийских дворцах отсутствовали экстравагантные мавританские орнаменты, свойственные венецианским домам, фантастические отполированные каменные фасады. Они скрывали свой блеск внутри, что чаще встречалось в итальянских городах. Но Флоренция была богата, густо населена и полна радовавших глаз чудес.

В конце концов, это же была Флоренция, столица владений человека, которого прозвали Лоренцо Великолепным,— неотразимой личности, доминирующей на копии великой фрески, сделанной Мариусом, которую я увидел в ночь моего рождения во Тьму, человека, умершего всего за несколько лет до описываемых мною событий.

Мы обнаружили, что, невзирая на темноту, на улицах полно народа, что группы мужчин и женщин прогуливаются по мощеным тротуарам, что над площадью Синьории, одной из главнейших в городе, нависла зловеще нетерпеливая атмосфера.

В тот день состоялась казнь — едва ли из ряда вон выходящее событие во Флоренции, да и в Венеции, если уж на то пошло. Это было сожжение. Хотя до наступления ночи все следы костра были убраны, я почувствовал запах дров и горелой плоти.

Я испытывал природное отвращение к подобным вещам, что, кстати, свойственно не каждому, и осторожно пробирался к месту событий, не желая, чтобы мое обостренное восприятие было потрясено каким-нибудь жутким свидетельством жестокости.

Мариус всегда советовал нам, мальчикам, не «наслаждаться» такими зрелищами, а мысленно ставить себя в положение жертвы, чтобы таким образом иметь возможность максимально осознать весь ужас увиденного.

Как ты знаешь из истории, люди, присутствовавшие на казнях, часто вели себя безжалостно и неуправляемо, а иногда даже издевались над жертвой — думаю, из страха.

Мы, ученики Мариуса, всегда находили ужасно сложным мысленно разделять участь повешенного или сожженного. Короче говоря, он отнял у нас радость забавы.

Конечно, поскольку эти ритуалы совершались практически всегда днем, сам Мариус никогда на них не присутствовал.

И теперь, когда мы вошли на огромную площадь Синьории, я увидел, что его раздражает тонкая пелена пепла, все еще витавшего в воздухе, и коробит от мерзких запахов.

Я также отметил, что мы легко скользили между людьми — две почти неуловимые фигуры в черном. Наши шаги оставались практически неслышными. Благодаря вампирскому дару мы умели двигаться быстро и незаметно, с инстинктивной ловкостью и грацией уклоняясь от случайных взглядов смертных.

— Мы как будто невидимы,— сказал я Мариусу,— как будто ничто не может затронуть нас, потому что наше место не здесь и мы скоро покинем этот город.— Я посмотрел на унылые крепостные стены, обрамлявшие площадь.

— Да, но мы отнюдь не невидимы, не забывай,— прошептал он.

— Но кто здесь сегодня умер? Люди мучаются и боятся. Прислушайся. Здесь и удовлетворение, и страх.— Он не ответил. Я забеспокоился.

— Что случилось? Не может быть, чтобы что-то обычное,— сказал я.— Весь город не спит и волнуется.

— Это их великий реформатор Савонарола,— сказал Мариус.— Сегодня днем он умер: повешен, потом сожжен. Благодарение Богу, когда его охватило пламя, он был уже мертв.

— Ты желаешь милосердия по отношению к Савонароле? — спросил я. Он меня озадачил. Этого человека — быть может, и великого реформатора в чьих-то глазах — проклинали все мои знакомые. Он осуждал любые плотские удовольствия, отказывая в какой бы то ни было обоснованности той самой школе, где, по мнению моего Мастера, можно было научиться всему.

— Я желаю милосердия каждому человеку,— сказал Мариус. Он жестом позвал меня за собой, и мы двинулись по направлению к ближайшей улице. Мы уходили все дальше от скверного места.

— Даже тому, кто убедил Боттичелли бросить свои собственные картины в «костры тщеславия»? — спросил я.— Сколько раз ты указывал мне на мелкие детали своих копий с шедевров Боттичелли, демонстрируя фрагмент изысканной красоты, чтобы я запомнил ее навсегда?

— Ты что, собираешься спорить со мной до конца света? — воскликнул Мариус.— Я доволен тем, что моя кровь придала тебе новую силу во всех отношениях, но неужели обязательно сомневаться в каждом слове, которое слетает с моих губ? — Он окинул меня яростным взглядом, и свет факелов озарил его полунасмешливую улыбку.— Найдется немало учеников, которые верят в действенность такого метода, верят, что до истины можно докопаться путем бесконечной борьбы между учеником и учителем. Но только не я! Я считаю, что тебе стоит сначала позволить моим урокам хоть на пять минут спокойно улечься у тебя в голове, а уж потом начинать свои контратаки.

— Ты стараешься разозлиться на меня, но не получается.

— Какая у тебя путаница в мозгах! — резко воскликнул он и быстро зашагал вперед.

Узкая флорентийская улочка была темной и мрачной и больше напоминала проход через большой дом, чем городскую улицу. Мне не хватало венецианского бриза, точнее, его не хватало моему телу. Меня же этот город просто завораживал.

— Ну не злись так,— сказал я.— Почему они обрушились на Савонаролу?

— Дай людям время, они обрушатся на кого угодно. Он объявил себя пророком, вдохновленным божественной силой Господа, и утверждал, что наступил конец света, а это, ты уж мне поверь, самая старая, самая избитая христианская жалоба в мире. Конец света! Сама христианская религия базируется на идее о том, что мы доживаем последние дни! Эту религию подогревает человеческая способность забывать все ошибки прошлого и в очередной раз наряжаться по поводу светопреставления.

Я улыбнулся, но улыбка получилась горькой. Я хотел сказать, что всех нас рано или поздно ждет конец света, ибо все люди смертны, но в тот же миг осознал, что я больше не из их числа — во всяком случае, я не более смертен, чем весь мир.

Казалось, я всем своим существом осознал мрачную атмосферу, нависшую над моим детством в далеком Киеве. Я снова увидел грязные пещеры и наполовину погребенных монахов, приглашавших меня к ним присоединиться.

Я стряхнул с себя эти мысли, и тогда Флоренция показалась мне ужасно яркой — особенно в тот момент, когда мы вышли на широкую, освещенную факелами площадь Дуомо, к великому собору Санта-Мария дель Фьоре.

— А, значит, мой ученик хоть иногда меня все-таки слушает,— с иронией произнес Мариус.— Да, я невыразимо рад, что Савонаролы больше нет. Но радоваться концу чего-то не значит одобрять бесконечное шествие жестокости, которое и составляет человеческую историю. Хотел бы я, чтобы все было иначе. Публичные жертвоприношения во всех отношениях превращаются в гротеск. Они притупляют чувства масс. В этом городе это в первую очередь зрелище. Флорентийцы получают от казни такое же удовольствие, как мы от наших регат и процессий. Значит, Савонарола мертв. Что ж, если и был человек, который сам на это напрашивался, то это Савонарола, предсказывавший конец света, проклинавший со своей кафедры герцогов и принцев, убеждавший великих художников сжигать свои работы. И к черту его.

— Мастер, смотри, это же баптистерий! Пойдем туда, постоим хотя бы у дверей. Площадь почти пуста. Пойдем. У нас есть шанс посмотреть на бронзовые фигуры.— Я потянул его за рукав.

Он последовал за мной и прекратил бормотать, но все еще был вне себя.

То, что мне хотелось посмотреть, и по сей день можно увидеть во Флоренции, на самом деле практически все сокровища этого города, да и Венеции, что я тебе описал, можно увидеть и ныне. Нужно только туда съездить. Роспись по дереву на двери, предмет моего восхищения, была создана Лоренцо Гиберти, но там сохранились и более старинные работы — творения Андреа Пизано, изображавшие житие святого Иоанна Крестителя, и я не собирался упустить их из виду.

Мое вампирское зрение было настолько острым, что, изучая эти разнообразные изображения в бронзе, я едва мог сдержать вздохи удовольствия.

Я так хорошо помню этот момент. Думаю, тогда я поверил, будто ничто больше не сможет причинить мне зло или заставить меня отчаяться, что в вампирской крови я обрел бальзам спасения, и, что самое странное, сейчас, диктуя эту историю, я думаю так же.

Хотя я сейчас несчастлив, и, наверное, это навсегда, я опять верю в первостепенное значение плоти. Мне на ум приходят слова Д. Г. Лоуренса, писателя двадцатого века, который в своих рассказах об Италии вспоминает стихи Блейка:

Тигр, тигр, жгучий страх
Ты горишь в ночных лесах...*

Вот слова Лоуренса:

«Таково превосходство плоти — она пожирает все, превращаясь в великолепный пламенеющий костер, в настоящее огненное безмолвие.

Это и есть способ превратиться в неугасающий огонь — превращение посредством плотского экстаза».

---

* Из стихотворения У. Блейка «Тигр» (перевод К. Бальмонта).

Но я допустил рискованную для рассказчика вещь. Я оставил свой сюжет, на что, я уверен, Вампир Лестат (кто, возможно, более искусен, чем я, и так влюблен в образ, нарисованный Уильямом Блейком, что, признается он в этом или нет, использовал в своей книге тигра точно таким же образом) не преминул бы мне указать, и мне лучше поскорее вернуться к той сцене на площади Дуомо, где я столько веков назад стоял рядом с Мариусом, глядя на гениальные творения Гиберти, воспевшего в бронзе сивилл и святых. Мы не торопились. Мариус тихо сказал, что после Венеции он избрал бы своим городом Флоренцию, ибо здесь многое озарено великолепным светом.

— Но я не могу оставаться вдали от моря, даже здесь,— доверительно объяснил он.— И, как ты можешь убедиться своими глазами, этот город с мрачной бдительностью цепляется за свои сокровища, в то время как в Венеции сами искрящиеся в лунном свете каменные фасады наших дворцов предлагаются в жертву всемогущему Богу.

— Мастер, а мы ему служим? — настаивал я.— Я знаю, ты осуждаешь монахов, которые меня воспитали, ты осуждаешь неистовые речи Савонаролы, однако не намерен ли ты провести меня к тому же самому Богу, но только другой дорогой?

— Именно так, Амадео, этим я и занимаюсь,— сказал Мариус.— Будучи настоящим язычником, я не собираюсь так уж легко в этом признаваться, иначе можно неправильно понять всю сложность такого пути. Но ты прав. Я обретаю Бога в крови. Я обретаю Бога Воплощенного. Я не считаю, что таинственный Христос по чистой случайности навсегда остался со своими последователями во плоти и крови.

Как же меня тронули эти слова! Мне показалось, что солнце, от которого я отрекся навеки, снова поднялось на небо, чтобы озарить ночь своим светом.

Мы проскользнули в боковую дверь темного собора, именуемого Дуомо. Я стоял, глядя вдоль длинного, выложенного камнем прохода на алтарь.

Неужели возможно обрести Христа по-новому? Может быть, я все-таки не отрекся от него навсегда. Я попытался выразить эти беспокойные мысли моему господину. Христос... по-новому. Я не мог всего объяснить и наконец сказал:

— Не могу подобрать слова.

— Амадео, все мы не можем подобрать слова, так бывает с каждым, кто входит в историю. Много веков не находится слов, чтобы выразить концепцию высшего существа; его слова и приписываемые ему принципы тоже после него пришли в беспорядок; таким образом, Христа в его странствиях использует в своих целях, с одной стороны, пуританин-проповедник, с другой — умирающий от голода отшельник, скрывшийся в земляном ските, а здесь — позолота Лоренцо Медичи, который хотел чествовать своего Господа в золоте, краске и мозаике.

— Но Христос — это Бог во плоти? — шепнул я.

Ответа не было.

Моя душа пошатнулась в агонии. Мариус взял меня за руку и сказал, что нам пора идти, чтобы тайно проникнуть в монастырь Сан-Марко.

— Это тот самый священный дом, что отказался от Савонаролы,— сказал он.— Мы проскользнем туда, оставив его благочестивых обитателей в неведении.

И опять мы переместились в пространстве как по волшебству. Я чувствовал только сильные руки Мастера и даже не увидел дверной проем, когда мы покинули это здание и попали в другое место.

Я знал, что он собирается показать мне работы художника Фра Анджелико, который давно умер, всю жизнь проработав в том самом монастыре, монаха-живописца, каким, наверное, суждено было стать и мне в далекой сумрачной Печерской лавре.

Через несколько секунд мы беззвучно опустились на сырую траву квадратного монастыря Сан-Марко, безмятежного сада, окруженного аркадами Микелоццо за надежными каменными стенами.

В моих вампирских ушах тотчас зазвучал хор, отчаянные, взволнованные молитвы братьев, которые были верны Савонароле или сочувствовали ему. Я поднес руки к ушам, как будто этот глупый человеческий жест мог сообщить небесам, что я больше не выдержу.

Поток чужих мыслей прервал успокаивающий голос моего Мастера.

— Идем,— сказал он, сжимая мою руку.— Мы проскользнем в кельи по очереди. Тебе хватит света, чтобы рассмотреть работы этого монаха.

— Ты хочешь сказать, что Фра Анджелико расписывал сами кельи, где спят монахи? — Я-то думал, что его работы украшают часовню и другие общинные места или публичные помещения.

— Поэтому я и хочу, чтобы ты посмотрел,— сказал Мастер. Он провел меня по лестнице в широкий каменный коридор. Он заставил первую дверь распахнуться, и мы мягко двинулись внутрь, бесшумно и быстро, не побеспокоив свернувшегося на жесткой постели монаха.

— Не смотри на его лицо,— ласково сказал Мастер.— Если посмотришь, то увидишь мучающие его беспокойные сны. Я хочу, чтобы ты взглянул на стену. Ну, что ты видишь?

Я моментально все понял. Искусство Фра Джованни, прозванного Анджелико в честь его возвышенного таланта, представляло собой странную смесь чувственного искусства нашего времени и благочестивого искусства прошлого.

Я смотрел на яркую, элегантно воссозданную сцену захвата Христа в Гефсиманском саду. Тонкие плоские фигуры очень напоминали удлиненные пластичные образы русских икон, и в то же время лица смягчались от искренних, трогательных эмоций. Такое впечатление, что всех участников картины переполняла доброта — не только самого Господа, преданного одним из его учеников, но и взиравших на него апостолов, и даже злополучного солдата в кольчуге, который протягивал руки, чтобы забрать нашего Господа, и наблюдавших за ними других солдат.

Меня гипнотизировали их несомненная доброта, невинность, сквозящая в каждом из них, возвышенное сострадание со стороны художника ко всем участникам этой трагической драмы, предшествовавшей спасению мира.

Миг — и я оказался в следующей келье. И опять дверь подалась по приказу Мастера, и ее спящий хозяин так и не узнал о нашем появлении.

На этой картине был изображен тот же сад и сам Христос перед арестом, один среди спящих апостолов, оставшийся молить своего небесного отца дать ему силы. Я снова заметил сходство со старым стилем, в котором я, как русский мальчик, чувствовал себя так уверенно. Складки ткани, использование арок, нимб над каждой головой, общая строгость — все относилось к прошлому, но здесь в то же время явственно виделась новая

итальянская теплота, безусловная итальянская любовь к человечности — она просвечивала во всех без исключения, даже в самом Господе.

Мы переходили из кельи в келью, словно путешествуя по жизни Христа: вот сцена первого Святого причастия, в которой Христос так трогательно раздает хлеб, содержащий его тело и кровь, как облатки во время мессы, а вот — Нагорная проповедь, где не только его одеяние, но и гладкие складчатые камни, окружавшие Господа и его слушателей, казались сшитыми из ткани.

Когда мы дошли до сцены Распятия, где наш Господь поручает заботам святого Иоанна свою мать, меня в самое сердце поразила мука на лице Господа. Какая задумчивость читалась сквозь горе на лице Девы Марии, каким покорным выглядел стоявший рядом с ней святой с мягким, светлым флорентийским лицом, таким похожим на тысячи других лиц, созданных художниками этого города, едва окаймленным светло-коричневой бородкой.

И в тот момент, когда я решил, что в совершенстве постиг урок Мастера, мы наткнулись на новую картину, и я еще сильнее ощутил связь между сокровищами моего детства и спокойным, светлым благородством монаха-доминиканца, который так украсил эти стены. Наконец мы оставили этот чистый, милый дом, полный слез и произносимых шепотом молитв.

Мы вышли в ночь и вернулись в Венецию, промчавшись сквозь холодную и шумную тьму, прибыв домой как раз вовремя, чтобы успеть немного посидеть в залитой теплым светом роскошной спальне и поговорить.

— Теперь ты понимаешь? — спросил меня Мариус.

Он сидел за своим столом с пером в руке. Он окунул его в чернила и принялся писать, переворачивая большие пергаментные страницы своего дневника.

— В далеком Киеве кельей служила сама земля, сырая и чистая, но темная и всеядная,— пасть, в конце концов съедающая всю жизнь, разрушающая искусство.

Я вздрогнул. Я сидел, растирая ладонями плечи и изредка поглядывая на Мастера.

— Но что завещал своим братьям проницательный учитель Фра Анджелико здесь, во Флоренции? — продолжал Мариус.—

Потрясающие картины, призванные настроить их умы на страдания Господа?

Перед тем как ответить, он написал несколько строк.

— Фра Анджелико никогда не презирал усладу для глаз, никогда не избегал заполнять взор всеми красками, силой видеть которые наделил тебя Бог, ибо он дал тебе глаза не для того, чтобы... чтобы ты зарыл себя в мрачную землю...

Я долго размышлял. Одно дело — знать все это в теории. Другое — пройти по погруженным в тишину и сон монастырским кельям, увидеть, как настоящий монах воплотил в жизнь принципы моего господина.

— Сейчас чудесные времена,— мягко сказал Мариус.— Сейчас заново открывается то хорошее, что было свойственно древним, и ему придают новую форму. Ты спрашиваешь меня, Бог ли Христос. Я скажу тебе, Амадео: может быть, поскольку сам он никогда не учил ничему, кроме любви,— во всяком случае, в это нас заставили поверить его апостолы... А что было на самом деле известно им, мы не знаем...

Я ждал, ибо понимал, что он не закончил. В комнате было так хорошо — тепло, чисто, светло. В моем сердце навсегда сохранился его образ в этот момент: высокий светловолосый Мариус, отбросивший назад красный плащ, чтобы высвободить руку, держащую перо, гладкое задумчиво лицо, голубые глаза, в поисках истины заглядывающие за пределы нашей эпохи и всех остальных, в которых ему довелось жить. Тяжелая книга лежала на низком переносном пюпитре под удобным углом. Чернильница была закреплена внутри богато украшенной серебряной подставки. А за его спиной — покрытый гравировкой тяжелый канделябр с восемью толстыми оплывающими свечами. Поддерживавшие их херувимы с крошечными, повернутыми в разные стороны круглощекими личиками, с большими, сияющими счастьем глазами под распущенными змеевидными кудрями были наполовину погружены в серебро и, должно быть, били крыльями, чтобы вылететь на свободу.

Казалось, целая толпа ангелочков собралась посмотреть на Мариуса и послушать, как он говорит; множество крошечных серебряных лиц равнодушно взирали перед собой, не обращая внимания на падающие ручейки чистого тающего воска.

— Я не смогу жить без этой красоты,— вдруг сказал я,— я без нее не выдержу. О Господи, ты показал мне ад, и он лежит позади, в той стране, где я родился.

Он услышал мою короткую молитву, мою короткую исповедь, мою отчаянную мольбу.

— Если Христос и есть Господь,— сказал Мастер, возвращая нас обоих к теме урока,— если Христос и есть Господь, то какое же прекрасное чудо это христианское таинство...— Его глаза заволокло слезами.— Чтобы сам Господь спустился на землю и облек себя в плоть, дабы лучше узнать нас и понять. О, какой Бог, возникавший в человеческом воображении, может быть лучше того, который обрел плоть? Да, скажу я тебе, да, твой Христос, их Христос, даже Христос киевских монахов и есть Бог! Только никогда не забывай обращать внимание на ложь, произносимую в его имя, и деяния, свершаемые ради него. Ведь Савонарола выкликал его имя, восхваляя врага-чужестранца, напавшего на Флоренцию, а те, кто сжег Савонаролу как ложного пророка, так же взывали к Господу нашему Христу, разжигая вязанки хвороста под ногами безумного монаха.

Меня душили слезы.

Он сидел молча, может быть, в знак уважения или же просто собираясь с мыслями. Потом он опять обмакнул перо в чернильницу и долго писал, намного быстрее, чем обычные люди, проворно и элегантно, ни разу не вычеркнув хоть слово.

Наконец он отложил перо, посмотрел на меня и улыбнулся.

— Я намеревался показать тебе кое-что, но у меня никогда не получается действовать по плану. Сегодня вечером я хотел, чтобы ты увидел в способности летать опасность, увидел, что нам не составляет труда переноситься с места на место и что это чувство легкости появления и исчезновения обманчиво, его следует остерегаться. Но видишь, все получилось совсем по-другому.

Я не ответил.

— Я хотел,— продолжал он,— заставить тебя испугаться.

— Мастер,— заверил я, утирая нос тыльной стороной ладони,— можешь быть уверен, что, когда придет время, я испугаюсь как следует. Я вижу, у меня будет такая сила. Я уже ее чувствую. А пока что она кажется мне потрясающей, но из-за нее,

из-за этой силы, у меня на сердце тяжестью лежит одна темная мысль.

— Какая же? — самым доброжелательным тоном спросил он.— Знаешь, я считаю, что твое ангельское лицо подходит для печали не больше, чем лица Фра Анжелико. Что это за тень? Что за мрачные мысли?

— Отнеси меня обратно, господин,— сказал я. Меня затрясло, но я все же продолжал: — Что, если мы используем твою силу, чтобы пересечь Европу? Пойдем на север. Дай мне возможность посмотреть на ту жестокую землю, которая стала в моем воображении чистилищем. Унеси меня в Киев.

Он медлил с ответом.

Близилось утро. Он подобрал плащ, поднялся с кресла и повел меня вверх по лестнице, ведущей на крышу.

Вдалеке, за знакомым лесом корабельных мачт, мы видели уже бледнеющие воды Адриатики, мерцающие под луной и звездами. На далеких островах мигали огоньки. Мягкий ветер нес с собой соль и морскую свежесть, а также особенную прелесть, которая чувствуется только тогда, когда окончательно теряешь страх перед морем.

— Это весьма смелая просьба, Амадео. Но если ты действительно хочешь, завтра ночью мы отправимся в путь.

— А ты когда-нибудь совершал такое далекое путешествие?

— Если говорить о путешествии как таковом, то есть о милях и пространстве,— да, неоднократно,— сказал он.— Но по просьбе других, ради того чтобы помочь кому-либо в поисках истины? Нет, такого со мной еще не случалось.

Он обнял меня и отвел в палаццо, где были спрятаны от посторонних глаз наши гробницы. К тому времени, когда мы ступили на грязную каменную лестницу, на которой спало множество бедняков, я совершенно замерз. Осторожно обходя лежащих людей, мы добрались до входа в подвал.

— Зажгите, пожалуйста, факел, сударь,— попросил я.— Я весь дрожу.— Позвольте мне увидеть сияющее вокруг золото.

— Что ж, пожалуйста.

Мы стояли в нашем склепе, перед двумя богато украшенными саркофагами. Я положил руку на крышку своего гроба, и внезапно меня охватило новое страшное предчувствие: счастье

мое продлится недолго, и всему, что я так люблю, в самом скором времени суждено погибнуть.

Должно быть, Мариус заметил мою неуверенность. Он провел рукой прямо по пламени факела, приложил согретые пальцы к моей щеке, а потом поцеловал это место. Поцелуй получился теплым.

10

До Киева мы добирались четыре ночи. Охотились только в предрассветные часы, устраивали себе могилы в настоящих местах захоронений, в подземельях замков, в склепах под заброшенными и разрушенными церквами, приспособленными богохульниками для содержания скотины и хранения сена.

Я мог бы рассказать немало историй об этом путешествии, о неприступных крепостях, у стен которых мы бродили под утро, о затерянных в горах поселениях, о логовах злодеев, которых мы отыскивали.

Естественно, Мариус не упускал случая преподать мне очередной урок. Он учил меня находить простейшие, но надежные укрытия, не забывал похвалить за скорость, с которой я продвигался по густому лесу. Он без опаски бродил по разбросанным на большом расстоянии друг от друга поселениям, которые нам приходилось посещать из-за моей жажды, и с одобрением отмечал, что я не шарахаюсь от темных и пыльных могил, похожих на гнезда, с сохранившимися в них кучками костей. Мы иногда скрывались в них днем, ибо, по словам Мариуса, вряд ли кому-нибудь придет в голову еще раз навестить давно разграбленные захоронения.

Наши изысканные венецианские одежды запылились и были запачканы грязью, но мы запаслись для путешествия плотными плащами, отороченными мехом, и они все скрывали. Даже в этом случае Мариус не преминул обратить мое внимание на то, что любое одеяние служит нам только для прикрытия тела. Смертные часто забывают об этом, не понимают, сколь хрупка и ненадежна такая защита, и не умеют с легкостью относиться к тому, что на них надето. Вампиры же об этом забывать не должны, поскольку мы намного меньше зависим от одежды, чем люди.

К последнему перед прибытием в Киев утру я уже отлично изучил — а точнее, вспомнил — северные горы и леса. Здесь царила лютая зима. Мне довелось воскресить в памяти одно из самых занимательных воспоминаний: снег.

— Мне больше не больно брать его в руки,— сказал я, набирая полные пригоршни восхитительно мягкого, холодного снега и прижимая его к лицу.— Я больше не холодею от одного только его вида. Какой же он, оказывается, красивый. Он словно одеялом укрывает даже самые бедные города и хижины. Мастер, смотри, смотри, в нем отражается слабый свет звезд!

Мы стояли на краю земли, которую люди называли Золотой Ордой. Вот уже двести лет прошло с того времени, когда эти южные русские степи завоевал Чингисхан, но они и по сию пору оставались опасной территорией, где смерть поджидала любого, будь то крестьянин, рыцарь или целое войско.

Когда-то эта прекрасная и плодородная степь входила в состав Киевской Руси, простираясь далеко на восток и почти до Европы, а также на юг от Киева, города, где я родился.

— Последний отрезок нашего пути совсем невелик,— сказал мне господин.— Мы преодолеем его завтра ночью, чтобы ты смог вернуться домой свежим и отдохнувшим.

Когда мы стояли на каменистом утесе и смотрели вдаль, на заросли дикой травы, развевающейся на зимнем ветру, я впервые с той ночи, как стал вампиром, почувствовал, что мне ужасно не хватает солнца. Я хотел увидеть эту землю при солнечном свете. Однако признаться в этом моему господину я не посмел. В конце концов, о скольких благах можно мечтать одновременно?

Я проснулся сразу после заката. День мы провели под полом церкви в деревне, где уже никто не жил. Как сказал Мариус, жестокие монгольские орды, снова и снова разрушавшие мою родную страну, давным-давно сожгли дотла все окрестные поселения, и у церкви не осталось даже крыши. Некому было растащить камни с пола для продажи или строительства. Мы спустились по заброшенной лестнице и легли рядом с монахами, похороненными здесь около тысячи лет назад.

Открыв глаза, я увидел над собой отверстие. Чтобы мне было легче выбраться, Мастер вытащил из пола мраморную плиту с

надписью, несомненно могильный камень. А высоко наверху темнел прямоугольник неба. Я заставил себя взлететь, то есть согнул ноги в коленях и изо всех сил устремился вверх. Без труда проскочив сквозь это отверстие, я приземлился на ноги.

Мариус, неизменно вставший раньше меня, сидел неподалеку. Он не замедлил отреагировать одобрительным смехом, как я и ожидал.

— Ты приберегал свой фокус для этой минуты? — спросил он.

Ослепленный снегом, я оглядывался по сторонам. Как же мне было страшно смотреть на обледенелые сосны, возвышавшиеся над руинами деревни.

— Нет.— Язык отказывался мне подчиняться.— Я и сам не знал, что умею это делать. Я понятия не имею, на какую высоту смогу прыгнуть и сколько у меня сил. Но ты доволен?

— Да. А с чего бы мне быть недовольным? Я хочу, чтобы ты обрел силу, дабы никто не смог причинить тебе вред.

— А кому это нужно, Мастер? Мы путешествуем по миру, но ведь никто не знает, откуда мы пришли и куда направляемся.

— Встречаются и другие вампиры, Амадео. Они есть и здесь. Я могу услышать их, если захочу, но у меня есть веские причины к ним не прислушиваться.

Я понял, что он имеет в виду.

— Слушая их, ты открываешь свои мысли, и они могут узнать, что мы рядом?

— Да, умник. Так ты готов вернуться домой?

Я закрыл глаза и перекрестился по старому обычаю — справа налево. Я вспомнил отца... Мы были в степи... Он высоко поднялся в стременах, держа в руках свой гигантский лук, согнуть который было под силу только ему. Как мифический Одиссей, выпускал он стрелу за стрелой в налетевших на нас разбойников, прямо на скаку, держась на коне с таким мастерством, словно он сам был турком или татарином. Стремительно выхватывая из висевшего за спиной колчана очередную стрелу, он вкладывал ее в лук и стрелял, несмотря на то что конь галопом несся по высокой траве. Ветер развевал рыжую бороду, а небо было таким синим, таким синим, что...

Я прервал свою молитву и чуть не потерял равновесие. Мастер поддержал меня.

— Очень надеюсь, что ты покончишь с этим достаточно быстро,— сказал он.

— Поцелуй меня,— попросил я, подари мне свою любовь, обними меня, как делал это всегда,— мне так нужны твои руки. Направляй меня. Но не разжимай своих объятий... да, вот так... Позволь мне положить голову тебе на плечо. Да, ты мне нужен. Да, я хочу побыстрее со всем покончить и вернуться домой. А все полученные знания останутся со мной навеки.

Он улыбнулся.

— Дом теперь в Венеции? Ты так быстро принял решение?

— Да, я даже сейчас это понимаю. Земля, лежащая сейчас перед нами,— это моя родина. Но родина и дом не всегда одно и то же. Так что, мы идем?

Подхватив меня на руки, он поднялся в воздух. Я закрыл глаза, тем самым лишив себя возможности еще раз полюбоваться зрелищем неподвижно зависших в небе звезд. Мне казалось, что я заснул, прижимаясь к нему, не видя снов, не чувствуя страха. И вдруг он поставил меня на ноги.

Я мгновенно узнал высокий темный холм, голый дубовый лес с обледенелыми черными стволами и скелетообразными ветвями. Вдалеке, внизу, блестела полоска Днепра. У меня защемило сердце. Я осмотрелся в поисках мрачных башен великого города, который мы называли городом Владимира, то есть Древнего Киева.

В нескольких ярдах от меня высились груды камней, которые когда-то были городскими стенами.

Я шел первым, легко взбираясь на камни, блуждая среди развалин церквей, в давние времена славившихся своей красотой, пока хан Батый не сжег город в 1240 году.

Я вырос среди древних храмов и монастырей, а теперь все они лежали в руинах. Не многим памятникам старины удалось избежать страшной участи. К счастью, монголы пощадили Софийский собор, куда я часто спешил, чтобы послушать службу. В свое время его золотые купола гордо возвышались над всеми окрестными церквами, и, по слухам, он был больше и наряднее, чем его тезка в далеком Константинополе, а потому считался даже более величественным.

Мне же довелось видеть лишь его величавые останки, израненную, изуродованную скорлупу.

Сейчас мне не хотелось заходить в церковь. Мне хватило и внешнего осмотра, потому что теперь, проведя несколько счастливых лет в Венеции, я представлял себе былое величие этой церкви. После великолепных византийских мозаик и картин собора Сан-Марко, после древней византийской церкви на венецианском острове Торчелло я понимал, какое это когда-то было потрясающее зрелище. Вспоминая оживленные толпы венецианцев — ученых, школяров, юристов, купцов, я мог наделить кипящей энергией этот унылый, запущенный пейзаж.

На земле лежал глубокий, плотный слой снега, и в тот холодный ранний вечер не многие вышли на улицу. Так что мы могли чувствовать себя свободно и с легкостью ходить по сугробам, в отличие от смертных не заботясь о выборе удобной тропы.

Мы подошли к длинной полосе разрушенной крепостной стены, к бесформенной заснеженной ограде, и оттуда я взглянул на нижний город, который мы называли Подолом, на единственную оставшуюся часть Киева,— там в невзрачной бревенчатой избе, стоявшей почти у самой реки, я родился и вырос. Я посмотрел вниз — на закопченные соломенные крыши, покрытые очистительным снегом, на дымящиеся трубы, на узкие, кривые, полускрытые под сугробами улицы. Множество убогих домишек и строений побогаче издавна выстроились вдоль берега реки — несмотря на частые пожары и жесточайшие набеги татар Подол продолжал существовать.

Население города состояло из мелких торговцев, купцов и мастеровых. Их привлекала сюда близость реки, позволявшей в изобилии доставлять богатые и экзотические товары с Востока и вместе с собственными товарами везти их дальше, в Европу. Часто такие перевозки осуществлялись по заказу чужеземных купцов, которые платили за это немалые деньги.

Мой отец, неукротимый охотник, торговал медвежьими шкурами. Он в одиночку добывал их в чащобах огромного леса, простиравшегося далеко на север. Он продавал и другие меха — бобровые шкурки, лисьи, куньи, овечьи... И так велики были его сила и удача, что ни одному мужчине и ни одной женщине из нашей семьи никогда не приходилось ради пропитания заниматься каким-либо промыслом. Если мы голодали — а такое случалось, и нередко,— причина заключалась лишь в том, что

зимой заканчивались все припасы и на отцовские деньги нечего было купить.

Стоя на крепостной стене Владимирской горы, я вдохнул запах Подола. Я различил зловоние гниющей рыбы, скота, грязной плоти и речного ила.

Я завернулся в свой плащ, стряхнул с меха снег и оглянулся на четко выделявшиеся на фоне неба темные купола собора.

— Давай прогуляемся еще, пройдем мимо замка воеводы,— попросил я.— Видишь то деревянное здание? В прекрасной Италии никто не назвал бы его дворцом или замком. А здесь это замок.

Мариус кивнул и сделал успокаивающий жест. Я вовсе не обязан был вдаваться в объяснения по поводу этого чуждого ему, но родного мне места.

Воеводой называли нашего правителя. В мое время им был князь Михаил из Литвы. Кто правил сейчас, я не знал.

Удивительно, что память подсказала мне это странное слово — «воевода». В предсмертном видении я не сознавал, на каком именно языке разговариваю со своими близкими. Но воевода представлялся мне вполне отчетливо: круглая черная шапка, темная плотная бархатная туника и войлочные сапоги.

Я пошел вперед.

Мы приблизились к приземистому зданию, больше всего напоминавшему крепость, построенную из невероятно огромных бревен. Его стены, увенчанные многочисленными башнями с четырехъярусными крышами, вздымались вверх чуть под углом, а в центре на фоне звездного неба четко вырисовывался весьма своеобразный пятигранный силуэт деревянного купола. Перед широким входом и вдоль стен внешнего ограждения пламенели факелы. Все окна были плотно закрыты.

Когда-то я считал, что это величайшее строение христианского мира.

Нескольких быстро сказанных слов и стремительных движений вполне хватило, чтобы одурачить стражу и проскользнуть на территорию замка.

Через расположенные в дальней части замка кладовые мы попали внутрь и неслышно двинулись дальше, пока не отыскали место, откуда удобно было наблюдать за небольшой группой закутанных в меха благородных господ, собравшихся вокруг

очага, горящего в центральном зале под голыми балками деревянного потолка.

Пол был устлан огромными яркими турецкими коврами. Люди сидели на расставленных по коврам массивных стульях в русском стиле, украшенных хорошо знакомой мне геометрической резьбой. Они пили вино, которое разливали по золотым кубкам два мальчика в кожаной одежде. Длинные, просторные, перехваченные поясами одеяния господ были синими, красными, золотыми — не менее яркими, чем разнообразные узоры ковров.

Грубо оштукатуренные стены скрывались за европейскими гобеленами, изображавшими старинные сцены охоты в обширных лесах Франции, Англии или Тосканы. На длинном столе, освещенном множеством свечей, стояли блюда с мясом и птицей.

В комнате было так холодно, что господам пришлось надеть меховые шапки. Какими необыкновенными казались мне такие люди в детстве, когда отец приводил меня сюда, дабы представить князю Михаилу, который испытывал к нему уважение и благодарность за чудеса доблести, проявленные при исполнении приказов и поручений. Отец часто приносил к княжескому столу великолепную дичь, добытую на степных просторах, или доставлял ценные пакеты и свертки союзникам князя Михаила в западные литовские крепости.

Но это были европейцы. Я их никогда не уважал.

Отец слишком хорошо научил меня, что они всего лишь ханские лакеи, которые платят за право управлять нами.

— Никто не восстанет против этих воров,— говорил отец.— Так пусть поют свои песни о чести и храбрости. Они ничего не значат. Ты слушай мои песни.

А петь отец умел прекрасно.

При всей его выносливости в седле, ловкости в обращении с луком и стрелами, при всей его грубой звериной силе, проявляемой в сражениях, и искусстве владения широким мечом он обладал и другими талантами. Перебирая длинными пальцами струны старых гуслей, он извлекал из них прекрасную музыку и пел сказания, повествующие о древних временах, когда Киев был великой столицей, когда его церкви соперничали с храмами Византии, а богатства потрясали весь мир.

Через минуту я был готов идти. Бросив прощальный взгляд на старомодно одетых людей, съежившихся над золотыми кубками с вином, на их ноги в меховых сапогах, стоящие на замысловатых турецких коврах, на их колеблющиеся тени на стенах, я постарался навсегда запечатлеть в памяти эту картину. Никто даже не подозревал о нашем присутствии, и мы удалились так же незаметно, как и пришли.

Теперь пора было перебраться на другой холм, к Печерску, под которым лежали обширные пещеры Киево-Печерской лавры. Я вздрагивал при одной мысли о ней. Казалось, пасть лавры поглотит меня и я буду обречен вечно прорываться сквозь толстый слой сырой земли в надежде вновь увидеть свет звезд, но так и не сумею найти выход.

Но я все же пошел туда, несмотря на слякоть и снег, и снова сумел пробраться внутрь благодаря нашей бархатной гибкости, на сей раз я шел впереди Мариуса, бесшумно срывая замки с помощью своей несравнимой с людьми силы, приподнимая двери, когда открывал их, чтобы ничто не давило на скрипучие петли, и стремительно, как молния, пересекая комнаты, чтобы смертные глаза, если они вообще нас замечали, воспринимали нас лишь как холодные тени.

Воздух здесь оказался теплым, застывшим — настоящее благо, но память подсказывала мне, что смертному мальчику не было здесь так уж жарко. В скриптории при дымном свете дешевого масла несколько братьев согнулись над наклонно закрепленными досками столов, трудясь над копиями текстов, как будто изобретение печатного станка их не коснулось. Так оно, несомненно, и было на самом деле.

Я разглядел тексты, над которыми они работали, и узнал Киево-Печерский Патерик, содержащий удивительные сказания об основателях монастыря и его многочисленных живописных святых.

В этой самой комнате, в трудах над этим самым текстом я научился читать и писать. Я прокрался вдоль стены, пока моим глазам не открылась страница, которую переписывал один из монахов, распрямляя левой рукой рассыпающийся оригинал.

Эту часть Патерика я знал наизусть. Сказание об Исааке. Исаака провели демоны; они пришли к нему в виде прекрасных ангелов и даже притворялись самим Иисусом Христом.

Когда Исаак попался в их ловушку, они танцевали от восторга и насмехались над ним. Но после долгих медитаций и епитимьи Исаак смог противостоять этим демонам.

Монах только что обмакнул в чернила перо, а теперь писал произнесенные Исааком слова:

«Вводя меня в заблуждение, являясь ко мне в обличье Иисуса Христа и ангелов, вы не заслуживали этого звания. Но теперь вы предстаете в своем истинном свете...»

Я отвел глаза. Дальше я читать не стал. Слившись со стеной, я мог бы простоять незамеченным целую вечность. Я медленно посмотрел на другие страницы, переписанные монахом,— он положил их сохнуть. Я нашел предыдущий отрывок, который так и не смог забыть: описание Исаака, удалившегося от мира и недвижимо пролежавшего без пищи два года:

«Ибо ослаб Исаак и мыслью, и телом и не мог повернуться на другой бок, встать или сесть; он оставался лежать на боку, и в нечистотах, скопившихся под ним, копошились черви».

Вот до чего довели Исаака демоны своим коварством. Подобные искушения, подобные видения, подобное смятение и подобную кару готов был переносить и я весь остаток жизни, когда попал сюда ребенком.

Еще некоторое время я прислушивался к звукам пера, царапавшего бумагу, а потом незаметно удалился, как будто меня здесь никогда и не было.

Я оглянулся на свою ученую братию.

Одетые в дешевую черную шерсть, провонявшую застарелым потом и грязью, с выбритыми головами и длинными, жидкими, нечесаными бородами, все они выглядели изможденными.

Мне показалось даже, что я узнал одного из них и что я любил его когда-то... Впрочем, это было давно, решил я, и думать об этом больше не стоит.

Мариусу, стоявшему рядом со мной как тень, я признался, что не выдержал бы такой жизни, но оба мы знали, что это неправда. По всей вероятности, я безропотно выдержал бы все и умер, так и не узнав, что существует и другой мир.

Я прошел в первый из длинных коридоров, где погребали монахов, и, закрыв глаза, прильнул к земляной стене, прислушиваясь к мечтам и молитвам тех, кто лежал, замурованный заживо во имя любви к Богу.

Именно так я себе это и представлял, в точности так и запомнил. Я услышал знакомые, не представляющие больше для меня загадки слова, произносимые шепотом на церковно-славянском языке. Я увидел предписанные образы. Меня обжигал пылающий костер подлинной веры, воспламенившийся от слабого огня жизней, проведенных в полном самоотречении.

Я стоял, наклонив голову, прижавшись виском к земляной стене. Я мечтал найти того чистого душой мальчика, который вскрывал эти кельи, чтобы принести отшельникам немного пищи и воды, чтобы поддержать в них жизненные силы. Но я не мог найти его. Не мог. И по отношению к нему я испытывал только безмерную, безграничную жалость из-за того, что ему вообще пришлось здесь страдать, худому, жалкому, отчаявшемуся, невежественному, да, ужасно невежественному, знавшему в жизни только одну чувственную радость: смотреть на отблески огня в красках иконы.

Я задыхался. Я повернул голову и, оцепенев, упал в объятия Мариуса.

— Не плачь, Амадео,— нежно прошептал он.

Он отвел мои волосы с глаз и пальцем ласково смахнул с ресниц слезы.

— Попрощайся с ними навсегда, сын мой,— сказал он.

Я кивнул.

Через мгновение мы стояли на улице. Я молча спускался по холму к берегу. Мариус шел за мной.

Запах реки усиливался, равно как и зловоние, исходившее от людей. Наконец я дошел до строения, в котором узнал собственный дом. Вдруг мне показалось, что это настоящее безумие! Чего я добиваюсь? Взглянуть на все это другими глазами? Найти подтверждение тому, что у меня, смертного мальчика, никогда не было ни единого шанса?

Господи, моему новому существованию в облике нечестивого вампира, питающегося жирными сливками порочного венецианского мира, вообще нет и не может быть прощения — я это прекрасно понимал. Неужели это всего лишь тщеславная

попытка самооправдания? Нет, что-то иное влекло меня к длинному прямоугольному дому, толстые, обмазанные глиной стены которого были разделены грубыми балками; с крыши свисали сосульки. Это довольно-таки большое примитивное строение было моим домом. Я осторожно, крадучись, обошел его вокруг. Сугробы здесь подтаяли и потекли, речная вода заливала улицу, совсем как в моем детстве. Вода просочилась в мои венецианские сапоги тонкой работы. Но теперь она не парализовала ноги, потому что я черпал силы у неведомых этим людям богов и у созданий, чьих имен невежественные крестьяне, одним из которых раньше был и я, не знали.

Я прижался лбом к шершавой стене, как в монастыре, приникнув к глине, словно ее плотная поверхность могла защитить меня и передать мне все, что я хотел узнать. Через крошечную дыру в вечно осыпающейся глиняной обмазке я увидел знакомые огоньки свечей и более яркое пламя ламп — семья собралась возле большой теплой кирпичной печи.

Я знал каждого их этих людей, хотя некоторые имена стерлись из памяти. Я знал, что это мои родные и какие между ними отношения.

Но мне хотелось узнать и многое другое, хотелось убедиться, что все у них хорошо. Мне нужно было выяснить, смогли ли они продолжать жить с былой энергией после того рокового дня, когда меня похитили, а отца, несомненно, убили в дикой степи. Возможно, мне необходимо было знать, о чем они молились, когда вспоминали Андрея, мальчика, обладавшего даром писать подлинные шедевры — нерукотворные иконы.

Я услышал, что внутри играют на гуслях, я услышал песню. Голос принадлежал моему дяде, одному из братьев отца, такому молодому, что он мог бы быть и моим братом. Его звали Борис, и с раннего детства он отличался способностями к пению, легко запоминая старинные сказания о богатырях и героях, и сейчас он пел одно из них, красивое и трагическое. Гусли были старые и маленькие — отцовские, и Борис перебирал струны в такт речитативу, рассказывая историю жестокой и роковой битвы за великий древний город — Киев.

Я вслушивался в знакомые распевы, на протяжении сотен лет передававшиеся в нашем народе из уст в уста, от певца к певцу. Я отломил кусочек глины и сквозь крошечное отверстие

увидел в углу иконы — прямо напротив семьи, собравшейся вокруг мерцающего в открытой печи огня.

Что за зрелище! Среди десятков свечных огарков и глиняных ламп с горящим в них жиром стояли, прислоненные к стене, около двадцати икон в золотых окладах. Некоторые давно потемнели от времени, в то время как другие сияли свежестью красок, словно Божием соизволением созданные только вчера. Там же я увидел и крашеные яйца, покрытые прекрасными узорами, которые прекрасно помнил, хотя сейчас даже своим вампирским зрением не мог разглядеть их во всех подробностях — слишком велико было расстояние. Много раз наблюдал я, как женщины расписывают к Пасхе эти священные яйца, деревянными палочками накладывая подтаявший воск, чтобы наметить ленты, звезды, кресты или линии, обозначавшие бараньи рога, бабочку или аиста. После того как яйцо покрывали воском, его окунали в холодный краситель поразительно густого цвета. Мне тогда казалось, что существует бесконечное разнообразие оттенков, а также бесконечные возможности выражения глубокого смысла в простых узорах и знаках.

Эти хрупкие прекрасные яйца хранились для исцеления больных или же для защиты от бури. Я сам прятал их, например в огороде, чтобы урожай был лучше. Одно из них я поместил над дверью дома, куда после замужества ушла жить моя сестра.

Об этих расписных яйцах есть прекрасная легенда, в которой говорится, что, пока люди будут соблюдать этот веками установленный обычай, крашеные яйца защитят мир от злого чудовища, которое всегда готово прийти и проглотить все живое на земле.

Приятно было увидеть, что эти яйца по прежнему лежат в красном углу, среди икон, рядом с ликами святых. Откровенно говоря, я забыл о существовании этого древнего обычая и теперь испытывал не только стыд, но и страх — мне казалось, что такая забывчивость предвещает беду.

Однако, залюбовавшись святыми ликами, я вскоре перестал думать о чем-либо другом. Я увидел, как сверкает в свете огня лик Христа, прекрасного, нахмуренного Христа, каким я часто его рисовал. Мне довелось написать великое множество таких

икон, однако эта была удивительно похожа на потерянную мною в густой траве в день похищения.

Нет, не может быть! Кто смог бы отыскать и вернуть в дом икону, которую я уронил, когда разбойники взяли меня в плен? Нет, это, конечно, другая икона, ведь я уже говорил, что нарисовал их очень много, прежде чем родители набрались мужества отвести меня к монахам. Ведь мои иконы были во многих домах. Отец даже с гордостью преподносил их в дар князю Михаилу, и именно князь сказал, что мой талант должны увидеть монахи.

Каким строгим выглядел наш Господь по сравнению с нежным, задумчивым Христом Фра Анджелико или благородным, печальным Господом Беллини! Но его согрела моя любовь! Лик Христа был написан в наших древних традициях, и Господь оставался любящим, несмотря на строгость линий, любящим, несмотря на мрачность красок, любящим в традиционном для моей родной земли понимании этого слова. Мой Христос был проникнут и согрет любовью, которую, как я верил, он дарил мне!

Мне стало дурно. Я почувствовал, как руки Мастера легли мне на плечи, но вопреки моим опасениям он не увлек меня прочь, а лишь обнял и прижался щекой к моим волосам.

Я уже чуть было не ушел. Все, с меня хватит! Но музыка вдруг смолкла. Какая-то женщина... Неужели это моя мать? Нет, она слишком молода — это моя теперь уже взрослая сестра Аня. Так вот, эта женщина устало заговорила о том, что мой отец смог бы опять запеть, если бы им удалось спрятать от него все спиртное и привести его в чувство.

Дядя Борис усмехнулся. Иван безнадежен, сказал Борис. Ивану уже не прожить трезвым ни дня ни ночи, ему недолго осталось. Иван отравлен спиртным — не только хорошим вином, которое он покупает у торговцев, продавая все, что ему удается украсть из этого дома, но и крестьянским самогоном, который он отбирает силой, по сей день оставаясь грозой округи.

У меня волосы встали дыбом. Иван, мой отец, не погиб? Иван остался в живых, чтобы умереть с позором? Ивана не убили в дикой степи?

Однако они прекратили разговор и тут же перестали думать об отце. Дядя запел новую песню — веселую плясовую. В этом

доме танцевать было некому — все устали от тяжелой работы, женщины слепли, продолжая латать лежащую на коленях одежду. Но музыка их подбодрила, и один из них, мальчик, младше, чем я был, когда умер, да, мой младший брат, тихо прошептал молитву за моего отца, чтобы отец сегодня не замерз до смерти, свалившись пьяным в сугроб, что случалось нередко.

— Прошу тебя, приведи его домой,— шептал мальчик.

Потом я услышал за своей спиной голос Мариуса — он пытался разобраться в том, что мы узнали, и успокоить меня:

— Да, это, несомненно, правда. Твой отец жив.

Прежде чем он успел меня остановить, я обошел дом и открыл дверь. Я сделал это сгоряча, не подумав, что следовало спросить разрешения у Мастера, но я уже говорил, что был неуправляемым учеником. Я не мог иначе.

В дом ворвался ветер. Съежившиеся фигуры вздрогнули и натянули на плечи густой мех. В пасти кирпичной печи ярко полыхнул огонь.

Я знал, что нужно обнажить голову, то есть снять капюшон, встать лицом к иконам и перекреститься. Но не смог.

Напротив, дабы не быть узнанным, я, закрывая дверь, еще ниже опустил капюшон на лицо. Я прислонился к двери, прикрываясь плащом почти до самых глаз. Возможно, они могли увидеть еще пару прядей моих рыжеватых волос.

— Почему Иван запил? — прошептал я на вернувшемся ко мне старом русском языке.— Иван был в городе самым сильным. Где он сейчас?

Мое вторжение породило в них настороженность и злобу. Пламя в печи затрещало и заплясало, пожирая свежий воздух. Иконы в красном углу тоже, казалось, сияли пламенем, но это было иное пламя — вечное. В мерцающем свете я ясно видел лицо Христа, и мне почудилось, что он пристально смотрит прямо на меня.

Дядя поднялся и сунул гусли в руки маленького, незнакомого мне мальчика. Я увидел, что в полутьме сидят в своих кроватях дети, их обращенные ко мне лица слегка поблескивали. Те же, кто оставался на свету, сгрудились теснее и пытались рассмотреть мое лицо.

Я увидел свою мать, иссохшую, унылую, как будто с момента моего исчезновения минули века. Она превратилась в настоящую старуху и сейчас неподвижно застыла в углу, вцепившись в коврик, прикрывавший ее колени. Беззубая, дряхлая, с распухшими от работы суставами. Я всматривался в нее, пытаясь разгадать причины столь разительной перемены. Быть может, непосильный труд слишком быстро сводил ее в могилу?

На меня обрушилась лавина мыслей и слов. Кто ты, ночной гость? Ангел? Дьявол? Ужас Тьмы? Я увидел, как поспешно они поднимают руки, осеняя себя крестным знамением. Но в потоке их мыслей я прочел ясный ответ на свой вопрос.

Кто не знает, что с того страшного дня в степи, когда он не смог остановить татарских разбойников, похитивших его любимого сына Андрея, Иван-охотник превратился в Ивана Кающегося, Ивана Пьяницу, Ивана Безумного?

Я закрыл глаза. То, что с ним случилось, хуже смерти! А я даже ни разу не поинтересовался, ни разу не посмел помыслить о том, что он жив! Неужели меня недостаточно волновала его судьба, чтобы надеяться, что он не погиб, и чтобы задуматься о том, что ждет его в этом случае? По всей Венеции разбросаны лавки, где я мог бы набросать ему письмо, которое знаменитые венецианские купцы затем довезли бы до какого-нибудь порта, а уже оттуда по прославленным ханским почтовым дорогам его доставили бы по назначению.

Маленький эгоист Андрей все это знал. Так кто мешал ему написать, например, следующее:

«Родные мои, я жив, я счастлив, хотя никогда и не смогу вернуться домой. Примите эти деньги. Я посылаю их для моих братьев, сестер и матери...»

Но, с другой стороны, откуда мне было знать? Прошлое для меня превратилось в мучительный хаос.

Стоило ожить в памяти самой обычной картине, как она перерастала в пытку.

Передо мной стоял мой дядя. Такой же здоровый, как мой отец, он был хорошо одет: в подпоясанную кожаную рубаху и валенки. Он спокойно, но строго посмотрел на меня.

— Кто вы и почему так врываетесь в наш дом? — спросил он.— Что за князь стоит перед нами? Вы принесли нам какие-то вести? Тогда говорите, и мы простим вас за то, что вы сломали замок на нашей двери.

Я затаил дыхание. Мне не было нужды спрашивать их еще о чем-либо. Я узнал, где можно найти Ивана Пьяницу: в кабаке, в компании рыбаков и торговцев мехами — других закрытых помещений он не переносил, за исключением еще разве что дома.

Левой рукой я нащупал кошель, который, как и положено, всегда висел у меня на поясе. Я сорвал его и протянул этому человеку. Он едва бросил на него взгляд и тут же с оскорбленным видом выпрямился и отступил.

И мне вдруг показалось, что он словно слился с окружающей обстановкой. Я увидел весь дом изнутри: резную мебель, составлявшую гордость смастерившей ее семьи, резные деревянные кресты и подсвечники, символические росписи, украшавшие деревянные рамы на окнах, полки с расставленными на них красивыми домашними горшками, котелками и мисками...

Я как будто по-новому увидел всю семью, исполненную чувства собственного достоинства: женщин, занятых вышивкой или штопавших одежду, мужчин, ремонтирующих какие-то обиходные вещи... Я вспомнил стабильность и теплоту их повседневной жизни. Но как же она уныла, как скучна и грустна в сравнении с жизнью того мира, который знал я!

Я сделал шаг вперед, опять протянул ему кошель и произнес сдавленным голосом, все еще прикрывая лицо:

— Умоляю вас, окажите мне любезность, чтобы я смог спасти свою душу. Это от вашего племянника Андрея. Он сейчас далеко-далеко, в той стране, куда его увезли работорговцы, и он уже никогда не вернется домой. Но он живет хорошо и считает своим долгом разделить с семьей то, что у него есть. Он велел мне рассказать ему, кто из семьи жив, а кто умер. Если я не отдам вам эти деньги, если вы их не возьмете, я буду проклят и попаду в ад.

Словесного ответа не последовало. Но их мысли сказали мне все, что нужно. Я все выяснил. Да, Иван жив, а теперь я, странный гость, говорю, что Андрей тоже не умер. Иван оплакивал сына, который не только выжил, но и процветал. Жизнь в любом случае трагедия. Достоверно известно только одно: всех когда-нибудь неизбежно ожидает смерть.

— Умоляю вас,— повторил я.

Дядя принял протянутый кошель, однако чувствовалось, что его по-прежнему не покидают сомнения. Кошель был полон золотых дукатов, которые принимали повсюду.

Я уронил плащ, стянул с левой руки перчатку, а следом за ней — кольца, унизывавшие каждый палец. Опал, оникс, аметист, топаз, бирюза... Мимо мужчины и мальчиков я прошел в дальний угол и почтительно положил драгоценности на колени старушке, моей матери. Она подняла взгляд...

Я понял, что через секунду она меня узнает, и поспешил вновь прикрыть лицо полой плаща. Однако левой рукой я вынул из-за пояса кинжал. Это был всего лишь короткий «мизерикорд», кинжальчик, которым воин на поле боя добивает противника, если тот слишком сильно ранен, чтобы выжить, но еще не умер. Декоративная вещица, скорее украшение, чем оружие, его позолоченные ножны были густо усыпаны безупречными жемчужинами.

— Это вам,— сказал я,— матери Андрея, которая всегда любила свои бусы из речного жемчуга. Возьмите, прошу, ради спасения его души.

Я положил кинжал у ног матери.

Потом я поклонился — низко-низко, почти коснувшись лбом пола,— и вышел, не оборачиваясь, закрыв за собой дверь... Чуть задержавшись снаружи, я слышал, как они вскочили со своих мест и столпились вокруг моей матери, чтобы получше рассмотреть кольца и кинжал... Кто-то направился к двери, чтобы починить засов.

Охватившие душу эмоции лишили меня сил. Но ничто не помешало бы мне сделать то, что я решил сделать. Я не поворачивался к Мариусу, потому что просить его поддержки или согласия в этом деле было бы малодушием. Я спустился по слякотной заснеженной улице через грязное месиво к прибрежному кабаку, где, как я думал, мог находиться мой отец.

Ребенком я чрезвычайно редко переступал порог подобных заведений, и то лишь в тех случаях, когда нужно было позвать отца домой. У меня практически не сохранилось о них воспоминаний — я только помнил, что там пили и ругались чужеземцы.

Кабак располагался в длинном здании, построенном из таких же необработанных бревен, что и мой дом, обмазанных гли-

ной в качестве скрепляющего материала. Швы и трещины неизбежно пропускали ужасный холод. Крыша была очень высокой, с шестью ярусами, чтобы выдерживать вес снега, с карниза, как и на моем доме, свисали сосульки.

Меня восхищало, что люди могут так жить, что даже холод не вынуждает их построить более долговечное и более надежное укрытие. Но в этих краях — в стране бедных, больных, загруженных работой и голодных,— как мне думалось, так было всегда. Суровые зимы лишали их слишком многого, а короткая весна и лето приносили слишком мало, и в результате самоотречение превратилось в высшую добродетель.

Но возможно, я заблуждался, как заблуждаюсь и сейчас. Важно то, что повсюду здесь царила атмосфера полной безнадежности. И хотя окружающую этих людей обстановку нельзя было назвать отвратительной или уродливой, ибо нет уродства в дереве, в грязи, в снеге и в печали, красоты в ней тоже не было, за исключением икон и выделявшегося на фоне усеянного звездами неба далекого силуэта элегантных куполов Софийского собора, стоявшего на вершине горы. А этого мало.

Войдя в кабак, я прикинул, что в нем сидят человек двадцать — они пили и весело разговаривали. Их настроение удивило меня, поскольку убогий вид этого дома, который давал им только крышу над головой, защиту от ночной темноты да возможность расположиться у большого очага, на мой взгляд, едва ли мог доставить кому-то радость. Здесь их не могли приободрить и светлые лики святых на иконах. Но кто-то пел, кто-то перебирал струны гуслей, кто-то играл на маленькой дудке.

Некоторые из многочисленных столов были покрыты скатертями, некоторые оставались голыми и пустыми. Часть посетителей таких кабаков, насколько я помнил, были иностранцами, однако я не ожидал, что их окажется так много. Я мгновенно узнал троих итальянцев — судя по всему, генуэзцев. Похоже, речная торговля шла довольно-таки активно, и, возможно, в Киеве сейчас жилось уже не так бедно, как прежде.

Позади прилавка виднелось немало бочонков с пивом и вином, и хозяин продавал свои запасы, отмеряя их кружками. Я обратил внимание на изобилие бутылок с итальянским вином, несомненно дорогим, и на стоявшие рядом ящики с белым испанским вином.

Чтобы не породить излишнего любопытства, я прошел вперед и забрался в дальний левый угол, поглубже в тень, надеясь, что итальянский путешественник в богатых мехах не вызовет у них интереса, потому что красивые меха были единственным настоящим достоянием их самих.

Эти люди были слишком пьяны. Правда, хозяин попытался проявить внимание к новому посетителю, но вскоре снова захрапел, подперев голову ладонью. Музыка не смолкала, кто-то затянул новое сказание, однако далеко не такое веселое, как дядя пел у нас дома. Наверное, музыкант очень устал.

Я увидел отца.

Он растянулся во весь рост, лежа на спине на широкой голой засаленной скамье, одетый в свою короткую кожаную куртку и аккуратно укутанный в свою самую большую шубу. Должно быть, собутыльники укрыли его, когда он отвалился от стола. Медвежья шуба служила здесь признаком относительного богатства.

Отец храпел в пьяном сне, от него исходили пары алкоголя. Он не шелохнулся, даже когда я опустился рядом со скамьей на колени и заглянул ему в лицо.

Его щеки похудели, но сохранили розовый оттенок, однако под скулами появились впадины, а в волосах мелькала седина, наиболее заметная в усах и длинной бороде. Мне показалось, что волосы на висках поредели, а тонкие гладкие брови приподнялись, но, возможно, это была просто иллюзия. Вокруг глаз залегли темные круги, веки отекли. Его рук, сцепленных под шубой, я не видел, но было ясно, что он до сих пор полон сил, до сих пор сохранил крепкое телосложение и пристрастие к спиртному не успело погубить его окончательно.

Внезапно я с беспокойством ощутил его живую энергию; от него пахло кровью, пахло жизнью, как будто мне на пути встретилась потенциальная жертва. Я выбросил эти мысли из головы и смотрел на него с любовью, думая лишь об одном: как я рад, что он жив. Он вернулся из степей. Он спасся от разбойников, которые в тот момент казались мне вестниками неизбежной смерти.

Я подтянул поближе табурет, чтобы спокойно посидеть рядом с отцом и как следует рассмотреть его лицо.

Левую перчатку я так и не надел.

Я положил холодную руку ему на лоб, легко, не желая позволять себе вольности, и он медленно открыл глаза. Они помутнели от слез, но тем не менее оставались удивительно яркими, невзирая на лопнувшие сосуды. Некоторое время он спокойно смотрел на меня, не говоря ни слова, как будто не видел причин даже пальцем шевельнуть, как будто я казался ему видением из сна.

Я почувствовал, что капюшон упал мне на плечи, но не стал его поднимать. Я не видел того, что увидел он, но знал, что ему открылось: лицо его сына, чистое, гладкое, совсем как в те дни, когда он в последний раз видел его живым, и длинные волны заснеженных каштановых волос.

За моей спиной на фоне ярко пламенеющего огня виднелись грузные силуэты посетителей — они пели, о чем-то громко разговаривали. Вино текло рекой.

Но для меня в этот момент словно весь мир перестал существовать, и ничто не встало между мной и этим мужчиной, который так отчаянно старался сразить разбойников, посылая им вслед одну стрелу за другой, хотя на него самого сыпался град вражеских стрел.

— Тебя не ранили,— прошептал я.— Я люблю тебя и только сейчас понимаю, каким ты был сильным.

Разобрал ли он мои слова?

Он прищурился, глядя на меня, и я увидел, как он провел языком по ярким, как кораллы, губам, просвечивавшим сквозь густые усы и бороду.

— Ранили,— низким, тихим, но не слабым голосом произнес он.— В меня попали, два раза попали, в плечо и в руку. Но они меня не убили... И Андрея не отпустили... Я упал с коня... Потом поднялся... Ноги мне не задело... Я погнался за ними. Я все бежал, бежал... Бежал и стрелял... Поганая стрела торчала у меня из правого плеча... Вот здесь.

Из-под шубы появилась его рука, и он положил ее на то место, куда был ранен.

— Но я все равно стрелял. Я ее даже не чувствовал. Я видел, что они уходят. Они забрали его с собой... Я даже не знаю, был ли он жив... Не знаю... Зачем им было его увозить, если бы они его убили? Стрелы летели во все стороны. Настоящий дождь стрел! Их было человек пятьдесят. Все остальные погибли! Я велел остальным стрелять, не останавливаться ни на миг, не трусить... И стрелять, стрелять, стрелять... Скакать прямо на них, только пониже пригнуться... Пригнуться к самым шеям коней и скакать... Может, так они и сделали... Не знаю...

Он чуть опустил веки и огляделся. Он захотел встать, а потом посмотрел на меня.

— Дай мне выпить. Купи что-нибудь приличное. У того мужика есть испанский херес. Купи мне бутылку хереса. Черт возьми, в былые дни я сидел в засаде и ждал купцов там, на реке, мне никогда не приходилось ничего ни у кого покупать. Купи мне бутылку белого вина. Я вижу, ты богач.

— Ты не узнаешь меня? — спросил я.

Он посмотрел на меня в явном недоумении. Этот вопрос даже не приходил ему в голову.

— Ты из замка. Ты говоришь с литовским акцентом. Мне плевать, кто ты такой. Купи мне вина.

— С литовским акцентом? — тихо спросил я.— Какой кошмар. Наверное, это венецианский акцент, но мне действительно очень стыдно.

— Венецианский? Тогда тебе нечего стыдиться. Видит Бог, они пытались спасти Константинополь, пытались. Все катится к черту. Мир сгорит в огне. Купи мне вина, пока он не сгорел, ладно?

Я встал. У меня остались деньги? Я все еще размышлял об этом, когда рядом возникла безмолвная фигура Мастера — он протянул мне бутылку испанского белого вина, откупоренную, подготовленную для моего отца.

Я вздохнул. Его запах для меня теперь ничего не значил, но я знал, что вино отличного качества. К тому же отец этого хотел.

Тем временем он сел на скамье и уставился на бутылку в моих руках. Он потянулся за ней, забрал и принялся пить, так же жадно, как я пил кровь.

— Посмотри на меня внимательно,— сказал я.

— Дурак, здесь слишком темно,— ответил он.— Что я могу увидеть? М-м-м-м... А вино и впрямь хорошее. Спасибо...

И вдруг он замер, так и не донеся бутылку до рта в очередной раз. Он застыл в необычной позе, как будто находился в лесу и только что почувствовал приближение медведя или какого-то другого смертельно опасного зверя. Он окаменел, не вы-

пуская бутылку из рук, и на лице его жили только обращенные ко мне глаза.

— Андрей,— прошептал он.

— Я жив, отец,— мягко отозвался я.— Меня не убили. Меня похитили, чтобы продать, и продали очень выгодно. Потом посадили на корабль и увезли на юг, затем — на север, в Венецию. Там я сейчас и живу.

Его глаза оставались спокойными. Им овладела удивительная безмятежность. Он был слишком пьян, чтобы протестовать или восхищаться неожиданным явлением. Напротив, истина проникла в самые глубины его души и захлестнула его единой волной, так что он сумел понять каждый ее нюанс: что я не страдал, что я богат, что я живу хорошо.

— Я был растерян, раздавлен,— продолжил я тем же ласковым шепотом, который мог услышать только он.— И, несомненно, пропал бы. Но меня нашел другой человек, добрый человек. Он вернул меня к жизни, и с тех пор я никогда не страдал. Отец, я проделал долгий путь, чтобы сказать тебе об этом. Я не знал, что ты жив. Мне и не снилось, что ты жив. Я решил, что ты погиб в тот день, когда рухнул весь мой мир. А теперь я пришел сюда, чтобы сказать тебе: ты никогда, никогда не должен из-за меня горевать.

— Андрей,— только и прошептал он.

Выражение его лица практически не изменилось — в нем появилось только спокойное удивление. Он неподвижно сидел, держа руками поставленную на колени бутылку, распрямив мощные плечи; длинные, как никогда, рыже-седые волосы почти сливались с мехом шубы.

Он был красивым мужчиной, красивым. Чтобы понять это, мне потребовались глаза монстра. Мне потребовалось зрение демона, чтобы увидеть и в полной мере оценить силу и мощь не только его гигантского тела, но и личности в целом. Только налитые кровью белки глаз выдавали душевную слабость.

— Теперь забудь меня, отец,— сказал я.— Забудь, как будто монахи отослали меня в дальние страны. Но помни, что только из-за тебя я никогда не буду погребен в земляных монастырских могилах. Нет, может быть, со мной случится что-то другое. Но от этого я не пострадаю. Благодаря тебе, потому что ты не

смирился и пришел в тот день с требованием, чтобы я поехал с тобой и доказал, что я достоин называться твоим сыном.

Я повернулся, чтобы уйти. Он метнулся вперед, сжимая левой рукой горлышко бутылки, а могучей правой рукой хватая меня за запястье. С былой силой он потянул меня вниз, к себе, и прижался губами к моей склоненной голове.

Господи, только бы он не понял! Не дай ему почувствовать, как я изменился. Я в отчаянии закрыл глаза.

Но я был молодым, далеко не таким жестким и холодным, как мой господин, нет, и наполовину не таким, даже на четверть. Он почувствовал только, что у меня мягкие волосы и, может быть, мягкая, но холодная как лед, благоухающая зимой кожа.

— Андрей, мой ангел, мой талантливый, золотой сынок! — Я повернулся и крепко обнял его левой рукой. Я расцеловал всю его голову так, как ни за что не сумел бы сделать это, когда был ребенком. Я прижал его к сердцу.

— Отец, не пей больше,— едва слышно попросил я.— Возьми себя в руки и стань опять охотником. Стань самим собой, отец.

— Андрей, мне в жизни никто не поверит.

— А кто посмеет это сказать, если ты будешь таким, как раньше? — спросил я.

Мы посмотрели друг другу в глаза. Я крепко сжал губы, чтобы он ни в коем случае не заметил подаренные мне вампирской кровью острые зубы, крошечные зловещие вампирские клыки, которые непременно увидит такой проницательный человек, как он, прирожденный охотник.

Но он не искал во мне недостатков. Он искал только любви, а любовь мы смогли дать друг другу.

— Мне пора идти, у меня нет выбора,— сказал я.— Я тайно улучил момент, чтобы прийти к тебе. Отец, расскажи маме, что это я приходил в дом, что это я отдал ей кольца и оставил твоему брату деньги.

Я отстранился. Я сел рядом с ним на скамью. Я стянул правую перчатку и посмотрел на свои кольца — их было семь или восемь, все из золота или серебра, богато украшенные камнями. Не обращая внимания на громкие протестующие стоны от-

ца, я стащил их с пальцев одно за другим и вложил в его ладонь. Какая же она была мягкая и горячая, розовая и живая.

— Забери их, у меня таких море. Я напишу тебе и пришлю еще, чтобы тебе никогда не приходилось ничего делать, кроме того, что ты любишь: скакать, охотиться, рассказывать у огня повествования о старых временах. Купи себе хорошие гусли, купи книги для малышей, купи все, что хочешь.

— Мне ничего не нужно — только ты, сынок.

— Да, а мне нужен ты, отец, но нам ничего не осталось, кроме этой малости.

Обеими ладонями я взял его лицо. Наверное, неблагоразумно было демонстрировать таким образом свою силу, но я заставил его остаться на месте, поцеловал, а затем, тепло обняв на прощание, поднялся.

Я так быстро вылетел из комнаты, что он наверняка ничего не заметил, разве только услышал стук захлопнувшейся двери.

Пошел снег. Неподалеку я увидел ожидавшего меня Мастера и пошел ему навстречу. Мы вместе начали подниматься на гору. Я не хотел, чтобы отец вышел следом за мной на улицу. Я хотел исчезнуть — и чем быстрее, тем лучше.

Я уже собрался попросить Мастера, чтобы мы воспользовались вампирской скоростью передвижения и покинули Киев, когда увидел бегом приближавшуюся к нам фигурку маленькой женщины, чьи тяжелые, длинные меха волочились по мокрому снегу. В руках она держала какой-то яркий предмет.

Я застыл на месте, Мастер ждал меня. Это моя мать пришла меня повидать. Она пробиралась к кабаку, неся в руках обращенную лицом ко мне икону с изображением нахмуренного Христа, ту самую, на которую я так долго смотрел сквозь трещину в стене.

Я затаил дыхание. Она подняла икону и передала ее мне.

— Андрей...— прошептала она.

— Мама! Прошу тебя, оставь ее для малышей.

Я обнял ее и поцеловал. Она состарилась, ужасно состарилась. Но это произошло в первую очередь из-за рождения детей — они вытянули из нее все силы, пусть даже многие из них умерли в младенчестве и им с отцом пришлось хоронить их в крошечных могилках. Я подумал, скольких детей она потеряла за годы моего детства. А сколько их было до моего рождения?

Своих младенцев, появившихся на свет слишком маленькими и слабыми, чтобы выжить, она называла ангелочками.

— Оставь ее себе,— повторил я. Сохрани эту икону в семье.

— Хорошо, Андрей,— ответила она, глядя на меня поблекшими, полными муки глазами.

Я видел, что она умирает. Я внезапно понял, что ее снедает не просто возраст, не тяготы деторождения. Ее гложет изнутри и вскоре действительно сведет в могилу болезнь. Меня охватил безграничный ужас, страх за весь смертный мир. Как все просто... Всего лишь утомительная, заурядная, неизбежная болезнь.

— Прощай, милый ангел,— сказал я.

— И ты прощай, мой милый ангел,— ответила она.— Мое сердце и душа радуются, видя, каким ты стал прекрасным и гордым князем. Но покажи мне, правильно ли ты крестишься.

С каким отчаянием она это сказала! Она выразила то, что камнем лежало у нее на душе. Не приобрел ли я свои бесспорные богатства, перейдя в западную веру? Вот что ее волновало.

— Мама, это несложное испытание.— Я перекрестился по нашему восточному обычаю, справа налево, и улыбнулся.

Она кивнула. Потом из своего тяжелого шерстяного платья осторожно извлекла и протянула мне какую-то вещь, выпустив ее только тогда, когда я подставил сложенные ладони. Это было крашеное пасхальное яйцо — темное, рубиново-красное.

Прекрасное, изящно расписанное яйцо. Его по всей длине оплетали желтые ленты, а в месте их пересечения была нарисована не то роза, не то восьмиконечная звезда.

Я посмотрел на него и кивнул.

А потом достал платок из тонкого фламандского льна и мягкой тканью тщательно обернул яйцо. Лишь после этого я спрятал почти невесомый дар в складках свей туники, под курткой и плащом.

Я наклонился и еще раз поцеловал ее в мягкую сухую щеку.

— Мама, ты для меня воистину Всех Скорбящих Радость!

— Милый мой Андрей,— ответила она,— ступай с Богом, если так нужно.

Она вновь бросила взгляд на икону. Она хотела, чтобы я как следует ее рассмотрел, и развернула доску так, чтобы я мог взглянуть прямо в светящийся золотой лик Господа, такой же бледный и прекрасный, как и в тот день, когда я написал для нее эту

икону. Только я писал ее не для матери. Нет, это была та самая икона, которую я в тот день повез в степи.

Поистине чудо, что отец привез ее обратно домой. Но, с другой стороны, что в этом удивительного? Почему бы такому человеку, как он, это не сделать?

На икону падал снег. Он ложился на суровый лик Спасителя, как по волшебству засиявший когда-то под моей быстрой кистью, на лик Господа нашего, чей строгий гладкий рот и слегка нахмуренные брови символизировали любовь. Христос, мой Господь, умел выглядеть еще строже, взирая с мозаик Сан-Марко. Христос, мой Господь, казался не менее строгим на многих старинных картинах. Но Христос, мой Господь, каков бы ни был его образ, в каком бы его ни рисовали стиле, был полон безграничной любви.

Снег повалил хлопьями, но они таяли, едва коснувшись святого лика.

Я испугался за него, за хрупкую деревянную доску, за сверкающий лаком образ, предназначенный сиять во все времена. Но она тоже об этом подумала и быстро укрыла икону под шубой, защищая ее от сырости тающего снега.

Больше я эту икону не видел.

Но найдется ли теперь кто-нибудь, кто спросит, что значит для меня икона? Найдется ли тот, кто спросит, почему, когда я увидел лик Христа на Плате Вероники, когда Дора высоко подняла Плат, принесенный из Иерусалима в час Страстей Христовых самим Лестатом, лик, прошедший через ад, прежде чем попасть в наш мир,— почему в тот миг я упал на колени и вскричал: «Это Господь!»?

11

Обратный путь из Киева казался мне путешествием во времени, вернувшим меня туда, где мое настоящее место. По возвращении вся Венеция, казалось мне, сияла блеском обитой золотом комнаты, где располагалась моя могила. Как в тумане, блуждал я целыми ночами по городу в обществе Мариуса или один, упиваясь свежим воздухом Адриатики и внимательно осматривая потрясающие здания, будь то жилые дома или муниципальные дворцы, к которым за последние несколько лет уже успел привыкнуть.

Вечерние церковные службы притягивали меня, как мед привлекает муху. Я впитывал хоровое пение, распевы монахов, но прежде всего — радостное, чувственное восприятие паствы, проливавшее целительный бальзам на мою израненную возвращением в Печерскую лавру душу.

Но в самой глубине сердца я сохранил негаснущий, жаркий огонь благоговения перед русскими монахами из Печерской лавры. Мельком увидев несколько слов брата Исаака, я находился под постоянным впечатлением от поучений этого поистине святого человека — раба Божиего, отшельника, способного видеть духов, ставшего жертвой дьявола и тем не менее победившего его во имя Христа.

Вне всякого сомнения, я обладал религиозной душой и, получив на выбор две великие модели религиозного мышления, отдавшись войне между этими двумя моделями, я разжег войну внутри себя. С одной стороны, я не испытывал желания отказаться от роскоши и великолепия Венеции, сияющей в веках красоты уроков Фра Анджелико и потрясающих достижений его последователей, творивших Красоту во имя Христа, а с другой — втайне канонизировал проигравшего в моей личной битве благословенного Исаака, который, по моему твердому убеждению, избрал истинный путь, ведущий к Богу.

Мариус знал о моей борьбе, он понимал, какую власть имеет надо мной Киев и все, что с ним связано, знал, что для меня это жизненно важно. Никто за всю мою жизнь лучше его не сознавал, что каждое существо сражается с собственными ангелами и дьяволами, каждое существо рано или поздно делает выбор и становится приверженцем определенной системы жизненных ценностей, без которых немыслимо жить настоящей жизнью.

Мы избрали для себя образ жизни вампиров. Но наша жизнь оставалась во всех отношениях полноценной — чувственной, плотской. Она ни в коей мере не избавляла меня от наваждений смертного детства. Напротив, они теперь мучили меня еще сильнее.

Через месяц после возвращения я осознал, что стал по-иному воспринимать окружающий мир и свое существование в

нем. Да, я погрязну в пышной красоте итальянской живописи, музыки и архитектуры, но делать это буду с рвением русского святого. Я превращу все чувственные переживания в добро и чистоту. Я буду учиться, достигну нового уровня понимания и стану с новым сочувствием относиться к смертным; я ни на миг не прекращу совершенствовать собственную душу.

Я стану хорошим, то есть прежде всего добрым и мягким. Я буду рисовать, читать, учиться, даже молиться, хотя я толком не знал, кому молюсь, а также пользоваться каждой возможностью поступать великодушно с теми смертными, кого я не убивал.

Что касается тех, кого я убивал, с ними необходимо расправляться милосердно, и мне предстояло достичь небывалых вершин милосердия, чтобы не причинять жертве боли, не вызывать в ее душе смятения, по возможности заманивать ее в ловушку чар, налагая их либо мягким голосом, либо выразительными взглядами, либо какой-то иной силой, которой я, видимо, обладал и которую был в состоянии развить,— силой проникать в мысли беспомощного смертного и помогать ему воображать собственные успокаивающие душу картины, чтобы смерть становилась восторженной вспышкой пламени, а наступившая тишина — блаженством.

Я учился наслаждаться кровью — не отдаваться одной лишь собственной жажде, но ощущать вкус жизненно важной жидкости, которой я лишал свою жертву, и в полной мере прочувствовать то, что вместе с этой жидкостью стремительно движется к неизбежному концу: судьбу смертной души.

Мои занятия с Мастером на какое-то время прекратились. Но однажды он пришел ко мне и ласково сказал, что пора начать серьезное обучение и что нас ждут важные дела.

— У меня свои занятия,— ответил я.— Ты прекрасно это знаешь. Тебе известно, что я не слоняюсь без дела, что мой разум так же голоден, как и мое тело. Так что оставь меня в покое.

— Все это прекрасно, маленький господин,— доброжелательно возразил он,— но ты должен вернуться в мою школу. Тебе предстоит еще многому у меня учиться.

Пять ночей я его отталкивал. Но потом... Ранний вечер я провел на площади Сан-Марко на большом празднестве, слушая музыкантов и наблюдая за жонглерами, а после полуночи задремал на кровати Мастера. Не знаю, сколько прошло времени, но я вдруг почувствовал, как его хлыст буквально резанул меня по ногам. Я аж подскочил от неожиданности.

— Просыпайся, дитя,— сказал он.

Я перевернулся и поднял голову. Я был поражен. Он стоял надо мной, скрестив руки, держа наготове длинный хлыст. Он был одет в длинную подпоясанную тунику из фиолетового бархата, а волосы зачесал назад и перевязал на затылке.

Я отвернулся от него, решив, что это не более чем очередная вспышка гнева и что он скоро уйдет. Но хлыст просвистел в воздухе вновь, и на сей раз на меня обрушилась лавина ударов.

Я чувствовал их так, как никогда не чувствовал в смертной жизни. Я стал сильнее и приобрел повышенную сопротивляемость, но на долю секунды каждый удар прорывал мою сверхъестественную оборону и вызывал крошечный взрыв боли.

Я пришел в бешенство. Я попытался выбраться из постели и, скорее всего, ударил бы Мастера — до такой степени меня разозлило подобное обращение. Но он поставил колено мне на спину и продолжал хлестать меня, пока я не закричал.

Тогда он встал и, потянув за воротник, поставил меня на ноги. Меня трясло от гнева и смятения.

— Хочешь еще? — спросил он.

— Не знаю,— ответил я, сбрасывая его руку, и он с легкой усмешкой уступил.— Наверное! То мое сердце беспокоит тебя больше всего на свете, то ты обращаешься со мной как со школяром. Так в чем дело?

— У тебя было достаточно времени горевать и плакать,— сказал он.— Достаточно, чтобы обдумать и оценить все, что ты получил. Теперь возвращайся к работе. Иди к столу и будь готов писать. Или я еще раз тебя выпорю.

Я разразился целой тирадой:

— Я не собираюсь терпеть такое обращение! В этом не было абсолютно никакой необходимости. Что мне писать? В душе я исписал тома. Ты думаешь, что можно загнать меня в мерзкие рамки послушного ученика, ты считаешь, что это самый подходящий стиль обращения со мной, в то время как у меня полный сумбур в мыслях, в то время как мне необходимо столько обдумать... Ты полагаешь...

Он дал мне пощечину. У меня закружилась голова. Едва зрение прояснилось, я посмотрел ему в глаза.

— Я хочу вернуть твое внимание,— заявил Мастер.— Я хочу, чтобы ты прекратил свои медитации. Садись за стол и напиши мне вкратце, что значило для тебя твое путешествие на родину и что ты теперь здесь видишь такого, чего раньше не видел. Пиши сжато, воспользуйся самыми точными сравнениями и метафорами, пиши аккуратно и быстро.

— Примитивная тактика,— пробормотал я.

Во мне еще отдавалось эхо ударов. Совсем не так, как ощущается боль в смертном теле, но тоже неприятно, и мне было противно.

Я уселся за стол. Я собирался написать что-нибудь резкое, например: «Я узнал, что я — раб тирана». Но, подняв глаза и увидев, что он стоит рядом с хлыстом в руке, я передумал.

Он знал, что наступил самый подходящий момент, чтобы подойти и поцеловать меня. И не преминул им воспользоваться. А я неожиданно для себя осознал, что поднял лицо навстречу его поцелую еще раньше, чем он успел наклонить голову. Это его не остановило.

Я испытал сокрушительное счастье, уступая ему. Я обнял его за плечи.

После нескольких долгих сладостных минут он отпустил меня, и я принялся за работу, причем написал достаточно много — примерно то же, о чем говорил ранее. Я писал о том, что во мне воюют плотское и аскетическое начала; я писал о том, что моя русская душа стремится к высшему уровню экзальтации. Я достигал его, когда создавал иконы, но благодаря своей красоте иконы удовлетворяли потребности моего чувственного начала. И по мере того как я писал, я впервые начал понимать, что древнерусский стиль — точнее, ранневизантийский — сам по себе воплощает борьбу между чувственным началом и аскетизмом: сдержанные, плоские, суровые фигуры на фоне ярких красок в целом представляют собой истинную усладу для глаз и одновременно символизируют самоотречение.

Пока я писал, Мастер ушел. Однако в тот момент это уже не имело значения. Я с головой ушел в работу и постепенно отошел от анализа и начал рассказывать старую повесть:

«В древние времена, когда на Руси не знали Иисуса Христа, Владимир, великий киевский князь,— а в те дни Киев был великолепным городом — направил своих подданных в разные страны, дабы там они изучили три религии Господа: мусульманскую, которая, по мнению этих людей, дурно пахла и отдавала безумием, религию папского Рима, в которой эти люди не видели никакого великолепия, и, наконец, византийское христианство. В Константинополе посланцам Руси показали удивительные церкви, где греки-христиане поклонялись своему Богу, и они сочли эти здания такими прекрасными, что не могли понять, попали ли они на небеса или остались на земле. Никогда еще жители Руси не видели подобной красоты. Они исполнились уверенности, что Господь пребывает с теми, кто исповедует религию Константинополя, поэтому на Руси приняли именно такое христианство. Таким образом, именно в красоте зародилась наша русская церковь.

Прежде в Киеве можно было найти то, что стремился воссоздать Владимир, но Киев сейчас лежит в руинах, а в Константинополе турки захватили храм Святой Софии, и приходится ехать в Венецию, чтобы посмотреть на великую Теотокос, Святую Деву, Богородицу, и ее сына, когда он становится Пантократором, божественным Творцом. В Венеции в искрящихся золотых мозаиках и в мускулистых изображениях новой эпохи я нашел то самое чудо, которое принесло свет Господа нашего Иисуса Христа в страну, где я родился, свет Господа нашего Иисуса Христа, и по сей день горящий в лампадах Печерской лавры».

Я положил перо, резко отодвинул от себя исписанные страницы, уронил голову на руки и тихо заплакал в тишине темной спальни. Мне было все равно, пусть меня бьют, пинают ногами или игнорируют.

В конце концов Мариус пришел за мной и отвел меня в наш склеп, и теперь, несколько веков спустя, я осознаю, что навсегда запомнил те уроки прежде всего потому, что в ту ночь он заставил меня писать.

На следующую ночь он прочел все мною написанное и искренне сокрушался, что избил меня. Он признался, что ему трудно обращаться со мной не как с ребенком, но я не ребенок.

Скорее, я дух, в чем-то похожий на ребенка,— наивный, упрямый, всегда стремящийся настоять на своем. Он и предположить не мог, что будет так меня любить.

После истории с хлыстом мне хотелось держаться отчужденно и надменно, но я не смог. Я только удивлялся, что его прикосновения, его поцелуи, его объятия теперь значат для меня даже больше, чем при жизни.

12

Жаль, что от описания картины нашей с Мариусом счастливой жизни в Венеции я не могу сразу перейти к современной эпохе, к Нью-Йорку. Мне хотелось бы продолжить свою повесть с того момента, когда в нью-йоркском доме Дора подняла перед собой Плат Вероники — реликвию, принесенную Лестатом из его путешествия в преисподнюю,— поскольку тогда мой рассказ разделился бы на две четкие половины: о том, каким я был ребенком и каким стал верующим, и о том существе, каким я являюсь сейчас.

Но нельзя так легко себя обманывать. Я знаю: все, что произошло с Мариусом и со мной в месяцы, последовавшие за нашим путешествием в Киев,— неотъемлемая часть моей жизни.

Ничего не поделаешь, придется пересечь Мост Вздохов, встретившийся на моем жизненном пути,— длинный темный мост протяженностью в несколько веков мучительного существования, связывающий меня с современным миром. Тот факт, что Лестат уже великолепно описал мою жизнь во время этого перехода, не означает, что я могу обойти эту тему, не добавив от себя ни слова, и прежде всего не подтвердить, что я триста лет пробыл рабом Господа Бога.

Жаль, что я не избежал такой участи. Жаль, что Мариусу не удалось предотвратить то, что с нами случилось. Теперь совершенно ясно, что он пережил наше расставание с намного большей прозорливостью и силой, чем я. Но он был мудрецом и прожил много веков, а я был еще маленьким.

Никакое предзнаменование грядущих событий не омрачало наших последних месяцев в Венеции. Он с твердой решимостью продолжал преподавать мне свои уроки.

Одной из самых важных задач было научиться притворяться смертным среди людей. После своего превращения я не стремился к тесному общению с другими учениками и совершенно избегал общества горячо любимой мною Бьянки, перед которой я был в огромном долгу не только за прошлую дружбу, но и за то, что она преданно выхаживала меня во время тяжелой болезни.

Теперь же я должен был встретиться с Бьянкой лицом к лицу — так велел Мариус. Мне предстояло написать ей вежливое письмо и объяснить, что из-за своей болезни я не мог зайти к ней раньше.

И вот ранним вечером, после того как я наспех выпил кровь двух жертв, мы, нагрузившись подарками, отправились навестить Бьянку и застали ее в окружении английских и итальянских друзей.

Мариус по этому случаю нарядился в элегантный темно-синий бархат и, что было для него весьма необычно, надел плащ того же цвета, а для меня выбрал свои любимые небесно-голубые вещи. Я нес корзину с винными ягодами и сладкими пирожными.

Двери ее дома были, как всегда, открыты, и мы скромно вошли, но она сразу же нас заметила.

Едва увидев ее, я ощутил душераздирающую потребность в определенного рода близости, то есть мне захотелось рассказать ей обо всем, что произошло! Конечно, это было запрещено, и Мариус настоятельно требовал, чтобы я научился любить эту женщину, не доверяясь ей.

Она поднялась и подошла ко мне, обняла и приняла обычные пылкие поцелуи. Я сразу же понял, почему Мариус в тот вечер настоял на двух жертвах: от притока свежей крови тело мое потеплело и вспыхнуло.

Бьянка не почувствовала во мне ничего странного или устрашающего. Нежными, гладкими ручками она обвила мою шею. В тот вечер она блистала в платье из желтого шелка и темно-зеленого бархата, усыпанном вышитыми розами. Низко вырезанный лиф едва прикрывал полную белоснежную грудь. Такой вырез могла позволить себе только куртизанка.

Когда я начал целовать ее, тщательно пряча свои крошечные клыки, я не почувствовал голода, поскольку выпитой толь-

ко что крови двух жертв мне хватило с лихвой. Я целовал ее с любовью, только с любовью, мои мысли быстро перенеслись к жарким эротическим воспоминаниям, и моя плоть, безусловно, откликнулась на них с той же готовностью, что и в прошлом. Мне хотелось ее потрогать — так слепой стремится ощупать скульптуру, чтобы с помощью рук увидеть каждый изгиб.

— О, да ты не просто поправился, ты в прекрасной форме,— сказала Бьянка.— Проходите, проходите оба, вы с Мариусом, идемте в соседнюю комнату.

Она небрежно махнула гостям, и без нее способным себя занять,— разбившись на небольшие группы, они болтали, спорили, играли в карты — и потянула нас за собой, в уютную, смежную со спальней гостиную, забитую невероятно дорогими дамастовыми креслами и кушетками.

Бьянка велела мне сесть, и я тут же вспомнил о предостережении Мариуса: никогда не следует приближаться к свечам, лучше держаться в тени, чтобы смертные не могли рассмотреть мою изменившуюся, безупречную кожу.

Это оказалось не так уже сложно, поскольку, несмотря на свою любовь к свету и склонность к роскоши, Бьянка расставляла канделябры по разным углам для создания соответствующего настроения.

Чем меньше света, тем меньше будет заметен блеск моих глаз — это я тоже знал. И чем больше я буду говорить, тем больше буду оживляться, тем больше буду похож на человека.

Молчание и неподвижность опасны для нас, учил меня Мариус, ибо в неподвижности мы кажемся смертным безупречными, неземными, а в результате даже несколько жуткими, так как они чувствуют, что мы не те, за кого себя выдаем.

Я выполнял все эти правила. Но меня охватило волнение — ведь я никогда не смогу рассказать Бьянке, что со мной сделали! Я заговорил. Я объяснил ей, что болезнь полностью прошла, но Мариус, куда более мудрый, чем любой врач, прописал мне отдых и уединение. Когда я не лежал в постели, то пребывал в одиночестве и старался восстановить силы.

— Держись как можно ближе к истине, и тогда ложь прозвучит более правдоподобно,— учил меня Мариус. Теперь я следовал его указаниям.

— А я-то уже думала, что потеряла тебя,— сказала Бьянка.— Когда ты, Мариус, прислал мне известия, что он выздоравливает, я сперва даже не поверила и решила, что ты просто хочешь смягчить неизбежный удар.

Она была прелестна — настоящий цветок: светлые волосы разделены на пробор, густые локоны с обеих сторон унизывает жемчуг, а инкрустированный жемчугом гребень стягивает их на затылке. Остальные локоны ручейками блестящего золота падают на плечи — совсем как на картинах Боттичелли.

— Ты вылечила его, как только мог вылечить человек,— объяснил Мариус.— В мою задачу входило дать ему некоторые старые лекарства, ибо, кроме меня, о них никто не знает. А потом я дал лекарствам время сделать свое дело.

Он говорил искренне, но в голосе его мне послышалась грусть.

Меня охватила ужасная печаль. Я не мог рассказать, кем я стал, не мог рассказать, что теперь она видится мне совсем другой — яркой, светонепроницаемой благодаря человеческой крови, что человеческий тембр ее голоса воспринимается мною совершенно по-новому и с каждым произнесенным ею словом мои уши ощущают нежный толчок.

— Ну, теперь вы оба здесь и должны приходить ко мне почаще,— заявила она.— Давайте больше не допускать таких долгих расставаний. Мариус, я бы пришла к тебе, но Рикардо сказал, что ты хочешь тишины и покоя. Я бы сидела с Амадео в любом состоянии.

— Я знаю, милая,— откликнулся Мариус.— Но, как я и сказал, ему требовалось уединение, а твоя красота опьяняет, да и твои слова — более сильный стимул, чем тебе кажется.

В его речи не было и намека на лесть, она больше походила на искреннюю исповедь.

— Выяснилось, что без вас Венеция мне не дом.— Бьянка печально покачала головой и украдкой бросила взгляд в сторону передней гостиной.— Мариус, ты освободил меня от тех, кто имел надо мной власть.

— Это было довольно легко,— сказал он.— На самом деле это доставило мне удовольствие. Как же они были гнусны, твои, если не ошибаюсь, родственники, и как они стремились исполь-

зовать твою репутацию несравненной красавицы в своих запутанных финансовых делах.

Она покраснела, и я поднял руку, умоляя его быть поосторожнее в выражениях. Теперь я понимал, что во время бойни в обеденном зале флорентийца он прочел в мыслях жертв вещи, о которых я и не подозревал.

— Родственники? Может быть,— сказала она.— Мне удобнее было забыть об этом. Но без колебаний могу сказать, что они представляли страшную опасность для тех, кого они вынуждали брать дорогие займы и заманивали в опасные авантюры. Мариус, со мной произошли странные вещи, весьма неожиданные, должна признаться..

Мне нравилось серьезное выражение нежных черт ее лица. Бьянка казалась мне слишком красивой, чтобы обладать мозгами.

— Я становлюсь богаче,— сказала она,— поскольку могу оставлять себе бóльшую часть собственного дохода. Кроме того — вот что самое странное,— люди, в благодарность за то, что нашего банкира и вымогателя больше нет, осыпают меня бесчисленными подарками, золотом и драгоценными камнями. Да, правда, даже это ожерелье! Посмотри, это все морской жемчуг, причем одного размера, и здесь его целая нитка! И все это мне просто дарят, хотя я сто раз уверяла всех, что не имею к тем событиям никакого отношения.

— Но как же обвинения? — спросил я.— Как же опасность публичного осуждения?

— Их никто не защищает и никто не оплакивает,— быстро ответила она, осыпая мою щеку новым дождем поцелуев. А сегодня, до того как вы пришли, меня, как всегда, навестили мои друзья из Великого Совета, почитали мне новые стихи, посидели в тишине и покое, отдыхая от клиентов и бесконечных требований своих семей. Нет, не думаю, чтобы кто-то меня в чем-то обвинил, и всем известно, что в ночь, когда свершились убийства, я находилась здесь в обществе того ужасного англичанина, Амадео, того самого, кто пытался тебя убить, кто, конечно...

— Да, а что с ним? — поинтересовался я.

Мариус, прищурившись, посмотрел на меня и легко постучал по голове облаченным в перчатку пальцем. Прочти ее мысли, хотел он сказать. Но я и подумать об этом не мог. Слишком она была хорошенькая.

— Англичанин исчез. Подозреваю, что он где-то утонул. Наверное, слоняясь пьяным по городу, свалился в канал или, еще того хуже, в лагуну.

Конечно, Мастер говорил мне, что позаботился обо всем, дабы избежать любых осложнений, связанных со смертью англичанина, но я никогда не спрашивал, что конкретно он сделал.

— Значит, кое-кто считает, что ты наняла убийц, чтобы избавиться от флорентийцев? — спросил Мариус.

— Похоже на то,— сказала она.— Находятся и такие, кто думает, что я устроила расправу и над англичанином. Я становлюсь могущественной женщиной, Мариус.

Оба они рассмеялись, он — низким металлическим смехом сверхъестественного существа, Бьянка — чуть хрипловато, благодаря своей человеческой крови.

Мне захотелось проникнуть в ее мысли. Я попытался поскорее прогнать эту идею прочь. В ее присутствии я чувствовал ту же неловкость и скованность, что и рядом с Рикардо и самыми близкими мне мальчиками. Эта способность на самом деле казалась мне таким ужасным вторжением в чужую личную жизнь, что я использовал ее только во время охоты, чтобы опознать злодея, которого можно убивать.

— Амадео, ты краснеешь! В чем дело? — спросила Бьянка.— У тебя горят щеки. Дай, я их поцелую. Да у тебя жар. Такое впечатление, что лихорадка вернулась.

— Посмотри в его глаза, ангел,— сказал Мариус.— Они чисты.

— Ты прав,— сказала Бьянка, заглядывая мне в глаза с таким откровенным и милым любопытством, что показалась мне неотразимой.

Чуть сдвинув ткань платья, я поцеловал ее обнаженное плечо.

— Да, ты выздоровел,— проворковала она влажными губами.

Я посмотрел на нее и проник в ее мысли... Мне показалось, что я ослабил золотую пряжку под ее грудью и раздвинул пышные темно-зеленые бархатные юбки. Я уставился на впадинку между ее полуобнаженными грудями. Причиной тому кровь или нечто иное, но я вспомнил, какую питал к ней жаркую страсть, и испытал ее снова, странным всеобъемлющим обра-

зом, не сосредоточенную, как раньше, в одном определенном месте. Мне захотелось взять в руки ее груди и медленно их целовать, возбуждая ее, в ожидании ее влаги, ее аромата, в ожидании, когда она запрокинет голову. Да, я покраснел. Я погрузился в приятное смутное забытье.

«Я хочу вас, хочу сейчас же, вас с Мариусом, в моей постели, мужчину и мальчика, бога и херувима»,— вот что говорили мне ее мысли; и еще о том, что она вспоминала меня. Я как будто увидел свое отражение в дымном зеркале — мальчика, сидящего рядом с ней на подушках в одной лишь рубашке с открытым воротником и широкими рукавами. Его обнаженный полувозбужденный орган готов завершить этот процесс и жаждет помощи ее нежных губ или длинных, изящных белых пальцев.

Я поспешил выбросить эти мысли из головы и сосредоточил взгляд только на ее прекрасных, конусообразной формы глазах. Она рассматривала меня не с подозрением, но с восхищением. Бьянка не красила губы — они были от природы ярко-розовыми, а обрамлявшие сияющие глаза длинные ресницы, чуть подкрашенные и завитые, походили на лучи звезды.

«Я хочу вас, хочу немедленно!» — вот что она думала. Ее мысли ударили мне в уши.

Я наклонил голову и поднял руки.

— Милый ангел,— сказала она.— Обоих! — прошептала она Мариусу и взяла меня за руки.— Идемте со мной.

Я был уверен, что он положит этому конец. Он предостерегал меня, чтобы я избегал близкого осмотра. Однако он только поднялся с кресла и двинулся в сторону ее спальни, распахнув обе створки расписных дверей.

Издалека, из гостиных, доносился ровный гул разговоров и смеха. К нему добавилось пение. Кто-то играл на спинете. Все шло своим чередом.

Мы скользнули в ее постель. Меня всего трясло. Я увидел, что мой господин нарядился в плотную тунику и в красивый темно-синий камзол,— на это я раньше практически не обращал внимания. Мягкие темно-синие перчатки плотно облегали пальцы, а ноги вплоть до красивых остроконечных туфель скрывали плотные мягкие кашемировые чулки. Он прикрыл всю свою жесткость, подумал я.

Устроившись у изголовья кровати, он без всяких угрызений совести помог Бьянке сесть непосредственно рядом с собой. Я отвел глаза, занимая место около нее. Но когда она обхватила ладонями мое лицо и с энтузиазмом меня поцеловала, я заметил, что он совершает одно действие, которого я раньше не видел.

Приподняв ее волосы, он, казалось, поцеловал ее сзади в шею. Этого она не почувствовала и никак не отреагировала. Однако, когда он отодвинулся, его губы были в крови. И, подняв обтянутый перчаткой палец, он растер эту кровь, ее кровь, всего несколько капель из поверхностной, разумеется, царапины, по всему лицу. Для моих глаз это выглядело как сияние жизни, но она увидит все совсем иначе.

Кровь оживила ставшие практически невидимыми поры его кожи, а также углубила почти незаметные прежде линии вокруг глаз и рта. Она в целом придала ему более человеческий вид и послужила защитой от ее приблизившихся глаз.

— Я получила вас обоих, как всегда мечтала,— тихо проговорила она.

Мариус оказался прямо перед ней, обхватив сзади рукой, притянул ее к себе и начал целовать не менее жадно, чем в свое время я. Сперва я поразился и почувствовал уколы ревности, но она нашла меня свободной рукой, прижала к себе, отвернулась от Мариуса и стала целовать меня тоже.

Мариус перегнулся через нее и прижал меня к ней плотнее, чтобы я прикоснулся к ее мягким изгибам, почувствовал все тепло, исходившее от ее чувственных бедер.

Он лег на нее сверху, легко, чтобы не причинить ей неудобства, правой рукой поднял ее юбку и просунул пальцы между ее ног.

Это было очень дерзко. Прижимаясь к ее плечу, я смотрел, как вздымается ее грудь, а дальше виднелся крошечный, покрытый пушком холмик, который уместился в его руке.

Она окончательно забыла о всяких приличиях. Он осыпал поцелуями ее шею и грудь, обхватив пальцами пушок между ее ног, и она, приоткрыв рот, начала извиваться от не поддающейся контролю страсти; ее ресницы трепетали, все тело внезапно увлажнилось и источало новый, горячий аромат.

Я осознал, что чудо заключается в том, чтобы довести человеческое тело до состояния такой повышенной температуры, чтобы оно источало все эти сладкие запахи и даже интенсивное, невидимое глазу мерцание эмоций; это все равно что разжигать огонь, пока не запылает костер.

Пока я целовал ее, по моему лицу разливалась кровь моих жертв. Казалось, она снова ожила, разгоряченная моей страстью, но в моей страсти не было демонической потребности. Я прижался открытым ртом к коже ее горла, накрыв то место, где голубела, словно река, артерия. Но я не хотел причинять ей боль. Я не испытывал желания причинять ей боль. На самом деле, обнимая ее, я ощущал только удовольствие, просовывая руку между ней и Мариусом, чтобы покрепче прижать ее к себе и покачивать, пока он продолжает играть с ней, то поднимая, то опуская пальцы на нежном холмике между ее бедер.

— Что ты меня дразнишь, Мариус,— прошептала она, тряся головой. Подушка под ней промокла и пропиталась запахом ее волос. Я поцеловал ее в губы. Они впились в мой рот. Чтобы не дать ее языку обнаружить мои вампирские зубы, я сам проник языком в ее рот. Губы, расположенные внизу ее живота не могли бы быть приятнее, плотнее, влажнее.

— А, тогда вот так, милая,— ласково ответил Мариус, и в нее проскользнули его пальцы.

Бьянка приподняла бедра, как будто ей помогали в этом его пальцы, чего ей как раз и хотелось.

— Господи, помоги мне, прошептала она, достигая вершин страсти, ее лицо потемнело от прилившей крови, а грудь охватило розоватое пламя.

Я сдвинул ткань и увидел, что краснота распространяется по всей груди, а соски затвердели, как изюминки.

Я закрыл глаза и лег рядом с ней. Я отдался восприятию страсти, раскачивающей ее тело, а потом, когда огонь стал угасать, она почти погрузилась в сон. Она отвернулась от меня, лицо разгладилось, веки изящно смежились. Она вздохнула и непринужденно приоткрыла прелестные губки.

Мариус отвел волосы с ее лица, расправил мелкие непокорные колечки, промокшие от влаги, и поцеловал ее в лоб.

— Теперь спи и знай, что ты в безопасности,— прошептал он.— Я всегда буду о тебе заботиться. Ты спасла Амадео. Ты не позволила ему умереть до моего прихода.

Бьянка сонно повернулась к нему и медленно открыла блестящие глаза.

— Разве я недостаточно хороша для тебя, чтобы любить меня просто за мою красоту? — спросила она.

Я внезапно осознал, что она говорит об этом с горечью и удостаивает его своим доверием. Я читал, а точнее, чувствовал ее мысли!

— Я люблю тебя,— тихо сказал Мариус.— И мне все равно, одеваешься ли ты в золото и жемчуг, отвечаешь ли ты мне остроумно и быстро, содержишь ли ты элегантный дом, где я могу отдохнуть. Я люблю тебя вот за это сердце, которое привело тебя к Амадео, когда ты знала, что это опасно, что те, кто знает англичанина, могут причинить тебе зло, я люблю тебя за мужество и за что, что ты знаешь об одиночестве.

Ее глаза на секунду расширились.

— За то, что я знаю об одиночестве? О да, я прекрасно знаю, что́ значит быть совсем одной.

— Да, моя храбрая Бьянка, а теперь ты знаешь, что я тебя люблю,— прошептал он.— А что Амадео тебя любит, ты всегда знала.

— Да, я тебя очень люблю,— тоже шепотом подтвердил я, лежа рядом и обнимая ее.

— А теперь ты знаешь, что я тебя тоже люблю.

Бьянка рассматривала его так пристально, как только позволяла охватившая ее истома.

— У меня на языке вертится столько вопросов,— тихо произнесла она.

— Все это ерунда,— ответил Мариус. Он поцеловал ее и, мне кажется, дотронулся зубами до ее языка.— Я заберу твои вопросы и развею их по ветру. Спи, девственное сердце. Люби кого хочешь под надежной защитой нашей любви к тебе.

Это был сигнал уходить.

Пока я стоял в изножии кровати, он накрыл Бьянку расшитыми покрывалами, аккуратно подогнув тонкую простыню из фламандского полотна под край более грубого белого шерстяного одеяла, а потом поцеловал ее еще раз, но она крепко спала, как маленькая девочка, мягкая и безмятежная.

На улице, стоя на берегу канала, он поднес к лицу обтянутую перчаткой руку, смакуя сохранившийся на ней запах.

— Ты сегодня многому научился, не так ли? Ты не сможешь рассказать ей, кем ты стал. Но ты видишь, насколько близко ты можешь к ней подойти?

— Да,— ответил я.— Но только в том случае, если мне взамен ничего не нужно.

— Ничего? — спросил он. Он укоризненно посмотрел на меня.— Она дала тебе свою преданность, привязанность, страсть; что еще тебе нужно взамен?

— Больше ничего,— сказал я.— Ты хорошо меня научил. Но прежде я обладал ее пониманием, она была для меня зеркалом, в котором я мог изучать свое отражение и тем самым судить о своем развитии. Сейчас она уже не может быть таким зеркалом, правда?

— Нет, во многом может. Показывай ей, кто ты такой, жестами и прямыми словами. Не нужно рассказывать ей истории о вампирах — они только сведут ее с ума. Она прекрасно сможет принести тебе успокоение, даже не зная, отчего тебе плохо. А ты... Ты должен помнить, что, рассказав обо всем, ты ее уничтожишь. Только представь себе...

Я долго молчал.

— Тебе что-то пришло в голову,— сказал он.— У тебя торжественный вид. Говори.

— А ее нельзя сделать...

— Амадео, ты подводишь меня к новому уроку. Ответ отрицательный.

— Но она состарится и умрет, а...

— Конечно, так и будет, это ее судьба. Амадео, сколько может быть в мире таких, как мы? И по какому праву мы повели бы ее за собой? Ты уверен, что мы захотим вечно оставаться в ее обществе? Что мы захотим сделать ее своей ученицей? Что мы захотим слушать ее крики, если волшебная кровь доведет ее до безумия? Эта кровь не для каждой души, Амадео. Она требует великой силы и большой подготовки, что я нашел в тебе. Но в ней я этого не вижу.

Я кивнул. Я знал, о чем он говорит. Мне не пришлось вспоминать о том, что со мной приключилось, или даже мысленно возвращаться к взрастившей меня грубой колыбели Руси. Он был прав.

— Ты захочешь разделить эту кровь со многими,— сказал он.— Знай же, что это невозможно. Знай, что с каждым из них придет ужасная ответственность и ужасная опасность. Дети восстают против своих родителей, и с каждым своим вампиром ты породишь ребенка, который будет вечно испытывать к тебе любовь или ненависть. Да, ненависть.

— Дальше можешь не объяснять,— прошептал я.— Я знаю. Я понимаю.

Мы вместе вернулись домой, в ярко освещенные комнаты палаццо.

Тогда я понял, чего он от меня хочет: чтобы я общался со своими старыми друзьями, с мальчиками, чтобы я был добр с ними, особенно с Рикардо, который, как я вскоре осознал, винил себя в смерти беззащитных малышей, павших от руки англичанина в тот роковой день.

— Притворяйся и с каждым разом набирайся сил,— прошептал он мне на ухо.— Точнее, сближайся с ними с любовью и люби, не позволяя себе роскошь быть до конца честным. Ибо любовь преодолевает любую пропасть.

13

За последующие месяцы я научился столь многому, что здесь бесполезно об этом рассказывать. Я с энтузиазмом занимался и даже потратил время на изучение системы управления городом, которая, по моему мнению, было в основном не менее утомительной, чем любая другая форма правления, а также ненасытно читал великих христианских мыслителей, вплоть до Абеляра, Дунса Скота и прочих ученых, которых высоко ценил Мариус.

К тому же Мариус нашел для меня целую кипу русской литературы, так что впервые я смог изучить письменные источники, рассказывающие о том, что в прошлом я знал только по песням отца и его братьев. Сперва мне казалось, что для серьезного изучения это будет слишком болезненный процесс, но Мариус безапелляционно настоял на своем, и не зря. Неотъемлемая ценность предмета изучения вскоре поглотила мои болезненные воспоминания, и в результате я обрел более глубокие знания и понимание.

Все эти документы были составлены на церковно-славянском, на языке письменности моего детства, и скоро я приспособился читать на нем с необычайной легкостью. Меня приводило в восторг «Слово о полку Игореве», но мне нравились и переведенные с греческого произведения святого Иоанна Златоуста. Я получал удовольствие от невероятных повестей о царе Соломоне и о сошествии Богородицы в ад, которые не вошли в канонизированный Новый Завет, однако бередили русскую душу. Также я прочел нашу великую летопись «Повесть временных лет». Еще я читал «Моление на погибель Руси» и «Повесть о разорении Рязани».

Чтение рассказов о родной стране помогло мне соотнести их с прочими изученными мною науками. Оно словно извлекало события из царства моих собственных грез.

Постепенно я понял всю мудрость этого задания. Я стал отчитываться перед Мариусом с большим энтузиазмом. Я стал просить достать мне новые рукописи на церковно-славянском и вскоре получил «Повесть о благочестивом князе Довмонте и его доблести» и «Героические подвиги Меркурия Смоленского». В результате произведения на церковно-славянском начали приносить мне неподдельное удовольствие, и после официальных занятий я часами сидел над ними, чтобы обдумать старые легенды и даже сочинять на их основе собственные скорбные песни.

Их я иногда пел другим ученикам на сон грядущий. Они считали, что я пою на очень экзотическом языке, и подчас сама музыка и мои грустные модуляции вызывали на их глазах слезы.

Тем временем мы с Рикардо опять стали близкими друзьями. Он никогда не спрашивал, почему с некоторых пор я, подобно Мастеру, превратился в создание ночи. Я никогда не проникал в глубины его сознания. Конечно, я бы это сделал ради моей и Мариуса безопасности, но я использовал свой вампирский разум, чтобы истолковывать его поведение по-другому, и неизменно обнаруживал в нем преданность, верность и отсутствие сомнений.

Как-то я спросил Мариуса, что о нас думает Рикардо.

— Рикардо передо мной в слишком большом долгу, чтобы усомниться хоть в одном моем действии,— ответил Мариус, впрочем без высокомерия и без гордости.

— Тогда он намного лучше воспитан, чем я, правда? Потому что я точно так же перед тобой в долгу, но ставлю под сомнение каждое твое слово.

— Да, ты сообразительный, острый на язык чертенок, это правда,— согласился Мариус со слабой улыбкой.— Рикардо проиграл в карты его пьяный отец и отдал мальчика на милость звероподобного купца, который заставлял его работать день и ночь. Рикардо ненавидел своего отца, ты — никогда. Рикардо было восемь лет, когда я выкупил его за золотое ожерелье. Он видел самых плохих людей — тех, в ком дети не вызывают естественной жалости. Ты видел, что делают люди с детской плотью ради удовольствий. Это еще не самое худшее. Рикардо не представлял себе, что хрупкое маленькое существо может вызвать в людях сострадание, и ни во что не верил, пока я не позволил ему почувствовать себя в безопасности, не насытил его знаниями и не объяснил ему в самых недвусмысленных выражениях, что он стал моим сыном и наследником.

Но если ответить на твой вопрос по существу... Рикардо считает, что я маг и что я решил поделиться своими чарами с тобой. Он знает, что ты стоял на пороге смерти, когда я даровал тебе свои секреты, и что я не дразню его и всех остальных этой честью, но, скорее, рассматриваю ее как вынужденную и необходимую меру. Он не стремится к нашим знаниям. И будет защищать нас ценой собственной жизни.

Я с этим согласился. В отличие от большого желания довериться Бьянке я не чувствовал ничего подобного по отношению к Рикардо.

— Я испытываю потребность оберегать его,— сказал я Мастеру.— Очень надеюсь, что ему никогда не придется защищать меня.

— Так же как и я,— ответил Мариус.— Это касается всех мальчиков. Бог оказал твоему англичанину великую услугу, лишив его жизни до моего возвращения домой, когда я обнаружил, что он убил моих малышей. Достаточно уже, что он тебя искалечил. Но еще более отвратительно, что на моем пороге он принес двоих детей в жертву своей гордыне и горечи. Ты занимался с ним любовью, ты мог защититься. Но на его пути оказались невинные.

Я кивнул.

— Что стало с его останками? — спросил я.

— Все очень просто,— пожал он плечами.— Зачем тебе знать? Я тоже бываю суеверным. Я рассеял их по ветру. Если правду говорят старые легенды, то его дух будет изнывать в надежде восстановить тело и будет вечно гоняться за ветром.

— Мастер, а что станет с нашими душами, если уничтожить наши тела?

— Одному Богу известно, Амадео. Я отчаялся выяснить. Я прожил слишком долго, чтобы думать о самоуничтожении. Возможно, меня постигнет та же участь, что и весь физический мир. Вполне вероятно, что мы возникли из ниоткуда и уйдем в никуда. Но давай лучше тешить себя иллюзиями о бессмертии, как смертные тешат себя своими иллюзиями.

Уже хорошо.

Мастер дважды отлучался из палаццо, чтобы совершить свои таинственные путешествия, причину которых он, как и прежде, отказывался мне объяснять.

Я ненавидел эти отлучки, но понимал, что мне предоставляется случай проверить свои новые силы. Я должен был мягко и ненавязчиво управлять домом, мне приходилось самостоятельно охотиться, а потом, по возвращении Мариуса, давать ему отчет в том, чем я занимался в свободное время.

После второго путешествия он вернулся домой утомленный и непривычно грустный. Он сказал, как уже говорил однажды, что Те, Кого Следует Оберегать, пребывают в мире.

— Я ненавижу этих тварей! — сказал я.

— Нет, никогда не смей говорить так в моем присутствии, Амадео! — взорвался он.

Мастер так разозлился, что на мгновение потерял самообладание,— таким я еще никогда его не видел. Не уверен, что за время нашей совместной жизни я вообще видел, чтобы он по-настоящему сердился.

Он подошел ко мне, и я отпрянул, не на шутку испугавшись. Мариус ударил меня наотмашь по лицу, однако, к счастью, он уже пришел в себя, и удар получился обычным, до сотрясения мозга.

Я принял его и бросил на Мастера злобный, обжигающий взгляд.

— Ты ведешь себя как ребенок,— сказал я,— как ребенок, изображающий господина, а мне приходится обуздывать свои чувства и мириться с этим.

Конечно, для этой речи мне понадобилась вся моя сдержанность, особенно с таким головокружением, и на моем лице отразилось такое упрямое презрение, что он внезапно расхохотался. Я тоже засмеялся.

— Нет, правда, Мариус,— сказал я, чувствуя себя безмерно дерзким,— кто они, эти существа, о которых ты говоришь? — Здравый смысл заставил меня вести себя вежливо и почтительно. В конце концов, мне действительно было интересно.— Ты возвращаешься домой несчастным. Ты же не станешь это отрицать. Так кто они такие и чего ради их оберегать?

— Амадео, хватит вопросов. Иногда, перед самым рассветом, когда мои страхи обостряются больше всего, я воображаю, что у нас есть враги среди тех, кто пьет кровь, и что они уже близко.

— Другие? Такие же сильные, как ты?

— Нет, те, кто появился в последние годы, не могут сравняться со мной по силе, поэтому-то их здесь и нет.

Я затаил дыхание. Он уже раньше намекал, что никого не допускает на нашу территорию, но в подробности не вдавался, а теперь он был расстроен, смягчился и хотел поговорить.

— Но я воображаю,— продолжал Мариус,— что существуют и другие, что они придут нарушить наш покой. У них нет веской причины. Так всегда бывает. Им захочется поохотиться в Венеции, или же они попытаются уничтожить нас просто развлечения ради. Я представляю себе... Короче говоря, дитя мое,— а ты мое дитя, умник! — я рассказываю тебе о древних тайнах не больше, чем тебе следует знать. Таким образом, никто не сможет выкопать из твоего еще пока несовершенного разума его глубочайшие тайны — ни с твоего согласия, ни без твоего ведома, ни против твоей воли.

— Если у нас есть история, которую стоит узнать, ты должен мне рассказать. Что за древние тайны? Ты засыпаешь меня книгами по истории человечества. Ты заставил меня изучать греческий и даже эту несчастную египетскую письменность, которую никто на свете не знает. Ты без конца меня допрашиваешь о судьбе Древнего Рима или Афин, о битвах каждого крестово-

го похода, отправлявшегося с наших берегов в Святую землю. А как же мы?

— Мы всегда были здесь,— ответил он,— я же говорил. Древние, как само человечество. Мы всегда были здесь, нас всегда было мало, мы всегда воюем, нам всегда лучше всего быть одним, нам нужна любовь в лучшем случае одного-двух существ. Вот наша история, коротко и ясно. Я жду, что ты напишешь ее мне на каждом из пяти известных тебе языков.

Он раздраженно уселся на кровать, зарывшись грязным сапогом в атласную простыню, и откинулся на подушки. Он выглядел совсем разбитым, не похожим на себя и молодым.

— Мариус, ну хватит тебе,— уговаривал его я, сидя за письменным столом.— Какие древние тайны? Кто такие Те, Кого Следует Оберегать?

— Иди раскопай наши подвалы, дитя,— сказал он, подбавив в свой голос сарказма.— Разыщи там статуи, которые я храню с так называемых языческих времен. От них не меньше пользы, чем от Тех, Кого Следует Оберегать. Оставь меня в покое. Когда-нибудь я тебе расскажу, но пока что даю тебе только то, что наиболее важно. Предполагалось, что в мое отсутствие ты будешь заниматься. Рассказывай, что ты выучил.

Перед отъездом он потребовал, чтобы я изучил всего Аристотеля, не по рукописям, которые в избытке водились на площади, но по его личному старому тексту — этот текст, по его словам, был написан на настоящем греческом. Я все прочел.

— Аристотель,— сказал я,— и святой Фома Аквинский. Да ладно, великие системы приносят успокоение, а когда мы сами чувствуем, что впадаем в отчаяние, нам следует изобрести великие схемы окружающей нас пустоты, и тогда мы не поскользнемся, а повиснем на созданных нами стропилах, так же лишенных смысла, как и пустота, но слишком досконально проработанных, чтобы ими с легкостью пренебрегать.

— Отличная работа,— красноречиво вздохнул он.— Может быть, когда-нибудь, в далеком будущем, ты займешь более многообещающую позицию, но поскольку ты, кажется, насколько возможно, воодушевлен и счастлив, к чему мне жаловаться?

— Откуда-то же мы все-таки произошли? — Я настойчиво возвращался к интересующей меня теме.

Он был слишком удручен, чтобы отвечать.

Наконец он оживился, вскочил с подушек и направился ко мне.

— Пойдем отсюда. Давай найдем Бьянку и ненадолго переоденем ее в мужчину. Принеси костюм получше. Нужно хоть на какое-то время дать ей возможность не сидеть взаперти.

— Сударь, возможно, подобная грубость вас шокирует, но у Бьянки, как и у многих женщин, давно уже появился такой обычай. Переодевшись мальчиком, она без конца выскальзывает из дома, чтобы совершать экскурсии по городу.

— Да, но не в нашем обществе. Мы покажем ей самые страшные места! — Он сделал театрально-комическое лицо.— Пошли.

Я был в восторге.

Как только мы рассказали ей о своем плане, она тоже пришла в восторг. Мы ворвались к ней с целым гардеробом изысканной одежды, и она моментально ускользнула с нами, чтобы переодеться.

— Что вы мне принесли? О, я сегодня буду Амадео! Потрясающе! — Она захлопнула двери, оставив за ними свою компанию, которая, как обычно, продолжала развлекаться и без нее: несколько человек пели, собравшись вокруг спинета, а остальные разгоряченно спорили над игрой в кости.

Она сорвала с себя одежду и предстала перед нами обнаженная, как Венера, выходящая из моря. Мы вдвоем нарядили ее в синие чулки, в тунику и камзол. Я покрепче затянул на ней пояс, а Мариус собрал ей волосы и прикрыл их мягкой бархатной шляпой.

— Ты самый хорошенький мальчик в Венеции,— сказал он, отходя на шаг.— Что-то подсказывает мне, что придется защищать тебя ценой наших жизней.

— Вы действительно решили отвести меня в самые жуткие притоны? Мне хочется увидеть опасные места! — Он воздела руки.— Дайте мне стилет. Вы же не думаете, что я пойду безоружной.

— Я принес тебе все подобающее случаю оружие.— Мариус захватил с собой меч и теперь застегнул прекрасную, отделанную бриллиантами перевязь на бедрах Бьянки.— Попробуй его выхватить. Это не тренировочная рапира. Это военный меч. Вперед.

Она ухватилась за рукоять обеими руками и уверенно, с размаху, рассекла им воздух.

— Жаль, что у меня нет врага,— воскликнула она,— а то ему пришлось бы готовиться к смерти!

Я бросил взгляд на Мариуса. Он посмотрел на нее. Нет, ей нельзя быть такой, как мы.

— Это было бы слишком эгоистично,— прошептал он мне на ухо.

Я не мог не задуматься: а если бы я не умирал после поединка с англичанином, если бы меня не поразила болезнь, сделал ли бы он меня когда-нибудь вампиром?

Мы втроем сбежали по каменным ступенькам на набережную. Там нас ожидала наша гондола с балдахином. Мариус назвал адрес.

— Мастер, вы уверены, что вам стоит туда ехать? — спросил потрясенный гондольер, поскольку он знал тот район, где собирались выпить и подраться самые отъявленные головорезы — моряки-иностранцы.

— Абсолютно уверен,— сказал Мариус.

Когда мы двинулись прочь, рассекая черную воду, я обвил рукой талию хрупкой Бьянки. Откинувшись на подушки, я чувствовал себя неуязвимым, бессмертным и был уверен, что ничто и никогда не сможет нанести удар нам с Мариусом, а Бьянка на нашем попечении всегда будет чувствовать себя в безопасности. Как же глубоко я заблуждался!..

Наверное, после путешествия в Киев нам оставалось провести вместе месяцев девять. Девять или десять, я не могу обозначить кульминацию ни одним событием внешнего мира. Перед тем как перейти к кровавой катастрофе, скажу только, что в те последние месяцы Бьянка постоянно была с нами. Когда мы не подсматривали за участниками буйных попоек, мы оставались у нас дома, где Мариус писал ее портреты, изображая как ту или иную богиню, как библейскую Юдифь с головой флорентийца в качестве Олоферна или как Деву Марию, восторженно взирающую на крошечного Иисуса, изображенного Мариусом с законченностью, свойственной всем его работам.

Картины... Возможно, некоторые из них сохранились и по сей день. Как-то ночью, когда весь дом спал, за исключением

нас троих, Бьянка, уже готовая сдаться на милость сна, лежа на кушетке, пока Мариус рисовал, вздохнула и сказала:

— Я слишком полюбила ваше общество. Мне никогда не хочется домой.

Если бы она любила нас меньше! Если бы она не была с нами в тот роковой вечер 1499 года, накануне нового столетия, когда эпоха Возрождения, воспетая художниками и историками, достигла своего расцвета! Если бы она оставалась в безопасности, когда наш мир запылал и рухнул!

14

Если ты читал книгу «Вампир Лестат», то тебе известно, что произошло дальше, поскольку я мысленно передал это Лестату двести лет назад, а он описал все образы, которые я ему показал, боль, которую я с ним разделил. И хотя сейчас я намереваюсь оживить в памяти прежние ужасы и изложить ту повесть своими словами, будут моменты, где я не смогу выразиться лучше, чем он, и время от времени, может быть, воспользуюсь его выражениями.

Все началось внезапно. Я проснулся и обнаружил, что Мариус поднял позолоченную крышку моего саркофага. За его спиной на стене горел факел.

— Быстрее, Амадео, они здесь. Они намерены сжечь наш дом.

— Кто, господин? И зачем?

Он выхватил меня из блестящего ящика-гроба, и я помчался следом за ним по выщербленной лестнице на первый этаж разрушенного здания.

Надев красный плащ с капюшоном, он двигался так быстро, что мне потребовались все силы, чтобы не отставать.

— Это Те, Кого Следует Оберегать? — спросил я. Он обхватил меня рукой, и мы перемахнули на крышу нашего палаццо.

— Нет, дитя, это стая безрассудных вампиров, решивших уничтожить всю мою работу. Бьянка в их власти, и мальчики тоже.

Мы вошли в дом через дверь на крыше и спустились по мраморной лестнице. С нижних этажей поднимался дым.

— Мастер, мальчики, они кричат! — заорал я.

К подножию лестницы подбежала Бьянка.

— Мариус! Мариус! Это демоны! Колдуй же, Мариус! — кричала она. Ее волосы растрепались со сна, одежда была в беспорядке.— Мариус! — Эхо донесло ее вопли на третий этаж палаццо.

— Господи, все комнаты в огне! — закричал я.— Нужно найти воды, потушить пожар. Мастер, картины!

Мариус перепрыгнул через перила и моментально оказался внизу, рядом с Бьянкой. Побежав к нему, я увидел, что вокруг него сомкнулась целая толпа фигур в черных одеяниях, которые, к моему вящему ужасу, пытались поджечь его одежды, размахивая факелами, испуская пронзительные вопли и шипя проклятия из-под капюшонов.

Эти демоны являлись отовсюду. Страшно было слышать крики смертных подмастерьев.

Мариус оттолкнул нападавших согнутой рукой, факелы покатились по мраморному полу. Он обернул Бьянку плащом.

— Они хотят убить нас! — кричала она.— Они хотят сжечь нас, Мариус, они перебили мальчиков, а остальных захватили в плен!

Не успели первые нападавшие подняться на ноги, как моментально к нам подбежали новые фигуры в черном. Я увидел, кто это. Те же белые лица и руки, что и у нас,— в каждом текла волшебная кровь. Такие же создания, как мы!

Мариуса снова атаковали, и снова он стряхнул их с себя. Все гобелены большого зала воспламенились. Из смежных комнат валил темный вонючий дым. Чадом затянуло всю лестницу. От адского пламени в доме внезапно стало светло, как днем.

Я ринулся драться с демонами и обнаружил, что они поразительно слабы. Подобрав один из их факелов, я бросился на них, отгоняя их подальше по примеру Мастера.

— Богохульник, еретик! — прошипел один из них.

— Демонопоклонник, язычник! — послышались проклятия другого.

Они наступали, и я снова начал сражаться с ними, поджигая их одежды, так что они закричали и умчались к безопасным водам канала. Но их было слишком много. Пока мы дрались, в зал вливались новые силы.

Неожиданно, к моему полному ужасу, Мариус оттолкнул Бьянку от себя к открытым дверям палаццо.

— Беги, милая, беги. Убирайся подальше от этого дома.

Он неистово дрался с теми, кто решил последовать за ней, сражая одного за другим тех, кто пытался ее остановить, пока я не увидел, как она исчезла за открытой дверью.

У нас не было времени удостовериться, в безопасности она или нет. Меня окружали новые фигуры. Пылающие гобелены падали со своих прутьев. Статуи переворачивались и разбивались о каменный мраморный пол. Меня чуть было не стащили вниз два демона, вцепившиеся в мою левую руку, но я ткнул в лицо одному из них факел, а другого поджег.

— На крышу, Амадео, быстрее! — крикнул Мариус.

— Мастер, картины, картины в хранилищах! — закричал я.

— Забудь о картинах! Слишком поздно! Мальчики, бегите отсюда, бегите, скорее, спасайтесь от огня!

Оттолкнув нападавших, он взлетел по лестнице и позвал меня с самого верха.

— Давай, Амадео, дерись с ними, верь в свои силы, дитя, дерись.

На втором этаже меня окружили со всех сторон, не успевал я поджечь одного, как на меня набрасывался другой. Они не стремились меня сжечь, но хватали за руки и за ноги. Они цеплялись за меня, и наконец им удалось вырвать факел из моей руки.

— Мастер, оставь меня, уходи! — закричал я.

Я вертелся, брыкался, извивался и, посмотрев вверх, увидел, что его опять окружили, и на сей раз сотня факелов полетела в его развевающийся алый плащ, сотня пламенеющих головешек ударила в его золотые волосы и неистовое белое лицо. Настоящий рой пылающих насекомых, их количество и тактика сначала лишили его возможности двигаться; а потом с шумным взрывом пламя поглотило все его тело.

— Мариус! Мариус! Мариус! — снова и снова повторял я, не в силах отвести взгляд, продолжая сражаться с захватившими меня врагами, выдергивая ноги только для того, чтобы их снова схватили холодные твердые пальцы, толкая руками только для того, чтобы меня опять связали.— Мариус! — С этим криком из меня вылетала вся моя боль, весь ужас.

Мне казалось, что ни один из моих былых страхов не мог быть таким чудовищным, таким невыносимым, как то, что я увидел высоко наверху, у каменных перил, когда Мастера с головы до ног охватило пламя. Его длинное стройное тело на секунду обрело очертания, и мне показалось, что я увидел его профиль с запрокинутой головой, взорвавшиеся волосы, пальцы, цепляющиеся за огонь в поисках воздуха.

— Мариус! — кричал я. Все, что было в мире ободряющего, доброго, вся надежда горела вместе с этой черной фигурой, которая постепенно таяла и теряла свои очертания.— *Мариус!!!* — Вместе с ним умерла и моя воля.

От нее осталось одно воспоминание, и это воспоминание словно по команде вторичной души, созданной из волшебной крови и силы, бездумно продолжало драться.

На меня накинули сеть из стальных нитей, таких тяжелых и тонких, что через мгновение я уже ничего не видел, только чувствовал, как вражеские руки заворачивают меня в нее и перекатывают по полу. Меня выносили из дома. Отовсюду доносились крики. Я слышал топот бегущих ног тех, кто меня нес, а когда рядом завыл ветер, я понял, что мы оказались на берегу.

Меня протащили вниз, в недра корабля, а в моих ушах продолжали звучать предсмертные вопли. Они захватили не только меня, но и учеников. Меня бросили туда же, куда и их, рядом со мной и сверху навалились их тела, а я, крепко опутанный сетью, не мог даже говорить, не мог произнести слова утешения... Впрочем, что я мог им сказать? Ничего...

Я почувствовал, как поднимаются и опускаются весла, услышал плеск воды, и огромный деревянный галеон дрогнул и двинулся в открытое море. Он набирал скорость, словно ночная тьма не затрудняла его ход, а гребцы наваливались на весла с силой, недоступной смертным мужчинам, направляя корабль на юг.

— Богохульник,— зашептали мне в ухо.

Мальчики всхлипывали и молились.

— Прекратите свои нечестивые молитвы,— сказал холодный сверхъестественный голос,— вы, слуги язычника Мариуса. Вы умрете за грехи своего господина, все умрете.

Я услышал зловещий смех, хриплым громом заглушивший тихие звуки их страданий и боли. Я услышал долгий сухой и жестокий смех.

Я закрыл глаза, я ушел в себя — глубоко-глубоко. Я лежал в грязи Печерской лавры, призрак самого себя, погрузившись в самые безопасные и самые жуткие воспоминания.

— Господи,— прошептал я, не шевеля губами,— спаси их, и, клянусь тебе, я навсегда захороню себя заживо среди монахов, я откажусь от всех удовольствий, я ничего не буду делать, только час за часом восхвалять твое священное имя. Господи Боже, избави меня... Господи...— Но по мере того как меня охватывало паническое безумие, по мере того как я терял ощущение времени и пространства, я начал звать Мариуса: — Мариус, ради Бога, Мариус!

Кто-то меня ударил. Ударил по голове ногой в кожаном сапоге. Следующий удар пришелся по ребрам, еще один раздробил руку. Меня окружили ноги, они свирепо пинали и колотили меня. Я расслабился. Я воспринимал удары как краски и горько думал про себя: «Что за прекрасные цвета... да, цвета...» Потом послышались громкие вопли моих братьев. Им тоже приходится страдать. И какого убежища искать их душам — душам хрупких молодых учеников, каждого из которых любили, учили, воспитывали для выхода в огромный мир... А вместо этого они оказались во власти демонов, чьи намерения оставались мне неизвестны, чьи цели лежали за пределами того, о чем я мог помыслить.

— Зачем вам все это нужно? — прошептал я.

— Чтобы наказать вас! — раздался тихий шепот.— Чтобы наказать вас за тщеславные и богохульные деяния, за вашу светскую, безбожную жизнь. Что такое ад в сравнении с этим, дитя?

Вот как? Эти самые слова тысячи раз повторяли палачи, ведя еретиков на костер.

— Разве адское пламя сравнится с этим кратким страданием?

Какая удобная, самонадеянная ложь.

— Думаешь? — ответил шепот.— Обуздай свои мысли, дитя, ибо существуют те, кто может опустошить твой разум и не оставить в нем ни единой мысли. Возможно, ты и не увидишь ада, дитя, но тебе уготованы вечные страдания. Кончились твои ночи роскоши и похоти. Тебя ожидает истина.

Я вновь затаился в самом сокровенном убежище своей души. У меня не осталось тела. Я лежал в монастыре, в земле, и не ощущал собственной плоти. Я настроил мысли на звучание окру-

жавших меня голосов, нежных и жалобных. Я определял мальчиков по именам и постепенно сосчитал их. Больше половины нашей компании, нашей великолепной компании херувимов, попали в эту чудовищную тюрьму.

Рикардо слышно не было. Но потом, когда наши стражи ненадолго прекратили побои, я услышал Рикардо.

Он затянул речитативом псалом по-латыни, хриплым, отчаянным шепотом.

— Восславим Господа...

Остальные быстро подхватили:

— Восславим имя Его...

Так и продолжались молитвы, голоса постепенно стихали, и в конце концов остался лишь голос Рикардо. Я не отвечал.

Но и теперь, когда его подопечные погрузились в милосердный сон, он продолжал молиться, чтобы обрести успокоение,— или же просто во славу Бога. Он перешел от псалма к «Pater Noster», а дальше — к утешительным вековечным словам «Ave Maria», которые он повторял вновь и вновь в полном одиночестве, лежа в темнице на дне корабля.

Я не заговаривал с ним. Я даже не дал ему знать, что нахожусь рядом. Я не мог спасти его. Я не мог его утешить. Я даже не мог объяснить, что за ужасная судьба обрушилась на нас. И прежде всего, я не мог открыть ему, что я видел: что наш Мастер погиб, что нашего господина поглотил огненный взрыв.

Я погрузился в состояние, близкое к отчаянию. Я позволил себе мысленно восстановить в памяти видение горящего Мариуса, Мариуса, превратившегося в живой факел, кружащегося и извивающегося в огне, его пальцев, тянущихся к небу, как паучки, в оранжевом пламени. Мариус умер... Мариус сгорел... Их было слишком много даже для Мариуса. Я знал, что сказал бы его призрак, приди он ко мне со словами утешения: «Их было слишком много, Амадео, слишком много. Я не смог их остановить, но я пытался».

Я погрузился в мучительные сны. Корабль продвигался сквозь ночь, унося меня далеко от Венеции, от руин всего, во что я верил, всего, что было мне дорого.

Я проснулся от звуков песнопений и запаха земли, но это была не русская земля.

Мы уже не плыли по морю. Мы были на суше. Опутанный сетью, я слушал, как глухие сверхъестественные голоса поют со злодейским энтузиазмом жуткий гимн «Dies Irae» — «День Страшного Суда».

Низкий барабанный бой задавал энергичный ритм, как будто это был не столько ужасный плач в день Страшного Суда, сколько аккомпанемент для танцев. Не смолкали латинские слова о дне, когда весь мир обернется пеплом, когда трубы Иерихона возвестят об открытии могил. Содрогнутся как природа, так и сама смерть. Все души соберутся в одном месте, ни одна их них не сможет больше скрывать что-либо от Бога. Из его книги вслух будет зачитан каждый грех. На каждого падет кара. Кто же защитит нас, если не сам Судия, наш величественный Господь? Наша единственная надежда — милосердие Господа, Господа, страдавшего за нас на кресте. Он не допустит, чтобы его жертва пропала напрасно.

Да, прекрасные древние слова, но они слетали с нечестивых уст, с уст того, кто даже не понимал их смысла, кто радостно бил в барабан, словно готовясь к пиршеству.

Прошла уже целая ночь. Мы находились в заточении, а теперь нас освобождали под звуки жуткого голоса, аккомпанирующего себе на барабане.

Я услышал перешептывания мальчиков постарше, старавшихся успокоить маленьких, и ровный голос Рикардо, уверяющий их всех, что скоро они, несомненно, узнают, что нужно этим существам, и, может быть, их отпустят на свободу.

Один я слышал повсюду шелестящий, дьявольский смех. Только я знал, сколько скрывается вокруг нас сверхъестественных монстров, пока нас выносили к свету чудовищного костра.

С меня сорвали сеть. Я перевернулся, цепляясь за траву. Я поднял голову и увидел, что мы находимся на огромной поляне, а с высоты на нас безразлично взирают звезды. Воздух был летним. Нас окружали громадные, как башни, зеленые деревья. Но все искажали порывы бушующего огня. Мальчики, скованные между собой цепью, в рваной одежде, с поцарапанными, перепачканными кровью лицами, увидев меня, отчаянно закричали, но меня оттащила от них и удерживала, ухватив за обе руки, стая маленьких демонов в капюшонах.

— Я не могу вам помочь! — крикнул я.

Эти эгоистичные, жестокие слова были порождены моей гордыней. Я только посеял среди них панику.

Я увидел Рикардо, избитого не меньше остальных, но тем не менее старавшегося успокоить своих братьев. Его руки были связаны впереди, а камзол практически сорван со спины.

Он бросил на меня взгляд, и мы одновременно принялись рассматривать огромное кольцо окруживших нас черных фигур. Видит ли он, какие у них белые лица и руки? Догадывается ли он, кто они такие?

— Если вы намерены убить нас, давайте быстрее! — выкрикнул он.— Мы ничего не сделали. Мы не знаем, кто вы, не знаем, почему вы нас похитили. Мы невиновны, каждый из нас.

Меня тронула его храбрость, и я постарался собраться с мыслями. Нужно прекратить в ужасе шарахаться от последнего воспоминания о Мастере, нужно представить себе, что он жив, и подумать, что он велел бы мне сделать.

Они, несомненно, превосходили нас численно. На их полускрытых капюшонами лицах я увидел зловещие улыбки.

— Кто здесь главный? — спросил я, повышая голос до нечеловеческой громкости.— Конечно, вы видите, что эти мальчики — простые смертные. Вы должны все обсудить со мной!

Услышав эти слова, длинная цепочка фигур в черных одеяниях отступила, перешептываясь и вполголоса обмениваясь какими-то фразами. Те, кто сгрудился у группы скованных цепями мальчиков, уплотнили свои ряды. И когда остальные, кого я с трудом мог разглядеть, начали подкидывать в костер новые дрова и подливать смолы, стало ясно, что враг готовится к действиям.

Перед учениками, которые за своими слезами и криками, казалось, не осознавали, что все это значит, выросли две пары черных фигур. Я же сразу все понял.

— Нет, вы должны поговорить со мной, поговорить со мной разумно! — заорал я, вырываясь из рук тех, кто меня удерживал. К моему ужасу, они только засмеялись.

Внезапно снова загрохотали барабаны, раз в сто громче, чем раньше, словно нас — и шипящий, потрескивающий костер — окружило целое кольцо барабанщиков. Они подхватили ровный ритм гимна «Dies Irae», и внезапно все собравшиеся в круг фигуры выпрямились и сцепили руки. Они начали распевать ла-

тинские слова о страшном дне скорби и гнева, при этом весело покачиваясь в такт и высоко задирая колени, словно издевательски пародировали некий марш под аккомпанемент сотни голосов, шипящих текст в ритме танца. Получалась отвратительная насмешка над благочестивыми словами.

К барабанам присоединились пронзительный визг труб и монотонные удары в бубен, и внезапно весь круг танцоров, держась за руки, задвигался, тела от пояса раскачивались из стороны в сторону, головы болтались, рты ухмылялись. «Диииии-еееес ииииии-реее, диииии-еееес ииииии-реее!» — пели они.

Меня охватила паника. Но я не мог освободиться. Я закричал. Одна пара фигур в длинных, свободных одеяниях, стоящая перед мальчиками, оторвала от остальных первого из тех, кому предстояла пытка, и подбросила его сопротивляющееся тело высоко в воздух. Вторая пара фигур подхватила его и сильным сверхъестественным толчком швырнула беспомощного ребенка в огромный костер.

С жалобными криками мальчик исчез в пламени. Остальные, только теперь осознав, какая им уготована судьба, обезумели — они плакали, всхлипывали, кричали... Но тщетно...

Одного за другим моих товарищей, моих братьев швыряли в огонь.

Я метался взад-вперед, пиная ногами землю и своих противников. Один раз я едва не вырвался, но меня моментально схватили три пары рук с жесткими и цепкими пальцами... Я всхлипывал:

— Не надо, они невиновны! Не убивайте их! Не надо!!!

Но как бы громко я ни кричал, я все равно слышал предсмертные вопли горящих в огне мальчиков: «Амадео, спаси нас!» В конце концов все, кто еще оставался в живых, подхватили эти слова: «Амадео, спаси нас!» Но от их группы осталось меньше половины, а вскоре не осталось и четверти — их, извивающихся, отбивающихся, подбрасывали в воздух — навстречу немыслимой смерти.

Барабаны не смолкали, как и насмешливое позвякивание бубнов и завывания рожков. Голоса составляли устрашающий хор, каждый слог окрашивался ядом.

— Вот и все твои сторонники! — прошипела ближайшая ко мне фигура.— Значит, ты их оплакиваешь, не так ли? В то вре-

мя как во имя Бога ты должен был сделать каждого из них по очереди своей пищей!

— Во имя Бога! — закричал я.— Да как ты смеешь говорить об имени Бога?! Вы устроили бойню, избиение младенцев! — Мне удалось повернуться и ударить его ногой, ранив его намного сильнее, чем он ожидал, но, как и прежде, его место заняли трое новых стражей.

Наконец в сполохах огня остались только трое бледных как смерть детей, самых младших. Никто из них не произносил не звука. Их молчание производило жуткое впечатление, их мокрые личики дрожали, неверящие глаза потускнели. Их тоже предали огню.

Я выкрикнул их имена. Как можно громче я закричал:

— На небеса, братья, вы отправляетесь на небеса, в объятия Бога!

Но разве могли их смертные уши услышать меня на фоне оглушающей песни хора?

Вдруг я осознал, что Рикардо среди них не было. Рикардо либо бежал, либо его пощадили, либо ему уготовили еще более страшную участь. Я покрепче свел брови, чтобы помочь себе запереть эти мысли в голове, чтобы сверхъестественные звери не вспомнили Рикардо. Но меня выдернули из моих мыслей и потащили к костру.

— Теперь твоя очередь, храбрец, Ганимед богохульников! Твоя, твоя, упрямый, бесстыдный херувим.

— Нет! — Я врос ногами в землю. Это немыслимо. Не может быть, чтобы я так умер; не может быть, чтобы меня сожгли. Я отчаянно доказывал себе: «Но ты же только что видел, как погибли твои братья. Чем ты лучше?» — и все-таки не мог смириться с тем, что такое возможно. Нет, только не я, я же бессмертный, нет!

— Да, твоя! И огонь поджарит тебя так же, как их. Чувствуешь, как пахнет паленой плотью? Чувствуешь, как воняет горящими костями?

Сильные руки подбросили меня высоко в воздух — достаточно высоко, чтобы я мог почувствовать, как ветер развевает мои волосы, а потом взглянуть вниз, в огонь... Его смертоносная волна ударила мне в лицо, в грудь, в вытянутые руки.

Я падал все ниже, ниже, ниже в пекло, раскинув руки и ноги, навстречу оглушительному треску дров и танцующему оранжевому пламени. «Значит, я умираю?!» — думал я, если я вообще способен был о чем-то думать. Скорее всего, я испытывал только панику и заранее отдавался предстоящей мне невыразимой боли.

Меня схватили чьи-то руки, горящие дрова рухнули, и подо мной заревело пламя. Меня вытаскивали из огня. Меня волокли по земле, топтали ногами горящую одежду... С меня сорвали тлеющую тунику. Я хватал ртом воздух. Всем телом я чувствовал боль, жуткую боль обожженной плоти, и я намеренно закатил глаза в надежде на забвение. «Приди за мной, Мастер, приди, если для нас бывает рай, приди за мной»,— мысленно молил я, вызывая в памяти его образ: обгоревший, черный скелет, протягивавший ко мне руки.

Надо мной выросла какая-то фигура. Благодарение Богу, я лежал на сырой земле, и от моих обожженных рук, лица, волос продолжал подниматься дым. Фигура оказалась широкоплечей, высокой, черноволосой.

Он поднял сильные мускулистые белые руки и сбросил с головы капюшон, открыв густую массу блестящих черных волос. У него были большие глаза с жемчужно-белыми белками и угольно-черными зрачками, а над ними, несмотря на густоту, красиво изгибались брови. Он, как и остальные, был вампиром, но обладал выдающейся красотой и замечательной осанкой; он смотрел на меня с таким видом, как будто я интересовал его больше, чем он сам, хотя все взгляды должны были обратиться к нему.

По моей коже пробежала дрожь признательности за то, что, благодаря этим глазам и гладкому, изогнутому, как лук, рту, он производил впечатление существа, обладающего подобием человеческого рассудка.

— Ты будешь служить Богу? — спросил он. Речь его была речью образованного человека, а в глазах отсутствовала насмешка.— Отвечай, будешь ли ты служить Богу, ибо в противном случае тебя бросят обратно в костер.

Всем своим существом я испытывал боль. В голове не осталось ни единой мысли, кроме той, что он произнес невероят-

ные, лишенные смысла слова, на которые у меня не было и не могло быть ответа.

Его злобные помощники моментально подхватили меня снова, смеясь и распевая в такт несмолкающему гимну:

— В огонь, в огонь!

— Нет! — крикнул их вождь.— В нем я вижу искреннюю любовь к нашему Спасителю.— Он поднял руку. Остальные ослабили хватку, но держали меня в воздухе, растянув за руки и ноги.

— Ты хороший? — отчаянно прошептал я.— Как же так? — Я заплакал.

Он подошел ближе. Он склонился надо мной. Какой он обладал красотой! Его полный рот, как я уже сказал, имел прекрасную изогнутую форму, но только сейчас я увидел, что губы сохранили естественный цвет, и даже рассмотрел тень бороды, когда-то покрывавшей нижнюю часть его лица и, несомненно, сбритой в последний день смертной жизни. Эта тень придавала ему мужественное выражение. Его высокий и широкий лоб казался вырезанным из идеально белой кости и резко контрастировал с темными, откинутыми назад кудрями.

Но меня, как всегда, гипнотизировали глаза, да, глаза,— большие, овальные, мерцающие глаза.

— Дитя,— прошептал он.— Как мог бы я вынести такие ужасы, если не во имя Бога?

Я еще громче заплакал.

Я больше не боялся. Мне стало все равно, больно мне или нет. Боль была красно-золотистой, как пламя, и растекалась по мне, как жидкость... Однако при всем при том боли я не испытывал — только апатию и равнодушие.

Я закрыл глаза и отказался от малейшего сопротивления, пока меня куда-то несли,— кажется, это был какой-то туннель, где шаркающие шаги моих мучителей эхом отдавались от низкого потолка и стен.

Меня бросили на землю, и я повернулся к ней лицом. Однако, к моему разочарованию, под своей щекой я ощутил не спасительную влагу благодатной почвы, а какое-то тряпье. Вскоре, однако, и это утратило для меня всякое значение — я прижался лицом к засаленной тряпке и погрузился в полузабытье, как будто меня уложили спать.

Обожженная кожа, часть моего тела, не имела ко мне отношения. Я глубоко вздохнул. Не в силах отчетливо сформулировать собственные мысли, я тем не менее сознавал, что все мои бедные мальчики умерли и теперь в безопасности. Нет, огонь не мог мучить их долго — слишком жарким было пламя, и, конечно же, их души улетели на небеса, как соловьи, занесенные ветром в дымное пекло.

Мои мальчики покинули землю, и теперь никто не причинит им зла. Все добро, что Мариус для них сделал: наставления учителей, полученные навыки, выученные уроки, танцы, смех, песни, нарисованные картины...— ничего этого больше нет, а их души на мягких белых крыльях поднялись на небеса.

Мог ли я последовать за ними? Мог ли Бог принять душу вампира в свой золотистый заоблачный рай? Мог ли я оставить ужасные латинские песнопения демонов ради царства ангельских песен?

Почему те, кто находится со мной рядом, оставили мне эти мысли? Конечно, они читают их. Я чувствовал присутствие вождя, черноволосого, могущественного. Возможно, я остался с ним один. Если он наделяет это каким-то смыслом, если он видит в этом цель и тем самым сдерживает зверства, значит, он, должно быть, святой. Я увидел грязных, голодающих монахов в пещерах.

Я перекатился на спину, блаженствуя во всплесках омывшей меня красно-желтой боли, и открыл глаза.

15

Мягкий, успокаивающий голос обращался ко мне, непосредственно ко мне:

— Все тщеславные работы твоего господина сгорели; от его картин остался один пепел. Да простит его Бог, что он использовал свои величайшие силы не во службу Господу, но во службу Миру, Плоти и дьяволу, да, я говорю — дьяволу, несмотря на то что дьявол — наш знаменосец, ибо Нечистый Дух гордится нами и удовлетворен нашими страданиями; но Мариус служил дьяволу безотносительно к желаниям Бога, к дарованному им милосердию, ибо мы не горим в адском пекле, а царим в земном мраке.

— А,— прошептал я,— я разобрался в твоей перекошенной философии.

Увещеваний не последовало.

Постепенно, хотя я предпочел бы слышать только голос, окружающие предметы начали обретать очертания. В куполообразный потолок над моей головой были вдавлены человеческие черепа, побелевшие, покрытые пылью. Они закреплялись в земле известковым раствором, так что весь потолок состоял из черепов, как из чистых, белых морских раковин. Раковины мозга, подумал я, ведь что остается от них, выпирающих из скрепленной раствором земли, кроме купола, когда-то прикрывавшего мозг, и круглых черных дыр, откуда раньше смотрели желеобразные глаза, бдительные, как танцоры, чтобы неусыпно доложить о чудесах мира заключенному в панцирь разуму.

Сплошные черепа, купол из черепов, а там, где купол переходил в стены — обрамление из берцовых костей по всей окружности, а внизу — разные кости человеческих тел, не образующие определенного узора, как простые камни, подобным образом вдавленные в раствор при постройке стены.

Это помещение состояло из одних костей и освещалось свечами. Да, я уловил запах свечей, чистейший пчелиный воск, как в богатом доме.

— Нет,— задумчиво сказал голос,— скорее как в церкви, ибо ты находишься в церкви Господа, хотя наш Верховный глава — дьявол, святой основатель нашего ордена, так почему бы не пчелиный воск? Предоставляю тебе, тщеславному светскому венецианцу, считать его роскошью, путать его с богатством, в котором ты барахтался, как свинья в помоях.

Я тихо засмеялся.

— Поделись со мной еще своей великодушной и идиотской логикой,— сказал я.— Фома Аквинский от дьявола. Давай, говори.

— Не стоит надо мной насмехаться,— искренне и умоляюще ответил он.— Я же спас тебя от огня.

— Иначе я был бы уже мертв.

— Ты хочешь сгореть?

— Нет, только не так мучиться, нет, я и помыслить не могу, чтобы мне или кому-то еще пришлось так страдать. Но умереть — да, хочу.

— А как ты думаешь, если ты все-таки умрешь, какая участь тебя ожидает? Разве адский огонь не в пятьдесят раз жарче костра, разожженного для тебя и твоих друзей? Ты — дитя ада; ты стал им в тот момент, когда богохульник Мариус влил в тебя нашу кровь. Никто не сможет изменить этот приговор. Твою жизнь хранит проклятая кровь, противоестественная кровь, кровь, приятная сатане, кровь, приятная Богу лишь потому, что ему приходится держать при себе сатану, чтобы проявлять свою доброту и давать человечеству выбор между добром и злом.

Я опять засмеялся, но постарался проявить побольше уважения.

— Вас так много,— сказал я, оглядываясь вокруг. Многочисленные свечи ослепили меня, но не доставили неприятных ощущений. Казалось, на фитилях танцует другое пламя — не то, что поглотило моих братьев.

— Они были твоими братьями, эти избалованные, изнеженные смертные? — спросил он. Его голос не дрогнул.

— А ты сам веришь в тот вздор, который мелешь? — спросил я, передразнивая его тон.

Он рассмеялся в ответ, тихо, как в церкви, как будто мы перешептывались друг с другом о нелепости проповеди. Но здесь не было Святого причастия, как в освященной церкви,— зачем же шептаться?

— Дорогой мой,— сказал он,— как просто было бы устроить тебе пытки, вывернуть наизнанку твои высокомерные мозги, превратить тебя в инструмент для хриплых криков. Как просто было бы замуровать тебя в стену, чтобы твои крики доносились не слишком шумно, а стали бы приятным аккомпанементом для наших ночных медитаций. Но я не питаю вкуса к подобным вещам. Вот почему я так хорошо служу дьяволу; я так и не полюбил зло и жестокость. Я их ненавижу, и, если бы мне было дозволено взглянуть на распятие, я смотрел бы на него со слезами, как смотрел смертным человеком.

Я прикрыл глаза, принося в жертву танцующие огоньки, окроплявшие полумрак. Я украдкой послал навстречу его мыслям сильнейший импульс, но наткнулся на запертую дверь.

— Да, этим образом я преграждаю тебе путь. Болезненно буквальный образ для такого образованного язычника. Но ведь твою преданность Господу нашему Иисусу Христу взрастила су-

хая и наивная среда? Но подожди, сюда несут дары для тебя, они весьма ускорят наше соглашение.

— Соглашение, сударь? О каком соглашении идет речь? — спросил я. Я тоже услышал чье-то приближение. Мне в ноздри ударил крепкий, отвратительный дух. Я не шевелился и не открывал глаз. Я услышал, как пришелец рассмеялся низким грохочущим смехом, так хорошо освоенным теми, кто распевал «Dies Irae» с непристойным лоском. Удушающий запах вызывал в памяти горелую человеческую плоть или что-то в этом роде. Мне было противно. Я начал было отворачиваться, но постарался остановиться. Звуки и боль я мог выдержать, но не этот ужасный, ужасный запах.

— Подарочек для тебя, Амадео,— сказал пришелец.

Я поднял глаза. Я смотрел прямо в лицо вампиру, созданному из молодого человека с пепельно-белыми волосами и длинным худощавым телом скандинава. В обеих руках он держал большую урну. Потом он ее перевернул.

— Нет-нет, прекрати! — Я вскинул руки. Я понял, что это. Но было уже слишком поздно.

На меня посыпался поток пепла. Я задохнулся, крикнул и перевернулся. Я не мог вытрясти пепел из глаз и рта.

— Прах твоих братьев, Амадео,— сказал скандинав. Он разразился безудержным взрывом смеха.

Беспомощно лежа на животе, прижав к лицу руки, я стряхивал с себя горячую кучу пепла. В результате я несколько раз перевернулся, вскочил на колени, потом поднялся. Я попятился к стене. Упала огромная железная подставка для свечей, перед моим затуманенным взглядом заискрились огоньки, сами свечки попадали в грязь. Я услышал, как загремели кости. Я вскинул руки к лицу.

— А где же наша очаровательная сдержанность? — спросил скандинав.— Что это, наш херувимчик плачет? Так называл тебя твой господин — херувимчик, нет? Держи! — Он дернул меня за руку, а второй рукой попытался размазать по мне пепел.

— Проклятый демон! — крикнул я.

Я обезумел от бешенства и негодования. Я схватил его голову обеими руками и изо всех сил повернул, переломав все кости, а потом посильнее пнул его правой ногой. Он со стоном опустился на колени, не умирая, несмотря на сломанную шею, но я поклялся, что не оставлю ему жизнь ни в одном кусочке тела, и с размаху ударив его правой ногой, я сбил с него голову, кожа порвалась и лопнула, из зияющей дыры на туловище хлынула кровь.

— На себя посмотрите, сударь,— уставился я в его отчаянные глаза. Зрачки все еще дергались.— Умри же, умри, ради себя самого.— Я покрепче вцепился пальцами левой руки в его волосы и, повертевшись по сторонам, нащупал правой рукой свечку, сорвал ее с железного гвоздя и по очереди вдавил ее в его глазницы, пока он не лишился обоих глаз.

— Ага, значит, так тоже можно,— сказал я, поднимая голову и сощурив глаза от слепящего света.

Постепенно я различил его фигуру. Его густые вьющиеся черные волосы спутались. Он сидел в углу, и вокруг его табурета развевались черные одежды. Лицо, хотя и было обращено немного вбок, от меня не отворачивалось, и при свете я легко смог определить его очертания. Благородное, прекрасное, в изогнутых губах не меньше силы, чем в огромных глазах.

— Он никогда мне не нравился,— мягко сказал он, поднимая брови,— однако должен сказать, что ты поразил меня. Я не ожидал, что он уйдет так рано.

Я содрогнулся. Меня охватил ужасный холод, бездушная, противная злость, возобладавшая над печалью, возобладавшая над безумием, возобладавшая над надеждой.

Я ненавидел голову в своих руках, мне хотелось ее отбросить, но она еще не умерла. Кровоточащие глазницы вздрагивали, язык метался во рту.

— Какая мерзость! — вскрикнул я.

— Он всегда говорил очень необычные вещи,— сказал черноволосый вампир.— Видишь ли, он был язычником. Ты — никогда. То есть он верил в богов северного леса, верил, что Тор кружит вокруг мира со своим молотом...

— Ты никогда не перестанешь болтать? — спросил я.— Даже сейчас необходимо это сжечь, да?

Он одарил меня очаровательной невинной улыбкой.

— Дурак ты, что сидишь в этом месте,— прошептал я. У меня безудержно тряслись руки. Не дожидаясь ответа, я повер-

нулся и схватил новую свечу, так как прежняя погасла, и поджег волосы мертвеца. От зловония меня затошнило. Я издал звук, напоминающий плач ребенка.

Я уронил пылающую голову на обезглавленное тело. Я бросил в пламя свечу, чтобы подлить в огонь воска. Собрав остальные сбитые мною свечи, я скормил их огню и, когда тело охватил слишком сильный жар, отошел.

Мне показалось, что голова шевелится в огне, поэтому я схватил перевернутый железный канделябр и, используя его как кочергу, растер горящую массу и раздробил все, что удалось.

В самый последний момент его раскинутые руки свернулись, пальцы врезались в ладони. Надо же, жить в таком состоянии, устало подумал я и кочергой подтолкнул руки к туловищу. Костер вонял тряпками и человеческой кровью, выпитой им кровью, вне всякого сомнения, но больше человеческих запахов не ощущалось, и я в отчаянии заметил, что сделал из него костер прямо среди праха моих друзей.

Что же, это показалось мне вполне уместным.

— Хотя бы одному я за вас отомстил,— печально вздохнул я.

Я отбросил примитивную кочергу из канделябра. Так я его и оставил. Места было много. Я удрученно перешел, босиком, так как мои туфли сгорели в огне, на другое широкое свободное место среди железных канделябров, где чернела чистая на вид влажная земля, и там я лег, как раньше, не заботясь, что черноволосому вампиру теперь прекрасно меня видно, поскольку я оказался прямо перед ним.

— Тебе знаком этот северный культ? — спросил он, как будто ничего страшного не произошло.— Тот самый, где Тор вечно ходит кругами со своим молотом, а круг все сужается и сужается, за ним лежит хаос, а мы находимся внутри теплого кольца, обреченные на вырождение. Никогда не слышал? Он был язычником, его создали маги-ренегаты, чтобы он убивал их врагов. Я рад от него избавиться. Но что же ты плачешь?

Я не ответил. Здесь не на что было надеяться, в жуткой комнате под куполом из черепов, где мириады свечей озаряли своим светом исключительно свидетельства смерти, а среди этого кошмара — прекрасное, крепко сложенное черноволосое существо, которое не испытывает никаких чувств по поводу смерти

того, кто служил ему, а теперь превратился в кучку тлеющих вонючих костей.

Я представил себе, что я дома, в безопасности, в спальне Мастера. Мы сидели рядом. Он читал текст по-латыни. Мне было все равно, какие он произносит слова. Повсюду нас окружали блага цивилизации, красивые, приятные вещи, а каждый предмет в комнате создан человеческими руками.

— Суетные мысли,— сказал черноволосый вампир.— Суетные и безрассудные, но тебе еще предстоит в этом убедиться. Ты сильнее, чем я рассчитывал. Но ведь он прожил много веков, твой создатель, никто и не помнит рассказов о временах, когда не было Мариуса, одинокого волка, который никого не допускает на свою территорию. Мариуса, убийцы молодых.

— Насколько я знаю, он убивал только злодеев,— прошептал я.

— А мы разве не злодеи? Каждый из нас злодей. Вот он и убивал нас без сожаления. Он считал, что мы не представляем для него опасности. Он повернулся к нам спиной! Он считал, что мы недостойны его внимания, а потом, смотри-ка, он расщедрился и передал всю свою силу простому мальчику. Но должен сказать, что ты очень красивый мальчик.

Раздался шум, зловещий шорох, довольно знакомый. Запахло крысами.

— О да, мои дети, крысы,— сказал он.— Они ко мне приходят. Хочешь посмотреть? Перевернись и посмотри на меня, если не сложно. Не думай больше о святом Франциске с его птицами, белками и волком. Думай о Сантино с его крысами.

Я действительно посмотрел. Я затаил дыхание. Я сел на землю и уставился на него. На его плече сидела громадная серая крыса, чье крошечное усатое рыльце буквально целовало его ухо, ее хвост свернулся за его головой. К нему на колени забралась еще одна крыса и, как зачарованная, смирно уселась на месте. У ног собрались другие крысы.

Видимо, не желая двигаться, чтобы они не испугались, он осторожно окунул правую руку в чашу с сухими хлебными крошками. Только сейчас я уловил этот запах, смешавшийся с запахом крыс. Он протянул пригоршню крошек крысе, сидящей на плече, и та съела их с благодарностью и со странной деликатно-

стью. Потом он уронил немного хлеба на колени, куда моментально вспрыгнули три крысы.

— Думаешь, мне это нравится? — спросил он.

Он внимательно посмотрел на меня и чуть шире раскрыл глаза, тем самым подчеркивая значение своих слов. Черные волосы окутывали плечи густым спутанным покрывалом, гладкий лоб в сиянии свечей отливал белизной.

— Думаешь, мне нравится жить здесь? — печально задал он следующий вопрос.— Жить под великим городом Римом, в земных недрах, куда в изобилии просачиваются нечистоты гнусной толпы и где ползают черви? Думаешь, я никогда не обладал плотью и кровью или же, претерпев эти изменения во имя Всемогущего Господа и его божественного замысла, утратил стремление к той жизни, которой ты жил со своим жадным господином? Или у меня нет глаз, чтобы увидеть блистательные краски, которые твой господин размазывал по холстам? Или мне не нравятся звуки нечестивой музыки?

Он горько усмехнулся.

— Что из созданного Господом, что из того, ради чего он страдал, противно само по себе? — продолжал он.— Грех сам по себе не отвратителен; эта мысль абсурдна. Никто не может полюбить боль. Мы можем лишь надеяться ее вытерпеть.

— Зачем это нужно? — спросил я. Меня тошнило, но я сдержал рвоту. Я дышал как можно глубже, чтобы все запахи этого жуткого помещения затопили наконец мои легкие и прекратили меня мучить.

Я скрестил ноги и, смахнув с лица пепел, откинулся назад, чтобы рассмотреть его получше.

— Зачем? Твои мысли далеко не новы, но что значит это царство вампиров в черных монашеских рясах?

— Мы — Защитники Истины,— искренне ответил он.

— Господи, а кто же не защитник истины? — горько спросил я.— Смотри, у меня все руки в крови твоего брата во Христе! А ты, странная, напичканная кровью пародия на человека, сидишь и смотришь на это совершенно равнодушно!

— А у тебя острый язык для такого милого личика,— сказал он с прохладным удивлением.— Твои мягкие карие глаза, твои темные, осенние, рыжие волосы свидетельствуют об уступчивости характера. Но ты неглуп.

— Неглуп? Ты сжег моего господина! Ты его уничтожил. Ты сжег его детей! Я твой пленник — разве нет? Зачем? И ты еще смеешь говорить со мной об Иисусе Христе? Ты?! Ты?!! Отвечай, зачем нужна эта трясина грязи и фантазий, вылепленная из глины и священных свечей?

Он засмеялся. В углах его глаз появились морщинки, лицо стало веселым и приятным. Волосы, несмотря на грязь и колтуны, сохранили сверхъестественный блеск. Как бы он блистал, освобожденный от своих кошмарных заблуждений!

— Амадео, мы — Дети Тьмы,— терпеливо объяснил он.— Мы, вампиры, созданы быть бичом рода человеческого, как эпидемия чумы. Мы — часть испытаний и несчастий этого мира; мы пьем кровь, мы убиваем во славу Господа, который хочет испытать человечество.

— Не произноси такие страшные слова.— Я прикрыл уши руками и съежился от страха.

— Но ты же понимаешь, что это правда,— настаивал он, не повышая голоса.— Глядя на меня в моей сутане, рассматривая мою комнату, ты все понимаешь. Я живу, ограничивая себя во всем во имя Господа, как в старину жили монахи, пока они не научились расписывать стены эротическими картинами.

— Ты говоришь как сумасшедший, я не понимаю, зачем тебе это нужно.— Я отказывался вспоминать Печерскую лавру!

— Нужно, потому что здесь я обрел свою цель, я увидел цель Господа, а превыше ее ничего нет. Ты бы предпочел остаться проклятым, одиноким, эгоистом, влачащим бессмысленное существование? Ты бы отвернулся от замысла столь великого, что в нем есть место самому крошечному младенцу? Ты думал, что можно прожить вечность без великолепия этого грандиозного замысла, пытаясь отрицать участие Господа в создании каждой прекрасной вещи, которую ты возжелал и получил в собственность?

Я замолчал, приказывая себе даже не думать о древних русских святых. Он был мудр и потому не настаивал. Напротив, он очень мягко, без дьявольского ритма, запел латинский гимн:

— Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla
Teste David cum Sibylla
Quantus tremor est futuris...

И в этот день, в день Страшного Суда, мы исполним свой долг, мы, его Темные ангелы, заберем в преисподнюю грешные души — согласно его Божественной воле.

Я опять поднял на него взгляд.

— А последняя мольба, чтобы он смилостивился над нами? Разве он страдал не за нас?

Я тихо пропел по-латыни:

— Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae...

Вспомни, милосердный Иисус, Господь наш, что ради меня совершил ты свой путь...

Я поспешил продолжить, с трудом находя в себе мужество окончательно выразить этот кошмар.

— Какой монах из монастыря моего детства не надеялся в один прекрасный день быть с Богом? И что ты мне говоришь? Что мы, Дети Тьмы, служим ему без всякой надежды когда-нибудь оказаться с ним?

Он внезапно расстроился.

— Существует какая-то неизвестная нам тайна,— прошептал он, отводя взгляд, как будто действительно молился.— Как он может не любить сатану, если сатана так хорошо служит ему? Как может он не любить нас? Я не понимаю, но я — то, что я есть, а ты — такой же, как я.— Он взглянул на меня, снова мягко приподняв брови, чтобы подчеркнуть свое удивление.— И мы должны служить ему. Иначе мы пропадем.

Он соскользнул с табурета и опустился рядом со мной, скрестив ноги, а потом, вытянув длинную руку, положил ее мне на плечо.

— Великолепное создание,— сказал я.— Подумать только, Бог породил как тебя, так и мальчиков, которых ты убил сегодня ночью, чьи прекрасные тела ты предал огню...

Он помрачнел.

— Амадео, прими другое имя и останься с нами, живи с нами. Ты нам нужен. Что ты будешь делать один?

— Скажи, зачем ты убил моего господина.

Он отпустил меня и уронил руку на колени, на черную ткань.

— Нам запрещено использовать свои таланты, прельщая смертных. Нам запрещено дурачить их своим мастерством. Нам

запрещено искать утешения в их обществе. Нам запрещено появляться в местах света.

Меня это не удивляло.

— Наши сердца так же чисты, как и у монахов аббатства Клюни,— сказал он.— Мы содержим свои монастыри в строгости и святости, мы охотимся и убиваем, чтобы совершенствовать Сад Господа нашего, Долину Слез.— Он сделал паузу, а потом продолжил, еще больше смягчив голос и добавив в него удивления: — Мы подобны жалящим пчелам, крысам, крадущим зерно; мы подобны Черной смерти, уносящей молодых и старых, прекрасных и уродливых.— Он посмотрел на меня взглядом, молящим о понимании.— Соборы поднимаются из пыли, чтобы человек увидел чудо. И в камне люди вырезают танец скелетов, чтобы напомнить о быстротечности жизни. Мы вооружаемся косами и вступаем в армию скелета в черном, вырезанного на тысяче дверей, на тысяче стен. Мы — последователи Смерти, чей жестокий лик запечатлен в миллионах крошечных молитвенников, лежащих в руках как богачей, так и бедняков.

У него были огромные мечтательные глаза. Он посмотрел по сторонам на мрачную келью с куполообразным потолком, под которым мы сидели. В его черных зрачках отражались свечи. На секунду веки его опустились, потом глаза открылись вновь — яркие, прояснившиеся.

— Твой господин это понимал,— с сожалением констатировал он.— Действительно понимал. Но он был родом из языческих времен, он был ожесточен и сердит, он неизменно отказывался признавать Божию благодать. В тебе он увидел Божию благодать, потому что твоя душа чиста. Ты молод и чувствителен, ты открываешься навстречу ночному свету, как лунный цветок. Сейчас ты нас ненавидишь, но со временем ты все поймешь.

— Не знаю, пойму ли я еще что-нибудь,— возразил я.— Я равнодушен, я уничтожен, я не имею понятия о чувствах, о желаниях, даже о ненависти. Я должен бы тебя ненавидеть, но это не так. Я пуст. Я хочу умереть.

— Но ты умрешь только по воле Божией, Амадео,— сказал он.— Не по собственной воле.— Он устремил на меня пристальный взгляд, и я понял, что больше не могу скрывать от него свое воспоминание о киевских монахах, медленно изнуряющих себя голодом, но утверждающих, что им необходимо подкреплять себя пищей, ибо Бог определит, когда им умереть.

Я пытался скрыть эти образы, я рисовал в воображении и тщательно маскировал маленькие картинки. Я ни о чем не думал. У меня на языке вертелось только одно слово: ужас. А в голове была лишь одна мысль: что до сих пор я был глупцом.

Откуда-то появилась женщина-вампир. Она вошла через деревянную дверь и аккуратно, как примерная монахиня, прикрыла ее за собой, чтобы не поднимать ненужного шума. Потом подошла к Сантино и встала за его спиной.

Ее густые седые волосы были, как и у него, грязными и спутанными и тоже падали на плечи тяжелым и плотным покрывалом. Одета она была в какие-то древние лохмотья. Пояс на бедрах, какой носили женщины ушедших эпох, украшал узкое платье, подчеркивавшее тонкую талию и изящные изгибы тела,— такие изысканные платья можно увидеть на каменных фигурах, выбитых на богатых саркофагах. Огромные глаза, казалось, вбирали в себя в полумраке каждую частицу света, полные губы отчетливо выделялись на серовато-серебристом фоне пыли, покрывавшей ее лицо и делавшей более явственной изящную линию скул и подбородка. Шея и грудь оставались практически обнаженными.

— Он останется с нами? — Приятный, спокойный голос проник мне в самую душу.— Я молилась за него. Я слышала, как он плачет, но только глубоко внутри, не произнося ни звука.

Я отвел взгляд, заставляя себя испытывать к ней отвращение — к своему врагу, убийце тех, кого я любил.

— Да,— ответил темноволосый Сантино.— Он останется с нами, из него может получиться неплохой лидер. У него много силы. Видишь, он убил Альфредо! О, что за чудесное зрелище — столько ярости, столько детской злобы в лице.

Она мельком глянула на останки вампира — впрочем, я и сам не знал, что от него осталось. Я в ту сторону не поворачивался.

Ее лицо смягчилось, выражая глубокую, горькую печаль. При жизни она, должно быть, была прекрасна; прекрасна она была бы и сейчас — такую красоту не мог скрыть даже слой пыли.

Она мгновенно стрельнула в меня укоризненным взглядом, но быстро смягчилась.

— Суетные мысли, дитя,— сказала она.— Я живу не ради зеркал, как твой господин. Чтобы служить моему Господину, мне не нужны ни шелка, ни бархат. Ах, Сантино, он еще совсем младенец.— Она говорила обо мне.— В былые века я могла бы сложить стихи, восхваляя эту красоту, пришедшую к нам от Бога, чтобы осветить запачканные сажей щели, лилия в темноте, сын феи, подложенный лунным светом в колыбель молочницы, чтобы поработить наш мир своим девичьим взглядом и тихим мужским голосом.

Ее лесть взбесила меня, но даже мысль о том, что в этом аду я могу вдруг лишиться возможности слышать этот полный очарования голос, показалась мне невыносимой. Мне было все равно, что она скажет. Одного только взгляда на ее белое лицо с голубоватыми, похожими на прожилки в мраморе венами было достаточно, чтобы понять: для моей мести она слишком стара. «И все же убей ее, да, сорви с тела голову, да, проткни ее свечами, да, да...» — стиснув зубы, думал я. А он? Как мне расправиться с ним? Ведь он, судя по оливковому оттенку кожи, отнюдь не так стар, и вполовину не так стар. Однако эти порывы увяли, как сорняки, вырванные из моих мыслей северным ветром, ледяным ветром моей умирающей воли.

Да, оба они были красивы.

— Тебе не придется отказаться от всей красоты,— доброжелательно заговорила она. Наверное, невзирая на все усилия их скрыть, она все же прочла мои мысли.— Но ты увидишь другую красоту, суровую и многообразную,— когда будешь лишать людей жизни. По мере того как ты станешь выпивать их досуха, ускоряя переход бедных душ к благодати или к вечным мукам, чудесный материальный узор постепенно превратится в раскаленную паутину, а их предсмертные мысли окутают тебя траурной вуалью, затуманят твой взор. Да, это красота. Ты увидишь красоту звезд — они всегда будут приносить тебе успокоение. И земли, да, самой земли,— в ней ты найдешь тысячу оттенков темноты. Такой будет твоя красота. Ты всего лишь отказываешься от хрупких красок человечества и оскорбительного великолепия богатства и тщеславия.

— Я ни от чего не отказываюсь,— возразил я.

Она улыбнулась, и ее лицо озарилось неотразимым теплым светом, в отблесках дрожащего пламени свечей сияли длинные, густые, вьющиеся белые волосы.

Она взглянула на Сантино.

— Как хорошо он понимает, о чем мы говорим. Но при этом ведет себя как непослушный ребенок, высмеивающий в своем невежестве все подряд.

— Он понимает, понимает,— ответил Сантино с неожиданной горечью.

Он кормил крыс. Бросив взгляд сначала на нее, потом на меня, он, казалось, погрузился в раздумья, тихо бормоча себе под нос старинное григорианское песнопение.

В темноте я слышал остальных. Вдалеке продолжали бить в барабаны, но это уже было совершенно невыносимо. Я посмотрел на потолок, на черепа с провалами ртов, пустыми глазницами слепо взиравшие на нас с безграничным терпением.

Я посмотрел на них — на сидящего Сантино, отягощенного заботами или погруженного в мысли, и на ее похожий на статую силуэт в рваных лохмотьях, возвышающийся за его спиной, на ее разделенные на пробор седые волосы, на пыль, покрывавшую ее лицо.

— Те, Кого Следует Оберегать, дитя,— кто они? — внезапно спросила она.

Сантино устало махнул правой рукой.

— Алессандра, этого он не знает. Не сомневайся. Мариус был слишком умен, чтобы ему рассказать. И что с ней стало, со старой легендой, за которой мы гоняется столько лет, что потеряли им счет? Те, Кого Следует Оберегать... Если они таковы, что их нужно оберегать, то их больше нет, поскольку их хранителя — Мариуса — больше нет, и оберегать их некому.

Меня затрясло от ужаса,— я боялся, что из глаз моих вот-вот польются безудержные слезы и что они станут этому свидетелями. Нет, слишком чудовищно... Мариуса больше нет...

— На то Божья воля,— поспешно, словно испугавшись за меня, продолжил Сантино.— Бог пожелал, чтобы все здания рассыпались, чтобы все тексты были расхищены или сгорели, чтобы все свидетельства очевидцев таинства были уничтожены. Подумай, Алессандра. Подумай. Все написанное рукой Матвея, Марка, Луки, Иоанна, Павла погребено под спудом времен. Где хоть один свиток с подписью Аристотеля? А Платон? Остался ли нам хоть один клочок, брошенный им в огонь,— хоть одно свидетельство его лихорадочных трудов?..

— Что нам до этого, Сантино? — с упреком спросила она, однако при этом по-матерински гладя его по волосам.

— Я хотел сказать, что таковы устои Господа,— ответил Сантино,— устои его мироздания. Время смывает даже письмена в камне, под огнем и пеплом ревущих гор исчезают целые города. Иными словами, земля вбирает в себя все, а теперь она поглотила и его, легендарного Мариуса, который был намного старше всех тех, чьи имена нам известны. А с ним ушли и его драгоценные тайны. Да будет так!

Я молча сжал руки, чтобы они не дрожали.

— Жил я в одном городе,— вполголоса продолжал он, держа на руках жирную черную крысу и гладя ее, как самую пушистую кошку, а та, поблескивая крошечным глазом и свесив вниз длинный изогнутый хвост, напоминавший косу, даже не шелохнулась.— Прелестный был город, с высокими прочными стенами. Каждый год там бывала такая ярмарка, что словами не описать: все купцы выставляли на ней свои товары, со всех деревень, ближних и дальних, собирался стар и млад — покупали, продавали, танцевали, пировали... Замечательное место! Но все забрала чума. Чума пришла, не заметив ни ворот, ни стен, ни башен, прошла незамеченной мимо стражников властелина, мимо отца в поле, мимо матери в огороде. Всех забрала чума, всех, за исключением самых неисправимых грешников. Меня замуровали в собственном доме вместе с раздувшимися трупами моих братьев и сестер. И я вновь обрел свободу только благодаря вампиру, который случайно забрел туда в поисках пропитания и не нашел иной крови, кроме моей. А сколько их было!

— Разве мы не отрекаемся от нашей смертной истории во имя Господа? — спросила Алессандра с величайшей осторожностью. Ее рука продолжала гладить волосы Сантино, откинув их с его лба.

Охваченный воспоминаниями, он устремил на меня невидящий взгляд широко раскрытых глаз.

— Тех стен уже нет. На их месте сейчас деревья, дикая трава и груды камней. И в далеких замках можно встретить камни из бастионов крепости нашего властелина, из наших лучших мостовых, из зданий, составлявших некогда предмет нашей гордости. Так уж устроен этот мир — все уничтожается, и пасть времени не менее кровожадна, чем любая другая.

Повисла тишина. Я не мог остановить дрожь, сотрясавшую меня с ног до головы. С губ сорвался стон. Я посмотрел по сторонам и опустил голову, крепко сжимая руками горло, чтобы не закричать.

Через некоторое время я все же заставил себя выпрямиться и заговорить, правда шепотом:

— Я вам служить не буду! Я вашу игру насквозь вижу. Мне знакомы ваши писания, ваше благочестие, ваша страсть к самоотречению! Вы, как пауки, ткете темную, запутанную паутину, вот и все, а кроме кровавого племени, вы ничего не знаете, вы умеете только плести свои скучные силки, вы такие же жалкие, как птицы, вьющие гнезда в грязи на мраморных подоконниках. Ну и плетите свою ложь. Я вам служить не буду!

С какой любовью они на меня посмотрели.

— Ах, бедное дитя,— вздохнула Алессандра.— Твои страдания только начинаются. Так зачем страдать во имя гордыни — не во имя Бога?

— Я вас проклинаю!

Сантино щелкнул пальцами. Почти незаметно. Но из темноты, из дверей, спрятанных в земляных стенах и распахнувшихся подобно немым ртам, явились его слуги, в широких одеяниях и капюшонах, как раньше. Они схватили меня, крепко вцепившись в руки и ноги, но я не сопротивлялся.

Они потащили меня в темницу с железными решетками и земляными стенами. Но когда я попытался прорыть себе выход, мои скрюченные пальцы наткнулись на окованный железом камень, и дальше копать было бесполезно.

Я лег на землю и разрыдался. Я оплакивал своего Мастера. Мне было все равно — пусть меня слышат, пусть надо мной смеются. Я знал только, как велика моя потеря, и потеря эта была сравнима только с моей любовью, а только узнав глубину своей любви, можно как-то почувствовать ее величие. Я все плакал и плакал. Я ворочался и ползал по земле. Я цеплялся за нее, царапал ее, а потом лежал без движения, и только немые слезы текли по моим щекам.

Алессандра стояла за дверью, положив руки на прутья решетки.

— Бедное дитя,— прошептала она.— Я буду с тобой, я всегда буду с тобой. Только позови.

— Ну почему? Почему? — выкрикнул я, и каменные стены отозвались эхом.— Отвечай!

— В самых глубинах ада,— сказала она,— разве демоны не любят друг друга?

Прошел час. Ночь подходила к концу.

Я страдал от жажды.

Я буквально сгорал от жажды. И она это знала. Я свернулся на полу, наклонил голову и сел на корточки. Я умру прежде, чем смогу еще раз выпить кровь. Но больше я ничего не видел, больше я ни о чем не мог думать, больше я ничего не хотел. Кровь...

После первой ночи я решил, что умру от жажды.

На исходе второй я думал, что погибну от собственных воплей.

Когда подходила к концу третья ночь, я мог только мечтать о крови, отчаянно плача и слизывая с пальцев красные слезы.

Через шесть таких ночей, когда жажда стала совершенно невыносимой, мне привели отбивающуюся жертву.

Я почуял кровь из конца длинного черного коридора. Я услышал запах прежде, чем увидел свет факела.

К моей темнице волокли крепкого, дурно пахнущего молодого мужчину. Он брыкался, сыпал проклятиями, рычал и брызгал слюной, как безумный, вопя при одном только взгляде на факел, которым его запугивали, подталкивая вперед. Я с огромным трудом поднялся на ноги и тут же навалился на него, буквально рухнул на его сочную горячую плоть. Я разорвал его горло, одновременно смеясь и плача, вполыхах давясь и захлебываясь кровью.

Он с ревом упал под моей тяжестью. Кровь, пузырясь, стекала по моим губам и истончившимся, костлявым, как у скелета, пальцам. Я пил, пил, пил, пока не почувствовал, что насытился. И этот элементарный процесс удовлетворения голода — жадное, ненавистное, эгоистичное поглощение благословенной крови затмило всю боль и все отчаяние.

Меня оставили одного, позволив вволю насладиться собственной прожорливостью, бездумным, непристойным пиршеством. Потом, отвалившись от жертвы, я почувствовал, что стал яснее видеть в темноте. Стены снова заискрились капельками руды, как звездный небосвод. Я оглянулся и увидел, что столь жестоко убитой мною жертвой был Рикардо, мой любимый Ри-

кардо, мой блистательный и мягкосердечный Рикардо,— голый, грязный, откормленный пленник, специально для этого содержавшийся в вонючей земляной тюрьме.

Я закричал.

А потом бросился на решетку и стал биться о нее головой. Мои белолицые стражи подбежали к ней с другой стороны и в страхе попятились к противоположной стене темного коридора. Я в слезах упал на колени.

Я обхватил руками мертвое тело.

— Рикардо, пей! — Я прокусил себе язык и выплюнул кровь на его обращенное кверху, давно не мытое лицо, поблескивавшее жиром лицо.— Рикардо!!!

Но он был мертв, пуст, а они ушли, оставив его гнить в моей тюрьме, рядом со мной.

Я пел «Dies irae, dies illa» и смеялся. Три ночи спустя, выкрикивая проклятия, я оторвал от зловонного трупа Рикардо руки и ноги, чтобы выбросить тело из камеры. С ним рядом невозможно было находиться! Я вновь и вновь швырял на решетку вздувшееся туловище, а потом, всхлипывая, упал на землю, так как не мог заставить себя разорвать его на части. Я заполз в самый дальний угол, чтобы убраться от него подальше.

Пришла Алессандра.

— Дитя, что мне сказать, чтобы тебя утешить? — Бестелесный шепот в темноте.

Но рядом появилась другая фигура — Сантино. Повернувшись к ним, в каком-то случайно просочившемся туда свете, различить который могут только глаза вампира, я увидел, как он поднес палец к губам и покачал головой, мягко укоряя ее.

— Он должен остаться один,— сказал Сантино.

— Кровь! — заорал я и, вытянув вперед руки, бросился к решетке. Они перепугались и поспешили прочь.

Так прошло еще семь ночей, и к концу последней из них, когда я дошел до такого состояния, что меня не воодушевлял даже запах крови, они положили жертву — маленького мальчика, уличного ребенка, со слезами молящего о милосердии,— прямо мне на руки.

— О, не бойся, не бойся,— прошептал я, быстро впиваясь зубами в его шею.— М-м-м-м, доверься мне,— шептал я, смакуя кровь, выпивая ее медленно, стараясь не засмеяться от вос-

торга, и на его личико капали мои кровавые слезы облегчения.— Пусть тебе приснится сон, сон про что-нибудь красивое и доброе. Сейчас за тобой придут святые. Видишь их?

Потом, насытившись, я лег на спину и начал выискивать на грязном потолке бесконечно малые звезды из твердого яркого камня или кремнистого железа, врезавшегося в землю. Я повернул голову в сторону, чтобы не смотреть на труп бедного ребенка, который аккуратно, словно подготовив его к савану, уложил у стены за спиной.

В своей темнице я увидел фигуру, точнее, маленький полупрозрачный силуэт. Кто-то стоял в тени и смотрел прямо на меня. Еще один ребенок? Я в ужасе поднялся. Призрачное видение не издавало запаха. Я повернулся и пристально посмотрел на труп. Он лежал в прежнем положении. И все-таки у дальней стены стоял тот же самый мальчик, маленький, бледный, потерянный.

— Как это может быть? — прошептал я.

Но жалкое существо не могло ответить. Оно было одето в такую же белую рубашку, что и труп, и задумчиво смотрело на меня большими бесцветными глазами.

Откуда-то издалека до меня донесся звук. Шарканье шагов в длинных катакомбах, ведущих к моей темнице. Не вампирские шаги. Я подтянулся и чуть-чуть пошевелил ноздрями, пытаясь уловить запах. Сырой, затхлый воздух не изменился. Единственным запахом в моей темнице оставался аромат смерти, бедного сломленного тельца.

Я напряг глаза, глядя на цепкий маленький дух.

— Что ты здесь ждешь? — отчаянно прошептал я.— Почему я тебя вижу?

Он шевельнул губами, как будто намереваясь заговорить, но лишь едва заметно качнул головой, красноречивым жалобным жестом выражая свое замешательство.

Шаги приближались. Я еще раз попробовал уловить запах. Но его не было, не было даже пыльной вони вампирских одежд — только приближающийся шаркающий звук. Наконец к решетке подошла высокая, похожая на тень фигура изможденной женщины.

Я знал, что она мертвая. Знал. Я знал, что она мертва, как и маячивший у стены малыш.

— Поговори со мной, пожалуйста, ну пожалуйста, умоляю тебя, заклинаю тебя, поговори! — выкрикнул я.

Но призраки не могли отвести глаз друг от друга. Быстро, почти бегом, мальчик бросился к женщине и поспешил укрыться в ее объятиях, а она, забрав свое чадо, начала таять, несмотря на то что ее ноги продолжали царапать жесткий земляной пол, производя тот самый сухой звук, который возвестил о ее появлении.

— Посмотри на меня! — тихо умолял ее я.— Хоть одним глазком!

Она остановилась. От видения почти ничего не осталось. Но я все же заметил, что она повернула голову, и из ее глаз на меня полился тусклый свет. Потом она беззвучно исчезла, полностью растворилась в воздухе.

В полном отчаянии я лег на спину, машинально протянул руку и потрогал детский труп, еще чуть теплый.

Призраки являлись мне не каждый раз.

Я не стремился в совершенстве освоить умение их вызывать.

Эти духи, периодически собиравшиеся на сцене, где я совершал свои кровавые убийства, не были моими друзьями — скорее, они стали моим новым наказанием, проклятием. Они приходили в минуты моих самых жестоких душевных страданий, когда их кровь во мне была еще теплой, и в их лицах я не мог прочесть даже слабого намека, позволявшего надеяться на избавление. Их не озарял яркий луч светлых чаяний. Может быть, способность их видеть развилась во мне благодаря голоданию?

Я никому о них не рассказывал. В той гнусной темнице, в проклятом месте, где неделю за неделей ломалась моя душа, лишенная даже возможности обрести покой и утешительное забвение в закрытом гробу, я боялся их и постепенно их возненавидел.

Только много позже я узнал, что большинство других вампиров их не видят. Было ли это милосердие? Я не знал. Но я забегаю вперед.

Давай же вернемся к тому невыносимому времени, к тем испытаниям. В таком плачевном состоянии я провел около двадцати недель. Я больше не верил, что существует яркий, фантастический мир Венеции. Я знал, что мой Мастер умер. Я это понял. Все, что я любил, погибло.

Я тоже умер. Иногда мне снилось, что я дома, в Киеве, в Печерской лавре, что я стал святым. В такие моменты мое пробуждение было мучительным.

Когда ко мне пришли Сантино и седовласая Алессандра, они, как всегда, вели себя ласково. Увидев меня в таком состоянии, Сантино прослезился.

— Пойдем ко мне,— позвал он,— идем же. Ты начнешь заниматься со мной всерьез, идем. Даже такие жалкие создания, как мы, не должны так страдать. Идем со мной.

Я доверился его рукам, я открыл губы ему навстречу, я наклонил голову, чтобы прижаться лицом к его груди, и, слушая, как бьется его сердце, я сделал глубокий вдох, словно до этого момента мне отказывали даже в воздухе.

Алессандра очень нежно прикоснулась ко мне своими прохладными мягкими руками.

— Бедный маленький сирота,— сказала она.— Заблудшее дитя, какой же длинный путь ты прошел, чтобы найти нас.

Удивительно, но все, что они со мной сделали, показалось мне нашей общей бедой, общей и неизбежной катастрофой.

Келья Сантино.

Я лежал на полу, меня обнимала Алессандра, она покачивала меня и гладила по голове.

— Я хочу, чтобы сегодня ночью ты пошел с нами охотиться,— сказал Сантино.— Ты пойдешь с нами, со мной и Алессандрой. Мы не позволим другим тебя мучить. Ты голоден. Ты же очень голоден, правда?

Так началось мое пребывание среди Детей Тьмы. Ночь за ночью я молча охотился со своими новыми спутниками, со своими новыми возлюбленными, со своим новым господином и со своей новой госпожой, а когда я был готов серьезно заняться новыми уроками, Сантино, мой наставник, которому изредка помогала Алессандра, сделал меня своим учеником, оказав мне таким образом великую честь, о чем мне не замедлили сообщить, улучив момент, остальные члены собрания.

Я узнал то, о чем в свое время написал Лестат после моих откровений,— Великие Законы.

Первый. По всему миру мы составляем общества, у каждого общества есть свой предводитель, своего рода настоятель монастыря, и мне предстоит стать таким предводителем. В мои руки будут отданы бразды правления. Я, и только я, буду определять, когда следует создать нового вампира; я, и только я, буду следить, чтобы превращение производилось надлежащим образом.

Второй. Темный Дар, ибо у нас это так называется, запрещается передавать тем, кто не обладает физической красотой, ибо порабощение Темной Кровью красивых людей более приятно справедливому Богу.

Третий. Нельзя допускать, чтобы создателем нового вампира становился кто-либо из древних, ибо со временем наши силы возрастают, и кровь старейших вампиров слишком могущественна для молодых. Свидетельство тому — моя собственная трагедия, ибо меня создал последний из известных нам Детей Тысячелетий, великий и ужасный Мариус. Я обладаю силой демона и телом ребенка.

Четвертый. Ни один из нас не смеет уничтожить себе подобного, за исключением предводителя общества, который должен быть готов в любой момент решить судьбу непокорного подданного. Всех странствующих вампиров, не принадлежащих ни к какому обществу, предводитель обязан уничтожать без промедления.

Пятый. Ни один вампир не имеет права открыть тайну своей истинной сущности или волшебную силу в присутствии смертного и остаться в живых. Ни один вампир не имеет права делать какие-либо записи, способные выдать эту тайну. Смертный мир не должен знать ни одного вампирского имени, и все свидетельства нашего существования, попадающие в царство смертных, должны уничтожаться любой ценой, как и те, кто допустил столь ужасное нарушение Божией воли.

Это еще не все. Мне предстояло изучить множество ритуалов, песнопений и усвоить целый ряд традиций.

— Мы не входим в церкви, ибо в этом случае Господь поразит нас молнией,— объявлял Сантино.— Мы не смотрим на распятие, и присутствия такового на шее смертного достаточно для того, чтобы оставить его в живых. Мы отводим глаза от изображений Святой Девы и ни в коем случае к ним не прикасаемся, в какой бы форме они нам ни встретились. Мы трепещем перед ликами святых.

Но тех, кто пренебрегает защитой Господа, мы разим Божественным огнем. Мы питаемся, где и когда нам угодно, жестоко, как невинными, так и теми, кто благословлен красотой и богатством. Но мы не похваляемся перед миром своими деяниями, не похваляемся и друг перед другом.

Великие замки и залы закрыты для нас, ибо мы ни при каких обстоятельствах не смеем вмешиваться в судьбу, уготованную Господом нашим для тех, кто создан по его образу и подобию, иначе, чем вмешиваются в нее паразиты, или пылающий огонь, или Черная смерть. Мы — проклятие Тьмы. Мы вечны.

А завершив во имя Господа свои труды, мы сходимся вместе, избегая удобств, богатства и роскоши, в подземельях, благословенных нами для сна, и лишь при свете огня и свечей мы собираемся, чтобы читать молитвы, петь песни и танцевать, да, танцевать вокруг костра, тем самым укрепляя волю, тем самым разделяя свою силу с нашими братьями и сестрами.

Шесть долгих месяцев прошло за изучением этих уроков. В это время я совершал вместе с остальными вылазки в римские переулки, где охотился и объедался теми, от кого отвернулась судьба, с легкостью отдав их в мои руки.

Я не искал больше в их мыслях преступления, оправдывающего мою хищную трапезу. Я больше не тренировался в утонченном искусстве убивать, не причиняя жертве боли, я больше не стремился избавить несчастных смертных от жуткого вида моего лица, моих безжалостных рук и острых клыков.

Однажды ночью я проснулся и обнаружил, что меня окружили мои братья. Седовласая женщина помогла мне подняться из свинцового гроба и сообщила, что я должен пойти за ними.

Мы поднялись на землю, к звездам. Там горел высокий костер, как в ночь гибели моих смертных братьев.

Прохладный воздух благоухал весенними цветами. Я слышал, как поют соловьи. Издалека доносились шепоты и вздохи огромного, кишащего людьми Рима. Я обратил взгляд к городу. Я увидел семь холмов, покрытых неяркими дрожащими огоньками. Наверху я увидел подкрашенные золотом тучи, нависшие над

рассеянными по холмам прекрасными маячками, словно небесная тьма готовилась вот-вот разродиться младенцем.

Я увидел, что вокруг костра образовался плотный круг. Дети Тьмы стояли в два, а кое-где и в три ряда. Сантино, облаченный в новую дорогую мантию из черного бархата,— ужасное нарушение наших строгих правил богослужения — вышел вперед и расцеловал меня в обе щеки.

— Мы отсылаем тебя далеко, на север Европы,— сказал он,— в город Париж, где глава собрания ушел в огонь, как это рано или поздно случается со всеми нами. Его дети ожидают тебя. Они наслышаны о тебе, о твоей доброте, о твоем благочестии, о твоей красоте. Ты станешь их предводителем, их святым.

Мои братья по очереди подошли поцеловать меня. Мои сестры — их было меньше — тоже запечатлели на моих щеках поцелуи.

Я молча стоял и слушал песни птиц в соседних соснах, то и дело буравя взглядом снижающиеся небеса, и думал, пойдет ли дождь, ароматный дождь, такой чистый и ясный,— единственная дозволенная мне очищающая вода, сладкий римский дождь, ласковый и теплый.

— Принимаешь ли ты торжественный обет возглавлять общество согласно Законам Тьмы, согласно воле сатаны и воле его Творца и Господа?

— Принимаю.

— Клянешься ли ты подчиняться любым приказам, поступившим из римского общества?

— Клянусь.

Слова, слова, слова...

В огонь подбросили дров. Торжественно и мрачно зазвучали барабаны.

Я заплакал.

Я почувствовал нежное прикосновение рук Алессандры, мягкую массу ее седых волос на моей шее.

— Я пойду с тобой на север, дитя мое,— сказала она.

Меня переполняла благодарность. Я обхватил ее обеими руками, почувствовал, как ко мне прижалось ее холодное жесткое тело, и затрясся от рыданий.

— Да, мой дорогой, мой маленький,— говорила она.— Я останусь с тобой. Я стара, я останусь с тобой, пока не придет мой срок предстать перед судом Господа, как подобает каждому из нас.

— Так возрадуемся и исполним танец! — воскликнул Сантино.— Сатана и Христос, братья в доме Господа, вверяем вам эту очистившуюся душу! — Он воздел руки.

Алессандра отошла от меня, ее глаза блестели от слез. Я не испытывал в тот момент ничего, кроме благодарности за то, что она будет со мной, что мне не придется совершать одному это жуткое, ужасное путешествие. Со мной, Алессандра, со мной. О раб сатаны и создавшего его Бога!

Она встала рядом с Сантино, такая же высокая, величественная, и тоже подняла руки, качая головой из стороны в сторону.

— Да начнется танец! — крикнула она.

Загремели барабаны, взвыли трубы, зазвенели бубны.

Стоявшие плотным кольцом вампиры испустили долгий глухой крик и, взявшись за руки, пустились в пляс.

Меня затянули в цепочку, образовавшуюся вокруг бушующего пламени. Меня бросало справа налево в такт вертящимся рядом фигурам, потом я вырвался и, кружась, подпрыгнул высоко в воздух.

При каждом прыжке ветер ласково касался моей шеи, а приземляясь, я с предельной точностью ловил с обеих сторон от себя руки и вновь принимался раскачиваться и кружиться вместе со всеми.

Безмолвные тучи над головой сгущались, скручивались, плыли по темнеющему небу. Начался дождь, его тихий шелест заглушали крики обезумевших танцоров, треск костра и грохот барабанов.

Но я его услышал. Я повернулся, прыгнул повыше и добрался до него, до серебристого дождя, хлынувшего на меня, как благословение темных небес, как крещение святой водой проклятых.

Музыка нарастала. Все поглотил варварский ритм, организованная цепочка танцоров была забыта. Под дождем, в свете неиссякаемых сполохов гигантского огня вампиры раскидывали руки, выли, извивались, топали, согнув спины, грохотали подошвами по земле, открывали рты, вращали бедрами, вертелись

и прыгали... Наконец они хриплыми гортанными голосами затянули громогласный гимн:

— Dies irae, dies illa...

О да, да, день гнева, день огня!

Потом, когда дождь полил темной, ровной стеной, когда от костра остались только черные головешки, когда все давно уже отправились на охоту и на мрачной поляне после шабаша остались кружиться всего несколько фигур, в мучительном исступлении продолжавшие распевать молитвы, я тихо лежал, уткнувшись лицом в землю, и небесные воды смывали с меня грязь...

Мне казалось, что рядом стоят монахи из древнего киевского монастыря. Они посмеивались надо мной, но по-доброму. Они говорили:

— Андрей, с чего ты взял, что сможешь сбежать? Разве ты не знал, что тебя призвал Бог?

— Уходите от меня, вас здесь нет, а меня вообще нет; я заблудился в темных пустынях бесконечной зимы.

Я старался представить себе его, его святой лик. Но рядом была только Алессандра — она пришла помочь мне подняться на ноги. Алессандра, пообещавшая рассказать мне о тяжелых и мрачных временах, задолго до создания Сантино, когда ей передали Темный Дар в лесах Франции, куда мы отправимся вместе.

— О Господи, Господи, услышь мои молитвы,— прошептал я. Если бы я только мог увидеть его святой лик!

Но такие вещи нам запрещались. Ни при каких обстоятельствах не смели мы смотреть на его изображения! До конца света нам суждено трудиться без этого утешения. Ад есть отсутствие Бога.

Что мне теперь сказать в свое оправдание? Что мне сказать?

Эта повесть уже рассказана другими — повесть о том, как я на протяжении целых веков оставался непоколебимым в своих убеждениях предводителем парижского общества, как жил все эти годы в невежестве и мраке, подчиняясь древним законам, пока не осталось ни Сантино, ни римского общества, как я, оборванец, в тихом отчаянии цеплялся за старую веру и старые обычаи, пока другие уходили в огонь или же просто разбредались по свету.

Что мне сказать в оправдание того новообращенного и святого, каким я стал?

Триста лет я оставался бродячим ангелом, убийцей с детским лицом, одним из Детей Сатаны, его заместителем, его рабом. Алессандра всегда была рядом со мной. Когда другие погибали или отрекались, Алессандра поддерживала во мне веру. Но это был мой грех, мое путешествие, мое страшное безрассудство, и мне одному предстоит нести это бремя, пока я жив.

В то последнее утро в Риме, перед уходом на север, было решено, что мне необходимо сменить имя.

Амадео, имя, содержащее в себе самом слово, обозначающее Бога, меньше всего подходило для Сына Тьмы, особенно для того, кому предстояло возглавить парижское общество.

Из всех предложенных вариантов Алессандра выбрала имя Арман. Так я стал Арманом.

Часть II
МОСТ ВЗДОХОВ

16

отказываюсь обсуждать прошлое. Оно мне не нравится. Оно меня не волнует. Зачем я стану рассказывать о том, что меня не интересует? Только потому, что это может заинтересовать тебя?

Дело в том, что о моем прошлом уже слишком много писали. Но что, если ты не читал эти книги? Что, если ты не утопал в цветистых речах Вампира Лестата, так живо описавшего меня со всеми присущими мне заблуждениями и якобы совершенными мною ошибками?

Хорошо, хорошо. Еще немного, но только для того, чтобы перенестись наконец в Нью-Йорк, вернуться к тому моменту, когда я увидел Плат Вероники. Только ради того, чтобы тебе не пришлось обращаться к книгам Лестата, чтобы моей книги тебе хватило. Ладно. Продолжим, пересечем этот Мост Вздохов. Три сотни лет я оставался верен древним обычаям Сантино, даже после исчезновения самого Сантино. Причем вампир этот совсем не умер. Он объявился в современном мире, вполне здоровый, сильный, молчаливый, и отнюдь не собирался оправдываться по поводу тех убеждений и символов веры, которые он силой вбил мне в голову и затолкал мне в горло, прежде чем отправить меня на север, в Париж.

В те времена я был совершенно не в своем уме. Я действительно руководил обществом и достиг совершенства в устройстве и организации всех ритуалов, причудливых темных молебнов и кровавых крещений. С каждым годом моя физическая сила росла, как бывает у всех вампиров. Жадно выпивая кровь своих жертв — о другом удовольствии я и мечтать не мог,— я вскармливал и укреплял свои вампирские способности.

Убивая, я научился окутывать своих жертв чарами, и хотя выбирал для себя самых красивых, самых одаренных, самых дерзких и блистательных, я тем не менее мысленно передавал им фантастические видения, чтобы притупить их страх и страдания. Я был как помешанный. Отрекшись от мест света, от утешительного посещения самой маленькой церкви, неуклонно следуя Темным Обычаям, я запыленным духом бродил по мрачнейшим переулкам Парижа. Затыкая уши благочестием и фанатизмом, я превращал в глухой звон самую замечательную поэзию и музыку. Слепец, я не видел величия соборов и дворцов.

Всю мою любовь поглотило общество, а все мое время — болтовня о том, как нам лучше всего исполнять обязанности Детей Сатаны или стоит ли предложить дерзкой и прекрасной отравительнице пополнить наши ряды.

Но иногда я переходил от приемлемого безумия к состоянию, опасность которого знал только я. В земляной келье в потайных катакомбах под огромным парижским кладбищем Невинных, где мы устроили свое логово, мне ночь за ночью приходила в голову одна-единственная странная, бессмысленная мысль: что стало с маленьким прекрасным сокровищем, подаренным мне моей смертной матерью? Что стало с тем старинным памятным сувениром с Подола, который она взяла из красного угла нашего дома и вложила мне в руки,— с крашеным яйцом малинового цвета, с искусно нарисованной звездой? Где оно сейчас? Ведь я оставил его, плотно завернутое в мех, в золотом гробу, который служил мне убежищем. Неужели все это было на самом деле — та жизнь, которую я смутно вспоминал? Неужели мне не приснилась жизнь в городе с блестящими белокаменными дворцами и сверкающими каналами, с необъятным и прекрасным морем, полным быстрых изящных судов, легко скользивших по серой воде, в то время как гребцы усердно взма-

хивали в унисон длинными веслами? Нет, так не бывает! Подумать только! Золотая комната, золотой гроб, а в нем — ни на что не похожее сокровище, хрупкая, прелестная вещица: крашеное яйцо — законченное творение, под расписанной узорами скорлупой которого скрывался таинственный концентрат живых жидкостей... Что за странные фантазии! Но что с ним случилось? Кто его нашел?

Кто-то нашел...

А если нет, значит, оно до сих пор там, спрятано глубоко под палаццо в водонепроницаемом подземелье, вырытом в глубине сочащегося влагой земляного пласта под водами лагуны. Нет, никогда. Только не там! Не думай об этом. Не думай, что оно попало в руки нечестивца. А ведь ты знаешь, ты, лживая предательская душонка, что так и не нашел в себе мужества вернуться в тот город с невысокими домами и залитыми ледяной водой улицами, где твой отец, несомненно существо мифическое, испил из твоих рук вино и простил тебя за то, что ты ушел и превратился в черную птицу с сильными крыльями, птицу ночи, воспарившую даже выше владимирских куполов,— словно кто-то разбил яйцо, то тщательно, изумительно разрисованное яйцо, которым так дорожила твоя мать, передавая его тебе, злобно разбил его, раздавил большим пальцем, и из прогнившей зловонной жидкости родился ты, ночная птица, перелетевшая через коптящие трубы Подола, через владимирские купола, поднимаясь все выше, удаляясь от диких степей, от всего мира, пока не залетела в темный лес, в густой, черный, безграничный лес, из которого никогда не выбраться, в холодное, унылое дикое царство голодного волка, чавкающей крысы, ползучего червя и кричащей жертвы.

Ко мне приходила Алессандра.

— Проснись, Арман. Проснись. Тебе снятся грустные сны, сны, предшествующие безумию, ты не оставишь меня, дитя мое, не оставишь, я боюсь смерти еще больше, чем этого, но я не останусь одна, ты не уйдешь в огонь, ты не уйдешь, не оставишь меня здесь.

Нет. Не уйду. На такой шаг у меня не хватило бы мужества. Я ни на что не надеялся, пусть даже на протяжении десятилетий от римского общества не поступало никаких вестей.

Но моим долгим векам служения сатане пришел конец.

О его приближении возвестило появление юноши, облаченного в красный бархат, так любимый моим прежним господином, королем из сна,— Мариусом. Этот молодой наглец с важным видом прохаживался по освещенным улицам Парижа, словно его создал сам Бог.

Но его, как и меня, создал вампир. Это было истинное дитя восемнадцатого столетия, по подсчетом тех времен,— нахальный, неуклюжий, веселый и дразнящий кровопийца, рядящийся в красивые одежды и выдающий себя за смертного молодого человека. Он пришел, чтобы окончательно растоптать тот священный огонь, что все еще тлел в разъеденной шрамами ткани моей души, и развеять по ветру пепел.

Это был Вампир Лестат. Он не виноват. Если бы кто-то из нас смог сразить его, разрубить на части его же разукрашенным мечом и поджечь, нам, возможно, досталось бы еще несколько десятилетий жалких заблуждений.

Но это никому не удалось. Для нас он, проклятый, оказался слишком силен. Созданный могущественным древним ренегатом, легендарным вампиром по имени Магнус, этот Лестат, двадцати смертных лет от роду, странствующий деревенский аристократ без гроша за душой, приехавший в Париж из диких земель Оверни, отказавшийся от принятых обычаев, респектабельности и надежд на статус придворного, которых у него в любом случае не было, поскольку он даже не умел читать и писать и к тому же обладал слишком гордым и непокорным нравом, чтобы прислуживать какому-то королю или королеве, ставший необузданной золотоволосой знаменитостью низкопробных бульварных спектаклей, любимый как мужчинами, так и женщинами, веселый, безалаберный, до слепоты амбициозный, самовлюбленный гений, этот Лестат, этот голубоглазый и бесконечно самоуверенный Лестат остался сиротой в ночь своего создания по воле древнего монстра, превратившего его в вампира, вверившего ему состояние, спрятанное в тайнике рассыпающейся на куски средневековой башни и ушедшего во всепоглощающее пламя, чтобы обрести вечное утешение и покой.

Этот Лестат, даже и не подозревавший о существовании древних обществ и древних обычаев, о вымазанных сажей разбойниках, обитавших под кладбищами и считавших, что имеют право заклеймить его как еретика, бродягу и незаконного

обладателя Темной Крови, прохаживался по самым модным уголкам Парижа, одинокий, терзаемый своими сверхъестественными дарованиями, но одновременно упивавшийся своей новой силой, танцевал в Тюильри с шикарно одетыми женщинами, наслаждался красотой балета и великолепными представлениями в королевских театрах и не только слонялся по местам света, как мы их называли, но и скорбно блуждал по самому собору Парижской Богоматери, прямо перед главным алтарем... А Бог так и не поразил его молнией. Лестат нас уничтожил. Он уничтожил меня. После того как я, исполненный сознания долга, захватил его и приволок на наш подземный суд, Алессандра, которая, как и большинство старейших, к тому моменту уже лишилась рассудка, вступила с ним в веселую перепалку, а потом ушла в огонь, оставив меня наедине с очевидным абсурдом: нашим древним обычаям пришел конец, наши суеверия смехотворны, наши пыльные черные одеяния нелепы, наши самобичевания и самоотречения бессмысленны, наша вера в то, что мы служим Богу и дьяволу, не более чем наивный и глупый самообман. А наша община в городе веселых атеистов, каким был Париж в Век Разума, выглядит столь же нелепо, как выглядела бы несколько веков назад в глазах моего возлюбленного венецианца Мариуса.

Лестат был разрушителем, насмешливым пиратом, не признававшим никаких кумиров и авторитетов. И вскоре он покинул Европу, чтобы найти себе безопасную и удобную территорию в Новом Свете, в колонии Нового Орлеана.

Он не мог предложить мне в утешение никакой философии, и я, лишенный веры монах с детским лицом, вышел из самой черной темницы, чтобы облачиться в модную одежду современной эпохи и пройтись по широким улицам Парижа, как за три столетия до того по набережным Венеции.

А мои последователи, те немногие, кого я не смог одолеть и с горечью предать огню, беспомощно, ощупью двигались по пути к новообретенной свободе — свободе вытаскивать золото из карманов своих жертв, рядясь в их шелка и напудренные парики, свободе в восторженном изумлении наслаждаться чудесами яркой сцены, блистательной гармонией сотни скрипок, проделками актеров и рифмоплетов.

Какая участь ожидала нас, вслепую пробиравшихся ранними вечерами сквозь толпу на бульваре, несмело входящих в изысканные особняки и пышные бальные залы?

Мы убивали в обитых атласом будуарах и на парчовых подушках позолоченных карет. Мы купили себе красивые гробы с причудливой резьбой, а на ночь запирались в отделанных золотом и красным деревом подвалах.

Что стало бы с нами, разобщенными, когда мои дети боялись меня, а я точно не знал, в какой момент щегольство и сумасбродство французского освещенного города заставят их совершить опрометчивую или пагубную выходку с чудовищными последствиями?

Именно Лестат дал мне ключ, Лестат дал мне место, где я смог найти приют для своего обезумевшего и бешено бьющегося сердца, где я смог собрать вместе своих последователей и создать хоть какую-то видимость разумного существования в новых условиях.

Перед тем как выбросить меня на мель среди останков моих Великих Законов, он передал мне тот самый бульварный театр, где сам когда-то был молодым пастушком комедии дель арте. Все смертные актеры уехали. Осталась только элегантная, нарядная скорлупа: сцена с веселыми декорациями и позолоченной аркой, бархатный занавес и пустые скамьи, дожидающиеся шумной публики. Там мы и обрели свое самое безопасное укрытие, готовые с энтузиазмом спрятаться под маской грима, идеально прикрывающего нашу сияющую белую кожу, и выдавать за актерский талант присущую нам фантастическую грацию и гибкость.

Мы стали актерами, профессиональной труппой бессмертных, которые сошлись вместе, чтобы поставить бодрые декадентские пантомимы для смертной публики, так и не заподозрившей, что мы, белолицые лицедеи, намного страшнее любого из чудовищ, фигурировавших в наших фарсах или трагедиях. Так родился Театр вампиров.

И я — никчемная шелуха, выдающая себя за человека и имеющая на то меньше прав, чем когда бы то ни было прежде,— стал его руководителем.

Это было самое меньшее, что я мог сделать для своих осиротевших приверженцев старой веры, счастливых, купающихся в

безвкусной роскоши, которая царила в безбожном мире накануне Великой революции.

Почему я так долго правил этим театром, служившим для нас щитом, почему я год за годом оставался с этим своеобразным собранием, я не знаю, знаю только то, что я нуждался в нем, нуждался не меньше, чем в Мариусе и в нашем венецианском доме или же в Алессандре и в общине, обитавшей под склепами кладбища Невинных. Я нуждался в убежище, куда мог направиться перед рассветом, где, как я знал, надежно укрывались другие представители моего рода. И могу точно сказать, что мои последователи-вампиры нуждались во мне. Им необходимо было верить в мое руководство, и когда доходило до самого худшего, я не подводил их. Я умело обуздывал легкомысленных бессмертных, которые периодически начинали подвергать нас опасности, публично демонстрируя сверхъестественную силу или крайнюю жестокость, а также с математическим талантом ученого-идиота улаживал все деловые и финансовые вопросы.

Налоги, билеты, афиши, отопление, рожки для освещения, переговоры с капризными драматургами — всем этим занимался я.

И иногда меня охватывала невероятная гордость. С каждым сезоном мы богатели и расширялись, разрасталась и наша аудитория; примитивные скамейки в зрительном зале сменились бархатными креслами, а грошовые пантомимы — талантливыми и поэтичными спектаклями.

Из вечера в вечер я занимал свое место в отдельной ложе, скрытой за бархатными портьерами,— элегантный господин в узких, по моде, брюках, в соответствующем жилете из набивного шелка и в элегантного покроя ярком шерстяном пиджаке, с зачесанными назад и стянутыми черной лентой волосами — и думал о потерянных веках, впустую потраченных на соблюдение протухших ритуалов, как думают подчас о долгой мучительной болезни, прошедшей в темной комнате среди горьких микстур, бессмысленных песнопений и кошмарных снов. Не может быть, чтобы это происходило на самом деле: зачумленные оборванцы, нищие хищники, воспевавшие сатану в ледяном полумраке!..

И все прожитые мной жизни, все увиденные мной миры казались мне еще менее реальными.

Что скрывалось за моими дорогими нарядами, за моими спокойными, непроницаемыми глазами? Кем я стал? Неужели во мне не осталось ни одного воспоминания о более теплом огоньке, чем тот, что освещал серебристым светом мою смутную улыбку, обращенную к тем, кто ее от меня ждал? Я не помнил, чтобы в моем теле кто-то жил и дышал. Распятие с нарисованной кровью, приторная Дева Мария на странице молитвенника или запечатленная в пастельных цветов фарфоре — они ни о чем мне не говорили, разве только служили вульгарным напоминанием о грубом, немыслимом времени, когда отвергнутые ныне силы таились в золотой чаше или сверкали вселяющим страх огнем в лице над пылающим алтарем.

Я об это ничего не знал. Кресты, сорванные с девственных шей, переплавлялись на мои золотые кольца. А четки отбрасывались в сторону, пока воровские пальцы, мои пальцы, обрывали бриллиантовые пуговицы жертвы.

За восемь десятилетий существования Театра вампиров — мы выдержали испытание Революцией, потрясающе быстро восстановив силы, поскольку публика шумно требовала наших фривольных и мрачных представлений — я развил в себе и надолго после гибели театра, до конца двадцатого столетия, сохранил скрытный характер, предоставляя своей молодой внешности вводить в заблуждение моих противников, потенциальных врагов (я практически не принимал их всерьез) и моих рабов-вампиров.

Хуже руководителя не бывает: равнодушный, холодный вождь, вселяющий страх в каждое сердце, но не задающийся трудом полюбить хоть кого-нибудь. Так я и содержал Театр вампиров, как мы называли его в семидесятых годах девятнадцатого века, когда туда забрел сын Лестата, Луи, в поисках ответов на вечные вопросы, оставленные без таковых его нахальным, дерзким создателем: «Откуда произошли мы, вампиры? Кто создал нас и с какой целью?»

Да, но прежде, чем я начну подробнее распространяться о прибытии знаменитого, неотразимого вампира Луи и его маленькой обворожительной возлюбленной, девочки-вампира Клодии, я хотел бы рассказать об одном незначительном происшествии, случившемся со мной в том же девятнадцатом веке, но несколько раньше.

Может быть, это ничего не значит, или же я выдам тайну чьего-то уединенного существования. Не знаю. Я упоминаю об этой истории только потому, что она причудливым образом, однако почти наверняка имеет отношение к тому, кто сыграл весьма немаловажную роль в моей повести.

Не могу определить год этого эпизода. Скажу лишь, что Париж благоговел перед очаровательными, мечтательными пьесами для пианино Шопена, что романы Жорж Санд были последним криком моды, что женщины уже отказались от изящных, навевающих сладострастные мысли нарядов имперской эпохи в пользу широких платьев из тафты, с тяжелыми юбками и осиными талиями, в которых они часто изображались на блестящих старых дагерротипах.

Театр, выражаясь современным жаргоном, гудел, и я, управляющий, устав от его представлений, бродил в одиночестве по лесистой местности как раз за границей Парижа, неподалеку от ярко освещенного деревенского дома, из которого доносились веселые голоса.

Там я наткнулся на другого вампира — женщину. Я немедленно определил это по бесшумным движениям, по отсутствию запаха и почти божественной грации, с которой она пробиралась сквозь дикий кустарник, легко придерживая маленькими бледными руками развевающиеся полы длинного плаща и пышные юбки. Целью ее были ярко освещенные, манящие окна.

Она почувствовала мое присутствие почти так же быстро, как и я; учитывая мой возраст и мою силу, это был тревожный знак. Она застыла на месте, не поворачивая головы. Хотя злобные вампиры-актеры и сохранили за собой право расправы с бродягами или нарушителями границ в царстве живых мертвецов, мне, их главе, прожившему столько лет жизнью обманутого святого, на подобные вещи было наплевать.

Я не желал вреда этому существу и бездумно, мягким небрежным голосом бросил ему предупреждение по-французски.

— Грабишь чужую территорию, дорогая. Вся дичь здесь уже заказана. К рассвету будь в более безопасном городе.

Этого не услышало бы ни одно человеческое ухо.

Она не ответила, но, должно быть, наклонила голову, так как на ее плечи упал капюшон из тафты. Потом, повернувшись, она

показалась мне в длинных вспышках золотого света, падавшего из створчатых стеклянных окон за ее спиной.

Я узнал ее. Я узнал это до боли знакомое лицо. И на ужасную секунду, на роковую секунду я почувствовал, что она, наверное, меня не узнала — с моими-то еженощно подстригаемыми волосами, в темных брюках и тусклом пиджаке, в тот трагический момент, когда я изображал из себя мужчину, коренным образом изменившись со времен пышно разодетого мальчика, которого она помнила. Нет, она не могла меня узнать!

Почему же я не крикнул? Бьянка!

Но это было непостижимо, невероятно, я не мог пробудить свое унылое сердце, чтобы с торжеством подтвердить правду, открывшуюся моим глазам: это изящное овальное лицо, совсем как в прежние дни обрамленное золотистыми волосами, несомненно, принадлежало ей. Это была она, она — та, чье лицо запечатлелось в моей перевозбужденной душе, прежде чем я получил Темный Дар, та, которую я вспоминал еще долгие годы после этого.

Бьянка...

Она исчезла! На долю секунды я увидел ее расширившиеся настороженные глаза, полные вампирской тревоги, более острой и угрожающей, чем та, что способна мелькнуть в глазах человека. А потом фигура пропала, растворилась в лесу, ушла с окраин, ушла из раскинувшихся повсюду больших садов, которые я по инерции обыскивал, качая головой и бормоча: «Нет, не может быть, нет, конечно нет. Нет...»

Больше я ее не видел.

Я до сих пор не знаю, действительно ли это была Бьянка. Но сейчас, диктуя этот рассказ, в душе, исцелившейся и не чуждой надежды, я верю, что это была Бьянка! Я до мельчайших подробностей вспоминаю ее лицо, обернутое ко мне в зарослях сада, и на память мне приходит последняя подробность, последнее доказательство: в ту ночь в окрестностях Парижа в ее светлые волосы были вплетены жемчужины. О, как же Бьянка любила жемчуг! И в свете окон деревенского дома я увидел под тенью капюшона сияющие в золоте волос нити жемчуга... Да, это все-таки была она, флорентийская красавица, которую я так и не смог забыть,— такая же утонченная в вампирской белизне, как и в те времена, когда в лице ее играли краски Фра Филиппо Липпи.

Тогда меня это не задело. Не потрясло. Я слишком поблек духовно, слишком отупел, слишком привык рассматривать каждое событие как эпизод из не связанных друг с другом снов. Скорее всего, я не позволил себе в это поверить.

Только теперь я молю Бога, чтобы это была она, моя Бьянка, и чтобы кто-то, и ты прекрасно догадываешься, о ком я говорю, рассказал мне, была ли это моя милая куртизанка.

Может быть, один из членов исполненного ненависти, кровожадного римского общества, преследуя ее по ночной Венеции, пал жертвой ее чар, отрекся от Законов Тьмы и навеки сделал ее своей возлюбленной? Или же мой господин, как мы знаем, переживший страшный огонь, разыскал ее, дабы подкрепиться ее кровью, и увлек в бессмертие, чтобы она способствовала его исцелению?

Я не могу заставить себя задать Мариусу этот вопрос. Может быть, ты его задашь. Вполне вероятно, что я предпочитаю надеяться, что это была она, чем услышать опровержение, лишающее меня надежды.

Я не мог тебе об этом не рассказать. Не мог. Теперь давай вернемся в Париж конца девятнадцатого века, на несколько десятилетий вперед, к тому моменту, когда Луи, молодой вампир из Нового Света, вошел в мою дверь в поисках, как ни прискорбно, ответов на ужасные вопросы...

Какая трагедия для Луи, что ему случилось задать эти вопросы мне! Какая трагедия для меня!

Кто с большей холодностью, чем я, глумился над самой идеей искупления для созданий ночи, которые, будучи в прошлом людьми, никогда не смогут освободиться от греха братоубийства, поглощения человеческой крови? Я познал ослепительный, искусный гуманизм Ренессанса, мрачный рецидив аскетизма римского общества и холодную циничность романтической эры.

Что я мог сказать Луи, вампиру с благородным лицом, слишком человечному порождению более сильного и дерзкого Лестата? Разве только что в мире Луи сможет найти достаточно красоты, чтобы поддержать свои силы, что, коль скоро он сделал выбор и решил продолжать жить, не оглядываясь на образы Бога или дьявола, способные принести только искусственный или

краткосрочный покой, мужество для этого он должен найти в собственной душе.

Я так и не поведал Луи свою горькую историю, однако я доверил ему ужасную, болезненную тайну: в 1870 году, прожив среди живых мертвецов более четырехсот лет, я не знал ни одного вампира старше себя.

Само это признание вызвало во мне гнетущее чувство одиночества, и, глядя на измученное лицо Луи, преследуя его тонкую, элегантную фигуру, пробиравшуюся по суматошным улицам Парижа девятнадцатого века, я понимал, что этот темноволосый господин в черном, такой стройный, так изящно вылепленный, такой чувственный в каждой своей черте, являет собой пленительное воплощение моего собственного несчастья.

Он оплакивал потерю прелести одной человеческой жизни. Я оплакивал потерю прелести целых столетий. Поддавшись стилю сформировавшей его эпохи, одевшей его в шикарный черный сюртук, изящный жилет из белого шелка, высокий, как у священника, воротничок и жабо из безупречного льна, я безнадежно влюбился в него, и, оставив Театр вампиров в руинах (он сжег его дотла и имел на то веские основания), я продолжал скитаться с ним по миру практически до наступления современной эпохи.

В результате время уничтожило нашу любовь друг к другу. Время разрушило нашу спокойную близость. Время поглотило все беседы и наслаждения, которым мы с удовольствием предавались.

В наше разрушение неотвратимо вмешивался еще один ужасный, незабываемый ингредиент. Нет, я не хочу говорить об этом, но кто из вас позволит мне хранить молчание по поводу Клодии, девочки-вампира, в уничтожении которой все постоянно меня обвиняют?

Клодия. Кто из вас, для кого я диктую эту повесть, кто из современной аудитории, читающей эти книги как занимательную художественную литературу, не хранит в памяти животрепещущий образ златокудрого ребенка, однажды, злополучной, безрассудной ночью превращенного в Новом Орлеане Лестатом и Луи в вампира, девочки, чей разум и душа как у бессмертной женщины выросли до необъятных размеров, в то время

как тело ее осталось телом дорогой, безупречно раскрашенной фарфоровой французской куколки?

Так вот, ее убило мое общество, состоявшее из безумных, демонических актеров и актрис, поскольку, когда она оказалась в Театре вампиров вместе с Луи, ее скорбным, охваченным чувством вины защитником и возлюбленным, слишком многим стало ясно, что она покушалась на убийство своего создателя, Вампира Лестата. За такое преступление полагалась смертная казнь, но она уже и без того стояла в очереди смертников с той минуты, как о ней стало известно парижскому собранию,— как существо, созданное в нарушение одного из Великих Законов, бессмертный ребенок, слишком маленький, слишком хрупкий, несмотря на все свое обаяние и коварство, нацеленное на выживание в одиночку. Да, бедное создание, богохульное и прекрасное. Ее тихий голос, исходящий из миниатюрных, напрашивающихся на поцелуй губ, будет преследовать меня вечно.

Но я не был ее палачом. Она умерла такой страшной смертью, какой никто и не представлял себе, и сейчас у меня не хватит сил рассказывать ту историю. Скажу только, что перед тем, как ее вытолкнули в кирпичную вентиляционную шахту ожидать смертного приговора бога Феба, я попытался исполнить ее самое заветное желание: получить тело женщины, подходящую оболочку для размаха ее души.

Что же, занявшись грубой алхимией, срезая головы с тел и с запинками трансплантируя их, я потерпел неудачу. Однажды ночью, если я буду пьян от крови нескольких жертв и в большей мере, чем сейчас, буду склонен к исповеди, я расскажу о своих неумелых зловещих операциях, произведенных со своеволием чародея и с по-детски грубыми ошибками, и опишу во всех мрачных подробностях извивающееся, дергающееся чудовище, поднявшееся из-под моего скальпеля и хирургической иглы с нитью.

Пока же я скажу, что к моменту, когда ее заперли встречать утро и свою жестокую смерть, она снова стала самой собой, но только изувеченным, залатанным подобием прежнего ангелочка. Небесный огонь уничтожил ужасные, неизлечимые свидетельства моей сатанисткой хирургии, превратив ее в памятник из пепла. В камере пыток моей импровизированной лаборатории не осталось никаких улик, свидетельствующих о том, как

она провела свои последние часы. Никому не нужно бы знать о том, что я сейчас рассказываю.

Она преследовала меня много лет. Я не мог выбросить из головы неясный образ ее девичьей головки с ниспадающими кудрями, неловко прилаженной с помощью толстой черной нити к бьющемуся в конвульсиях, спотыкающемуся и падающему телу женщины-вампира, чью голову я выбросил в огонь за ненадобностью.

Какое это было жуткое зрелище — женщина-чудище с головой ребенка, не способная говорить, кружащаяся в неистовом танце... Кровь, пузырящаяся на содрогающихся губах, закатившиеся глаза, болтающиеся, словно сломанные крылья, руки...

Я поклялся навсегда скрыть правду не только от Луи де Пон-Дю-Лака, но и от всех, кто будет задавать вопросы. Пусть лучше думают, что я приговорил ее к смерти, не попытавшись устроить ей побег как от вампиров из театра, так и от ее злосчастной маленькой, соблазнительной, плоскогрудой оболочки с шелковой кожей.

После провала моего страшного опыта она не годилась для освобождения; она напоминала преступницу, отданную на расправу палачу, способную лишь горько и мечтательно улыбаться, пока ее, несчастную, измученную, ведут к последнему кошмару — на костер. Она была безнадежным пациентом в пропахшей антисептиками палате современной больницы, высвободившимся наконец из рук молодых, чрезмерно рьяных врачей, оставивших призрак на белой подушке в покое. Хватит! Я не хочу это воскрешать. И не буду.

Я никогда ее не любил.

Я не умел.

Я выполнял свой план с леденящей душу отрешенностью и с дьявольским прагматизмом. Осужденная на смерть, тем самым лишенная права считаться полноправным членом нашего сообщества, она стала идеальным материалом для претворения в жизнь моей прихоти. В этом-то и состоял весь ужас, тайный ужас, затмивший всякую веру, к которой я мог бы обратиться в разгар моих экспериментов. Так что тайна осталась со мной, с Арманом, свидетелем веков невыразимой, утонченной жестокости. Эта история не подходила для нежных ушей охваченного отчаянием Луи, который никогда бы не вынес описания ее

деградации или страданий, который в душе так и не смог пережить ее страшную смерть.

Что касается остальных — моих глупых и циничных подданных, похотливо прислушивавшихся к крикам, доносившимся из-за моих дверей, и, возможно, догадавшихся о истинной сущности моего неудачного колдовства,— то эти вампиры погибли от руки Луи.

Весь театр поплатился за его горе и ярость — и, наверное, по справедливости.

Не мне судить.

Я не любил тех циничных французских лицедеев-декадентов. Те, кого я любил, те, кого я мог бы полюбить, находились, за исключением Луи де Пон-Дю-Лака, вне пределов досягаемости.

Я получу Луи — таков был мой вердикт. Больше мне никто не был нужен. Поэтому я не стал вмешиваться, когда Луи испепелил общество и печально известный театр, рискуя собственной жизнью, напав на него с огнем и косой, в час рассвета.

Почему же он согласился пойти со мной?

Почему он не сторонился того, кого винил в смерти Клодии? «Ты был их предводителем, ты мог их остановить!» — это его слова, брошенные с упреком в мой адрес.

Почему мы столько лет скитались вместе, скользя как элегантные фантомы в саване из бархата и кружев, пока не добрались до ослепительных огней и электронного шума современной эпохи?

Он остался со мной, потому что у него не было выбора. Только так он мог продолжать жить, а для смерти у него никогда не хватало мужества — и никогда не хватит.

Поэтому он терпел потерю Клодии, как я терпел века подземелий и годы мишурных бульварных спектаклей. Но со временем он все-таки научился быть один.

Луи, мой спутник с иссохшей волей, напоминавший прекрасную розу, мастерски засушенную в песке, чтобы она сохранила не только свои пропорции, но и запах, и даже цвет. Сколько бы крови он ни пил, сам он становился сухим, бессердечным, чужим для самого себя и для меня.

Прекрасно понимая ограниченность моего извращенного духа, он забыл обо мне задолго до того, как мы расстались, но я успел кое-чему у него научиться.

Некоторое время, испытывая по отношению к миру благоговение и замешательство, я тоже жил один... Наверное, впервые я остался по-настоящему один.

Но сколько каждый из нас может прожить без общества? Со мной в самый черный час всегда была ревностная сторонница древних законов Алессандра — или, по крайней мере, болтовня тех, кто считал меня маленьким святым.

Почему же сейчас, в последнее десятилетие двадцатого века, мы ищем общества друг друга хотя бы для того, чтобы обменяться несколькими словами или изъявлениями участия? Почему мы собрались здесь, в старом, пыльном монастыре, где столько пустых комнат с кирпичными стенами, чтобы оплакивать Вампира Лестата? Почему старейшие из нас пришли сюда, дабы своими глазами взглянуть на свидетельство его недавнего устрашающего поражения?

Мы не выносим одиночества. Мы не можем его пережить. Даже древние монахи, люди, отказавшиеся от всего остального во имя Христа, установившие для себя жесткие правила жизни в уединенных кельях или принявшие обет нерушимого молчания, тем не менее собирались в братства, чтобы быть рядом друг с другом. Они не переносили одиночества.

Мы остаемся слишком похожими на людей; мы все-таки слеплены по образу и подобию Творца. А что мы можем сказать о нем с уверенностью? Только то, что, кем бы он ни был — Христом, Яхве, Аллахом,— он создал нас, потому что даже он в своем бесконечном совершенстве не смог выносить одиночество.

Со временем у меня, естественно, родилась новая любовь, любовь к смертному мальчику Дэниелу, которому Луи излил свою историю, опубликованную под абсурдным названием «Интервью с вампиром», которого я впоследствии сделал вампиром по тем же причинам, что и Мариус сделал вампиром меня: этот мальчик, мой верный смертный спутник, лишь временами превращавшийся в невыносимого зануду, должен был умереть.

В самом по себе перерождении Дэниела никакой тайны нет. Одиночество неизбежно заставляет нас совершать подобные поступки. Но я твердо верил, что наши создания всегда будут презирать нас за это. Не могу утверждать, будто я никогда не

презирал Мариуса за то, что он создал меня, за то, что он не вернулся, дабы сообщить, что сумел пережить ужасный огонь, разожженный римским обществом. Я предпочел искать Луи, а не создавать новых вампиров. И создание Дэниела наконец-то убедило меня в справедливости прежних опасений.

Дэниел, пусть он жив и странствует, пусть он вежлив и мягок, выносит мое общество не больше, чем я его. Вооруженный моей могущественной кровью, он может справиться с любым, у кого хватит глупости нарушить его планы на вечер, на месяц, на год, но не может постоянно находиться в моем обществе — впрочем, как и я в его.

Я превратил Дэниела из мрачного романтика в настоящего убийцу; я вселил в клетки его нормальной крови тот ужас, который, как он воображал, он прекрасно воспринимает во мне. Я ткнул его лицом в плоть первой юной невинной жертвы, которую ему пришлось разорвать, чтобы утолить неизбежную жажду, и тем самым рухнул с пьедестала, куда он возвел меня в своем ненормальном, богатом, неистово поэтичном и буйном смертном воображении.

Но потеряв Дэниела, а точнее, обретя в нем сына, я обрел остальных. Иными словами, я потерял его как смертного любовника и постепенно начал с ним расставаться.

Я обрел остальных, потому что по причинам, которые я не могу объяснить ни себе, ни другим, я образовал новое общество, занявшее место парижского общества и Театра вампиров, и на сей раз укрытием ему послужило шикарное современное строение, где нашли убежище самые древние, самые образованные, самые выносливые представители нашего рода. Оно напоминало пчелиные соты, но соты эти состояли из роскошных покоев, скрытых в глубине этого самого умело замаскированного из зданий — современного курортного отеля и торгового центра, больше похожего на дворец, выстроенного на острове у побережья Майами в штате Флорида, на острове, где никогда не гасят огни, где никогда не смолкает музыка, на острове, куда тысячами стекаются с материка на маленьких катерах мужчины и женщины, чтобы просмотреть содержимое дорогих бутиков или же заняться любовью в богатых, декадентских, великолепных и неизменно модных гостиничных апартаментах и номерах попроще.

Остров Ночи был моим творением: собственная площадка для вертолетов, бухта, тайные незаконные казино, спортивные залы с зеркальными стенами и бассейны с подогревом, хрустальные фонтаны, серебряные эскалаторы, торговый центр с умопомрачительными товарами, бары, кабачки, комнаты отдыха и театр, где я, нарядившись в элегантную бархатную куртку, узкие, плотные холщовые штаны и темные очки, каждую ночь подстригая волосы (так как они ежедневно вырастают до той длины, какой были в эпоху Возрождения), мог спокойно и анонимно купаться в тихом, ласкающем бормотании окружающих смертных, выискивая, когда меня обуревала жажда, того единственного человека, который по-настоящему ждал встречи со мной, того единственного человека, который по причинам, связанным со здоровьем, бедностью, здравостью или слабостью рассудка, хотел попробовать погрузиться в уступчивые объятия смерти, чтобы та высосала из него всю кровь и всю жизнь.

Я не ходил голодным. Я бросал свои жертвы в глубокие, теплые и чистые воды Карибского моря. Я распахнул двери для всех бессмертных, кто вытирал перед входом ноги. Словно вернулись прежние дни в Венеции, когда палаццо Бьянки было открыто для всех и каждого, для дам и господ, для художников, поэтов, мечтателей и прожектеров, кто только осмеливался ей представиться.

Но нет, они не вернулись.

Чтобы разогнать собрание острова Ночи, не потребовалось кучки разбойников в черных одеждах. Те, кто ненадолго притаился на острове, просто разбрелись в разные стороны. Вампиры не особо нуждаются в обществе себе подобных. Да, они стремятся завоевать любовь других бессмертных, постоянно стремятся, она нужна им, нужны глубокие узы верности, неизбежно сковывающие тех, кто не желает враждовать. Но общество им не требуется.

И мои потрясающие гостиные со стеклянными стенами на острове Ночи быстро опустели, причем сам я задолго до этого начал уходить на недели и даже на месяцы.

Он до сих пор существует, остров Ночи. Он есть, иногда я сам возвращаюсь туда и нахожу там какого-нибудь одинокого бессмертного, кто, как говорится в современном мире, вписал-

ся, чтобы посмотреть, как дела у остальных, или же у другого случайного гостя. Знаменитое предприятие я продал за целое состояние, по понятиям смертных, но сохранил за собой четырехэтажную виллу (частный клуб под названием «Иль Вилладжио»), где имеются глубокие подземные склепы, открытые для любого представителя нашего рода.

Любого.

Их не так много. Но я расскажу тебе о них. Расскажу о тех, кто продержался столетиями, кто возник на поверхности после нескольких веков таинственного отсутствия, кто откликнулся, чтобы быть зачисленным в неписаную перепись современных живых мертвецов.

Прежде всего это Лестат, автор четырех книг о своей жизни и похождениях, включающих в себя все, что даже теоретически можно захотеть узнать о нем и о некоторых из нас. Лестат, вечный скиталец и смеющийся ловкач. Шести футов ростом, он был превращен в вампира в возрасте двадцати лет; огромные теплые голубые глаза, густые ярко-золотистые волосы, квадратный подбородок, великодушный, прекрасной формы рот и кожа, потемневшая от пребывания на солнце, убившем бы более слабого вампира, дамский угодник, фантазия Оскара Уайльда, зеркало моды, периодически — самый наглый и пренебрегающий всеми авторитетами грязный бродяга, одиночка, странник, разбивающий сердца, всезнайка, получивший от моего прежнего господина прозвище принца-паршивца (да, представь себе, от моего Мариуса, да, моего Мастера, который на самом деле пережил пожарище, устроенное римским обществом!),— хотя при чьем дворе, по какому Божественному праву, какой королевской крови, хотел бы я знать. Лестат, напичканный кровью древнейших, кровью самой Евы нашего рода, пережившей свой потерянный рай на пять-семь тысячелетий, настоящего кошмара, выросшего из обманчиво поэтического образа, получившего титул Царицы Проклятых,— Акаши, одной из Тех, Кого Следует Оберегать, чуть было не уничтожившей мир.

Лестат неплохой друг, ради него я мог бы отдать свою собственную бессмертную жизнь. Бывали времена, когда я добивался его любви и умолял его стать моим спутником. Он сводит меня с ума, завораживает и невыносимо раздражает, но без него я не могу существовать. И хватит о нем.

Луи де Пон-Дю-Лак, которого я уже описал выше, но чей образ всегда приятно вызвать в памяти: худощавый, чуть ниже ростом, чем его создатель, Лестат, с черными волосами, мрачный, белокожий, с потрясающе длинными и изящными пальцами и совершенно беззвучной походкой. Луи, в чьих зеленых глазах светится душа и отражается безмерное горе, у кого тихий голос, кто похож на человека, слаб, поскольку прожил всего двести лет, кто не владеет ни телепатией, ни левитацией, кто не умеет налагать чары, разве что по случайности (и наблюдать это бывает необычайно весело), бессмертный, в которого влюбляются смертные. Луи, слишком слабый, чтобы рисковать и позволить жертве умереть у него на руках, не имеющий гордыни и тщеславия, которые заставили бы его создать иерархию специально отобранных жертв, и потому убивающий каждого, кто попадается ему на пути, вне зависимости от возраста, физических достоинств или благ, дарованных природой и судьбой. Луи, смертоносный и романтичный вампир, из тех созданий ночи, что таятся в темных уголках оперного театра, слушая, как Царица Ночи Моцарта исполняет свою пронзительную и неотразимую песню.

Луи так никуда и не исчез, о нем всегда все знают, его легко выследить и легко бросить. После трагических ошибок с прежними детьми он категорически отказывается создавать новых вампиров. Он оставил позади поиски Бога, дьявола, истины и даже любви.

Пленительный пыльный Луи, читающий при свече Китса. Луи, стоящий под дождем на скользкой пустынной центральной улице и наблюдающий, как на телеэкране в витрине магазина блистательный молодой актер Леонардо Ди Каприо в роли шекспировского Ромео целует свою нежную, милую Джульетту (Клер Дэйнз).

Габриэль. Она никуда не исчезла. Она была с нами на острове Ночи. Все ее терпеть не могут. Она мать Лестата, она бросает его на столетия, ей почему-то никогда не удается расслышать неизменно раздающиеся время от времени отчаянные призывы Лестата о помощи. Да, как его создание, она не в состоянии их воспринять, однако она вполне могла бы узнать о них из мыслей других вампиров, возбужденно передающих новости по все-

му миру, когда Лестат попадает в очередную переделку. Габриэль... Она похожа на своего сына в смертной жизни и бессмертного создателя, только она женщина, настоящая женщина, то есть у нее более четкие черты лица, тонкая талия, пышная грудь, в высшей степени противное и лживое, но при этом милое выражение глаз; она потрясающе выглядит в черном бальном платье с распущенными волосами, но чаще надевает пыльный бесполый балахон из мягкой кожи или хаки. Она неутомимая путешественница и настолько коварный и хладнокровный вампир, что кажется, будто она давно забыла, каково быть человеком или испытывать боль. Я-то думаю, что она забыла об этом в одну ночь, если вообще когда-то помнила. В смертной жизни она была из тех, кто без конца недоумевает, с чего это все так суетятся. Габриэль, обладательница низкого, чуть хрипловатого голоса, бессознательно жестокая, ледяная, недоступная, исследовательница снежных лесов дальнего севера, убийца гигантских белых медведей и белых тигров, равнодушная легенда диких племен,— она стоит ближе к доисторической рептилии, чем к человеку. Разумеется, красавица, с густой косой, переброшенной на спину, почти царственная в шоколадного цвета кожаной куртке для сафари и в маленьком тропическом шлеме с обвисшими полями, крадущийся, быстрый убийца, безжалостное, на вид задумчивое, но бесконечно скрытное существо. Габриэль практически бесполезна для всех, кроме себя самой. Когда-нибудь она, полагаю, кому-нибудь что-нибудь расскажет.

Пандора, дитя двух тысячелетий, спутница моего возлюбленного Мариуса за двести лет до моего рождения. Богиня из кровоточащего мрамора, могущественная красавица и глубочайшая, древнейшая душа Италии времен Древнего Рима, обладающая горячим нравственным духом сенаторов величайшей в этом мире империи. Я ее не знаю. Ее овальное лицо мерцает под вуалью волнистых волос. Она кажется слишком прекрасной, чтобы причинить кому-нибудь вред. У нее нежный голос, невинные умоляющие глаза, безупречное лицо, мгновенно реагирующее на обиду и теплеющее от сопереживания,— настоящая загадка. Не представляю себе, как Мариус мог ее оставить. В короткой рубашке из тонкого, как паутина, шелка, с браслетом-змейкой на обнаженной руке, она — предмет вожделения смертных мужчин и зависти смертных женщин. В длинных же, скрывающих тело узких платьях она привидением движется по комнатам, словно они нереальны, а она, призрак танцовщицы, ищет подходящую обстановку и музыку, доступную только ей. Ее сила, безусловно, равна силе Мариуса. Она пила из райского источника — то есть кровь Царицы Акаши. Она силой мысли умеет воспламенять предметы, подниматься в воздух и исчезать в черном небе, убивать молодых вампиров, если они представляют для нее угрозу, но одновременно она выглядит совершенно безвредной, бесконечно женственной, хотя и равнодушной к вопросам пола, болезненно бледной и несчастной женщиной, которую мне хотелось бы заключить в объятия.

Сантино, старый римский святой. Он добрел до катастроф современной эпохи, не запятнав своей красоты: по-прежнему широкие плечи, сильная грудь, побледневшая под действием могущественной крови оливковая кожа, черные вьющиеся волосы, которые он часто состригает на закате, наверное, для сохранения инкогнито. Он не любит привлекать к себе внимание и неизменно одевается в черное. Он ни с кем не разговаривает. Он молча смотрит на меня, словно мы никогда не беседовали с ним о теологии и мистицизме, словно он не разрушал моего счастья, не сжег дотла мою юность, не заставил моего создателя пройти страшный путь выздоровления длиной в сто лет, не лишил меня всякой поддержки. Возможно, он воображает, что мы с ним товарищи по несчастью, жертвы могущественной интеллектуальной морали, увлеченности концепцией цели, двое погибших, ветераны общей войны.

Подчас он выглядит сварливым и даже злобным. Ему многое известно. Он не склонен недооценивать силу древнейших, которые, остерегаясь оставаться незамеченными обществом, как в прошедшие века, с удивительной легкостью появляются среди нас. Он пристально смотрит на меня спокойными черными глазами. Тень его бороды, навеки запечатленная крошечными сбритыми волосками, врезавшимися в кожу, по-прежнему только добавляет ему красоты. Он мужчина во всех отношениях: жесткая белая рубашка, открытая у горла, частично обнажает густые черные завитки на его груди, и та же соблазнительная черная поросль покрывает плоть его рук повыше запястий. Он

предпочитает черные пиджаки из блестящих, но плотных тканей с лацканами из кожи или меха, невысокие черные машины, развивающие скорость до двухсот и более миль в час, золотые зажигалки, от которых несет горючей жидкостью,— он без конца щелкает ими, чтобы полюбоваться огоньком. Где он живет и когда проявится, никто не знает.

Сантино. Больше мне о нем ничего не известно. Мы, как истинные джентльмены, выдерживаем дистанцию. Подозреваю, что на его долю выпали ужасные страдания; я не стремлюсь разбить сияющий черный панцирь его выдержки, чтобы обнаружить под ним страшную кровавую трагедию. Узнать Сантино я всегда успею.

Теперь же для самых девственных моих читателей я опишу, каким стал мой господин, Мариус. Нас разделяет столько времени и опыта, что между нами как будто легла ледяная пропасть, и мы лишь смотрим друг на друга через ослепительно белую непреодолимую пустыню, только и способные, что разговаривать усыпляюще вежливыми голосами, ужасно воспитанно,— я, на вид совсем юное существо, слишком симпатичное для непостоянства во мнениях, и он, неизменно искушенный в светских делах, исследователь настоящего, философ века, знаток этики тысячелетий, историк во все времена.

Он держится очень прямо, как всегда великолепный, но в более сдержанной манере двадцатого века, и носит верхнюю одежду из старинного бархата — как смутный намек на великолепие его былых одеяний. Теперь он иногда стрижет длинные развевающиеся золотые волосы, которыми так гордился в Венеции. Он всегда быстро соображает и быстро отвечает, стремится к разумным решениям, обладает бесконечным терпением и неутолимым любопытством, отказывается отречься от судьбы как своей, так и нашей, и даже мировой. Никаким знаниям не под силу его победить; закаленный огнем и временем, он слишком силен для технологических кошмаров или научных чар. Ни микроскопы, ни компьютеры не поколебали его веры в бесконечность, пусть даже его когда-то строгие подопечные — Те, Кого Следует Оберегать, вселявшие столько надежд на обретение искупления,— давно уже свергнуты с древних тронов.

Я боюсь его. Не знаю почему. Возможно, я боюсь его, потому что могу полюбить его снова, а полюбив его, я стану у него

учиться, а начав у него учиться, я опять превращусь в его верного во всех отношениях последователя и выясню, что его терпение не заменит страсти, так давно горевшей в его глазах.

Мне нужна эта страсть! Нужна. Но хватит о нем. Две тысячи лет он прожил, без всяких угрызений совести вливаясь в поток человеческой жизни, доводя до совершенства искусство быть человеком, сквозь все века пронося с собой красоту и тихое достоинство кажущегося неуязвимым Рима эпохи Августа, где он и родился.

Есть и другие, сейчас они не рядом со мной, но тоже в разное время побывали на острове Ночи, мы с ними еще встретимся. Это древние близнецы, Мекаре и Маарет, хранительницы первобытной крови, из которой проистекает наша жизнь, корни лозы, так сказать, на которых мы цветем с таким упрямством и с такой красотой. Это наши Царицы Проклятых.

Потом, есть еще и Джесс Ривз, дитя двадцатого века, созданная Маарет, самой древней из нас, и благодаря этому — ослепительное чудовище. Я ее не знаю, но заочно восхищаюсь ею. Принеся с собой в мир живых мертвецов несравнимые познания в области истории, паранормальных явлений, философии и языков, она остается загадкой. Поглотит ли ее огонь, как многих из тех, кто, устав от жизни, не смог справиться с бессмертием? Или ее разум двадцатого века даст ей радикальную, нерушимую броню против немыслимых перемен, лежащих, как мы знаем, впереди?

Да, бывают и другие. Скитальцы. Время от времени я слышу их голоса в ночи. Вдали от нас встречаются те, кто ничего не знает о наших традициях, кто, из враждебного отношения к нашим произведениям и забавляясь нашими выходками, прозвал нас «Собранием Красноречивых», странные «незарегистрированные» существа различного возраста, силы, позиций, кто, иногда приметив в кипе книг в бумажных обложках экземпляр «Вампира Лестата», раздирает его в клочья и сильными с презрением руками стирает в порошок.

Возможно, в непредсказуемом будущем они добавят к нашим нескончаемым хроникам крупицы своей мудрости или своего разума. Кто знает?

Пока что, перед тем как продвигаться в моей повести дальше, необходимо ввести еще один персонаж.

Это ты, Дэвид Тальбот, кого я практически не знаю, ты, кто с неистовой скоростью записывает каждое слово, слетающее с моих губ, пока я сам наблюдаю за тобой, до некоторой степени загипнотизированный самим фактом того, что эти переживания, так долго горевшие в моей душе, теперь переносятся на бесконечную, по-видимому, страницу.

Кто ты, Дэвид Тальбот, потративший на смертное образование более семи десятков лет, ученый, глубокая, любящая душа? Кто в тебе разберется? Такого, каким ты был при жизни, умудренного летами, закаленного повседневными бедствиями и всеми четырьмя временами года земного существования человека, тебя переместили, не задев ни памяти, ни знаний, в потрясающее тело молодого мужчины. А потом это тело, идеальный кубок, Грааль твоей личности, того, кто отлично знал цену обоим элементам, подверглось нападению со стороны твоего ближайшего друга, любящего изверга, вампира, пожелавшего, чтобы ты присоединился к его путешествию по вечности, дашь ты ему разрешение или не дашь, нашего любимого Лестата.

Не представляю себе такого насилия. Я слишком далек от человечества, поскольку так и не дорос до взрослого мужчины. В твоем лице я вижу энергию и красоту англо-индийца с кожей цвета темного золота, чьим телом ты пользуешься в свое удовольствие, а в твоих глазах — спокойствие и закаленную душу старика.

У тебя черные волосы, мягкие, искусно подстриженные за ушами. Ты одевается с небывалым тщеславием, укрощенным стойким британским чувством стиля. Ты смотришь на меня так, как будто твое любопытство может застать меня врасплох, хотя это чрезвычайно далеко от истины.

Тронь меня — и я тебя уничтожу. Мне все равно, сколько у тебя сил и какую кровь передал тебе Лестат. Я знаю больше тебя. То, что я открываю тебе свою боль, отнюдь не означает, что я тебя люблю. Я делаю это ради себя и ради других, ради самой мысли о других, ради тех, кому это интересно, и ради своих смертных, ради тех, кого я так недавно взял под свое крыло, двух дорогих мне существ, которые превратились в стимул моей жизни.

Симфония для Сибил... Я мог бы дать своей исповеди и такое название. И стараясь изо всех сил для Сибил, я стараюсь и для себя.

Может быть, хватит прошлого? Может быть, хватит пролога к тому моменту в Нью-Йорке, когда я увидел на Плате лицо Христа? Здесь начинается заключительная глава моей книги. Это все. Остальное ты знаешь — что здесь еще требуется? Хватит и беглого мучительного описания событий, что привели меня сюда.

Давай будем друзьями, Дэвид. Я не собирался говорить тебе такие ужасные вещи. У меня болит сердце. Ты нужен мне, хотя бы для того, чтобы сказать: продолжай скорее. Помоги мне своим опытом. Неужели не хватит? Можно, я продолжу? Я хочу послушать, как играет Сибил. Я хочу поговорить о моих любимых спасителях. Я не могу измерить пропорции своего рассказа. Я только знаю, что готов... Я достиг дальнего конца Моста Вздохов.

Да, это мне решать, ты прав, и ты ждешь, чтобы записать все, мною сказанное. Так давай перейдем к Плату.

Позволь мне перейти к лику Христа, как будто я иду в гору по Подолу давней снежной зимой, под сенью сломанных башен города князя Владимира, чтобы отыскать в Печерской лавре краски и доску, на которой обретет форму его лик — лик Христа, да, Спасителя, Бога Воплощенного. Еще раз...

Часть III
«АППАССИОНАТА»

17

Я не хотел к нему идти. Стояла зима, я удобно устроился Лондоне, без конца посещая театры, чтобы посмотреть пьесы Шекспира, и читая целыми ночами его пьесы и сонеты. Шекспир занимал все мои мысли. Его сочинения подарил мне Лестат. И когда я был по горло сыт отчаянием, я открывал книги и начинал читать.

Но меня позвал Лестат. Лестат испугался. Во всяком случае, он так утверждал. Я не мог не пойти. Когда он в последний раз попал в неприятности, у меня не было возможности примчаться к нему на помощь. Это отдельная история, но совсем не такая важная, как та, что я сейчас рассказываю.

Теперь же я знал, что мое с таким трудом завоеванное душевное спокойствие разобьется вдребезги от простого столкновения с ним, но он хотел, чтобы я пришел. И я не мог не откликнуться.

Сначала я застал его в Нью-Йорке, хотя он и не подозревал об этом; при всем желании он не смог бы завлечь меня в более страшный вихрь. В ту ночь он убил смертного, жертву, в которую он успел влюбиться, по своему недавно заведенному обычаю выбирая прославленных мастеров изощренных преступлений и страшных убийств и преследуя их вплоть до ночи пиршества.

«Так что же ему понадобилось от меня?» — недоумевал я. Ты был рядом, Дэвид. Ты мог ему помочь. Такое складывалось впечатление. Поскольку он — твой создатель, ты не услышал его призыв напрямую, но он как-то добрался до тебя, и вы сошлись вдвоем, вполне порядочные джентльмены, чтобы низким неестественным шепотом обсудить последние страхи Лестата.

В следующий раз я нагнал его в Новом Орлеане. Он изложил мне все простыми словами. Ты тоже там был. К нему явился дьявол в человеческом обличье. Этот дьявол умел изменять форму, в одну секунду — жуткое, отвратительное чудовище с перепончатыми крыльями и копытами на ногах, а в следующую — обыкновенный человек. Лестат сходил с ума от этих историй. Дьявол сделал ему ужасное предложение: чтобы он, Лестат, стал помощником дьявола на службе у Бога.

Помнишь, как спокойно я отреагировал на его историю, на его вопросы, на мольбы дать ему совет? О, я твердо сказал ему, что безумием было бы последовать за этим духом, поверить, что бесплотная тварь решилась раскрыть ему истину.

Но только теперь ты знаешь, какие раны открыл он своей странной и удивительной басней. Значит, дьявол сделает его помощником в аду и даст таким образом возможность служить Богу? Я чуть было не рассмеялся или не заплакал на месте, бросив ему в лицо тот факт, что я сам когда-то считал себя служителем Зла и дрожал в лохмотьях, преследуя мои жертвы парижской зимой, и все — во славу Господа.

Но он и сам все знал. Бессмысленно было дальше его мучить, отталкивать его от прожекторов собственной сказки, которые необходимы Лестату — яркой звезде.

Мы вполне культурно беседовали под сенью замшелых дубов. Мы с тобой умоляли его остерегаться. Естественно, он проигнорировал все наши мольбы.

Во все это была впутана очаровательная смертная, Дора, проживавшая тогда в этом самом здании, в старом кирпичном монастыре, дочь человека, которого преследовал и убил Лестат.

Когда он связал нас обязательством позаботиться о ней, я разозлился, но не слишком. Я и сам влюблялся в смертных. Мне есть что рассказать. Я и сейчас влюблен в Сибил и Бенджамина, которых называю своими детьми, а в смутном прошлом я становился тайным трубадуром для других смертных.

Хорошо, он влюбился в Дору, он преклонил голову на ее груди, он вожделел крови из ее чрева, что не составило бы для нее потери, он был влюблен без памяти, сходил с ума, его подгонял призрак ее отца, с ним флиртовал сам Князь Тьмы.

А она? Что мне сказать о ней? Что за лицом послушницы в монастыре скрывалась сила Распутина, что она на самом деле была не мистиком, а практикующем теологом, не провидцем, но вождем-проповедником, что ее церковные амбиции свели бы на нет амбиции святых Петра и Павла, вместе взятых, и что она, конечно, походила на любой цветок, сорванный Лестатом в Саду Зла этого мира: в высшей степени утонченное и привлекательное существо, великолепный образец создания Господа с волосами цвета воронова крыла, надутым ротиком, фарфоровыми щечками и стройными, но сильными ногами нимфы.

Конечно, я понял, что он покинул наш мир, в тот самый момент, когда это произошло. Я почувствовал. Я уже был в Нью-Йорке, недалеко от него, я знал, что ты тоже рядом. Оба мы собирались по возможности не спускать с него глаз. Потом наступил момент, когда его поглотил вихрь, когда его высосали из земной атмосферы, словно его никогда и не было.

Поскольку он — твой создатель, ты не услышал, как при его исчезновении опустилась завеса полного безмолвия. Ты не представлял себе, насколько всецело его оторвали от каждой крохотной, но материальной мелочи, которая раньше откликалась эхом на биение его сердца.

Я знал это, понял и, наверное, чтобы нам обоим отвлечься, предложил пойти к измученной женщине, наверняка потрясенной смертью отца от рук красивого блондина, чудовища, жадно лакающего кровь, превратившего ее в своего друга и в свое доверенное лицо.

Нам не составило труда помогать ей в те краткие, но богатые событиями ночи, когда один кошмар нагромождался на другой, когда обнаружилось убийство ее отца, когда по воле прессы его подлая жизнь в мгновение ока оказалась в центре внимания и превратилась в предмет сумасбродных разговоров по всему миру.

Кажется, сто лет прошло — хотя на самом деле это было совсем недавно,— с тех пор как мы двинулись на юг, в эти комнаты, к наследству ее отца, состоявшему из распятий и статуй, из

икон, с которыми я обращался так холодно, словно мне и не доводилось любить эти сокровища.

Кажется, сто лет прошло, с тех пор как я оделся ради нее поприличнее, отыскав в одном модном магазине на Пятой авеню хорошо пошитый пиджак из старинного красного бархата, рубашку поэта, как их сейчас называют, из накрахмаленного хлопка, с изобилием болтающихся кружев, а для завершения картины — зауженные брюки из черной шерсти и сверкающие сапоги, застегивающиеся на лодыжках, и все ради того, чтобы проводить ее в огромный, переполненный людьми морг на опознание отрубленной головы ее отца под лучами флуоресцентных ламп.

Что приятно удивляет в последнее десятилетие двадцатого века: мужчина любого возраста может носить волосы какой угодно длины.

Кажется, сто лет прошло, с тех пор как специально ради нее я расчесал их, густые, вьющиеся и для разнообразия — чистые.

Кажется, сто лет прошло, с тех пор как мы преданно стояли рядом с ней, даже поддерживали ее, ведьму-чаровницу с короткими волосами, пока она оплакивала смерть своего отца и засыпала нас лихорадочными, на удивление умными и бесстрастными вопросами по поводу нашей зловещей природы, как будто интенсивный курс по анатомии вампира каким-то образом сможет завершить цикл кошмаров, угрожавших ее безопасности и здравости ее рассудка, и как-нибудь вернуть ее порочного, бессовестного отца.

Нет, на самом деле она молилась не о возвращении Роджера: слишком слепо она верила во всеведение и милосердие Господа. К тому же вид отрубленной, пусть даже и замороженной человеческой головы вызывает определенный шок, да еще и какая-то собака успела пожевать Роджера, прежде чем его обнаружили, и, учитывая строгое правило современной криминалистики «не прикасаться», он даже на меня произвел впечатление. (Я помню, что помощница коронера душевно сказала мне, что я ужасно молод для подобного зрелища. Она решила, что я младший брат Доры. Что за милая женщина! Может быть, стоит время от времени совершать набеги на официальный смертный мир, чтобы получить прозвище «настоящего комедианта»

вместо «ангела Боттичелли» — ярлыка, приклеившегося ко мне в царстве живых мертвецов.)

Дора мечтала о возвращении Лестата. Что еще позволило бы ей вырваться из-под власти наших чар, если не последнее благословение самого коронованного принца?

Я стоял у темных окон расположенной на одном из верхних этажей дома квартиры, смотрел на глубокие сугробы Пятой авеню, ждал и молился вместе с ней, жалея, что огромная земля лишилась моего старого врага, и в глубине своей безрассудной души считая, что тайна его исчезновения разрешится, как и любое из чудес, подарив нам грусть, связанную с небольшими потерями, как остальные маленькие откровения, после которых я оставался точно таким же, как на протяжении всей жизни с той давней ночи в Венеции, когда меня разлучили с Мастером, и я просто научусь получше притворяться, будто я до сих пор жив.

За Лестата я не особенно испугался. Я не возлагал на это приключение никаких надежд, я только ждал, что рано или поздно он появится и расскажет очередную фантастическую байку. Состоится типичный для Лестата разговор, поскольку никто не преувеличивает так, как делает это он, рассказывая о своих нелепейших приключениях. Я не говорю, что он не менялся телами с человеком,— знаю, что менялся. Я не говорю, что не он разбудил нашу вселяющую ужас богиню и мать, Акашу,— знаю, что это он. Я не говорю, что не он растер в пыль наше старое суеверное общество в блистательные годы, предшествовавшие Французской революции. Я уже рассказывал.

Но меня сводит с ума та манера, в какой он описывает все, что с ним приключилось, манера связывать один случай с другим, словно каждое из разрозненных неприятных событий на самом деле — одно из звеньев цепи, наделенной великим смыслом. Это не так. Это ерунда. Он и сам знает. Но ему непременно нужно устроить бульварный спектакль, стоит только ушибить палец.

Джеймс Бонд вампиров, Сэм Спейд своих собственных книг! Рок-певец, провывший на смертной сцене два часа кряду и сошедший со сцены с кучей пластинок, и по сию ночь подкармливающих его грязные банковские счета.

У него настоящий дар устраивать из несчастья трагедию и прощать себе все на свете в каждом абзаце исповеди, выходящей из-под его пера.

Нет, я его не виню. Я не могу не злиться из-за того, что он лежит здесь, в коме, на полу часовни, уставившись перед собой в самодостаточном молчании, не обращая внимания на созданных им вампиров, окружающих его по той же причине, что и я: они пришли посмотреть своими глазами, не изменила ли его кровь Христа, не превратился ли он в грандиозное свидетельство чудесного перехода в другую сущность. Но я уже скоро до этого дойду.

Я додекламировался до того, что загнал себя в угол. Я знаю, почему я так его оскорбляю, почему испытываю такое облегчение, вбивая гвозди в его репутацию, почему стучу обоими кулаками по его величию.

Он слишком многому меня научил. Он довел меня до этого самого момента, когда я стою здесь и диктую рассказ о своем прошлом, связно и спокойно, что не удалось бы мне сделать, до того как я пришел ему на помощь в истории с его драгоценным Мемнохом-дьяволом и уязвимой маленькой Дорой.

Двести лет назад он лишил меня всех иллюзий, всех лживых оправданий и в голом виде выставил на парижские мостовые, чтобы я искал путь к красоте звездного света, когда-то мне знакомой и слишком мучительно потерянной.

Но пока мы ждали его в красивой поднебесной квартире над собором Святого Патрика, я и понятия не имел, сколько еще ему предстоит с меня сорвать, и я ненавижу его хотя бы за то, что не представляю себе без него свою душу, и, будучи перед ним в долгу за все, что я есть, за все, что я знаю, я ничем не могу пробудить его от неподвижного сна.

Но — все по порядку. Что толку спускаться обратно в часовню, прикасаться к нему и умолять выслушать меня, когда он лежит, словно его действительно покинул рассудок — покинул и уже не вернется.

Я не могу с этим смириться. И не смирюсь. Я потерял терпение; я потерял оцепенение, в котором находил прибежище. Это невыносимо... Но мне нужно продолжать рассказ.

Нужно рассказать тебе, что случилось, когда я увидел Плат, когда меня поразило солнце, и самое ужасное — о том, что я

увидел, когда наконец пришел к Лестату и приблизился к нему настолько, что смог выпить его кровь. Да, не следует сбиваться с курса. Теперь я понимаю, зачем он выстраивает цепь. Не из гордости, правда? Из необходимости. Нельзя рассказывать историю, не соединяя ее части друг с другом, а мы, бедные сироты уходящего времени, не знаем другого средства измерения, кроме последовательного. Упав в снежную черноту, в мир, который хуже вакуума, я ведь тоже потянулся за цепочкой. О Господи, чего бы я не отдал во время того ужасного вознесения, лишь бы ухватиться за металлическую цепь!

Он вернулся так неожиданно — к тебе, к Доре, ко мне. На третье утро, незадолго до рассвета. Я услышал, как внизу, в стеклянной башне, хлопнули двери, а потом раздался звук, с каждым годом набирающий сверхъестественную силу,— биение его сердца.

Кто первым поднялся из-за стола? Я застыл от страха. Он пришел так быстро, вокруг него вились дикие ароматы, запахи леса и сырой земли. Он пробивался через каждую преграду, словно за ним гнались те, кто похитил его, однако следом так никто и не появился. Он проник в квартиру один, захлопнул за собой дверь и предстал перед нами в таком жутком виде, что я и вообразить себе не мог, никогда еще после его предыдущих поражений не видел я его таким убитым.

С предельной любовью Дора побежала к нему, и с отчаянной, слишком человеческой потребностью он сжал ее так крепко, что я подумал: еще чуть-чуть — и он ее раздавит.

— Милый, теперь все хорошо! — закричала она, словно стараясь, чтобы он ее понял.

Но нам хватило и одного взгляда на него, чтобы осознать, что все только начинается, хотя перед лицом увиденного мы бормотали те же пустые слова.

18

Он вышел прямо из вихря. У него остался один ботинок, вторая нога была босой, пиджак изорвался, волосы спутались, утыканные колючками, сухими листьями и головками диких цветов. Он вцепился в плоский сверток сложенной ткани, прижимая ее к груди, как будто на нем была вышита судьба всего мира. Но

что хуже всего, страшнее всего — его прекрасное лицо лишилось одного глаза, и вампирские веки, обрамлявшие глазницу, морщились и дрожали, пытаясь закрыться, отказываясь признавать, что тело, на протяжении всей его вампирской жизни остававшееся безупречным, ужасным образом изуродовали.

Я хотел обнять его. Я хотел успокоить его, сказать ему, что, куда был он ни попал, что бы ни произошло, теперь он с нами, в безопасности, но он никак не мог утихомириться. Глубокое изможденье избавило нас от неизбежного рассказа. Пора было укрыться от любопытного солнца в наших тайных уголках; придется ждать следующей ночи — тогда он выйдет к нам и расскажет, что случилось.

Сжимая в руках сверток, отказываясь от помощи, он заперся наедине со своей раной. У меня не было выбора — пришлось его оставить.

Опускаясь в то утро в свое убежище, обеспечив себе чистую современную темноту, я плакал и плакал от его вида, как маленький. Ну зачем я пришел ему на помощь? Почему мне довелось стать свидетелем такого унижения, когда мою любовь к нему скрепило столько болезненных десятилетий?

Однажды, сто лет назад, он пришел, спотыкаясь, в Театр вампиров по следам своих детей-ренегатов, кроткого сентиментального Луи и обреченной девочки, и я не пощадил его, как бы ни испещряли его кожу шрамы после глупого и неловкого покушения, совершенного Клодией.

Любить его я любил, да, но то была телесная рана, излечимая с помощью его порочной крови, и наше старое знание гласило, что в исцелении он приобретет большую силу, чем та, которую способно дать безмятежное время.

Но сейчас в его измученном взгляде я видел опустошенную, разоренную душу, а смотреть на единственный голубой глаз, так ярко сверкавший на его испещренном полосами и несчастном лице, было невыносимо.

Я не помню, чтобы мы разговаривали, Дэвид. Я помню только, что наступление утра заставило нас побыстрее разойтись, и если ты тоже плакал, то я этого не слышал, ибо мне и в голову не пришло прислушаться. А сверток в его руках? Что это могло быть? Вряд ли я об этом задумывался. На следующую ночь...

Когда на небо вскарабкалась темнота и на несколько драгоценных минут засияли звезды, прежде чем их скрыл унылый снег, он тихо вошел в гостиную. Он вымылся, оделся, его окровавленная раненая нога, несомненно, исцелилась. Он надел новые ботинки.

Но ничто не могло уменьшить ту гротескную картину, что представляло собой его поцарапанное лицо, где шрамы, оставленные ногтями или когтями, окружали дыру между сморщенными веками. Он молча сел.

Он посмотрел на меня, и его лицо озарилось слабой обаятельной улыбкой.

— Не бойся за меня, дьяволенок Арман,— сказал он.— Бойся за всех нас. Я теперь ничто. Я ничто.

Тихим голосом я прошептал ему свой план.

— Позволь мне выйти на улицу, позволь мне похитить у какого-нибудь смертного, гнусного смертного, растратившего каждое физическое достоинство, данное ему Богом, позволь мне похитить для тебя глаз! Твоя кровь прильет к нему, и он оживет. Ты же знаешь. Ты сам однажды видел это чудо: у древней Маарет, в чьей могущественной крови плавает пара смертных, зрячих глаз! Я все сделаю. Всего одну минуту, и я принесу тебе глаз, я буду твоим врачом, я его вставлю. Ну пожалуйста.

Он только покачал головой и быстро поцеловал меня в щеку.

— Почему ты меня любишь после всего, что я с тобой сделал? — спросил он. Нельзя было отрицать красоту его гладкой, без единой поры кожи, и даже темная щель пустой глазницы, казалось, буравила меня некой тайной силой, чтобы передать увиденное его сердцу. Он был красив и весь светился, его лицо залил темноватый румянец, словно он увидел какую-то великую тайну.

— Да, это правда,— сказал он и заплакал.— Увидел, и я должен все вам рассказать. Поверьте мне, как верили в то, что видели вчера ночью своими глазами — запутавшиеся в моих волосах сорняки, порезы,— посмотрите на мои руки, они затягиваются, но недостаточно быстро, поверьте мне.

Тогда вмешался ты, Дэвид:

— Рассказывай, Лестат. Мы прождали бы тебя целую вечность, если бы понадобилось. Рассказывай. Куда тебя забрал этот демон, Мемнох?

Какой у тебя был успокаивающий, уравновешенный голос, совсем как сейчас. Наверное, ты создан для этого, для аргументации, и отдан нам, если ты разрешишь мне сделать такое предположение, чтобы заставить увидеть свои катастрофы в новом свете современного сознания. Но для таких разговоров у нас еще будет много ночей.

Пока что я вернулась к месту действия, где мы втроем уселись вокруг стеклянного стола, в черных лакированных китайских креслах, и вошла Дора, моментально поразившись его присутствию, о чем и не подозревали ее смертные органы восприятия. Хорошенькая, как картинка: короткие блестящие, мошеннически черные волосы, подстриженные достаточно коротко, чтобы открыть взгляду хрупкую заднюю часть ее лебединой шеи, длинное податливое тело в свободном фиолетово-красном платье без пояса, изящными складками прикрывающее ее маленькую грудь и тонкие бедра. Ну и ангел Господень, раздумывал я, наследница отрубленной головы короля наркобизнеса. На каждом шагу она проповедует свою доктрину, и каждый ее шаг мог бы заставить похотливых языческих богов ее канонизировать, причем с превеликой радостью.

На бледной хорошенькой шейке она носила распятие, такое крошечное, что оно напоминало позолоченную мушку, подвешенную на невесомой цепочке, состоявшей из сплетенных феями миниатюрных звеньев. Что они теперь, священные предметы, с такой легкостью падающие на молочную кожу, если не рыночные безделушки? Безжалостные мысли, но я лишь равнодушно раскладывал по полочкам ее красоту. Ее вздымающаяся грудь, темная впадина, вполне заметная благодаря глубокому вырезу ее простенького темного платья, говорили о Боге и Божественном еще больше.

Но величайшим ее украшением в тот момент служила печальная и страстная любовь к нему, отсутствие страха перед его изувеченным лицом, грация белых рук, вновь обнявших его, такая самоуверенность, такая благодарность, что его тело мягко подалось под ее руками. Я был так признателен, что она его любит.

— Значит, властелину лжи есть что рассказать? — сказала она. Она не смогла побороть дрожь в голосе.— Значит, он забрал тебя в свой ад и отправил обратно? — Она взяла лицо Лес-

тата обеими руками и развернула к себе.— Тогда расскажи нам, что такое этот ад, расскажи, почему нам следует бояться. Расскажи, почему боишься ты, но, мне кажется, в твоем лице я вижу нечто большее, чем страх.

Он кивнул головой в знак согласия. Он оттолкнул китайское кресло и, заламывая руки, зашагал по комнате — неизбежная прелюдия к рассказу.

— Выслушайте меня до конца, а уж потом судите,— объявил он, уставляясь на нас, на троицу, собравшуюся вокруг стола, на взволнованную аудиторию, готовую сделать все, что бы он ни попросил. Его взгляд задержался на тебе, Дэвид, на тебе, на английском ученом в типично мужском твиде, кто, невзирая на слишком очевидную любовь, взирал на него критически, готовясь оценить его слова с присущей тебе мудростью.

Он заговорил. Шли часы, а он все говорил. Шли часы, а слова изливались из него потоком, разгоряченные, поспешные, иногда натыкающиеся друг на друга, так что ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дух, но он ни разу не сделал настоящей паузы, выливая на нас в течение всей долгой ночи повесть о своем приключении.

Да, дьявол по имени Мемнох отвел его в ад, но то был ад, созданный по плану Мемноха, чистилище, куда выбирались с их собственного согласия души всех, кто когда-либо жил на земле, из вихря унаследовавшей их смерти. И в этом аду, в этом чистилище, оказавшись лицом к лицу с каждым из своих деяний, они узнавали самый чудовищный урок в мире: нет конца последствиям любого совершенного поступка. Как убийца, так и мать, бездомные дети, убитые в невинном возрасте, солдаты, купающиеся в крови,— все допускались в это страшное место, полное дыма и огня, но лишь для того, чтобы взглянуть на чужие зияющие раны, нанесенные их гневными или неразумными руками, чтобы вскрыть глубины чужих, раненных ими душ и сердец!

Любой ужас в этом месте становился иллюзией, но главным кошмаром была личность Бога Воплощенного, позволившего создать эту конечную школу для тех, кто хочет заслужить право на вход в его рай. Лестат увидел и это, небеса, миллион раз мелькавшие перед святыми и умирающими, вечно цветущие деревья и вечно благоуханные цветы, бесконечные хрустальные башни,

населенные счастливыми существами, лишенными плоти, и, наконец, бесчисленные хоры поющих ангелов.

Старая сказка. Слишком старая. Слишком часто рассказывали эту сказку — о небесах с распахнутыми воротами, о Творце, озаряющем бесконечным светом тех, кто карабкался по мифической лестнице, чтобы навеки присоединиться к небесным придворным.

Сколько смертных, пробуждаясь от сна, близкого к сну небытия, пытались описать те же самые чудеса!

Сколько святых утверждали, что им удалось заметить эти неописуемые и вечные небеса?

И как хитроумно этот дьявол, Мемнох, изложил свою ситуацию, умоляя о смертном сострадании к его греху,— он, и только он, противостоял безжалостному и равнодушному Богу, моля его взглянуть сочувственным взором на плотскую расу существ, которые своей беззаветной любовью смогли породить души, заслуживающие его интереса.

Так вот каким было падение Люцифера с неба, как утренней звезды — ангела, просившего за сынов и дщерей человеческих, ибо теперь они обладали ликами и сердцами ангелов.

— Дай им рай, Господи, дай, когда они научатся в моей школе любить каждое твое творение.

О, этого приключения хватило на целую книгу. «Мемнохадьявола» нельзя пересказать в нескольких абзацах.

Но вкратце именно это и обрушилось на мои уши, пока я сидел в промозглой нью-йоркской квартире, то и дело поглядывая мимо неистовой, меряющей шагами комнату фигуры Лестата на белое небо, на нескончаемый снег, изгоняя за его громогласной повестью грохот далекого города и борясь с ужасным страхом, что во время кульминации его рассказа мне придется его разочаровать. Напомнить ему, что он всего лишь придал новую, аппетитную форму мистическим путешествиям тысячи святых.

Значит, кольца вечного огня, описанные поэтом Данте в таких подробностях, чтобы читателям становилось дурно, искушавшие даже деликатного Фра Анджелико написать место, где обнаженным, купающимся в пламени смертным предназначалось страдать вечно, заменила школа.

Школа, место надежды, надежды на искупление, может быть, настолько грандиозная, что в ней найдется место и для нас, для Детей Ночи, среди грехов которых насчитывается не меньше грехов, чем у древних ханов или монголов.

О, как это мило — картина загробной жизни, ужасов естественного мира, освобожденного от мудрого, но далекого Бога, дьявольского безрассудства, переданная с небывалым умом.

Если бы это было правдой, если бы все стихи и картины мира были лишь зеркалами столь обнадеживающего великолепия.

Я мог бы поддаться печали, я мог бы расстроиться до такой степени, что повесил бы голову и не смотрел на него.

Но один эпизод из его рассказа, эпизод, для него оказавшийся лишь мимолетной встречей, для меня возвышался над всем остальным, прицепился к моим мыслям; он продолжал, а я все не мог выбросить из головы, что он, Лестат, испил кровь самого Христа, направлявшегося на Голгофу. Он, Лестат, разговаривал с Богом во плоти, по собственной воле избравшим ужасную смерть на кресте. Он, Лестат, дрожащий, исполненный страха очевидец, оказался на узких пыльных улицах древнего Иерусалима и видел, как проходит по ним Господь, и наш Господь, Господь Воплощенный, несущий на плечах привязанный ремнями крест, подставил горло Лестату, избранному ученику.

Ну и фантазия, просто безумие, а не фантазия. Я и не ожидал, что меня так заденет какая-то часть его рассказа. Я не ожидал, что у меня будет гореть в груди, встанет комок в горле, не дающий выговорить ни слова. Это мне было не нужно. Единственное спасение для моего кровоточащего сердца крылось в мысли о том, как нелепо, как глупо, что в такой живописной картине — Иерусалим, пыльная улица, злая толпа, истекающий кровью Господь, избиваемый бичами, хромающий под тяжестью деревянного креста,— нашлось место для старой милой легенды о женщине, протянувшей Христу Плат, чтобы утереть его лицо и ослабить его страдания, тем самым навсегда получив его изображение.

Не нужно быть ученым, Дэвид, чтобы знать: такие святые изобретались в последующих столетиях другими святыми, как актеры и актрисы для изображения страстей Христовых в деревенском захолустье. Вероника! Вероника... Само ее имя означает «подлинная икона».

А наш герой, наш Лестат, наш Прометей, кому сам Бог протянул этот Плат, сбежал из чудовищного и грандиозного царства рая, ада и основ христианства с криками «Нет!» и «Не буду!» и вернулся, задыхаясь, пробежав как безумец под нью-йоркским снегопадом, стремясь только к нам и повернувшись к ним спиной.

У меня кружилась голова. В моей душе разразилась война. Я не мог на него смотреть.

Он двигался дальше, вернувшись к разговору о сапфировых небесах и песне ангелов, споря с самим собой, с тобой, с Дорой, и ваша беседа начинала напоминать груду осколков. Я больше не мог.

В нем — кровь Христа? Кровь Христа прошла через его губы, его нечистые губы, его губы живого мертвеца, кровь Христа превратила его в чудовищную дароносицу? Кровь Христа?

— Позволь мне испить! — неожиданно крикнул я.— Лестат, дай мне испить, дать мне испить твоей крови, где есть и его кровь! — Я сам не верил, что говорю так серьезно, так неистово и отчаянно.— Лестат, позволь мне испить! Дай мне найти его кровь как языком, так и сердцем. Ну пожалуйста, ты не откажешь мне в одной минуте близости. А если это был Христос... Если это...

Я не смог закончить.

— Маленький глупый безумец,— сказал он.— Вонзив в меня зубы, ты узнаешь только то, что каждый из нас узнает, когда смотрит видения своих жертв. Ты узнаешь то, что я, как мне кажется, видел. Ты узнаешь, что в моих жилах течет моя кровь, это ты и сейчас знаешь. Ты узнаешь, что я верю, будто это был Христос, только и всего.

Он разочарованно покачал головой, окинув меня сердитым взглядом.

— Нет, я ее узнаю,— сказал я. Я поднялся из-за стола, у меня тряслись руки.— Лестат, не откажи мне в одном-единственном объятии, и я никогда больше за целую вечность ничего у тебя не попрошу. Дай мне приложить губы к твоему горлу, дай мне попробовать твой рассказ на вкус, ну же!

— Ты разбиваешь мне сердце, дурачок,— сказал он со слезами на глазах.— Как всегда.

— Не суди меня! — закричал я.

Он продолжал, обращаясь ко мне одному как мысленно, так и вслух. Я не знал, слышали ли его остальные. Но я слышал. И не забуду ни единого слова.

— Арман, а что, если это действительно кровь Христа,— спросил он,— а не частица какой-то титанической лжи, что ты обретешь во мне? Ступай к ранней утренней мессе и схвати себе жертву из тех, кто выходит из-за алтарной преграды! Прелестная охота, Арман,— питаться исключительно причастившимися! Любой из них даст тебе кровь Христа. Я тебе объясняю: я не верю этим духам — богу, Мемноху, этим лжецам; я тебе объясняю: я отказался! Я не согласился остаться, я сбежал из их проклятой школы, я дрался с ними и потерял глаз, они вырвали его, злые ангелы, вцепившиеся в меня, когда я убегал! Тебе нужна кровь Христа? Так иди в темную церковь на ночную мессу, оттащи, если хочешь, сонного священника от алтаря и выхвати чашу из его освященных рук. Давай, вперед!

Кровь Христа! — продолжал он, и его лицо превратилось в один огромный глаз, светящий на меня безжалостным лучом.— Если она во мне и побывала, эта священная кровь, то мое тело растворило ее и сожгло, как воск пожирает фитиль свечи. Ты же понимаешь. Что остается от Христа в желудке верующего, когда он выходит из церкви?

— Нет,— сказал я.— Нет, но мы же не люди! — прошептал я, пытаясь мягкостью как-то заглушить его злобную горячность.— Лестат, я узнаю! Это была его кровь, не перешедший в новое качество хлеб и вино! Его кровь, Лестат, я пойму, есть она в тебе или нет. Дай мне выпить, я тебя умоляю. Дай мне выпить, чтобы я смог забыть твой проклятый рассказ со всеми его подробностями!

Я едва удержался и не набросился на него, чтобы подчинить своей воле, забыв о его легендарной силе, о его ужасной вспыльчивости. Я схвачу его и заставлю покориться. Я получу кровь...

Безрассудные, пустые мысли. Весь рассказ безрассуден и пуст, но я повернулся и злобно прошипел:

— Что же ты не остался? Почему не ушел с Мемнохом, раз он мог забрать тебя из нашего общего ужасного ада на земле?

— Тебе дали сбежать,— сказал ему ты, Дэвид. Ты вмешался, успокоив меня еле заметным умоляющим жестом левой руки.

Но у меня не хватало терпения на анализ и неизбежные толкования. Я не мог выбросить из головы его образ, образ окровавленного Христа, нашего Господа с привязанным к плечам крестом, и ее, Веронику, этот милый вымысел с Платом в руках. И как подобная фантазия настолько глубоко забросила свой крючок?

— Отойдите от меня, все отойдите! — воскликнул он.— У меня с собой Плат. Я же говорил. Я вынес его с собой из преисподней Мемноха, хотя все его черти пытались у меня его отобрать.

Я почти ничего не слышал. Плат, настоящий Плат, что еще за фокус? У меня болела голова. Ночная месса. Если внизу, в соборе Святого Патрика, ее служили, то мне хотелось туда пойти. Я устал от этой комнаты со стеклянными стенами, отрезанный от вкуса ветра и неукротимой, освежающей влажности снега.

Зачем Лестат попятился к стене? Что он вытащил из-за пазухи? Плат! Новый витиеватый трюк, чтобы подтвердить сказанное и завершить череду потрясений? Я поднял глаза, обвел взглядом снежную ночь за окном и постепенно дошел до цели: развернутая ткань, что он поднял ввысь, склонив голову, ткань, показанная им с таким же почтением, как ее могла бы показывать Вероника.

— Мой Господь! — прошептал я. Весь мир унесся прочь в клубах невесомого звука и света.— Господь.— Я увидел его лицо, не нарисованное, не отпечатанное, не элегантно и хитроумно вплетенное в волоконца тонкой белой ткани, но горящее огнем, не способным разрушить сосуд, хранившей его жар. Мой Господь, мой оживший господь, мой Господь, мой Христос, человек в черном, остром, колючем терновом венце, человек с длинными, спутанными коричневыми волосами, испачканный запекшейся кровью, с огромными удивленными темными глазами, смотрящими прямо на меня,— ласковыми и живыми зеркалами души Господа, светящимися такой неизмеримой любовью, что перед ней меркнет любая поэзия, с мягкими, шелковыми губами. Его рот, свидетельствующий о простоте, не задающий вопросов и не выносящий суждений, приоткрытый, чтобы сделать беззвучный, мучительный вздох в тот самой момент, когда к нему поднесли Плат, утишивший его страшные муки.

Я плакал. Я зажал рот рукой, но не мог остановить поток слов.

— О Христос, мой трагичный Христос! — шептал я.— Нерукотворный!

Какие жалкие слова, слабые, полные грусти.— Это человеческое лицо, лицо Бога и Человека. У него идет кровь. Ради Бога Всемогущего, вы только посмотрите!

Но я не издал ни звука. Я не мог двигаться. Я не мог дышать. От потрясения я беспомощно упал на колени. Мне хотелось никогда не сводить с него глаз. Мне вообще больше ничего никогда не хотелось. Только смотреть на него, и я его увидел, я оглянулся назад, назад, через века, на его лицо при свете глиняной лампы, горящей в моем доме на Подоле, на его лицо, взирающее на меня с доски, что я сжимал дрожащими пальцами среди свечей скриптория Печерской лавры, на его лицо, которого я никогда не видел на великолепных фресках в Венеции и Флоренции, где я так долго и отчаянно его искал.

В его лице, в мужском лице, присутствовало и божественное, мой трагичный Бог, когда-то взирающий на меня из рук матери в морозной слякоти на улице Подола, мой Господь в кровавом величии. Мне было все равно, что говорила Дора.

Мне было все равно, что она прокричала вслух его священное имя. Все равно. Я все узнал.

И когда она возвестила о своей вере, когда выхватила Плат из рук самого Лестата и выбежала с ним из квартиры, я последовал за ней, за ней и за Платом, хотя в святилище моего сердца я так и не двигался. Я не шелохнулся.

Мой разум охватила полная неподвижность, а что делало мое тело, не имело значения.

Не имело значения, что Лестат спорил с ней и предупреждал, чтобы она не смела в это верить, что мы втроем стояли на ступеньках собора, что с невидимых и бездонных небес как благословение падал снег.

Не имело значения, что скоро встанет солнце, яростный серебряный шар под пологом тающих облаков. Теперь я мог умереть.

Я увидел его, а все остальное — слова Мемнoха и его воображаемого Бога, мольбы Лестата уходить, спрятаться, пока нас

всех не поглотило утро,— не имело значения. Теперь я мог умереть.

— Нерукотворный,— шептал я.

Вокруг нас у входа собиралась толпа. Восхитительным, сильным порывом из церкви хлынул теплый воздух. Какая разница?

— Плат! Плат! — кричали они. Они увидели! Они увидели его лицо. Стихали отчаянные, умоляющие вопли Лестата. Спустилось утро, а с ним — и грозовой, раскаленный добела свет, перекатываясь через крыши и осадив ночь тысячей стеклянных стен, постепенно выпуская на свободу свое чудовищное великолепие.

— Будьте свидетелями,— сказал я. Я воздел руки навстречу ослепительному свету, расплавленной серебряной смерти.— Этот грешник умирает за него! Этот грешник уходит к нему!

Низвергни меня в ад, Господи, если такова твоя воля. Ты дал мне небеса. Ты показал мне свое лицо. И твое лицо было лицом человека.

19

Я взлетел ввысь. Я ощутил всепоглощающую боль, испепеляющую всю мою волю или способность выбирать скорость. Внутренний взрыв отбросил меня к небу, навстречу жемчужно-белому свету, внезапно на секунду, как всегда, хлынувшему настоящим потоком из грозного глаза, раскинув бесконечные лучи по всему широкому городу, превратившись в приливную волну невесомого расплавленного освещения, прокатившегося по всем созданиям и предметам, большим и малым.

Я поднимался все выше и выше, кругами, словно напряжение внутреннего взрыва не ослабевало, и, к своему ужасу, я увидел, что вся моя одежда сгорела, а от тела навстречу бушующему ветру валит дым.

На миг я увидел всю картину целиком: мои голые вытянутые руки и вывихнутые ноги, силуэт на фоне всезатмевающего света. Моя плоть уже обгорела дочерна и припечаталась к сухожилиям моего тела, сжалась до сложного сплетения мышц, облегавших кости.

Боль достигла зенита и стала невыносимой, но как мне объяснить, что для меня это не имело значения; я направлялся на-

встречу собственной смерти, а эта бесконечная на первый взгляд пытка была ерундой, обычной ерундой. Я выдержал бы все, что угодно, даже жжение в глазах, даже сознание того, что они сейчас расплавятся или взорвутся в солнечной печи и что я лишусь плотской оболочки.

Картина резко изменилась. Ветер больше не ревел, мои глаза уже не болели и прояснились, вокруг зазвучал знакомый хор гимнов. Я стоял у алтаря и, подняв голову, увидел перед собой церковь, переполненную людьми, среди поющих ртов и удивленных глаз вверх поднимались расписные колонны, как масса разукрашенных древесных стволов. И справа, и слева меня окружала эта необъятная, безграничная паства. У церкви не было стен, и даже высокие купола, украшенные чистейшим блестящим золотом с отчеканенными святыми и ангелами, уступили место величественному, бесконечному голубому небу.

Мои ноздри затопил запах ладана. Вокруг меня в унисон звонили крошечные золотые колокольчики, одна ритмическая фигура нежной мелодии быстро переливалась в другую. Дым жег мне глаза, но это становилось все приятнее, по мере того как меня заполнял аромат ладана, заставляющий слезиться глаза, и мое зрительное восприятие сливалось с тем, что я пробовал, трогал и слышал.

Я раскинул руки и увидел, что их покрывают длинные белые рукава с золотой каймой, свободно падавшие на запястья, где виднелись мягкие волоски взрослого мужчины. Да, это были мои руки, но мои руки, перешедшие за барьер запечатленной во мне смертной жизни. Это были руки мужчины.

Из моего рта полилась песня, громким мелодичным эхом разносясь над головами паствы, и в ответ послышались их голоса, и я еще раз подчеркнул голосом свою убежденность — убежденность, пропитавшую меня до мозга костей:

— Христос снизошел на землю. Воплощение началось во всем, в каждом мужчине, в каждой женщине,— и будет длиться вечно! — Песня получилась до того безупречной, что из глаз моих хлынули слезы, и, наклоняя голову и сжимая руки, я увидел перед собой хлеб и вино, круглый ломоть, ожидающий благословения, преломления, как вино в золотой чаше ожидало своего превращения.

— Сие есть пречистое Тело Христово, сия есть Кровь Христова, пролитая за нас в оставление грехов и жизнь вечную! — пел я. Я взял в руки ломоть и поднял его, а из него полилась струя света, и паства ответила самым сладостным, самым громким хвалебным гимном.

Я взял чашу. Я поднял ее повыше, и на колокольнях зазвонили колокола — на множестве колоколен, толпящихся рядом с колокольней этой величественной церкви, простираясь во всех направлениях на многие мили, так что весь мир превратился в огромные славные заросли церквей, а здесь, рядом со мной, звенели золотые колокольчики.

Снова пахнуло ладаном. Поставив чашу, я посмотрел на колышущееся передо мной море людских лиц. Я повернул голову слева направо, а затем посмотрел в небеса, на исчезающую мозаику, слившуюся с поднимающимися ввысь, катящимися по небу облаками.

В поднебесье я увидел золотые купола.

Я увидел бесконечные крыши Подола.

Я знал, что передо мной лежит во всем своем великолепии Киев, что я стою в великом святилище Софийского собора, что убраны все преграды, отделявшие меня от этих людей, а все остальные церкви, что в далеком смутном детстве я видел только в руинах, восстановлены, что к ним вернулось былое величие, что золотые киевские купола впитывают солнечный свет и отдают его, добавив ему силы миллиона планет, согретый вечным светом в огне миллиона звезд.

— Мой Господь, мой Бог! — воскликнул я. Я опустил глаза и посмотрел на изумительно расшитое облачение, на зеленый атлас и нити чистого золотого металла.

По обе стороны стояли мои братия во Христе, бородатые, с блестящими глазами,— они помогали мне, пели те же гимны, что и я, наши голоса смешивались, настойчиво переходя от гимна к гимну, и я практически видел, как поднимаются ввысь ноты по прозрачному небосводу.

— Раздайте! Раздайте им, ибо они голодны! — крикнул я. Я преломил хлебец. Я разломил его пополам, потом — на четвертинки, а их поспешно раскрошил на мелкие кусочки, заполнившие сверкающее золотое блюдо.

Прихожане толпой поднялись по ступеням, за кусочками хлеба потянулись хрупкие розовые ладошки, и я раздал его как можно быстрее, кусочек за кусочком, не просыпая ни крошки, разделяя хлеб между десятком людей, потом — между двадцатью, потом — между сотнями, по мере того как они подступали и вновь прибывшие практически не давали тем, кто получил хлеб, возможности выбраться.

Они все подходили и подходили. Но гимны не смолкали. Голоса, приглушенные у алтаря, стихавшие, пока поглощался хлеб, вскоре звучали вновь, громкие и радостные. Хлеба хватало на целую вечность.

Я снова и снова разламывал мягкую толстую корочку и вкладывал его в протянутые ладони, в грациозно сложенные пальцы.

— Берите, берите тело Христа! — говорил я.

Меня окружили темные колышущиеся фигуры, выросшие прямо из блестящего золотисто-серебряного пола. Это были стволы деревьев, их ветви загибались вверх, а потом опускались ко мне, и с ветвей падали листья и ягоды, падали на алтарь, на золотое блюдо, на священный хлеб, превратившийся в кучу кусочков.

— Забирайте! — крикнул я. Я поднял мягкие зеленые листья и ароматные желуди и передал их нетерпеливым рукам. Я опустил взгляд и увидел, что из моих пальцев сыплется пшеница, зерна, которые я отдавал раскрытым губам, насыпал в открытые рты.

Воздух сгущался от беззвучно падающих зеленых листьев, их было столько, что все вокруг окрасилось в мягкий блестящий оттенок зеленого, но внезапно в картину ворвались стайки крошечных птиц. В небеса вспорхнули миллионы воробьев. Воспарил миллион зябликов, расправляя крылышки на сверкающем солнце.

— Отныне и во веки веков, в каждой клетке, в каждом атоме,— молился я.— Воплощение,— сказал я.— Да пребудет с нами Господь.— Мои слова снова зазвенели, словно мы стояли под крышей, способной откликнуться на мою песню, но нашей крышей было только открытое небо.

Меня сдавливала толпа. Она окружила алтарь. Мои братья ускользнули, тысячи рук мягко тянули их облачение, стягивая его со стола Господа. Со всех сторон подступали голодные, принимавшие от меня хлеб, принимавшие зерно, принимавшие целыми пригоршнями желуди, принимавшие даже нежные зеленые листья.

Рядом со мной встала моя мать, моя прекрасная мать с грустным, испещренным морщинами лицом; ее густые седые волосы прикрывал красиво расшитый головной убор. Она устремила на меня взгляд, а в дрожащих руках, в иссохших застенчивых пальцах она держала самое потрясающее подношение — крашеные яйца! Красные и синие, золотые и желтые, расцвеченные лентами и бриллиантами, венками полевых цветов, мерцающие лаком, как гигантские золотые камни.

И там, в самом центре подношения, в ее дрожащих морщинистых руках лежало то самое яйцо, которое она доверила мне когда-то давным-давно, легкое, сырое яйцо, выкрашенное в блестящий, яркий, рубиново-красный цвет, с горящей золотой звездой в центре увитого лентами овала — то самое драгоценное яйцо, несомненно, ее лучшее творение, лучшее достижение проведенных за расплавленным воском и кипящими красками часов.

Оно не потерялось. Оно никогда не терялось. Оно было здесь. Но с ним что-то происходило. Это было слышно. Слышно даже за громогласной разрастающейся песней толпы, почти незаметный звук внутри яйца, незаметный звук бьющихся крыльев, незаметный крик.

— Мама...

Я взял его. Я взял его в ладони и нажал большими пальцами на ломкую скорлупу.

— Нет, сынок! — Она буквально взвыла.— Нет, сын мой, нет, нет! — Слишком поздно. Мои пальцы продавили лакированную скорлупу, а из осколков вылетела птица, прекрасная взрослая птица — с белоснежными крыльями, крошечным желтым клювом и блестящими угольно-черными глазками.

Я испустил долгий глубокий вздох.

Она поднялась из яйца, расправила свои безупречно белые крылья и раскрыла клюв в неожиданном пронзительном крике. Она взлетела вверх, эта птица, освободившаяся от разбитой красной скорлупы, поднимаясь все выше и выше над головами прихожан, над мягким водоворотом зеленых листьев и порха-

ющих воробьев, над великолепным гомоном звенящих колоколов.

Колокола звучали так громко, что сотрясались даже кружащиеся в воздухе листья, так громко, что содрогались уходящие ввысь колонны, что толпа покачивалась и пела еще усерднее, стремясь слиться в унисоне со звучным золотоголосым перезвоном.

Птица улетела. Птица вылетела на свободу.

— Христос родился,— прошептал я.— Христос рожден. Христос на небесах и на земле. Христос с нами.

Но никто не мог расслышать мой голос, мой обращенный к самому себе голос. А какое это имело значение, раз весь мир пел общую песню?

Меня схватила чья-то рука. Грубо, злобно рванула она мой белый рукав. Я повернулся. Я набрал в рот воздуха, чтобы закричать, но застыл от ужаса.

Откуда ни возьмись, рядом со мной возник человек, он стоял так близко, что наши лица практически соприкасались. Он сердито смотрел на меня сверху вниз. Я узнал его рыжие волосы и бороду, неистовые и нечестивые голубые глаза. Я знал, что это мой отец, но это был не мой отец, а какое-то жуткое, могущественное существо, вселившееся во внешнюю оболочку моего отца, выросшее рядом со мной как колосс. Оно обжигало меня взглядом, дразнило меня своей силой и своим ростом.

Он вытянул руку и шлепнул тыльной стороной ладони по золотой чаше. Она пошатнулась и упала, освященное вино запачкало кусочки хлеба, запачкало покровы алтаря из золотой ткани.

— Не смей! — крикнул я.— Смотри, что ты наделал! — Неужели за пением меня никто не слышит? Неужели никто не слышит меня за звоном колоколов?

Я остался один.

Я находился в современной комнате. Я стоял под белым оштукатуренным потолком. Я стоял в жилом доме.

Я стал самим собой, маленькой мужской фигуркой с прежними взъерошенными кудрями до плеч, в фиолетово-красном бархатном пиджаке и в пышных белых кружевах. Я прислонился к стене. Я стоял, застыв от изумления, зная только, что каждая частица этой комнаты, каждая частица меня не менее

реальны и тверды, чем то, что происходило на долю секунды раньше.

Ковер под ногами был такой же настоящий, как листья, снежинками кружившиеся по громадному Софийскому собору, а мои руки, мои безволосые мальчишеские руки,— такими же реальными, как руки священника, которым я был секунду назад, священника, преломлявшего хлеб.

В моем горле зарождался ужасный стон, ужасный крик, которого я сам бы не вынес. Если его не выпустить, я перестану дышать, и это тело, будь оно проклятым или святым, смертным или бессмертным, чистым или испорченным, наверняка разорвется.

Но меня успокоила музыка. Она медленно выплывала — чистая, утонченная, совершенно не такая, как грандиозный, величественный цельный хор, который я только что слышал.

Из тишины выскочили идеальной формы разрозненные ноты, множество льющихся водопадом звуков, которые словно беседовали со мной резко и прямо, бросая удивительный вызов излюбленному мной наплыву мелодий.

Подумать только — какие-то десять пальцев способны вытащить эти звуки из деревянного инструмента, внутри которого настойчивым твердым движением бьют по бронзовой арфе с туго натянутыми струнами молоточки.

Я узнал ее, я узнал эту песню, я узнал фортепьянную сонату. В прошлом я любил ее, теперь же меня парализовала ее ярость. «Аппассионата». Вверх-вниз мчались ноты потрясающими трепетными арпеджио, с грохотом скатываясь вниз, громыхая стучащим стаккато, затем поднимались и снова набирали скорость. Оживленная мелодия продвигалась вперед, красноречивая, праздничная и удивительно человеческая, требуя, чтобы ее не только слушали, но и чувствовали, требуя, чтобы слушатель следовал каждому замысловатому изгибу и повороту. «Аппассионата».

В яростном урагане нот я расслышал звучное эхо, отскакивающее от дерева; расслышал вибрацию гигантской упругой арфы. Я расслышал шипящую дрожь ее бесчисленных струн. О да, дальше, дальше, дальше, дальше, громче, жестче — бесконечная чистота и бесконечное совершенство, звенящее и выжатое, словно ноту использовали как хлыст. И как человеческим

рукам удается творить это волшебство, как они выбивают из клавиш, сделанных из слоновой кости, этот потоп, эту взбудораженную, громоподобную красоту?

Музыка кончилась. Моя агония была так ужасна, что я мог лишь закрыть глаза и застонать, застонать из-за того, что лишился этих хрустальных нот, лишился этой нетронутой чистоты, этого бессловесного звука, тем не менее поговорившего со мной, умолявшего меня стать свидетелем, умолявшего меня разделить и понять чужое напряженное и бесконечно требовательное душевное смятение.

Меня всколыхнул чей-то крик. Я открыл глаза. Комната, где я стоял, оказалась большой и была набита разрозненными, но дорогими предметами, картинами в рамах от пола до потолка, коврами с цветочными узорами, разбегавшимися под изогнутыми ножками современных стульев и столов... И пианино — громадное пианино, откуда и исходил этот звук,— оно сияло среди этой суматохи длинной полоской ухмыляющихся белых клавиш: торжество сердца, души и ума.

Передо мной на полу стоял на коленях мальчик-араб с глянцевыми, коротко стриженными кудрями, в маленькой, но сшитой точно по размеру джеллабе — в хлопчатобумажном одеянии жителей пустыни. Он сидел, зажмурившись, обратив к потолку круглое личико, хотя он меня и не видел, сведя брови и отчаянно шевеля губами, выпаливая арабские слова:

— Приди кто угодно — демон, ангел, останови его, ну приходи, из тьмы. Мне все равно, кем ты будешь, лишь бы у тебя хватило сил и мстительности. Мне все равно, кто ты,— выйди из света, приди по воле богов, не терпящих жестоких мерзавцев. Останови его, пока он не убил мою Сибил. Останови его, тебя вызывает Бенджамин, сын Абдуллы. Возьми в залог мою душу, возьми мою жизнь, но приходи, приходи! У тебя больше сил, чем у меня, спаси мою Сибил.

— Тихо! — заорал я. Я задыхался. У меня взмокло лицо. У меня безудержно дрожали губы.— Что тебе нужно, говори!

Он посмотрел на меня. Он меня увидел. Его круглое византийское личико словно чудесным образом сошло с церковной фрески, но он был здесь, он был настоящий, он увидел меня, и именно меня он хотел увидеть.

— Смотри, ты, ангел! — закричал он с арабским акцентом.— Раскрой пошире свои большие прекрасные глаза!

И я увидел.

До меня мгновенно дошла суть происходящего. Она, молодая женщина, Сибил, сопротивлялась, цепляясь за пианино, не давая стащить себя с табурета, стараясь достать пальцами клавиши, плотно сжав рот, хотя через стиснутые губы прорывался ужасный стон; над плечами летали золотистые волосы. Ее тряс мужчина, тянул ее, орал на нее и внезапно сильно ударил кулаком, так что она упала назад, через табурет, перевернувшись через голову,— нескладный клубок на покрытом ковром полу.

— «Аппассионата», «Аппассионата»,— ревел он, настоящий медведь, темперамент под стать мании величия.— Не буду я слушать, не буду, не буду, отвяжись от меня, от моей жизни. Это моя жизнь! — Он ревел, как бык.— Хватит, поиграла!

Мальчик подпрыгнул и схватил меня. Он сжал мои руки, а когда я уставился на него в недоумении и стряхнул его, он вцепился в мои бархатные манжеты.

— Останови его, ангел. Останови его, дьявол! Сколько можно ее бить! Он же ее убьет. Останови его, дьявол, останови, она же хорошая!

Она встала на колени и поползла, скрывая лицо вуалью спутанных волос. Сбоку на талии виднелось большое пятно подсохшей крови — пятно, глубоко въевшееся в ткань с цветочными узорами.

Я в возмущении следил, как мужчина отходит. Высокий, бритоголовый, с налившимися кровью глазами, он заткнул уши руками и осыпал ее ругательствами:

— Ненормальная, тупая стерва, ненормальная, спятившая стерва, эгоистка. Мне что, жить нельзя? Нельзя жить по справедливости? У меня что, своих желаний нет?

Но она опять раскинула руки над клавишами. Она перешла прямо ко второй части «Аппассионаты», словно ее никто и не прерывал. Ее руки ударяли по клавишам. Один неистовый залп нот за другим, как будто их написали с одной только целью: ответить ему, бросить ему вызов, выкрикнуть: «Я не прекращу, не прекращу!..»

Я знал, что сейчас будет. Он обернулся и окинул ее злобным взглядом — лишь для того, чтобы довести свою ярость до пре-

дела; он широко раскрыл глаза, рот исказился в гримасе боли. На губах заиграла смертельно опасная улыбка.

Она раскачивалась на табурете взад-вперед, ее волосы летали в воздухе, лицо было обращено вверх — ей не приходилось смотреть на клавиши, управлять движением рук, перебегавших справа налево, ни разу не сбившихся.

Из-за ее плотно сжатых губ послышались тихие, отшлифованные звуки — она напевала мелодию, струящуюся из-под клавиш. Она выгнула спину и опустила голову, ее волосы упали на разбегающиеся руки. Она продолжала, она перешла к грому, к уверенности, к отказу, к вызову, к утверждению: да, да, да, да...

Мужчина сделал шаг в ее сторону.

Обезумевший мальчик в отчаянии бросил меня и метнулся между ними, но мужчина ударил его сбоку с таким бешенством, что мальчик растянулся на полу. Однако не успели руки мужчины опуститься на ее плечи — а она уже опять перешла к первой части «Аппассионаты»,— как я схватил его и развернул лицом к себе.

— Убьешь ее, да? — прошептал я.— Что ж, посмотрим.

— Да! — воскликнул он, по лицу лился пот, блестели выпуклые глаза.— Убью! Она раздражает меня до безумия, она меня с ума сводит, все она, и она умрет! — Слишком взбешенный, чтобы хотя бы удивиться моему присутствию, он попытался оттолкнуть меня в сторону и вновь пристально уставился на нее.— Черт тебя подери, Сибил, прекрати эту музыку, прекрати!

Мелодия и аккорды опять достигли громового темпа. Она ринулась в атаку.

Я оттолкнул его, схватил левой рукой за плечо, правой сдвинул подбородок наверх, чтобы не мешал, уткнулся лицом в его горло, разорвал его и глотнул полившуюся мне в рот кровь. Она оказалась обжигающей, густой, полной ненависти, полной горечи, полной разбитых надежд и мстительных фантазий.

Какая же она была горячая! Я пил ее глубокими глотками и все видел — как он любил ее, лелеял ее, талантливую сестренку, он, ловкий, злой на язык брат, кому медведь на ухо наступил, как он вел ее к вершине своей драгоценной и рафинированной вселенной, пока общая трагедия не оборвала ее восхождение и не заставила ее, обезумевшую, отвернуться от него, от воспоминаний, от амбиций и навеки запереться в траур по жертвам трагедии, по любящим, рукоплескавшим родителям, погибшим на извилистой дороге, ведущей через далекую темную долину, в одну из тех самых ночей, что предшествовали ее величайшему триумфу, дебюту гениальной пианистки на глазах всего мира.

Я увидел, как их машина тяжело, с грохотом неслась в темноте. Я услышал, как болтал брат на заднем сиденье, пока сестра крепко спала. Я увидел, как эта машина врезалась в другую машину. Я увидел звезды, жестоких и безмолвных свидетелей. Я увидел израненные, безжизненные тела. Я увидел ее потрясенное лицо — она стояла, целая и невредимая, в порванной одежде, на обочине. Я услышал, как он кричал от ужаса. Я услышал его неверящие проклятия. Я увидел разбитое стекло. Повсюду — разбитое стекло, блестящая красота под фарами. Я увидел ее глаза, ее бледно-голубые глаза. Я увидел, как закрылось ее сердце.

Моя жертва была мертва. Он выскользнул из моих рук.

В нем осталось не больше жизни, чем в его родителях в том жарком пустынном месте.

Он был мертв, скомкан, он больше не сможет обидеть ее, дергать ее длинные золотые волосы, бить ее или останавливать ее музыку.

В комнате воцарилась приятная тишина, если не считать ее игры. Она опять добралась до третьей части и мягко покачивалась в такт ее более спокойному началу, вежливому, размеренному шагу.

Мальчик затанцевал от радости. Настоящий арабский ангел, он подпрыгивал в воздух в своей изящной маленькой джеллабе, босоногий, с покрытой густыми черными кудрями головой, он танцевал и выкрикивал:

— Умер, умер, умер, умер!

Он хлопал в ладоши, потирал руки и снова хлопал, а потом воздевал их к небу.

— Умер, умер, умер, он больше ее не тронет, он больше не взбесится, он за свое бешенство получил, он умер, умер, умер.

Но она его не слышала. Он продолжала играть, пробираясь через сонные низкие ноты, тихо напевая про себя, а потом раскрыла губы и запела песню на одном звуке.

Меня переполняла его кровь. Я чувствовал, как она омывает меня изнутри. Я наслаждался ей, наслаждался каждой каплей.

Я перевел дух, поскольку проглотил ее слишком быстро, а затем медленно, как можно тише, словно она могла меня услышать, хотя на самом деле, конечно, не могла, я подошел, встал у края пианино и посмотрел на нее.

Что за маленькое хрупкое лицо, совсем детское, с глубоко посаженными огромными бледно-голубыми глазами. Но смотри, какие на нем синяки. Смотри, на щеке кроваво-красные шрамы. Смотри, на виске скопление крошечных кровоточащих ранок, напоминающих булавочные уколы,— здесь с корнем вырвали целую прядь волос.

Ей было все равно. Зеленовато-черные синяки на голых руках для нее не имели значения. Она продолжала играть.

Какая нежная шея, пусть на ней и сохранились распухшие чернеющие отпечатки его пальцев, какие грациозные худенькие плечи, на них едва держатся рукава ее тонкого хлопчатобумажного платья. Ее сильные пепельные брови сошлись на переносице — она очаровательно хмурилась от сосредоточенности, глядя не на что иное, как на быструю живую музыку, и только длинные чистые пальцы выдавали ее титаническую, неодолимую силу.

Она скользнула по мне взглядом и улыбнулась, как будто увидела что-то мимолетно приятное; она наклонила голову один, два, три раза в такт быстрому темпу музыки, но складывалось такое впечатление, будто она кивнула мне.

— Сибил,— прошептал я. Я приложил пальцы к губам, поцеловал их и послал ей воздушный поцелуй, а ее руки двинулись дальше.

Но потом ее взгляд затуманился, она опять отрешилась от реальности, поскольку эта часть требовала скорости. Ее голова откинулась назад, и последовала мощная атака на клавиши. И в сонату опять вернулась торжествующая жизнь.

Мной завладело что-то более могущественное, чем солнечный свет. Это была настолько тотальная сила, что она окружила меня целиком и высосала из комнаты, из мира, из звуков ее музыки, из моего собственного сознания.

— Нет, не надо меня забирать! — закричал я. Но звук утонул в необъятной пустой черноте.

Я летел в невесомости, раскинув обгорелые черные руки и ноги, и горел от мучительной пытки, как в аду.

— Не может быть, это не мое тело,— всхлипнул я, увидев, как впечаталась в мышцы черная плоть, похожая на кожу, увидев каждое сухожилие своих рук; мои ногти съежились и почернели, как роговые наросты.— Нет, это не мое тело,— плакал я,— мама, помоги мне, помоги! Бенджамин, помоги мне...

Я начал падать. Теперь никто не поможет мне, только он...

— Господи, придай мне мужества,— кричал я.— Господи, если это начало, то дай мне мужество! Господи, я не могу отказаться от рассудка! Господи, дай мне понять, где я! Господи, дай мне понять, что происходит! Господи, где же церковь? Господи, где же хлеб и вино? Господи, где она? Господи, помоги мне, помоги!..

Я падал все ниже и ниже, мимо стеклянных шпилей, мимо сеток слепых окон. Мимо крыш домов и остроконечных башен. Я падал сквозь резкий и дико воющий ветер. Я падал сквозь колючий ливень снега. Я падал, падал... Я пронесся мимо окна, где безошибочно различил фигуру Бенджамина, державшегося рукой за занавеску, на долю секунды в меня впились его черные глаза, и он открыл рот, крошечный арабский ангел. Я падал ниже и ниже, кожа съеживалась и сжималась на ногах, я уже не мог их согнуть, сжималась на лице, и я уже не мог открыть рот, и с мучительным взрывом саднящей боли я ударился о жесткий наст снега.

Мои открытые глаза затопил огонь. Солнце окончательно встало.

— Сейчас я умру. Умру...— прошептал я.— И в последний момент жгучего паралича, когда исчез весь мир, когда ничего не осталось, я слышу ее музыку! Я слышу заключительные аккорды «Аппассионаты». Я слышу ее. Я слышу ее возбужденную песню.

20

Я не умер. Отнюдь.

Я проснулся от звуков ее игры, но и она, и пианино находились слишком далеко. В первые несколько сумеречных часов я прислушивался к звукам ее музыки, пользовался возможностью искать их, чтобы удержаться от безумных криков, потому что ничем не мог остановить эту боль.

Скованный глубоким снегом, я не мог двигаться и не мог ничего увидеть, если не считать мысленного зрения, но, так как я мечтал умереть, я ничем не пользовался. Я только слушал, как она играет «Аппассионату», и иногда во сне я подпевал ей.

Я слушал ее всю первую ночь и вторую, то есть всегда, когда она была расположена играть. Она могла прерваться на несколько часов, может быть, шла спать. Потом она начинала заново, и я начинал вместе с ней.

Я следовал трем частям, пока не выучил их, как она сама, наизусть. Я познакомился с вариациями, которые она вплетала в музыку; я понял, что она никогда не повторяла ни одну музыкальную фразу дважды.

Я слушал, как меня зовет Бенджамин, я слушал, как звучит его резкий голосок, очень по-ньюйоркски:

— Ангел, ты с нами еще не закончил. Что нам с ним делать? Ангел, вернись, я дам тебе сигарет. У меня полно отличных сигарет. Вернись. Ангел, я пошутил. Я знаю, ты сам достанешь себе сигареты. Но меня правда бесит, что ты оставил нам покойника, Ангел. Вернись.

Иногда я не слышал их часами. У меня не хватало сил найти их телепатически, увидеть их глазами друг друга. Нет. Эта сила исчезла. Я лежал в немой неподвижности, сгорая не только от солнца, но и от всего, что мне довелось видеть и чувствовать, раненый, пустой, мертвый умом и сердцем, за исключением моей к ним любви. Очень просто, не правда ли, в самом черном горе полюбить двух совершенно незнакомых людей, сумасшедшую девушку и озорного уличного мальчишку, ухаживавшего за ней? Убийство ее брата не имело своей истории. Браво — и все кончено. У всего остального, что причиняло мне боль, была история длиной в пятьсот лет.

Наступали часы, когда со мной говорил только город, огромный, гремящий, грохочущий, шелестящий город Нью-Йорк, с вечно лязгающим, несмотря на глубочайшие сугробы, транспортом, с нагромождением слоев голосов и жизней, достигающих той возвышенности, где лежал я, и поднимающихся над нею, до таких пределов, которых до настоящего времени мир и не видывал.

Я узнавал разные вещи, но не знал, что с ними делать. Я знал, что укрывший меня слой снега стал еще глубже, еще тверже, и

не понимал, как такая вещь, как лед, может уберечь от солнечных лучей.

Конечно, я должен умереть, думал я. Если не сегодня, когда встанет солнце, то завтра. Я вспоминал, как Лестат поднял Плат. Я вспоминал его лицо. Но рвение покинуло меня. Покинула и всякая надежда. Каждое утро я думал, что непременно умру. Но не умирал.

Внизу, в далеком городе, я слышал других представителей нашей породы. Я не старался услышать их специально, поэтому до меня долетали не мысли их, но отдельные фразы. Там были Лестат и Дэвид, Лестат и Дэвид считали меня мертвым. Лестат и Дэвид меня оплакивали. Но Лестата преследовали куда более страшные кошмары, потому что Дора, а с ней и весь мир забрали Плат, и город теперь наводнили верующие. Собору с трудом удавалось контролировать толпу.

Приходили и другие бессмертные, молодые, слабые и, что самое жуткое, очень древние; желая рассмотреть это чудо, они проскальзывали в церковь ночью среди смертных верующих и безумными глазами взирали на Плат.

Иногда они говорили о бедном Армане, или о храбром Армане, или о святом Армане, кто, в своей преданности распятому Христу, сгорел заживо на самом пороге церкви!

Иногда они поступали так же, как я. И в тот момент, когда солнце уже вот-вот готовилось встать, мне приходилось их слушать, слушать их последние отчаянные молитвы в ожидании смертоносного света. Справились ли они лучше, чем я? Нашли ли они убежище в объятиях Бога? Или они кричали в агонии, в агонии, которую переживал я, не вынося ожогов и не имея возможности вырваться,— останки в переулках или на далеких крышах? Нет, они приходили и уходили, какой бы ни была их судьба.

Как все это было бледно, как далеко. Я так переживал, что Лестат нашел время оплакивать меня, но мне суждено умереть. Рано или поздно я все равно умру. Что бы я ни увидел в тот момент, когда я поднялся к солнцу, все утратило смысл. Мне предстояло умереть. Вот и все.

Пронзая снежную ночь, электронные голоса вещали о чуде, о том, что лик Христа на льняном Плате исцеляет больных и оставляет отпечаток, если к нему приложить другую ткань.

Дальше следовали споры священников и скептиков, настоящий гул.

Я не искал смысла. Я мучился. Я горел. Я не мог открыть глаза, а если пытался, ресницы царапали их, и становилось невыносимо больно. Я ждал ее в темноте.

Рано или поздно неизменно начинала звучать ее потрясающая музыка, с новыми, чудесными вариациями, и тогда я ни о чем не задумывался — ни о тайне моего местонахождения, ни о том, что намерены делать Лестат и Дэвид.

Только на седьмую, кажется, ночь мои органы восприятия окончательно восстановились, и тогда я понял весь ужас своего положения.

Лестат ушел. Дэвид тоже. Церковь заперли. Из бормотания смертных вскоре стало ясно, что Плат увезли.

Я слышал мысли всего города, невыносимый гул. Я отгородился от него, опасаясь, что, поймав хотя бы одну искру моей телепатии, какой-нибудь бессмертный бродяга решит меня приютить. Я не вынес бы и мысли о том, что бессмертные незнакомцы попытаются меня спасти. Я не вынес бы и мысли об их лицах, их расспросах, возможном участии или безжалостном равнодушии. Я скрывался от них, свернувшись в своей потрескавшейся, натянувшейся коже. Но я все равно их слышал, как слышал окружающие их смертные голоса — они говорили о чудесах, искуплении и любви Христа.

Кроме того, мне было о чем подумать — о моем затруднительном положении и о том, как все получилось.

Я лежал на крыше. Я оказался там в результате падения, но не под открытым небом, как я надеялся — или предполагал. Напротив, мое тело свалилось с покатого металлического листа и укрылось под рваным, ржавым навесом, где его неоднократно засыпало заметенным ветром снегом. Как я сюда попал? Можно было только догадываться.

По собственной воле с первым взрывом моей крови на утреннем солнце я поднялся вверх, наверное, на максимально доступное мне расстояние. Веками я знал, как взбираться на воздушные высоты и передвигаться на них, но никогда не доходил до теоретически возможного предела, однако в моем ревностном стремлении к смерти я напряг все силы, чтобы взлететь к небесам. Упал я с величайшей высоты.

Подо мной находилось пустое, брошенное, опасное здание, без отопления и без света.

Ни звука не доносилось со стороны его полых металлических лестничных пролетов или раздолбанных, рассыпающихся комнат. Только ветер подчас играл на здании, как на гигантском органе, и, когда Сибил покидала свое пианино, я слушал эту музыку, изгоняя насыщенную какофонию окружавшего меня сверху, снизу и со всех сторон города.

Иногда на нижние этажи здания заползали смертные. Я проникался внезапными извращенными надеждами. Может быть, кто-то достаточно глуп, чтобы забрести на крышу и попасть в мои руки, чтобы я выпил кровь, необходимую хотя бы для того, чтобы освободиться и выползти из-под защищавшего меня навеса и тем самым отдаться солнцу? В настоящем же положении солнце едва меня доставало. Только тускло-белый свет царапал плоть сквозь окутывавший меня снежный саван, и каждую удлиняющуюся ночь новая боль сливалась с прежней. Но сюда никто никогда не заходил.

Смерть будет медленной, очень медленной. Может быть, ей придется подождать, пока не потеплеет и не растает снег.

Поэтому каждое утро, мечтая о смерти, я постепенно осознавал, что проснусь, наверное, еще больше обгоревшим, чем раньше, но и глубже укрытым зимней метелью, все это время скрывавшей меня от сотен освещенных окон, выходивших сверху на эту крышу.

Когда наступала мертвая тишина, когда Сибил спала, а Бенджи прекращал молиться мне и разговаривать со мной у окна, начиналось самое худшее. Холодно, апатично и отстраненно я думал о странных вещах, приключившихся с мной, пока я падал сквозь воздушную бездну, потому что все остальное не шло мне в голову.

Ведь все было удивительно реально: алтарь Софийского собора, преломляемый хлеб. Я столько всего узнал, но ничего не мог вспомнить, не мог облечь в слова, и сейчас, диктуя это повествование, я не смог бы членораздельно восстановить эту историю, даже если бы попытался.

Реально. Осязаемо. Я чувствовал на ощупь покровы алтаря, видел, как пролилось вино, а еще раньше — как из яйца подня-

лась птица. Я слышал, как трещит скорлупа. Я слышал голос матери. И все остальное.

Но моему разуму эти вещи были больше не нужны. Просто не нужны. Рвение мое на поверку оказалось хрупким. Оно ушло, ушло, как ночи, проведенные с моим господином в Венеции, ушло, как годы странствий с Луи, ушло, как праздничные месяцы на острове Ночи, ушло, как долгие позорные столетия Детей Тьмы, когда я был дураком, настоящим дураком.

Я мог думать о Плате, я мог думать о небесах, я мог вспоминать, как стоял у алтаря и своими руками творил чудо с телом Христа. Да, мог. Но все в совокупности было слишком ужасно: я не умер, никакой Мемнох не умолял меня стать его помощником, никакой Христос не простирал ко мне руки на фоне бесконечного света Господа.

Намного приятнее было думать о Сибил, вспоминать, что ее комната с ярко-красными и синими турецкими коврами и покрытыми темным лаком непропорционально большими картинами была ничуть не менее реальна, чем киевский Софийский собор, вспоминать, как побледнело ее овальное лицо, когда она повернулась, чтобы взглянуть на меня, и как внезапно загорелись ее влажные, живые глаза.

Как-то вечером, когда мои глаза по-настоящему открылись, когда мои веки действительно поднялись над глазными яблоками и я увидел над собой белую ледяную корку, я осознал, что начал исцеляться.

Я попытался согнуть руки. Я смог приподнять их, чуть-чуть, и сковывающий меня лед дрогнул с чрезвычайно необычным электрическим звуком.

Солнце никак не могло сюда добраться, или же ему не хватало места бороться со сверхъестественно яростной, могущественной кровью, содержащейся в моем теле. О Господи, только подумать — пятьсот лет набираться сил, прежде всего родиться от крови Мариуса, с самого начала быть настоящим монстром, так и не подозревая о собственном могуществе.

В тот момент мне казалось, что моей злости и моему отчаянию наступил предел. Казалось, что раскаленная боль во всем теле достигла своего пика.

Потом заиграла Сибил. Она начала «Аппассионату», и мне стало все равно.

Мне было все равно, пока не прекратилась музыка. Ночь выдалась теплее, чем обычно; снег слегка подтаял. Казалось, поблизости нет никаких бессмертных. Я знал, что Плат перевезли в Ватикан. И какой теперь смысл приходить сюда бессмертным? Бедная Дора. В вечерних новостях говорили, что у нее забрали ее добычу. Плат должен был исследовать Рим. Ее рассказы о странных светловолосых ангелах стали достоянием бульварной прессы, а сама она уехала.

В определенный момент я осмелился зацепиться сердцем за музыку Сибил и, напрягая до боли голову, выслать вперед свое телепатическое зрение, как часть тела, как язык, требующий выносливости, чтобы посмотреть глазами Бенджамина на комнату, где они обитали вдвоем.

Я увидел ее в приятном золотистом тумане, увидел стены, увешанные тяжелыми картинами в рамах, увидел мою красавицу в пушистом белом платье, в рваных тапочках. Ее пальцы продолжали трудиться. А Бенджамин, маленький непоседа, нахмурившись, попыхивая черной сигареткой, сцепив руки за спиной, расхаживал босиком из угла в угол, покачивая головой и бормоча про себя:

— Ангел, я же велел тебе, вернись!

Я улыбнулся. Шрамы на щеках болели так, словно их прорезали кончиком наточенного ножа. Я закрыл телепатический глаз. Под звуки быстрых крещендо я позволил себе замечтаться. К тому же Бенджамин что-то почувствовал; его разум, не извращенный западной цивилизацией, уловил отблеск моего любопытства. Хватит.

Потом ко мне пришло новое видение, очень резкое, очень необычное, очень непривычное, им нельзя было пренебрегать. Я еще раз повернул голову, лед треснул. Я держал глаза открытыми. Я видел неясное пятно возвышающихся надо мной освещенных башен.

Внизу, в городе, обо мне думал какой-то бессмертный, он находился далеко, за много кварталов от закрытого собора. На самом деле я мгновенно почувствовал вдалеке присутствие двух сильных вампиров, знакомых вампиров, вампиров, знавших о моей смерти и горько сожалевших о ней; они выполняли какое-то важное дело.

Здесь имелся определенный риск. Попробуй их увидеть — и они заметят намного больше, чем то, что не замедлил отметить Бенджамин. Но, насколько я понимал, в городе других вампиров сейчас не присутствовало, и нужно было узнать, что заставило их двигаться с такой целеустремленностью и с такой скрытностью.

Прошел, наверное, час. Сибил молчала. Они, могущественные вампиры, продолжали заниматься своим делом. Я решил рискнуть.

Я приблизил к ним свои бестелесные глаза и быстро осознал, что могу видеть одного глазами другого, но не наоборот. Причина была очевидна. Я напряг зрение. Я смотрел глазами Сантино, бывшего главы римского общества, Сантино, а увидел я Мариуса, моего создателя, чьи мысли оставались скрытыми от меня навсегда.

Они осторожно приближались к большому учреждению, оба одетые как современные джентльмены — в аккуратные темно-синие костюмы, вплоть до накрахмаленных белых воротничков и узких шелковых галстуков. Оба подстриглись, отдавая дань моде служащих корпораций. Но направлялись они, вгоняя в безвредный транс каждого смертного, кто пытался им помешать, отнюдь не в корпорацию. А в здание медицинского назначения. И я быстро догадался, по какому они пришли делу.

Они бродили по городской лаборатории криминалистики. И хотя они не торопились набирать в тяжелые портфели документы, волнение заставляло их поскорее вытащить из холодильных установок останки тех вампиров, кто последовал моему примеру и сдался на милость солнца.

Естественно, они занимались конфискацией материалов, какими располагал о нас мир. Они вычерпывали останки. Они перекладывали останки из похожих на гробы ящиков и с блестящих серебряных подносов в простые пластиковые пакеты. Целые кости, пепел, зубы, ну да, даже зубы,— все сметали они в эти мешки. А потом, из ящиков для картотеки, они извлекли образцы сохранившейся одежды.

У меня заколотилось сердце. Я пошевелился во льду, и лед заговорил в ответ. Нет, успокойся, сердце. Это мои кружева, мои личные кружева, плотные венецианские кружева, обгоревшие

на краях, и несколько обрезков фиолетово-красного бархата! Да, именно мои жалкие одежды достали они из пронумерованного отделения каталога и сунули в пакет.

Мариус остановился. Я отвернулся — и физически, и мысленно. Не смотри на меня. Стоит тебе увидеть меня, прийти сюда, и, клянусь Богом, я... Что? У меня нет сил даже пошевелиться. У меня нет сил скрыться. О Сибил, пожалуйста, поиграй, мне нужно скрыться.

Но потом, припомнив, что он — мой создатель, что он способен выследить меня только через более слабый и более одурманенный разум своего спутника, Сантино, я почувствовал, что мое сердце успокаивается.

Из хранилища недавних воспоминаний я извлек ее музыку, я окружил ее цифрами, числами, датами, каждым из мелких детритов, пронесенных мной к ней сквозь века: что ее милый шедевр написал Бетховен, что он называется «Соната № 23, фаминор, опус 57». Вот об этом и думай. Думай о вымышленной ночи в холодной Вене, вымышленной, поскольку на самом деле я в этом не разбирался, думай, как он писал музыку шумным, царапающим бумагу пером, звуков которого сам, наверное, не слышал. Думай, какие гроши ему платили. И думай с улыбкой, да, с болезненной режущей улыбкой, от которой по лицу течет кровь, как ему поставляли пианино за пианино — так мощно, так требовательно, так яростно бил он по клавишам.

И какую подходящую дочь получил он в лице симпатичной Сибил — устрашающая сила ее ударов по клавишам наверняка привела бы его в восторг, доведись ему заглянуть в будущее и отыскать среди неистовых студентов и поклонников одну конкретную одержимую девушку.

Сегодня было теплее. Лед начал таять. В этом сомневаться не приходилось Я сжал губы и еще раз поднял правую руку. Теперь над ней появилась выемка, и я мог шевелить пальцами.

Но они не шли у меня из головы, невероятная пара — тот, кто создал меня, и тот, кто пытался его уничтожить, Мариус и Сантино. Я должен был вернуться. Я осторожно выслал слабый, пробный луч мысли. И через мгновение я их выследил.

Они стояли перед сжигателем мусора в недрах здания и бросали в его жадную пасть все собранные ими улики; пакет за пакетом скручивался и потрескивал в пламени.

Как странно. Разве им самим не хотелось посмотреть на эти фрагменты в микроскоп? Но другие представители нашего рода наверняка уже это проделывали, и зачем смотреть на кости и зубы тех, кто спекся в аду, если можно срезать с собственной руки бледную белую ткань и поместить срез на стекло, в то время как рука по волшебству исцелится, как исцеляюсь я даже в настоящий момент.

Я не отпускал видение. Я увидел туманный подвал, где они стояли. Я увидел над их головами низкие балки. Собрав все силы для проекции взгляда, я увидел лицо Сантино, расстроенное, мягкое лицо того, кто разбил вдребезги единственную выпавшую на мою долю юность. Я увидел, что мой бывший господин почти печально взирает на огонь.

— Кончено,— тихим властным голосом сказал Мариус своему спутнику, обращаясь к нему на безупречном итальянском языке.— Не представляю себе, что еще можно сделать.

— Взломать Ватикан и похитить Плат,— ответил Сантино.— Какое право они имеют забирать такую вещь?

Я мог только наблюдать за реакцией Мариуса — за его внезапным потрясением и последующей вежливой, сдержанной улыбкой.

— Зачем? — спросил он, словно не имел от Сантино секретов.— Что нам до Плата, друг мой? Ты считаешь, он приведет его в чувство? Прости меня, Сантино, но ты еще так молод!

В чувство... Приведет его в чувство. Значит, это про Лестата. Единственное возможное значение. Я решил зайти еще дальше. Я просмотрел мысли Сантино в поисках того, что было ему известно, и отшатнулся в ужасе, но увиденного не выпускал.

Лестат, мой Лестат — ведь он никогда не был их Лестатом? — мой Лестат в результате обезумел из-за этой ужасной саги и стал пленником древнейшей представительницы нашего рода, постановившей, что, если он не прекратит мутить воду, подразумевая, естественно, тайну о нашем существовании, его уничтожат способом, доступным только Старейшим, и никто не смеет умолять за него ни под каким предлогом.

Нет, такого не может быть! Я извивался и ворочался. По моему телу бежали волны боли, красные, фиолетовые, пульсирующие оранжевым светом. С момента своего падения я не видел

таких цветов. Рассудок возвращался ко мне, но что ему досталось? Лестата уничтожат! Лестат в плену, как я сам, много веков назад, под Римом, в катакомбах Сантино. О Господи, это хуже, чем солнечный огонь, хуже, чем смотреть, как брат-подонок бьет Сибил по личику со сливовыми щеками и отталкивает ее от пианино, сбивая с ног.

Но я нарвался на неприятности.

— Идем, пора выбираться отсюда,— сказал Сантино.— Что-то здесь не так, я что-то чувствую, но не могу объяснить. Такое впечатление, что с нами здесь кто-то еще, но его здесь нет. Такое впечатление, что равное мне по силе существо расслышало мои шаги за многие мили.

Мариус выглядел доброжелательным и любопытным, он совсем не встревожился.

— Нью-Йорк сегодня принадлежит нам,— легко сказал он. И со смутным страхом заглянул напоследок в печь.— Если только дух, цепляющийся за жизнь, не держится за его бархат и кружева.

Я закрыл глаза. О Господи, как бы мне закрыть еще и мысли! Захлопнуть поплотнее.

Его голос не умолкал, пронзая раковину моего сознания в том месте, где она успела размягчиться.

— Но я никогда не верил в такие вещи,— сказал он.— Мы сами в некоторой степени евхаристия — как ты думаешь? Будучи телом и кровью таинственного бога до того момента, пока держимся избранной нами формы. Что такое прядь рыжих волос и обрывки обожженных кружев? Его нет.

— Я тебя не понимаю,— мягко признался Сантино.— Но если ты считаешь, что я никогда его не любил, ты глубоко, глубоко заблуждаешься.

— Ну, пойдем,— сказал Мариус.— Дело сделано. Все следы стерты. Но обещай мне от всей своей старинной римской католической души, что не отправишься на поиски Плата. Миллион пар глаз смотрели на него, Сантино, и ничего не изменилось. Мир остался прежним, под небом в каждом квадранте умирают дети, голодные и одинокие.

Дальше я не мог рисковать.

Я отклонился от курса, обыскивая ночь, как луч маяка, выбирая смертных, кто может заметить, как они покинули зда-

ние, где занимались делом чрезвычайной важности, но они удалились слишком незаметно, слишком быстро.

Я почувствовал, как они ушли. Я почувствовал, как внезапно пропало их дыхание, их пульс, и я знал, что их унес ветер.

Наконец, по прошествии еще часа, я дал своим глазам обойти те же старые комнаты, где бродили они.

Все было спокойно у бедных одурманенных техников и охранников, которых ввели в транс белолицые призраки из другого мира, выполнявшие свою отвратительную задачу.

К утру обнаружат кражу, обнаружат, что вся работа пропала, и Дорино чудо получит очередное печальное оскорбление, что только ускорит потерю интереса к нему.

У меня все воспалилось. Я сухо, хрипло расплакался, не в состоянии даже набрать в себе слез.

Кажется, один раз я заметил свою руку, гротескные когти, скорее освежеванные, чем обгоревшие, и глянцево-черные, какими я их и помнил — или видел.

Потом меня начала терзать одна загадка. Как же я смог убить злого брата моей бедной возлюбленной? Как могло это быстрое страшное правосудие быть чем-то, кроме иллюзии во время моего подъема и падения под тяжестью утреннего солнца?

А если на самом деле этого не произошло, если я не осушил досуха этого жуткого мстительного брата, значит, они — просто сон, моя Сибил и мой маленький бедуин. Ну неужели это будет последним кошмаром?

Ночь достигла самого страшного часа. В оштукатуренных комнатах глухо били часы. Под колесами трещал вспененный снег. Я еще раз поднял руку. Неизбежный хруст и щелчок. Меня засыпало осколками льда, словно битым стеклом!

Я посмотрел вверх, на чистые, искрящиеся звезды. Как они прекрасны — сторожевые стеклянные шпили с прикрепленными к ним золотыми квадратиками света, рядами вырезанные резко вдоль и поперек, испещряющие воздушную черноту зимней ночи. А вот и ветер-тиран, шуршащий в хрустальных каньонах, достигающий маленькой заброшенной постели, где лежит один забытый демон, глядя воровским взглядом огромной души на приободрившиеся в городских огнях облака. Звездочки, как же я вас ненавидел, как я завидовал, что в этом призрачном ва-

кууме вам удается с такой решимостью следовать намеченному курсу.

Но я уже ничего не ненавидел. Моя боль очистила меня от всего недостойного. Я следил, как небо затягивается облаками, поблескивает, на одну великолепную спокойную секунду превращается в бриллиант, а затем мягкий белый туман снова поглощает золотистые отблески городских фонарей и посылает им в ответ мягчайший, легчайший снег.

Он упал на мое лицо. Он упал на мою вытянутую руку. Он падал на все мое тело, тая крошечными волшебными снежинками.

— А теперь взойдет солнце,— прошептал я, словно меня обнял некий ангел-хранитель,— и даже здесь, под перекошенным жестяным навесом, через сломанный настил оно достанет меня и унесет мою душу к новым глубинам боли.

В ответ раздался протестующий крик. Чей-то голос умолял, чтобы этого не случилось. Мой голос, решил я,— конечно, как же обойтись без самообмана? Безумие — считать, что я перенесу все эти ожоги и второй раз вытерплю это по собственной воле.

Но голос принадлежал не мне. А Бенджамину, Бенджамину, поглощенному молитвой. Выбросив вперед свой бесплотный глаз, я увидел его. Он стоял на коленях в комнате, а она, как спелый сочный персик, спала среди мягких, сбившихся в сторону покрывал.

— Ну, ангел, дибук, помоги нам. Дибук, ты уже приходил. Приходи еще раз. Не беси меня, приходи!

— *Сколько часов осталось до рассвета, маленький мужчина?* — прошептал я в его небольшое, похожее на морскую раковину ухо, словно сам этого не знал.

— Дибук! — закричал он.— Это ты, ты говоришь со мной! Сибил, проснись, Сибил!

— *Нет, подумай, прежде чем будить ее. Это страшное задание. Я не то потрясающее существо, на твоих глазах высосавшее кровь из твоего врага, обожествлявшее ее красоту и твою радость. Если ты решил отдать долг, ты придешь забрать чудовище, оскорбление для твоих невинных глаз. Но не сомневайся, маленький мужчина, я буду с тобой навсегда, если*

ты окажешь мне эту услугу, если ты придешь ко мне, если ты мне поможешь, потому что воля покидает меня, я один, я хочу восстановиться, но сам справиться не могу, мои годы ничего не значат, и мне страшно.

Он вскарабкался на ноги. Он встал и выглянул в далекое окно, в окно, через которое я мельком подсмотрел за ним во сне его же смертными глазами, но он меня увидеть не мог, я лежал на крыше внизу, под роскошной квартирой, что он делил с моим ангелом. Он расправил свои квадратные плечики и, серьезно нахмурив черные брови, превратился в точную копию византийской фрески: херувим еще младше меня.

— Назови цену, дибук, я иду к тебе! — объявил он и сложил в кулак свою могучую ручонку.— Где ты, дибук, чего ты боишься, чего мы не победим вместе? Сибил, проснись, Сибил! Наш божественный дибук вернулся, и мы нужны ему!

21

Они пошли за мной. Здание находилось рядом с их домом, заброшенная груда металла. Бенджамин ее знал. Несколькими тихими телепатическими фразами я попросил его принести молоток и ледоруб, чтобы разбить оставшийся лед, а также захватить пару теплых одеял, чтобы завернуть меня.

Я знал, что ничего не вешу. Сделав несколько болезненных движений руками, я сломал еще часть прозрачного потолка. Своими когтистыми руками я потрогал голову и выяснил, что ко мне вернулись волосы — по-прежнему густые, каштановые. Я поднес прядь волос к свету, но боль в руке стала невыносимой, и я уронил ее, не в состоянии пошевелить высохшими, искривленными пальцами. Необходимо загипнотизировать их хотя бы для первой встречи. Нельзя им смотреть на то, что от меня осталось, на черное кожаное чудище. Никакой смертный не перенесет такого зрелища, какие бы слова ни сходили с моих губ. Нужно как-то прикрыться.

Не имея зеркала, я не мог знать, как выгляжу и что конкретно делать. Оставалось только воображать, воображать былые дни в Венеции, когда я был красавчиком и прекрасно знал свою внешность по портновскому зеркалу, и спроецировать этот образ

прямо в их мысли, пусть на это потребуется вся оставшаяся у меня сила; да, так я и сделаю, а еще нужно дать им указания.

Я неподвижно лежал и смотрел на мягкий теплый снегопад, на крошечные снежинки, такие непохожие на ужасный буран предыдущих ночей. Я не осмеливался использовать свои таланты, чтобы следить за их продвижением.

Внезапно я услышал громкий звон бьющегося стекла. Внизу хлопнула дверь. Я услышал, как они неровными шагами помчались по металлической лестнице, карабкаясь по пролетам.

Мое сердце тяжело билось, с каждой судорогой накачивая меня болью, словно тело обжигала собственная кровь.

Внезапно стальная дверь на крыше распахнулась. Я услышал, как они помчались ко мне. При слабом сонном свете соседних высоких башен я разглядел две маленькие фигурки — ее, женщины из сказки, и его, ребенка не старше двенадцати лет,— они спешили ко мне.

Сибил! Что же она вышла на крышу без верхней одежды, с распущенными волосами? Как это печально. И Бенджамин не лучше — в тонкой хлопчатобумажной джеллабе. Но они принесли для меня бархатное покрывало, и нужно было вызвать видение.

Где тот мальчик, каким я был, где тончайший зеленый атлас и ряды изысканных кружев, где чулки и обшитые тесьмой сапоги. И пусть у меня будут чистые блестящие волосы.

Я медленно открыл глаза, переводя взгляд с одного бледного восхищенного лица на другое. Они стояли под падающим снегом, как два ночных бродяги.

— Ну знаешь, дибук, ты нас перепугал,— сказал Бенджамин бешеным, возбужденным голосом,— а посмотреть на тебя — ты такой красивый.

— Нет, не верь глазам своим, Бенджамин,— возразил я.— Быстрее несите свои инструменты, разбейте лед и накройте меня покрывалом.

Сибил взялась за железный молоток с деревянной ручкой и обеими руками обрушила его, моментально пробив верхний мягкий слой льда. Бенджамин принялся колоть остальной лед, превратившись в маленькую машину, кидаясь то влево, то вправо; осколки разлетались, как жуки.

Ветер подхватил волосы Сибил и бросил ей в глаза. К ее векам липли снежинки.

Я удерживал образ беспомощного мальчика в атласных одеждах, приподнявшего мягкие розовые руки, не способного им помочь.

— Не плачь, дибук,— объявил Бенджамин, ухватившись обеими руками за гигантскую тонкую пластину льда.— Мы тебя вытащим, не плачь, ты теперь наш. Мы тебя забираем.

Он отбросил в сторону огромные зазубренные сломанные пластины, а потом сам, по-видимому, замерз сильнее, чем любой лед, уставившись на меня, округлив рот от изумления.

— Дибук, ты меняешь цвет! — воскликнул он и протянул руку, чтобы потрогать мое иллюзорное лицо.

— Не надо, Бенджи,— сказала Сибил.

Тогда я впервые услышал ее голос и заметил нарочитое храброе спокойствие ее побелевшего лица. От ветра ее глаза слезились, хотя стойкость ее не поколебалась. Она выбрала лед из моих волос.

От холода по моему телу пробежала ужасная дрожь, да, она притушила пожар, но по моему лицу потекли слезы. Из крови?

— Не смотрите на меня,— сказал я.— Бенджи, Сибил, не смотрите. Просто дайте мне в руки покрывало.

Она болезненно прищурила глаза, но упрямо продолжала смотреть на меня ровным взглядом, подняв одну руку, чтобы придержать воротник своей непрочной хлопчатобумажной ночной рубашки, держа вторую надо мной.

— Что с тобой случилось, после того как ты приходил к нам? — спросила она удивительно добрым голосом.— Кто это сделал?

Я глотнул воздуха и снова вызвал видение. Я вытолкнул его из каждой поры, как будто мое тело превратилось в единый дыхательный орган.

— Нет, не надо больше,— умоляла Сибил.— Ты от этого слабеешь и ужасно мучаешься.

— Я вылечусь, милая,— сказал я,— честное слово, вылечусь. Я не останусь таким навсегда, уже скоро я изменюсь. Только снимите меня с крыши. Уберите меня с холода туда, где солнце меня не достанет. Это сделало солнце. Всего лишь солнце. Унесите меня, пожалуйста. Я не могу идти. Даже ползти не могу. Я — ночной зверь. Спрячьте меня в темноте.

— Довольно, ни слова больше! — закричал Бенджи.

Я открыл глаза и увидел, как меня накрыла огромная голубая волна, словно меня завернули в летнее небо. Я почувствовал мягкое прикосновение бархатного ворса, но даже это оказалось больно, больно для горящей кожи, но такую боль я мог вынести, потому что до меня дотрагивались их сочувственные руки, и ради этого, ради их прикосновений, ради их любви я вынес бы все, что угодно.

Я почувствовал, как меня подняли. Я знал, что вешу не много, но как ужасно было ощущать собственную беспомощность, пока меня заворачивали.

— Вам не тяжело меня нести? — спросил я. Моя голова запрокинулась, я опять увидел снег и вообразил, что, если напрячь глаза, можно увидеть и звезды, задержавшиеся на своей высоте ради тумана одной-единственной крошечной планеты.

— Не бойся,— прошептала Сибил, приближая губы.

Внезапно запахло их кровью, густой и сочной, как мед. Они взяли меня вдвоем, подняли на руки и побежали по крыше. Я освободился от пагубного снега и льда, я свободен практически навсегда. Нельзя допускать и мысли об их крови. Нельзя допускать, чтобы это прожорливое обгорелое тело взяло верх. Это немыслимо.

Мы спускались по металлической лестнице, следуя поворот за поворотом, их ноги стучали по хрупким стальным ступеням, мое тело сотрясалось и пульсировало в агонии. Я видел над собой потолок, а потом смешавшийся запах их крови возобладал над всем остальным, я закрыл глаза и сжал обгорелые пальцы, услышав при этом, как треснула кожаная плоть. Я вонзил ногти в ладони.

Я услышал над ухом голос Сибил:

— Ты с нами, мы тебя крепко держим, мы тебя не выпустим. Это недалеко. Господи, ты только посмотри, посмотри, что с тобой сделало солнце!

— Не смотри! — резко сказал Бенджи.— Давай быстрее! Ты что, считаешь, такой могущественный дибук не знает, о чем ты думаешь? Будь умницей, поторопись.

Они спустились на цокольный этаж, к открытому окну. Я почувствовал, Сибил поднимает меня, просунув руки мне под голову и под согнутые колени, и снаружи, не отдаваясь больше эхом в стенах, раздался голос Бенджика:

— Вот и все, теперь давай его мне, я его подержу!

У него был взволнованный голос.

Сибил вылезла в окно вместе со мной, это я смог определить, хотя мой тонкий ум дибука полностью исчерпался, и я уже ничего не знал, кроме боли, боли и крови, и еще раз боли, и опять крови, а они тем временем бежали по длинному темному переулку, где небес я уже не видел.

Однако мне стало очень приятно. Колеблющиеся движения, покачивание моих обгорелых ног и мягкие прикосновения ее успокаивающих пальцев через ткань — все это было извращенно чудесно. Боль кончилась, остались просто ощущения. На лицо мне упало покрывало.

Они поспешно продвигались вперед, скрипя ногами по снегу, один раз Бенджи поскользнулся и громко вскрикнул, но Сибил успела его подхватить. Он перевел дух.

Скольких усилий им это стоит, еще и на таком морозе. Им необходимо попасть в тепло. Они вошли в отель, где жили. Едкий теплый воздух вырвался навстречу, несмотря на то что двери были открыты, и не успели они закрыться, как по вестибюлю разлетелось эхо резких шагов туфелек Сибил и поспешного шарканья сандалий Бенджика.

С внезапным взрывом боли в ногах и в спине я почувствовал, что согнулся вдвое, что колени мои поднялись вверх, а голова опрокинулась на них — мы забились в лифт. Я задавил крик в горле. Это сущие пустяки. Лифт, пропахший старыми моторами и надежным старым маслом, начал, дергаясь и покачиваясь, подниматься вверх.

— Мы дома, дибук,— прошептал Бенджи, дыханием обжигая мне щеку, хватая меня рукой через одеяло и больно нажимая на голову.— Теперь ты в надежном месте, мы поймали тебя и больше не отпустим.

Клацанье замков, шаги по деревянному полу, запах ладана и свечей, стойких женских духов, густого лака для изысканных вещей, старых холстов с потрескавшейся краской, свежих и невероятно приятных белых лилий.

Мое тело бережно уложили в пуховую постель, взбив одеяло, и, когда я опустился на шелк и бархат, подушки, казалось, растаяли подо мной.

В этом самом взъерошенном гнезде я заметил ее своим мысленным взором, золотистую, спящую, в белой рубашке, а она отдала ее такому страшилищу.

— Не снимайте покрывало,— сказал я. Я знал, что именно это и собрался сделать мой маленький друг.

Неустрашимый, он аккуратно сдвинул его. Одной выздоравливающей рукой я попытался схватить его, вернуть обратно, но мне удалось только согнуть обгоревшие пальцы.

Они встали над кроватью и рассматривали меня. Вокруг них, смешиваясь с теплом, вился свет — вокруг хрупких фигурок стройной фарфоровой девушки, с чьей молочной кожи стерлись следы синяков, и маленького мальчика-араба, мальчика-бедуина. Теперь я осознал, что таково его настоящее происхождение. Они бесстрашно уставились на то, что для человеческих глаз являлось зрелищем омерзительным.

— Какой ты блестящий! — сказал Бенджи.— Тебе не больно?

— Что нам сделать? — спросила Сибил приглушенным тоном, как будто меня мог поранить даже ее голос. Она прикрыла рот руками. Непокорные пряди ее густых прямых светлых волос двигались на свету, руки посинели от холода, и она не могла сдержать дрожь. Бедное скромное создание, такое хрупкое. Ее ночная рубашка помялась — тонкий белый хлопок, расшитый цветами, с оборками из узких прочных кружев, одеяние девственницы. Ее глаза наполнились сочувствием.

— Знай, что у меня за душа, мой ангел,— сказал я.— Я — существо испорченное. Бог меня не принял. Дьявол тоже не принял. Я поднялся к солнцу, чтобы они забрали мою душу. Она была любящей, не боялась ни адского огня, ни боли. Но моим чистилищем, моей темницей стала наша земля, эта самая земля. Не знаю, как я попал к вам в тот раз. Не знаю, какая сила подарила мне несколько кратких секунд, чтобы появиться здесь, в вашей комнате, и встать между тобой и смертью, нависшей над тобой, как тень.

— Нет-нет,— в страхе прошептала она, поблескивая глазами в тусклом свете комнаты.— Он ни за что меня не убил бы.

— Нет, еще как убил бы! — сказал я, и Бенджи произнес точно такие же слова следом за мной.

— Он напился, ему было наплевать, что он делает,— мгновенно взорвался Бенджи,— у него были здоровенные, неуклюжие, поганые руки, ему было наплевать, что он делает, а когда он в последний раз ударил тебя, ты пролежала два часа в этой постели, как мертвая, и даже не шелохнулась! Ты что, думаешь, дибук убил бы твоего брата просто так?

— Я думаю, он прав, моя красавица,— сказал я. Говорить было очень трудно. С каждым словом приходилось приподнимать грудь. Вдруг мне отчаянно, безумно захотелось посмотреться в зеркало. Я заворочался и повернулся на кровати, но застыл от боли. Их охватила паника.

— Не двигайся, дибук, не надо! — взмолился Бенджи.— Сибил, шелк, тащи сюда шелковые платки, мы его завернем.

— Нет! — прошептал я.— Накройте меня покрывалом. Если вы так хотите видеть мое лицо, оставьте его, но остальное закройте. Или...

— Или что, дибук, говори!

— Поднимите меня, чтобы я увидел, на что я похож. Поставьте меня перед высоким зеркалом.

Они озадаченно замолчали. Длинные золотые волосы Сибил улеглись и ровным льняным слоем легли на ее большую грудь. Бенджи жевал губу.

По всей комнате плыли краски. Голубой шелк, прибитый к оштукатуренным стенам, кипы богато расшитых подушек вокруг, золотая бахрома, а там, подальше, на люстре качаются стеклянные палочки, пропитанные всеми сверкающими цветами радуги. Я вообразил, что слышу звенящую песню стекла при соприкосновении палочек. Моему слабому помутившемуся рассудку казалось, что я никогда еще не видел столь неподдельного великолепия, что за все эти годы я забыл, насколько ярок и совершенен мир.

Я закрыл глаза, прижав к сердцу образ комнаты. Я вдохнул поглубже сладкий, чистый аромат лилий, борясь с благоуханием их крови.

— Вы не дадите мне посмотреть на те цветы? — прошептал я.

Обуглились ли мои губы? Видны ли им мои клыки, и пожелтели ли они от огня? Лежа на шелковой простыне, я погрузился

в дремотное состояние. Я дремал, и мне показалось, что теперь можно и заснуть, в безопасности, в полной безопасности. Лилии стояли рядом. Я снова протянул руку. Я потрогал пальцами лепестки, и по моему лицу покатились слезы. Неужели они из чистой крови? Я молил Бога, чтобы это было не так, но услышал, как испуганно вскрикнул Бенджи и тихо зашептала Сибил, призывая его к молчанию.

— Когда это случилось, мне было, кажется, лет семнадцать,— сказал я.— Это было сотни лет назад. На самом деле я был слишком маленький. Мой создатель любил меня; он не считал, что мы плохие. Он думал, мы можем питаться плохими людьми. Если бы я не умирал, он подождал бы. Он хотел, чтобы я узнал побольше, подготовился.

Я открыл глаза. Я их загипнотизировал! Они опять видели того мальчика, каким я был раньше. Я сделал это непреднамеренно.

— Какой же красивый! — сказал Бенджи.— Какой ты прекрасный, дибук.

— Маленький мужчина,— вздохнул я, чувствуя, как хрупкая иллюзия растворяется в воздухе,— отныне зови меня по имени; я не дибук. Ты, наверное, подцепил это от палестинских евреев? — Он засмеялся. Он не дрогнул, когда я растаял и превратился в чудовище.

— Тогда скажи, как тебя зовут,— попросил он. Я сказал.

— Арман,— вступила Сибил,— что нам нужно сделать? Если не шелковые платки, тогда мазь, алоэ, да, алоэ подойдет, оно вылечит твои ожоги.

Я рассмеялся, но совсем негромко, желая проявить только доброту.

— Мое алоэ — кровь, детка. Мне нужен мерзавец, человек, заслуживающий смерти. Так где мне его взять?

— И что тебе даст его кровь? — спросил Бенджи. Он сел рядом и нагнулся надо мной, словно я оказался удивительным экземпляром.— А знаешь, Арман, ты черный, как смола, ты весь из черной кожи, как те люди, которых вылавливают из трясины в Европе, блестящий, а все остальное спрятано внутри. По тебе можно мускулатуру изучать.

— Бенджи, прекрати,— сказала Сибил, борясь с неодобрением и тревогой.— Нужно придумать, как нам достать мерзавца.

— Ты серьезно? — спросил он, поднимая голову и глядя на нее с другой стороны кровати. Она стояла, сжав руки, как при молитве.— Сибил, это ерунда. Проблема в том, как потом от него избавиться.— Он посмотрел на меня.— Знаешь, как мы поступили с ее братом?

Она зажала уши руками и наклонила голову. Сколько раз я сам повторял этот жест, когда мне казалось, что поток слов и воспоминаний затопил меня с головой.

— Ты просто глянцевый, Арман,— сказал Бенджи.— Но я достану тебе мерзавца, это ерунда. Хочешь мерзавца? Давай продумаем план.— Он наклонился надо мной, как будто старался проникнуть в мои мысли. Я внезапно понял, что он рассматривает клыки.

— Бенджи, не приближайся. Сибил, убери его.

— Но что я сделал?

— Ничего,— сказала она. Она понизила голос и с отчаянием добавила: — Он хочет есть.

— Поднимите еще раз покрывало, пожалуйста,— попросил я.— Снимите его, посмотрите на меня и дайте мне заглянуть вам в глаза, станьте моим зеркалом. Я хочу увидеть, насколько все плохо.

— Х-м-м-м, Арман,— сказал Бенджи.— Похоже, ты вроде как спятил.

Сибил наклонилась и осторожными руками стянула покрывало назад и вниз, обнажая мое тело во всю длину. Я зашел в ее мысли. Все было даже хуже, чем я мог себе представить.

Глянцевый жуткий труп из трясины, точь-в-точь, как говорил Бенджи, за исключением страшно выделяющихся рыжекоричневых волос и огромных ярко-карих глаз без век, плюс белые зубы, выстроившиеся безупречными рядами между иссохшими до основания губами. На плотно натянутой морщинистой коже слезы оставили густые красные полосы.

Я резко отбросил голову набок и уткнулся в пуховую подушку. Я почувствовал, как меня окутало покрывало.

— Даже если я это выдержу, с вас хватит,— сказал я.— Я не потерплю, чтобы вы смотрели на это хотя бы еще минуту, поскольку чем дольше вы будете с этим мириться, тем больше вероятность, что вы сможете примириться с чем угодно. Нет. Так продолжаться не может.

— Все, что захочешь,— сказала Сибил. Она свернулась рядом со мной.— Если я положу тебе руку на лоб, тебе станет прохладнее? Если я поглажу твои волосы, тебе станет легче?

Я посмотрел на нее из-под полуприкрытых век.

Длинная тонкая шея составляла часть ее трепетного, изнуренного очарования. У нее была пышная, высокая грудь. За ее спиной в приятном теплом полумраке комнаты я разглядел пианино. Я представил себе, как дотрагиваются до клавишей эти длинные тонкие пальцы. В голове у меня билась «Аппассионата».

Раздался громкий стук, хруст, щелчок, а потом густо запахло дорогим табаком.

Сзади расхаживал Бенджи с черной сигареткой в зубах.

— У меня есть план,— объявил он, без усилий прочно удерживая сигарету в полуоткрытых губах.— Я спускаюсь по улице. Я и моргнуть не успеваю, как встречаю настоящего мерзавца, подонка. Я говорю ему, что остался в номере, там, в отеле, вдвоем с одним мужиком, он напился, мелет чушь, совсем спятил, а нам нужно продать кокаин, я не знаю, что делать, мне нужна помощь.

Я засмеялся, невзирая на боль.

Маленький бедуин пожал плечами и поднял ладони, попыхивая черной сигаретой, а дым окутывал его волшебным облаком.

— Как думаете? Все получится. Послушай, я в людях разбираюсь. Теперь ты, Сибил, ты уйдешь с дороги и дашь мне провести этот жалкий мешок грязи, мерзавца, которого я заманю в ловушку, прямо к кровати, а здесь я пихну его в лицо, вот так, я поставлю ему подножку, вот так, и бац! — он свалится прямо тебе в руки, Арман, ну, как тебе?

— А если пойдет не по плану? — спросил я.

— Тогда моя красавица Сибил треснет его по голове молотком.

— У меня идея получше,— сказал я,— хотя, видит Бог, ты изобрел непревзойденный, потрясающий план. Ты, конечно, скажешь ему, что кокаин разложен под покрывалом в аккуратных пластиковых пакетиках, но если он не клюнет и подойдет посмотреть, что здесь лежит на самом деле, пусть наша красавица Сибил просто откинет покрывало, а когда он увидит своими глазами, что действительно лежит в постели, он вылетит отсюда, и не подумав причинить кому-либо вред!

— Отлично! — закричала Сибил. Она захлопала в ладоши и широко раскрыла бледные просветленные глаза.

— Идеально,— согласился Бенджи.

— Но смотри не бери с собой на улицу ни единой монетки. Если бы у нас было немножко поганого белого порошка, чтобы приманить зверя.

— Но у нас есть,— сказала Сибил.— Именно столько, немножко, мы достали его из карманов моего брата.— Она задумчиво посмотрела на меня невидящими глазами, перебирая детали плана в плотных кольцах своего мягкого, податливого ума.— Мы все забрали, чтобы, когда его найдут, при нем ничего не было. В Нью-Йорке многие так умирают. Конечно, тащить его было невыразимо тяжело.

— Ну да, есть у нас поганый белый порошок! — Бенджи внезапно сжал ее плечо, молниеносно исчез из поля моего зрения и мгновенно вернулся с маленьким плоским портсигаром.

— Положи сюда, я понюхаю, что там внутри,— сказал я.

Видно было, что точно они этого не знали. Бенджи щелкнул крышкой тонкой серебряной коробочки. Там, в маленьком полиэтиленовом пакете, сложенном с безупречной аккуратностью, лежал порошок с тем самым запахом, которого я ждал. Мне не требовалось класть его на язык, для которого вкус сахара показался бы точно таким же чуждым.

— Прекрасно. Только немедленно высыпи половину в водопровод, чтобы осталось совсем немного, и оставь здесь серебряный футляр, иначе найдется дурак, который убьет тебя за него.

Сибил затряслась от нескрываемого страха.

— Бенджи, я пойду с тобой.

— Нет, это было бы уж совсем неразумно,— сказал я.— Он сумеет сбежать от них гораздо быстрее, чем ты.

— Как ты прав! — воскликнул Бенджи, затянувшись в последний раз, а затем раздавив сигарету в большой стеклянной пепельнице у кровати, где свернулся, поджидая нового соседа, целый десяток белых окурков.— А сколько раз я ей это твердил, выходя посреди ночи за сигаретами? Думаешь, она слушает?

Он исчез, не дожидаясь ответа. Я услышал, как из крана побежала вода. Бенджи смывал половину кокаина. Я обвел глазами комнату, отклоняясь от мягкого, полного крови ангела-хранителя.

— Бывают люди, добрые от рождения,— сказал я,— люди, которые хотят помогать другим. Ты из таких людей, Сибил. Пока ты жива, мне покоя не будет. Я останусь рядом. Я всегда буду охранять тебя, я отплачу тебе.

Ее узкое лицо, ее красивой формы бледные губы прорезала самая свежая, самая здоровая улыбка, словно пренебрежение и боль никогда ее не терзали.

— Ты станешь моим ангелом-хранителем, Арман? — спросила она.

— Навсегда.

— Я пошел,— сообщил Бенджи. Щелчок, хруст — он зажег новую сигарету. Должно быть, у него не легкие, а мешки угля.— Я пошел на ночь глядя. А вдруг сукин сын окажется больной, или грязный, или...

— Мне все равно. Кровь есть кровь. Просто веди его сюда. Не стоит пробовать свои фантазии с подножкой. Подожди, пока не подведешь его прямо к кровати, а когда он потянется к покрывалу, ты, Сибил, отдерни ткань, а ты, Бенджи, толкни его изо всех сил, чтобы он ударился голенью о бок кровати, тогда он упадет прямо мне в руки. И я его получу.

Он направился к двери.

— Подожди,— прошептал я. О чем я только думал в своей жадности? Я взглянул на ее безмолвное улыбающееся лицо, а потом — на него, на маленький моторчик, дымящий черной сигаретой, ничего не надевший для жестокой зимы, кроме проклятой джеллабы.

— Нет, нужно — значит нужно,— сказала Сибил, широко раскрыв глаза.— А Бенджи выберет очень плохого человека, правда, Бенджи? Настоящего мерзавца, который захочет тебя ограбить и убить.

— Я знаю, куда идти,— сказал Бенджи с кривой улыбочкой.— Смотрите разыграйте свои карты, когда я приду, вы, оба. Накрой его, Сибил. Не смотри на часы. За меня не волнуйся!

Он хлопнул дверью, за ним автоматически закрылся большой тяжелый замок.

Значит, она придет. Кровь, густая красная кровь. Придет. Придет, она будет горячая и вкусная, полный крови мужчина, она придет, придет через несколько секунд.

Я закрыл глаза, а когда открыл, перед ними вновь обрела форму комната — небесно-голубые занавески на каждом окне, плотными складками падавшие до пола, ковер с большим искривленным овалом напоминающих капусту роз. И она, девочка-стебелек, не сводящая с меня глаз, улыбающаяся искренней милой улыбкой, словно ночное преступление казалось ей пустяком.

Она опустилась на колени в опасной близости от меня и еще раз ласково дотронулась до моих волос. Моей руки коснулась ее мягкая, ничем не скованная грудь. Я прочел ее мысли, как читал бы судьбу по ладони, сталкивая слой за слоем ее сознание, опять увидел темную извилистую дорогу, вьющуюся по долине реки Иордан, и родителей, слишком быстро ведущих машину для кромешной тьмы и поворотов-шпилек, а также водителей-арабов, мчащихся на еще более высокой скорости, так что каждое пересечение фар превращалось в изнурительное состязание.

— Поесть рыбы из моря Галилеи.— Она отвела взгляд.— Это я захотела. Это я придумала туда ехать. У нас оставался последний день в Святой земле, все говорили, что от Иерусалима до Назарета далеко добираться, а я сказала: «Но он ходил по воде». Самая странная легенда, я всегда так думала. Ты ее знаешь?

— Знаю.

— Про то, что он ходил прямо по воде, как будто забыл, что рядом апостолы, что его могут увидеть, а когда с лодки сказали: «Господи!», он испугался от неожиданности. Такое странное чудо, как будто все произошло... по случайности. Это я захотела ехать. Это я хотела съесть свежей рыбы, прямо из моря, из той же воды, где ловили рыбу и Петр, и все остальные. Моих рук дело. Нет, я не говорю, будто это моя вина, что они погибли. Просто это моих рук дело. А мы все направлялись домой, на большой концерт в «Карнеги-холл», его должна была записывать компания звукозаписи, вживую. Знаешь, я уже записала одну пластинку. Никто и не ожидал, что она так хорошо пойдет. Но той ночью... той ночью, которой так и не было, я собиралась играть «Аппассионату».

Это было самое главное. Я люблю и другие сонаты, и «Лунную», и «Патетическую», но моей... моей была «Аппассионата». Мама и папа так мной гордились. Но мой брат, это мой брат всего добивался, договаривался о времени, о месте, о хорошем

пианино, об учителях. Это он открыл всем глаза, но, конечно, с другой стороны, собственной жизни у него не было, и все мы видели, чем это кончится. По ночам за столом мы обсуждали, что он должен жить собственной жизнью, что не годится ему на меня работать, но он отвечал, что в будущем он мне понадобится, я и не представляю, до какой степени он будет мне полезен. Он станет заправлять записями, концертами, репертуаром, гонорарами. Агентам нельзя доверять. Я понятия не имею, говорил он, как высоко поднимусь.

Она помолчала, склонив голову набок с серьезным и искренним видом.

— Понимаешь, я не принимала никакого решения,— сказала она.— Я просто не могла больше ничего делать. Они умерли. Я просто не могла выходить из комнаты. Я просто не могла снимать трубку. Я просто не могла играть другую музыку. Я просто не могла слушать, что он говорит. Я просто не могла строить планы. Я просто не могла есть. Я просто не могла переодеваться. Я только играла «Аппассионату».

— Я понимаю.

— Он привез с нами Бенджика, чтобы тот обо мне заботился. Мне всегда было интересно, как он это устроил. Я думаю, Бенджика купили, ну, знаешь, купили, за деньги.

— Знаю.

— Думаю, так все и было. Он говорил, что не может оставить меня одну, даже в «Царе Давиде», это был отель...

— Да.

— ...Потому что, он говорил, я стою у окна без одежды или не впускаю горничную, а еще играю на пианино посреди ночи и не даю ему спать. И он нашел Бенджика. Я люблю Бенджика.

— Я знаю.

— Я всегда делаю, что скажет Бенджи. Он никогда не смел ударить Бенджика. Только под конец он начал бить меня всерьез. Раньше он либо пощечину мне давал, либо пинка. Он хватал меня за волосы, наматывал все волосы на руку и бросал меня на пол. Так часто бывало. Но Бенджика он не бил. Он знал: если ударить Бенджика, я буду кричать без остановки. Но, с другой стороны, когда Бенджи старался его остановить... Я не знаю, у меня так кружилась и болела голова.

— Я понял,— сказал я.

Конечно, он бил Бенджика.

Она призадумалась, ее глаза оставались широко раскрытыми, яркими, она не плакала и не щурилась.

— Мы с тобой похожи,— прошептала она, устремляя на меня взгляд. Ее рука лежала рядом с моей щекой, и она очень осторожно прижала ко мне мягкую подушечку своего указательного пальца.

— Похожи? — спросил я.— Ради всего святого, о чем ты думаешь?

— Чудовища,— сказала она.— Дети.

Я улыбнулся. Но она не улыбалась. У нее был мечтательный вид.

— Я так обрадовалась, когда ты пришел,— сказала она.— Я знала, что он умер. Знала, когда ты встал у пианино и посмотрел на меня. Знала, когда ты стоял там и слушал меня. Я так радовалась, что нашелся тот, кто смог его убить.

— Сделай это для меня,— сказал я.

— Что? Арман, я сделаю все, что угодно.

— Подойти к пианино. Поиграй мне. Сыграй «Аппассионату».

— А как же план? — тихо и недоуменно спросила она.— Мерзавец, он сейчас придет.

— Оставь это нам с Бенджи. Не оборачивайся, не смотри. Просто играй «Аппассионату».

— Нет, ну пожалуйста,— ласково попросила она.

— Но почему нет? — сказал я.— Зачем тебе проходить через такую пытку?

— Нет, ты не понял,— ответила она с широко открытыми глазами.— Я хочу посмотреть!

22

Внизу только что вернулся Бенджи. От далекого звука его голоса, совершенно неслышного Сибил, в каждую ткань моего тела мгновенно вернулась боль.

— О чем я и говорю,— болтал он, не закрывая рта,— все лежит прямо под трупом, а мы не хотим его поднимать, но вы как полицейский, вы как полицейский из отдела по борьбе с наркотиками, говорят, вы в таких делах знаете толк...

Я засмеялся. Ему действительно было чем гордиться. Я снова взглянул на Сибил, смотревшую на меня с выражением тихой решимости, глубокого понимания и задумчивости.

— Закрой мне лицо покрывалом,— велел я,— и отойди подальше, еще дальше. Он ведет к нам типичного принца мошенников. Быстрее.

Она мгновенно принялась за дело. Уже пахло кровью жертвы, хотя она все еще стояла в поднимающемся лифте и разговаривала с Бенджи в сдержанных, осмотрительных выражениях.

— И все это случайно оказалось у вас с ней в номере, и больше с вами никого нет? — Какой красавец!

— Я все вам рассказал,— ответил Бенджи совершенно естественным голоском.— Вы нам просто помогите, сами понимаете, я не могу позволить, чтобы к нам заявилась полиция! — Шепот. Это приличный отель. Откуда я знал, что тот мужик возьмет и умрет прямо здесь! Мы дурь не принимаем, забирайте ее, только унесите отсюда труп. И еще кое-что...— Двери лифта открылись.— Труп довольно подпорченный, так что не надо на меня пускать слюни, когда вы его увидите.

— Пускать на тебя слюни? — прорычала жертва, переводя дух. Послышались тихие звуки спешащих по ковру ботинок.

Бенджи возился с ключами, притворяясь, будто очень взволнован.

— Сибил,— предостерегающе позвал он,— Сибил, открой дверь.

— Не открывай,— тихо сказал я.

— Конечно не буду,— ответила она бархатным голосом.

Повернулись задвижки большого замка.

— И этот мужик вот так случайно зашел сюда и умер со всем своим добром?

— Ну, не совсем,— сказал Бенджи,— но вы ведь заключили со мной сделку, я надеюсь, вы ее не нарушите.

— Послушай, маленький щенок из подворотни, я с тобой сделок не заключал.

— Отлично, так, может, мне вызвать нормальную полицию? Я вас знаю. Вас все в баре знают, знают, откуда вы, вы всегда на виду. И что вы сделаете, а, большая пушка? Убьете меня?

Дверь за ними закрылась. Номер наводнил запах крови гостя. Он одурманен бренди, его жилы отравлены кокаином, но

моей очистительной жажде это совершенно безразлично. Я едва мог сдерживаться. Я почувствовал, как напряглись и попытались согнуться под одеялом мои руки и ноги.

— Ну и ну, настоящая принцесса,— присвистнул он, когда его взгляд, очевидно, упал на Сибил. Сибил не ответила.

— При чем здесь она? Вы сюда смотрите, под одеяло. Сибил, иди сюда, иди. Давай, Сибил.

— Здесь, под одеялом? Ты хочешь сказать, что под ним — труп, а под трупом — кокаин?

— Сколько раз нужно повторять? — спросил Бенджи и, несомненно, привычно пожал плечами.— Слушайте, хотел бы я знать, что именно вы не понимаете. Вам кокаин не нужен? Тогда я его раздам. В вашем любимом баре он очень распространен. Представляешь, Сибил, этот мужик обещает помочь, а дальше — болтает, болтает, болтает... Типичный слизняк из правительства.

— Ты кого это слизняком назвал, малыш? — поинтересовался мужчина с насмешливой добротой, и запах бренди сгустился.— Какой у нас словарный запас, а посмотреть на тебя — нос не дорос. Тебе сколько лет, малыш? Черт возьми, как ты вообще попал в страну? Неужели ты целыми днями разгуливаешь в ночной рубашке?

— А как же, зовите меня Лоуренсом Аравийским,— сказал Бенджи.— Сибил, а ну иди сюда.

Я не хотел, чтобы она подходила. Я хотел, чтобы она держалась как можно дальше. Она не пошевелилась, и я очень обрадовался.

— Мне моя одежда нравится,— болтал Бенджи. Клуб сладкого сигаретного дыма.— Видимо, я должен одеваться, как местные ребята, в синие джинсы? Сейчас. Мой народ так одевался, еще когда Магомет ходил по пустыне.

— Что может быть лучше прогресса? — спросил мужчина с глубоким гортанным смешком. Он подошел к кровати быстрыми резкими шагами. Запах крови стал таким интенсивным, что я почувствовал, как навстречу ему раскрываются поры моей обгоревшей кожи.

Крошечную часть своей силы я отдал на то, чтобы получить телепатическое представление о нем их глазами: высокий кареглазый человек, желтовато-белая кожа, впалые щеки, редеющие коричневые волосы, сшитый на заказ итальянский костюм из блестящего черного шелка, блестящие бриллиантовые запонки на дорогом полотне. Он дергался, шевелил пальцами, почти не мог твердо стоять на ногах, в голове буйствовали головокружительный настрой, цинизм и безумное любопытство. Жадные игривые глаза. Все затмевала безжалостность, и казалось, что в нем присутствует ярко выраженная черта неподдельного, вскормленного наркотиками безумия. Он гордился своими убийствами не меньше, чем царственными костюмом и блестящими коричневыми ботинками на ногах.

Сибил подошла поближе к кровати, и резкий сладкий аромат ее чистой плоти смешался с более тяжелым и густым запахом мужчины. Но я вожделел его крови — крови, от которой из моего иссохшего рта чуть слюнки не потекли. Я с трудом сдерживался, чтобы не вздохнуть под одеялом. Я почувствовал, что мое тело вот-вот вырвется из болезненного состояния паралича.

Злодей оценивал обстановку, поглядывая по сторонам в открытые двери, прислушиваясь, нет ли посторонних голосов, обсуждая сам с собой, не стоит ли обыскать эти фантастические, битком набитые вещами, беспорядочно разбросанные комнаты, прежде чем приступать к делу. Пальцы его никак не могли успокоиться. Промелькнувшая в его голове мысль ясно дала мне понять, что он понюхал принесенный Бенджи кокаин и немедленно захотел принять еще порцию.

— Ну и ну, а ты красотка, юная леди,— сказал он Сибил.

— Хочешь, я подниму покрывало? — спросила она.

Я уловил запах маленького револьвера, засунутого за голенище его высокого черного сапога, и другого оружия, очень качественного и современного: абсолютно новая смесь металлических запахов, в кобуре под мышкой. От него пахло и деньгами: характерный несвежий запах засаленных бумажных денег.

— Ну что, мужик, струсил? — хмыкнул Бенджи.— Так открыть тебе покрывало? Скажи когда. Вот ты удивишься!

— Да нет там никакого трупа,— усмехнулся он.— Может, сядем, поболтаем? Ведь на самом деле это не ваш номер? Похоже, вас, детишки, требуется воспитать по-отечески.

— Труп весь обгорел,— сказал Бенджи.— Держись, как бы тебе плохо не стало.

— Обгорел! — воскликнул мужчина.

Длинная рука Сибил внезапно отдернула покрывало. По моей коже скользнул холодный воздух. Я уставился на отшатнувшегося мужчину, в чьем горле застыл придушенный рев.

— Бога ради!

Мое тело подскочило в ответ на зов полного фонтана крови, как отвратительная марионетка по велению дернувшихся веревочек. Я стукнулся о него, плотно вцепился обожженными ногтями в его шею и слился с ним в агонизирующем объятии. Потом быстро подхватил языком кровь, выступившую из отметин, оставленных моими когтями, и, не обращая внимания на полыхающую в лице боль, пошире раскрыл рот и вонзил клыки. Вот он и мой!..

Ни рост, ни сила, ни широкие плечи, ни огромные руки, сжимающие мою раненую плоть,— ничто ему не помогало. Он был мой. Я втянул первый густой глоток крови и подумал, что потеряю сознание. Но тело мое такого не допустило бы. Мое тело приросло к нему, как будто оно целиком состояло из прожорливых щупалец.

Его окутанные просветленным туманом мысли моментально затянули меня в водоворот образов Нью-Йорка, бездумной жестокости и гротескных ужасов, безудержной, питающейся наркотиками энергии и злобствующей веселости. Я погрузился в эти картины. Быстрая смерть меня не устраивала. Мне требовалась каждая капля его крови, а для этого сердце должно нагнетать ее без остановки; сердце не должно сдаться.

Если я и пробовал раньше столь крепкую кровь, столь сладкую и соленую кровь, то я этого не помнил: память просто не способна зарегистрировать такой восхитительный вкус, абсолютный восторг утоленной жажды, удовлетворенного голода, одиночества, растворившегося в жарких интимных объятиях в тот момент, когда меня привел бы в ужас звук собственного бурлящего, напряженного дыхания, задумайся я о нем хоть на секунду.

От меня исходил ужасный шум, противный чавкающий звук. Мои пальцы массировали его крепкие мускулы, мои ноздри вжались в его изнеженную, пахнущую мылом кожу.

— М-м-м-м, как же я тебя люблю, я ни за что на свете тебя не обижу, чувствуешь, как приятно? — шептал я ему сквозь ме-

леющий ручеек великолепной крови.— М-м-м-м, да, как приятно, лучше, чем самый дорогой бренди...

От потрясения и недоверия он внезапно уступил, отдаваясь исступленному бреду, каждому произнесенному мною слову. Я рванул его шею, расширяя рану, поглубже врезаясь в артерию. Кровь хлынула новым потоком.

По моей спине побежали восхитительные мурашки; они разбежались по рукам, по бедрам, по ногам. Боль и удовольствие смешались, а горячая и живая кровь с силой проникала в мельчайшие волокна моей сморщившейся плоти, накачивала мышцы под поджарившейся кожей, пропитывая даже костный мозг скелета. Еще, этого мало.

— Не умирай, ты не хочешь умирать, нет, не умирай,— напевал я, проводя пальцами по его волосам и чувствуя, как они становятся пальцами, а не когтями птеродактиля, как минуту назад. Но они согрелись; по ним разлился огонь, огонь полыхал в моих опаленных руках и ногах, на сей раз смерть неизбежна, я больше не вынесу, однако пик уже достигнут и пройден, и теперь по мне мчались интенсивные успокаивающие спазмы.

Мое лицо накачивалось кровью и горело, рот наполнялся вновь и вновь, глотать стало совсем легко.

— Да-да, живой, ты такой сильный, удивительно сильный...— шептал я.— М-м-м-м, нет, не уходи... еще рано, еще не время.

У него подогнулись колени. Он медленно опустился на ковер, я опустился следом, ласково притянув его за собой к краю кровати, а потом уронил его рядом, и мы лежали, сплетенные, как любовники. В нем оставалось еще немало крови — столько я в обычном состоянии ни за что бы не выпил, просто не захотел бы.

Даже в тех редких случаях, когда, едва став вампиром, жадный, молодой, я убивал по две-три жертвы в ночь, я никогда ни от кого так глубоко не пил. Теперь я погрузился в темные вкусные отбросы, вытягивая сладкие сгустки из самих сосудов, растворявшиеся на моем языке.

— Как же ты прекрасен... да... да...

Но его сердце на большее было неспособно. Оно замедлилось и забилось в неотвратимо смертоносном ритме. Я прикусил кожу его лица и сорвал ее со лба, облизывая густую сеть кровоточащих сосудов, покрывавших его череп. Там оставалось

еще много крови, много крови, скрытой тканями его лица Я высасывал ее из волокон и выплевывал их, обескровленные, белые, глядя, как эти отбросы падают на пол.

Мне захотелось попробовать сердце и мозг. Я видел, как их достают древнейшие. Я знал, как это делается. Римлянка Пандора однажды просунула руку прямо в грудь жертвы.

Так я и сделал. Отметив в изумлении, что моя рука, пусть пока темно-коричневая, обрела нормальные очертания, я расставил застывшие пальцы смертоносным заступом и ввел их в него, разорвав рубашку, пробив грудную клетку, перебирая его мягкие внутренности, пока не извлек сердце и не взял его так, как брала Пандора. Я принялся пить. О, там крови оставалось в избытке. Чудесно. Я высосал сердце досуха и бросил на пол.

Я лег, как и он, неподвижно, рядом с ним, положив правую руку на его шею, приклонив голову у него на груди, тяжело дыша. Во мне танцевала кровь. Я чувствовал, как подергиваются руки и ноги. Мое тело содрогалось от спазмов, и его белая мертвая туша замерцала перед глазами. Комната то загоралась, то гасла.

— Какой милый брат,— прошептал я.— Милый, милый брат.— Я перекатился на спину. В моих ушах рокотала его кровь, она двигалась под кожей головы, она покалывала щеки и ладони. Как хорошо, слишком хорошо, приторно хорошо.

— Мерзавец, значит? — Голос Бенджика, из далекого мира живых.

Далеко-далеко, в царстве, где полагается играть на пианино, а маленьким мальчикам следует танцевать, стояли словно вырезанные из раскрашенного картона две фигурки, не сводившие с меня глаз: он, маленький разбойник из пустыни с дорогой черной сигаретой в зубах, не переставал затягиваться, шлепая губами и поднимая брови, и она, с мечтательным видом, решительная и задумчивая, как раньше,— ее ничто не шокировало и, наверное, не тронуло.

Я сел и подтянул колени. Я поднялся на ноги, быстро ухватившись за край кровати, чтобы выпрямиться. Я встал, совершенно голый, и посмотрел на нее.

Ее глаза наполнились густым серым светом, она взглянула на меня и улыбнулась.

— Потрясающе! — прошептала она.

— Потрясающе? — Я поднял руки и отвел с лица волосы.— Отведи меня к зеркалу. Быстрее. Я умираю от голода. Я снова голоден.

Началось, действительно. Я уставился в зеркало как в ступоре. Мне и раньше доводилось видеть такие же испорченные экземпляры, но каждый из нас портится по-своему, и я — не могу привести здесь алхимические причины — стал темно-коричневым существом, шоколадного цвета, с удивительно светлыми опаловыми глазами, украшенными красновато-коричневыми зрачками. Щеки болезненно запали, из-под глянцевой кожи выпирали ребра, а вены, вены до того кипели действием, что обвивали руки и икры, как веревки. Волосы, конечно, никогда еще так не блестели и не казались такими густыми, таким воплощением молодости и природных благословений.

Я открыл рот. Меня снедала жажда. Вся пробудившаяся плоть пела от жажды или же проклинала меня. Как будто тысячи раздавленных, онемевших клеток нараспев требовали крови.

— Мне нужно еще. Необходимо. Не подходите ко мне.— Я поспешно обошел Бенджика, чуть ли не плясавшего рядом со мной.

— Что ты хочешь? Что мне сделать? Пойду еще кого-нибудь приведу.

— Нет, я сам его найду.— Я упал на жертву и распустил шелковый галстук. Я быстро расстегнул пуговицы рубашки.

Бенджи немедленно кинулся расстегивать его ремень. Сибил опустилась на колени и принялась стягивать сапоги.

— Револьвер, осторожно, револьвер,— встревожился я.— Сибил, отойди от него.

— Да вижу я револьвер,— с упреком откликнулась она и осторожно отложила его в сторону, как свежевыловленную рыбу, готовую вырваться из ее рук. Она стянула с жертвы носки.

— Арман, эта одежда,— сказала она,— тебе будет велика.

— Бенджи, у тебя найдутся ботинки? — спросил я.— У меня маленькие ноги.— Я встал и поспешно надел рубашку, застегнув пуговицы с ослепившей моих помощников скоростью.

— Не смотри на меня, неси ботинки,— велел я. Я натянул брюки, застегнул молнию и с помощью быстрых пальцев Сибил закрепил болтающийся кожаный ремень. Я затянул его как можно сильнее. Сойдет.

Она упала передо мной, платье окружило ее огромным цветочным кольцом, и она закатала штанины на моих босых коричневых ногах.

Я просунул руки в хитроумно застегнутые манжеты, так их и не потревожив.

Бенджи бросил на пол черные бальные ботинки, дорогие туфли-лодочки, ни разу не надетые божественным маленьким негодником. Сибил поднесла к моей ноге один носок, Бенджи подобрал второй.

Я надел пиджак, и все было готово. Приятное покалывание в венах прекратилось. Опять подступила боль, она заревела, словно меня прошили огненными нитями, и ведьма резко тянула за иглу, чтобы заставить меня содрогаться.

— Полотенце, дорогие мои, что-нибудь старое, ненужное. Нет, не надо, только не в эти дни, не в эту эпоху, даже не думайте.

Исполнившись отвращения, я осматривал его сине-бледную плоть. Он лежал, бессмысленно уставившись в потолок. На фоне жуткой бескровной кожи выделялись крошечные, мягкие, очень черные волоски в ноздрях, над бесцветной губой желтели зубы. Волосы на груди превратились в спутавшуюся в предсмертном поту массу, а рядом с огромной зияющей дырой лежала мякоть его бывшего сердца — нет, эти страшные улики необходимо убрать из мира общепринятых принципов.

Я нагнулся и засунул остатки раздавленного сердца в грудную клетку. Я плюнул на рану и потер ее пальцами.

Бенджи охнул.

— Смотри, Сибил, затягивается! — воскликнул Бенджи.

— Поверхностно,— сказал я.— Он остыл, и крови слишком мало.— Я огляделся по сторонам. Рядом валялись бумажник, документы, кожаная сумка, куча зеленых банкнот, стянутых декоративной серебряной скрепкой. Я все подобрал. Я запихнул сложенные деньги в один карман, все остальное — в другой. Что у него еще было? Сигарета, смертельно опасный кнопочный нож и револьверы, ах да, револьверы. Я положил их в карман.

Проглотив тошноту, я нагнулся и подхватил его, жуткого, вялого, белого человека в жалких шелковых трусах, с изящными золотыми часами на руке. Ко мне действительно возвращалась прежняя сила. Он был тяжелым, но я без труда перекинул его через плечо.

— Что ты будешь делать, куда ты пойдешь? — закричала Сибил.— Арман, ты нас не бросишь.

— Ты вернешься! — сказал Бенджи.— Слушай, отдай мне часы, не выбрасывай его часы.

— Тише ты, Бенджи,— прошептала Сибил.— Черт возьми, ты прекрасно знаешь, что я покупаю тебе самые лучшие часы. Не трогай его. Арман, чем мы можем тебе помочь? — Она приблизилась ко мне.— Смотри! — сказала она, указывая на болтающуюся руку, свисавшую из-под моего правого локтя.— У него маникюр. Как странно.

— А как же, он о себе неплохо заботился,— хмыкнул Бенджи.— Знаешь, часы-то стоят тысяч пять.

— Помолчи насчет часов,— сказала она.— Нам его вещи не нужны.— Она взглянула на меня еще раз. Арман, ты даже сейчас меняешься. У тебя наливается лицо.

— Да, и болит,— ответил я.— Подождите меня. Приготовьте мне темную комнату. Я вернусь, как только поем. Сейчас мне нужно есть, есть и есть, чтобы вылечить оставшиеся шрамы. Откройте мне дверь.

— Дай-ка я посмотрю, нет ли кого за дверью,— сказал Бенджи и послушно помчался к выходу.

Я вышел в коридор, с легкостью неся на себе жалкий труп, чьи белые руки, свисая вниз, болтались и иногда меня задевали.

Ну и вид у меня был в той большой одежде. Должно быть, я производил впечатление сумасшедшего, поэтически настроенного школьника, совершившего налет на дорогие магазины за самыми изысканными тряпками, а теперь, надев красивые новые ботинки, спешившего на поиски рок-групп.

— Там никого нет, мой маленький друг,— сказал я.— Три часа ночи, весь отель спит. И если разум мне не изменяет, там, в конце холла, есть дверь, ведущая на пожарную лестницу. Верно? На пожарной лестнице тоже никого нет.

— Умный Арман, ты меня восхищаешь! — воскликнул он, щуря черные глазки. Он беззвучно подпрыгивал по устланному ковром полу.— Отдай мне часы! — прошептал он.

— Нет,— ответил я.— Она права. Она богата, я тоже, и ты тоже. Не попрошайничай.

— Арман, мы будем тебя ждать,— сказала Сибил, стоя в дверях.— Бенджи, немедленно домой!

— Нет, ты только послушай, она проснулась! Как мы заговорили! «Венджи, немедленно домой! Эй, солнышко, разве тебе нечем заняться? Не хочешь, например, на пианино поиграть?»

Она невольно залилась еле слышным смехом. Я улыбнулся. Странная парочка. Они не понимали, что происходит у них под носом. Типичное явление для этого века. Я недоумевал, когда же они прозреют, а прозрев, закричат.

— До свидания, дорогие мои,— сказал я.— Подготовьтесь к моему приходу.

— Арман, ты же вернешься.— В ее глазах стояли слезы.— Обещай мне.

Я был потрясен.

— Сибил,— сказал я.— Что за фразу женщинам так часто хочется слышать, но так долго приходится ждать? Я люблю тебя.

Я оставил их и помчался вниз по лестнице, перекинув его на другое плечо, когда слишком больно стало нести. Боль проходила по мне волнами. Меня ошпарил холодный уличный воздух.

— Крови...— прошептал я. А с ним что делать? Он слишком голый, чтобы тащить его по Пятой авеню.

Я сорвал с него часы, потому что они оставались единственной уликой, по которой его можно было опознать, и, хотя меня чуть не вырвало от отвращения, вызванного близостью со зловонными останками, я потянул его за собой за руку, очень быстро, по глухому переулку, затем — узкой улице, потом — по очередному тротуару.

Я бежал прямо навстречу ледяному ветру, не оглядываясь на редкие неповоротливые силуэты, которые ковыляли мимо меня в мокрой темноте, и не останавливаясь, чтобы получше рассмотреть одну-единственную машину, ползущую по блестящему сырому асфальту.

Я преодолел два квартала за несколько секунд и, найдя подходящий переулок с высокими воротами, преграждавшими путь запоздалым нищим, быстро взобрался по решетке и забросил тушу в самый его конец. Она упала в тающий снег.

Теперь нужно было найти кровь. Времени на старые игры не оставалось — приманивать желающих умереть, тех, кто вожделеет моего поцелуя, тех, кто уже влюблен в неизведанную, далекую страну смерти.

Пришлось идти характерно неровным шагом, спотыкаться, завесив лицо длинными волосами,— болтающийся шелковый пиджак, подогнутые брюки: бедный ослепленный подросток, отличная мишень для револьвера, ножа, кулака. Долго ждать не пришлось.

Первым был пьяный прогуливающийся негодяй, засыпавший меня вопросами, прежде чем достать сверкающее лезвие и попробовать воткнуть его в мое тело. Прижав его к стене дома, я пил его кровь как обжора.

Вторым стал заурядный отчаянный юноша, весь в гноящихся ссадинах. Он уже совершил два убийства ради героина, необходимого ему так же сильно, как мне — его обреченная кровь. Я пил уже медленнее.

Самые толстые, самые страшные шрамы без сопротивления не сдавались — они зудели, дрожали и таяли лишь постепенно. Но жажда, жажда не прекращалась. Мои внутренности пенились, словно пожирая сами себя. Глаза пульсировали от боли.

Но холодный мокрый город, терзаемый мучительным шумом, на глазах становился ярче. Я слышал голоса на расстоянии многих кварталов, слышал маленькие электронные колонки в высотных зданиях. За расступающимися облаками я увидел настоящие бесчисленные звезды. Я почти пришел в себя.

Так кто же придет еще, думал я, в этот тихий и безлюдный предрассветный час, когда на теплеющем воздухе тает снег, неоновые огни тускнеют, а мокрые газеты носятся, как листья в замерзшем лесу? Я достал все бесценные предметы, принадлежавшие моей первой жертве, и рассовал их в разных местах по глубоким пустым мусорным бакам.

Последний убийца, да, пожалуйста, судьба, пришли мне его, пока еще есть время; и в самом деле он пришел, проклятый дурак, вылез из машины, пока водитель ждал его, не глуша мотор.

— Черт, что так долго? — наконец спросил водитель.

— Ничего,— ответил я, роняя его друга на землю. Я просунул голову в машину, чтобы рассмотреть его. Такой же порочный дурак, как и его спутник. Он поднял руку, беспомощно, слишком поздно. Я опрокинул его на кожаное сиденье и пил теперь ради грубого удовольствия, ради сладостного, безумного наслаждения.

Я медленно шел по ночному городу, раскинув руки, подняв глаза к небесам.

Из разбросанных по блестящей улице черных решеток валил белоснежный дым. На синевато-серых тротуарах сверкала фантастическая выставка мусора в сверкающих пластиковых пакетах.

Нежные крошечные деревья с вечнозелеными листьями, ночью похожими на короткие ярко-зеленые штрихи, сделанные пером, склонили свои стволы-лепестки под гнетом воющего ветра. Куда ни глянь, за высокими чистыми стеклянными дверьми гранитных фасадов скрывалось лучащееся великолепие богатых вестибюлей. В витринах демонстрировались искрящиеся бриллианты, глянцевитые меха, элегантные костюмы и платья на безлицых оловянных манекенах с пышными прическами.

Собор стоял, безмолвный и темный, с покрытыми инеем башенками и старинными остроконечными арками, на том же самом чистом тротуаре, что и в то утро, когда меня застигло солнце.

Задержавшись там, я закрыл глаза, возможно стараясь припомнить удивление и рвение, храбрость и великие ожидания.

Вместо этого, чистые и сияющие, темный воздух прорезали звуки «Аппассионаты». Раздраженная, грохочущая, торопливая музыка обрушалась на меня, чтобы позвать домой. Я пошел за ней.

Часы в холле отеля били шесть. Через несколько мгновений зимний мрак расступится, как лед, ставший моей тюрьмой. За неясно освещенной длинной отполированной стойкой никого не было.

В висевшем на стене тусклом зеркале, в золотой раме стиля рококо, я увидел свое отражение — побледневшее, восковое, ни единого пятнышка. Как же повеселились со мной по очереди солнце и лед, когда второй заморозил безжалостной хваткой следы ярости первого. Ни одного шрама не осталось там, где кожа впечаталась в мускулы. Я превратился в запаянное, прочное существо с цельной, страдающей душой, отлитое из одного куска, восстановившееся, с искрящимися, чистыми, белыми ногтями, с загибающимися вверх ресницами вокруг ясных карих глаз, не по росту одетое в жалкие и грязные остатки роскоши знакомого грубоватого херувима.

Никогда еще я так не радовался своему слишком юному лицу, безволосому подбородку, слишком мягким и тонким рукам. Но в тот момент я был готов благодарить древних богов за то, что дали мне крылья.

Музыка наверху продолжалась, величественная, насыщенная трагедией, страстным и неустрашимым духом. Как же мне нравилась эта музыка. Кто еще во всем мире смог бы так играть одну и ту же сонату, как она, чтобы каждая фраза получалась не менее свежей, чем песни, что на протяжении всей своей жизни поют птицы, знакомые только с одной музыкальной моделью.

Я посмотрел по сторонам. Первоклассное, дорогое место, несколько глубоких кресел, на стене в крошечных потемневших деревянных отделениях выстроились в ряд ключи от номеров.

На круглом черном мраморном столе, в самом центре, в дерзком великолепии стояла огромная ваза с цветами, непременная торговая марка классического нью-йоркского отеля. Я обогнул букет, отломив большую розовую лилию с ярко-красным горлом и закручивающимися, желтеющими снаружи лепестками, и тихо пошел по пожарной лестнице к своим детям.

Когда Бенджи впустил меня, музыка не смолкла.

— Знаешь, ангел, а ты неплохо выглядишь,— сказал он.

Сибил продолжала играть, увлеченно покачивая головой в такт сонате.

Он провел меня через цепочку хорошо обставленных, оштукатуренных комнат.

— Моя слишком роскошна,— прошептал я, увидев растянутые гобелены и подушки, расшитые старинным потертым золотом.— Мне нужна только полная темнота.

— Но меньше у нас ничего нет,— пожал он плечами. Он переоделся в свежие белые льняные одеяния в тонкую голубую полоску, такие часто встречаются в арабских странах. Он одел белые носки и коричневые сандалии. Он дымил турецкой сигареткой и прищурился, глядя на меня через дым.

— Ты принес мне часы, да? — Он кивнул — воплощение сарказма и веселья.

— Нет,— сказал я и сунул руку в карман.— Но деньги можешь взять. Скажи мне, раз уж твой ум настоящий медальон, а ключа у меня нет, никто не видел тебя с тем подонком с полицейским значком и револьвером?

— Да мы с ним все время встречаемся,— устало мотнул он головой.— Мы ушли из бара по отдельности. Я убил двух зайцев. Я очень хитрый.

— Почему? — спросил я и вложил лилию в его ручонку.

— Его покупателем был брат Сибил. Никто по нему не скучал, кроме этого полицейского.— Он хихикнул, заткнул лилию в густые кудри над левым ухом, потом вытащил и покрутил в пальцах ее крошечный стебелек.— Хитро, да? Теперь его никто не хватится.

— И правда двух зайцев убил, ничего не скажешь,— сказал я.— Хотя я уверен, что этим дело не ограничится.

— Но теперь ты нам поможешь, правда?

— Конечно помогу. Я же сказал, я очень богат. Я все улажу. У меня к таким делам инстинкт. В одном далеком городе я владел большим театром, а после этого целым островом с дорогими магазинами, ну и так далее. Похоже, я во многих отношениях монстр. Тебе больше никогда, никогда не придется бояться.

— А знаешь, ты правда очень красивый,— сказал он, поднимая одну бровь и быстро подмигивая мне. Он затянулся своей вкусной на вид сигареткой и протянул ее мне. В левой руке он крепко держал лилию.

— Не могу. Я только пью кровь,— покачал головой я.— Я настоящий вампир из книжки. При свете дня нужна полная темнота, а день наступит очень скоро. Не вздумай трогать дверь.

— Ха! — засмеялся он с бесовским восторгом.— Так я ей и сказал! — Он закатил глаза и глянул в направлении гостиной.— Я сказал, что нужно скорее украсть для тебя гроб, но она ответила — нет, ты бы об этом подумал.

— Она совершенно права. Эта комната подходит, но гробы я тоже люблю. Правда.

— А нас ты можешь тоже сделать вампирами?

— Нет, ни за что. Ни в коем случае. У вас чистые сердца, вы слишком живые. И потом, у меня нет такой силы. Так не делают. Нельзя.

Он опять пожал плечами.

— Тогда кто сделал тебя? — спросил он.

— Я родился из черного яйца,— сказал я.— Как и все мы.

Он издевательски засмеялся.

— Ну, остальное ты видел,— сказал я.— Почему бы не поверить в самое лучшее?

Он только улыбнулся, выдохнул дым и посмотрел на меня взглядом мошенника.

Пианино пело грохочущими каскадами, быстрые ноты таяли, едва успев родиться, совсем как последние тонкие зимние снежинки, исчезающие, не упав на тротуар.

— Можно, я поцелую ее, перед тем как идти спать? — спросил я.

Он склонил голову набок и пожал плечами.

— Если ей это не понравится, она все равно не прекратит играть, чтобы сказать об этом.

Я вернулся в гостиную. Как там было свободно — величественные и пышные французские пейзажи с золотыми облаками и кобальтовыми небесами, китайские вазы на подставках, собранный складками бархат, ниспадающий с высоких бронзовых прутьев, закрывая узкие старинные окна. Комната предстала передо мной единой картиной, включая ту кровать, где я лежал, теперь заваленную свежими пуховыми одеялами и подушками с вышитыми на них старинными лицами.

А она, центральный бриллиант в длинной белой фланелевой рубашке, отделанной на запястьях и у ворота плотными старинными ирландскими кружевами, играла проворными уверенными пальцами на длинном лакированном рояле, и ее волосы сияли на плечах ровным желтым светом.

Я поцеловал ее ароматные локоны и нежную шею, перехватил детскую улыбку и сверкнувший взгляд, а она продолжала играть, запрокинув голову, прикоснувшись ею к моей одежде.

Я обхватил ладонями ее шею. Ее гибкое тело прислонилось ко мне. Я скрестил руки на ее талии и почувствовал, как в моих уютных объятиях вслед за стремительными пальцами двигаются ее плечи.

Я осмелился, сжав губы, тихим шепотом напеть мелодию, и она запела вместе со мной.

— «Аппассионата»,— прошептал я ей на ухо. Я плакал. Я не хотел пачкать ее кровью. Она была слишком чистая, слишком красивая. Я отвернулся. Она бросилась вперед. Руки забарабанили громовую концовку. Резко наступила тишина, хрусталь-

ная, как сама музыка. Она повернулась, обняла меня, крепко сжала и произнесла слова, которых ни один смертный не говорил мне за всю мою долгую бессмертную жизнь:

— Арман, я люблю тебя.

23

Стоит ли и говорить, что они — идеальные спутники? Никто из них не обращает внимания на убийства. Я не мог бы объяснить этого даже ради спасения собственной жизни. Их волнуют другие вещи: мир во всем мире, бедные страдающие бездомные в холодном Нью-Йорке идущей на спад зимой, цены на лекарства для больных, как ужасно, что Израиль и Палестина без конца воюют друг с другом. Но они и на секунду не задумались об ужасах, случившихся на их глазах. Им все равно, что я каждую ночь убиваю ради крови, что я питаюсь только кровью, ничем иным, что я по самой своей природе связан с уничтожением людей.

Они ни на секунду не задумались о мертвом брате (его, кстати, звали Фоксом, а фамилию моей прекрасной дочери лучше не упоминать).

Кстати, если этот текст когда-нибудь выйдет в свет, в реальный мир, необходимо изменить как ее имя, так и имя Бенджамина.

Однако не это меня сейчас волнует. Я не могу думать о судьбе этих страниц в ином свете, кроме как что они в основном предназначены для нее. Я уже упоминал об этом, и, если мне будет позволено дать им название, я озаглавлю их «Симфония для Сибил».

Нет, пойми, пожалуйста, что Бенджика я люблю не меньше. Дело в том, что я не испытываю настолько всепоглощающей потребности оберегать его. Я знаю, что Бенджи проживет грандиозную, полную приключений жизнь, что бы ни случилось со мной, с Сибил или даже с нашими временами. Такова его гибкая и выносливая природа бедуина. Он — истинное дитя палаток и диких песков, хотя в его случае домом служил унылый спаленный квартал лачуг на окраине Иерусалима, где он убеждал туристов за несоразмерную цену позировать вместе с ним и с грязным огрызающимся верблюдом.

Фокс откровенно похитил его на преступных условиях долгосрочной аренды, за что заплатил пять тысяч долларов. К сделке присовокупили сфабрикованный паспорт эмигранта. Он был, несомненно, гениальным представителем своего племени, со смешанным чувством относился к возвращению домой и на нью-йоркских улицах научился воровать, курить и ругаться, именно в этом порядке. Хотя он клялся всем на свете, что не умеет читать, выяснилось, что все-таки умеет, чем он и занялся как одержимый, как только я начал забрасывать его книгами.

Фактически он умел читать по-английски, по-арабски и на иврите, поскольку у себя на родине читал на этих языках газеты с незапамятных времен.

Он любил заботиться о Сибил. Он присматривал, чтобы она ела, пила молоко, принимала ванну и переодевалась, поскольку ее совершенно не интересовали подобные рутинные мероприятия. Он гордился тем, что своим умом может раздобыть для нее все необходимое, что бы с ней ни происходило.

Он стал ее представителем в отеле: раздавал чаевые, вел все переговоры с портье, включая и удивительно тонко сплетенную ложь о местонахождении покойного Фокса, который в нескончаемой саге Бенджика превратился в прославленного путешественника и фотографа-любителя; он приглашал настройщика, которого приходилось вызывать раз в неделю, так как пианино стояло у окна на солнце и на холоде, а Сибил при этом била по клавишам с яростью, удивившей бы самого Бетховена. Он звонил по телефону в банк, где весь персонал считал его старшим братом, Давидом, а потом являлся за наличными к окошечку кассы в качестве маленького Бенджамина.

Через несколько ночей разговоров я убедился, что могу дать ему такое же превосходное образование, как то, что дал мне Мариус, и что в результате он должен получить возможность выбрать любой университет, профессию или любительское занятие умственной природы. Я не раскрывал свои карты. Но к концу недели я мечтал, чтобы он попал в частную школу, откуда он выйдет в синем блейзере с золотыми пуговицами, чтобы покорить жителей американского Восточного побережья.

Я люблю его до такой степени, что разорву на части любого, кто осмелится прикоснуться к нему хоть пальцем.

Но с Сибил нас связывает симпатия, которая иногда не посещает как смертных, так и бессмертных на протяжении всей жизни. Я понимаю Сибил. Я ее знаю. Я понял ее в тот момент, когда впервые услышал ее игру, понимаю и сейчас, и если бы она не находилась под защитой Мариуса, я бы здесь с тобой не разговаривал. На протяжении всей жизни Сибил я никогда с ней не расстанусь и дам ей все, о чем она ни попросит.

Когда Сибил умрет, а это неизбежно, я испытаю невыразимую боль. Но это придется перенести. В этом вопросе у меня нет выбора. Я уже не тот, кем был, когда увидел Плат Вероники, когда вышел на солнце.

Я другой, и этот другой беспредельно и окончательно полюбил Сибил и Бенджамина. Отступать мне нельзя.

Конечно, я прекрасно сознаю, что питаюсь этой любовью; став счастливее, чем когда-либо прежде за всю свою бессмертную жизнь, я набрался сил от своих спутников. Эта ситуация слишком идеальна, чтобы считать ее не чистой случайностью, а чем-то иным.

Сибил не безумна. Это чрезвычайно далеко от истины, и я воображаю, что прекрасно ее понимаю. С того момента, когда она впервые прикоснулась руками к роялю, остальное ей стало не нужно. И ее «карьера», так благородно спланированная для нее гордыми родителями и сгорающим от амбиций Фоксом, никогда не имела для нее особенного значения.

Будь она бедна, терпи она лишения, признание публики, наверное, стало бы неотъемлемой частью ее романа с музыкой, давая ей необходимую возможность бежать от ужасной западни жизненной обыденности и рутины. Но бедной она никогда не была. И она до глубины души остается абсолютно равнодушной, услышат люди ее музыку или нет.

Ей нужно только слышать ее самой и знать, что она не беспокоит окружающих.

В том старом отеле, где комнаты в основном сдаются на несколько дней, где лишь горстка жильцов настолько богаты, что могут позволить себе жить там годами, как семья Сибил, она имеет возможность играть без конца и никого не беспокоить.

А после смерти родителей, лишившись двух единственных близких свидетелей ее развития, она просто не могла дальше сотрудничать с Фоксом в вопросах своей карьеры.

Что ж, все это я понял практически с самого начала. Я понял это по ее бесконечному повторению сонаты № 21, и, думаю, доведись тебе ее услышать, ты тоже это понял бы. Я хочу, чтобы ты ее послушал. Понимаешь, Сибил совершенно не смущает, если ее соберутся послушать другие. Если ее будут записывать, она не засуетится. Если другим нравится ее слушать, если ей говорят об этом, она приходит в восторг. Но у нее все очень просто. «А, значит, вам тоже нравится? — думает она.— Красиво, правда?» Вот что мне сказали ее глаза и улыбки, когда я впервые к ней приблизился.

И, полагаю, прежде чем продолжать — а мне есть что написать о своих детях,— стоит разобраться с вопросом: а как я приблизился к ней? Как я оказался в ее квартире в то роковое утро, когда Дора стояла в соборе и кричала толпе о таинственном Плате, а я летел к небесам, и кровь бурлила в моих воспламенившихся венах?

Я не знаю. Я располагаю утомительным сверхъестественным объяснением, подобным тем, которыми забивают тома члены Общества изучения экстрасенсорных явлений или авторы сценариев о Малдере и Скалли, героях телесериала «Секретные материалы». Ими пестрят и секретные файлы архивов ордена психодетективов Таламаска.

Грубо говоря, я вижу это примерно так. Я обладаю исключительно сильными способностями оказывать гипнотическое воздействие, перемещать свое зрение, пересылать свой образ на расстояние и воздействовать на материю как на близком расстоянии, так и в тех случаях, когда она находится вне поля зрения. Должно быть, я каким-то образом во время утреннего путешествия к облакам воспользовался этой силой. Возможно, она вырвалась из меня в момент душераздирающей боли, когда я во всех отношениях полностью вышел из строя и абсолютно не сознавал, что со мной происходит. Возможно, то был последний, отчаянный, истерический отказ смириться с возможностью смерти или же с ужасным, близким к смерти положением, в котором я оказался.

То есть, упав с крыши, обгорев, испытывая невыразимые мучения, я, возможно, нашел способ отчаянного мысленного избавления, спроецировав свой образ и силу в комнату Сибил, и их хватило, чтобы убить ее брата. Для духов, разумеется, невоз-

можно осуществить достаточное воздействие на материю, чтобы ее изменить. Значит, может быть, именно так я и сделал: спроецировал себя в духовной форме, положил руки на материю — Фокса — и убил его.

Но на самом деле я в это не верю. Я объясню почему. Прежде всего, хотя Сибил и Бенджамин, несмотря на всю свою показную, полную здравого смысла отрешенность, не эксперты в вопросах смерти и последующей судебной экспертизы, оба настаивают, что, когда они избавлялись от трупа Фокса, он был обескровлен. На шее явственно виднелись раны от укуса. То есть они и по сей час верят, что я присутствовал там в материальной форме и что я действительно выпил кровь Фокса. Этого спроецированный образ сделать не может, во всяком случае насколько мне известно. Нет, он не сможет поглотить кровь целой кровеносной системы, а потом раствориться, вернуться в прежнее состояние. Нет, такое невозможно.

Конечно, Сибил и Бенджи могут заблуждаться. Что они знают о крови и трупах? Но они фактически, по их словам, оставили мертвого Фокса пролежать два дня, ожидая, пока им поможет дибук — или ангел. Но за такой срок человеческая кровь оседает в самую нижнюю часть тела, и дети не могли бы не заметить такую перемену. Они же ничего не заметили.

Нет, у меня от этого голова разболелась! Суть в том, что я не знаю, как и почему я попал в их квартиру. Я не знаю, как это произошло. Но я знаю, как я уже говорил, что все увиденное мной в великом восстановленном киевском соборе, в невероятном месте, было не менее реально, чем происшествие в квартире Сибил.

Есть и еще один существенный момент, пусть маленький, но критически важный. После того как я убил Фокса, Бенджи видел, как с неба упало мое обгорелое тело. Он видел меня, как я видел его, из окна.

Существует одна ужасная возможность. Вот в чем она заключается. Тем утром я должен был умереть. Я умер бы. Мое вознесение совершилось под действием безмерной воли и безмерной любви к Богу, в которой я, диктуя сейчас эти слова, не сомневаюсь.

Но возможно, в критический момент мужество меня подвело. Меня подвело мое тело. И, ища убежища от солнца, стараясь пресечь свое мученичество, я наткнулся на неприятности Сибил и ее брата и, почувствовав, как сильно я ей нужен, начал падать к убежищу на крыше, где меня быстро накрыли снег и лед. Мой визит к Сибил, согласно этому толкованию, мог быть лишь преходящей иллюзией, сильной проекцией самого себя, удовлетворением потребности выбранной наугад уязвимой девушки, которой грозили смертельные побои со стороны брата.

Что касается Фокса, я, несомненно, убил его. Но умер он от страха: может быть, когда я надавил иллюзорными руками на его хрупкое горло, его сердце не выдержало — телекинез или внушение. Но я уже сказал, что не верю в это.

Я побывал в киевском соборе. Я проломил пальцами скорлупу. Я видел, как птица вылетела на свободу.

Я знаю, что рядом стояла моя мать, я знаю, что мой отец перевернул чашу. Я знаю, потому что уверен: ни одна частица меня не могла бы вообразить себе такое. Знаю, потому что увиденные мной краски и услышанная музыка не были придуманы и прежде я такого не испытывал.

Ведь ни об одной из своих предыдущих грез я такого сказать не могу. Когда я произносил слова молитвы в Киеве, я находился в царстве, состоящем из ингредиентов, которыми мое воображение просто не располагает.

Я больше не хочу об этом говорить. Анализировать — слишком болезненно и ужасно. Я не собирался это делать, насколько сознавало мое сердце, и у меня не было над этим сознательной власти. Так просто получилось.

Если бы я смог, я бы вообще забыл об этом. Я так невероятно счастлив с Сибил и Бенджи, что, естественно, на время их жизни хочу забыть обо всем. Я хочу только находиться рядом с ними, что и делаю с описанной мной ночи.

Ты видишь, что я не торопился прийти сюда. Вернувшись в ряды опасных живых мертвецов, я с легкостью прочел мысли других вампиров и выяснил, что Лестат находится в своем заточении в безопасности и даже диктует тебе всю историю, случившуюся с ним, с Богом Воплощенным и с Мемнохом-дьяволом.

Мне было очень легко разузнать, не обнаруживая собственного присутствия, что весь мир вампиров скорбит по мне со слезами и с большей болью, чем я мог предсказать.

Таким образом, уверенный в безопасности Лестата, сбитый с толку, но испытывающий облегчение оттого, что к нему таинственным образом вернулся его похищенный глаз, я имел возможность пожить в свое удовольствие с Сибил и Бенджи, что я и сделал.

С Бенджи и Сибил я снова воссоединился с миром, чего не случалось с тех пор, как меня покинул единственный созданный мной вампир, Дэниел Маллой. Моя любовь к Дэниелу всегда оставалась несколько нечестной, а также сплеталась с моей ненавистью к миру в целом и смятением перед лицом современного мира, который начал открываться передо мной в тот момент, когда в конце восемнадцатого века я вышел из вырытых под Парижем катакомб.

Сам Дэниэл считал, что ему этот мир ни к чему, он пришел ко мне, когда жаждал Темной Крови, когда в его мозгу плавали мрачные гротескные истории, рассказанные ему Луи де Пондю-Лаком. Забросав его кипами всевозможных богатств, я добился только того, что его тошнило от смертных сластей, и в результате он отвернулся от предложенной мной роскоши, превратившись в изгоя. Бродя в полубезумном состоянии по улицам, одетый в лохмотья, он отказался от мира до такой степени, что стоял на пороге смерти, а я, существо слабое, испорченное, терзаемое его красотой, вожделея живого человека, а не того вампира, каким он мог бы стать, перенес его к нам, исполнив Темный Ритуал, только потому, что иначе он бы умер.

После этого я не стал для него вторым Мариусом. Все вышло в точности как я предполагал: в глубине души он ненавидел меня за то, что я сделал его живым мертвецом, за то, что в одну ночь превратил его как в бессмертного, так и в типичного убийцу.

Смертным человеком он не представлял себе, какую цену мы платим за свое существование, и правду знать не хотел; он бежал от нее в беспокойные сны и злобные странствия.

Случилось то, чего я и боялся. Сделав его своим товарищем, я получил любовника, все яснее видевшего во мне чудовище.

У нас так и не было периода невинности, у нас не было весны. У нас не было ни единого шанса, какие бы нас ни окружали прекрасные сумеречные сады. Наши души были настроены на разные волны, наши желания пересекались, а зерно нашей взаимной неприязни попало в слишком благодатную почву, чтобы не зацвести. Сейчас все по-другому.

Два месяца я прожил в Нью-Йорке с Сибил и Бенджи, прожил так, как никогда не жил с тех давно прошедших ночей с Мариусом в Венеции.

Я, кажется, уже говорил, что Сибил богата, но она не умеет пользоваться этим богатством: доходы идут на оплату ее непомерных апартаментов и ежедневного питания в номере, остаток идет на дорогую одежду, билеты на симфонические концерты и некоторые стихийные траты и шалости.

Я невероятно богат. Так что первым делом я с удовольствием осыпал Сибил и Бенджика роскошью, которой прежде осыпал Дэниела Маллоя, но с куда большей пользой. Им это понравилось.

Когда Сибил не играет на пианино, она совершенно не возражает против того, чтобы пойти со мной и Бенджи в кино, на симфонический концерт или в оперу. Ей нравится балет, она любит водить Бенджика в самые лучшие рестораны, где он прославился среди официантов своим резким энергичным голоском и распевной манерой совершать набеги на названия блюд, французских и итальянских, заказывая коллекционные вина, которые ему наливались беспрекословно, невзирая на полные добрых намерений законы, запрещающие подавать детям спиртное. Мне, конечно, это тоже очень нравится, и я в восторге обнаружил, что у Сибил появилась игривая привычка одевать меня, выискивать куртки, рубашки и тому подобное из кип одежды на полках, быстро указывая пальцем на понравившуюся вещь, а также выбирать на бархатных подставках всевозможные кольца с дорогими камнями, запонки, цепочки, крошечные распятия из золота и рубинов, золотые скрепки для денег и так далее.

Я в совершенстве освоил эту игру с Дэниэлом Маллоем. Сибил играет в нее со мной по-своему, мечтательно, пока я улаживаю утомительные дела с кассиром.

Я, в свою очередь, получаю огромное удовольствие, таская за собой Бенджика, как куклу, и заставляя его иногда одеваться в дорогое западное платье хотя бы на один-два часа.

Мы представляем собой поразительную троицу, когда обедаем втроем в «Лютеции» или в «Искрах» (я, разумеется, не обедаю): Бенджи в безупречных одеждах пустыни или в отлич-

но сидящем пиджачке с узкими отворотами, в белой рубашке на пуговицах и ярком галстуке, я в своем вполне приемлемом старинном бархате, со стоячими воротниками из старых рассыпающихся кружев и Сибил в очаровательном платье из тех рекой льющихся из ее шкафа туалетов, что покупали ей мама и Фокс, облегающих ее пышную грудь и тонкую талию, обязательно волшебным образом развевающихся вокруг длинных ног и достаточно коротких, чтобы обнажать великолепный изгиб ее упругих икр, когда она надевает на обтянутые темными чулками ноги туфли с каблучками-кинжалами. Коротко подстриженная шапка кудрей Бенджика — византийский нимб вокруг загадочного темного личика, развевающиеся волны ее распущенных волос и мои локоны, вернувшиеся в прежнее состояние, какими они были в эпоху Возрождения: копна длинных неуправляемых прядей, предмет моей тайной тщеславной гордости в те времена.

С Бенджи мое главное наслаждение — это обучение. С самого начала мы завели основательные разговоры об истории, обо всем мире, в результате растянулись на ковре, разглядывая карты, обсуждая общий прогресс Востока и Запада, неизбежное влияние климата, культуры и географии на человеческую историю. Во время новостных передач по телевизору Бенджи самозабвенно бормочет, называет каждую знаменитость интимно, по имени, гневно стучит кулаком, узнав о действиях мировых лидеров, и громко завывает, случись умереть великой принцессе или гуманисту. Бенджи может смотреть новости, непрерывно говорить, есть попкорн, курить сигарету и периодически подпевать музыке Сибил — более или менее одновременно.

Если я не отрываясь смотрю на дождь, как будто увидел призрака, Бенджи непременно колотит меня по руке и кричит:

— Что нам делать, Арман? У нас на вечер три отличных фильма. Меня это бесит, понимаешь, бесит, потому что, если мы пойдем хоть на один из них, мы не попадем на Паваротти в «Метрополитен», я уже зеленею, меня сейчас вырвет.

Мы часто одеваем Сибил вдвоем, а она смотрит на нас, словно не понимает, что мы делаем. Мы всегда сидим и разговариваем с ней, когда она принимает ванну, иначе она, скорее всего, заснет в ванне или просто просидит там много часов, поливая водой свою прекрасную грудь.

Иногда она за всю ночь не говорит ничего, кроме: «Бенджи, завяжи шнурки», или: «Арман, он украл столовое серебро. Скажи ему, пусть положит на место», или, с неожиданным удивлением: «Тепло сегодня, правда?»

Я никогда никому не рассказывал историю своей жизни, как рассказываю ее тебе, но в разговорах с Бенджи я обнаружил, что объясняю ему многое из того, чему учил меня Мариус: о человеческой природе, об истории права, о живописи и даже о музыке.

Скорее всего, в ходе этих разговоров я постепенно, за два месяца, осознал, что изменился.

Во мне исчез некий удушающий темный ужас. Я больше не рассматриваю историю как панораму катастроф; я часто ловлю себя на том, что вспоминаю благородные и восхитительно оптимистичные предсказания: что мир постоянно совершенствуется; что война, невзирая на окружающий нас разлад, тем не менее вышла из моды у власть имущих и вскоре уйдет с арен Третьего мира, как ушла с арен Запада; что мы действительно накормим голодных, приютим бездомных и будем заботиться о тех, кто нуждается в любви.

С Сибил образование и разговоры не являются основой нашей любви. С нею это интимность. Мне все равно, говорит она или молчит. Я не читаю ее мысли. Ей это не понравилось бы.

Так же всецело, как она принимает меня и мою природу, я принимаю ее и ее одержимость «Аппассионатой». Час за часом, ночь за ночью я слушаю, как играет Сибил, и с каждым свежим началом я замечаю мгновенные перемены в интенсивности и выразительности звуков, льющихся из-под ее пальцев. Благодаря этому я постепенно стал единственным слушателем, в чьем присутствии Сибил отдает себе отчет.

Постепенно я стал частью музыки Сибил. Я всегда с ней и с ее фразами и частями «Аппассионаты». Я рядом, и я единственный, кто никогда ничего не просил у Сибил — только чтобы она делала то, что ей хочется, то, что она делает безупречно. Больше Сибил никогда ничего не придется для меня делать — только то, что она пожелает. Если ей когда-нибудь захочется «подняться в глазах общественности», я расчищу ей дорогу. Если она когда-нибудь захочет остаться одна, она не увидит меня и не услы-

шит. Если ей когда-нибудь чего-нибудь захочется, я ей это достану.

И если она когда-нибудь полюбит смертного мужчину или смертную женщину, я сделаю, как она захочет. Я могу жить в тени. Преданный ей, я могу вечно жить во мраке, потому что, когда я рядом с ней, мрака не бывает.

Сибил часто ходит со мной на охоту. Сибил любит смотреть, как я пью кровь и убиваю. Кажется, я прежде никогда не позволял такого смертным. Она старается помочь мне избавиться от останков или запутать улики, указывающие на причину смерти, но я очень сильный, быстрый и способный, поэтому она в основном свидетель.

Я стараюсь не брать Бенджика на подобные эскапады, потому что он дико, по-детски возбуждается, что не идет ему на пользу. На Сибил это никак не влияет.

Я мог бы рассказать тебе и о других вещах: как мы уладили дело с исчезновением ее брата, как я перевел огромные суммы денег на ее имя и основал соответствующие нерушимые трастовые фонды для Бенджика, как я купил ей значительный процент акций отеля, где она живет, и поставил в ее апартаменты, громадные по масштабам отеля, несколько превосходных роялей, которые ей нравятся, как я устроил для себя на безопасном расстоянии от отеля логово с гробом, которое нельзя отыскать и уничтожить, куда нельзя проникнуть, куда я при случае ухожу, хотя больше я привык спать в маленькой комнате, выделенной мне с самого начала, где к единственному окошку, выходящему на вентиляционную шахту, плотно прикрепили шторы. Но черт с ним. Ты узнал то, о чем я хотел поставить тебя в известность.

Остается только подвести нас к настоящему, к сегодняшнему закату, когда я пришел сюда, в самое логово вампиров, рука об руку с моими братом и сестрой, чтобы наконец увидеть Лестата.

24

Все получается как-то слишком просто, правда? То есть мое превращение из маленького религиозного фанатика, стоявшего на ступенях собора, в счастливого монстра, решившего одной весенней ночью в Нью-Йорке, что пора совершить путешествие на юг и зайти проведать старого друга. Ты знаешь, зачем я пришел.

Начнем с раннего вечера. Когда я прибыл, ты был в часовне.

Ты приветствовал меня с нескрываемой радостью, довольный тем, что я жив и невредим. Луи чуть не заплакал.

Остальные — та молодежь в обносках, что набилась внутрь: два юноши, кажется, и девушка, я не знаю, кто они, до сих пор не знаю,— позже куда-то разбрелись.

Я в ужасе увидел, что он, беззащитный, лежит на полу, а его мать, Габриэль, стоит в дальнем углу и просто смотрит на него, холодно, как она смотрит на всех и вся, словно никогда не знала, что такое человеческие чувства.

Я пришел в ужас оттого, что поблизости болтаются молодые бродяги, и почувствовал необходимость защитить Сибил и Бенджика. Я не испытывал страха оттого, что им придется увидеть наших классиков, легенды, воителей: тебя, моего любимого Луи, даже Габриэль и уж конечно Пандору и Мариуса — всех, кто там собрался.

Но я не хотел, чтобы мои дети видели заурядный сброд, накачанный нашей кровью, и по обыкновению подумал, наверное, тщеславно и высокомерно: откуда вообще взялись эти гнусные бродячие недоросли? Кто создал их, когда и зачем?

В такие моменты во мне просыпается старое, неистовое Дитя Тьмы, предводитель общества, скрывавшегося под парижским кладбищем, тот, кто отдавал приказы, когда и как передать Темную Кровь, и прежде всего — кому. Но эта старая привычка властвовать обманчива и в лучшем случае раздражает.

Я возненавидел тех, кто сюда затесался, потому что они смотрели на Лестата как на достопримечательность во время карнавала, а я такого не потерпел бы. Я почувствовал прилив бешенства, тягу к разрушению.

Но у нас не существует правил, допускающих столь опрометчивые поступки. И кто я такой, чтобы устраивать смуту здесь, под твоей крышей? Нет, тогда я не знал, что ты здесь живешь, но ты, безусловно, охранял хозяина дома, однако впустил их, головорезов, а вскоре после этого появились еще трое-четверо. Они осмелились окружить его, но, как я заметил, не подходили слишком близко.

Конечно, всех особенно заинтересовали Сибил и Бенджамин. Я тихо велел им держаться непосредственно рядом со мной и не отлучаться. Сибил не могла выбросить из головы мысль о том, что неподалеку есть пианино, способное придать ее сонате совершенно новое звучание. Что касается Бенджика, он вышагивал как маленький самурай, круглыми, как блюдца, глазами высматривая повсюду монстров, хотя и гордо поджал строгий маленький рот.

Часовня показалась мне красивой. Как же иначе? Чистые, белые оштукатуренные стены, сводчатый потолок, как в древних церквах, а там, где стоял алтарь,— глубокая ниша, настоящий колодец звука, каждый шаг тихим эхом разносится по всему зданию.

Еще с улицы я рассмотрел ярко освещенные витражи. Бесформенные, они тем не менее сохраняли свою прелесть благодаря блестящим синим, красным и желтым краскам и простому змеевидному дизайну. Мне понравились старые черные надписи, посвященные давно ушедшим смертным, в чью память было сооружено каждое окно. Мне понравились разбросанные повсюду старые гипсовые статуи, которые я помог тебе вывезти из нью-йоркской квартиры и отослать на юг.

Тогда я не особенно к ним приглядывался; я отгородился от их стеклянных очей, как от глаз василисков. Но теперь я не преминул рассмотреть их получше.

Среди них я нашел милую страдалицу, святую Риту, в черном облачении и белом апостольнике, со страшной, жуткой ссадиной на лбу, зияющей, как третий глаз. Была там и очаровательная, улыбающаяся святая Тереза из Лизьо, Маленький Цветок Иисуса с распятием и букетом роз в руках.

Поодаль стояла святая Тереза Авильская, вырезанная из дерева, с тонкой работы росписью, поднявшая глаза к небесам, настоящий мистик, а в руке — перо, характеризующее ее как доктора богословия. Были там и святой Людовик с короной Франции, и, конечно, святой Франциск в скромной коричневой монашеской рясе, собравший вокруг себя прирученных животных, и другие, чьих имен я, стыдно признаться, не знаю.

Но даже больше, чем статуи, беспорядочно расставленные по комнате как хранители старой священной истории, меня поразили картины на стене, изображавшие восхождение Христа на Голгофу. Кто-то развесил их в надлежащем порядке, может быть, еще до того, как мы вошли в мир этого дома.

Я догадывался, что они написаны маслом по меди, в них присутствовал стиль Возрождения — конечно, имитация, но имитация того рода, которую я нахожу нормальной и люблю.

Страх, затаившийся во мне за все счастливые недели, проведенные в Нью-Йорке, немедленно всплыл на поверхность. Нет, не столько страх, сколько ужас.

Господи, прошептал я. Я повернулся и поднял глаза к лицу Христа на распятии, висевшем высоко над головой Лестата.

Мучительный момент. Я думаю, на резное дерево наложилось изображение с Плата Вероники. Я уверен. Я снова оказался в Нью-Йорке, где Дора подняла Плат повыше, чтобы мы могли его рассмотреть.

Я увидел его темные, прекрасно оттененные глаза, идеально запечатленные на ткани, словно они составляли ее часть, но ни в коем случае не впитались в нее, темные полоски его бровей и над спокойным, безропотным взглядом — ручейки крови, текущие от терновых шипов. Я увидел его полуоткрытые брови, словно он мог говорить вечно.

Я резко осознал, что с далеких ступеней алтаря на меня устремлены ледяные серые глаза Габриэль, я запер мысли, а ключ проглотил. Я не дам ей трогать ни меня, ни мои мысли. Я ощетинился и настроился враждебно по отношению ко всем, кто собрался в комнате.

Потом пришел Луи. Он очень обрадовался, что я не умер. Он хотел кое-что сказать. Он знал, что меня волнует, и сам нервничал из-за присутствия чужаков. Он выглядел, как и прежде, аскетом, одевался в изношенные черные наряды прекрасного покроя, но невыносимо пыльные. Его рубашка до того истончилась, что больше напоминала эльфийскую пряжу-паутину, чем настоящую ткань и кружева.

— Мы впускаем их, потому что в противном случае они кружат неподалеку, как шакалы, и не уходят,— оправдывался Луи.— А так они заходят, смотрят и убираются. Ты знаешь, чего они хотят.

Я кивнул. У меня не хватило мужества признаться ему, что и я хочу того же. Я так и не заставил себя забыть об этом ни на минуту, несмотря на возвышенность того, что стряслось со мной

после нашего разговора в последнюю ночь моей прошлой жизни. Я хотел его крови. Я хотел выпить ее. Я спокойно дал Луи это понять.

— Он тебя уничтожит,— прошептал Луи, моментально краснея от ужаса. Он вопрошающе посмотрел на Сибил, прижавшуюся покрепче к моей руке, и на Бенджамина, изучавшего его пылающими энтузиазмом глазами.— Арман, нельзя так рисковать. Один из них подошел слишком близко. И был раздавлен. Быстрым, автоматическим движением. Но его рука, как оживший камень, разорвала смельчака на кусочки прямо на полу. Не подходи к нему и даже не думай.

— А Старейшие, сильнейшие, они никогда не пробовали?

Заговорила Пандора. Она все время наблюдала за нами, держась в тени. Я и забыл, как она прекрасна — сдержанной, первозданной красотой.

Длинные густые коричневые волосы были зачесаны назад, образуя тень за тонкой шеей. Она казалась глянцевитой и хорошенькой, потому что втерла в лицо темное масло, чтобы больше походить на человека. Глаза оставались дерзкими, горящими. Она обняла меня с бесцеремонностью женщины. Она тоже обрадовалась, что я жив.

— Ты знаешь, кем стал Лестат,— умоляюще сказала она.— Арман, это очаг силы, никому не ведомо, на что он способен.

— Но, Пандора, неужели ты никогда об этом не думала? Неужели тебе никогда не приходило в голову выпить крови из его горла и отыскать образ Христа? Ведь внутри его хранится неопровержимое доказательство того, что он пил Божию кровь!

— Арман,— сказала она,— Христос никогда не был моим богом.— Так просто, так возмутительно, так беспрекословно.

Она вздохнула, но лишь от беспокойства за меня. Она улыбнулась.

— Я бы не стала знакомиться с твоим Христом, если бы он оказался внутри Лестата,— мягко сказала она.

— Ты не понимаешь,— ответил я.— С ним что-то случилось — случилось, пока он уходил к этому духу, Мемноху. А вернулся он с Платом. Я его видел. Я видел его... силу.

— Ты видел иллюзию,— доброжелательно сказал Луи.

— Нет, я видел силу,— ответил я. Через мгновение я сам усомнился в себе. Длинные коридоры истории вились как назад, так и вперед, я увидел, как бросаюсь в темноту с одной-единственной свечой в поисках написанных мною икон. И вся тривиальность, вся безнадежность ситуации сразили мою душу.

Я осознал, что напугал Сибил и Бенджика. Они не сводили с меня глаз.

Я обнял их обоих и притянул к себе. Перед тем как прийти сюда, я поохотился, чтобы набраться побольше сил, и знал, что у меня приятно теплая кожа. Я поцеловал Сибил в бледные розовые губы и поцеловал Бенджика в голову.

— Арман, ты меня бесишь, правда бесишь,— заявил Бенджи.— Ты никогда мне не говорил, что поверил в этот Плат.

— А ты, маленький мужчина,— сказал я приглушенным голосом, чтобы не устраивать спектакля на публике,— ты сам не заходил в собор, когда его там выставляли?

— Заходил. И скажу тебе то же, что и прекрасная леди.— Он, разумеется, пожал плечами.— Он никогда не был моим богом.

— Смотрите, рыщут,— тихо сказал Луи. Он исхудал и слегка вздрагивал. Он пренебрег своим голодом, чтобы прийти и встать на свою вахту.— Лучше я вышвырну их отсюда, Пандора,— продолжил он голосом, не способным вселить страх даже в самую робкую душу.

— Пусть увидят то, зачем пришли,— хладнокровно, едва слышно ответила она.— Возможно, им недолго придется радоваться своему удовлетворению. Они осложняют нам жизнь, они нас позорят, они не приносят пользы никому — ни живым, ни мертвым.

Прелестная угроза, подумал я. Я надеялся, что она смела с лица земли немало им подобных, но, конечно, понимал, что многие Дети Тысячелетий думают то же самое и обо мне. Что же я за наглое существо — привести сюда посмотреть на моего друга, лежащего на полу, без какого бы то ни было разрешения своих детей.

— Оба они среди нас в безопасности,— сказала Пандора, видимо читая мои беспокойные мысли.— Ты же понимаешь, что тебя рады видеть и молодые, и старые.— Она обвела жестом всю комнату.— Некоторые не хотят выходить на свет, но они тебя знают. Они не хотели, чтобы ты погиб.

— Нет, никто не хотел,— довольно эмоционально сказал Луи.— И ты вернулся, как во сне. У нас были подозрения, некоторые шептали, что тебя видели в Нью-Йорке, красивого и полного жизни, как раньше. Но я не мог поверить, не убедившись своими глазами.

Я кивнул в знак признательности за его добрые слова. Но думал я о Плате. Я еще раз посмотрел на резное изображение Христа на дереве, а потом опустил взгляд на фигуру спящего Лестата.

Только тогда вышел Мариус. Он дрожал.

— Живой, не обожженный,— прошептал он.— Сын мой.

Его плечи скрывал старый, жалкий, поношенный серый плащ, но я не обратил на это внимания. Он сразу же обнял меня, заставив тем самым моих детей отойти. Однако далеко они не ушли. Думаю, они успокоились, увидев, что я обхватил его обеими руками и по многолетней привычке несколько раз поцеловал в лицо и в губы — потрясающего, исполненного мягкой любви.

— Я присмотрю за этими смертными, если ты решился попробовать,— сказал он. Он прочел весь сценарий в моем сердце. Он понял, что у меня нет выбора.— Как мне тебя отговорить? — спросил он.

Я только покачал головой. От спешки и предвкушения я даже не мог ответить иначе. Я предоставил Бенджика и Сибил его заботам.

Я приблизился к Лестату и прошел прямо к нему, то есть я стоял слева от него, он лежал от меня справа. Я быстро опустился, удивившись, что мрамор такой холодный, забыв, полагаю, как здесь сыро, в Новом Орлеане, как незаметно подкрадывается озноб.

Я оперся обеими руками о пол и посмотрел на него. Он лежал спокойно, неподвижно, оба глаза одинаково ясные, словно ни один из них никогда и не вырывали. Он смотрел, как говорится, сквозь меня, вперед, куда-то дальше, выглядывая из разума, на вид пустого, как мертвый кокон.

Его всклокоченные волосы запылились. Даже его холодная, злобная мать не причешет их, предположил я, отчего пришел в ярость. Но со вспышкой ледяных эмоций она прошипела:

— Он никого к себе не подпускает, Арман.— Эхо разнесло ее далекий голос по пустой часовне.— Попробуй, сам узнаешь.

Я поднял голову. Она сидела, прислонившись к стене, небрежно обхватив руками колени. Она была в привычной прочной выцветшей одежде цвета хаки, в узких брюках и в своей издавна прославленной британской куртке для сафари, в пятнах, оставленных дикой природой; ее светлые волосы, такие же яркие и золотистые, как у него, заплетенной косой лежали на спине.

Внезапно она сердито поднялась и направилась ко мне, резко и непочтительно топая по полу простыми кожаными сапогами.

— С чего ты взял, будто духи, которых он видел,— боги? — вопросила она.— С чего ты взял, будто выходки этих возвышенных существ, играющих с нами, стоят больше, чем детские проказы, а мы, от мала до велика, не просто звери, бродящие по земле? — Она остановилась в нескольких футах от него. Она скрестила руки.— Он ввел что-то или кого-то в искушение. Эта сущность не смогла перед ним устоять. И к чему это свелось? Говори. Ты должен знать.

— Я не знаю,— тихо ответил я.— Хоть бы ты оставила меня в покое.

— Не знаешь? Разве? Так я тебе скажу, к чему это свелось. Молодая женщина по имени Дора, духовный, как говорится, лидер, проповедовавшая добро, проистекающее из ухода за слабыми и страждущими, сбилась с пути! Вот к чему все свелось: ее проповеди, основанные на благотворительности, спетые на новый лад, дабы к ним прислушались, испарились благодаря кровавому лицу кровавого бога.

Мои глаза наполнились слезами. Мне было противно, что она все так ясно увидела, но я не мог ей ответить и не мог ее заткнуть. Я поднялся на ноги.

— Они слетелись обратно в соборы,— презрительно продолжала она,— целыми стаями вернулись к архаичной, смехотворной и абсолютно бесполезной теологии, которую ты, похоже, просто забыл.

— Я достаточно хорошо с ней знаком,— тихо сказал я.— Ты меня замучила. Что я тебе сделал? Я встал рядом с ним на колени, только и всего.

— Да, но ты хочешь большего, и твои слезы меня оскорбляют,— сказала она. Я услышал, как кто-то обратился к ней из-за моей спины, по-моему Пандора, но точно я не знал. Внезапно во вспышке мимолетного прозрения я понял, скольких здесь развлекают мои страдания, но мне было все равно.

— Чего ты ждешь, Арман? — безжалостно и коварно спросила Габриэль. Ее узкое овальное лицо было так на него похоже — и так отличалось! Он никогда не расставался до такой степени с чувством, никогда не испытывал такого абстрактного гнева, как она.— Думаешь, ты увидишь то же, что и он, или же надеешься, что кровь Христова ждет, пока ты насладишься ее вкусом? Процитировать тебе катехизис?

— Не стоит, Габриэль,— смиренно сказал я. Слезы слепили мне глаза.

— Хлеб и вино будут Телом и Кровью до тех пор, пока они останутся хлебом и вином, Арман; но как только они перестанут быть хлебом и вином, они перестанут быть Телом и Кровью. Так чего ты ждешь от Крови Христовой? Что она сохранила волшебную силу, несмотря на мотор его сердца, пожирающий кровь смертных, как воздух, которым он дышал?

Я не ответил, а в душе подумал: «Это же не хлеб и вино; это его Кровь, его священная Кровь, он передал ее по пути на Голгофу тому, кто здесь лежит».

Я спрятал поглубже мою скорбь и злость на то, что она заставила меня скомпрометировать себя этими выражениями. Я хотел оглянуться на моих бедных Сибил и Бенджика, поскольку по запаху чувствовал, что они до сих пор здесь.

Что же Мариус не уведет их? Но это достаточно ясно. Мариус хочет посмотреть, что я намерен делать.

— Только не говори,— невнятно добавила Габриэль,— что дело здесь в вере.— Она усмехнулась и покачала головой.— Ты явился как Фома неверующий, чтобы вонзить свои окровавленные клыки прямо в рану.

— Ну пожалуйста, умоляю тебя, прекрати,— прошептал я. Я поднял руки.— Дай мне попробовать, пусть он меня ударит, тогда ты будешь довольна и отвернешься.

Я подразумевал только то, что сказал, и не ощущал в своих словах никакой силы — только смирение и невыразимую печаль.

Но ей они нанесли тяжелый удар, и впервые на ее лице отразилась всепоглощающая грусть, у нее тоже увлажнились и покраснели глаза, и, взглянув на меня, она даже поджала губы.

— Бедное заблудшее дитя! Арман,— сказала она,— мне так тебя жаль. Я так радовалась, что ты пережил солнце.

— Так, значит, я могу простить тебя, Габриэль,— сказал я,— за все жестокие слова, что ты мне наговорила?

Она задумчиво приподняла брови, а потом медленно кивнула в знак немого согласия. Потом, подняв руки, она беззвучно попятилась и приняла прежнюю позу на ступенях алтаря, откинув голову на алтарную ограду. Она, как прежде, подтянула колени и смотрела на меня, ее лицо оставалось в тени.

Я ждал. Она застыла и успокоилась. Рассеявшиеся по часовне посетители не издавали ни звука. Слышно было только ровное биение сердца Сибил и взволнованное дыхание Бенджика, и то за много ярдов от меня.

Я взглянул на Лестата, остававшегося без изменений, волосы по-прежнему падали на его лицо, слегка прикрывая левый глаз. Правая рука была откинута в сторону, пальцы согнулись, он лежал без единого движения, даже легкие не дышали, даже поры.

Я снова опустился рядом с ним на колени. Я протянул руку и без колебаний отвел волосы с его лица.

Я почувствовал, как по комнате пробежала волна потрясения. Я услышал чьи-то вздохи. Но сам Лестат не шелохнулся.

Я медленно, уже более ласково расправил его волосы и, к собственному немому изумлению, увидел, что прямо на его лицо упала одна из моих слез.

Она была красная, но водянистая и прозрачная и, стекая со скулы в естественную впадину под ней, совершенно исчезла. Я скользнул ближе, повернулся на бок, лицом к нему, не убирая руки с его волос. Я вытянул ноги рядом с ним и лег, уткнувшись лицом в его вытянутую руку.

Снова послышались потрясенные вздохи, и я постарался окончательно очистить свое сердце от гордыни и от всего прочего, оставив только любовь.

Она не была определенной или дифференцированной, эта любовь,— просто любовь, которую я мог чувствовать к тому, ко-

го я убивал, кому я помогал, кого я обходил на улице или к тому, кого я знал и ценил так высоко, как его.

Я и вообразить не мог всего бремени его печалей, и это понятие в моих мыслях расширилось, охватывая и нашу общую трагедию, трагедию тех, кто убивает, чтобы жить, кто процветает на смерти, пусть даже так повелела сама Земля, кто носит на себе проклятие самосознания, кто досконально знает, как медленно страдает, насыщая нас, все, что нас кормит, пока от него ничего не остается. Печаль. Печаль, намного превосходящая чувство вины, намного более объяснимая, печаль слишком великая для всего мира.

Я приподнялся. Я оперся на локоть, а пальцами правой руки нежно провел по его шее. Я медленно прижался губами к его побелевшей шелковой коже и вдохнул до боли знакомый, характерный запах, приятный, неопределенный и удивительно личный, состоящий из смеси как его природных достоинств, так и даров, полученных впоследствии, и острыми клыками я пронзил его кожу, чтобы попробовать его кровь.

Для меня не осталось ни часовни, ни возмущенных вздохов, ни почтительных вскриков. Я ничего не слышал, хотя знал, что происходит вокруг. Знал, как будто материальное помещение было лишь иллюзией, ибо реальной осталась только его кровь.

Густая, как мед, насыщенная и крепкая на вкус, сироп самих ангелов.

Я пил ее со стоном, чувствуя ее опаляющий жар, она разительно отличалась от любой человеческой крови. С каждым медленным биением его сильного сердца поступал новый приток, пока у меня не переполнился рот и мое горло не сделало самопроизвольный глоток, и его сердце застучало громче, с каждым разом ускоряясь, мои глаза заволокло красный дымкой, и в этой дымке я увидел бушующий вихрь пыли.

Из небытия возник гнусный унылый гул, смешанный с ядовитым песком, впившимся мне в глаза. Это была настоящая пустыня, древняя, полная прогорклых и заурядных запахов, провонявшая потом, грязью и смертью. Гул состоял из выкриков, эхом отлетавших от тесных тусклых стен. На одни голоса накладывались другие, хриплые взрывы брани и равнодушные сплетни заглушали даже самые резкие и ужасные крики гнева и тревоги.

Я, пробиваясь сквозь толпу, прижимался к потным телам, косые лучи солнца жгли мою вытянутую руку. Я понимал, о чем трещали вокруг, древний язык ревел и выл в моих ушах, пока я проталкивался поближе к источнику взмокшей, противной суеты, затянувшей меня в свою трясину и пытавшейся меня удержать.

Казалось, они выдавят из меня всю жизнь, оборванцы с шершавой кожей и женщины в домотканой одежде, прикрывающие лица покрывалами. Они толкали меня локтями и наступали на ноги. Что лежит впереди, я не видел. Я выбросил руки в стороны, оглушенный криками и злобным булькающим смехом, и неожиданно словно по чьей-то воле толпа расступилась, и я увидел огненный шедевр своими глазами.

Она стояла передо мной в рваных, окровавленных белых одеждах, та самая фигура, чье лицо я видел запечатленным на ткани Плата. Руки толстыми неровными железными цепями прикованы к тяжелому, чудовищному кресту распятия. Он сгорбился под его тяжестью, волосы струились по обе стороны его израненного, изувеченного лица. Кровь из-под шипов текла прямо в открытые непреклонные глаза.

Мой вид явился для него неожиданностью, он даже слегка изумился. Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами, словно его не окружала толпа, словно хлыст не опускался прямо на его спину, а затем и на склоненную голову. Из-под спутанных, испачканных в запекшейся грязи волос, из-под воспаленных, окровавленных век смотрел он вдаль.

— Господи! — воскликнул я.

Должно быть, я потянулся к его лицу, ведь это были мои руки, мои маленькие белые руки! Я увидел, как они стараются добраться до его лица.

— Господи! — повторил я.

И в ответ он посмотрел на меня, не двигаясь, наши взгляды пересеклись, его руки болтались в железных оковах, изо рта капала кровь.

Неожиданно на меня обрушился яростный, ужасный удар, бросивший меня вперед. Мои глаза затопило его лицо. Оно выросло передо мной до крупнейших возможных масштабов: грязная, в царапинах кожа, промокшие, потемневшие, склеившиеся ресницы, огромные яркие очи с темными зрачками.

Оно придвигалось все ближе и ближе, кровь капала на его густые брови, стекала по впалым щекам. Его рот приоткрылся. Он издал звук. Сперва это был вздох, потом — глухое ускоряющееся дыхание. Оно становилось все громче и громче, по мере того как его лицо становилось все больше и больше, теряя ясные очертания, превращаясь в совокупность плывущих оттенков, а звук перешел в невероятный, оглушительный рев.

Я вскрикнул от ужаса. Меня отшвырнуло назад. Но хотя теперь я различал знакомую фигуру и древний силуэт его лица в терновом венце, лицо все равно увеличивалось в размерах; удивительно нечеткое, оно опять склонилось надо мной и внезапно чуть не удушило меня своим безмерным, всеподавляющим весом.

Я закричал. Беспомощный, невесомый, я не мог дышать. Я кричал так, как не кричал за все мои жалкие годы, мой вопль вытеснил даже рев, забивший мне уши. Но видение продолжало надвигаться — огромная, давящая, неотвратимая масса, что когда-то была его лицом.

— О Господи! — заорал я изо всех сил, оставшихся в моих пылающих легких. В ушах шумел ветер.

Что-то с такой силой ударило меня по голове, что у меня треснул череп. Я услышал треск. Я почувствовал всплеск крови.

Я открыл глаза. Я смотрел вперед. Я находился по другую сторону часовни — распростерся у покрытой штукатуркой стены, вытянув перед собой ноги; руки болтались, голова горела от боли в месте сотрясения, в том месте, которым я ударился о стену.

Лестат ни разу не шелохнулся. Я знал, что он не виноват. Можно было мне это не объяснять. Не он отбросил меня назад. Я перевернулся, упал ничком и подложил руку под голову. Я знал, что вокруг меня топчутся чьи-то ноги, что рядом Луи, что подошла даже Габриэль, и также я знал, что Мариус уводит Сибил и Бенджамина.

В звенящей тишине я слышал только тонкий, резкий смертный голос Бенджамина:

— Но что с ним случилось? Что случилось? Блондин его не трогал. Я видел. Этого не было. Он не...

Пряча мокрое от слез лицо, я прикрыл дрожащими руками голову, и никто не видел мою горькую улыбку, хотя всхлипы слышали все.

Я плакал и плакал, долго, а потом постепенно, как я и ожидал, рана на голове начала затягиваться. Злая кровь поднялась к поверхности кожи и, зудя, оказывала мне свою злую поддержку, сшивая плоть, как исходящий из ада лазерный луч.

Кто-то передал мне салфетку. От нее слабо пахло Луи, но полной уверенности у меня не было. Прошло много времени, прежде чем я наконец сжал ее и стер с лица кровь. Минул еще час, час тишины,— поскольку многие из уважения выскользнули из часовни,— прежде чем я перевернулся, поднялся и сел у стены. Голова больше не болела, рана исчезла, присохшая кровь быстро осыпалась. Я долго и тихо смотрел на него.

Мне было холодно, одиноко и плохо. Чужие бормотания не проникали в мое сознание. Я не замечал ни жестов, ни передвижения окружающих.

В святая святых моей души я перебрал, по большей части медленно, подробно, все, что видел, все, что слышал,— все, что я тебе здесь рассказал.

Наконец я поднялся. Я вернулся и посмотрел на него.

Габриэль что-то сказала. Что-то резкое и грубое. Я не слышал, что именно. Я слышал звук, интонацию, как будто ее старинный французский язык, так хорошо мне знакомый, стал новым для меня наречием.

Я встал на колени и поцеловал его волосы.

Он не пошевелился. Он не изменился. Я ни секунды не боялся и ни на что не надеялся. Я еще раз поцеловал его в щеку, поднялся, вытер пальцы салфеткой, которую до сих пор сжимал в руке, и вышел.

Кажется, я долгое время простоял в оцепенении, а потом кое-что вспомнил, вспомнил, что Дора давным-давно говорила, будто на чердаке умер ребенок, рассказывала о маленьком призраке и о старой одежде.

Уцепившись за это воспоминание, крепко сжимая его, я смог подтолкнуть себя к лестнице.

Там мы с тобой через некоторое время и встретились. Теперь ты знаешь, к лучшему или к худшему, что я увидел — или чего не увидел.

Итак, моя симфония окончена. Давай я поставлю свое имя. Когда ты закончишь переписывать, я подарю свой экземпляр расшифровки Сибил. И, наверное, Бенджику. А с остальным можешь делать что хочешь.

25

Это не эпилог. Это последняя глава повести, которую я считал завершенной. Я дописываю ее своей рукой. Она будет краткой, поскольку обо всем, что важно, я уже рассказал и остается лишь изложить некоторые голые факты.

Возможно, позже у меня найдутся подходящие слова, чтобы яснее описать, до какой степени я обессилел после всего, что случилось, но пока что я могу это лишь констатировать.

Поставив подпись на копии, так тщательно записанной Дэвидом, я не ушел из монастыря. Было слишком поздно.

За разговорами прошла вся ночь, и мне, перевозбужденному после описанных мной Дэвиду событий, пришлось удалиться в одну из потайных кирпичных комнат здания, показанных мне Дэвидом, место, куда когда-то заточили Лестата; никогда еще я до такой степени не выматывался, и с восходом солнца моментально погрузился в сон.

С наступлением сумерек я поднялся, расправил одежду и вернулся в часовню. Я опустился на пол и поцеловал Лестата с нескрываемой любовью, как прошлой ночью. Я никого не замечал и даже не знал, кто там присутствовал.

Поверив Мариусу на слово, я вышел из монастыря, омытый фиолетовым светом раннего вечера, доверчиво скользя глазами по цветам, и прислушался, чтобы аккорды сонаты Сибил привели меня в нужный дом.

Через несколько секунд я услышал музыку, далекие, но быстрые фразы «Аппассионаты», первой части знакомой песни Сибил.

Она звучала с непривычной звонкой четкостью, с новой апатичной интонацией, придававшей ей властный, рубиново-красный оттенок, понравившийся мне с первого звука.

Значит, я не напугал свою девочку до потери рассудка. Значит, с ней все в порядке, она благоденствует и, возможно, влюбляется, как многие из нас, в сонную душную прелесть Нового Орлеана.

Я немедленно поспешил к указанному месту и, не успев даже ощутить ветер, оказался перед огромным трехэтажным красным кирпичным домом в Метэри, предместье Нового Орлеана, обладавшем, несмотря на близость к городу, чудесной атмосферой уединения.

Как и говорил Мариус, этот новый американский особняк со всех сторон окружали гигантские дубы, а французские двери с чистыми блестящими стеклами были настежь распахнуты навстречу раннему ветру.

Мои ноги ступали по длинной мягкой траве, а из каждого окна лился роскошный свет, такой дорогой сердцу Мариуса, как лилась и музыка «Аппассионаты». В настоящий момент она с удивительной грацией переходила ко второй части, *Andante con motto*, которая сначала обещает быть более спокойным фрагментом произведения, но быстро присоединяется к общему безумию.

Я остановился на полпути и прислушался. Никогда еще я не слышал таких прозрачных, просвечивающих нот, таких ярких и изысканно четких. Ради чистого удовольствия я попытался определить различия между этим исполнением и остальными, что я слышал в прошлом. Они все отличались друг от друга, волшебные, глубоко задевающие душу, но этот вариант был просто изумителен — быть может, причиной тому служили особенности грандиозного концертного рояля.

На мгновение меня охватило горестное, ужасное, цепкое воспоминание о том, что я увидел, когда прошлой ночью пил кровь Лестата. Я позволил себе, выражаясь нашим невинным языком, оживить его в памяти, а потом явственно покраснел, обнаружив приятную неожиданность: мне не придется ничего рассказывать, я все продиктовал Дэвиду, а когда он отдаст мои копии, я доверю их тем, кого люблю, тем, кто захочет знать, что я видел.

Что касается меня, я не собирался в этом копаться. Я не мог. Слишком сильно я чувствовал, что тот, кого я видел по пути на Голгофу, будь он настоящим или плодом фантазии моего греховного сердца, не хотел, чтобы я его видел, и чудовищным образом оттолкнул меня. Я ощущал себя отвергнутым до такой степени, что едва мог поверить, будто смог описать это Дэвиду.

Нужно было выбросить эти мысли из головы. Я наложил запрет на всяческие отзвуки мрачных переживаний и снова отдался музыке Сибил, стоя под дубами на извечном речном ветру, от которого в этих местах не скрыться,— он охлаждал меня, успокаивал и заставлял чувствовать, что земля полна неукротимой красоты даже для такого, как я.

Музыка третьей части достигла своей блистательной кульминации, и я решил, что у меня вот-вот разорвется сердце.

Только когда отзвучали финальные аккорды, я осознал то, что было очевидным с самого начала.

Не Сибил играла ту музыку. Не Сибил. Я знал каждый нюанс трактовок Сибил. Я знал ее способы выражения; я знал качество тона, неизбежно производимое ее неповторимыми прикосновениями. Хотя ее интерпретации всегда были произвольными, я тем не менее знал ее манеру, как знают чужой стиль письма или особенности работы художника. Это была не Сибил.

И тогда меня осенила истина. Это была Сибил, но Сибил стала уже не Сибил.

В первую секунду я не мог в это поверить. Сердце остановилось в груди. Потом я вошел в дом — размеренной, решительной походкой человека, который не остановится ни перед чем, чтобы выяснить правду о том, что ему показалось.

Через мгновение я все увидел своими глазами. Они собрались все вместе в великолепной комнате: прекрасная гибкая Пандора в коричневом шелковом платье, подпоясанном на талии в старинном греческом стиле, Мариус в светлом бархатном смокинге и шелковых брюках и мои дети, мои прекрасные дети... Сияющий Бенджи в белом одеянии, бешено танцевал по комнате босиком, растопыривая пальцы, словно стараясь ухватить ими воздух, а Сибил, моя потрясающая Сибил, тоже с обнаженными руками, в платье из ярко-розового шелка, откинув за плечи длинные волосы, сидела у рояля, как раз переходя к первой части. Все вампиры, все до единого.

Я плотно стиснул зубы и прикрыл рот, чтобы мои крики не разбудили весь мир. Я кричал и ревел в сжатые ладони.

Я выкрикивал одно-единственное слово отрицания — нет, нет, нет,— повторяя его вновь и вновь. Я больше ничего не мог произнести, больше ничего не мог кричать, больше ничего не мог делать. Я кричал и не мог остановиться.

Я так плотно закусил губы, что заболела челюсть, руки затряслись, как птичьи крылья, не способные достаточно плотно заткнуть мне рот, а из глаз опять хлынули слезы, густые, как тогда, когда я поцеловал Лестата. Нет, нет, нет! Внезапно я раскинул руки, сжав кулаки, и мой рев уже готов был вырваться на

свободу, взорваться бушующим потоком, но Мариус с силой схватил меня, стремительно прижал к себе и уткнул лицом себе в грудь.

Я пытался вырваться. Я изо всех сил пинал его и колотил кулаками.

— Как ты мог?! — ревел я.

Его руки поймали мою голову в безнадежную западню, его губы покрывали меня противными, ненавистными поцелуями, от которых я отчаянно отбивался.

— Как ты мог? Как ты посмел? Как ты мог? — В конце концов я обрел достаточно пространства, чтобы иметь возможность наносить ему удар за ударом.

Но что толку? Как слабы и бессмысленны мои удары против его силы. Как беспомощны, глупы и мелочны мои жесты! А он стоял и сносил их с невыразимо печальным лицом, с сухими, но полными заботы глазами.

— Как ты мог? Ну как же ты мог? — спрашивал я. Я не мог остановиться.

Но внезапно Сибил оторвалась от рояля и побежала ко мне, протягивая руки. Бенджи, следивший за всей этой сценой, тоже помчался ко мне, и они нежно заключили меня в оковы своих хрупких рук.

— Ну, Арман, не злись, не надо, не расстраивайся,— мягко выкрикивала Сибил мне в ухо.— Мой замечательный Арман, не расстраивайся, не надо. Не вредничай. Мы с тобой навсегда.

— Арман, мы с тобой! Он сделал чудо! — закричал Бенджи.— Не обязательно рождаться из черных яиц! Ах ты, дибук! Рассказал нам такую сказку! Арман, мы теперь никогда не умрем, никогда не заболеем, нас никто не обидит, нам нечего больше бояться! — Он подпрыгнул от восторга, закружился в новом вихре веселья, изумляясь и смеясь, радуясь новообретенной энергии, позволяющей прыгать так высоко и так грациозно.— Арман, мы так счастливы!

— О да, пожалуйста,— кричала Сибил своим более глубоким и более нежным голоском.— Мы так тебя любим, Арман, я так тебя люблю, так люблю. Мы не могли иначе. Не могли. Мы не могли иначе, мы хотели быть с тобой всегда, навсегда.

Мои пальцы нависли над ней, желая ее утешить, но она отчаянно зарылась лбом в мою шею, крепко обхватив меня на

уровне груди, и я не мог до нее дотронуться, не мог ее обнять, не мог ее приободрить.

— Арман, я тебя люблю, я тебя обожаю, Арман, я живу только ради тебя, а теперь мы навсегда вместе,— сказала она.

Я кивнул, пытаясь заговорить. Она поцеловала мои слезы. Она целовала их быстро и отчаянно.

— Прекрати, прекрати плакать, не плачь,— повторяла она тихим, настойчивым шепотом.— Арман, мы тебя любим.

— Арман, мы так счастливы! — закричал Бенджи.— Смотри, Арман, смотри! Теперь мы вместе будет танцевать под ее музыку. Мы все сможем делать вместе. Арман, мы уже поохотились! — Он подлетел ко мне и согнул ноги в коленях, готовясь прыгнуть от возбуждения, как бы подчеркивая смысл своих слов. Потом он вздохнул и снова протянул ко мне руки.— Бедняга Арман, ты весь неправильный, ты живешь не теми мечтами. Арман, ты что, не понял?

— Я люблю тебя,— прошептал я неслышным голосом Сибил на ухо. Я повторил эти слова, и мое сопротивление было сломлено, я нежно прижал ее к себе и потрогал неистовыми пальцами ее шелковую белую кожу и звенящие, тонкие, блестящие волосы. Не отпуская ее, я прошептал: — Не дрожи, я люблю тебя, я люблю тебя.

Левой рукой я вцепился в Бенджика.

— А ты, разбойник, ты все мне расскажешь со временем. А пока что дай я тебя обниму. Дайте мне обнять вас обоих.

Меня трясло. Это меня трясло, а не их. Они снова окружили меня со всей своей нежностью, стараясь меня согреть.

Наконец, похлопав каждого из них по плечу, поцеловав на прощание, я отступил и в изнеможении упал в большое старое бархатное кресло.

У меня болела голова, я чувствовал, как подступают слезы, но я проглотил рыдание — ради них. У меня не оставалось выбора.

Сибил вернулась к роялю и, ударив по клавишам, опять приступила к сонате. На этот раз она пропела ноты красивым низким сопрано, а Бенджи снова принялся танцевать, кружась, прохаживаясь, топая босой ногой в такт темпу игры Сибил.

Я наклонился и сжал голову руками. Мне хотелось, чтобы мои волосы опустились как можно ниже и скрыли меня от всеобщих глаз, но, несмотря на густоту, это были всего лишь волосы.

Я почувствовал на своем плече чью-то руку и напрягся, но не мог произнести ни слова, иначе я заново начал бы во весь голос кричать и ругаться. Я молчал.

— Я не жду, что ты меня поймешь,— тихим голосом сказал он.

Я выпрямился. Он сидел рядом со мной, на подлокотнике кресла. Он смотрел на меня сверху вниз.

Я сделал приятное лицо, выдавил даже лучезарную улыбку и заговорил таким безмятежным и бархатным голосом, что никто не заподозрил бы, будто мы обсуждаем что-то помимо любви.

— Как ты мог? Зачем ты это сделал? Неужели ты настолько меня ненавидишь? Не лги мне. Не говори мне глупости, сам знаешь, я в них никогда, никогда не поверю. Не обманывай меня, ради Пандоры, ради них. Я всегда буду заботиться о них, я всегда буду их любить. Но не лги. Ведь ты же сделал это из мести! Мастер, ты сделал это из ненависти?

— О чем ты? — спросил он прежним голосом, выражавшим безмерную любовь, и можно было подумать, что его искреннее, умоляющее лицо говорит со мной голосом самой любви.— Если я когда-нибудь делал что-то из любви, я сделал это сейчас. Я сделал это из-за всех несправедливостей, выпавших на твою долю, из за пережитого тобой одиночества, из-за кошмаров, которые мир обрушил на тебя, когда ты был слишком молод и неопытен, чтобы им противостоять, а потом слишком подавлен, чтобы сопротивляться от всего сердца. Я сделал это ради тебя.

— Нет, ты лжешь, ты лжешь в своей душе,— сказал я,— если не на словах. Ты сделал это из злобы и сейчас дал мне это понять со всей ясностью. Ты сделал это из злобы, потому что из меня получился не такой вампир, каким ты хотел меня видеть. Я не стал здравомыслящим бунтарем, способным противостоять Сантино и его банде чудовищ, и именно я через столько веков еще раз разочаровал тебя, ужасно разочаровал — ведь я ушел на солнце, увидев Плат. Вот почему ты так поступил. Ты сделал это из мести, ты сделал это из разочарования, а венец ужаса в том, что ты сам ничего не понимаешь. Ты не мог снести, что у меня чуть не разорвалось сердце, когда я увидел на Плате его лицо. Ты не мог пережить, что ребенок, которого ты вырвал из

венецианского борделя, которого ты вскормил своей кровью, которого ты учил по своим книгам, воззвал к нему, увидев его лицо на Плате.

— Нет, это настолько далеко от истины, что ты разрываешь мне душу.— Он покачал головой. Несмотря на белизну и отсутствие слез, его лицо было совершенным воплощением печали, как картины, написанные его собственными руками.— Я сделал это, потому что они любят тебя, как никто еще тебя не любил, потому что они свободны, а в глубине их благородных сердец кроется великое коварство, не дающее им отшатнуться от тебя такого, какой ты есть. Я сделал это, потому что они выкованы в той же печи, что и я, оба обладают острым умом и силой, способностью выжить. Я сделал это, потому что ее не поработило безумие, а его не сломили бедность и невежество. Я сделал это, потому что они были твоими избранниками, идеально подходили тебе, а я понимал, что сам ты этого не сделаешь и они в конце концов возненавидят тебя, как ты ненавидел меня за отказ, и ты скорее потеряешь их из-за отчуждения, скорее позволишь им умереть, чем уступишь.

Теперь они твои. Ничто вас не разлучит. И они до краев наполнены моей кровью, древней, могущественной, чтобы стать твоими достойными спутниками, а не бледной тенью твоей души, как Луи.

Вас не разделит барьер создателя и порожденного им вампира, и ты сможешь узнавать тайны их сердец, как они смогут узнавать твои тайны.

Мне хотелось в это поверить.

Мне так сильно хотелось в это поверить, что я поднялся и ушел от него, ласково улыбнувшись моему Бенджамину и украдкой поцеловав Сибил, проходя мимо; я удалился в сад и встал в одиночестве между парой массивных дубов.

Их мощные корни поднимались из земли, образуя холмики из твердого, покрытого волдырями дерева. Я устроился в этом каменистом месте и положил голову на ствол ближнего из двух деревьев.

Его ветви опустились и укрыли меня, как вуаль, сделав то, чего не смогли сделать волосы. Стоя в тени, я чувствовал себя защищенным, чувствовал, что нахожусь в безопасности. Сердце мое успокоилось, но оно было разбито, и мой рассудок пошатнулся, и мне достаточно было заглянуть в открытую дверь, в блистательный яркий свет, на моих двух белых вампирских ангелочков, чтобы опять заплакать.

Мариус долго стоял в далеком дверном проеме. Он на меня не смотрел. Я взглянул на Пандору и увидел, что она свернулась в другом большом бархатном кресле, словно старалась защититься от какой-то ужасной муки — возможно, всего лишь от нашей ссоры.

Наконец Мариус отважился подойти ко мне — думаю, на это ему потребовалось немалое усилие воли. У него на лице внезапно появилось несколько сердитое и даже гордое выражение. Мне было наплевать.

Он встал передо мной, но ничего не говорил и, казалось, собрался стойко выслушать все, что скажу я.

— Почему ты не дал им прожить свои жизни? — спросил я.— Не кто-нибудь, а ты — что бы ты ни чувствовал по отношению ко мне с моим недомыслием! Почему ты не дал им пользоваться тем, что подарила им природа? Зачем ты вмешался?

Он не ответил, но я и не дал ему такой возможности. Смягчив свой тон, чтобы не беспокоить их, я продолжил.

— В самые темные времена,— сказал я,— меня всегда поддерживали только твои слова. Нет, я не говорю о тех веках, когда я был пленником искаженных вероучений и мрачных заблуждений. Я говорю о том, что было намного позже, после того как я, подстрекаемый Лестатом, вышел из подземелья, когда я прочел, что написал о тебе Лестат, а потом выслушал твои объяснения. Это ты, Мастер, заставил меня увидеть все, что я мог, в чудесном ярком мире, разворачивающемся вокруг меня так, как я и не представлял себе в той стране или в те времена, в которые родился.

Я не мог сдерживаться. Я остановился передохнуть и послушать ее музыку, и, осознав, как она прекрасна, жалобна, выразительна и по-новому загадочна, я чуть не заплакал. Но я не мог себе это позволить. Я думал, что мне необходимо сказать намного больше.

— Мастер, это ты сказал, что мы движемся вперед в том мире, где отмирают старые религии, суеверные и жестокие. Это ты сказал, что мы живем в эпоху, когда злу больше не отводится необходимого места. Вспомни, Мастер, ты же сказал Лестату,

что никакое вероучение или кодекс не могут оправдать наше существование, ибо людям теперь известно, что такое настоящее зло. Это голод, нужда, невежество, война, холод. Ты сам так сказал, Мастер, сказал намного элегантнее и полнее, чем я способен выразить, но именно на этих грандиозных рациональных основаниях ты спорил с самой ужасной из нас, ради святости и драгоценной красоты этого естественного мира, мира людей. Это ты отстаивал человеческую душу, утверждая, что она растет как в плане глубины, так и в плане чувства, что люди живут теперь не ради блеска войны, что они познали прекрасные вещи, ранее доступные лишь богачам, а теперь принадлежат всем. Ты сам говорил, что после темных веков кровавых религий появился новый свет, свет разума, этики и неподдельного сострадания, и он не только освещает, но и согревает.

— Прекрати, Арман, замолчи,— сказал он. Он говорил мягко, но строго.— Я помню эти слова. Я помню каждое из них. Но я больше в это не верю.

Я был потрясен. Я был потрясен монументальной простотой этого отречения. Оно простиралось за пределы моего воображения, но я достаточно хорошо его знал, чтобы понимать: каждое слово он говорит всерьез. Он спокойно посмотрел на меня.

— Да, когда-то я в это верил. Но понимаешь, эта вера основывалась не на логике и наблюдениях за человечеством, в чем я себя убедил. Я заблуждался, и когда я в конце концов это осознал, когда я увидел, что́ это на самом деле — слепой, отчаянный, нелогичный предрассудок,— моя вера внезапно рухнула и разбилась вдребезги.

Арман, я говорил так, потому что считал, что говорю правду. Это было своего рода кредо, кредо разума, кредо эстетики, кредо логики, кредо искушенного римского сенатора, закрывающего глаза на тошнотворную реальность окружающего мира, потому что если бы он признался себе в том, что́ открывается ему в низости его братьев и сестер, то сошел бы с ума.

Он перевел дух и продолжал, повернувшись спиной к яркой комнате, загораживая юных вампиров от своих обжигающих слов, а я, безусловно, только этого и хотел.

— Я знаю историю, я читал ее, как другие читают Библию, я не мог успокоиться, пока не вытащу на свет все, что когда-либо

было написано, все, что можно познать, пока не расшифрую кодексы всех культур, оставивших мне полные ложных надежд свидетельства, которые я смогу высмотреть в камне, в земле, в папирусе или в глине.

Но в своем оптимизме я заблуждался, я был невежествен, невежествен, как и все, кого я обвинял в этом; я отказывался окунуться в окружавшие меня кошмары, достигшие в этот век, в этот век разума, своего апогея.

Оглянись назад, дитя, если хочешь, если ты собираешься со мной спорить. Оглянись на золотой Киев, знакомый тебе только по песням, после того как бешеные монголы сожгли его соборы и истребили население, как скот, чем они занимались по всей Киевской Руси на протяжении двухсот лет. Оглянись на летопись всей Европы — видишь, повсюду бушуют войны: в Святой земле, в лесах Франции или Германии, в плодородных землях Англии, да, благословенной Англии, в каждом уголке Азии.

Почему же я так долго занимался самообманом? Разве я не видел те русские степи, те спаленные города? Ведь вся Европа могла пасть под силой Чингисхана. Подумай о великих английских соборах, превращенных в груды камней самонадеянным королем Генрихом.

Подумай о книгах народа майя, брошенных в огонь испанскими священниками. Инки, ацтеки, ольмеки — все эти народности ушли в небытие...

Цепь кошмаров, кошмар за кошмаром, и так было всегда, и больше притворяться я не могу. Когда я вижу, как миллионы погибают в газовых камерах по прихоти маньяка-австрийца, когда я вижу, как истребляют под корень африканские племена, забивая реки разбухшими трупами, когда я вижу, как бушующий голод охватывает целые страны в век изобилия для обжор, я не могу продолжать верить в эти пошлости.

Не знаю, какое конкретно событие разбило мой самообман. Не знаю, какой конкретно ужас сорвал маску с моей лжи. Были ли это миллионы голодающих на Украине, заключенные в ней по воле их собственного диктатора, или же пришедшие за ними тысячи людей, погибшие, когда в небеса над степью извергласъ ядерная отрава, защиты от которой им не предоставило то самое правительство, что заставляло их голодать? Были ли это монастыри благородного Непала, цитадели медитации и милосер-

дия, простоявшие тысячи лет, более старые, чем я и моя философия, уничтоженные армией алчных, хватких милитаристов, развязавших безжалостную войну с монахами в шафранных одеждах, бесценные книги, брошенные в огонь, древние колокола, расплавленные, чтобы никогда больше не призывать кротких людей к молитве? А случилось это всего за два десятилетия до этого самого часа, пока народы Запада танцевали на дискотеках и лакали коктейли, небрежно сокрушаясь между собой по поводу бедного, несчастного далай-ламы и переключая телевизионный канал.

Не знаю, кто именно — китайцы, японцы, камбоджийцы, евреи, украинцы, поляки, русские, курды. О Господи, этой песне нет конца. У меня не осталось веры, у меня не осталось оптимизма, у меня не осталось твердых убеждений в плане логики и этики. Мне не за что было упрекнуть тебя, когда ты встал на ступенях собора, протягивая руки к своему всезнающему и всемогущему Богу.

Я ничего не знаю, потому что я знаю слишком много, но понимаю очень мало и никогда не пойму. Но и ты, и все, кого я знал, научили меня, что любовь есть необходимость, как дождь необходим цветам и деревьям, как пища — голодным детям, как кровь — голодным хищникам и падальщикам, то есть нам. Нам нужна любовь, и любовь, как ничто другое, может заставить нас забыть и простить любое зверство.

Поэтому я извлек их из прославленного, манящего перспективами современного мира с толпами больных и отчаявшихся. Я извлек их оттуда и отдал им единственную силу, которой обладаю, и сделал это ради тебя. Я дал им время, время, чтобы, возможно, найти ответ, которого живые смертные могут никогда не узнать.

Вот и все. Я знал, что ты будешь кричать, я знал, что ты будешь страдать, но при этом я знал, что ты примешь их и, когда все кончится, будешь их любить, я знал, что они тебе отчаянно нужны. Вот ты и воссоединился... со змеем, львом и волком, и они намного выше худших из людей, проявивших себя в эти времена колоссальными чудовищами, они вольны осторожно питаться миром Зла.

Повисла пауза.

Я долго думал, прежде чем заговорить. Сибил прекратила играть, я знал, что она волнуется за меня, что я нужен ей, я чувствовал, чувствовал сильный толчок ее вампирской души. Придется пойти к ней, и скоро. Но я остановился, чтобы произнести еще несколько слов:

— Тебе следовало бы доверять им, Мастер, тебе следовало позволить им воспользоваться своим шансом. Что бы ты ни думал о мире, ты должен был дать им время. Это был их мир и их эпоха.

Он покачал головой, как будто разочаровался во мне, немного устало, словно он давно уже разрешил для себя все эти вопросы — возможно, еще до моего вчерашнего появления. Казалось, он хочет выкинуть это из головы.

— Арман, ты навсегда останешься моим сыном,— сказал он с великим достоинством.— Все, что есть во мне волшебного и божественного, связано с человеческим, так было всегда.

— Ты должен был дать им возможность прожить свой час. Никакая моя любовь не могла подписать им смертный приговор или допустить в наш странный, необъяснимый мир. По твоим оценкам, мы, может быть, и не хуже людей, но ты мог бы и сдержать свое слово. Мог бы оставить их в покое.

Достаточно.

К тому же появился Дэвид. Он принес копию расшифровки, над которой мы работали, но не это его волновало. Он приблизился к нам медленно, явно возвещая о своем присутствии, давая нам возможность замолчать, что мы и сделали.

Я повернулся к нему, не в состоянии сдерживаться.

— Ты знал, что это произойдет? Ты понял, когда это случилось?

— Нет,— торжественно ответил он.

— Спасибо.

— Ты нужен им, твоим детям,— добавил Дэвид.— Мариус может быть создателем, но они всецело твои.

— Знаю,— сказал я.— Я иду. Я сделаю все, что нужно.— Мариус протянул руку и дотронулся до моего плеча. Вдруг я осознал, что его выдержка находится на грани срыва. Когда он заговорил, его голос дрожал и звенел от чувства.

Ему ненавистна была буря в душе, моя печаль лишила его самообладания. Я прекрасно это понимал. Удовлетворения мне это не принесло.

— Ты меня презираешь — возможно, ты прав. Я знал, что ты будешь плакать, но в некотором глубинном смысле я неправильно судил о тебе. Я кое-чего в тебе не понял. Может быть, я никогда не понимал.

— Чего же, Мастер? — ядовито спросил я.

— Ты любил их самоотверженной любовью,— прошептал он.— Все их странные недостатки, дикие пороки не компрометировали их в твоих глазах. Ты любил их, возможно, с большим уважением, чем я... чем я любил тебя.

Он выглядел потрясенным.

Я мог только кивнуть. Я вовсе не был уверен, что он прав. Моя потребность в них никогда не подвергалась проверке, но я не собирался ему об этом рассказывать.

— Арман,— сказал он,— ты же понимаешь, ты можешь оставаться здесь сколько хочешь.

— Хорошо, потому что, наверное, придется,— ответил я.— Им здесь нравится, а я устал. Поэтому большое тебе спасибо.

— Еще кое-что,— продолжал он,— и я говорю от чистого сердца.

— Что, Мастер?

Дэвид встал рядом, чему я очень радовался, так как он служил своего рода сдерживающим фактором для моих слез.

— Я искренне не знаю ответа и спрашиваю тебя со всем смирением,— сказал Мариус.— Увидев Плат, что ты увидел на самом деле? Нет, я не спрашиваю, был ли то Христос, был ли то Господь, было ли то чудо. Я хочу знать следующее. Там было пропитанное кровью лицо существа, положившего начало религии, виновной в таком количестве насилия, которого не знало ни одно вероисповедание мира. Пожалуйста, не злись на меня, а лишь объясни. Что ты увидел? Просто потрясающее напоминание о твоих иконах? Или же на самом деле оно действительно было пропитано любовью, а не кровью? Объясни. Мне искренне хотелось бы знать, кровь это или любовь.

— Ты задаешь старый и простой вопрос,— сказал я,— а в моем настоящем положении я совсем ничего не знаю. Тебе интересно, как он мог стать моим Господом, учитывая твое описание мира, твои знания Евангелий и заветов, изданных во имя его. Тебе интересно, как я мог поверить во все это, когда ты в это не веришь. Я прав?

Он кивнул.

— Да, мне интересно. Потому что я тебя знаю. И знаю, что вера — это как раз то, чем ты просто не обладаешь.

Эти слова меня потрясли. Но я мгновенно понял, что он не ошибся. Я улыбнулся. Внезапно я ощутил прилив трагического, волнующего счастья.

— Что ж, я понял, о чем ты говоришь,— начал я.— И я дам тебе свой ответ. Я увидел Христа. Некий кровавый свет. Личность, человека, силу — я почувствовал, что узнал его. И он не был Господом Богом, Отцом Всемогущим, он не был создателем вселенной и всего мира. Он не был Спасителем, он не был тем, кто явился ради искупления грехов, начертанных в моей душе до моего рождения. Он не был вторым лицом Святой Троицы, он не был теологом, вещающим со Святой горы. Для меня он был не таким. Для других — может быть, но не для меня.

— Так кем же он был, Арман? — спросил Дэвид.— Я записал твою историю, полную чудес и страданий, но я так и не понял. Какова концепция Господа, которую ты вкладываешь в это слово?

— Господь,— повторил я.— Это не то, что ты думаешь. Это произносится с интимностью, с теплотой. Это тайное, священное имя. Господь...

Я сделал паузу, а потом продолжил:

— Да, он — Господь, но лишь потому, что он является символом понятия бесконечно более доступного, бесконечно более значительного, чем правитель, король или властелин.

Я снова заколебался, подыскивая подходящие слова, раз уж они вели себя так искренне.

— Он был... моим братом,— сказал я.— Да. Вот кем он был, моим братом, символом всех братьев, и поэтому в его основе лежит только любовь. Вы относитесь к этому с презрением. Вы смотрите на меня с неодобрением. Но вам не постичь сложность того, кем он является на самом деле. Это легко почувствовать, но нелегко увидеть. Он был таким же человеком, как я. И, может быть, для многих из нас, для миллионов, другого понятия просто не существовало! Все мы — чьи-то сыновья и дочери, и он был чьим-то сыном. Он был человеком, не важно, Богом или нет, он страдал и считал, что делает это ради того, что казалось ему чистым, универсальным добром. И тем самым его

кровь могла быть и моей кровью. Ведь иначе и быть не может. И, возможно, для тех, кто мыслит, как я, в этом и заключается источник его величия. Ты сказал, что я не обладаю верой. Не обладаю. Верой в титулы, в легенды, в иерархии, созданные такими же людьми, как мы. Сам он не определял иерархию, нет. Он сам и был сутью. В нем я увидел величие по очень простым причинам! Его существо состояло из плоти и крови! Оно может быть и хлебом и вином, чтобы накормить целую землю. Вам этого не понять. Не получится. В вашем поле зрения плавает слишком много лжи о нем. Я видел его до того, как услышал о нем все эти истории. Я видел его, глядя на иконы в своем доме, видел, когда рисовал его. Тогда я даже не знал всех его имен. Я не могу не думать о нем. Никогда не мог. И никогда не смогу.

Больше мне сказать было нечего.

Они очень удивились, но отнеслись к моим речам без особенного уважения, скорее всего воспринимая неправильно каждое слово. Откуда мне было знать? В любом случае, что бы они ни чувствовали, это не имело абсолютно никакого значения. Ничего хорошего в том, что они задали мне свои вопросы, что я так старался раскрыть им свою истину, не было. Мысленно я видел старую икону, которую мать принесла мне в тот снежный день. *Воплощение.* Их философия такого не объяснит. Я задумался. Может быть, весь ужас моей жизни сводился к тому, что, что бы я ни делал, куда бы я ни шел, я всегда понимал. *Воплощение.* Кровавый свет.

Мне хотелось, чтобы теперь они оставили меня в покое.

Меня ждала Сибил, что намного важнее, и я пошел заключить ее в объятия.

Много часов проговорили мы, Сибил, Бенджи и я. Пандора, ужасно расстроенная, но ни словом не дававшая это понять, пришла к нам, чтобы поддержать легкомысленную, веселую беседу. Позже к нам присоединился Мариус, а потом и Дэвид.

Мы собрались в круг на траве, под звездами. Ради молодежи я старался выглядеть храбрым, и мы заговорили о прекрасных вещах, о местах, куда мы отправимся, о чудесах, увиденных Мариусом и Пандорой. Время от времени мы начинали спорить о всяких пустяках.

Часа за два до рассвета мы разошлись, Сибил забралась глубоко в сад и с величайшим вниманием рассматривала по очереди

каждый цветок. Бенджи обнаружил, что может читать со сверхъестественной скоростью, и переворачивал библиотеку вверх дном, чем произвел на всех большое впечатление.

Дэвид, устроившись за письменным столом Мариуса, исправлял опечатки и сокращения в расшифровке, усердно редактируя копию, сделанную им для меня.

Мы с Мариусом сидели совсем рядом, плечом к плечу, прислонившись к тому самому дубу. Мы не разговаривали. Мы наблюдали за окружающим, может быть, слушали одну и ту же песнь ночи. Я хотел, чтобы Сибил еще поиграла. Я не помнил, чтобы она так долго не играла, и мне очень хотелось послушать, как она заново сыграет сонату.

Первым необычный звук услышал Мариус, он встревоженно выпрямился, но передумал и опять прислонился к стволу рядом со мной.

— Что случилось? — спросил я.

— Просто какой-то шум. Я не смог... не смог его определить,— сказал он и прислонился ко мне плечом, как раньше.

Практически одновременно Дэвид оторвал взгляд от работы. Появилась Пандора — она медленно, но настороженно двигалась к одной из освещенных дверей.

Теперь и я расслышал тот звук. И Сибил, поскольку она тоже взглянула по направлению к воротам сада. Даже Бенджи в результате соблаговолил его заметить: он отложил книгу на середине фразы и зашагал, сурово нахмурившись, к двери, чтобы оценить ситуацию и взять ее под контроль.

Сначала мне показалось, что меня подводит зрение, но очень быстро я опознал фигуру, возникшую за воротами. Знакомая рука неловко открыла их и тихо притворила вновь.

При приближении он хромал. Точнее говоря, он походил на усталого, отвыкшего от движения человека. Он вышел на свет, падавший у наших ног на траву. Я был потрясен. О его намерениях никто не подозревал. Никто не двигался. Это был Лестат, в лохмотьях, грязный, как на полу часовни. Насколько я мог судить, его разум не исторгал ни единой мысли, а глаза казались мутными, полными изнурительного удивления. Он остановился, глядя перед собой, и когда я поднялся на ноги, чтобы его обнять, приблизился ко мне и зашептал на ухо.

Он говорил неверным, слабым от отсутствия практики голосом, очень тихо, и его дыхание касалось моей кожи.

— Сибил,— сказал он.

— Да, Лестат. Что? Что Сибил? Скажи мне.— Я сжал его руки так крепко и любяще, как только смог.

— Сибил,— повторил он.— Как ты думаешь, если ты ее попросишь, она сыграет мне сонату? «Аппассионату»?

Я отодвинулся и заглянул в его неясные, сонные голубые глаза.

— О да,— сказал я, едва дыша от возбуждения и нахлынувшего чувства.— Лестат, я уверен, что сыграет. Сибил!

Она уже повернулась. Она в изумлении следила, как он медленно пересек лужайку и вошел в дом. Пандора отошла, уступая ему дорогу, и мы в почтительном молчании наблюдали, как он садится у рояля, спиной к правой передней ножке, подтягивает повыше колени, устало кладет голову на скрещенные руки и закрывает глаза...

— Сибил,— попросил я,— ты ему сыграешь? «Аппассионату», еще раз, пожалуйста, если можно...

И конечно, она заиграла...

СОДЕРЖАНИЕ

МЕМНОХ-ДЬЯВОЛ 5

ВАМПИР АРМАН 457

Часть I. ПЛОТЬ И КРОВЬ 459

Часть II. МОСТ ВЗДОХОВ 756

Часть III. «АППАССИОНАТА» 782

ШЕДЕВРЫ МИСТИКИ ШЕДЕВРЫ МИСТИКИ

ЭНН
РАЙС

Anne Rice

ISBN 5-699-09852-6

ШЕДЕВРЫ МИСТИКИ ШЕДЕВРЫ МИСТИКИ